



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

PSlaw 176.25

Bd. Nov. 1894.



Harvard College Library

FROM THE BEQUEST OF

MRS. ANNE E. P. SEVER,

OF BOSTON,

WIDOW OF COL. JAMES WARREN SEVER,

(Class of 1817)

31 Jul. - 29 Aug. 1894.

Титул-страница



ЖУРНАЛЪ

COLLEGE
JUL 31 1894
LIBRARY.

ИСТОРИИ-ПОЛИТИКИ.

ДРУЖИНА.

ДВАДЦАТЬ-ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ. — КНИГА 7-я.

ИЮЛЬ, 1894.

4

ПЕТЕРБУРГЪ.

Издатель: М. М. Стасюлевичъ.

Въ Петербургѣ.

КНИГА 7-я. — ПОЛЬ, 1894.

Стр.

I.—ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМЪ ВЪ ИСТОРИИ.—I-V.—Н. И. Карѣва.	5
II.—ВЕСЕННІЯ ИЛЛЮЗИИ.—I-VI.—Повѣсть.—В. Дмитріевой	36
III.—ОТЪ НОВАГО МАРГЕЛАНА ДО ГРАНИЦЫ БУХАРЫ.—Путевыя замѣтки.— Кн. Александра Волконскаго	98
IV.—ИЗЪ КОНОПНИЦКОЙ.—I-VII.—А. Колтоновскаго	139
V.—Н. В. ГОГОЛЬ.—Пять лѣтъ жизни за границей, 1836—1841 г. — I-XII. — В. И. Шенрока	146
VI.—ВЪ ЧАДУ ЛЮБВИ.—Im Liebesrausch, von Heinz Tovote. — Съ нѣмецкаго.— А. Б—г—	199
VII.—ЗА УРАЛЬСКИМЪ БОБРОМЪ.—Путешествіе въ страну вогуловъ. — Изъ днев- ника туриста.—П. Иифантьева	253
VIII.—КОНЕЦЪ СПОРА.—Владимира Соловьева	286
IX.—ВОПРОСЫ ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.—II. Максимъ Грекъ и князь Куревскій.—А. И. Пыпина	313
X.—НАДѢЙСЯ, ВѢРУЙ И ЛЮБИ.—Стихотвореніе.—В. Булгакова	363
XI.—ЭКОНОМИЧЕСКІЯ НЕДОРАЗУМѢНІЯ.—Окончаніе.—Л. З. Слоимскаго	369
XII.—ХРОНИКА.—ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Отчетъ оберъ-прокурора св. си- нода за 1890 и 1891 г. — Ретроспективный взглядъ на проектъ реформы церковнаго суда.—Вліяніе закона 3-го мая 1883 г. на настроеніе расколь- никовъ и положеніе раскола.—Причины устойчивости раскола.—Расколъ и школа.—Предполагаемая жѣры противъ сектантства.—Борьба съ католиче- ской пропагандой.—Два отрадныхъ извѣстія.—Рѣчь министра юстиціи при открытіи комиссіи по пересмотру узаконеній о судебной части. — Возста- новленіе инспекторской части гражданскаго вѣдомства	383
XIII.—ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Убіеніе Карно.—Жизнь и дѣятельность покой- наго президента.—Президентскіе выборы въ Версали. — Казиміръ Перье.— Борьба съ анархистами и динамитчиками	411
XIV.—ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Семеновъ, Крестьянскіе рассказы. Съ пред- словіемъ Л. Н. Толстого.—"Историческое Обозрѣніе".—Собраніе сочиненій М. С. Куторги, томъ первый.—Т.—Новыя книги и брошюры.	423
XV.—НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.—I. Larroumet, Nouvelles études de littérature et d'art.—II. Filon, Merimée et ses amis.—З. В.	433
XVI.—НЕКРОЛОГЪ.—Николай Михайловичъ Ядринцевъ. — А. И. Пыпина	445
XVII.—ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.—Новыя правила объ офицерскихъ дуэляхъ. —Существуетъ ли какое-либо различіе между этими дуэлями и всѣми дру- гими?—Предѣлы вѣдомства, офицерскаго суда.—Громкія уголовныя дѣла и отношеніе къ нимъ ежедневной печати.—По поводу письма г. Тихомірова редактору журнала	449
XVIII.—ВИБЛЮГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТОКЪ.—Промышленныя кризисы въ современной Англіи, ихъ причины и вліяніе на народную жизнь. М. И. Туганъ-Бара- новскаго.—Указъ и законъ. Н. М. Коркунова.—Государственное хозяйство Швеціи, Эдуарда Верендса.	
XIX.—ОБЪЯВЛЕНІЯ—I-XVI стр.	

Подписка на годъ, второе полугодіе и третью четверть года въ 1894 г.
(См. подробное объявленіе о подпискѣ на послѣдней страницѣ обертки.)

ВѢСТНИКЪ
Е В Р О П Ы

ДВАДЦАТЬ-ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ. — ТОМЪ IV

ГОДЪ LVIII. — ТОМЪ XXXIII. — 1/2 июля, 1894

667-57/2

ВѢСТНИКЪ Е В Р О П Ы

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРИИ — ПОЛИТИКИ — ЛИТЕРАТУРЫ

СТО-ШЕСТЬДЕСЯТЬ-ВОСЬМОЙ ТОМЪ

ДВАДЦАТЬ-ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ

ТОМЪ IV

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“: ГАЛЕРНАЯ, 20.

Главная Контора журнала:	Экспедиція журнала:
на Васильевскомъ Острову, 5-я линія,	на Вас. Остр., Академич. переулкѣ,
№ 28.	№ 7.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

1894

~~131.84~~

~~Slav 302~~

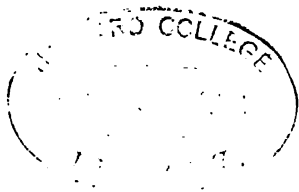
1894, July 31 - Aug. 29.

See below.

PSlav 176.25



(2214)



ЭКОНОМИЧЕСКІЙ МАТЕРІАЛИЗМЪ

ВЪ

ИСТОРІИ

I.

Экономическое или матеріалистическое воззрѣніе въ исторіи, о которомъ въ настоящее время такъ много говорятъ, стремится вытѣснить противоположное ему историческое міросозерцаніе, которое господствовало раньше и заключалось въ объясненіи историческаго процесса изъ психологическаго, или идейнаго начала. Въ спорѣ историческаго идеализма и историческаго матеріализма исторіеѣ долженъ занять положеніе, такъ сказать, дружественнаго нейтралитета. Идеалистическое объясненіе исторіи, имѣющее свои глубокія основанія въ прошломъ нашей науки и въ самой жизни, ея изучаемой, страдаетъ тѣмъ не менѣе одно-сторонностью, и въ этомъ смыслѣ возникновеніе матеріалистическаго міросозерцанія было шагомъ впередъ на пути выясненія сущности историческаго процесса; но если и развитіе науки, и сама историческая жизнь, дали извѣстныя и притомъ очень прочныя основанія для новой точки зрѣнія, то—поскольку послѣдняя дѣлается исключительною—и она тоже представляется намъ одно-стороннею, а потому и не имѣющею права на то, чтобы совершенно вытѣснить прежнюю точку зрѣнія. Исторіеѣ, т.-е. представитель науки, стремящейся къ всестороннему пониманію культурной и соціальной жизни человѣчества, какою она дается въ историческомъ опытѣ,—въ спорѣ между идеализмомъ и матеріализ-

момъ, долженъ именно занять нейтральное положеніе: и психологическое, и экономическое направленіе исторіи для него *одинаково вѣрны*, поскольку они, имѣя каждое свои научныя основанія, дополняютъ другъ друга,—и *одинаково же невѣрны*, разъ одно стремится совершенно устранить другое. Эта мысль рано или поздно, думаемъ мы, должна сдѣлаться общимъ достояніемъ, и на развитіи основныхъ историко-философскихъ концепцій, и здѣсь, повторится извѣстный діалектическій законъ Гегеля, примѣняемый, какъ мы увидимъ, самими экономическими матеріалистами въ историческому процессу. Въ исторіи пониманія основъ культурно-соціального развитія человѣчества объясненіе *всего* этого развитія изъ *одного* духовнаго начала было первымъ моментомъ, т.-е. тезисомъ, и можно исторически доказать необходимость именно такого тезиса. Цѣлый рядъ очень важныхъ притомъ явленій исторической жизни, однако, не могъ быть объясненъ изъ этого начала, и опять-таки исторически можно оправдать возникновеніе противоположной точки зрѣнія, составляющей второй моментъ, или антитезу: указавъ на факты, не объясняемые первою точкою зрѣнія, отрывъ истинный ихъ источникъ, новое направленіе пошло еще далѣе, сдѣлавъ попытку и тѣ факты, которые совершенно удовлетворительно объясняются психологіей, объяснять экономіей. Чѣмъ, однако, сильнѣе будетъ обнаруживаться тенденція экономического матеріализма къ вытѣсненію психологіи изъ той области, гдѣ самымъ законнымъ является объясненіе психологическое, тѣмъ все болѣе и болѣе очевидно будетъ дѣлаться несостоятельность экономического матеріализма, въ роли всеобъемлющей теоріи исторического процесса, какъ сдѣлалась раньше очевидно несостоятельность въ той же роли и психологического идеализма, лишь только открылась сторона исторіи, потребовавшая экономического объясненія. За первымъ и вторымъ моментами надлежитъ наступить третьему моменту: односторонности тезиса и антитезы найдутъ свое примиреніе въ синтезѣ, какъ выраженіи полной истины. Въ чемъ будетъ заключаться такой синтезъ, объ этомъ я пока говорить не стану. Считаю нужнымъ ограничиться лишь нѣкоторыми соображеніями, доказывающими, по моему мнѣнію, необходимость синтеза идеалистической и матеріалистической точекъ зрѣнія.

Единственное реальное существо, съ которымъ имѣетъ дѣло историческая наука, есть человѣческая личность. Лишь человѣческія личности мыслятъ, чувствуютъ, желаютъ, наслаждаются и страдаютъ, ставятъ себѣ цѣли, стремятся къ ихъ достиженію, дѣйствуютъ. Народы и государства съ своими правительствами,

общественные слои и классы, сословія и партіи и т. п. состоятъ изъ отдѣльныхъ личностей, взглядами, настроеніями и побужденіями коихъ опредѣляется направленіе дѣятельности каждой такой группы. Культурныя и соціальныя формы существуютъ лишь въ личностяхъ или чрезъ личности. Но каждая человѣческая личность, состоя изъ тѣла и души, ведетъ двойную жизнь—физическую и психическую, не являясь передъ нами ни исключительно плотью съ ея матеріальными потребностями, ни исключительно духомъ съ его потребностями интеллектуальными и моральными. И у тѣла, и у души человѣка, есть свои потребности, ищущія своего удовлетворенія и ставящія отдѣльную личность въ различныя отношенія къ внѣшнему міру, т.-е. къ природѣ и къ другимъ людямъ, т.-е. къ обществу, и эти отношенія бываютъ двойкаго рода. Человѣкъ нуждается въ пищѣ, одеждѣ, жилищѣ, и на почвѣ этихъ потребностей человѣка возникаетъ его чисто матеріалистическое, если можно такъ выразиться, отношеніе къ природѣ; но та же природа вызываетъ съ его стороны и духовное къ себѣ отношеніе, являясь предметомъ его удивленія и пытливости его ума: отношеніе человѣка къ природѣ въ зависимости отъ физическихъ и духовныхъ потребностей личности создаетъ поэтому, съ одной стороны, разнаго рода искусства, направленные на то, чтобы обезпечивать матеріальное существованіе личности, съ другой стороны—всю умственную и нравственную культуру, т.-е. міеологию и религію, философію и науку, литературу и искусства, которыя служатъ удовлетворенію духовныхъ потребностей личности. Объяснять экономически возникновеніе разныхъ видовъ теоретическаго отношенія человѣка къ внѣшнему міру (да и къ самому себѣ), къ вопросамъ бытія и познанія, равно какъ возникновеніе безкорыстнаго творческаго воспроизведенія внѣшнихъ явленій (да и собственныхъ своихъ помысловъ), было бы столь же мало научно, сколь ненаучно было бы отыскивать во внутренней психической жизни личности причины возникновенія звѣроловства, скотоводства, земледѣлія, обрабатывающей промышленности, торговли и денежныхъ операций.

Взаимныя отношенія между личностями, создающія общественную жизнь, равнымъ образомъ имѣютъ двойкій характеръ. Существованіе общества немыслимо безъ психическаго взаимодействія между отдѣльными личностями, его составляющими, и на почвѣ этого взаимодействія только возникаютъ всѣ явленія духовной культуры цѣлаго народа, обмѣнъ мыслей и настроеній и языкъ, какъ главное его орудіе, общія представленія и вѣрованія, воззрѣнія и знанія, преданія и чаянія, какъ содержаніе ду-

ховной культуры всего народа или какой-либо его части, безкорыстный интересъ къ чужому я и то чувство симпатіи или альтруизма, которое есть одинъ изъ основныхъ источниковъ морали, наконецъ, чисто духовная солидарность, какая связываетъ въ одно цѣлое нематеріальными узами общаго языка или общихъ вѣрованій людей одной и той же національности или одного и того же вѣроисповѣданія.

Общество, сказали мы, никакимъ образомъ не можетъ существовать безъ психическаго взаимодѣйствія его членовъ, лежащаго и въ основѣ всей его духовной культуры; но общество немислимо и безъ того практическаго взаимодѣйствія между личностями, которое заключается не въ обмѣнѣ мыслями и настроеніями, а въ обмѣнѣ услугами и продуктами, лежащемъ въ основѣ экономическаго и политическаго строя. Обмѣнъ услугъ и продуктовъ былъ бы невозможенъ безъ психическаго взаимодѣйствія, но и послѣднее само по себѣ, безъ участія экономическихъ взаимоотношеній, было бы не въ состояніи сплотить между собою отдѣльныя личности въ одно цѣлое. Такимъ образомъ, общество имѣетъ двоякую основу — психическую и экономическую, духовное взаимодѣйствіе и взаимоотношенія на почвѣ матеріальныхъ интересовъ, причемъ духовная культура, испытывая въ большей или меньшей степени на себѣ вліяніе соціального строя, имѣетъ свой главный источникъ въ тѣхъ отношеніяхъ личности къ внѣшнему міру и другимъ личностямъ, которыя такъ или иначе возникаютъ на почвѣ ея духовныхъ потребностей и стремленій, а соціальныи строй, подвергаясь большому или меньшему дѣйствію со стороны духовной культуры, основывается преимущественно на тѣхъ отношеніяхъ человѣка къ природѣ и другимъ себѣ подобнымъ, которыя объясняются нуждами и интересами чисто матеріальнаго существованія личности.

Идеалистическое направленіе исторіологіи было бы совершенно право, еслибы человѣкъ былъ безплотнымъ духомъ, и еслибы потому его интересъ къ внѣшнему міру былъ только интеллектуальнымъ или эстетическимъ, а его отношенія къ другимъ людямъ — только моральнаго свойства, вслѣдствіе чего, наприм., и въ основѣ народной жизни лежала бы одна психическая связь, — безъ которой, впрочемъ, немислимо никакое общеніе, — но этого нѣтъ, и идеалистическое направленіе было бы не только одностороннее, но прямо невѣрно, еслибы, не смѣя игнорировать факты, имѣющіе происхожденіе въ матеріальной сторонѣ человѣческаго бытія, оно стало и ихъ сводить къ чисто духовной основѣ. Совершенно такъ же и экономическій матеріализмъ оказался бы непремѣнно правымъ, если-

бы человѣкъ жилъ только одними матеріальными потребностями и стремленіями и еслибы по этой причинѣ его отношенія къ природѣ и къ другимъ людямъ опредѣлялись лишь необходимостью въ борьбѣ съ ними или при ихъ помощи удовлетворять своей потребности въ пищѣ, одеждѣ и жильѣ и своему стремленію къ улучшенію вообще всего матеріальнаго быта; но именно этого-то въ дѣйствительности не существуетъ, и односторонность экономического матеріализма переходитъ въ прямое несоотвѣстствіе съ реальными отношеніями общественной жизни, когда, не имѣя возможности отрицать существованія у этой жизни и другой стороны, объясняемой духовною стороною личности, оно стремится придумать и для всѣхъ интеллектуальныхъ, моральныхъ и эстетическихъ явленій чисто матеріальную основу. Исторіку и социологу вовсе не приходится разрѣшать философскій вопросъ о взаимныхъ отношеніяхъ духа и матеріи. Правъ ли спиритуализмъ, или правъ матеріализмъ, изъ коихъ каждый занимаетъ позицію, изъ которой никогда не можетъ быть, повидимому, выбить своимъ противникомъ,—или же оба неправы, и нужно представлять себѣ духъ и матерію лишь какъ проявленія одной и той же вѣѣ-опытной сущности,—но тотъ, кто изучаетъ общество и его исторію, имѣетъ дѣло съ несомнѣнною двойственностью матеріально-духовной природы человѣка. Если единственнымъ реальнымъ существомъ, съ коимъ имѣетъ дѣло историческая наука, является человѣческая личность, то нужно брать ее такъ, какъ даетъ ее намъ опытъ, т.-е. не въ смыслѣ одного только духа и не въ смыслѣ одной только плоти, памятуя при этомъ, что лишь въ исключительныхъ случаяхъ въ ту или другую сторону преобладаетъ или духъ, или плоть, и что большинство людей и въ общемъ наиболѣе продолжительные періоды времени характеризуются такими отношеніями между обѣими сторонами человѣческаго бытія, при существованіи которыхъ не атрофируются окончательно ни потребности души, ни потребности тѣла. Отсюда, полагаемъ, совершенно ясна невозможность сведенія *всей* исторической жизни къ одному началу, если этимъ началомъ будетъ не цѣльная человѣческая личность съ ея духовною и матеріальною сторонами, а именно лишь одна изъ этихъ сторонъ.

Мы не пишемъ полной теоріи историческаго процесса и потому не рассматриваемъ здѣсь вопроса о взаимныхъ отношеніяхъ, существующихъ между духовною культурою съ ея чисто-психической основой и социальнымъ строемъ съ чисто-экономической подкладкой послѣдняго. Позволимъ себѣ только прибавить, что лишь ста-

новясь на такую синтетическую точку зрѣнія, признающую вѣрныя стороны психологическаго идеализма и экономическаго матеріализма, поскольку они дополняютъ другъ друга, и вооружающуюся противъ обоихъ направленій, поскольку одно стремится исключить другое,—лишь становясь именно на эту точку зрѣнія, возможно всесторонне охватить культурно-соціальную жизнь чело-вѣчества.

Таково наше отношеніе къ предмету настоящей статьи: это не есть ни безусловное отрицаніе, ни безусловное признаніе, это — критическое изслѣдованіе, не принимающее ничего на вѣру и стремящееся найти объясненіе и своего рода оправданіе для положеній, не могущихъ быть признанными за истину.

II.

Отъ экономическаго матеріализма въ тѣсномъ смыслѣ нужно отличать экономическое направленіе въ исторіографіи, которое выражается не столько въ теоретическомъ провозглашеніи экономики основою исторіи, сколько въ особомъ интересѣ къ экономической жизни, проявляющемся въ цѣломъ рядѣ отдѣльныхъ работъ историческаго содержанія. Такой интересъ имѣетъ законныя основанія, и всякій историкъ, дорожащій полнотою и всесторонностью изображенія прошлой жизни, долженъ только радоваться тому, что столь важная сторона общественнаго быта, прежде мало обращающая на себя вниманіе историковъ, сдѣлалась предметомъ спеціальнаго интереса, особенно въ наше время, когда экономическіе вопросы получили такое значеніе и въ практической жизни. Съ этой стороны опасность для исторической науки и слѣдовательно для научнаго пониманія дѣйствительности начинается грозить лишь тогда, когда во имя интереса къ экономической сторонѣ исторіи начинаютъ отрицать всякій интересъ за другими ея сторонами, или когда утверждаютъ, будто только одна экономическая сторона исторіи можетъ быть предметомъ чисто научной разработки. Признавая законность и даже особую, въ извѣстныхъ отношеніяхъ, важность экономическаго направленія, мы никакимъ образомъ не можемъ отрицать законности и такой же большой важности направленія чисто культурнаго: откуда бы ни шла исключительность, во имя всесторонняго освѣщенія прошлаго, историкъ долженъ давать отпоръ притязаніямъ, стремящимся такъ или иначе сдѣлать задачу исторической науки. Мы не стали бы говорить объ этомъ, еслибы въ литературѣ не высказывались мнѣнія именно такого рода, объяс-

няющіяся, на нашъ взглядъ, тѣми новыми перспективами, которыя открыло передъ взорами историковъ изученіе экономическаго прошлаго народовъ. То, чтò произошло въ этомъ отношеніи съ экономическимъ направленіемъ, представляетъ изъ себя лишь одинъ изъ частныхъ случаевъ нѣкотораго общаго правила: всегда именно, когда происходило сближеніе между исторіей и той или другой научной спеціальностью, послѣдняя постоянно настолько увлекала нѣкоторую часть историковъ, внося въ ихъ науку новые факты и точки зрѣнія, что все остальное этою частью историковъ какъ бы забывалось или, по крайней мѣрѣ, оттѣснялось на задній планъ.

Сближеніе исторіи съ отдѣльными науками, изучающими культурно-соціальный міръ человѣка, началось около ста лѣтъ тому назадъ, при чемъ по отношенію къ однѣмъ наукамъ оно происходило раньше, по отношенію къ другимъ—позднѣе, но во всѣхъ случаяхъ оно совершалось обыкновенно аналогичнымъ путемъ, который былъ именно двоякій: съ одной стороны, въ изученіе предметовъ, коими занимаются указанныя науки, вносилась историческая точка зрѣнія, а съ нею и историческій методъ, съ другой—историки начинали обращать особенное вниманіе на явленія, до того времени разсматривавшіяся только теоретически. Въ первомъ отношеніи происходившая въ разныхъ областяхъ знанія перемѣна имѣла то значеніе, что явленія, бравшіяся прежде, такъ сказать, въ неподвижномъ бытіи, начинали изучаться въ своемъ историческомъ развитіи, и, наприм., теоріи права или литературы, или экономическихъ явленій, считавшіяся обязательными для всѣхъ эпохъ и народовъ, уступали мѣсто теоріямъ, въ которыхъ на первый планъ выдвигалась идея обусловленности всѣхъ этихъ явленій извѣстнымъ временемъ и извѣстнымъ мѣстомъ. Этимъ вносилась въ прежнее теоретическое изученіе поправка,—поправка съ весьма важными результатами для общихъ взглядовъ на сущность и внутреннія отношенія упомянутыхъ сферъ народной жизни, хотя на первыхъ порахъ эта поправка стремилась обыкновенно упразднить и вполнѣ законныя стороны прежнихъ теорій, далекихъ отъ историческаго отношенія къ своимъ объектамъ. Несомнѣнно важное значеніе въ научномъ отношеніи имѣло и обращеніе самихъ историковъ къ праву, къ произведеніямъ литературы, къ хозяйственной жизни, которыми занимались раньше одни только профессиональные юристы, эстетяны и экономисты: по мѣрѣ того, какъ историки пріобщали къ старымъ предметамъ своихъ занятій тотъ или другой новый предметъ, ихъ умственный кругозоръ расширялся, они шире захватывали жизнь народа, все глубже и глубже начинали проникать

въ ея тайники, но, съ другой стороны, и здѣсь дѣло не обошлось безъ односторонностей и увлеченій.

Историческое направленіе въ экономической наукѣ и экономическое направленіе въ наукѣ исторической — относятся къ числу явленій сравнительно позднихъ. Сближенію между исторіей и политической экономіей предшествовало сближеніе исторіи съ другими науками, и въ этомъ отношеніи весьма любопытными примѣрами являются перемѣны, совершившіяся въ изученіи права и литературы, рано сдѣлавшихся самостоятельными предметами теоретической обработки. Нѣкоторыя явленія, возникшія на почвѣ двусторонняго сближенія между исторіей и политической экономіей, имѣли поэтому прецеденты въ тѣхъ фактахъ, которые наблюдаются въ болѣе раннихъ попыткахъ внести историческій методъ въ теоретическое изученіе разныхъ сферъ народной жизни и включить эти самыя сферы въ кругъ занятій исторіи. Поэтому если историческая школа въ политической экономіи и экономическое направленіе въ исторической наукѣ дѣлаютъ нѣкоторыя ошибки, то въ ошибкахъ этихъ мы видимъ какъ бы повтореніе односторонностей и увлеченій, знакомыхъ намъ по другимъ примѣрамъ. Само повтореніе это однѣхъ и тѣхъ же ошибокъ въ разныхъ научныхъ направленіяхъ указываетъ, конечно, на дѣйствіе нѣкоторыхъ общихъ причинъ. Когда въ началѣ нынѣшняго столѣтія въ Германіи возникла такъ называемая „историческая школа права“, начавшая разсматривать право не какъ неподвижную систему юридическихъ нормъ, какою оно представлялось прежнимъ юристамъ, а какъ нѣчто движущееся, измѣняющееся, развивающееся, то въ этой школѣ обнаружилась сильная тенденція противопоставить историческій взглядъ на право, какъ единственно и исключительно вѣрный, всѣмъ другимъ возможнымъ въ этой области точкамъ зрѣнія; историческое воззрѣніе иногда не допускало существованія научныхъ истинъ, примѣнимыхъ ко всѣмъ временамъ, — т.-е. того, что на языкѣ новой науки носитъ названіе общихъ законовъ, — и даже прямо отрицало эти законы, а съ ними и общую теорію права во имя идеи о зависимости права отъ мѣстныхъ условій, — зависимости, конечно, существующей вездѣ и всегда, но не исключяющей началъ, общихъ всѣмъ народамъ. Аналогичное отношеніе, быть можетъ еще болѣе исключительное, мы встрѣчаемъ у нѣкоторыхъ представителей исторической школы въ политической экономіи къ такъ называемому теоретическому направленію: ими признается одно мѣстное и временное и во имя его отрицается все постоянное и неизмѣнное, лежащее въ основѣ всего видимаго разнообразія, представляемаго отдѣльными народами и эпохами. Правда,

старая юриспруденція грѣшила тѣмъ, что за это общее и вѣчное выдавала абстракціи, выросшія на почвѣ одного опредѣленнаго права, именно права римскаго, въ коемъ усматривался „писанный разумъ“, какъ и теоретическая экономія возводила прежде на степень всеобщихъ и вѣчныхъ истинъ положенія, извлеченныя изъ наблюденій почти только надъ одною англійскою дѣйствительностью конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка; но зато и постановка всего вопроса о правѣ въ его теоретическихъ и практическихъ развѣтвленіяхъ исключительно на историческую точку зрѣнія мѣстныхъ и временныхъ особенностей была односторонностью.

Параллельно съ развитіемъ такой точки зрѣнія въ юриспруденціи нерѣдко все болѣе и болѣе преувеличивалось значеніе права и со стороны историковъ, которые въ этомъ предметѣ, вошедшемъ въ кругъ ихъ занятій, увидѣли какое-то новое откровеніе. „Подъ вліяніемъ чтеній Кавелина,—вспоминаетъ, напр., акад. Бестужевъ-Рюминъ,—у многихъ молодыхъ (его сверстниковъ) людей сложилось убѣжденіе, что исторія права есть самая важная часть исторіи, что смѣна институтъ и понятій юридическихъ вполнѣ выражаетъ собою все историческое движеніе. Впрочемъ, мнѣніе это высказывалось тогда и за университетскими стѣнами“. Подъ вліяніемъ такого мнѣнія находился и самъ передающій эту любопытную черту тогдашняго научнаго настроенія, и именно подъ вліяніемъ такого мнѣнія, рассказываетъ онъ дальше, зашелъ онъ разъ (въ 1847 г.) къ Погодину и началъ ему развивать эту мысль. „Выслушавъ меня,—говоритъ рассказчикъ,—Погодинъ отвѣтилъ мнѣ одной фразой, вѣрность и глубину которой я понялъ только гораздо послѣ: „а св. Сергія куда вы дѣнете съ вашимъ юридическимъ характеромъ?“¹⁾ Подобное увлеченіе среди историковъ наблюдается и въ наши дни, съ тѣмъ только различіемъ именно, что „юридическій характеръ“ замѣнился экономическимъ.

То же самое въ сущности происходило и при сближеніи исторіи съ теоріей словесности, т.-е. готовность отрицать всякое иное отношеніе къ произведеніямъ литературы, кромѣ чисто историческаго, съ одной стороны, и стремленіе свести чуть не всю исторію къ одной исторіи литературы,—съ другой. Иначе говоря, и тутъ были преувеличены и значеніе историческаго метода въ изученіи литературы, и значеніе изученія литературы для историка. Въ области изученія литературы до возникновенія историческаго

¹⁾ Сущность возраженія понятна. Св. Сергій есть также историческій фактъ, требующій объясненія, чтобы быть понятнымъ; но юридическаго въ этомъ фактѣ нѣтъ ничего, а потому однимъ юридическимъ началомъ нельзя объяснить всю исторію

направленія господствовала эстетическая критика, оцѣнивавшая содержаніе и форму литературныхъ произведеній на основаніи установленныхъ правилъ и положеній; но въ эстетическомъ отношеніи въ литературѣ были съ научной точки зрѣнія крупныя недостатки, которые восполнились только историческимъ отношеніемъ къ произведеніямъ человѣческаго слова. По мѣрѣ того, какъ историческое отношеніе къ литературѣ все болѣе и болѣе пріобрѣтало почвы подъ ногами, оно начинало все съ большею и большею силою вытѣснять отношеніе эстетическое, и вообще абстрактно-теоретическое, объявляя его даже чуть ли не прямо совершенно незаконнымъ, и рядомъ съ такимъ исключительнымъ историцизмомъ, отвергающимъ при изученіи литературы эстетическую точку зрѣнія, слѣдуетъ поставить, съ другой стороны, увлеченіе литературой въ исторіи, дѣлающее изъ нея чуть не самое главное явленіе въ жизни народовъ. Лучшій примѣръ послѣдняго представляетъ собою Тэнъ, который высказался на этотъ счетъ весьма обстоятельно во введеніи къ своей извѣстной „Исторіи англійской литературы“. „Изученіе литературы, — говоритъ онъ здѣсь, — совершенно преобразило исторію“, ибо „съ помощью литературныхъ памятниковъ оказалось возможнымъ воскресить мысленное и чувственное міровоззрѣніе, какимъ руководились люди, жившіе нѣсколько столѣтій тому назадъ. Обсуждая эти міровоззрѣнія, историки нашли, что они-то именно и составляютъ факты первой важности. Стало ясно, что съ ними связаны самыя капитальныя событія, что они объясняютъ ихъ и, въ свою очередь, объясняются ими, и что имъ необходимо отвести въ исторіи почетное мѣсто“. Посредствомъ литературныхъ произведеній историкъ проникаетъ во внутренній міръ, въ нихъ отразившійся, а исторія, по Тэну, и есть „въ сущности только психологическая задача“. Поэтому, — говоритъ онъ, — „когда документъ богатъ и когда умѣешь объяснить его, то найдешь въ немъ не только психологію души, но и психологію вѣка, иногда психологію расы. Въ этомъ отношеніи, великая поэма, хорошій романъ, исповѣдь замѣчательнаго человѣка — гораздо поучительнѣе цѣлой груды историковъ и исторій“. Само собою разумѣется, что съ этой точки зрѣнія историкъ долженъ весьма мало цѣнить источники, дающіе знаніе тѣхъ явленій жизни, коими особенно дорожатъ историки юридическаго и экономическаго направленій. И дѣйствительно, самъ Тэнъ заявляетъ, что онъ охотно отдалъ бы пятьдесятъ томовъ хартій и сто томовъ дипломатическихъ нотъ за мемуары Челлини, за посланія св. Павла, за застольныя бесѣды Лютера или за комедіи Аристофана. Доказываетъ онъ правильность своей

точки зрѣнія тѣмъ, что между документами, которые объясняютъ намъ чувства предшествовавшихъ поколѣній, самое важное мѣсто занимаетъ литература, ибо „она похожа на тѣ удивительные, до невѣроятности чувствительные аппараты, съ помощью коихъ физики раскрываютъ и измѣряютъ малѣйшія и тончайшія измѣненія вещества. Конституціи, религіи,—прибавляетъ онъ,— не могутъ съ нею идти въ сравненіе; своды законовъ и догматовъ рисуютъ умъ слишкомъ общими чертами и безъ всякихъ оттѣнковъ“. Отсюда ясно, что разъ исторія есть задача психологическая, то постигается она, главнымъ образомъ, посредствомъ изученія литературы.

Все это, т.-е. и увлеченія экономистовъ историческимъ методомъ въ ущербъ другимъ способамъ изслѣдованія хозяйственныхъ явленій, и увлеченіе историковъ экономическимъ матеріаломъ въ ущербъ другимъ фактамъ, коими должна заниматься наука,—все это наблюдается нами и при сближеніи между исторіей съ политической экономіей. Примѣровъ указаннаго увлеченія историковъ можно было бы указать немало, и иногда явная односторонность прямо возводится въ систему, въ большинствѣ случаевъ, однако, безъ малѣйшей попытки аргументировать сколько-нибудь обстоятельно исключительно экономическую точку зрѣнія на исторію. Въ видѣ примѣра мы остановимся на одномъ изъ наиболѣе крупныхъ экономическихъ историковъ, недавно умершемъ Торольдѣ Роджерсѣ.

III.

Джэмсъ Торольдъ Роджерсъ ¹⁾ издалъ первый томъ прославившаго его сочиненія по исторіи земледѣлія и цѣнъ въ Англіи (*A history of agriculture and prices in England*) въ 1866 г., и тогда уже онъ указывалъ на то, что экономическое выясненіе исторіи имѣетъ первостепенное значеніе для пониманія прошедшаго въ области ли юридическихъ древностей, дипломатическихъ интригъ, или военныхъ походовъ. Въ 1888 г., за два года до смерти, онъ издалъ VI томъ своей исторіи цѣнъ и свое „Экономическое объясненіе исторіи“ (*Economic interpretation of history*), въ которой повторилъ то же самое. Онъ былъ профессоромъ политической экономіи въ Оксфордѣ (1862—1867 гг. и 1888—

¹⁾ См. некрологъ Роджерса, написанный проф. И. В. Лучицкимъ, въ февральской книжѣ „Юридич. Вѣстника“, за 1891 г.

1890 гг.), при чемъ его экономическіе взгляды, слагавшіеся подъ вліяніемъ Кобдена и Милля, въ сущности были манчестерскими и по нѣкоторымъ пунктамъ оставались такими до самой его смерти. Весьма поздно онъ создалъ самостоятельные взгляды по разнымъ вопросамъ политической экономіи, подвергнувъ критику съ исторической точки зрѣнія отдѣльныя положенія своихъ учителей (*Manual of political Economy*, 1868 г.); но его теоретическіе выводы были объявлены со стороны специалистовъ за довольно слабые. Обозрѣвая его ученую и политическую дѣятельность въ этотъ періодъ его жизни, мы не обнаруживаемъ въ ней ни малѣйшихъ слѣдовъ социализма, и это одно, въ согласіи съ другими данными его біографіи, указываетъ на независимость его историко-экономической теоріи отъ экономического матеріализма Маркса. Свою теорію онъ и излагаетъ весьма поверхностно въ упомянутой „*The economic interpretation of history*“, особенно въ первой главѣ книги—объ экономической сторонѣ исторіи (*The economical side of history*), давая въ ней больше историческіе примѣры, доказывающіе важность „экономической стороны“ исторіи, нежели какія-либо отвлеченныя теоремы¹⁾. Слабость теоретическаго мышленія, обнаружившаяся въ экономическихъ трактатахъ Роджерса, сказалась и на тѣхъ страницахъ его книги, на которыхъ онъ излагаетъ свои соображенія объ экономической сторонѣ исторіи. Къ абстрактному мышленію онъ, повидимому, вообще относился съ недовѣріемъ и, наприм., въ предисловіи прямо заявляетъ, что давно уже сталъ подозрѣвать, не есть ли политическая экономія простое „собраніе логомахій, имѣющихъ лишь малое отношеніе къ фактамъ общественной жизни“. Занявшись изученіемъ остававшихся прежде совершенно неизвѣстными фактовъ изъ социальной жизни отдаленныхъ временъ, онъ „началъ открывать, что многое, кажущееся для популярныхъ экономистовъ естественнымъ, само по себѣ въ высшей степени искусственно; что то, чему они даютъ названіе законовъ, слишкомъ часто суть только послѣшныя, непродуманныя и неточныя обобщенія, и что многое изъ того, въ чемъ они видятъ нѣчто завѣдомо безспорное, оказывается завѣдомо ложнымъ“. Отсюда Роджерсъ заключилъ, что политическая экономія находится на дурной дорогѣ; главнымъ образомъ съ этой точки зрѣнія онъ противопоставлялъ англійской абстрактной (*metaphysical*) политической экономіи свое историческое изслѣдованіе. Вообще же онъ думаетъ, что именно экономическая наука

¹⁾ Самая книга съ такимъ многообъщающимъ заглавіемъ есть не что иное, какъ сборникъ десятковъ двухъ небольшихъ изслѣдованій по отдѣльнымъ вопросамъ спеціально англійской экономической исторіи.

способна объяснить всю общественную жизнь: „political economy, rightly taken, is the interpretation of alls social conditions“.

Первая глава книги прямо начинается съ нападенія на историковъ за малое вниманіе, какое они, по мнѣнію Роджерса, обращаютъ на экономическіе факты. „Во всѣхъ почти исторіяхъ, — говоритъ онъ, — и во всѣхъ почти сочиненіяхъ по политической экономіи находятся обыкновенно въ пренебреженіи собраніе и объясненіе экономическихъ фактовъ, подѣ чѣмъ я разумѣю такіа извѣстія, которыя рисуютъ общественную жизнь и распредѣленіе богатства въ различныя эпохи исторіи человѣчества. Но, — прибавляетъ онъ, — пренебреженіе это дѣлаетъ исторію неточной или, по крайней мѣрѣ, несовершенной“. Роджерсъ оговаривается, однако, что „даже самыя сухія лѣтописи признаютъ нѣкоторые изъ этихъ фактовъ, даже когда имъ не удастся ихъ объяснить. Каждый историкъ, напримѣръ, — говоритъ онъ, — отмѣчаетъ моровую язву XIV в. Онъ наблюдаетъ, что англійскіе короли въ своихъ попыткахъ относительно Франціи неизмѣнно старались привлечь Нидерланды на свою сторону. Онъ сообщаетъ тотъ фактъ, что въ послѣдней четверти XIV вѣка было большое возмущеніе въ Англіи, ожесточенное междоусобіе въ XV в., серьезное ослабленіе англійской славы въ XVI в. Но эти историки никогда не дѣлали попытки открыть, не содѣйствовали ли могущественнымъ образомъ какіе-либо экономическіе факты этимъ событіямъ“. Для примѣра онъ ссылается на XVII вѣкъ, который „былъ совершенно поглощенъ великою борьбой этого времени“. Замѣчая, что „просто остались неотмѣченными всѣ факты экономического характера, которые остановили бы на себѣ вниманіе во всякой другой странѣ, политическая исторія этого столѣтія, по его словамъ, писалась постоянно и многократно, но въ совершенномъ пренебреженіи была его социальная или экономическая исторія, хотя весьма часто причина важнаго политическаго событія и крупнаго социальнаго движенія бывала чисто экономической, если даже и оставалась неоткрытою“.

Указавъ на такую сторону дѣла, которою дѣйствительно долгое время пренебрегали историки, Роджерсъ распространяется о важности экономическихъ документовъ, коими онъ, главнымъ образомъ, пользовался для своихъ научныхъ изслѣдованій, отдавая имъ предпочтеніе передъ другими. „Галламъ какъ-то выражалъ сожалѣніе, что мы не могли бы теперь воскресить жизнь отдѣльной средневѣковой деревни, но средства это сдѣлать существуютъ въ большомъ количествѣ, и изучающій эти документы долженъ обладать въ самомъ дѣлѣ слабымъ вообра-

женіемъ, если онъ не можетъ представить себѣ жизнь англичанина временъ Плантагенетовъ съ колыбели до могилы, возсоздать всѣхъ людей, съ которыми онъ соприкасался, и опредѣлить относительное значеніе всѣхъ элементовъ маленькаго общества, въ коемъ онъ жилъ“. Впрочемъ, Роджерсъ „не отрицаетъ и даже охотно признаетъ, что основательное изученіе исторіи сдѣлало значительные успѣхи. Это, — соглашается онъ, — болѣе не простой рассказъ о войнѣ и мирѣ, о королевскихъ генеалогіяхъ, о тѣхъ событіяхъ, по поводу коихъ сложилось изреченіе, что счастливы народы, не знающіе исторіи. Исторія начала заниматься изученіемъ конституціонной старины, хотя даже здѣсь обнаруживается сильная тенденція усматривать позднѣйшее развитіе въ раннихъ зачаткахъ и придавать много значенія сомнительнымъ мнѣніямъ. Исторія, далѣе, начала признавать прогрессъ законодѣнія, хотя она рѣдко признавала экономическія условія, коимъ юриспруденція обязана своимъ развитіемъ. Она слегка, совсѣмъ слегка коснулась социальной исторіи, положенія народа, измѣнчивыхъ судебъ землевладѣнія и труда и обстоятельствъ, при которыхъ привились и развились среди насъ разные виды промышленности“.

Указывая вѣрно на пробѣлы въ прежнихъ освѣщеніяхъ фактовъ, Роджерсъ идетъ и далѣе, утверждая, что экономическіе факты и важнѣе всѣхъ другихъ. „Въ одномъ отношеніи, — замѣчаетъ онъ, — въ самомъ дѣлѣ исторія сдѣлала большой шагъ впередъ, и я приписываю это философѣ, которая ищетъ объясненія характеровъ и мотивовъ государственныхъ людей и государей, когда сами они были государственными людьми“. Но ему кажется, что безъ произвола и пристрастія тутъ обойтись нельзя, и вотъ отъ этого-то метода, который обозначенъ какъ „философскій“, онъ и отличаетъ методъ экономическій въ выгодную для него сторону. „Кто, — по словамъ Роджерса, — занимаясь исторіей, ставитъ себѣ менѣе притязательную, но болѣе трудную задачу экономическаго изясненія, тотъ становится на болѣе надежную и менѣе требовательную почву. Если я въ состояніи указать вамъ, что цѣна пшеницы часто поднималась въ первой половинѣ XVII столѣтія до 55 ш. и болѣе за кварталъ, и что плата крестьянину искусственно понижалась насильственными средствами, какія только могла придумать администрація, до 6 пенсовъ и менѣе, мнѣ нѣтъ никакого дѣла до критики тѣхъ, которые стали бы отрицать, что это было притѣсненіе. Если я могу показать вамъ, что пахатная земля, поколѣніе тому назадъ, сдавалась въ десять разъ дороже, нежели въ той же первой половинѣ XVII столѣтія, меня не устрашитъ цѣлый легіонъ Рибардо высказать весьма серьезные сомнѣнія

касательно того, далъ ли этотъ выдающійся человѣкъ исчерпывающую теорію земельной ренты“. Сдѣлавши еще разъ нападеніе на абстрактную политическую экономію, Роджерсъ показываетъ на примѣрахъ, „какимъ образомъ экономическіе факты могутъ служить объясненію исторіи“, и эти примѣры заступаютъ у него мѣсто общихъ теоретическихъ соображеній. „Я уже упомянулъ, — говоритъ онъ, — что Плантагенеты всегда пользовались Фландріей, какъ опорнымъ пунктомъ при нападеніяхъ своихъ на Францію, и что наши Эдуардъ III и Генрихъ V заботливо относились къ дружбѣ фламандцевъ и ихъ правителей. Средства, коими они пользовались для достиженія своихъ дипломатическихъ цѣлей, заключались въ свободномъ или стѣсненномъ вывозѣ англійской шерсти. Съ XIII по XVI вѣкъ „шерсть была королемъ“. Четверть столѣтія тому назадъ мятежные штаты американскаго Союза признавали, что „хлопчатая бумага была королемъ“, и что ограниченіе количества этого необходимаго для британской промышленности матеріала несомнѣнно произведетъ дипломатическій переворотъ въ Англіи, вынудить признаніе независимости южныхъ штатовъ и заставить жителей Соединеннаго Королевства отказаться отъ своей ненависти къ рабству. Прекращеніе снабженія бумагой повлекло за собою большое бѣдствіе, но въ силу особыхъ причинъ сторонники Юга ошиблись въ своемъ расчетѣ“, и Роджерсъ рассказываетъ далѣе исторію торговли шерстью съ указаніями на то, что она объясняетъ вообще въ англійской исторіи.

Указавъ на другой еще подобный примѣръ, Роджерсъ замѣчаетъ, что у него будетъ не мало случаевъ представить и другіе примѣры, имѣющіе такое же значеніе, какъ и тѣ два, которые были приведены, и высказываетъ при этомъ убѣжденіе, что „опускать такіе экономическіе факты значитъ дѣлать занятіе исторіей безплоднымъ, а ея лѣтописи несоотвѣтствующими дѣйствительности. „При всемъ, какое только возможно, стараніи, — говоритъ онъ, — рассказъ историка не можетъ быть чѣмъ инымъ, какъ несовершеннымъ и неточнымъ очеркомъ. Наша хронологія будетъ въ порядкѣ, послѣдовательность фактовъ точна, подробности походовъ вѣрны, измѣненія въ границахъ правильны, и тѣмъ не менѣе мы будемъ далеки отъ пониманія мотивовъ каковаго-нибудь общественнаго дѣянія и оставаться въ полномъ невѣденіи относительно настоящихъ причинъ событій. Столь же мало поможетъ намъ разборъ намѣреній и поведенія общественныхъ дѣятелей. Зато когда мы бываемъ руководимы экономическими фактами съ крупнымъ и далеко простирающимся значеніемъ, мы

можемъ приходить къ заключеніямъ, коихъ уже нельзя измѣнять, такъ какъ ихъ нельзя оспаривать“.

Таково все наиболѣе существенное въ теоретическихъ разсужденіяхъ Роджерса. Мы нарочно остановились на этомъ несомнѣнно крупномъ экономическомъ историкѣ, чтобы на его примѣрѣ выяснить нѣкоторые общія положенія, къ коимъ приводитъ насъ ознакомленіе съ экономизмомъ въ исторіи. Мы еще увидимъ, что такъ называемый экономическій матеріализмъ въ тѣсномъ смыслѣ слова возникъ въ непосредственной зависимости отъ той соціальной борьбы, которая стала вестись на экономической почвѣ между двумя классами послѣ-революціоннаго общества, т.-е. между буржуазіей и пролетаріатомъ, но историческое воззрѣніе Роджерса стоитъ совсѣмъ особнякомъ отъ этого движенія: происхожденіе его „экономическаго объясненія“ чисто ученое, и самъ онъ, притомъ, въ области экономической теоріи придерживался началъ, противоположныхъ какому бы то ни было социализму. Такимъ образомъ, то экономическое направленіе исторіи, представителемъ коего является Роджерсъ, обязано своимъ происхожденіемъ, подобно нѣмецкой исторической школѣ, политической экономіи (Роттеръ и др.), сближенію между двумя науками, до того времени развивавшимися совершенно независимо одна отъ другой. Роджерсъ — сторонникъ исключительно историческаго метода въ политической экономіи и экономическаго содержанія въ исторіи. Высказывая даже ту мысль, что экономика въ состояніи объяснить всю историческую жизнь, Роджерсъ, подобно многимъ другимъ писателямъ, выражавшимъ тотъ же взглядъ, не обосновываетъ его теоретически путемъ научнаго анализа этой жизни во всѣ времена и у всѣхъ народовъ и путемъ изслѣдованія тѣхъ отношеній, въ какихъ находятся или могутъ находиться къ экономикѣ право, государство, мораль, религія, философія, наука и т. п. Сказать не значить еще *доказать*, а доказать то, чтѣ говоритъ Роджерсъ, можно было бы (если только можно по существу дѣла) лишь именно только при помощи такого анализа и такого изслѣдованія; какъ разъ никто изъ историковъ-экономистовъ подобной теоретической работы и не предпринималъ.

Историки-экономисты второй половины XIX-го в., и въ ихъ числѣ самъ Роджерсъ, сдѣлали очень много для изученія прошлаго, которое мы теперь знаемъ полнѣе и во многихъ отношеніяхъ основательнѣе, чѣмъ прежде, и результаты ихъ работъ не могутъ не отразиться на общей концепціи историческаго процесса, но отсюда еще далеко до упраздненія всего, чтѣ было сдѣлано и высказано прежними историками и ихъ непосредствен-

ными преемниками въ наше время. Историки-экономисты обратили особое вниманіе на цѣлую важную сторону общественной жизни, внесли въ науку массу новыхъ фактовъ и научныхъ выводовъ; они указали на экономическія причины и условія такихъ явленій, которыя прежде разсматривались безъ всякаго отношенія къ подобнымъ причинамъ и условіямъ; они поставили наукѣ новыя задачи и выработали для ихъ рѣшенія новыя методы, и все это, несомнѣнно, долженъ поставить историкамъ-экономистамъ въ заслугу, между прочимъ, и социологъ, занимающійся теоріей историческаго процесса. Въ настоящее время экономическое направленіе заняло въ научной историографіи столь прочное положеніе, что вся аргументація Роджерса въ пользу важности историческаго изученія хозяйственной жизни народовъ можетъ быть признана нѣсколько запоздалою. Мало того, нѣкоторыя изъ выше приведенныхъ мѣстъ книги Роджерса производятъ такое впечатлѣніе, какъ будто онъ мало вдумывался въ то, чѣмъ въ дѣйствительности является современная историческая наука: по крайней мѣрѣ, иные изъ отмѣченныхъ имъ недостатковъ относятся уже къ пережитымъ моментамъ научнаго развитія, а то, что Роджерсъ хвалитъ, какъ своего рода новинки, имѣетъ гораздо болѣе старое происхожденіе. Но авторъ „Экономическаго объясненія исторіи“, какъ мы видѣли, этимъ не ограничивается, а высказываетъ (но не доказываетъ) ту мысль, что въ исторіи экономическіе факты важнѣе всѣхъ другихъ. Въ сущности онъ очень странно понимаетъ то, чему самъ даетъ имя философской исторіи, — словно она вся сводится только къ изображенію характеровъ и выясненію мотивовъ дѣятельности, притомъ однихъ лишь политическихъ персонажей исторіи; берясь же доказать предпочтительную важность экономикѣ, онъ имѣетъ въ виду не столько провести ту мысль, что эти мотивы нужно искать главнымъ образомъ въ экономической сферѣ, сколько выставить на видъ большую надежность экономическаго матеріала въ смыслѣ его точности. Это уже другой вопросъ, такіе факты, культурные или экономическіе, легче поддаются такой обработкѣ, какой требуетъ идеалъ научной точности, и мы еще въ этому вопросу вернемся, но и тутъ Роджерсъ указываетъ на надежность этого матеріала не для того, чтобы противопоставить его меньшей надежности фактовъ политическихъ (о культурныхъ онъ даже не вспоминаетъ), а для того, чтобы еще разъ сдѣлать нападеніе на абстрактную политическую экономію. Въмѣсто того, далѣе, чтобы доказывать свое положеніе общими теоретическими соображеніями, онъ иллюстрируетъ частными примѣрами; но еслибы даже каждый частный примѣръ былъ безу-

словно вѣренъ, т.-е. не заключалъ въ себѣ ни натяжекъ, ни пробѣловъ, и еслибы такихъ примѣровъ было приведено въ сто, въ тысячу, въ десять тысячъ разъ болѣе,—это отнюдь не могло бы служить доказательствомъ того, что исторія не представляетъ примѣровъ громадной роли, какую играютъ въ жизни народовъ или отдѣльных классовъ общества господствующія идеи и связанная съ ними стремленія, т.-е. вѣрованія и преданія, идеалы и правила поведенія, вообще все содержаніе интеллектуальнаго, моральнаго и политическаго міросозерцанія,—все то, замѣтимъ еще разъ, что самъ Роджерсъ какъ будто и не принимаетъ въ расчетъ, словно вся исторія внѣ экономики сводится для него къ подробностямъ походовъ и къ измѣненіямъ границъ.

Такихъ *заявленій* объ исключительной важности экономическихъ фактовъ въ исторической литературѣ сдѣлано было за послѣднее время не мало, но *доказательствъ* въ пользу этого приводилось обыкновенно столь же немного, какъ немного мы ихъ находимъ и въ книгѣ Роджерса. Между прочимъ, и въ русской исторической литературѣ было сдѣлано нѣсколько аналогическихъ *заявленій*.

IV.

Смерть Роджерса въ 1890 г. дала поводъ проф. И. В. Лучицкому, извѣстному своими трудами по новой исторіи и, между прочимъ, по исторіи землевладѣнія и крестьянскаго вопроса, высказаться въ некрологѣ Роджерса въ пользу экономического направленія исторіи. Уже раньше авторъ этого некролога, выступившій первоначально съ работами по культурной исторіи и по философіи исторіи (въ журналѣ „Знаніе“ въ началѣ семидесятыхъ годовъ), заявилъ о своей принадлежности „къ послѣдователямъ того направленія въ наукѣ, которое ставитъ на первомъ планѣ исторію общественнаго строя, учреждений, экономическихъ отношеній и т. п.“¹⁾, т.-е. исторію социальную. Въ некрологѣ Роджерса онъ прямо уже заявляетъ свою солидарность съ тѣмъ исключительнымъ направленіемъ, представителемъ коего является этотъ англійскій историкъ. По словамъ некролога, экономическое направленіе „общаетъ въ близкомъ будущемъ радикально измѣнить то, что называютъ научной исторіей“. Оно,—продолжаетъ проф. Лучицкій,—„впервые придадо большую осмысленность спутаннымъ фразамъ: изученіе народа, народной жизни. Благодаря

¹⁾ Въ предисловіи къ русск. пер. „Исторія новаго времени“ Зеборта (Кіевъ, 1888).

ему, на первый планъ выдвинуто изученіе важнѣйшаго изъ факторовъ жизни—экономическаго фактора, и вполне ясно поставлено, какъ главная задача изученія, выясненіе во всѣхъ деталяхъ процесса экономическихъ измѣненій, происходившихъ въ жизни какъ отдѣльныхъ народовъ, такъ и всей Европы, но процесса не самого лишь въ себѣ (какъ то было раньше), а въ связи съ остальными явленіями и факторами жизни. Какое вліяніе оказывали экономическія явленія на ходъ событій, какое взаимодействіе существовало между экономическими факторами и тѣмъ калейдоскопомъ событій и фактовъ, который составляетъ содержаніе того, что называютъ обыкновенно исторіей,—вотъ въ чемъ дѣятель этого новаго движенія въ историко-экономической наукѣ видятъ главное условіе для созданія научной исторіи“.

Въ этихъ словахъ проф. Лучицкаго совершенно вѣрно подчеркивается важность экономическаго направленія исторіи, но мнѣ кажется, что и онъ не избѣжалъ преувеличенія. Если радикальное измѣненіе, какое онъ предсказываетъ научной исторіи, должно будетъ свестись въ исключительному господству въ наукѣ одного экономизма, какъ это представляется нѣкоторымъ послѣдователямъ направленія, то нельзя сказать, чтобы въ этомъ для науки заключался одинъ выигрышъ и не было при этомъ никакого для нея проигрыша. Дѣйствительно, прежнія представленія о народѣ, о народной жизни, о народномъ бытѣ не отличались большою ясностью и не могли не быть односторонними, приурочиваясь лишь къ проявленіямъ „народнаго духа“, понимаемаго иногда въ довольно туманномъ смыслѣ; но едва ли изученіе народной жизни далеко уйдетъ впередъ, если одна односторонность смѣнится другою. Быть можетъ, было время, когда слѣдовало съ особенною настойчивостью указывать на всю недостаточность изученія народности въ однихъ культурныхъ ея проявленіяхъ и доказывать громадную важность экономическаго фактора въ жизни народа; но теперь, когда едва ли кто-либо рѣшится подвергнуть сомнѣнію эту великую истину, приходится, наоборотъ, напоминать иногда, что процессъ экономическихъ измѣненій не составляетъ еще всей исторіи. Мы уже прямо позволимъ себѣ не согласиться съ уважаемымъ собратомъ по наукѣ, чтобы такой односторонній экономизмъ, представителемъ коего является Роджерсъ, былъ въ состояніи вполне осмыслить, что слѣдуетъ разумѣть подъ народною жизнью и ея изученіемъ. Какъ настоящій историкъ съ широкимъ и разностороннимъ образованіемъ, русскій защитникъ Роджерса, повидимому, мало интересовавшагося вопросами философіи и духовной культуры, невольно расширяетъ задачу исторической

науки, требуя, чтобы процессъ экономическихъ измѣненій изучался не самъ по себѣ, а въ своемъ взаимодействіи со всѣми другими разнородными процессами исторической жизни. Краткая формула проф. Лучицкаго можетъ быть истолкована въ болѣе широкомъ смыслѣ, чѣмъ тотъ, который долженъ былъ бы получиться, еслибы мы не стали обращать вниманія на оговорку, могущую сдѣлаться исходнымъ пунктомъ цѣлаго разсужденія съ несомнѣннымъ конечнымъ выводомъ не въ пользу исключительнаго экономизма. Прежнее изученіе народной жизни, т.-е. жизни всего народа, а не отдѣльныхъ его слоевъ, преимущественно высшихъ, и не государства, подставляемаго на мѣсто народа, особенно прежнее изученіе быта народной массы страдало отъ игнорирования такого важнаго („важнѣйшаго“) фактора въ исторіи этого быта, какимъ является вся народная экономика: пробѣлъ въ изученіи народной жизни былъ такъ многозначителенъ, что восполненіе этого пробѣла, коимъ наука обязана экономическому направленію исторіи, должно было получить значеніе цѣлаго переворота; но, какъ это часто бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, новое открытіе затмило всѣ прежнія пріобрѣтенія науки, и передъ взоромъ историка на первый планъ выдвинулись не положительныя ея стороны въ прежнемъ, подлежащія сохраненію и въ будущемъ, а стороны ея дѣйствительно слабыя, которыя съ полнымъ основаніемъ желательно было бы устранить.

Полагая, что въ разсмотрѣнномъ заявленіи скрывается нѣкоторое недоразумѣніе, и что его авторъ ни въ какомъ случаѣ не согласился бы съ крайними выводами, которые можно было бы сдѣлать изъ его заявленія, толкуя послѣднее въ смыслѣ исключительнаго и потому односторонняго экономизма, — мы готовы и вообще признать, что и во всѣхъ другихъ (замѣтимъ, всегда очень краткихъ) заявленіяхъ, встрѣчающихся въ русской литературѣ, скрываются какія-либо недоразумѣнія, и что ни одинъ образованный историкъ не согласится съ тѣми выводами, какіе иногда можно было бы сдѣлать изъ его же собственныхъ словъ, становясь при этомъ на точку зрѣнія экономическаго матеріализма, имѣющаго, какъ увидимъ, если не выработанную теорію, то прямо исключительную формулу историческаго процесса.

Иногда недоразумѣніе подобнаго рода заключается не въ словахъ самого писателя, могущихъ по краткости или недостаточной опредѣлительности быть истолкованными въ смыслѣ односторонняго экономизма, а только въ томъ толкованіи, какое этимъ словамъ дается, хотя бы прямо они на то не уполномочивали. Можно, напр., не думать, чтобы въ основѣ исторической жизни лежалъ

чисто экономическій процессъ, и въ то же время считать изученіе этого процесса наиболѣе важнымъ (напр., въ практическихъ интересахъ жизни) или наиболѣе удобнымъ (напр., въ теоретическомъ отношеніи при современномъ состояніи науки), и стремленіе выдвинуть на первый планъ изученіе экономической исторіи поѣтому еще не можетъ служить прямымъ доказательствомъ желанія свести всю исторію на одну экономику. Изученіе хозяйственной жизни народовъ можетъ быть названо „очереднымъ вопросомъ“ исторической науки, какъ это утверждаетъ, напр., г. Миллюковъ въ предисловіи къ своей книгѣ о „Государственномъ хозяйствѣ Россіи и реформѣ Петра Великаго“; но когда авторъ этого труда заявляетъ, что, какъ онъ понимаетъ „современныя задачи“ исторической науки, „наука эта ставитъ на очередь изученіе матеріальной стороны историческаго процесса, изученіе исторіи экономической и финансовой, исторіи соціальной, исторіи учреждений“,—это его заявленіе само по себѣ не даетъ ни малѣйшаго повода поднимать вопросъ объ исторіологическомъ міросозерцаніи автора. Конечно, и утвержденіе г. Миллюкова можетъ быть предметомъ спора, но спора не о *сущности* историческаго процесса, а *объ очередныхъ задачахъ исторической науки*: авторъ говоритъ не о матеріальной основѣ, а о матеріальной *сторонѣ* исторіи, тѣмъ самымъ предполагая въ ней существованіе и другихъ сторонъ, и утверждаетъ только то, что ея изученіе наука ставитъ на очередь предпочтительно передъ изученіемъ этихъ другихъ сторонъ, т.-е. совершенно обходя вопросъ о томъ или другомъ пониманіи историческаго процесса, отвлеченно взятаго; возражать автору „Государственнаго хозяйства Россіи“, основываясь на буквальномъ толкованіи его словъ, можно лишь съ той точки зрѣнія, что и изученіе культурной стороны исторіи, изученіе исторіи психологической, исторіи идей и знаній, вѣрованій и настроеній, идеаловъ и стремленій не должно ни въ какомъ случаѣ сходить съ очереди, какъ это, по-видимому, требуется нѣкоторыми сторонниками экономического направленія въ исторіи.

Предметъ исторической науки слишкомъ обширенъ и разнообразенъ, чтобы при занятіи этимъ предметомъ можно было обходиться безъ раздѣленія труда. Последнее осуществляется въ наукѣ различными способами, но, главнымъ образомъ, историки дѣлятъ между собою весь научный матеріалъ по народамъ и эпохамъ или же интересуются преимущественно тою или другою стороною жизни въ данныхъ ли мѣстахъ и временахъ, или вообще въ исторіи всего человѣчества. До сихъ поръ въ количественномъ отно-

шеніи, вѣроятно, преобладаютъ сочиненія по политической исторіи, и особенно внѣшняя политическая исторія, т.-е. исторія международныхъ отношеній, войнъ и мирныхъ договоровъ, дипломатіи и союзовъ между государствами, составляетъ по старой памяти весьма замѣтную въ смыслѣ политическихъ сочиненій часть исторической литературы, хотя и внутренняя политическая исторія занимаетъ многихъ ученыхъ. Съ социологической точки зрѣнія болѣе важное значеніе имѣетъ исторія внутренняя сравнительно съ внѣшнею, а во внутренней исторіи—культурная (духовная) и социальная (экономическая) сторона жизни сравнительно съ стороною чисто политическою, выражающеюся въ дѣятельности правительствъ и борьбы партій за власть,—тѣмъ не менѣе нельзя отрицать научный характеръ за занятіемъ внѣшней и внутренней политической исторіей, безъ знанія которой притомъ довольно мудро имѣть вѣрное представленіе о духовномъ и матеріальномъ бытѣ народа. Научность или ненаучность историческихъ занятій зависитъ не отъ предмета изслѣдованія, а отъ отношенія къ нему: можно очень научно заниматься самыми пустыми предметами и ненаучно—самыми серьезными вещами. Если масса научной работы тратится на мелочи и второстепенные вопросы, когда крупныя явленія и важныя вопросы остаются неразработанными, можно выражать сожалѣніе о *выборѣ* предмета—и тѣмъ большее, чѣмъ научнѣе *способъ* его разработки, и наоборотъ, чѣмъ менѣе наученъ этотъ способъ, но выборъ предмета удаченъ, тѣмъ болѣе приходится сожалѣть о томъ, что *методъ* не соотвѣтствуетъ *темѣ*. Когда рѣчь идетъ не о томъ, *что* изслѣдуется, а о томъ, *какъ* изслѣдованіе производится, только тогда и можетъ подниматься вопросъ о научности въ смыслѣ соблюденія извѣстныхъ условій работы, и съ этой стороны говорить объ исключительной научности лишь того или другого направленія исторической литературы не приходится. Съ другой стороны, однако, нельзя не признать и того, что научность выражается не въ одномъ лишь методѣ, а и въ общемъ представленіи исторіи; но тутъ, главнымъ образомъ, ненаучными можно назвать лишь такія направленія, которыя получаютъ исключительный характеръ, когда историкъ, по тѣмъ или другимъ причинамъ занимающійся лишь одною стороною исторической жизни, лишь свои занятія считаетъ научными въ силу одного выбора предмета, отрицая научное значеніе за работами, имѣющими другое содержаніе. Ненаучна именно всякая исключительность, разъ при опредѣленіи научности или ненаучности ставится на первый планъ вопросъ не о томъ, *какъ* чело-вѣкъ занимается, а *чѣмъ* занимается, хотя, конечно, еще гор-

шимъ зломъ бываетъ исключительный интересъ къ методу при совершенно индифферентномъ отношеніи къ предмету.

V.

Не такъ давно въ нашей ученой литературѣ было высказано мнѣніе, будто одно только занятіе „матеріальной исторіей“ можетъ быть вполнѣ научно, по крайней мѣрѣ при современномъ состояніи науки. Такое заявленіе мы относимъ тоже къ числу экономическихъ увлеченій, основанныхъ на явныхъ недоразумѣніяхъ. На немъ не мѣшаетъ также нѣсколько остановиться.

Два года тому назадъ вышла въ свѣтъ на англійскомъ языкѣ книга проф. П. Г. Виноградова „Villainage in England“, обратившая на себя большое вниманіе за границею и, между прочимъ, послужившая предметомъ обстоятельной статьи молодого историка Д. М. Петрушевскаго въ декабрьской книгѣ „Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія“ за 1892 г. Въ этой статьѣ есть нѣсколько страницъ, посвященныхъ авторомъ доказательству того, что единственно научнымъ направленіемъ исторической литературы является экономическое. Читая эти страницы, можно подумать, что авторъ книги, разбираемой рецензентомъ, самъ держится подобнаго же взгляда, но приводимая самимъ же г. Петрушевскимъ формулировка современныхъ задачъ исторической науки не даетъ ни малѣйшаго права для того, чтобы сдѣлать такое заключеніе.

Проф. Виноградовъ, дѣйствительно, до сихъ поръ занимался преимущественно экономической исторіей: таково главное значеніе его магистерской и докторской диссертаций: „Происхожденіе феодальныхъ отношеній въ лонгобардской Италіи“ и „Исслѣдованія по социальной исторіи Англіи въ средніе вѣка“, равно какъ упомянутого труда „Villainage in England“, представляющаго изъ себя переработку докторской диссертации. Нигдѣ, однако, проф. Виноградовъ не заявлялъ, чтобы предпочтеніе, оказываемое имъ „матеріальной“ исторіи, объяснялось не тѣмъ, что онъ лично чувствуетъ большую склонность и обнаруживаетъ большую способность къ занятію подобнаго рода темами, а тѣмъ, чтобы, по его мнѣнію, только занятіе именно такими темами было единственно научнымъ. Главный предметъ научныхъ изслѣдованій проф. Виноградова — западно-европейскій феодализмъ, и дѣйствительно, *въ сферѣ этого вопроса*, который долго рѣшался почти исключительно на почвѣ политической исторіи (вопросъ о разло-

женіи государства), развитіемъ исторической науки выдвинута на очередь задача изслѣдованія экономическихъ отношеній и факторовъ, легшихъ въ основу и создавшихъ многія характерныя особенности феодализма. Конечно, и самими свойствами своей спеціальной темы, и необходимостью при современномъ состояніи вопроса направить изслѣдованіе въ строго опредѣленную сторону нашъ историкъ феодализма могъ легко быть приведенъ къ тому, чтобы оборонить мимоходомъ нѣсколько выраженій, которыя легко поддаются толкованію въ смыслѣ возведенія экономизма на степень первенствующаго принципа исторической науки. Мнѣ кажется, что именно такія бѣглыя замѣчанія проф. Виноградова и должны были послужить поводомъ къ занесенію автора „Вилленджда въ Англіи“ его рецензентомъ въ число исключительныхъ сторонниковъ экономизма въ исторіи. Поэтому прежде, чѣмъ мы познакоимся съ аргументаціей г. Петрушевскаго, остановимся немного на нѣкоторыхъ его заявленіяхъ относительно общаго значенія экономического элемента въ исторіи.

Во второмъ своемъ трудѣ проф. Виноградовъ даетъ краткій очеркъ литературы по исторіи феодализаци и, между прочимъ, отмѣчаетъ тотъ фактъ, что всѣ ученые до Маурера „исходили въ своихъ работахъ отъ политическихъ и культурныхъ вопросовъ“, и, „касаясь по необходимости земледѣлія и сословной системы, они рассматривали ихъ съ общеполитической точки зрѣнія. „Явленія хозяйства, — прибавляетъ авторъ, — которыя составляютъ какъ бы *внутреннюю сторону* этихъ фактовъ, остались за предѣлами изложенія“. Но „вмѣсто того, чтобы двигаться отъ цѣлаго къ частямъ, привлекать спеціальную исторію только къ объясненію политической“, Мауреръ (и въ этомъ его заслуга) „сосредоточилъ все вокругъ разбора владѣльческихъ и хозяйственныхъ отношеній простѣйшаго союза — марки“. Это совершенно вѣрно, и, разумѣется, точка зрѣнія Маурера только *дополняетъ*, но отнюдь не *исключаетъ* прежнюю точку зрѣнія. Еще подробнѣе указалъ на то же самое проф. Виноградовъ въ другомъ своемъ сочиненіи, гдѣ онъ также противопоставляетъ ученымъ, изслѣдовавшимъ процессъ феодализаци съ политической точки зрѣнія, школу, которая разбираетъ этотъ процессъ, какъ выражается самъ авторъ, „съ *внутренней*“, такъ сказать, „*сторонъ*“, останавливаясь главнымъ образомъ „на выражающемся въ немъ (процессѣ) измѣненіи экономического строя, *отъ коего непосредственно зависятъ* измѣненія въ правѣ землевладѣнія и затѣмъ въ правѣ государственномъ“. Само собою разумѣется, что въ данномъ отношеніи проф. Виноградовъ совершенно правъ, но едва ли, казалось намъ уже при первомъ

твеніи приведенныхъ мѣстъ, позволительно обобщать явленія подобнаго рода и видѣть въ социальномъ процессѣ *внутреннюю* сторону и даже основу процесса историческаго, въ коемъ перелѣтамъ политическимъ и культурнымъ въ такомъ случаѣ будетъ принадлежать значеніе чего-то уже болѣе внѣшняго и поверхностнаго. Въ такомъ смыслѣ нашъ историкъ проговаривается, однако, не разъ, указывая, напр., на важность, какую имѣетъ для науки социальный процессъ не только самъ по себѣ, но и по заключающемуся въ немъ объясненію многоакого такого, „что происходитъ *надъ* ними въ исторіи государства и духовной культуры“. Въ одномъ еще мѣстѣ своей второй книги проф. Виноградовъ также говоритъ о томъ „историческомъ материкѣ, который служитъ прочною *основой* для всѣхъ измѣненій поверхности, а самъ поддается только медленнымъ и постепеннымъ измѣненіямъ“. Онъ не указываетъ здѣсь, что же именно можно обозначать такимъ образомъ, но изъ дальнѣйшихъ словъ его о значеніи „исторіи римскаго права въ средніе вѣка“ видно, что такимъ материкомъ онъ считаетъ „установившееся теченіе юридической и общественной жизни“. Или, напр., отмѣчая тотъ фактъ, что въ Англіи „хозяйственная практика сохраняла и выработывала группировку силъ, интересовъ и обычныхъ отношеній, гораздо болѣе многообразную и жизненную, нежели искусственная группировка по правамъ, принятая въ судахъ“, проф. Виноградовъ прибавляетъ, что „реакція этихъ послѣднихъ отношеній на поверхность заслуживаетъ такого же вниманія, какъ и давленіе поверхности на собирающіеся подъ нею факты“. Новымъ изслѣдованіямъ часто приходится констатировать, что въ обществѣ, нерѣдко наперекоръ образовавшемуся праву, дѣйствуетъ теченіе фактическихъ отношеній, парализующее дѣйствіе юридическихъ опредѣленій и прокладывающее дорогу къ развитію ихъ на новыхъ началахъ; но, съ нашей точки зрѣнія, нужно было бы еще доказать предположеніе о томъ, что одно есть основа, а другое поверхность, что одно создается естественно, а другое искусственно. Между тѣмъ, не только въ приведенномъ мѣстѣ, гдѣ на то было прямое основаніе, но и вообще проф. Виноградовъ противопоставляетъ въ своихъ книгахъ юридическую классификацію хозяйственной, какъ искусственную естественной, хотя, по его же собственному опредѣленію, цѣли общественной группировки людей всѣхъ сословій суть и хозяйственныя, и юридическія, и хотя, прибавимъ мы, естественное и искусственное, т.-е. безсознательно складывающееся и сознательно устанавливаемое бываетъ и въ области хозяйства, и въ области права, такъ что экономическій процессъ

не имѣть преимущества особой естественности въ сравненіи съ процессомъ юридическимъ, яко бы совершенно искусственнымъ.

Понятно, что по отрывочнымъ замѣчаніямъ, которыя разбросаны тамъ и сямъ и тутъ только нами сопоставлены, мы не имѣемъ права создать какое-либо представленіе объ общемъ историческомъ міросозерцаніи автора книги, сдѣлавшейся для г. Петрушевскаго предметомъ спеціального разбора; но мѣста эти и другія имъ подобныя способны тѣмъ не менѣе произвести такое впечатлѣніе, что, по мнѣнію проф. Виноградова, экономическая исторія составляетъ основу и самое, такъ сказать, „нутро“ историческаго процесса, въ коемъ политика и культура поэтому являются чѣмъ-то поверхностнымъ и внѣшнимъ. Во избѣжаніе недоразумѣнія считаемъ нужнымъ подчеркнуть, что лично мы далеки отъ того, чтобы приписывать почтенному автору такое общее пониманіе историческаго процесса: когда изъ-подъ пера проф. Виноградова выходили подобныя фразы, онъ, очевидно, думалъ не объ историческомъ процессѣ вообще, а о томъ частномъ процессѣ феодализаціи, который онъ подвергъ своему изслѣдованію, выдвинувъ притомъ, по необходимости, на первый планъ факторъ экономическій.

Обратимся теперь къ г. Петрушевскому. Разбору англійской книги проф. Виноградова онъ предпослалъ, какъ совершенно самостоятельное введеніе, теоретическую попытку формулировки основныхъ положеній „матеріальнаго“, какъ самъ онъ выражается, направленія исторіи, которое онъ отличаетъ, однако, отъ „экономическаго матеріализма“. Собственно говоря, задача г. Петрушевскаго — защитить экономическое направленіе отъ нападковъ со стороны культурныхъ историковъ, хотя неизвѣстно, гдѣ и когда культурные историки нападали на „матеріальныхъ“, — и доказать исключительное право „матеріальной“ исторіи на научность. По словамъ автора разсматриваемой статьи, представители культурнаго направленія обвиняютъ историковъ-экономистовъ въ „униженіи исторіи“, въ томъ, что они ее „превращаютъ изъ навидательной и возвышающей душу науки въ какую-то испещренную сухими цифрами счетную книгу“ и т. п. Хотя на самомъ дѣлѣ никто не оспаривалъ важнаго значенія историко-экономическихъ изслѣдованій, г. Петрушевскій представляетъ однако дѣло такимъ образомъ, будто на это направленіе поднялся даже цѣлый походъ со стороны культурныхъ историковъ, — походъ, оставшійся намъ совершенно неизвѣстнымъ. „Конечно, — соглашается онъ, — возможны историки, готовые весь историческій процессъ свести на экономическое, напр., развитіе. Но, — совершенно резонно тутъ же замѣчаетъ г. Петрушевскій, — вѣдь это крайность,

односторонность“, и онъ думаетъ поэтому, что „видѣть въ крайностяхъ точную формулировку новаго направленія—значить въ пылу полемики не понимать смысла совершающейся въ области исторической науки перемѣны“. Но, кажется намъ, увлеченіе тутъ на сторонѣ самого г. Петрушевскаго, обвиняющаго цѣлое направленіе исторической науки въ непониманіи совершающейся въ наукѣ перемѣны, даже въ какомъ-то враждебномъ къ ней отношеніи. Нѣсколько выше онъ говоритъ еще такъ: „замѣтивъ нѣсколько примѣровъ крайностей въ увлеченіи матеріальной исторіей, внолиѣ естественныхъ во всякомъ живомъ и новомъ дѣлѣ, культурные историки ударили въ набатъ, призывая всѣхъ, кому еще дороги интересы человѣческаго прогресса, идеальные порывы и стремленія, на защиту науки отъ вторженія матеріалистовъ“.

Но о какой полемикѣ идетъ здѣсь рѣчь, гдѣ и когда культурные историки били въ набатъ,—этотъ вопросъ, къ сожалѣнію, почти совсѣмъ не дебатировался въ исторической литературѣ. Г. Петрушевскій даже утверждаетъ, будто „экономическій матеріализмъ“ сталъ „браннымъ словомъ въ устахъ культурныхъ историковъ“, забывая, что это названіе придумано самими послѣдователями исторіологической концепціи Маркса и Энгельса, и притомъ объ этомъ (крайнемъ, какъ говоритъ самъ г. Петрушевскій) направленіи писали до сихъ поръ главнымъ образомъ его сторонники, тогда какъ критиковъ его почти не появлялось. Такимъ образомъ, все, что говорится г. Петрушевскимъ въ защиту „матеріальныхъ“ историковъ отъ нападокъ со стороны культурныхъ, является плодомъ какого-то недоразумѣнія. Но г. Петрушевскій на этомъ не останавливается и доказываетъ, что только экономическая исторія и можетъ быть научна. Онъ весьма рѣзко выдѣляетъ „представителей научной и пока матеріальной исторіи“ изъ среды дѣятелей исторической науки вообще, находя, что лишь первые предъявляютъ строгія требованія къ дѣлу научнаго изслѣдованія, и вмѣстѣ съ тѣмъ полагая, что остальные историки мало чѣмъ въ этомъ отношеніи отличаются отъ читающей публики, т.-е. отъ профановъ: „конечно,—говоритъ онъ,—многія изъ тѣхъ рѣшеній культурныхъ вопросовъ, которыя казались и кажутся, какъ культурнымъ историкамъ, такъ и массѣ читающей публики, безспорными, и являются твердо установленными принципами для сужденій и практической дѣятельности,—на взглядъ матеріальной исторіи оказываются даже и вовсе не рѣшеніями, а лишь апріорными утвержденіями, часто болѣе свидѣтельствующими о нравственной и художественной, чѣмъ о научной высотѣ ихъ авторовъ“... „Разногласіе между „матеріальными“ историками и исто-

риками культурными сводится у автора, между прочимъ, къ тому, что первые „не могутъ признать плодотворными широкія обобщенія культурныхъ историковъ, сознательно или безсознательно превышающихъ свою научную компетенцію“. За культурными историками, наконецъ, снисходительно признается значеніе главнымъ образомъ лишь „предшественниковъ“ настоящей науки.

Соглашаясь съ тѣмъ, что „экономическій матеріализмъ“ есть односторонность, г. Петрушевскій самъ впадаетъ, однако, въ исключительность, хотя и нѣсколько иного характера, нежели сторонники „экономическаго матеріализма“. Послѣдніе полагаютъ, что историческій процессъ по существу дѣла есть процессъ экономическій. Нашъ защитникъ „матеріальной“ исторіи этого не говоритъ, но зато утверждаетъ, будто лишь одна матеріальная исторія можетъ теперь разрабатываться вполне научнымъ образомъ. Онъ даже изображаетъ всю ненаучность культурной исторіи, слѣдующей за ростомъ идей и смѣной общественныхъ настроеній. „Безъ преувеличенія можно сказать,—замѣчаетъ онъ,—что культурный историкъ смотритъ на общественный процессъ съ точки зрѣнія индивидуальной психологіи“, ибо „для него общество все тотъ же индивидуумъ“ (гдѣ же это и у кого?); а „при такомъ взглядѣ на вещи дѣло изслѣдователя чрезвычайно облегчается, все становится совершенно просто и ясно“, такъ какъ, изучая ростъ идей, культурные историки „изолируютъ послѣднія отъ ихъ среды (какимъ это образомъ?) и ограничиваются установленіемъ отношеній между ними чисто логическимъ путемъ: матеріальная среда для нихъ въ сущности косная масса, важная постольку, поскольку она преобразовывается подъ творческимъ воздѣйствіемъ идеи, родившейся, развившейся и воплотившейся въ образъ выдающейся личности, героя“. Мы не станемъ здѣсь разбирать этой, на нашъ взглядъ, совершенно невѣрной характеристики культурной исторіи и пойдемъ далѣе.

Культурнымъ историкамъ ставятся г. Петрушевскимъ въ вину еще произвольныя обобщенія, будто бы невозможныя у историковъ „матеріальныхъ“. Научному историкъ, — говоритъ еще г. Петрушевскій, — „приходится устранять изъ научнаго оборота цѣлую массу метафоръ и другихъ чисто стилистическихъ украшеній“, точно они не встрѣчаются у самихъ послѣдователей экономическаго направленія. Самъ г. Петрушевскій говоритъ о „матеріальной средѣ“ культурныхъ идей, прежде всего, по его мнѣнію, подлежащей изученію; самъ онъ рекомендуетъ начинать послѣднее не съ „высшихъ отправленій общественнаго организма“, а съ „структуры, генезиса и развитія самого общественнаго организма и его элемен-

тарныхъ отправленій“; самъ совѣтуетъ предварительно „запастись вполнѣ отчетливымъ представленіемъ о матеріальной почвѣ, выращающей культурные плоды“, хотя и высказывается противъ выраженій: „національный характер“, „народный духъ“ и т. п., называя ихъ „запаснымъ фондомъ, откуда ученый черпаетъ каждый разъ, когда у него не хватаетъ собственныхъ средствъ распутать сложный вопросъ, остановившій его вниманіе“.

Главная мысль г. Петрушевскаго, впрочемъ, та, что въ дѣлѣ изученія общественныхъ явленій нужно начинать съ простѣйшаго, а таковымъ простѣйшимъ въ обществѣ представляется ему экономическая жизнь. Этимъ соображеніемъ онъ объясняетъ и самое происхожденіе экономического направленія: по его словамъ, представители исторической науки пришли къ мысли, въ силу которой „нужно начинать дѣло изученія общественныхъ явленій съ простѣйшихъ элементовъ и элементарнѣйшихъ процессовъ“: „матеріальная исторія и ея крайняя школа, экономическій матеріализмъ,—говоритъ онъ еще,—вызваны въ жизни новымъ научнымъ направленіемъ, сущность котораго заключается въ томъ, что его представители, прежде чѣмъ изучать развитіе высшихъ отправленій общественнаго организма, поставили своею ближайшею цѣлью изслѣдованіе структуры, генезиса и развитія самого общественнаго организма и изученіе его элементарныхъ отправленій, вовсе не предпрѣшая вопроса о роли идей въ общественномъ развитіи, и притомъ непремѣнно въ смыслѣ неблагопріятномъ для лучшей стороны человѣческой природы“. Но, во-первыхъ, вѣдь нужно еще доказать, что экономическая сторона исторіи проще и элементарнѣе стороны психологической. На самомъ дѣлѣ и въ матеріальной, и въ духовной жизни есть явленія и процессы одинаково и очень простые, и очень сложные, такъ что утверждать, будто всѣ соціальныя явленія, вырастающія на почвѣ матеріальной жизни, проще культурныхъ явленій, имѣющихъ корень въ жизни духовной, не представляется ни малѣйшей возможности. Притомъ сама матеріальная (экономическая, соціальная) жизнь народа состоитъ изъ процессовъ, въ которые всегда входитъ психическій элементъ, и иногда очень и очень сложные экономическія комбинаціи объясняются весьма простыми духовными факторами. Во-вторыхъ, г. Петрушевскій совершенно невѣрно представляетъ генезисъ „матеріальнаго“ направленія и отличнаго отъ него „экономическаго матеріализма“. Историки-экономисты были приведены къ новому направленію науки сближеніемъ, которое произошло между исторіей и политической экономіей, а от-

нюдь не какимъ-то теоретическимъ разсужденіемъ, что нужно начинать изученіе съ простѣйшаго: такое соображеніе явилось только послѣ, и именно могло явиться лишь въ смыслѣ придуманнаго позднѣе аргумента, каковую роль оно и играетъ въ разсужденіи г. Петрушевскаго. „Экономическій матеріализмъ“ вовсе не есть „крайняя школа матеріальной исторіи“, — онъ былъ вызванъ къ жизни, какъ мы увидимъ, не новымъ научнымъ направлениемъ, а потребностями соціальной борьбы; наконецъ, вопреки мнѣнію г. Петрушевскаго, „экономическій матеріализмъ“ тѣмъ и отличается, какъ цѣльная историко-философская концепція, что „предрѣшаетъ вопросъ о роли идей въ общественномъ развитіи“, именно въ томъ смыслѣ, который, судя по самымъ послѣднимъ изъ приведенныхъ словъ г. Петрушевскаго, имъ самимъ, быть можетъ, не былъ бы вполне одобренъ ¹⁾.

Мы рассматривали до сихъ поръ одни примѣры увлеченія экономическою стороною, встрѣчаемаго у современныхъ источниковъ и объясняющагося, на нашъ взглядъ, тѣмъ, что во всякому новому научному направленію всегда относятся съ преувеличенными ожиданіями и, разумѣется, съ преувеличенными требованіями: то, что объяснило многое, въ такихъ случаяхъ должно обыкновенно объяснить все. Притомъ спеціальныя занятія въ какой-либо научной области всегда создаютъ преувеличенное о ней мнѣніе: что человѣкъ лучше остальныхъ знаетъ, то и кажется ему наиболѣе важнымъ. Мы видѣли, что увлеченію экономизмомъ предшествовали увлеченія юридическое и историко-литературное, но мы могли бы прибавить къ этому еще примѣры увлеченій философскаго или естественно-историческаго, когда многіе думали

¹⁾ Недавно въ одной исторической брошюрѣ (*Л. Сениковъ*, „Народное возрѣніе на дѣятельность Іоанна Грознаго“), сдѣлана была даже попытка опредѣлить, какая точка зрѣнія („политическая, нравственно-религіозная, экономическая или какая-либо другая“) должна быть признана народною по отношенію къ событіямъ того или другого царствованія, т. е. какъ смотритъ на нихъ самъ народъ. Указывая на то, что на одно и то же событіе можно смотрѣть съ разныхъ точекъ зрѣнія, авторъ думаетъ, однако, что какая-либо изъ нихъ должна же преобладать, и вотъ по его мнѣнію, „не только преобладающею, но и самую древнюю, первоначальную точкою зрѣнія, съ которой народъ обыкновенно смотрѣлъ и смотритъ на событія своей прошлой и настоящей жизни, является точка зрѣнія экономическая“, и она „сохраняется до нашихъ дней неизмѣнною“. Смотря, по мнѣнію автора, на Ивана Грознаго исключительно съ „экономической“ точки зрѣнія, народъ воспѣвалъ этого царя въ своихъ пѣсняхъ, какъ „истиннаго представителя великорусскаго племени, носителемъ и проводникомъ его основныхъ началъ самодержавія, православія и народности“. Отмѣчаемъ это мнѣніе въ виду разнообразія направленій, въ какихъ способны развиваться экономизмъ въ исторіи.

объяснять всю исторію не изъ нея самой, а изъ абстрактныхъ законовъ духа или изъ физическихъ условій внѣшней природы. Какъ бы ни были сильны, однако, такія увлеченія, они связывались главнымъ образомъ на направленіи научныхъ работъ, не создавая при этомъ общей историко-философской концепціи культурнаго и соціальнаго развитія, каковую мы и находимъ въ „экономическомъ матеріализмѣ“.

Н. Карзевъ.



ВЕСЕННЯЯ ИЛЛЮЗИЯ

ПОВѢСТЬ.

I.

Была ранняя весна.

Въ крошечномъ садикѣ, за оградой Владимірской церкви, подъ скупыми лучами блѣднаго петербургскаго солнца, играли дѣти. На площадѣ, усыпанной свѣжимъ желтымъ пескомъ, послѣ недавняго дождя было еще сыро; деревья черныя, обнаженные, тощія, глядѣли сумрачно и непривѣтливо; въ воздухѣ по временамъ проносился влажный пронзительный вѣтеръ, но все это нисколько не мѣшало дѣтямъ веселиться. Послѣ долгаго зимняго сидѣнья въ четырехъ стѣнахъ все ихъ радовало: и эти голыя деревья, и песокъ, хрустѣвшій подъ ногами, и клочки голубого неба надъ головой. Они прыгали и звонко смѣялись, и смѣхъ ихъ, похожій на щебетанье птицъ, сливался съ чириканьемъ воробьевъ, скакавшихъ по оградѣ. Няньки въ ситцевыхъ темныхъ капотахъ и бонны въ шляпкахъ, инныя съ вязаньемъ въ рукахъ, сидѣли на скамеечкахъ; около нихъ въ плетеныхъ колясочкахъ, подъ кисейными пологами и теплыми одѣялами, пригрѣтыя солнцемъ и убаюканныя уличнымъ шумомъ, дремали малютки. Иногда, разбуженныя чѣмъ-нибудь громкимъ восклицаніемъ, крошки эти просыпались и глядѣли на небо своими свѣтлыми глазами, и, должно быть, тамъ чудилось имъ что-нибудь очень пріятное, потому что личики ихъ улыбаются, и они снова погружались въ свою сладкую дремоту. А тутъ же рядомъ съ этимъ идиллическимъ уголкомъ, за оградой, уличная жизнь съ ревомъ и грохо-

томъ катила свои пестрыя волны, заглушая и звонкіе голоса дѣтей, и чириканье отогрѣвшихся на солнцѣ воробьевъ.

На одной изъ скамеечекъ, расположенныхъ вокругъ площадки, сторбившись и опершись руками въ колѣни, одиноко сидѣлъ высокій господинъ, одѣтый по весеннему, въ сѣрое пальто и сѣрую мягкую широкополую шляпу. На видъ ему было уже лѣтъ 40; на лбу и на щекахъ прошли глубокія морщины; въ темныхъ длинныхъ волосахъ и въ бородѣ, у висковъ особенно, было много сѣдыхъ волосъ; большіе глаза его глядѣли устало и равнодушно, и, казалось, въ нихъ давно уже погасъ яркій свѣтъ молодости. Но когда онъ улыбался, слегка прищуривая глаза, — улыбка чрезвычайно молодила его, придавая лицу выраженіе почти юношеской мягкости и нѣжности. Сухія непріятныя складки у губъ исчезали, морщины на лбу какъ будто разглаживались, и въ глазахъ появлялся веселый блескъ. Это былъ художникъ, Иванъ Александровичъ Селищевъ.

Селищевъ забрелъ въ садикъ совершенно случайно, выкурить папиросу и отдохнуть, но вотъ уже цѣлый часъ прошелъ, а онъ все сидитъ, и ему не хочется встать и уйти. Давно уже онъ не чувствовалъ себя такъ легко и молодо. Влажный вѣтеръ пріятно освѣжалъ его лицо, а веселые возгласы и смѣхъ играющихъ дѣтей будили въ его душѣ давно замолкнувшія и отзвучавшія струны. Онъ съ радостнымъ удивленіемъ оглядывался вокругъ. Эти жалкія, но ждущія весны и готовые развернуть свои налившіяся почки деревья, это блѣдное, но улыбающееся по весеннему небо, веселыя, обвѣянные свѣжестью воздуха, дѣтскія личики, бѣлая стѣна церкви, освѣщенная солнцемъ — все это вмѣстѣ вызвало въ немъ то особое настроеніе, которое всегда предшествовало у него высокому подъему творческаго духа и сопровождалось смутными, неясными, но необычайно тонкими и пріятными ощущеніями. И это знакомое настроеніе, переживаемое имъ каждый разъ передъ тѣмъ, какъ писать, особенно радовало его теперь потому, что онъ давно уже не испытывалъ ничего подобнаго...

А на площадкѣ было очень шумно и весело. Дѣвочки въ пестрыхъ костюмахъ гоняли обручи, прыгали черезъ веревочку и пекли изъ песку пирожки, угощая ими воображаемыхъ гостей; мальчики боролись между собою и гонялись за дѣвочками; совсѣмъ крошечные карапузики, которыхъ старшіе не принимали еще въ свои забавы, сосредоточенно возили по кругу тачки съ пескомъ и безпрестанно попадали кому-нибудь подъ ноги. Иногда какого-нибудь изъ этихъ карапузиковъ опрокидывали на землю

вмѣстѣ съ его микроскопической тачкой, и карапузикъ, несмотря на свой серьезный видъ, поднималъ отчаянный ревъ. Няньки приходили въ смятеніе и бросались на площадку, опрокинутого великана поднимали, встряхивали, утирали ему носъ, и черезъ минуту, глядишь, онъ опять уже, какъ ни въ чемъ не бывало, ползетъ по кругу и важно волочить за собою тачку. Селищевъ съ удовольствіемъ любовался этими картинками. Но особенно его заинтересовала одна дѣвочка, лѣтъ семи, въ ярко-красномъ салопчикѣ съ пелеринкой и въ красной же шляпѣ, изъ которой ея личико выглядывало точно изъ исполнскаго цвѣтка. Длинные черные волосы развѣвались за плечами, черные глазенки такъ и сверкали. Она ни на минуту не оставалась въ покоѣ, безпрестанно затѣвая все новыя и новыя игры, и словно большая огненная бабочка носилась по садику, увлекая за собою всѣхъ. Дѣти едва поспѣвали за нею и безпрекословно подчинялись всѣмъ ея затѣямъ. Очевидно, она была царицей въ своемъ маленькомъ кружкѣ, къ ней такъ и льнули, но больше всѣхъ влюбленъ въ нее былъ тоненькій, худенькій мальчикъ въ клѣтчато курточкѣ и шотландской шапочкѣ. Онъ просто не отходилъ отъ своей царицы, ловилъ каждое ея движеніе и готовъ былъ бѣжать сломя голову по одному мановенію ея крошечнаго пальчика.

Но вотъ вдругъ игры и бѣготня разомъ прекратились. Огненная дѣвочка остановилась среди площадки и, окруженная своими подданными, о чемъ-то серьезно съ ними совѣщалась. „Ну, что-то она еще придумаетъ!“ подумалъ Селищевъ, любясь разгорѣвшимся личикомъ огненной дѣвочки и улыбаясь своей молодой улыбкой. „И какая она прелесть вотъ теперь, когда стоитъ такъ, съ приподнятымъ пальчикомъ“...

Онъ засмотрѣлся и мысленно набрасывалъ на полотно остановившуюся предъ нимъ группу дѣтей. Привычный глазъ художника ловилъ всѣ оттѣнки и сочетанія красокъ, всѣ необходимыя детали картины. Блѣдное голубое небо... и на прозрачномъ фонѣ его легкіе узоры облаченныхъ вѣтвей... свѣтлыя и темныя пятна на желтомъ пескѣ дорожки... сбоку ярко-бѣлая стѣна церкви и воробьи на оградѣ, а на первомъ планѣ, посреди площадки—огненная дѣвочка, окруженная дѣтьми, ликующая, улыбающаяся, точно слетѣвшая съ неба и собирающаяся рассказать, какъ тамъ хорошо... И у дѣтей въ глазахъ—восторгъ предъ нею и напряженное ожиданіе... „Весна!“ Вотъ именно это и есть весна... Это она—горячая, юная, „красная“ весна... „Господи, неужели наконецъ и ко мнѣ она пришла?“

Легкая дрожь пробѣжала по спинѣ Селищева, и онъ поры-

висто схватился за боковой карманъ, гдѣ у него лежала записная книжка. Ему захотѣлось какъ можно скорѣе поймать и завести въ книжку мелькнувшую предъ нимъ картинку,—онъ боялся, что этотъ моментъ внезапнаго творческаго порыва исчезнетъ безъ слѣда, забудется и снова смѣнится усталостью и скукой... какъ это часто бывало съ нимъ въ послѣднее время. Но онъ не успѣлъ достать книжку,—на площадеѣ что-то произошло. Улыбка сбѣжала съ лица огненной дѣвочки и смѣнилась выраженіемъ негодованія, смѣшаннаго съ изумленіемъ,—она указала своимъ товарищамъ на дорожку. Дѣти оглянулись, оглянулся и Селищевъ.

На дорожкѣ появился весьма странный мальчикъ, лѣтъ десяти. Онъ былъ одѣтъ въ рваное пальтишко, изъ прорѣхъ котораго тамъ и сямъ торчали клочья грязной ваты. На головѣ у него была безобразная ушастая шапка, безпрестанно сползавшая ему на глаза, а на ногахъ красовались дырявыя калоши, изъ которыхъ выглядывали голые пальцы. Онъ стоялъ довольно развязно, засунувъ руки въ рукава, и повидимому нисколько не смущался своимъ убожествомъ,—напротивъ, видъ у него былъ самый вызывающій, и по лицу его было замѣтно, что онъ, пожалуй, даже не прочь принять участіе въ общихъ играхъ.

Оправившись отъ нѣкотораго замѣшательства, вызваннаго появленіемъ незнакомца, огненная дѣвочка стремительно сорвалась съ мѣста и, разбѣгая своими пунцовыми крылышками, подбѣжала къ нему.

— Кто ты такой и зачѣмъ сюда пришелъ?—спросила она, хмурясь и стараясь казаться очень грозной.

Оборванецъ поглядѣлъ на нее съ нескрываемымъ удовольствіемъ и улыбнулся.

— Тебѣ говорить, зачѣмъ пришелъ?—повторила дѣвочка еще грознѣе и даже ножкой топнула.

Мальчуганъ улыбнулся еще шире.

— Я играть съ вами хочу!—отвѣчалъ онъ и засмѣялся дико и весело.

Дѣвочка, пораженная дерзостью оборванца, вся вспыхнула и растерянно оглянулась на товарищей, какъ бы спрашивая ихъ,—что теперь дѣлать? Къ ней подошелъ влюбленный въ нее клѣтчатый шотландецъ.

— Пошелъ отсюда вонъ!—крикнулъ онъ на оборванца то-венькимъ голосомъ.

Оборванецъ оглядѣлъ шотландца съ ногъ до головы и презрительно усмѣхнулся.

— Ишь ты прыткій какой!—сказалъ онъ.—Такъ я тебя и побоялся сейчасъ...

— Тебѣ говорить, вонъ!—продолжалъ храбриться клѣтчатый рыцарь.—Не хотимъ мы съ тобою играть,—убирайся! А не уйдешь, такъ я тебя сейчасъ...

При этой угрозѣ оборванецъ моментально преобразился. Глаза его засверкали, ушастая шапка очутилась на затылкѣ, онъ засучилъ рукава, сжалъ кулаки и сталъ въ боевую позу.

— А ну ка, ну, попробуй!—задорно воскликнулъ онъ, подступая къ шотландцу.—Попробуй!

Блѣдное личико шотландца поблѣднѣло еще больше, и, смущенный этимъ неожиданнымъ отпоромъ, онъ бросилъ полу-испуганный, полу-вопросительный взглядъ на огненную дѣвочку, какъ бы ища въ ней поддержки. Но плутовка будто и не видала этого умоляющаго взгляда своего обожателя, въ глазахъ ея свѣтилось любопытство и нетерпѣніе скорѣе узнать, чѣмъ кончится вся эта неожиданная исторія. Бѣдный шотландецъ закусилъ губы и сдѣлалъ нерѣшительный шагъ впередъ. Оборванецъ ждалъ... Тогда шотландецъ, видя, что отступать поздно, съ какимъ-то отчаяніемъ бросился на своего врага и замахнулся. Но оборванецъ былъ наготовѣ... Не прошло и мгновенія, какъ шотландецъ валялся на землѣ, а побѣдитель, съ торжествующей улыбкой, глядѣлъ на огненную дѣвочку, и даже его безобразная ушастая шапка приняла молодецкій видъ и, казалось, говорила: „ну что, каковы мы-то, а?“

— Ха-ха-ха!—расхохоталась огненная дѣвочка, присѣдая и хлопая въ ладоши.—Ха-ха-ха, какъ это смѣшно! Боже мой, какъ это смѣшно!..

Она неудержимо смѣялась; вмѣстѣ съ нею смѣялась и ея свита; засмѣялся и оборванецъ, приплясывая и притопывая своими дырjвыми калошами; смѣялась и его ушастая шапка, съѣхавшая на правое ухо; смѣялись воробы на оградѣ, вѣтви деревьевъ, солнечные лучи, зайчиками разбѣгавшіеся по землѣ. А несчастный шотландецъ, сконфуженный, едва сдерживая слезы, весь въ пыли и въ пескѣ, поднимался съ земли и тоже силился улыбнуться, хотя ему было вовсе не до смѣха. Но вѣдь нельзя же плакать, когда она смѣется!.. И, потирая ушибленную колѣнку, бѣдняжка сквозь слезы улыбнулся.

Не смѣялся только Селищевъ. У него на колѣняхъ лежала развернутая записная книжка, и онъ съ разгорѣвшимися глазами быстро набрасывалъ на бумагу эскизъ разыгравшейся предъ нимъ сценки, отъ которой вѣяло весеннимъ тепломъ и юной свѣжестью.

Въ эту минуту на церковной колокольнѣ ударили къ вечернѣ, и густыя переливчатые волны звуковъ потекли надъ садикомъ. Бонны и старыя няньки всполошились, поднялись со скамеекъ и начали сзывать своихъ питомцевъ. Слышались протяжные нѣмецкіе возгласы: „Kinderchen, kommen sie her!“ вне-ремежку съ ворчливыми причитаньями старушекъ-нянекъ: „иди, иди, батюшка, нечего прохлаждаться-то—нагулялись!“ Колясочки съ дремлющими малютками выкатывались за ограду и исчезали въ толпѣ, непрерывно текущей мимо церкви; дѣти прощались между собою, и отставшія бѣгомъ догоняли своихъ нянекъ; огненную дѣвочку тоже взяла за ручку чопорная сѣдая дама въ очкахъ и съ ридикюлемъ, поправила ей сбившуюся на бокъ шляпку, пригладила растрепавшіеся волосы и увела. Садикъ опустѣлъ, и все вокругъ стало сѣро и блѣдно, и вмѣсто веселой группы дѣтей на площадкѣ явился сторожъ съ сердитымъ, желтымъ лицомъ и съ метлою въ рукахъ,—и вскорѣ взмахи его метлы уничтожили даже слѣды маленькихъ ножекъ на влажномъ пескѣ площадки. Селищевъ съ печалью и досадою закрылъ записную книжку, машинально сунулъ ее въ карманъ и побрелъ къ выходу. Порывъ его прошелъ; на душѣ стало опять пусто и скучно, какъ и въ этомъ опустѣвшемъ садикѣ. Очутившись на улицѣ, онъ совсѣмъ потухъ. Лицо его потемнѣло и приняло обычное утомленное, брюзгливое выраженіе, онъ сторбился и, шаркая ногами, совсѣмъ какъ старикъ, пошелъ къ Невскому, держась ближе къ стѣнамъ и избѣгая толкотни. Стукъ колесъ, звонки коноей, суетливая толпа на троттуарахъ, пронзительные крики разносчиковъ и кучеровъ раздражали его; съ отвращеніемъ и скукой онъ шелъ мимо всей этой пестрой сутолоки и думалъ о томъ, какъ все это противно и надоѣло и какъ хорошо было бы уйти куда-нибудь подальше отсюда. Каждый день, каждый часъ—одно и то же, точно заведенные часы. На минутку блеснетъ что-нибудь яркое, всколыхнетъ усталую душу, разбудитъ дремлющій мозгъ и погаснетъ опять, и на душѣ станетъ еще темнѣе и холоднѣе, и ничего не хочется, не хочется даже повторенія этой свѣтлой минуты. Что это? Смерть? Разрушеніе? Преждевременная дряхлость и упадокъ силъ? Вѣроятно, да. То, что прежде радовало, волновало, вдохновляло—теперь вызываетъ только ощущеніе досады и безпокойства. Воображеніе слабѣетъ, мысль работаетъ вяло, съ натугой, минуты творческаго забвенія становятся рѣдки и блѣдны, не доставляя ни наслажденія, ни восторга; работать, создавать, думать упорно, по цѣлымъ ночамъ, надъ

какой-нибудь подробностью, отъ которой зависить жизнь картины—нѣтъ желанія, нѣтъ силъ. Да, конечно, это смерть...

Такъ думалъ Селищевъ, и даже эти горькія мысли не вызвали въ немъ бурнаго отчаянія, какъ въ прежніе годы, когда ему приходилось сомнѣваться въ себѣ. Лѣтъ десять тому назадъ Селищевъ не былъ такимъ „ходячимъ трупомъ“, какъ онъ называлъ себя теперь. Тогда онъ не жилъ, а горѣлъ, и жизнь не ползла мимо него скучнымъ обозомъ въ степи, а неслась могучимъ потокомъ, увлекаая его въ своемъ теченіи. И, Боже, что это было за время! Какія яркія мечты, какая сверкающая радуга надеждъ и плановъ, какіе высокіе порывы! А между тѣмъ онъ тогда былъ еще совсѣмъ неизвѣстнымъ, хотя и „много-обѣщающимъ“ художникомъ. Извѣстность давалась ему съ трудомъ, картины его выставались, но публика ихъ почти не замѣчала, а художественные критики въ своихъ отчетахъ упоминали о нихъ вскользь и съ весьма умѣренной похвалой. Но молодой художникъ не падалъ духомъ; онъ чувствовалъ въ себѣ силы громадныя и былъ увѣренъ, что добьется славы. Правда, и тогда случались минуты колебаній, тоски, горячихъ слезъ предъ начатою картиной, но онѣ не разслабляли, напротивъ,—послѣ этихъ тяжелыхъ минутъ еще сильнѣе разгоралась жажда работы, а порывы вдохновенія были особенно бурны и ярки. И какъ работалось тогда! Мастерская у него была маленькая, грязенькая, гдѣ-то на 17-й линіи Васильевскаго Острова; въ ней часто было холодно и сыро, и свѣтъ скупо проникалъ въ запыленные окна, выходившія на задній дворъ. Но зато была молодость, населявшая тысячами свѣтлыхъ призраковъ темные углы, былъ душевный жаръ, была вѣра въ себя, въ людей, въ жизнь и счастье. Будущее казалось ослѣпительно-прекраснымъ, и воображеніе рисовало чудныя картины. О нуждѣ, голодѣ и холодѣ не думалось,—вѣдь все это было временное, не настоящее, не *то*, что должно быть. А на самомъ дѣлѣ тогда-то только и жилось по настоящему...

Слава пришла къ Селищеву сразу и совершенно неожиданно. Онъ уже начиналъ отчаяваться и уставать въ безплодной борьбѣ съ равнодушіемъ публики. По временамъ ему приходила мысль бросить кисти и краски и уѣхать куда-нибудь въ глушь, въ провинцію, хоть учителемъ рисованія. Но какъ всегда бывало и раньше, послѣ мучительныхъ минутъ тоски и унынія въ немъ съ особенной силою вспыхнулъ творческій восторгъ. Онъ давно уже задумалъ написать слѣпота Бэду, проповѣдующаго въ пустынѣ, и теперь, подъ вліяніемъ горькихъ мыслей о своихъ неудачахъ, о всеобщемъ равнодушіи къ его таланту, образъ вдохновеннаго слѣпца,

проповѣдующаго предъ безмолвными камнями, всталъ въ его воображеніи живой и яркій. Селищевъ засѣлъ за работу, и работалъ долго и мучительно. Задача была тяжелая, почти неосуществимая—изобразить на полотнѣ ту могучую, сверхъестественную силу слова, которая даже камни заставила проснуться и отвѣтить: „аминь!“ Нужно было заставить зрителя „почувствовать“ эту силу... нужно было сосредоточить въ лицѣ Бѣды столько энергии, столько страстнаго вдохновенія, чтобы зритель понималъ идею картины и бессознательно, вмѣстѣ съ камнями, прошепталъ: „аминь!“ А эти камни... пустыня... вѣдь ее тоже надо одухотворить, надо написать ее такъ, чтобы ясно было, что она „прислушивается, что она готова отозваться“ на проповѣдь слѣпца. „И я заставлю ее заговорить!“ шепталъ Селищевъ въ бреду. „Я заставлю васъ всѣхъ заговорить... Довольно вы молчали, проходя мимо меня,—теперь вы остановитесь и выслушаете... Аминь, аминь!“ И ему чудилась уже безмолвная толпа, въ благоговѣйномъ восторгѣ стоящая предъ его картиной, и въ его воображеніи эти люди отождествлялись съ камнями пустыни, а Бѣда,—это былъ онъ самъ, непризнанный, отвергнутый художникъ.

Но прежде, чѣмъ заставить заговорить камни, нужно было заставить заговорить картину. И сколько бессонныхъ ночей провелъ Селищевъ предъ нею, сколько мукъ, сомнѣній, отчаянія пережилъ онъ въ эти бессонныя ночи! Не разъ въ припадкѣ бѣшенства Селищевъ убѣгалъ на пустынную набережную Невы, туда, гдѣ на гранитныхъ пьедесталахъ покоятся неподвижные улыбающіеся сфинксы, и, глядя въ темную воду, въ каменные лица сфинсовъ, освѣщенные зарею, думалъ о смерти. Не разъ въ изнеможеніи онъ бросалъ палитру, ломалъ муштабель и, повалившись на постель, плакалъ ядовитыми слезами, не облегчавшими, а отравлявшими душу... Въ эти минуты онъ казался себѣ такимъ жалкимъ, такимъ безсильнымъ, а его начатая картина представлялась ему смѣшной и нелѣпою мазнею. „Бросить надо—и уйти“... думалъ Селищевъ—и въ то же время чувствовалъ, что ни за что не бросить и не уйдетъ. Картина приковала его къ себѣ и сдѣлала его своимъ рабочимъ. И днемъ, и ночью, и на улицѣ, въ толпѣ, и дома, въ одиночествѣ, образъ Бѣды стоялъ предъ нимъ какъ живой; онъ видѣлъ его наяву, онъ всюду носилъ его съ собою,—стоило только, кажется, взять кисть и писать. Но едва онъ принимался за работу, стараясь уловить на полотно чудный призракъ—выходило не то, что ему мерещилось, и краски какъ будто тускнѣли, и линіи были не тѣ, и все казалось такимъ грубымъ, безжизненнымъ, безобразнымъ,—свѣтлая мечта улетала, какъ дымъ.

Селищевъ терзался, мастерская была завалена эскизами, а картина не подвигалась ни на шагъ, и блѣлое полотно съ нѣмымъ укоромъ глядѣло на измученнаго художника.

...Но вотъ однажды, послѣ одной особенно мучительной ночи, проведенной у подножія насмѣшливыхъ сфинксовъ, Селищевъ вернулся домой съ страшно напряженными нервами, съ помутившимся сознаниемъ, — и тутъ, наконецъ, пришла къ нему желанная минута... Онъ смутно, представлялъ себѣ потомъ, какъ все это произошло; онъ помнилъ только, что долго стоялъ предъ полотномъ — и вдругъ мысль его совсѣмъ просвѣтлѣла, и знакомый образъ предсталъ предъ нимъ во всей своей великолѣпной красотѣ. Онъ схватилъ кисть и торопливо, боясь потерять каждое мгновеніе, боясь, что мечта опять исчезнетъ, принялся за работу. Онъ проработалъ все утро, весь день и часть слѣдующей ночи, пока усталость не свалила его замертво на постель. А когда онъ проснулся послѣ долгаго освѣжающаго сна и взглянулъ на свою картину — онъ ахнулъ и зарыдалъ отъ восторга. Предъ нимъ стоялъ живой Бѣда, — тотъ самый величавый Бѣда, котораго Селищевъ такъ долго искалъ.

Картина произвела впечатлѣніе. На выставкѣ предъ нею всегда была большая, но молчаливая толпа, и это молчаніе говорило больше, чѣмъ нестройный шумъ фальшиво-восторженныхъ восклицаній и безсодержательныхъ похвалъ, подъ которыми часто скрываются невѣжество и непониманіе. Даже тѣ дилеттанты, которые такъ любятъ при всякомъ удобномъ случаѣ выказать свой художественный вкусъ, и голоса которыхъ всегда такъ громко и авторитетно раздаются въ концертныхъ залахъ и на художественныхъ выставкахъ — и тѣ молчали. Слепой Бѣда всѣхъ подавлялъ и покорялъ своимъ величіемъ и нравственною красотой, разлитой въ чертахъ его вдохновеннаго лица. Зрители молчали, но зато онъ говорилъ... и его слушали. А Селищевъ въ это время стоялъ гдѣ-нибудь въ темномъ углу и торжествовалъ. Мечта его сбылась, — холодные камни ожили и отделились. Имя Селищева было на языкѣ у всѣхъ; о его картинѣ говорили на улицѣ, въ гостиныхъ, въ печати; на окнахъ эстампныхъ магазиновъ красовались гравюры и фотографіи съ нея. Селищевъ сразу сталъ знаменитостью. И молодой художникъ въ первое время такъ былъ потрясенъ своимъ громаднымъ успѣхомъ, что, вернувшись съ выставки домой, не выдержалъ и разрыдался. Онъ былъ счастливъ... но странное дѣло! ему вдругъ стало страшно жаль и тѣхъ безсонныхъ ночей, которыя онъ проводилъ на набережной, при смутномъ свѣтѣ занимающейся зари, и своихъ жгучихъ мукъ, и при-

падковъ отчаянной тоски. Онъ почувствовалъ, что эти минуты никогда больше не повторятся... и ему захотѣлось вернуть ихъ и еще разъ пережить. По привычѣ онъ взглянулъ въ тотъ уголъ, гдѣ стояла картина... тамъ теперь стоялъ пустой мольбертъ. Голыя стѣны мастерской глядѣли непривѣтливо и печально, на полу валялся неубранный соръ, шаги какъ-то особенно звонко отдаются, во всѣхъ углахъ холодная и тоскливая пустота... точно отсюда только что вынесли мертвеца. Сердце Селищева сжалось, — онъ поспѣшно одѣлся и ушелъ опять на выставку...

Съ тѣхъ поръ прошло много лѣтъ. Теперь Селищевъ не проводитъ больше безсонныхъ ночей за своими картинами, не волнуется и не плачетъ, отправляя ихъ на выставку. Предчувствія его сбылись. Бѣда далъ ему славу и деньги, но зато отнялъ у него молодость, свѣжесть чувствъ, вдохновеніе. Громадное нервное напряженіе, пережитое имъ въ то время, когда онъ писалъ Бѣду, не прошло для него даромъ. Онъ весь истратился, весь вылился въ этой картинѣ, созданной подъ вліяніемъ вспышки оскорбленнаго самолюбія, и угасъ. Онъ продолжалъ писать, и хотя каждая его картина вызывала шумъ и восторженные похвалы, но ни въ одной изъ нихъ не было той законченности и страшной внутренней силы, которыми поражалъ Бѣда. Селищевъ самъ сознавалъ это и съ горечью чувствовалъ, что лучше Бѣды онъ уже никогда ничего не напишетъ. Въ немъ развивались недобѣрчивость и презрѣніе къ той самой публикѣ, одобренія которой онъ прежде такъ страстно добивался. Онъ сдѣлался холоденъ, раздражителенъ, и блага жизни, завоеванные имъ съ такимъ трудомъ, не радовали его. Теперь у него была роскошная, свѣтлая мастерская, окнами на Неву, былъ обширный кругъ знакомыхъ, были средства и почетъ, но онъ скучалъ и томился. Душевная усталость его росла. Въ началѣ это угасаніе ужаснуло его; онъ не хотѣлъ вѣрить, что талантъ его умеръ, и даже наединѣ съ самимъ собою боялся произнести страшное слово. Онъ попробовалъ встряхнуться, бросался путешествовать, ѣздилъ въ Италію и Дрезденъ поклониться Сикстинской Мадоннѣ, сходилъ съ женщинами, надѣясь, что любовь возродитъ его, — но нѣтъ! Трупъ оставался трупомъ, и послѣ каждой попытки оживить его наступало еще сильнѣйшее утомленіе. Селищевъ понялъ, что для него все кончено... но не зналъ онъ, отчего такъ скоро наступилъ конецъ... А вся суть была въ томъ, что онъ больше всего на свѣтѣ возлюбилъ свое „я“ и только для этого „я“ жилъ и работалъ. Даже на искусство онъ смотрѣлъ какъ на средство возвеличенія себя, и поэтому, когда цѣль его была достигнута,

когда всё ему поклонились и признали его — онъ потухъ, и ему не для чего стало жить.

Знакомые Селищева не понимали его. Одни думали, что онъ избалованъ успѣхами и пресыщенъ; другіе увѣряли, что художникъ просто рисуется своей разочарованностью. Вообще его не любили, — онъ всѣхъ отталкивалъ отъ себя своимъ холоднымъ, часто пренебрежительнымъ обращеніемъ и замкнутостью. Веселымъ, оживленнымъ его видали рѣдко, и въ обществѣ онъ пользовался репутаціей гордаго, непріятнаго человѣка. Какъ у прославленнаго художника, у него было много поклонниковъ, но друзей не было — даже среди женщинъ. А между тѣмъ въ его жизни были романы... но всё они оканчивались какъ-то неудачно, оставляя въ душѣ послѣ себя холодъ и взаимное озлобленіе. Женщина можетъ простить любимому человѣку все — измѣну, оскорбленіе, равнодушіе, но никогда не проститъ того, что она заблуждалась въ немъ и принимала его не за то, что онъ есть... Селищевскіе романы всегда кончались тѣмъ, что въ немъ разочаровывались. Холодъ и сумракъ его окаменѣвшей души гасили самую пламенную любовь, и обманутыя женщины уходили отъ него врагами. И онъ разставался съ ними безъ сожалѣнія и благодарности.

II.

Пройдя Владимірскую и перебравшись на солнечную сторону Невскаго, Селищевъ остановился въ раздумьѣ, не зная, куда ему теперь идти: вездѣ одинаково скучно... И, облокотившись на желѣзную рѣшетку у окна какого-то магазина, онъ разсѣянно глядѣлъ на вереницу прохожихъ, тнущуюся мимо него. Это непрерывное и однообразное движеніе подѣйствовало на него успокоительно; онъ забылся, и давешняя яркая картинка встала передъ нимъ. Голубое небо, узоры вѣтвей, площадка, озаренная солнцемъ, — и дѣвочка въ огненной шляпкѣ... Смутныя, но сладкія ощущенія поднялись въ его душѣ; вспомнилось что-то давнишнее, молодое, свѣтлое. „Что это такое?“ — подумалъ Селищевъ, и сердце его затрепетало отъ ожиданія. „Весна что-ли дѣйствуетъ“... и ему пришла на память строчка изъ чьего-то забытаго стихотворенія: „а весна, какъ струна, занываетъ въ груди, занываетъ и сердце щекочетъ“... Онъ улыбнулся и надъ этими стихами, и надъ тѣмъ, что они ему вспомнились. „Боже, еслибы ко мнѣ пришла весна! Еслибы еще хоть день, хоть часъ пожить такъ, какъ жилось когда-то... пожить свѣтлыми грезами молодости, ея

радостями, ея жгучею тоской, отъ которой сердце разгорается и въ мозгу тѣсняются ослѣпительные образы... Еслибы“...

Яркій свѣтъ вспыхнулъ въ душѣ Селищева. Передъ нимъ по прежнему грохотала и неслась пестрая уличная жизнь, но онъ ничего не видѣлъ и не слышалъ, весь отдавшись своему новому настроенію. Вся черная накипь послѣднихъ лѣтъ какъ будто спала съ него, — онъ почувствовалъ себя легко, и въ просвѣтлѣвшемъ мозгу его вставали впечатлѣнія молодости. Холодный трупъ на мгновеніе ожилъ и согрѣлся.

— Иванъ Александровичъ! Здравствуйте! — раздался около него чей-то веселый голосъ. — Селищевъ вздрогнулъ и растерянно оглянулся. Передъ нимъ стоялъ господинъ среднихъ лѣтъ, плотный, съ крупными чертами лица, рыжеватою бородою и небольшими черными глазами, сидѣвшими черезъ-чуръ глубоко въ орбитахъ, что придавало взгляду выраженіе особенной внимательности съ отбѣнкомъ того, что называютъ „оѣбъ на умѣ“. На полныхъ щекахъ его, безъ румянца, не было ни одной морщинки; только около губъ лежали двѣ глубокія складки, но складки не скорбныя и не брюзгливыя, а скорѣе насмѣшливыя: очевидно плотный господинъ часто и охотно улыбался. Онъ и теперь улыбался, поглядывая на Селищева своими внимательными, острыми глазами и стоя передъ нимъ въ смѣлой позѣ, съ засунутыми въ карманы руками и съ толстою палкой подъ мышкой. И глядя на его улыбающееся лицо, на непринужденную позу и всю его плотную фигуру, одѣтую въ хорошее, дорогое пальто, вы сейчасъ же невольно чувствовали, что господинъ этотъ живетъ на свѣтѣ не даромъ, что онъ любитъ и цѣнитъ жизнь, не теряя ни одного мгновенія, и что даже прогулка по Невскому для него не просто прогулка, а одна изъ „радостей бытія“.

Селищевъ долго смотрѣлъ на него, не узнавая, наконецъ пришелъ въ себя и съ потускнѣвшимъ лицомъ протянулъ ему руку.

— А... это вы, Александръ Герасимовичъ! Здравствуйте.

— Я, я, Александръ Герасимовичъ Потесинъ, къ вашимъ услугамъ! Не узнали? А вѣдь, кажется, не очень рѣдко встрѣчаемся... Впрочемъ, съ васъ, художниковъ, спрашивать нечего, — замечаетесь, такъ родного отца не признаете. А что, можетъ, и вправду вы въ творческомъ фазисѣ находитесь? Въ такомъ случаѣ простите... и я сейчасъ же исчезну, „яко дымъ“...

Для Селищева Потесинъ былъ послѣднимъ человекомъ, съ которымъ онъ сталъ бы говорить о своемъ душевномъ настроеніи, и поэтому Селищевъ поспѣшилъ переимѣнить разговоръ.

— Нѣтъ, нѣтъ... просто, я гулялъ... солнце въ глаза... да и такъ вообще задумался. Скука одолѣла...

— Опять скука? Вѣчная скука! Когда вы перестанете скучать, Иванъ Александровичъ? Не понимаю я васъ, чего вамъ нужно? Одного развѣ рожна, прости Господи, какъ говорила моя бабушка. Да въ самомъ дѣлѣ, поглядите-ка вокругъ. Все живетъ, все радуется, даже извозчики клячи лικуютъ. Погода-то какая, прелесть!

— Ну, какая тамъ прелесть! Сѣро, тускло...

— Сѣро? Тускло? — воскликнулъ Потесинъ съ комическимъ негодованіемъ. Ну, ужъ не знаю, чего вамъ, еще нужно послѣ этого. Впрочемъ, вы, художники, народъ странный: вамъ все подавай, такъ сказать, „экстра“... Если небо, такъ ужъ чтобы синее было, какъ на картинахъ Верещагина или по меньшей мѣрѣ, какъ выѣска на портерной; если дерево, такъ ужъ непременно какой-нибудь дубъ Мамврійскій; если заря, такъ чтобы послѣ нея цѣлый день въ глазахъ огненные круги ходили... и все въ этомъ родѣ. Художественныя натуры, чтѣ говорить! — и психологія у васъ особенная. А мы люди простые, довольны и малымъ.

Селищевъ молчалъ, — ему не хотѣлось болтать, и онъ былъ радъ, что Потесинъ находится въ разговорчивомъ настроеніи, — хотя вообще онъ не любилъ Потесинскихъ разговоровъ. Ему не нравились его „словечки“, его дурной тонъ, но въ особенности онъ терпѣть не могъ, когда Потесинъ начиналъ говорить о себѣ съ оттѣнкомъ какого-то напускного, неискренняго самоуниженія, чтѣ уже совсѣмъ не шло къ человѣку, составившему себѣ довольно громкое имя въ литературномъ мірѣ своими довольно талантливыми публицистическими статьями. И Селищева всегда коробило при этихъ: „куда ужъ намъ!“ „гдѣ ужъ намъ съ вами тягаться!“ „мы люди простые, сѣрые!“ Что-то такое мелочное, мѣщанское было въ этой манерѣ говорить о себѣ не то, чтѣ думаешь, — а Селищевъ зналъ, что Потесинъ страшно самолюбивъ и чрезвычайно высоко цѣнитъ свой талантъ.

Они пошли вмѣстѣ по направленію къ Адмиралтейству. Рядомъ съ плечистымъ, бодро и самоувѣренно выступавшимъ Потесинымъ Селищевъ казался совсѣмъ старикомъ. Онъ шелъ, низко опустивъ голову и глядя въ землю, а Потесинъ высоко несъ свою большую голову и весело поглядывалъ по сторонамъ. Противъ Казанскаго собора онъ вдругъ остановился.

— Послушайте, Иванъ Александровичъ, куда же это однако мы съ вами идемъ?

— Да такъ, куда. По крайней мѣрѣ, я...

— Ну да, вы, это другое дѣло. Вы — мечтатель по профессіи. А я, грѣшный человѣкъ, къ мечтаніямъ совсѣмъ не склоненъ, стою за „трезвую правду“ и подумываю о томъ, что не дурно было бы теперь закусить. Какъ вы на этотъ счетъ полагаете?

— Да что же... я пожалуй...

— Ну вотъ и отлично! Пойдемте къ Палкину, — туда на дняхъ свѣжыхъ устрицъ привезли.

— Пойдемте, — покорно согласился Селищевъ.

— „При-аскон-но“! какъ говорятъ многоуважаемые герои Глѣба Успенскаго. Я нынче все больше этого писателя читаю; потому онъ теперь въ модѣ и нельзя же отстать отъ вѣка. Не вѣждой назовутъ, а то еще похуже, — времена строгія!

Они повернули назадъ. Потесинъ совсѣмъ развеселился и говорилъ безъ умолку, помахивая своей тростью. Онъ всегда становился особенно ѣдокъ и остроуменъ, когда рѣчь заходила о писателяхъ того лагеря, въ которомъ онъ самъ нѣкогда состоялъ и откуда ушелъ при наступленіи „новыхъ вѣяній“. Теперь онъ работалъ въ журналѣ другого направленія и при случаѣ жестоко задѣвалъ своихъ прежнихъ товарищей по перу.

— Ахъ, да, кстати! — воскликнулъ онъ, разсмѣявшись и поглядывая на Селищева своими высматривающими глазами. — Будете завтра у Аристарховны?

— А что тамъ такое? — разсѣянно спросилъ Селищевъ.

— Да ничего, — вторично, а вы уже забыли? По вторникамъ у нея собираются.

— Не знаю, буду ли. Давно не былъ... неловко, да и не хочется.

— Напрасно, напрасно, — а я совѣтовалъ бы вамъ пойти.

— Почему? — сказалъ Селищевъ, нетерпѣливо пожимая плечами.

— У нея теперь весело, — продолжалъ Потесинъ, посмѣиваясь. — Племянница къ ней пріѣхала откуда-то изъ Харькова, что-ли, — не знаю право, но, скажу я вамъ, фіалка настоящая, — такъ и благоухаетъ. Вамъ, какъ художнику, непременно надо ее видѣть. У насъ въ Петербургѣ такихъ нѣтъ.

— Что же такое въ ней особенное?

— Да все... Говорю вамъ, — фіалка! Свѣжесть этакая, невинность, наивность какая-то дѣтская, и хороша, какъ... какъ, ну не знаю что. Да вотъ ступайте — увидите сами. Жаль одно, — на курсы собирается, — а куда ей на курсы? Я давеча глядѣлъ на нее, и мнѣ все хотѣлось крикнуть ей: „стой!“ — помните, Тургеневское? И вдругъ этакая-то прелесть — на курсы! Ну, представьте

себѣ, — юная, чистая, будетъ въ какой-нибудь вонючей препаровочной изучать анатомію, фізіологію... разные косматые субъекты начнутъ ее развивать, таскать ей за голенищемъ запрещенныя енижонки, а въ промежуткахъ между рѣзками Лассала и „Капиталомъ“ Маркса нашептывать о свободной любви... Не обидно ли это?

— Не понимаю, какое вамъ дѣло, — усмѣхнулся Селищевъ.

— Просто жалъ. Испортать ее тамъ, на курсахъ, да и эта дура, Аристарховна, собьетъ ее съ толку своей выдохшейся писаревщиной. Нѣтъ, ее надо спасти!

— Такъ зачѣмъ же дѣло стало? Спасайте!

— Нѣтъ, ужъ куда намъ! — впадая въ свой обычный тонъ, произнесъ Потесинъ. — Мы для этого не годимся... тутъ нуженъ человѣкъ съ „внутреннимъ огнемъ“... вотъ хоть вы, напримѣръ...

— Какой у меня огонь!.. — проговорилъ Селищевъ съ горечью.

— Вы — художникъ! У васъ тамъ и нервы, и струны, и всякая такая исторія, которая на женщинъ дѣйствуетъ обаятельно. А у насъ, у „трезвенниковъ“, — только одинъ языкъ, да и тотъ часто вмѣсто „трезвой правды“ северныя слова говорить. Женщины северныхъ словъ не любятъ и боятся. Нѣтъ, будь на вашемъ мѣстѣ, а бы эту Галю или Ганю, — позабылъ, какъ ее зовутъ, — ни за что не отдалъ бы въ лапы нашимъ „лучшимъ людямъ“, какъ они себя величаютъ въ своихъ романахъ и повѣстяхъ. Кстати, она уже очевидно объ васъ наслышана и благоговѣетъ передъ вами...

Селищевъ поморщился.

— Ну ужъ это... не люблю я этихъ благоговѣній и поклоненій... Ужъ очень это смѣшно...

— Экъ вы избалованы-то! — произнесъ Потесинъ съ усмѣшкой. — Но вы не воображайте, что она объ васъ говорила какія-нибудь „хвалебныя словеса“. Нѣтъ, она молчала, — она все больше молчитъ и слушаетъ, — но еслибы вы видѣли, какъ у нея загорѣлись глазки, когда кто-то произнесъ вашу фамилію... Э, да что! Эгоистище вы страшный и до того очерствѣли, что васъ никакая Галя не пройметъ.

Слова эти больно кольнули Селищева, потому что Потесинъ, можетъ быть, безъ умысла затронулъ самое больное мѣсто въ его душѣ, и сказалъ ему такъ грубо и рѣзко то, о чемъ Селищевъ даже наединѣ съ самимъ собою боялся думать. Ему стало досадно и непріятно: непріятно особенно потому, что онъ не любилъ и не уважалъ Потесина. А между тѣмъ изъ всѣхъ мно-

гочисленныхъ знакомыхъ Селищева именно только одинъ Потесинъ позволялъ себѣ касаться его душевныхъ ранъ и часто попадалъ весьма мѣтко. „Какое грубое животное!“ — подумалъ Селищевъ почти со злостью. „И какое право имѣеть онъ думать, что я очерствѣлъ?“ „Но вѣдь это правда“... — возразилъ онъ сейчасъ же самому себѣ, и имъ овладѣлъ ужасъ при мысли, что даже посторонніе начинаютъ замѣчать въ немъ признаки его умственного и нравственного разложенія. Эта мысль до того была мучительна, что онъ даже остановился. Потесинъ поглядѣлъ на него съ изумленіемъ..

— Что же это вы, батенька? Удирать, что-ли, собрались? Или позабыли, что мы къ Палкину идемъ?

— Ахъ, да!... — произнесъ Селищевъ съ болѣзненной гримасой. — Ну, пойдете... все равно!

Потесинъ расхохотался.

— Неужели это на васъ такъ подѣйствовалъ мой рассказъ о Галѣ, что вы даже и объ устрицахъ забыли? — воскликнулъ онъ, зорко присматриваясь къ Селищеву. — Экій вы удивительный народъ — художники; до чего въ васъ впечатлительность-то развита! Пари держу, что вамъ ужъ что-нибудь такое мерещится... какія-нибудь линіи, контуры, краски... Не живете вы, господа, а мечтаете, — скучная это исторія! И вся ваша слава, ей Богу, не стоитъ одного хорошаго обѣда. Къ чорту славу, и да здравствуетъ здоровый желудокъ!.. Идете!

И, подхвативъ Селищева подъ-руку, Потесинъ весело увлекъ его впередъ.

III.

Татьяна Аристарховна Зміевская, или просто „Аристарховна“, какъ называли ее между собою ея многочисленные знакомые, жила на Пушкинской улицѣ, въ большомъ домѣ, какъ разъ напротивъ памятника. Въ описываемое время ей было уже лѣтъ за пятьдесятъ, и сама она съ гордостью называла себя „женщиной шестидесятихъ годовъ“, потому что молодость ея совпала съ этою многозначительною для русскаго общества эпохой. Ей было лѣтъ 25, когда она, оставивъ своего мужа, въ первый разъ пріѣхала въ Петербургъ искать „честнаго и полезнаго“ дѣла; но, какъ у большинства людей того времени, у нея много было хорошихъ намѣреній, но совершенно не было умѣнья осуществить ихъ на практикѣ. Пылкая, увлекающаяся, довѣрчивая, она хваталась за все, — устраивала швейныя мастерскія и

переплетныя на артельныхъ началахъ, переводила и издавала хорошія книжки, затѣвала публичныя лекціи, и, разумѣется, ничего изъ этого не выходило, потому что не было ни опытности, ни выдержки. Предпріятія ея лопались одно за другимъ, какъ мыльные пузыри. Но Татьяна Аристарховна не падала духомъ; похоронивъ одно дѣло, она немедленно принималась за другое, фантазировала, кипятилась, разгоралась—и опять прогорала. Въ головѣ ея постоянно крутился цѣлый вихрь плановъ и проектовъ; можетъ быть, оттого-то она и переносила такъ легко свои неудачи. У нея была счастливая натура ребенка, который, ушибившись, сейчасъ же тянется къ игрушкѣ и, забавляясь ея блестящей позолотой, забываетъ и свою боль, и слезы.

Въ самый разгаръ ея петербургской дѣятельности у Татьяны Аристарховны умеръ мужъ, и смерть его сильно огорчила и поразила ее. Онъ былъ почти вдвое старше ея, и она никогда не любила его. Выдали ее замужъ совсѣмъ дѣвочкой; онъ былъ уже человѣкъ пожившій, больной, часто брюзжалъ и любилъ выпить, а ей хотѣлось жить, и она скучала съ нимъ. Единственнымъ развлеченіемъ ея были книги и журналы, и Татьяна Аристарховна часто по цѣлымъ ночамъ засиживалась надъ чтеніемъ... Въ эти-то минуты и созрѣлъ у нея планъ уйти отъ мужа; она вдругъ почти возненавидѣла и свою тѣсную усадьбу, и сытую, лѣнивую жизнь, и мужа съ его туфлями, халатомъ и трубкой. Объявляя мужу о своемъ рѣшеніи уѣхать, Татьяна Аристарховна ожидала бури и приготовилась къ борьбѣ... Но къ удивленію ея мужъ только какъ-то подѣтски испугался, потомъ заплакалъ, выронилъ трубку на полъ и махнулъ рукой. Въ Петербургѣ Татьяна Аристарховна совершенно позабыла о мужѣ, хотя онъ и напоминалъ ей о себѣ, присылая ей аккуратно каждый мѣсяцъ деньги и письма съ просьбой писать. Но она не торопилась отвѣчать на эти письма, и часто проходили мѣсяцы прежде, чѣмъ она посылала ему коротенькую записочку съ увѣдомленіемъ, что „деньги получены“.—Теперь, когда его уже не было на свѣтѣ, все это ей вспомнилось, и она почувствовала себя виновной предъ больнымъ, одинокимъ старикомъ, который по своему ее любилъ и до самой смерти ждалъ отъ нея вѣсточки, сидя на одномъ и томъ же мѣстѣ, у окна, мимо котораго бѣжала большая почтовая дорога. Но вѣсточки не было, и онъ такъ и умеръ на креслѣ, съ лицомъ, обращеннымъ на большую дорогу. Татьянѣ Аристарховнѣ показывали и это кресло съ продавленнымъ сидѣньемъ, и окно, около котораго оно стояло, и засаленныя карты, на которыхъ онъ гадалъ, раскладывая свои безконечныя пасьянсы, и даже отпечатокъ графина съ водкой на

подоконникѣ. „Выпьютъ рюмочку, да карточки и разложатъ; разложатъ карточки, да въ окошко и поглядятъ“, рассказывала дряхлая старушка-ключница, ходившая за покойнымъ баринномъ. „Ну, скажутъ, Дорошеевна, нынче отъ барыни безпремѣнно письмецо будетъ“... И опять рюмочку выпьютъ. А какъ подойдетъ дѣло къ вечеру — „эхъ, скажутъ, Дорошеевна, убери ты отъ меня эти карты провлятыя, врутъ онѣ все! нѣтъ намъ письмеца, — видно, куковать кукушкѣ до лѣта, а намъ съ тобой до вѣка“... И опять рюмочку... Такъ съ эстимъ и померли“.

Татьяна Аристарховна съ горькимъ чувствомъ слушала рассказъ старухи и плакала. Въ домѣ было тихо и пусто; изъ оконъ виднѣлись растрепанныя крыши убогихъ избъ; грязныя сгорбленныя бабы съ коромыслами на плечахъ тяжело шлепали по осеннимъ лужамъ; сѣрая, печальная, деревенская жизнь медленно копошилась вокругъ. И въ первый разъ Татьянѣ Аристарховнѣ пришла въ голову мысль, что вся ея петербургская жизнь была мыльнымъ пузыремъ, и что она искала „хорошаго, честнаго дѣла“ не тамъ, гдѣ нужно...

Но въ деревнѣ Татьяна Аристарховна все-таки не осталась. Ее тянуло въ Петербургъ; она привыкла уже къ шуму и возбуждающему разнообразію впечатлѣній петербургской жизни, и деревня ее пугала. Ей нужны были книги, общество, разговоры, а здѣсь она видѣла только растрепанныя крыши, измученныя лица и молчаливые поклонны. Въ Петербургъ ей все было понятно, и она чувствовала себя легко и свободно, — деревня ее удручала, и ей казалось здѣсь, что она передъ кѣмъ-то и за что-то виновата. Татьяна Аристарховна рѣшила ликвидировать свои дѣла, усадьбу продала, землю отдала крестьянамъ и съ облегченнымъ сердцемъ возвратилась въ Петербургъ.

Теперь Татьяна Аристарховна и постарѣла, и посѣдѣла, но несмотря на это въ характерѣ ея сохранилось много свѣжести и почти юношеской отзывчивости. Пережитый ею Sturm- und Drang-Periode наложилъ на нее неизгладимый отпечатокъ, и она до сихъ поръ вспоминаетъ о томъ времени съ восторгомъ, съ благоговѣніемъ и слезами. Многихъ тогдашнихъ дѣятелей она знала лично и любила о нихъ рассказывать, но въ особенности преклонялась она передъ Писаревымъ и потихоньку признавалась, что была даже „неравнодушна“ къ нему. Сочиненія его лежали у нея всегда на письменномъ столѣ, а въ завѣтной шкапулочкѣ хранилась, какъ святыня, записочка, писанная его рукою. Все это, можетъ быть, было смѣшно, но трогательно и во всякомъ случаѣ симпатично. Правда, среди усталыхъ, раздражен-

ныхъ, недовѣрчивыхъ или черезъ-чуръ практическихъ „дѣтей“ восьмидесятыхъ годовъ, Татьяна Аристарховна съ своими увлеченіями и порывами представляла нѣкоторый анахронизмъ, и поэтому ее многіе не понимали и по северной русской привычкѣ смѣялись надъ нею за-глаза. Но Татьяна Аристарховна не подозрѣвала этого. Проживъ полвѣка, она такъ же мало знала людей, какъ и въ дни своей юности, и слонна была видѣть въ нихъ болѣе хорошее, чѣмъ дурное. Притомъ же она до сихъ поръ никакъ не могла приспособиться къ новымъ временамъ и, благодаря этому, часто попадала въ смѣшныя и неловкія положенія. Въ ее время люди были цѣлнѣе, направленія опредѣленнѣе, и даже при первомъ знакомствѣ съ человѣкомъ сразу можно было сказать, съ кѣмъ имѣешь дѣло—съ своимъ или съ чужимъ. Теперь и люди, и нравы стали другіе,—все спуталось, обезцвѣтилось и расплылось на общемъ блѣдномъ и неясномъ фонѣ. Никто ни за кого не могъ ручаться; никто не былъ застрахованъ отъ какого-нибудь страннаго и неожиданнаго недоразумѣнія. Случалось, что сегодня ты бесѣдуешь съ человѣкомъ о самыхъ высокихъ предметахъ и открываешь ему свою душу, а на завтра, оказывается, собесѣдникъ въ какихъ-нибудь „Помогахъ“ на тебя пасквиль сочинилъ. Во избѣжаніе такихъ пріятныхъ сюрпризовъ приходилось или сидѣть въ своей норѣ, или, скрѣпя сердце, идти въ толпу съ закрытыми глазами. Татьяна Аристарховна не способна была спрятаться въ нору; она любила жить „на міру“ и не боялась грязи, потому что часто ее совсѣмъ не замѣчала. Въ домѣ ее постоянно толпился народъ всевозможныхъ профессій, партій и оттѣнковъ, и всѣхъ Татьяна Аристарховна принимала съ одинаковымъ радушіемъ. Тѣ, которые мало знали ее, возмущались этимъ и называли Татьяну Аристарховну „оппортьюнисткой“, но, познакомившись съ нею поближе, прощали всѣ ея слабости, безоруженные добродушіемъ ея и какимъ-то чистомладенческимъ невѣденіемъ жизни.

Такова была эта „Аристарховна“, къ которой Потесинъ такъ усердно приглашалъ Селищева, встрѣтившись съ нимъ на Невскомъ проспектѣ.

Уже стемнѣло, и въ столовой Татьяны Аристарховны, надъ чайнымъ столомъ, ярко горѣла большая височая лампа. На одномъ концѣ стола во всю мочь кипѣлъ самоваръ, за которымъ сидѣло какое-то худенькое, маленькое существо съ вроткимъ, сморщеннымъ личикомъ и тоненькой косичкой, аккуратно свернутой на затылкѣ. Это была одна изъ провинціальныхъ знакомыхъ Татьяны

Аристарховны, прїѣхавшая въ Петербургъ искать занятій и пока прїютившаяся у нея (Татьяна Аристарховна вѣчно кого-нибудь пристроивала, и въ квартирѣ ея постоянно кто-нибудь „временно“ проживалъ). Въ углу, у окна, выходившаго на улицу и раствореннаго настежь, облокотившись на подоконникъ, стояла молодая дѣвушка и глядѣла внизъ; видна была только ея длинная свѣтлорусая коса, свалившаяся на плечо, да бѣлая рука, на которую она склонила голову. Сама Татьяна Аристарховна, въ какой-то красной фланелевой кофточкѣ оригинальнаго фасона, съ подстриженными полу-сѣдыми волосами, ходила взадъ и впередъ по комнатѣ и курила папиросу (курила она всегда только при близкихъ знакомыхъ, а отъ другихъ почему-то скрывала эту слабость). Гости еще не собирались—было рано—и въ квартирѣ царила тишина, — только самоваръ шумѣлъ на столѣ, да съ улицы, въ растворенное окно, вѣстѣ съ струей свѣжаго вечерняго воздуха врывался глухой грохотъ.

— Ганя! — сказала Татьяна Аристарховна, обращаясь къ дѣвушкѣ и вздрагивая плечами:—будетъ тебѣ торчать у окна,—свѣжо, простудишься!

— Ахъ, нѣтъ, тетя,—отозвалась Ганя, не оборачиваясь.— Тепло нынче, я совсѣмъ не озябла.

— Да чего смотрѣть-то тамъ? Успѣешь еще, нагладисься.

— Нѣтъ, тетя,—еще немножко! Хорошо очень...

Татьяна Аристарховна подошла къ окну и заглянула внизъ. Прямо передъ окномъ неясно рисовался стройный силуэтъ памятника, полу-освѣщенный мерцающимъ отблескомъ фонарей; направо и налево, словно золотыя цѣпочки, тянулись ряды огней; мостовая гремѣла подъ копытами лошадей и колесами экипажей, и по стѣнамъ домовъ безпрестанно проносились ихъ громадныя, уродливыя тѣни. Въ нижнихъ этажахъ рѣзко очерчивались ярко-освѣщенные четырехъ-угольники оконъ, и за стеклами, при блескѣ газа, виднѣлись горы фруктовъ, разноцвѣтныя пирамиды бутылокъ, пурпуровые куски мяса на мраморныхъ подоконникахъ, овощи, зелень, хрустальная посуда, сверкающая миллионами красныхъ и голубыхъ искръ. А тамъ, вдали, надъ Невскимъ проспектомъ дрожало голубое сіяніе электричества, и оттуда доносился непрерывный гулъ и грохотъ,—точно тамъ безъ усталости работала какая-то гигантская машина съ тысячею колесъ.

— Нашла чѣмъ восхищаться! — сказала Татьяна Аристарховна, усмѣхаясь.— Ну что тутъ хорошаго? Тѣснота, шумъ, вонь,—у васъ на хуторѣ, я думаю, теперь въ тысячу разъ лучше. Цвѣтеть все, соловьи поютъ,—не правда ли?

Дѣвушка помолчала, не отрываясь отъ окна.

— Скучно очень, тихо...— сказала она наконецъ.

— А тебѣ шума хочется?

— Не шума...— возразила Ганя нерѣшительно.

— Ну, а чего же?

— Людей... жизни...

Татьяна Аристарховна засмѣялась и ласково погладила Ганю по головѣ. Ей вспомнилось, какъ она, вотъ такая же юная, свѣжая, когда-то пріѣхала въ первый разъ въ Петербургъ, и также ей хотѣлось жить, также манили ее и люди, и этотъ таинственный громадный городъ, гремѣвшій тамъ внизу, и смутныя, розовыя мечты. Она вздохнула.

— Ребенокъ ты, Ганя! Не понимаешь еще ты ничего, мечтаешь. Жизнь не пріаникъ.

— Я знаю, что не пріаникъ.

— Ничего ты не знаешь. Вотъ мы съ Юліей Павловной знаемъ,—не правда ли?—обратилась она къ особѣ за самоваромъ.

Та отвѣчала ей блѣдною улыбкой. По правдѣ сказать, она даже и не слышала, о чемъ говорили, потому что въ это время озабоченно думала,—удастся ли ей какъ-нибудь пристроиться въ Петербургѣ, или нѣтъ? И ей было не до разговоровъ.

— Впрочемъ, зачѣмъ же это я тебя огорчаю?—продолжала Татьяна Аристарховна.—Мечтай, наслаждайся, сдѣлай милость,—это вѣдь я просто отъ зависти ворчу, а сама бы хоть сейчасъ готова съ тобой помѣняться. Хочешь?

Плечи Гани задрожали отъ сдержаннаго смѣха.

— Что тебѣ смѣшно? Ахъ, ты, плутовка! Но, однако, все-таки затвори окно, а то какъ разъ схватишь какой-нибудь плевритъ или бронхитъ, — Петербургъ съ новичками шутить не любитъ.

Ганя съ сожалѣніемъ закрыла окно, но не ушла отъ него и продолжала смотрѣть на улицу.

Въ передней послышался громкій звонокъ. Татьяна Аристарховна поспѣшно затушила папиросу и, помахавъ въ воздухъ платкомъ, чтобы разогнать дымъ, ушла за столъ.

Въ столовую вошли Потесинъ и Селищевъ. Потесинъ имѣлъ свой всегдашній улыбающійся видъ здороваго и довольнаго жизнью человѣка; художникъ былъ сумраченъ и невеселъ. Ему вовсе не хотѣлось сегодня быть у Зміевской, но Потесинъ ворвался къ нему на квартиру, наговорилъ, по обыкновенію, чуть не съ три-короба, и почти насильно потащилъ на Пушкинскую.

— Ну-съ, здравствуйте, добрыйшаа Татьяна Аристарховна!—

развязно воскликнул Потесинъ, раскланиваясь съ дамами.—На улицѣ-то благодать какая, вы представить себѣ не можете. Даже тополемъ пахнетъ!

— Ну, ужъ это вы воображаете,—возразила Татьяна Аристарховна и обратилась къ Селищеву.—Наконецъ-то вы, Иванъ Александровичъ! Совсѣмъ пропали,—сто лѣтъ я васъ не видала. Что это съ вами? Пишете?

— Нѣтъ,—холодно отвѣчалъ Селищевъ, въ душѣ проклиная и Потесина, вытаскиваемаго его „на люди“, и свою безхарактерность, и болтливость хозяйки.

— Въ такомъ случаѣ это непростительно забывать своихъ старыхъ знакомыхъ. Это моя племянница, Агаея Михайловна,—прибавила она, подводя Селищева къ Ганѣ.

Дѣвушка неловко протянула Селищеву руку, и онъ, мелькомъ взглянувъ на ея круглое, смущенное лицо, съ потушенными глазами, подумалъ: „Совсѣмъ не хороша... и чего Потесинъ восхищался? Полтавская булка какая-то“... Потесинъ, между тѣмъ, уже расположился за самоваромъ и, принимая изъ рукъ Юліи Павловны дымящійся стаканъ, говорилъ:

— Ну ужъ и денегъ сегодня выдался,—съ утра дома не былъ! Прямо изъ редакціи поѣхалъ на выставку въ Академію—разъ! Оттуда къ Ивану Александровичу—два, и съ нимъ уже сюда—три. И кажется мы къ вамъ даже раньше вашего завсегдатая—Орѣшниковъ. Гдѣ онъ? Вѣдь онъ у васъ почти и днюетъ, и ночуетъ.

— Вѣчно вы преувеличиваете! Расскажите лучше о выставкѣ.

— А вы еще не были?

— Нѣтъ,—вотъ завтра съ Ганей собираемся. Есть что-нибудь хорошее?

Потесинъ бросилъ быстрый взглядъ на Селищева,—ему не хотѣлось высказывать своего мнѣнія о выставкѣ при художникѣ, и онъ ожидалъ, что Селищевъ заговоритъ. Но художникъ молчалъ, глядя въ свой стаканъ съ чаемъ, и Потесинъ произнесъ:

— Да нѣтъ,—хорошаго, т.-е. такого, предъ чѣмъ бы остановился, я не видѣлъ. Все блѣдно и сѣро, и манной кашкой отзывается. Сюжетцы больше такіе невинные, дѣтскіе,—какая-нибудь „Дѣвочка у ручья“, „Гуси на водопой“ или что-нибудь въ этомъ родѣ. А если и попадется среди этихъ „дѣвочекъ“ и „гусей“ что-нибудь посерьезнѣе, то неподѣланное, размазанное, и смотрѣть даже жалко. Видишь, что художникъ задался-то написать вещь крупную, да силенокъ не хватило. Пыжился, пыжился—и лопнулъ. Точно вотъ ребенокъ, который собирается

кого-нибудь напугать и дѣлаетъ страшное лицо, а самъ, того и гляди, струсить, сконфузиться и первый спрячется и разревется.

При послѣднихъ словахъ Потесина Татьяна Аристарховна встала съ мѣста и принялась взадъ и впередъ ходить по комнатѣ, что у нея было всегда признакомъ душевнаго волненія. Когда Потесинъ кончилъ, она остановилась и съ жаромъ воскликнула.

— Вотъ терпѣть не могу я въ васъ, Александръ Герасимовичъ, этой манеры вѣчно ругаться и осуждать все! Постоянно вы ворчите,—да и не вы одни, а всѣ теперь ворчатъ. То дурно, это не хорошо... Кучу словъ наговорите, а толку нѣтъ,—одни общія мѣста. Сѣро, шаблонно, талантовъ нѣтъ—только и слышишь отъ васъ отъ всѣхъ. Все это уже надоѣло, и все это оттого, что вамъ самимъ сказать нечего. И какъ это нѣтъ талантовъ? Есть они, да вы ихъ не хотите знать! Вы только браниться мастера, а таланту не брань нужна, а поддержка...

— То-есть хвалить прикажете?—спросилъ Потесинъ, хладнокровно прихлебывая чай и видимо потѣшаясь вспышкой хозяйки.

— Зачѣмъ хвалить,—я этого не говорю, а поощрять, указывать молодому таланту путь, ободрять...

— Гладить его по головкѣ, конфетку показать,—перебилъ Потесинъ.

— Но не бранить, не смѣяться надъ нимъ, какъ вы это дѣлаете!—не слушая его, продолжала Татьяна Аристарховна.

— Вашъ Писаревъ тоже ругался, да еще какъ!

— Что вы мнѣ о Писаревѣ говорите,—Писаревъ былъ противъ направленія, а не противъ талантовъ,—таланты онъ признавалъ...

— Потому что они въ его время были. А теперь гдѣ они, ваши молодые таланты? Укажите ихъ,—я посмотрю.

— Да вотъ вамъ талантъ! — воскликнула разгоряченная Татьяна Аристарховна, указывая на Селищева.

Потесинъ поглядѣлъ на Селищева и разсмѣялся.

— Увлечлись, почтеннѣйшая Татьяна Аристарховна! Во-первыхъ, какой же онъ „молодой“ талантъ, когда у него вонъ борода сѣдая, а во-вторыхъ, за что же его поощрять и конфетками кормить, когда онъ теперь и не пишетъ ничего.

Но Татьяна Аристарховна и сама видѣла, что „увлеклась“,—съ ней это часто бывало въ спорахъ,—и, значительно понизивъ тонъ, сказала:

— А вотъ вы, писатели-публицисты, должны это узнать, отчего онъ не пишетъ, да разъяснить...

— Да приговаривать: „писать, писать, писать“! — смѣшливо подхватилъ Потесинъ.

— А въ самомъ дѣлѣ, отчего вы не пишете, Иванъ Александровичъ? — обратилась хозяйка къ Селищеву.

Этотъ вопросъ, который въ послѣднее время часто предлагался художнику его знакомыми, всегда раздражалъ его, и онъ уже собрался отвѣтить на него рѣзкостью, но поднялъ глаза и остановился. Изъ полу-освѣщеннаго угла комнаты на него глядѣли такіе яркіе черные глаза, и такое страстное ожиданіе, такой дѣтскій восторгъ свѣтились въ нихъ, что Селищевъ вздрогнулъ, и злые слова, готовые сорваться, замерли у него на языкѣ.

— Отчего я не пишу, Татьяна Аристарховна? — сказалъ онъ медленно, потирая лобъ рукою и улыбаясь печальною улыбкой. — Отчего я не пишу, хотите вы знать? Усталъ...

И, вымолвивъ это, онъ снова взглянулъ на Ганю, точно она спрашивала его, и снова встрѣтилъ ея свѣтлый, восторженный взглядъ.

— Устали?! — воскликнула Татьяна Аристарховна, всплескивая руками. — Вы устали? Иванъ Александровичъ, да отчего это? Вы такъ молоды еще и уже устали, — Боже мой, отчего же?

„Оттого, что изстратился, потухъ, жить нечѣмъ“, — хотѣлъ было сказать Селищевъ, но сейчасъ же почувствовалъ, что при Ганѣ ни за что не скажетъ этой жестокой правды. Глаза его блеснули, онъ выпрямился и заговорилъ, повидимому, ни къ кому не обращаясь, но на самомъ дѣлѣ обращаясь только къ одной Ганѣ.

— Да оттого, что скучно и темно жить. Какъ бы ни былъ гениаленъ художникъ, дѣйствительность имѣетъ надъ нимъ огромную власть; его творческія силы живутъ и питаются ею. Если жизнь хороша и свѣтла — и созданія художника полны блеска и красоты; если кругомъ мракъ и холодъ, — и на нихъ лежитъ тяжелый, мрачный колоритъ. Отчего произведенія древнихъ грековъ поражаютъ васъ своей идеальной красотой? Оттого, что жизнь ихъ была вѣчнымъ праздникомъ и впечатлѣнія ихъ были ярки и разнообразны. Однообразіе притупляетъ и утомляетъ. А что же можетъ быть однообразіе и скучнѣе нашей современной дѣйствительности? Все такъ мелко, ничтожно, придавленно; на всемъ лежитъ однообразный сѣрый тонъ, — вотъ мы и мажемъ сѣренкія картиночки... Но вѣдь скучно же это наконецъ, — до того скучно, что не хочется работать, думать, не хочется даже жить!.. — со страстью dokonчилъ онъ.

— Ахъ, вы правы, Иванъ Александровичъ! — со вздохомъ

проговорила Татьяна Аристарховна.—Мелочи насъ заѣли и все опошили,—мы не живемъ, а такъ себѣ, копошимся и поне-множку разлагаемся...

— Ну, пошло! — сморщившись проворчалъ Потесинъ, отмахиваясь.—Затянули старую пѣсню! Надоѣло мнѣ это вѣковѣчное нѣтъ, подѣ которымъ русскій человѣкъ прячетъ свое безсиліе и дрянность! Самъ во всемъ кругомъ виноватъ, а на другихъ сваливаетъ. Среда заѣла! Начальство строгое! Времена сѣрыя! А какія тамъ сѣрыя, когда онъ самъ никуда не годится, и внутри у него одна чертовщина! Нѣтъ-съ, батенька, если у васъ есть и здѣсь, и здѣсь,—Потесинъ ткнулъ себя сначала въ голову, потомъ въ грудь,—наплевать вамъ на времена и на среду! Не они васъ подчиняютъ, а вы ихъ подчините, и вамъ рѣшительно все равно, свѣтло ли около васъ или темно, ангелы передъ вами или свинья рыла. Всякое время имѣетъ своего генія. Вотъ вы, Иванъ Александровичъ, сказали сейчасъ, что художникъ въ своихъ произведеніяхъ отражаетъ дѣйствительность. Согласенъ, но вѣдь можно отражать — и отражать. Да возьмите хоть Гоголя! Его время было, охъ, какое скверное, да и самъ онъ былъ поэтомъ свинныхъ рылъ *par excellence*,—ну, и что же, развѣ не великъ онъ былъ?

— Однако, вы знаете, какъ онъ кончилъ?—съ жаромъ возразила Татьяна Аристарховна.

— Ну ужъ это дѣло темное, отчего онъ такъ кончилъ, а все-таки онъ былъ не сѣренѣй и картиночки рисовалъ не манной кашкой. А средніе вѣка? Ужъ на что, кажется, мрачнѣе и глуше,—не до поэзии было, когда тебя каждую минуту могли на костеръ взвалить,—а между тѣмъ въ это время Данте написалъ свою Божественную Комедію, а Петрарка подѣ лязгъ цѣпей и трескъ костровъ преспокойно себѣ воспѣвалъ прекрасную Лауру.

— Ваше сравненіе никуда не годится, Александръ Герасимовичъ,—сказалъ Селищевъ.—Средніе вѣка совсѣмъ не похожи на наше время; костры и цѣпи гораздо лучше пошлости и однообразія.

— Ну, нѣтъ-съ, извините! Можетъ, оно съ поэтической точки зрѣнія и лучше, красивѣе, пожалуй, а все-таки я очень радъ, что это время прошло, и ни за что не промѣнялъ бы его на наше сѣренѣе. Скажите на милость,—очень пріятно быть изжареннымъ, какъ каплунъ!

— Ну, васъ-то бы навѣрное на костръ не сожгли!—не утерпѣла Татьяна Аристарховна.

— Навѣрное, навѣрное, добрыйшая Татьяна Аристарховна!

Помилуйте, вѣдь не дуракъ же я, чтобы жариться, да еще красоту въ этомъ находить! Это ужъ я предоставляю вашему сѣренькому человѣчку,—онъ, пожалуй, и въ оплеухѣ способенъ красоту видѣть, а я не согласенъ! Мы люди простые и жить хотимъ попроще,—давайте намъ хорошенькую закусочку, добраго вина, веселенькую опереточку, а костровъ намъ не надо... Впрочемъ, вы не думайте, Иванъ Александровичъ, что это я на вашъ счетъ говорю. Во-первыхъ, вы вовсе не „сѣренкій человѣчекъ“, это разъ; а во-вторыхъ, я увѣренъ, что вы все это сейчасъ не серьезно говорили, а просто въ припадкѣ благороднаго великодушія и въ защиту своихъ бездарныхъ собратій по кисти.

— Напрасно вы такъ думаете,—сухо сказалъ Селищевъ, котораго начинало возмущать шутовство Потесина.—Я никого не защищаю; я говорилъ о себѣ, отвѣчая на вопросъ Татьяны Аристарховны.

— Вы вѣчно помѣшаете, Александръ Герасимовичъ!—воскликнула Татьяна Аристарховна съ досадой на то, что только-что было завязавшійся „задушевный“ разговоръ разстроился.—У васъ всегда такая манера—все обращать въ шутку; терпѣть не могу я васъ за это! Ничего для васъ святого нѣтъ на свѣтѣ.

— Нѣтъ, есть,—возразилъ Потесинъ, посмѣиваясь.

— Что же такое, напримѣръ?

— Ага, заинтересовались? А я вотъ возьму, да и не скажу.

— И не надо; я и такъ знаю, что вамъ сказать нечего.

— Ну, это еще вопросъ, милѣйшая Татьяна Аристарховна; если на мнѣ никакого ярлычка не приклеено, это еще не значить, что у меня и за душой нѣтъ ничего. Мы съ вами разнымъ богамъ молимся,—вотъ въ чемъ дѣло-то! *Suum cuique!* А чьи боги лучше,—это вѣдь трудно сказать.

Разговоръ началъ принимать непріятный характеръ,—это у Татьяны Аристарховны съ Потесинымъ часто случалось. Она не долюбливала Потесина, и его подшучиванья ее раздражали, а Потесину нравилось ее поддразнивать, и поэтому они постоянно переходили на личности, при чемъ Татьяна Аристарховна, при своей несдержанности и вспыльчивости, иногда заходила очень далеко. Такъ было и на этотъ разъ.

— Не трогайте моихъ боговъ, пожалуйста, Александръ Герасимовичъ!—воскликнула она, уже начиная сердиться.—Я не знаю, какимъ богамъ вы молитесь, но думаю, что между вашими и моими богами нѣтъ ничего общаго, и лучше намъ съ вами объ этомъ не говорить.

— Что же, я согласенъ,—сказалъ Потесинъ съ притворной

вротостью.—Общаго между нами нѣтъ, это правда. Вонъ вы Писареву поклоняетесь и, говорятъ, передъ его портретомъ каждый вечеръ ониамъ воскуряете; ну, а я больше Жюдикъ предпочитаю, особенно въ „Прекрасной Еленѣ“. Славная женщина и въ своемъ родѣ весьма замѣчательная!

Татьяна Аристарховна вспыхнула и готова была уже наговорить Потесину рѣзкостей, но сдержалась и, махнувъ рукой, подошла къ Селищеву, который разсѣянно прислушивался къ ихъ разговору и, повидимому, думалъ совершенно о другомъ.

— Простите, Иванъ Александровичъ, мы васъ перебили, — начала она.—Вы знаете, что я всегда люблю васъ слушать,— продолжайте, пожалуйста, о чемъ давеча начали.

— Да о чемъ же? Опять о себѣ? Скучно это и очень ужъ не интересно.

— Ну, не скромничайте, Иванъ Александровичъ, а то я подумаю, что вы кокетничаете. У васъ, у знаменитостей, скромность—своего рода кокетство. Не правда ли?

— Какое тамъ кокетство!—проговорилъ Селищевъ и вдругъ съ неожиданнымъ для самого себя порывомъ воскликнулъ:—Ахъ, Татьяна Аристарховна, не только говорить, даже думать о себѣ не хочется,—такая пустота и на душѣ, и на сердцѣ. Хоть бы буря какая-нибудь разразилась надъ тобою, или громадное горе, или счастье необыкновенное, любовь, смерть, драма, что-нибудь, только не это бессмысленное и пустое существованіе... И еслибы...

Онъ остановился, не договоривъ... „Затѣмъ это я?“—подумалъ онъ, и ему стало досадно на себя. Потесинъ глядѣлъ на него и, казалось, насмѣшливо улыбался; эта улыбка взорвала Селищева. Онъ сдѣлалъ сухое и надменное лицо и послѣ минутнаго молчанія холодно сказалъ:

— Впрочемъ, не стоитъ объ этомъ говорить. Пустяки.

Татьяна Аристарховна только-что собралась ему возразить, но въ эту минуту въ передней раздался звонокъ, затѣмъ шумъ, голоса, и въ комнату не вошелъ, а ворвался небольшого роста человѣчекъ съ огромной головой, обросшей густыми курчавыми волосами, и съ необыкновенною живостью движеній и жестовъ, придававшю ему сходство съ исполинскимъ волчкомъ, только-что спущеннымъ на полъ. За эту живость знакомые прозвали его „perpetuum mobile“, и Викторъ Сергѣевичъ Орѣшниковъ,—такъ звали его,—вполнѣ оправдывалъ данное ему прозвище. Разговаривая, онъ ни минуты не могъ посидѣть спокойно, безпрестанно вскакивалъ, подпрыгивалъ, вертѣлся, бѣгалъ по комнатѣ, размахивалъ руками, такъ что у собесѣдниковъ его кружилась голова. Точно такой же не-

посѣда онъ былъ и по характеру. Его огромная курчавая голова была постоянно набита всевозможными, болѣе или менѣе неосуществимыми проектами, и онъ вѣчно носился съ какою-нибудь „идеей“, поражавшей всѣхъ своею грандіозностью, но при проведеніи въ жизнь обыкновенно оказывавшейся нигуда негодной. Не разъ случалось Виктору Сергѣевичу и непріятности получать изъ-за этихъ „идей“. Такъ, еще будучи въ университетѣ, онъ задумалъ устроить „Всемирный союзъ студенчества“, и хотя „союзъ“ не состоялся, но Орѣшниковъ долженъ былъ проститься съ университетомъ, да еще кромѣ того на нѣкоторое время совершенно лишился свободы дѣйствій. Въ эту несчастную для него пору и произошло его первое знакомство съ Змиевской. Татьяна Аристарховна услышала о немъ отъ знакомыхъ и по своему обычаю сейчасъ же приняла участіе въ бѣдномъ студентѣ, ѣдила, хлопотала, просила и добилась, наконецъ, того, что его сначала отдали ей на поруки, а потомъ освободили и совсѣмъ. Но Орѣшниковъ не уgomонился, и въ головѣ его созрѣвала новая „идея“. Его и прежде еще, до университетской исторіи, очень интересовала судьба всѣхъ трудящихся женщинъ столицы, — гувернантокъ, швей, боннъ и другихъ; пылкій, впечатлительный, отзывчивый, онъ часто задумывался надъ горькою долей этихъ несчастныхъ труженицъ, и его поражала ихъ полнѣйшая беспомощность и необеспеченность въ борьбѣ за кусокъ хлѣба. Каждую изъ нихъ эксплуатировали до тѣхъ поръ, пока она была нужна, а потомъ, когда дѣти подростали или платье было сшито, давали таекъ-называемый „разсчетъ“ и выпроваживали на улицу, часто безъ копѣйки денегъ. И вотъ тутъ-то, безъ мѣста, безъ средствъ, безъ всякой поддержки, бѣдняжки гибли, какъ мухи... На глазахъ Орѣшникова, жившаго по меблированнымъ комнатамъ, въ которыхъ обыкновенно ютится разный трудовой народъ, произошло не мало подобныхъ драмъ. И часто въ это время у него мелькала мысль, — отчего бы всѣмъ этимъ женщинамъ не сплотиться вмѣстѣ и не устроить своей собственной кассы, своей справочной конторы и т. д. Но серьезно разработать эту „идею“ ему было некогда, — онъ былъ занятъ „союзомъ“. Теперь, когда „союзъ“ лопнулъ, Орѣшниковъ, не выносившій бездѣйствія, вернулся къ занимавшему его нѣкогда вопросу и по своему обыкновенію немедленно принялся дѣйствовать или, какъ выражались его знакомые, „пороть горячку“. Прежде всего онъ посвятилъ въ свои планы Татьяну Аристарховну, которая отнеслась къ нимъ не только съ сочувствіемъ, но даже съ энтузіазмомъ, вослеленуе: „представьте, вѣдь это моя мысль!“ затѣмъ они оба за-

бѣжали и засуетились. На скорую руку былъ составленъ проектъ устава будущаго „Общества работницъ“; у Татьяны Аристарховны отыскались двѣ знакомыя портнихи и одна гувернантка безъ мѣста, которыхъ она сейчасъ же завербовала себѣ въ помощницы и послала пропагандировать „идею“ среди прачекъ, швей и боннъ; одна высокопоставленная дама, извѣстная филантропка, очень заинтересовалась и общалась „оказать содѣйствіе“; наконецъ, на одномъ изъ журъ-фиксовъ Татьяны Аристарховны былъ сдѣланъ сборъ пожертвованій для общества, и такимъ образомъ составилъ фундаментъ будущей кассы. Орѣшниковъ ликовалъ, и каждый вечеръ они съ Татьяной Аристарховной предавались самымъ великолѣпнѣйшимъ мечтамъ о своемъ обществѣ и заранѣе строили для членовъ его алюминіевы дворцы. Восторгъ ихъ и надежды еще болѣе увеличивались, когда двѣ знакомыя швеи и гувернантка безъ мѣста объявили, что вездѣ „очень сочувствуютъ“, и что въ одномъ домѣ на Выборгской есть такія, которыя согласны даже „хоть сейчасъ“. Послѣ этого пріятнаго извѣстія было рѣшено устроить предварительное собраніе будущихъ участницъ и прочесть проектъ устава; для собранія Татьяна Аристарховна предложила свою квартиру и извѣстила объ этомъ высокопоставленную даму,—будущую патронессу общества.

Въ назначенный день и часъ квартира Зміевской стала наполняться. Первыми пришли швеи, которыя привели съ собою двухъ молоденькихъ бѣлошвеекъ съ испуганными глазами и робкими улыбками и одну зеленолицую, совершенно умирающую портниху „дѣтскихъ нарядовъ“, которая все время не переставала кашлять какимъ-то страннымъ внутреннимъ кашлемъ и сама, повидимому, мучилась тѣмъ, что кашляетъ и всѣмъ мѣшаетъ. Потомъ явились двѣ довольно развязныя и бойкія особы съ подстриженными чолками на лбу, вздернутыми носиками и въ пестрыхъ, дешевыхъ, незатѣйливо-спитыхъ платьяхъ. Гувернантки явились послѣ всѣхъ; ихъ было три: одна изъ нихъ, уже извѣстная намъ гувернантка безъ мѣста; другая—пожилая нѣмка, необыкновенно чисто и аккуратно одѣтая, и, наконецъ, третья—высокая, блѣдная, молодая особа въ золотомъ пенснѣ, придававшемъ ей надменно-пренебрежительный видъ, и въ длинныхъ черныхъ перчаткахъ, которыхъ она такъ и не снимала во весь вечеръ.

Когда всѣ были въ сборѣ, явился Орѣшниковъ и, осмотрѣвъ собравшихся, остался недоволенъ. Ему показалось, что „сочувствующихъ“ уже черезъ-чуръ мало... но онъ вспомнилъ о Ротдэльскихъ піонерахъ и утѣшился. Рѣшено было приступить къ чтенію устава, но высокопоставленная особа что-то замѣшкалась,

а безъ нея неловко было начинать. Орѣшниковъ въ волненіи ходилъ взадъ и впередъ по кабинету Татьяны Аристарховны; въ гостиной тоже царилъ смущеніе и скрытое недовольство. Швели жались особнякомъ въ уголокъ и робко перешептывались; портниха все капляла; бойкія особы въ чолкахъ старались вести себя развязно и хихикали о чемъ-то между собою, но у нихъ ничего не выходило и притомъ ихъ смущалъ черезъ-чуръ внимательный и нѣсколько изумленный взглядъ золотого пенснэ, которое, очевидно, было нѣсколько озадачено этимъ страннымъ сборищемъ. Но изумленіе его еще болѣе увеличилось, когда въ гостиную съ виноватыми улыбками нерѣшительно вошли кухарка и горничная Татьяна Аристарховны, приглашенные на собраніе тоже въ качествѣ будущихъ членовъ общества. Обѣ онѣ помѣстились у двери и ни за что не хотѣли садиться, такъ что Татьяна Аристарховна принуждена была сначала внушить имъ понятіе о равноправности, а потомъ, когда это не подѣйствовало, просто-на-просто прикрикнула на нихъ, и онѣ устылись. Это еще болѣе усилило всеобщее недоумѣніе и неловкость; молодые особы сдержанно фыркали; лицо барышни въ перчаткахъ изобразило крайнее недовольство и презрѣніе; удрученная своимъ необыкновеннымъ положеніемъ, кухарка тяжело вздыхала, и только пожилая нѣмка оставалась совершенно невозмутимой и, вынувъ изъ ридикюля какое-то длинное вязанье, углубилась въ работу.

„А особы“ все не было. Орѣшниковъ началъ уже терять терпѣніе и поговаривалъ о томъ, что и безъ нея можно обойтись, но въ эту минуту раздался звонокъ, и горничная, съ облегченнымъ сердцемъ, провожаемая завистливыми взглядами удрученной кухарки, бросилась въ переднюю встрѣчать гостью. Она впорхнула въ гостиную вся въ черномъ кружевѣ, обвѣянная какими-то необычайно тонкими и нѣжными ароматами, и такъ ласково всѣмъ улыбнулась, съ такою милою простотою извинилась, что собраніе было очаровано, и даже недовольное лицо особы въ черныхъ перчаткахъ разгладилось.

Началось чтеніе Устава. Въ началѣ, когда рѣчь шла о цѣли Общества, все шло хорошо, и на всѣхъ лицахъ выражалось сочувствіе, но когда Орѣшниковъ дошелъ до того параграфа, въ которомъ говорилось, что членами Общества могутъ быть всѣ трудящіяся женщины безъ различія профессіи, въ уголку гувернантокъ произошло какое-то движеніе и послышался шопотъ, сначала сдержанный, а затѣмъ къ концу чтенія перешедшій уже въ открытый ропотъ. И когда Орѣшниковъ смолкъ и спроси-

тельнымъ взглядомъ обвелъ собраніе, въ него, какъ раскаленные гвозди, вонзились пылающіе глаза особы въ черныхъ перчаткахъ.

— Послушайте,—заговорила она, подходя и нервно теребя свои перчатки.—Это невозможно... это просто оскорбленіе... Я никакъ не ожидала...

— Да въ чемъ дѣло?—спросилъ оробѣвшій Орѣшниковъ.

— Какъ въ чемъ дѣло? Вы предлагаете такую возмутительную вещь... вы порядочную воспитанную женщину ставите рядомъ Богъ знаетъ съ кѣмъ... съ какими-то кухарками, прачками... Недостаетъ еще, чтобы вы...

— Но позвольте... — начала-было Татьяна Аристарховна, тоже растерявшаяся и даже разобиженная; но расхолодившаяся учительница музыки, не слушая ее, поправила свалившееся съ носа пенсне и величественно вышла изъ комнаты, захлопнувъ за собою дверь такъ, что даже лампы на столахъ задребезжали.

— Ишь ты, фря какая! — пустила ей вдогонку одна изъ бойкихъ дѣвицъ, и несмотря на то, что подруга усиленно дергала ее за платье, напоминая о приличіи, добавила обиженно:—Сама-то тоже небось хвосты по панелямъ треплетъ, а туда же...

Ея выходка прошла незамѣченной, потому что едва за учительницей затворилась дверь, въ гостиной поднялся шумъ и говоръ. Татьяна Аристарховна осыпала упреками гувернантку безъ мѣста за то, что она привела какую-то сумасшедшую; гувернантка оправдывалась и увѣряла, что это вовсе не она виновата, а ея знакомая; Орѣшниковъ, обезкураженный и смущенный, бесѣдовалъ съ высокопоставленной дамой, которая снисходительно его выслушивала и улыбалась, находя въ душѣ, что все это ужасно забавно; нѣмка сложила свое вязанье и, очевидно ничего не понимая, круглыми глазами смотрѣла на всѣхъ; наконецъ, въ довершенію всего, съ больной портнихой сдѣлалась истерика, и ее почти безъ чувствъ увели оскорбленные подруги, всю дорогу роптавшія на то, что даромъ потеряли время, да еще наслушались брани ни за что, ни про что.

Такъ кончилось первое собраніе „Общества трудящихся женщинъ“, а второго собранія и совѣсъ не было, потому что на него явились только кухарка и горничная Татьяны Аристарховны, да аккуратная, добросовѣстная вѣмка, которая въ своей нѣмецкой наивности думала, что если нѣтъ ничего предосудительнаго въ томъ, чтобы записываться вмѣстѣ съ горничными и кухарками въ справочныхъ бюро, то отчего же не участвовать съ ними также и въ обществѣ, имѣющемъ цѣлью взаимную помощь.

Послѣ этой неудачи Орѣшниковъ на нѣкоторое время приунылъ

и уѣхалъ въ Болгарію, на войну. Но возвратившись оттуда возбужденный, наэлектризованный „заграницей“, онъ снова принялся за свою лихорадочную дѣятельность. Это былъ какой-то вихрь... одна „идея“ смѣняла другую; одна неудача слѣдовала за другою. Дѣло было въ томъ, что у Виктора Сергѣевича не хватало практической мудрости, житейской смѣтки, а главное, — онъ совершенно не зналъ людей и не умѣлъ создавать для своего дѣла необходимую обстановку, пользуясь всѣми благопріятными случаями. Житейскія мелочи удручали его; онъ въ нихъ терялся, запутывался, и вся масса энергіи, затраченная имъ, пропадала даромъ. Въ началѣ это и удивляло, и огорчало Орѣшникова, а въ знакомыхъ его вызывало къ нему сочувствіе, но потомъ онъ привыкъ къ неудачамъ, а друзья перестали интересоваться его „идеями“, заранее зная, что ничего изъ нихъ не выйдетъ. Онъ очутился въ одиночествѣ... только Татьяна Аристарховна, у которой въ характерѣ было много общаго съ Орѣшниковымъ, оставалась его неизмѣнною союзницей и помощницей во всѣхъ предпріятіяхъ. Въ то время, къ которому относится нашъ разсказъ, Орѣшниковъ носился съ новою мыслью издавать газету. Онъ находилъ, что современная пресса только развращаетъ, а не воспитываетъ толпу, что она даетъ только факты, не обобщая ихъ, и до того задумана рублемъ, что готова даже разыгрывать изъ себя клоуна. Газета Орѣшникова должна быть не такова: цѣль ея не угощать публику фактами и анекдотами, а предъявлять ей широкія обобщенія, будить общественное сознаніе, воскресить забытые идеалы и вопросы общественной этики и общественныхъ обязанностей. И какъ всегда бывало прежде, въ головѣ Орѣшникова все это рисовалось отчетливо, всѣ детали были тщательно обдуманы, всѣ разговоры съ нужными лицами заранее прорепетированы, и Орѣшникову даже весьма ясно представлялся первый нумеръ „его“ газеты съ руководящею статьей, написанной имъ самимъ (даже статья была готова и лежала въ столѣ). Но, — мы должны прибавить, тоже по обыкновенію — для того, чтобы пустить въ ходъ всю эту сложную машину, существовавшую пока только въ воображеніи Орѣшникова, не хватало самаго главнаго — денегъ. Это неудобство Викторъ Сергѣевичъ, впрочемъ, предвидѣлъ и для устраненія его рѣшилъ, что газета будетъ издаваться на артельныхъ началахъ, но онъ совершенно позабылъ, что тотъ „честный элементъ“, который онъ хотѣлъ привлечь къ участию въ газетѣ, и который такимъ образомъ долженъ былъ явиться и издателемъ и сотрудникомъ ея, въ рѣдкихъ случаяхъ имѣетъ капиталы. Орѣшникову указывали на это, но онъ только возму-

щался и осыпалъ скептиковъ упреками въ меркантильности и зачерствѣлости. „Вы, господа, судите по себѣ!—кричалъ онъ.— Это у васъ на первомъ планѣ рубль; но, я увѣренъ, найдутся люди безкорыстные, которые отдадутъ и себя, и свои послѣдніе гроши на мою газету! На что намъ милліоны? Намъ нужны свѣтлыя идеи, сильные умы, честные люди, а дивидендовъ намъ не надо. Такія силы нужны для газеты; вспомните Некрасовскій „Современникъ“... „Ну, то былъ Современникъ“... возражали ему, — „да и Некрасовъ хорошо платилъ своимъ сотрудникамъ, а вы своихъ хотите голодомъ морить“... Но Орѣшниковъ эти доводы мало смущали, и въ полной увѣренности, что идеи важнѣе желудка, и что газету можно начать безъ капитала, онъ принялся хлопотать. Въ чемъ заключались эти хлопоты и каковы были ихъ результаты — онъ пока держалъ въ тайнѣ; только немногіе были посвящены въ его дѣла, и въ томъ числѣ Татьяна Аристарховна. Поэтому, въбѣжавъ въ комнату и наскоро со всѣми поздоровавшись, онъ отвелъ хозяйку въ сторону, и между ними завязался оживленный разговоръ.

Вмѣстѣ съ нимъ вошли еще двое. Одинъ былъ прогорѣвшій издатель, Васильковъ, толстенькій, веселый, съ одутловатымъ отъ частыхъ выпивокъ лицомъ, синими жилками на щекахъ и хохломъ на лбу, придававшимъ ему пѣтушинный видъ. Другого звали Пыхтѣвымъ; это былъ еще молодой человѣкъ, худощавый, болѣзненный, съ безпокойнымъ взглядомъ и какими-то непріятными подергиваніями въ лицѣ. Казалось, что онъ постоянно думаетъ о томъ, какое впечатлѣніе производитъ онъ на окружающихъ, и при этомъ боится, что впечатлѣніе это для него невыгодное. И дѣйствительно, Пыхтѣвъ былъ страшно самолюбивъ и болѣзненно чувствителенъ ко всему, что касалось его личности.—Въ ранней юности онъ писалъ стихи и, какъ говорятъ, подавалъ большія надежды; избалованный похвалами учителей и товарищей, онъ привыкъ много о себѣ думать и съ самыми блестящими надеждами отправился въ Петербургъ. Но здѣсь его стихотворенія были оцѣнены по достоинству, и послѣ долгихъ скитаній по редакціямъ, всевозможныхъ разочарованій и униженій Пыхтѣву пришлось ограничиться скромной ролью постоянного репортера въ одной жалкой уличной газетѣ да изрѣдка печатать свои стихи въ дешевыхъ иллюстрированныхъ изданіяхъ. Всѣ эти неудачи и сознание собственнаго ничтожества озлобили его, и онъ страстно возненавидѣлъ всѣхъ талантливыхъ писателей, художниковъ, поэтовъ. Ихъ слава, ихъ успѣхи, каждое новое ихъ произведеніе вызывало въ немъ острую боль и мучительное влохотаніе желчи. Съ ме-

лочною придирчивостью онъ старался отыскать въ нихъ какіе-нибудь недостатки, осмѣять ихъ, пустить въ ходъ какую-нибудь злую сплетню объ авторѣ. Личная жизнь каждаго выдающагося писателя была извѣстна ему, какъ свои пять пальцевъ, и онъ съ злораднымъ торжествомъ рассказывалъ, что такой-то плохо живетъ съ своей женой, что этотъ скупъ и копитъ деньги, а тотъ никогда не платитъ своихъ долговъ и каждый вечеръ напивается, какъ сапожникъ. Въ эти минуты на него было отвратительно смотрѣть: глаза его блестѣли нехорошимъ, злымъ блескомъ, узкія плечи содрагались отъ смѣха, онъ захлебывался отъ восторга. Нѣкоторыя изъ его грязныхъ исторій иногда появлялись и въ печати съ прозрачными псевдонимами и двусмысленными намеками. Однимъ словомъ, Пыхтѣевъ принадлежалъ къ той литературной плесени, которая густо поросла на современной журналистикѣ и литературѣ и, глубоко пустивъ въ нихъ свои тонкіе, цѣпкіе корни, заражаетъ ихъ гнилью и ядомъ.

Пыхтѣева не любили и остерегались, но онъ всюду умѣлъ какъ-то пролѣзть, и хотя не разъ ему приходилось выслушивать отъ хозяевъ тонкіе намеки на то, что его присутствіе нежелательно, онъ дѣлалъ видъ, что ничего не замѣчаетъ, и продолжалъ свои посѣщенія, какъ ни въ чемъ не бывало. Но обиду онъ глубоко затаивалъ и при первомъ удобномъ случаѣ жестоко мстилъ. Къ Татьянѣ Аристарховнѣ его ввелъ Потесинъ, который почему-то одинъ изъ всѣхъ относился къ нему снисходительно и даже любилъ бесѣдовать съ нимъ, хохоча надъ его злыми и нерѣдко остроумными выходками. Пыхтѣевъ его забавлялъ своей злостью и своими сплетнями, и такъ какъ самъ Потесинъ былъ склоненъ къ насмѣшкѣ и отрицанію, то Пыхтѣевскія издѣвательства надъ лучшими людьми доставляли ему удовольствіе. Ничтожество и безобразіе, плюющія въ лицо красотѣ и величію, Калибанъ, бьющій по щекамъ Аріэля, — это жестокое зрѣлище человѣческой несправедливости вызываетъ въ нѣкоторыхъ людяхъ не грусть и негодованіе, а смѣхъ, подъ которымъ часто скрывается злобное торжество. Кто униженъ самъ и по своей волѣ, тому униженія другого доставляютъ нѣчто въ родѣ нравственнаго удовлетворенія, и человѣкъ, въ жизни котораго есть пятно, тщательно ищетъ такихъ же пятенъ у другихъ для того, чтобы сказать: „не я одинъ, всѣ такіе“!.. У Потесина было на душѣ пятно, и вотъ почему, можетъ быть, онъ любилъ слушать пасквили Пыхтѣева, и чѣмъ чище, чѣмъ выше было лицо, котораго касался пасквиль, тѣмъ громче хохоталъ Потесинъ.

IV.

Войдя въ столовую, Васильковъ и Пыхтѣевъ наскоро со всѣми раскланялись и устремились къ чайному столу. Васильковъ сейчасъ же жадно ухватился за бутылку съ коньякомъ и съ улыбкой пьяницы сталъ наливать вино въ стаканъ съ чаемъ, а Пыхтѣевъ подселъ къ Потесину. У него, вѣроятно, была какая-нибудь интересная новость изъ литературнаго міра, потому что Потесинъ прислушивался къ его словамъ съ удовольствіемъ и посмѣивался себѣ въ бороду, а Пыхтѣевъ былъ чрезвычайно оживленъ и веселъ. Между ними завязался длинный разговоръ, слышались извѣстныя фамиліи, назывались заглавія журналовъ, и атмосфера наполнилась одуряющимъ, злымъ ядомъ литературной сплетни.

Селищевъ воспользовался тѣмъ, что о немъ позабыли, и подошелъ къ Ганѣ. Онъ не могъ забыть ея взгляда, и теперь его потянуло взглянуть на нее ближе, услышать звукъ ея голоса.

— Вы въ первый разъ въ Петербургѣ?—спросилъ онъ, присаживаясь около нея на подоконникъ.

Ганя вся вздрогнула, и яркій румянецъ вспыхнулъ на ея щекахъ.

— Въ первый разъ,—проговорила она въ смущеніи.

И дѣтскій звукъ ея голоса, и ея дѣтское смущеніе понравились Селищеву. Онъ ласково и внимательно глядѣлъ на нее и думалъ: „Дикарка... и совсѣмъ еще ребенокъ“...

— Въ первый разъ!—повторилъ онъ медленно.—Я вамъ завидую...

— Вотъ странно: тетя мнѣ тоже говорить!—съ удивленіемъ сказала Ганя и, взглянувъ на Селищева, улыбнулась — такъ ей было смѣшно, что ей завидуютъ.

И улыбка ея, съ ямочками на щекахъ, понравилась Селищеву. Теперь онъ могъ хорошо разглядѣть Ганю, потому что она глядѣла прямо на него. Черты лица ея еще не утратили дѣтской округлости, за которую онъ давеча называлъ ее про себя „полтавской пышкой“; щеки ея были черевъ-чуръ пухлы, подбородокъ слишкомъ малъ и тоже съ ямочкой. Но зато глаза, брови, губы и прямой тонкій носъ съ розовыми поздрами были замѣчательно хороши. Оригинально было также, что при совершенно свѣтломъ цвѣтѣ волосъ цвѣтъ лица у нея не былъ молочно-бѣлымъ, какъ у всѣхъ блондинокъ, а золотисто-смуглымъ, словно отъ легкаго загара. Но особенно поражало въ ея лицѣ выраженіе страстнаго ожиданія и какой-то радостной тревоги; казалось, она всѣмъ су-

ществомъ своимъ жадно рвалась на встрѣчу жизни и горѣла нетерпѣніемъ скорѣе-скорѣе взять отъ нея всѣ радости и всѣ печали, которыя отмѣчены на ея долю. И Селищеву, глядя на нее, вспомнилась почему-то вчерашняя сценка въ садикѣ у Владимірской церкви... огненная дѣвочка и ея разсыпчатый смѣхъ... весенній блескъ солнца... дрожащія, сочныя вѣтви деревъ. Сердце въ немъ дрогнуло, и тѣ же, что и вчера, неясныя, но острые и пріятныя ощущенія—ощущенія весны—поднялись въ его душѣ.

— Вы удивляетесь?—сказалъ онъ, отвѣчая на улыбку Гани улыбкой и волнуясь.—А между тѣмъ вѣдь ничего нѣтъ удивительнаго въ этомъ. И я, и ваша тетя... да и всѣ здѣсь,—прибавилъ онъ, бросивъ взглядъ въ сторону чайнаго стола, за которымъ шла оживленная бесѣда:—мы уже пережили и перечувствовали все то, чтѣ вамъ еще только предстоитъ пережить. И подумайте только, сколько новыхъ и захватывающихъ впечатлѣній и ощущеній, сколько восторговъ и наслажденій ожидаетъ васъ впереди! Не счастливица ли вы, и какъ же вамъ не завидовать? Не правда ли?

— Да,—нерѣшительно проговорила Ганя и, густо краснѣя, прибавила:—Но... вѣдь не одни же наслажденія... въ жизни такъ много горя...

— Когда начинаешь жить, о горѣ мало думаешь,—возразилъ Селищевъ.—И не только не думаешь, но даже не понимаешь, чтѣ такое горе. Я увѣренъ, что и вы не отвѣтите на этотъ вопросъ вотъ теперь, когда мы съ вами говоримъ,—смѣясь, прибавилъ онъ. Ганя дѣйствительно ничего не могла отвѣтить на этотъ вопросъ, но, по ея мнѣнію, вовсе не потому, что она не знала, чтѣ такое горе. Усмѣшка Селищева ее сконфузила. „Какія глупости, должно быть, я говорю!“—подумала она про себя.

— Ну, вотъ видите, вы молчите,—продолжалъ Селищевъ.—Предоставьте намъ, отжившимъ, размышлять о горечи жизни,—живите, радуйтесь, пока для васъ солнце свѣтитъ ярко и цвѣтутъ ландыши, а мы... Однако, какой странный разговоръ мы съ вами затѣяли для перваго знакомства,—не правда ли? И не находите ли вы, что я довольно скучный собесѣдникъ? Неужели нѣтъ? Ну, въ такомъ случаѣ я становлюсь смѣлымъ и предлагаю вамъ свою особу, въ качествѣ чичероне въ вашихъ экскурсіяхъ по Петербургу. Я слышалъ, вы съ тетуськой собираетесь завтра на выставку въ Академію?

— Да, тетя говорила.

— Ну, вотъ, начнемъ съ Академіи. А потомъ Эрмитажъ, потомъ... если угодно, моя мастерская къ вашимъ услугамъ... вы согласны?

— О, Боже мой... я такъ рада!..—сказала Ганя, вся пылая отъ восторга. Ея возбужденное состояніе сообщилось и Селищеву.

— Но вы пожалуйста не благодарите меня за это,—сказалъ онъ, смѣясь коротенькимъ нервнымъ смѣхомъ и любуясь взволнованнымъ лицомъ Гани.—Я эгоистъ и, предлагая вамъ свои услуги, имѣю цѣль. Мнѣ хочется помолодѣть около васъ... и, глядя на васъ, я буду жить вашими впечатлѣніями и вспоминать свое далекое прошлое. Вѣдь и я когда-то былъ такъ же молодъ, какъ и вы!

Ганя не успѣла ничего отвѣтить на странные слова Селищева. Въ столовую входили новые гости, и Татьяна Аристарховна позвала ее знакомить съ ними.

— Ну, Ганя, вотъ тебѣ, наконецъ, Николай Николаевичъ Хотынцевъ. Представьте, Николай Николаевичъ, нынче цѣлый день твердила, придете вы или нѣтъ? Ужасная поклонница вашихъ произведеній! Едва спрыгнула съ поѣзда, сейчасъ,—„а что, увижу я Хотынцева?“

— Тетя!..—воскликнула переконфуженная и растерявшаяся Ганя.

— Что „тетя“? Въ другой разъ не надоѣдай. Серафима Александровна, рекомендую вамъ мою хохлушку. Присматривайте за ней, потому что она равнодушна къ вашему мужу. Представьте себѣ, не успѣла соскочить съ поѣзда, и... Иванъ Александровичъ, а вы знакомы?

Подошелъ Селищевъ и, крѣпко пожавъ протянутую ему руку, съ интересомъ художника взглянулъ на молодого писателя. До сихъ поръ ему ни разу не приходилось съ нимъ встрѣчаться, потому что Хотынцевъ жилъ довольно замкнуто и почти нигдѣ не бывалъ. Но произведенія его, странныя, глубокія и проникнутыя горькою проницей, онъ читалъ и, особенно въ послѣднее время, въ минуты тяжелаго настроенія, часто думалъ объ авторѣ. Ему казалось, что такъ писать, какъ писалъ Хотынцевъ, могъ только человѣкъ много страдавшій, и это страданіе, разлитое на страницахъ его книги, вызывало въ Селищевѣ и сочувствіе, и благодарность... сочувствіе, потому что онъ самъ страдалъ; благодарность—потому что это страданіе было понято и опоэтизировано. И теперь онъ внимательно вглядывался въ этого „поэта страданія“.

Хотынцеву на видъ было лѣтъ тридцать. Онъ былъ довольно высокого роста, худощавый, съ впалой грудью и медленными движеніями. Густые темнорусые волосы, зачесанные назадъ, отрывали большой бѣлый лобъ, особенно поразившій Селищева своею мраморною чистотой и ясностью. При взглядѣ на этотъ лобъ Селищеву почему-то вспомнилось безбрежное тихое море при закатѣ солнца.

Большие темные глаза смотрѣли устало и печально; печаль за-
легла и въ складкахъ около бровей и рта. „Такъ вотъ ты ка-
кой, поэтъ страданія!“ — подумалъ Селищевъ и еще разъ внима-
тельно взглянулъ на писателя, запоминая его черты. И опять
ему представилось море въ часъ заката, — задумчивое, безграниц-
ное и какъ будто тоскующее...

Жена Хотынцева, Серафима Александровна, была совсѣмъ
другого типа. Высокая, стройная, сильная, она, повидимому, отли-
чалась желѣзнымъ здоровьемъ и вѣрными нервами. Живые сѣрые
глаза смотрѣли прямо и твердо; черты лица были яркія, опредѣ-
ленныя, ротъ маленький, энергичный, густыя черныя брови и ши-
рокій лобъ. Совсѣмъ черные подстриженные волосы густою вол-
нистой гривой рассыпались по плечамъ. Руки у нея были не-
большия, но жесткія и загрубѣлыя: видно, что ей приходилось
много работать. Пожатіе ея было такъ же вѣрно и энергично, какъ
и она сама. Одѣта была Хотынцева очень скромно, — въ черное
поношенное платье безъ оборокъ и бѣлый воротничокъ, узенькой
полоской выглядывавшій изъ-за ворота платья. Селищевъ взгля-
нулъ на нее мелькомъ, и она ему не понравилась, а ея при-
стальный, твердый взглядъ даже смутилъ его. Онъ молча раскла-
нился съ ней и отошелъ.

Между тѣмъ у чайнаго стола происходила непріятная и не-
ловкая сцена. Когда Татьяна Аристарховна подвела Хотынцева
къ Потесину, оживленный разговоръ между нимъ и Пыхтѣвымъ
вдругъ оборвался, и Потесинъ весь измѣнился въ лицѣ. На мгно-
веніе наступило довольно зловѣщее молчаніе... Хотынцевъ холодно
и гордо, съ легкимъ подергиваньемъ губъ смотрѣлъ на Потесина;
Потесинъ, судорожно улыбаясь, барабанилъ пальцами по столу.

— Ну, что же, знакомьтесь, господа! — повторила Татьяна
Аристарховна, въ простотѣ души ничего не замѣтившая. — Хотын-
цевъ... Потесинъ... Васильковъ...

— Мы уже знакомы, — выговорилъ наконецъ Хотынцевъ, не
сводя глазъ съ Потесина.

— Да, не беспокойтесь, Татьяна Аристарховна, мы знакомы! —
подхватилъ Потесинъ, какъ будто обрадовавшись, что Хотынцевъ
наконецъ заговорилъ. — И не только знакомы, а даже, можно
сказать, когда-то подъ однимъ „стягомъ“ служили...

И онъ, все такъ же судорожно улыбаясь, съ напускною развяз-
ностью привсталъ и протянулъ руку Хотынцеву.

Хотынцевъ замѣтно вздрогнулъ, поблѣднѣлъ и, вруто повер-
нувшись къ Потесину спиной, отошелъ отъ стола. Потесинъ такъ

и остался стоять съ протянутой рукой... Въ эту минуту онъ былъ и смѣшонъ, и жалокъ.

— Что это такое, господа? Что случилось? я не понимаю... — проговорила растерявшаяся Татьяна Аристарховна, почувствовавъ, что она сдѣлала какую-то страшную неловкость, и въ недоумѣніи глядя на Потесина.

— Ничего-съ, почтениѣйшая Татьяна Аристарховна, — сказалъ Потесинъ, весь блѣдный, и съ злою улыбкой добавилъ: — Это, видите ли, какъ говорятъ французы, — *qui se couche avec le chien, se lève avec les puses...*

Пыхтѣвъ хихикнулъ. Онъ все время съ злобной радостью наблюдалъ за сценой, разыгравшейся передъ нимъ, и заранѣе представлялъ себѣ, какъ онъ завтра, обѣдая въ ресторанѣ, будетъ рассказывать о ней своимъ пріятелямъ и какъ они всѣ будутъ хохотать и аплодировать ему. Татьяна Аристарховна вдругъ все поняла и бросилась въ гостиную за Хотынцевымъ.

Онъ стоялъ въ глубинѣ комнаты, у окна, и горячо говорилъ съ женой, которая, повидимому, его успокоивала. Волненіе его еще не улеглось; онъ былъ блѣденъ и теперь казался совсѣмъ больнымъ. Глаза его лихорадочно горѣли; складки около губъ стали еще глубже. Увидѣвъ Татьяну Аристарховну, онъ быстро подошелъ къ ней.

— Простите меня, Татьяна Аристарховна, — сказалъ онъ, протягивая ей свою горячую, сухую руку. — Я, кажется, скандалъ у васъ устроилъ... но я, право, не могъ...

— Голубчикъ, Николай Николаевичъ! — перебила его Татьяна Аристарховна, вся красная и взволнованная. — Вы меня простите... я совсѣмъ позабыла, что вѣдь вы съ Потесинымъ... И какъ это я, старая дура?.. Боже ты мой, совсѣмъ чутье потеряла... Ради Бога, вы, Николай Николаевичъ, не подумайте...

Она вдругъ опустила на стулъ и заплакала. Хотынецъ растерянно взглянулъ на жену.

— Полноте, Татьяна Аристарховна! — сказала Серафима Александровна ласково. — Пустяки все это, и, ей Богу, волноваться не стоитъ. Я вотъ сейчасъ и Колѣ это говорила. А вы оба точно виноватыми себя чувствуете передъ кѣмъ-то...

И отвѣдя Татьяну Аристарховну въ сторону, она прибавила, понизивъ голосъ:

— Право, успокойтесь, Татьяна Аристарховна... Вы на Колю вниманія не обращайте; онъ въ послѣднее время очень боленъ и раздражителенъ...

— Нѣтъ, мнѣ вѣдь что обидно! — перебила ее Зміевская,

утирая слезы.—Обидно то, что вы подумаете обо мнѣ: „вотъ ренегатка!“ И, конечно, имѣете право думать, потому что всѣ эти Потесины и Пыхтѣвы... и вообще я ужасно безхарактерная, и это мнѣ очень вредить въ общественномъ мнѣніи... но я не могу...

Она готова была опять залиться слезами, но Хотынцева успѣшила ее успокоить, напомнивъ ей о гостяхъ, которые все прибывали.

— Мы ничего не подумаемъ о васъ дурного, Татьяна Аристарховна. И вообще мы поговоримъ объ этомъ послѣ, а теперь... Смотрите, вонъ къ вамъ еще кто-то... и Дятловъ, кажется. Да, онъ; вонъ они теперь съ Колей разговариваютъ. Я очень рада за Колю,—онъ немножко оживится съ Дятловымъ. А вонъ и ваша племянница идетъ... Какая она славная, свѣжая и совсѣмъ еще, видно, юнецъ. Мнѣ хочется съ ней поговорить...

— Да, Ганя славная дѣвочка,—сказала Татьяна Аристарховна, уже успокоенная.—Вся изъ порывовъ... боюсь я за нее... А все-таки скажите мнѣ еще разъ, Серафима Александровна, что вы не сердитесь на меня за мою безтактность. Не сердитесь? Ну, вотъ и спасибо, голубчикъ... Я слаба, я безхарактерна, но я не ренегатка, это вы помните!—добавила она, вся пылая. Люди шестидесятыхъ годовъ никогда не были ренегатами!

На глазахъ ея опять блеснули слезы, но, къ счастью, въ эту минуту ее кто-то громко позвалъ изъ столовой, и она торопливо пошла на зовъ, на ходу утирая глаза. Серафима Александровна подошла къ Ганѣ, которая стояла въ тѣни высокой араукоріи, у столика, заваленнаго книгами.

— Чтò это съ тетей?—спросила дѣвушка испуганно.

— Ничего, пустяки. Мой мужъ не кланяется съ Потесиннымъ,—ну, вышла между ними неловкая сцена, которая очень взволновала вашу тетюшку. Она очень впечатлительная, Татьяна Аристарховна,—съ улыбкой сказала Хотынцева.

Эта улыбка нѣсколько кольнула Ганю, и Серафима Александровна сейчасъ же подмѣтила это.

— Знаете чтò, не будемте говорить объ этомъ,—такъ надоели всѣ эти дразги!—продолжала она.—Сядемте лучше вотъ здѣсь, въ уголку, чтобы намъ никто не мѣшалъ, вотъ такъ! Дайте мнѣ поглядѣть на васъ...

Она усадила Ганю противъ себя и внимательно всматривалась ей въ лицо своими глубокими глазами. А Ганя въ это время думала: „непремѣнно разспрошу тетю завтра обо всемъ... и чтò это такое тамъ вышло?“

— Вы не сердитесь, что я на васъ такъ безцеремонно смотрю?— говорила между тѣмъ Серафима Александровна.— А знаете почему? Потому что отъ васъ зеленью пахнетъ, травой, цвѣтами... Вѣдь вы изъ деревни пріѣхали?

— Съ хутора. Я тамъ цѣлый годъ жила послѣ гимназiи.

— Съ хутора? Ну, расскажите же, какъ тамъ у васъ. Все цвѣтеть? Распускается?

— Да, когда я уѣзжала, уже вишни и дули цвѣли.

— И черемуха?

— А черемуха уже и отцвѣла...

Глаза Серафимы Александровны блеснули, и она нѣсколько минутъ молчала. Потомъ улыбнулась и продолжала не то съ грустью, не то съ ироніей.

— Вамъ, я думаю, смѣшно, что я такія глупости спрашиваю. Вы, навѣрное, когда ѣхали сюда, думали, что мы всѣ здѣсь ужасно умные и ученые, и вдругъ на первыхъ же порахъ разговоръ—о чемъ же? О черемухѣ...

Ганя немножко покраснѣла. Она, правда, это думала.

— Ну, вотъ видите! А еслибы вы просидѣли въ Питерѣ столько, сколько я сижу, да еслибы цѣлый годъ вы видѣли передъ собою только грязную стѣну,—ну, вамъ бы это неудивительно было, что я про черемуху... Это самые любимые цвѣты мои... и какъ давно я ихъ не видѣла...

Она задумалась, не сводя глазъ съ Гани.

— Отчего же вы не ѣдете въ деревню?—спросила Ганя несмѣло.

— Отчего? Оттого, что Питеръ насъ съѣлъ и запуталъ, какъ паукъ муху. Кто разъ попалъ въ эту паутину, тому уже трудно выбраться изъ нея... развѣ только смерть или начальство помогутъ. А по своей волѣ рѣдкіе выпутываются. Скажите, зачѣмъ вы сюда пріѣхали?—спросила она вдругъ неожиданно и рѣзко, почти сердито.

На этотъ разъ Ганя покраснѣла уже не немножко и растерянно взглянула на Хотынцеву. Но сейчасъ же краска снова сбѣжала съ ея щекъ, и лицо Гани освѣтилось тѣмъ же выраженіемъ, которое такъ поразило давеча Селищева—выраженіемъ радостнаго ожиданія и дѣтскаго восторга.

— Зачѣмъ?—вымолвила она восторженно и такъ стиснула свои руки, что пальцы хруснули.— Вѣдь я ничего не знаю,—мнѣ такъ много надо учиться, а гдѣ же учиться, какъ не здѣсь? У насъ тамъ только ѣда и сонъ, а здѣсь...—она немножко затруднилась и докончила нерѣшительно:—здѣсь жизнь...

— И тоже ёда и сонъ!—смѣясь, проговорила Серафима Александровна.—Разница только въ томъ, что у васъ и ёдять, и спать мирно, и во снѣ, можетъ быть, хорошіе сны видать; а у насъ, чтобы добыть себѣ ёду, надо прежде нагаты съ три короба, кого-нибудь рассорить, кого-нибудь предать, кому-нибудь ножку подставить, а если вы всего этого не продѣлаете, то рискуете совсѣмъ безъ куска остаться. Оттого здѣсь всѣ, кто почестище, и сидятъ въ загонахъ, по уголкамъ жмутся, а челоуѣко-ненавистники и предатели торжествуютъ. Впрочемъ, зачѣмъ я это вамъ говорю?—перебила она сама себя, подмѣтивъ на лицѣ Гани волненіе и испугъ.—Вонъ вы уже и поблѣднѣли... Ахъ, какой еще вы ребенокъ! Сколько вамъ лѣтъ?

— Восемнадцать.

— Вотъ видите, я на десять лѣтъ старше васъ. Для меня время иллюзій прошло, а вы еще живете ими. Ну и живите,—зачѣмъ васъ пугать преждевременно? „Выростешь, Саша, узнаешь“... Только еще одно словечко въ заключеніе,—не увлекайтесь слишкомъ здѣшнимъ блескомъ и громкими словами. Блескъ этотъ обманчивъ,—подъ нимъ часто скрывается зловонная трясина, а слова—слова просто размынная монета, которая завтра въ однѣхъ рукахъ, послѣ-завтра въ другихъ, и цѣнность которой зависитъ отъ биржевого курса... Ну, да полно объ этомъ... вы и безъ того, вѣроятно, думаете, что я злая.

— Нѣтъ... я не думаю этого.

— А что же вы думаете? Ну, скажите пожалуйста,—вы навѣрное правду скажете. У васъ на лицѣ написано, что вы никогда не лгали и не умѣете еще лгать. Ну?

— Миѣ кажется... вы несчастливы...—сказала Ганя и смутилась.

— Правда... Спасибо, голубчикъ, за правду. Несчастлива я и все-таки злая,—не очень, а немножко злая. Вы, однако, наблюдательны... только жизни еще совсѣмъ не знаете. Но, конечно, узнаете... узнаете...—повторила она съ грустью и дотронулась до Ганиной руки своей маленькой жесткой рукою. Знаете что? Приходите ко мнѣ какъ-нибудь,—часто я васъ не прошу, потому что у меня вамъ будетъ скучно, а такъ, впрѣдѣ, когда вамъ надоѣстъ петербургская сутолока. Придете?

— Непремѣнно приду, и даже навѣрное очень скоро!—съ жаромъ сказала Ганя.

— Приходите. Коля будетъ очень радъ. Онъ очень любитъ молодежь, но теперь у насъ рѣдко собираются по разнымъ причинамъ, да и сами мы рѣдко гдѣ показываемся. Вотъ выбрались

сегодня, и то неудачно. Теперь, боюсь, послѣ этой встрѣчи Коля расхворается.

И она съ нескрываемымъ безпокойствомъ взглянула на мужа, который оживленно бесѣдовалъ въ уголку съ маленькимъ подвижнымъ старичкомъ, обросшимъ необычайно густыми сѣдыми волосами. Это былъ Дятловъ, бывшій сотрудникъ журнала, гдѣ они когда-то работали вмѣстѣ съ Хотынцевымъ; теперь онъ, послѣ закрытія журнала, оставался не у дѣлъ и почти совсѣмъ бросилъ писать. Съ Татьяной Аристарховной они были давнишніе знакомые и друзья, и хотя Дятловъ часто журилъ свою пріятельницу за ея смѣшанное общество, но изрѣдка появлялся у нея на „журфиксахъ“ и все время просиживалъ обыкновенно въ уголку, молча наблюдая и про себя чему-то горько усмѣхаясь.

Ганя тоже взглянула на Хотынцева, и теперь ей особенно бросились въ глаза его худоба и блѣдность.

— Развѣ Николай Николаевичъ нездоровъ?—спросила она.

— Да, онъ беспокоитъ меня въ послѣднее время,—отвѣчала Хотынцева, и ея яркіе глаза потемнѣли.—Уѣхать бы ему слѣдовало отсюда хоть на время...

— Отчего же не уѣхать?

— Отчего?—усмѣхнулась Серафима Александровна.—Жизнь такъ сложилась скверно... не хватаетъ какихъ-нибудь двухсотъ-трехсотъ рублей, чтобы отдохнуть въ деревнѣ и хоть мѣсяца два-три не брать въ руки пера. Прежде, когда былъ живъ нашъ журналъ, это можно было, а теперь нельзя. Коля работаетъ въ одной газетѣ, и бросить эту работу ему невозможно, потому что надо же чѣмъ-нибудь жить. У насъ семья... двое дѣтей. Но все это бы ничего!—съ внезапной энергіей и сверкающимъ взоромъ продолжала она.—Я здоровая и сильная; я все могу вынести на своихъ плечахъ, но бѣда въ томъ, что онъ не хочетъ! Онъ отказывается отъ отдыха и не хочетъ бросить работы. Вотъ что меня мучаетъ...

V.

Въ столовой, около чайнаго стола, становилось все тѣснѣе и шумнѣе. Пріѣхалъ музыкальный критикъ, Ермолаевъ, съ женой; появились какія-то пожилыя мрачныя дамы въ черныхъ платьяхъ, съ болѣзненными, истеричными лицами, съ раздраженными головами, подвязанными зубами и тоскливо-безпокойными взглядами. Это были по большей части переводчицы, мелкія писательницы, корректорши, — несчастныя, вѣковѣчныя труженицы, изъ числа

покровительствуемых Татьяной Аристарховной. Всѣ онѣ медленно убивали свое здоровье и свою жизнь въ душныхъ типографіяхъ, конторахъ и редакціяхъ, изъ-за грошевого куска хлѣба. Тяжелый, неблагодарный трудъ, одиночество и лишенія изсушили ихъ сердца, одеревенили душу; никогда не испытавъ собственнаго счастья, онѣ не сочувствовали чужому, и поэтому были мелочны, завистливы и иногда даже злы. Вся горечь жизни, доставшаяся имъ на долю, скопилась въ ихъ сердцахъ, и при случаѣ онѣ обильно изливали ее на головы своихъ ближнихъ. Если счастливые, какъ говорятъ, всѣ эгоисты, то несчастные по большей части несправедливы. Но кто же бросить въ нихъ камнемъ за это?

Вмѣстѣ съ этими несчастными дамами, которые въ ихъ кружкѣ были извѣстны подъ общимъ именемъ „Минервы“, пріѣхали неизмѣнные завсегдатаи всѣхъ петербургскихъ журфиксовъ, клубныхъ вечеровъ и опереточныхъ представлений, — фельетонистъ Крынкинъ и толстый докторъ, фамилію котораго никто хорошенько не зналъ и котораго всѣ называли „D-g Dick“. Трудно было понять, что связывало тѣснѣйшими узами дружбы этихъ двухъ людей, рѣшительно ни въ чемъ не похожихъ другъ на друга. Крынкинъ былъ юркій, живой и веселый; докторъ — толстый, неповоротливый и въ трезвомъ видѣ весьма молчаливый. Крынкинъ любилъ общество, шумные разговоры, улицу, толпу; докторъ предпочиталъ уединеніе и тихую бесѣду съ другомъ глазъ на глазъ; наконецъ, въ характерѣ Крынкина преобладала насмѣшливость съ примѣсью нѣкотораго цинизма, а „D-g Dick“ былъ склоненъ въ сентиментальности и нерѣдко, сидя въ трактирѣ, плакалъ подъ звуки органа и сокрушался о своей неудавшейся жизни. При этомъ еще нужно прибавить, что онъ считалъ себя почему-то замѣчательнымъ гипнотизеромъ, и хотя до сихъ поръ всѣ его гипнотическіе опыты кончались тѣмъ, что онъ усыплялъ самого себя, но все-таки это не мѣшало ему увѣрять, что еслибы онъ жилъ въ Парижѣ, а не въ „подломѣ“ Петербургѣ, и еслибы его зналъ Шарко, то... и т. д.

Несмотря, однако, на различіе характеровъ, вкусовъ и наклонностей, друзья были неразлучны, и, по выраженію Крынкина, куда направлялась иглока, туда и нитка тянулась, хотя докторъ былъ болѣе похожъ на евангельскаго верблюда, чѣмъ на нитку. Рассказывали, что они даже фельетоны вмѣстѣ пишутъ. Но это было неправда, такъ какъ изъ достовѣрныхъ источниковъ было извѣстно, что докторъ, по окончаніи курса, въ руки не бралъ пера, исключая развѣ тѣхъ случаевъ, когда нужно было выписать изъ аптеки хлораль-гидрата для успокоенія собственныхъ нервовъ

послѣ выпивки. Фельетоны же свои Крынкинъ писалъ самъ, хотя дѣйствительно въ такомъ количествѣ, что въ публикѣ невольно возникалъ вопросъ: неужели одинъ человѣкъ въ состояніи написать такую грудь бумаги? Изумительно было также то, что онъ писалъ рѣшительно во всѣхъ газетахъ и журналахъ, исключая двухъ-трехъ, наиболѣе солидныхъ,—и притомъ непремѣнно въ духѣ этихъ газетъ и журналовъ. Если, напримѣръ, журналъ или газета были съ либеральнымъ направленіемъ,—Крынкинъ подпускалъ что-нибудь приторно-сладкое изъ жизни студентовъ и курсистокъ, съ многоточіями, восклицательными знаками, гражданскими рѣчами и цитатами изъ Писарева, выхваченными наудалую. А на этомъ пестромъ фонѣ, задернутый таинственнымъ туманомъ, непремѣнно рисовался нѣкто... откуда-то вернувшійся... о чемъ-то тоскующій... на что-то намекающій и въ концѣ концовъ окончательно исчезающій въ потокѣ восклицательныхъ знаковъ и точекъ, точекъ, точекъ... Для журнала съ отгѣнкою народническимъ изготовлялся по извѣстнымъ уже рецептамъ несчастный мужичокъ... на сцену появлялась грозная баба, какая-нибудь Акулина... шли разговоры о податяхъ, о земельѣ, и въ заключеніе сыпались яростныя ругательства по адресу „паршивой“ интеллигенціи, разорвавшей свои связи съ народомъ, а „непаршивая“ интеллигенція приглашалась немедленно бросить свои книжки, отрясти прахъ отъ ногъ своихъ и на всѣхъ парахъ ѣхать въ деревню... „Да, господа, въ деревню, пахать, косить, возить навозъ,—вотъ что должно спасти насъ отъ застоя, отъ нравственной гибели, отъ умственного оскуднѣнія, отъ физическаго вырожденія, отъ...“ и т. д., и т. д. „Въ деревню, господа, въ деревню,—и чортъ поberi эту проклятую цивилизацію!..“

Но куда дѣвались и приторно-сладкія повѣствованія о добродѣтельныхъ курсисткахъ, и грубоватый пафосъ закоренѣлаго народника, когда Крынкину приходилось имѣть дѣло съ журналами направленія легкомысленнаго, вся цѣль которыхъ состояла въ томъ, чтобы за возможно дешевую цѣну напечатать своего читателя до тошноты самыми одуряющими романами. Крынкинъ тутъ совершенно преобразался. Въмѣсто студенческихъ каморовъ описывались роскошныя будуары, залитыя таинственнымъ розовымъ блескомъ; на мягкихъ кушеткахъ возлежали, утопая въ „ароматныхъ“ кружевахъ, прелестныя дамы; въ потаенную дверь входили сумрачныя фигуры; сначала слышался шопотъ, поцѣлуи... потомъ „адскій хохотъ“... Сумрачныя фигуры исчезали безслѣдно, а на кушеткѣ, все такъ же утопая въ ароматѣ, лежала дама, но... „въ груди ея дымился обогранный кровью кинжалъ“... И т. д.

Крынкинъ, Крынкинъ, Крынкинъ... Крынкинъ въ „Совершателяхъ“, Крынкинъ въ „Народникѣ“, Крынкинъ въ „Арлекинѣ“... Крынкинъ—романистъ, фельетонистъ, новеллистъ... Всюду и вездѣ Крынкинъ и Крынкинъ... И эта фамилія, наконецъ, до того намолила глаза читающей публикѣ, что она „признала“ Крынкина, пожаловать ему титулъ „извѣстнаго“ писателя. Теперь въ редакціонныхъ анонсахъ объявляли не просто „Крынкинъ“, а съ прибавленіемъ: „нашъ извѣстный“... Сочиненія его, вмѣстѣ съ знаменитыми олеографіями „Нивы“, обошли всю Россію и проникли въ самые захолустные уголки, волнуя и потрясая сердца засидѣвшихъ поповенъ... И даже свирѣпыя критики, которые прежде только изумлялись необычайной плодовитости Крынкина, да иронизировали надъ его „приспособляемостью“ къ разнымъ цѣтямъ, теперь должны были сознаться, что въ немъ дѣйствительно „что-то есть“. Такимъ образомъ, Крынкинъ всѣхъ донекъ, всѣхъ побѣдилъ и собственнымъ примѣромъ еще разъ доказалъ справедливость пословицы, что „всякому овощу свое время“...

— Знаете, господа, новость?—сказалъ Крынкинъ, входя и со всѣми здороваясь.

— Что такое? Что такое? — посыпались вопросы. — Нева прошла? Дождь идетъ? Патти пріѣхала? Новый журналъ издается?

При послѣднемъ вопросѣ Орѣшниковъ взглянулъ на Крынкина съ безповойствомъ и подумалъ: „а ужъ, въ самомъ дѣлѣ, не пронюхалъ ли?“

— Нѣтъ, ни то, ни другое, ни третье. Издатель „Арлекина“ застрѣлился...

— Не можетъ быть!—послышались восклицанія, а Орѣшниковъ съ облегченіемъ вздохнулъ. Въ настоящее время судьба его будущей „честной“ газеты была для него дороже десяти издателей всевозможныхъ „Арлекиновъ“, „Паяцовъ“ и пр.

— Серьезно! — подтвердилъ Крынкинъ. — Мы только-что оттуда, вотъ спросите D-r Dick'a.

— Вѣрно. Пулю въ високъ!—форменно, лаконично сказалъ докторъ и протискался поближе къ столу, гдѣ все еще шипѣлъ и клокоталъ безконечный самоваръ.

Крынкина обступили съ разспросами. Пыхтѣевъ такъ и прильнулъ къ нему. Съ одной стороны онъ старалъ отъ нетерпѣнія узнать, какъ все это произошло, чтобы раньше другихъ отрапортовать въ своей газетѣ, а съ другой... ужасно лестно ему было потереться около „знаменитости“. Рѣшительно, ему сегодня

везло. Столько знаменитостей сразу... Потесинъ, Крынкинъ, Селищевъ, Хотынцевъ... Потомъ скандалъ между Потесинимъ и Хотынцевымъ... наконецъ, сенсационное извѣстіе о самоубійствѣ издателя „Арлекина“. Онъ захлебывался отъ радостнаго волненія и даже позабылъ пожалѣть о самоубійцѣ, который частенько выручалъ его въ трудныя минуты выдачей „авансиковъ“.

Крынкинъ, впрочемъ, самъ почти ничего не зналъ. Онъ зашелъ въ редакцію совершенно случайно и наткнулся на мертвое тѣло, полицію и протоколъ. О причинѣ самоубійства догадаться не трудно: дѣла журнала въ послѣднее время были сильно запутаны. Сначала все шло прекрасно; одни объявленія давали огромныя деньги, но покойный любилъ пожуировать, и его послѣдняя связь поглощала массу денегъ...

— Вотъ, Васильковъ, покупай журналъ-то!—говорилъ Крынкинъ.

— Ну ужъ, куда намъ!—улыбаясь, отвѣчалъ Васильковъ.

— Что такое „куда намъ“? Хорошее дѣло сдѣлаешь. „Арлекинъ“ шелъ бойко, въ провинціи его любятъ. А ты его еще порасширь, французскаго романчика подпусти побольше, да картиночекъ на пикантные сюжеты... эта часть, впрочемъ, и у покойника хорошо была поставлена. Погляди, какія деньги загребать будешь!

— Ну, еще прогоришь, пожалуй... и тоже пулю въ лобъ!—засмѣялся Васильковъ.

— Затѣмъ? Дуракъ будешь, если съ такимъ журналомъ прогоришь. Теперь время такое: съ „Арлекиномъ“ не прогоришь.

— То-есть, вы хотите сдѣлать изъ литературы трактиръ и балаганъ?—вмѣшался вдругъ Орѣшниковъ, который давно уже прислушивался къ разговору Крынкина съ Васильковымъ и весь, очевидно, кипѣлъ и клокоталъ внутренно.

— А что же такое! Да, балаганъ, если хотите,—добродушно посмѣиваясь, сказалъ Крынкинъ, а Пыхтѣевъ сочувственно и восторженно ему подхихивнулъ.

— То-есть, иначе говоря, вы превращаете литературу въ проституцію?

— И съ этимъ согласенъ. Пусть будетъ такъ.

— Но вѣдь это развратъ! Это хуже разврата, это преступленіе, разстѣніе души!—Совсѣмъ уже сорвавшись съ цѣпи, заклокоталъ Орѣшниковъ.

— Нѣтъ, это историческая необходимость. Я, знаете, думаю, что не литература создаетъ общество, а общество литературу. Нашла на публику такая полоса, что въ балаганъ ей захотѣлось,

— и литература превращается въ балаганъ. Въ храмъ ее потянуло—ну и въ литературѣ воцаряется торжественность и благопристойность. Это законъ, его же не преидеши.

— Тѣнь говорить...—началь-было Пыхтѣевъ, но Орѣшниковъ не далъ ему договорить.

— Какой тамъ Тѣнь!—закричалъ онъ совершенно дико.— Къ чорту Тѣня! вретъ Тѣнь и никакого такого закона нѣтъ! Не признаю! Отвергаю! Литература должна стоять во главѣ и указывать путь къ идеаламъ. Не пойдетъ толпа въ грязный кабакъ, если ей укажутъ дорогу къ свѣтлому храму, и честная литература сдѣлаетъ это...

— Можетъ быть, со временемъ. А пока все-таки толпа идетъ въ балаганъ, и ей нужны шуты, а не проповѣдники. Шуты торжествуютъ, а проповѣдники остаются въ одиночествѣ.

— И вы думаете, что ни одинъ честный голосъ... честный журналъ или газета ничего теперь не сдѣлаютъ и даже не будутъ услышаны?

— Думаю. И совѣтую вамъ снять свои проповѣдническія ризы и облачиться въ мантию шута и колпакъ съ бубенчиками. Поглядите, сколько народу побѣжить!

Эти послѣднія слова задѣли Орѣшникова за самое больное мѣсто и вывели его изъ себя,—споръ разгорѣлся еще пуще. Но силы были далеко не равны; какъ всѣ черезъ-чуръ вспыльчивые и подвижные люди, Орѣшниковъ совсѣмъ не умѣлъ спорить, притомъ онъ относился къ дѣлу совершенно серьезно и въ своемъ увлеченіи не замѣчалъ, что Крынкинъ просто потѣшается надъ нимъ. Въ сущности же Крынкину было рѣшительно все равно, какое направленіе доминируетъ въ литературѣ: ему съ его талантомъ „приспособляемости“ при всякихъ направленіяхъ было хорошо.

Пока они спорили, общество распалось на отдѣльныя группы и разговоры разбились. Сначала поговорили о самоубійствѣ издателя „Арлекина“, потомъ опять перешли къ академической выставкѣ, побранили въ сотый разъ и художниковъ, и сѣренъкое время, и холодную весну, и Петербургъ, съ которымъ все-таки никто изъ нихъ ни за что не могъ разстаться. Селищевъ слушалъ-слушалъ всѣ эти до тошноты знакомые разговоры, каждый день повторявшіеся въ каждомъ уголкѣ Петербурга, съ небольшими варіаціями, и ему, наконецъ, стало душно. Онъ потихоньку выбрался изъ столовой и направился въ гостиную.

Здѣсь было прохладно, тихо и свѣтло. Стѣнные лампы ярко горѣли, красиво освѣщая пышную зелень латаній и фикусовъ;

въ отворенную форточку вмѣстѣ съ свѣжимъ ночнымъ вѣтромъ доносились смутные уличные звуки. Селищевъ остановился на порогѣ и оглядѣлся. Хотынцевъ съ старичкомъ Дятловымъ все продолжали свою оживленную бесѣду; Серафима Александровна съ Ганей сидѣли подъ араукаріей, и обѣ разомъ оглянулись на Селищева, когда онъ вошелъ. Но Селищевъ видѣлъ только одну Ганю, и при видѣ ея свѣжаго юнаго личика на душѣ у него посвѣтлѣло.

— Не помѣшаю я вамъ?—спросилъ онъ, подходя.

— О, нѣтъ!—за себя и за Ганю отвѣчала Серафима Александровна.—Мы уже все переговорили и, кажется, хорошо ознакомились другъ съ другомъ. А вы? Убѣжали отсюда?

— Да. У васъ тутъ такъ славно, вы выбрали себѣ хорошій уголокъ. А тамъ...—онъ нервно пожалъ плечами и замолчалъ, глядя на склоненную голову Гани, на ея бѣлый лобъ, красиво отгнѣненный тонкими бровями, на пышныя пряди бѣлокурыхъ волосъ, которые при свѣтѣ лампъ отливали серебромъ.

— А тамъ что?—спросила Серафима Александровна и пристально взглянула на художника своими серьезными внимательными глазами.

Селищевъ почувствовалъ на себѣ этотъ взглядъ, и снова смутился. „Какъ она смотритъ!—подумалъ онъ непріязненно.—Точно въ душу заглядываетъ. У нея лицо Меден; черезъ-чуръ много энергіи и смѣлости. Она хороша, но я не желалъ бы имѣть ее ни женой, ни любовницей“...

— Чтѣ тамъ, спрашиваете вы?—отвѣчалъ онъ, овладѣвая собой.—Да все одно и то же, знакомое. Сплетни, слухи, новости, и ничего больше. Ни одной серьезной мысли, ни одного живого слова. Если вы скажете что-нибудь, отъ чего не пахнетъ послѣднимъ нумеромъ газеты, на васъ поглядятъ какъ на сумасшедшаго и не станутъ слушать. Люди разучились и боятся думать.

— Однако, въ васъ много ироніи,—сказала Серафима Александровна.

— Нѣтъ, иронія не въ моей натурѣ. То, чтѣ вы называете ироніей, просто острый припадокъ злости противъ петербургской мелочности и бездушія...

„Ого! — подумала Серафима Александровна, и еще внимательно взглянула на художника. — А ты... у тебя у самого-то есть ли душа?“

— Вотъ сейчасъ тамъ,—продолжалъ между тѣмъ Селищевъ:—приходить Крынкинъ,—вы его знаете,—и рассказываетъ, что издатель „Арлекина“ застрѣлился... Чтѣ съ вами?—съ безпокой-

своемъ обратился онъ къ Ганѣ, которая вдругъ вся поблѣднѣла, вздрогнула и съ испугомъ взглянула на Селищева.

Серафима Александровна ласково взяла руку Гани и крѣпко ее пожала.

— Петербургскія впечатлѣнія дѣйствуютъ? Да? — спросила она, грустно улыбаясь.

— Нѣтъ, такъ, — отвѣчала Ганя, краснѣя и стыдась, что обратила на себя вниманіе. — Просто, меня какъ-то испугало это слово: „застрѣлился“. Отчего это онъ?

— Жить стало нечѣмъ; разорился, — разсѣянно проговорилъ Селищевъ, слѣдя, какъ блѣдность сбѣгала со щекъ Гани, смѣняясь нѣжными золотисто-розовыми тонами. — Но... знаете чтѣ? Оставимте эти пошлыя дразги, — давайте, лучше поговоримъ о томъ, куда мы завтра съ вами. Въ Эрмитажъ? Въ Академію? Или ко мнѣ...

— Чтѣ, вы хотите теперь показывать Петербургъ съ казовой стороны? — сказала Серафима Александровна насмѣшливо.

Но Селищевъ на этотъ разъ не замѣтилъ ея ироніи. Въ немъ заговорилъ художникъ, и онъ, не скрывая болѣе своего восхищенія, любовался Ганей, соображая въ то же время, какими красками передать на полотнѣ этотъ тонкій загаръ щекъ и серебристый блескъ волосъ.

— Да, — отвѣчалъ онъ на вопросъ Хотынцевой, радостно оживляясь. — Хочу трихнуть стариной и немножко подновить свои впечатлѣнія. Ахъ, это такое наслажденіе — пережить еще разъ рядомъ съ вами свои прежніе восторги и увлеченія... Я покажу вамъ свою любимую Мадонну. Вы видѣли когда-нибудь Мурильо? Нѣтъ? Тѣмъ лучше. Мурильо немножко темноватъ; онъ не поражитъ васъ роскошью формъ и блескомъ красокъ, но зато созданія его проникнуты глубокой мыслью. Мурильо — психологъ... Вотъ вы увидите его чудную Мадонну, — эту полу-дѣвушку, полу-ребенка, на лицѣ котораго отразилась вся его душа, потрясенная величіемъ грядущаго счастья и грядущаго страданія. Въ этомъ полу-дѣтскомъ личикѣ, въ этихъ невинныхъ глазахъ, поднятыхъ къ небу, и божественный восторгъ, и покорность, и благоговѣніе передъ великою тайной, готовою совершиться... Да вотъ вы сами увидите ее и полюбите такъ же, какъ и я!

Оживившійся и помолодѣвшій Селищевъ былъ неузнаваемъ. Въ глазахъ его вспыхивали огоньки, вялость движеній исчезла, улыбка не сходила съ губъ. Давно уже и ни съ кѣмъ онъ не говорилъ такъ много и охотно о живописи, о любимыхъ своихъ мастерахъ и картинахъ. Все это, казавшееся такъ недавно ста-

рымъ и ненужнымъ хламомъ, приобрѣло теперь въ его глазахъ интересъ и смыслъ... онъ вновь переживалъ забытыя впечатлѣнія далекой юности. Серафима Александровна зорко наблюдала за Селищевымъ, и отъ ея внимательныхъ глазъ не укрылись — ни его внезапное оживленіе, ни явное восхищеніе его передъ Ганей. Она поняла все и думала, глядя на художника: „Лжешь ты, голубчикъ, и самъ, можетъ быть, не сознаешь этого, а все-таки лжешь... Не Мурильо и не Мадонна заставляютъ сейчасъ блестятъ твои глаза и покрываютъ румянцемъ твои щеки, а вотъ эта юная свѣженькая дѣвушка съ своей серебряной косой и восторженнымъ взглядомъ. Бѣдная, бѣдная Ганя!..“

Такъ думала Серафима Александровна, и въ то же время досадовала на себя за свою привычку вѣчно заглядывать въ чужую душу, рыться въ самыхъ тайныхъ закоулкахъ ея и отыскивать тамъ все темное и больное. Это ясновидѣніе по временамъ доводило ее до тоски и отвращенія къ людямъ; въ такія минуты всякое общество становилось для нея невыносимымъ, и она спѣшила уйти отъ людей.

Ея мысли были прерваны Хотынцевымъ, который съ блѣднымъ и усталымъ лицомъ подошелъ къ ней.

— Пойдемъ, Сима,—сказалъ онъ, кашляя. Дятловъ уходитъ; пора и намъ.

Ганя встала ихъ провожать. Когда они были уже въ передней, изъ столовой выбѣжала Татьяна Аристарховна, раскраснѣвшаяся, взволнованная какимъ-то жаркимъ споромъ, оттолоски котораго, вмѣстѣ съ клубами табачнаго дыма, доносились до Хотынцевыхъ.

— Вы уже уходите? Такъ рано?—воскликнула она. — Неужели нельзя остаться?

— Нѣтъ, нельзя, Татьяна Аристарховна! Вѣдь тамъ у насъ ребяташки, — сказала Хотынцева.

— Ахъ, какъ жаль! И навѣрное вамъ было скучно у меня, а тутъ еще эта ужасная исторія. Но вѣдь вы на меня не сердитесь? Да? Ахъ, жаль, жаль, что уходите! Тамъ у насъ преинтересный споръ: Крынвинъ и Орѣшниковъ... Этотъ Орѣшниковъ просто прелесть! Онъ всѣхъ тамъ разбилъ, этихъ современныхъ... Такъ неужели вы такъ-таки и уходите?

— Нельзя, Татьяна Аристарховна. Въ другой разъ какъ-нибудь. Прощайте.

— Ну, такъ подождите немного. Я сейчасъ...

Татьяна Аристарховна исчезла.

— Такъ придете къ намъ?—обратилась къ Ганѣ Хотынцева.

— Я буду ждать, — мнѣ интересно знать, что изъ васъ сдѣлаетъ Питеръ. Да нѣтъ! Не скоро придете!

— Отчего?

— Будете утопать въ восторгахъ предъ Мурильо и прочими. А у меня вѣдь скучно и самая отчаянная проза — кострюли, корыта, дѣти, горшки...

— Все-таки я приду.

— Ну, увидимъ. А вы не разсердитесь, я вамъ одно словечко скажу? Вонъ вы уже краснѣете, — нѣтъ, лучше не стану.

— Нѣтъ, говорите. А то я мучиться стану.

— Ну, хорошо. Только откровенность за откровенность, — нравится вамъ этотъ художникъ?

— Не знаю... Да...

— А мнѣ нѣтъ. Жить-то ему, видно, еще хочется, а жить нечѣмъ — все потухло. Вотъ онъ теперь околѣ васъ ищетъ вдохновенія, — очевидно, на него ваша молодость дѣйствуетъ. Берегитесь вы его!.. Ну, вотъ вамъ и словечко.

Появилась Татьяна Аристарховна съ огромнымъ пакетомъ, изъ котораго выглядывали апельсины и еще какія-то лакомства. Оказалось, что все это приготовлено „для дѣтишекъ“, и Хотынцевы, чтобы не огорчить добрую старушку, принуждены были взять пакетъ.

— Славная она барыня, эта Татьяна Аристарховна! — сказала Хотынцевъ, спускаясь съ лѣстницы. — А все-таки я теперь къ ней больше не пойду.

Серафима Александровна ничего не отвѣчала. Она думала объ оставленныхъ дома дѣтишкахъ, о нездоровѣй мужа и о разныхъ непріятныхъ хозяйственныхъ мелочахъ. Потомъ ей почему-то вспомнилась цвѣтущая черемуха, вспомнилось недавнее свѣтлое прошлое... юное личико Гани мелькнуло передъ ней. И вдругъ ей стало невыносимо жаль и себя, и эту Ганю, и мужа, и всѣхъ, кого обманула и обманываетъ жизнь.

VI.

По уходѣ Хотынцевыхъ часть общества перешла въ гостиную, потому что въ столовой накрывали ужинъ.

— Жупеломъ пахнетъ! — провозгласилъ Потесинъ, появляясь на порогъ и дѣлая видъ, что онъ нюхаетъ воздухъ.

Всѣ поняли остроту и засмѣялись; громче всѣхъ захихикалъ Пыхтѣевъ. Онъ предчувствовалъ, что сейчасъ начнутъ говорить

о Хотынцевѣ, и съ нетерпѣніемъ ждалъ этого, чтобы въ свою очередь рассказать о немъ какую-нибудь гадость.

— Однако, онъ очень измѣнился съ тѣхъ поръ, какъ я его въ послѣдній разъ видѣла, — начала одна изъ Минервъ. — Гдѣ это было? Да, на литературномъ вечерѣ. Онъ ужасно похудѣлъ и смотреть совсѣмъ больнымъ.

— Какъ и подобаетъ „поэту страданія“! — подхватилъ Потесинъ, усмѣхаясь. — Нынче вѣдь „страдать“ обязательно, и „страдалицы“ — самый модный типъ, „personnage régnant“. Какъ ты тамъ страдаешь и отчего страдаешь — можетъ быть, отъ разстройства желудка — pardon, mesdames! — но чтобы „печать страданія“ лежала на твоёмъ лицѣ непременно. Иначе на тебя будутъ глядѣть съ презрѣніемъ.

Всѣ опять засмѣялись.

— Серьезно! — продолжалъ Потесинъ. — Бѣда тому, кто не страдаетъ бессонницей и имѣетъ хорошій аппетитъ! „Какъ? У него румянецъ? Онъ можетъ ѣсть, когда человѣчество страдаетъ? Онъ даже смѣется? Подлый!“ Вотъ вамъ и все.

— Ну, вы преувеличиваете! — возразилъ кто-то.

— Нисколько. Я вамъ могу указать факты. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ былъ у меня одинъ знакомый, прекрасный парень, но чудакъ ужаснѣйшій. Такъ, я вамъ скажу, это просто мученикъ былъ, жертва! Вертѣлся онъ тутъ среди молодежи, по кружкамъ, — книжки разныя, рѣчи, ну и, конечно, на первомъ планѣ „человѣчество“ и „страданіе“ — все какъ слѣдуетъ. Вижу, проникся онъ этимъ до глубины души и начинаетъ „страдать“, но тутъ-то и вышелъ курьёзъ. Нужно вамъ сказать, что при всей своей наклонности къ „страданію“ бѣдняга былъ одаренъ отъ природы сложеніемъ Фальстафа. Что тутъ подѣлаешь? Начнетъ рѣчь говорить на сходы — не слушаютъ: „ишь разѣлся, а туда же еще лѣзетъ! и можешь ли ты говорить о страданіи человѣчества, когда у тебя *рыло* отъ жиру лоснится?“... Понимаете ли вы эту драму? И до того довели, наконецъ, его, что посадилъ онъ себя на діету доктора Таннера, и каждый день бѣгалъ въ ближайшій лабазъ на десятичныхъ вѣсахъ вѣшаться. Прибѣжить, бывало, сіяетъ. „Что такое?“ — „Слава Богу, еще полфунта спустилъ!“

— Ну, Хотынцевымъ по неволѣ приходится сидѣть на Таннеровской діетѣ, — сказала опять одна изъ Минервъ. — Говорять, они страшно бѣдствуютъ.

— Да, мнѣ рассказывалъ кто-то о нихъ, — подтвердила дру-

гая Минерва.—Говорять, живутъ чуть не въ подвалѣ, жена сама стираетъ, стираетъ, моетъ полы...

— И проповѣдуетъ законъ Мальтуса!—ввернулъ Пыхтѣевъ, хихикая.

— Я знаю, что ему предлагали сотрудничать въ „Созерцатель“ по двѣсти рублей листъ. Онъ отказался.

— Почему?

— Потому что тамъ одинъ господинъ работаетъ.

— Удивительно! Къ чему такая нетерпимость? И изъ-за такихъ пустяковъ губить свой талантъ,—эти копѣчные расчеты и дразни дѣйствуютъ убійственно...

— Что такое? Имѣть убѣжденія — по вашему пустяки?— вмѣшался неожиданно явившійся откуда-то Орѣшниковъ,—красный, взъерошенный и возбужденный.

Минерва сконфузилась. Ей вспомнилось, какъ она, года два тому назадъ, въ разговорѣ съ этимъ же самымъ Орѣшниковымъ, горячо утверждала, что лучше умереть съ голоду, чѣмъ работать для какого-нибудь литературнаго Разуваева, а теперь... теперь она сама сотрудничала въ грязненькой уличной газетѣ, издаваемой какимъ-то темнымъ субъектомъ съ двусмысленнымъ прошлымъ.

— Я вовсе не говорю объ убѣжденіяхъ,—сказала она, краснѣя.—Я только высказываю мысль, что бѣдность и постоянная тревога изъ-за копѣйки, изъ-за того, какъ прожить завтрашній день, ужасно опошляютъ человѣка...

— А сдѣлки съ совѣстью не опошляютъ?

— Но согласитесь сами, что писателю нужна извѣстная обстановка... Кому поидетъ на умъ работа, когда кругомъ нищать голодные дѣти, а жена требуетъ денегъ на дрова или хлѣбъ.

— А по вашему крупныя произведенія создаются только въ палатахъ и дворцахъ? Нѣтъ, голубушка вы моя, вся суть въ томъ, есть ли въ вашей душѣ feu sacré, да умѣете ли вы любить и страдать...

— Ужъ страдать-то непременно! — вставилъ Потесинъ насмѣшливо.

— Да-съ, страдать!—повторилъ Орѣшниковъ, мало-по-малу приходя въ изступленіе.—Это слово великое, и если вы вмѣстили его въ себя, если всѣ слезы, всѣ вопли, стоны, печали и радости міра нашли отголосокъ въ вашей душѣ — такъ на что вамъ дворцы и всякая роскошь? Гдѣ бы вы ни были,—въ лачугѣ, въ тундрахъ, въ тюрьмѣ, — ваше сокровище, вашъ неугасимый feu sacré вездѣ будетъ съ вами...

Ни душная тюрьма, ни стѣны башни,
 Ни мѣдныя преграды, ни оковы
 Не могутъ укротить порывовъ духа...

— Откуда это онъ? Не знаешь? — спросилъ Пыхтѣевъ Васильева, поспѣшно вынимая карандашъ и записную книжку, чтобы записать скорѣе цитату и при удобномъ случаѣ пустить ее въ ходъ въ одномъ изъ своихъ фельетоновъ.

— Мм... не знаю. Да чортъ съ нимъ, пойдемъ лучше въ столовую, — тамъ ужъ гремѣть что-то, вѣрно закуска... Смерть выпить хочется... Не пойдешь? Ну, ладно, я одинъ...

— Да что, голубушка вы моя, все это трюизмы, и вы хорошо это знаете, а просто говорите такъ ради самооправданія! — продолжалъ Орѣшниковъ громить несчастную Минерву, сидѣвшую какъ на иголкахъ. — Все это я понимаю, но зачѣмъ же съ больной головы на здоровую-то сваливать? Ну, ладно, ну, заставила нужда войти въ сдѣлки съ совѣстью, такъ и смиришься, и молчи, и никто въ тебя за это камнемъ не броситъ. А вотъ нѣтъ же, сдѣлалъ самъ гадость, продалъ своего Бога за тридцать сребренниковъ, да еще хорохорится. И самъ вѣдь сознаетъ въ душѣ, что гадость это, а поглядишь на него — герой, да и только! Какъ же не герой, помилуйте! Во-первыхъ, никакихъ предразсудковъ: на родного брата пасквили напишетъ, и не поморщится... это ли не геройство? Затѣмъ, продавая своего Бога, вы думаете, онъ подлость дѣлаетъ? Ничуть: это, видите ли, съ его стороны жертва; вѣдь „въ экономіи природы ничто не пропадаетъ даромъ“, и почему знать, можетъ быть со временемъ его оправдаютъ и оцѣнятъ благодарные потомки. Наконецъ, терпимость у него самая широкая, и онъ съ одинаковымъ олимпійскимъ спокойствіемъ взираетъ и на гонимыхъ, и на гонителей, „къ добру и злу постыдно равнодушный...“.

— А это откуда? Не знаете? — прошепталъ Пыхтѣевъ, наклонясь къ одной изъ Минервъ и выхватывая изъ кармана записную книжку.

— Ахъ, отстаньте вы!.. Изъ Лермонтова, кажется...

Потесинъ, давно уже не слушавшій или только дѣлавшій видъ, что не слушаетъ Орѣшникова, наконецъ довольно громко вѣвнулъ, и отошелъ къ столику съ альбомами.

— Ба! Да вы еще здѣсь, Иванъ Александровичъ? — воскликнулъ онъ, увидѣвъ въ тѣни араукаріи Селищева. — А вѣдь я думалъ, что вы давно уже улизнули... И откровенно говоря, скучновато здѣсь и совсѣмъ не забавно. Этотъ идіотъ, Орѣшни-

ковъ, положительно забывается, и такую чушь несетъ — хотъ святыхъ выноси!..

— А я думаю, что онъ правъ, — сказалъ Селищевъ.

— Правъ? — воскликнулъ Потесинъ и насторожился.

— Да... вотъ относительно „священнаго огня“, и что великія произведенія создаются не въ дворцахъ... „Любить и страдать—вотъ въ чемъ суть“... Ахъ, какая это глубокая правда!

— Да, вы вотъ о чемъ! — проговорилъ Потесинъ и вдругъ, пораженный тѣмъ-то въ звукъ голоса Селищева, зорко взглянулъ на художника. — Батенька! Да что это съ вами? А?

— А что такое? — вымолвилъ Селищевъ, не сердясь, какъ обыкновенно бывало съ нимъ, когда рѣчь коснулась его настроенія, а напротивъ, улыбаясь.

— Да вы точно живой воды хватили, — право. И отъ васъ фіалками пахнетъ. Такъ что я не на шутку начинаю подозревать...

Къ нимъ подошелъ Васильковъ, улыбающійся, красненькій. Онъ уже успѣлъ выпить и закусывать кускомъ сыра.

— Господа, что же вы время-то здѣсь теряете? — сказалъ онъ, усиленно моргая, что означало у него первую степень восторга. Тамъ уже подали... сыръ хорошъ... и якра есть...

— А ты уже, вѣстается, того? — усмѣхнулся Потесинъ.

— Не того... а выпилъ дѣйствительно. Отчего же не выпить?

— Это нынче уже въ который разъ? Ахъ ты, Гаргантюа! Ну, куда тебѣ „Арлекина“ издавать? Вѣдь ты его въ мѣсяцъ съѣшь.

— Съѣмъ.

— Ну, а тогда что? Застрѣлишься тоже?

Василькову эта мысль показалась до того забавной, что онъ расхохотался, поперхнулся и закашлялся.

— Эхъ, ты, Горе-богатырь! — махнулъ на него рукой Потесинъ. — Ну, а этотъ опять завелъ свою шарманку... — добавилъ онъ уже на порогѣ столовой, дѣлая гримасу.

Послѣднія слова относились къ Орѣшникову, который, стоя за длиннымъ столомъ и размахивая вилкой, горячо доказывалъ что-то сидѣвшему напротивъ Крынкину. Споръ, очевидно, интересовалъ всѣхъ, потому что даже „D-g Dick“ пересталъ ѣсть и усталъ свои сонные глаза на Орѣшникова. Татьяна Аристарховна, взволнованная, расхаживала взадъ и впередъ по комнатѣ, — она не ужинала и даже никогда не сидѣла за столомъ, предоставляя Юліи Павловнѣ распорядиться за нее и угощать гостей, — и блестящими глазами смотрѣла то на Орѣшникова, то на раскраснѣвшуюся Ганю.

— Вы не понимаете Хотынцева, если утверждаете, что въ его произведеніяхъ больше злобы, чѣмъ любви!—говорилъ Орѣшниковъ.—Неужели этотъ вопль обиды за человѣка и это страстное негодованіе противъ всего низкаго, подлаго и темнаго въ его натурѣ—по вашему только злоба и ничего больше? Въ такомъ случаѣ я не понимаю, что же по вашему значитъ любовь? И какъ она должна выражаться?

— Я не могу вамъ этого сказать,—возразилъ Крынкинъ.—Каждый, конечно, выражаетъ ее по своему. Но писатель, который съ какимъ-то болѣзненнымъ сладострастіемъ разрабатываетъ только темныя стороны человѣка, и каждой строчкой только и дѣлаетъ, что ставить этого человѣка къ позорному столбу—врядъ ли этотъ писатель повиненъ въ любви къ человѣчеству!

— А что же по вашему онъ долженъ дѣлать? Гладить по головѣ? „Панинъка“ приговаривать? За несуществующія добродѣтели лаврами награждать?

— Нѣтъ, лавры зачѣмъ, но ты покажи намъ всего человѣка, найди въ немъ искру божью...

— Ахъ, „искра божья“! До чего уже этой несчастной „искрой“ злоупотребляютъ нынче, до чего ее загадили и опошили! „Искра божья“! Какой-нибудь казнокрадъ, развратникъ, подлецъ до самаго дна своей душонки, ободралъ миллионы людей, погубилъ тысячи жизней и наконецъ самъ попался, потому что запустилъ лапу въ какому-нибудь другому хищнику посылнѣе и покрупнѣе,—ахъ, какъ его жаль! Вѣдь онъ жертва обстоятельствъ! Его среда заѣла! Онъ продуетъ историческихъ условій и, бѣдняжка, ни въ чемъ не виноватъ! Вотъ посмотрите, какъ онъ сидитъ за желѣзною рѣшеткой, въ сѣромъ халатѣ, несчастный! И онъ ужасно мучается угрызеніями совѣсти! Какъ ему тяжело! Ну, тамъ онъ погубилъ кого-то, содралъ шкуру, ну, что же такое? Онъ уже все искупилъ... онъ раскаялся и даже расплакался на груди у своего тюремщика... и потомъ у него уже нѣтъ ни бархатной мебели, ни французенки, ни шампанскаго... и ахъ! охъ!.. и тысяча восклицательныхъ знаковъ... и многоточіе... и читатель вынимаетъ изъ кармана носовой платокъ и, прикладывая къ глазамъ, восклицаетъ: „а вѣдь въ самомъ дѣлѣ, Богъ съ нимъ! Пусть его оправдаютъ,—вѣдь мертвыхъ не воротить, а вѣдь, по правдѣ сказать, французенки и шампанское—вещь соблазнительная, чортъ возьми“!

— Ну ужъ это вы утрируете!—сказалъ Крынкинъ, смѣясь и угадывая, что Орѣшниковъ пародируетъ его собственную манеру.

— Да это еще что!—продолжалъ Орѣшниковъ.—Недавно одинъ знакомый—не скажу, кто, за него стыдно,—пресерьезно доказывалъ мнѣ, что Іуда-предатель вовсе уже не такъ виноватъ, какъ это принято думать, и что еслибы его судили, то онъ, мой знакомый, произнесъ бы такую защитительную рѣчь, что Іуду не только бы оправдали, но прямо на рукахъ бы вынесли изъ залы. Вотъ вѣдь до чего можно дойти съ этой „искрой божіей“. „Tout comprendre—c'est tout pardonner“ — формула хорошая, но не во всѣ времена и не ко всякому случаю удобопримѣнимая. Есть вещи, которыхъ ни понять, ни простить невозможно... И опять повторяю,—безъ негодованія нѣтъ любви! Кто любитъ человѣка, тотъ ненавидитъ его пороки, и чѣмъ сильнѣе любовь, тѣмъ сильнѣе негодованіе. „Хотынцевъ озлобленъ! Хотынцевъ—человѣконенавистникъ“! Господи ты, Боже мой! Да человѣкъ кровью истекаетъ отъ любви къ людямъ, изстрадался весь, измучился, обезумѣлъ отъ стыда, отъ жалости, отъ тоски за всю эту подлость, мерзость,—а вы говорите: „человѣконенавистникъ“! Да укажите мнѣ еще кого-нибудь другого, кто бы умѣлъ такъ любить...

И, задавъ этотъ вопросъ, Орѣшниковъ вскочилъ съ мѣста, сдѣлалъ кругъ около стола и, успокоивъ себя такимъ образомъ, опять сѣлъ за столъ.

Потеснивъ, котораго давно уже раздражалъ и Орѣшниковъ, и имя Хотынцева, безпрестанно имъ упоминаемое, и давешній непріятный случай, еще не забытый,—наконецъ не вытерпѣлъ.

— Относительно любви, страданій и прочаго мы не будемъ спорить,—сказалъ онъ.—Пусть у г. Хотынцева все это есть и даже съ избыткомъ. Я скажу больше—черезъ-чуръ много страданія!..

— „Чѣмъ больше скорбь, тѣмъ выше человѣкъ“!—вставилъ Орѣшниковъ.

— Прекрасно; но если вамъ каждый день будутъ приподносить одно и то же кушанье, облитое соусомъ скорби и негодованія, то, я думаю, въ концѣ концовъ оно вамъ опротивѣетъ до чертиковъ. Вѣдь не одни же болячки и уродства существуютъ на свѣтѣ, а вашъ Хотынцевъ только ихъ намъ и показываетъ, да я не просто показываетъ, а съ крикомъ, съ плачемъ, бѣя себя въ грудь и раздирая на себѣ ризы. Это даже и не изыщно.

— Когда человѣку больно, онъ кричитъ. И ему вовсе не до того, изыщно ли онъ кричитъ или неизыщно.

— Да мнѣ-то какое дѣло? И пусть себѣ кричитъ, только

зачѣмъ же я то буду съ нимъ вмѣстѣ кричать, когда мнѣ не хочется и когда у меня ничего не болитъ?

— Вотъ въ этомъ-то и суть, что вы его боли не чувствуете и не понимаете. По этому случаю мнѣ вспоминается одинъ анекдотъ. Когда я былъ въ Болгаріи, въ послѣднюю войну, при мнѣ принесли разъ на перевязочный пунктъ солдата съ пулей въ ногѣ. Хлороформировать было некогда, да и нечѣмъ, — докторъ принялся ковырять рану немедленно. Раненый, конечно, при этомъ стоналъ и кричалъ, а стоявшій тутъ фельдшеръ, толстый и краснощекій человѣкъ, приговаривалъ укоризненно: „экой ты чудакъ, братецъ, чего ты орешь, только барина безпокоишь!“

— Что же, и вполнѣ резонно! Не кричать же ему было вмѣстѣ съ солдатомъ, — вѣдь все равно отъ этого раненому не было бы легче. Вашъ фельдшеръ поступилъ какъ вполнѣ нормальный человѣкъ, и его осуждать нельзя. Точно также, я полагаю, правъ и тотъ, который видитъ въ мірѣ не однѣ гнойныя язвы и слышитъ не одни вопли отчаянія, а способенъ наслаждаться и запахомъ цвѣтущей розы, и пѣніемъ соловья. По моему, это нормально, а по вашему, пожалуй, преступленіе.

— Да-съ, преступленіе! — закричалъ Орѣшниковъ, снова закиная и вскакивая. — Если человѣкъ намѣренно отворачивается отъ своего страдающаго ближняго и старается среди благоуханія розъ и пѣнія соловьевъ забыть его вопли и ворчи, — это преступленіе! И это совсѣмъ не нормально, какъ вы увѣряете, — это дурной признакъ, это болѣзнь! Вы больны равнодушіемъ, у васъ *anestesis communis* души, вы одряхлѣли сердцемъ, очерствѣли, засохли! Господа, да гдѣ же ваша молодость, гдѣ идеалы? Неужели ихъ и не было никогда? Неужели вы никогда не молились, не рыдали и не рвались отдать жизнь „за други своя“? Кто-то сказалъ: „жизнь безъ идеала — или преступленіе, или безуміе“, — какъ же вы живете? И вамъ не стыдно, не больно? Несчастные, жалкіе, больные люди!..

Отъ волненія онъ даже задохнулся. Всѣ молчали; иные сидѣли, понурившись. Блѣдный призракъ молодости съ ея полузабытыми вѣрованіями и порывами всталъ передъ ними и съ упрекомъ заглядывалъ въ душу. Потесинъ чувствовалъ себя непріятно; слова Орѣшникова хлестали его по лицу, и въ душѣ его разгоралась злость. Но онъ не хотѣлъ сдаваться.

— Хорошо-съ, — сказалъ онъ съ усмѣшкой. — Мы, по вашему, больны равнодушіемъ и тамъ еще чѣмъ-то, а вы? Будьте справедливы; вы ругали насъ, — не забудьте ужъ и себя.

— Мы больны стыдомъ за свое безсиліе и за ваше равно-

душіе. Не думайте, чтобы я себя оправдывалъ и возвеличивалъ. Нѣтъ, насъ тоже нечѣмъ будетъ помянуть на скрижаляхъ русской исторіи. Изъ тьмы вышли и во тьму возвратимся. Я скажу еще больше,—мы хуже васъ. Вы окаменѣли и погрузились въ ощущенія своего „я“,—больше ничего вамъ не нужно. А мы вѣдь все сознаемъ, что кругомъ-то дѣлается,—вотъ вѣдь въ чемъ подлость; мы видимъ, какъ люди за идею погибаютъ, и мучаемся ихними мученіями, а все-таки сидимъ, плачемъ и ничего не дѣлаемъ. Развѣ это не обидно и не стыдно?

— Я не нахожу, — насмѣшливо возразилъ Потесинъ. — По моему, такъ положеніе мухи, сидѣвшей на спинѣ вола въ то время, какъ онъ пахалъ — положеніе весьма удобное. Во-первыхъ, хлопотъ никакихъ,—посиживай себѣ; а во-вторыхъ, все-таки авось въ исторію попадешь, потому что можешь сказать: „мы пахали“. Они мучились (т.-е. волъ), но вѣдь и „мы мучились“! Они страдали „за идею“, а мы то? Знаетъ только грудъ, да подоплека!

— Ахъ, все это фразы!—воскликнулъ Орѣшниковъ, отмахиваясь, и продолжалъ задумчиво:—Да, обидно... И знаете, когда я думаю обо всемъ этомъ, мнѣ вспоминается одно мѣстечко изъ „Слова о полку Игоревѣ“, и едва-ли не самое лучшее. Помните, Татьяна Аристарховна? Когда кончился бой Игорева войска съ полчищами половецкими и наступила ночь, — встала надъ землею Дѣва-Обида съ лебедиными крыльями, и плакала, и стояла надъ погибшими русачами, а вмѣстѣ съ нею „ничетъ трава жалощами и древо съ тугою землѣ преклонилося“... Не то же ли самое и теперь? Налетѣли на Русь темныя силы, придавили, приптали все доброе, честное, и опять Дѣва-Обида носится надъ Русью, и плачетъ, и горюетъ, и плещется своими лебедиными крыльями. Эхъ, ты, Господи, да вѣдь кончится же это когда-нибудь?—заклучилъ Орѣшниковъ и, вскочивъ, опять обѣжалъ кругомъ стола.

Въ это время Васильковъ, Крынинъ и „D-g Dick“, которые о чемъ-то переговаривались между собою вполголоса, вдругъ грянули какую-то пѣсню съ припѣвомъ:

Gummiarabicum!
Gummielasticum!

Вышло очень нестройно, дико, а главное, совершенно неожиданно, и пріунывшее общество оживилось. Поднялся смѣхъ, говоръ; нѣкоторые стали подтягивать; другіе выходили изъ-за стола и расправляли члены точно послѣ сильной усталости. Только

Минервы, какъ болѣе впечатлительныя особы, окружили Орѣшникова и продолжали съ нимъ толковать о Хотынцевѣ и о Дѣвѣ-Обидѣ, рыдающей надъ Русью. А хоръ все тануль: „Gummiagabicum, Gummielasticum“; потомъ попробовали спѣть „Gaudeamus“, но у Василькова вмѣсто „pereat tristitia“ все почему-то выходило „pereat justitia“—и бросили. Къ тому же какъ разъ въ это время пришли снизу и просили пѣть потише; это заставило всѣхъ взглянуть на часы, и къ всеобщему изумленію оказалось, что уже три часа. Всѣ заспѣшили уходить.

— И чего сидѣли, спрашивается?—ворчалъ Потесинъ, довольно грузно спускаясь съ лѣстницы.—Всѣ эти Хотынцевы, эти Дѣвы-Обиды, этотъ головастикъ-Орѣшниковъ съ своими стихами—просто мнѣ весь вечеръ отравили. Бѣдламъ какой-то, ей Богу!

— Я не нахожу,—возразилъ Селищевъ разсѣянно.—Было довольно интересно. Хотынцевъ очень симпатиченъ, а Орѣшниковъ—болтунъ, но неглупый.

— Ну, вы, батенька, теперь плохой судья,—у васъ тамъ фіалки, фіалки... А я, чортъ побери, не переносу этого жанра. Мутитъ меня. Фажиры какіе-то; расковыряютъ себѣ все нутро—и наслаждаются. А кому это нужно, спрашивается? Ха! Герои! Страдальцы! Да почему я знаю, отчего онъ страдаетъ,—можетъ, у него просто геморрой разыгрался, а онъ на челоуѣчество сваливаетъ. У Вольтера есть на этотъ счетъ... Да куда же вы?

— Я домой.

— Этакую ранъ? Да что вы! Впрочемъ, фіалки, фіалки... Ну, Богъ съ вами, идите,—я вѣдь все это чувствую... „Стой!“—не правда ли? А? Ну, ладно, ладно, молчу... Счастливыцы вы, художники,—у васъ все линіи, формы, краски, а мы? Одно сквернословіе! Не спорьте,—публицистъ есть сквернословъ *par excellence*. Онъ долженъ быть лють какъ медеянскій песь и краснорѣчивъ какъ Цицеронъ. Иначе онъ погибъ! Но я ихъ сокрушу! Я покажу имъ Дѣву-Обиду! Недоноски этакіе! Васильковъ, это ты, чучело? И Пыхтѣевъ здѣсь? Ну, идемте! Дѣва-Обида,—ха!

Селищевъ вздохнулъ свободно, когда шумная компанія удалась, и онъ остался одинъ среди ночной свѣжести и сумрака. Онъ не любилъ подвыпившихъ людей, запахъ водки былъ ему непріятенъ. А кромѣ того ему хотѣлось наконецъ остаться одному и еще разъ пережить въ душѣ новыя и пріятныя ощущенія этого вечера. „Завтра“,—подумалъ онъ и усмѣхнулся.—„Какъ это смѣшно и весело,—мнѣ есть чего ждать на завтра. Давно этого не было! Неужели опять молодость и... Какое небо слав-

ное, особенно тамъ, гдѣ оно переходитъ въ нѣжныя зеленые тоны. Не поймашь этого на полотно. И какое освѣщеніе странное,—ни день, ни ночь, ни вечеръ, ни утро... Такъ бываетъ, когда глядишь въ зеленоватое стекло и все вокругъ принимаетъ какой-то призрачный колоритъ. И это только въ Петербургѣ... Нѣтъ, иногда и въ Петербургѣ славно бываетъ!"

А весна, какъ струна, занываетъ въ груди,
Занываетъ и сердце щекочетъ...

В. ДМИТРИЕВА.



ОТЪ НОВАГО МАРГЕЛАНА

ДО

ГРАНИЦЫ БУХАРЫ

ПУТЕВЫЯ ЗАМѢТКИ.

Осенью прошлаго, 1893, года, нашимъ правительствомъ была отправлена въ предѣлы бухарскаго ханства, подъ начальствомъ генеральнаго штаба генераль-маіора Баева, таможенная экспедиція; она имѣла главнымъ назначеніемъ изучить на мѣстѣ условія перенесенія существующей туркестанской таможенной линіи на бухарско-афганскую границу. Экспедиція прошла по всей бухарской территоріи отъ восточныхъ ея предѣловъ у Памирскаго плоскогорья до границы Закаспійской области на западѣ.

Я имѣлъ разрѣшеніе сопровождать экспедицію въ качествѣ частнаго лица. Поспѣшность, съ которой былъ пройденъ этотъ длинный путь, а главнымъ образомъ, незнаніе восточныхъ языковъ, помѣшали мнѣ собрать достаточно подробныя свѣденія о пройденныхъ экспедиціей странахъ; поэтому рядъ статей, задуманныхъ мною на основаніи дневника, веденнаго во время пути, не можетъ претендовать на какое-либо научное значеніе, и полагаю, что только отдаленность посѣщенныхъ мѣстностей и малое знакомство съ ними большинства публики дадутъ мнѣ нѣкоторое право предложить вниманію читателя результаты своихъ дорожныхъ впечатлѣній. На этотъ разъ я ограничусь описаніемъ первыхъ дней пути—въ предѣлахъ Ферганской области.

I.

5-го августа, въ 9 часовъ утра, всѣ участники экспедиціи собрались въ гостепріимномъ домѣ управляющаго ферганскимъ таможеннымъ отдѣломъ. Былъ отслуженъ напутственный молебенъ, и черезъ часъ, послѣ веселаго завтрака, на которомъ было произнесено не мало тостовъ съ пожеланіями путникамъ счастливаго странствованія на дальней чужбинѣ и радостнаго возвращенія въ родные предѣлы, — экспедиція выступила. Она снаряжалась въ Маргеланъ, въ предѣлахъ недавняго кокандскаго ханства, — гдѣ еще 20 лѣтъ назадъ каждый непрошенный гость-европеецъ рисковалъ покончить свои дни на висѣлицѣ, среди злорадныхъ криковъ базарной толпы, — и направлялась въ малоизвѣстные донинѣ края мусульманскаго востока. Мысль о выступленіи подобной экспедиціи должна вызвать въ представленіи читателя, никогда не переступавшаго европейской границы и не интересовавшагося нашей азіатской окраиной, картину довольно воинственнаго характера. Такой читатель вѣроятно увидитъ въ своемъ воображеніи пыльную городскую площадь, лежащее посреди нея стадо только что навьюченныхъ верблюдовъ, поднимаемое криками погонщиковъ и вытягивающееся длинной вереницей въ просторъ степной дороги; увидитъ въ необыкновенныхъ походныхъ одеждахъ горсть вооруженныхъ съ ногъ до головы храбрецовъ, отважно пускающихся въ опасный путь, и отрядъ казаковъ, долженствующихъ оберегать ихъ отъ злобы фанатической толпы; а если читателю въ тому же приходилось слышать рассказы иныхъ изъ нашихъ среднеазіатскихъ изслѣдователей, то онъ, конечно, будетъ ожидать, что величайшія изъ предстоящихъ экспедиціи трудовъ и опасностей выпали непременно на долю самого автора и что стойкостью въ лишеніяхъ, способностью импонировать дикимъ племенамъ и вообще всякими доблестными качествами онъ превзошелъ и спутниковъ, и всѣхъ своихъ предшественниковъ. Въ дѣйствительности ничего подобнаго не было.

Мы размѣстились самымъ мирнымъ образомъ въ парныхъ, съ пристяжкой на отлетѣ, извозчичьихъ коляскахъ, которымъ могла бы позавидовать далекая столица, и направились по красивымъ улицамъ Новаго-Маргелана, одного изъ тѣхъ юныхъ туркестанскихъ городовъ, которые, какъ бы по волшебному слову, выросли по волѣ русской власти среди пустынной степи, растянули на ея просторѣ сѣтъ своихъ прямыхъ, какъ стрѣла, улицъ-аллей и потонули въ зелени своихъ быстрорастущихъ садовъ. Коляски не-

слышно катились по гладкому шоссе, и скоро высокіе тополя по сторонамъ улицы, почти скрывавшіе своими вѣтвями отъ глазъ проѣзжаго ряды низенькихъ одноэтажныхъ домовъ, смѣнились молодыми посадками, дававшими просвѣтъ на вновь строящіеся въ концѣ города зданія. Миновавъ крѣпость—такъ зовется въ Маргеланѣ кирпичная бѣлая стѣна, охватывающая неправильнымъ четырехугольникомъ нѣсколько казарменныхъ строеній,—мы переправились черезъ Маргеланъ-сай, воды котораго даютъ жизнь городу, и выѣхали на просторъ.

Не весело смотрѣла эта южная окраина „роскошной“ Ферганы: небольшія площади полей спящей джугары ¹⁾, окаймленные кое-гдѣ рядами рѣдко посаженныхъ деревьевъ, чередовались то съ пространствами желтой, почти голой, земли, то съ полосами яркой зелени рисовыхъ посѣвовъ, слегка оживляющихъ однообразный пейзажъ. Это была обычная, въ теченіе двухъ-недѣльнаго пребыванія въ краѣ, уже успѣвшая мнѣ приглядѣться, картина туркестанскаго оазиса на его пограничной съ пустыней полосѣ, гдѣ каждая пядь культурной земли изъ поколѣнія въ поколѣніе оспаривается человекомъ у пустыни въ тяжелой, настойчивой борьбѣ, гдѣ каждая капля влаги на жаждущія поля проведена изъ далека его руками. Правда, напоенная имъ земля, какъ бы въ благодарность, воздастъ ему сторицей за его неустанный трудъ; но стоитъ человеку хоть на одинъ годъ оставить безъ защиты родныя поля, и пустыня вновь овладѣетъ ими: вода уже не дойдетъ до нихъ, насаженные деревья засохнутъ, исчезнутъ, и жизнь покинетъ эти мѣста. Голодная степь съ ея невозмутимымъ, ничѣмъ не нарушаемымъ однообразіемъ гладкой, какъ столъ, поверхности, съ ея молчаливымъ просторомъ, включить ихъ въ свои широкія объятія, и заброшенный въ этотъ безграничный просторъ путникъ не найдетъ въ немъ ни единого предмета, на которомъ бы ему остановить свой блуждающій взоръ, ни единого дерева, ни туманнаго очертанія холма на далекомъ горизонтѣ, ни малѣйшаго намека на жизнь. Только однажды въ годъ оживаетъ степь, когда ранніе весенніе дожди покрываютъ ее зеленымъ ковромъ,—но лишь на самое короткое время. Скоро солнце заставитъ поблекнуть траву, она пожелтѣетъ, потомъ травы, потерявъ всякій цвѣтъ, какъ бы посѣдѣютъ, и степь, точно безграничная блѣдная нива овсянаго поля, охватитъ въ разгарѣ лѣта со всѣхъ сторонъ одинокаго путника, сливаясь на едва уловимой чертѣ горизонта съ такимъ же блѣднымъ и без-

¹⁾ Родъ кузурган.

цѣтнымъ, какъ она, небомъ. Случается, что какой-нибудь арбакешъ ¹⁾, пробираясь со своей арбой черезъ степь, вздумаетъ развести огонь; вѣтеръ быстро подхватитъ его, и тогда картина степи мѣняется: длинная лента яркаго пламени, медленно, шагъ за шагомъ, но безпрепятственно, двигаясь впередъ дымящейся полосой, охватитъ десятки верстъ, испепелитъ жесткія сухія травы и оставитъ тамъ, гдѣ прошла, черное обугленное пространство: удивленному путнику, впервые приближающемуся къ нему, покажется, будто передъ нимъ разстилается широкая пашня благодатнаго чернозема... Какъ ни безотрадно впечатлѣніе, производимое степью, поглотившей прежній оазисъ, путнику все же остается въ утѣшеніе надежда, что когда-нибудь,—быть можетъ, черезъ полсотни лѣтъ,—человѣкъ во всеоружіи знанія вновь вступитъ съ нею въ борьбу, прорѣжетъ ее глубокими каналами, проведетъ по нимъ или силою пара перелетъ въ пустыню мутныя воды далекой Сыръ-Дарьи, и жизнь возродится въ новыхъ поляхъ съ небывалою силою.

Но у покинутаго человѣкомъ оазиса есть иной, болѣе страшный врагъ, предъ которымъ безвластны другія силы природы, и который никогда не вернетъ разъ отвоеванной имъ территоріи: это сыпучій песокъ, насылаемый пустыней въ оазисъ вслѣдъ уходящему человѣку. Пески засыпаютъ пересохшіе арыки ²⁾; глинобитныя стѣны домовъ и заборовъ опустѣвшаго кышлака ³⁾, стволы погибшихъ деревьевъ безслѣдно исчезаютъ подъ ними, не удержавъ ихъ наступленія, послуживъ лишь основаніемъ для высокихъ бархановъ ⁴⁾. Точно искусная рука насыпала эти барханы: такъ гладокъ ихъ подвѣтренный отлогій склонъ, такой правильной дугой загнуты его серповидные края. Но песокъ въ пустынѣ неисчерпаемъ, и вѣтеръ, нанося песчинку за песчинкой, надвигаетъ его волны все дальше и дальше; число дюнъ и бархановъ множится; они теряютъ свои геометрическія формы, и наконецъ цѣлое море песчаныхъ холмовъ, точно застывшія волны бурнаго океана, покрываетъ пространство въ десятки и сотни верстъ. Это море страшно. Оно залегаетъ между населенныхъ странъ, дѣлитъ народы и отдаляетъ время выполненія мірового закона ихъ сближенія. Проходитъ много вѣковъ прежде, чѣмъ всесильное побужденіе торговли вынудитъ человѣка повести черезъ пески кара-

¹⁾ Арбакешъ—погонщикъ арбъ.

²⁾ Арыкъ—оросительная канава.

³⁾ Кышлакъ—селеніе.

⁴⁾ Барханъ—несчапные холмы, субъ-аэральнаго образованія, въ отличіе отъ дюнъ, результата дѣйствія воды и вѣтра.

ваны, заставить его вырыть среди них колодцы. Нужно эгоистическое чувство наживы, чтобы человекъ рискнулъ въ нихъ войти.

Только одинъ человекъ прошелъ чрезъ нихъ, не желая никакой выгоды, не ожидая никакой награды: это былъ русскій солдатъ за годъ до того, быть можетъ, покинувшій лѣса далекой Перми или бессарабскія степи, чтобы вступить въ ряды войскъ Кавказа, имя котораго зналъ лишь смутно по наслышѣ. Его повезли по Каспійскому морю, о существованіи котораго онъ и не вѣдалъ, высадили на азіатскомъ берегу среди голыхъ, безпривѣтныхъ песковъ и повели черезъ эти пески туда, гдѣ его ждалъ невѣдомый ему, готовый биться на смерть врагъ. И онъ пошелъ: ноги вязли въ горячемъ пескѣ, солнце жгло, трескались иссохшія губы... Колодцы были засыпаны; онъ падалъ въ изнеможеніи, подымался и шелъ дальше; куда? — онъ этого не зналъ. Онъ не зналъ, что, пройдя пески, найдетъ опять русскую землю; что за этимъ ближайшимъ врагомъ, въ баснословномъ индійскомъ царствѣ, есть другой, болѣе сильный врагъ, значеніе котораго даетъ оправданіе и смыслъ его геройскимъ трудамъ: онъ зналъ только, что его послало впередъ царское слово. Это слово прошло черезъ много устъ прежде, чѣмъ дошло до него, разошлось между многими тысячами ему подобныхъ солдатъ, но каждый уразумѣлъ его ясно, точно оно было сказано прямо ему: оно разожгло въ немъ безсознательно тлившееся чувство любви къ роднымъ завѣтамъ и странѣ; передъ этимъ пламенемъ казались ему безсильны жгучіе лучи солнца, раскалившіе песокъ; этой царской волей билось сердце подъ бѣлой рубахой; можетъ ли онъ исполнить ее? — объ этомъ нѣтъ ни минуты раздумья,—и онъ идетъ впередъ, безповоротнo, безстрашно, со всей неуправляемой силой, не вѣдающей себя преграды всепобѣдной, стихійной мощи...

Страшны пески пустыни, и кто разъ ихъ видѣлъ, хотя бы изъ оконъ вагона, кто хотя разъ испыталъ на себѣ тягостное, гнетущее впечатлѣніе, производимое ими, тотъ уже не забудетъ ихъ и пойметъ цѣну труду борющагося съ нимъ человека. Кто, привыкнувъ къ странамъ болѣе счастливой Европы, впервые увидѣлъ голодныя степи Средней Азіи, тотъ сразу проникается какимъ-то своеобразнымъ чувствомъ уваженія къ каждой струѣ воды, проведенной руками человека, къ каждому проявленію листы на посаженномъ имъ деревѣ.

Таково, по крайней мѣрѣ, было впечатлѣніе, произведенное на меня природой туркестанскаго края даже въ той Ферганѣ, которую я представлялъ себѣ, судя по краснорѣчивымъ описаніямъ,

райской долиной, покрытой непрерывнымъ садомъ. Я ѣхалъ теперь по этой долинѣ и съ уваженіемъ глядѣлъ на арыки (канавы), несущіе воду въ сплошь залитое поле, и на работающаго близъ дороги сарта, который, подставивъ солнечнымъ лучамъ оголенную спину, загорѣвшую до цѣта античной бронзы, высоко поднималъ надъ головой вѣтмень ¹⁾ и съ размаху опускалъ его на землю, сильнымъ ударомъ разрыхляя твердую почву...

Коляска остановилась; на встрѣчу двигалось густое облако пыли: изъ кишлака, къ которому мы подъѣхали, гнали стадо курдючныхъ барановъ. Раскачивая свои жирныя спины, они обходили по сторонамъ экипажа, протискиваясь между нимъ и высокими глиняными заборами (дувалами), которые огораживали дорогу. Стадо прошло; мы въѣхали въ кишлакъ; его улицы узки и кривы; сложенные изъ глины сакли, лишеныя со стороны улицы оконъ, такъ низки, что до плоскихъ крышъ человѣкъ высокаго роста могъ бы достать рукой. Передъ однимъ изъ такихъ примитивныхъ строеній, немного получше другихъ, тянулся навѣсъ изъ циновки, поддерживаемый рядомъ жиденькихъ столбовъ: это былъ „чай-хане“ — чайный домъ, любимое мѣсто для сборищъ праздныхъ или отдыхающихъ жителей; они и теперь сидѣли здѣсь на широкихъ глиняныхъ площадкахъ (айваны), покрытыхъ войлокомъ, и, поджавъ ноги, попивали „козь-чай“ изъ зеленыхъ чашечекъ безъ ручекъ. Они одѣты въ пестрые, яркихъ цвѣтовъ, хотя и поношенные халаты, сшитые или изъ матерій мѣстнаго производства, съ красными, бѣлыми и зелеными полосами, или изъ московскихъ ситцевъ, разнообразныхъ рисунковъ, приноровленныхъ къ здѣшнему вкусу; одни живописно обмотали себѣ голову чалмой; большинство сидитъ въ вышитыхъ полкомъ шапочкахъ, покрывающихъ макушки бритыхъ головъ. Выраженіе ихъ узбекскихъ лицъ, между которыми иногда попадаетъ рѣзко очерченный арийскій профиль таджика, полно унынія и скучно. Нѣкоторые, при видѣ начальства, нѣхота встаютъ и, сложивъ руки на животѣ, стибаятъ спину, не наклоняя, однако, головы, а продолжая глядѣть вамъ въ глаза; есть что-то оттаптывающее въ этомъ уродливомъ поклонѣ (куддукъ), въ которомъ такъ и сквозитъ восточное низкопоклонство.

Толпа босоногихъ ребятишекъ бѣжитъ за коляской; у этихъ еще незамѣтно ни обычнаго спокойствія, ни апатичности ихъ отцовъ; это все бойкій народъ, съ оживленными лицами, съ быст-

¹⁾ Железная лопата, имѣющая форму ложки, приделанной къ рукояткѣ подъ прямымъ угломъ.

рыми темнокарими глазами. Они гонятся за экипажемъ, весело крича какія-то, вѣроятно, нелестныя на нашъ счетъ замѣчанія, и, запыхавшись, останавливаются среди пыльной дороги; на смѣну имъ изъ каждой сакли, изъ каждаго переулка выбѣгаютъ другіе; иные же стоятъ неподвижно на порогѣ покривившихся дверокъ и пристальнымъ взглядомъ слѣдятъ за проѣзжающими, сдвинувъ вдумчивую не по годамъ складку на высокомъ лбу. Еще нѣсколько поворотовъ между дувановъ, нѣсколько дворовъ, осѣненныхъ широко-лѣтвистыми карагачами—и мы опять среди полей.

Не знаю,—желаніе ли найти что-либо необычайное, когда заѣхалъ вдалѣ отъ родины, или контрастъ ферганскихъ оазисовъ съ окружающими пустынями,—но что-то заставляетъ всѣхъ путешественниковъ воспѣвать красоту этой долины, точно они сговорились повторять слова древнихъ азіатскихъ писателей. Въ устахъ этихъ послѣднихъ понятны восторги по поводу оазиса, гдѣ мѣстами можно позабыть сосѣднія пустыни; къ тому же въ тѣ далекія времена высыханіе туркестанской низменности подвинулось еще не такъ далеко, какъ нынѣ; въ ней встрѣчались еще „туранги“, естественно растущіе лѣса. Они, эти азіаты, лучшаго не знали; но для насъ, видавшихъ ласковую улыбку природы среди долинъ Апеннинскихъ холмовъ, дышавшихъ задумчивой нѣгой малороссійскаго вечера, видѣвшихъ, съ какой свободной мощью раскинули свою листву столѣтніе дубовые лѣса Подола; для насъ, посѣтившихъ берега Крыма, гдѣ радостная пѣснь просится на встрѣчу лучамъ ласкающаго солнца,—какъ-то странно восторгаться красотой „благодатной“ долины Ферганы. Здѣсь солнце жжетъ и томить человѣка, убиваетъ его волю, сковываетъ умъ; здѣсь лѣтній дождь никогда не омываетъ потускнѣвшей отъ пыли листвы и, глядя на здѣшнія деревья, чувствуешь, что имъ чего-то недостаетъ до полноты жизни, какъ тѣмъ далекимъ ихъ собратьямъ, что выросли среди каменныхъ стѣнъ европейскихъ столицъ. Здѣсь дерево растетъ только потому, что по его корнямъ бѣжитъ вода въ искусственно прорытой канавѣ; но подъ его тѣнью, въ двухъ шагахъ отъ этой канавки, нѣтъ ни единой травки и желтая земля гола какъ въ пустынѣ. Оцѣнить богатство этого края можно, сдѣлавъ анализъ его почвы, подведя итогъ пудамъ хлопка, вывозимымъ каждую осень непрерывно идущими другъ за другомъ караванами; но для глаза путешественника тутъ нѣтъ ничего отраднаго, нѣтъ ничего, кромѣ лѣссовыхъ, щебневыхъ или песчаныхъ пустынь, отъ времени до времени прерываемыхъ на 10—20 верстъ оазисами, созданными трудолюбіемъ человѣка...

...А солнце тѣмъ временемъ безжалостно жгло; изъ-подъ ко-

пыть лошадей подымались облака пыли, мельчайшей, ѣдкой—настоящей туркестанской пыли, которая стояла въ воздухѣ, мѣшала дыханію и застилала природу сѣрой пеленой... Все это мало располагало къ разговорчивости, и послѣ оживленности утреннихъ сборовъ мои спутники ѣхали молча, жмурясь отъ пыли и яркаго солнечнаго свѣта, и думали каждый свою думу.

И я задумался; я думалъ о предстоящемъ пути: путь былъ дальній...

Впереди на горизонтѣ смутно рисовались очертанія горъ: это былъ Алайскій хребетъ, южная грань Ферганской долины. Переваливъ чрезъ него, намъ предстояло вступить на долину Алая въ гористыя страны восточной Бухары—въ горныя бекства Каратегина и Дарваза и, прорѣзавъ въ ихъ предѣлахъ съ сѣвера на югъ снѣжную цѣпь Петра Великаго и скалистый Дарвазскій хребетъ, постепенно спуститься, идя на западъ чрезъ Балъджуанъ и Кулябъ, въ низменности средняго теченія Аму-Дарьи. До двухъ тысячъ верстъ надо было пройти верхомъ въ теченіе менѣе двухъ мѣсяцевъ...

Снѣжныя вьюги на заоблачныхъ высотахъ едва проходимыхъ переваловъ, тропическіе жары степныхъ береговъ средняго Оксуса, карнизы въ двѣ ладони шириною, извивающіеся надъ бездонной пропастью, смертоносныя кулябскія лихорадки, гнѣздящіяся въ городахъ, окруженныхъ искусственными болотами рисовыхъ полей,—вотъ тѣ опасности, которыя, по слухамъ, на ряду съ другими лишеніями предстояло намъ испытать и извѣдать. Такъ, по крайней мѣрѣ, рассказывали мнѣ мои новые туркестанскіе знакомые, довѣрчиво относившіеся къ стоустой молвѣ и потому не жалѣвшіе яркихъ красокъ при описаніи трудностей ожидавшаго насъ пути. Я припоминалъ эти рассказы, и, признаюсь, мнѣ подъ часъ становилось жутко, особенно при мысли о головокруженіяхъ, которыя овладѣваютъ человѣкомъ на карнизѣ скалы и отъ которыхъ, какъ отъ морской болѣзни въ бурю, человѣка не можетъ избавить никакая сила воли. Упасть съ обрыва или со стыдомъ вернуться назадъ, опираясь на руку спутника,—вотъ между тѣмъ придется, думалъ я, выбирать тому изъ насъ, кто испытаетъ на себѣ притягательную силу пропасти...

Но тутъ же невольно рождалось сомнѣніе въ справедливости подобныхъ рассказовъ, не о безлюдныхъ пустыняхъ, а про края, хотя и дикіе на нашъ европейскій взглядъ, все же населенные въ продолженіе многихъ вѣковъ. Дѣйствительно ли нужно обладать исключительной силой воли и энергіей великихъ путешественниковъ, чтобы пройти эти мѣста, или для этого

достаточно той свойственной всѣмъ смертнымъ доли храбрости, которая оказывается же достаточною для безвѣстнаго жителя дарвазскаго кишлака, когда онъ пробирается изъ своей сакли въ крохотному, кутящемуся подъ навѣсомъ скалы, клеверному полю; или когда онъ идетъ въ сосѣдній горный кишлакъ, чтобы повѣдать другу свое семейное горе или свою несложную радость? Вотъ вопросъ, который я задавалъ себѣ и на который собирался отвѣтить, когда, на основаніи собственного опыта, признаю возможнымъ относиться къ слухамъ, ходящимъ объ этихъ мѣстахъ, съ большей или меньшей довѣрчивостью.

Послѣ трехчасового пути, спустившись въ небольшой оврагъ, мы очутились на улицѣ расположеннаго по его склону кишлака Учъ-Кургана, лежащаго въ 32 верстахъ отъ новой столицы Ферганы; на днѣ оврага текла рѣка. Здѣсь прекращается колесный путь, и мы предполагали, распростившись надолго съ европейскими экипажами, сдѣлать короткій привалъ, чтобы наскоро пообѣдать и продолжать путь уже верхомъ. Но ни вещи наши, ни верховыя лошади не успѣли еще придти: мы ихъ оставили за собой, обогнавъ обозъ на полдорогѣ. „Ужъ какъ вы ни хлопотите,—говорили намъ въ Маргеланѣ бывалые люди,—какъ ни подготовляйтесь, а въ первый день у васъ непременно будетъ суета и безпорядокъ“. Предсказаніе ихъ сбылось. Наканунѣ было рѣшено отправить лошадей и арбы съ вещами рано утромъ, но къ утру оказалось, что не всѣ вещи своевременно уложены; арбы сильно запоздали выступленіемъ, и въ результатъ мы теперь сидѣли въ саду учъ-курганскаго аксакала (волостного), нетерпѣливо поджидая обозъ, и были принуждены вмѣсто обѣда ограничиться чаемъ, который былъ намъ приготовленъ хозяиномъ подъ сѣнью бухарской палатки. Последнее обстоятельство, кажется, особенно дурно повліяло на всеобщее настроеніе, такъ какъ до ночевки, назначенной на Исфайрамскомъ таможенномъ посту, оставалось еще цѣлыхъ 25 верстъ.

Наконецъ обозъ прибылъ. Я вышелъ на улицу. Тутъ происходила невообразимая суета: арбы, въючныя и верховыя лошади, извозничьи коляски—все это столпилось у спуска къ мосту чрезъ бѣжавшую по оврагу рѣку, мѣшая другъ другу двинуться впередъ; джигиты и арбакеши, толкаясь и бранясь между собою, суетились среди нихъ; кругомъ стояли жители кишлака, пришедшіе поглазѣть на рѣдкое зрѣлище (томаша), которое представлялъ для нихъ проѣздъ столькихъ русскихъ тюра (господъ). Какой-то саргъ, дотолѣ спокойно глядѣвшій вмѣстѣ съ другими, неожиданно вмѣшался въ споры погонщиковъ: онъ почему-то

нашелъ, что одинъ изъ арбакешей, ткнувшій подъ уздцы свою лошаденку, заставлялъ ее повернуть арбу не въ ту сторону, куда слѣдовало, и съ гнѣвнымъ лицомъ, съ сверкающими глазами, онъ налетѣлъ на него, бранясь и крича, какъ будто это было важное, близкое ему дѣло. Остальные жители не могли устоять передъ соблазномъ принять участіе въ спорахъ и увеличить безпорядокъ: поднялся гвалтъ, тотъ невѣроятный гвалтъ, на который способны одни только азіаты, съ ихъ крикливыми голосами, съ ихъ неудержимой потребностью отъ времени до времени, безъ всякой видимой причины, вознаградить себя шумомъ и гамомъ за свое обычное восточное спокойствіе. Надъ обрывомъ рѣки живописно стоялъ аскакаль, съ бѣлой чалмой на головѣ, одѣтый въ бѣлый, подхваченный зеленымъ поясомъ съ серебряными бляхами, халатъ; онъ, видимо, желалъ угодить начальству и распоряжался, усиленно размахивая руками и тщетно стараясь перекричать остальныхъ. Мало-по-малу безцѣльный шумъ унялся; тогда дѣло пошло усѣшнѣе, и арбы двинулись дальше.

Часъ спусти и мы сѣли въ сѣдло. Насъ было 12 человекъ: генеральнаго штаба генералъ-маіоръ Баетъ, управляющій туркестанскимъ таможеннымъ округомъ Г. К. Кайзеръ, нѣсколько чиновниковъ его вѣдомства, производитель геодезическихъ работъ при ташкентской обсерваторіи подполковникъ З. и еще два офицера, добровольно присоединившіеся къ экспедиціи, одинъ—художникъ, другой—пишущій эти строки. Четырнадцать нижнихъ чиновъ оренбургскаго казачьяго войска составляли конвой экспедиціи, скорѣе для ея большей представительности и для услугъ ея участникамъ, тѣмъ ради охраны отъ несуществующихъ враговъ; нѣсколько человекъ конюховъ, джигитовъ и поваръ дополняли нашъ небольшой отрядъ. Черезъ три перехода насъ должны были нагнать еще докторъ, топографъ и генеральнаго штаба капитанъ Ф., имѣвшій обширную и интересную инструкцію для изученія посѣщаемыхъ экспедиціей странъ.

Завернувъ въ одинъ изъ переулковъ и выѣхавъ изъ кишлака, мы неожиданно очутились въ красивой долинѣ, окаймленной довольно высокими горами. Алайскій хребетъ въ маргеланскомъ уѣздѣ рѣзко подымается надъ плоскостью равнины, почти не отдѣляясь отъ нея предгорьями, которыя въ другихъ мѣстностяхъ Ферганы придаютъ его сѣверному склону столь разнообразныя очертанія. Это обстоятельство уменьшаетъ въ уѣздѣ площадь пригодной для культуры земли, такъ какъ на подобныя предгорья въ другихъ уѣздахъ изливается рѣдкій въ Ферганѣ дождь, рождаемый прикосновеніемъ сухихъ сѣверныхъ вѣтровъ къ холоднымъ

вершинамъ хребта. На такихъ именно предгорьяхъ, на высотѣ 4—4¹/₂ тысячъ футъ, обыкновенно располагаются прекрасныя „богарныя“ поля, т.-е. поля, орошаемыя атмосферными осадками. Лишенное ихъ, населеніе маргеланскаго уѣзда вынуждено довольствоваться исключительно посѣвами на земляхъ искусственнаго орошенія, предѣлы которыхъ строго ограничены количествомъ воды, приносимой въ долину горными рѣчками. При чрезмѣрномъ увлеченіи хлопковыми плантаціями, которое овладѣло за послѣдніе 2—3 года населеніемъ Ферганы, большая часть ирригаціонныхъ земель отведена подъ хлопокъ въ ущербъ хлѣбнымъ полямъ. Поэтому цѣны на пшеницу и ячмень поднялись до такой степени (пшеница 2 р. 20 к. за пудъ, ячмень 1 р. 60 к.), что хозяева, теряя при покупкѣ хлѣба всю прибыль, получаемую отъ продажи хлопка, начинаютъ повсемѣстно раскаиваться въ своемъ увлеченіи, а лишенному богарныхъ полей маргеланскому уѣзду нынѣшней зимою угрожалъ бы голодъ, еслибъ мѣстная администрація не пришла на помощь населенію.

Мы шли по Исфайрамскому ущелью, которое считается самымъ красивымъ изъ ущелій, прорѣзающихъ Алайскій хребетъ. Здѣсь, близъ Учъ-Кургана, оно представляетъ долину версты въ 2 ширины, окаймленную по сторонамъ цѣпью горъ, поднимающихся впереди все выше и выше. Рѣка Исфайрамъ, вытекающая на водораздѣлѣ Алайскаго хребта въ 70 верстахъ отъ его подножія, близъ перевала Тенгизъ-Бай, къ которому мы направлялись, извивается по долинѣ, скрытая отъ взора крутыми берегами промытой ею въ теченіе вѣковъ рѣчины. Кое-гдѣ въ долинѣ, у подножья горъ, подъ тѣнью рощицъ пирамидальныхъ тополей виднѣются группы низкихъ савлей киргизскихъ зимовокъ; кое-гдѣ одинокій красавецъ сада-карагачъ поднимаетъ свою густую, шаровидную шапку на вѣтвистомъ и прямомъ, какъ гранитная колонна, стволѣ; его темная зелень рѣзко выдѣляется, то на свѣромъ фонѣ голыхъ скалъ, то на фонѣ ярко-красной глины, мѣстами выступающей на склонахъ столь богатаго различными горными породами Алая.

Довольные, что избавились надолго отъ степной пыли, мы шли веселой рысью, прислушиваясь къ мѣрному шелканью копытъ о каменистую дорогу, и были рады, что наконецъ началось „настоящее“ путешествіе. Впереди насъ видѣлся на днѣ долины укутанный зеленью кышлакъ, раскинувшій свои домики среди хлопковыхъ полей, изрѣзанныхъ линіями глиняныхъ заборовъ; густая тѣнь отъ осѣнявшей кышлакъ скалы ложилась на него, разстилалась по дну долины и всплывала на подножіе противоле-

жашихъ утесовъ. За нимъ два отрога скалы, отдѣляясь отъ боковыхъ стѣнъ долины, преграждали ее, спускаясь красивымъ изгибомъ къ ея серединѣ, и охватывали своей рамкой картину горной дали, утопавшей въ розовомъ туманѣ неизвѣстно откуда падавшихъ лучей закатившагося за гору солнца.

Но вотъ долина стала суживаться, горы мѣстами подступили вплотную къ рѣкѣ; по дорогѣ съ трудомъ можно двоимъ ѣхать рядомъ, и мы вытягиваемся по ней слѣдомъ одинъ за другимъ. Она—то поднимается по склону скалы на нѣсколько саженой надъ рѣкой, то спускается на дно ущелья; рѣка съ шумомъ бѣжитъ намъ на встрѣчу, взбивая о камни въ бѣлую пѣну свою прозрачную воду чудно-зеленаго цвѣта. Глазъ не можетъ достаточно любоваться на красоту давно невиданной, студеной струи; какъ-то не вѣрится, что этотъ полный кипучей жизни потокъ несетъ ту же самую воду, которая такъ лѣниво и такъ мутно текла раньше, когда мы глядѣли на нее среди степныхъ береговъ.

Мы обгоняемъ арбы; лошади, съ утра не кормленные и съ утра безъ отдыха, съ трудомъ взбираются на подъемы овраговъ; мальчуганы-сарты, сидящіе верхомъ, безжалостно цукаютъ и бьютъ лошадей, усиленно напирая босыми ногами на оглобли, чтобы дать арбѣ равновѣсіе при подъемѣ. Съ своей стороны джигиты торопятъ возницъ. Это постоянное повуканіе уставшихъ лошадей и людей начинается надобѣдать, назойливо раздражаетъ... А склоны горъ все круче; крупные камни, скатившіеся съ нихъ на дорогу, все чаще заграждаютъ путь арбамъ и наконецъ обозъ останавливается: широкій ходъ передней арбы уперся однимъ концомъ оси въ стѣну откоса, а другое колесо готово повиснуть надъ обрывомъ. Дальше идти невозможно, хотя до кордона Исфайрамскаго поста остается всего 4 версты. Надо снимать вещи съ арбъ и навьючивать ихъ; но вьючныя лошади ушли впередъ, быть можетъ отдыхаютъ уже на посту... Опять крики, опять брань на непонятномъ языкѣ, и опять одинъ изъ спутниковъ, который взялъ на себя неблагоприятную роль начальника обоза, тщетно прилагаетъ всевозможныя усилія, чтобы водворить порядокъ среди непонимающихъ его арбакешей... Я ѣду впередъ, чтобы вернуть свой маленькій караванъ вьючковъ.

Темнѣетъ. Горы, теряя очертанія, сливаются въ полумракѣ въ однообразную, безжизненную громаду; рѣзкимъ, какимъ-то злобѣющимъ чернымъ пятномъ выдѣляются рѣдкія деревья на ихъ тускломъ сѣромъ фонѣ; только изломанная причудливымъ узоромъ лнія вершинъ вырисовывается еще отчетливо своими зубцами на не совсѣмъ стемнѣвшемъ небѣ, и бѣлая въ сумракѣ лента

рѣки окаймляетъ ихъ подножье. Глазъ не различаетъ разстоянія: утесъ скалы, казавшійся далекимъ, вдругъ вырастаетъ вплотную передо мною; всадникъ, за которымъ я ѣхалъ слѣдомъ въ двухъ шагахъ, исчезаетъ послѣ какого-то поворота, точно поглощенный темнотою... Я ѣду одинъ, пристально глядя сквозь темноту, куда мнѣ направить лошадь. Все пріобрѣтаетъ причудливыя формы: вотъ близъ дороги лежитъ человѣкъ, разметавъ руки, и другіе столпились вокругъ него; я нагибаюсь къ нимъ съ сѣдла: это не люди, это куча придорожныхъ камней. Сама дорога вдругъ превращается въ рѣку; осторожно подвигаешься впередъ, ожидая, что съ слѣдующимъ шагомъ лошадь ступитъ въ воду; ѣдешь дальше — воды нѣтъ, но есть обрывъ; да, это несомнѣнно обрывъ; вотъ тутъ, совсѣмъ близко, рядомъ со мной... проходитъ мгновеніе, и вдругъ понимаешь, что принимаешь за обрывъ ничтожную канаву... Скоро, однако, глазъ привыкаетъ къ темнотѣ; у человѣка, и у лошади появляется какой-то инстинктъ, и точно ощупью пробираешься въ потемкахъ, угадывая спуски въ овраги или изгибы дороги въ расширяющейся долині. Прошло около часу, а все еще нѣтъ ни Исфайрамскаго поста, ни другого человѣческаго жилища. Разъ только донесся до меня изъ глубины долины собачій лай въ отвѣтъ на мой окликъ.

Вотъ гдѣ-то налѣво мерцаетъ костеръ — должно быть это мѣсто ночевки; я хочу пробраться къ нему, но меня встрѣчаетъ шумъ воды, рѣка преграждаетъ мнѣ путь, и, ведя лошадь въ поводу вдоль берега, я тщетно ищу моста: всюду крутой обрывъ къ ревущему потоку. Иногда костеръ на томъ берегу ярко вспыхиваетъ и выдѣляетъ темныя силуэты собравшихся передъ нимъ людей. Но звать ихъ не стоитъ: за ревомъ воды самъ не услышишь своего голоса; да и не къ чему звать, ибо моимъ спутникамъ нечуждо быть на томъ берегу. Я возвращаюсь на дорогу, чтобы ждать, не нагонитъ ли меня кто-нибудь изъ нихъ; по мѣрѣ удаленія отъ берега съ каждымъ шагомъ ревъ потока слабѣетъ, переходитъ въ глухой гулъ, и скоро вокругъ воцаряется тишина, — та торжественная тишина, которая вмѣстѣ съ ощущеніемъ одиночества и своего ничтожества передъ громадой мірозданія охватываетъ человѣка, затеряннаго среди величія природы, раскинувшей надъ его головой темный сводъ ночного неба. Ни единого звука; только кузнечики, поющіе свою стрекотливую пѣсню, ту же, что они поютъ въ нашихъ родныхъ черноземныхъ степяхъ, наполняютъ тонкимъ звономъ молчаливую ночь; звонъ ихъ не нарушаетъ покоя, а какъ бы сливается съ ночной тишиной... И, прислушиваясь къ этой тишинѣ, утомленный бессонною ночью и

долгимъ дневнымъ путемъ, я задремалъ, облокотясь о холку уставшей лошади.

Прошло около получаса. Вдали послышался топоть; двѣ фигуры всадниковъ въ азіатскихъ одеждахъ выплыли изъ мрака въ нѣсколькихъ шагахъ предо мной. „Гдѣ дорога на постъ?“ кричу я, но фигуры проѣзжаютъ мимо безмолвно, безъ малѣйшаго вниманія въ моему оклику. „Стой, гдѣ урусъ-хане, — урусъ солдатъ? гдѣ закетъ-хане?“ — продолжаю я кричать, думая заслужить ихъ вниманіе звуками сартовскаго языка. Но, должно быть, въ моемъ голосѣ много злобнаго нетерпѣнія: топоть коней участился, и черезъ минуту фигуры всадниковъ потонули въ темнотѣ. И долго еще я ждалъ, покуда одинъ изъ товарищей по путешествію не подѣхалъ ко мнѣ вмѣстѣ съ проводникомъ, который скоро привелъ насъ къ весело свѣтившемуся своими окнами домику Исфайрамскаго поста, или Аустана, какъ это мѣсто значитъ на картѣ. Здѣсь мы застали опередившихъ насъ спутниковъ уже сидящими вокругъ стола, на которомъ кипѣлъ самоваръ и лежали внушительнаго размѣра хлѣбы, привезенные изъ Маргелана; остальной провинціи, видимо, не суждено было нагнать насъ въ этотъ день, и, утоливъ, насколько было возможно, нашъ голодъ, мы расположились на полу и заснули какъ убитые.

II.

Оставимъ нашъ отрядъ спокойно отдыхать подъ гостепріимнымъ кровомъ Исфайрамскаго поста и скажемъ нѣсколько словъ о туркестанскомъ таможенномъ округѣ, съ реформой котораго связана главная цѣль нашей экспедиціи.

При учрежденіи таможеннаго надзора (въ 1887 г.) распоряженія правительства были выполнены на мѣстѣ трудами и энергіей нынѣшняго начальника округа — Г. К. Кайзера, извѣдывшаго для этой цѣли не одну тысячу верстъ среди степей и горъ пограничной полосы. Вынесенное изъ столицы или городовъ центральной Россіи представленіе о дѣятельности чиновника мало вяжется съ характеромъ службы на нашихъ окраинахъ. Если вы встрѣтитесь въ Туркестанѣ съ чиновникомъ, проведеннымъ нѣсколько лѣтъ въ Средней Азій, — можете быть почти увѣрены, что въ его лицѣ имѣете дѣло съ путешественникомъ, могущимъ вамъ разсказать много занимательнаго о странахъ, имена которыхъ вамъ едва извѣстны. Порученія, ради которыхъ дѣлаются подобныя пу-

тешествія, полны жизненнаго, а не только канцелярскаго интереса и отличаются самымъ разнообразнымъ характеромъ.

Округъ имѣетъ назначеніемъ охранять въ таможенномъ отношеніи ввозъ товаровъ въ предѣлы края изъ Индіи и Афганистана чрезъ Бухару и изъ Китая чрезъ нашу восточную границу. Съ переходомъ таможеннаго дѣла изъ рукъ обще-административнаго управленія въ спеціальное вѣденіе округа, доходы по сбору пошлинъ возросли почти въ шесть разъ; въ настоящее время, при общемъ расходѣ приблизительно въ 100 тысячъ рублей съ небольшимъ, пошлинъ съ привозныхъ товаровъ очищается на 660 т. р. Въ этомъ отношеніи не всё, однако, районы округа находятся въ одинаково благоприятныхъ условіяхъ. Изъ четырехъ отдѣловъ и двухъ участковъ, на которое подраздѣляется округъ, серьезное фискальное значеніе имѣетъ лишь самаркандскій отдѣлъ: въ немъ сосредоточивается вниманіе пошлины съ бомбейскаго чая и съ другихъ товаровъ, переходящихъ сѣверную бухарскую границу на вьюкахъ или пересѣкающихъ ее по линіи закаспійской желѣзной дороги, и его болѣе чѣмъ полумилліонный доходъ составляетъ почти весь доходъ округа. На долю катта-курганскаго отдѣла ¹⁾ приходится всего 20 т. р.; такое же второстепенное значеніе въ смыслѣ доходности имѣетъ отдѣлъ аму-дарьинскій, расположенный на нижнемъ теченіи этой рѣки (между территоріями Бухары и Хивы), онъ представляетъ преграду для провоза товаровъ изъ средне-азіатскихъ ханствъ во внутреннюю Россію по направленію къ Оренбургу и въ Туркестанъ чрезъ Кизилъ-Кумскіе пески. Линія ферганскаго отдѣла и два участка пограничные Китаю имѣютъ лишь „боевое“ (какъ выражаются люди близкіе таможенному дѣлу) значеніе и далеко не всегда покрываютъ расходы, вызываемые ихъ содержаніемъ ²⁾.

¹⁾ Катта-Курганъ—уѣздный городъ Самаркандской области.

²⁾ Вотъ нѣкоторыя, болѣе точныя данныя, относящіяся къ 1892 г. и заимствованныя изъ издаваемаго при деп. тамож. сборовъ „Обзора вѣшной торговли“.

	Расходъ по содержанію администр.	Вывозъ.	Привозъ.	Доходъ пошлинъ и др. сборн.
Аму-дарьинск. отд. . . .	3.642 р.	278.751 р.	42.088 р.	14.764 р.
Катта-курган. отд. . . .	6.937 „ 60 к.	574.946 „	52.564 „	20.837 „
Самаркандскій отд. . . .	7.869 „ 40 „	1.156.867 „	1.496.987 „	578.997 „
Ферганскій отд.	6.429 „ 80 „	613.772 „	297.489 „	3.802 „
Иссыкъ-кульск. отд. . . .	4.122 „ 40 „	226.952 „	140.804 „	421 „
Нарынск. участковъ. . . .	4.086 „ 40 „	96.853 „	609.167 „	128 „

Итого. . . 50.678 р. 60 к. 2.987.641 р. 2.639.094 р. 618.949 р.
Оборотъ товаровъ по торговлѣ съ средне-азіатскими ханствами и съ Китаемъ

Главную часть доходовъ округа доставляетъ очищеніе пошлинъ съ товаровъ, идущихъ изъ средне-азиатскихъ ханствъ. Въ этой категоріи товаровъ единственную крупную статью представляетъ чай, идущій изъ Индіи въ количествѣ почти 40 т. пудовъ въ годъ (на сумму около $1\frac{1}{2}$ м. р.); главнымъ образомъ ввозится любимый мѣстнымъ населеніемъ зеленый чай (кожъ-чай). Онъ даетъ свыше полумилліона пошлиннаго сбора ¹⁾. Рядомъ съ этимъ доходомъ сборъ съ остальныхъ товаровъ играетъ самую незначительную роль. Такъ ввозъ красильныхъ веществъ (индиго) далъ въ 1892 г. до 22.000 р.; драгоценныхъ камней въ томъ же году привезено на 2.000 рубл. и сборъ съ нихъ равнялся 800 р. Можно еще упомянуть о ввозѣ индійскихъ бумажныхъ тканей, въ особенности бѣлой и цвѣтной кисеи, очень распространенной и въ Бухарѣ, и среди мусульманскаго населенія нашей территоріи, такъ какъ эта кисея идетъ на чалмы, неизбѣжный почти предметъ туземнаго одѣянія.

Важнѣйшіе предметы ввоза черезъ китайскую границу, расположенные по степени ихъ цѣнности, представляются въ слѣд. видѣ: хлопчато-бумажныя издѣлія (на сумму около 714.000 р.), шерсть (около $62\frac{1}{2}$ т.), шолкъ сырецъ (38 т.), шерстяные ковры ($44\frac{1}{2}$ т.), и ткани ($23\frac{1}{2}$ т.) звѣриныя шкуры ($26\frac{1}{2}$ т.), мягкая рухлядь ($20\frac{1}{2}$ т. р.) и чай (7 т.). Въ общей сложности получается почтенная цифра въ 1.045.556 р.; но такъ какъ цѣнность чая входитъ въ это число на сумму всего только 7.111 руб., то пошлинный доходъ съ этихъ товаровъ крайне невеликъ и составляетъ самую ничтожную часть всѣхъ доходовъ округа ²⁾.

Собственно-бухарскія произведенія избавлены отъ пошлиннаго обложенія.

Въ каждомъ отдѣлѣ надзоръ составляется изъ управляющаго, его помощниковъ и надзирателей отдѣльныхъ переходныхъ пунк-

распредѣляется слѣд. образомъ: въ ханства вывезено на сумму 2.101.284 р., въ Китай—886.407 р.; привозъ изъ ханствъ равнялся 1.593.588 р., изъ Китая—1.045.556 р.

Къ расходамъ по администраціи надо прибавить 18.091 р. на содержаніе управленія округа (въ Ташкентѣ); если присоединить еще 63.812 р., которыми покрываются другіе расходы (главн. обр. по найму джигитовъ), то вся сумма расходовъ по округу составитъ 114.490 руб.

¹⁾ Въ болѣе точныхъ цифрахъ свѣденія о привозѣ чая въ округъ выразятся въ слѣдующемъ видѣ: досмотрѣно (въ 92 г.) 89.692 пуда, изъ нихъ зеленого чая 37.250 п., черного 2.228 п., кирпичнаго 214,—всего на сумму 1.479.820 р.; таможенныхъ сборовъ поступило всего 583.908 р. (въ томъ числѣ 1.977 р. съ чая, привезеннаго чрезъ китайскую границу въ количествѣ 298 пуд.).

²⁾ Въ 1892 г. онъ равнялся 3.327 р. противъ 609,688 р. дохода, доставленнаго пошлинными товарами изъ средне-азиатскихъ ханствъ.

товъ. Эти пункты разбросаны по пограничной линіи, въ двѣ тысячи верстъ длиной, на далекое другъ отъ друга разстояніе, — такъ что иногда приходится по одному кордону на пограничный уѣздъ, — и представляютъ изъ себя простыя сакли или же небольшіе дома, въ родѣ того, въ которомъ мы расположились нашимъ первымъ ночлегомъ на Исфайрамѣ. Въ такомъ домѣ помѣщается надзиратель и отводится комната для объѣзчика изъ отставныхъ унтеръ-офицеровъ. Другія строенія предназначаются подъ службы и для джигитовъ, т.-е. стражниковъ таможенной охраны. Пункты располагаются на главныхъ путяхъ, въ нихъ ведется отчетность проходящимъ товарамъ, и отсюда джигиты отправляются въ разѣзды за десятки верстъ кругомъ, по пустыннымъ равнинамъ и по горнымъ ущельямъ. Они и особенно объѣзчики, которымъ общана четвертая часть стоимости конфискуемыхъ товаровъ, съ большимъ рвеніемъ разыскиваютъ слѣды контрабандистовъ, гоняются за ними цѣлыми часами по раздолью степей, карабкаются на кручи по извѣстнымъ только имъ тропинкамъ, переправляются вплавь черезъ горные потоки.

„Вотъ здѣсь я намеренъ тонуль, — рассказывать мнѣ одинъ словоохотливый объѣзчикъ, отставной фельдфебель, съ которымъ мы шли вдоль Исфайрама. — Послали меня поглядѣть, что это за киргизы стали съ выбитками тамъ въ долине; хотѣлъ доѣхать покороче, черезъ рѣку, меня теченіемъ и понесло вмѣстѣ съ лошадыю; сажень 30 тащило, — совсѣмъ помирать собрался, да какъ-то выбрался на берегъ, смотрю — и лошадь тоже вытѣзаетъ... Только напрасно искупался: ничего товаровъ у этихъ киргизовъ не было съ собой, такъ пришли — скотину кормить“...

Джигиты устрояютъ засады, проводятъ ночи въ снѣжныхъ сугробахъ на горныхъ перевалахъ, кутаясь въ свои зипуны, а въ полудню неожиданно появляются въ равнинѣ, въ кишлакѣ, куда по ихъ свѣдѣніямъ долженъ прибыть на базаръ караванъ съ незаконно провезенными товарами, и нерѣдко вступаютъ въ ожесточенную рукопашную схватку съ контрабандистами.

Эта тяжелая служба таможенного джигита какъ нельзя болѣе могла бы способствовать выработкѣ боевыхъ качествъ въ ихъ средѣ и подготовкѣ изъ ихъ числа, на случай надобности, лихихъ развѣдчиковъ и проводниковъ. Къ сожалѣнію, соображенія экономическаго характера и отдаленность пунктовъ, вѣроятно, надолго отложатъ возможность создать въ этой прекрасной школѣ пограничное войско, подобное пограничной стражѣ на нашей западной окраинѣ. Джигитъ получаетъ всего 15 р. въ мѣсяцъ и обязанъ на эти деньги содержать себя и свою лошадь, долженъ

имѣть зимній и лѣтній бешметъ; отъ казны онъ получаетъ шапку и револьверъ системы Гальяна. При такомъ скудномъ содержаніи весьма трудно найти запасныхъ нижнихъ чиновъ, желающихъ поступить въ джигиты, почему эти должности замѣщаются по большей части изъ мѣстныхъ же сартовъ, во многихъ отношеніяхъ представляющихъ не совсѣмъ подходящій для такой службы элементъ. По своимъ понятіямъ и интересамъ они, конечно, ближе къ туземному населенію, чѣмъ къ интересамъ русской власти, которой служатъ. Имѣя родственниковъ среди жителей сосѣднихъ кишлаковъ, имѣя личные съ ними счеты и личные отношенія къ обитательницамъ кишлака (послѣднее совсѣмъ недоступно джигитамъ-немусульманамъ), они естественно имѣютъ большее побужденіе къ столь соблазнительнымъ въ таможенномъ дѣлѣ злоупотребленіямъ въ ту или иную сторону. Рассказываютъ, будто бывали случаи, что контрабандисты поступали въ джигиты съ цѣлью, изучивъ основательно въ теченіе года приемы таможенного охраненія, тѣмъ съ большей выгодой заняться впослѣдствіи своимъ обычнымъ ремесломъ. При такихъ условіяхъ, несмотря на всѣ усилія начальства, несмотря на введенные въ округъ приемы воинскаго чинопочитанія (въ родѣ отданія чести, рапортовъ и т. п.), дисциплина должна получиться довольно относительная, встрѣчая главное препятствіе въ дикости понятій той среды, въ которой ее хотятъ привить.

Я потому такъ долго останавливаюсь на положеніи джигитовъ, что вопросъ о привлеченіи на ихъ мѣста (при помощи увеличенія жалованья) отставныхъ нижнихъ чиновъ является весьма важнымъ въ виду предстоящаго перенесенія таможенной черты на южную бухарскую границу. Въ другой разъ, при описаніи нашего дальнѣйшаго пути, мы въ подробности ознакомимся съ характеромъ странъ по р. Пянджу и по среднему теченію Аму-Дарьи и увидимъ, при какихъ тяжелыхъ условіяхъ, въ какой полудикой обстановкѣ придется всѣмъ чинамъ нести службу на будущей таможенной линіи. Что же касается джигитовъ, то имъ въ борьбѣ съ контрабанднымъ провозомъ товаровъ изъ Афганистана, вѣроятно, нерѣдко придется вступать въ стычки съ болѣе многочисленнымъ противникомъ, такъ какъ афганцы, переправляя черезъ Аму-Дарью свои товары въ большихъ помѣстительныхъ лодкахъ (каюкахъ), имѣютъ возможность высадиться въ любомъ мѣстѣ бухарскаго берега въ числѣ 15—20 человекъ изъ каждой лодки¹⁾. Если принять во вниманіе, что афганцы эти могутъ

¹⁾ Отъ Керки до впаденія Вахша Аму-Дарья доступна для переправы на протяжении 300 верстъ съ лишнимъ; здѣсь находятся 6 главныхъ переправъ: Керки

быть вооружены прекраснымъ огнестрѣльнымъ оружіемъ англійскаго изготавленія и что, съ другой стороны, по нашимъ таможеннымъ правиламъ джигиту разрѣшается прибѣгать къ оружію только въ отвѣтъ на вооруженное же сопротивленіе, то станетъ ясно, что нашимъ джигитамъ потребуется недюжинная смѣлость и сильное чувство дисциплины, чтобы всегда выйти съ честью изъ подобныхъ стычекъ.

Въ Азіи все имѣетъ свой масштабъ, вовсе не подходящий къ нашему европейскому: крупнѣйшія ошибки внутренней политики могутъ остаться совершенно незамѣченными мѣстнымъ населеніемъ, но неудача хотя бы горсти русскихъ солдатъ оставляетъ глубокой слѣдъ въ воображеніи азіата, вселяя наивное сомнѣніе въ могущество всего государства. Никто не поручится въ томъ, что если нѣсколько человѣкъ джигитовъ разбѣгутся при встрѣчѣ съ многочисленной ватагой контрабандистовъ, среди афганцевъ не зародится слухъ о бѣгствѣ настоящихъ русскихъ солдатъ, а не сартовъ, переодѣтыхъ въ бешметъ джигита съ зелеными погонями. Чѣмъ дальше отъ мѣста происшествія будетъ разноситься молва, тѣмъ болѣе грандіозные размѣры приметъ событіе: въ Кабулѣ уже заговорають о пораженіи тысячнаго отряда русскихъ войскъ, а изъ Индіи на встрѣчу этой молвѣ услужливый англійскій телеграфъ не замедлитъ принести извѣстія, подтверждающія ея справедливость.

Не легка также будетъ служба чиновниковъ на новой линіи. Заброшенный судьбой въ какой-нибудь отдаленный городъ восточныхъ и южныхъ бекствъ ханства въ родѣ Рохара, Кала-и-Хума или Куляба, надзиратель таможеннаго поста не найдетъ тамъ, кромѣ нѣсколькихъ своихъ подчиненныхъ, ни одного человѣка, съ которымъ могъ бы поговорить на родномъ языкѣ. Вѣрнѣе всего, что онъ почти совершенно будетъ лишенъ возможности говорить, такъ какъ трудно предполагать въ каждомъ чиновникѣ знатока мѣстнаго нарѣчія. Сношенія съ родными, оставленными на далекой отчизнѣ, также не могутъ быть особенно оживленны: извѣстія изъ Европейской Россіи онъ будетъ получать не ранѣе, какъ чрезъ мѣсяцъ. Даже изъ Туркестанскаго края письма, предполагая устройство правильной ихъ доставки, будутъ идти до него, при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, недѣли двѣ, такъ какъ названные города удалены отъ столицы Бухары на 10—14 дней верхового пути. Такой чиновникъ, лишенный обще-

Акъ-Кумъ, Келифъ, Чумка-Гузаръ, Паттакисаръ, Айваджъ. Выше впаденія Вахша удобная переправа имѣется только у Сарая.

ства не только образованныхъ, но даже просто грамотныхъ людей, лишенный возможности окружить себя обстановкой, напоминающей хотя бы самый скромный европейскій комфортъ, будетъ въ правѣ безъ особеннаго преувеличенія сравнивать свою службу съ ссылкой. Нельзя не выразить надежды, что на эту сторону дѣла будетъ обращено должное вниманіе и что вновь создаваемымъ должностямъ будутъ присвоены нѣкоторыя преимущества, не только въ формѣ увеличеннаго содержанія ¹⁾, но и въ видѣ нѣкоторыхъ другихъ отступленій отъ общихъ правилъ о прохожденіи службы. Такъ, напримѣръ, обычный 28-ми-дневный отпускъ для надзирателя поста въ городѣ Кала-и-Хумъ на дѣлѣ свелся бы къ нулю, такъ какъ это время оказалось бы достаточнымъ лишь на то, чтобы добраться до русской границы, окинуть грустнымъ окомъ отечественную землю и вернуться обратно на мѣсто своего служенія. Включеніе въ штатъ служащихъ на линіи должности врача является также условіемъ первостепенной важности для всѣхъ чиновъ; вмѣстѣ съ тѣмъ присутствіе медицинской помощи можетъ, благодаря уваженію, которымъ пользуется врачебное искусство на востоцѣ, оказать большую услугу русскому дѣлу, давая намъ новый шансъ привлечь къ себѣ расположеніе туземцевъ. А шансы эти въ данномъ случаѣ, т.-е. въ таможенномъ дѣлѣ, очень невелики, и въ этомъ одно изъ главныхъ затрудненій, съ которыми придется считаться новой линіи.

Не подлежить, кажется, сомнѣнію, что отношеніе всѣхъ слоевъ туземнаго населенія къ проектируемой мѣрѣ будетъ въ равной степени враждебно, такъ какъ каждый изъ нихъ будетъ ею затронутъ въ своихъ самыхъ существенныхъ интересахъ. Мнѣ думается, что нельзя найти болѣе полного и въ то же время болѣе благодѣтельнаго господства въ чужомъ государствѣ, чѣмъ наше въ бухарскомъ ханствѣ; но какъ бы высокъ ни былъ авторитетъ императорскаго политическаго агентства въ Бухарѣ, какъ бы строги ни были повелѣнія, данныя эмиромъ своей администраціи объ оказаніи всякой поддержки нашимъ таможеннымъ чинамъ, результатъ этихъ повелѣній можетъ воснудиться только внѣшней, официальной стороны дѣла. Беки будутъ устраивать торжественныя встрѣчи, выставлять почетные караулы и готовить достарханы (угощенье); отвѣщая кулдуеъ, будутъ каждый разговоръ начинать и заканчивать неизмѣннымъ увѣреніемъ, что они наши слуги и что, исполняя повелѣніе эмира, сдѣлаютъ все отъ нихъ зависящее, чтобы угодить нашимъ интересамъ. Но суть

¹⁾ Надзиратель переходнаго пункта получаетъ отъ 400 до 600 руб.

дѣла отъ этого мало выиграеть. Бекъ не можетъ предупредить ожесточенія народа противъ какаго-нибудь джигита, вызванное таможенными стѣсненіями, ибо въ данномъ случаѣ неудовольствіе населенія будетъ относиться къ числу тѣхъ, которыя вызываются нарушеніемъ существенныхъ, жизненныхъ его интересовъ; подобное неудовольствіе можно предупредить, уничтоживъ причины, его обуславливающія, но запретить проявленіе его при наличности этихъ причинъ—задача, выходящая за предѣлы могущества какой бы то ни было государственной власти. Беки и другіе мѣстные чины будутъ видѣть въ русскихъ чиновникахъ своихъ личныхъ враговъ; ибо чѣмъ инымъ, какъ не врагомъ, можетъ быть въ ихъ глазахъ лишній свидѣтель ихъ противозаконныхъ поборовъ и притѣсненій простого народа, могущій безъ всякаго опасенія за себя вступить за обижаемыхъ передъ эмиромъ чрезъ посредство русскаго агентства въ Бухарѣ? Муллы—единственный принципиально-враждебный намъ классъ бухарскаго народа—будутъ весьма рады воспользоваться неудовольствіемъ, вызваннымъ той или другой мѣрой русскаго чиновника. Съ своей стороны простонародье будетъ относиться враждебно къ таможенному дѣлу вслѣдствіе значительнаго повышенія цѣнъ на предметы первой необходимости. Благосостояніе бухарскаго населенія стоитъ на такомъ низкомъ уровнѣ, потребности огромнаго его большинства столь незначительны, что пошлинному обложенію могутъ подлежать почти только подобные предметы. Независимо отъ этого, всѣ формальности нашей таможенной системы по домотру, очисткѣ пошлиной, выпуску товаровъ и пр. вовсе не отвѣчаютъ привычкамъ туземцевъ, ни степени ихъ развитія. Въ средне-азіатскихъ ханствахъ существуетъ совершенно своеобразный способъ взиманія пошлины, установленной кораномъ и называемой „закетъ“: она оплачивается не на границѣ, а на мѣстѣ распродажи товара и ограничивается $2\frac{1}{2}\%$ его стоимости; подъ опасеніемъ отвѣтственности на томъ свѣтѣ, бухарецъ аккуратно уплачиваетъ эту незначительную часть, но можно представить себѣ его неудовольствіе при взысканіи нашихъ, чуть ли не стопроцентныхъ пошлинъ. Европейская таможенная система, не измѣненная примѣнительно къ туземнымъ обычаямъ, была бы обременительна для населенія уже по тѣмъ многочисленнымъ, чисто внѣшнимъ стѣсненіямъ, съ которыми она сопряжена и къ которымъ даже европейская публика не приучила себя относиться хладнокровно; было бы странно ожидать болѣе благосклоннаго отношенія къ нимъ со стороны населенія, среди котораго мѣстами еще процвѣтаетъ мѣновая торговля.

Таковы въ общихъ чертахъ тѣ немаловажныя затрудненія, которыя встрѣтитъ дѣятельность таможенныхъ учрежденій на новой линіи. Но сама мѣра имѣетъ настолько важное, не исчерпывающееся интересами одного вѣдомства, значеніе, что, вѣроятно, правительство сзумѣетъ изыскать способы такъ или иначе побороть эти затрудненія. Впослѣдствіи, когда мы познакоимся съ торговлей Бухары и съ ея торговыми путями, мы будемъ имѣть возможность дольше остановиться на различныхъ подробностяхъ проектируемой мѣры. Что касается собственно финансовой стороны вопроса, то она почти всецѣло зависитъ отъ количества привоза товаровъ, потребляемыхъ въ самомъ ханствѣ, такъ какъ товары, проходящіе бухарскую территорію транзитомъ (вромѣ идущихъ въ Хиву), и теперь уже подлежатъ таможенному обложенію. Какихъ-либо опредѣленныхъ данныхъ о размѣрахъ этого привоза не существуетъ. Экспедиціи не удалось ихъ добыть, и вопросъ можетъ выясниться только по занятіи берега Аму-Дарьи нашими постами, когда будутъ вестись точныя статистическія свѣденія, которыхъ бухарскіе сборщики пошлинъ не имѣютъ. Пока приходится довольствоваться официальными свѣденіями, полученными въ политическомъ агентствѣ отъ бухарскихъ властей; свѣденія эти крайне неопредѣленны ¹⁾ и построенные на нихъ выводы невольно должны носить на себѣ характеръ гадательныхъ предположеній. Полагаютъ, что новая таможенная линія могла бы дать казнѣ лишній миллионъ; часть его, однако, имѣется въ виду оставить, если вѣрить слухамъ, въ распоряженіе эмира для ирригаціонныхъ работъ и иныхъ общепользныхъ предпріятій въ ханствѣ.

Первую по доходности статью обложенія займетъ, конечно, чай, потребляемый каждымъ бухарцемъ, даже бѣднякомъ, въ значительномъ количествѣ. Всякій, путешествовавшій по Бухарѣ, испыталъ на себѣ, какое благотворное вліяніе имѣетъ этотъ напитокъ въ странѣ, гдѣ, за исключеніемъ гористыхъ мѣстностей, нѣтъ проточной воды и гдѣ, за неимѣніемъ чая, пришлось бы довольствоваться мутной арычной водой, нѣсколькихъ глотковъ которой подчасъ достаточно, чтобы получить злѣйшую лихорадку. Мнѣ рассказывали, будто эмиръ, во время своего пребыванія въ Петербургѣ, обратилъ вниманіе нашего правительства на такое важное значеніе чая въ его странѣ и выразилъ желаніе, чтобы цѣнность чая не была чрезмѣрно повышаема пошлиной, такъ

¹⁾ Насколько патки показанія бухарской торговой статистики, можно видѣть, наприимѣръ, изъ того, что значеніе встрѣчающейся въ ея показаніяхъ мѣры „тай“ колеблется между 3 и 8 пудами.

какъ это могло бы невыгодно отразиться на здоровьѣ вѣреннаго его попеченіямъ народа. Если, кромѣ чая, мы назовемъ еще индигу, индійскія матеріи (главнымъ образомъ кисею для чалмъ) и разныя наркотическія вещества, въ родѣ опиума и анаши, то мы перечислимъ всѣ главнѣйшія статьи ввоза чрезъ афганскую границу, такъ какъ остальные несложныя потребности бухарскаго народа удовлетворятся либо мѣстными произведеніями, либо товарами, приходящими по заваспійской жел. дор., большей частью изъ Россіи ¹⁾.

Будущее покажетъ, насколько справедливы надежды на доходность новой таможенной линіи, а пока вернемся на старую линію, на Исфайрамскій переходный пунктъ, гдѣ мои спутники уже проснулись, и гдѣ уже началась та шумная и веселая суета, которой неизмѣнно сопровождалось утреннее выступленіе нашего отряда.

III.

Часа два длились сборы; люди еще не приноровились быстро выючить. Въ 9 часовъ мы выступили.

Было чудное, радостное утро. Такъ же, какъ вчера, насъ сопровождалъ неумолкающій шумъ Исфайрама; картины были тѣ же, только скалы росли все выше, и скоро мы увидѣли впереди первыя снѣжныя вершины. Дорога была въ отличномъ состояніи, карнизы нигдѣ не были менѣе аршина шириной, и мы безпрепятственно подвигались впередъ.

Въ нашемъ отрядѣ было до 50 лошадей разнообразныхъ мѣстныхъ породъ, купленныхъ большей частью въ Новомъ-Маргеланѣ.

Въ Туркестанѣ что ни мѣстность, то свой сортъ лошадей; чуть ли не каждый кишлакъ славится своей породой. Я близко приглядѣлся, за время путешествія, къ сотнямъ лошадей, наслушался много разговоровъ на эту тему, и вынесенное мною представленіе о туземныхъ лошадяхъ, къ сожалѣнію, мало соответствовало тому понятію, которое я имѣлъ о нихъ до пріѣзда въ край.

¹⁾ На основаніи мѣстныхъ свѣдѣній о бухарско-афганской торговлѣ за 1892 г., количество ввоза можетъ быть выражено въ слѣдующихъ приблизительныхъ цифрахъ. Ввезено въ Бухару англо-индійскихъ товаровъ на сумму ок. 910.000 руб., въ томъ числѣ: чаю на 615 т. р., индигу на 204 т. р., кисеи англійской на 76 т. р. и англійскаго коленику на 14 т. р.; афганскихъ товаровъ (шкуры, мерлушки, краски, опиумъ, кишмишъ, фисташки, шерсть, хлопковъ и т. п.) всего на 960 т. р.

Изъ многочисленныхъ такъ называемыхъ *породъ* (бухарскихъ, самаркандскихъ, башкирскихъ, текинскихъ, киргизскихъ и проч., и проч.) названіе *породы* по справедливости можетъ быть прилагасмо только къ лошадямъ ахаль-текинскаго оазиса и къ карабаирамъ (въ долину Зеравшана), такъ какъ только эти двѣ породы передаютъ новолѣніямъ ясно выраженные особенности склада и свои типичныя качества. Пожалуй, еще разновидности киргизскихъ степныхъ и горныхъ лошадей можно объединить въ одномъ понятіи киргизской породы, такъ какъ въ всегда легко отличите низкорослаго, приваистаго, крайне уродливаго и необычайно крѣпкаго киргиза среди сотни другихъ лошадей. Племена текинцевъ, до послѣдняго времени сохранившія свою независимость, дольше другихъ жили жизнью средне-азиатскихъ хищниковъ, и мнѣ думается, что въ этомъ главная причина устойчивости породы лошадей въ ихъ оазисѣ: постоянные аламань (набѣги) на персовъ и другихъ сосѣдей заставляли текинца дорожить конемъ, дорожить качествами своего боевого товарища, быстрота ногъ котораго могла ему доставить лишняго плѣнника и спасала отъ погони враговъ. Этого побужденія было достаточно, чтобы заставить текинцевъ выработать приемы соотвѣствующаго подбора производителей и правильнаго воспитанія молодяка. Тѣ же причины существовали до умиротворенія края съ приходомъ русскихъ и въ остальныхъ мѣстностяхъ Средней Азии. Съ другой стороны, эмиры, ханы и разные полунезависимые беки и „ша“ видѣли въ богатомъ составѣ конюшни одинъ изъ главныхъ предметовъ придворной роскоши; такіа конюшни, доходившія до нѣсколькихъ тысячъ головъ, естественно подымали цѣнность хорошихъ лошадей и тѣмъ побуждали населеніе къ веденію правильнаго коневодства. Туркестанцы говорятъ, что вырожденіе породъ идетъ настолько быстро, что его можно услѣдить въ десятилѣтній періодъ. Дѣйствительно, вполнѣ хорошіа лошади становятся такъ рѣдки, что онѣ извѣстны наперечетъ не только въ томъ или другомъ городѣ, но и во всемъ краѣ, и счастливый обладатель такой лошади очень неохотно соглашается продать ее даже за высокую цѣну, разъ въ десять превышающую среднюю стоимость порядочнаго коня.

Съ водвореніемъ русскихъ прекратились постоянныя войны между сосѣдями, исчезли съ лица земли не только ханскія конюшни, но и сами ханы; новыхъ же условій для поддержанія коневодства мы создать повуда не сумѣли: мѣстная администрація не пошла дальше устройства скачекъ въ Самаркандѣ и Ташкентѣ; государственное конноводство сдѣлало въ этомъ отно-

шеніи еще меньше: по крайней мѣрѣ, мнѣ никто не могъ сказать, было ли когда-нибудь командировано сюда лицо отъ этого вѣдомства, хотя бы съ цѣлью предварительнаго изслѣдованія туземнаго коневодства. Ни одного случайнаго пункта, ни одного разсадника породистыхъ жеребцовъ въ краѣ не существуетъ. Между тѣмъ качества здѣшнихъ лошадей таковы, что ихъ, казалось бы, слѣдовало поддерживать въ интересахъ не одного туркестанскаго коневодства.

Кому приходилось совершать продолжительное путешествіе въ краѣ, тотъ не могъ не оцѣнить незамѣнимаго при походномъ движеніи качества здѣшнихъ лошадей: своеобразнаго видоизмѣненія аллюровъ шага и рыси на „ходу“ и „тропату“. Эти аллюры нельзя считать прирожденными особенностями мѣстныхъ породъ, но способность въ ихъ развитію, несомнѣнно, имъ врождена, вслѣдствіе искусственной выработки ихъ у предковъ, въ ряду многихъ поколѣній. Длинные, обусловленные малонаселенностью страны, переходы были причиной появленія ходы, которая больше обыкновеннаго шага (средняя скорость 7 верстъ въ часъ) и въ то же время менѣе утомительна для лошади и для всадника, чѣмъ рысь. Тропота — видоизмѣненная рысь, — скорость которой доходитъ до 18-ти верстъ въ часъ, особенно дорога восточнымъ людямъ, такъ какъ позволяетъ имъ сохранять свое степенное спокойствіе даже при быстрой ѣздѣ. Нѣкоторую роль въ выработкѣ этихъ аллюровъ играетъ, вѣроятно, чрезмѣрная тяжесть, которую приходится носить здѣшнимъ лошадямъ, прежде даже чѣмъ онѣ успѣли окончательно сложиться: въ нерѣдко встрѣтите двухъ, трехъ всадниковъ на одной и той же лошади, а вьюки всегда бываютъ слишкомъ велики: бѣдное животное, стремясь избѣжать толчковъ отъ чрезмѣрнаго груза, старается ступать какъ можно плавнѣе, и въ результатѣ его усилій получается своеобразный аллюръ.

Указанныя мною оригинальныя качества туркестанскихъ лошадей свойственны въ большей или меньшей степени различнымъ бухарскимъ породамъ; точно также причины вырожденія бухарскихъ породъ (въ родѣ гиссарской или бальджуанской) — тѣ же, что вызываютъ вырожденіе какой-нибудь мѣланьской или уратюбинской породы на нашей территоріи; поэтому сказанное мною о туркестанскихъ лошадяхъ въ равной мѣрѣ справедливо и по отношенію къ коневодству Бухары. Это до нѣкоторой степени оправдываетъ мое отступленіе въ область конскихъ вопросовъ; тѣмъ не менѣе я воздерживаюсь отъ дальнѣйшихъ подробностей на тему, могущую интересовать далеко не всякаго читателя. Къ

тому же выражать свое сужденіе о лошадяхъ всегда рисковано: слушая безконечные разговоры знатоковъ-любителей этого дѣла и видя, какъ они неизмѣнно считаютъ своей обязанностью по всѣмъ пунктамъ другъ другу противорѣчить, не приходило ли вамъ, читатель, на умъ, что составить себѣ правильное мнѣніе объ этомъ предметѣ—задача, принадлежащая къ труднѣйшимъ проблемамъ человѣческаго мышленія?!

Скажу только два слова о способѣ вьюченія, чтобы больше уже не возвращаться къ темѣ о лошадяхъ. Помимо обыкновеннаго сартовскаго вьючнаго сѣдла (похожаго на нашъ кавалерійскій ленчикъ), существуетъ специальное вьючное приспособленіе („чомъ“): оно состоитъ изъ круглаго, толстаго, вершковъ 3-хъ въ діаметрѣ, соломеннаго жгута, согнутаго въ формѣ буквы П. Его короткая, обшита войлокомъ сторона имѣетъ выемъ для холки, на которую она накладывается, а длинные концы, идущіе вдоль спины по изгибу реберъ, стягиваются бичевкой близъ крестца, примѣнительно къ ширинѣ крупа; послѣ нѣсколькихъ дней пути сѣдло подъ вліяніемъ тяжести принимаетъ форму соотвѣтственно строенію лошади. Самымъ удобнымъ подобное сѣдло оказывается тогда оно сдѣлано не изъ соломы, а изъ слоевъ войлока; въ этомъ случаѣ оно называется „бухарскимъ“ (въ отличіе отъ „кашгарскаго“).

Вещи укладываются либо въ „ягтаны“, либо въ „куржумы“. Последніе представляютъ изъ себя парные ковровые или грубой бумажной матеріи мѣшки, которые перебрасываются чрезъ сѣдло; они очень помѣстительны и пригодны для всякой поклажи, кромѣ хрупкой посуды. Поверхъ куржума нерѣдко садится погонщикъ; мѣстные жители ухитряются сохранять равновѣсіе на такомъ сдѣлѣніи даже при подъемахъ на значительныя крутизны. Ягтаны—это небольшіе кожаные сундуки, около аршина длиной и $\frac{1}{2}$ арш. вышиной; ширина ихъ должна быть по возможности меньше (не болѣе 8 вершковъ),—иначе лошади грозила бы опасность паденія на узкомъ карнизѣ.

Идея этихъ туземныхъ вьюковъ очень остроумна; будь на нашемъ мѣстѣ практичные нѣмцы или англичане, они бы давно уже выработали различныя подробности вьюковъ, примѣняясь къ европейскимъ потребностямъ; былъ бы въ точности опредѣленъ грузъ, соотвѣтствующій силамъ мѣстной лошади, были бы пригнаны на свое мѣсто каждый ремешокъ и застежка. У насъ не такъ. Не мало нами снаряжалось въ этомъ краѣ экспедицій, и ученыхъ, и иныхъ, но всегда мы довольствовались въ дѣлѣ вьюченія измышленіемъ туземцевъ; въ результатѣ—факты, подобные тому, ко-

торый произошелъ въ недавней, пользующейся громкой извѣстностью, экспедиціи: до половины обозныхъ лошадей пришлось оставить на дорогѣ вслѣдствіе побитыхъ спинъ; раны издавали такое зловоніе, что къ табуны трудно было подойти.

IV.

Черезъ четыре часа, все карнизами вдоль рѣки, мы, наконецъ, дошли до площади, достаточно широкой, чтобъ воспользоваться ею для привала... Съ выючка, на которомъ слѣдовали наша столовая и буфетъ, сняли куржумы, достали изъ нихъ жестяные чайники и остатки какой-то закуски въ видѣ пирожковъ и языка довольно сомнительной свѣжести; затрепалъ костеръ, закипѣла вода въ кунганахъ—высокихъ мѣдныхъ кувшинахъ, которые ставятъ прямо въ огонь,—и скоро путешественники, расположившіеся на землѣ у подножья скалы, могли отдыхать, утоляя жажду чаемъ; подошли остальные выюки и направились въ висячему мосту, перекинутому черезъ рѣку въ нѣсколькихъ саженьяхъ дальше. И караванъ, извивавшійся змѣйкой среди каменныхъ глыбъ дороги, на половину скрывавшихъ собою лошадей, и группа отдохавшихъ путниковъ, казались такими маленькими, такими ничтожными въ тѣни исполинской скалы... Большой камень, когда-то сорвавшійся съ вершины, покоится теперь у ея подножья и, прислонившись къ стѣнѣ, образуетъ что-то въ родѣ пещеры, своды которой зачернены копотью: въ теченіе многихъ вѣковъ проходили здѣсь караваны; быть можетъ, тысячи путниковъ раскладывали свои костры подъ прикрытіемъ этого камня. Здѣсь шелъ лучшій путь изъ Каратегина въ кокандское ханство. Но русскимъ онъ сталъ извѣстенъ лишь очень недавно.

Первый образованный европеецъ, посѣтившій Алайскій (или Южно-Кокандскій) хребетъ и долину Алая и повѣдавшій всему ученому міру объ этой таинственной дотолѣ области, былъ А. П. Федченко. Не продолжительно было время, проведенное этимъ ученымъ въ Туркестанѣ, не многочисленны лица, входившія въ составъ экспедицій, во главѣ которыхъ онъ стоялъ, но добытые имъ результаты настолько велики, что ставятъ его имя на ряду съ тѣми, которые составили эпоху въ научномъ изслѣдованіи Средней Азіи¹⁾. Самой важной его экспедиціей была поѣздка на

¹⁾ Мушкетовъ. Туркестанъ, т. I, гл. VII.

Алай въ 1871 г., предпринятая имъ только вдвоемъ съ женою, иллюстрировавшей его путешествіе. Въ то время еще существовало кокандское царство; въ немъ правилъ кровожадный по отношенію къ своимъ подданнымъ, подозрительный ко всему русскому Худояръ-ханъ, и жизнь путешественниковъ, впервые проникшихъ въ тѣ самыя мѣста, которыя мы теперь такъ спокойно проходили, подвергалась ежедневному риску. Изъ Коканда Федченко направился на югъ, къ Алайскому хребту, былъ въ долинѣ Исфары, Караказына и, прорѣзавъ хребетъ тѣмъ же путемъ, какъ мы, по Исфайрамской долинѣ, вышелъ на Алай у Дараутъ-Бургана, гдѣ впервые увидалъ великолѣпную панораму многоснѣжнаго Заалайскаго хребта, существованіе котораго до этого дня никто не подозрѣвалъ. Изслѣдовавъ Алайскій хребетъ на востокъ до Гульчи, Федченко возвратился сѣверной границей кокандскаго ханства (Ферганы) въ Ташкентъ. Онъ не успѣлъ подѣлиться результатами своихъ драгоценныхъ наблюденій, такъ какъ преждевременная смерть скоро похитила этого замѣчательнаго человѣка, посвятившаго всѣ свои силы на пользу науки. Его труды заинтересовали весь ученый міръ, и цѣлый рядъ русскихъ и иностранныхъ ученыхъ специалистовъ принялъ участіе въ разработкѣ и изданіи собранныхъ имъ матеріаловъ.

Алайскій хребетъ принадлежитъ вмѣстѣ съ идущимъ параллельно ему Заалайскимъ хребтомъ къ системѣ Тянь-Шана; онъ отдѣляется отъ главной ея части въ юго-восточномъ углу Ферганы, близъ китайской границы, и тянется въ прямомъ направленіи на западъ, на протяженіи болѣе 300 верстъ. Средняя его высота надъ уровнемъ моря 11.000 ф., а надъ Ферганской долиной—9.500 ф. Шесть путей, длиною ок. 80-ти верстъ каждый, прорѣзаютъ хребетъ съ сѣвера на югъ, подымаясь изъ Ферганской долины вдоль горныхъ рѣкъ на снѣжные перевалы и круто спускаясь въ долину Алая. Два важнѣйшихъ изъ нихъ дѣлятъ хребетъ на три, почти равныя части: одинъ—тотъ, что дальше къ востоку—идетъ чрезъ перевалъ Талдыкъ и, спустившись въ Алай, взбирается чрезъ Заалайскій хребетъ и въ 40 верстахъ отъ его гребня достигаетъ озера Кара-Куля на Памирѣ; другой удобный путь—тотъ, по которому мы шли.

Мы переѣхали чрезъ мостъ и опять стали подыматься и спускаться по карнизамъ. Партія рабочихъ, человѣкъ въ 30, разработывала дорогу подъ присмотромъ сапернаго офицера. Мы разговаривали съ нимъ: онъ провелъ здѣсь одинъ въ обществѣ рабочихъ уже болѣе недѣли; палатки у него съ собой нѣтъ, провизія вышла; раздобудутъ рабочіе гдѣ-нибудь барана, тогда

есть чѣмъ пообѣдать, а не то такъ и безъ обѣда можно прожить. Расчистка этой дороги производится ежегодно, такъ какъ камни и щебенъ постоянно осыпаются со скалъ на карнизы. Разработка путей составляетъ одну изъ первѣйшихъ заботъ нѣмѣцкой администраціи Туркестанскаго края; выполненіе этой задачи, подобно почти всѣмъ культурнымъ началамъ, вносимымъ русскою властью въ эту далекую, полудикую окраину, совершается помощью той же солдатской силы, которая ее покорила.

Трудно передать впечатлѣніе того разнообразія, которое глазъ подмѣчаетъ въ картинахъ Алайскаго хребта: точно движущаяся театральная декорація разворачивается предъ вашими глазами, ежеминутно мѣняя свои цвѣта и очертанья, несмотря на то, что это все та же дикая природа, все тѣ же лишеныя признаковъ человѣческой жизни, безлѣсныя, голыя скалы. Вотъ поднимается отвѣсная скала; подобная стѣнѣ, воздвигнутой гигантами, она изборождена глубокими морщинами, отдѣляющими мощные, саженой толщины, пласты гранита; рѣка оmyваетъ ее подножье. Потомъ горы отходятъ отъ рѣки, и вода бѣжитъ между глинистыхъ, кирпичнаго цвѣта береговъ, а дальше потокъ то пѣнится по камнямъ пороговъ; то шумитъ, ниспадая водопадомъ... Карнизъ проложенъ по каменистой осыпи: когда-то здѣсь обрушилась часть скалы и, разбившись на миллионы обломковъ, легла отъ верхняго края горъ до дна рѣки покатой плоскостью, узкою въ своей далекой вершинѣ, что уперлась въ расщелину двухъ сосѣдей-утесовъ, широкою въ томъ мѣстѣ, гдѣ мы ее пересѣкаемъ по карнизу, еще шире подъ нами, тамъ внизу, на днѣ рѣки... А дальше, гдѣ-нибудь высоко-высоко, на самомъ верхнемъ краю скалы выдѣляется на голубомъ небѣ одинокое дерево, и думаешь сперва, что это былинка, а не дерево: такъ оно далеко и такимъ маленькимъ кажется... Кругомъ все пустынно и мрачно; только иногда, у крутого поворота рѣки, гдѣ вода, въ теченіе вѣковъ подрывая глину берегового обрыва, отошла отъ противоположнаго берега, видишь въ укромномъ уголкѣ повинуятаго теченіемъ рѣчного дна двѣ-три березы, и въ тѣни ихъ какіе-то желтые цвѣты, привѣтливо пестрѣющіе среди сочной травы.

Жара спадала, сталъ накрапывать дождь и покрылъ мелкою сѣткой окрестныя горы. У меня нѣтъ ничего съ собою, чѣмъ бы укрыться; хочу переждать дождь за высокимъ камнемъ. Одинъ за другимъ проѣзжаютъ мимо меня мои спутники, укутанные кто въ бурку, кто въ европейское пальто, а дождь льетъ все сильнѣе и сильнѣе. Накрывшись попоной, направляюсь дальше по тропинкѣ, которая, не находя себѣ мѣста на одномъ склонѣ,

безпрестанно перебирается на другой берегъ по перекинутымъ чрезъ потокъ мостикамъ. Вонъ за однимъ изъ нихъ поднимается на кручу вереница всадниковъ: точно въ театрѣ, гдѣ на нѣсколькихъ саженьхъ хотятъ дать иллюзію долгаго подъема, такъ они идутъ, извиваясь змѣйкой по такимъ частымъ зигзагамъ, что кажется, будто всадники, идущіе сзади, своими головами касаются ногъ впереди идущихъ лошадей...

Дождь прошелъ. Тяжело дыша, съ трудомъ поднимается моя лошадь среди лоснящихся, омытыхъ дождемъ камней. Я слѣваю, чтобъ облегчить ей подъемъ; тропинка такъ узка, что рядомъ не пройдеши; иду сзади, держа поводъ въ вытянутой руцѣ; лошадь дернула, поводъ выскользнулъ, и я тщетно стараюсь догнать ушедшую впередъ лошадь: такъ круто, что болѣе минуты нѣтъ силъ подыматься безъ отдыха. Положеніе для всадника комичное, но опасное для лошади: я увидалъ ее чрезъ нѣсколько минутъ впереди и выше меня; она бѣжала рысью по горизонтальному карнизу, задравъ голову, повернутую къ сторонѣ прощasti; поводъ болтался; наступилъ она на него — она бы спотынулась и покончила свои дни...

Уже смеркалось когда мы стали спускаться въ небольшую долину, затерянную среди горъ; густой вечерній туманъ поднимался съ пропитанной сыростью почвы, стелаясь по землѣ, какъ дымъ отъ орудійныхъ выстрѣловъ; въ туманѣ мы различили круглые своды юртъ, предназначенныхъ для нашей ночевки. Ихъ было всего три, — слишкомъ мало для довольно многочисленной партіи, — но и эти три юрты были доставлены сюда не безъ затрудненій, такъ какъ, за неимѣніемъ верблюдовъ, ихъ пришлось навьючить на лошадей; требуется до пяти лошадей, чтобъ поднять даже такую маленькую юрту, какъ тѣ, что были приготовлены для насъ волостнымъ алайскихъ киргизовъ въ урочищѣ Лянгаръ.

Обыкновенныхъ размѣровъ юрта свободно навьючивается на одного верблюда: большіе четырехъ-угольные куски войлока (юшмы), покрывающіе ея деревянный остовъ, кладутся на спину животного; поверхъ ихъ помѣщается самый остовъ — складная рѣшетка изъ прутьевъ, служащая стѣной этого остроумнаго зданія, при чемъ образуетъ что-то въ родѣ платформы, на которой иной разъ возсѣдаетъ супруга владѣльца верблюда, окруженная ребятишками и всякимъ скарбомъ; третья часть юрты, ея сводъ, состоитъ изъ выгнутыхъ прутьевъ, нижніе концы которыхъ привязываются къ краямъ рѣшетчатой стѣнки, а верхніе соединяются въ центрѣ свода, упираясь въ края обода, служащаго въ то же время дымовымъ отверстіемъ. Весь этотъ сводъ

въ разобранномъ видѣ, связанный въ одинъ пучокъ прутьевъ, также находить свое мѣсто на спинѣ верблюда. Если вамъ придется провести нѣсколько дней среди кочевниковъ, вы скоро освоитесь съ ихъ жилищемъ, и, привыкнувъ сидѣть на войлокахъ, которые разстилаются на землѣ, вы найдете въ немъ своеобразную прелесть. Только вотъ въ дождливую погоду оно не совсѣмъ пріятно тѣмъ запахомъ промокшей кошмы, который встрѣтилъ и меня, когда, согнувшись въ три дуги, я входилъ въ низенькую дверь одной изъ юртъ, гдѣ и засталъ моихъ спутниковъ среди оживленныхъ разговоровъ.

Промокшіе и озябшіе, сидѣли мы въ ожиданіи прибытія вьюковъ съ сухой одеждой и рассказывали другъ другу свои дорожные приключенія. Не стану передавать всѣхъ этихъ рассказовъ, — скажу только, что главную роль въ нихъ играла лошадь, ибо все путешествіе проходитъ въ постоянномъ уходѣ за своимъ конемъ: то надо вытащить застрявшій въ копытѣ камешекъ; то подедова начинаетъ хлябать на такомъ крутомъ спускѣ, гдѣ это по меньшей мѣрѣ нехстати; то, утоляя жажду изъ горнаго ручья, лошадь съ водою втянетъ въ ротъ шівку, и на привалѣ приходится избавлять ее отъ этого кровопійцы при помощи палки, просунутой между челюстями...

— А у меня каска слетѣла внизъ, когда я ѣхалъ по откосу осыпи, — рассказываетъ одинъ изъ спутниковъ, не извѣдавшій ранѣе горныхъ путешествій и весьма дорожившій своимъ англійскимъ пробовымъ шлемомъ: — слетѣла внизъ, вижу — не слишкомъ круто, я за ней хотѣлъ спуститься, сбѣгалъ шагъ, — а камни подъ ногами такъ и поползли; тогда я сѣлъ и скатился на камняхъ, точно на салазкахъ...

— И вы остались цѣлы?.. Ну, такъ благодарите судьбу и другой разъ не пробуйте, а не то васъ такъ и засыплетъ камнями... и хоронить не надо будетъ...

Не успѣлъ новичокъ выразить свое удивленіе, какъ плетеная занавѣсъ, закрывавшая дверь юрты, приподнялась.

— Господа, обѣдъ готовъ! — радостно провозгласилъ это-то при видѣ входящаго въ юрту джигита съ блюдомъ баранины. Разговоры прекратились, каждый постарался устроиться поудобнѣе, главное — поближе къ блюду, и всѣ занялись ѣдой. Чувствуется большой недостатокъ въ ножкахъ и вилкахъ; приходится записаться немалою долей терпѣнія...

— Иванъ Петровичъ, вонъ рядомъ съ вами лежатъ *ножичекъ*, — говоритъ это-нибудъ, желямъ этимъ уменьшительнымъ именемъ скрыть свое нервное нетерпѣнье, и Иванъ Петровичъ любезно

передаетъ ему просимое, внутренно крайне недовольный, что его уже третій разъ беспокоятъ и не дають справиться съ изряднымъ ломтемъ баранины.

Голодъ утоленъ, и путешественники, одинъ за другимъ, вынимаютъ книжечки и начинаютъ при свѣтѣ огарка записывать событія дня. Все заносится въ эти книжечки: и часы приваловъ, и число мостовъ, и цвѣтъ небесъ, и то, что среди горныхъ породъ попадаются сіониты, и то, что у повстрѣчавшейся намъ старушки-киргизки лицо не было покрыто фатой, и высота показаній anerоида. Почти всѣ записываютъ; записываю и я. „Такъ себѣ, для памяти“,—отвѣчаешь на вопросъ о цѣли дневника, но должно быть, подобно мнѣ, всѣ чувствуютъ, что каждый втайнѣ желѣетъ смутную надежду превратить когда-нибудь свои записки въ печатную статью, и подъ сводомъ окутанной мракомъ юрты носится духъ таинственной и довольно забавной конкуренціи...

На дворѣ шумъ... Выхожу изъ тепла юрты на вечернюю свѣжесть и сырость, дождь льетъ. Вьюки пришли... развязали веревки, внесли ягтаны и чрезъ $\frac{1}{2}$ часа въ юртѣ настала тишина... Потомъ и на дворѣ прекратился шумъ, смолкли голоса джигитовъ, и было слышно только, какъ лилъ безостановочно дождь и какъ привязанныя къ колышкамъ сонныя лошади переступали копытами въ промокшей муравѣ; но и этотъ звукъ доходилъ сквозь стѣнку юрты какъ-то особенно, и чувствовалась какая-то отрѣшенность отъ внѣшняго міра, точно когда въ вагонѣ слышишь ночью сквозь стекла оконъ отрывочный разговоръ и шаги на станціонной платформѣ...

Весь слѣдующій день прошелъ въ безостановочномъ подъемѣ на перевалъ Тенгизъ-Бай. Мы вступили въ другой климатъ; температура днемъ едва достигала 20° R, въ вечеру спустилась до 7. Мы были въ поясѣ арчи; это красивое дерево (яловецъ, *Juniperus pseudosabina*), съ бѣлымъ, крученымъ, точно канатъ, стволомъ, съ темной хвойной зеленью, принадлежитъ къ породѣ можжевеловыхъ и растетъ на высотѣ 1.500—3.000 мет. Нѣкогда горы, окружающія долину Ферганы, были покрыты обильными лѣсами, питавшими теперь высохшія рѣки; но лѣса, истребляемые въ теченіе вѣковъ кочевниками, исчезли, и въ наше время арча—единственное дерево, растущее здѣсь въ достаточномъ изобиліи, чтобы образовать нѣчто въ родѣ роцъ, правда, очень негустыхъ. Несмотря на всѣ мѣры, принимаемыя нашей администраціей, гибель лѣсовъ въ горахъ Туркестана идетъ съ ужасающей быстротой; не избѣгнетъ, вѣроятно, общей участи и арча, которую углепромышленники безжалостно рубятъ, чтобы получить изъ пѣлаго

дерева (вѣсомъ пудовъ въ 20) менѣе одного пуда угля. Изъ арчи сдѣланы также многочисленные мосты, переброшенные чрезъ р. Исфайрамъ, которая на этой высотѣ представляетъ изъ себя узкій горный потокъ все съ болѣе и болѣе крутымъ паденіемъ, среди крупныхъ каменныхъ (и нерѣдко мраморныхъ) глыбъ.

Устройство этихъ мостовъ очень незамысловато: два выступа, сложенные изъ камней, иногда съ промежуточными слоями древесныхъ колебъ, выдвигаются отъ каждаго берега на встрѣчу другъ другу настолько близко, чтобы ширина пролета между ними не превышала длины переброшеннаго чрезъ него бревна; настилка аршина $1\frac{1}{2}$ шириною состоитъ изъ жердей, присыпанныхъ землей. Получается мостъ вполне крѣпкій и надежный, несмотря на его воздушный видъ. Такіе же мосты, но лишь въ болѣешемъ масштабѣ, встрѣчались намъ на бухарской территоріи чрезъ довольно широкія рѣки; тамъ колея въ береговыхъ выступахъ замѣнены цѣлыми бревнами, каждый верхній рядъ которыхъ выступаетъ надъ нижнимъ дальше къ серединѣ рѣки; длина одного бревна оказывается уже недостаточной, чтобы замѣнить пролетъ, и для этой цѣли приходится связать два, три дерева, служащія продолженіемъ одно другого. Во всей постройкѣ нѣтъ ни одного гвоздя, и крупныя бревна связаны помощью хворостинъ. Очевидно, такой мостъ при значительной длинѣ (до 30—40 шаговъ) не отличается особенной устойчивостью: когда по немъ ѣдешь шагомъ, онъ качается, какъ рессорный экипажъ, и въ длину и по линіи поперечника; это двойное качаніе при большой высотѣ надъ уровнемъ рѣки настолько непріятно, что даже туземцы считаютъ нужнымъ слѣзать и проводить лошадей въ поводу.

Мы все поднимались; на одномъ поворотѣ я оглянулся: позади меня сумрачно-лиловыя скалы сдвинулись глубокимъ амфитеатромъ; свинцовыя облака нависли надъ ними тяжелой крышей; а впереди, надо мною, ничего не было видно, кромѣ вырисовававшегося на чистомъ небѣ края горы, по которой я взбирался. Казалось, еще нѣсколько сажень, и я на вершинѣ перевала, но доберешься до края, а тамъ неожиданно сѣдловина и снова подъемъ.

Наконецъ, къ вечеру мы достигли унылой, безжизненной долины у подножья горы, подобной огромному кургану: путь черезъ нее и есть перевалъ Тенгизъ-Бай; по ту сторону начинается спускъ по южному склону Алайскаго хребта въ долину Алая. Кругомъ стояли снѣжныя вершины. Здѣсь мы провели ночь въ юртахъ.

Сильный холодъ заставилъ насъ рано проснуться на другой

день: было 6° тепла, но послѣ недавнихъ 40-градусныхъ жаровъ намъ казалось, будто это было осеннее утро; разрѣженный горный воздухъ былъ свѣжъ и живительной струей вливался въ грудь.

Три четверти часа подъема—и мы на вершинѣ перевала, на высотѣ 11.800 футъ. Дулъ холодный вѣтеръ. „Въ прошломъ году,—разсказываетъ мнѣ спутникъ, съ которымъ мы остановились, чтобы записать показанія барометра,—я былъ здѣсь двумя недѣлями раньше, и все уже было занесено снѣгомъ“. Теперь снѣгъ лежалъ небольшими пятнами въ складкахъ косогора; едва замѣтный зарождающійся ручеекъ протекалъ вдоль дороги. Спускъ очень крутъ, и скоро мы опять очутились среди скалъ; снова появилась растительность, сперва въ видѣ жалкихъ, стелющихся по землѣ экземпляровъ арчи, ниже—въ видѣ кустовъ рябины и березъ. Ручеекъ превращается въ шумный потокъ (Кара-Джилги), дорога врѣзается все глубже въ ущелье и близъ впаденія рѣчки Шиманъ входитъ въ Дараутскую тѣснину: двѣ совершенно отвѣсныя гранитныя скалы сближаются между собою, оставляя путнику лишь узкій, въ 12 шаговъ шириною, проходъ, на половину занятый теченіемъ рѣки. Подобныя мѣста опасны въ непогоду, когда быстро поднявшіяся воды ручьевъ, ворвавшись въ тѣснину, могутъ унести съ собою цѣлыя караваны.

Еще верстъ 10 по хорошо разработанному карнизу, проложенному то чрезъ черныя осыпи грифельныхъ сланцевъ, то въ полутьмѣ извилистаго коридора,—и къ полудню мы увидѣли въ концѣ тѣсины просвѣтъ: горы разступились, и нашимъ глазамъ представился залитый солнцемъ просторъ Алайской долины; по ту сторону ея, на томъ берегу „красноводной“ рѣки, за гладью зеленыхъ луговъ, прорѣзавъ бѣлоснѣжныя облака, уходили въ небесную высь снѣговыя вершины Заалая.

V.

Слово „алай“ значитъ „рай“ по-каракиргизски; этимъ именемъ киргизы называютъ долину, заключенную между двухъ почти параллельныхъ хребтовъ—Южно-Кокандскимъ и Заалаемъ.

Долина эта со времени Федченко, открывшаго ее, заинтересовала геологовъ вопросомъ о своемъ происхожденіи: одни полагаютъ, что въ былое время ее заполняло ледниковое море, что, позднѣе, она служила дномъ нагорному озеру; другіе,—отрицающіе существованіе ледниковаго періода на Памирскомъ плоскогорьѣ, объясняютъ образованіе долины дѣйствіемъ рѣчныхъ

водѣ, размывшихъ мягкія породы окрестныхъ горъ; но всѣ согласны, что Алай представляетъ типичный примѣръ высоко поднятыхъ надъ уровнемъ моря продольныхъ долинъ, характеризующихъ систему Тянь-Шаня и Памира.

Долина тянется въ широтномъ направленіи на протяженіи 120 верстъ, равномерно поднимаясь съ 8.000 ф. на западномъ концѣ до 12.000 у своего верховья; ширина ея остается почти та же на всемъ протяженіи и не превышаетъ 40 верстъ. Верховья долины находятся на томъ горномъ узлѣ, который, связывая Заалай, Алайскій и Ферганскій хребты, образуетъ водораздѣлъ трехъ бассейновъ: на сѣверъ текутъ притоки Сыръ-Дарьи въ Ферганскую долину, на востокъ и на западъ двѣ одноименныя рѣки, два Кызыль-Су стекаютъ съ вершины водораздѣла; первый, спустившись въ долину Кашгара и принявъ имя Кашгаръ-Дарьи, впадаетъ въ Таримъ, чтобы исчезнуть въ пустынныхъ пескахъ Центральной Азіи, другой—западный Кызыль-Су течетъ по Алайской долинѣ, придерживаясь сѣверной ея грани—подножья Алайскаго хребта—и дѣлится на многочисленные рукава, изрѣзывающіе дно долины причудливымъ узоромъ. Пройдя 400 верстъ по бухарской землѣ, алайскій Кызыль-Су, подъ именемъ Вахша, соединяется съ памирской рѣкой Пянджемъ; ихъ соединенное русло получаетъ названіе Аму-Дарьи.

Южная грань Алая—это громадный стоверстный Заалайскій хребетъ, поднимающійся въ среднемъ на 18 т. ф.; начиная съ 13 т. ф., онъ покрытъ вѣчнымъ снѣгомъ; на восточномъ концѣ гордо возвышается первая по высотѣ на всемъ Тянь-Шанѣ вершина Гурумды; а въ средней его части поднимается на высоту 23.000 футъ пикъ, носящій имя памятнаго въ исторіи Туркестанскаго края К. П. Кауфмана. Въ противоположность Южно-Кокандскому хребту съ его многочисленными перевалами, Заалай проходимъ только въ двухъ мѣстахъ: чрезъ перевалы Кызыль-Артъ (на высотѣ 14 т. ф.) и Терсъ-Агаръ (16 т.). О первомъ изъ нихъ, ведущемъ къ сѣверному берегу озера Кара-Куль, мы уже упоминали: этимъ путемъ поднялся на Памиръ отрядъ Скобелева въ 1876 г.; тотъ же путь избрала послѣдняя памирская экспедиція 1892 г.; другой перевалъ, лежащій въ западной части долины, прямо противъ Дараутъ-Курганскаго ущелья, ведетъ въ малоизслѣдованную мѣстность верховьевъ рѣки Мукъ-Су, вытекающей изъ ледника Федченко, среднее теченіе которой еще не нанесено на карту.

Таково географическое положеніе Алая. Бѣднымъ, не избалованнымъ щедротами природы киргизамъ, эта долина, съ ея

сочной травой, съ многоводной рѣкой, прорѣзывающей ее въ длину, и обиліемъ ручьевъ, ниспадающихъ по склонамъ обоихъ гигантскихъ горныхъ кряжей, дѣйствительно должна казаться раемъ. Это любимое мѣсто лѣтнихъ кочевовъ многочисленныхъ киргизскихъ родовъ (тогай, теитъ, монгушъ, адыгинъ, ичкиликъ), приходящихъ сюда изъ опскаго, андижанскаго и маргеланскаго уѣздовъ Ферганы. Въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ собирается здѣсь до 15 т. семей, откармливающихъ на просторѣ алайскихъ луговъ свой рогатый скотъ и овецъ; количество скота достигаетъ 500.000 головъ; встрѣчаются одnogорбые верблюды, но изрѣдка, по нѣскольку штукъ у самыхъ богатыхъ хозяевъ. Съ половины августа кочевники начинаютъ возвращаться въ свои зимовки, долина постепенно пустѣетъ, и зимою глубокой снѣгъ покрываетъ сплошнымъ саваномъ мертвую долину. Только въ низовьяхъ ея жизнь продолжается круглый годъ: въ боковыхъ ущельяхъ (верстъ на 20 по обѣ стороны отъ Дараутъ-Кургана) разбросаны жалкія сакли, въ которыхъ укрываются на зиму отъ непогоды около 150 семействъ коѣнна Найманъ вмѣстѣ со своими стадами. Кромѣ барановъ, главнаго богатства кочевниковъ, у этихъ киргизовъ водятся яки, трудно укротимое домашнее животное, весьма цѣнимое киргизами, и какъ вьючная сила, и какъ скотъ, доставляющій молоко, шерсть и крѣпкую, толщиною въ палецъ, шкуру, продаваемую ими въ Фергану по 2 р. 50 к. за пудъ. Изъ длинной шерсти яка и пушистаго хвоста плетутся мягкія веревки для вьюковъ и лучшія подпруги. Зимою яки уходятъ въ горы, верстъ за 20 отъ жилищъ своихъ хозяевъ, и пасутся тамъ, пробивая крѣпкими копытами снѣгъ и даже ледъ.

Земледѣліе въ Алайской долинѣ возможно въ весьма незначительномъ размѣрѣ, лишь въ низовьѣ ея, въ районѣ, занятомъ осѣдлыми киргизами, которые сѣютъ ячмень и пшеницу; верстъ 35 выше Дараутъ-Кургана (близъ урочища Газъ) уже прекращается культурная полоса, ибо за краткостью лѣта хлѣбъ не успѣваетъ дозрѣть.

Извѣстно, что въ настоящее время въ Ферганской долинѣ вовсе нѣтъ свободныхъ культурныхъ земель для заселенія ихъ выходцами изъ коренной Россіи; администрація, стремясь увеличить численность русскаго элемента въ краѣ, естественно должна была обратить вниманіе на долину Алая, какъ на мѣстность, съ перваго взгляда отѣчающую подобной цѣли. Въ предположеніи, что на Алаѣ можно имѣть до 60.000 десятинъ пригодной для хлѣбопашества земли, выработали проектъ заселенія ихъ казаками; при этомъ имѣлось въ виду со временемъ создать алайское казачье войско,

которое служило бы оплотомъ въ дѣлѣ охраненія памирскихъ границъ отъ нарушенія со стороны сосѣдей и тѣмъ дѣлало бы излишнимъ содержаніе дорого-стоющаго постоянного отряда регулярнаго войска на Памирѣ. Проектъ этотъ, если не ошибаюсь, и теперь еще не оставленъ, но, въ виду указанныхъ выше ничтожныхъ размѣровъ культуро-способной площади въ долинѣ, надо предполагать, что его осуществленіе встрѣтитъ значительное затрудненіе; по крайней мѣрѣ люди, извѣдившіе долину во всѣхъ направленіяхъ, знакомые со всѣми ея уголками, говорятъ, что поселить въ ней можно не болѣе 1.000 семействъ; остальнымъ пришлось бы существовать покупнымъ хлѣбомъ.

Помимо кибитокъ номадовъ и саклей осѣдлыхъ киргизовъ есть въ предѣлахъ Алая болѣе важное поселеніе; это лежащая при истокахъ китайскаго Кызыль-Су, на самой границѣ двухъ имперій, крѣпость Ирештамъ; 30 человѣкъ казаковъ при одномъ офицерѣ—вотъ весь немногочисленный гарнизонъ ея, призванный, въ случаѣ нужды, напомнить сосѣдней державѣ о величій русскаго имени. Тутъ же, рядомъ съ крѣпостью, находится ирештамскій таможенный пунктъ, имѣющій важное значеніе, такъ какъ въ немъ сосредоточивается, согласно договору съ Китаемъ, все торговое движеніе между Кашгаромъ и Ферганой, иными словами, почти вся торговля Китая съ нашими туркестанскими владѣніями.

Таможенный надзоръ въ Алаѣ этимъ не ограничивается: въ лѣтнее время выставляется постъ при выходѣ дороги съ Памировъ, подъ переваломъ Кызыль-Артъ (въ м. Баръ-Даба); кромѣ того существуетъ летучій отрядъ стражниковъ, оберегающій доступъ въ западную часть долины. Съ учрежденіемъ бухарско-афганской таможенной линіи эти мѣры охраненія окажутся излишними: съ запада, чрезъ Каратегинъ, товары не будутъ имѣть возможность проникнуть, такъ какъ все бухарское ханство будетъ включено въ предѣлы таможенной черты; ожидать же, что значительная контрабанда проложитъ себѣ путь съ юга, чрезъ Памиръ, нѣтъ основанія, ибо врядъ ли найдется много охотниковъ сдѣлать 300—400 верстъ среди памирскихъ горъ, ради того, чтобы пронести на своей спинѣ пять, шесть пудовъ индійскаго чая или нѣсколько свертковъ кисеи. Путешествіе въ горахъ Средней Азіи, до которыхъ еще не коснулась рука европейскаго рабочаго, не есть легко совершаемая прогулка, особенно для контрабандиста, принужденнаго искать иныхъ путей, кромѣ всѣмъ доступныхъ тропинокъ. Только традиціонный страхъ Англіи за цѣлость драгоцѣннаго ей Индостана можетъ породить представленіе о лег-

кости движенія черезъ море горъ, именуемое Памиромъ. Гордый сынъ Альбіона, жестокой въ своемъ презрѣніи къ подвластной расѣ, начинаетъ сознавать, что зашелъ за предѣлы возможнаго въ притѣсненіи индускихъ племенъ, и, боясь Россіи, сильной своей любовью къ племенамъ востока, онъ обращаетъ безпокойный взоръ на сѣверъ: въ его боязливомъ воображеніи изъ-за высочайшихъ въ мірѣ горъ встаетъ ея могучій призракъ и онъ уже видитъ вонновъ „бѣлаго царя“, безпрепятственно, какъ снѣжная лавина, спускающихся съ памирскихъ высей на помощь угнетеннымъ, къ берегамъ священныхъ рѣкъ...

VI.

Мы отдыхали на лугу; кругомъ росли кусты облепихи; Кизылъ-Су протекалъ въ нѣсколькихъ саженьяхъ, неся мимо насъ свои быстрыя, красныя отъ глинистыхъ частицъ воды. Противъ выхода изъ Дараутъ-Бургана виднѣлись развалины крѣпости; ея глинобитныя стѣны были когда-то сложены кокандцами для защиты доступа въ ущелье; теперь онѣ служатъ загономъ для киргизскихъ стадъ. На томъ берегу снѣжный склонъ Заалая блестѣлъ какъ праздникъ въ лучахъ полдневнаго солнца. Было жарко, 42° по Ц. Мы двинулись дальше, внизъ по долинѣ.

На встрѣчу приближалась группа всадниковъ; по пестротѣ одеждъ можно было издали угадать, что это бухарцы: дѣйствительно, отправленный впередъ джигитъ вернулся съ отвѣтомъ, что это придворные эмира, высланные привѣтствовать насъ. Мы не ожидали этой встрѣчи такъ рано; многіе изъ насъ одѣты совсѣмъ неподходящимъ къ случаю образомъ; моя шведская куртка, — незамѣнимая по удобству въ пути, по прохладѣ въ дневной жаръ и теплотѣ въ вечерней прохладѣ, — оказывается рѣшительно неумѣстной при официальной встрѣчѣ; къ счастью, притороченное къ сѣдлу офицерское пальто выручаетъ изъ бѣды. Бухарцы слѣзаютъ съ коней и здороваются съ начальникомъ экспедиціи: „Его свѣтлость, — повторяетъ ихъ слова переводчикъ, — очень доволенъ имѣть васъ гостями въ своемъ государствѣ и надѣется, что вы совершите путешествіе благополучно и въ добромъ здоровѣѣ“. Свое привѣтствіе они оканчиваютъ обычнымъ пожеланіемъ вновь прибывшимъ всего лучшаго „во имя священныхъ узъ, связывающихъ оба государства“. Выслушавъ соотвѣтствующій отвѣтъ, они обходятъ насъ, протягивая каждому руку, потомъ садятся

верхомъ, подбираютъ помы халатовъ и мѣрно, раскачиваясь на добрыхъ ходунцахъ, ѣдутъ впередъ, указывая намъ дорогу.

Рѣка подошла вплотную къ горамъ; мы поднялись на значительную вышину: лежащіе на днѣ долины верблюды кажутся такими маленькими, что ихъ можно принять за овецъ; тропинка очень узка; привычная лошадь осторожно ставитъ ноги, обдумывая каждый шагъ, а внизу рѣка сердито бьется о стѣну обрыва. Въ дальнѣйшемъ пути намъ приходилось идти по дорогамъ гораздо болѣе опаснымъ, и мы привыкли относиться къ нимъ съ полнымъ равнодушіемъ, но когда ѣдешь въ первый разъ по подобнымъ мѣстамъ, имѣя съ правой стороны откосъ горы, а съ другой — пропасть, надъ которой виситъ лѣвая нога всадника, то испытываешь ощущеніе не особенно отрадное: сперва все кажется будто лошадь жметъ къ сторонѣ обрыва и тянешь ей правый поводъ, и потомъ только соображаешь, что лучше всего оставить ее спокойно идти по ея усмотрѣнію.

Для ночевки мы остановились въ долинѣ Кокъ-Су (одинъ изъ правыхъ притоковъ Кызыла). Не буду описывать достархана, которымъ насъ угощали бухарцы въ своей юртѣ: всѣ эти блюда баранины, подносы съ сладостями и чаши („шюла“) съ „шурпой“ (бульонъ) описаны много разъ; къ тому же угощеніе въ Кокъ-Су было очень скромно: чиновники извиняются за него и объясняютъ, что настоящая встрѣча будетъ на бухарской землѣ въ урочищѣ Кичи-Карамукъ, гдѣ уже сдѣланы богатые приготовления. Время быстро прошло среди хлопотъ по устройству ночлега, такъ что, когда я, взявъ съ собой ружье, въ расчетѣ найти перепеловъ, отправился вверхъ по долинѣ, наступалъ уже вечеръ; я не успѣлъ пройти далеко и видѣлъ только поля, принадлежащіе киргизамъ, зимовка которыхъ тутъ же лѣпилась по склону горъ; пшеница была убрана и сложена въ конусообразныя копны, какъ у насъ складываютъ коноплю.

Въ Кокъ-Су экспедицію нагналъ джигитъ, который привезъ мнѣ фотографическій аппаратъ, пришедшій въ Маргеланъ чрезъ нѣсколько часовъ послѣ нашего выступленія. Я не слышомъ жалѣлъ о томъ, что онъ такъ запоздалъ, ибо весь этотъ путь до границы Бухары, и даже дальше до города Гарма, хорошо извѣстенъ туркестанцамъ и снимки съ него можно найти у маргеланскаго фотографа. Путь изъ Маргелана на Гармъ ¹⁾ чрезъ Алай — это торная дорога всѣхъ экспедицій, отправляемыхъ въ Бухару

¹⁾ Гармъ — главный городъ Каратегина.

изъ Ферганы; этимъ же путемъ ходятъ обыкновенно купцы, такъ называемые „саудагеры“ (являто въ родѣ нашихъ офеней), промѣнивающіе въ кишлакахъ восточной Бухаріи русскій мелочной товаръ на стада барановъ. Въ дальнѣйшемъ путешествіи наша экспедиція должна пройти по болѣе интереснымъ, мало изслѣдованнымъ мѣстностямъ. Число европейцевъ, посѣтившихъ, напри- мѣръ, Дарвазъ, не превосходитъ десяти человекъ, и моя фото- графія сослужить гораздо лучшую службу на рѣкѣ Ванчѣ, кото- рая никогда еще, съ тѣхъ поръ какъ нависли надъ ней дикія скалы, не отразилась въ фокусѣ объектива.

Верстахъ въ десяти западнѣе Кокъ-Су отроги Алая выдви- гаются къ югу на встрѣчу Заалайскому хребту, оставляя лишь узкую тѣснину для водъ Кызыла, который здѣсь мѣняетъ свое названіе на Сурхъ-Объ; этотъ поперечный кряжъ замыкаетъ Алай- скую долину. Мы достигли его на слѣдующій день, 9-го августа, послѣ часового пути. Здѣсь опять насъ встрѣтила многочисленная группа бухарцевъ, присланныхъ каратегинскимъ бекомъ. Бекъ извѣщаетъ, что намъ приготовленъ его домъ въ цитадели Гарма; при этомъ выражаетъ сожалѣніе, что самъ принять насъ не мо- жетъ, ибо эмиръ послалъ его въ сосѣднія бекства собирать „са- ваймъ-заякетъ“ (т.-е. пошлину со скота).

Наша свита все растетъ; чрезъ нѣсколько верстъ насъ при- вѣтствуютъ чиновники дарвазскаго бека. Теперь уже до сотни всадниковъ то вытягиваются длинной лентой по карнизу, то раз- сѣиваются по широкой долинѣ Сурхъ-Оба: ихъ чалмы красиво блѣкнутъ среди зелени кустовъ; яркая пестрота ихъ халатовъ на- лагаетъ печать востока на окружающую картину... Все предвѣ- щаетъ, что мы приближаемся къ границѣ Бухаріи.

Переѣзжаемъ вбродъ рѣчку Катта-Карамузь. Горы сдви- гаются полукругомъ; Сурхъ-Объ прячется за поперечный кряжъ, который преграждаетъ намъ путь по долинѣ; по гребню этого пе- ревала проходитъ государственная граница. Здѣсь ожидаютъ, вы- танувшись въ одну шеренгу, нѣсколько человекъ алайскихъ вир- гизовъ съ волостнымъ во главѣ; они прощаются съ нами, подно- сятъ намъ кумысъ, говорятъ какія-то пожеланія на непонятномъ языкѣ, и черезъ минуту представители русской власти, старательно откланиваясь восточнымъ поклономъ, остаются сзади: мы начинаемъ спускаться съ перевала и вступаемъ въ бухарскую землю.

Я еще разъ оглянулся назадъ на родную границу...

За $1\frac{1}{2}$ мѣсяца, проведенныхъ въ предѣлахъ бухарскаго ханства, мы изѣздили много верстъ по степямъ и среди горъ, видѣли много деревень и городовъ, но разсказать о томъ, каково житье-бытье населяющихъ ихъ племенъ, какъ бухарскій народъ пашетъ землю, чѣмъ торгуетъ, какъ съ него беки собираютъ подати для эмира и какое у эмира войско,—разскажу обо всемъ этомъ когда-нибудь въ другой разъ.

Кн. Александръ Волконскій.



ИЗЪ КОНОПНИЦКОЙ

I.

ГДѢ МОЙ ДОМЪ?

Гдѣ домъ мой?—Тамъ, гдѣ сладкое мечтанье
Изъ милыхъ призраковъ волшебный міръ творить,
Гдѣ нектаръ пѣнистый мнѣ сердце веселить,
Гдѣ сны отрадные полны очарованья?
Иль тамъ, гдѣ гордый духъ вѣкамъ передаетъ
Святой завѣтъ, свой судъ и свѣточъ откровенья
И въ дни веселые сіянье мира льетъ,
А въ ночи бурныя хватаетъ мечъ для мщенья?

Гдѣ домъ мой?—Тамъ, гдѣ тихая печаль
Струится въ воздухѣ, какъ жалобъ тихій ропотъ;
Гдѣ розы слезы льютъ, гдѣ грустенъ листьевъ шопотъ,
Гдѣ ночь—безъ звѣздъ, гдѣ днемъ—одѣта мглою даль?
Иль тамъ, гдѣ тяжкій трудъ, и вопль въ кровавомъ спорѣ,
И кличъ воинственный, и побѣжденныхъ стонъ,
Сливаясь въ дикій шумъ, вѣщающій о горѣ,
Ужаснымъ призракомъ тревожатъ мирный сонъ?

Иль тамъ мой домъ, гдѣ льется свѣтъ волнами,
Гдѣ правда вѣчная себя воздвигла тронъ,
Чтобъ царствовать безъ скипетра надъ нами,
Чтобъ міру съ высоты предписывать законъ?
Иль тамъ мой домъ, гдѣ родники познанья
Цѣлебныя струи въ сердца народовъ льютъ;

Гдѣ, взоръ вперивъ въ востокъ, пророки солнца ждутъ
И гибнуть въ сумерки—съ отрадой упованья?

Гдѣ домъ мой?—Тамъ, гдѣ сильные стоятъ,
Что тѣшатся борьбой какъ легкою забавой?
Иль тамъ, гдѣ робкіе въ смущеніи дрожатъ
Передъ минутой бурь, страданіемъ—и славой?

Иль тамъ, гдѣ страстный бредъ безумно жжетъ сердца
Въ мгновеньяхъ пламенныхъ, въ восторгахъ упоенья...
Гдѣ подымаетъ вихрь завѣсу наслажденья,
Гдѣ жизнь—бокаль вина и жажда безъ конца?
Иль лучше тамъ, гдѣ духъ, какъ голубь бѣлоснѣжный,
Сіяя чистотой, надъ зломъ земли парить;
Гдѣ тонетъ грустный взоръ въ волнахъ тоски безбрежной,
Гдѣ расцвѣтаетъ мысль, а страсть, умоленную, спитъ?

Какъ одинокій чолнъ стремится по теченью,
Какъ вьется ласточка въ безоблачной дали,—
Такъ мнѣ судьба велитъ среди жильцовъ земли
Блуждать унылою и безповойной тѣнью.
Гдѣ жъ правды свѣтъ найти, чтобъ душу озарилъ?
Гдѣ пристань—послѣ бурь, всеневныхъ битвъ, скитаній?
Гдѣ цѣль, достойная погибшихъ жизней, силъ,
И крови пролитой, и свѣтлыхъ упованій?
Все вносить человѣкъ въ сокровище свое—
Все сердце, всѣ мечты, весь пылъ души тревожной...
Лишь мнѣ дано твердить съ тоскою безнадежной:
Гдѣ—домъ мой? Ахъ! Гдѣ все мое?

Иду—и трепещу, таѣ и страхъ, и муку,—
И возвращаюсь вновь въ постылый чуждый свѣтъ...
Ахъ, кто же здѣсь подастъ мнѣ дружескую руку?
Чей голосъ дорогой мнѣ вымолвить привѣтъ?
Гдѣ голову склоню, гдѣ думы успокою,
Гдѣ слезы потекутъ несдержаннымъ ручьемъ?
Гдѣ свой алтарь найду, свое гнѣздо устрою?...
Гдѣ, гдѣ мой домъ?!..

II.

ТРИ ПУТИ.

Отъ убогихъ хатъ
 Три пути лежатъ—
 Три пути на долю и недолю:
 На одномъ пути—
 Цѣлый вѣкъ идти
 За сохою по чужому полю;
 На другомъ пути—
 Къ бабаку придти,
 Гдѣ народъ умъ-разумъ пропиваетъ;
 Третій путь ведетъ—
 Гдѣ владбище ждетъ,
 Гдѣ бѣднякъ отъ горя отдыхаетъ...

Первый путь лежитъ—
 Весь росой покрытъ:
 Много слезъ тамъ, много пота льется;
 На второмъ—порой
 Горько сынъ родной
 Надъ отцемъ, надъ матерью смѣется;
 Третій—тихъ, унылъ,
 Вѣетъ сномъ могилъ,—
 Только днемъ въ травѣ звенятъ стрекоты,
 Только по ночамъ,
 Наклонясь къ крестамъ,
 Тихо плачутъ бѣлыя березы...

Отъ убогихъ хатъ
 Три пути лежатъ;
 Про иные—не слышать въ народѣ...
 Кто жъ укажетъ путь,
 Гдѣ бъ душѣ вздохнуть,—
 Путь широкій къ свѣту и свободѣ?

III.

* * *

Кто выстрадалъ, склонясь къ постели,
 Боренье смертнаго конца,
 Когда таинственно нѣмѣли
 Черты любимаго лица;
 Кто принялъ тихій вздохъ кончины,
 Прощальный взоръ потухшихъ глазъ,
 Когда, дрожа, на мигъ единый
 Духъ жизни вспыхнулъ и погасъ;
 Кто видѣлъ гробъ въ дыму кадила,
 Когда гремѣлъ печальный хоръ,
 И сердце трепетное ныло,
 Бездушный слыша разговоръ;
 Кто въ уголъ мрачный, опустѣлый
 Вернулся самъ, осиротѣлый,
 Когда на вѣки схоронилъ —
 Все, чѣмъ дышалъ и что любилъ; —
 Тотъ міру чуждъ, душой унылой
 Груститъ надъ тихою могилой
 Подъ мгlistымъ небомъ октября,
 Не ждетъ земного утѣшенья,
 Но скорбь и слезы, и моленья
 Несетъ къ подножью алтаря.

IV.

ФАНТАЗІЯ.

Дни, ночи мелькаютъ;
 Смѣняясь, проносятся годы;
 Вѣка поглощаютъ
 Людей, поколѣнья, народы...
 Гдѣ жъ ходъ потаенный
 Въ тотъ міръ, гдѣ ихъ время хоронить,
 Гдѣ скрыло миллионы,
 Куда и меня съ ними гонить?

Срываюсь въ волненъѣ,
 Лечу... захватило дыханье...
 Помедли, мгновенье,
 Для счастья, улыбокъ, мечтанья!..
 Лечу—не охотой,—
 Слѣпая несетъ меня сила.
 Зоветъ меня что-то...
 Я слышу... спѣшу,—то могила!

Я исчезаю,
 Образъ теряю;
 Что было мною,
 Тѣ ужъ—не я.
 Стынуть желанья,
 Думы, страданья;
 Залить волною
 Лучъ бытія...
 Я исчезаю,
 Гасну и таю...

Гдѣ я? Падаю ль росой
 Я на лугъ, на темный лѣсъ,
 И зѣницей огневою
 Солнце жжетъ меня съ небесъ?
 Жжетъ и пьетъ изъ кубка розы
 Чистый сокъ души моей—
 Табъ, какъ пьетъ людскія слезы,
 Слезы бури и морей?

Гдѣ я? Сны мои развѣялъ
 Вѣтеръ съ утреннею мглой,
 Мысль тревожную разсѣялъ
 По дубровѣ вѣковой;
 Сердца жаръ проникъ лучами
 Въ пульсъ земного бытія,
 А печаль-тоска моя
 Плачетъ тихими ночами...

V.

Синій лёсъ подъ дымкой дремлетъ,
 Гаснетъ ясный день...
 И тебя, мой край, объемлетъ
 Мертвый мракъ и тѣнь.

Надъ тобою,—золотою
 Радугой горя,—
 Шла отъ моря и до моря
 Пышная заря.

Свѣтель былъ твой величавый
 Солнечный восходъ,
 И гремѣла пѣсня славы
 У твоихъ воротъ.

Все до полдня ликовало...
 Пала тьма кругомъ—
 И надъ гробомъ солнце стало
 Огненнымъ крестомъ.

VI.

Тому—соха да острый плугъ,
 Кто черной паши вѣрный другъ,
 Съ чьимъ сердцемъ нивы говорить;
 Чье тѣло рдсы не знобять,
 Кто знаетъ пѣснь родныхъ полей:
 Какъ горьки слезы въ дни скорбей.

Тому—стальная борона,
 Кто сѣетъ бодро сѣмена,
 Кто знаетъ черной доли трудъ,
 Кто полюбилъ сермяжный людъ,
 Кто руки простиралъ какъ братъ
 Къ жильцамъ убогихъ этихъ хатъ.

Тому—боса, въ комъ страха нѣтъ
 За жатву новыхъ лучшихъ лѣтъ,
 Кто тихой ночью солнца ждетъ,
 Кто вѣритъ въ разума приходъ,
 Кому сонникъ—мечъ милѣй...
 А въ комъ нѣтъ вѣры—прочъ съ полей!

VII.

Какъ вороль шель на войну
 Въ чуждальнюю страну,
 Зазвенѣли трубы мѣдныя—
 На потѣхи на побѣдныя.

А какъ Стахъ шель на войну
 Въ чуждальнюю страну,
 Зашумѣла рожъ по полюшку—
 На кручину, на недолюшку...

Свищутъ пули на войнѣ,
 Бродитъ смерть въ дыму, въ огнѣ;
 Тѣшатъ взоръ вожди отважные,
 Стонутъ ратники сермяжные.

Бой умолкъ, труба гремить.
 Съ тяжелой раной Стахъ лежитъ,
 А король стезей кровавою
 Возвращается со славой.

А на встрѣчу у воротъ
 Шумно высыпалъ народъ,
 Дрогнулъ замокъ града стольнаго
 Отъ трезвона колокольнаго.

А какъ легъ въ могилу Стахъ,
 Вѣтеръ пѣсню свѣлъ въ кустахъ
 И звонилъ, летя дубровами,
 Колокольцами-лиловыми.

А. Колтоновскій.



Н. В. ГОГОЛЬ

ПЯТЬ ЛѢТЪ ЖИЗНИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

1836 — 1841 гг.

I.

1836-ой годъ во многихъ отношеніяхъ былъ роковымъ для Гоголя. Съ этого времени начинается его многолѣтняя скитальческая жизнь за границей, имѣвшая огромное вліяніе на дальнейшую его судьбу. Шагъ, сдѣланный имъ при оставленіи родины, оказался гораздо болѣе серьезнымъ, нежели можно было предполагать сначала: никто изъ знакомыхъ Гоголя, конечно, не думалъ, что поѣздка, предпринятая вначалѣ для отдыха и поправленія здоровья, незамѣтно вовлечетъ его не только въ новыя условія жизни, но и въ иные отношенія, и проведетъ рѣзкую черту между его прошлымъ и тѣмъ, что ожидало его впереди. Иначе смотрѣлъ на это самъ поэтъ, — частью уже таившій въ душѣ заветную мечту пожить подольше въ чужихъ краяхъ, не открывая, впрочемъ, преждевременно своего плана никому изъ самыхъ близкихъ людей, — частью же, быть можетъ, не сразу выяснявшій самому себѣ предстоявшій ему надолго образъ жизни, такъ какъ въ первый разъ свой взглядъ на путешествіе, какъ на продолжительный искусъ, посланный ему Провидѣніемъ, Гоголь высказалъ уже съ дороги въ письмѣ къ Жуковскому изъ Гамбурга, а до тѣхъ поръ намѣренія его часто мѣнялись. Еще труднѣе было предвидѣть заранѣе даже со стороны, какую серьезную перемѣну въ жизни поэта готовили обрушившіяся на него отовсюду неудачи въ по-

сѣднее время пребыванія его въ Петербургѣ. Между тѣмъ судьба какъ будто намѣренно вела его цѣлымъ рядомъ послѣдовательныхъ ударовъ и испытаній къ тому роковому рѣшенію, подъ значительнымъ вліяніемъ котораго сложилась вся остальная жизнь его, и потомъ столь же незамѣтно и властно обратила временный образъ жизни его за границей въ постоянный.

Одной изъ важнѣйшихъ причинъ постоянного недовольства Гоголя своей участію въ послѣдніе годы жизни въ Петербургѣ была, безъ сомнѣнія, несчастливо выбранная профессія. Полусознательно онъ не могъ не чувствовать себя по временамъ не на своемъ мѣстѣ; но отсутствіе опредѣленнаго влеченія къ какой-либо профессіи, кромѣ художественнаго творчества, а особенно безграничная самоувѣренность, внушали ему, вмѣсто трезваго критическаго отношенія къ себѣ и своимъ силамъ, совершенно неосновательныя надежды не только на улучшеніе дѣла, но и на самые баснословные успѣхи. Въ своемъ гордомъ ослѣпленіи Гоголь не допускалъ даже и мысли о возможности неудачъ, и тѣмъ ужаснѣе и оскорбительнѣе онѣ должны были казаться, когда являлись на самомъ дѣлѣ. Напрасно старался онъ, вопреки неподкупному внутреннему голосу, увѣрить себя и другихъ, что его настоящее призваніе и составляютъ изученіе и научная разработка всеобщей исторіи, въ которой ему будто бы суждено было совершить „что-то не общее“. Каламбуръ такъ и остался каламбуромъ, и ни одно изъ роскошныхъ предположеній Гоголя въ этомъ отношеніи такъ и не осуществилось. Уже много лѣтъ спустя, въ „Авторской Исповѣди“, оглядываясь на пройденное въ значительной степени поприще, Гоголь сознавался, что у него никогда „не было влеченія къ прошедшему“; но въ началѣ тридцатыхъ годовъ онъ былъ очень далекъ отъ подобной мысли. Въ занятіяхъ исторіей ему иногда чувствовалось даже особаго рода наслажденіе, и онъ говорилъ Максимовичу, что „ничто такъ не успокоиваетъ, какъ исторія. Мысли начинаютъ литься тише и стройнѣе“. „Мнѣ кажется,—прибавляетъ Гоголь,—что я скажу много того, чего до меня не говорили“. Необходимо особенно удостовѣриться въ томъ, что притязанія Гоголя на каѣдру и ученую репутацію были совсѣмъ не напускнымъ шарлатанствомъ, но просто неумѣніемъ строго и вѣрно судить себя. Таково было убѣжденіе его друга, покойнаго А. С. Данилевскаго. Также товарищъ Гоголя по университетской каѣдрѣ, профессоръ Никитенко, человѣкъ, безъ сомнѣнія, умный и провицательный, прямо замѣтилъ въ своемъ дневникѣ, что Гоголь „вообразилъ себя, будто его геній даетъ ему право на высшія притязанія“; онъ же кромѣ

того свидѣтельствуешь, что увѣренность Гоголя сообщалась невольно и другимъ и вначалѣ имѣла даже нѣкоторое импонирующее дѣйствіе на него самого. „Признаюсь,—продолжалъ Никитенко, — и я подумалъ, что человѣкъ, который такъ въ себѣ увѣренъ, не испортитъ дѣла, и старался его сблизить съ попечителемъ, даже хлопоталъ, чтобы его сдѣлали экстраординарнымъ профессоромъ. Но насъ не послушали и сдѣлали его только адъюнктомъ“.

На повѣрку оказалось, что какъ Гоголь ни принуждалъ себя работать надъ серьезными трудами по исторіи, то вѣря, то не вѣря въ свое мнимое ученое призваніе, какъ отважно ни собирался „дернуть“ въ нѣсколькихъ томахъ „Исторію Малороссіи“, но на дѣлѣ почти ничего научнаго не выходило изъ-подъ его пера. Слова его: „мелкаго не хочется, великаго не выдумывается“, конечно, съ гораздо большимъ правомъ могутъ быть примѣнены къ его занятіямъ исторіей, нежели къ собственно литературнымъ трудамъ. Однажды Гоголь писалъ Погодину: „Журнала Дѣвицъ (т.-е. обобщенныхъ Погодину Гоголемъ записокъ его ученицъ) я потому не посылалъ, что приводилъ его въ порядокъ, и его-то, совершенно преобразивши, хотѣлъ я издать подъ именемъ „Земля и Люди“. Но я не знаю, отчего на меня нашла тоска... Корректурный листокъ выпалъ изъ рукъ моихъ, и я остановилъ печатаніе. Какъ-то не такъ теперь работается; не съ тѣмъ вдохновенно-полнымъ наслажденіемъ царапаетъ перо бумагу. Едва начинаю и что-нибудь совершу изъ исторіи, уже вижу собственные недостатки: то жалѣю, что не ваялъ шире, огромный объемъ, то вдругъ виждется совершенно новая система и рушить старую“. Но долго еще не переставалъ Гоголь и въ отношеніи своихъ историческихъ трудовъ возлагать самыя широкія надежды на будущее. Съ какой безграничной самоуувѣренностью писалъ онъ вскорѣ Максимовичу: „Да, это славно будетъ, если мы займемъ съ тобою кіевскія каедры: *много можно будетъ надѣлать добра!*“ Время отъ времени, въ письмахъ къ Погодину и Максимовичу, продолжались такого рода извѣщенія: „Я весь погруженъ теперь въ исторію малороссійскую и всемірную; *и та, и другая, у меня начинаютъ дѣлаться*“, или: „Я пишу исторію среднихъ вѣковъ, которая, думаю, будетъ состоять *томовъ изъ 8, если не изъ 9*“.

Такія же неосновательныя надежды возлагались и на удачу на педагогическомъ поприщѣ; о баснословныхъ успѣхахъ своей педагогической дѣятельности Гоголь рассказывалъ пріятелямъ чудеса, увѣрая ихъ, что у него „нѣтъ ни одной неуспѣвшей

ученицы". Между тѣмъ въ это же самое время, по вполнѣ искреннимъ и правдивымъ воспоминаніямъ одной изъ сестеръ Гоголя, бывшей его ученицей въ Патріотическомъ институтѣ, онъ довольно легко относился къ своимъ учительскимъ обязанностямъ. „Братъ,—говорила она,—часто пропускалъ свои уроки, частью по болѣзни, а частью и просто по лѣни, и, наконецъ, отказался совсѣмъ и уѣхалъ за границу". И въ этомъ отношеніи Гоголь лишь гораздо позднѣе созналъ свою неподготовленность и совершенное отсутствіе призванія. Такъ, въ концѣ тридцатыхъ годовъ, онъ писалъ Данилевскому: „Только пожалуйста не вздумай еще испытать себя на педагогическомъ поприщѣ: это, право, не идетъ тебѣ къ лицу. Я много себѣ повредилъ во всемъ, вступивши на него".

Когда Гоголю послѣ волей-неволей пришлось разочароваться въ своихъ иллюзіяхъ, онъ совершенно потерялъ подъ собою почву, и, оставивъ свои прежнія занятія, никогда уже серьезно не думалъ, кромѣ литературныхъ трудовъ, возвращаться къ какой-либо опредѣленной дѣятельности, предоставляя бурнымъ житейскимъ волнамъ по произволу носить во всѣхъ направленіяхъ его утлую ладью. Средствъ не было, опредѣленной карьеры и постоянного заработка также, и отсюда неизбежно вытекли всѣ тѣ послѣдствія, которыя не всегда могутъ удовлетворить строгихъ судей. Положеніе это ясно сознавалось Гоголемъ, котораго судьба въ началѣ его петербургской жизни какъ бы нарочно вознесла со сказочной быстротой, чтобы, возбудивъ въ немъ безмѣрныя надежды, беспощадно опрокинуть потомъ всѣ его планы и отпустить безпомощнымъ въ дальнѣйшее плаваніе по житейскому морю. Однажды Гоголь въ такихъ словахъ мѣтко охарактеризовалъ свою невеселую участь въ письмѣ къ Погодину: „Мои страданія тебѣ не могутъ быть вполнѣ понятны: ты въ пристани, ты, какъ мудрецъ, можешь перенести и посмѣяться. Я бездомный, меня бьютъ и качаютъ волны, и упираться мнѣ только на якорь гордости, которую вселили въ грудь мою высшія силы". Какое-то безпокойное чувство мѣшало ему и раньше остановиться на избранномъ однажды родѣ жизни, и только-что стала устроиваться его карьера, для которой онъ такъ усердно и много хлопоталъ, только-что завязались у него извѣстныя связи и отношенія въ Петербургѣ, какъ его тянетъ уже въ Кіевъ; а когда не осуществилась и эта мечта, онъ все-таки долго не хотѣлъ разстаться съ ней и упорно продолжалъ смотрѣть на свое дальнѣйшее пребываніе въ столицѣ какъ на временное и какъ бы случайное, признавая, впрочемъ, многія выгоды жить въ ней. Когда подкралось оконча-

тельное фіаско, естественный результатъ занятаго имъ ложнаго положенія, фіаско, заставившее его, наконецъ, отказаться отъ выбраннаго по недоразумѣнію поприща, онъ былъ совершенно выбитъ изъ колен. Съ тѣхъ поръ ударъ, нанесенный его гордости, сдѣлалъ для него надолго противнымъ и невыносимымъ самый Петербургъ, откуда онъ стремился потомъ всегда вырваться при первой возможности, и, наконецъ, у него порвалась навѣки какая-либо связь вообще съ какимъ бы то ни было определеннымъ мѣстопребываніемъ и родомъ дѣятельности. Присоединившееся ко всему этому всеобщее негодованіе противъ „Ревизора“, выставленное потомъ Гоголемъ, какъ главная и даже единственная причина его поѣздки за границу, въ сущности послужило лишь послѣднимъ, но вмѣстѣ и рѣшительнымъ толчкомъ въ данномъ направленіи. Такимъ образомъ, какъ прежде Гоголь, подвигаясь впередъ въ смыслъ карьеры, все больше ободрялся заманчивыми надеждами, такъ, напротивъ, теперь онъ долженъ былъ чувствовать себя стремящимся по наклонной плоскости. Одинъ ударъ беспощадно слѣдовалъ за другимъ, и всѣ они привели его къ убѣжденію, что „пророку нѣтъ славы въ отчизнѣ“ и что искать лучшаго будущаго надо вдали отъ неблагоприятной родины. Впослѣдствіи эта мысль укрѣпилась еще болѣе подвліяніемъ льстившаго Гоголю сравненія своей судьбы съ судьбой Пушкина. По смерти послѣдняго Гоголь писалъ однажды Погодину: „Ты пишешь, что всѣ люди, даже холодные, были тронуты этой потерей. А что эти люди готовы были сдѣлать ему при жизни? Развѣ я не былъ свидѣтелемъ горькихъ, горькихъ минутъ, которыя приходилось чувствовать Пушкину, несмотря на то, что самъ монархъ почтилъ его талантъ? О, когда я вспомню нашихъ судей, меценатовъ, ученыхъ умниковъ... сердце мое содрогается при одной мысли“. Нечего прибавлять, что въ послѣднихъ словахъ Гоголь былъ глубоко правъ, и что ихъ до нѣкоторой степени можно примѣнить и къ нему, какъ въ томъ легко убѣдиться изъ недавно напечатанныхъ воспоминаній С. Т. Аксакова; кромѣ того, по странной ироніи судьбы, меценаты иногда усердно помогали Гоголю въ его ошибочныхъ или несправедливыхъ притязаніяхъ, грубо не оцѣнивъ въ немъ всего того, чѣмъ онъ былъ истинно великъ, и на послѣднее онъ такъ же справедливо могъ бы жаловаться.

II.

Неудачи Гоголя, такъ жестоко его поразившія, начались еще съ половины 1835 года. Занятіе университетской кѣедрѣ, эта первая капитальная ошибка и главнѣйшая причина послѣдовавшаго за ней крушенія, тотчасъ же жестоко дала себя знать, и уже съ первыхъ лекцій ему пришлось убѣдиться, что онъ выбралъ профессію не по себѣ и что „читаетъ одинъ въ университетѣ“; но вмѣсто того, чтобы приложить заботы о поправленіи дѣла, онъ рѣшилъ бросить всякую „художническую отдѣлку“, къ чему, впрочемъ, были и другія, гораздо болѣе сильныя побужденія, такъ какъ „художническая отдѣлка“ не одной и не двухъ лекцій потребовала бы много времени и тормазила бы созданіе „Ревизора“. Въ письмахъ къ друзьямъ Гоголь высказываетъ такіе неожиданные и крайне безцеремонные, а иногда и циническіе взгляды на отношенія профессора къ университетскимъ занятіямъ и къ студентамъ, что, казалось бы, ни на что больше и нельзя было рассчитывать, кромѣ того, что дѣйствительно потомъ съ нимъ случилось. Но все еще шло сравнительно благополучно, пока самолюбію Гоголя не былъ нанесенъ совсѣмъ уже безпощадный ударъ оффиціальнымъ устраненіемъ его отъ преподавательской дѣятельности въ Патріотическомъ институтѣ. Вслѣдъ затѣмъ, когда еще не совсѣмъ зажила эта первая тяжелая рана, его вновь ошеломило серьезное замѣчаніе попечителя учебнаго округа о неудовлетворительности его университетскихъ чтеній. Гоголь, привыкшій смотрѣть свысока на своихъ товарищей по кѣедрѣ и видѣвшій въ нихъ „толпу вялыхъ профессоровъ“, вдругъ почувствовалъ себя передъ ними въ уничиженномъ положеніи. Впечатлѣніе, произведенное на Гоголя оффиціальнымъ выговоромъ, передано въ дневникѣ А. В. Никитенка въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „На минуту гордость уступила мѣсто горькому сознанию своей неопытности и безсилія; но въ концѣ концовъ это не поколебало вѣры Гоголя въ свою всеобщую геніальность. Хотя послѣ замѣчанія попечителя онъ долженъ былъ перемѣнить свой надменный тонъ съ ректоромъ, деканомъ и прочими членами университета, но въ кругу „своихъ“ онъ все тотъ же всезнающій, глубокомысленный и геніальный Гоголь, какимъ былъ до сихъ поръ. Между тѣмъ слушатели были о Гоголѣ самаго невыгоднаго мнѣнія и даже просто составили себѣ убѣжденіе, что „онъ ничего не смыслить въ исторіи“; да и самъ Гоголь, столь самоувѣренный въ другихъ случаяхъ, безпомощно терялся и кон-

фузился на кафедрѣ, бормоча что-то невнятное и показывая въ свои рѣдкія чтенія какія-то гравюры съ видами Палестины и другихъ странъ. Получивъ отставку, Гоголь сначала сталъ было утѣшать себя мыслью, что онъ не понять и не оцѣнить, но скоро пренебрежительно махнулъ рукой, и тѣмъ охотнѣе началъ посвящать уже все время и трудъ на созданіе и постановку „Ревизора“, что университетскія занятія, въ сущности, были для него и прежде только тягостной и досадной обузой и отвлеченіемъ отъ его настоящей дѣятельности, а свое университетское жалованье онъ считалъ и называлъ просто „сквернымъ“. Гоголь почувствовалъ даже нѣкоторое пріятное облегченіе, освободившись отъ университета, облегченіе, сказавшееся въ слѣдующихъ выразительныхъ словахъ одного изъ писемъ его къ Погодину: „Теперь вышелъ я на свѣжій воздухъ. Это освѣженіе нужно въ жизни, какъ цвѣтамъ дождь, какъ засидѣвшемуся въ кабинетѣ прогулка“, и онъ не безъ удовольствія сталъ называть себя „беззаботнымъ казакомъ“. Теперь высокія наслажденія художника заставляютъ его на время позабыть всѣ прозаическія житейскія дразги; по крайней мѣрѣ въ его письмахъ рѣшительно не замѣчается никакихъ слѣдовъ удрученнаго или озабоченнаго настроенія, подобнаго, напримѣръ пережитому имъ послѣ перваго представленія „Ревизора“, что и понятно, такъ какъ въ сознаніи поэта во время его творческой работы все остальное казалось ничтожнымъ въ сравненіи съ его вѣчнымъ созданіемъ, а великія надежды, возлагаемыя на успѣхъ и значеніе будущей комедіи, съ избыткомъ уравнивали презираемыя имъ житейскія огорченія. Съ другой стороны замѣчательно, что уже въ эту пору Гоголь имѣлъ совершенно особый взглядъ на постигшія его несчастія и на ихъ значеніе въ его жизни. Вскорѣ послѣ отъѣзда за границу онъ писалъ Жуковскому: „Пора, пора, наконецъ, заняться дѣломъ. О, какой непостижимо-изумительный смыслъ имѣли всѣ случаи и обстоятельства моей жизни! Какъ спасительны для меня были всѣ непріятности и огорченія! Они имѣли въ себѣ что-то эластическое; касаясь ихъ, мнѣ казалось, что я отпрыгивалъ выше, по крайней мѣрѣ чувствовалъ въ душѣ своей крѣпче отпоръ“. Въ промежутокъ отъ января до апрѣля 1836 года Гоголь ни о чемъ почти и не думалъ, какъ только объ окончаніи комедіи и приисканіи достойныхъ исполнителей для важнѣйшихъ ролей. Онъ даже дѣлалъ попытки привлечь къ участию въ первомъ представленіи одного изъ обратившихъ на себя его вниманіе провинціальныхъ актеровъ, о которомъ давалъ порученіе своему знакомому Бѣлозерскому разузнать, не согласится

ли онъ пріѣхать на короткій срокъ въ Петербургъ. Въ эту пору усиленныхъ заботъ о постановкѣ комедіи мысль о какомъ бы то ни было устройствѣ въ будущемъ отступила на второй планъ. Гоголь жилъ и дышалъ заботами о судьбѣ своей пьесы.

III.

Между тѣмъ душевная усталость Гоголя и его непобѣдимое отвращеніе отъ всякихъ дразгъ и хлопотъ имѣли самыя пагубныя послѣдствія также при постановкѣ пьесы на московской сценѣ. Энергія подорвана была именно тогда, когда въ ней настала вопіющая необходимость. Теперь дѣло страдало ужъ не отъ однихъ театральныхъ интригъ, но еще больше отъ безпорядка въ собственныхъ распоряженіяхъ Гоголя. Наивно было бы думать, конечно, чтобы личное присутствіе автора могло служить достаточной гарантіей для устраненія закулисныхъ интригъ, но по крайней мѣрѣ при такихъ нелюбимыхъ извѣстнаго вліянія союзникахъ, какъ Аксаковъ и Щепкинъ, Гоголю удалось бы, вѣроятно, лично добиться кое-чего, тогда какъ безъ него все пошло самымъ безтолковымъ и нежелательнымъ образомъ. Отстранивъ участіе Аксакова и возлагая всѣ надежды на одного Щепкина, Гоголь какъ будто не хотѣлъ и знать, что если Щепкинъ уже умолялъ Аксакова вступить въ дорогое для себя дѣло, то, разумѣется, имѣлъ на то вѣскія основанія. Щепкинъ до тонкости изучилъ всю подноготную московской сцены, и мнѣніе его надо было принять въ расчетъ. Теперь же выходило такъ, что Щепкинъ хорошо зналъ заранее, что должно было произойти изъ распоряженій Гоголя, но сдѣлать ничего не могъ. Изъ письма его въ Сосницкому отъ 28-го апрѣля 1836 года ясно, до чего онъ, удрученный печальной необходимостью постоянно имѣть дѣло съ плохими, безжизненными пьесами, воодушевился и ожилъ отъ одного извѣстія объ окончаніи Гоголемъ комедіи ¹⁾. Для него наступилъ рѣдкій, истинный праздникъ; онъ уже заранее по знакомымъ отрывкамъ изъ „Женитьбы“ хорошо понималъ, чего слѣдовало ожидать отъ комедіи Гоголя,—и вдругъ его напряженная радостная надежда разрѣшается прозаическимъ полученіемъ присланнаго Гоголемъ экземпляра комедіи съ предоставленіемъ ему всей постановки комедіи и съ рѣшительнымъ отказомъ автора отъ личнаго участія въ дѣлѣ ²⁾. Гоголь, очевидно, руководился

¹⁾ „Записки и письма Щепкина“, 179—181.

²⁾ „Соч. и письма Гоголя“, т. V, стр. 252.

при этомъ созрѣвавшимъ уже тогда, но высказаннымъ опредѣленно позднѣе убѣжденіемъ, что постановкой пьесы должна завѣдывать не дирекція, а лучший въ труппѣ актеръ. Но необходимо было соображаться и съ существующими условіями, съ которыми его проектъ шелъ совершенно въ разрѣзъ, такъ какъ на дѣлѣ Щепкинъ былъ совершенно безсиленъ передъ царившимъ между артистами разладомъ и особенно передъ самовластіемъ дирекціи. „Скажите Загоскину, что я все поручилъ вамъ“, — пишетъ Гоголь — какъ будто этого было достаточно, чтобы Загоскинъ послушался. На самомъ же дѣлѣ весьма возможно, что Загоскинъ скорѣе сдержалъ бы свое слово „совершенно съ желаніемъ автора сдѣлать все, что нужно для постановки пьесы“, еслибы Гоголь согласился пріѣхать самъ, или по крайней мѣрѣ не затронулъ начальническое самолюбіе Загоскина отстраненіемъ его участія въ дѣлѣ въ пользу Щепкина: вѣдь почему-нибудь послѣдній увѣрялъ прежде, что такихъ непріятностей, какъ въ петербургскомъ театрѣ, въ Москвѣ и *быть не можетъ*, а съ другой стороны, по желанію дирекціи, послѣ было заявлено въ одной газетной статьѣ, что „комедія „Ревизоръ“ хотя поставлена въ Москвѣ не актеромъ Щепкинымъ, а дирекціей, но несмотря на это рѣшительно, по мнѣнію почти всей московской публики, разыграна была прекрасно и поставлена на сцену такъ отчетливо и съ такою вѣрностью, что, безъ всякаго сомнѣнія, самъ почтенный авторъ этой комедіи сказалъ бы спасибо московской дирекціи“.

Вообще въ промахахъ Загоскина мы склонны предполагать гораздо больше непониманія, нежели какихъ-либо злостныхъ умысловъ. Но такъ какъ допущенную Гоголемъ по неопытности ошибку не удалось поправить Щепкину и Аксакову, то послѣднему не оставалось ничего больше, кромѣ устраненія себя отъ дѣла, а первый, къ великому огорченію, долженъ былъ убѣдиться въ справедливости всѣхъ своихъ опасеній. Когда потомъ „Молва“, намекая на неудачныя распоряженія Загоскина, язвительно замѣтила, что „Ревизоръ“, сыгранный на московской сценѣ безъ участія автора и поставленный въ столько же репетицій, какъ какой-нибудь воздушный водевильчикъ съ игрой г-жи Рѣпиной, не упалъ въ общественномъ мнѣніи, хотя „въ томъ же мнѣніи московскій театръ спустился отъ него какъ барометръ передъ вьюгой“, — то она имѣла въ виду, очевидно, уколоть Загоскина прежде всего за самоуправное пренебреженіе ясно выраженной волей Гоголя, что прямо потомъ и раскрывается въ той же статьѣ. Но собственно за спѣшность постановки пьесы московскую дирекцію винить было бы несправедливо, если принять въ

разсчитать, что вслѣдствіе извѣстныхъ намъ причинъ, какъ выражается Н. С. Тихонравовъ, „за десять дней до перваго представленія „Ревизора“ въ Москвѣ еще шли споры о томъ, кому должна была достаться часть постановки комедіи на московской сценѣ“; откладывать же постановку тоже было немислимо, потому что она и безъ того едва успѣла попасть въ самый конецъ сезона, такъ сказать, въ крайній срокъ, такъ что удалось дать всего нѣсколько представлений, нетерпѣливо ожидаемыхъ всей московской публикой. Но, какъ бы то ни было, Щепкинъ долженъ былъ устраниваться отъ постановки пьесы и въ концѣ концовъ все было предоставлено на произволъ судьбы, такъ что ни въ чемъ неповинный артистъ долженъ былъ изъ всей этой исторіи вынести глубокое огорченіе отъ сознанія неоправданнаго довѣрія дорогого ему автора. Съ грустью далъ онъ такое порученіе на другой день послѣ перваго представленія своему другу Сосницкому: „Ежели Н. В. Гоголь не уѣхалъ за границу, то сообщи ему, что вчерашній день игрался „Ревизоръ“ — не могу сказать, чтобы очень хорошо, но нельзя сказать, чтобы и дурно; игрантъ былъ въ абониментъ, и потому публика была высшаго тона, которой, какъ кажется, она многимъ не по вкусу. Несмотря на то, хохотъ былъ безпрестанно, вообще принималась пьеса весело; на завтра билеты на бельэтажи и бенуары, а равно и на пятницу разобраны“.

Характеристика этой деревянной „абониментной“ публики, удачно сдѣланная въ „Молвѣ“, вполне объясняетъ намъ причину сдержаннаго пріема ею комедіи: это общество, принадлежавшее преимущественно къ такъ называемому высшему кругу, отличалось „блестящими нарядами и мертвенной холодной фizioноміей“, лѣнливо, нѣхота удостоивало своего вниманія изображенный въ пьесѣ мелкій чиновничій міръ, да и самый театръ посѣщало не ради наслажденія, а какъ будто исполняя какую-то тягостную обязанность, — такое общество, конечно, и не могло иначе отнестись къ „Ревизору“. Въ слѣдующемъ письмѣ Щепкина къ Сосницкому находимъ уже болѣе отрадное сообщеніе о томъ, что „публика была изумлена новостью, хохотала чрезвычайно много; „но, — продолжаетъ Щепкинъ — я ожидалъ гораздо большаго пріема. Это меня чрезвычайно изумило; одинъ знакомый забавно объяснилъ мнѣ причину этому: „помилуй“, — говорить, „какъ можно было ее лучше принять, когда половина публики *берущей*, а половина *дающей*?“ И послѣдующіе раза это оправдали: принималась (комедія) *чрезвычайно хорошо*, принималась съ громкими вызовами, и она теперь въ публикѣ общимъ разговоромъ, и до кого она ни коснулась, всѣ въ восхищеніи, а остальные морщатся“. Жаль,

что этихъ болѣе благопріятныхъ слуховъ Гоголь ужъ не дождался: чаша скорби переполнилась, и онъ ничего ужъ не хотѣлъ больше знать. Психическое изнеможеніе вообще во многомъ повредило ему; такъ, въ то время, какъ присланные въ Москву экземпляры раскупались нарасхватъ и быстро становились библиографической рѣдкостью, отъ досады и нетерпѣнія онъ поспѣшилъ „распродать съ уступкой *въ оставшіеся экземпляры „Ревизора“ и другихъ своихъ сочиненій“*, т.-е. повторилась исторія, отчасти напоминающая истребленіе „Ганца Кюхельгартена“, разумѣя, конечно, сходство въ смыслѣ психологическомъ. Но, повторяемъ, винить въ этомъ Гоголя могъ бы только тотъ, кому непонятно его предшествовавшее настроеніе и весь ужасъ пережитой имъ нравственной катастрофы.

Во время представленія „Ревизора“, на которое Гоголь явился съ стѣсненнымъ сердцемъ отъ смутнаго предчувствія неудачъ, почти неизбежныхъ при выполненіи такого обширнаго художественнаго замысла, опасенія его оправдывались на каждомъ шагѣ. На сцену онъ смотрѣлъ не какъ авторъ заурядной театральной пьесы, котораго полное торжество заключается въ радужномъ приѣмѣ и рукоплесканіяхъ публики, но съ затаеннымъ страхомъ и глубокой скорбью за судьбу своего созданія, въ которое онъ положилъ всю душу, свои лучшія, благороднѣйшія стремленія служить великой задачѣ исправленія общественныхъ недостатковъ. Здѣсь подвергалась общественному суду и оцѣнкѣ не только пьеса, вскорѣ послѣ того, подъ вліяніемъ горькаго разочарованія, признанная-было имъ ничтожною, но подлежалъ провѣркѣ самый вопросъ объ истинности избраннаго имъ призванія, которому предназначалось уже явиться въ небываломъ блескѣ и во всемъ своемъ великомъ значеніи въ широко-задуманной и начатой поэмѣ—цѣли всей остальной жизни автора. Этимъ призваніемъ онъ надѣялся осуществить завѣтную мысль лучшихъ дней юности о безкорыстномъ служеніи обществу, или даже, какъ онъ выражался тогда, человечеству. Понятно, что при такомъ взглядѣ на дѣло постановка на сцену комедіи была для него своего рода событіемъ великимъ, роковымъ испытаніемъ, на которомъ на „всенародныя очи“ выносилось все его завѣтное внутреннее содержаніе. Наградой за такое дѣло могло бы служить единственно глубокое внутреннее удовлетвореніе въ сознаніи, что трудъ нѣсколькихъ лѣтъ послужить не одной минутной забавѣ случайныхъ зрителей, но способенъ глубоко отозваться въ душѣ многихъ поколѣній, могущественно дѣйствуя на ихъ чувства и совѣсть; иначе самый полный внѣшній успѣхъ былъ бы для него убійственнымъ фіаско.

Въ письмѣ къ одному литератору, написанномъ по поводу перваго представленія „Ревизора“, Гоголь такъ изображаетъ свое нравственное состояніе во время спектакля: „Съ самаго начала представленія пьесы я уже сидѣлъ въ театрѣ скучный. О восторгѣ и приѣмѣ публики я не заботился. Одного только судьи изъ всѣхъ, бывшихъ въ театрѣ, я боялся, и этотъ судья былъ я самъ. Внутри себя я слышалъ упреки и ропотъ противъ моей же пьесы, которые заглушали всѣ другіе“. Изъ дальнѣйшаго содержанія письма видно, что каждый неловкій приѣмъ актера бросалъ его въ жаръ и знобъ, каждая фальшивая нота рѣзала по сердцу и отзывалась тяжелой, щемящей болью. Можно представить себѣ послѣ этого, каково было нравственное состояніе Гоголя, когда, напримѣръ, въ третьемъ явленіи перваго дѣйствія показались на сценѣ карикатурные Бобчинскій и Добчинскій въ какомъ-то нелѣпомъ, шутовскомъ нарядѣ, въ которомъ одномъ уже, не говоря объ отвратительной игрѣ и невыносимомъ кривляньѣ исполнителей, Гоголь не могъ не видѣть хотя невольнаго, но тѣмъ не менѣе жестокаго, безпощаднаго поруганія надъ комедіей. Затѣмъ всѣ сцены, въ которыхъ выступаетъ Хлестаковъ, настолько усилили гнетущее настроеніе автора, что онъ долго не могъ потомъ забыть объ этомъ, откровенно передавая свои впечатлѣнія въ письмахъ къ друзьямъ. Впрочемъ публика была довольна исполненіемъ этой роли артистомъ Дюромъ, заслужившимъ, наравнѣ съ Сосницкимъ въ роли городничаго (имъ доволенъ былъ и Гоголь), шумныя рукоплесканія. Всего менѣе удовлетворило Гоголя исполненіе четвертаго дѣйствія, которое онъ тутъ же рѣшилъ передѣлать, и нѣмой сцены въ концѣ комедіи. Кромѣ того, негодованіе и раздраженіе публики противъ автора было явное. Въ общемъ впечатлѣніе его, какъ извѣстно, было настолько тяжелое и удручающее, что когда его пріятель Прокоповичъ, по окончаніи спектакля, показалъ ему только-что отпечатанный экземпляръ „Ревизора“ со словами: „Полюбуйся на сынку!“, то Гоголь, видѣ себя отъ раздраженія, далеко отшвырнулъ его на полъ и произнесъ: „Господи Боже! Ну, еслибы одинъ, два ругали, ну и Богъ съ ними, а то всѣ, всѣ“. Въ самомъ дѣлѣ, хотя впечатлѣніе публики было смѣшанное, но преобладающее настроеніе, такъ ярко обрисованное въ прекрасныхъ воспоминаніяхъ Анненкова, было въ сущности крайне неблагоприятное, и это не укрылось отъ автора ¹⁾.

¹⁾ См. „Воспоминанія и критическіе очерки“ Анненкова, т. I, стр. 193. — О письмѣ къ одному литератору замѣтимъ, что для насъ здѣсь въ сущности безразлично,

Вслѣдъ затѣмъ поднялись толки въ печати, которые, за исключеніемъ восторженнаго отзыва Бѣлинскаго, способны были только еще сильнѣе растравить свѣжія раны. Въ началѣ „Театральнаго Разъѣзда“ Гоголь воспроизвелъ журнальные отзывы о „Ревизорѣ“ во всемъ ихъ комизмѣ. Такъ, мнѣнія Булгарина были переданы, во-первыхъ, устами господина нѣсколько беззаботнаго насчетъ литературы, подобно критику „Сѣверной Пчелы“, сомнѣвавшемуся въ томъ, что сюжетъ „Ревизора“ оригинальный, а не заимствованъ изъ чужихъ литературъ; далѣе, всѣ сужденія Булгарина и Сенковского сгруппированы въ словахъ двухъ литераторовъ, потомъ „первой бекешы“ (возмущавшейся тѣмъ, что во второмъ дѣйствіи Хлестаковъ ковыряетъ въ зубахъ), и наконецъ въ „голосѣ въ одномъ концѣ театра“. Во второй половинѣ „Театральнаго Разъѣзда“, отчасти устами дѣйствующихъ лицъ, разобраны и опровергнуты предшествующія сужденія, частью же представлены вообще впечатлѣнія публики. Далѣе, въ „Театральномъ Разъѣздѣ“ весьма точно воспроизведены тяжелыя обвиненія, со всѣхъ сторонъ посыпавшіяся на автора, за то, что комедія заключаетъ въ себѣ невѣроятный сюжетъ, клевету на Россію, бунтъ противъ правительства, что она подрываетъ уваженіе къ началству, унижаетъ сословіе чиновниковъ и, наконецъ, даже, что оскорбленіе, нанесенное комедіей титулярному совѣтнику, можетъ легко распространиться и на дѣйствительнаго статскаго... Но самымъ чувствительнымъ и обиднымъ былъ для автора упрекъ въ безсердечіи, произнесенный устами одной молодой дамы: „Ну, да ужъ кто безпрестанно и вѣчно смѣется, тотъ не можетъ имѣть слишкомъ высокихъ чувствъ: ему не можетъ быть знакомо то, что чувствуетъ одно только нѣжное сердце“. На этотъ упрекъ намекаетъ Гоголь и въ „Мертвыхъ Душахъ“ словами, что современный судъ отвелъ ему „презрѣнный уголъ въ ряду писателей, оскорбляющихъ человѣчество, придалъ ему качества имъ же изображенныхъ героевъ, отнялъ отъ него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта“. Подъ вліяніемъ такихъ оскорбительныхъ толковъ впервые зародилась въ Гоголѣ болѣзненная страсть

было ли оно въ самомъ дѣлѣ написано Пушкину, — въ чемъ не безъ основанія сомнѣвается проф. Тихонравовъ, — или же онъ обращался къ воображаемому лицу и написалъ письмо гораздо позднѣе; вѣдь во всякомъ случаѣ послѣднимъ все-таки могъ быть только одинъ хотя бы умершій уже, но несомнѣнно воображаемый передъ собою Пушкинъ, который больше всѣхъ имѣлъ право на такое задушевное изліяніе Гоголя по своимъ всегда честнымъ, искреннимъ и сердечнымъ отношеніямъ къ младшему собрату по литературѣ. Впрочемъ позднѣе съ подобнымъ прочувствованнымъ словомъ, уже незадолго передъ „Авторской Исповѣдью“ и по такому же поводу, Гоголь обращался къ Жуковскому.

ждно прислушиваться къ мнѣніямъ и оцѣнкѣ его литературныхъ произведеній, при чемъ, какъ извѣстно, его всегда гораздо больше интересовали враждебные отзывы, нежели благопріятные... Отнынѣ его девизомъ стало выраженіе: „Тотъ, кто рѣшился указать смѣшныя стороны другихъ, тотъ долженъ разумно принять указанія слабыхъ и смѣшныхъ собственныхъ сторонъ“.

Чтобы яснѣе представить себѣ внутреннее состояніе Гоголя въ занимающее насъ время, необходимо еще разъ припомнить, что за послѣдніе полтора года всѣ его надежды рушились неудержимо, и что еще такъ недавно, обращая къ будущему взоръ, исполненный свѣтлыхъ надеждъ, отдаваясь восторженнымъ мечтамъ, онъ написалъ свое воодушевленное и исполненное свѣтлыхъ надеждъ воззваніе къ генію. Теперь всякій внѣшній успѣхъ все болѣе терялъ для него свое значеніе. Въ литературной средѣ, въ которой на первыхъ порахъ Гоголь сдѣлалъ такіе блестящіе и быстрые шаги, все возможное было давно достигнуто и вскорѣ же, вѣроятно, почувствовалась глубокая разница между искренними отношеніями къ нему Пушкина и многочисленными поверхностными, хотя и пріятельскими отношеніями къ Одоевскому, Вяземскому, Крылову и другимъ писателямъ, цѣнившимъ, впрочемъ, его талантъ и готовымъ иногда даже вступить съ нимъ въ общія литературныя предпріятія (въ родѣ нѣсколькихъ задуманныхъ, но не осуществившихся альманаховъ); но въ сущности они были для него люди посторонніе, легко потомъ отдалившіеся по отъѣздѣ его за границу. Теперь, когда Гоголь разочаровался въ своихъ мечтахъ объ ученой карьерѣ и не оправдались его надежды на „Ревизора“, самый Петербургъ, какъ мы сказали, сдѣлался ему чуждъ и противенъ. Существовать онъ могъ только литературой и прибѣгая къ милостямъ двора, но это уже былъ путь тяжелый и отвѣтственный передъ совѣстью и потомствомъ. А многое было еще дорого для него въ Петербургѣ, еще за нѣсколько дней до спектакля, особенно въ счастливые часы мечтаній объ успѣхѣ „Ревизора“. Сколько горячихъ увлеченій, сколько живого чувства соединялось съ постановкой комедіи! Роковой день 19-го апрѣля все унесъ съ собой и похоронилъ заветныя думы и мечты Гоголя, оставивъ въ душѣ его пустоту и горькій осадокъ разочарованія. Послѣ всѣхъ перенесенныхъ волненій отъ однихъ цензурныхъ придиорокъ, какое страшное фіаско! Чтѣ могло, напримѣръ, удостовѣрить его тогда даже въ матеріальномъ успѣхѣ „Ревизора“, когда „Арабески“ и „Миргородъ“ почти вовсе не расходились вначалѣ! Но всего ужаснѣе было всеобщее озлобленіе. Его, истиннаго консерватора

по убѣжденіямъ, даже наивно принимавшаго самое названіе либерала за нѣчто поворное, стали провозглашать либераломъ, и притомъ самымъ отъявленнымъ,—его, въ близкомъ будущемъ взятаго религіознаго мистика, упрекали чуть не въ безбожін („сегодня онъ скажетъ: „такой-то совѣтникъ не хорошъ“, а завтра скажетъ, что и Бога нѣтъ“); наконецъ, о немъ, ополчившемся въ защиту поруганнаго права и законности, стали кричать, что будто бы онъ былъ, напротивъ, врагъ закона и отечества („Теперь, значить, ужъ ничего не осталось. Законовъ не нужно, служить не нужно. Вицмундиръ, вотъ, который на мнѣ,—его, значить, нужно бросить: онъ ужъ теперь тряпка“).

День 19-го апрѣля 1836 года долженъ быть знаменателенъ для насъ не только по памяти о первомъ представленіи „Ревизора“, но и потому еще, что въ этотъ незабвенный день русскому писателю пришлось впервые, въ особѣ Гоголя, встрѣтить и лицомъ къ лицу вынести бурю всеобщаго негодованія за смѣлое слово правды, пришлось принять почетное страданіе отъ общества за честное служеніе ему же, пришлось вкусить отъ того горькаго плода, который природой вещей уготованъ каждому серьезному сатирику, осмѣливающемуся благороднымъ орудіемъ слова будить сонное общественное сознаніе и совѣсть. Гоголю тѣмъ тяжелѣе было пролагать первые слѣды по этому тернистому пути, что онъ не имѣлъ или не зналъ себѣ на немъ предшественниковъ, такъ какъ непоявленіе въ печати комедіи Грибоедова при жизни послѣдняго въ значительной степени спасло автора отъ подобныхъ испытаній, а имена полузабытыхъ въ то время благородныхъ мучениковъ прошлаго вѣка едва-ли были даже знакомы Гоголю. И Гоголь не только не избѣгнулъ злобы и проклятій современниковъ, но даже и теперь, по прошествіи пятидесяти слишкомъ лѣтъ, въ нашей литературѣ еще не умолкли голоса недовольныхъ общественнымъ значеніемъ „Ревизора“ и „Мертвыхъ Душъ“, т.-е. именно тѣхъ самыхъ произведеній, которыя составляютъ нашу гордость, а его главную литературную заслугу и лучшее дѣло жизни.

IV.

Къ сожалѣнію, подъ сильнымъ впечатлѣніемъ неудачи Гоголь не имѣлъ утѣшенія даже въ твердомъ сознаніи того добра, которое принесла его комедія. Надо сознаться, что онъ впадалъ отчасти и въ малодушіе; Погодинъ былъ совершенно правъ, когда

усовѣщивалъ его, говоря: „Ну, какъ тебѣ, братецъ, не стыдно! Вѣдь ты самъ дѣлаешься комическимъ лицомъ. Представь себѣ, авторъ хочетъ укубить людей не въ бровь, а прямо въ глазъ. Онъ попадаетъ въ цѣль. Люди шуртятся, отворачиваются, бранятся и, разумѣется, кричатъ: „да насъ такихъ нѣтъ!“ Такъ ты долженъ бы радоваться, ибо видишь, что достигъ цѣли“. Но Гоголя въ самое сердце поразило также и сознаніе трудности правдиво изображать современную жизнь и выполнять свое тернистое призваніе сатирическаго писателя такъ, какъ диктовала ему совѣсть. Это горькое сознаніе засѣло гвоздемъ въ головѣ его и долго угнетало, какъ кошмаръ; но что хуже всего, новое испытаніе оказалось настолько тяжело, что недавній страстный, лихорадочный интересъ къ судьбѣ комедіи смѣнился не только равнодушіемъ къ ней, но и какимъ-то непобѣдимымъ отвращеніемъ. „Теперь я вижу,—писалъ онъ Щепкину,—что значить быть комическимъ писателемъ. Малѣйшій призракъ истины—и противъ тебя возстаютъ, и не одинъ человѣкъ, а цѣлыя сословія. Воображаю, что же было бы, еслибы я взялъ что-нибудь изъ петербургской жизни, которая мнѣ больше и лучше знакома, нежели провинціальная“. То же онъ повторяетъ вскорѣ Погодину: „Провинція уже слабо рисуется въ моей памяти, черты ея уже блѣдны, но жизнь петербургская ярка передъ моими глазами, краски ея живы и рѣзки въ моей памяти. Малѣйшая черта ея—и какъ тогда заговорятъ мои соотечественники!..“ Относительную благосклонность и расположеніе къ себѣ москвичей Гоголь объяснялъ себѣ тѣмъ, что „портретъ Москвы еще нигдѣ не былъ виденъ“ у него. Подобныя же размышленія находимъ во многихъ мѣстахъ въ „Носѣ“, „Шинели“ и въ „Театральномъ Развѣздѣ“, а также въ другихъ произведеніяхъ. Въ статьѣ „Петербургскія записки 1836 г.“, напр., читаемъ: „Если сказать, что въ одномъ городѣ одинъ надворный совѣтникъ нетрезваго поведенія, то всѣ надворные совѣтники обидятся, а иной совершенно другой совѣтникъ даже скажетъ: „какъ же это? у меня есть родственникъ надворный совѣтникъ, прекраснѣйшій человѣкъ! какъ же можно сказать, что есть надворный совѣтникъ нетрезваго поведенія!..“ Нужны ли примѣры? Вспомните Ревизора“. Послѣднія слова ясно указываютъ между прочимъ на позднѣйшую прибавку къ статьѣ, задуманной и, вѣроятно, отчасти даже набросанной до поѣздки за границу. Упомянутіе же въ этой статьѣ объ оперѣ „Жизнь за Царя“, поставленной на сцену лишь въ ноябрѣ 1836 г., не оставляетъ въ томъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Но не одно озлобленіе общества потрясло Гоголя; къ этому главному

удару присоединилось еще множество мелочныхъ непріятностей, и особенно въ самое послѣднее время пребыванія его на родинѣ, когда онъ всецѣло былъ погруженъ въ хлопоты о „Ревизорѣ“. Въ Москвѣ онъ рѣшилъ вести дѣло черезъ Погодина, которому было поручено обратиться къ Загоскину. Такимъ образомъ здѣсь представился случай воспользоваться плодами знакомства съ послѣднимъ, предусмотрительно сдѣланнаго Гоголемъ еще въ первый проѣздъ его черезъ Москву. Постановку пьесы предполагалось довѣрить актеру Щепкину. Эти планы занимали Гоголя еще съ конца 1835 года, какъ ясно видно изъ переписки съ Погодинымъ, но только черезъ полгода настала пора приступить къ дѣлу.

Въ этотъ-то небольшой промежутокъ времени Гоголю особенно много пришлось пережить, много вынести хлопотъ, обидъ и волненій. Мы знаемъ, что онъ горячо принялъ къ сердцу недовольство, вызванное правдивымъ обличеніемъ общественныхъ недостатковъ въ комедіи, но не менѣе терзали его и закулисные интриги театральнаго міра. Кровь Гоголя кипѣла при мысли, что онъ безсиленъ противъ грубаго произвола директора театра Гедеонова, который „вздумалъ отдать главныя роли другимъ персонажамъ послѣ четырехъ представленій, будучи подвигнутъ какой-то мелочной личной ненавистью къ нѣкоторымъ актерамъ, какъ-то: къ Сосницкому и Дюру“, т.-е. именно къ тѣмъ самымъ исполнителямъ, которые пользовались наибольшимъ успѣхомъ при первомъ представленіи „Ревизора“. Когда ко множеству разнообразныхъ непріятностей присоединилась еще эта, самая возмутительная, чаша оказалась переполненной и терпѣніе измученнаго автора лопнуло. Несмотря на то, что еще въ февралѣ Гоголь вызвался самъ непремѣнно пріѣхать въ Москву весной, чтобы лично прочесть комедію артистамъ и руководить ими, или хотя дать имъ наиболѣе нужныя указанія, въ маѣ онъ не хотѣлъ и слышать никакихъ напоминаній, опасаясь новыхъ непріятностей уже на московской сценѣ. Напрасно Погодинъ и Щепкинъ истощали всѣ доводы противъ отвращенія Гоголя къ мелочнымъ дразгамъ и его огорченія неистовымъ раздраженіемъ публики, — ничто не помогало: разсуждать теоретически было легче, нежели переносить невзгоды на собственной кожѣ. Обнадеженный прежними обещаніями Гоголя, артисты не могли удовлетвориться краткими заочными наставленіями въ письмѣ о томъ, что желалъ слышать непосредственно изъ устъ самого автора. Съ своей стороны онъ сдѣлалъ все, чтобы склонить Гоголя къ пріѣзду хотя на нѣсколько дней въ Москву. Онъ дѣй-

ствовавъ черезъ Погодина и Пушкина. Оба горячо хотѣли помочь симпатичному и высокоталантливому артисту. Пушкинъ писалъ женѣ: „Пошли ты за Гоголемъ и прочти ему слѣдующее: видѣлъ я актера Щепкина, который *ради Христа проситъ* его прїѣхать въ Москву и прочесть „Ревизора“. Безъ него актерамъ не спѣться“. Погодинъ пробовалъ даже растрогать Гоголя, говоря: „Щепкинъ плачетъ. Ты сдѣлалъ съ нимъ чудо. При первомъ слухѣ о твоей комедіи онъ оживился, расцвѣлъ, выросъ, сдѣлался веселымъ, всюду ѣздилъ и рассказывалъ. Надо почтить это участіе таланта“. Но даже эти усиленные просьбы и авторитетъ самого Пушкина не могли заставить поэта перемѣнить свое рѣшеніе. „Не могу, мой добрый и почтенный землякъ, никакимъ образомъ не могу быть у васъ въ Москвѣ. Отъѣздъ мой (за границу) уже рѣшенъ“, — такіа неутѣшительныя слова прочелъ Щепкинъ въ слѣдующемъ письмѣ Гоголя. Больше всего сокрушало Щепкина опасеніе, что ему не удастся какъ слѣдуетъ повліять на своихъ сотоварищей-актеровъ, и что ихъ несогласія уронятъ пьесу. Почти въ отчаяніи бросился онъ къ своему утѣшателю и другу, С. Т. Аксакову, пользовавшемуся большимъ вѣсомъ и вліяніемъ въ театральномъ мірѣ.

Аксаковъ немедленно вызвался въ письмѣ къ Гоголю взять на себя постановку комедіи. Полученный отъ Гоголя отвѣтъ, учтивый, но черезъ-чуръ лаконическій и сдержанный, не оправдалъ ожиданій благодушнаго московскаго патріарха, такъ беззавѣтно и горячо протянувшаго руку дружбы. Отертая великорусская натура Аксакова, быть можетъ, слишкомъ рано побудила его сдѣлать рѣшительный шагъ къ сближенію съ человекомъ недоверчивымъ по природѣ и всего менѣе податливымъ на преждевременную короткость. Аксаковъ, вѣроятно, показался Гоголю привлекательнымъ, но излишне пылкимъ энтузіастомъ. Впослѣдствіи, въ минуту сильнаго раздраженія, Гоголь прямо высказалъ Аксакову, что онъ и семья его всегда любили его больше, чѣмъ онъ ихъ, что онъ удивлялся ихъ чрезмерной любви, тѣмъ болѣе, что не имѣлъ на нее права; онъ не обинуясь признавался также, что относилъ Сергѣя Тимофеевича къ тѣмъ друзьямъ, которые поторопились подружиться съ нимъ, не узнавши его. А. О. Смирновой онъ также писалъ однажды впослѣдствіи, что „Аксаковы способны залюбить не на животъ, а на смерть“, и что поэтому онъ „старался сколько можно меньше говорить и выказывать такіа качества, которыми могъ бы привязать ихъ къ себѣ“.

Въ отвѣтъ Гоголя Аксакову послышалась явная натянутость, сухое, холодное принужденіе; несмотря на выраженную въ немъ

благодарность, тонъ письма, очевидно, мало соотвѣтствовалъ любви, по его же собственнымъ словамъ, „дышавшей“ въ строкахъ вѣчно юнаго, благороднаго старика, который, несмотря на приближавшійся пятидесятилѣтній возрастъ, не былъ настолько очерствѣлъ холодомъ жизни, чтобы подозрительно сдерживать проявленіе симпатіи и взвѣшивать степень короткости въ сношеніяхъ съ людьми, которыхъ считалъ или хотѣлъ считать близкими. Первое письмо Гоголя къ Аксакову нельзя и сравнивать по искренности и теплотѣ съ большинствомъ его писемъ къ Погодину, а слова: „Я поручилъ уже эту обузу Щепкину и писалъ объ этомъ письмо Загоскину“ — ясно показывали, что онъ неохотно мирился съ мыслью о необходимости перемѣнить свое рѣшеніе, и что во всякомъ случаѣ предпочелъ бы, чтобы дѣло устроилось такъ, какъ предполагалось вначалѣ. Наконецъ, въ этомъ не оставляютъ ни малѣйшаго сомнѣнія слѣдующія слова писаннаго съ тою же почтой письма къ Щепкину: „Аксаковъ такъ добръ, что самъ предлагаетъ поручить ему постановку пьесы. Если это точно выгодно для васъ тѣмъ, что ему, какъ лицу стороннему, дирекція меньше будетъ противорѣчить, то мнѣ жаль, что я наложилъ на васъ тягостную обузу. Если же вы надѣетесь поладить съ дирекціей, *то пусть остается такъ, какъ рѣшено*“. Неудивительно, что Аксакову почувствовалось скрытое нежеланіе Гоголя довѣрить дѣло его стараніямъ, и ни онъ, ни его семья, не остались довольны полученнымъ сухимъ отвѣтомъ, но тѣмъ трогательнѣе искреннее желаніе этого по истинѣ великодушнаго человѣка оправдать своего пріятеля и отстранить отъ себя даже подозрѣніе въ его холодности.

V.

Между тѣмъ въ тѣснѣйшей связи съ изложенными событіями въ душѣ Гоголя совершался знаменательный, роковой переломъ. Не разъ утверждали, что оригинальность и свѣжесть его творчества сильно ослабли послѣ смерти Пушкина; причину такой перемѣны всего чаще видѣли, съ одной стороны, въ утратѣ благотворнаго вліянія на него умершаго поэта, съ другой — въ постоянно возроставшемъ болѣзненнымъ разстройствѣ его хилаго организма. Между тѣмъ въ первомъ предположеніи кроется отчасти очевидное недоразумѣніе. Пушкинъ, правда, имѣлъ огромное вліяніе на своего юнаго собрата по литературѣ, но еще при его жизни будущаго творца „Мертвыхъ Душъ“ нисколько не останавливала мысль о предстоящей продолжительной разлуцѣ съ нимъ,

и послѣдній мечталъ переселиться въ Кіевъ; то же повторилось и въ 1836 году. Частыя бесѣды и свиданія съ Пушкинымъ въ одномъ городѣ представлялись для него такимъ образомъ не болѣе, какъ счастливой и пріятной случайностью.

Но здѣсь мы встрѣчаемся съ вопросомъ о вліяніи Пушкина на Гоголя. Это вліяніе, по нашему мнѣнію, никакъ не слѣдуетъ объяснять исключительно тѣмъ высокимъ авторитетомъ, которымъ пользовался Пушкинъ въ литературѣ, такъ какъ литературные авторитеты никогда не имѣли большого значенія въ глазахъ Гоголя, въ которомъ еще въ раннемъ дѣтствѣ сильно было преувеличенное довѣріе въ собственному мнѣнію и оцѣнѣ. Всѣ извѣстныя намъ попытки дѣйствовать на Гоголя тономъ внушенія всегда оканчивались ничѣмъ, отъ кого бы онѣ ни исходили, начиная съ знаменитаго потрясающаго письма Бѣлинскаго, громомъ поразившаго, но все-таки не переубѣдившаго Гоголя, до недавно напечатаннаго въ „Русскомъ Архивѣ“ письма Константина Аксакова (по поводу „Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями“), оставившаго въ Гоголѣ впечатлѣніе какого-то неосновательнаго и наивнаго бреда. Напротивъ, тайна вліянія на него Пушкина, кромѣ боготворенія его съ дней отрочества, всего проще объясняется тѣмъ, что, будучи его истиннымъ руководителемъ и другомъ, Пушкинъ никогда почти не старался ему внушать извнѣ своихъ взглядовъ, но угадывалъ и будилъ въ Гоголѣ то, что и безъ того безсознательно уже таилось въ глубинѣ его души и призванія. Никто не зналъ Гоголя такъ хорошо, какъ поэта, какъ зналъ его Пушкинъ, никто не умѣлъ такъ искусно направлять его даръ. Проницательный взглядъ Пушкина давалъ ему возможность понять самую сущность предназначенія его младшаго собрата. Но если и Пушкину приходила иногда мысль дать Гоголю такое направленіе, которое казалось ему желательнымъ, хотя не соответствовало внутренней душевной потребности послѣдняго,— въ такихъ случаяхъ, при всемъ глубокомъ благоговѣніи къ нему Гоголя, его слово оставалось такимъ же тщетнымъ звукомъ, какъ позднѣе горячее, воодушевленное слово Бѣлинскаго и страстная, но бездоказательная для неисповѣдующихъ славянофильской доктрины рѣчь благороднаго мечтателя Константина Аксакова. Такъ, кромѣ небольшой журнальной статьи подъ заглавіемъ: „О движеніи журнальной литературы въ 1834 и 1835 г.“, Гоголь, несмотря на совѣты и понужденія Пушкина, ничего не написалъ относящагося къ исторіи русской критики, на поприще которой хотѣлъ навести его Пушкинъ, очевидно цѣня его мѣткія и тонкія эстетическія сужденія. Напротивъ, совѣты Пушкина относи-

тельно литературныхъ произведеній Гоголя всегда имѣли существенное значеніе для послѣдняго. Извѣстно, съ какимъ любовнымъ участіемъ слѣдилъ Пушкинъ за развитіемъ литературной дѣятельности Гоголя, какъ Гоголь совѣтовался съ нимъ о предупрежденіи цензурныхъ придирокъ и постѣ сообщалъ ему, насколько эти мѣры оправдывались на дѣлѣ. Пушкинъ дѣлалъ даже небольшія исправленія въ его рукописяхъ. Но самое главное то, что именно Пушкинъ вдохнулъ въ Гоголя увѣренность въ его призваніи и своими указаніями помогъ ему вступить на тотъ великій путь, на которомъ онъ прошелъ такое блистательное поприще. Какъ видно изъ „Авторской Исповѣди“, Гоголь до тѣхъ поръ колебался между литературой и другими профессіями, пока Пушкинъ, пораженный художественными достоинствами прочитанной ему небольшой сцены, не взялъ съ него слово написать большое сочиненіе, и если припомнить, что этимъ сочиненіемъ были „Мертвыя Души“, то станетъ ясно, что задача всей остальной жизни была подсказана Гоголю Пушкинымъ (за исключеніемъ, однако, всего, что явилось постѣ плодомъ религіознаго мистицизма). Такимъ образомъ, не одна только передача Гоголю сюжетовъ „Ревизора“ и „Мертвыхъ Душъ“, но и многія другія соображенія заставляютъ признать, что, несмотря на ихъ рѣдкія сначала, а потомъ (когда они жили рядомъ на Морской) хотя и частыя, но довольно короткія и отрывочныя свиданія (вслѣдствіе крайне разсѣянной и лихорадочно-суетливой жизни Пушкина), — именно Пушкинъ, какъ позднѣе критическими статьями Бѣлинскій, указали и, такъ сказать, создали для Россіи Гоголя. Подобное мнѣніе было высказано и П. В. Анненковымъ въ его извѣстной книгѣ: „Н. В. Станкевичъ“ (стр. 77).

Но зерно будущаго аскетически-извращеннаго отношенія къ литературной дѣятельности можетъ быть замѣчено у Гоголя *еще при жизни Пушкина*. Неудачи, постигшія „Ревизора“, и здѣсь имѣли рѣшительное вліяніе. Въ противномъ случаѣ Гоголь, конечно, продолжалъ бы и далѣе творить въ прежнемъ духѣ и съ прежней твердой увѣренностью въ благотворномъ вліяніи его сатиры на общество. До сихъ поръ онъ бодро смотрѣлъ на свое призваніе и при мысли о немъ забывалъ всѣ невзгоды; теперь онъ уже не могъ отдаваться, какъ прежде, всей душой любимому труду и рѣшился искать иного пути, который долженъ былъ привести его къ чему-то новому и необычайному. Всегдашняя склонность къ мистицизму въ первый разъ получила здѣсь обильную пищу и оправданіе. Незадолго до отъѣзда изъ Россіи Гоголь уже писалъ Погодину: „Все, что ни дѣлалось со мной, все было спа-

сительно для меня. Всѣ оскорбленія, всѣ непріятности посылались мнѣ высокимъ Провидѣніемъ на мое воспитаніе, и *нынѣ я чувствую, что неземная воля направляетъ путь мой*. Онъ, вѣроятно, необходимъ для меня“. То же писалъ онъ Жуковскому, но уже изъ-за границы: „Для меня нѣтъ жизни внѣ моей жизни, и нынѣшнее мое удаленіе изъ отечества, оно послано свыше, тѣмъ же великимъ Провидѣніемъ, ниспославшимъ все на воспитаніе мое. *Это великій переломъ, великая эпоха моей жизни*“. Последнія слова, указывающія на то, какъ отразились во внутреннемъ сознаніи Гоголя происшедшія съ нимъ въ 1836 г. перемѣны, заслуживаютъ особеннаго вниманія. Такимъ образомъ, простая хронологическая справка убѣждаетъ въ существованіи въ сильномъ градусѣ у Гоголя мистическихъ взглядовъ, загубившихъ его талантъ, *уже въ срединѣ тридцатыхъ годовъ*. Недоставало только позднѣйшей исключительности и односторонности, которая со временемъ привела съ собой усиливавшаяся болѣзненность и утрата свѣжей воспримчивости къ впечатлѣніямъ внѣшняго міра. О своихъ новыхъ планахъ, которые Гоголь по обыкновенію держалъ подъ строжайшимъ секретомъ, онъ говорилъ передъ отъѣздомъ только одному Погодину, потому что для полной откровенности онъ чувствовалъ нужду въ избранныхъ людяхъ, какъ нѣкогда поѣхалъ свои горячія юношескія мечты любимому дядѣ П. П. Косаровскому. Былъ ли введенъ въ тайну Пушкинъ, къ сожалѣнію, неизвѣстно, но, кажется, этотъ вопросъ долженъ быть рѣшенъ въ отрицательномъ смыслѣ; если, съ одной стороны, Пушкинъ имѣлъ несравненно больше правъ на довѣріе Гоголя, нежели Погодинъ, то, съ другой стороны, полной откровенности могли помышлять чисто внѣшнія причины, его частыя отлучки изъ Петербурга и крайне разсѣянный образъ жизни. Странно, что по отъѣздѣ за границу Гоголь не состоялъ съ нимъ въ перепискѣ и только черезъ Жуковскаго просилъ передать ему о своихъ новыхъ творческихъ замыслахъ.

Въ рѣдкія свиданія съ Пушкинымъ послѣ представленія „Ревизора“ Гоголь, по всей вѣроятности, не имѣлъ случая для душевной бесѣды съ нимъ. Что онъ чувствовалъ въ ней сильнѣйшую потребность, понятно само собой и притомъ ясно видно изъ „Письма къ одному литератору“, помѣченнаго 25 мая 1836 г., гдѣ читаемъ слѣдующія строки: „Я хотѣлъ бы убѣжать теперь, Богъ знаетъ куда, и предстоящее мнѣ путешествіе, пароходъ, море и другія далекія небеса могутъ одни только освѣжить меня. Я жажду ихъ, какъ Богъ знаетъ чего. Ради Бога, пріѣзжайте скорѣе. Я не поѣду, не простившись съ вами. Мнѣ еще нужно много

сказать вамъ того, что не въ силахъ сказать несносное, холодное письмо“. Есть вѣскія основанія предполагать, какъ это дѣлалъ академикъ Н. С. Тихонравовъ, что эти строки принадлежать гораздо болѣе позднему времени. Но во всякомъ случаѣ онѣ любопытны потому, что въ нихъ слышится правдивый отголосокъ когда-то пережитаго настроенія и воспроизведены мысли, если не сказанныя дѣйствительно, то предназначенныя для сообщенія Пушкину. Въ письмѣ къ Жуковскому изъ Гамбурга Гоголь, безъ сомнѣнія, съ искреннимъ сожалѣніемъ говорить: „даже съ Пушкинымъ я не успѣлъ и не могъ проститься; впрочемъ онъ въ этомъ виноватъ“. О предполагавшемся свиданіи и бесѣдѣ съ Пушкинымъ Гоголь говорилъ, что одна мысль объ этомъ внушала ему „тайный трепетъ не вкушаемаго на землѣ удовольствія“. Но такъ ужъ было суждено Гоголю: въ ту самую минуту, когда ему всего нужнѣе были разумный совѣтъ и сердечное участіе чловека, котораго онъ уважалъ и любилъ отъ души и который въ самомъ дѣлѣ часто бывалъ для него добрымъ гениемъ, онъ не могъ бесѣдой съ нимъ облегчить свое тяжелое положеніе. При томъ около этого времени и особенно позднѣе Пушкину раздирали сердце собственныя душевныя раны, и едва-ли ему было бы до чужого горя, еслибы Гоголь даже успѣлъ съ нимъ видѣться. Съ Жуковскимъ Гоголю, по его словамъ, также не удалось проститься, а можетъ быть, и поговорить; незадолго до отъѣзда онъ видѣлся съ нимъ, но ему пришлось въ разговорѣ обратить главное вниманіе на устройство своихъ матеріальныхъ обстоятельствъ, и кто знаетъ—можетъ быть, неловкость положенія просителя завязала ему языкъ. Эта же причина, вѣроятно, помѣшала ему и проститься съ Жуковскимъ передъ отъѣздомъ, и вотъ ему пришлось въ этомъ непріятномъ обстоятельствѣ искать нѣчто „утѣшительное“. „Разлуки между нами не можетъ и не должно быть,—писалъ потомъ Гоголь, отчасти передавая слагавшееся у него тогда убѣжденіе, высказываемое потомъ не разъ въ подобныхъ случаяхъ, отчасти же, можетъ быть, входя въ тонъ своего корреспондента:—и гдѣ бы я ни былъ, въ какомъ бы отдаленномъ уголѣ ни трудился, я всегда буду возлѣ васъ. Каждую субботу я буду въ вашемъ кабинетѣ, вмѣстѣ со всѣми близкими вамъ. Вѣчно вы будете представляться мнѣ слушающимъ меня читающаго“. Погодину же онъ два раза открываетъ свою душу,—въ первый разъ въ письмѣ отъ 10 мая 1836 г. („Мнѣ хочется поправиться въ своемъ здоровьѣ, разсѣяться, развлечься и потомъ, избравши нѣсколько постояннѣе пребываніе, обдумать хорошенько трудъ будущій. *Пора уже мнѣ творить съ большимъ размыш-*

лением“) и отъ 15 мая („Прощай. Ёду разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторскія, свои будущія творенія“). Отсюда, слѣдовательно, начинается важный поворотный пунктъ въ жизни и дѣятельности Гоголя. Его вполне серьезное и благородное намѣреніе глубже обдумать свое призваніе отчасти, конечно, чрезвычайно благотворно сначала отразилось на его дальнѣйшей художественной работѣ, но, къ сожалѣнію, во многомъ получило потомъ слишкомъ извѣстное роковое направленіе.

Такимъ образомъ, рѣшеніе ѣхать за границу и слѣдовать быстро и отважно составленному плану жизни было предпринято Гоголемъ, повидимому, безъ всякихъ сношеній съ Пушкинымъ и не могло уже быть отмѣнено, хотя имѣло самую тѣснѣйшую связь съ дальнѣйшимъ направленіемъ литературной дѣятельности Гоголя. „Мертвыя Души“, начатыя еще въ 1835 году (уже въ первоначальныхъ наброскахъ прочитанныя Пушкину), должны были теперь получать обработку по новому плану, и Гоголю оставалось лишь заочно готовить для слѣдующихъ предполагаемыхъ свиданій съ Пушкинымъ результаты своихъ будущихъ трудовъ. („Ни одна строка не писалась безъ того, чтобы я не воображалъ его передъ собою. Чтѣ скажетъ онъ, чтѣ замѣтитъ онъ, чему посмѣется и чему изречетъ неразрушимое и вѣчное одобреніе свое—вотъ чтѣ меня только занимало и одушевляло мою мысль“). По неволѣ Гоголь вынужденъ былъ теперь, въ противность давно принятому обыкновенію, держать въ безусловной тайнѣ предварительную работу. Намъ странно, впрочемъ, что въ сохранившейся перепискѣ Пушкинъ нигдѣ ни единымъ словомъ не обмолвился объ отъѣздѣ Гоголя, какъ будто ему было уже вовсе не до того даже въ половинѣ 1836 г., а равно и ни изъ чего не видно, чтобы между ними могла возобновиться переписка, и чтобы Гоголь сколько-нибудь волновался подготавливавшейся—роковой для Пушкина—катастрофой, о которой онъ, можетъ быть, узналъ уже только по доносившимся за границу глухимъ извѣстіямъ изъ Россіи. Между тѣмъ невозможно допустить, чтобы Погодинъ или Плетневъ не написали ему подробно обо всемъ. Въ обширномъ запасѣ писемъ, написанныхъ Гоголю разными лицами и принадлежащихъ его наслѣдникамъ (они частью уже напечатаны), сохранились только письма, относящіяся къ сороковымъ годамъ, и о письмахъ Погодина и Плетнева можно догадываться единственно по отвѣтамъ на нихъ; Плетневъ же не переписывался съ Гоголемъ до тѣхъ поръ и, кажется, считъ своей обязанностью друга Пушкина только извѣстить Гоголя письмомъ о его кончинѣ.

VI.

Мы говорили, что впечатлѣнія, вынесенныя Гоголемъ изъ театра во время перваго представленія „Ревизора“, имѣли несомнѣнное вліяніе какъ на дальнѣйшую его литературную дѣятельность, такъ отчасти и на подготовлявшуюся въ немъ перемѣну характера и настроенія. Къ сожалѣнію, какъ ни подробно изображаетъ Гоголь свои чувства во время представленія въ письмѣ въ одному литератору, но намъ мало разъясняется изъ него самый важный для насъ въ настоящую минуту вопросъ: какъ постепенно складывался и видоизмѣнялся первоначальный замыселъ его заграничной поѣздки? Сначала съ нимъ не соединялось никакой опредѣленной цѣли, никакого плана жизни, и самая мысль о путешествіи, представляясь изрѣдка воображенію Гоголя, едва ли имѣла значеніе твердо обдуманной программы, держаться которой онъ считалъ бы для себя обязательнымъ. Все это выяснилось уже чуть ли не въ послѣдніе дни передъ отъѣздомъ.

Страстное желаніе видѣть чужіе края яркимъ пламенемъ вспыхнуло въ душѣ Гоголя еще въ юности и, можетъ быть, было отчасти снова подогрѣто заграничной поѣздкой Погодина въ 1835 году. Въ продолженіе почти цѣлаго полугода Гоголь не имѣлъ возможности переписываться съ своимъ пріятеlemъ и по возвращеніи его съ нетерпѣніемъ ожидалъ, когда ему представится случай слышать непосредственный отчетъ Погодина о путевыхъ впечатлѣніяхъ. Перечитывая заграничныя письма Гоголя, особенно временъ его первой поѣздки, нельзя не признать въ немъ тонкаго и любовнаго наблюдателя, вниманіе котораго привлекали не только историческія и архитектурныя достопримѣчательности (глубоко или поверхностно—объ этомъ будемъ говорить дальше), но и весь строй заграничной жизни, особенности быта, даже устройство домовъ и проч. Не фразой поэтому представляются намъ слѣдующія слова его Погодину: „Я жадно читалъ твое письмо въ журналѣ просвѣщенія, но еще хотѣлъ бы слышать изустныхъ прибавленій“. Но хотя поѣздка Погодина и могла оживить въ Гоголѣ никогда не угасавшую жажду новыхъ впечатлѣній, конечно, одна она не имѣла бы никакихъ серьезныхъ послѣдствій, еслибы его возвращеніе не совпало какъ разъ съ моментомъ оставленія Гоголемъ каведры. Напротивъ, неожиданно представившаяся свобода должна была дать, въ связи съ непріятнымъ скопленіемъ неудачъ, особую силу случайно пробужденному инстинкту путешественника. Съ этихъ поръ только и заговорилъ

Гоголь серьезно о своей поѣздкѣ, и уже не скрывалъ своего нахѣренія отъ матери и отъ близкихъ друзей. При отсутствіи ясныхъ указаній въ перепискѣ на то, какъ постепенно развивалась у Гоголя мысль о поѣздкѣ, не можемъ не пожалѣть, что онъ неясно говоритъ объ этомъ въ письмѣ къ матери: „Вамъ я сказалъ (во время свиданія въ Васильевкѣ о слѣдующемъ возвращеніи въ нее) ближе всего къ моимъ мыслямъ, потому что я дѣйствительно думалъ черезъ два года пріѣхать опять въ Васильевку на недѣлю и черезъ годъ на три мѣсяца, *воротившись изъ-за границы*“.

Эти слова, повидимому, указываютъ на болѣе раннее рѣшеніе Гоголя оставить родину, нежели онъ покинулъ университетъ, ибо они намекали еще на лѣто 1835 г., но ихъ сбивчивый смыслъ заставляетъ предположить неискренность и нахѣренную уклончивость, и притомъ ими тѣмъ болѣе нельзя руководиться особенно при неполнотѣ сохранившейся переписки, что даже послѣ представленія „Ревизора“ Гоголь еще нѣкоторое время не переставалъ колебаться. „Насчетъ поѣздки моей за границу, — писалъ онъ 12-го мая 1836 года, — я еще не рѣшилъ, *но думаю*, что это исполнится въ этомъ году“. Все это необходимо имѣть въ виду для правильной оцѣнки слѣдующихъ словъ въ письмѣ къ одному литератору: „Клянусь, никто не знаетъ и не слышитъ моихъ страданій. Богъ съ ними со всѣми. Мнѣ опротивѣла моя піеса“ и проч. Судя по этимъ строкамъ, можно было бы подумать, что неудача „Ревизора“ была *единственной* причиной поѣздки Гоголя; но мы уже видѣли, что на дѣлѣ было далеко не такъ, а сопоставленіе съ однимъ мѣстомъ въ письмѣ къ Погодину раскрываетъ еще новое противорѣчіе въ словахъ Гоголя. Совершенно иначе объясняетъ тамъ Гоголь причину своей поѣздки; онъ говоритъ напротивъ: „*Я не оттого поѣду за границу, чтобы не умѣлъ перенести этихъ неудовольствій*. Мнѣ хочется поправиться въ своемъ здоровьѣ, разсѣяться, развлечься и потомъ, избравши нѣсколько постояннѣе пребываніе, обдумать хорошенько труды будущіе“, хотя въ томъ же письмѣ, нѣсколько раньше, онъ опять сознавался, что ѣдетъ за границу, чтобы „размыкать тоску, которую наносятъ ежедневно соотечественники“.

Можетъ быть, страннымъ и мелочнымъ покажется послѣ этого предположеніе, что даже такое ничтожное повидимому обстоятельство, какъ совпаденіе всего пережитаго Гоголемъ съ наступленіемъ всегда сильно манившей его въ лучшіе края весны, могло имѣть свою долю вліянія на принятое имъ рѣшеніе. Въ этомъ, однако, убѣждаютъ насъ слѣдующія заключительныя строки статьи: „Петербургскія записки 1836 года“: „Петербургъ, во весь апрѣль

мѣсяцъ, кажется, на подлетѣ. Весело презрѣть сидячую жизнь и постоянство и помышлять о дальнѣйшей дорогѣ подъ другія небеса, въ южныя зеленныя рощи, въ страны новаго и свѣжаго воздуха. Весело тому, у кого въ концѣ петербургской улицы рисуются подоблачныя горы Кавказа, или озера Швейцаріи, или увѣнчанная анемономъ и лавромъ Италія, или прекрасная и въ пустынности своей Греція... Но стой, мысль моя: еще съ обѣихъ сторонъ около меня громоздятся петербургскіе дома". Такъ волшебная сила золотой поры въ жизни человѣка многое искупала счастливыми надеждами въ горестяхъ Гоголя: послѣ неудачи „Выбранныхъ мѣстъ" онъ уже не нашелъ въ своей душѣ такого живительнаго источника возрожденія нравственныхъ силъ и уже не имѣлъ духа пойти на встрѣчу будущему съ бодро поднятой головой, какъ въ страшную, но не отчаянно-безнадежную пору фіаско „Ревизора".

VII.

Отъѣздъ за границу сразу оторвалъ Гоголя отъ всѣхъ интересовъ, которые приковывали къ себѣ его вниманіе за послѣдніе годы. Отодвинутые на второй планъ постановкой „Ревизора", они все-таки долго не теряли для него своего значенія и стояли на очереди, пока онъ не переставалъ еще искать себѣ поприща на родинѣ. Его „Петербургскія записки" еще полны свѣжихъ слѣдовъ живого участія ко всему окружающему, начиная отъ проявленія высшихъ умственныхъ интересовъ столицы до простыхъ уличныхъ впечатлѣній. Въ этихъ замѣчаніяхъ почти въ каждомъ словѣ виденъ постоянный петербургскій житель, относящійся къ предмету своихъ наблюденій не со стороны, но какъ человѣкъ, которому суждено постоянно вращаться въ изображаемой сферѣ. Гоголь то-и-дѣло вноситъ въ свои характеристики личное отношеніе, особенно тамъ, гдѣ говоритъ о современной журналистикѣ. Въ то время онъ еще не питалъ олимпійскаго пренебреженія къ послѣдней, и его позднѣйшее высокомеріе въ этомъ отношеніи развилось прежде всего на почвѣ совершеннаго отчужденія отъ литературныхъ сферъ, съ которыми, живя въ Петербургѣ, онъ имѣлъ, хотя и недолго, извѣстныя точки соприкосновенія. Какъ человѣкъ живой и отзывчивый въ молодости, Гоголь зорко слѣдилъ сначала за движеніемъ литературы, подстрекаемый притомъ авторитетомъ и примѣромъ Пушкина. Хотя онъ и не принадлежалъ по натурѣ къ числу людей, которыхъ можно было бы направить въ ту или другую сторону подъ чьимъ-либо

давленіемъ, но уже одно участіе въ „Современникѣ“ не позволяло ему отдалиться отъ общаго теченія литературы. Впрочемъ, и это сотрудничество Гоголя было далеко не случайное и незначительное, какъ могло бы казаться по его непродолжительности. Здѣсь осуществлялась давняя мечта его о противодействіи со стороны лучшихъ литературныхъ силъ позорной журнальной монополіи Сенковского, — мечта какъ нельзя болѣе сочувственная Пушкину и нашедшая въ немъ сильное поощреніе и искреннюю поддержку. Еще прежде Гоголь горячо приветствовалъ журнальные предпріятія Погодина и Шевырева именно въ надеждѣ увидѣть въ ихъ изданіяхъ достойный и заслуженный отпоръ презрѣнному и ненавистному „наѣздничеству“ Брамбеуса, но долженъ былъ скоро разочароваться, убѣдившись въ недостаткѣ энергіи и такта у редакторовъ. Теперь ему представлялся случай выступить съ непосредственнымъ протестомъ, послѣ того какъ Пушкинъ сперва пригласилъ его участвовать въ задуманномъ имъ альманахѣ, а когда это предположеніе разрушилось — также и въ „Современникѣ“. Единственная обширная критическая статья Гоголя въ „Современникѣ“ („О движеніи журнальной литературы“) ясно указываетъ его отношеніе къ текущей журналистикѣ и своимъ полнымъ согласіемъ во всѣхъ подробностяхъ съ мнѣніями, не разъ выраженными авторомъ въ частной перепискѣ, даетъ право видѣть въ ней сводъ его взглядовъ по данному вопросу. Остановимся на обзорѣ нѣкоторыхъ подробностей.

Въ статьѣ Гоголя прежде всего выступаетъ обличеніе Сенковского; все остальное имѣетъ въ ней значеніе второстепенное и болѣе или менѣе сводится къ этой главной задачѣ. Сенковский занималъ такое видное положеніе въ тогдашней журналистикѣ, что подобное отношеніе къ нему совершенно понятно. Еще въ своихъ сношеніяхъ съ Погодинымъ по поводу „Московского Наблюдателя“ Гоголь настаивалъ на необходимости составить конкуренцію Сенковскому и, насколько возможно, пожертвовать для нея матеріальными расчетами. Первое извѣстіе о проектируемомъ Погодинымъ возобновленіи редакторской дѣятельности было получено Гоголемъ изъ вторыхъ рукъ и дошло до него не совсѣмъ въ точномъ видѣ. Это было еще въ началѣ 1833 года и по времени совпало съ первымъ рѣзкимъ проявленіемъ негодованія его противъ извѣстнаго положенія, занятаго Сенковскимъ въ литературѣ. Въ своемъ письмѣ объ этомъ къ Погодину Гоголь именно старается установить связь между обѣими литературными новостями, хотя и не спѣшитъ высказать преждевременно свою затаенную мысль: „Читалъ ли ты Смирдинское „Новоселье“? Книжица

ужасная; человѣка можно уколотить. Для меня она замѣчательна тѣмъ, что здѣсь въ первый разъ въ печати показались такія гадости, что читать мерзко. Прочти Брамбеуса: сколько тутъ и подлости, и вони, и всего! *Непосредственно послѣ этихъ словъ* Гоголь продолжаетъ: „Я слышалъ, что у васъ въ Москвѣ альманахъ составляется, и участвуютъ люди такіе, которыхъ статьи непременно будутъ значительны. Будешь ли тамъ?“ Не посвященный пока въ секретъ Погодинымъ, Гоголь еще осторожно подходитъ къ щекотливому вопросу, но у него уже, повидимому, созрѣвала мысль о представившемся удобномъ случаѣ для достойнаго отпора Брамбеусу. Любопытно здѣсь также то, что около этого времени онъ въ первый разъ не вполне благосклонно отнесся о Смирдинѣ, съ которымъ былъ обыкновенно въ хорошихъ отношеніяхъ, какъ съ человѣкомъ честнымъ и добросовѣстнымъ; впрочемъ, въ сущности онъ не перемѣнилъ своего мнѣнія о немъ и теперь, даже находя для него нелестнымъ и компрометирующимъ сближеніе съ Сенковскимъ и Булгаринымъ... Намъ неизвѣстенъ отвѣтъ Погодина на письмо Гоголя, но, кажется, дѣло стояло тогда еще на стѣпени однихъ предположеній и затянулось въ долгій ящикъ, потому что въ теченіе болѣе полутора года къ данному предмету ни разу не возвращалась рѣчь въ перепискѣ, и даже „Афоризмы“ Погодина, разумѣется, противъ ожиданія и вѣроятно къ большому неудовольствію Гоголя появились въ „Библіотекѣ для Чтенія“. Когда, наконецъ, Погодинъ извѣстилъ своего пріятеля о предполагаемомъ изданіи, Гоголь тотчасъ же, конечно, горячо принялъ къ сердцу отложенный по необходимости вопросъ. „Журналъ нашъ, — писалъ онъ, — нужно пустить какъ можно по дешевой цѣнѣ. Лучше на первый годъ отказаться отъ всякихъ вознагражденій за статьи, а пустить его непременно подешевле. Этимъ однимъ только можно взять верхъ и сколько-нибудь оттянуть привалъ черни къ глупой „Библіотекѣ“, которая слишкомъ укрѣпила читателей своей толщиной. Еще какъ можно больше разнообразія и подлиннѣе оглавленіе статей“. Тотъ же совѣтъ повторяется и въ слѣдующемъ письмѣ. „Московский Наблюдатель“ не оставилъ безъ вниманія слова Гоголя и даже былъ открытъ именно „оппозиціонной“ статьей Шевырева о торговлѣ, зародившейся въ литературѣ; но статья по многимъ причинамъ не понравилась Гоголю. Его соображенія по этому поводу подробно изложены въ статьѣ: „О движеніи журнальной литературы“. Это была первая серьезная причина охлажденія Гоголя къ новому журналу, не исполнившему самыхъ заветныхъ его ожиданій. Отношенія его къ „Московскому Наблюдателю“ быстро и довольно

рѣзко измѣняются. Кромѣ того, еще прежде, въ качествѣ будущаго сотрудника, Гоголю хотѣлось приготовить для него повѣсть. Хотя онъ сильно былъ заинтересованъ судьбой предполагаемаго изданія, о ходѣ дѣлъ котораго постоянно освѣдомлялся у редакторовъ, давая имъ, съ своей стороны, откровенные и энергичные совѣты, но не могъ удѣлить для него ни одного изъ готовыхъ произведеній, уже включенныхъ въ два сборника („Арабески“ и „Миргородъ“), которые вышли слѣдомъ одинъ за другимъ. Когда потомъ имъ была написана повѣсть „Носъ“, то она была признана неудобной для журнала за „пошлость и тривіальность“. Въ портфель редакціи она пролежала почти годъ и потомъ съ трудомъ была вытребована Гоголемъ для „Современника“ 1).

*) Между тѣмъ Гоголь обратился съ просьбой къ мало знакомому съ нимъ тогда Шевыреву дать отзывъ объ его сборникахъ въ „Московскомъ Наблюдателѣ“. — „Я къ вамъ пишу ужъ слишкомъ безъ церемоній,—говорилъ Гоголь;—но, кажется, между нами такъ быть должно. Если мы не будемъ понимать другъ друга, то я не знаю, будетъ ли кто-нибудь тогда понимать насъ“. Вскорѣ послѣ того онъ переходитъ къ близкой для нихъ обоимъ тогда темѣ — къ дѣламъ будущаго журнала. „Поддержите „Московский Наблюдатель“. Ради Бога, уговорите москвичей работать; грѣхъ, право, грѣхъ имъ всѣмъ. Скажите Кирѣевскому, что его ругнетъ все, что будетъ послѣ насъ, за его бездѣйствіе. Да, впрочемъ, этотъ упрекъ можно присоединить (отнести?) ко многимъ. Я съ своей стороны радъ все употребить. На дняхъ я, можетъ быть, окончу повѣсть для „Московского Наблюдателя“ и начну другую“ (этой новой повѣстью былъ „Носъ“, вскорѣ отосланный Погодину; другой повѣсти Гоголь уже не посылалъ потомъ въ „Московский Наблюдатель“). Въ концѣ письма, возвращаясь къ своей главной дѣлѣ, Гоголь прибавляетъ: „Жму крѣпко вашу руку и прошу убѣдительно вашей дружбы. Вы приобретаете такого человѣка, которому можно все говорить въ глаза и который готовъ употребить Богъ знаетъ что, только бы услышать правду“. („Русская Старина“, 1875, X, стр. 114). Просьбу Гоголя Шевыревъ исполнилъ немедленно, напечатавъ во второй книжкѣ „Московского Наблюдателя“ разборъ „Миргорода“, но отъ рецензіи на „Арабески“ онъ почему-то уклонился. Содержаніе отзыва было въ общихъ чертахъ слѣдующее: изданныя повѣсти, по мнѣнію критика, возбуждаютъ обаяніе простодушнымъ, неистощимымъ смѣхомъ; но было бы желательно, чтобы авторъ расширилъ предѣлы своего творчества, не ограничиваясь изображеніемъ однихъ уѣздныхъ нравовъ. Указавъ многія достоинства „Миргорода“, Шевыревъ, однако, неодобрительно отозвался о „Віѣ“ и вмѣстѣ съ тѣмъ указалъ на внѣшнюю неопрятность изданія („Московский Наблюдатель“, 1835, 2, стр. 396—411). Въ это же время „Сѣверная Пчела“ въ первый разъ бросила Гоголю тотъ упрекъ, который послѣ того такъ часто повторялся ей; она выражала недоумѣніе: „зачѣмъ показывать рубашку и лохмотья? зачѣмъ рисовать непріятныя картины задняго двора жизни человѣческой, безъ всякой видимой цѣли?“ а „Арабески“ уже были осуждены „Библіотекой для Чтенія“ и Сѣверной Пчелой“, изъ которыхъ первая съ особой извѣстностью нападала на самобытіе автора, будто бы выказанное имъ въ предисловіи; въ своемъ глумленіи Сенковский саркастически сравнивалъ Гоголя въ самоудовольствіи съ Гёте. (См. „Сѣверную Пчелу“, 1835, №№ 115 и 73; „Библіотеку для Чтенія“, 1834 г., т. 9, отд. 6, стр. 30—34 или соч. Сенковского, Спб. 1859, т. XI,

Во всякомъ случаѣ отношенія Гоголя къ „Московскому Наблюдателю“ готовы были поколебаться еще гораздо ранѣе выхода первой книги. Въ письмѣ отъ 31-го января 1835 г. Гоголь говорилъ еще въ дружескомъ тонѣ Погодину: „Скажи нашимъ господамъ, что стараю желаніемъ привлечь свои труды къ ихнимъ (sic). Но, ей Богу, раньше, какъ въ третьей книжкѣ, не могу прислать имъ повѣсти“¹⁾. Черезъ мѣсяцъ онъ показывалъ уже досаду, говоря, что издатели „Московского Наблюдателя“ ничего не умѣютъ дѣлать“, а вскорѣ послѣ того, наконецъ, разразился усовѣщиваніями и упреками, совершенно отложивъ въ сторону всякія стѣсненія, напр., въ слѣдующемъ выраженіи: „ей Богу, вы всѣ похожи на петербургскихъ шаромыжниковъ, шатающихся съ мелочью въ карманѣ, назначенною только для расплаты съ извозчиками“²⁾. Когда повѣсть „Носъ“ была отвергнута редакціей „Московского Наблюдателя“ и готовилась для „Современника“, самое изданіе котораго отчасти было обязано его обещанію быть постояннымъ сотрудникомъ, туда уже (въ концѣ 1835 г.) были сданы „Коляска“ и „Утро дѣлового человѣка“, за которыми, въ свою очередь, должны были послѣдовать статьи: „Петербургскія записки 1836 года“ и „О движеніи журнальной литературы“. Рецензій, напечатанныхъ послѣ въ „Современникѣ“, относились также частью къ вопросамъ, уже раньше интересовавшимъ Гоголя. Какъ въ этихъ послѣднихъ статьяхъ высказалось отношеніе Гоголя къ современной литературѣ, такъ точно въ „Петербургскихъ запискахъ“ нашли себѣ отраженіе его впечатлѣнія болѣе обыденнаго свойства. Характеристики городовъ нерѣдко встрѣчаются въ сочиненіяхъ и перепискѣ Гоголя. Въ каждомъ

стр. 344). Но въ то же время въ „Молвѣ“ и „Телескопѣ“ неожиданно появляются двѣ блестящія критическія статьи, сначала краткая и сдержанная, потомъ обстоятельная и восторженная, провозгласившія Гоголя великимъ поэтомъ. Обѣ статьи принадлежали перу Бѣлинскаго и въ послѣдней въ немногихъ словахъ были указаны всѣ существенныя достоинства разбираемыхъ произведеній, еще до подробнаго разбора „Арабесковъ“ и „Миргорода“. Вотъ эти строки: „Отличительный характеръ повѣстей г. Гоголя составляютъ простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевленіе, всегда побѣждаемое глубокимъ чувствомъ грусти и унынія. Причина всѣхъ этихъ качествъ заключается въ одномъ источникѣ: г. Гоголь поэтъ, поэтъ жизни дѣйствительной“. Бѣлинскій говорилъ уже, что „никого не можно назвать поэтомъ, съ большей увѣренностью и ни мало не задумываясь, какъ Гоголя“. (Пушкина въ то время онъ считалъ уже „совершеннѣйшимъ кругъ своей художественной дѣятельности“). См. „Соч. Бѣлинскаго, т. I, стр. 202 (изд. 1881); тамъ же, т. I, стр. 352—354 и всю статью: 165—235; также „Молва“, 1835, № 15, и „Телескопъ“, 1835, т. 26, стр. 392—417 и 536—603.

1) Соч. и письма Гоголя, т. V, стр. 238.

2) Тамъ же, стр. 235.

изъ нихъ онъ старался уловить свойственную ему фizioномію. Такъ въ Петербургѣ его наиболѣе поражаало обиліе разнородныхъ элементовъ населенія, или, какъ онъ говоритъ, „иностраннаго смѣшенія, еще не сливагося въ массу“. Черта эта бросилась въ глаза Гоголю еще при первоначальномъ ознакомленіи со столицей, и онъ писалъ тогда матери: „Каждая столица вообще характеризуется своимъ народомъ, набрасывающимъ на нее печать національности; на Петербургѣ же нѣтъ никакого характера: иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе не похожи на иностранцевъ, а русскіе, въ свою очередь, обьиностранились и сдѣлались ни тѣмъ, ни другимъ“. Послѣ того, въ первую же побѣдку за границу, онъ имѣлъ случай еще сильнѣе почувствовать эти отличительныя особенности нашей столицы, сравнивая ее, напр., съ Травемюнде, гдѣ „жители не имѣютъ никакихъ собраний и живутъ почти въ трактирахъ“. „Со мною вмѣстѣ, — продолжаетъ онъ, — находилось два швейцара, англичанинъ, индійскій набобъ, гражданинъ изъ американскихъ штатовъ и множество разномысленныхъ нѣмцевъ, и всѣ мы были совершенно, какъ лѣтъ десять другъ съ другомъ знакомы. *Этого уже въ Петербургѣ* не водится. Чистота и опрятность нѣмецкихъ городовъ также остановили вниманіе Гоголя въ сравненіи съ Петербургомъ и, слѣдовательно, тѣмъ болѣе съ другими русскими городами. „Чистота въ домахъ необыкновенная, — писалъ онъ о Любекѣ въ 1829 г., — непріятнаго запаха нѣтъ вовсе въ цѣломъ городѣ, какъ обыкновенно бываетъ въ Петербургѣ, въ которомъ мимо много дома нельзя бываетъ пройти“. То же самое повтораеъ онъ спустя самъ лѣтъ по поводу посѣщенія имъ Гамбурга: „Видъ города очень хорошгъ: дома высокіе, улицы узенькія, тѣсныя, дворовъ нѣтъ, все выливается на улицу; но при всемъ томъ вездѣ почти чистота: все это стекаетъ въ подземныя трубы, и вони на улицахъ гораздо меньше, нежели въ Петербургѣ“. Характеристика Петербурга, впервые сдѣланная Гоголемъ въ письмѣ къ матери, потомъ не разъ является въ его сочиненіяхъ, но болѣею частью отрывочно (напр., въ повѣсти „Невскій Проспектъ“, въ повѣсти „Портретъ“ — описаніе Коломны); имъ же заканчиваются и „Петербургскія записки 1836 года“ и въ тѣхъ же „Запискахъ“ находится извѣстное мастерское сравненіе Москвы и Петербурга.

Кромѣ этихъ трудовъ, помѣщенныхъ въ „Современникѣ“, Гоголь предполагалъ еще начать для этого журнала исторію русской критики по совѣту самого Пушкина, а по выѣздѣ за границу — путевыя замѣтки. Такъ изъ Гамбурга онъ писалъ Жу-

ковскому: „Для его журнала я приготовлю кое-что, которое, какъ мнѣ кажется, будетъ смѣшно: изъ нѣмецкой жизни“.

VIII.

Собираясь въ отъѣздъ, Гоголь начерталъ себѣ слѣдующій приблизительный маршрутъ: миновавъ нѣсколько германскихъ городовъ, уже знакомыхъ ему по первой заграничной побѣдѣ, онъ предполагалъ подольше пробыть въ Ахенѣ, гдѣ хотѣлъ сдѣлать продолжительную остановку, чтобы осмотрѣть его древности и заняться необходимымъ для дальнѣйшаго путешествія изученіемъ иностранныхъ языковъ. Потомъ онъ думалъ побывать въ Кѣльнѣ, прокатиться по Рейну и провести нѣкоторое время на водахъ для леченія давно тревожившихъ его геморроидальныхъ припадковъ; затѣмъ ему предстояло пожить въ Швейцаріи и Италіи и наконецъ возвратиться сухимъ путемъ черезъ Москву и Малороссію. На все путешествіе предполагалось посвятить около полутора года. Впрочемъ, такъ Гоголь опредѣлялъ срокъ своего возвращенія матери и Погодину, по всей вѣроятности, скрывая свой тайный замыселъ прожить какъ можно дольше за границей, какъ объ этомъ онъ писалъ вскорѣ Жуковскому, говоря ему: „Знаю, что мнѣ много встрѣтится непріятнаго, что я буду терпѣть и недостатокъ, и бѣдность, но ни за что на свѣтѣ не возвращусь скоро. Долѣе, какъ можно, долѣе буду въ чужой землѣ“¹⁾. Такъ какъ эти строки были написаны въ первомъ мѣсяцѣ путешествія, въ письмѣ, отправленномъ изъ перваго города, въ которомъ Гоголь остановился не надолго отдохнуть отъ впечатлѣній, то гораздо основательнѣе предположить, что здѣсь мы имѣемъ дѣло вовсе не съ перемѣной рѣшенія, происшедшей уже во время дороги, но что, напротивъ, Гоголь имѣлъ раньше причины скрывать отъ нѣкоторыхъ корреспондентовъ свои настоящія намѣренія. Совершенно понятно побужденіе Гоголя польстить ложной надеждой горячо любящей матери, которой всегда хотѣлось имѣть его поближе къ себѣ; ему уже приходилось не въ первый разъ употреблять этотъ пріемъ. Относительно Погодина могли быть другія соображенія; отклоняя убѣдительное приглашеніе передъ отъѣздомъ пріѣхать въ Москву, Гоголь находилъ, вѣроятно, неудобнымъ въ то же время сообщить о своемъ планѣ надолго оставить родину, тѣмъ болѣе, что ему было, можетъ

¹⁾ „Русск. Архивъ“, 1871 г., 4—5, стр. 91.

быть, уже извѣстно крайнее несочувствіе Погодина къ абсентеизму. Вообще первыя строки письма къ Погодину отъ 15 мая 1836 г., по соображенію ихъ съ другими источниками, оказываются явно неискренними: Гоголь давалъ обѣщанія единственно съ цѣлью успокоить пріятеля и вовсе не думая ихъ исполнить. Вотъ эти строки: „Я получилъ письмо твое. Приглашеніе твое убѣдительно, но никакимъ образомъ не могу: нужно захватить время пользования на водахъ“; для пріѣзда въ Москву не нужно было много времени, и притомъ Гоголь, какъ увидимъ, не только не пропустилъ срока, но успѣлъ собраться гораздо раньше, нежели сначала назначилъ себѣ. „Лучше пусть пріѣду къ вамъ въ Москву обновленный и осыѣженный. Пріѣхавши, я проживу съ тобою долго, потому что не имѣю никакихъ должностныхъ узъ и не намѣренъ жить постоянно въ Петербургѣ“¹⁾). Послѣднія слова могли быть сказаны преимущественно въ расчетѣ на возможное возвращеніе на родину раньше желаемого срока. Принимая въ соображеніе все сказанное, мы можемъ дать вѣру упомянутому выше проекту Гоголя, сообщенному имъ почти въ одинаковыхъ выраженіяхъ матери и Погодину, почти во всемъ его объемѣ, исключая, однако, его обѣщанія вернуться черезъ полтора года въ Россію. Погодина онъ теперь охотнѣе желалъ бы, вмѣсто несостоявшейся встрѣчи въ Москвѣ, склонить для будущаго свиданія на поѣздку въ Италію, куда тотъ также собирался пріѣхать.

Въ такихъ общихъ чертахъ сталъ обозначаться планъ поѣздки тотчасъ послѣ того, какъ съ освобожденіемъ отъ профессуры и хлопотъ по постановкѣ „Ревизора“ стали вообще возможны для Гоголя болѣе опредѣленные предположенія. Несмотря на то, что планъ составилъ чрезвычайно быстро, Гоголь, какъ увидимъ, долго оставался вѣренъ ему почти во всѣхъ подробностяхъ, пока его путешествіе не обратилось незамѣтно въ постоянное, безсрочное пребываніе въ чужихъ краяхъ. Но его отношенія къ предпринятой поѣздкѣ еще ранѣе успѣли перейти всѣ обычныя фазы измѣненій, отъ предварительнаго восторженнаго энтузіазма до утомленія и равнодушія, которыя, спустя нѣкоторое время, должны были уступить снова мѣсто пылкимъ увлеченіямъ. Мы знаемъ, что еще передъ выѣздомъ изъ Россіи Гоголь испытывалъ самыя разнородныя побужденія, одинаково приводившія его къ задуманному рѣшенію. Онъ указываетъ три главныхъ цѣли своей поѣздки: леченіе, разсѣяніе и приготовленіе къ будущимъ трудамъ. Между тѣмъ онъ еще не отдавалъ себѣ

¹⁾ Соч. и Письма Гоголя, V т., стр. 260.

самъ вполнѣ яснаго отчета въ сравнительной настоятельности каждаго изъ указанныхъ соображеній, такъ какъ въ отдѣльности всѣ они были указаны имъ правдиво, но ни одно не имѣло рѣшающаго значенія. Въ самомъ дѣлѣ, геморроиды мучили его не только въ послѣднее время его петербургской жизни, но начали сильно заявлять о себѣ еще во время поѣздки въ Малороссію лѣтомъ 1835 г., когда, подъ вліяніемъ ихъ, Гоголь не зналъ, куда дѣваться отъ тоски, и напрасно искалъ развлеченій. Напротивъ, выѣхавъ за границу, Гоголь совершенно, кажется, забылъ о нихъ и, явно противорѣча себѣ, сообщалъ матери и сестрамъ, что не намѣренъ долго оставаться въ Ахенѣ, ибо чувствуетъ себя *совершенно здоровымъ* и не видитъ нужды въ водахъ. И въ самомъ дѣлѣ, хотя тотчасъ послѣ этого онъ обязывается цѣлый рядъ болѣе извѣстныхъ нѣмецкихъ курортовъ, но совершаетъ это въ теченіе недѣли и нигдѣ не останавливаясь. Передъ выѣздомъ изъ Петербурга онъ, повидимому, по рекомендаціи и совѣту Жуковскаго, пишетъ письмо знаменитому берлинскому доктору Коппу, описывая ему свои недуги, и проситъ адресовать отвѣтъ въ Ахенъ, первое мѣсто болѣе продолжительной остановки; но въ Ахенѣ Гоголь остался недолго и отвѣта Коппа, вѣроятно, получить не успѣлъ. Правда, Гоголь писалъ впоследствии, что онъ много поправился во время самой дороги и почувствовалъ серьезное облегченіе, и это можетъ служить объясненіемъ измѣнчивости его намѣреній; но въ нѣкоторыхъ письмахъ онъ указывалъ, какъ главную причину путешествія, нравственныя побужденія. „Должны быть сильныя причины,—писалъ онъ Погодину уже изъ Италіи,—когда онѣ меня заставили рѣшиться на то, на что я бы не хотѣлъ рѣшиться“. Наконецъ, всѣ эти побужденія, присоединившись къ роковой неудачѣ „Ревизора“, совпали съ благопріятной возможностью имѣть во время большей части пути такого дорогого спутника, какъ любимаго товарища его дѣтства—Данилевскаго, и особенно съ врожденнымъ инстинктомъ туриста, сказавшимся въ слѣдующихъ заключительныхъ строкахъ статьи „Петербургскія записки 1836 года“, едва ли не имѣющихъ автобіографическое значеніе: „Петербургъ, во весь апрѣль мѣсяцъ, кажется, на подлетѣ и проч. Весело презрѣть сидячую жизнь и постоянство и помышлять о дальней дорогѣ подъ другія небеса, въ южныя зеленныя рощи, въ страны новаго и свѣжаго воздуха. Весело тому, у кого въ концѣ петербургской улицы рисуются подоблачныя горы Кавказа, или озера Швейцаріи, или увѣнчанная анемономъ и лавромъ Италія, или прекрасная и въ пустынности своей Греція... Но стой, мысль моя:

еще съ обѣихъ сторонъ около меня громоздятся петербургскіе дома". Поддаваясь этому инстинкту туриста, Гоголь годъ тому назадъ собрался ѣхать изъ Петербурга на Кавказъ и въ Крымъ, а въ 1836 г. мечталъ уже о наслажденіяхъ новыми впечатлѣніями за границей.

Сборы Гоголя въ дальній путь были очень короткіе. Петербургъ его поскорѣе оставилъ наскучившій Петербургъ возростало неудержимо и съ поразительной быстротой. Въ письмѣ къ матери, отъ 12 мая, онъ говорилъ, что „насчетъ поѣздки за границу *еще не рѣшилъ*", но думаетъ, что это предположеніе исполнится въ томъ же году, т.-е. въ 1836. Въ слѣдующемъ затѣмъ письмѣ, отправленномъ черезъ двѣ недѣли, онъ высказывалъ уже предположеніе пробыть въ Петербургѣ никакъ не долѣе мѣсяца, и не проходить съ тѣхъ поръ десяти дней, какъ онъ уже снова шлетъ извѣщеніе, что „захлопотанъ чрезвычайно, готовясь къ выѣзду, который имѣетъ быть *затрашнымъ днѣмъ*". Понятно поэтому, что Гоголю, ускоривъ до такой степени отъѣздъ, въ самомъ дѣлѣ пришлось торопиться чрезвычайно. Но замѣчательно, что среди этихъ сборовъ, заботъ и хлопотъ онъ, желая скорѣе вырваться изъ ненавистнаго душнаго города и тяготясь по обыкновенію лѣтнимъ опустѣніемъ столицы, хотѣлъ при всемъ томъ выѣхать не иначе, какъ приготовивъ прощальные подарки всѣмъ своимъ роднымъ. Это обстоятельство, какъ оно ни кажется мало-важнымъ, заслуживаетъ вниманія, указывая до нѣкоторой степени на исключительное настроеніе, въ которомъ находился Гоголь передъ отъѣздомъ, можетъ быть предполагая, что судьба не приведетъ его уже вернуться на родину. При извѣстной мнительности Гоголя и при неопредѣленности его положенія онъ могъ, дѣйствительно, собираясь на многіе годы въ даль, имѣть въ виду всѣ возможныя случайности. Если случалось ему и раньше посылать небольшіе подарки кому-нибудь изъ близкихъ родныхъ, то здѣсь обращаетъ на себя вниманіе какая-то забота не обойти рѣшительно никого изъ нихъ, при чемъ Гоголю пришлось вмѣстѣ съ прочими затратами употребить столько денегъ, что мать должна была потомъ доплатить за него извозчику, ѣхавшему съ частью его вещей и съ служившимъ ему въ Петербургѣ вѣрноподданымъ челоѣкомъ, достававшимъ 30 рублей.

IX.

Выѣхавъ изъ Петербурга на пароходѣ, Гоголь въ продолженіе почти двухъ недѣль ѣхалъ до Травемюнде. Всегда страдая во время морскихъ переѣздовъ отъ качки, онъ съ страшными мученіями выдержалъ жестокою бурю, о которой потомъ сообщилъ Жуковскому въ слѣдующихъ словахъ: „Наше плаваніе было самое несчастное. Въмѣсто четырехъ дней, пароходъ шелъ цѣлыя полторы недѣли, по причинѣ дурного и бурнаго времени и безпрестанно портившейся пароходной машины. Одинъ изъ пассажировъ, графъ Мусинъ-Пушкинъ, умеръ“. Матери и сестрамъ онъ остерегся рассказывать о своихъ миновавшихъ мученіяхъ, но и имъ писалъ также, что пароходъ „надоѣлъ ему жестоко“. Впрочемъ, во время пути у него, кромѣ его друга и постоянного спутника Данилевскаго, были еще другіе знакомые попутчики, одного изъ которыхъ, Золотарева, молодого человѣка, только-что окончившаго курсъ въ дерптскомъ университетѣ, онъ нерѣдко встрѣчалъ въ послѣдствіи во время своихъ заграничныхъ скитаній. На пароходѣ Гоголь познакомился также со многими случайными спутниками ¹⁾, какъ это всегда бываетъ при такомъ способѣ сообщенія; но однообразіе впечатлѣній и страхъ новыхъ

¹⁾ Объ этомъ Гоголь писалъ своимъ институткамъ-сестрамъ: „У насъ было очень большое общество, дамъ было чрезвычайно много, и многія страшно боялись воды. Одна изъ нихъ, м-мѣ Барантъ, жена французскаго посланника, просто кричала, когда сдѣлалась буря“. Съ Золотаревымъ же (Иваномъ Ѳеодоровичемъ), по словамъ покойнаго Данилевскаго, они ѣхали потомъ изъ Гамбурга въ Ахенъ и пѣли пѣсенку:

Счастливы тотъ, кто спилъ себѣ
Въ Гамбургѣ штанишки...
Благодаренъ онъ судьбѣ
За свои дѣлишки.

Вообще такіе шаловливые, а иногда и не совсѣмъ скромные стихи Гоголь и Данилевскій любили сочинять, когда были въ веселомъ настроеніи и скучали безъ дѣла, какъ это случалось, напр., во время путешествій. Золотаревъ былъ веселый молодой человѣкъ, сообщество котораго также много способствовало развлеченіямъ въ дорогѣ. (Можетъ быть, это былъ тотъ самый Золотаревъ, о которомъ упоминаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, какъ о бывшемъ дерптскомъ студентѣ, графъ В. А. Соллогубъ (см. именно Воспоминанія Соллогуба, изданныя въ 1866 г.). Отмѣченный нами фактъ любопытенъ, какъ новое свидѣтельство о томъ молодомъ веселѣ, котораго не чуждъ былъ Гоголь, когда въ немъ кипѣла жизнь. Какая яркая противоположность между Гоголемъ 1836 года и второй половины сороковыхъ, когда, по свидѣтельству Анненкова, онъ спивши въ время дороги закрыть воротникомъ шинели и „принималъ выраженіе каменнаго безстрастія“! („Крит. ст. и воспом.“, 1, 240.)

приступовъ морской болѣзни были причиной почти восторженнаго чувства, овладѣвшаго Гоголемъ при выходѣ на берегъ.

Дальнѣйшій бюллетень поѣздки мы находимъ въ слѣдующихъ словахъ перваго заграничнаго письма Гоголя къ матери: „Выбравшись изъ парохода, который мнѣ надоѣлъ жестоко, я проѣхалъ очень скоро Травемюнде, Любекъ и нѣсколько деревень, не останавливаясь почти нигдѣ до самаго Гамбурга“. Наконецъ, утомленіе заставило его нѣсколько пріостановить свой стремительный путь, что могло имѣть также иное основаніе: съ Гамбургомъ Гоголь не успѣлъ спокойно и неспѣшно ознакомиться въ свою первую поѣздку, такъ что этотъ городъ въ значительной степени представлялъ для него и теперь интересъ новизны. Онъ ничего не передаетъ на этотъ разъ матери о своихъ путевыхъ впечатлѣніяхъ, хотя въ первый разъ дорога до Гамбурга ему очень понравилась: эту дорогу онъ сравнилъ тогда съ „разнообразнымъ садомъ“. Но вниманіе его было снова остановлено въ Любекѣ и Травемюнде улицами узенькими до того, „что можно изъ окошка протянуть руку и пожать руку того, кто живетъ противъ васъ“. Въ Гамбургѣ Гоголь прожилъ не менѣе недѣли, отдыхая душой и имѣя возможность разсмотрѣть его лучше, нежели въ прежнее время. По тѣмъ чертамъ гамбургской жизни, которыя были на этотъ разъ уловлены Гоголемъ, и по способу, которымъ онъ пользовался для этой цѣли, можно предполагать, что въ это первое время своего путешествія онъ думалъ только объ отдыхѣ и развлеченіи. Прежде всего Гоголь естественно обратилъ вниманіе преимущественно на торгово-промышленный характеръ Гамбурга, а затѣмъ и на его увеселенія, такъ какъ вообще онъ старался замѣчать все, что могло знакомить его съ внѣшней стороною каждаго города. Общее впечатлѣніе отъ гамбургской жизни выражено Гоголемъ въ шутовомъ письмѣ къ сестрамъ въ словахъ: „Гамбургъ прекрасный городъ и жить въ немъ очень весело“. На гуляньяхъ, въ театрѣ, на набережной Гоголь съ одинаковымъ интересомъ наблюдалъ за всѣми характерными проявленіями чуждой ему заграничной жизни. Не разъ врожденное любопытство заставляло его посѣщать даже нелюбимые имъ обыкновенно балы, при чемъ однажды онъ совершенно мимоходомъ заглянулъ въ одинъ общественный домъ, гдѣ давался оригинальный матросскій балъ, игривое описаніе котораго онъ набросалъ своимъ маленькимъ сестрамъ-институткамъ въ живой и вполнѣ доступной ихъ возрасту характеристикѣ. Виды окрестностей Гамбурга также привлекали его; но заинтересованный болѣе общей картиной города и его кипуче-

чей жизнью, Гоголь даетъ въ своихъ письмахъ преимущественно бѣглый очеркъ своихъ впечатлѣній, небрежно схватывая мимоходомъ поразившія его наиболѣе характерныя особенности. Какъ мѣсто и сжато рисуетъ онъ, напримѣръ, общій видъ Гамбурга: „Для гуляній мѣста очень довольно. Садъ занимаетъ весь городской валъ и почти окружаетъ весь городъ. Изъ него много видовъ на городъ, котораго улицы мелькаютъ перспективами. Дома, налѣпленные на дома, крыши на крыши, и куча трубъ, въ самомъ разнообразномъ безпорядкѣ, почти безпрестанно передъ глазами и видны съ разныхъ точекъ. Кораблей приходитъ очень много“. Такой осмотръ городовъ и мѣстностей съ высоты птичьяго полета былъ вообще во вкусъ Гоголя: онъ давалъ ему возможность сразу обозрѣть незнакомый городъ во всѣхъ направленіяхъ и составить о немъ яркое представленіе. Кромѣ того, какъ художникъ, Гоголь любилъ обширныя панорамы и эффектныя перспективы. Такъ въ послѣдствіи ему особенно нравилось любоваться Римомъ съ высоты купола святого Петра, откуда видно море и далекая Кампанья. Въ повѣсти „Римъ“ онъ изобразилъ также свое восторженное настроеніе, приписанное герою отрывка, молодому итальянцу-князю, залюбовавшемуся вѣчнымъ городомъ съ площади возлѣ церкви San Pietro in Montorio. Все описаніе представившагося ему чуднаго вида, начиная со словъ: „передъ нимъ въ чудной сіяющей панорамѣ предсталъ вѣчный городъ“, безъ сомнѣнія, представляетъ передачу собственныхъ впечатлѣній автора, такъ любившаго осматривать Римъ также и съ Monte Pincio и съ другихъ возвышенныхъ пунктовъ.

Имѣя въ своемъ распоряженіи неограниченное количество времени, Гоголь спокойно предавался отдыху въ Гамбургѣ, и, какъ съ нимъ часто случалось въ тѣхъ городахъ, которые ему особенно нравились, онъ хотя и оставался пока вѣрнымъ предначертанному маршруту, позволялъ себѣ, однако, со дня на день откладывать продолженіе поѣздки. „Я не знаю еще навѣрное, — писалъ онъ матери, пробывъ въ Гамбургѣ уже нѣсколько дней, — когда я выѣду отсюда, завтра или послѣ-завтра“.

Первымъ совершенно незнакомымъ для Гоголя городомъ во время его путешествія былъ Бременъ, въ которомъ остановилъ на себѣ его вниманіе знаменитый подвалъ, замѣчательный своей способностью сохранять трупы нетлѣнными. Кромѣ того, какъ и въ первую поѣздку, Гоголя чрезвычайно интересовали готическіе соборы, которыхъ онъ не пропускалъ нигдѣ безъ самаго тщательнаго и подробнаго обзора. Даже въ письмѣ къ своимъ маленькимъ дѣвочкамъ-сестрамъ, безъ сомнѣнія, не много пони-

извѣстнымъ только въ архитектурѣ и мало ею интересовавшимся и вообще еще совершенно равнодушнымъ къ чудесамъ западно-европейскаго искусства, Гоголь не могъ воздержаться отъ восторженныхъ похвалъ бременскому собору, впрочемъ, какъ и всегда, заботливо стараясь войти въ кругъ ихъ интересовъ и пониманія, и сообщая только то, что могло ихъ дѣйствительно занять: „Еслибы вы увидѣли здѣшнюю церковь!—писалъ онъ:—такой старины вы еще нигдѣ не видѣли“. Здѣсь заслуживаетъ вниманія впервые сильно обнаружившаяся въ Гоголѣ страсть къ памятникамъ стариннаго искусства, особенно архитектуры,—страсть, которая нашла себѣ потомъ такую богатую пищу въ Римѣ. Матери онъ также сообщалъ, между прочимъ, что въ Мюнстерѣ „видѣлъ только наружность прекрасныхъ готическихъ церквей“. Послѣ Бремена передъ Гоголемъ по очереди быстро промелькнули Дрессельдорфъ, а затѣмъ земли мекленбургскія, ганноверскія, прусскія и датскія, хотя онъ проѣхалъ ихъ „медленною нѣмецкой ѣздой“, но нигдѣ не останавливался и ничѣмъ особенно не интересовался. Наконецъ онъ пріѣхалъ въ Ахенъ, гдѣ, впрочемъ, несмотря на прежнее намѣреніе пробыть тамъ мѣсяцъ или два, остался не болѣе нѣсколькихъ дней. Его предположеніе заняться тамъ изученіемъ иностранныхъ языковъ не состоялось и было отложено на неопредѣленное время. Черезъ нѣсколько времени, пріѣхавъ въ Швейцарію (въ Женеву), Гоголь думалъ-было возобновить свои занятія, но осуществилъ это—и то только отчасти—позднѣе въ Парижѣ, гдѣ онъ бралъ съ Данилевскимъ уроки итальянскаго языка у одного молодого француза Ноэля, между тѣмъ какъ въ Женевѣ онъ скоро сталъ тяготиться уроками и пришелъ къ заключенію, что для подобныхъ лингвистическихъ упражненій давно прошло время („Въ семь городѣ“, т.-е. въ Женевѣ, „я былъ въ пансіонѣ, гдѣ начиналъ было собачиться по-французски, но, смекнувъ, что мы съ тобой“—Данилевскимъ—„для пансіоновъ нѣсколько поустарѣли, удралъ въ Веве“).

Главной причиной разочарованія Гоголя въ Ахенѣ было, конечно, то, что ему нравились преимущественно оживленные города, въ то же время удовлетворявшіе и эстетическимъ наклонностямъ, и страсти къ наблюденіямъ, тогда какъ въ Ахенѣ было мало пищи для того и для другого, особенно вслѣдствіе крайне замкнутаго образа жизни значительной части населенія. Но здѣсь, какъ и всюду, ему чрезвычайно понравился изящный соборъ, съ окнами отъ земли до самаго верха, благодаря которымъ вся церковь свѣтла, какъ оранжерея. Во всемъ остальномъ впечатлѣніе отъ Ахена осталось у Гоголя самое неблагоприятное, совершенно

противоположное вынесенному имъ изъ знакомства съ Гамбургомъ. „Ахенъ,—говоритъ онъ между прочимъ, о его наружномъ видѣ,—лежитъ въ долинѣ и виденъ какъ на ладони, если взойти на одну изъ окружающихъ его горъ. Видъ его издали хорошъ, но вблизи ничто не поразитъ сильно, исключая развѣ вони. На водахъ здѣшнихъ ведутъ жизнь самую скучную, потому что всѣ воды находятся въ городѣ, а не за городомъ, какъ въ другихъ мѣстахъ. Оттого всѣ почти отдѣлены другъ отъ друга“.

Въ заочномъ преждевременномъ предпочтеніи Ахена другимъ германскимъ городамъ, которые собирался посѣтить Гоголь, видную роль играло, безъ сомнѣнія, историческое значеніе этого города; но интересы собственно археологическіе были у поэта въ сущности довольно слабы и онъ относился къ осматриваемымъ историческимъ достопримѣчательностямъ далеко не настолько внимательно, какъ можно было бы ожидать отъ бывшаго профессора, только-что оставившаго кафедру исторіи, и вообще отъ человѣка, дѣйствительно интересующагося наукой. Насколько Ахенъ заранѣе привлекалъ Гоголя связанными съ нимъ великими воспоминаніями, настолько послѣ поверхностнаго съ нимъ ознакомленія онъ произвелъ удручающее впечатлѣніе на нашего путешественника, гораздо болѣе искавшаго живыхъ впечатлѣній настоящей минуты, нежели склоннаго отдаваться изученію отжившей старины. Если въпослѣдствіи остатки древностей въ Римѣ возбуждали въ немъ живой восторгъ, то, конечно, главнымъ образомъ—своей художественно-живописной стороной.

Х.

Выѣхавъ изъ Ахена гораздо ранѣе предполагаемаго срока, Гоголь, согласно составленному прежде плану, заѣхалъ въ Кельнъ и, прокатившись по Рейну, посвятилъ нѣкоторое время на посѣщеніе наиболѣе извѣстныхъ „курортовъ“. Съ этихъ поръ онъ уже вступаетъ въ новый фазисъ путешествія, существенно отличающійся отъ перваго какъ нѣкоторымъ утомленіемъ, наступившимъ послѣ усиленнаго осмотра достопримѣчательностей въ разныхъ видѣнныхъ имъ мелкомъ городахъ, такъ и тѣмъ, что онъ понемногу совершенно втянулся въ скитальческую жизнь и освоился съ чуждымъ бытомъ и обстановкой, тогда какъ прежде его, какъ неопытнаго новичка, тянуло поскорѣе насладиться заманчивыми и неизвѣданными впечатлѣніями, на которые онъ набрасывался съ жадностью, какъ это видно изъ его писемъ, на-

полненных подробными разсказами о видѣнномъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что излишне частые переѣзды, мѣшая сосредоточенности наблюденій, всегда мѣткихъ и живыхъ, но тѣмъ не менѣе поверхностныхъ, въ то же время исключали всякую заботу о сколько-нибудь установившемся образѣ жизни, а тѣмъ болѣе всякую мысль о возобновленіи въ это время литературныхъ работъ. Безпрестанно переносясь съ мѣста на мѣсто, Гоголь еще слишкомъ мало заботился, повидимому, о подробностяхъ будущаго устройства своей жизни (хотя въ главныхъ своихъ потребностяхъ ему удалось, благодаря содѣйствію Жуковскаго, обезпечить себя еще до выѣзда изъ Петербурга) и, отдаваясь настоящему, единственно удовлетворялъ своей склонности туриста.

Такъ продолжалось около мѣсяца, по прошествіи котораго мы видимъ его уже въ новомъ настроеніи. Временная усталость сказала, однако, не только въ потребности отдыха, но еще болѣе въ нѣкоторой вялости воспринимаемыхъ впечатлѣній. Мы видѣли, какъ съ большимъ воодушевленіемъ онъ передавалъ недавно матери и меньшимъ сестрамъ малѣйшія подробности видѣннаго; теперь, напротивъ, онъ о многомъ не упоминаетъ вовсе, о другомъ говоритъ неохотно и вяло. Такъ, мы могли бы ожидать хотя небольшого описанія знаменитаго кельнскаго собора, послѣ подробнѣйшихъ сообщеній о другихъ, гораздо менѣе любопытныхъ готическихъ соборахъ, но о немъ, къ удивленію, Гоголь нигдѣ не обмолвился ни однимъ словомъ. Еще поразительнѣе могутъ показаться его нѣсколько даже раздражительные отвѣты на разпросы друзей о побѣдѣ по Рейну, о которой онъ заранѣе писалъ матери, что ему „изъ Кельна предстоитъ самое пріятное путешествіе на пароходѣ по Рейну“. „Это совершенная галерея, — прибавлялъ онъ съ восхищеніемъ: — съ обѣихъ сторонъ города, горы, утесы, деревни, словомъ — виды, которыхъ вы даже на эстампахъ рѣдко встрѣчали“. Но въ тонѣ первыхъ же строкъ слѣдующаго письма уже замѣтны слѣды усталости: „Получили ли вы мое письмо изъ Ахена? — спрашивалъ онъ: — съ того времени много городовъ, большихъ и малыхъ, промелькнуло мимо меня, и едва могу припомнить имена ихъ. Только путешествіе по Рейну осталось въ моей памяти“. Тотчасъ послѣ этого онъ уже прямо сознается: „Два дня шелъ пароходъ нашъ, и безпрестанные виды надоѣли мнѣ. Глаза устали совершенно, какъ въ панорамахъ или въ картинѣ“. Прокоповичу Гоголь уже окончательно отказывается передавать свои впечатлѣнія и описывать виды, говоря: „я не пишу къ тебѣ о всѣхъ городахъ и земляхъ, которые я проѣхалъ, во-первыхъ, потому, что о поло-

винѣ ихъ писалъ къ тебѣ Данилевскій, котораго перо и взглядъ, можетъ быть, живѣе моихъ, а во-вторыхъ, потому, что право нечего о нихъ писать. Изъ всѣхъ воспоминаній моихъ осталось только воспоминаніе о безконечныхъ обѣдахъ, которыми преслѣдуетъ меня обжорливая Европа, и то потому, что ихъ хранить желудокъ, а не голова“.

Несмотря на утомленіе, нѣкоторое время Гоголь все еще продолжалъ слишкомъ неумѣренно подвергать себя притоку новыхъ впечатлѣній: уже одинъ бѣглый перечень мѣстъ, въ которыхъ онъ успѣлъ перебивать послѣ Ахена въ продолженіе какихъ-нибудь десяти дней, невольно поражаетъ, особенно если принять въ соображеніе, что въ этотъ короткій промежутокъ онъ былъ также въ Кѣльнѣ, проѣхалъ по Рейну и остановился, хотя не надолго, во Франкфуртѣ-на-Майнѣ, городѣ, наиболѣе понравившемся ему послѣ Гамбурга изъ всѣхъ нѣмецкихъ городовъ, хотя онъ не хотѣлъ оставаться въ немъ по антипатіи къ „жидовскимъ городамъ“. „Я не могу до сихъ поръ выбраться изъ минеральныхъ водъ; проѣхалъ Ахенъ, теперь пошли другія: Крейцнахъ, Баденъ-Баденъ, эмскія, висбаденскія, шлангенбадскія, лангентшвальбахскія, словомъ — несчетное множество“. Такая лихорадочная быстрота передвиженія, конечно, не могла долго продолжаться: собравшись ѣхать изъ Франкфурта въ Швейцарію, Гоголь долѣе, чѣмъ предполагалъ, остановился въ Баденъ-Баденѣ, чему особенно способствовала неожиданная встрѣча съ нѣсколькими знакомыми русскими семействами; къ тому же очаровательное мѣстоположеніе Баденъ-Бадена приводило его въ восхищеніе. По словамъ Гоголя, „оно такъ картинно, что можно только восторгаться, а не перомъ нацарапать. Городъ между горами, раскинутыми на уступѣ одной изъ нихъ“ и проч.

Въ числѣ семействъ, встрѣченныхъ Гоголемъ въ Баденъ-Баденѣ, онъ особенно сблизился съ Балабиными и Репниными. По слыханнымъ нами воспоминаніямъ княжны В. Н. Репниной, родные ея находились въ то время въ Баденъ-Баденѣ, потому что тамъ временно проживала жена графа Куселева-Безбородко, мать извѣстнаго впослѣдствіи основателя и перваго редактора „Русскаго Слова“. Въ настоящее время отъ этого далекаго прошлаго г-жа Репнина припоминаетъ лишь немногое; но общее настроеніе Гоголя въ Баденѣ ей хорошо памятно. „Мы скоро съ нимъ сошлись, — рассказывала она намъ; — онъ былъ очень оживленъ, любезенъ и постоянно смѣшилъ насъ“. По словамъ княжны Репниной, Гоголь ежедневно заходилъ къ нимъ, сдѣлался совершенно своимъ человѣкомъ и любилъ бесѣдовать съ бывшей своей

ученицей, Марьей Петровной Балабиной (нынѣ госпожей Вагнеръ) и съ ея матерью, Варварой Осиповной. Варвара Николаевна Репнина, замѣтивъ пристрастіе Гоголя къ десерту и лакомствамъ, старалась ему угодить и, желая доставить ему удовольствіе, собственноручно готовила для него компотъ, который чрезвычайно нравился Гоголю; такой компотъ онъ обыкновенно называлъ „главнокомандующимъ всѣхъ компотовъ“. Въ это время Гоголь неподражаемо-превосходно читалъ Марьѣ Петровнѣ Балабиной „Ревизора“ и „Записки Сумасшедшаго“, и своимъ чтеніемъ приводилъ всѣхъ въ восторгъ; а когда онъ дошелъ однажды до того мѣста, въ которомъ Поприщинъ жалуется матери на производимыя надъ нимъ истязанія, Варвара Осиповна Балабина не могла выдержать и зарыдала. О себѣ княжна Репнина прибавляетъ по этому поводу, что, съ молодыхъ лѣтъ никогда не посѣщая театра, она, —единственно благодаря необыкновенно мастеровскому чтенію Гоголя и особенно его искусству, перемѣняя безпрестанно голосъ, произноситъ весьма типично діалоги дѣйствующихъ лицъ, —заранѣе составила себѣ вполне удовлетворительное и вѣрное представленіе о театрѣ.

Благодаря такому пріятному сообществу въ Баденѣ, Гоголь совершенно отдохнулъ отъ усталости физической и нравственной и замѣтно оживился, тогда какъ прежде его изнеможеніе доходило до апатіи („Мѣстъ для гулянья въ окрестности страшное множество; но на меня такая напала лѣнь, что никакъ не могу приневолить себя все обсмотреть. Каждый день собираюсь пораньше встать, и всегда почти проспю“ ¹⁾...). Съ другой стороны, важно то, что онъ именно здѣсь *въ первый разъ* вступилъ неожиданно для самого себя, на новый путь постоянного общенія съ временно-проживавшими за границей знатными соотечественниками. Впослѣдствіи Гоголя не мало упрекали въ литературѣ, — а раньше въ письмахъ, — нѣкоторые изъ наиболее близкихъ его друзей ²⁾ за предполагаемое въ немъ стремленіе во что бы ни стало войти въ аристократическія сферы, гдѣ, какъ обыкновенно полагали, ему приходилось играть не очень завидную роль. Не принимая здѣсь на себя защиты Гоголя передъ потомствомъ въ данномъ отношеніи, мы указали бы лишь на то, что первымъ шагомъ его на этомъ поприщѣ явилась непредвидѣнная встрѣча и быстро послѣдовавшее за нею сближеніе съ Балабинными и Репнинными, изъ которыхъ съ первыми онъ былъ коротко зна-

¹⁾ Соч. Гог., изд. Кул., т. V, стр. 271.

²⁾ „Русскій Вѣстникъ“, 1890, XI, 84—88.

комъ еще въ Петербургѣ, а послѣдніе познакомились съ нимъ въ Баденъ-Баденѣ по родству съ Балабиными (Елизавета Петровна Балабина, старшая дочь Петра Ивановича и Варвары Осиповны Балабиныхъ, была замужемъ за Василиемъ Николаевичемъ Репнинымъ, единственнымъ братомъ княжны Варвары Николаевны). Чрезвычайно важны поэтому его слова въ письмѣ къ матери, отъ 14-го (26) августа 1836 г., изъ Бадена: „Теперь живу на знаменитыхъ водахъ баденъ-баденскихъ, куда *запыхалъ только на три дня, и откуда уже три недѣли не могу выбраться*“ ¹⁾; а также слова предъидущаго письма, гдѣ онъ просилъ мать адресовать письма въ Швейцарію—въ Лозанну, куда надѣется пріѣхать *на слѣдующей недѣлѣ* ²⁾. Въ письмѣ къ Прокоповичу онъ прямо объясняетъ свою продолжительную остановку въ Баденъ-Баденѣ тѣмъ, что встрѣтилъ „много знакомыхъ“; но онъ ошибается и преувеличиваетъ, говоря, что пробылъ тамъ почти мѣсяцъ, такъ какъ по приблизительному расчету онъ могъ прожить тамъ только отъ 14-го или 15-го іюля до 4-го августа 1836 г.

Какъ въ Ахенѣ Гоголь неожиданно отступилъ отъ заранѣе составленнаго плана, оставивъ раньше времени этотъ городъ, въ которомъ не нашелъ ничего, что могло бы удерживать его, такъ точно совершенно въ разрѣзъ съ этимъ планомъ онъ загостился теперь въ Баденъ-Баденѣ. Между тѣмъ въ жизни, свободной отъ строгаго режима, установившагося обычая и проложенной колеи, одинъ непредвидѣнный шагъ легко и незамѣтно можетъ повлечь за собой многіе другіе въ томъ же родѣ, что имѣло на этотъ разъ особенное значеніе въ виду совпаденія его съ наступленіемъ того критическаго момента, когда прежній временный *modus vivendi* долженъ былъ такъ или иначе уступить иному, болѣе постоянному.

Прощаясь съ Марьей Петровной Балабиной, Гоголь условился вести съ ней переписку и даже сообщать въ ней всѣ самыя ничтожныя и малѣйшія подробности своихъ впечатлѣній. Теперь онъ уже слѣдитъ за продолженіемъ ея пути и не выпускаетъ изъ виду такъ радушно принявшее его въ Баденѣ семейство, а иногда и соображаетъ съ этимъ свой маршрутъ ради новой встрѣчи, безъ сомнѣнія чрезвычайно пріятной и желательной на чужбинѣ. До сихъ поръ его единственнымъ дорогимъ

¹⁾ Соч. Гог., т. V, стр. 271.

²⁾ Тамъ же, стр. 270.

спутникомъ и товарищемъ былъ Данилевскій; теперь для него становятся такими же желанными встрѣчи съ Балабиными.

Въ первомъ же письмѣ изъ Швейцаріи, согласно уговору, Гоголь въ шутиломъ тонѣ рассказываетъ своей бывшей ученицѣ, какъ и куда онъ отправился послѣ ихъ разлуки, какъ, пообѣдавъ въ гостинницѣ, сѣлъ въ дилижансъ, отправлявшійся въ Веве, и все до мельчайшей мелочи, что только произошло съ нимъ въ дорогѣ. Въ заключеніе онъ прибавляетъ: „Еще одно, не въ шутку, весьма нужное слово. Присоедините вашу просьбу къ моей и упросите вашу маменьку пріѣхать сегодня же или завтра въ Веве, если не состоится ваша поѣздка въ Женеву“. Истощая доводы въ пользу совѣтуемой поѣздки, Гоголь, наконецъ, предлагаетъ Балабиной и свои услуги проводить ее обратно отъ Веве до Лозанны. По воспоминаніямъ В. Н. Репниной, Гоголь былъ чрезвычайно ласковъ и почтителенъ со старухой Балабиной и всегда цѣловалъ у нея руку; онъ съ нею состоялъ отчасти въ перепискѣ и былъ еще дружнѣе, нежели съ ея молодой дочерью; но на этотъ разъ онъ все-таки почему-то еще не хотѣлъ писать ей лично и просилъ дочь замолвить слово въ пользу его проекта.

XI.

Виды Швейцаріи, особенно ея величественныя снѣговыя горы, скоро привели снова Гоголя въ восторженное состояніе, и оно отразилось особенно въ письмахъ къ М. П. Балабиной, которой онъ съ восхищеніемъ говорилъ: „Я васъ поведу садами, лѣсами; вокругъ насъ будутъ шумѣть ручьи и водопады; мы будемъ идти прекраснѣйшей долиной“, и проч. Съ такимъ же почти восторгомъ онъ описывалъ матери свое восхожденіе на Альпы до снѣговой линіи. Но все это было вначалѣ. Спустя мѣсяцъ Гоголь охладѣлъ такъ же и къ видамъ Швейцаріи, какъ прежде ко всему, что встрѣчалось ему на пути черезъ разныя мѣста Германіи. Въ концѣ сентября 1836 г. онъ писалъ Прокоповичу: „Что тебѣ сказать о Швейцаріи? Все виды да виды, такіе, что мнѣ отъ нихъ становится, наконецъ, тошно, и еслибы мнѣ попалось теперь наше подлое и плоское русское мѣстоположеніе, съ бревенчатою избою и съ сѣренькимъ небомъ, то я былъ бы въ состояніи имъ восхищаться, какъ новымъ“.

Отвлеченный наплывомъ разнородныхъ впечатлѣній, Гоголь нѣсколько поверхностно отнесся къ горю, постигшему его семью въ далекой Полтавѣ: въ это время умеръ его зять, П. О. Труш-

ковскій, человѣкъ, впрочемъ, не пользовавшійся его расположеніемъ, да въ сущности и мало ему знакомый. Съ его именемъ у Гоголя соединялось преимущественно грустное воспоминаніе о разореніи матери, увлеченной его непрактичными совѣтами при учрежденіи кожевеннаго завода въ деревнѣ. Въ отвѣтъ своей матери на полученное печальное извѣстіе Гоголь отнесся и на этотъ разъ къ совершившемуся факту такъ, какъ въ раннемъ дѣтствѣ къ смерти своего отца: разсудочными доводами онъ старается утѣшить мать и сестру и уговорить ихъ перенести постигшее ихъ горе съ истинно-христіанскимъ смиреніемъ.

Между тѣмъ, съ наступленіемъ осени, Гоголь вспомнилъ о давно оставленномъ литературномъ трудѣ: „Прожатавшись лѣто на водахъ, — писалъ онъ Жуковскому, — я перебрался на осень въ Швейцарію. Я хотѣлъ скорѣе уѣхать на мѣстѣ и заняться дѣломъ; для этого поселился въ загородномъ домѣ близъ Женевы“. Но въ Швейцаріи его сильно охватило мучительное чувство одиночества, и хотя онъ забывался за вдохновенной творческой работой и за перечитываніемъ своихъ любимыхъ классиковъ (Шекспира, Мольера и Вальтеръ-Скотта), но не могъ заглушить въ сердцѣ незамѣтно подкрѣпшуюся тоску, особенно когда долженъ былъ отказаться отъ надежды увидѣться въ Веве съ Балабиными. Онъ ежедневно сталъ выходить на пароходную пристань, въ надеждѣ встрѣтить въ густой толпѣ высаживающихся на берегъ пріѣзжихъ кого-нибудь изъ близкихъ знакомыхъ. Особенно хотѣлось бы ему снова пожить съ Данилевскимъ. Ежедневно, въ опредѣленные часы, онъ отрывался отъ работы для прогулки на пристань, и былъ принужденъ каждый разъ возвращаться съ стѣсненнымъ сердцемъ и досадой на пріѣзжающихъ длинноногихъ „англишей“, которыхъ усердно бранилъ въ письмахъ въ Данилевскому и Балабиной. Оставалось искать утѣшенія въ упорномъ трудѣ, успѣху котораго сильно благопріятствовало уединеніе и возможность сосредоточиться наединѣ. Планъ „Мертвыхъ Душъ“ значительно расширился и уяснился („Все начатое передѣлалъ я вновь, обдумалъ болѣе весь планъ и теперь веду его спокойно, какъ лѣтопись“). По утрамъ Гоголь напряженно работалъ, „вписывалъ по три страницы въ поэму, и смѣху отъ этихъ страницъ было достаточно, чтобы усладить одинокій день“. Все это хранилось въ строжайшей тайнѣ, о которой могли знать только Пушкинъ, Жуковский и Плетневъ. Впрочемъ онъ также глухо сообщалъ объ этомъ Данилевскому, не посвящая его во всю тайну. Иногда Гоголь отправлялся прогуливаться по окрестностямъ, вспоминая при этомъ любимыя мѣста Жуковского, раз-

сказы котораго и печатные мемуары о путешествіи были ему, конечно, очень памяты.

Наконецъ, получивъ письмо отъ Данилевскаго съ извѣщеніемъ о томъ, что онъ въ Парижѣ, Гоголь почти немедленно собрался въ путь для свиданія съ другомъ. Провоповичу онъ прямо объяснилъ, что, узнавъ отъ Данилевскаго о его скукѣ въ Парижѣ, рѣшился ѣхать раздѣлить ее съ нимъ. Жуковскому онъ также сообщилъ о томъ, что заѣхалъ въ Парижъ почти противъ намѣренія, и тамъ встрѣтилъ своего двоюроднаго брата, съ которымъ выѣхалъ изъ Петербурга. Если главное побужденіе, которое привело Гоголя въ Парижъ, здѣсь отодвинуто на второй планъ, то это совершенно объясняется незнакомствомъ Жуковскаго съ Данилевскимъ, о которомъ Гоголь здѣсь сообщаетъ ему въ первый разъ. Что во всякомъ случаѣ отсутствіе знакомыхъ побудило Гоголя раньше времени оставить Веве, ясно уже изъ его предположеній по этому поводу. Въ письмѣ къ Погодину, писанномъ въ сентябрѣ, онъ высказывалъ намѣреніе надолго „положить свою дорожную палку въ уголъ и остаться въ Женевѣ или Веве“. Послѣдній городъ ему очень понравился, и онъ писалъ Данилевскому: „Съ прекрасными синими и голубыми горами, его обнесшими, я сдѣлался пріятель; старая тѣнистая каштановая аллея надъ самымъ озеромъ видала меня каждый день, сидящаго на скамьѣ“, и проч.; но несмотря на эти эстетическія наслажденія, всегда высоко цѣнимыя Гоголемъ, онъ тутъ же упоминаетъ, что не нашелъ въ Веве никого изъ русскихъ. Такимъ образомъ, встрѣча съ соотечественниками становится теперь для него почти необходимостью.

Съ другой стороны, рѣшенію Гоголя ѣхать въ Парижъ много способствовала также начавшаяся въ Італіи холера, вслѣдствіе чего первоначальный планъ по необходимости не могъ быть удержанъ въ своей неприкосновенности.

ХП.

Освободившись отъ первыхъ лихорадочныхъ увлеченій туриста, Гоголь начиналъ вспоминать и объ отсутствующихъ друзьяхъ. Только отношенія его къ Максимовичу, прежде столь близкія и дружественныя, были теперь надолго забыты. Къ Погодину онъ написалъ раньше всѣхъ, а вскорѣ послѣ того и къ Провоповичу. Въ обоихъ письмахъ, раздѣленныхъ промежуткомъ въ нѣсколько дней, живо отразилось тогдашнее душевное состояніе автора.

то бессознательное, непреодолимое чувство любви къ родинѣ и тоски по ней, которое нѣсколько лѣтъ спустя такъ прекрасно вылилось жгучимъ горячечнымъ воплемъ въ его безсмертномъ лирическомъ отступленіи о Руса („Русь! Русь! вижу тебя, изъ моего чуднаго, прекраснаго далека тебя вижу: бѣдна природа въ тебѣ“ и проч.) и о птицѣ-тройкѣ. Конечно, то же сильное чувство, которое наскоро и небрежно было выражено Гоголемъ въ приведенныхъ выше строкахъ письма къ Прокоповичу, пройдя черезъ призму художественной обработки, должно было получить потомъ всю захватывающую и потрясающую силу восторженнаго, вдохновеннаго гимна. И вотъ въ минуты прилива горячаго, страстнаго чувства любви къ родинѣ Гоголь говаривалъ: „И для меня теперь Петербургъ остался чѣмъ-то пріятнымъ“, гдѣ самымъ дорогимъ для него существомъ послѣ Пушкина былъ Прокоповичъ, и его-то онъ приглашалъ однажды вспомнить при свиданіи и „Нѣжинъ, и Петербургъ, и его гадость“. Вообще, въ своей перепискѣ съ Прокоповичемъ, какъ впрочемъ и естественно, Гоголь проявляетъ наибольшую теплоту чувства, исключая развѣ писемъ къ Данилевскому и Погодину. Съ Прокоповичемъ Гоголь говоритъ отъ души и даетъ ему разныя ласковыя прозвища, и хотя уже въ тридцатыхъ годахъ отчасти относится къ своему пріятелю въ покровительственномъ тонѣ, но даже самый объемъ писемъ (изъ которыхъ одно занимаетъ почти десять печатныхъ страницъ обыкновеннаго журнальнаго формата) указываетъ несомнѣннымъ образомъ на самое искреннее расположеніе. Гоголь считалъ Прокоповича чрезвычайно даровитымъ и симпатичнымъ человекомъ, но излишне скромнымъ и способнымъ черезъ-чуръ легко мириться съ незавиднымъ удѣломъ мелкаго труженика. Зная его смиренный характеръ, Гоголь сильно побаивался, чтобы его не затулила мирная семейная обстановка и не заглушила въ немъ благородныхъ стремленій; и въ самомъ дѣлѣ, опасенія его потомъ въ значительной степени оправдались. Всѣ убѣжденія истощалъ Гоголь, чтобы побудить его испробовать себя на литературномъ поприщѣ, ожидая отъ него многого въ будущемъ. Гоголь нисколько не стѣснялся при этомъ съ своимъ старымъ товарищемъ и откровенно ставилъ себя неизмѣримо выше его; но при томъ высокомъ положеніи, которое онъ уже тогда занималъ въ литературѣ, говорить иначе было бы уже „ненужной и смѣшной гримасой“. „Одна только слава по смерти,—говорилъ Гоголь, примѣняя эти послѣднія слова къ самому себѣ,—знакома душѣ неподдѣльнаго поэта. А современная слава не стоитъ копѣйки“, и тутъ же прибавляетъ: „Но ты долженъ узнать ее. Ты долженъ

начать съ нея непремѣнно, вкусить и горькіе, и сладкіе плоды, покамѣстъ безотчетныя лирическія чувства объемлютъ душу и не потребовалъ тебя на судъ твой внутренній грозный судія". Заимѣтимъ встати, что убѣжденія и совѣты Гоголя Прокоповичу любопытны особенно тѣмъ, что здѣсь въ первый разъ проявилась склонность Гоголя говорить съ близкими людьми въ самоуверенно-учительномъ тонѣ; замѣчательно также, что и это письмо также было написано *еще при жизни Пушкина* (въ самомъ началѣ 1837 года). Впослѣдствіи отношенія Гоголя къ Прокоповичу сдѣлались невыносимо высокомерными, какъ свидѣтельствуешь о томъ въ „Литературныхъ воспоминаніяхъ“ Панаевъ, но объ этомъ рѣчь еще впереди; притомъ и Панаевъ передаетъ слова людей, ближе его знавшихъ какъ Гоголя, такъ и Прокоповича, о томъ, что въ его обращеніи къ послѣднему съ теченіемъ времени произошла значительная переимѣна, и что вначалѣ ихъ отношенія были гораздо проще и искреннѣе.

Обращаясь къ характеристикѣ отношеній Гоголя къ его московскимъ пріятелямъ въ рассматриваемое нами время, мы должны прежде всего вспомнить, что, успокоивая ихъ передъ отъѣздомъ, онъ назначалъ срокомъ своего возвращенія на родину приблизительно весну слѣдующаго года. Въ тяжелые дни всеобщаго раздраженія противъ него, Гоголь, конечно, не могъ не опѣнить безкорыстную преданность небольшого кружка искреннихъ почитателей его въ древней столицѣ. Онъ потрясенъ, онъ глубоко тронутъ участіемъ, тѣмъ болѣе дорогимъ, что не встрѣчалъ и тѣни его въ Петербургѣ. Это обстоятельство одно только можетъ объяснить намъ, почему онъ внезапно перенесъ съ Кіева свои дружественныя симпатіи на Москву. Не далѣе, какъ за два года передъ отъѣздомъ за границу, онъ презрительно отзывался о Москвѣ въ интимныхъ письмахъ къ Максимовичу, величая ее „старой толстой бабой, отъ которой, кромѣ шей да площадной брани, ничего не услышишь“. Въ „Петербургскихъ запискахъ 1836 года“ Москва также изображена не совсѣмъ съ привлекательной стороны, особенно по сравненію ея съ „вытянувшимся въ струнку щеголемъ Петербургомъ“. Теперь онъ предполагаетъ, напротивъ, „по возвратѣ изъ-за границы надолго основаться въ Москвѣ“, такъ какъ съ петербургскимъ климатомъ онъ „совершенно въ раздорѣ“; онъ—будущій „постоянный житель столицы древней“; его „сердце наполнено благодарностью къ ней за вниманіе“; онъ „съ гордостью понесетъ въ душѣ своей эту просвѣщенную признательность старой столицы изъ родины и сбережетъ какъ святыню въ чужой землѣ“. Если хотя половина этихъ увѣреній

искренна, то и это можетъ служить достаточнымъ свидѣтельствомъ въ пользу сердечной теплоты и радушія московскихъ друзей, успѣвшихъ заложить въ Гоголѣ прочную симпатію къ самому городу, въ которомъ они жили, хотя впрочемъ всегдашній скептицизмъ не позволялъ Гоголю отвести душу и на этой симпатіи москвичей. Гоголь искалъ причины ея и находилъ въ соображеніи, что „портретъ Москвы нигдѣ не былъ виденъ въ его произведеніяхъ“. Въ пользу искренности Гоголя въ его выраженіи благодарности Москвѣ,—хотя, конечно, здѣсь не обошлось безъ энергическаго преувеличенія,—слѣдуетъ припомнить, что въ эту пору Римъ еще не былъ для него святыней, и что если позднѣе Римъ „увлекъ и околдовалъ“ его, то и послѣ знакомства съ Римомъ онъ нерѣдко говаривалъ, что „кто сильно вжился въ жизнь римскую, тому послѣ Рима только Москва и можетъ нравиться“. Отъ воспоминаній о Россіи и въ частности о Москвѣ, а также о родной Украинѣ, Гоголь никогда не могъ отрѣшиться, даже въ чадѣ самаго пылаго упоенія чудесами чужестранной природы и искусства; напротивъ, разлука съ Россіей всегда тотчасъ же давала ему чувствовать, какъ безавѣтно-горячо онъ любилъ ту самую Русь, о которой въ минуту раздраженія когда-то съ презрѣніемъ выразился: „о, старая рыжая борода, когда ты поумнѣешь?“ Находясь на чужбинѣ, онъ, напротивъ, съ искреннимъ чувствомъ воспоминаетъ о Россіи, даже когда говоритъ о пережитыхъ неприятностяхъ: „Или ты думаешь, мнѣ ничего, что мои друзья, что вы отдѣлены отъ меня горами? Или я не люблю нашей неизмѣримой, нашей родной русской земли! Я живу около года въ чужой землѣ, вижу прекрасныя небеса, міръ, богатый искусствами и человекомъ; но развѣ перо мое принялось описывать предметы, могущіе поразить всякаго? Ни одной строки не могъ я посвятить чуждому. Непреодолимою цѣпью прикованъ я къ своему, и нашъ бѣдный, неяркій міръ нашъ, наши курныя избы, обнаженные пространства, предпочелъ я небесамъ лучшимъ, привѣтливѣе глядѣвшимъ на меня. И я ли послѣ этого могу не любить своей отчизны?“

В. Шенроуъ.



ВЪ ЧАДУ ЛЮБВИ

— Im Liebesrausch. Berliner Roman, von Heinz Tovote *).

I.

Холодный январскій вихрь бушевалъ надъ Берлиномъ. Съ громкимъ завываньемъ проносился онъ надъ крышами и мимо заиндевѣвшихъ оконъ, валилъ съ ногъ прохожихъ, робко ступавшихъ по сѣрымъ, скользкимъ мостовымъ и тротуарамъ. За нимъ слѣдомъ неслись и метались въ воздухѣ безпкойныя снѣжныя

*) Гейнцъ Товотъ—одинъ изъ главныхъ представителей нѣмецкой реалистической школы. Съ самаго своего дебюта на литературномъ поприщѣ, въ 1890 году, онъ приобрѣлъ извѣстность и съ тѣхъ поръ успѣлъ выпустить въ свѣтъ восемь романовъ, девятый—готовится къ печати. Первый изъ нихъ—„Im Liebesrausch“, хотя одновременно (и даже немного ранѣе, но въ томъ же, 1890 году) вышелъ сборникъ его мелкихъ рассказовъ, „Fallobs“. Затѣмъ, въ скоростн одинъ за другимъ, появились въ печати: „Mutter“, „Frühlingssturm“ и „Das Ende“,—цѣлая серия подъ общимъ названіемъ: „Moderne Liebestragödie“. И въ самомъ дѣлѣ, изъ содержаніе составляютъ трагическія стороны современной любви, при чемъ самой излюбленной темой Товотъ является вопросъ о неравномъ бракѣ или, вѣрнѣе, о бракѣ съ женщиною сомнительной репутаціи. Г. Товотъ—писатель бытовой по преимуществу. Обильный матеріалъ для его произведеній доставляетъ ему Берлинъ, какъ столица Германіи и какъ его собственное любимое мѣсто-пробываніе. Онъ, однако, не коренной пруссакъ по происхожденію (родомъ изъ Вѣны), и это, вмѣстѣ съ его реалистическими взглядами и приѣмами, даетъ поводъ Максу Нордау безпощадно громить его самого и его слога, какъ громить онъ столповъ современной беллетристики: Льва Толстого, Эмиля Золя, Гюи де-Мопассана и др. Насколько Товотъ—писатель выдающійся и достойный вниманія, видно, между прочимъ, и изъ того, что Нордау горячо нападаетъ („Die Entartung“, стр. 478) на этого еще очень молодого писателя наряду съ такими ветеранами литературы, каковы Толстой и Золя.—Перев.

крупинки, падавшія неровнымъ дождемъ на крыши и на тротуары, гдѣ онѣ и обращались въ тонкую ледяную кору.

Былъ седьмой часъ на исходѣ. Подъ электрическими огнями Фридрихштрассе сновали взадъ и впередъ самые разнообразныя экипажи, начиная съ легкихъ дрожекъ и кончая тяжелыми омнибусами, которые, на ряду съ ломовыми, не мало затрудняли движеніе легковыхъ экипажей. Съ козелъ „собственной“ кареты, запряженной рысаками, кучеръ, укутанный въ теплый тулупъ на бѣломъ пушистомъ мѣху, съ презрѣніемъ поглядывалъ съ высоты своего величія на жалкихъ лошаденосъ, которыя смиренно тащили извозчичьи „Droschken“.

На мосту Гербертъ фонъ-Дюрень хотѣлъ-было взглянуть на темные берега лѣнливой Шпрее, на поѣздъ городской желѣзной дороги, который шелъ по ея желѣзному мосту, но оконныя стекла его теплой и уютной кареты такъ замерзли, что ему пришлось дыханіемъ отогрѣть на нихъ маленькое мѣстечко и протереть его вдобавокъ рукою. Удостоверившись, что передъ нимъ все тотъ же хорошо знакомый путь къ театру Фридриха-Вильгельма, онъ опять откинулся на спинку сидѣнья и задумался.

Возможность занять кресло въ рейхстагѣ была для него теперь ближе, чѣмъ онъ ожидалъ: затянувшаяся болѣзнь одного изъ стариковъ была тому причиной.

Уже не разъ вниманіе публики было привлечено нѣкоторыми брошюрами молодого фонъ-Дюрена, въ которыхъ онъ разбиралъ современные вопросы дня, разбиралъ ихъ живо и умно. Послѣ смерти отца онъ явился главой семьи; братъ его Максъ все еще оставался въ офицерахъ, но онъ самъ, послѣ франко-прусской кампаніи, промѣнялъ шашку на перо...

Голубоватый огонь электричества, которымъ былъ освѣщенъ театральныи подъѣздъ, проникъ сквозъ заиндевѣвшія окна въ карету. Гербертъ поспѣшилъ выпрыгнуть изъ экипажа и перешагнуть за порогъ теплыхъ и свѣтлыхъ сѣней. Сбросивъ шубу на руки лакея, онъ взялъ у него свой бинокль и, проходя черезъ фойе, украшенное пестрыми японскими вѣерами, мимоходомъ посмотрѣлся въ зеркало. Капельдинеръ почтительно привѣтствовалъ „его сіятельство“ и съ глубокимъ поклономъ отворилъ дверь въ ложу.

Уже третій разъ приходилось Герберту слушать „Микадо“, но эта оперетка Сюлливана не столько нравилась ему по своему содержанію, сколько по музыкѣ, которую онъ иногда, даже среди серьезныхъ занятій, вспоминалъ невольно. Случалось, что онъ не могъ, въ такомъ случаѣ, удержаться отъ искушенія запѣть

любимый мотивъ и отрывался на минуту отъ письменнаго стола, чтобы подойти къ роялю и подыграть себѣ.

Увертюра только-что началась. Сосѣднія логи были еще не заняты. Напротивъ Герберта сидѣлъ въ ложѣ и кланялся ему графъ Эббингенъ съ своимъ кузеномъ фонъ-Бренкенгоффомъ, который недавно пріѣхалъ и котораго онъ посвящалъ во всѣ прелести столичной жизни.

— Скажи, пожалуйста,—обратился къ кузену Гансъ Бренкенгоффъ, проводя рукой по своимъ чернымъ, гладко-причесаннымъ волосамъ и движеніемъ мускуловъ выпуская изъ глаза щегольской монокль:—вы съ Дюреномъ, кажется, были когда-то дружны?

— Да, только очень давно, лѣтъ тринадцать, четырнадцать тому назадъ... Но съ тѣхъ поръ мы разошлись...—И понизивъ голосъ, чтобы не мѣшать звукамъ увертюры, прибавилъ:—Дюренъ вышелъ въ отставку изъ-за какой-то тамъ глупой исторіи, которую слишкомъ принялъ къ сердцу... одна дѣвушка хотѣла лишить себя жизни, изъ любви къ нему... Потомъ мы потеряли другъ друга изъ вида. Теперь онъ докторъ философіи и поборникъ социализма.

— Прощу покорно! Такой богачъ...

— Что жъ, на свѣтѣ вѣдь все возможно... Но я бы этого отъ него никогда не ожидалъ!.. Тсс! Послушаемъ лучше Микадо.

Занавѣсъ, разрисованный въ японскомъ вкусѣ, взвился надъ входомъ во дворецъ Титипоо, надъ хоромъ и надъ его колымажниками вѣрами.

Гербертъ лѣниво откинулся на спинку кресла и, не глядя на сцену, отдался наслажденію легкой и мелодичной музыки Сюлливана.

Онъ не слышалъ, что дверь въ сосѣднюю ложу открылась, и что недалеко отъ него раздался шорохъ женскаго платья. Вскинувъ глазами немного спустя, онъ замѣтилъ, что Эббингенъ и фонъ-Бренкенгоффъ усердно смотреть не на сцену, а на кого-то по сосѣдству съ нимъ. Перемигнувъ тогда пову такъ, чтобы ему удобно было оглянуться, Дюренъ тоже вскользь посмотрѣлъ въ сосѣднюю ложу. Тамъ сидѣла еще очень, повидимому, молодая женщина и, вѣроятно, иностранка. Она была одна и, бѣгло заглянувъ въ афишу, была поглощена прелестями музыки и очаровательной Юмъ-Юмъ.

Гербертъ, въ первую же минуту, подумалъ, что ея лицо и общій ея видъ ему уже знакомы, но, какъ онъ ни силился, никакъ не могъ припомнить, пока не остановился на предположе-

ни, что его незнакомая знакомка напоминает... Китти Нэль. Да, только у нея, у этой юной, свѣженькой и быстрой полудикарки Китти была такая бодрая осанка, граціозныя движенія, ямочки на щекахъ, крошечный алый ротикъ, праменый, чуть-чуть вздернутый носикъ, стройный, пропорціональный станъ и прелестнѣйшія въ мірѣ маленькія ручки. Въ большихъ темно-карихъ глазахъ своей случайной сосѣдки Гербертъ прочиталъ полное сходство съ Китти, но и ручки, и станъ были полнѣе, хоть и не слишкомъ полны, и, вдобавокъ, та, почти ребенокъ, носила распущенные волосы, беспорядочными, яркими, какъ золото, волнами бившіе ей по плечамъ и по лицу... Въ ту минуту, какъ Гербертъ еще разъ взглянулъ на нее, ему показалось, что незнакомка тоже на него взглянула, слегка наморщивъ брови, какъ это обыкновенно дѣлала Китти Нэль. Невольно нагнувшись впередъ, Дюренъ сдѣлалъ легкій полу-поклонъ, какъ человекъ еще не вполне увѣренный, что его узнали. Ему показалось опять, что ему отвѣтили поклономъ... Но, можетъ быть, только изъ чувства приличія и благовоспитанности, а не по знакомству? Этотъ вопросъ такъ его томилъ, что онъ съ нетерпѣніемъ дождался антракта, чтобы разрѣшить свое сомнѣніе. Такое волненіе уже давно перестало для него быть дѣломъ естественнымъ: онъ жилъ исключительно наукой и ея интересами. Ни одна изъ самыхъ завидныхъ барышень-невѣстъ не возбудила въ немъ серьезнаго къ себѣ вниманія; никакіе уговоры и убѣжденія матери, мечтавшей о внукахъ, не влекли его къ семейной жизни. Время для него проходило незамѣтно, однообразно, но онъ увѣрялъ товарищей, что чувствуетъ, какъ постепенно становится старикомъ. Тѣ смѣялись надъ нимъ, и въ самомъ дѣлѣ: ему шель тридцать восьмой годъ, но по молодой статной осанкѣ и поступи, оставшейся у него отъ военной службы, по лицу, ему едва можно было дать и тридцать лѣтъ. Ёздокъ и фехтовальщикъ онъ былъ, по прежнему, превосходный. Одѣвался фонъ-Дюренъ скромно и неизмѣнно ходилъ въ темномъ платьѣ, носилъ бороду; тонкій, правильный носъ и сѣрые, часто задумчивые глаза также не мало дополняли общее впечатлѣніе серьезности и твердости характера, которое онъ производилъ на мужчинъ и которое дѣлало его еще интереснѣе въ глазахъ женщинъ.

Занавѣсъ опустился. Въ залѣ снова ярко запылали стеклянные группы электрическихъ лампъ. Въ партерѣ послышалось хлопанье откинутыхъ стульевъ, разросался глухой говоръ и шарканье ногъ.

Гербертъ всталъ и взялся за шляпу; при полномъ освѣщеніи,

онъ убѣдился, что незнакомецъ отдала ему поклонъ, такъ какъ теперь она вторично, хоть и безъ улыбки, но отвѣтила такою же любезностью на его любезность.

Выходя въ коридоръ, Гербертъ ясно разслышалъ ея голосъ.

— Принесите, пожалуйста, стаканъ пива, — говорила она капельдинеру: — мнѣ бы не хотѣлось одной идти въ буфетъ.

Въ одно мгновеніе Гербертъ очутился подлѣ нея.

— Не позволите ли вы мнѣ услужить вамъ? — спросилъ онъ.

Она съ минуту колебалась, только губы ея какъ будто дрогнули чуть замѣтно.

Капельдинеръ скромно отошелъ въ сторону.

— Прошу прощенія, — продолжалъ Дюренъ, немного помолчать, — но мнѣ показалось, что мы знакомы; иначе я никогда не осмѣлился бы поклониться...

— Пожалуйста, баронъ...

— Докторъ Дюренъ, — тихонько поправилъ Гербертъ.

Легкая улыбка появилась на губахъ незнакомки, а въ глазахъ засверкала лукавый огонекъ, но она слегка повернула голову, и Гербертъ ничего не замѣтилъ.

Чарующій, слегка-пѣвучій голосъ и манера растагивать послѣдній слогъ каждаго предъидущаго слова тоже были ему знакомы. Повидимому, и она его узнала. Но кто же она?..

— Если позволите, я провожу васъ въ буфетъ, — предложилъ онъ уже немного смѣлѣе.

— Благодарю... — и она хотѣла отказаться, но замѣтила по близости Эббинга и Бренкенгоффа: — если это васъ не стѣснитъ, докторъ Дюренъ!

— Напротивъ, я васъ прошу!

Незнакомка взяла его подъ-руку, и оба кузена вѣжливо дали имъ дорогу, отвѣсивъ любезный поклонъ.

— Чертовски везетъ этому Дюрену! И всюду-то онъ раньше постигетъ!.. Ужасно мила, и молода, вдобавокъ! — проговорилъ Эббингенъ, а Бренкенгоффъ даже прицѣлкнулъ языкомъ.

Они сошли въ ресторана и скоро замѣтили у одного изъ столиковъ фонъ-Дюрена и его даму.

Она сняла перчатку, а онъ не могъ оторвать глазъ отъ нѣжной, тонкой висти, отъ которой шла полная, но изящная рука. Ни одного кольца не было на маленькихъ, красивыхъ пальчикахъ, — такихъ красивыхъ, что Гербертъ живо представлялъ себѣ наслажденіе покрывать ихъ поцѣлуями. Она говорила тихо и ветопошливо, какъ со знакомымъ, и голосъ ея звучалъ пріятно и музыкально, будто издалека.

— Мнѣ не съ кѣмъ было ѣхать въ театръ, — говорила она: — вотъ я и отправилась одна. Но, право, какъ это странно у васъ въ столицѣ, что такъ безцеремонно оглядываютъ одинокую женщину. Я нахожу, что это неприлично и даже... не умно!

Антрактъ подходилъ къ концу.

У входа въ ложу Гербертъ, стараясь говорить какъ можно непринужденнѣе, обратился къ своей сосѣдкѣ:

— Дозволите ли мнѣ сѣсть въ вашу ложу?

Тонкія брови незнакомки наморщились, легкое облачко промелькнуло у нея на лицѣ, но въ ту же минуту она взглянула на него ясно и спокойно:

— Ничего противъ этого не имѣю!

Оба вошли въ ложу, и молодая женщина снова углубилась въ тѣ, чтѣ происходило на сценѣ.

Гербертъ сидѣлъ слѣва отъ нея, такъ что ему виденъ былъ только профиль тонко-очерченного свѣжаго лица и правая рука съ биноклемъ. На минуту незнакомка откинулась назадъ, чтобы не мѣшать ему смотрѣть на сцену, но онъ просилъ ее не тревожиться и при этомъ нечаянно коснулся ея пухленькой бѣлой ручки. Горячая дрожь пробѣжала по немъ и еще обворожительнѣе показалась ему ея близость. Она шопотомъ перекидывалась съ нимъ словами, но ни голосомъ, ни жестомъ, ни взглядомъ не дала ему понять: кто она.

Вдумываясь въ этотъ вопросъ, онъ особенно внимательно всмотрѣлся въ линію ея лба и щеки: она рѣзко углублялась у глазныхъ впадинъ, — признакъ особенно долголѣтней красоты. Такое совершенство линій (казалось ему) онъ встрѣчалъ впервые.

Оперетка пришла къ благополучному концу: Нанти-Поо счастливъ со своей шаловливою возлюбленною Юмъ-Юмъ; Коко остается при своей грозной, придирчивой Катиншъ; пестро и красиво заканчивается послѣдняя картина. Занавѣсъ падаетъ.

Гербертъ помогъ своей дамѣ надѣть теплую свѣтлую накидку и темную мѣховую ротонду.

„Есть ли у нея карета?“ — подумалъ онъ и рѣшительно проговорилъ вслухъ:

— Позвольте мнѣ предложить довести васъ? Моя карета къ вашимъ услугамъ!

Молодая женщина улыбается, но не сердито. Они стоятъ на лѣстницѣ, — онъ ступеньками тремя ниже, чѣмъ она, — и ея глаза прямо смотрятъ ему въ лицо.

— Пожалуй, но вы вѣдь не знаете, куда ѣхать.

— Куда вы прикажете, конечно!

— Когда такъ,—ѣдемъ „Подъ-Липы“, но только, если это васъ ничуть не стѣснитъ.

— Напротивъ: мнѣ даже по дорогѣ!

— Въ такомъ случаѣ, ѣдемъ скорѣе!

Когда она уже сидѣла въ каретѣ, а Гербертъ садился, лакей спросилъ:

— Куда прикажете?

Докторъ Дюрень взглянулъ вопросительно на свою спутницу; она отвѣчала:

— „Подъ-Липы“.

Карета покатила по устланной снѣгомъ, скользкой дорогѣ. Молодая женщина откинулась въ уголъ, на мягкую спинку сидѣнья, и молчала.

— Отчего вы дали такой неопредѣленный адресъ?—спросилъ тихо Гербертъ.

— Мнѣ хотѣлось сначала обдумать, куда ѣхать,—отвѣчала она.

— Какъ странно! Я что-то не понимаю...

— Ахъ, Боже мой, это такъ просто, такъ прозаично! Тетя, вѣрно, ужъ спитъ крѣпкимъ сномъ; горничную я отпустила со двора, а между тѣмъ я съ удовольствіемъ бы еще поужинала: я привыкла ужинать послѣ театра... Не забросите ли вы меня къ дѣмъ или въ какой-другой ресторанъ?

Гербертъ былъ въ восторгѣ, чувствуя въ этихъ словахъ какъ бы недоговоренное: „Пригласи же меня!“... Такой оборотъ знакомства казался ему отчасти обыденнымъ, но онъ все-таки хотѣлъ вѣрить, что это приключеніе не окончится какъ заурядное, пошрое...

Опустивъ руку на подушки кареты, онъ встрѣтилъ ее горячую маленькую ручку въ перчаткѣ, взялъ ее въ свою и участливо проговорилъ:

— Какая горячая!.. Не жарко ли вамъ? Не открыть ли окно?

Тихонько высвободила она свою руку, которая будто чуть-чуть, почти незамѣтно, отвѣтила на его пожатіе. Она не отталкивала его, но и не допускала ничего лишняго. Дюрень опустилъ окно.

— Ничего? Вы не простудитесь?

— О, вѣтъ, конечно!

Молчаніе снова водворилось въ каретѣ, катившейся среди подвижной массы безпокойныхъ, сверкавшихъ при огнѣ снѣжинокъ. При свѣтѣ фонарей, проникавшемъ въ переднюю стеклянную стѣнку кареты, Гербертъ только могъ разглядѣть, что его молчаливая спутница прижалась въ свой уголокъ кареты. Вдругъ онъ спросилъ:

— Осмѣлюсь ли предложить вамъ поужинать со мной?

Отвѣта не было. Все та же тишина.

— Вы не разсердитесь?..

— Я ужъ не знаю, имѣю ли я право сердиться? Ужъ и безъ того...

— Пожалуйста! Я васъ очень прошу!.. И, наконецъ, начало сдѣлано: первыя крупинки соли мы вѣдь уже съѣли вмѣстѣ въ театрѣ. — Незнакомка разсмѣялась.

— О, да вы нехорошій: бьете меня моимъ же оружіемъ! Собственно говоря, мнѣ не слѣдовало такъ поступать... Впрочемъ, пусть ужъ будетъ по вашему... но только на этотъ разъ, и чтобы никто объ этомъ не зналъ ничего!.. Вашу руку, что вы не разболтаете!

— Мою руку?!..—воскликнулъ онъ и, нагнувшись къ ея протянутой ручкѣ, хотѣлъ поднести ее къ губамъ; но она поспѣшила вырвать ее:

— Нѣтъ, нѣтъ, не надо!

И опять молчаніе.

Отъ движенія, ея тяжелая ротонда спустилась съ плечъ, и Гербертъ, видя, что ей не справиться, пришелъ на помощь молодой женщинѣ, хотъ и помогалъ дольше, чѣмъ бы слѣдовало.

— Благодарю васъ,—ласково, но спокойно сказала она и снова забилась въ уголокъ.

У вѣзда въ улицу „Подъ Липами“, карета поѣхала тише. На зовъ барина, лакей перегнулся съ козелъ и выслушалъ приказаніе, куда ѣхать. Окно захлопнулось. Карета поѣхала шибче.

II.

По толстому, мягкому ковру, заглушавшему шумъ шаговъ, Гербертъ съ незнакомкой прошли мимо тяжелыхъ портьеръ общей залы, за которыми раздавался смѣхъ, говоръ и звонъ посуды. Оберкельнеръ шелъ впереди; за нимъ два лакея. Войдя въ отдѣльный кабинетъ, они отвернули газовые рожки, сняли шубу съ посьтителя и изъ его рукъ приняли ротонду, накидку и платокъ, отъ которыхъ онъ самъ помогъ своей дамѣ освободиться. Молодая женщина подошла къ зеркалу поправить прическу, немного спутанную на лбу отъ раздѣванья, и ладонью примала ее. Тѣмъ временемъ Гербертъ пробѣжалъ карточку глазами и проговорилъ:

— Прекрасно!

Кельнеръ ушелъ; тяжелыя складки портьеры откинулись и сомкнулись за нимъ.

Незнакомка вытянула свои перчатки, закатала ихъ въ тугой шарикъ, и бросила въ одинъ изъ стакановъ.

За портьерой послышался стукъ ножомъ о бутылку: это кельнеръ вернулся и предупреждалъ о своемъ приходѣ.

Въ мигъ на столѣ очутилась бѣлоснѣжная накрахмаленная скатерть, хрустальные бокалы, приборы.

Гербертъ налилъ вина въ оба бокала.

— Ваше здоровье!—проговорилъ онъ.

Они чокнулись; но она только омочила губы.

— Не правда ли, этого слишкомъ мало для настоящаго прѣстѣвля? Но я буду пить послѣ кушанья: теперь еще не могу.

Гербертъ взялся разливать душистый супъ, надъ которымъ стоялъ горячій паръ; но это занятіе не помѣшало ему спросить:

— Мнѣ бы хотѣлось кое-что узнать; но вы не должны на меня сердиться, а тѣмъ болѣе смѣяться надо мною...

— Ну?.. Въ чемъ же дѣло?—лукаво улыбаясь, проговорила незнакомка.—Тутъ что-то неладно!

— Вамъ, пожалуй, покажется смѣшно... но я думаю, что мы съ вами встрѣчаемся не впервые; я по совѣсти долженъ признать, что мы съ вами уже давно знакомы и видѣлись ужъ не разъ... но только гдѣ и когда? Въ точности никакъ не припомню...

Молодая женщина стала серьезнѣе и опустила глаза; затѣмъ снова подняла ихъ и спокойно взглянула на своего собесѣдника.

— Въ самомъ дѣлѣ, Гербертъ?

— Какъ?! Вы меня знаете даже по имени?

— Что жъ тутъ удивительнаго, философъ вы этакій, благодѣтель рода человѣческаго? Еще не такъ давно я читала... то есть, пробовала читать одну изъ вашихъ брошюръ.

— Такъ, значитъ, мы съ вами давно знакомы?

— Само собой разумѣется! Иначе развѣ я согласилась бы съ вами ужинать?

— Такъ, пожалуйста, помогите же мнѣ припомнить...

— Зачѣмъ же? Мы встрѣтились, пусть мы и разойдемся, сохраняя въ памяти лишь невинное воспоминаніе объ этой встрѣчѣ.

— Значить, вы думаете, что видимся въ послѣдній разъ?

Она пожала плечами и искоса посмотрѣла на него.

— По крайней мѣрѣ, я не предвижу, чтобы вы стали меня разыскивать.

— Но все-таки, значитъ, я съ вами уже раньше видѣлся, разговаривалъ?

— И даже подолгу!

— Не можетъ быть!.. Ну, такъ помогите же мнѣ, пожалуйста: я мучаюсь цѣлый вечеръ...

— Полноте! Не портите себѣ аппетита: артишоки такіе, что просто на славу! Только сладковаты немножко... не правда ли?

Гербертъ сидѣлъ задумавшись, подперевъ голову руками.

— Смотрите, вашъ каплунъ совсѣмъ простынетъ!.. Бросьте мудрствовать лукаво и окажите должную честь дѣйствительно прекрасному ужину.

Гербертъ отрицательно покачалъ головой, но понемногу взялся за вилку.

Помолчавъ немного, молодая женщина продолжала:

— Пожалуйста, не ломайте себѣ голову понапрасну. Вы меня знаете, но подъ другимъ именемъ. Мое имя—Люси... Можетъ быть, вы и сами не рады будете, когда припомните время и обстоятельства, при которыхъ мы познакомились... Чокнемся и забудемъ о прошломъ! „Take time, while time serves!..“¹⁾

— Китти Нэль!—воскликнулъ онъ и, не сводя съ нея глазъ, замѣтилъ, какъ румянецъ нѣжно разлился у нея по щекамъ. Она нагнула свою хорошенькую головку, но молчала.

— Да неужели? Это правда? Миссъ Китти?.. Вы все-таки миссъ Китти Нэль?—восторгался онъ.

Люси утвердительно кивнула головою и разсмѣялась.

— Господи, да чего жъ я раньше-то смотрѣлъ? Впрочемъ, ваши волосы... Да: гдѣ же ваши золотистыя кудри? Мнѣ кажется, я догадываюсь... Но все-таки, какъ это я могъ хоть на минуту усомниться?.. Конечно, я все теперь припомнилъ: и островъ Гельголандъ, и наше катанье на лодкѣ, и наше... нашу... Нѣтъ, ну, можно ли быть такимъ слѣпымъ!

Молодая женщина сидѣла молча, давая полную свободу потоку словъ, который теперь лился неудержимо изъ устъ ея собеседника. Наконецъ онъ примолкъ не надолго и потомъ вдругъ сказалъ:

— Должны же вы теперь протянуть мнѣ руку и простить мнѣ, за дружескимъ „shake hands“¹⁾омъ, что я не сразу васъ узналъ.

Ласково и открыто протянула она ему руку и проговорила:

— Вы и не могли бы меня узнать. Тогда я была совсѣмъ другая: говорила и одѣвалась по-англійски; а съ этой прической, я знаю навѣрно, никто не заподозритъ во мнѣ прежней золотокудрой Китти.

¹⁾ „Лови время, пока оно дается тебѣ!“

Гербертъ все еще не выпускалъ ея руки изъ своей.

— Знаете, я вѣдь всегда принималъ васъ за англичанку. Джэмсъ никогда мнѣ объ этомъ и не заикался.

— Что жъ такое? Я вѣдь больше года пробыла въ Англіи. И вообще, говорятъ, у меня особыя способности въ языкамъ.

Вошелъ кельнеръ и убралъ со стола.

Они снова остались одни.

— Такъ вы дѣйствительно рады меня видѣть?—спросила Люси.

— И сказать вамъ не могу, до чего я радъ! Я вѣдь ничего не забылъ; не забылъ особенно того послѣдняго вечера на Гельголандѣ, когда мы съ вами шли по берегу моря. Уже вечерѣло и багровый закатъ румянилъ морскую зыбь, которая съ негромкимъ ропотомъ билась о берегъ, мѣстами вдававшійся далеко въ море. Сумерки быстро спускались на землю. Помню, вы стояли на выступѣ скалы, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня, и легкий вѣтеръ порою шевелилъ ваши золотистыя кудри, которыя, отъ послѣднихъ лучей заходящаго, огненно-краснаго солнца казались еще ярче и золотистѣе. Помню, на васъ былъ свободный матросскій костюмъ съ голубой блузой и большимъ воротникомъ...

— Я тоже все помню!..

— Помню, что мы молчали, вдоволь наболтавшись; но я былъ готовъ хоть еще столько же болтать: въ общество меня не тянуло. Но оно ужъ само давало о себѣ знать: въ намъ приближали и разстроили наше уединеніе... А дня два спустя я уѣхалъ, такъ и не имѣвъ возможности поговорить съ вами по душѣ... И къ тому же тогда Джэмсъ Уордъ...

Люси протянула ему руку и уже больше не отдергивала ея, несмотря на то, что онъ робко и нѣжно ее поцѣловалъ.

Они снова притихли, и только изъ сосѣдняго кабинета донесся къ нимъ шумъ, крикъ и хохотъ; говоръ и топотанье все удалялся и наконецъ умолкли. Безпокойные посѣтители убрались во-своихъ.

Молодая женщина чокнулась съ Гербертомъ, и ему показалось, что ея глаза блестѣли, будто подернуты слезами. Но что за странность? Откуда онъ взялъ, что у нея темно-каріе глаза? Они большіе и ясные, но не темные, а голубовато-сѣрые.

— Васъ не стѣснить, если я закурю?—спросила Люси, чтобы прервать молчанье.—То-есть, я хочу сказать: можетъ быть, вамъ непріятно видѣть, что женщина курить?

— О, нѣтъ, я привыкъ къ тому, что это дѣло обыкновенное.—Гербертъ хотѣлъ позвонить; она остановила его.

— Благодарю, у меня все есть съ собою. Я не могу не выкурить папироски послѣ обѣда.

Она вынула изъ кармана серебряный портсигаръ, достала оттуда табакъ и бумажки, скрутила папироску и предложила ему сдѣлать то же, протягивая свой открытый портсигаръ.

— Благодарю васъ, миссъ Китти!

— Ахъ, да называйте же меня „Люси“! Мое настоящее имя: Люси Нагель. Джэмсъ перекрестилъ меня въ Китти потому, что влюбленъ въ это имя; но оно также мое собственное, только я-то не люблю его... Берите же!

— Нѣтъ, благодарю покорно! — засмѣялся Гербертъ. — Ужъ если потчивать, такъ потчивать до конца! Я, признаюсь, и не сумѣлъ бы скрутить себѣ папироску; а еслибы и умѣлъ, все равно, попросилъ бы васъ сдѣлать!

Люси, тоже смѣясь, исполнила его желанье.

А онъ, между тѣмъ, смотрѣлъ на нее и вспоминалъ свою первую встрѣчу съ нею.

Тогда онъ провелъ съ Джэмсомъ около двухъ недѣль неразлучно и не допрашивалъ никого, дѣйствительно ли она его невѣста, какъ ему казалось, или только временное его увлеченье? Люси была тогда полу-дикой дѣвочкой, летавшей по острову такъ, что только волосы и платье развѣвались у нея по вѣтру. Джэмсъ очень любилъ ее; но она не отвѣчала ему такимъ же горячимъ чувствомъ, — это сейчасъ было видно. Ея живость, дѣтская свѣжесть и непринужденность плѣняли всѣхъ: куда неслась она, туда несло все общество, вслѣдъ за нею. Фонъ-Дюрентъ часто разговаривалъ съ нею, игралъ въ „lawn-tennis“.

Она страстно любила море.

— Море — жизнь моя! — призналась она ему однажды: — но есть люди, которые этого не понимаютъ и не пробуютъ даже понять! — И Гербертъ понялъ, что подъ „людьми“ надо было подразумѣвать Джэмса.

Какъ-то случайно онъ слышалъ бесѣду Джэмса съ товарищемъ, и въ чистомъ морскомъ воздухѣ до него ясно долетѣли слова:

— Но женишься ли ты на ней?

— Ну, конечно! Это самое лучшее, что я могу сдѣлать... —

Такъ значитъ теперь они врозь: разошлись или онъ ее бросилъ... Но какъ спросить объ этомъ?

Она сидѣла передъ нимъ такая прелестная, такая обворожительная своимъ умомъ и наивностью, смѣсь юности и женственности, покорности и упрямства; а онъ думалъ, глядя на

нее, что разгадать, какъ уживаются въ ней всѣ эти крайности — неразрѣшимая загадка.

— Вы замечались? — окликнула его Люси. — О чемъ это?.. Впрочемъ, мы съ вами всегда любили уединяться. Мнѣ даже сейчасъ показалось, будто мы опять съ вами тамъ, на скалѣ.

— И теперь, какъ тогда, когда я не имѣлъ храбрости высказаться, — мы молчимъ.

— Не понимаю, что это значить: объясненіе это или извиненіе въ чемъ-нибудь? Какъ васъ понять?

— Какъ вамъ угодно.

Снова наступило молчаніе.

— А пронос! — вдругъ проговорила Люси: — вы, кажется, не любите устрицъ?

— А что?

— Да такъ: очень жаль!

— Но почему же?.. Ахъ, да: понимаю!

Гербертъ позвонилъ и велѣлъ подать устрицъ, какъ ни отговаривалась Люси.

— Но вѣдь вамъ хочется?

— По совѣсти говоря: да. А все-таки, это нехорошо съ вашей стороны.

Явились устрицы, и Люси охотно чокнулась еще разъ.

— За то, чтобы этотъ вечеръ былъ не послѣдній, который мы вмѣстѣ проводимъ! — пожелалъ Гербертъ.

Люси уже поднесла бокалъ къ губамъ, но пристально посмотрѣла на него и тихо, но рѣшительно проговорила:

— Хорошо! выпьемъ же за грядущіе дни!

Мягкіе, ласкающіе звуки ея молодого тихаго голоса отрадно повліяли на него; онъ почувствовалъ себя легко и непринужденно; но въ головѣ немножко шумѣло; ему чудился прибой волнъ.

— А Джэмсъ Уордъ? — вдругъ спросилъ онъ: — гдѣ онъ? Что съ нимъ?

Люси покраснѣла, закусила нижнюю губу и устала неподвижный взглядъ въ пространство, недовольно мотнувъ головою, будто ей напомнили о чемъ-нибудь тяжеломъ или непріятномъ.

Гербертъ смутился.

— Простите, пожалуйста. Я не воображалъ, что задаю вамъ непріятный вопросъ: мнѣ казалось даже невѣжливымъ не спросить о немъ.

— Вы правы, — медленно проговорила она, не поднимая глазъ. — Мнѣ не за что васъ прощать... Джэмсъ, два мѣсяца

тому назадъ, уѣхалъ изъ Гавра въ Каиръ, къ отцу. Вотъ ужъ два мѣсяца.

— Но онъ вернется?

— Конечно! Онъ обѣщалъ... онъ клялся, что вернется. Но вѣдь Богъ знаетъ, что до тѣхъ поръ можетъ случиться!

Она помолчала и тихонько прибавила, будто въ раздумь:

— Онъ мнѣ очень нравился!..—Грустная усмѣшка скользнула у нея по губамъ; она встряхнула головой и рѣзкимъ голосомъ, стараясь казаться безпечной, проговорила:

— А ну его, весь этотъ вздоръ! Къ чему тосковать о будущемъ! Лучше выпьемъ за настоящее и будемъ веселиться!

Осушивъ свой бокалъ, Люси провела рукой по лицу и лубавый огонекъ загорѣлся у нея въ глазахъ.

— Ну, а теперь моя очередь. Я прошу васъ... покушать устриць... Да, прошу!

— Но, миссъ Люси, пожалуйста...

— Нѣтъ, ужъ прошу покорно, а не то разсержусь!

— Но вы не разсердитесь и тогда, если я не сдѣлаю по вашему.

— Посмотрите-ка, какъ я ихъ хорошо приготовила... И наконецъ, мнѣ просто хотѣлось бы избавить васъ отъ предвзятой мысли.

— Видите ли, миссъ Люси: еслибы вы выразили мнѣ какое-нибудь болѣе серьезное желаніе, то, увѣряю васъ, я не задумался бы ни минуты. Но вы знаете мое отвращеніе къ устрицамъ и понимаете, что вы ничего этимъ не выиграли. Тѣмъ болѣе, что вы слѣдуете лишь мимолетней прихоти и капризу. Еслибы я и сдѣлалъ вамъ это удовольствіе, вы, пожалуй, и сами пришли бы тогда къ заключенію, что вы же и оказались въ проигрышѣ... Поэтому-то я и прошу васъ—не настаивайте!

Люси посмотрѣла на него широко открытыми глазами, затѣмъ положила раковину съ устрицей на тарелку и пожала ему руку.

— Простите, другъ мой, что я обратилась къ вамъ съ такой ребяческой просьбой! Не поставьте мнѣ въ вину эту глупость и вѣрьте, что я васъ тѣмъ болѣе уважаю за то, что вы не подаетесь капризамъ глупой дѣвчонки... Скажите, вы не сердитесь? Да?

— Конечно, Люси!

Она улыбнулась.

— Чего вы?—спросилъ онъ.

— О, ничего! Только... вы сейчасъ сказали просто: „Люси“.

Терпѣть не могу это „миссъ“, и прошу васъ: будемъ друзьями, добрыми, старыми знакомыми... За нашу дружбу, Гербертъ!

„Ледъ растаялъ“... Они снова заговорили дружелюбно и свободно, какъ тогда, на Гельголандѣ.

III.

На минуту Люси осталась одна. Гербертъ вышелъ въ коридоръ и встрѣтилъ знакомаго, который его задержалъ.

Вернувшись, онъ увидалъ, что Люси лежитъ, откинувшись на диванѣ, а по лицу ея бѣгутъ крупныя слезы.

— Люси! Люси! чтѣ это съ вами? Чего вы?

— Ничего, ничего! Право, ничего!—увѣряла она, но онъ недоувѣрчиво заглядывалъ ей въ лицо и только нѣжно поглаживалъ въ своихъ рукахъ ея похолодѣвшія ручки.

— Да нѣтъ же, скажите: я, все равно, не отстану!—стараясь говорить шутливымъ, ободряющимъ тономъ, настаивалъ онъ.

— Нѣтъ, голубчикъ, нѣтъ: не скажу! Это такой пустякъ, ребячество... Просто кое-что вспомнила, ну и...

— Слезы потекли сами? Знаю, знаю. Ну, и пусть ихъ текутъ, только скажите, въ чемъ дѣло!—уговаривалъ онъ ее, какъ ребенка, и ея полковымъ, крошечнымъ платочкомъ только отиралъ ей катившіяся слезы.

— Какъ вы добры!—шептала она и, невольно охваченная грустью, прислонилась головой къ его широкой груди.

У Герберта сердце защемило отъ жалости, и онъ покрывъ поцѣлуемъ ея печальныя глазки. Блѣдная и покорная, она подыала къ нему свое личико. Алый ротикъ ея, казалось, просилъ поцѣлуя, и Гербертъ не могъ устоять противъ искушенія прильнуть къ нему робко и нѣжно. Она не сопротивлялась, но онъ почувствовалъ, какъ она вздрогнула всѣмъ тѣломъ.

Ласково обвивая ея станъ рукою, онъ сѣлъ рядомъ съ ней на диванъ и тихонько журилъ ее, какъ дитя:

— Ни-ни, не плакать, ни-ни!

Она улыбнулась сквозь слезы.

— Что жъ, скажете мнѣ теперь всю правду?—нѣжно спросилъ онъ.

— Ну да, такъ и быть, ужъ скажу: я вспомнила о Джэмсѣ. Такъ точно, какъ съ вами теперь, сидѣла я съ нимъ въ тотъ вечеръ, когда онъ впервые признался, что любить меня. Я была тогда глупа... и... неопытна. Но потомъ я все-таки поняла,

отъ чего меня спасла близость съ нимъ, и всегда была ему за это признательна. Онъ мнѣ нравился, но я не любила его *тѣмъ*, какъ... Не правда ли, все это пустяки? И слезъ тратить на это не стоило. Онъ меня любилъ, хотѣлъ жениться; но я не хотѣла: я боялась его матери: она бранила, клеймила меня, еще не зная, достойна ли я позора?..

Голосъ ея беззвучно умолкалъ и, наконецъ, умолкъ.

— Нѣтъ! Не надо унывать!—вдругъ оживилась она.—Чокнемся!.. — и выпила залпомъ все, что оставалось у нея въ стаканѣ.

— Пожалуйста, передайте мнѣ вѣрь! Мерси.

Раскрывъ свой сѣреный вѣрь изъ перьевъ, Люси закинула его за голову и, смѣющимися глазами взглянувъ на Герберта, задорно спросила:

— А что, я хороша? Нравлюсь вамъ больше, чѣмъ „The three little Maids from School“?..

— Вы лучше всѣхъ на свѣтѣ!

— Вы правду говорите?

— Конечно.

— Ну, а я нахожу, что я совсѣмъ некрасива! Мнѣ такъ бы хотѣлось быть очень, очень красивой, чтобы всѣ меня любили.

— Но васъ и такъ всѣ любятъ: вотъ хоть бы я, напримѣръ!

— Какъ? И вы тоже?

— А вы въ этомъ сомнѣвались?

— Право, не знаю.

— Люси, недобрая, плутовка! Не грѣшно вамъ это говорить послѣ того, какъ на Гельголандѣ я не отходилъ отъ васъ ни на минуту. И, наконецъ, вы сами должны были понять...

— Что понять? Ужъ не думаете ли вы, что я такого высокого мнѣнія о себѣ?

— Нисколько. Просто, я и тогда еще былъ въ васъ влюбленъ.

Люси весело разсмѣялась.

— Нѣтъ, нѣтъ, ужъ это слишкомъ смѣшно!

— Но позвольте: что жъ тутъ смѣшного? Это очень серьезно.

Она вдругъ умолкла и пристально взглянула на него; бокалъ дрожалъ у нея въ рукѣ.

— Серьезно?..—только и могла она проговорить.

— Честное слово!.. И на этотъ разъ я смѣю надѣяться на болѣе благопріятный для меня исходъ...

— А Джэмсъ? Вы забыли...

— Я ничего не забылъ; но, простите, я не вѣрю, чтобы вы ужъ такъ сильно его любили.

— Но почему же? Отчего вы такъ думаете?

— Да такъ; мнѣ такъ кажется... Наконецъ, мнѣ тогда показалось... Помните, наканунѣ моего отъѣзда, мы съ вами стояли на крыльцѣ; я вамъ еще принесъ тогда скромненькій букетъ фіалокъ. Помню, какъ вы тогда пожали мнѣ руку, какъ выразительно смотрѣли на меня, сами того не подозревая... Мнѣ показалось тогда, что вы все поняли, что вы... сочувствуете мнѣ...

Люси смутилась и невольнымъ движеніемъ зажала въ рукѣ золотой медальончикъ, висѣвшій у нея на часахъ. Еще бы не помнить того вечера! Да она тогда всю ночь не могла глазъ сомкнуть. Сколько мукъ, сколько борьбы съ собою стоило ей сознать, что она его любитъ! Она понимала, что ея долгъ отвѣчать на преданную, порой бѣшеную любовь Джэмса, а сердце рвалось къ нему, къ тому дорогому далекому и, вмѣстѣ съ тѣмъ, близкому ей по мысли человѣку, котораго она не могла забыть. Она читала все, что онъ писалъ; многое въ его сочиненіяхъ было ей понятно и дорого: вѣдь она вышла изъ народной среды, а онъ былъ другъ народа.

Въ театрѣ она сразу узнала Герберта, но колебалась заговорить съ нимъ; случай натолкнулъ ихъ на то, чтобы теперь снова сойтись...

Между тѣмъ Гербертъ замѣтилъ ея движеніе.

— Что это у васъ? Талисманъ?—шутливо спросилъ онъ.

— Можетъ быть, и талисманъ.

— Невъзя ли полюбопытствовать?.. Онъ тамъ внутри?

Люси кивнула утвердительно.

— Такъ покажите!

— Нѣтъ, ни за что!

— А отгадать можно?

— Попробуйте!

— Что бы тамъ могло быть?.. Портретъ Джэмса?

— Нѣтъ.

— Вашъ собственный?

— Конечно, нѣтъ!

— Ну, просто хотъ чей-нибудь?

Люси звонко разсмѣялась.

— Постойте, угадалъ: магическая надпись!

— Опять ошиблись!

— Ну, такъ цвѣтокъ?.. Ага! Вы покраснѣли! Что? теперь-то ужъ не станете отпираться?.. Только какой? Роза?

— Нѣтъ.

— Какъ? Опять: „нѣтъ“? Ну, такъ фіалка?

— Да.

— Ну, живѣй, открывайте: разоблачать такіе секреты особенно интересно.

Люси сняла медальонъ съ короткой цѣпочки и подала ему.

Какъ ни возился Гербертъ, замочекъ ему не давался. Она сама взяла и открыла его.

— Да, и въ самомъ дѣлѣ фіалки. Значить, на память... но о комъ? О Джэмсѣ?

Печально покачала головой молодая женщина и молча посмотрѣла на него:

— Вы не догадываетесь?..

Звукъ ея голоса, ея взглядъ все сказали ему.

— Люси! Это тѣ, тѣ самыя фіалки... Я тогда не ошибся? Скажи, дорогая?

Но Люси не отвѣчала и только крѣпче къ нему прижалась; на его губахъ горѣли ея поцѣлуи.

— Такъ ты любишь меня, любишь? Ты можешь меня любить?—лепетала она.

— Больше всего на свѣтѣ!

— О, Гербертъ, милый! Я точно во снѣ! Поцѣлуй меня, чтобы я очнулась, чтобы видѣла, что я съ тобой... на яву!

Губы ея, дрожа, что-то шептали такъ тихо, такъ тихо, что онъ только сердцемъ могъ угадать.

— Поцѣлуй же меня, еще... еще... и еще! — просила она, горячо отвѣчая на его объятія...

Но вдругъ слезы градомъ полились по ея счастливому, сіяющему лицу. Она рыдала, отталяивая отъ себя друга.

— Люси! дорогая!—умолялъ Гербертъ.—Что съ вами?

— Ничего! Ничего!—вскликивала она и все дальше отодвигалась отъ него.

Но Герберту хотѣлось успокоить, утѣшить ее, и онъ снова хотѣлъ ее обнять.

— Ахъ, нѣтъ, не надо! Оставьте!—умоляла она, дрожа какъ въ лихорадкѣ.

Герберту было жаль ее. Не обращая вниманія на ея слова, онъ обнялъ ее и нѣжно сталъ цѣловать ей глаза и щеки.

— Крошка, дитя мое! успокойтесь!

— Да не могу же я, не могу...

— Чего ты не можешь?

— Не могу я... не любить тебя! Что жъ, пусть ты и бу-

дешь меня презирать, а я все-таки... буду тебя любить... больше всего... на свѣтѣ! Мнѣ все нипочемъ... лишь бы ты... любилъ меня!

— Будь покойна, я тутъ, съ тобою!

Но она боязливо прижималась къ нему, будто ища защиты, и растерянно, громкимъ шопотомъ, лепетала:

— Мнѣ страшно... мнѣ страшно... О, какъ ужасно! Не бросай меня, не уходи!

— Да полно же, полно: не уйду я отъ тебя никуда!—увѣ-
рялъ ее Гербертъ:—Люси моя! Дорогая!

Молодая женщина глубоко и облегченно вздохнула.

— Такъ ты не презираешь меня? — тревожно допрашивала она опять.

— Да нѣтъ, дитя: за что же?

— За то, что я должна бы не измѣнять Джэмсу... Но я не его люблю, а тебя... тебя! Съ тѣхъ поръ, какъ люблю тебя, какъ узнала, что ты меня любишь...

Она вся задрожала.

— Но нѣтъ! Не хочу, не хочу... Не надо... Пожалуйста, уйдемъ, уйдемъ отсюда! О, что за холодъ! Мнѣ дурно... мнѣ холодно... ужасно!

Гербертъ держалъ ея руки въ своихъ: онѣ были холодны, какъ ледъ; глаза блуждали; по тѣлу пробѣгала лихорадочная дрожь.

— Ёдемъ скорѣе, пожалуйста!—просила она.

Дюрень позвонилъ, приказалъ подавать карету и помогъ ей закутаться. Отъ вина и отъ волненія она трудно дышала, съ трудомъ могла двигаться. Гербертъ почти вынесъ ее на рукахъ и усадилъ въ карету.

На крыльцѣ свѣжій морозный воздухъ охватилъ ее: она жадно вдыхала его и будто понемногу приходила въ себя. Тихо сидѣла Люси, заботливо укутанная, рядомъ съ Гербертомъ; но вдругъ совершенно очнулась.

— Что это?—воскликнула она, замѣтивъ, что карета ѣдетъ не туда, и, сообразивъ, заволновалась:—Нѣтъ, нѣтъ: вели ѣхать домой! Оставь меня: я домой хочу!

— Полно, Люси, полно!—уговаривалъ Гербертъ, осыная ее поцѣлуями.—Я тебя не оставляю, не разстанусь во вѣки вѣчные. Скажи только, что ты меня любишь!..

Безъ воли, безъ силъ бороться противъ своего сердца, Люси умогла,—забыла все прошлое, все будущее...

Карета остановилась. Гербертъ вышелъ и помогъ Люси выйти.

Опираясь на его сильныя руки, Люси тихо, но покорно поднялась на крыльцо по занесеннымъ снѣгомъ, широкимъ ступенямъ. За нею захлопнулась дверь ея дома.

IV.

За ночь всѣ слѣды замело снѣгомъ. Пушистыми хлопьями ложился онъ на деревья и кусты, а изъ укутанныхъ въ солому розановъ онъ лѣпилъ причудливой формы бѣлыя фигуры. Въ саду и на крыльцѣ тишина. Тишина и въ большой гостиной, гдѣ слышится только трескъ раскаленныхъ бузовыхъ полѣньевъ въ каминѣ.

У окна задумчиво сидитъ Люси и смотритъ въ садъ, ничего не видя. Ей грустно, тяжело на душѣ. Она прижимаетъ къ холодному стеклу своей пылающей лобъ. Она силится вспомнить: гдѣ она, какъ сюда попала?

Ей чудится, что она была въ чьихъ-то объятіяхъ, что кто-то горячо цѣловалъ ее, называлъ дорогою, любимой...

Въ волненіи, она вскочила, хотѣла позвать Герберта. Но его нѣтъ, онъ далеко и она не смѣетъ пойти, броситься ему на шею, просить у него защиты... Закрывъ лицо платкомъ, она горько заплакала.

Большой датскій догъ, дремавшій у камина, встрепенулся, подошелъ къ ней и положилъ ей на колѣни свою большую голову, вопросительно глядя ей въ лицо умными глазами. Люси робко погладила его, и онъ, довольный и успокоенный ея лаской, улегся у ея ногъ.

Люси все думала свою думу. Гдѣ ей искать исхода? Какъ все примирить? Не могла она не думать о Джэмсѣ, о Гербертѣ.

Да, о Гербертѣ! Чтò онъ о ней теперь думаетъ, какъ на нее посмотреть? Онъ встрѣтился съ нею случайно, и она отдалась ему, не задумываясь, какъ первая встрѣчная.

Не можетъ онъ не презирать ее послѣ такого поступка. Все, все готова она претерпѣть, но не его презрѣніе... только бы не его презрѣніе!

Какъ же быть? Чтò дѣлать?

Уйти?.. Да, уйти;—и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше! Все лучше, чѣмъ связать себя съ человекомъ, который не можетъ отвѣчать любовью на ея любовь.

Нечего убаюкивать себя несбыточными мечтами,—надо дѣйствовать, но какъ? Не написать ли ему на прощанье? Нѣтъ, она

рѣшилась: лучше уйти такъ же бесслѣдно, внезапно, какъ и пришла.

Догъ тихо шевельнулся, вскинулъ на нее томными, заспанными глазами и снова безмятежно закрылъ ихъ. Въ волненіи, дрожащими руками разыскала она свои вещи; прошла въ прихожую и тамъ съ лихорадочной поспѣшностью одѣлась. Дворецкій повстрѣчался ей на крыльцѣ и спросилъ, не угодно ли приказать заложить; но она прошла быстро мимо, только поводя головою, въ знакъ отказа.

Попелъ снѣгъ и мокрыми хлопьями ложился на лицо, заплывая глаза... Она ничего не видала, не чувствовала, летѣла впередъ, прямо передъ собою.

Но вотъ она свернула въ сторону, въ одну изъ боковыхъ улицъ. Мимо проѣзжалъ извозчикъ; она торопливо подбѣжала къ нему, сѣла въ дрожки, и только тогда вздохнула свободнѣе. Слава Богу, она спасена, она ѣдетъ домой...

Черезъ четверть часа Гербертъ вернулся.

Едва отворилась дверь въ гостиную, какъ Милоръ со всѣхъ ногъ бросился къ своему господину, осыпая его своими бурными ласками. Гербертъ тихо отстранилъ его, спѣша войти.

Гостиная была пуста. Въ смежныхъ комнатахъ также было тихо и пусто.

Онъ позвонилъ. Пришелъ лакей, но не могъ ничего сказать, гдѣ или куда ушла барыня? Горничная—также. Наконецъ, дворецкій объяснилъ, что „онѣ изволили выйти пѣшкомъ“, „не желали взять карету“... но больше онъ не зналъ, да и не могъ знать ничего.

— А, хорошо!—проговорилъ баринъ, и слуги удалились.

Ласково и грустно потрепалъ онъ рукою вѣрную собаку и какъ бы съ укоромъ проговорилъ:

— Глупый ты, глупый! Ну, чего ты-то смотрѣлъ?

А Милоръ въ отвѣтъ только радостно завилалъ хвостомъ.

Тоска и отчаяніе овладѣли Гербертомъ.

Куда идти? Гдѣ ее искать? Его вдругъ осянило подозрѣніе, что Люси ушла отъ него, ушла съ тѣмъ, чтобы никогда уже не возвращаться. Но въ такомъ случаѣ она, вѣроятно, оставила хоть объяснительную записку? Съ лихорадочной поспѣшностью онъ бросился рыться по всѣмъ угламъ гостиной и другихъ комнатъ... Все перерылъ и... не нашелъ ничего!

Тревожно ходилъ онъ изъ комнаты въ комнату, выдвигалъ

ящики столовъ, перелистывалъ книги... Все было напрасно! Нахлобучивъ наскоро шапку, Гербертъ торопливо вышелъ изъ дому, но черезъ нѣсколько шаговъ одумался и вернулся: онъ не имѣлъ никакой, хотя бы приблизительной цѣли. Онъ даже не зналъ, гдѣ ее искать? Только у крыльца еще виднѣлись, въ свѣже-нанесенномъ снѣгу, слабыя отпечатки маленькихъ, узкихъ подошвъ съ низкими каблучками. Дворникъ пришелъ сметать снѣгъ. Гербертъ его отослалъ прочь, говоря, что время терпѣть. Тотъ повиновался, но въ недоумѣніи посмотрѣлъ на своего барина.

— И что это съ нимъ такое? Отродясь такого не бывало! — вѣроятно подумалъ онъ. — Ночью вернулся съ этой барыней, а теперь — ея нѣтъ, и онъ самъ не свой. — Вспомнилось ему, что, бывало, прежде къ барину тоже заглядывали и другія, тоже нарядныя женщины; но тѣхъ онъ принималъ въ садовомъ павильонѣ и не тревожился такъ о нихъ. А эта...

— Нѣтъ, тутъ что-нибудь да не то, — рѣшилъ онъ, и не спѣша направилъ свои стопы въ людскую, чтобы обсудить этотъ важный вопросъ съ помощью женской половины двора.

Тѣмъ временемъ баринъ вернулся въ комнаты и не находилъ себѣ мѣста. Его преслѣдовалъ милый образъ покинувшей его женщины. Онъ чувствовалъ на губахъ ея горячіе поцѣлуи, ощущалъ близость ея молодого, прекраснаго, гибкаго существа. Ему казалось, что и теперь еще его сердце бьется въ отвѣтъ ея пылкому сердцу, что она еще тутъ, сама, нѣжно повисшая у него на шеѣ, принявшая къ его широкой груди.

Въ темнотѣ онъ напрягалъ зрѣніе, чтобы увидѣть ее, хотѣлъ воснуться ея руками... Но руки его ловили лишь пустой воздухъ, холодный и безучастный къ его душевнымъ мукамъ.

Ему приходило на умъ, что всѣ ея ласки, все наслажденіе минувшихъ часовъ онъ готовъ бы отдать за счастье только видѣть ее, слышать ея милый голосъ, быть съ нею всечасно. Въ эту минуту вся его карьера казалась ему такимъ пустымъ, незначительнымъ интересомъ, въ сравненіи съ жизнью вблизи Люси, вмѣстѣ съ нею! И, наконецъ, къ чему стремится весь міръ? Къ счастью, — и *только* къ счастью!

Слѣдовательно, не правъ ли и онъ, Гербертъ фонъ-Дюрень, что на первый планъ ставитъ въ своей жизни то, что онъ считаетъ высшимъ счастьемъ на землѣ?

И это счастье лишь подразнило его, приласкало лишь мимоходомъ, на краткій (слишкомъ краткій!) мигъ.

Съ той поры онъ не зналъ ни минуты покоя. Работа у него не подвигалась: онъ не могъ сосредоточиться, не могъ думать

ни о чемъ, кромѣ Люси. Ночью, во время бессонницы, въ головѣ у него шумѣло, нервы напрягались до того, что ему чудилось, что вотъ, вотъ, она сама тутъ идетъ къ нему... подходить... Онъ чувствуетъ, что она тутъ, близко-близко; вотъ она наклонится къ нему, поцѣлуетъ. Онъ едва дышетъ отъ восторга, онъ готовъ броситься къ ея ногамъ. Но вокругъ — полная, равнодушная тишина, и лишь въ дальнемъ углу большой, глубокой спальни, раздается безстрастное „тихъ-такъ“ будильника.

Три дня подрядъ не выходилъ онъ изъ дому, но затѣмъ принялся неутомимо посѣщать всѣ балы, спектакли и маскарады, — всѣ мѣста, гдѣ только онъ, по его мнѣнію, могъ надѣяться встрѣтить Люси. Онъ жадно вглядывался въ каждое молодое, хорошенькое личико, приставалъ въ маскарадахъ къ каждой стройненькой маскѣ, такъ что товарищамъ и знакомымъ это даже стало бросаться въ глаза, и его потихоньку называли „кажется, ненормальнымъ“, жалѣли...

Миновалъ январь мѣсяцъ, а за нимъ и февраль, и мартъ. Весна наступала. Деревья подернулись зеленымъ, чуть замѣтнымъ покровомъ; птицы оживились, зачирикали, засуетились на солнышкѣ. Природа и люди оживали, веселой улыбкой привѣтствуя вѣчное возрожденіе, новую жизнь...

Одинъ только Гербертъ ничего не чувствовалъ, ничему не радовался: на лицѣ, какъ и въ душѣ, у него была тоска безнадежности.

Но и съ нимъ произошелъ нѣкоторый переворотъ.

Съ самаго ранняго утра его тянуло на волю. Онъ уходилъ изъ дому и, гуляя, заходилъ въ такіе отдаленные уголки родного ему Берлина, о существованіи которыхъ онъ никогда не думалъ и не подозрѣвалъ ничего. Какъ ни обманывала его до сихъ поръ надежда напасть на слѣдъ бѣглянки, онъ невольно, гдѣ бы ни былъ, искалъ ее глазами.

Въ сѣверной части Берлина онъ впервые обратилъ вниманіе на громадныя размѣры казарменныхъ построекъ, — гигантскихъ каменныхъ ящиковъ, со множествомъ маленькихъ черныхъ точекъ, — оконъ. За ними, на окраинѣ города, жались убогіе и закопѣлые домишки рабочаго люда; дальше, — за чертой города, — шли дома и домики съ садами и огородами, придававшими имъ видъ дачъ или скромныхъ усадебъ. Лишь немногія изъ нихъ были огорожены настоящимъ заборомъ: если онъ и попадался изрѣдка, то большею частью изветшалый и мѣстами даже полу-разобранный сосѣдними бѣдняками на дрова.

На востокъ столицы всегда стоялъ въ воздухѣ темный, гу-

стой дымъ и смядъ отъ безчисленнаго множества фабричныхъ трубъ. Непомѣрная стукотня и грохотанье машинныхъ приводовъ; толкотня и безобразный говоръ фабричнаго люда въ часы шабаша или обѣда, когда всѣ фабрики высыпаютъ на улицу; красныя кирпичныя стѣны, надъ которыми высятся черныя, длиннѣйшія трубы... Вотъ общая картина этого квартала.

На юго-востокъ отъ фабрикъ и заводовъ болѣею частію живутъ все рабочіе или служащіе. Тамъ цѣлый день тишина. Домики и ихъ остальные обитатели будто дремлютъ; но наступаютъ сумерки—и тихое шоссе оживляется: на немъ мелькаютъ синія и голубыя, старыя и новыя блузы фабричныхъ, которые спѣшатъ на отдыхъ домой. Обогнувъ почти весь городъ, Гербертъ, наконецъ, попадалъ въ потсдамскій кварталъ—этотъ главный двигатель берлинской жизни—и, наконецъ, возвращался въ ту часть Берлина, гдѣ ютилась его хорошенькая вила.

По сосѣдству также все было прелестно.

Искусно разбитыя садики, изящной постройки дома, тихія, почти безлюдныя, но чистыя улицы, — все это мало напоминало суету и скученность столицы, гулъ которой долеталъ сюда лишь изрѣдка, — но и то слабо.

Отъ Люси нигдѣ ни слѣда!..

На одномъ вечерѣ, гдѣ было много народа, и гдѣ дамы являлись подъ густымъ чернымъ вуалемъ (таковъ ужъ былъ порядокъ въ игорномъ домѣ г-жи де-Муренъ, родомъ бельгійки), Дюррену показалось, что онъ узналъ Люси. На бѣду, прежде, чѣмъ онъ успѣлъ удостовѣриться, дѣйствительно ли это она, — дама подъ вуалемъ встала и вышла изъ комнаты. Онъ за нею. Но она исчезла и, какъ онъ ни ждалъ ее весь вечеръ, не возвратилась. Тогда онъ обратился къ хозяйкѣ дома, спрашивая ее, описывая наружность Люси. Но г-жа де-Муренъ увѣряла его, что никогда такой дамы и въ глаза не видала.

V.

Однажды, часу въ четвертомъ, когда весеннее небо раскинулось надъ землею синимъ, чистымъ покровомъ, Гербертъ шелъ задумавшись по Инвалидной улицѣ.

Вдругъ, на той сторонѣ онъ замѣтилъ женскую фигуру въ черномъ, которая почему-то напомнила ему Люси. Онъ прибавилъ шагъ. На ходу онъ возражалъ самъ себѣ:

— Да почему же это должна быть непременно она? Это не

ея походка, не ея прямая осанка. Эта идетъ—неровно, устало, и держится вяло, какъ-то уныло опуска голову и плечи...

Вотъ онъ ее настигаетъ... настигъ! Онъ узналъ ее и испугался,—ему жутко стало отъ взгляда ея большихъ, глубоко-ввалившихся глазъ, казавшихся еще больше отъ худобы и блѣдности впалыхъ щекъ.

Люси вѣроятно замѣтила его, потому что подняла голову и встрѣтилась съ нимъ глазами, но продолжала молча идти, мчаться впередъ, безъ оглядки.

— Люси!.. Наконецъ-то!—воскликнулъ Гербертъ, но она шла отвернувшись отъ него, чтобы не дать ему замѣтить своего волненія. Онъ все-таки видѣлъ, что она дрожала, и не отставалъ отъ нея.

Тогда она бросилась черезъ дорогу. Какіе-то экипажи раздѣлили ихъ. Экипажи проѣхали; но Люси ужъ не было ни на мостовой, ни на тротуарѣ. Какія-то прачки съ ворохами бѣлосѣжнаго бѣлья проходили мимо и усмѣхнулись, многозначительно перемигнувшись: онѣ видѣли, какъ дама ловко улизнула.

На минуту Гербертъ остановился, но, бросившись впередъ, еще успѣлъ настигнуть ее на мосту.

Солнце обливало веселымъ свѣтомъ рѣку, тихо плескавшуюся у берега, мостъ и людей. Все вокругъ было полно жизни и движенія. Тѣмъ грустнѣе выдѣлялась на общемъ веселомъ фонѣ усталая фигура дѣвушки въ бѣдномъ черномъ платьѣ.

— Люси! Не бѣгите отъ меня! Выслушайте, ради Бога!—умолялъ Гербертъ; но она не слушала его.

— Люси! Неужто все забыто? Все, что мы говорили, что чувствовали въ тотъ вечеръ? Забыто, что я васъ люблю и что вы... меня любите?

— Ахъ, прошу васъ: оставьте меня!—и она оттолкнула его.

— Люси, дорогая! Отвѣйте мнѣ только: отчего вы ушли, отчего бросили меня?.. Скажите, пожалуйста!

— Не знаю.

— Не знаете? Но этого быть не можетъ!.. Вы не подозреваете, что я выстрадалъ за это время!

Люси робко, искоса взглянула на него.

— Да и вамъ самимъ было не легче моего: по лицу видно. Можетъ быть, вы и сами можете себѣ представить, что я выстрадалъ...

Но Люси молча шла впередъ, не поворачивая головы.

Прохожіе сновали мимо нихъ по всѣмъ направленіямъ; но даже самые торопливые обращали вниманіе на молчаливую, блѣд-

ную женщину, рядомъ съ которой шелъ высокій мужчина, горячо ее въ чемъ-то убѣждавшій. Несмотря на то, что погода была очень теплая, Люси грѣла руки въ маленькой черной муфтѣ.

— Люси!—продолжалъ Дюренъ, касаясь ея руки.—Должны же вы меня выслушать!.. Съ той минуты, какъ вы бѣжали отъ меня, я не имѣлъ покоя. Гдѣ только не искалъ я васъ! Какъ ни надѣялся найти,—все напрасно. Я все время помнилъ васъ... и любилъ!.. Да не отмалчивайтесь же, какъ будто я не о васъ говорю! Скажите хоть слово!.. Поймите, Люси: я такъ васъ люблю, что мнѣ ничего не надо, только бы знать, что вы несовсѣмъ безучастны, что вы меня слушаете...

Бѣдная женщина еле передвигала ноги и невольно опиралась на руку Герберта. Онъ заглянулъ ей въ лицо и замѣтилъ, что слезы тихо катились у нея по щекамъ. Безъ сопротивленія она шла теперь подъ-руку и молча, покорно сѣла въ дрожки рядомъ съ нимъ.

Гербертъ крикнулъ извозчику свой адресъ.

Люси вздрогнула:

— Ахъ, нѣтъ! Ради Бога, только не туда!

Онъ подумалъ немного и велѣлъ ѣхать въ Зоологическій садъ: тамъ тоже можно было поговорить безъ свидѣтелей.

Всю дорогу Люси молчала, какъ будто все это ея не касалось.

Въ ресторанѣ всѣ окна были настежь открыты. Съ улицы доносились порывами отдаленные звуки рояля.

Народу въ саду и въ комнатахъ почти не было.

Гербертъ приказалъ подать кофе и пирожковъ, за которые Люси принялась не сразу. Вуаль она не хотѣла поднять, и Герберту ясно видна была только горькая усмѣшка въ углахъ ея блѣднаго рта. Гербертъ снова принялся говорить ей о своихъ мукахъ. Она молча слушала его; но мало-по-малу выраженіе лица ея смягчалось.

— Люси, скажите же, прошу васъ: почему вы ушли отъ меня?

Она печально покачала головой:

— Сама не знаю.

— Ну, полноте, дорогая!—настаивалъ онъ:—Вѣдь была же какая-нибудь причина?..

— Не могла я у васъ оставаться... Не могла ничего забыть... Не смѣла остаться... Какъ вспомню, что было, такъ жутко становится, что, кажется, сейчасъ бы съ собою покончила!

— Люси!..

— Нѣтъ, оставьте! Если вы и презираете меня, то имѣете полное право: я сама себя презираю!

— Полноте, Люси, успокойтесь. Теперь ужъ я васъ не пущу нкуда... Но скажите же мнѣ, наконецъ, какъ вамъ за это время жилось.

— Да что тамъ рассказывать?—медленно, проводя рукой по глазамъ, проговорила она.—Во всякомъ случаѣ, жилось нехорошо.

— Я бы могъ вамъ помочь...

— Ничего бы вы не подѣляли: я была больна, лежала въ больницѣ... У меня была нервная лихорадка и было мнѣ очень, очень плохо. Такъ плохо, что одинъ разъ я была готова послать за вами...

— И не послали?..

— Нѣтъ: чего ради вамъ было нюхать ужасный больничный воздухъ, смотрѣть на больную?.. Я быстро поправилась, встала на ноги и поспѣшила къ себѣ на квартиру. Компаньонки моей и слѣдъ простылъ: хозяйка сказала, что она забрала свои вещи и „выбыла неизвѣстно куда“ на другой же день послѣ того, какъ меня отвезли въ больницу. Прежде всего я открыла свой ящикъ съ деньгами: онъ былъ пустъ! Хорошо еще, что въ моей маленькой шкатулѣ, гдѣ я обыкновенно держала болѣе мелкія суммы на расходъ, нашлось до двухсотъ марокъ и кое-какія золотыя вещи. Я сейчасъ же телеграфировала Джэмсу; послала ему три письма, одно за другимъ: никакого отвѣта!.. Самыя лучшія изъ вещей я оставила хозяйкѣ, въ качествѣ залога за квартирный долгъ, хотъ онѣ стоили несравненно дороже, а сама наняла себѣ маленькую комнату на мѣсяцъ. Срокъ приходитъ къ концу, и я не знаю, что буду дѣлать...

— А я-то, Люси? Я-то на что же! Или ужъ вы забыли, что называли меня своимъ другомъ когда-то, что этотъ другъ для васъ на все готовъ?

Она какъ будто не слышала его словъ, сидѣла неподвижно.

— Должны же вы разрѣшить мнѣ заботиться о васъ?

— А что вамъ за это надо?—рѣзко, грубымъ, надорваннымъ голосомъ проговорила Люси.

Гербертъ только взглянулъ на нее, но ничего не нашелся сказать. Взволнованный, огорченный, онъ ничего не прочелъ у нея на лицѣ: она смотрѣла въ сторону, въ окно.

— Только „меня“... мой другъ?

Горечь и глубокое презрѣніе слышались въ ея словахъ, тихихъ и беззвучныхъ.

— Люси, какъ вамъ не грѣшно...

— Такъ что жъ это, не правда?

— Увѣрю васъ...

— Ахъ, нѣтъ, и не увѣряйте! Не надо... ничего мнѣ не надо! Я не знаю, что говорю, не знаю, что думаю... За послѣднее время мнѣ въ голову шли все такія ужасныя мысли... Всѣ чувства во мнѣ заглохли, я стала какъ каменная. Прежде,—давно,—мнѣ казалось, что я васъ любила...

— Только „казалось“?!

— Страданія не легко даются... человѣкъ черствѣетъ душою... А я такъ настрадалась!..

И Люси закрыла лицо руками.

Гербертъ положилъ руку ей на плечо и твердо, по ласково заглянулъ ей въ глаза.

— Слушайте, Люси! Можете вы мнѣ повѣрить, что я вашъ искреннѣйшій, преданный другъ? Вѣрите ли вы въ мою дружбу?

Долго и пытливо смотрѣла на него Люси своими заплаканными глазами и наконецъ сказала:

— Да, вѣрю!

— Благодарю. Ну, а теперь скажите: гдѣ вы живете?

— Нанимаю комнату на Стрелитцкой улицѣ.

— И хорошо вамъ тамъ?

— Не очень. Чѣмъ скорѣй я выберусь оттуда, тѣмъ мнѣ будетъ пріятнѣе.

— Такъ выбирайтесь сегодня же и переѣзжайте ко мнѣ.

— Ни за что на свѣтѣ!

— Полноте, Люси, не волнуйтесь: вы меня не такъ поняли. Въ глубинѣ сада у меня есть небольшой павильонъ, въ которомъ вы можете жить совершенно отдѣльно: даже я не буду васъ тамъ тревожить. Можете же вы воспользоваться моимъ предложеніемъ хоть пока, на время?

— Ну, хорошо: пусть такъ. Для меня нѣтъ другого исхода.

— Вашу руку, на доброе сосѣдство!

Люси подала ему руку, но потомъ снова погрузилась въ грустныя думы. Ей вспоминалось послѣднее время и жизнь за минувшія двѣ-три недѣли; она остановилась на принятомъ рѣшеніи.

Карета Герберта, вытребованная имъ по телефону, была у воротъ. Но Люси отказалась въ ней ѣхать.

— Я прежде заѣду къ хозяйкѣ и расплачусь съ нею, а потомъ...

— Потомъ я самъ за вами заѣду; а пока,—провожаю васъ туда.

— Нѣтъ, нѣтъ, лучше я одна, на извозчикѣ.

Гербертъ не сталъ спорить; проводилъ ее до извозчика, усадилъ и поспѣшилъ домой, чтобы все приготовить, распорядиться.

Всю дорогу онъ мучился сомнѣніемъ: хорошо ли онъ сдѣлалъ, что отпустилъ ее? Ну, что, какъ она опять не вернется, опять оставить его горевать безнадежно? Онъ постарался скорѣй разубѣрить себя, прогнать глупыя, безумныя мысли, и горячо принялся за устройство ея новаго жилища.

У расторопнаго дворецкаго все пошло скоро и споро. Окна въ домикѣ раскрыты настежъ, чехлы съ мебели сняты, ковры разостланы, пыль стерта. Гербертъ самъ принесъ изъ большого дома нѣсколько вещей, которыя придали павильону еще болѣе жилой и уютный видъ. Приказавъ дворецкому, чтобы на окнахъ и въ комнатахъ разставить цвѣты, Гербертъ передвинулъ нѣсколько стульевъ и креселъ, заглянулъ во всѣ три комнаты, изъ которыхъ состоялъ весь нижній этажъ садоваго павильона и, въ восторгѣ, водворить въ немъ любимую дѣвушку, поѣхалъ за нею.

Дождаться у подъѣзда ему показалось слишкомъ долго: онъ поднялся наверхъ и засталъ Люси въ прощальныхъ переговорахъ съ квартирной хозяйкой; за юбками этой почтенной особы прятался ея кудрявый сыннишка. Съ собой Люси взяла только небольшой чемоданчикъ; за остальными вещами можно было прислать и завтра. Она переодѣлась и въ кружевной шляпѣ, гладко причесанная, скромно, но изящно одѣтая, со своимъ обычнымъ, милымъ, полу-дѣтскимъ выраженіемъ лица, показалась Герберту еще прелестнѣе, чѣмъ когда-либо. Выйдя на лѣстницу, онъ предложилъ ей руку и былъ счастливъ, что она согласилась съ улыбкой.

Въ каретѣ она опять стала серьезна, но въ молчаніи ея не было ни угрюмости, ни грусти; на лицѣ отражалось настроеніе спокойствія и довольства.

Съ любопытствомъ подходила она къ садовому домику, сложенному изъ красиваго желтаго камня; но на порогѣ не могла удержаться отъ восторженнаго восклицанія.

На каминѣ уютной комнаты, уставленной мягкой мебелью, горѣла китайская лампа подъ красивымъ краснымъ абажуромъ и разливала въ этой части гостиной нѣжно-красноватый свѣтъ; съ потолка спускалась другая. Въ открытую дверь изъ маленькаго будуара лился нѣжно-голубой свѣтъ фонаря, отъ котораго еще мягче и пушистѣе казались мягкіе ковры, устилавшіе полъ.

Люси остановилась и не отталкивала отъ себя Герберта, который обвилъ рукою ея станъ. Онъ заглянулъ ей въ лицо и

прочелъ на немъ радостное чувство признательности. Его губы робко коснулись ея лба.

— Вы довольны, Люси?

Она молча кивнула головою.

— Вы думаете, что вамъ будетъ здѣсь хорошо и спокойно?

— Не только думаю, но и желаю!

Еще разъ обойдя свои новыя владѣнія, Люси пошла съ Гербертомъ къ нему, гдѣ ихъ ожидалъ уже накрытый столъ. Къ Люси скоро вернулось ея обычное оживленное настроеніе: она снова напомнила Герберту шаловливую, безнечную Китти, но только не такую порывистую и легкомысленную: теперь ея веселость была менѣе похожа на дѣтскую, и въ этомъ была вся разница между той Люси, какою она была на Гельголандѣ и какою она стала за послѣднее время мученій, болѣзни и одиночества.

Старикъ Бернардъ не могъ надивиться на своего барина: и говорить-то онъ, и смѣется, какъ еще никогда не смѣялся.

Милоръ тоже былъ веселъ и доволенъ: Люси ласкала его, шутила съ нимъ.

— Ахъ ты глупышъ, глупышъ!—говорила она.—И какъ это ты посмѣлъ не доглядѣть? Какъ не остановилъ меня? Долженъ же ты былъ знать, что я такая глупая, необузданная, что за меня всегда кто-нибудь другой долженъ думать и дѣйствовать?

Догъ терся головою объ ея колѣни и тихо рычалъ отъ удовольствія.

Люси встала, подошла къ роялю и взяла нѣсколько аккордовъ:

„Камешекъ бѣдный лежитъ при дорогѣ;
Брошенъ людьми и забытъ, одинокій!
Бросили люди, забыли меня;
Какъ камешекъ бѣдный, забыта и я!“

запѣла она звонкимъ, чистымъ голосомъ.

Гербертъ тихо подошелъ къ ней и замѣтилъ, что на глазахъ у нея блеснули слезы. Еще минута — она кончила, горячо пожала ему руки и вдругъ понеслась по комнатамъ, какъ ребенокъ, заливаясь смѣхомъ на неуклюжіе прыжки Милорки.

На дворъ совсѣмъ стемнѣло. Небо засверкало мириадами звѣздъ. На одну изъ нихъ заглядѣлась Люси, задумчиво прислонясь къ окну.

— Вонъ эта—моя звѣзда!—проговорила она.

— Которая, голубушка?

— Вонъ та, яркая, большая... Та, что свѣтитъ надъ де-

ревьями, между двумя маленькими звѣздочками... Какъ она называется?

— Не знаю, крошка.

— Не знаешь?—удивилась она.—А я думала, ты все знаешь! Гербертъ покачалъ головою.

— Нѣтъ, дорогая, не все!.. Мало ли что тебѣ вздумается!

Люси положила голову къ нему на плечо и тихо сказала:

— Какой ты добрый!

— Какая ты прелестъ!

— Неправда: я вовсе не красива!

— Но для меня ты красивѣе, прелестнѣе, дороже всего на свѣтѣ!

Гербертъ наклонился, чтобы поцѣловать ее въ лобъ; но она сама подставила ему свой хорошенькій ротикъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, пожалуйста!—оттолкнула она его вдругъ, когда онъ горячо обнялъ ее, и, обвиняя его шею руками, дала волю слезамъ.

— Но вѣдь любишь же ты меня?—тревожно говорилъ Гербертъ, тихо и нѣжно цѣлуя ее и обнимая какъ дитя.

Она рыдала все тише и тише, сидя у него на колѣняхъ.

— Я бы готова такъ и уснуть на всю жизнь!—шептала она, прижимаясь къ нему.

Наконецъ Люси умолкла. Онъ тихо окликнулъ ее, но отвѣта не было: она доплакалась до того, что заснула у него на рукахъ. Долго сидѣлъ онъ неподвижно. Вѣрный Милоръ лежалъ у его ногъ. Въ комнатѣ было томительно тихо. Колѣни ломило, руки устали поддерживать дорогую для Герберта ношу; но онъ не смѣлъ, не хотѣлъ шелохнуться, чтобы не разбудить ее. Онъ прислушивался къ ея дыханію; видѣлъ, какъ тихо и ровно подымалась ея грудь; чувствовалъ, какъ довѣрчиво она, сонная, опирается на него, и его глубокая любовь къ ней давала ему силы устоять противъ искушенія обнять, задушить ее поцѣлуями. Да, онъ чувствовалъ, что любить ее истинно и глубоко и ему уже не такъ тяжела показалась его ноша... А надъ нимъ, въ вышинѣ, ярко горѣла звѣзда любви... ея звѣзда!

VI.

Пришло лѣто. Деревья одѣлись густою листвою; цвѣты красовались въ зелени, а надъ ними все выше и выше подымалось лѣтнее, жгучее солнце.

На Потсдамской площади стоялъ шумъ и гамъ; грохотъ колесъ и говоръ толпы пѣшеходовъ. На садовой террасѣ отеля Бельвио сидѣло шумное общество. Всѣ столики были заняты поѣсѣтителями, утолявшими жажду съ помощью кофе, мороженого и шоколада.

За однимъ изъ столиковъ сидѣлъ Гербертъ съ товарищами: Эггерсдорфомъ, Бренкенгоффомъ и Лаутнеромъ.

Фрицъ Лаутнеръ былъ художникъ, представитель реалистической школы живописи,—еще очень молодой человѣкъ, сразу завоевавшій себѣ видное мѣсто въ кругу молодыхъ художниковъ-реалистовъ своей картиной, изображавшей кузницу, а въ ней драку двухъ кузнецовъ-товарищей. На заднемъ планѣ виднѣлся пылающій горнъ; на переднемъ—кузнецы, готовые броситься другъ на друга, а за ними, въ открытую дверь вливался сѣреный, вылый дневной свѣтъ. У одного изъ бойцовъ въ рукѣ тяжелый молотъ, у другого—желѣзный прутъ. Товарищи спѣшатъ къ нимъ, чтобы ихъ разнять.

Судя по наружности, въ Лаутнерѣ ничто не выдавало живописца, если не считать оживленнаго взгляда и тонкихъ, небольшихъ рукъ, машинально подражавшихъ движенію кисти. Ему противенъ былъ вѣншній обликъ его собратій-художниковъ,—ихъ косматая грива, небрежный нарядъ: онъ нарочно остригся такъ коротко, что даже кожа просвѣчивала, одѣвался, какъ и всѣ, аккуратно и по модѣ.

Но въ картинахъ у него все было рассчитано на эффектъ и дѣйствительно было эффектно: самый сюжетъ, кисть и освѣщеніе. Какъ бы грустно и реально ни было содержаніе его полотенъ, онъ непременно оживлялъ его цѣлыми потоками свѣта. На него нападали, возставали противъ него; но онъ, не смущаясь, шелъ своей дорогой,—и онъ былъ правъ. При его крайней молодости (ему было только двадцать три года) даже знаменитости не могли ему отказать въ несомнѣнной жизненности и оригинальности таланта.

За послѣдніе дни онъ написалъ и уже закончилъ еще новую, большую картину: „Нашли!“ Она изображала пасмурный осенній день на рѣкѣ Шпрее, къ берегу которой причалила лодка съ утопленницей. На первомъ планѣ, внизу, виденъ только бортъ этой лодки,—главный же пунктъ картины—каменные ступени лѣстницы набережной, на которыхъ стоитъ лодочникъ, отыскавшій тѣло несчастной. Его товарищъ, тоже вышедшій уже изъ лодки, держитъ трупъ за ноги, помогая первому поддерживать его. Это еще свѣженькая, не успѣвшая измѣниться, молодая дѣ-

вушка въ сѣренькомъ платьѣ; оно облипаетъ ея стройное тѣло неровными складками, съ которыхъ каплетъ вода; изъ-подъ нихъ видны ея маленькія изящныя ножки въ высокихъ ботинкахъ. Лѣвой рукой она сжимаетъ золотой медальонъ; правая волочится по грязи; грязь загребаешь и золотой браслетъ въ видѣ цѣпи. Надо всей картиной, какъ и надъ кучкой любопытныхъ, собравшихся выше, на самой набережной и на верхнихъ ступеняхъ лѣстницы, вѣетъ какой-то туманъ, напоминающій мутныя воды рѣки. Но эти воды и каменная стѣна съ лѣстницей блестятъ подъ лучами бьющаго прямо въ нихъ осенняго солнца, которое еще болѣе рельефно отбѣиваетъ простое, сѣрое, мокрое платье бѣдной дѣвушки.

Гербертъ съ товарищами только-что былъ въ мастерской Лаутнера, гдѣ, вмѣстѣ съ ними, любовался содержаніемъ его новаго полотна и оригинальностью манеры располагать тѣни и краски. Содержаніе ея не трудно было понять: молодая дѣвушка, одна изъ жертвъ столичной жизни, брошена своимъ милымъ и находитъ себѣ покой лишь въ волнахъ,—дѣло самое естественное и заурядное.

— Да нѣтъ же, нѣтъ, не естественное!—кричалъ Лаутнеръ, сдвигая брови такъ, что, казалось, еще озлобленнѣе сверкали его глаза.—Не должно быть для насъ зауряднымъ такое дѣло! Къ паденію дѣвушки мы не чувствуемъ жалости, но она, бѣдная, тутъ не при чемъ: она беззащитна, она попалась какъ птичка, и виной тому все-таки мужчина! Онъ одинъ виноватъ, онъ во сто кратъ больше виноватъ, чѣмъ она: вѣдь не можете же вы утверждать, что мы дѣйствуемъ подъ вліяніемъ минутнаго увлеченія, въ порывѣ страсти?

— Ого!—воскликнулъ Эггерсдорфъ.—Однако, позвольте...

— Нѣтъ,—возразилъ Лаутнеръ рѣзко и рѣшительно:—вы не станете это утверждать! Или ужъ вамъ такъ хочется доказать, что всѣ мы—нищіе духомъ, безсильные обуздать себя нравственно и физически? Къ чему же тогда намъ даютъ воспитаніе? Кажется, мы на то и цивилизованные люди, чтобы не поддаваться слѣпо животнымъ инстинктамъ?

— Ужъ не хотите ли вы отрицать страсть и любовь? Вы забываете самоубійства, какъ доказательства любви?

— Вовсе нѣтъ; но это къ дѣлу не идетъ. Мы, мужчины, не какіе-нибудь Вертеры, чтобы умирать отъ разбитаго сердца, если только мы еще не спятили съ ума. Но если мы не захотимъ соблазнить и обмануть дѣвушку, то не соблазнимъ и не обманемъ ее! Затѣмъ, прошу васъ обдумать вопросъ: часто ли

складываются обстоятельства благоприятно для того, чтобы мы могли послѣдовать „минутному“ увлеченію? Да почти никогда! За то вспомните, сколько хлопотъ, сколько хитростей стоитъ намъ устройство и подготовка свиданій наединѣ,—иначе говоря, сѣтей, въ которыя попадаетъ наша добыча?.. Говорите еще, послѣ этого, о „минутномъ“ увлеченіи, о „порывахъ“ страсти! Да съ нашей стороны совершенно достаточно не силиться подстроить себѣ удачную случайность. Увѣряю васъ: чуть-чуть побольше энергіи,—и мы восторжествуемъ надъ собой!

— Но вѣдь бываетъ же, что оба, и мужчина, и женщина, могутъ забыть, если любятъ другъ друга?

— Конечно, бываетъ; но въ такомъ случаѣ на мужчинѣ лежитъ обязанность исправить эту забывчивость,—дать свое имя матери и ребенку. Неимѣющій отца, такъ называемый незаконный ребенокъ съ юныхъ лѣтъ озлобляется и является горячимъ противникомъ общества и законовъ...

— Ахъ, Боже мой!—запальчиво перебилъ его Бренненгоффъ:—такъ всегда было, есть и будетъ!

— Такъ всегда будетъ!—горячился Лаутнеръ.—Вотъ вы на что упираете... Но *должно* же не всегда такъ быть, и *не будетъ*! Должны же мы имѣть силу воли, а не прятаться, какъ трусы, за тѣ доводы, которые для насъ удобнѣе. Да, каждый день сотни, тысячи такихъ же несчастныхъ, обманутыхъ и брошенныхъ любовниками идутъ на самоубійство; и кто же ихъ до этого доводитъ, какъ не мы сами?

— Но къ чему же вы все это клоните?—спросилъ Эггерсдорфъ.

— Къ чему жъ больше, какъ не къ тому, чтобы на свѣтѣ жилось хоть немножечко лучше. Положеніе женщины въ обществѣ имѣетъ прямое вліяніе на культурное общество. Самое лучшее, что напутствуетъ въ жизни, внушаютъ намъ наши матери. Вотъ почему я стою за положеніе и за права материнства.

— Итакъ, вы стоите за то, что мужчина долженъ непременно жениться на дѣвушкѣ, которую онъ обманулъ? Но неужели вы думаете, что такой оборотъ дѣла принесетъ добрые плоды, что такіе браки могутъ быть счастливы, и что вы, такимъ образомъ, пресѣкаете путь къ разводамъ?

Лаутнеръ сидѣлъ, повернувшись лицомъ къ окну, и немного задумался. Затѣмъ онъ грустно покачалъ головой и отвѣтилъ:

— Нѣтъ, не думаю!

— А развѣ нельзя, напримѣръ, изъ вашихъ же требованій вывести заключеніе, что бракъ—учрежденіе еще преждевременное,

и что оно помогаетъ измѣнѣ, даетъ ей поводъ, такъ какъ нравственнаго, здраваго брака не существуетъ? — вмѣшался въ общій споръ и Гербертъ, до сихъ поръ слушавшій молча.

— Едва ли. Но по моему отъ измѣны и обмана можетъ удерживать только строгость наказанія. Положимъ, грустно подумать, что надъ человѣкомъ—существомъ осмысленнымъ—должна всегда быть поднята палка; но что жъ подѣлаешь? Иного выбора нѣтъ: на строгости наказаній только и держится цѣлый свѣтъ.

— Нѣтъ, и это врядъ ли поможетъ,—возразилъ Дюрень:—пока не измѣнятся самыя основы брака. Мы не свободны въ выборѣ; мы стѣснены тысячею мелкихъ и разнообразныхъ условій; мы не смѣемъ идти противъ среды. Наполеоновское: „La femme n'a pas de sang“... не привело ни къ чему, ничего не измѣнило! Мы, напримѣръ, не можемъ жениться на нѣкоторыхъ дѣвушкахъ только потому, что придемъ въ столкновеніе съ нашей средою, которая считаетъ себя выше, достойнѣе; можетъ быть, такой бракъ и не особенно повліяетъ на отношенія къ постороннимъ, но въ тѣсномъ, семейномъ кругу онъ не будетъ терпимъ. А между тѣмъ мы нуждаемся въ здоровыхъ женахъ и матеряхъ.

— Извини, Дюрень,—возразилъ Эгтерсдорфъ:—но я не могу съ тобой согласиться: развѣ мы не видимъ сплошь и рядомъ самыя, казалось бы, неравные и несообразныя браки? Еще недавно претендентъ на королевскій престолъ отвергъ руку дѣвушки императорской крови и женился на какой-то пѣвицѣ, дочери камердинера, которая, пожалуй, въ то время еще сама себя комнату убирала и мѣшала въ костюмѣ? Да, наконецъ, развѣ не дѣло заурядное женитьба на богатой, но необразованной еврейкѣ,—женитьба изъ-за денегъ?.. А вѣдь общество же все это терпитъ, даже оправдываетъ, и если возстаетъ иногда, такъ только слабо и негласно.

— Не спору,—согласился Гербертъ:—что оно такъ и есть; но подумайте, сколько предразсудковъ и приличій приходится въ такомъ случаѣ преодолѣть.

— Ну, да! Такъ что жъ такое?—опять загорячился Лаутнеръ.—Пора бы вамъ послать къ чорту всѣ устарѣлыя воззрѣнія, отъ которыхъ несетъ затхолью и средневѣковой ограниченностью! Женитесь на дѣвушкѣ, которая вамъ полюбилась,—и весь сказъ! И увидите,—будете оба счастливы. Пусть будетъ она кто угодно, лишь бы была доброй и вѣрной женою, лишь бы сердце у нея было на своемъ мѣстѣ.

— Но, позвольте,—перебилъ его Бренкенгоффъ, какъ вы можете за это поручиться? Большою частію, въ замуштвѣ дѣ-

вушка становится совсѣмъ другою, чѣмъ можно было ожидать отъ нея въ дѣвичество; изъ самыхъ лучшихъ невѣстъ выходятъ плохія жены, и изъ самыхъ плохихъ—прекрасныя жены и матери.

— Да полно, Бренкенгоффъ! Предоставимъ все времени... А вотъ что, Дюренъ, скажите лучше: отчего вы еще не женаты?—спросилъ художникъ.

— Какъ вамъ сказать? Да просто оттого, что не нашлось дѣвушки, которая бы мнѣ настолько понравилась.

— Гм! Это доказываетъ или чрезмѣрную требовательность съ вашей стороны, или ваше дурное мнѣніе о нашихъ женщинахъ.

— Что жъ, пожалуй, и то, и другое!—отвѣчалъ Гербертъ.— Но кто жъ виноватъ, что большинство, громадное большинство браковъ несчастливо? Виноватъ мужчина, если ему скучно съ женой, въ своей семьѣ; виновата въ томъ же и женщина. Виноваты они оба, если не умѣютъ ужиться другъ съ другомъ. Прямѣровъ тому не перечесть. Да вотъ хоть мой товарищъ (его уже нѣтъ на свѣтѣ): онъ мнѣ часто жаловался въ первый же годъ своей женитьбы. До свадьбы онъ готовъ былъ хоть цѣлые дни поклоняться красотѣ и душевнымъ совершенствамъ своей невѣсты; женился—и все его обожаніе пошло прахомъ! Онъ любилъ ее страстно и преданно, дѣлился съ нею всѣми чувствами и мыслями; она тоже любила, но... не понимала его, и оба были глубоко несчастны.

— Да,—согласился и Лаутнеръ:—бракъ своего рода лотерея; приходится жениться, какъ вынимать жребій,—наудачу. Я, какъ художникъ, достаточно самъ попадался. Смотришь на женщину и ожидаешь видѣть прекрасное, совершенное тѣло: не тутъ-то было! Приходится очень и очень разочаровываться. Не говоря уже о внутреннихъ достоинствахъ дѣвушки, вся ея наружность, вся вѣшняя ея сторона потакаетъ обману: и модное платье, и обувь, и прическа... Лично я считаю, что гораздо важнѣе въ женщинѣ — женѣ и матери—тѣло и душа, нежели лицо. Развѣ лицо ея дорого вамъ, какъ мужу? Развѣ его вы держите въ своихъ объятіяхъ? Развѣ съ лицомъ ея вы живете и чувствуете, а не съ ея душою? Наконецъ, развѣ не тѣло ея является источникомъ будущихъ поколѣній, не душа ея воспитываетъ, облагораживаетъ ихъ нравственныя стороны?.. А между тѣмъ этого всего, главнаго въ женщинѣ, мы и не видимъ до брака.

Гербертъ отъ души разсмѣялся.

— Значить, правъ одинъ изъ моихъ знакомыхъ, который говоритъ, что если хочешь узнать женщину съ цѣлью на ней жениться, самое лучшее сойтись съ нею еще до брака.

— А что жъ? Вѣдь онъ правъ!—воскликнулъ Эггерсдорфъ.—Какъ ты тамъ узнаешь, способна ли она къ настоящей любви, пока любовь ея не пойдетъ дальше словъ?

— Понятно!—согласился и Лаутнеръ.—Я не могу не отдать полной справедливости этому разсужденію.

— Лаутнеръ, Лаутнеръ! Чтѣ же это будетъ? Куда годится теперь вся твоя теорія брака? Вѣдь, значить, ты самъ стоишь за соблазнъ, за незаконныя отношенія, которыя только-что громилъ съ самымъ похвальнымъ рвеніемъ? Нечего сказать, до прекрасныхъ выводовъ ты договорился, голубчикъ!

Всѣ дружно разразились хохотомъ; смѣялся и самъ Лаутнеръ.

— Вотъ видите, что за хитрая штука брачный вопросъ!—воскликнулъ онъ наконецъ.—Хочешь не хочешь, а приходится положиться на случай, который можетъ и обрадовать насъ, и огорчить, совершенно для насъ неожиданно.

— Избѣжать этой случайности можно только однимъ путемъ,—слова пояснилъ Эггерсдорфъ:—жить съ женою еще до брака. Такимъ образомъ будущій мужъ заранее уже знаетъ, чтѣ онъ въ ней найдетъ: всѣ ея достоинства и недостатки. Такимъ образомъ, Лаутнеръ, отчасти начали бы сбываться твои мечты и требованія.

Художникъ только одобрительно кивнулъ головою. Гербертъ тоже молчалъ. Онъ задумался надъ только-что происшедшимъ разговоромъ и въ задумчивости не замѣтилъ, какъ дошелъ до дому. Уже стемнѣло, и вереницы огней протанулись по бокамъ шумныхъ улицъ.

Вилла Дюрена тоже была освѣщена; но онъ прошелъ мимо своего подъѣзда и направился черезъ садъ прямо къ павильону.

Люси чуткимъ ухомъ подмѣтила, что на дорожкѣ, которая вела къ крыльцу, захрустѣлъ песокъ, и встрѣтила Герберта въ саду, окликнувъ еще съ балкона, гдѣ давно поджидала его.

— Здравствуй, дорогая, сокровище мое!—страстно лепеталъ онъ, покрывая поцѣлуями дѣвушку, бросившуюся къ нему на грудь.—Не скучала ты безъ меня?

— Нѣтъ, не скучала... но хотѣла, чтобы ты поскорѣе вернулся: безъ тебя я томлюсь, я чувствую себя несчастной... Я только тогда и счастлива, когда ты со мной!

Нѣжно и братски-почтительно обвилъ онъ рукой ея станъ, и они вмѣстѣ поднялись на балконъ.

Вечеръ былъ теплый, прелестный. Вѣтеръ, какъ будто нарочно, утихъ, и еще красивѣе видѣлись на темномъ фонѣ деревьевъ и неба неподвижные разноцвѣтные фонарики, которыми

былъ увѣшенъ сосѣдній садъ. Тамъ былъ праздникъ, иллюминація; горѣли и поочередно вспыхивали бенгальскіе огни.

Маленькій домикъ сосѣдей былъ залитъ краснымъ пламенемъ, отъ котораго дѣти, бѣгавшія съ крикомъ радости по саду и площадкѣ, приходили въ восторгъ. Особенно нравилось имъ пробѣгать между домомъ и краснымъ огнемъ: ихъ забавляло, что ихъ безгранично длинныя тѣни, какъ чудовища, тянулись вслѣдъ за ними. Красный огонь потухъ; на смѣну ему разлился зеленый, фіолетовый, а тамъ снова красный... Долго еще продолжались шумъ и веселье; долго горѣли огни и свѣтились фонарики въ сосѣднемъ саду; долго сидѣли на балконѣ Люси и Гербертъ, счастливые близостью другъ къ другу.

Люси сидѣла у ногъ Герберта на большой подушкѣ: ей особенно нравилось прислониться къ нему и, заглядывая снизу ему въ лицо, ловить и цѣловать руку, которая ласково гладила ее, какъ любимое дитя, по головкѣ. Какъ ни противился Гербертъ этимъ поцѣлуямъ, она все-таки ухитрилась, неожиданно для него, поставить на своемъ.

Когда случалось ему обнять Люси, прижать ее къ своей груди, онъ чувствовалъ, что въ сердцѣ его закипала прежняя страсть, прежнее опьянѣніе любви, отъ котораго онъ былъ какъ въ чадѣ, безъ воли, безъ разсудка. Но о любви, съ тѣхъ поръ, какъ они снова встрѣтились, между ними не было и рѣчи. Пылкое чувство Герберта иной разъ невольно въ немъ прорывалось; но Люси пугливо начинала тогда сторониться отъ него, и онъ снова становился нѣженъ и ласковъ, но безъ страсти.

Однажды онъ принесъ ей извѣстіе, что Джэмсъ Уордъ помолвленъ. Ни на одно изъ своихъ писемъ Люси не получила отъ него отвѣта; но все-таки она заплакала, узнавъ, что онъ женится; а выплакавшись, постепенно забыла о немъ совершенно.

Какъ ни любила она Герберта, а все же не давала воли его чувству, и только потому, что сама слишкомъ горячо и правдиво любила его. Ея любовь къ нему была безгранична: она поминутно изливалась въ ласкахъ, которыми Люси какъ бы хотѣла показать другу, что чувствуетъ его превосходство надъ собою, и эта же любовь удерживала ее. Ей хотѣлось заслужить его уваженіе; она дорожила имъ, какъ сокровищемъ, охраняла его сама отъ себя, какъ святыню; боролась съ собой, подавляла въ себѣ порывы искренней, бурной страсти.

И это ей долго удавалось; но, наконецъ, сила воли ей измѣнилась.

Случилось какъ-то, что они были въ Потсдамѣ; гуляли и даже бѣгали, какъ дѣти, по его тѣнистому, вѣковому парку. День былъ чудесный. Природа, казалось, ликовала не меньше Люси, которая была особенно весела и шаловлива. Она со всѣхъ ногъ сбѣгала съ пригорковъ и съ громкимъ радостнымъ крикомъ, запыхавшись, бросалась съ разбѣга къ Герберту на грудь. На этотъ разъ и онъ заразился ея беззаботностью: догонялъ ее и самъ отъ нея убѣгалъ. Какъ у дѣтей, шуткамъ и смѣху у нихъ не было конца.

Въ вагонѣ Люси задремала у него на рукахъ и очнулась только, когда поѣздъ остановился въ Берлинѣ. Дома она опять оживилась и безъ умолку болтала, вспоминая каждую мелочь пріятно проведеннаго дня. За ужиномъ она объявила, что не хочетъ ѣсть, но затѣмъ покушала съ аппетитомъ. Къ вечеру Люси какъ будто утомилась шалить и болтать.

Была уже полночь, когда она вдругъ, сидя рядомъ съ нимъ, вѣжно прильнула къ нему и прошептала:

— О, милый, я такъ счастлива, такъ счастлива, что сейчасъ готова умереть... но только съ тобою вмѣстѣ...

— Затѣмъ умирать, дорогая? Затѣмъ думать о смерти? Будемъ жить, будемъ счастливы жизнью! Хотя разъ въ жизни будемъ вполне счастливы!

Но Люси не хотѣла слушать его; она хотѣла вырваться, убѣжать, но вдругъ обернулась къ нему и съ громкимъ крикомъ сама бросилась къ нему въ объятія...

Съ той минуты еще больше, еще горячѣе привязался къ ней Гербертъ, и Люси платила ему тѣмъ же. Жили они, по прежнему, отдѣльно. Люси цѣлыми днями читала и усердно занималась музыкой; Гербертъ работалъ у себя дома. Когда они сходились, — большею частію, по вечерамъ, — ихъ одинаково радовало сознаніе своей взаимной любви, взаимнаго счастья. Страсть набѣгала на нихъ порывами и только тогда забывались на время ихъ простыя, дружескія отношенія.

Иногда вечеромъ, когда Люси сидѣла у его ногъ, Гербертъ принимался рассказывать ей о своихъ работахъ... а она задумчиво и внимательно слушала его, какъ дитя, которое вдумывается въ диковинную сказку...

Какъ-то разъ, когда они сидѣли въ ея комнатѣ и Люси чего-то призадумалась, Гербертъ окликнулъ ее:

— Люси!

Она встрепенулась и перевела на него свой тихій взглядъ.

— Если ты будешь пай, я расскажу тебѣ что-то чудесное!

Ея влажные глаза блеснули любопытствомъ.

— Да, чудесное! — повторилъ Гербертъ. — Черезъ мѣсяцъ, если погода позволитъ, мы съ тобою уложимся и поскорѣй укажемъ... но куда? Какъ бы ты думала?..

Лицо ея быстро оживлялось, становилось все свѣтлѣе и радостнѣе.

— Неужели?..

— Ну, да! Ну, да!

— На Гельголандъ?

— На Гельголандъ.

— Люси вскочила на ноги и, какъ обезумѣвшая отъ восторга, осыпала его лицо поцѣлуями, лепеча безъ умолку:

— О, дорогой! О, милый, безцѣнный!.. О, что за прелесть!.. Нѣтъ, ужъ я до смерти тебя зацѣлую!..

— Такъ ты довольна, моя ласточка?

— И сказать не могу, какъ довольна!

И ея радостный возгласъ звонко пронесся по затихшему саду и замеръ въ его дремавшей кудрявой листьѣ.

Ночной вѣтеръ проснулся и закачалъ вѣтвями деревь, напѣвая однообразную пѣсенку, отъ которой вѣяло чѣмъ-то такимъ тихимъ и унылымъ, какъ отдаленный звукъ морского прибора.

VII.

Недѣли двѣ безоблачнаго счастья протекло надъ Гельголандомъ, — счастья, которое казалось Герберту и Люси еще безоблачнѣе и дороже оттого, что свидѣтелемъ его были тѣ же мѣста, тѣ же волны и скалы, гдѣ впервые зарождалась ихъ любовь.

Здѣсь все имъ было близко и дорого по воспоминаньямъ: бѣлоснѣжныя дюны, залитыя палящимъ солнцемъ; рыжевато-сѣрые уступы голыхъ скалъ, и подъ ними, сливаясь съ горизонтомъ, далеко раскинувшееся, синѣющее море. Рѣзкій, но чистый морской воздухъ живительно дѣйствовалъ на Люси: за это время она успѣла какъ будто пополнѣть, губы ея принимали понемногу болѣе алую окраску. Она вся сіяла жизнью и здоровьемъ.

Кромѣ прогулокъ, катаній и купанья, у Герберта съ Люси было и еще развлеченье: они свели здѣсь два-три знакомства, при чемъ (какъ и въ Берлинѣ) Гербертъ выдавалъ Люси за свою дальнюю родственницу.

Но, вотъ эта „родственница“ загрустила, поникла своей хорошенькой головкой: Гербертъ уѣзжалъ, оставлялъ ее одну на три, а то и на четыре дня!

— Возьми меня съ собой!—умоляла она.—Я боюсь... боюсь здѣсь одна оставаться!

— Но, душка моя! Мое золото! Не будь такимъ малымъ ребенкомъ,—разсуди: вѣдь я живо вернусь къ тебѣ!

Боялась ли она, что онъ можетъ, какъ Джэмсъ, бросить ее, уѣхать и не вернуться, или чего другого, только ей было тяжело на душѣ и жутко...

Въ тотъ день, когда онъ уѣхалъ, время прошло медленно, тоскливо, каждый часъ казался цѣлой вѣчностью. Ночью она долго не могла уснуть и потому проснулась на утро, когда солнце уже высоко стояло надъ землею.

Спросонья, Люси весело улыбнулась свѣтлому дню, но, окончательно проснувшись и сообразивъ, что она одна, что Гербертъ въ отъѣздѣ, опять стала грустить и томиться.

Чтобы убить какъ-нибудь время, она надѣла купальный нарядъ и пошла на берегъ моря купаться. Это оживило и даже нѣсколько ободрило ее: ей стало какъ будто бы легче на душѣ, и она уже бодрѣе пошла по дорогѣ домой. Оживленные группы людей въ самыхъ пестрыхъ и разнообразныхъ нарядахъ спѣшили ей на встрѣчу, по направленію къ морю, или нагоняли ее. Шумъ и говоръ толпы нѣсколько отвлекъ Люси отъ унылыхъ думъ.

Вдругъ она встрепелась въ испугъ: передъ нею стоялъ господинъ, статскій, въ свѣтло-сѣренькомъ лѣтнемъ костюмѣ, въ бѣлой соломенной широкополой шляпѣ, которая еще рѣзче отъѣняла его одутловатое, красное лицо съ бѣлокурыми баками.

— А! очень пріятно встрѣтиться!—развязно и громко проговорилъ онъ, раскланиваясь.—Какое баснословное счастье: поѣхать на воды и — вдругъ встрѣтить васъ!.. Сколько лѣтъ, сколько зимъ не видались!.. Позвольте вамъ напомнить о себѣ: поручикъ Белау, въ отставкѣ. Д-да-съ, ушелъ со службы: неприятности одолѣли!

Люси все молчала.

Лицо и манеры отставного поручика выдавали его циничный, грубый нравъ. Не только женщинъ, но и мужчинъ пугала его безшабашная самоувѣренность или, иначе говоря, нахальство.

Онъ не отставалъ отъ Люси, хоть она и пробовала отдѣлываться краткими: „да“ и „нѣтъ“.

— А что вы здѣсь, Люси, однѣ?

Ее передернуло отъ такой безцеремонной фамиллярности.

— Нѣтъ!.. Да!..—сбивалась она, не помня, что говорить.

Онъ продолжалъ, самодовольно усмѣхаясь себѣ въ бороду и не обращая вниманія на ея холодность.

— Гм! Вамъ какъ будто не особенно пріятно меня видѣть! А, вѣдь, помните, были когда-то друзьями... Весело жилось намъ тогда въ Берлинѣ... а? Помните, когда вы еще...

Къ счастью, въ это время проходило мимо одно знакомое семейство, и бѣдная Люси, на-скоро проговоривъ: „Извините!“ — поспѣшила подъ ихъ защиту.

„Гм! Плутовка! — подумалъ ей вслѣдъ волокита. — А вѣдь какъ мила стала, чортъ побери! И еще носъ задираетъ!.. Ну-съ, повондируемъ-ка сначала почву!“

И онъ пошелъ впередъ, заглядывая женщинамъ прямо въ лицо, подъ шляпу.

Между тѣмъ Люси попросила знакомую барышню дойти съ нею до дому; но и тамъ она не была спокойна.

Ее охватили воспоминанія о прошломъ, о далекомъ и ужасномъ прошломъ, когда она ушла изъ родительскаго дома, потому что не имѣла больше права, не смѣла въ немъ оставаться!.. Подруга помѣстила ее въ пивную, самый людный изъ студенческихъ кварталовъ, гдѣ бывало избранное общество студентовъ и офицеровъ. Изъ послѣднихъ частымъ посѣтителемъ былъ Белау, которому нравилось попивать пиво за маленькимъ столикомъ въ большомъ залѣ въ два свѣта и поминутно подзывать къ себѣ хорошенькую кельнершу. Но Люси, охотно болтавшая съ нимъ иногда, все-таки побаивалась его самого и его грубыхъ манеръ. Ее гораздо больше интересовалъ скромный и еще очень юный, новоиспеченный офицерикъ, котораго товарищи въ шутку прозвали „Машенькой“. Его дразнили тѣмъ, что онъ неравнодушенъ къ Люси.

— А знаете, Люси, вѣдь вы одержали блестящую побѣду! — говорили его товарищи: — Наша Машенька-то совсѣмъ отъ васъ безъ ума!.. Смотрите, смотрите, какъ наша „красная дѣвица“ покраснѣла!

Люси нравился бѣдный мальчикъ, котораго смущали такія невинныя шутки; она сочувственно пожимала ему руку, и онъ былъ наверху блаженства, когда она на минутку приглашала его зайти къ ней въ комнатку поболтать.

Какъ ни тяжело было ей служить, угождать посѣтителемъ, все жъ это было лучше и пріятнѣе, чѣмъ безпрестанная ругань и потасовки домашнихъ, особенно отца, котораго она боялась какъ огня. Теперь она рѣшилась жить честнымъ трудомъ и на

нее не дѣйствовали даже восхваленія ея красотѣ, которую на всѣ лады воспѣвали студенты.

Къ похваламъ ей было не привыкать стать,—поэтому вѣроятно ее и заинтересовала рѣзкость обращенія Белау.

Въ одинъ изъ понедѣльниковъ (ихъ маленькое общество собиралось въ пивную по понедѣльникамъ и середамъ) офицеры были особенно въ ударѣ; шутки такъ и пересыпались громкимъ смѣхомъ.

— А что, Машенька? Вѣдь не мѣшало бы отпраздновать день твоего рожденія?—предложилъ кто-то изъ нихъ.—Ну, что жъ, куда направимъ стопы? Рѣшайте скорѣе!

— Да что тамъ: куда? Смотрите-ка: ужъ первый часъ, вездѣ закрыто. Сидите ужъ тутъ, благо засѣли. Машенька и здѣсь можетъ насъ угостить, коли захочетъ. Вели-ка подать вина.

— Ну, и чудесно!—порѣшили всѣ единогласно, и Люси подала вина.

Ее тоже потчивали усердно; не давали пройти мимо шумнаго и веселаго столика безъ того, чтобы не чокнуться съ нею.

Уходя, уже на крыльцѣ, всѣ спохватились, что Белау не видно. Провалился куда-то... ну, и чортъ съ нимъ! Товарищи махнули рукой и разошлись по домамъ.

А Белау уже снова очутился за столикомъ; обождалъ, пока Люси сдала отчетъ въ деньгахъ хозяину, и предложилъ проводить ее до дому. Люси согласилась, а* черезъ полчаса уже очутилась съ нимъ въ кафѣ Бауера.

Выходя оттуда, она ничего не думала, не соображала: въ головѣ у нея шумѣло, въ глазахъ мутилось, ноги подкашивались... Белау повезъ ее куда-то,—къ ней или къ себѣ—она ничего не помнитъ.

Съ той минуты она была въ его власти; она дрожала, завидя его, и боялась еще больше прежняго, и не смѣла выйти у него изъ повиновенія.

Скромный и юный офицерикъ больше не показывался въ пивной; вѣроятно, Белау былъ тому причиной. Сначала ей это было очень больно и обидно, но постепенно и это забылось...

Теперь, лежа разстроенная на кушеткѣ, одна въ тихой комнатѣ, Люси припомнила всю эту грязь, всѣ ужасы далекаго прошлаго и боялась, какъ бы Белау не разыскать ее, не напомнить ей о своемъ знакомствѣ. Весь день она просидѣла дома; ночь провела тревожно, а на утро, крадучись какъ воръ, сбѣгала выкупаться и, утомленная прогулкой и волненіемъ, прилегла отдохнуть, довольная, что не попалась ему на глаза.

Въ одно окно яркими лучами врывалось солнце; другое было плотно завѣшено. Люси тихо полулежала, отдавшись отраднѣмъ мечтамъ: слава Богу, завтра прїѣзжаетъ Гербертъ. Легкій шорохъ у дверей не сразу пробудилъ ее. Только тогда встрепенулась она, когда ясно разслышала, что дверь осторожно притворяютъ. Къ ней, съ развязной улыбкой, подходилъ Белау.

— Пожалуйста, не вставайте!— вскричалъ онъ.— Впрочемъ, прошу извиненія, что потревожилъ и, такъ сказать, ворвался сюда неожиданно, непрошено... Все собирался явиться къ вамъ съ визитомъ. И вотъ,—прихожу; нигдѣ никого! Стучу въ дверь— нѣтъ отвѣта! Отворяю—и предо мной прелестнѣйшая въ мірѣ картина! Нѣтъ, что за поза,—просто шиеъ!

Люси растерялась. А онъ, не смущаясь ея молчаніемъ, не торопясь снялъ перчатки, бросилъ ихъ въ шляпу, положенную тутъ же на столъ, и придвинулъ для себя стулъ къ самой кушеткѣ.

— Такъ-то, моя милая!.. Но чтѣ съ вами, чего вы молчите? Ни слова привѣта старому другу и пріятелю?

И „старый пріятель“ любезно протянулъ ей руку; но Люси отдернула отъ него свою.

— Что вамъ угодно?—холодно спросила она.

— Какъ что? Повидаться съ вами, поболтать о быломъ.

Люси вздрогнула.

— Лучше бы вовсе не было этого былого!—со вздохомъ врывалось у нея.

— Вотъ какъ?—протянулъ любезный посѣтитель.— Неужели вамъ такъ непріятно меня видѣть?

— Прошу васъ, уйдите... оставьте меня!

— Гм!.. А знаете, Люси, чтѣ я вамъ скажу? Мнѣ, право, на васъ смѣшно смотрѣть! Ну, чего вы...

Онъ потянулся къ ней, чтобы обнять.

— Не троньте, я закричу!—и Люси отскочила отъ него подалѣе.

— Чудесно! Это она-то закричитъ, позоветъ на помощь!— издѣвался Белау.— Посмотрѣлъ бы я, кого ты позовешь, моя прелесть!.. Ну, полно же, не кобенясь! Не уйду я отъ тебя безъ поцѣлуя...

— Гербертъ!.. Гербертъ!

— Ага! Его зовутъ Гербертъ... Кто жъ такой этотъ Гербертъ?

— Отстаньте!—кричала Люси, но Белау уже настигалъ ее, приговаривая своимъ нахальнымъ голосомъ:

— Ну, что жъ такое? Ну, и пусть придетъ: велика важность! Мы съ тобой старые друзья... Полно же, не ломайся, не разыгрывай дурочку!

Изъ всей силы оттолкнула она его, но онъ былъ сильнѣе, какъ она ни противилась, а на ея лицо такъ и посыпались грубые, необузданные поцѣлуи.

Въ груди бѣдной женщины клокотала злоба и ненависть къ негодяю, нахалу; волненіе и напряженіе, съ которымъ она увертывалась отъ его поцѣлуевъ, не могли не измѣнить ей, борьба была неравна... Люси потеряла сознание...

Квартирная хозяйка вернулась домой и зашла къ молодой барынѣ. Она сидѣла на кушеткѣ, такая блѣдная и печальная, что добрая женщина за нее встревожилась, но Люси успокоила ее, и только просила, чтобы ее оставили одну.

Но и одной ей было не легче. Она во всемъ обвиняла себя, даже оправдывала грубаго и нахальнаго Белау, который, по старой памяти, могъ считать себя въ правѣ обнимать и цѣловать ее. Вѣдь тогда не считала же она это за грѣхъ? Но теперь... Теперь, когда Гербертъ вернется, какъ быть? Какъ смотрѣть ему въ глаза?

Она сама, сама кругомъ виновата!.. Какое право имѣла она оставлять его въ полномъ невѣденіи о своемъ прошломъ?

Онъ въ ней обманулся или, вѣрнѣе, ея молчанье ввело его въ обманъ. Нѣтъ для нея оправданья, нѣтъ и не будетъ прощенья!.. Но она ко всему готова: вѣдь хуже смерти ничего ей не будетъ...

Спокойно рѣшившись на все, Люси пошла на пристань. Черезъ полчаса показался дымокъ парохода.

Наконецъ-то Гербертъ вернулся! Наконецъ они вмѣстѣ!

Дома Люси нѣжно прильнула къ нему и дала волю своимъ наболѣвшимъ нервамъ.

Слезы и блѣдность ея встревожили Герберта.

— Сокровище мое, что съ тобою?

— Я измучилась, изныла по тебѣ; ты не знаешь, дорогой мой, до чего я тебя люблю!

— Бѣдная моя дѣвочка! Ну, успокойся же, успокойся!.. Послушай...—и онъ самъ, не дожидаясь ея разспросовъ, принялся рассказывать о своемъ свиданіи съ матерью, о томъ, какъ она добра и какъ его любитъ.

Сумерки спустились на землю. На горизонтѣ пылали волнистая, густая облака. Чайки съ громкимъ крикомъ проносились по воздуху. Тепло и вечернее ватишье манили вонъ изъ дому.

Гербертъ взялъ подъ-руку Люси и они пошли по дорогѣ къ своему любимому утесу.

Какъ ни коротка была ихъ разлука, но и за это короткое время Люси стала ему еще ближе, еще дороже, и въ немъ окончательно назрѣло рѣшеніе, которое еще подерѣшило свиданіе съ Лаутнеромъ.

Гербертъ заѣзжалъ къ нему, бесѣдовалъ съ нимъ и, по обыкновенію, на его излюбленную тему: о любви. Опять Лаутнеръ горячился, опять доказывалъ, что гдѣ истинная любовь, тамъ не мѣсто никакимъ предразсудкамъ. Что же, какъ не любовь, заставило претендента, герцога, жениться на простой пѣвицѣ? Чего ради лишилъ себя жизни царскій сынъ, наследникъ престола, какъ не ради препятствій въ браку съ любимой женщиной?... Да если это случается въ высшихъ сферахъ, что же тутъ еще разсуждать о простыхъ смертныхъ?

Любить человѣкъ дѣвушку,—ну, и женись на ней: чего долго думать? Счастливъ онъ съ ней,—и отлично: пусть себѣ люди злословятъ, рядятъ и судятъ, какъ имъ угодно. Надо же, наконецъ, имѣть мужество, чтобы идти противъ мнѣнія толпы: только упорствомъ и смѣлостью можно толпу побѣдить!..

Такъ говорилъ Лаутнеръ, все больше и больше увлекаясь; говорилъ онъ, конечно, и о Люси.

— Чего вы на ней не женитесь? Ну, чего не женитесь? Вы человѣкъ холостой, ничѣмъ не связанный, вполне независимый, богатый. Мало того: вы—поборникъ правъ народа, вы пишете, говорите о его нравственныхъ правахъ, хотите быть представителемъ социальныхъ интересовъ, а сами что дѣлаете? Какой подаете примѣръ? Колеблетесь, придерживаетесь кастовыхъ предразсудковъ. Да развѣ васъ будутъ за это уважать, считать, что вашимъ рѣчамъ можно вѣрить, если ваша жизнь идетъ съ ними прямо въ разрѣзъ?.. Наконецъ, скажите по совѣсти: можете ли вы надѣяться встрѣтить со временемъ дѣвушку, которая была бы вамъ болѣе по душѣ, чѣмъ эта? Чтобы она соединяла въ себѣ большія достоинства души и тѣла?

Гербертъ только отрицательно качнулъ головой; онъ зналъ, что никого не найдетъ на свѣтѣ лучше Люси, никого, кто бы ему былъ дороже и ближе.

— Ну, такъ что же? Зачѣмъ дѣло стало?—воскликнулъ Лаутнеръ, и Гербертъ вспомнилъ, что всѣ разсужденія художника ужъ не разъ возникали у него самого въ головѣ...

Перебирая теперь въ памяти всѣ дни и часы, проведенные

нѣхъ вѣстѣ съ Люси, онъ приходилъ къ убѣжденію, что въ ней онъ встрѣтилъ все, чего бы могъ пожелать въ своей женѣ.

— Люси!—вдругъ окликнулъ онъ пріумолкшую дѣвушку:— хочешь ты быть моею женой?

Она не поняла его вопроса и отвѣчала:

— Да развѣ я и такъ не жена тебѣ, милый? Развѣ я не твоя всецѣло?

— Нѣтъ, дорогая, это все не то,—а женой передъ обществомъ, передъ людьми?

Какъ это? Ей, ей быть *ею* женою?..

Она боялась пошевелиться, боялась дать ему отвѣтъ, единственный и неизбежный отвѣтъ, который разрушитъ ея жизнь, ея счастье!

Неподвижно глядя, какъ окаменѣлая, прямо передъ собою, Люси долго молчала и тихо, беззвучно проговорила:

— Нѣтъ!.. Не хочу!..

— Люси!..

— Нѣтъ, нѣтъ, замолчи! Такая, какъ я, не должна быть твоей женою... Нѣтъ! Ни за что на свѣтѣ!.. Мнѣ холодно, я дрожу... Пойдемъ лучше домой... поскорѣе!

VIII.

Въ деревнѣ потухли огни. Ночная тишина была разлита надъ Гельголандомъ. Только вѣтеръ морской, завывая, гналъ прибой къ берегамъ.

Только Герберту и Люси не спалось въ эту ночь.

Люси страдала, уговаривала и его, и себя.

— Подумай только, милый: ты ничего не знаешь обо мнѣ... о моемъ прошломъ!.. Или ты думаешь, что тогда мы будемъ счастливѣе? Я и безъ того была такъ счастлива, такъ безгранично счастлива съ тобою! Не губи меня, не разбивай мое счастье!.. Нѣтъ, да это просто безуміе!.. Это немыслимо, невозможно!.. Ты меня ни о чемъ не спрашивалъ... я молчала... Говорю тебѣ: этому никогда, никогда не бывать!

— Да почему же?—допытывался Гербертъ, осыпая ее ласками.

— Потому что я... слишкомъ люблю тебя!—былъ твердый и неизмѣнный отвѣтъ.

— Ну, такъ расскажи же мнѣ свое прошлое!—сказалъ Гербертъ.

И она рассказала.

Отецъ ея былъ ломовой извозчикъ, мать—прачка, поденщица. Дѣтей у нихъ было всего трое, и Люси, старшей, минуло девять лѣтъ, когда родился младшій ребенокъ, котораго ей приходилось нянчить. Люси была грязная, косматая дѣвочка. Когда старшихъ не было по близости, она норовила отдать ребенка подержать другой дѣвочкѣ, а сама стремглавъ бросалась въ мальчишкамъ, играла съ ними въ войну, не отставала въ дракѣ. Вернувшись домой, оборванная, всклокоченная, она спѣшила затянуть наскоро прорѣхи на платьѣ и причесаться, съ грѣхомъ пополамъ подобрать волоса на гребень, у котораго почти всѣхъ зубцовъ не хватало.

Черезъ дорогу жили лавочники евреи. Съ мальчишками Люси бѣгала и играла, дразнила ихъ; но на сестру ихъ смотрѣла, какъ и они сами, съ большимъ уваженіемъ. Это была красивая дѣвушка лѣтъ семнадцати, которую не утруждали работой, но держали очень строго, выводя ее изъ дому только въ моленную. Цѣлые дни молодая дѣвушка проводила у окна, расчесывая и заплетая свои чудные иссиня-черные волосы. Люси завидовала ей.

Люси шелъ пятнадцатый годъ, когда отецъ чуть не убилъ ее до-смерти. Правда, получать отъ него тумаки было не рѣдкость; но на этотъ разъ онъ ужъ очень обозлился.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда вся семья бывшего господскаго кучера, а теперь ломового, жила на задворкахъ, гдѣ стояли тысячные рысаки какого-то важнаго, преважнаго барона, Люси иногда урядкой любовалась на маленькую баронессу, нарядную дѣвочку, всю въ лентахъ и въ кружевахъ, въ бѣломъ платьицѣ, точно ангелочекъ.

Эта малютка, почти ея сверстница, казалась ей существомъ высшимъ, неземнымъ. Забавляясь со своими замазанными куклами, Люси старалась подражать манерамъ и походкѣ маленькой баронессы, въ которой все ей казалось совершенствомъ. Уѣхалъ куда-то баронъ; переѣхалъ и извозчикъ съ семьєю. Дѣти его подросли; онъ самъ, хоть и шли его дѣла хорошо, сталъ попивать и, подъ пьяную руку, надѣлалъ ихъ порядочными колотушками.

На этотъ разъ онъ хватилъ лишнее, а тутъ еще подвернулась жена, которой услужливая сосѣдка рассказала, что она сама своими ушами слышала, какъ Люси хвастала другимъ дѣтямъ, что она дочь не своего отца, а барона, у котораго жилъ ея отецъ со всей семьей. Какъ это ей взбрело на умъ, никто не зналъ; знали всѣ только, что съ нѣкоторыхъ поръ Люси стала опрятнѣе наряжаться, причесываться и манерничать, чтобы походить на маленькую баронессу. Едва выслушавъ жену, пьяный

отецъ молча пошелъ за дочерью и подзатыльниками погналъ ее домой. Тутъ уже началась настоящая расправа здоровымъ ремнемъ, на которомъ, вдобавокъ, еще завязывался узелъ.

— Погоди, вотъ я тебѣ покажу, кто твой отецъ!—ревѣлъ онъ, осыпая ее ударами по чѣмъ ни попало.—Вотъ тебѣ! Вотъ тебѣ! И такъ каждый день... каждый день, пока я изъ тебя этой дури не выбью!..

Матери удалось, наконецъ, броситься между ними; отецъ, выбившійся изъ силъ, бросилъ ремень и крикнуть:

— Убирайся, и чтобы духу твоего здѣсь не было слышно!

Поскорѣй бѣдная дѣвочка дотащилась до своей постели и, едва удерживаясь отъ того, чтобы не кричать громко отъ боли, глухо стонала: и лежать, и двигаться ей было одинаково нестерпимо больно. Послѣ долгихъ просьбъ и обѣщаній исправиться, отецъ согласился ограничить наказаніе только однимъ этимъ разомъ.

На слѣдующій годъ, на Пасхѣ, она вышла изъ школы и конфирмовалась. Ее отдали въ бѣлошвейную мастерскую, гдѣ она получала гроши, но эти гроши отецъ разрѣшалъ ей тратить на себя: онъ зарабатывалъ теперь довольно много и потому могъ ей это позволить. Люси нравилось принарядиться, и у нея былъ вкусъ: она знала, чтѣ ей къ лицу.

У одной изъ мастерицъ былъ пріятель, приказчикъ изъ книжнаго магазина, и Люси иногда заходила къ нимъ. Въ іюлѣ поступилъ въ этотъ магазинъ еще новый приказчикъ, молодой и недурной собою, но вѣтренный и волокита. Онъ сталъ провожать Люси домой, а затѣмъ нарочно выбиралъ длиннѣйшую дорогу, заходилъ съ нею даже въ паркъ. Домой она приходила все позднѣе, усталая, возбужденная, объясняя, что работы гибель.

Какъ-то разъ это замѣтилъ отецъ:

— Берегись! Посмѣй ты у меня съ кѣмъ-нибудь связаться!—пригрозилъ онъ:—Убью! Убью до-смерти!

Но Люси и ухомъ не вела: чуть не каждый день ходила она со своимъ Эмилемъ пиво пить и танцовать. Такъ дѣло шло недѣль шесть. Наконецъ, ужъ и матери бросилось въ глаза ея лицо.

— Да чтѣ съ тобою?—спросила она.

Люси чувствовала, что краснѣетъ, и еще больше краснѣла.

— Гдѣ была вчера? отвѣчай!—загремѣлъ отецъ.

— У Юганны Вейссъ.

— А вотъ посмотримъ, что-то ты сейчасъ запоешь!—пригрозилъ онъ и, какъ бѣшеный, заходилъ по комнатѣ.

— Полно, успокойся!—уговаривала его жена:—развѣ ты не видишь, что ей просто нездоровится,—вотъ и вся недолга?

— Ой, берегитесь: ужъ не обѣ ли вы надуть меня собираетесь?—пробурчалъ онъ и снова сѣлъ за столъ, кончать прерванный обѣдъ.

Люси не могла ѣсть: она сказала, что спѣшить идти за работой, и ушла; но на-ночь побоялась вернуться домой и ночевала у подруги своей Іоганны. Какъ она и думала, отецъ заходитъ къ ней справляться и, значить, уже знаетъ все!.. На слѣдующій день она пошла къ другой подругѣ за совѣтомъ: что дальше дѣлать? и на улицѣ наткнулась прямо на отца. Онъ схватилъ ее за руку и потащилъ съ собою:

— Не кричать! Иди со мной, а не то...

Вотъ они и дома. Матери не было; за ней послали мальчишку. Но вотъ и она!

— Ну-съ, теперь изволь-ка отвѣтъ держать,—обратился къ Люси отецъ:—гдѣ ты была въ воскресенье? Что дѣлала?

— Не приставай къ ней,—говорила ему жена:—лучше спроси...

— А, хорошо! Отвѣчай-ка: стѣишь ли ты еще того, чтобы оставаться въ родительскомъ домѣ, или... или тебя только впору выгнать на улицу?

Но Люси молчала, какъ будто не ей говорили; ей было все равно, что бы съ нею ни сдѣлали.

— Отвѣтишь ли ты, наконецъ?

Но Люси упорно молчала.

Какъ бѣшенный, набросился на нее отецъ и сталъ душить, приговаривая:—Говори! Говори!..

— Не бей меня, отецъ, не бей! Оставь мнѣ жизнь! Я клянусь!.. Клянусь, что не виновата!

— Ну, смотри же: если ты солгала...

— Нѣтъ, нѣтъ, отецъ! Это правда!

Шатаясь, отошелъ онъ отъ нея и въ ужасѣ прошепталъ:

— Боже мой! Кого жъ я душилъ? Свою дочь!!

Люси все еще лежала, какъ пришибленная, на полу. Мать облила ее:

— Люси, встань!—и она, дрожа всѣмъ тѣломъ, присѣла на стулъ у окна.

Отецъ вышелъ; женщины остались однѣ.

Мать закрыла лицо передникомъ и глухо, но безнадежно рыдала.

Люси стала передъ ней на колѣни и умоляла:

— Мама, не плачь!.. Не плачь же!

Но мать все глубже и безутѣшнѣе рыдала: ее не обманешь...

У нея силъ не хватало укорять свое дитя за то, въ чемъ

она сама была виновата: Люси родилась вскорѣ послѣ свадьбы. Но ей было горько, что ея красота, ея гордость, ея любимое и примѣрное дѣтище провинилось такъ тяжело, ужасно!

— Люси! Умоляю тебя, скажи мнѣ, что ты еще чиста, непорочна!

— О, мама!.. Мама!.. Я боялась, что онъ убьетъ!.. О, мама!

Невыразимый ужасъ охватилъ ее и только въ догонку долетѣлъ до нея тревожный, отчаянный крикъ бѣдной матери:

— Люси!.. Люси!

Но Люси бѣжала безъ оглядки... бѣжала навсегда изъ родительскаго дома.

Съ помощью подруги она нашла себѣ въ Берлинѣ мѣсто кельнерши въ пивной, гдѣ съ нею познакомился Белау; но явился Джэмсъ Уордъ и спасъ ее отъ него и отъ ужасовъ этой жизни.

Съ той поры Люси забыла о прошломъ, какъ будто его и не существовало. Подъ вліяніемъ Джэмса измѣнилась ея жизнь, и она сама измѣнилась.

Разсказъ оконченъ и Люси умоляла. Да, оконченъ, но не совсѣмъ: она преднамѣренно утаила отъ Герберта нѣкоторые случаи изъ своей жизни,—самые для нея тяжелые. Не сказала она, что принесла отцу ложную клятву; сказала, что была продавщицей, но гдѣ именно,—не сказала. Про встрѣчу свою съ Белау и про знакомство съ нимъ тоже не обмолвилась она ни словомъ... И къ чему ему все это знать? Развѣ не достаточно удержать его все остальное?..

Гербертъ слушалъ ее молча, чтобы не пропустить ни слова и, не выпуская изъ своей руки ея руку, только иногда сжималъ ее въ своей. Не сводя съ нея глазъ, онъ про себя удивлялся: неужели это нѣжное, прелестное и дѣтски-милое созданье въ дѣтствѣ валялось въ грязи, дралось съ уличными мальчишками, получало отъ грубаго ломовика, своего родителя, здоровые тумаки и нуждалось въ грошахъ?

Гербертъ любовался ея красотою и изяществомъ манеръ и фигуры; онъ не могъ себѣ представить эту женщину иначе, какъ въ роскоши и довольствѣ, и ему тѣмъ больнѣе было за нее, за то, что ей, еще такой молодой, пришлось уже столько выстрадать.

— Люси! Бѣдная моя, дорогая!—вырвалось у него, и онъ горячо прижалъ ее къ своей груди.—Что ты должна была пережить и выстрадать, бѣдное мое, милое дитя!

Люси грустно на него посмотрѣла.

— Такъ ты не отталкиваешь меня отъ себя?—робко спросила она.—Мнѣ больше ничего и не надо!

Но Гербертъ настаивалъ на своемъ:

— Для насъ съ тобой—да, я согласенъ! Но не для свѣта: мы живемъ среди людей и надо не идти въ разрѣзъ съ ихъ законами... Ты будешь моей женой!

— О, нѣтъ, нѣтъ! Умоляю тебя, не губи мое счастье!.. Оставь мнѣ его... оставь!

И долго еще всхлипывала она у него на груди, и, только выплакавшись вволю, начала отвѣчать улыбкой на его улыбки и поцѣлуями на его поцѣлуи.

IX.

Томительно-жаркое лѣто подходило къ концу.

Жатва была въ полномъ разгарѣ. Пріятно было смотреть на золотистое море зрѣлыхъ колосьевъ, надъ которыми пестрыми группами проходили жнецы и жницы.

Въ имѣніи Зассенхагенъ, въ Мекленбургѣ, работа такъ и кипѣла подъ безоблачнымъ, синимъ покровомъ лѣтняго неба. Черезъ нѣсколько дней предстояла уборка. За узкой и негустой полосой молодого лѣса стоялъ старый помѣщичій домъ—большое, длинное низкое зданіе, когда-то красновато-кирпичнаго цвѣта, но теперь побурѣвшее отъ дождей и снѣговъ и мѣстами поросшее мхомъ.

Въ лѣвой половинѣ его были жилые покои, которые занимала теперь мать Герберта, Маріанна фонъ-Дюрентъ; въ правой половинѣ и по срединѣ помѣщались залы, пріемныя и комнаты для гостей.

Г-жа фонъ-Дюрентъ сама недавно вернулась туда, когда пришла отъ сына телеграмма, что и онъ скоро будетъ.

Наконецъ Гербертъ побѣдилъ нерѣшимость Люси предложеннымъ категорически вопросомъ: согласится ли она, если мать сама разрѣшитъ ему этотъ бракъ? Люси поспѣшила согласиться, въ полной увѣренности, что этому не бывать. Но все-таки она боялась послѣдняго, рѣшительнаго шага: его свиданья съ матерью и, по возможности, оттягивала его. Въ Гамбургѣ они прожили цѣлую недѣлю и теперь уже подѣзжали къ конечной цѣли своего путешествія.

Выйдя на станцію, они поѣхали въ самую лучшую гостиницу и полъ-дня прошло незамѣтно за мытьемъ, переодѣваньемъ,

обѣдомъ и отдыхомъ. Люси становилась все грустнѣе и грустнѣе.

— Гербертъ!—рѣшилась она наконецъ:—я хочу тебя кое-что спросить... Это такой пустякъ... пожалуйста! Сдѣлаешь ли ты для меня?

— Но что, моя крошка? что? Говори же!

— Видишь, милый: я такъ устала съ дороги... Здѣсь такъ хорошо и удобно... Переждемъ до утра... А завтра ужъ дальше поѣдемъ!

— Но зачѣмъ же, Люси: отчего не прямо...

Но его уже обнимали нѣжныя бѣлыя руки, на лицѣ горѣли безчисленные поцѣлуи... Какъ тутъ устоять? Приходилось поворачиваться этой, хоть и не горькой, участи.

Восторгъ Люси не зналъ границъ. Она душила Герберта въ объятіяхъ, пѣла, шутила, смѣялась... Они не замѣтили, какъ пришелъ вечеръ, застигшій ихъ въ лѣсу, надъ узкой, но говорливой студеной рѣкою. Становилось свѣжо, и они вернулись въ гостиницу, все еще въ упоеніи своимъ счастіемъ, въ чадѣ молодой взаимной любви. Не думать о завтрашнемъ днѣ;—да: главное, не думать о тѣхъ горестяхъ, которыя, можетъ быть, не далеко! Бѣднымъ, слабымъ земнымъ существамъ, какими были Гербертъ и Люси, любовь являлась теперь высшимъ благомъ на свѣтѣ; она давала имъ то, что имъ было необходимо и чего не даю бы имъ никто и ничто другое: она давала... забвенье!..

Раннимъ утромъ они уже сидѣли въ тяжелой наемной бричкѣ и ѣхали по проселочной дорогѣ, черезъ поля и деревни. Крестьяне вѣжливо снимали шляпы, привѣтствуя проѣзжихъ, а крестьянки съ дѣтскими только удивленно глазѣли на нарядъ столичной барыни.

Еще до сумерекъ добрались они до большого села, въ которомъ Люси должна была ожидать возвращенія Герберта съ отвѣтомъ отъ матери.

Съ отчаяніемъ въ душѣ простилась съ нимъ Люси: ей казалось, что теперь ужъ все, все между ними кончено!

Г-жа фонъ-Дюрентъ еще не знала ничего: ее надо было предупредить... обо всемъ,—поэтому Гербертъ и пошелъ къ матери сначала одинъ. Но въ воображеніи своемъ Люси не разставалась съ нимъ ни на минуту: она считала время, соображала. Вотъ онъ входитъ къ матери,—къ этой гордой, но любящей женщинѣ. Конечно, она любитъ сына, но именно потому-то и должна она оттолкнуть ее,—ту, которая забрала въ свои руки власть надъ умомъ и сердцемъ ея сына; которая отторгаетъ его отъ семьи,

оскверняетъ, позорить его своей близостью!.. Да, мать вступится за него; мать оградить его отъ „нея“, отъ этой негодной, грѣшной женщины; мать спасетъ его для семьи и для общества!.. Ему хорошо—а ее-то, бѣдную, негодную, несчастную Люси, кто пожалѣетъ, кто спасетъ отъ нужды и горя? Чтѣ съ нею будетъ, если его мать ее оттолкнетъ, если онъ уйдетъ, броситъ ее?..

Время тянется томительно длинно. Вокругъ всё въ хлопотахъ, за работой. Имъ-то хорошо: они заняты, да и горя такого не переживаютъ въ настоящую минуту.

Солнце все еще свѣтитъ ярко, но уже не жжетъ такъ неумолимо... Да! Оно, кажется, близко къ заходу... Вотъ и стада показались вдали, на дорогѣ, въ видѣ густого и низкаго облака пыли; служанки спѣшаютъ снимать развѣшенное на веревкахъ бѣлье, чтобъ его нехватило росой; пора доить коровъ и варить ужинъ... Стадо ужъ близко: слышно протяжное мычанье коровъ, блеянье овецъ и лай собакъ. Облако пыли рѣдѣетъ и постепенно исчезаетъ. Но чтѣ это? Тамъ вдали поднялось другое, но меньше и легче перваго. Оно будто спѣшитъ, будто летитъ сюда... Это экипажъ,—теперь ужъ ясно видно!

Какъ остоленѣлая, Люси неподвижно слѣдитъ за нимъ глазами. Сердце у нея то усиленно бьется, то совсѣмъ замираетъ...

Экипажъ уже въѣзжаетъ въ деревню... Это онъ, Гербертъ! Съ отвѣтомъ!..

Вотъ отворяютъ ворота... Онъ здѣсь, во дворѣ... у крыльца!

Въ глазахъ у Люси потемнѣло, но она ясно слышитъ его торопливые шаги вверхъ по ступенькамъ... Вотъ и онъ самъ передъ нею. Колѣни у нея подгибаются отъ неудержимаго волненія, она не смѣетъ взглянуть на него...

Онъ поддерживаетъ ее, онъ самъ заглядываетъ ей въ лицо...

— Люси! Люси!—слышится его милый, радостный голосъ. —Люси!—говоритъ онъ опять, но уже не спѣша и серьезно:—мама ожидаетъ тебя!..

Она вся встрепенулась и съ громкимъ крикомъ, какъ возвращенная къ жизни, бросилась ему на шею.

А. Б—г—



ЗА УРАЛЬСКИМЪ БОБРОМЪ

ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ СТРАНУ ВОГУЛОВЪ.

Изъ дневника туриста.

Окончаніе.

IV *).

Въ четвергъ на Оминой недѣлѣ, Марья пришла просить у насъ водки, говоря, что у нихъ сегодня родительская суббота, а справлять поминки безъ водки не хочется. Для такой благой цѣли мы снабдили ее бутылкой водки и попросили разрѣшенія присутствовать на поминкахъ. Мужчины, узнавъ о нашемъ желаніи и стѣсняясь постороннихъ, не пошли на кладбище, и мы отправились туда въ сопровожденіи однѣхъ только женщинъ. Кладбище находилось саженьхъ во ста отъ юртъ, на высовомъ холмѣ, среди урмана. Такъ какъ снѣгъ еще далеко не стоялъ, то добираться до кладбища пришлось на лыжахъ. Вогулки захватили съ собой большой чугунный котелъ и оленьяго мяса, чтобы справить тризну среди гробницъ своихъ умершихъ. Эти гробницы представляютъ изъ себя небольшіе срубчики съ иконой или крестомъ наверху и строятся надъ могилами покойниковъ, замѣняя собой наши памятники. Иногда эти срубчики дѣлаются съ рѣзными украшеніями. Около каждаго срубчика кладется весло, если умершій былъ мужчина, и небольшое корыто, если это — женщина.

*) См. выше: июль, стр. 588.

Когда котелъ съ мясомъ вскипѣлъ, Марья поднесла изъ принесенной бутылки всѣмъ присутствующимъ, въ томъ числѣ и намъ, по рюмкѣ водки, а остатки вылила въ небольшія отверстия, сдѣланныя въ гробницахъ. Затѣмъ туда же спустила изъ котла нѣсколько кусковъ мяса, хлѣба, соли, высыпала въ каждую изъ гробницъ по щепоткѣ табаку, положила спичекъ. Послѣ этого вогулки расположились вокругъ котла и стали обѣдать. Этимъ дѣло и закончилось. Можетъ быть, эти поминки сопровождаются еще и другими какими-либо церемоніями, я навѣрное сказать не могу. По крайней мѣрѣ, по рассказамъ русскихъ, живущихъ по Кондѣ, вогулы неохотно позволяютъ постороннимъ присутствовать при своихъ религіозныхъ обрядахъ и многое держать въ секретѣ.

При погребеніи умершихъ, по рассказамъ этихъ русскихъ, у вогуловъ соблюдаются слѣдующія церемоніи. Послѣ того, какъ покойника положить въ гробъ, женщины пекутъ разныя яства и каждое изъ нихъ попеременно ставятъ подлѣ умершаго. Такъ, напр., сначала приносятъ жареную тетерю и ставятъ ее на столъ подлѣ гроба; затѣмъ, черезъ небольшой промежутокъ времени, приносятъ варенаго оленьяго мяса, убираютъ первое блюдо, отложивъ небольшую частицу изъ него въ гробъ, и ставятъ это кушанье на мѣсто перваго; потомъ приносятъ коровьяго мяса и т. д., поочередно приносятъ всѣ кушанья, какія только существуютъ въ вогульской кухнѣ, откладывая отъ cadaго изъ нихъ по куску въ гробъ покойника. Послѣ этого кладутъ туда же табакъ, трубку или табакерку, если покойный нюхалъ табакъ, льютъ немного водки, кладутъ нѣсколько денегъ для дальней дороги и т. д. Закрываютъ гробъ крышкой и чертятъ мѣломъ на послѣдней какіе-то символическіе круги и знаки. Затѣмъ на каждомъ порогѣ юрты поднимаютъ гробъ три раза до потолка и выносятъ. Послѣ выноса тѣла умершаго окуриваютъ юрту пихтой и начинаютъ выгонять изъ нея смерть, т.-е. шумѣть, кричать, звонить въ колокольцы, перетрашивать все имущество, стучать во всѣхъ углахъ; и только когда убѣдятся, что смерть уже вышла изъ юрты, несутъ гробъ на могилу и зарываютъ въ землю. По возвращеніи, каждый изъ присутствовавшихъ на похоронахъ три раза перебрасываетъ черезъ свою голову собаку и скачетъ черезъ огонь для очищенія. Послѣ этого у cadaго порога юрты разставляютъ ножи и топоры, обращая ихъ остріями наружу для того, чтобы смерть, въ случаѣ, еслибы она вздумала воротиться, напоролась на острый ножъ или топоръ. Наконецъ, во всѣхъ комнатахъ посыпаютъ полъ какимъ-либо зерномъ, напр. ячменемъ.

У вогуловъ, также какъ и у цивилизованныхъ народовъ, существуетъ обычай носить по покойникѣ трауръ. Женщины подвязываютъ на правую ногу черную ленту и носятъ ее до тѣхъ поръ, пока она не спадетъ сама собой. Добровольно же снимаютъ ее только въ томъ случаѣ, если носящая трауръ выходитъ замужъ.

Таковы похоронные обряды у вогуловъ.

Точно также и въ другихъ важныхъ случаяхъ человѣческой жизни у вогуловъ наблюдаются свои особые церемоніи, которыя теперь, подъ влияніемъ христіанской религіи и русскихъ обычаевъ, начинаютъ мало-по-малу забываться и исчезать.

Когда вогулъ задумываетъ жениться, онъ посылаетъ къ отцу невесты двухъ друзей (хайтехумъ). Послѣдніе вооружаются двумя черемуховыми тросточками, на одной изъ которыхъ подвязывается красная ленточка—парламентерскій знакъ. Придя въ домъ отца невесты, друзья, не снимая шапокъ и не садясь, начинаютъ торговать невесту. Отецъ обыкновенно старается запросить какъ можно больше калыму, друзья—какъ можно меньше дать. Если отецъ запросилъ, положимъ, 100 р., друзья, послѣ нѣкотораго торга, кладутъ на столъ только 30 р. и уходятъ. Придя черезъ нѣсколько времени, они кладутъ еще руб. 10, потомъ еще руб. 5 и т. д., до тѣхъ поръ, пока отецъ не уступить, и торгъ не уладится къ обоюдному удовольствію.

Послѣ того, какъ условія о калымѣ улажены, является женихъ. Женихъ не долженъ ломать шапки до самаго конца свадебныхъ церемоній: онъ ѣстъ и пьетъ въ шапкѣ. Собираются гости. Стряпается *солломатъ* (толокно изъ ячменя съ масломъ или жиромъ), появляется водка или самосадка и начинается пиръ. Все время, пока идетъ гулянка, женихъ съ невестой остаются одни за занавѣсью на кровати. Если невеста изъ другого пауля, то для того, чтобы вести ее, готовится особая повозка съ ситцевыми занавѣсками, въ которой невеста должна ѣхать въ домъ жениха, невидимая для постороннихъ. Женихъ обыкновенно садится на козлы. По дорогѣ къ дому жениха на деревьяхъ дѣлаются особые знаки, обозначающіе направленіе, по которому везена невеста. То же самое дѣлается и тогда, если увозъ невесты происходитъ лѣтомъ и невесту везутъ рѣкой въ лодкѣ подъ ситцевыми занавѣсками. Обычай расплетанія косы и обмѣна кольцами существуетъ также у вогуловъ. Со свадьбой же вогулы обыкновенно не торопятся, а откладываютъ ее до удобнаго случая. Но разъ калымъ уплаченъ, обрученные живутъ уже какъ мужъ съ женой. Передъ тѣмъ какъ ѣхать въ церковь къ вѣнцу, женихъ съ невестой идутъ сначала къ мѣстнымъ шайтанамъ:

женихову и невѣстину (въ каждомъ паулѣ есть свой мѣстный шайтанъ), и приносятъ ему въ жертву животныхъ, а также кла- дуть дары: платки, мѣха, кольца, деньги и т. п. Жертвъ обыкно- венно приносится по 7 головъ, хотя бы и отъ разныхъ живот- ныхъ. Число семь у вогуловъ считается священнымъ. Самая люби- мая жертва домашнихъ шайтановъ—это пѣтухъ. Деньги шайтаны берутъ только металлическія и притомъ не менѣе 2 к., бумаж- ныхъ же вовсе не принимаютъ.

Но эти брачныя церемоніи соблюдаются въ настоящее время очень рѣдко и притомъ только у богатыхъ вогуловъ. Въ боль- шинствѣ же случаевъ, въ особенности если женихъ бѣденъ и не можетъ уплатить калыма, онъ подговариваетъ невѣсту и уво- зить ее убѣгомъ, тайно отъ родителей, прямо къ вѣнцу.

Такъ же характерны бываютъ нѣкоторые случаи и при ро- жденіи дѣтей. Во время трудныхъ родовъ къ родильницѣ сбѣгаются всѣ женщины со всего паула и начинаютъ у нея допытываться, съ чѣмъ мужемъ она согрѣшила. Трудные роды, по мнѣнію вогуловъ, происходятъ тогда, когда женщина грѣшила съ кѣмъ- либо тайно отъ мужа, и она будетъ мучиться до тѣхъ поръ, пока не сознается въ этомъ и не получитъ отъ обманываемой ею женщины прощенія. Представьте себѣ затруднительное положеніе бѣдной роженицы, если ей иногда приходится перечислять мужей всѣхъ присутствующихъ при ея родахъ женщинъ! А это бываетъ вовсе не такъ рѣдко, такъ какъ среди вогуловъ нарушеніе брач- наго ложа вещь самая обыкновенная. Но дѣлать нечего; не- счастливая изъ страха замучиться родами должна сознаваться, и тот- часъ же получаетъ полное разрѣшеніе отъ грѣховъ со стороны своихъ сердобольныхъ соперницъ, чувствующихъ, что и онѣ не безгрѣшны, и съ ними можетъ когда-нибудь случиться такая же неприятная исторія.

Если ребенокъ умираетъ, то его берестяную люльку вѣшаютъ гдѣ-либо въ урманѣ всегда на одно опредѣленное дерево и тутъ же подъ это дерево выбрасываютъ изъ люльки мохъ, служившій для ребенка подстилкой. Иногда на деревьяхъ такихъ люлекъ скопляется безчисленное множество.

Но едва ли не самый любопытный у вогуловъ обычай—это обычай отпѣванія медвѣдя. Онъ настолько укоренился, что полу- чилъ уже полныя права гражданства, и вогулы дѣлаютъ его открыто, не стѣняясь русскихъ, а даже иногда приглашая по- слѣднихъ на его церемонію.

О происхожденіи медвѣдя существуетъ слѣдующая легенда. Медвѣдь когда-то былъ сынъ самого Торма. Сидя на небесахъ,

онъ смотрѣлъ на землю и видѣлъ, какъ послѣдняя то покрывается зеленымъ ковромъ, то бѣлой пеленой. Это его очень заинтересовало и онъ сталъ просить своего отца, чтобы тотъ спустилъ его на землю. Три раза отказывалъ ему въ этомъ Тормъ, но наконецъ внялъ его просьбамъ и спустилъ на землю въ люлькѣ. Однако медвѣдю скоро наскучило пребываніе на землѣ, къ тому же онъ не могъ на ней найти ничего для ѣды и, боясь умереть съ голоду, сталъ снова проситься у Торма взять его обратно на небо. Тогда Тормъ взялъ его, далъ ему огонь, лукъ и стрѣлы и сказалъ: „Ступай снова на землю и ѣшь тамъ звѣрей и людей, но только тѣхъ, которые мнѣ не угодны. Если же будешь дѣлать что-либо худое, то человѣкъ будетъ тебя убивать“. Съ тѣхъ поръ медвѣдь сталъ жить на землѣ.

Однажды отправились на охоту семь братьевъ. Долго они бродили по урману, не находя никакого звѣря, и стали мерзнуть. Тогда старшій братъ сказалъ другому: „ступай, попроси у медвѣдя огня“. Этотъ не пошелъ и сталъ просить слѣдующаго сходить за огнемъ къ медвѣдю. Такъ они перекорялись, пока очередь не дошла до младшаго брата, который и согласился. Отыскавъ медвѣдя, онъ сталъ просить у него огня. Медвѣдь далъ ему огонь и сказалъ: „да возьми ужъ за одно и лукъ, и стрѣлы, а я самъ пойду зимовать въ берлогу“.

По другимъ вариантамъ младшій удалый братъ убилъ медвѣдя и насильно взялъ у него огонь, лукъ и стрѣлы.

Какъ сынъ бога, медвѣдь является представителемъ правды на землѣ. Когда онъ спитъ, или когда мертвъ, онъ все видитъ и знаетъ, что дѣлается среди людей. Не видитъ и не знаетъ только тогда, когда бодрствуетъ. Поэтому убить его нетрудно, но это сдѣлать можетъ только человѣкъ праведный, и вогулъ, чувствующій за собой какіе-либо особенные грѣхи, никогда не отважится идти на медвѣдя. Убивъ медвѣдя и содравъ съ него шкуру вмѣстѣ съ головою, лапами и когтями, тушу его вогулы зарываютъ въ землю или, если дѣло зимой,—въ снѣгъ и забрасываютъ хворостомъ. Затѣмъ, возвращаясь домой, вносятъ его шкуру въ юрту не черезъ дверь, а болѣе почетнымъ образомъ,—черезъ окно и кладутъ въ переднемъ углу на столъ. Затѣмъ оповѣщаются всѣ сосѣди и знакомые, которые пріѣзжаютъ на торжество отпѣванія иногда изъ дальнихъ паулей. Торжество продолжается 5 дней, если убить самецъ, и 4, если самка. Для этого случая добывается откуда-нибудь вода или курится самосадка. Всѣхъ вновь приходящихъ обливаютъ сначала водой, затѣмъ мужчины, подходя къ разложенной на столѣ шкурѣ медвѣдя, цѣлуютъ у него правую

лапу, женщины—лѣвую, причемъ дѣвушки надѣваютъ перстни на вогти медвѣдя, прося его послать имъ жениха. Передъ носомъ медвѣдя ставится бутылка съ водкой и рюмка. Охотникъ, убившій медвѣдя, подходитъ первый, наливаетъ рюмку, кланяется ему и говоритъ: „извини меня, убилъ я тебя нечаянно, впередъ никогда не буду“. Послѣ этого пьютъ; за нимъ подходятъ другіе, тоже кланяются медвѣдю и пьютъ. Присутствующіе надѣваютъ берестяныя маски на лица. Шаманъ, или кто-либо его замѣняющій, звонитъ въ колоколецъ, раздаются звуки лебедя и дамбры и начинается пляска. Въ этой пляскѣ изображается въ аллегорической формѣ какъ жизнь медвѣдя и его дѣянія, такъ и охота на него. Чтобъ изобразить, какъ у медвѣдя былъ отнятъ огонь, на шамана надѣваютъ вывороченную шубу, привязываютъ на спину снопъ сѣна и зажигаютъ. Шаманъ съ горящимъ снопомъ выбѣгаетъ на улицу, тамъ его схватываютъ, гасятъ огонь и дѣлаютъ примѣрные выстрѣлы изъ луковъ; затѣмъ снимаютъ съ него шубу и т. д.

По окончаніи празднества шкура медвѣдя заворачивается въ самыя дорогія матеріи, какія только есть у хозяина, и хранится въ нихъ до пріѣзда торговцевъ. Продавъ купцу шкуру, вогулы при отѣздѣ послѣдняго бросаютъ ему вслѣдъ лопатами снѣгъ. Но прежде отпѣванія вогулъ ни за что не согласится продать медвѣжьей шкуры.

Самой страшной клятвой у вогуловъ считается такъ называемая клятва на носу медвѣдя; она замѣняетъ у нихъ присягу. Когда вогулъ свидѣтельствуетъ въ чемъ-либо противъ другого, онъ, въ доказательство справедливости своихъ показаній, отрубаетъ топоромъ носъ у убитаго звѣря, произнося при этомъ: „сѣвшъ меня, медвѣдь, если я буду показывать неправду“. Затѣмъ отрубленный носъ сжигается на огнѣ.

Кромѣ легенды о происхожденіи медвѣдя у вогуловъ существуетъ масса легендъ о другихъ звѣряхъ и также птицахъ. Такъ, о рябчикѣ существуетъ слѣдующая легенда. Рябчикъ былъ любимцемъ Торма и прежде отличался громадными размѣрами. Куль (злой духъ) не смѣлъ къ нему прикасаться, поэтому мясо его до сихъ поръ бѣло. Но однажды, когда Тормъ проѣзжалъ на своей колесницѣ мимо одного куста, рябчикъ внезапно выпорхнулъ изъ него и испугалъ лошадей Торма. За это Тормъ пощипалъ его, и онъ сдѣлался съ тѣхъ поръ такимъ маленькимъ.

Всѣ свѣденія объ этихъ обрядахъ и церемоніяхъ мы пріобрѣли частію отъ русскихъ, жившихъ среди вогуловъ, частію отъ самихъ вогуловъ. Но послѣдніе, передавая ихъ, увѣрили, что

это было давно, и теперь почти ничего этого не водится, или если есть, то не на Кондѣ, а гдѣ-нибудь у дальнихъ, сосвинскихъ вогуловъ. Кондинскіе же вогулы давно-де позабыли своихъ шайтановъ и теперь смѣются надъ ними. Долго мы вѣрили искренности этихъ увѣреній, пока въ одинъ прекрасный день не убѣдились, насколько осторожны были окружавшіе насъ вогулы. Однажды, въ началѣ весны, когда снѣгъ на озерѣ уже стоялъ и ледъ приподняло прибывающей водой, мы, взявъ по ружью, отправились черезъ озеро на обрывистый мысъ, о которомъ я уже упоминалъ выше. Этотъ мысъ давно возбуждалъ наше любопытство, тѣмъ болѣе, что всякій разъ, когда намъ приходилось разспрашивать о немъ подробнѣе, оронтурцы точно боялись о чемъ-то проговориться. По льду привелось брести версты три слишкомъ. Уже во многихъ мѣстахъ на поверхности появилась вода и образовались полыньи, такъ что переходъ былъ не совсѣмъ безопасенъ, и ненадежный, изъѣденный водой, ледъ могъ провалиться. Достигнувъ берега, мы углубились въ густую лѣсную чащу и тамъ на одномъ холмѣ, возвышающемся надъ другими, заваленномъ дикимъ буреломомъ и поросшемъ густымъ краснолѣсьемъ, увидѣли двѣ, уже полу-истлѣвшія, шкуры, повѣшенныя на высовой перекладинѣ. Одна изъ этихъ шкуръ была оленья, другая—бѣлаго барашка. Сначала я не понялъ, въ чемъ дѣло, и подумалъ, что эти шкуры развѣшены были здѣсь для просушки и потомъ позабыты. Но мой спутникъ, какъ болѣе опытный, взглянувъ на нихъ, вскричалъ: „Э, да вѣдь это жертвы!“ Дѣйствительно, обѣ шкуры оказались снятыми съ животныхъ вмѣстѣ съ головами и копытами, что обыкновенно дѣлается только при жертвоприношеніяхъ. На правомъ ухѣ у барашка оказалась привязанной красная ленточка, въ которой былъ завернутъ серебряный гривенникъ. Головами эти шкуры были обращены на сѣверъ. Мы тщательно начали изслѣдовать окружающую мѣстность, въ надеждѣ найти гдѣ-либо по близости изображеніе вогульскаго шайтана. Но, осматривая эту мѣстность, мы соблюдали крайнюю осторожность, такъ какъ намъ было извѣстно, что вогулы въ своихъ священныхъ рощахъ, гдѣ находятся ихъ шайтаны, нерѣдко ставятъ западни и натянутые луки, для защиты своихъ боговъ отъ людей непосвященныхъ, такъ что послѣдніе, попавъ въ такое мѣсто, рискуютъ напороться на смертоносную стрѣлу. Однако шайтана нигдѣ не оказалось. Подъ стволомъ одного огромнаго сваливагося дерева мой коллега нашелъ жестянку изъ-подъ пороха, въ которой лежало нѣсколько серебряныхъ монетъ,—очевидно, жертва охотника. Въ другомъ мѣстѣ, также

неподалеку отъ жертвенныхъ шкуръ, около корня одной березы я поднялъ свертокъ мѣдныхъ и серебряныхъ монетъ (всего 48 к.), завернутыхъ въ тряпку, бумагу, бересту и сверху прикрытыхъ небольшимъ камнемъ. Густой, непроходимый буреломъ и дикая обстановка вполне гармонировали съ этимъ священнымъ мѣстомъ. Мой спутникъ захватилъ съ собой на всякій случай фотографическій аппаратъ, и онъ какъ разъ пригодился встать, чтобы снять фотографію съ вогульскихъ жертвъ, развѣшенныхъ на деревьяхъ. Въ полуверстѣ отъ этого мѣста мы нашли лѣтнія рыбацкія избушки, принадлежавшія, какъ оказалось потомъ, Тимоѳею и Савелью.

На крутомъ, размытомъ волнами, песчаномъ берегу озера, находилось нѣкогда чудское городище, и здѣсь мы нашли много глиняныхъ черепковъ съ разнообразными узорчатыми украшениями на нихъ. Весь берегъ около поверхности воды былъ усыпанъ мелкими кварцевыми гальками, среди которыхъ попадались мелкіе куски яшмы, сердолика, агата и даже топаза. Къ сожалѣнію, день былъ очень жаркій, и мы не рѣшались оставаться здѣсь долго изъ опасенія, что ледъ на озерѣ окончательно испортится, и намъ невозможно будетъ возвратиться по немъ обратно. Дѣйствительно, на обратномъ пути, не доходя шаговъ двадцати до противоположнаго берега, мы оба провалились въ воду: къ счастью, озеро въ этомъ мѣстѣ было не глубоко и мы отдѣлались только холодною ванной, промокши до пояса.

Послѣ этой экскурсіи мы увидали, что полагаться на искренность вогуловъ нельзя, и что они ничего не расскажутъ намъ о своей религіи добровольно. Нужно было дѣйствовать какъ-нибудь иначе. Мы рѣшили попробовать, нельзя ли чего-либо добиться черезъ слѣпного Ивана, который былъ, повидимому, расположенъ болѣе другихъ къ откровенности, но только почему-то опасался Тимоѳея. Однажды, воспользовавшись отсутствіемъ послѣдняго, мы пригласили стараго Ивана къ себѣ въ юрту подъ предлогомъ послушать его игру на лебедѣ. Запершись съ нимъ, чтобы никто изъ постороннихъ не могъ намъ помѣшать, мы угостили его водкой и рассказали о томъ, что нашли на мысѣ. Сначала Иванъ сильно перепугался, потомъ сталъ умолять насъ, чтобы мы не выдавали Тимоѳею ничего о томъ, что онъ намъ расскажетъ. Мы успокоили старика, увѣривъ его, что напрасно онъ и Тимоѳею, да и всѣ вообще вогулы насъ боятся, что мы вовсе не намерены дѣлать имъ какое-либо зло. Старикъ дѣйствительно скоро согласился съ нашими доводами и сталъ говорить, что онъ самъ не понимаетъ, почему ужъ такъ Тимоѳею насъ боятся, что запре-

щаетъ и всѣмъ другимъ сообщать что-нибудь намъ изъ ихъ религій.

Бъ сожалѣнію, старикъ Иванъ очень плохо говоритъ по-русски, такъ что его только съ большимъ трудомъ можно понимать. Прежде всего онъ намъ сознался, что у оронтурцевъ онъ исправляетъ роль шамана, хотя и не чувствуетъ къ этому большой склонности. По его словамъ, первоначальная вогульская религія утратила свою прежнюю чистоту и подверглась большимъ измѣненіямъ подѣ влияніемъ христіанской религіи. Такъ вогулы въ настоящее время на нѣкоторыхъ христіанскихъ святыхъ смотрятъ какъ на своихъ шайтановъ и приносятъ имъ языческія жертвы. Въ общемъ, религія вогуловъ сходна съ религіей ихъ сосѣдей остяковъ и заключается въ многобожіи, какъ и всѣ языческія религіи. У нихъ свой Олимпъ. Высшее существо, творецъ всего міра—Тормъ или Туромъ. Это—богъ, недостижимый для простыхъ смертныхъ, и вогулы не только не смѣютъ къ нему ни за чѣмъ обращаться, но даже считаютъ себя недостойными приносить ему жертвы. У Торма есть мать *Тормъ-чукъ* и сынъ.

За Тормомъ слѣдуютъ три важнѣйшихъ, но низшихъ Торма, божества: *Чѣхоль-вонзи*, *Водъ* и *Осѣтръ* или *Вишъ-отръ*. Первые два живутъ на облакахъ и завѣдуютъ громами. О нихъ ничего не знаетъ даже сынъ Торма, и когда начинается гремѣть громъ, то онъ спрашиваетъ у отца, кто это гремитъ? Но Тормъ ему не сказываетъ. Чѣхоль-вонзи и Водъ имѣютъ женъ. Изъ жертвенныхъ животныхъ они любятъ больше всего оленей и коровъ. Третій богъ—Осѣтръ живетъ на Оби вмѣстѣ съ рыбами; онъ завѣдуетъ всѣмъ воднымъ царствомъ и также имѣетъ жену. Жертвы ему опускаются въ воду; онъ любитъ все бѣлое: серебро, бѣлыхъ барашковъ, бѣлыхъ лошадей и т. д.

Эти три бога—добрые, они помогаютъ человѣку въ его предпріятіяхъ. Но есть еще одно высшее божество—*Куль*. Это—существо злое, враждебное человѣку и другимъ богамъ.

Кромѣ этихъ главнѣйшихъ божествъ у вогуловъ есть масса второстепенныхъ, мелкихъ. Каждый пауль, каждая рѣчка, каждый урманъ имѣетъ своихъ покровителей, называемыхъ шайтанами... Кромѣ того у каждого вогула въ юртѣ есть свои домашніе шайтанчики, то же, что у римлянъ пенаты. Всѣ эти шайтаны также бываютъ или добрыми, или злыми.

Жертвы, видѣнныя нами на мысѣ, были приносимы оронтурцами шайтанамъ, покровителямъ Оронтура. Эти шайтаны назывались *Илмъ-чимъ-ной-отръ* и представляли изъ себя 14 мѣд-

ныхъ лебедей, смотрѣвшихъ на озеро. На томъ мѣстѣ, гдѣ висѣли видѣнные нами шкуры, прежде стоялъ небольшой деревянный амбарчикъ, въ которомъ и помѣщались эти шайтаны. Семь изъ нихъ представляли самцовъ и стояли по правую руку; другіе—семь самокъ, по лѣвую. Величиною каждый лебедь былъ до трехъ вершковъ. Года четыре тому назадъ на мысѣ былъ лѣсной пожаръ, амбаръ сгорѣлъ, а вмѣстѣ съ нимъ исчезли и мѣдныя шайтаны. Иванъ говорилъ, что еслибы раскопать то мѣсто, гдѣ стояло помѣщеніе для шайтановъ, то навѣрное можно было бы найти этихъ лебедей. Къ сожалѣнію, намъ не удалось этого сдѣлать. Но, несмотря на то, что шайтаны исчезли, мѣсто, гдѣ стояли они, до сихъ поръ считается священнымъ, и оронтурцы, всякій разъ, возвращаясь съ удачной охоты, приносятъ тамъ въ жертву или оленя, или бѣлаго барашка. Для этой послѣдней цѣли у Тимофея и водятся бѣлые бараны. Впрочемъ, кромѣ животныхъ, эти шайтаны принимаютъ жертвы и деньгами, и платками, и мѣдными кольцами, которые относятся въ рошу и кладутся гдѣ-либо подъ деревомъ.

Шайтанъ, принесенный намъ вскорѣ послѣ этого Степаномъ, о чемъ я упоминалъ уже выше, назывался утичьимъ богомъ, *Сянга-пупи*. Онъ былъ вырѣзанъ изъ толстой доски и представлялъ грубое изображеніе человѣка. Сянга-пупи было также числомъ семь и всѣ они стояли на берегу озера, но со временемъ ихъ почти всѣхъ унесло водой. Объ этихъ шайтанахъ Иванъ отзывался съ большимъ презрѣніемъ:

— Какіе это сайтаны!—говорилъ онъ:—трянь. Вотъ въ Юмнѣль-паулѣ сайтанъ такъ сайтанъ: серепрыный.

Юмнѣльскій шайтанъ, находящійся у вогула Данилы, представляетъ небольшую женщину, отлитую изъ серебра, и носится Даниломъ постоянно съ собой въ мѣшкѣ, сдѣланномъ изъ лосе-наго уха. Этотъ шайтанъ когда-то попадалъ въ руки сатыженскаго священника, но былъ выкупленъ у него Данилою за 10 соболей. Онъ называется *Ной*. Въ жертву Ною можно приносить все, но главнымъ образомъ онъ любитъ серебряныя деньги. Жертвенныя деньги хранятся у обладателя шайтана, и въ трудныя минуты всякій желающій можетъ получить отъ него ссуду съ условіемъ возвратить эту ссуду въ опредѣленное время. Такимъ образомъ, капиталы, скопляющіеся около того или другого шайтана, играютъ въ нѣкоторомъ родѣ роль безпроцентныхъ банковъ. Прежде такіе банки были въ большомъ распространеніи и играли большую роль въ жизни вогуловъ, но теперь, съ упадкомъ религіи, происходятъ большія злоупотребленія: хозяева шай-

тановъ собирають пожертвованія по большей части исключительно въ свою собственную пользу.

Въ каждомъ паулѣ, какъ я сказалъ, есть свой мѣстный шайтанъ. Такъ въ паулѣ Умутѣ находится шайтанъ, называемый *Созомзи*. Онъ представляетъ изъ себя деревянную утку, пустую внутри; на спинѣ этой утки сдѣлано отверстие, въ которое опускаются жертвуемые деньги. Въ Пачерахъ-паулѣ — *Чанта-ека*, деревянная женщина и т. д.

Шайтанъ—въ сущности духъ, а истуканы, дѣлаемые вогулами, являются только видимымъ изображеніемъ этихъ существъ, какъ, напр., наши иконы суть изображенія тѣхъ святыхъ, которые на нихъ нарисованы.

Вогулъ дѣлаетъ изображеніе шайтана только по особеннымъ знаменіямъ или по желанію самого шайтана; а это желаніе послѣдній высказываетъ ему, являясь во снѣ. Такъ напр., Иванъ рассказывалъ, что онъ нѣсколько разъ видѣлъ во снѣ, будто находится на рѣчкѣ Нюръ (эта рѣчка верстахъ въ 40 выше Оронтура) и къ нему приходятъ два старика, называющіе себя *Нюръ-толматъ-хумъ*; это значитъ, по его объясненію, что на рѣчкѣ Нюръ должно поставить двухъ шайтановъ, изображающихъ двухъ стариковъ. Но, къ сожалѣнію, онъ, какъ слѣпой, этого сдѣлать не можетъ, а другіе, кому онъ говорилъ про свой сонъ, не хотѣли его слушать. Въ вотчинѣ Петра, отца Савелія, на рѣчкѣ Соусмѣ, гдѣ по зимамъ промышляетъ Савелій, на одной листовниці стоитъ мѣдный шайтанъ *Соусмонзи*, изображающій старика. Этотъ шайтанъ считается покровителемъ звѣролововъ и сдѣлалъ его самъ Петръ, послѣ того, какъ увидалъ этого старика во снѣ.

Точно также дѣлаются и всѣ другіе шайтаны.

Наступала весна. Охота на звѣрей прекратилась. Тимофеемъ балаживалъ рыболовныя снасти для предстоящей весенней ловли рыбы: плелъ кулупи ¹⁾, починивалъ гамги ²⁾, оттачивалъ крюки и жерлицы. Савелій со своими братьями ушелъ на рѣчку Соусму, чтобы привести въ порядокъ все то, что онъ напромышлялъ зимой, т.-е. припрятать отъ хищныхъ звѣрей мясо и шкуры убитыхъ имъ животныхъ. Эти шкуры, а также и мясо (вяленое) обыкновенно хранятся на мѣстѣ въ особыхъ амбарахъ до разлива рѣкъ и доставляются въ Оронтуръ уже водой, на лодкахъ. Отправляясь на Соусму, Савелій обѣщался поискать тамъ бобровъ, такъ какъ послѣдніе иногда на ней водятся. Если же ему не удастся

¹⁾ Родъ сѣти.

²⁾ Большая морда.

убить тамъ бобра, то мы рѣшили жить въ Оронтурь-паулѣ до Петрова дня, и тогда уже самимъ отправиться съ проводниками вверхъ по Кондѣ отыскивать этихъ животныхъ. Ранѣ этого времени, по словамъ оронтурцевъ, охотиться за бобрами невозможно, потому что рѣки весной выступаютъ изъ береговъ и затопляютъ тайгу на громадное пространство. Отыскивать же бобровъ ранѣ, чѣмъ рѣки войдутъ въ свое русло,—что случается не ранѣ Петрова дня,—по меньшей мѣрѣ бесполезно. Кромѣ этого, передъ Петровымъ днемъ у вогуловъ самое горячее время и отлучаться имъ изъ дому нельзя: въ это время артелями ловятъ такъ-называемую городковую утку (турпанъ, *videmnia nigra*, по-вогульски—соангъ), останавливающуюся здѣсь во время перелета въ несмѣтномъ количествѣ. Ловъ ея обыкновенно производится такъ.

Среди озера вбиваютъ колья такъ, чтобы они образовали собой кругъ, затѣмъ на эти колья натягиваютъ веревку вершковъ на 6—7 отъ поверхности воды; къ этой послѣдней прицѣпляютъ сплошь рядъ петель, слѣданныхъ изъ тонкихъ волосяныхъ нитей (пленки). Въ срединѣ круга привязываютъ для приманки живую утку. Городковья утки, летающія обыкновенно табунами, завидя свою подругу, садятся подлѣ нея среди этого круга, а охотники издали начинаютъ подплывать къ нимъ на лодкахъ. Утки, прежде чѣмъ вспорхнуть, стараются удалиться отъ охотниковъ вплавъ и попадаютъ головами въ петли, въ которыхъ и запутываются.

Такихъ круговъ на озерѣ дѣлается масса, и въ продолженіе весны вогулы этимъ способомъ ловятъ утокъ тысячами. Мясо ихъ идетъ на пищу, а изъ шкурокъ дѣлается одежда, отличающаяся теплотой, легкостью и дешевизной.

Кромѣ городской утки артелями производится у вогуловъ еще ловля рыбы: лѣтомъ неводами и осенью запорами. Всю наловленную рыбу они дѣлятъ по паямъ, сообразно числу участвующихъ въ общей ловлѣ лицъ, причемъ вдовы и сироты получаютъ также рыбный пай отъ общества, хотя бы въ ловлѣ и не участвовали.

Оронтурцы жалуются, что за послѣдніе годы рыбы въ Кондѣ стало гораздо меньше, чѣмъ было прежде, такъ что въ настоящее время не только для продажи на сторону ничего не остается, но даже не хватаетъ и для собственного потребленія. Это уменьшеніе рыбы они объясняютъ тѣмъ, что внизу на Кондѣ черезъ всю рѣку ставятъ запоры, не позволяющіе рыбѣ проникать изъ Оби вверхъ. Хотя такіе запоры и запрещены закономъ, но въ послѣдствіи мы сами убѣдились, что дѣйствительно, весной, тотчасъ

по разливу рѣкъ, около устья Конды практикуется обычай перетигивать черезъ всю рѣку рѣзовки, распугивающія рыбу, и именно въ то самое время, когда она идетъ изъ Оби въ Конду метать икру.

Выше я уже сказалъ, что до наступленія весны мы обречены были безвыходно сидѣть въ юртѣ. Но вотъ начались теплые дни, и суровая природа мало-по-малу стала сбрасывать свои ледяныя оковы и измѣнять фizioномію. Я привожу здѣсь нѣкоторые выписки изъ своего дневника за это время, чтобы наглядно показать особенности здѣшней весны.

18 апреля. Послѣ зимнихъ холодовъ сразу наступила прекрасная, весенняя погода. Вотъ уже богѣ недѣли, какъ солнце печетъ немилосердно. Снѣгъ быстро вянеть. На высокихъ мѣстахъ земля уже обнажилась. Сегодня въ первый разъ отправились въ лѣсъ и были поражены его внезапнымъ пробужденіемъ, послѣ мертвого зимняго безмолвія. Повсюду порхали и чирикали маленькія птички, долбили дятлы, кричали вороны. На обнажившемся, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, песчаномъ берегу озера открыли массу болотной желѣзной руды; ея здѣсь такъ много, что вода въ озерѣ краснубураго цвѣта.

19. Ходили за озеро къ Савелью, гдѣ насъ угощали молокомъ. Около Савельевыхъ юртъ, точно также какъ и подлѣ Тимоеевыхъ, въ урманѣ виднѣются расчищенные мѣста, показывающія, что здѣсь когда-то занимались земледѣіемъ. Но теперь земли эти заброшены, и только Савелій садитъ иногда картофель и рѣпу, но въ такомъ незначительномъ количествѣ, что этихъ овощей не хватаетъ даже на продовольствіе собственной семьи. Тимоеевъ же вовсе ничего не сѣетъ и не садитъ, объясняя это тѣмъ, что ничего не родится. Но это едва ли справедливо. Просто-на-просто, кажется, оронтурцы слишкомъ или излѣнились, или не умѣютъ приняться за дѣло.

На южномъ берегу озера большое обиліе кварцевыхъ галекъ; между ними встрѣчаются мелкіе куски яшмы, сердолика и агата.

20. Хожденіе въ лѣсу дѣлается свободнымъ. Снѣгу едва ли осталась $\frac{1}{4}$ всего, что было. Прилетѣли утки и лебеди.

21. Появились орлы, чайки и мышеловки. Ходили вдоль берега съ ружьемъ, но ничего не убили. Дичи еще мало. Около полудня погода испортилась, накатила туча, и пошелъ дождь, первый дождь въ эту весну. Къ вечеру прояснило. Бродили снова по болотамъ по-колѣно въ водѣ. Вода прибываетъ и затопляетъ низкія мѣста. Ледъ на озерѣ вдулся. Выпустили по нѣскольку зарядовъ, но безуспѣшно.

22. Ходили на Мысъ Шайтана (объ этомъ см. выше).

23. Жара. Ледъ на озерѣ, вѣроятно, скоро растаетъ, и тогда начнемъ настоящую охоту. На берегу нашли нѣсколько черепковъ съ разнообразными узорчатыми на нихъ украшеніями. Вогулы не знаютъ гончарнаго искусства, и черепки эти, очевидно, принадлежатъ другому племени, раньше вогуловъ жившему здѣсь — Чуди. Комары... можно себя представить: комары въ апрѣлѣ, когда еще снѣгъ не весь здѣсь растаялъ, а рѣки и озера покрыты льдомъ! Что же здѣсь будетъ лѣтомъ?

24. Прилетѣли гуси и журавли. На берегу озера, недалеко отъ юртъ, въ урманѣ открыли остатки рва какого-то древняго городища, по всей вѣроятности чудского. Небольшое круглое пространство, сажень 8—10 въ діаметрѣ, окружено рвомъ и валомъ; громадныя сосны давно уже поросли на этомъ мѣстѣ. Вблизи по урману находятся бугры и ямы: очевидно, около крѣпости былъ городокъ. Во рву нашли нѣсколько черепковъ, точно такихъ же, какіе находили ранѣе.

25. Пробовали раскапывать городище, но земля еще мерзлая, — бросили. На берегу, подлѣ размываемаго озеромъ городища, попадаетъ множество плаковъ. Глина, приставшая къ краямъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, показываетъ, что это было намѣренное добываніе чугуна изъ руды, а не случайный сплавъ: глины здѣсь вообще нѣтъ, а доставляютъ ее за нѣсколько верстъ отъ Оронтура.

Степанъ сегодня поймалъ 6 щукъ, вѣсомъ каждая фунта по три слишкомъ; всѣхъ ихъ сварилъ и четыре изъ нихъ за одинъ разъ съѣлъ. Наголодался за зиму парень!

26. Ура!.. Главная цѣль нашего путешествія достигнута! Сегодня возвратился изъ отлучки Савелій и принесъ съ собой убитаго имъ бобра, цѣльнаго, съ мясомъ и костями. Убилъ онъ его, — рассказываетъ, — на рѣчкѣ Нюръ, притока Конды; устье этой рѣчки находится верстахъ въ 40 выше Оронтуры¹⁾.

Намъ остается, значить, только осмотрѣть бобровыя постройки, снять съ нихъ фотографіи, и дѣло въ шляпѣ.

Солнце продолжаетъ печь немилосердно. Ледъ на озерѣ остался только по срединѣ. Около береговъ стало свободно плавать на лодкѣ.

27. Утромъ шелъ дождь. День пасмурный; тяжесть чувствуется страшная. Сегодня дочери Марьи отправились въ урманъ за ягодами. Не странно ли: ягоды въ апрѣлѣ! Да, подъ снѣгомъ хо-

¹⁾ Впослѣдствіи оказалось, что Савелій совралъ. Убилъ онъ бобра вовсе не на р. Нюръ, а въ своей вотчинѣ, на рѣчкѣ Соускѣ, лѣвомъ притока р. Конды, недалеко отъ ея устья. Эта рѣчка находится въ 45 верст. отъ Оронтура, считая по прямому зимнему пути.

рошо сохранилась прошлогодняя брусника. Каждую осень семья Тимоеев собираетъ этихъ ягодъ до 100 пудовъ, и всѣ онѣ идутъ на продажу, а себѣ на зиму ничего не остается. Вогулы—народъ удивительно непредусмотрительный.

Воды въ озерѣ прибыло аршина на два. Всѣ низкія мѣста затопляются водой. Должно быть, вскрылась Конда; она находится отъ Оронтура верстахъ въ 10.

Тамъ, гдѣ дня два тому навадъ мы ходили свободно, теперь все залито водой. Вогулы говорятъ, что въ озерѣ вода поднимается во время разлива всѣхъ рѣчекъ до 6—7 аршинъ.

Комаровъ появляется все больше и больше; сегодняшней ночью они сильно насъ беспокоили. Къ тому же откуда-то напояли въ нашу юрту муравьи, такъ что вмѣстѣ съ клопами всѣ эти хищники становятся уже совсѣмъ невыносимыми.

28. Въ общемъ, дичи мало. Оронтурцы говорятъ, что они не запомнятъ ни одной весны, столь скудной дичью. Прежде въ это время, бывало, стонъ стоитъ на озерѣ отъ птицы, а теперь только кое-гдѣ увидишь табунокъ дикихъ утокъ или чаекъ. Городковой утки совсѣмъ не видать, хотя ей уже давно время прилетѣть. Вогулы въ уныніи.

Плавали въ сопровожденіи Левки верстъ за пять отъ Оронтура на рѣку Эхъ. Тамъ въ одномъ мѣстѣ, на крутомъ берегу, находится древнее чудское городище. Остатки этого городища представляютъ правильный кругъ, имѣющій около 30 сажень въ діаметръ, обнесенный глубокимъ рвомъ и валомъ. Здѣсь попадаются глиняные черепки, точно такой же формы, какіе мы находили раньше. Подъ корнемъ одного вывороченнаго бурей дерева я нашелъ тонкую, зубчатую мѣдную пластинку и тутъ же небольшой, но довольно толстый мѣдный черепокъ, съ такими же узорами, какіе встрѣчались на глиняныхъ. Очевидно, Чудъ знала употребленіе мѣди. Между этимъ городищемъ и Оронтуромъ, въ двухъ верстахъ отъ послѣдняго, на небольшомъ лѣсистомъ холмѣ, залитомъ въ настоящее время со всѣхъ сторонъ водой и представляющемъ, такимъ образомъ, островокъ, находится эллипсовидный холмъ, окруженный рвомъ и валомъ. Здѣсь также попадаются глиняные узорчатые черепки. Какъ первое, такъ и это городище пробовали разрывать, но земля еще мерзлая,—бросили.

Судя по обилію вокругъ озера древнихъ городищъ, населеніе этого края было когда-то, въ давно-прошедшія времена, очень густо. Вогулы рассказываютъ, что и въ другихъ мѣстахъ по Кондѣ и ея притокамъ этихъ городищъ встрѣчается множество.

По преданіямъ вогуловъ здѣсь прежде жили маленькіе люди (херсе-хумъ—земляной человѣкъ); они строили себѣ жилища подъ землей. Когда пришли сюда вогулы, то херсе-хумъ, увидавъ, что имъ съ пришельцами не справиться, собрались въ свои подземныя хижины, подрубили поддерживавшія крыши подпорки, и такимъ образомъ всѣ сами себя похоронили.

29. Въ юго-восточной части озера наткнулись въ лѣсу на нѣчто въ родѣ просѣки. Въ урманѣ открывалось голое пространство сажень въ 50 ширины и тянувшееся куда-то далеко въ глубь урмана. На всемъ этомъ пространствѣ валялись вырванные съ корнемъ и изломанные стволы деревьевъ, точно трупы на полѣ брани. Очевидно, это надѣлалъ пронесшійся когда-то здѣсь ураганъ.

30. Рѣшили предпринять дальнѣйшую экскурсію отдѣльно. Константинъ Дмитріевичъ пойдетъ съ Савельемъ пѣшкомъ на р. Нюръ, чтобы снять тамъ фотографію съ бобровыхъ построекъ и, если будетъ возможно, поохотиться за бобрами; я же съ Тимошеемъ завтра отправляюсь на лодкахъ на другую рѣчку—Ухъ, находящуюся въ вотчинѣ послѣдняго, гдѣ, по его словамъ, также въ прошломъ году жили бобры и находятся бобровыя постройки. Цѣль моя—по возможности приобрѣсть и вывезти на лодкахъ образцы бобровыхъ построекъ. Отправляться обоимъ въ одно мѣсто мы нашли неудобнымъ, такъ какъ на Савельеву рѣчку проникнуть на лодкахъ нельзя, а можно только пѣшкомъ, налегкѣ, стало быть невозможно будетъ тащить на себѣ бобровыя постройки; отправляясь же на Тимошееву рѣчку, мы рискуемъ не встрѣтить тамъ въ настоящее время бобровъ, такъ какъ въ прошломъ году они были распуганы.

V.

Рано утромъ, 1-го мая, меня разбудилъ Тимошей, говоря, что пора отправляться въ путь. Съ вечера я ничего не успѣлъ заготовить для дороги и потому началъ торопиться. Но я уже давно напился чаю, надѣлалъ патроновъ, собралъ все, что нужно, а Тимошей больше не показывался. Два раза я посылалъ къ нему справиться, скоро ли онъ будетъ готовъ, и оба раза мнѣ отвѣчали, что Тимошей еще пьетъ чай. Вогулы не любятъ торопиться, руководствуясь пословицей: „работа не волкъ, въ лѣсъ не убѣжить“. Солнце было уже довольно высоко, когда онъ наконецъ появился въ сопровожденіи Левки.

— Напехался этотъ Левка ѣхать со мной,—говорилъ мнѣ вчера Тимошей:—усъ какъ мнѣ не охота его пыло прать.

— Такъ зачѣмъ же тогда берешь?

— А кого польсе? Парамону нато кулупи ставить, некогта.

Наконецъ мы отчалили. Тимошей на своей лодкѣ впереди, указываетъ дорогу; мы съ Левкой—за нимъ. Наша лодка длиной около двухъ сажень и ровно одинъ аршинъ ширины. Лодки вогулы дѣлаютъ изъ цѣльныхъ стволовъ осины, выдабливая ихъ внутренность и распирая поперечными распорками, чтобы не коробило. Въ промежуткахъ между этими распорками садятся пловцы, вооруженные каждый однимъ легонькимъ, имѣющимъ форму пера, весломъ. Эти лодки очень тонки, довольно изящны и чрезвычайно легки, точно сдѣланы изъ картона, такъ что нашу лодку, напр., свободно можетъ нести на плечѣ одинъ здоровый человѣкъ, но зато и поднять она больше трехъ человѣкъ не въ состояніи; а такъ какъ она была нагружена провизіей, которой мы должны были запастись на цѣлую недѣлю, и самымъ необходимымъ для дороги багажемъ, то сидѣть въ ней приходилось соблюдая крайнюю осторожность: при малѣйшемъ неловкомъ движеніи она могла перевернуться вверхъ дномъ. Лодка Тимошей была еще меньше, но зато ничѣмъ не нагружена и предназначалась для перевозки образцовъ матеріала, изъ котораго бобры дѣлаютъ свои постройки. Лодки большихъ размѣровъ мы не могли взять съ собой, потому что на нихъ невозможно было бы плыть въ тѣхъ мѣстахъ, куда мы ѣхали, да болѣе крупныхъ лодокъ у оронтурцевъ и не было.

Погода стояла прекрасная. Ни одного облачка не было видно на небѣ. Вѣяло весной. Деревья уже начинали распускаться. Переплывъ черезъ Оронтурское озеро, мы прямо въѣхали въ лѣсъ, весь затопленный водой, по которому должны были плыть для сокращенія пути верстъ десять до рѣки Конды. Оригинальная дорога! Въ воздухѣ невозмутимая тишина, вода точно зеркало, кругомъ стволы густого лѣса, вѣтви деревьевъ задѣваютъ намъ по лицу и намъ то-и-дѣло приходится лавировать, чтобы не засысть между березъ. Внизу и вверху голубая бездна: такъ и чудится, что летишь по воздуху среди какого-то воздушнаго зачарованнаго парка, и только струи отъ скользящихъ по водѣ лодокъ нарушаютъ эту иллюзію. По временамъ, то тамъ, то тутъ, вспорхнутъ стая дикихъ утокъ и съ крикомъ поднимется надъ нашими головами. Сначала мы плывемъ среди березняка, и лишь кое-гдѣ, въ отдаленіи, видѣются темныя сопки, поросшія красной смолью. Но вотъ намъ встрѣчается рѣчка Эхъ, вытекающая

изъ Оронтурскаго озера и впадающая въ Конду; но теперь, по причинѣ большой воды въ Кондѣ, вода въ этой рѣчкѣ течетъ обратно въ озеро, а береговъ ея совсѣмъ не видно. Нѣсколько времени мы плывемъ по этой рѣчкѣ, чтобы немного отдохнуть отъ гимнастическихъ упражненій, которыя намъ привелось выдѣлывать, лавируя среди стволовъ деревьевъ. Рѣчка изобилуетъ зыбунами. Зыбуны—маленькіе островки, поросшіе травой и мелкимъ березнякомъ. Они имѣютъ ту особенность, что уровень ихъ всегда одинаковъ съ уровнемъ воды въ рѣкѣ. Если вода въ рѣкѣ поднимается, хотя бы даже на сажень, поднимаются и они; если опускается,—вмѣстѣ съ водой опускаются и островки. Вѣроятно, это происходитъ отъ того, что эти островки прикрѣплены ко дну рѣки какими либо длинными водорослями, не позволяющими быстринѣ рѣки уносить ихъ съ собой. Зыбуны—это излюбленное мѣсто дикихъ гусей и утокъ; здѣсь они дѣлаютъ гнѣзда и выводятъ птенцовъ.

Черезъ нѣсколько времени мы снова врѣзываемся въ березнякъ, чтобы сократить путь, такъ какъ рѣчка чрезвычайно извилиста. Наконецъ, послѣ долгаго и утомительнаго плаванія по лѣсамъ, по шворамъ и озерамъ, встрѣчавшимся на пути, изъ-за вѣтвей и сучьевъ деревьевъ я увидалъ быстро мелькавшіе впереди по одному направленію какіе-то бѣлые предметы. Изъ-за чащи трудно было разглядѣть, чтѣ это такое, и я сначала подумалъ, что это летаютъ чайки, но Тимофеей, плывшій впереди насъ, проивнесъ:

— А вотъ и Конта!

Дѣйствительно, бѣлые предметы оказались не чѣмъ инымъ, какъ пѣной на рѣкѣ Кондѣ. Такъ какъ въ гладкой поверхности воды отражались и лѣсъ, и голубое небо, и трудно было издали опредѣлить, гдѣ начинается водяное зеркало, то иллюзія получалась полная: казалось, что эта пѣна несется по воздуху. Мы выплыли изъ чащи и разомъ очутились въ быстромъ руслѣ р. Конды. Лѣсная рѣка съ затопленными берегами представляла величественное зрѣлище. Въ лѣсу быстрота рѣки была едва замѣтна, тогда какъ здѣсь, въ своемъ руслѣ, на просторѣ, рѣка бѣшено неслась, извиваясь, какъ змѣя, по тайгѣ, выбрасывая въ нее избытокъ своей воды и затопляя громадное пространство. Правый берегъ былъ дремучій боръ, весь затопленный водой; лѣвый, болѣе низкій—березнякъ, смѣшанный съ сосной и осиной. Проплывъ нѣсколько сажень, мы увидели, что справиться съ быстротою рѣки было почти невозможно, и потому, повернувъ лодки въ лѣсъ, снова врѣзались въ чащу и стали подвигаться впередъ, то гребя вес-

лами, то работая руками, отталкиваясь о стволы деревьевъ. Тимошей отъ времени до времени останавливался около нѣкоторыхъ деревьевъ и вытаскивалъ совершенно скрытые подъ водой луки, поставленные имъ на звѣрей еще съ осени. Повидимому, онъ былъ въ этой непроницаемой глуши какъ у себя дома и каждый стволъ дерева былъ ему знакомъ. Проплывъ такимъ образомъ часовъ пять, мы увидали наконецъ одинъ возвышенный холмикъ, который не былъ затопленъ водой, и рѣшили сдѣлать на немъ привалъ. Островокъ былъ небольшой и мы живо осмотрѣли его весь, въ надеждѣ встрѣтить какаго-либо звѣря, такъ какъ послѣдніе часто спасаются во время половодья на подобныхъ островкахъ отъ потопа. Но островокъ оказался совершенно необитаемъ. Мы расклали костеръ, сварили чай въ чугунномъ котелѣ и занялись чаепитіемъ, наливая чай въ маленькія берестяныя чуманки ¹⁾, которыя замѣняютъ у вогуловъ дорожную чайную посуду. Но вотъ Левка, какъ бы вспомнивъ что-то, схватываетъ небольшую пайву ²⁾ и, удалившись минутъ на пять отъ нашего бивуака, возвращается, широко улыбаясь.

— Вотъ это хорошо будетъ съ чаемъ,—говоритъ онъ, ставя передъ нами чуть не полную пайву брусники.

Отдохнувъ немного, мы снова садимся въ лодки и плывемъ далѣе. Скоро намъ попадается другой островокъ, немного обширнѣе перваго и притомъ густо заросшій краснымъ лѣсомъ. Мы опять высаживаемся въ надеждѣ встрѣтить звѣря. Отойдя нѣсколько шаговъ отъ лодокъ, Тимошей вдругъ остановился.

— А вѣдь это онъ противъ,—сказалъ онъ, внимательно что-то разсматривая на землѣ.

— Кто онъ?—спросилъ я, подходя къ нему.

На бѣломъ пушистомъ, густомъ мху, въ которомъ, какъ въ сѣту, нога тонула по самую щиколку, ясно были видны свѣжіе слѣды какъ бы босыхъ человѣческихъ ногъ.

— Да онъ, *старикъ*,—пояснилъ Тимошей:—видись эго слѣды.

Вогулы боятся называть медвѣдя по имени, какъ нѣкоторые наши крестьяне—чорта.

Тимошей чиркнулъ спичку и поджегъ сухой мохъ.

— Что ты дѣлаешь? Вѣдь пожаръ будетъ!—вскричалъ я.

— А намъ тутъ не промыслять,—равнодушно сказалъ онъ:—пускай горитъ.

¹⁾ Чанка.

²⁾ Коробушка изъ береста. Большія пайвы замѣняютъ вогуламъ саквожъ и носятъ на плечахъ.

Дѣйствительно, лѣсу здѣсь такъ много, что отъ пожара какой-либо небольшой сонки его не убавится; на болѣе же широкое пространство огонь распространиться не можетъ, такъ какъ кругомъ вода.

Мы снова садимся въ лодки, выплываемъ на Конду и на этотъ разъ уже вплоть до Ясунтъ-пауля плывемъ хотя и съ большимъ трудомъ по рѣкѣ.

Ясунтъ—послѣдній пауль на Кондѣ; выше его уже нѣтъ никакихъ поселеній, одна сплошная, невѣдомая даже вогуламъ тайга. Впрочемъ, на одномъ изъ притоковъ Конды, устье котораго находится немного выше этого пауля, именно, на рѣчкѣ Юмнѣль, въ 25 верстахъ отъ устья, есть еще одна жилая юрта — Юмнѣль-пауль. Всѣ остальные притоки вверху необитаемы.

Ясунтъ-пауль состоитъ всего изъ двухъ рядомъ стоящихъ юртъ, соединенныхъ между собой однимъ общимъ навѣсомъ. Расположенный на низкомъ берегу рѣки Конды, этотъ пауль былъ теперь затопленъ водой чуть не до самыхъ оконъ и представлялъ очень оригинальный видъ, вырисовываясь на свѣтлой поверхности рѣки. Нигдѣ кругомъ не было замѣтно ни малѣйшаго клочка твердой земли. Въ нѣсколькихъ саженьяхъ отъ юртъ, подъ густыми вѣтвями елей, торчали три свайные амбара, затопленные до самаго пола.

Мы вышли на лодкѣ прямо въ сѣни юрты. Обитателей никого не было. Весной они обыкновенно переселяются въ другіе паули, такъ какъ вода иногда проникаетъ въ юрты и жить здѣсь во время разлива Конды невозможно. Въ настоящее время хозяинъ съ женой и дочерью жили въ Умутѣ, у родственниковъ.

Ясунтъ—довольно старый пауль. Прежде, лѣтъ десять тому назадъ, здѣсь юртъ было гораздо болѣе, и жило до шести семействъ; теперь осталась всего одна. Въ прошломъ году умеръ послѣдній представитель другой семьи, еще такъ недавно жившей здѣсь, и уцѣлѣвшая юрта его пустуетъ. Отъ остальныхъ юртъ не осталось и слѣда,—ихъ давно унесло рѣкой.

Сначала кажется страннымъ, почему вогулы избрали такое неудобное, низкое мѣсто для поселенія. Дѣло въ томъ, что вблизи нѣтъ болѣе высокихъ мѣстъ, а рядомъ находится устье рыбной рѣчки Юмнѣль. Это-то послѣднее обстоятельство и заставляетъ вогуловъ терпѣть такіа неудобства.

Я ступилъ на крыльцо,—оно качалось на водѣ. Двери въ юрты были приперты одной только наружной задвижкой. Каждая изъ юртъ состояла изъ одной только жилой комнаты. Въ первой, кромѣ двухъ-трехъ сундуковъ, стоявшихъ на лавкѣ въ углу, рѣ-

пительно ничего не было; но юрта была чисто вымыта. Во второй оказалось полное хозяйство. На столѣ стоялъ самоваръ и чайная посуда, на стѣнѣ висѣло старое кремневое ружье, на шестахъ подъ потолкомъ—сѣти; въ углу—небольшіе ручные жернова для размолу ячменя и крупъ; тутъ же два деревянныхъ ведра. За печкой, напоминавшей русскую печь, мы нашли въ берестяной пайвѣ готовые угли и поставили самоваръ.

Видъ изъ окна былъ очень живописенъ: кругомъ, куда ни посмотришь, дремучій боръ, залитый водой, и рядомъ величественная Конда. Въ сѣняхъ хотъ ставъ рыбныя ловушки.

Солнце было уже довольно низко, и я думалъ остаться здѣсь переночевать; но Тимошеей отсовѣтовалъ, обративъ мое вниманіе на то, что вода ходитъ уже подъ самымъ поломъ юрты, а рѣка все еще нейдетъ на убыль. Поэтому, изъ опасенія, чтобы намъ не привелось ночью плавать въ юртѣ, мы рѣшили отправиться далѣе, отыскивать болѣе высокое мѣсто для ночлега. Однако исхать его намъ пришлось до самыхъ сумерекъ, и едва только въ ночи мы успѣли добраться до небольшого приторка, покрытаго дремучимъ лѣсомъ. Но Тимошеею и здѣсь видимо не хотѣлось останавливаться на ночлегъ, такъ какъ на этомъ мѣстѣ былъ вымершій, много лѣтъ тому назадъ, пауль, а вогулы стараются избѣгать такихъ мѣстъ, въ особенности въ ночное время, такъ какъ, по ихъ понятіямъ, души умершихъ всегда ютятся вблизи своихъ родныхъ пепелищъ и не любятъ, чтобы безпокоили ихъ живые. Большого труда мнѣ стоило убѣдить его, что живыхъ людей слѣдуетъ бояться гораздо болѣе, чѣмъ мертвыхъ. Наконецъ онъ таки сдался, тѣмъ болѣе, что отыскивать болѣе удобнаго мѣста для ночлега было уже поздно, а онъ и самъ не зналъ хорошенько дальнѣйшей мѣстности. Солнце сѣло; небо сдѣлалось пасмурнымъ и стало довольно свѣжо.

Здѣсь мы нашли сгнившую, совершенно развалившуюся юрту, и старый, лежавшій на боку амбаришко, упавшій съ подгнившихъ свай. Стѣны старой юрты послужили намъ готовыми дровами для костра. Въ холодное время вогулы раскладываютъ костры нѣсколько иначе, чѣмъ это дѣлается обыкновенно. Они рубятъ громадныя полѣнья, длиной отъ 3 до 4 аршинъ, кладутъ эти полѣнья, или лучше бревна, параллельно одно на другое и зажигаютъ по всей длинѣ, что очень практично, такъ какъ такой костеръ нагреваетъ большую площадь и спать подлѣ него гораздо теплѣе. Зимой, во время стужи, раскладывается два такихъ костра, параллельныхъ одинъ другому, на разстояніи сажень

двухъ или трехъ, и въ самый лютый морозъ охотники спать между этими кострами, какъ у себя въ юртѣ.

Скоро у насъ запылалъ громадный костеръ, освѣщая небольшую площадку среди развѣсистыхъ елей, и находившіяся въ сторонѣ развалины старой юрты съ упавшимъ амбаромъ, зиявшимъ въ отдаленіи своей открытой дверью. Напившись чаю и поужинавъ сухой рыбой, запасенной нами на дорогу, мы расположились вокругъ костра на ночлегъ.

Мнѣ что-то долго не спалось. Развалины, торчавшія передъ глазами, невольно наводили на мысль о прежнихъ здѣшнихъ обитателяхъ, могилы которыхъ виднѣлись тутъ же, неподалеку. Отчего это племя угасаетъ? Истощило ли оно свою жизнеспособность и теперь умираетъ, повинувшись тѣмъ же законамъ, по которымъ все въ мірѣ рождающееся осуждено на смерть, или тутъ кроются другія причины, ничего не имѣющія общаго съ законами природы? Отъ вогуловъ незамѣтно моя мысль перешла къ другому, предшествовавшему вогуламъ народу, чуди, курганы и городища которой здѣсь встрѣчаются въ такомъ изобиліи. Куда дѣвалась чудь, обладавшая безспорно высшей культурой, чѣмъ вогулы, судя по тѣмъ остаткамъ, какіе находятся на мѣстахъ прежнихъ ея жилищъ: по глинянымъ черепкамъ съ разнообразнѣйшими узорчатыми на нихъ украшеніями, по желѣзнымъ и мѣднымъ издѣліямъ? Если это племя угасало такъ же постепенно, какъ и вогулы, то почему же оно не передало своимъ преемникамъ ни умѣнья добывать желѣзо и мѣдь, ни гончарнаго искусства? Или племя это, увлеченное какимъ-либо грандіознымъ потокомъ, еще въ до-историческія времена, при нашествіи другихъ племенъ, побросало свои жилища и ушло со своихъ насиженныхъ мѣстъ, а вогулы пришли сюда уже послѣ нихъ и нашли здѣсь одни только ихъ пепелища? Всѣ эти вопросы невольно приходили мнѣ въ голову, какъ вдругъ мое вниманіе было привлечено отдаленнымъ лаемъ собаки. Откуда могла взяться собака въ тайгѣ, затопленной водой, гдѣ на пространствѣ многихъ десятковъ верстъ нѣтъ ни одного жилища, гдѣ всѣ жители знаютъ наперечетъ другъ друга? Я вспомнилъ, что за наступленіемъ темноты мы не успѣли осмотрѣть мѣстности, въ которой расположились на ночлегъ, но, по словамъ Тимоеева, островокъ имѣлъ всего нѣсколько сажень въ окружности и, кто знаетъ, можетъ быть по сосѣдству съ нами спасался отъ наводненія и еще кто-нибудь, можетъ быть даже и онъ, *старикъ*, наголовавшій за зиму. Впрочемъ лай собаки, какъ мнѣ почудилось, раздался гдѣ-то далеко, далеко... Но вотъ онъ снова повторился, на этотъ разъ

уже гораздо ближе. Я приподнял голову и сталъ прислушиваться, не зная, будить ли мнѣ своихъ проводниковъ. Вдругъ почти надъ самыми нашими головами среди ночного безмолвія раздался какой-то дивный, безумный хохотъ, заставившій меня съ суетвѣрнымъ ужасомъ вскочить на ноги.

— Тьфу ты, анаеема! Какъ онъ меня напугалъ! — вскричалъ Тимошей, поднимаясь.

— Да это кто? — въ недоумѣніи спросилъ я.

— Та филинъ. Кто польсе? Висъ увиталъ огонь, такъ и прилетѣлъ. Я усъ тавно слушаю, какъ онъ лагетъ по-собачьи.

Левка схватилъ ружье и сталъ искать глазами зловѣщую птицу. Вскорѣ грянулъ выстрѣлъ, но прицѣлъ былъ неудаченъ, и филинъ снова началъ кричать въ отдаленіи, то плача, какъ ребенокъ, то подражая голосу разныхъ животныхъ. Наконецъ утомленіе взяло свое, и я заснулъ. Меня разбудило какое-то непріятное щекотаніе на лицѣ. Отерывъ глаза, я увидалъ, что кругомъ было бѣло отъ выпавшаго снѣга. Начинало свѣтать. Мои возчики тоже встали. Снѣгъ усиливался все болѣе и болѣе, и перешелъ въ настоящую пургу. Хорошо, что я захватилъ съ собой полушубокъ, и мнѣ было тепло; но мои возчики были въ однихъ легонькихъ армякахъ, и ихъ донималъ холодъ. Вскорѣ эги не стало видно отъ бурана. Чтѣ было дѣлать? Я забрался въ полуразвалившійся амбарнишко и скоро снова тамъ заснулъ, предоставивъ своимъ проводникамъ устроиваться, какъ они хотятъ. Когда я проснулся, былъ уже день. Ноги мои ооченѣли отъ холода и меня пробирала дрожь. Я вылѣзъ изъ амбара. Снѣгу навалило болѣе, чѣмъ на четверть, и онъ все еще не переставалъ падать. Я направился къ костру. Оказалось, что мои возчики устроились пречудесно, — гораздо лучше, чѣмъ я. Они подтащили обѣ лодки къ огню, перевернули ихъ вверхъ дномъ и, поставивъ одной стороною, обращенной къ костру, на небольшія подпорки, спали подъ этими лодками, какъ у себя дома, сномъ невинныхъ младенцевъ, въ однихъ рубахахъ, слегка только прикрывшись армяками.

Пока мы пили чай, буранъ утихъ, небо прояснѣло, и мы снова двинулись въ путь. Картина рѣки теперь представилась намъ въ другомъ видѣ. Весь лѣсъ былъ въ зимнемъ убранствѣ, и косматые вѣтви, отяжелѣвшія подъ густыми шапками снѣга, живописно отражались въ невозмутимой зеркальной поверхности воды. И эта быстро несущаяся рѣка въ серебристой оправѣ, эти свѣжіе, утренніе лучи солнца, золотыми нитями скользившіе подъ таинственными сводами залитаго водой дѣвственнаго лѣса, эти

мягкія тѣни, этотъ контрастъ зимы и лѣта—производили чарующее впечатлѣніе на глаза.

— А вѣдь хорошо!—не вытерпѣлъ Левка.

— Хорошо!—повторилъ Тимоеей.

Рѣка здѣсь чрезвычайно извилиста. Иногда, сдѣлавъ громадное плесо въ нѣсколько верстъ, она снова приближается къ своему прежнему руслу на разстояніи нѣсколькихъ саженъ. Мы обыкновенно старались избѣгать такихъ крутыхъ поворотовъ, направляя лодки прямо черезъ лѣсъ, и такимъ образомъ много выигрывая и во времени, и въ пространствѣ. Заблудиться въ лѣсу было невозможно: стоило только держаться противъ теченія и рано или поздно всегда снова выйдешь въ рѣку.

Однажды мы причалили къ одному пригорку и на снѣгу, еще не успѣвшемъ стаять, увидали свѣжіе слѣды зайца, а вскорѣ и самъ онъ, промелькнувъ въ отдаленіи, скрылся въ чащѣ. Я бросился по его слѣду, который привелъ меня на узенькій мысокъ и, добѣжавъ до его конца, увидалъ, что слѣдъ исчезъ около самой воды. Я остановился, недоумѣвая: куда скрылся заяцъ? Не могъ же онъ пуститься вплавъ по водѣ? Мѣсто кругомъ было чистое и уйти ему, казалось, совершенно было некуда. Недалеко отъ воды лежалъ, покрытый густымъ слоемъ снѣга, толстый стволъ дерева, мимо котораго я нѣсколько разъ прошелъ и только случайно, скользя глазами по его поверхности, увидалъ прижавшагося на немъ и притомъ на самомъ видномъ мѣстѣ хитраго грызуна. Разсчитать его провести меня былъ дѣйствительно очень разуменъ. Онъ такъ ассимилировался съ комками снѣга, выдававшимися около сучьевъ, что еслибы не черный блестящій глазъ косого, выдавшій мнѣ его присутствіе, я такъ бы его и не замѣтилъ. Я выстрѣлилъ почти въ упоръ, и заяцъ скатился мертвымъ. Осмотрѣвъ внимательно мѣсто, я увидалъ, что прежде чѣмъ прыгнуть на стволъ, заяцъ пробѣжалъ нѣсколько шаговъ по водѣ, чтобы скрыть свои слѣды.

Тутъ же мы убили еще одного зайца, но на крупнаго звѣря намъ такъ и не удалось ни разу наткнуться за всю дорогу, хотя они здѣсь водятся въ изобиліи.

Мы съ Левкой часто отстаемъ отъ Тимоеей, теряемъ его изъ виду, такъ какъ на своей маленькой лодочкѣ онъ легче нашего лавируетъ среди лѣса.

— Ты хоть бы слѣдъ за собой оставлялъ,—кричитъ ему Левка.—А то ѣдешь, насъ не ждешь.

— Мнѣ трутиѣ: торогу нато мять,—отшучивается Тимоеей:—вамъ по готовой-то хорошо.

И мы снова плывемъ дальше, останавливаясь по временамъ пострѣлять рябчиковъ, которыхъ здѣсь чрезвычайно много.

Недалеко отъ устья бобровой рѣчки Ухъ, въ которую мы направлялись, мы увидали становище рыболововъ. Это былъ небольшой навѣсъ—защита отъ дождей и непогоды. Около валялся чугунный котелъ, нѣсколько *гамюговъ* и другихъ рыболовныхъ снарядовъ, брошенныхъ, повидимому, на произволъ судьбы, но въ сущности оставленныхъ только на время здѣсь. Въ этихъ мѣстахъ нѣтъ надобности прятать какія-либо вещи, кромѣ съѣстныхъ припасовъ, потому что, за исключеніемъ дикихъ звѣрей, здѣсь нѣтъ другихъ обитателей, могущихъ нанести вредъ хозяйству охотника. Отдохнувъ здѣсь немного, мы въ полудню достигли рѣчки Ухъ.

Рѣчка Ухъ, или Оинна, правый притокъ Конды, шириною всего 5—6 сажень, но чрезвычайно быстрая и очень глубокая. Средняя глубина ея въ обыкновенную воду—отъ 1¹/₂ до 2 сажень. При самомъ вѣздѣ въ эту рѣчку природа береговъ ея сразу измѣнилась. Вмѣсто краснолѣся пошелъ березнякъ и осина; лишь кое-гдѣ виднѣлись ель и пихта. По словамъ Тимофеева, вершины этой рѣчки находятся въ горахъ, что очень возможно, по крайней мѣрѣ, судя по ея быстротѣ и потому, что вода въ ней пошла уже на убыль, тогда какъ въ Кондѣ она все еще прибывала. Кое-гдѣ стали обнаруживаться песчаные берега; кустарникъ, росшій на нихъ, во многихъ мѣстахъ былъ обгрызенъ, и намъ часто попадались стволы осинъ со свѣже-обглоданной на нихъ корой. Очевидно, вблизи находились лоси. Мы плыли, зорко поглядывая по сторонамъ и держа ружья на-готовѣ. Но ожиданія наши не увѣчивались желаннымъ успѣхомъ. Лоси чрезвычайно чутки и при малѣйшемъ неосторожномъ всплескѣ весла даютъ стрѣла. Отъ времени до времени мы слышали, какъ въ чащѣ лѣса, то на томъ, то на другомъ берегу раздавалось шлепанье ногъ отъ улепетывавшаго звѣря.

Съ самаго утра снѣгъ то таялъ, то снова начиналъ порошить. Мы плыли, смоченные до нитки.

Черезъ нѣсколько времени опять пошло краснолѣсье. Стали попадаться кедры, которыхъ нѣтъ вблизи Оронтура. Рѣчка оказалась запруженной во многихъ мѣстахъ съ одного берега до другого стволами громадныхъ деревьевъ, подмытыхъ водой и увалившихся въ нее. Нужно было соблюдать большую осторожность, переваливаясь черезъ такіе загороди, такъ какъ наши картонныя лодочки могли лопнуть или расколоться. А очутившись безъ лодки, даже еслибы и удалось счастливо достигнуть берега, все равно

гибель была бы неизбежна: кругомъ—залитая водой тайга, и пробраться черезъ нее рѣшительно нѣтъ никакой возможности.

Къ вечеру мы достигли одной живописной, холмистой мѣстности, тянувшейся на много верстъ въ глубь материка и поросшей сосновымъ лѣсомъ. Такія мѣста, поросшія исключительно сосной, вогулы называютъ *урманами*. Огромныя деревья здѣсь были разсажены рѣдко другъ отъ друга, какъ въ паркѣ. Нигдѣ не было видно ни валежнику, ни чащи, точно кто-нибудь специально занимался расчисткой лѣса. Въ дѣйствительности это происходитъ отъ того, что вогулы часто выжигаютъ свои лѣса, иногда потому, что на горѣлыхъ мѣстахъ лучше растетъ брусника, сборъ которой служить подспорьемъ въ жизни вогуловъ, а по большей части безъ всякой причины—просто потому, что ужъ слишкомъ много лѣса. Благодаря этимъ пожарамъ, уцѣлѣваютъ только нѣкоторые, болѣе сильныя деревья; всѣ же подсохшія или упавшія сгораютъ до тла.

Скоро урманъ огласился ударами топоровъ моихъ проводниковъ, готовившихъ дрова для костра, и гулкое эхо далеко разнеслось въ вечернемъ воздухѣ... Но что это? Мнѣ показалось, что я слышу какой-то отдаленный колокольный звонъ!.. Да... Онъ то замираетъ, то вновь начинается. Я подошелъ къ берегу. Зеркальная поверхность воды тихо вздрагивала при каждомъ ударѣ топора, и при каждомъ же ударѣ мнѣ чудилось, что гдѣ-то далеко-далеко раздается звонъ колокола. Лишь только удары топора переставали раздаваться, смолкалъ и колокольный звукъ. Удивительное эхо!..

Ночь была холодная, равно какъ и слѣдующій день. Чуть свѣтъ мы снялись съ мѣста и поплыли далѣе. Снова начало забуранивать. Чѣмъ выше мы поднимались вверхъ по рѣкѣ, тѣмъ все труднѣе и труднѣе становился нашъ путь. Рѣка во многихъ мѣстахъ была загромождена чащей, черезъ которую невозможно было перебраться на лодкахъ. Эти загроможденія походили иногда на искусственную плотину, по которой свободно можно было переходить съ одного берега на другой. Намъ приводилось или перетаскивать лодки по берегу, гдѣ это было возможно, или разрубать чащу топоромъ прямо съ лодки. Но иногда случалось, что засореніе рѣки было очень велико, а чаща на берегу была слишкомъ густа, такъ что и по берегу лодку протащить было невозможно. Тогда мы, выйдя на берегъ, прокладывали сначала топоромъ просѣку въ чащѣ и уже потомъ черезъ нее протаскивали свои лодки. Въ одномъ мѣстѣ, на разстояніи, по крайней мѣрѣ, пяти верстъ, намъ привелось черезъ каждыя 25—30 сажень

встрѣчаться съ подобными преградами, и Тимофеей уже начиналъ падать духомъ, поговаривая о томъ, что не лучше ли воротиться, такъ какъ едва ли мы пробьемся до желаемого мѣста. Самъ онъ, хотя и зналъ эту мѣстность, но бывалъ тутъ зимой, по рѣчѣ же этой плавалъ всего только разъ въ жизни, много лѣтъ тому назадъ и притомъ не весной, а лѣтомъ, когда воды въ ней было меньше, а берега ея сухи. Но теперь, во время весенняго разлива, впереди могли встрѣтиться совершенно непредвидѣнные имъ препятствія. Дѣйствительно, плыть далѣе было опасно, а еще опаснѣе приходилось возвращаться назадъ съ нагруженными лодками, такъ какъ рѣчка, какъ я сказалъ, была очень быстрая, а около засорившихся мѣстъ бурлила, какъ въ порогахъ, и при малѣйшемъ недосмотрѣ лодка могла налетѣть на какой-либо, скрытый подъ водой, стволъ дерева, разбиться или, по меньшей мѣрѣ, опрокинуться.

Я долженъ былъ прибѣгнуть къ угрозѣ, что Тимофеей ничего не получитъ изъ условленной платы, если не доставитъ меня до мѣста, и только это обстоятельство придало ему новую энергію.

Наконецъ, къ полудню опять показался урманъ. Мы причалили къ берегу и вышли изъ лодокъ. Мѣстность была, какъ и въ первомъ урманѣ, возвышенная, холмистая и порослая рѣдкимъ сосновымъ лѣсомъ. Этотъ урманъ, какъ и первый, также тянулся на нѣсколько десятковъ верстъ и изобиловалъ, по словамъ Тимофея, лосями и оленями. Здѣсь, въ полуверстѣ отъ берега, находился охотничій станъ, собственность Тимофеева, гдѣ онъ промышлялъ по зимамъ. Станъ состоялъ изъ лѣсной хижины, поставленной на очень низкомъ срубѣ и съ досчатой крышей, имѣвшей вверху по всей длинѣ узенькое отверстіе для прохода дыма. Въ нѣсколькихъ саженьяхъ отъ этой хижины возвышалось какое-то очень странное сооруженіе, назначеніе котораго я никакъ не могъ опредѣлять. Это строеніе состояло изъ небольшого крытого сруба, поставленнаго на двухъ, гладко обструганныхъ, толстыхъ стволахъ сосенъ, срубанныхъ на высотѣ двухъ сажень отъ корня. На мой вопросъ, чтѣ это такое, Тимофеей объяснилъ, что это *шуммигъ*, магазинъ для храненія мяса убитыхъ животныхъ отъ хищныхъ звѣрей—волковъ, росомахъ и медвѣдей.

Внутренность хижины представляла одну большую комнату съ землянымъ поломъ; подлѣ стѣнъ на землѣ были разостланы доски—родъ наръ, служившія охотникамъ постелью. Ночью среди хижины обыкновенно раскладывается костеръ, служащій совершенно достаточной защитой во время зимы отъ морозовъ. Старыя нарты, лыжи, прислоненныя къ стѣнѣ, желѣзные заржавѣвшіе

капканы въ углу, оленьи рога, топоръ, нѣсколько пайвъ, большая деревянная ложка для доставанія изъ котла мяса и нѣсколько толстыхъ обрубокѣвъ для сидѣнья, валявшихся въ беспорядкѣ по хижинѣ, показывали, что здѣсь еще недавно были охотники.

Въ этомъ урманѣ промышляютъ только зимой, лѣтомъ же хижина стоитъ необитаемой. Прямой дорогой, на лыжахъ, отъ этого стана до Оронтура всего 5 часовъ ходьбы, т.-е. не болѣе версты 30, тогда какъ по рѣкѣ мы плыли около 3 сутокъ. Такъ извилисты здѣсь рѣки!

Пообѣдавъ вареными зайцами и напившись чаю, мы, не теряя времени, отправились далѣе, такъ какъ бобровыя постройки, по словамъ Тимоея, находились всего въ двухъ верстахъ отъ становища. Красногѣсье снова смѣнилось березнякомъ и осиною. Вскорѣ Тимоей указалъ мнѣ на одинъ толстый стволъ дерева, лежавшій въ рѣкѣ, говоря, что это дерево перегрызъ бобръ. Сначала я подумалъ, что онъ шутитъ, такъ какъ почему-то представлялъ, что если бобръ и въ состояніи перегрызать деревья, то во всякомъ случаѣ не толще, какъ вершка $1\frac{1}{2}$, много 2 въ діаметрѣ, между тѣмъ какъ указанное имъ бревно имѣло въ діаметрѣ болѣе четверти. Но вотъ онъ снова указалъ на другое бревно, еще болѣе толстое. На этотъ разъ мы плыли очень близко отъ дерева и, взглянувъ на его комель, я увидалъ, что дѣйствительно онъ былъ какъ бы срѣзанъ какимъ-то острымъ орудіемъ. Я велѣлъ Левкѣ подплыть ближе и съ изумленіемъ рассмотрѣлъ, что это не было дѣло рукъ человѣка: на комлѣ ясно видѣлись слѣды зубовъ, которыми бобръ работалъ, какъ ножомъ. Скоро намъ все чаще и чаще стали попадаться подобныя стволы березъ и осинъ; сучья у нихъ были тоже какъ бы обрѣзаны и стволы лежали почти совершенно голыми. Наконецъ показались и самыя постройки.

Это были двѣ круглыя кучи хвороста, находившіяся рядомъ, около самаго берега. По наружному виду онѣ напоминали собой два большихъ муравейника; только матеріалъ у этихъ муравейниковъ былъ несравненно болѣе крупныхъ размѣровъ. Хворостъ, палки и вѣтви были скрѣплены дерномъ и иломъ, такъ что кучи представляли изъ себя очень плотную массу. Каждая изъ кучъ имѣла у основанія до 4 аршинъ въ діаметрѣ, а высота доходила до 2 аршинъ. Одна изъ этихъ построекъ, по словамъ Тимоея, появилась года четыре назадъ, другая—въ третьемъ году. Кромѣ этихъ двухъ, была тутъ еще и третья постройка, самая старая, но въ настоящее время отъ нея не осталось и слѣда: подмыло водой и унесло. Тимоей увѣрялъ, что каждый годъ бобры строятъ

новую хату, и въ этомъ случаѣ они похожи на своихъ сосѣдей вогуловъ, у которыхъ также каждое новое поколѣніе любитъ ставить новую юрту.

Оба бобровыя жилища были въ настоящее время необитаемы: осенью прошлаго года Парамонъ убилъ здѣсь одного бобра, а остальные переселились, вѣроятно, куда-нибудь выше. Около этого боброваго поселенія сажень, по крайней мѣрѣ, на двадцать въглубь лѣса лежало множество сваленныхъ толстыхъ стволовъ березъ и осинъ, и густой лѣсъ значительно порѣдѣлъ отъ работы бобровъ. Стволы нѣкоторыхъ изъ сваленныхъ деревьевъ достигали до полуаршина и болѣе въ діаметрѣ. Мы проплыли еще версты четыре вверхъ по рѣкѣ, и на всемъ этомъ пространствѣ на томъ и другомъ берегу видѣлись стволы огромныхъ деревьевъ (береза и осина), лежавшіе на землѣ, и торчали пни, правда, уже потемнѣвшіе; свѣжей работы нигдѣ не было замѣтно. Очевидно, въ настоящее время вблизи бобровъ не было. Тимоѣей говорилъ, что верстахъ въ тридцати отсюда, считая зимней дорогой, существуютъ другія бобровыя постройки, и бобры тамъ еще не распуганы; но чтобы добраться до нихъ, намъ привелось бы употребить еще столько же времени, а между тѣмъ рѣка далѣе, по его словамъ, должна была представлять еще большія трудности, да къ тому же и провизіи у насъ не было съ собой на столь продолжительное странствіе; кромѣ того и погода окончательно испортилась: вмѣсто снѣга пошелъ дождь. Все это, вмѣстѣ взятое, а равно и рѣшительный отказъ Тимоѣея плыть дальше, заставили меня повернуть назадъ и ограничиться тѣмъ, что было подъ руками.

Къ сожалѣнію, рѣка еще не совсѣмъ вошла въ берега и обѣ постройки были затоплены водой. Первая изъ нихъ, болѣе старая и уже сгнившая, находилась въ разстояніи сажень четырехъ отъ второй, и подступиться къ ней было рѣшительно невозможно, такъ какъ кругомъ была вода и густой валежникъ. Пришлось ограничиться осмотромъ только другой постройки. Но и у этой послѣдней внутренность оказалась залитой водой, проникшей туда черезъ отверстіе, сдѣланное въ прошломъ году любознательнымъ Парамономъ, убившимъ здѣсь бобра. Такимъ образомъ внутренность боброваго помѣщенія нельзя было разсмотрѣть, какъ слѣдуетъ. Однако, вскрывъ верхній слой, состоявшій изъ прутьевъ, мелкаго хвороста и палокъ, пересыпанныхъ землей и скрѣпленныхъ дерномъ, я увидѣлъ, что сводъ крыши этого оригинальнаго строенія покоится на сваленномъ толстомъ стволѣ березы, комель которой выходилъ наружу, а вершина была погружена въ рѣку. Сначала на стволѣ были наложены крестообразно толстыя палки,

игравшія родъ балокъ, и уже на этихъ послѣднихъ лежалъ хворостъ и дернъ. Толщина крыши достигала до полуаршина. Тогдашъ подъ сводомъ этой кровли, подъ стволомъ березы, была вырыта круглая яма, глубиною до трехъ четвертей и аршина полтора въ діаметрѣ. Яма эта была теперь залита водой и изслѣдовать ее возможно было не иначе, какъ только при помощи багра, захваченнаго нами на всякій случай на дорогу. Этимъ багромъ я скоро нащупалъ въ жилищѣ бобра нору, выходящую прямо въ рѣку, на самомъ берегу которой находилась постройка. Кромѣ того, я досталъ изъ ямы нѣсколько обглоданныхъ кусковъ березы и осины да большой пучокъ травы, служившій вѣроятно подстилкой.

Тимоеей сталъ увѣрять меня, что жилище бобровъ бываетъ двухъ-этажное и что подъ первой ямой должна быть другая, нижняя, въ которую бобры уходятъ, когда вода въ рѣкѣ спадаетъ. Я сталъ внимательнѣе зондировать яму, и дѣйствительно мой багоръ скоро провалился еще аршина на полтора въ глубину. Насколько можно было заключить наощупь, первый этажъ отдѣлялся отъ второго палками, хворостомъ и дерномъ.

По словамъ Тимоеея, который и самъ когда-то охотился за бобрами и слышалъ отъ другихъ охотниковъ, въ особенности отъ отца и дѣда, занимавшихся этимъ промысломъ въ то время, когда онъ былъ выгоденъ и цѣнилась очень дорого бобровая струя,—бобры на зиму уходятъ въ другія жилища, но каковы эти послѣднія—никому ни разу не случалось видать. По всей вѣроятности, бобры роютъ гдѣ-либо въ берегу, подъ водой, норы и въ нихъ замираютъ. Иногда зимой охотникамъ случалось встрѣчать недалеко отъ лѣтнихъ построекъ, по большей части на противоположномъ берегу, ряды березовыхъ и осиновыхъ кольевъ, воткнутыхъ въ дно рѣки. Эти колья, по словамъ Тимоеея, служатъ бобрамъ пищею на зиму. Одинъ изъ такихъ кольевъ мы нашли недалеко отъ изслѣдуемой нами постройки. Этотъ колъ, хотя и не особенно толстый, имѣлъ сажени полторы длины и былъ воткнутъ верхнимъ, болѣе тонкимъ концомъ въ дно рѣки настолько крѣпко, что намъ съ лодки едва удалось его вытащить. Кромѣ березы и осины, бобры грызутъ тальникъ и иву, другихъ деревьевъ не трогаютъ. Верстахъ въ двухъ отъ построекъ мы нашли на берегу два толстыхъ, но короткихъ обрубка (каждый изъ нихъ былъ не менѣе четверти въ діаметрѣ и не болѣе полуаршина длины), назначеніе которыхъ я никакъ не могъ опредѣлить. Вогулы увѣряли, что эти обрубки бобры заготавливаютъ себѣ на зиму для пищи и прячутъ ихъ подъ во-

дой, вѣроятно въ запасныхъ норахъ. Чтобы сплавить подобные обрубки по назначенію, т.-е. къ мѣсту жилища, находящагося иногда на разстояніи нѣсколькихъ верстъ, бобръ дѣлаетъ изъ стволовъ деревьевъ плотъ, скрѣпляя его древесными вѣтвями, складываетъ на этотъ плотъ обрубки, садится на него самъ и, зорко посматривая по сторонамъ, направляя слухъ и обнюхивая воздухъ—нѣтъ ли какой опасности,—плыветъ внизъ по рѣкѣ къ мѣсту назначенія, употребляя свой лопатообразный, мясистый хвостъ вмѣсто руля. Благодаря очень развитому слуху и обонянью, бобръ далеко чувствуетъ опасность и при малѣйшемъ подозрительномъ шорохѣ или запахѣ бросается въ воду, при чемъ ударяетъ своимъ хвостомъ по водѣ такъ громко, что этотъ звукъ, по словамъ Тимоеева, слышится иногда за нѣсколько верстъ и служитъ для другихъ бобровъ сигналомъ о близости опасности. Иногда охотникамъ приходилось наблюдать, что бобры, отправляясь на работу, ставятъ на вершинѣ своихъ жилищъ особаго часового, который зорко наблюдаетъ за тѣмъ, нѣтъ ли гдѣ какой опасности, и въ случаѣ таковой тотчасъ же бросается въ рѣчку, производя своимъ хвостомъ тревогу, слыша которую, всѣ остальные работники моментально скрываются подъ водой.

Бобры не только очень осторожны, но и замѣчательно осмотрительны. Такъ, подгрызая какое-либо толстое дерево, если бобръ замѣчаетъ, что оно уже настолько имъ подрѣзано, что можетъ неожиданно свалиться и задавить его собой, онъ уходитъ и ждетъ иногда по нѣсколько дней благоприятнаго вѣтра, который бы свалилъ это дерево.

Охотиться на бобра съ ружьемъ не совсѣмъ удобно, тѣмъ болѣе съ такимъ примитивнымъ ружьемъ, какъ у вогуловъ. Нужно непременно убить его наповаль: иначе, раненный, онъ бросается въ воду и, благодаря своей тяжести, тотчасъ же тонетъ на дно, такъ что если рѣчка глубока, то его трудно, а иногда и совершенно невозможно найти и извлечь изъ-подъ воды. Поэтому вогулы, охотясь на бобровъ, пользуются иногда ихъ близорукостью и поступаютъ такъ. Они насаживаютъ на длинное древко копье и подкарауливаютъ изъ засады, когда бобръ плыветъ на своемъ плоту къ постройкамъ, а затѣмъ, подпустивъ его близко къ себѣ, колютъ изъ засады этимъ копьемъ. Разумѣется, такая охота возможна только тогда, когда этому благоприятствуетъ погода, т.-е. если вѣтеръ отъ бобра дуетъ на охотника: иначе бобръ, благодаря сильно развитому слуху и обонянью, какъ я сказалъ, далеко чувствуетъ опасность и скрывается подъ водой.

Собравъ болѣе характерные образцы бобровой работы, всего

пуда три—четыре, насколько могли поднять наши лодки, мы возвратились въ станъ, гдѣ и ночевали. Ночью опять выпалъ снѣгъ, и сдѣлалось очень холодно. Послѣ полудня мы тронулись въ обратный путь и прибыли въ Оронтуръ рано утромъ на слѣдующій день, употребивъ на возвращеніе менѣе сутокъ. Такимъ образомъ обратный путь до Оронтура мы сдѣлали втрое быстрѣе, несмотря на то, что теперь уже не старались сокращать дороги, а плыли все время прямо рѣкой. Такъ быстро несло насъ теченіе.

Черезъ день послѣ нашего прибытія возвратился и Константинъ Дмитріевичъ съ Савельемъ. Они также не встрѣтили ни одного бобра; постройки, около которыхъ убилъ Савелій бобра, были покинуты, и напуганныя животныя ушли куда-то въ другое мѣсто.

Цѣль нашего путешествія была достигнута, и мы стали собираться въ обратную дорогу. Но тутъ представилось затрудненіе: какъ намъ ѣхать? Лодки оронтурцевъ были очень малы, а у насъ одной поклажи, вмѣстѣ съ собранными коллекціями шкуръ различныхъ животныхъ и бобровыми постройками, было болѣе двадцати пудовъ.

Около Николы вогулы ждали изъ Шайму священника, ѣздившаго всегда въ это время съ иконами по своему приходу. По рассказамъ, у него была своя большая лодка, могшая поднимать болѣе ста пудовъ, и мы рѣшили дожидаться прибытія батюшки, чтобы вмѣстѣ съ нимъ, на его лодкѣ, доѣхать до Шайму. Однажды гдѣ-то далеко въ тайгѣ раздался выстрѣлъ. Тимофеевъ бросился въ юрту, схватилъ ружье и тоже выстрѣлилъ, объяснивъ намъ, что ѣдетъ *начько* и подаетъ сигналы. Все населеніе высыпало на берегъ. Дѣйствительно, спустя нѣкоторое время опять раздался выстрѣлъ гораздо ближе, Тимофеевъ отвѣтилъ тѣмъ же, и скоро изъ-за сосѣдняго мыска показалась большая лодка, на которой сидѣлъ уже знакомый намъ священникъ съ псаломщикомъ. Четверо гребцовъ работали на двухъ громадныхъ веслахъ, а пятый правилъ рулемъ.

— Пачько ѣздитъ къ намъ со своими сайтанами,—наивно заявила намъ Дарья, младшая изъ дочерей Марьи.

— Какъ съ шайтанами?

— А такъ; у него свои, паскіе!

Оказалось, что это она иконы смѣшиваетъ съ шайтанами.

Снова раздалось нѣсколько привѣтственныхъ выстрѣловъ—и лодка причалила.

Бѣдный батя! Обѣздъ его по приходу въ этотъ годъ былъ

довольно неудаченъ. Городковой утки, которую раньше онъ собиралъ сотнями у своихъ прихожанъ вмѣсто руги, въ настоящую весну почти совсѣмъ не было, и онъ долженъ былъ возвратиться домой почти съ пустыми руками.

Черезъ два дня, 11 мая, мы собрались въ обратный путь. Все населеніе обоихъ паулей вышло на берегъ провожать насъ. Раздались прощальные ружейные салюты со стороны оставляемыхъ нами обитателей Оронтура, мы отвѣтили тѣмъ же, и наша лодка тихо поплыла вдоль берега.

— Ось ёмусь улумъ ¹⁾!—крикнулъ мой коллега.

— Ось ёмусь! Ось ёмусь!—улыбаясь, загалдѣли вогулы, махая шапками.

И долго еще слышались выстрѣлы изъ берданки, подаренной Савелью Константиномъ Дмитріевичемъ.

П. ИНФАНТЬЕВЪ.



¹⁾ Еще разъ прощайте!

КОНЕЦЪ СПОРА

Начатый мною въ прошломъ году споръ о вѣротерпимости и справедливости привелъ раньше, чѣмъ я надѣялся, къ нѣкоторымъ хорошимъ результатамъ.

Справедливое рѣшеніе вѣроисповѣднаго вопроса имѣетъ въ нашей печати двоякаго рода противниковъ: одни, не отвергая начала вѣротерпимости, ставятъ его примѣненіе въ зависимость отъ предполагаемыхъ ими національныхъ и государственныхъ интересовъ (какъ они ихъ понимаютъ); другіе отрицаютъ вѣротерпимость въ самомъ принципѣ, утверждая свободу исключительно для *своей* вѣры, при безправіи всѣхъ чужихъ. Главнымъ представителемъ перваго взгляда, связаннаго со множествомъ недоразумѣній и неясностей, можно было считать г. Л. Тихомирова, а вторая точка зрѣнія, ложная по существу, нашла себѣ достойнаго выразителя въ г. Розановѣ. И вотъ съ одной стороны г. Тихомировъ въ двухъ своихъ послѣднихъ заявленіяхъ ¹⁾ дѣлаетъ рѣшительные шаги, чтобы выбраться изъ густого тумана, отчасти имъ самимъ напущеннаго на этотъ жизненный вопросъ, а съ другой стороны проповѣдникъ религіозной нетерпимости вызванъ къ такому совершенному обнаруженію своихъ мыслей и чувствъ, послѣ котораго дальнѣйшую его проповѣдь можно уже считать безвредною.

Теперь мнѣ остается, пользуясь успѣхами г. Тихомирова, разобраться въ этомъ спорѣ до конца и привести дѣло въ полную ясность, а затѣмъ познакомить читателей съ послѣднимъ

¹⁾ „Русск. Обзор.“ текущаго года, апрѣль (статья: „Существуетъ ли свобода?“) и май (статья: „Два объясненія“).

словомъ г. Розанова, которое доставить имъ, надѣюсь, нѣсколько минутъ невиннаго удовольствія.

I.

Требованіе справедливости: *не дѣлай другимъ, чего себѣ не желаешь*, г. Тихомировъ считалъ сначала моею злонамѣренною и нелѣпою выдумкою, основанною на передѣлѣхъ евангельскаго текста. На это я отвѣчалъ, что означенная формула древнѣе не только меня, но и евангелія, ибо его высказалъ, между прочимъ, знаменитый учитель Гиллель. Теперь публицистъ „Русскаго Обзорѣнія“ открылъ или, какъ онъ говоритъ, „вспомнилъ“, что эта формула, которую онъ столь рѣшительно опровергалъ, находится въ постановленіи апостольскаго собора въ Іерусалимѣ: „Ибо угодно Духу Святому и намъ не возлагать на васъ тяжкаго бремени болѣе кромѣ сего необходимаго: воздерживаться отъ идоложертвеннаго, и крови, и удавленныя и блуда, и *не дѣлать другимъ того, чего себѣ не хотите*“ (Дѣян. ап. XV, 28, 29 по русск. Нов. Зав. петерб. изд. 1879 г.). Г. Тихомировъ думаетъ, что на его прежнее обвиненіе меня въ изобрѣтеніи справедливости и передѣлѣхъ священнаго текста я долженъ былъ вмѣсто того, чтобы сослаться на „премудрыхъ раввиновъ“, прямо указать ему это, „запамятованное“ имъ, апостольское постановленіе; а такъ какъ я этого не сдѣлалъ, то тѣмъ самымъ доказалъ, что упомянутого постановленія не зналъ и не знаю и, слѣдовательно, вообще недостаточно знакомъ со священнымъ писаніемъ. Все это было бы прекрасно, но къ несчастію для г. Тихомирова мое крайнее незнакомство съ св. писаніемъ побуждаетъ меня читать его въ подлинникѣ, и вотъ, какъ нарочно, великое открытіе нашего публициста отнюдь не подтверждается греческимъ текстомъ Дѣяній ап.: предписанія „не дѣлайте другимъ, чего себѣ на хотите“ тамъ вовсе нѣтъ ¹⁾.

Впрочемъ этотъ новый поучительный промахъ г. Тихоми-

¹⁾ Я ссылаюсь не на какую-нибудь новѣйшую слишкомъ критическую гесепсію, а на текстъ гесертіа, который воспроизведенъ, напримѣръ, и въ московскомъ синодальномъ изданіи греческой Библии (1821 г.). И здѣсь въ стихѣ 29 послѣ словъ: καὶ πορνείας (и блуда) слѣдуютъ заключительныя слова: ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ κρείσσετε. Ἐφφρασε (Соблюдая сіе, хорошо сдѣлаете. Будьте здравы). Словъ, которыя запамятовалъ и потомъ вспомнилъ г. Тихомировъ, нѣтъ, впрочемъ, не только въ греческомъ подлинникѣ, но также и въ латинской вульгатѣ, а затѣмъ, разумеется и въ огромномъ большинствѣ новыхъ переводовъ.

рова не помѣшалъ ему значительно приблизиться къ истинѣ, хотя и окольнымъ путемъ. Теперь онъ не только твердо знаетъ, что правило справедливости не есть мое изобрѣтеніе, но и признаетъ вмѣстѣ со мною, хотя на другихъ основаніяхъ, что это есть правило христіанское и безусловно обязательное. Я признаю его таковымъ въ силу внутреннего смысла или связи идей (не смотря на до-христіанское происхожденіе его отъ „премудрыхъ раввиновъ“); оно есть христіанское—поскольку меньшее требованіе содержится въ большемъ и необходимо предполагается имъ: нравственное совершенство и даже серьезное стремленіе къ нему по существу несовмѣстимо съ нарушеніемъ справедливости. Для г. Тихомирова, стоящаго на точкѣ зрѣнія вѣшняго авторитета, правило: не дѣлать другимъ, чего себѣ не желаешь, почерпаетъ свое христіанское достоинство и свою обязательность изъ того факта, что оно вошло въ употребительныя у насъ переводы Новаго Завѣта и, слѣдовательно, принято церковью. На этомъ теоретическомъ различіи я здѣсь настаивать не буду, тѣмъ болѣе, что точка зрѣнія вѣшняго авторитета имѣетъ свое относительное значеніе и въ своихъ законныхъ предѣлахъ мною нисколько не отвергается. Во всякомъ случаѣ съ меня пока довольно того, что г. Тихомировъ призналъ безусловную обязательность принципа справедливости, какъ одного изъ требованій, исполненіе которыхъ абсолютно-необходимо для всѣхъ христіанъ (въ силу апостольскаго постановленія по нашему церковному переводу).

Этотъ первый важный шагъ логически заставлялъ его сдѣлать и второй. Мнѣ приходилось упрекать публициста „Русскаго Обозрѣнія“ за то, что опредѣленный терминъ *вѣротерпимость* онъ замѣняетъ неопредѣленнымъ словомъ *терпимость*. Теперь я съ большимъ удовольствіемъ долженъ освободить его отъ этого обвиненія. Въ своей послѣдней замѣткѣ онъ уже прямо говорить о вѣротерпимости, одобряетъ ее и осуждаетъ ея нарушенія. „Г. Соловьевъ,—пишетъ онъ,—указываетъ мнѣ случаи нарушенія у насъ религіозной свободы и вѣротерпимости, и спрашиваетъ—хорошо ли это? Ну, конечно, нехорошо. Слѣдуетъ ли, чтобы вѣротерпимость нарушалась? Конечно, не слѣдуетъ“ ¹⁾. И далѣе: „Но скажутъ читатели,—каковы бы ни были идеалы г. Соловьева, а факты нарушенія вѣротерпимости у насъ все-таки есть. Безъ сомнѣнія. Хорошо ли это? Очень нехорошо“ ²⁾.

Для полной ясности къ этому признанію нужно прибавить

¹⁾ „Русск. Обзор.“ 1894. Май, стр. 429.

²⁾ Тамъ же, стр. 433.

немногое. Намъ авторъ одобряетъ вѣротерпимость и осуждаетъ ея нарушенія не потому, конечно, что у него такой вкусъ, а потому, что вѣротерпимость есть прямое приложеніе (въ области религіозныхъ отношеній) того всеобщаго принципа справедливости, который онъ теперь долженъ былъ признать (на основаніи извѣстнаго высшаго авторитета) безусловно *обязательнымъ* для всѣхъ христіанъ, а слѣдовательно и для христіанскаго государства; соотвѣственно этому и нарушенія вѣротерпимости нехороши вовсе не по отношенію къ какому-нибудь чувству или субъективному убѣжденію, а какъ запрещенныя высшимъ авторитетомъ (съ точки зрѣнія нашего автора). Съ этимъ необходимымъ поясненіемъ, которое не можетъ быть отвергнуто г. Тихомировымъ, у насъ, наконецъ, оказывается общая основа для дальнѣйшихъ разсужденій.

II.

Напрасно думаетъ г. Тихомировъ, что признанная имъ теперь высшая санкція для принципа справедливости обязываетъ его только выбросить нѣсколько строкъ изъ его прошлогодней статьи, а затѣмъ все прочее остается будто бы въ прежней силѣ. На самомъ дѣлѣ, какъ я постараюсь показать, превращеніе справедливости въ его глазахъ изъ моей выдумки въ апостольское постановленіе обязываетъ его, если только онъ хочетъ быть логичнымъ и добросовѣстнымъ, къ такой важной перемѣнѣ, послѣ которой намъ съ нимъ собственно не о чемъ будетъ и спорить по этому предмету.

„Существованіе отрицательной христіанской формулы,—говоритъ онъ,—ни мало не измѣняетъ обязанности христіанина „желать“ и „не желать“ себѣ лишь того, что ему полезно въ смыслѣ душевнаго спасенія“ ¹⁾, т.-е. желать того, что полезно, и не желать того, что вредно для душевнаго спасенія. Конечно такъ, и объ этомъ никто не спорилъ. Вопросъ въ томъ: полезно или нѣтъ для душевнаго спасенія исполнять со всѣми его необходимыми послѣдствіями требованіе справедливости: *не дѣлайте другимъ, чего себѣ не хотите?* Полезно или вредно для душевнаго спасенія нарушать это правило, относиться равнодушно къ его нарушенію, узаконять таковое?—Пока г. Тихомировъ приписывать это правило моей изобрѣтательности, онъ могъ считать его исполненіе если не всегда вреднымъ, то по крайней мѣрѣ

¹⁾ „Р. О.“, стр. 428.

безразличнымъ для христiанина и христiанскаго государства; но теперь, послѣ того, какъ онъ вспомнилъ, что это требованіе справедливости находится въ постановленіи высшаго христiанскаго авторитета, онъ долженъ признать исполненіе его не только полезнымъ, но и *необходимымъ*, — необходимымъ, во-первыхъ, потому, что оно прямо такъ обозначено („сего необходимаго“), а во-вторыхъ, потому, что „принятое христiанствомъ *минимальное* требованіе“ (слова г. Тихомирова) очевидно означаетъ то, безъ исполненія чего нельзя быть христiаниномъ.

Между тѣмъ г. Тихомировъ, забывая свое собственное признаніе, снова и снова выставляетъ христiанскій принципъ справедливости какъ нѣчто внѣшнее, чуждое и чуть ли не враждебное христiанству. Такъ, приведя мои слова, что вопросъ о вѣротерпимости, будучи по существу вопросомъ между-церковнымъ или между-исповѣднымъ, можетъ быть окончательно рѣшаемъ только на основаніи общеобязательнаго принципа справедливости, онъ замѣчаетъ: „надо полагать, г. Соловьевъ и самъ понимаетъ, что предлагаетъ рѣшать вопросъ о вѣротерпимости на основаніи отрѣшенія отъ христiанской точки зрѣнія“¹⁾. Не только я этого не понимаю, но ясно понимаю противное, какъ, надѣюсь, пойметъ и г. Тихомировъ, если только вспомнить свои собственные слова. Вѣдь этотъ общеобязательный принципъ справедливости имъ же самымъ признанъ какъ *христiанскій* и притомъ *минимальный*, т.-е. абсолютно-необходимый, безусловно-обязательный; какимъ же образомъ рѣшеніе извѣстнаго вопроса на основаніи этого христiанскаго принципа можетъ означать отрѣшеніе отъ христiанской точки зрѣнія? Не отрѣшеніе очевидно, а прямое и необходимое *примененіе* христiанской точки зрѣнія. Читаемъ дальше: „Дѣйствительно, для христiанина вопросъ о вѣротерпимости есть вопросъ религиозныхъ обязанностей его собственныхъ и его церкви. Всѣ таковыя вопросы христiанинъ рѣшаетъ на основаніи той воли Божіей, которая ему открыта въ вѣроученіи. Если же мы признаемъ, что вопросъ вѣротерпимости долженъ быть рѣшаемъ не на основаніи вѣроученія, но лишь на основаніи принципа справедливости, то-есть выберемъ принципъ низшій, то очевидно мы это сдѣлаемъ только потому, что въ принципѣ вышемъ разочаровались. Г. Соловьевъ предлагаетъ государству стать *онъ* вѣроученія, предлагаетъ ему признать, что ученіе Христа, ученіе Будды, ученіе Магомета и т. д. одинаково проблематичны, одинаково недостаточны для твердаго рѣшенія (руководства?) вѣроиспо-

¹⁾ „Р. О.“, стр. 480.

вѣдной политики. Въ такомъ положеніи, конечно, не остается для руководства ничего, кромѣ принципа справедливости¹⁾.

По какой же, однако, логикѣ, можно *противопоставлять* волю Божію одному изъ требованій этой самой воли и притомъ требованію безусловно-обязательному? Съ помощью какого оборота мысли можно предполагать выборъ между извѣстнымъ вѣроученіемъ и основною заповѣдью того же вѣроученія? Какимъ образомъ, наконецъ, нарушение христіанской справедливости, или хотя бы только пренебреженіе къ ней совмѣстимо съ исполненіемъ чего-то „высшаго“? Все это похоже на то, какъ еслибы кто-нибудь сказалъ: исполняйте строго правила русской грамматики, но требованія, чтобы связуемое согласовалось съ подлежащимъ и чтобы прилагательное было сообразно своему существительному въ родѣ, числѣ и падежѣ—эти „низшія“ требованія вы бросьте; онѣ ни къ чему. Думаю, что усвоившій такую точку зрѣнія сдѣлается великимъ грамматикомъ не сдѣлается, зато безграмотнымъ окажется навѣрно.

Принципъ справедливости есть междуцерковный или междуисповѣдный не потому, чтобы онъ былъ *онъ* христіанства—вѣдь самъ же г. Тихомировъ призналъ его наконецъ христіанскимъ, а я признавалъ таковымъ всегда (несмотря на его до-христіанское происхожденіе отъ учителей Израилевыхъ)—этотъ принципъ есть междуисповѣдный, междуцерковный и даже междурелигіозный потому, что онъ заключается внутри различныхъ христіанскихъ исповѣданій и даже не-христіанскихъ религій—отъ него не могутъ отказаться ни православные, ни католики, ни протестанты, ни мусульмане, ни евреи, чтобы не идти дальше. И чѣмъ выше какая-нибудь религія, тѣмъ необходимѣе присущъ ей этотъ принципъ. Для какой-нибудь низшей языческой религіи требованіе справедливости есть *максимальное*, и потому обязательность его можетъ казаться сомнительной; но для христіанства, какъ призналъ и г. Тихомировъ, это есть требованіе *минимальное*, т.-е. абсолютно-необходимое, безусловно-обязательное. Нисколько не разочаровываясь въ высшихъ началахъ христіанства, а напротивъ въ силу серьезнаго ихъ признанія, можно и *должно* разочароваться въ тѣхъ людяхъ и обществахъ, которыя словеснымъ исповѣданіемъ высшаго принципа на дѣлѣ только прикрываютъ свое несоблюденіе низшаго.—Я вовсе не предлагаю государству стать внѣ христіанскаго вѣроученія, а напротивъ, только того и желалъ бы, чтобы оно стало тверже и сознательнѣе на почву этого вѣроуче-

¹⁾ Тамъ же.

нiя, чтобы оно способствовало—въ предѣлахъ своей сферы—дѣйствительному осуществленiю христiанскихъ принциповъ, начиная *непрерывно* съ основнаго, безусловно обязательнаго принципа справедливости, ибо безъ него ничто высшее недостижимо и неисполнимо. Если не такъ, то пусть г. Тихомировъ поищетъ и покажетъ мнѣ такое общество, которое при постоянномъ и законномъ нарушенiи низшаго, элементарнаго правила не дѣлать другимъ, чего себѣ не желаешь, представляло бы, однако, собою осуществленiе высшаго нравственнаго совершенства. Я думаю, онъ не станетъ и искать, ибо достаточно сформулировать такое предположенiе, чтобы сейчасъ же увидать всю его нелѣпость.

Разногласiе здѣсь очевидно не въ томъ, что г. Тихомировъ въ основу всего полагаетъ христiанское вѣроученiе, а я будто бы его отвергаю, а только въ томъ, что я это самое вѣроученiе принимаю въ его цѣлости, а мой противникъ, забывая свое собственное признанiе, исключаетъ изъ этого цѣлаго безусловно необходимую его часть, именно, требованiе справедливости. Онъ воображаетъ, что большая заповѣдь можетъ быть осуществлена помимо меньшей, или даже при нарушенiи ея, а я считаю это теоретически ложнымъ и практически неисполнимымъ. А кто изъ насъ правъ, это уже давно рѣшено высшимъ авторитетомъ, обязательнымъ для насъ обоихъ.

„Не думайте, что Я пришелъ нарушить законъ или пророковъ: не нарушить пришелъ Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вамъ: доколѣбъ не преидетъ небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не преидетъ изъ закона, пока не исполнится все. Итакъ, кто нарушитъ одну изъ заповѣдей сихъ малѣйшихъ и научитъ такъ людей, тотъ малѣйшимъ наречется въ царствѣ небесномъ, а кто сотворитъ и научитъ, тотъ великимъ наречется въ царствѣ небесномъ. Ибо, говорю вамъ, если праведность ваша не превзойдетъ праведности книжниковъ и фарисеевъ, не взойдете въ царство небесное. Слышали, что сказано древнимъ: не убей, кто же убьетъ, подлежитъ суду. Я же говорю вамъ, что всякъ гнѣвающiйся на брата своего (напрасно) подлежитъ суду“ и т. д. (ев. Матѣ. V, 17—22). Надѣюсь, г. Тихомировъ согласится, что изъ этихъ словъ въ ихъ совокупности ясно какъ день, что *превзойти* законную праведность никакъ не значитъ отвергнуть ее или допустить ея нарушенiе, а напротивъ, значитъ *исполнить* ее, *удовлетворить* ей и затѣмъ уже подняться выше. Пока я способенъ убивать и дѣйствительно убиваю, я, очевидно, не могу достигнуть такого совершенства, чтобы даже не гнѣваться. Что подумалъ бы г. Тихомировъ о человѣкѣ, который разсуждалъ бы

такъ: заповѣдь „не убей“ есть принципъ низшій, а я держусь высшаго; итакъ, все равно, убиваю я, или нѣтъ, лишь бы только я вѣрилъ, что не нужно гнѣваться. Или, можетъ быть, разсужденіе, нелѣпное со стороны одного лица, перестаетъ быть таковымъ, когда исходить отъ большой совокупности лицъ—отъ общества или народа?

III.

Сказавшій: Я пришелъ исполнить, а не нарушить законъ, очевидно, не отрицалъ „юридической точки зрѣнія“. Но г. Тихомировъ рѣшительно ее отвергаетъ и говоритъ о ней какъ о чемъ-то несомнѣнно скверномъ. Для окончательнаго посрамленія „Вѣстника Европы“ и меня, онъ уличаетъ насъ въ чудовищномъ желаніи, чтобы по вѣроисповѣдному вопросу былъ изданъ „надлежащій законъ“ ¹⁾. Относясь съ омерзѣніемъ къ надлежащимъ законамъ, нашъ публицистъ ничего не говоритъ о законахъ ненадлежащихъ. Вѣроятно, онъ не полагаетъ между тѣми и другими никакого различія, что совершенно послѣдовательно при отрицаніи юридической точки зрѣнія вообще. Отрицаніе это очень старо, и притомъ столь же чуждо православію, сколько свойственно различнымъ еретикамъ гностическаго характера. Одни изъ нихъ, считая начало закона недостойнымъ высшаго, благого Божества, придумывали особаго справедливаго бога, не добраго и не злого; а другіе прямо отождествляли законъ и справедливость со зломъ, отчего и называются антиномистами, т.-е. противозаконниками. Хотя ближайшимъ предметомъ гностическаго отрицанія былъ законъ ветхозавѣтный, но оно распространялось и вообще на всю область юридическихъ и обязательно-нравственныхъ отношеній, которыя признавались годными лишь для людей второго сорта, такъ называемыхъ психиковъ, т.-е. душевныхъ, а люди высшаго разряда—пневматики, т.-е. духовные, признавались отъ этого свободными. Высказывать безъ всякихъ оговорокъ полное презрѣніе къ закону, даже надлежащему, т.-е. отвергать юридическую точку зрѣнія какъ таковую, значить прямо впадать въ принципиальное единомысліе съ антиномистами. Между тѣмъ, казалось бы, такому крайнему ревнителю православія, какъ г. Тихомировъ, слѣдовало бы ограждать себя отъ идей не только Маркіона и иже съ нимъ, но и отъ болѣе умѣренныхъ—Валентина и Василида, ибо всѣ они давно и многократно осуждены церковью. Разумѣется, я обвиняю публи-

¹⁾ Тамъ же, стр. 429.

циста „Русскаго Обзорѣнія“ не въ формальной ереси, а лишь въ неосторожности, и желаю не осужденія его, а только вразумленія.

Нѣтъ спора о томъ, что, абсолютно говоря, благодать выше закона, нравственность удовлетворительнѣе права, любовь полнѣе справедливости. Еслибы въ мірѣ существовали только эти двѣ сферы, т.-е. съ одной стороны область отношеній чисто-нравственныхъ и духовныхъ, а съ другой—область отношеній юридическихъ, тогда, конечно, эти послѣднія упразднились бы за ненужностью, какъ они, напримѣръ, сами собою упраздняются между любящими другъ друга членами хорошей семьи. Но пока человѣчество столь мало похоже на такую семью, и юридическую точку зрѣнія нужно оцѣнивать не по отношенію ея къ царству благодати и любви, упраздняющей законъ, а по отношенію къ той злой, дикой, звѣриной жизни, съ ея слѣплыми страстями и темными дѣлами, которая закономъ если не упраздняется, то во всякомъ случаѣ ограничивается и готовится къ упраздненію. Окончательная цѣль не есть это внѣшнее ограниченіе зла, а его внутреннее перерожденіе въ добро; но думать, что эта цѣль можетъ быть достигнута безъ предварительныхъ и постепенныхъ законныхъ ограниченій преступной дѣйствительности,—что можетъ быть какой-то прямой скачокъ изъ злой жизни въ царство небесное,—это значить впадать, говоря словами нашего автора, въ самую фантазерскую субъективность. „Я забочусь о томъ,—заявляетъ г. Тихомировъ,—чтобы вѣротерпимость и свобода дѣйствительно существовали. Г. Соловьевъ и *Вѣстникъ Европы* помышляютъ лишь о томъ, чтобы по этому предмету былъ изданъ надлежащій законъ. Имъ все кажется, что какъ только издадутъ законъ, такъ все и будетъ прекрасно“¹⁾. Несомнѣнно, что когда, въ силу *надлежащаго* закона, прекратятся и даже сдѣлаются невозможными тѣ ненормальные порядки и явленія, противъ которыхъ этотъ законъ направленъ, то „все будетъ прекрасно“,—разумѣется, въ извѣстномъ опредѣленномъ отношеніи, а не въ какомъ-нибудь другомъ. Новая антитеза нашего автора напоминаетъ по своей странности его прежнее противоположеніе между вѣроученіемъ и одною изъ основныхъ заповѣдей того же вѣроученія. Ну развѣ можетъ „надлежащій“ законъ имѣть какое-нибудь другое назначеніе, кромѣ того, чтобы произвести извѣстную желательную перемѣну въ дѣйствительномъ существованіи? Хорошій по содержанію и намѣренію законъ можетъ быть неэффективнымъ, и дурной по существу законъ можетъ имѣть полную силу

¹⁾ „Р. О.“, стр. 429.

дѣйствія. Но ни тотъ, ни другой не принадлежитъ къ числу „надлежащихъ“ законовъ, т.-е. такихъ, которые должны быть и о которыхъ мы „помышляемъ“. Если, напримѣръ, въ какомъ-нибудь государствѣ существуетъ постановленіе: „всѣ обыватели да будутъ исполнены благоволенія и цѣломудрія въ тайникахъ сердецъ своихъ“, то такой законъ, при всемъ достоинствѣ своего содержанія, не можетъ, однако, быть признанъ цѣлесообразнымъ по крайней неумовности своего предмета. Съ другой стороны, еслибы существовалъ гдѣ-нибудь законъ, въ силу котораго отрѣзались бы носы у всѣхъ брюнетовъ, то и такой законъ, несмотря на свою физическую удобоисполнимость и общедоступный предметъ, не могъ бы, однако, быть названъ надлежащимъ или хорошимъ, — вслѣдствіе недостаточной связи своего содержанія съ принципами справедливости и человеколюбія ¹⁾. И вотъ, еслибы въ этой странѣ явились люди, которые изъ чувства справедливости и изъ жалости къ своимъ ближнимъ, подвергаемымъ столь непріятной операциі, стали бы проповѣдовать необходимость законодательной отмѣны этого варварскаго закона — неужели и къ нимъ г. Тихомировъ обратился бы съ такими словами: „вы помышляете только о надлежащемъ законѣ, а нужно заботиться только о томъ, чтобы люди по собственному чувству сдѣлались неспособными увѣчить своихъ ближнихъ, а пока пускай эти милліоны и десятки милліоновъ созданий Божіихъ терпятъ неизгладимое на лицѣ безобразіе, пускай ихъ страдаютъ, — это не вредитъ ихъ душеспасенію“. Полагаю, однако, что подобныя рѣчи сильно вредятъ душеспасенію говорящихъ.

Судя по тону г. Тихомирова, можно подумать, что ему вовсе неизвестны факты, когда изданіе „надлежащихъ“ законовъ или законодательная отмѣна ненадлежащихъ оказывались цѣлесообразными, когда этимъ „юридическимъ“ путемъ то, что должно быть, становилось дѣйствительно существующимъ, а недолжное дѣйствительно упразднялось. Между тѣмъ такими фактами полна исторія человечества. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ сомнѣваться, что законы, отмѣнявшіе, въ различныхъ образованныхъ странахъ, судебную пытку, дѣйствительно и окончательно уничтожили тамъ это злодѣйское учрежденіе, которое продолжаетъ процвѣтать въ китайской имперіи; можно ли также отрицать, что парламентскій билль 1829 г. о католикахъ въ Англіи сдѣлалъ ихъ религіозную свободу и гражданскую полноправность *дѣйствительно суще-*

¹⁾ Читатель пойметъ, надѣясь, что этотъ законъ фантастиченъ только по формѣ, а не по существу, такъ какъ дѣйствительно существуютъ въ различныхъ странахъ законы, поддерживающіе множество невинныхъ людей тяжкимъ страданіямъ.

стоящими въ этой странѣ, или что, благодаря закону 19-го февраля 1861 г., личная свобода крестьянъ отъ помѣщичьей власти дѣйствительно существуетъ въ Россіи. И еслибы тѣмъ людямъ, которые съ конца прошлаго столѣтія и до шестидесятихъ годовъ нынѣшняго помышляли и толковали объ изданіи „надлежащаго“ закона противъ крѣпостного права, — еслибы этимъ людямъ кто-нибудь сказалъ: вы заботитесь только о томъ, чтобы былъ изданъ законъ, освобождающій крестьянъ отъ помѣщичьей власти, а я забочусь о томъ, чтобы свобода отъ крѣпостной зависимости дѣйствительно существовала, — то они, конечно, не поняли бы, о чемъ онъ говорить, или, точнѣе, поняли бы, что онъ говорить не дѣло. Попробовалъ бы г. Тихомировъ безъ надлежащаго закона упразднить крѣпостное право.

Онъ жалуется, что „Вѣстникъ Европы“ и я его не понимаемъ. Въ самомъ дѣлѣ, послѣдніе шаги его мысли привели его къ распутію, на которомъ онъ долженъ сдѣлать выборъ между нѣсколькими умственными дорогами, и пока онъ этого выбора не сдѣлалъ, его точка зрѣнія лишена всякой опредѣленности и потому непонятна. Прежде, когда не безъ вины съ его стороны можно было думать, что онъ только уклоняется отъ вопроса и благозвучащими словами лишь прикрываетъ зловерныя притѣснительныя тенденціи, а что въ сущности онъ солидаренъ съ г. Розановымъ и проповѣдуетъ то же самое, только въ менѣе наглыхъ и болѣе стыдливыхъ выраженіяхъ; когда могло казаться, что и его высшая мечта состоитъ въ томъ, чтобы стерто было съ лица земли все, что не съ нимъ, и потомъ отслужена панихида „въ черныхъ ризахъ“¹⁾, — тогда его точка зрѣнія была столько же понятна, сколько отвратительна. Но теперь, когда съ одной стороны онъ цѣлою статьею засвидѣтельствовалъ свое коренное несогласіе съ г. Розановымъ²⁾, а съ другой стороны по вопросу о вѣротерпимости показалъ, что говорить или, по крайней мѣрѣ, хочетъ говорить о томъ же, о чемъ и я, и относительно указанныхъ мною нарушеній справедливости (происходящихъ въ силу существующихъ законовъ) рѣшительно заявилъ, что они „очень нехороши“ — теперь его отрицательное отношеніе къ надлежащему закону, т.-е. къ такому, который окончательно упразднилъ бы и сдѣлалъ невозможными эти самыя осуждаемыя имъ нарушенія вѣротерпимости, т.-е. справедливости

¹⁾ См. ниже.

²⁾ См. апр. „Р. О.“: „Существуетъ ли свобода?“, гдѣ съ немалымъ коварствомъ, но въ сущности справедливо обличается грубо-матеріалистическій источникъ этихъ дикихъ извѣстій.

относительно иновѣрцевъ, подобно тому, какъ законъ 19-го февраля окончательно упразднилъ то прежде узаконенное нарушение справедливости по отношенію къ помѣщичьимъ крестьянамъ, которое называется крѣпостнымъ правомъ,—такое отрицательное отношеніе его къ очевидно-желательному и легко-исполнимому закону является дѣйствительно весьма загадочнымъ. Для рѣшенія вопроса, значеніе котораго имъ самимъ признано, предполагается способъ, вытекающій изъ здоровой логики, всегда и вездѣ съ успѣхомъ употреблявшійся, подтверждаемый примѣромъ всѣхъ христіанскихъ странъ и недавнимъ опытомъ нашей собственной исторіи,—и онъ это прямое рѣшеніе называетъ „самую фантазерскую субъективностью“, съ которою можно выступать только въ надеждѣ, что „кривая вывезетъ“, а затѣмъ, спросивши у себя самого отъ имени читателей, „какъ же быть“, т.-е. чѣмъ замѣнить отвергаемое имъ рѣшеніе, уклоняется отъ всякаго прямого отвѣта и указанія, говоря: „это вопросъ особый“. Не особое ли скорѣе состояніе мыслей у нашего автора? Логически оно не имѣетъ оправданія, но психологически можетъ быть объяснено, не отнимая надежды на благополучный исходъ. Г-ну Тихомирову, испытывшему жестокія разочарованія „ошую“¹⁾, тяжело признаться самому себѣ въ новыхъ разочарованіяхъ „одесную“. Въ такой внутренней борьбѣ бессознательныя силы души овладѣваютъ сознаниемъ и развлекаютъ его миражами. Твердый берегъ представляется ему какою-то бездною съ фантастическими чудовищами, а великолѣпная пристань мерещится ему все еще въ сторонѣ того болота, гдѣ водятся господа Головлевы. Попробую, насколько могу, разсѣять этотъ опасный обманъ.

IV.

Главное изъ призранныхъ чудовищъ, которыя заставляютъ г. Тихомирова видѣть несуществующую бездну вмѣсто дѣйствительнаго берега, это—безрелигіозное государство, къ которому будто бы приводитъ моя точка зрѣнія: если только, думаетъ онъ, государство положить принципъ справедливости въ основу своей вѣроисповѣдной политики, то оно непременно сдѣлается сначала безисповѣднымъ, а потомъ и прямо атеистическимъ. Такое заключеніе имѣло бы какой-нибудь смыслъ лишь въ томъ невѣроятномъ случаѣ, еслибы г. Тихомировъ полагалъ, что всѣ религіи и всѣ

¹⁾ См. его французскія и русскія книжки на этотъ счетъ.

исповѣданія *исключаютъ* принципъ справедливости, несомѣстимъ съ нимъ: тогда, конечно, этотъ принципъ былъ бы безъисповѣднымъ и безрелигіознымъ и дѣлалъ бы таковымъ принявшее его государство. Но такъ какъ на самомъ дѣлѣ и по собственному признанію г. Тихомирова правило справедливости: не дѣлай другимъ, чего себѣ не желаешь, есть собственное правило православія, равно какъ и всѣхъ другихъ христіанскихъ исповѣданій (чтобы не говорить о прочихъ религіяхъ), то, очевидно, это правило есть принципъ между-исповѣдный, или, еще точнѣе, *всѣхъисповѣдный*, а никакъ не безъисповѣдный. Притомъ, по свидѣтельству священнаго авторитета, приведеннаго г. Тихомировымъ, это есть правило необходимое, минимальное, т.-е. безъ соблюденія котораго ничто дальнѣйшее и высшее невозможно для христіанъ. Поэтому, если государство, принадлежащее къ православному *христіанскому* исповѣданію, приметъ этотъ необходимый принципъ за правило всей своей политики, то оно этимъ только заявитъ и докажетъ свою вѣрность исповѣдуемой имъ религіи, дѣйствительность своего вѣроисповѣднаго характера, а никакъ не отреченіе отъ него. Если человѣкъ говорить: я православный христіанинъ, и такъ какъ моя вѣра обязываетъ меня прежде всего исполнять правило справедливости: не дѣлай другимъ, чего себѣ не желаешь, то я рѣшаюсь всегда и во всемъ руководиться этимъ принципомъ,—неужели этотъ человѣкъ тѣмъ самымъ измѣняетъ своей вѣрѣ, становится безъисповѣднымъ и безрелигіознымъ?

Практическое усвоеніе принципа справедливости каемъ-либо государствомъ (какъ и отдѣльнымъ лицомъ) утверждаетъ и оправдываетъ его вѣру, если это государство (или лицо) уже было христіанскимъ; а если оно было атеистическимъ, то, становясь справедливымъ, оно практически становится на почву христіанской религіи: съ нимъ происходитъ тогда нѣчто подобное тому, что случилось съ центуріономъ Корнеліемъ, который, будучи язычникомъ, вслѣдствіе своего *способа дѣйствія* сталъ готовъ къ принятію христіанства.

Но г. Тихомировъ омущенъ повидимому тѣмъ, что принципъ справедливости не есть что-либо специфически православное, такъ какъ онъ принимается и другими исповѣданіями. Но какъ же съ этимъ быть? Не отказаться ли ужъ намъ и отъ своего качества разумныхъ существъ, такъ какъ оно свойственно не намъ однимъ, а отчасти и иновѣрцамъ? Казалось бы, однако, что съ точки зрѣнія нашего публициста разъ православіе объявило этотъ принципъ какъ *свой*, то остается только принять его къ исполненію. И это тѣмъ болѣе, что никакого другого на замѣну вѣдъ нѣтъ.

Въ области нравственныхъ предписаній или нормъ дѣятельности никакого специфически-православнаго принципа не существуетъ, также какъ нѣтъ здѣсь принципа специфически-католическаго, протестантскаго и т. д. Той волѣ Божіей, на которую напрасно ссылается г. Тихомировъ, не угодно было въ этомъ отношеніи сдѣлать какое-нибудь различіе между людьми по исповѣданіямъ, какъ и по народамъ: всѣмъ предписана одна правда въ двухъ своихъ степеняхъ—какъ законъ справедливости и какъ заповѣдь совершенства. Вторая предполагаетъ первый, и только первый, т.-е. законъ справедливости, безусловно *обязателенъ*—всегда, вездѣ и во всемъ. Поэтому онъ только одинъ и можетъ быть нравственнымъ руководствомъ для государства, коего область не выходитъ изъ предѣловъ обязательнаго. Для государства въ этомъ отношеніи нѣтъ выбора между многими нормами его политики: для него есть только дилемма: принять или отвергнуть принципъ справедливости.

Но г. Тихомировъ въ своей непонятной увѣренности, что принятіе христіанской правды значитъ то же, что отрѣшеніе отъ нея, пугаетъ насъ слѣдующею фантастическою картиною: „Когда эту равноправность,—говоритъ онъ,—гарантируетъ мнѣ государство, поставленное внѣ исповѣданій, а тѣмъ самымъ и выше ихъ, то общую участь всѣхъ исповѣданій и всякой религіи я очень хорошо заранѣе вижу. Сегодня, по почину какого-нибудь г. Португальова, государство, на основаніи культурныхъ и медицинскихъ соображеній, приметъ мѣры противъ обрѣзанія у евреевъ; завтра, по почину столь же образованныхъ мусульманъ, во имя женской эмансипаціи, воспретитъ многоженство магометанъ; потомъ изъ соображеній народнаго здравія воспретитъ посты, во избѣжаніе зараженій уничтожитъ богомолье къ св. иконамъ и мощамъ и т. д. Тутъ трудно и предвидѣть конецъ государственному вмѣшательству. Монашество, конечно, можетъ быть признано нарушающимъ интересы государства своимъ безбрачіемъ. Само богослуженіе можетъ быть признано въ нѣкоторыхъ частяхъ своихъ вредною гипнотизаціей народа, да и личная велейная молитва можетъ быть отвергнута очень сильнымъ подозрѣніемъ“¹⁾.

Я готовъ допустить, что все это, несмотря на свою фантастичность, могло бы случиться, еслибы государство, вмѣсто истиннаго принципа всякой дѣятельности, приняло за высшее руководство свой предполагаемый интересъ или мнимыя требованія гигиены и т. п. Но именно съ моей точки зрѣнія требуется, чтобы

¹⁾ „Р. О.“, стр. 483.

государство избѣгало такого пагубнаго смѣшенія понятій, чтобы оно *единственною* нормой своей политики принимало христіанскій и общечеловѣческій принципъ справедливости, въ силу котораго утверждается личная, національная и религіозная свобода для всѣхъ въ равной мѣрѣ, именно въ той, которую можетъ каждый желать для себя совмѣстно со всѣми. Напрасно думаетъ г. Тихомировъ, что понятіе справедливости такъ неопредѣленно, что подъ него можно подставлять какіе угодно мотивы, даже самыя нелѣпыя. Фантастическіе примѣры безобразій, могущихъ происходить отъ мнимаго примѣненія религіозной равноправности, едва ли уравниваютъ или даже ослабляютъ значеніе тѣхъ дѣйствительныхъ нарушеній вѣротерпимости, которыя необходимо происходятъ при отсутствіи религіозной равноправности ¹⁾. Противъ тѣхъ дѣйствительныхъ фактовъ, которые призналъ и осудилъ самъ г. Тихомировъ, выставлять вдругъ такія возможности, какъ запрещеніе поста или келейной молитвы—пріемъ весьма необудительный. Да и помимо этого, всякія узаконенія и мѣры, противныя вѣротерпимости, принимаются ли они религіознымъ государствомъ противъ чужихъ религій, какъ это бываетъ въ дѣйствительности, или же государствомъ атеистическимъ противъ всѣхъ религій, какъ представляетъ г. Тихомировъ въ своихъ воображаемыхъ примѣрахъ,—всякія такія мѣры и законы суть прежде всего нарушенія справедливости, совершенно невозможныя при серьезномъ признаніи и примѣненіи этого принципа, и слѣдовательно тѣ предполагаемыя безобразія, которыми пугаетъ насъ г. Тихомировъ, прямо подтверждаютъ мой тезисъ, а никакъ не говорятъ противъ него. Понятно при этомъ, что еслибы государства христіанскія отказались отъ предписаннаго ихъ вѣрой закона справедливости, то трудно было бы ожидать неуклоннаго его соблюденія со стороны государства безрелигіознаго. Еслибы, напримѣръ, въ какомъ-нибудь католическомъ государствѣ легально отрицалась равноправность раскольниковъ, еретиковъ и невѣрующихъ, то странно

¹⁾ Любопытно, что единственная реальная черта въ фантазмагоріи г. Тихомирова взята не изъ какой-нибудь безрелигіозной страны, а изъ современной русской жизни,—это именно предложеніе г. Португалова о запрещеніи обрѣзанія евреевъ. Уже если ссылаться на предложенія неосуществленныя, то я вспоминаю нѣчто болѣе сильное. Дѣтъ восемь тому назадъ, въ одномъ весьма образованномъ и еще болѣе благонамѣренномъ (въ смыслѣ г. Тихомирова) петербургскомъ кружкѣ совершенно серьезно обсуждалось предложеніе принудить все тѣхъ же несчастныхъ евреевъ, но не къ отказу отъ обрѣзанія, а напротивъ, къ болѣе радикальному совершенію этого обряда, съ цѣлью прекратить ихъ размноженіе. Г. Тихомировъ, „очень хорошо видящій“ будущія мѣропріятія противъ постовъ и богомолій, совсѣмъ плохо видитъ окружающую его дѣйствительную среду.

было бы требовать отъ государства атеистическаго, чтобы оно точно и твердо охраняло права католиковъ. Одна неправда рождаетъ другую,—новое побужденіе для насъ строго держаться за принципъ справедливости и настаивать на его примѣненіи.

V.

Миражъ, во власти котораго находится г. Тихомировъ, связанъ въ его умѣ съ совершенно ошибочнымъ пониманіемъ *равноправности*. Съ одной стороны онъ безъ всякаго основанія отдѣляетъ это понятіе (въ сферѣ вѣроисповѣдной) отъ понятія религіозной свободы или вѣротерпимости, а съ другой стороны столь же неосновательно отождествляетъ его съ равенствомъ вообще, и признаніе равноправности извѣстныхъ вѣроисповѣданій смѣшиваетъ съ признаніемъ ихъ одинаковости, равнозначительности или равноцѣнности. Въ первой своей ошибкѣ г. Тихомировъ доходитъ до невѣроятнаго утвержденія, что требованію равноправности соответствуетъ равенство всѣхъ въ общемъ безправіи. „Равноправность,—говоритъ онъ,—мнѣ ровно ничего не обѣщаетъ, кромѣ того, что если будутъ топтать въ грязь мою вѣру, то и вѣра другихъ не получитъ лучшей участи. Къ религіозной свободѣ она не имѣетъ никакого яснаго отношенія“ ¹⁾. Выходитъ, однако, что для г. Тихомирова равноправность не только къ религіозной свободѣ, но и къ себѣ самой не имѣетъ никакого яснаго отношенія, ибо онъ преспокойно отождествляетъ существенное здѣсь понятіе *права* съ его прямымъ отрицаніемъ—*безправіемъ*: равенство правъ оказывается вдругъ равенствомъ безправія. Между тѣмъ подъ равноправностью, какъ показываетъ самое слово, разумѣется равенство только *правъ*, и ничего болѣе, и слѣдовательно это понятіе никакъ не можетъ относиться къ безправію.

Отъ такого неумѣстнаго и ложнаго примѣненія гегелевской мысли о тождествѣ противоположныхъ г. Тихомировъ могъ бы легко воздержаться, еслибы только принялъ во вниманіе, что понятіе равноправности никогда не берется (по крайней мѣрѣ мною) отрѣшенно отъ своей истинной основы, которая есть принципъ справедливости. На самомъ дѣлѣ, первое понятіе есть только ближайшее опредѣленіе или развитіе втораго. Если я не допускаю относительно другихъ того, чего не могу желать себѣ, то значитъ я долженъ признать за другими полноту правъ, т.-е. въ той

¹⁾ „Р. О.“, стр. 482—3.

самой мѣрѣ, въ какой я признаю свои собственные права. Я не могу принципиально желать себѣ безправія или произвольнаго ограниченія моихъ правъ (личныхъ, религіозныхъ, національных и т. д.), слѣдовательно не могу утверждать такого безправія и такихъ ограниченій и для другихъ. Вотъ настоящее понятіе равноправности, которая здѣсь не только имѣетъ ясное отношеніе къ свободѣ, но прямо съ нею совпадаетъ. Вѣдь то, на что я имѣю равное со всѣми право, есть именно моя свобода. У государства въ его законахъ нѣтъ ни возможности, ни надобности опредѣлять *матеріально* права каждаго, т.-е. перечислять все то, что ему позволительно дѣлать, — оно признаетъ только за каждымъ полную свободу существовать, дѣйствовать и развивать свои естественныя силы, поскольку этотъ „каждый“ не нарушаетъ такой же свободы другихъ (что уже будетъ преступленіемъ и подлежитъ матеріальнымъ опредѣленіямъ закона). Такимъ образомъ, вопреки замѣчанію г. Тихомирова, равноправность прямо и формально указываетъ общіе размѣры предоставляемой каждому свободы, именно *полноту* этой свободы, поскольку она можетъ быть равна для всѣхъ, т.-е. поскольку свобода одного не упраздняетъ такой же свободы другого. Сюда же, какъ частный случай, относится и принципъ вѣротерпимости или религіозной свободы, т.-е. признаніе за всѣми равнаго права или равной свободы исповѣдовать и проповѣдовать свои религіозныя убѣжденія. Этому принципу было бы одинаково противно (возвращаясь къ примѣрамъ г. Тихомирова) требовать, чтобы всѣ постились и чтобы никто не постился, чтобы всѣ евреи подвергались обрѣзанію, и чтобы всѣмъ было запрещено обрѣзаться. Такія требованія представляли бы только равенство безправія, а не равенство правъ. Последнее требуетъ, чтобы всѣ одинаково имѣли право поститься и не поститься, обрѣзаться и не обрѣзаться, каждый по своему свободному выбору. Тутъ равноправность и свобода явно совпадаютъ, и это есть тотъ единственный принципъ, котораго я держусь въ нашемъ вопросѣ. А то равенство всѣхъ въ общемъ безправіи, на которое некстати указываетъ нашъ публицистъ, дѣйствительно существуетъ, въ большей или меньшей степени, въ различныхъ деспотіяхъ Азіи и Африки, но никому еще не приходило въ голову выводить это безправіе изъ требованія равноправности, когда оно явно вытекаетъ изъ противоположнаго требованія абсолютнаго произвола, передъ которымъ исчезаютъ всѣ различія.

Что касается до второй ошибки г. Тихомирова, то хотя я не разъ уже показывалъ различіе между равноправностью и

равноцѣнностью, которая онъ продолжаетъ смѣшивать, однако, чтобы до конца исполнить свое добровольное „послушаніе“¹⁾, попробую еще разъяснить это недоразумѣніе.

Признаніе равноправности, т.-е. равной ненарушимости чужой и своей свободы, вовсе не требуетъ одинаковости положительнаго отношенія, или одинаковаго образа дѣйствія въ предѣлахъ признаннаго права. Опредѣляются только границы обязательныя для соблюденія, и тѣмъ самымъ все находящееся внутри ихъ предоставляется свободѣ. Я признаю, на примѣръ, безусловно равноправными писателями гг. Л. Н. Толстого и г. Розанова, т.-е. признаю за тѣмъ и за другимъ абсолютно-одинаковое право проявлять свое содержаніе въ литературѣ, но этимъ и исчерпывается мое одинаковое отношеніе къ нимъ, а дальнѣйшій мой образъ дѣйствій относительно ихъ опредѣляется уже не ихъ общимъ правомъ, а особенностями ихъ произведеній, и такъ какъ эти особенности весьма между собою различны, то я могу и долженъ относиться къ нимъ неодинаково. Это требуется самою справедливостью, ибо я и для себя самого желаю, чтобы другіе, уважая мое право высказывать, что угодно, относились затѣмъ ко мнѣ не безразлично, а сообразно съ особымъ содержаніемъ и значеніемъ моихъ идей.—Далѣе: нарушается ли равноправность тѣмъ, что отецъ семейства болѣе заботится о своихъ дѣтяхъ, тѣмъ о чужихъ? Полагаю, что нѣтъ, если только онъ признаетъ, что и всѣ другіе отцы имѣютъ равное право предпочитать своихъ дѣтей чужимъ.—Есть ли, наконецъ, какое-нибудь противорѣчіе справедливости въ томъ, что церковный староста извѣстнаго прихода болѣе печется о благолѣпіи своего храма, нежели другихъ? Это есть не только его право, но и обязанность, лишь бы только онъ не тащилъ никого насильно въ свой приходъ и никого не держалъ тамъ неволею, а также не перетаскивалъ церковной утвари изъ сосѣдняго храма въ свой. Въ этихъ случаяхъ, какъ

¹⁾ Кстати: г. Тихомировъ, изъ того, что я сравниваю свою полемическую задачу во непріятности ея исполненія съ нѣкоторыми монастырскими „послушаніями“, серьезно заключаетъ, что я не имѣю понятія объ этихъ послѣднихъ, такъ какъ онѣ, молъ, основаны на „отсѣченіи своей воли“, а моя задача—добровольная. Однако самое это „отсѣченіе“ совершается вѣдь не принудительно, а есть такой же добровольный актъ, какъ и мое рѣшеніе выяснять вопросъ о вѣротерпимости вмѣсто того, чтобы заниматься другими, болѣе интересными по существу предметами. Конечно, между моимъ сознаніемъ долга и исполненіемъ не стоитъ никакого „старца“ или игумена. Но тутъ мнѣ приходится, не въ обиду г. Тихомирову, напомнить ему ту элементарную логическую истину, что *сравненіе* есть отождествленіе двухъ предметовъ только въ *нѣкоторыхъ*, а не во всѣхъ отношеніяхъ, иначе подобіе было бы полнымъ тождествомъ.

и во всевозможныхъ другихъ, равное право полагаетъ только ненарушимый безусловно-обязательный *предѣлъ* для нашихъ свободныхъ дѣйствій; положительный же характеръ самихъ этихъ дѣйствій опредѣляется не равнымъ правомъ, а различнымъ значеніемъ предметовъ для дѣйствующаго.

Примѣняя это элементарное различіе понятій къ вѣроисповѣдному вопросу, должно признать ошибочнымъ слѣдующее положеніе г. Тихомирова: „Равноправность исповѣданій требуетъ, чтобы государство, его законъ, его практика, его мѣропріятія *одинаково* относились ко всѣмъ исповѣданіямъ христіанскимъ и не-христіанскимъ, нынѣ существующимъ и имѣющимъ возникнуть посредствомъ работы „личнаго религіознаго убѣжденія“ и отсюда новорождающагося сектантства“ ¹⁾. Нѣтъ! Равноправность исповѣданій этого не требуетъ. Она требуетъ только, чтобы за всѣми этими исповѣданіями признавалась равная свобода существованія и дѣйствія на основаніяхъ общаго права, но одинаковаго отношенія къ нимъ государства въ его практикѣ и законахъ отсюда вовсе не вытекаетъ. Чтобы наглядно въ этомъ убѣдиться, г. Тихомирову стоитъ только обратить вниманіе на вѣроисповѣдное положеніе Британской имперіи. Здѣсь достигнута полная религіозная равноправность или свобода: всѣ и каждый имѣютъ равное право принадлежать или не принадлежать къ какому угодно исповѣданію, проповѣдовать и распространять безпрепятственно (въ предѣлахъ общаго права) какія угодно религіозныя и безрелигіозныя убѣжденія, строить и поддерживать всякіе храмы, основывать всевозможныя общества и т. д. И однако при всемъ томъ государство въ своей практикѣ и въ своихъ законахъ вовсе не одинаково относится ко всѣмъ этимъ исповѣданіямъ: предоставляя *всѣмъ равную свободу*, оно оказываетъ *особую поддержку* своей церкви, т.-е. той, къ которой принадлежитъ большинство собственно англійскаго народа съ царствующею особою во главѣ. Законное существованіе этой официальной, господствующей, государственной или установленной церкви (established Church) нисколько не нарушаетъ принципа религіозной равноправности, именно благодаря тому единственному, но рѣшающему обстоятельству, что принадлежность или непринадлежность къ этой „установленной церкви“ зависитъ исключительно отъ свободного выбора,—она никого въ себѣ насильно не удерживаетъ и никого къ себѣ принудительно не привлекаетъ. Вслѣдствіе этого всеобщее равенство религіозныхъ *правъ* прекрасно

¹⁾ „Р. О.“, стр. 481.

совмѣщается здѣсь съ государственными *преимуществами* господствующей церкви. Если и при этихъ условіяхъ между самими англиканцами возникаетъ мнѣніе, что богатая матеріальная поддержка, оказываемая правительствомъ ихъ церкви, подрываетъ ея нравственное дѣйствіе и умаляетъ ея христіанское достоинство, то это уже вопросъ совсѣмъ другой. Во всякомъ случаѣ, ссылаясь въ пользу религіозной равноправности на примѣръ образованныхъ странъ, я имѣлъ особенно въ виду именно положеніе дѣла въ Англіи, какъ оно есть теперь, не исключая и „установленной церкви“. Ничего другого для насъ я не желаю и не желаю. Впрочемъ существенныя черты этого положенія встрѣчаются и въ большинствѣ другихъ европейскихъ странъ. Притомъ вездѣ, гдѣ это наилучшее въ данныхъ условіяхъ состояніе достигнуто, оно достигалось не иначе, какъ чрезъ изданіе надлежащихъ законовъ, или чрезъ законодательную отмѣну ненадлежащихъ.

VI.

Для рѣшенія вопроса о вѣротерпимости и для руководства вѣроисповѣдной политики г. Тихомировъ предлагалъ въ прошломъ году ¹⁾ слѣдующій естественный путь: „Забота государства при уясненіи вопроса о терпимости состоитъ не въ какихъ-либо теоретическихъ соображеніяхъ, а въ томъ, чтобы слышать *днѣшнѣшній* голосъ церкви мѣстной и вселенской, и лишь потомъ оно разумно можетъ приносить свои чисто-политическія

¹⁾ „Русск. Об.“ 1893 г., № 7, стр. 383.—Г. Тихомировъ ставитъ мнѣ въ упрекъ, то на эту статью я отвѣчалъ черезъ девять мѣсяцевъ послѣ ея появленія, когда читатели успѣли уже ее забыть. Одобряя такую скромность, я долженъ, однако, замѣтить, что оспариваемыя мною положенія и разсужденія я напоминаю читателямъ посредствомъ довольно обильныхъ и длинныхъ выписокъ. Затѣмъ, хотя девяти-мѣсячный срокъ, нормальный въ другихъ случаяхъ, дѣйствительно слишкомъ продолжителенъ для порожденія полемики, но предосудительнаго я все-таки въ немъ ничего не вижу: вѣдь прошлогоднія книжки „Русскаго Обозрѣнія“ находятся въ свободномъ обращеніи, чего нельзя сказать, напримѣръ, про нѣкоторыя сочиненія, на которыя поспѣшно нападалъ г. Тихомировъ въ своей статьѣ: „Духовенство и общество“. Въ тукомъ глазу соломинку мы видимъ... Помимо всего этого излишняя поспѣшность въ волненіи кажется мнѣ хуже излишней медлительности. Забвеніе моими читателями статьи г. Тихомирова было бы, конечно, фактомъ прискорбнымъ, но забвеніе имъ снискъ апостольскаго постановленія несравненно прискорбнѣе. Еслибы онъ не торопился, то, во-первыхъ, вспомнилъ бы въ-время это постановленіе, а во-вторыхъ, успѣлъ бы справиться и о томъ, какъ оно читается въ греческомъ подлинникѣ, и такимъ образомъ не подвергъ бы меня двумъ напраснымъ обвиненіямъ: сначала въ изобрѣтеніи справедливости, а потомъ въ недостаточномъ знакомствѣ съ св. писаніемъ.

поправки, на которыя, конечно, имѣть полное право". Когда г. Тихомировъ писалъ эти слова, онъ не зналъ или „запамятовалъ“, въ чемъ состоитъ этотъ *дѣйствительный* голосъ церкви по нашему вопросу, а потому и читателей своихъ оставлялъ въ недоумѣніи: о чемъ онъ собственно говорить. Теперь онъ вспомнилъ и невольно признался, что дѣйствительный голосъ церкви, выразившійся въ апостольскомъ постановленіи (какъ оно читается въ нашихъ церковныхъ переводахъ), утверждаетъ какъ всеобщую, абсолютно-необходимую и безусловно-обязательную норму всѣхъ человѣческихъ отношеній, а слѣдовательно и религіозныхъ или вѣроисповѣдныхъ, единый, неизмѣнный принципъ справедливости: не дѣлайте другимъ, чего себѣ не желаете.

Не онъ первый между „ревнителями православія“ у насъ забылъ этотъ дѣйствительный голосъ церкви. Четыре вѣка тому назадъ духовенство великаго княжества московскаго раздѣлилось по нашему вопросу на двѣ партіи, изъ коихъ только одна помнила (и то не съ полной ясностью) дѣйствительный голосъ церкви; другая же совсѣмъ его забыла и настойчиво требовала сжиганія еретиковъ. За это требованіе оказалось большинство на московскомъ соборѣ 1490 г., и казни еретиковъ по примѣру византійскихъ императоровъ и „шпанскаго короля“ вошли у насъ въ употребленіе и продержались до тридцатыхъ годовъ прошлаго столѣтія. Впрочемъ и противная партія не была осуждена, и ея представитель Нилъ Сорскій былъ признанъ святымъ, также какъ и его главный противникъ (стоявшій за казни), Іосифъ Волоцкій. Съ моей точки зрѣнія все это не представляетъ ничего удивительнаго. Но съ точки зрѣнія г. Тихомирова, отождествляющаго церковь съ мѣстнымъ духовенствомъ, подобный фактъ является чѣмъ-то совершенно непонятнымъ: выходитъ—будто дѣйствительный голосъ церкви раздвоился, и на одинъ и тотъ же вопросъ отвѣчалъ и *да*, и *нѣтъ*. При серьезномъ отношеніи къ вопросу, г-ну Тихомирову необходимо обратить особое вниманіе на это наглядное историческое опроверженіе его основного взгляда¹⁾.

Я же считаю теперь свое „послушаніе“ относительно г. Тихомирова (по вопросу о вѣротерпимости) конченнымъ. Послѣ того, какъ онъ призналъ принципъ справедливости минимальнымъ, т.-е. безусловно обязательнымъ и необходимымъ требованіемъ христіанства, всѣ мои послѣдующія разсужденія были только логиче-

¹⁾ Прежде всего рекомендую его вниманію интересную и исчерпывающую сущность дѣла статью А. Н. Пыпина въ прошломъ (іюньскомъ) № „Вѣстника Европы“. Тамъ онъ найдетъ и указаніе источниковъ, и полную библиографію предмета, еслибы пожелалъ предаться дальнѣйшимъ изученіямъ.

скимъ развитіемъ и прямымъ приложеніемъ этой, признанной имъ самимъ, истины. Всѣ эти разсужденія могутъ быть сведены въ слѣдующему умозаключенію: общечеловѣческій принципъ справедливости есть вмѣстѣ съ тѣмъ необходимое требованіе христіанства. Въ этомъ качествѣ онъ обязателенъ и для христіанскаго государства; но изъ этого обязательнаго принципа справедливости прямо вытекаетъ требованіе религіозной равноправности или свободы, слѣдовательно и оно обязательно для христіанъ какъ такихъ, а значитъ и для христіанскаго государства. Разъ основаніе этого умозаключенія признано, то всякія дальнѣйшія попытки нашего публициста отрицать необходимый изъ него выводъ будутъ явно недобросовѣстны и лишены всякаго интереса. Покончивъ теперь съ г. Тихомировымъ, я хочу отдать послѣдній долгъ г. Розанову. Быть можетъ, этотъ авторъ поможетъ мнѣ хоть нѣсколько вознаградить терпѣніе читателей, утомленное однообразными разъясненіями истинъ „самоочевидныхъ“.

VII.

Г. Розановъ начинаетъ съ заявленія, что онъ лишь нечаянно выступилъ съ проповѣдью абсолютной нетерпимости, но теперь (благодаря мнѣ?) понялъ все значеніе своего слова. „Статья, — говоритъ онъ, — которая въ побочныхъ сторонахъ своихъ исполнена недостатковъ, въ главномъ содержаніи своемъ мнѣ представляется теперь и цѣнною, и важною. *Непреднамеренно я произнесъ слово, которое всего нужнее было произнести...* Въ вѣкъ равнодушія, разложенія, я произнесъ слово *нетерпимость*¹⁾; конечно, лишь слабость моихъ словъ, *неслышимость моего голоса была больна* (такъ), а не самый смыслъ слова. Но если оно услышано, я его повторяю: „да, нетерпимость; да, непониманіе законовъ умирающаго (?); да, отвращеніе къ нему до неспособности переносить его видъ“²⁾.

Хотя мало вѣроятія, чтобы какое-нибудь значительное слово могло быть сказано человѣкомъ столь немощнымъ въ словѣ и притомъ воображающимъ, что *неслышимость* голоса можетъ быть *болѣна* (или это — только неумѣстная пародія на шекспировскую вычурность?), не будемъ, однако, останавливаться на признакахъ наружныхъ и обратимся къ существу этого столь „нужнаго“.

¹⁾ Курсивъ г. Розанова, прочіе — мон.

²⁾ „Русск. Вѣст.“ 1894 г., апр., стр. 191—2.

слова. Чѣмъ г. Розановъ оправдываетъ, на чемъ основываетъ свое утвержденіе, что можно понимать и любить только себя и свое, особое, а все прочее лишь ненавидѣть въ высшей степени? Къ сожалѣнію, никакого отвѣта на этотъ законный вопросъ мы у него не находимъ, какъ будто онъ и теперь говоритъ свое слово нечаянно или непредназначенно. Вмѣсто того, чтобы разъяснить свой „законъ жизни“, онъ въ цѣлой статьѣ даетъ подробную характеристику моей литературной и психологической личности, заявивши, однако, предварительно, что онъ меня не понимаетъ и понимать не можетъ, какъ и я его, будто бы. „И не только онъ и я, мы не понимаемъ другъ друга, но этимъ непониманіемъ противоположнаго и вѣчно жила исторія“¹⁾. Противоположности между мною и г. Розановымъ я не отрицаю, но не могу согласиться, чтобы изъ противоположности всегда слѣдовало непониманіе съ обѣихъ сторонъ. Зато для меня совершенно безспорно правило, гласящее: чего не понимаешь, о томъ и не говори. Еслибы я думалъ, что не понимаю г. Розанова, то, конечно, стелъ бы себя обязаннымъ хранить о немъ полное молчаніе. Перешагнемъ, однако, и черезъ эту мелочь. Можетъ быть, г. Розановъ изъ скромности преувеличиваетъ свое непониманіе, а на самомъ дѣлѣ я могу извлечь изъ его характеристики что-нибудь полезное во исполненіе заповѣди: познай самого себя.

Повидимому, г. Розановъ именно это и имѣетъ въ виду. Онъ жалѣетъ, что никто не предлагалъ мнѣ правдиваго зеркала, въ которое бы я могъ себя увидѣть, и хочетъ самъ оказать мнѣ эту важную услугу: „и никогда, никогда правдивое зеркало не показало ему истину; не показало *обтянутыхъ лайкою ногъ*, которыми, конечно, не идти въ пустыню“²⁾... Конечно, въ лайковыхъ перчаткахъ *на ногахъ* не только въ пустыню, но и на Невскій проспектъ идти невозможно. Это не важно само по себѣ, но прискорбно то, что зеркало г. Розанова, вмѣсто истины, сразу показываетъ „наглядную несообразность“ и тѣмъ заранѣе подрываетъ довѣріе къ своей правдивости. Продолжаю, однако, смотрѣть и вижу, что я „танцоръ изъ кордебалета“, „тапѣръ на разбитыхъ клавишахъ“, „слѣпецъ, ушедшій въ бузвѣу страницы“³⁾, „блудница“, безстыдно потрясающая „богословіемъ“⁴⁾, „татъ,

¹⁾ „Р. В.“, стр. 193.

²⁾ „Р. В.“, стр. 203. Курсивъ мой.

³⁾ Тамъ же.

⁴⁾ Стр. 195: „Г-нъ Влад. Соловьевъ со своими текстами и всѣмъ „богословіемъ“ именно имѣетъ видъ такой блудницы, которая, потрясая ими (sic) безстыдно передъ глазами всѣхъ, говорить: еще погрѣшу и спасусь, а вы погибнете“.

прокрадшійся въ церковь“, „святотатецъ“ ¹⁾, „слѣпорожденный“ ²⁾, „палка, бросаема я изъ рукъ въ руки“ ³⁾. Сильно сомнѣваюсь, можно ли мнѣ изъ всего этого извлечь что-нибудь полезное въ смыслѣ самопознанія. Мои сомнѣнія не исчезаютъ и передъ заключительнымъ заявленіемъ г. Розанова, что онъ не бранить меня, а только опредѣляетъ (вотъ его слова: „вступить ли мнѣ съ нимъ въ брань? Къ чему? Это такъ въ его вкусахъ, и вовсе не въ моихъ. Достаточно понять, опредѣлить, самое большее—выговорить вслухъ опредѣленное“ ⁴⁾). Хотя г. Розановъ теперь утверждаетъ, что понялъ и опредѣлилъ меня, прямо вопреки своему первоначальному заявленію, что онъ меня не понимаетъ и по законамъ природы и исторіи понимать не можетъ, тѣмъ не менѣе я готовъ былъ бы согласиться, что вышеприведенныя слова (блудница, татъ, палка, слѣпорожденный и т. д.) представляютъ собою не брань, а только опредѣленія. Но я рѣшительно нахожу, что это опредѣленія, во-первыхъ, слишкомъ широкія, а во-вторыхъ плохо согласимыя между собою. Когда же слѣпорожденные бываютъ балетными танцорами? Можетъ ли слѣпой уходить въ букву страницы? Способна ли палка обкрадывать церкви? Все это столь же неправдоподобно, какъ и лайковыя перчатки на ногахъ. Впрочемъ, при всей нескладности этихъ „опредѣленій“ признать ихъ безусловно лживыми я, конечно, не могу. Вспоминается мнѣ изъ временъ моей юности одинъ пустынножитель, который ежегодно въ извѣстный день предлагалъ мнѣ нѣкій обширный картонъ, на коемъ были словесно изображены всѣ возможные и невозможные грѣхи и преступленія, и требовалъ, чтобы я противъ каждаго признавалъ себя виновнымъ; когда же я передъ нѣкоторыми, слишкомъ странными, останавливался въ недоумѣніи, то онъ ободрительно кивалъ головой и говорилъ: „ничего! *изъ какихъ-нибудь смысловъ* и противъ этого грѣшенъ“. Отрицать это утвержденіе въ такомъ общемъ видѣ я, разумѣется, не могъ, и все кончалось надлежащимъ образомъ. Не сравнивая г. Розанова съ этимъ досточтимымъ пустынникомъ, я могу допустить, что его общія опредѣленія меня, какъ „блудницы“, „тата“, „палки“ и т. д., могутъ быть „въ какихъ-нибудь смыслахъ“ справедливы. Другое дѣло, когда онъ приписываетъ мнѣ опредѣленные желанія, прямо противоположныя тѣмъ, которыя я дѣйствительно имѣю: тутъ уже его зеркало несомнѣнно оказывается кривымъ и негоднымъ къ

¹⁾ Тамъ же.

²⁾ Стр. 205.

³⁾ Стр. 209.

⁴⁾ Стр. 211.

употребленію. Такъ напр., г. Розановъ утверждаетъ, будто я жажду для Россіи „еще вакханаліи и вакханаліи“ ¹⁾, или предлагаю русскому народу, отказавшись отъ древней вѣры и выйдя изъ церкви, остаться при одномъ „громъ побѣды раздавайся!“ ²⁾

Конечно и на это можно смотрѣть какъ на оправданіе той мысли г. Розанова, что кромѣ себя и своихъ единомышленниковъ онъ никого понимать не можетъ. Къ прискорбію я долженъ замѣтить, что нашъ философъ „непониманія“ не останавливается и на этомъ и вступаетъ въ прямое противорѣчіе съ такими опредѣленными истинами, относительно которыхъ вопросъ о пониманіи или непониманіи уже не имѣетъ мѣста. Такъ, возвращаясь къ измышленному имъ, для характеристики католичества, іезуиту, обваривающему младенцевъ кипяткомъ, г. Розановъ замѣчаетъ теперь, будто я не отрицаю этого „поразительнаго факта, практиковавшагося въ знаменитомъ ордентъ“ ³⁾, тогда какъ я прямо называлъ такого іезуита *несуществующимъ* („этотъ предусмотрительный, хотя и не существующій іезуитъ“). Какъ бы велико ни было непониманіе г. Розанова, не можетъ оно, однако, доходить до того, чтобы въ эпитетъ „несуществующій“ не видѣть рѣшительнаго отрицанія. Но еслибы даже *законъ непониманія* позволялъ и это относительно меня, то ужъ навѣрное онъ не позволяетъ г. Розанову отрицать свои собственныя, только-что произнесенныя слова. Между тѣмъ онъ дѣлаетъ и это, тутъ же (стр. 203, прим.), заявляя, будто, говоря о іезуитахъ, онъ не говорилъ о всей католической церкви,—тогда какъ всего за шесть страницъ мы читаемъ у него слѣдующее, прямо противоположное заявленіе: „*инвизиція и іезуитскій орденъ; принципы послѣдняго мы можемъ принять за принципы вообще католичества, по аксіомѣ: что въ части есть—есть и въ цѣломъ*“ ⁴⁾.

¹⁾ „Р. В.“, стр. 211.

²⁾ „Р. В.“, стр. 208. (р. съ этимъ начало моего главнаго сочиненія „Исторія и будущность теократіи“: „Оправдать вѣру нашихъ отцовъ, возведя ее на новую ступень разумаго сознанія, показать, какъ эта древняя вѣра, освобожденная отъ оковъ мѣстнаго обособленія и народнаго самолюбія, совпадаетъ съ вѣчною и вселенскою истиною—вотъ общая задача моего труда“). Г. Розановъ могъ не читать этой книги, но онъ несомнѣнно читалъ „Нац. вopr. въ Россіи“, гдѣ, между прочимъ, рѣшительно отвергается негѣлая мысль объ ассимиляціи вост. церкви западной (облативненіе), и именно эту негѣлую мысль онъ мнѣ приписываетъ!

³⁾ „Р. В.“, стр. 208, примѣч.

⁴⁾ Стр. 197, примѣч. 1. Послѣ этого меня уже нисколько не удивляютъ другія противорѣчія между г. Розановымъ и истиною, въ родѣ, напр., слѣдующаго. Желая показать, что я не понимаю сущности опровергаемыхъ мною взглядовъ, г. Розановъ говоритъ (стр. 204, прим.): „Такъ по вопросу о культурно-историческихъ типахъ соб-

Итакъ, въ виду прискорбнаго неумѣнія г. Розанова ладить съ истиной, или, по крайней мѣрѣ, оставаться съ нею въ сколько-нибудь приличныхъ отношеніяхъ, предложенное имъ зеркало оказывается, къ сожалѣнію, бесполезнымъ для моего самопознанія. Неужели, однако, провозвѣстникъ „самаго нужнаго слова“ такъ увлекся моею „жалкою“ особой, что ничего и не сказалъ въ поясненіе этого слова, въ оправданіе своего идеала абсолютной нетерпимости и всеобщаго непониманія? Въ концѣ статьи, въ нѣсколькихъ строкахъ онъ какъ будто хочетъ представить если не разумное оправданіе, то, по крайней мѣрѣ, нѣкоторое поясненіе своего идеала конкретнымъ образомъ. Онъ рисуетъ съ своей точки зрѣнія характеръ и будущность русскаго народа. Вотъ этотъ образъ: „Есть представленіе о народѣ нашемъ, какъ исключительно мягкомъ, „терпимомъ“, неспособномъ и, въ видахъ ему навязанной репутаціи, уже какъ будто и безправномъ къ самозащитѣ... Такъ понимаетъ его, этого требуетъ отъ него и г-нъ Вл. Соловьевъ и иные съ нимъ единомышленныя. Имъ бы эта „терпимость“ нужна, по крайней мѣрѣ на время. Они не замѣтили въ немъ иныхъ, суровыхъ и строгихъ чертъ; и между тѣмъ именно онѣ въ немъ главное. Ихъ обманулъ *двухъ-тыковой карнавалъ нашей исторіи*; насталъ его послѣдній день, и они требуютъ *веселья нестерпимаго*, огня, вина, наконецъ *блуда*, и если возможно (?), *въ неслыханныхъ формахъ* ¹⁾. Имъ кажется, „возможно“... Еще день не кончился, ихъ день... послѣдній день, и вотъ что *въ безмѣрномъ упоеніи* они не хотятъ сознать, не чувствуютъ. Между тѣмъ въ запертой и еще пустой церкви все измѣняется, *свѣтлыя ризы замѣняются черными*, на мѣсто однихъ книгъ приготавливаются другія, главныя. Еще все молчитъ; *неси-*

ственно является одинъ вопросъ: какъ же, если типы эти непроницаемы, отнестись къ нѣкоторымъ абсолютнымъ идеямъ (какъ христіанство, или въ другой сферѣ—геометріи): отвергнуть ли ихъ, сохраняя эту непроницаемость, или сохранить эти идеи и тогда отвергнуть ихъ непроницаемость“. Между тѣмъ я, будто бы, вмѣсто этого вопроса говорилъ о вещахъ, не относящихся къ дѣлу. На самомъ же дѣлѣ съ начала и до конца моей полемики съ г. Страховымъ я указывалъ именно на несогласимость дѣйствительно универсальнаго характера христіанства и науки съ мнимой непроницаемостью культурныхъ типовъ — указывалъ какъ на главное роковое для всей доктрины противорѣчіе (см. „Нац. вѣстн.“ въ Россіи“). Не удивляетъ меня теперь и то, что по поводу евангельскихъ словъ: „не знаете, какова *вы* духа“, обращенныхъ къ апостоламъ, т.-е. къ *людямъ*, г. Розановъ замѣчаетъ, что эти слова сказаны Богомъ, и что слѣдовательно его „критикъ“ (т.-е. я), ссылаясь на нихъ, не различаю Бога отъ человека (стр. 193, прим.).

¹⁾ Теперь по крайней мѣрѣ ясно, чего мы съ „Вѣстникомъ Европы“ требуемъ отъ жизни. Кто бы могъ этого ожидать? Ужасно подумать, какъ обманываютъ всѣ видности!

тесъ въ веселіи своемъ буйномъ по улицамъ ¹⁾, добдайте послѣдній блинъ, и если нужно (?), засыпайте. Но народъ, — ударить протяжный колоколь, и онъ необозримыми толпами потянется къ храму, гдѣ все другое, и онъ самъ въ немъ другой... Новая эпоха, новая эра нашей исторіи, о, еслибы скорѣе она наступила, еслибы наконецъ сгинула съ глазъ эта улица, эти маски, вино, красавицы, и все, все, за чтѣ цѣпляются только немногія мертвыя руки, нѣсколько несытыхъ еще *желудковъ*, неуголенныхъ позывовъ ²⁾. Нѣсколько желудковъ, за что-то цѣпляющихся — каковъ образъ! Но восхищеніе красотой формы не должно отвлекать насъ отъ сущности. Высшій идеалъ г. Розанова есть замѣна свѣтлыхъ ризъ черными. Это меня не удивляетъ; но напрасно онъ говоритъ за Россію. Россія кромѣ масляницы и чистаго понедѣльника знаетъ и другіе дни. Русскій народъ не отказывался и не откажется ни отъ Свѣтлаго Воскресенія, ни отъ всемірнаго собора Пятидесятницы, гдѣ всѣ языки и всѣ законы жизни сойдутся во взаимномъ пониманіи и признаніи.

Владиміръ Соловьевъ.



¹⁾ Это опять постоянные сотрудники „Вѣстника Европы“ несутся въ буйномъ веселіи по улицамъ. Содрогайтесь, благочестивые читатели „Русскаго Вѣстника“! Недостаетъ только „скачущаго штандарта“ и „ѣдущихъ андроновъ“. Не даромъ г. Розановъ заявлялъ свое плохое мнѣніе о Гоголѣ.

²⁾ Стр. 210—11. Курсивъ мой.

ВОПРОСЫ

ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

II.—Мавсымъ Грекъ и князь Курбскій *).

Мы видѣли такимъ образомъ, что тѣ *внутренніе* вопросы, на которыхъ останавливалась русская письменность конца XV-го и начала XVI-го вѣка, представляли дѣйствительно широкій интересъ, который захватывалъ и церковныя, и общественно-политическія начала старой русской жизни, и привлекалъ какъ церковныхъ людей, такъ и правительственную власть и свой источникъ находилъ въ общественномъ броженіи. Это послѣднее, по общему складу міровоззрѣнія всѣхъ вѣковъ, вращалось на церковныхъ предметахъ и въ своихъ крайнихъ увлеченіяхъ выразилось ересями. Церковь, заключавшая тогда наиболѣе просвѣщенныхъ людей, какихъ могло выставить общество, въ лицѣ своихъ наиболѣе вліятельныхъ дѣятелей возстала противъ этихъ ересей со всей своей энергіей, и несмотря на всѣ препятствія ревнители достигли своей цѣли—казней и заточенія еретиковъ. Съ другой стороны, однако, уже въ ту минуту послышались голоса совсѣмъ иного рода—голоса, исходившіе отъ учителей безупречно святой жизни и напоминавшіе объ истинныхъ требованіяхъ христіанскаго ученія, о братолюбіи и терпимости къ заблужденію. Большого практическаго значенія эти голоса не возымѣли; взяли верхъ „іосифляне“, и весьма естественно, потому что именно

*) См. выше: іюль, стр. 712.

они, а не ихъ противники выражали складъ мыслей, господствовавшій въ большинствѣ: они были приверженцами стараго консервативнаго формализма, слѣпому подчиненію авторитету книги, не подвергаемой критическому анализу, и для большинства, которое они собой представляли, было бы мало понятно то высокое христіанское чувство и то заявленіе о необходимой дѣятельности разума, какія высказывалъ Нилъ Сорскій и его ученики, „заволжскіе старцы“... Броженіе запало, однако, глубоко. Мысль цѣлаго ряда поколѣній, воспитываемыхъ въ одномъ исключительномъ направленіи, искала, наконецъ, выхода изъ недоумѣній, какія возникали въ концѣ концовъ и которыхъ далеко не разрѣшала внѣшняя практика, существующій бытъ, обрядъ и книга. Казни и заточенія имѣли свое устрашающее дѣйствіе, но, какъ часто бывало въ исторіи, не заглушили внутренняго зерна движенія: прежніе дѣятели сошли со сцены или потеряли возможность дѣйствовать, но тѣ же условія жизни вызвали новыя проявленія такого же броженія, новыя ереси и новую защиту стараго порядка. Дальнѣйшее движеніе не имѣло такихъ рѣзкихъ крайностей, какъ бывало въ концѣ XV-го вѣка (по словамъ тогдашнихъ обличителей); но, быть можетъ, оно, хотя и болѣе умѣренное, было болѣе глубокое и сознательное. вмѣстѣ съ тѣмъ въ борьбу идей вмѣшиваются также новыя мотивы и новыя люди. Необходимость защищать православіе заставила думать о необходимости расширить средства наличнаго „просвѣщенія“ — таковъ былъ мотивъ, на которомъ основанъ былъ вызовъ Максима Грека; съ другой стороны, недостаточность этого домашняго просвѣщенія въ средѣ специальныхъ книжниковъ и низменный уровень въ массѣ грамотныхъ людей вызвали дѣятелей совсѣмъ иного круга — таковъ былъ князь Курбскій, въ писаніяхъ котораго, кромѣ того, сказалась еще другая, чисто политическая сторона тогдашняго внутренняго движенія.

Максимъ Грекъ прибылъ въ Россію съ запасомъ тогдашней греческой учености; свою школу онъ прошелъ сначала дома, потомъ въ Италіи, гдѣ былъ тогда разгаръ увлеченій классической древностью, такъ что онъ довольно близко знакомъ былъ съ тогдашнимъ направленіемъ умовъ и результатомъ классическихъ изученій. Князь Курбскій, бѣжавшій въ Литву, но хорошо помнившій положеніе русской книжности, а вмѣстѣ съ тѣмъ познакомившись съ религіознымъ положеніемъ западной Руси, гдѣ противъ православія дѣйствовали католицизмъ, а также и протестантство, увидѣлъ наглядно слабость русскихъ книжныхъ средствъ не только для этой борьбы, но и для собственнаго право-

славнаго просвѣщенія, уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ старался пополнить пробѣлы своихъ знаній, стоявшихъ тогда на обыкновенномъ уровнѣ московскаго книжничества, и научился по-латыни, чтобъ имѣть возможность ближе познакомиться съ церковной литературой. Такимъ образомъ, сила вещей заставляла знакомиться съ умственнымъ движеніемъ на западѣ. Еще раньше отрывочные отголоски западнаго рационализма сказывались въ новгородскихъ ересяхъ; теперь являлась новая ступень знакомства съ западною литературой, — какъ увидимъ, еще односторонняя и недостаточная: во всякомъ случаѣ становилось очевиднымъ, что русская умственная жизнь не можетъ ограничиться предѣлами тѣхъ „писаній“, которыя, въ глазахъ старыхъ книжниковъ, какъ Іосифъ Волоцкій, исчерпывали всю божественную и человѣческую мудрость.

Въ какомъ же отношеніи находилось въ дѣйствительности русское просвѣщеніе къ тому, что совершалось въ эти самые вѣка на западѣ? Мы видѣли раньше размѣры русскаго просвѣщенія: это было накопленіе церковной литературы, большая масса которой была получена готовою изъ южно-славянскаго источника и которой только часть была результатомъ собственнаго труда русскихъ переводчиковъ; эта письменность сохраняла давній традиціонный характеръ, такъ что кромѣ догматическаго ученія, признаваемаго неизмѣннымъ, остался неизмѣннымъ и весь кругъ знанія. Мы видѣли, напримѣръ, тотъ же архаическій характеръ знаній историческихъ, знаній о природѣ, то же отсутствіе школы, которая могла бы научить хотя бы грамматикѣ и основнымъ понятіямъ наукъ; въ сущности, обычный книжникъ XVII-го вѣка ничѣмъ не отличался отъ книжника XI-го столѣтія не только по характеру своихъ знаній, но иногда и по самому ихъ объему, когда, напримѣръ, понятія о природѣ у обоихъ основывались на древнемъ „Шестодневѣ“, Козьмѣ Индикопловѣ, Меѳодіи Патарскомъ и т. п. До этого книжника не коснулось все то движеніе, которое съ самаго начала среднихъ вѣковъ совершалось на европейскомъ западѣ. Единственное отношеніе къ этому западу состояло въ ожесточенной ненависти къ „латинѣ“, ненависти, унаслѣдованной отъ грековъ, которые доставили и весь матеріалъ для догматической борьбы съ католицизмомъ. Европейскій западъ представлялся старинному русскому человѣку только въ этомъ единственномъ освѣщеніи: отрицаніе латины дошло до того, что она сочтена была „поганою“ наравнѣ съ какимъ-нибудь язычествомъ или магометанствомъ; отъ нея открепщивались, и, конечно, нельзя было что-нибудь взять отъ нея изъ опасенія, что можетъ пристать ея зараза; такъ русскіе люди боялись иностранцевъ

еще и въ XVII столѣтіи. Съ другой стороны, издавна заподозрѣно было и то свѣтское мірское знаніе, которымъ русскіе люди, по-видимому, могли бы заимствоваться отъ запада. Въ нашей книжности до самаго конца стараго періода держалось опасливое недовѣріе къ этому мірскому знанію: это недовѣріе въ первый разъ вычитано было у церковныхъ писателей, когда отцы церкви первыхъ вѣковъ, въ борьбѣ противъ сильнаго еще язычества, предостерегали вѣрныхъ отъ „внѣшнихъ философовъ“, т.-е. не принадлежавшихъ къ церкви, когда „еллинская мудрость“ приравнивалась къ языческому заблужденію, когда самое слово „еллинъ“, относившееся къ античной Греціи, стало синонимомъ языческаго, поганаго, и „еллинъ“ былъ „треклятый“. Правда,—какъ было, напр., въ Шестодневѣ, повторявшемъ древнихъ отцовъ церкви,—въ первые вѣка было еще памятно авторитетное значеніе античныхъ писателей, и ихъ имена назывались съ извѣстнымъ почтеніемъ, но у насъ никогда не были извѣстны эти Платонъ и Аристотель, этотъ „Таллъ“ (Θалесъ) и т. д., и въ понятіяхъ нашихъ книжниковъ относительно античнаго міра господствовало почти только представленіе о треклятомъ еллинствѣ.

На средневѣковомъ западѣ это представленіе едва существовало только въ самую первую пору. Въ западномъ христіанствѣ, при всемъ отрицаніи и осужденіи древняго язычества, латинская литература издавна явилась связующимъ звеномъ съ литературными преданіями классическаго міра. Новѣйшіе изслѣдователи, послѣ того какъ ближе изучены были средневѣковые памятники, почти затрудняются говорить о „Возрожденіи“; обычное представленіе о XV вѣкѣ, какъ эпохѣ этого Возрожденія, оказывалось все болѣе неточнымъ, потому что внимательное изученіе отодвигало все дальше въ глубь среднихъ вѣковъ первое возникновеніе античныхъ вліяній,—къ концу среднихъ вѣковъ можно было говорить только о количественномъ ихъ распространеніи, а не о началѣ. Напримѣръ, пока на западѣ еще не знали подлиннаго греческаго Аристотеля, его знали на латинскомъ языкѣ изъ арабскаго и еврейскаго источника, и онъ бывалъ уже величайшимъ авторитетомъ схоластической философіи; въ монастырскихъ бібліотекахъ хранились древнія рукописи античныхъ писателей и т. п. Но дѣйствительно, въ XIV—XV вѣкѣ античныя вліянія распространились могущественнымъ потокомъ, которымъ опредѣлилось, наконецъ, господствующее настроеніе европейской науки, а затѣмъ и литературы. Извѣстно, какъ различными путями образовалось это распространеніе античнаго духа: живая умственная дѣятельность на западѣ, особенно въ ближайшей сосѣдѣ грековъ,

Италіи, давно уже привлекала византійскихъ ученыхъ, которые переселялись въ Италію, находя здѣсь усердныхъ учениковъ, какихъ уже не доставало дома; итальянцы отправлялись въ Константинополь и даже на азіатскій востокъ для собиранія греческихъ рукописей; съ начала XV-го вѣка и особливо послѣ паденія Константинополя, Италія стала по преимуществу наслѣдницей тѣхъ сокровищъ античной литературы, какія хранились въ Византіи. Античныя вліянія охватили ученый и книжный міръ Италіи, а затѣмъ и другихъ странъ западной Европы, съ невиданною прежде силой, что и заставило говорить о Возрожденіи. Новые изслѣдователи, повидимому, нѣсколько ограничиваютъ прежнее представленіе о значеніи гуманизма XV-го вѣка въ судьбахъ европейской образованности и находятъ, что античные элементы встрѣчали уже подготовленную почву въ самостоятельно развивавшихся стремленіяхъ европейской мысли, на первый разъ особенно въ Италіи; во всякомъ случаѣ увлеченіе античнымъ міромъ соединялось съ развитіемъ духа критики, который уже вскорѣ сказался въ необычайныхъ успѣхахъ науки. Вслѣдъ за первыми литературными вліяніями античной литературы полагаются основы классическихъ изученій, которыя уже въ XVI вѣкѣ были представлены грандіозными памятниками науки. Укажемъ нѣсколько хронологическихъ датъ, которыя наглядно представляютъ положеніе европейскаго просвѣщенія въ концѣ XV-го и въ первой половинѣ XVI-го вѣка, сравнительно съ тѣмъ, что было въ ту пору русское просвѣщеніе.

Наиболѣе широкое развитіе Возрожденія совершалось въ Италіи, и столицею его была Флоренція, гдѣ знаменитыми покровителями классическихъ изученій были Козьма и Лоренцо Медичи (послѣдній умеръ въ 1492). Лоренцо собралъ при своемъ дворѣ цѣлый кругъ знаменитыхъ ученыхъ и писателей, какъ Анджело Полиціано, Марсиліо Фичино, Пико Мирандола, Луиджи Пульчи. Ближайшими предшественниками этихъ дѣятелей Возрожденія были ученые греки, поселявшіеся въ Италіи и пересаждавшіе сюда преданія своей науки; таковы были: Эммануилъ Хризолорасъ (ум. 1415), Θεодоръ Газа (ум. 1474), Георгій Трапезунтскій (ум. 1484), Георгій Гемистъ Плетонъ, первый проповѣдникъ платоновской философіи; послѣ паденія Константинополя прибыли еще Калинникъ, Халкондиль, Ласкарисъ и др., которые пріобрѣтали ревностныхъ учениковъ. Мы замѣчали выше, что итальянскіе послѣдователи ихъ искали на востокѣ, въ Малой Азіи, на островѣ Критѣ, древнихъ рукописей, и дѣйствительно вывезли

въ Италію Платона, Ксенофонта, Діона Кассія, Страбона, Лукіана, искали и находили рукописи въ Германіи.

Изобрѣтеніе книгопечатанія послужило, между прочимъ, сильнымъ рычагомъ для развитія классическихъ изученій, распространяя древнихъ писателей, и опять Италіи принадлежитъ знаменитое имя Альда Мануція (Мануччи) въ концѣ XV-го вѣка.

Изъ Италіи гуманизмъ быстро распространяется въ другихъ странахъ западной Европы. Франція въ концѣ XV и въ XVI столѣтіи представляетъ рядъ именъ, славныхъ въ исторіи науки: таковы были: Бюде (1467—1510), Лефевръ Этапльскій (Faber Stapulensis, 1440—1537), Казобонъ, Сомезъ (Salmasius), Скалигеръ и въ особенности два Этьенна, Робертъ и Генрихъ (Robertus и Henricus Stephanus). Въ Англіи въ первой половинѣ XVI вѣка были уже знаменитые гуманисты Колетъ (ум. 1519), духовное лицо и врагъ схоластики и обскурантизма, и Томасъ Морусъ, авторъ столь извѣстной „Утопіи“. Голландія имѣла своихъ гуманистовъ, какъ Гергардъ Гротъ, Оома Кемпійскій, хотя мистикъ (1380—1472), Вессель (1419—1489), Агрикола (1443—1485), и въ особенности знаменитый Эразмъ Роттердамскій (1467—1536). Въ Германіи особеннымъ распространителемъ гуманистическаго направленія былъ Конрадъ Целтесъ (1459—1508), Рейхлинъ (1455—1522) и др. Въ 1516 году вышли уже знаменитыя „Письма темныхъ людей“.

Въ концѣ концовъ создавался новый міръ понятій, который окончательно удалялъ средневѣковое міровоззрѣніе и начиналъ новую исторію европейской мысли и самаго общества. На мѣсто схоластики и ея авторитетовъ становилось свободное критическое изслѣдованіе и старыя формы жизни, а съ нею литературы смѣнялись новыми стремленіями, гдѣ все съ большею силою выступали требованія личной и общественной свободы и требованія свободного изслѣдованія. Старые принципы не уступали своего давняго авторитета безъ борьбы, которая идетъ и до настоящаго времени; но рядомъ съ этимъ совершались неодолимыя завоеванія науки. Печать расширяла вліяніе литературы на громадный кругъ читателей, какого прежде не существовало. Географическія открытія, которыя исходили изъ понятій, совсѣмъ не похожихъ на средневѣковыя, удаляли эти послѣднія, какъ фактами доказанную нелѣпость. Новое движеніе распространялось и на изученія природы. Въ XV вѣкѣ Региомонтанъ (1436—1476) былъ уже предшественникомъ Коперника (1473—1543), котораго система была въ наукѣ однимъ изъ величайшихъ событій. Возбужденіе умовъ отразилось громаднымъ переворотомъ и въ судьбахъ

римской церкви: гусситство XV вѣка завершилось въ началѣ XVI реформаціей. Для европейской науки наступила эпоха все большаго развитія критической мысли во всѣхъ отрасляхъ знанія: мы уже имѣли случай указывать, что въ XVII, даже въ XVI вѣкѣ начинается *научное* изданіе и изслѣдованіе, между прочимъ тѣхъ церковныхъ писателей и тѣхъ сказаній, которые у насъ принимались еще съ полною непосредственностью средневѣковаго преданія.

Очевидно, что между этимъ непосредственнымъ преданіемъ, которое еще нераздѣльно господствовало въ нашей письменности, и духомъ изслѣдованія, который становился все болѣе жизненной потребностью западной европейской мысли, лежала цѣлая пропасть. Этотъ духъ изслѣдованія былъ бы у насъ непонятенъ; все отношеніе къ западному міру было, по преданію, конфессіональное; научная сторона движенія оставалась недоступной. Жизнь заявляла, однако, свои требованія: Россія была все-таки въ со-сѣдствѣ съ этимъ западомъ; возникали все болѣе близкія отношенія политическія и отношенія церковныя,—когда, въ эпоху паденія Византіи, возникала, между прочимъ со стороны самихъ грековъ, мысль о соединеніи церквей и когда, послѣ взрыва ре-формаціи, католицизмъ надѣялся вознаградить свои потери при-обрѣтеніями на востокѣ, и дѣлались попытки пропаганды въ самой Москвѣ послѣ того, какъ были уже получены нѣкоторыя устѣхи въ западной Руси; потребности государственной жизни вызывали необходимость въ западномъ знаніи и искусствахъ; отголоски европейской науки заходили и въ русскую книгу,—но прямого сближенія или даже встрѣчи не было. Предстояло почти еще два вѣка опытовъ и колебаній для того, чтобы образовалось болѣе определенное сознаніе необходимости европейской науки и ея органическаго введенія въ жизнь. Мы не удивимся, что это сознаніе приобрѣталось такъ медленно, если вспомнимъ, что черезъ другіе два вѣка послѣ начала Петровскихъ преобразованій право научнаго изслѣдованія еще не имѣетъ у насъ этого органическаго значенія.

Наконецъ, внутренніе вопросы русской жизни, какъ они вы-разились въ броженіи ересей и въ борьбѣ съ ними, въ спорахъ о монастырскихъ имѣніяхъ и т. д.,—когда, напр., еретики „изпре-вращали“ священныя книги, именно псалтирь, когда противопо-ставлялись различныя свидѣтельства „божественныхъ писаній“,—требовали участія болѣе глубокаго знанія, чѣмъ какое имѣлось на лицо. Понадобился ученый святогорецъ.

Вызовъ святогорца послѣдовалъ въ 1515 году. Въ мартѣ этого года великій князь Василій Ивановичъ послалъ къ проту аеонской горы и всѣмъ ея игуменамъ, духовнымъ старцамъ и инокамъ, чтобы они прислали съ его людьми, Василиемъ Копыломъ и Иваномъ Варавинымъ, „изъ Ватопета монастыря старца Саву переводчика книжново на время, а тѣмъ бы есте намъ послужили, а мы оужъ дастъ Богъ, его пожаловавъ, опять къ вамъ отпустимъ“.

Эта просьба рисуеъ положеніе вещей. Въ русскомъ царствѣ, видимо, не находилось „переводчика книжнаго“, на котораго можно было бы положиться — въ какомъ-то случившемся книжномъ дѣлѣ. Желаніе великаго князя было удовлетворено не вполне. Послать старца Саву было нельзя, потому что „господинъ Сава“ былъ старецъ многолѣтній и немощенъ ногами, такъ что не могъ выдержать путешествія, но вмѣсто него посланы были трое другихъ и въ числѣ ихъ старецъ Максимъ. Полагаютъ, что просьба была въ то же время направлена къ патріарху константинопольскому, который также заботился о пріисканіи способнаго человѣка. Въ отвѣтной грамотѣ съ Аеона, игуменъ Ватопедскаго монастыря, извѣщая московскаго митрополита Варлаама объ отпускѣ въ Россію Максима Грека, какъ человѣка весьма ученаго, прибавляетъ однако: „но убо языка не вѣсть русскаго, развѣ греческаго и латынскаго“. Это противорѣчіе съ просьбой именно о „переводчикѣ“ (какимъ не могъ быть Максимъ, по незнанію русскаго языка) объясняютъ тѣмъ, что греки, именно патріархъ, имѣли въ виду свои соображенія: судя по дальнѣйшимъ дѣйствіямъ Максима Грека, отъ него ожидалось, что онъ будетъ вообще заботиться въ Москвѣ объ интересахъ угнетенной Греціи, противодѣйствовать стремленіямъ папѣ подчинить себѣ русскую церковь и разузнавать: не было ли бы возможно возстановленіе прежняго значенія константинопольской патріархіи въ русской церкви. Максимъ Грекъ имѣлъ обширныя знанія въ церковной литературѣ, зналъ положеніе дѣлъ на западѣ и въ Греціи, самъ былъ горячимъ греческимъ патріотомъ; ему недоставало знанія русскаго языка, но съ Аеона писали въ Москву: „надѣемъ же ся яко и русскому языку борзо навькнетъ“ и вмѣстѣ съ нимъ отправили еще нѣсколькихъ монаховъ — грека, болгарина и русскаго, быть можетъ въ предположеніи, что они станутъ его помощниками въ переводахъ. Въ Москвѣ, какъ увидимъ, нашлись однако свои помощники.

Годъ рожденія Максима Грека неизвѣстенъ. Полагаютъ, что онъ родился около 1480 года. „Рожденіе его отъ Арты града

(въ Албаніи), — говоритъ одно сказаніе объ его жизни: — отца же Мануила и матери Ирины, христіанъ, грековъ, философовъ“ (сынъ). Въ другомъ сказаніи онъ названъ воеводскимъ сыномъ, а названіе его родителей „философами“ обозначаетъ, что это были люди просвѣщенные. Въ своемъ „исповѣданіи православной вѣры“, Максимъ говоритъ о себѣ: „грекъ бо азъ и въ греческой земли и родився и воспитанъ и постригся въ иноки“. Но воспитаніе его не ограничилось Греціей. Повидимому еще юншей онъ отправился, очевидно для довершенія своего образованія, въ Италію. Греческая литература была въ упадкѣ; люди съ научными интересами уходили въ Италію; самъ Максимъ Грекъ замѣчаетъ, что въ его время науки въ Греціи „совершенно угасли и дошли до послѣдняго дыханія“; для истинной науки, особливо послѣ паденія Константинополя, самимъ грекамъ приходилось отправляться въ Италію. Новѣйшіе біографы Максима Грека полагаютъ, что онъ учился, кромѣ Италіи, еще и въ Парижѣ, даже въ Испаніи ¹⁾, но гораздо вѣроятнѣе, что ученіе ограничилось только Италіей, особенно во Флоренціи и въ Венеціи, потому что о Парижѣ въ его сочиненіяхъ говорится всегда только по слуху. Объ Италіи, въ отношеніи своей науки, онъ сохранилъ самыя лучшія воспоминанія; въ „Повѣсти страшной и достопамятной о совершенномъ иноческомъ жителствѣ“ онъ говоритъ о мужахъ, „добродѣтелию житія и премудростію многую украшенныхъ, у нихъ же азъ, зѣло юнъ сый, пожихъ лѣта довольна“, — это было именно въ Италіи ²⁾. Въ другомъ сказаніи („о священномъ образѣ Спаса Христа, его же называютъ уныніе“) онъ упоминаетъ, что слышалъ его въ юности въ Италіи: „азъ такову повѣсть пріяхъ отъ достовѣрныхъ мужей италіанехъ, у нихъ же живый время довольно, юнъ еще сый, мірскаго житія держася“ ³⁾. И въ другихъ случаяхъ онъ упоминаетъ о томъ, чему былъ „слышатель и самовидецъ“ въ Италіи — во Флоренціи, Венеціи, Миланѣ, Феррарѣ: онъ зналъ Анджело Полиціано (ум. 1494); въ Венеціи онъ зналъ знаменитаго Альда Мануція: „философъ добре хитръ“, который хорошо зналъ по-римски и по-гречески; Максимъ „въ нему часто хаживалъ книжнымъ дѣломъ“, когда самъ былъ еще молодъ, „въ мірскихъ платьяхъ“. Вообще его заботой было учиться у нарочитыхъ учителей; по словамъ его, онъ „многа и различна самъ прочетъ писанія, христіанска же и сложена виѣшними мудрецы, и доволну ду-

¹⁾ Ср. въ казанскомъ изданіи Максима Грека, часть I, стр. 6.

²⁾ Казанское изданіе, III, стр. 178.

³⁾ Тамъ же, III, стр. 123.

шевную пользу оттуду приобрѣлъ“. И дѣйствительно онъ цитируетъ поэтовъ, какъ Гомеръ и Гезіодъ; философовъ, какъ Пиеагоръ, Сократъ, Платонъ, Аристотель, Эпикуръ; историковъ, какъ Фузидидъ, Плутархъ и т. д.; писатели церковные были извѣстны ему, конечно, ближе, чѣмъ самымъ усерднымъ русскимъ начеучикамъ, потому что онъ зналъ эту литературу въ источникахъ и умѣлъ отличать подлинное отъ подложнаго.

Въ Парижѣ, какъ мы замѣчали, онъ вѣроятно, не былъ ¹⁾; но онъ слышалъ о парижскихъ школахъ и былъ о нихъ весьма высокаго мнѣнія. „Парижъ градъ,—разсказываетъ онъ,—есть нарочить и многочисловѣченъ въ Галліяхъ, яже нынѣ глаголются Франза, держава велія и преславна и богатѣи безчисленными благами, ихъ же первое и изрядное есть, еже отъ философскихъ и богословскихъ догматѣхъ наказаніе же и тицаніе туне ²⁾ подаема всѣмъ вкупѣ рачителемъ сицевыхъ изрядныхъ ученій, казателемъ бо сицевыхъ ученій оброки ³⁾ обильны даются во вся лѣта отъ царскихъ сокровищъ; по многому любочестію царствующаго тамо и его же имать желанію о словесномъ художествѣ тамо обрящени всякое художество не точію нашего благочестиваго богословія и философія священныя, но и внѣшняго наказанія всяческая учения въ совершенно достиженіе свое руководяща рачителя своя, ихъ же множество многочисленно зѣло, *яко же слымазъ* отъ нѣкихъ; отсюду бо западныхъ странъ и сѣверскихъ собираются въ предреченомъ великомъ градѣ Парисіи желаніемъ словесныхъ художествъ не точію сынове простѣйшихъ чловѣкъ, но и самѣхъ, иже въ царскую высоту и боярскаго и княжескаго сана: овѣхъ убо сынове, овѣхъ же братія, овѣхъ же внучата и инако сродники, ихъ же вождо время довольно во ученіихъ прилѣжно упразднявся возвращается во свою страну, преполонъ всякія премудрости и разума, и есть сицевый украшеніе и похвала своему отечеству, совѣтникъ бо ему есть предобръ и предстатель искусенъ и споспѣшникъ ему добрѣйшій во вся, елика потребна ему будетъ“ ⁴⁾. Онъ видѣлъ въ этомъ высокій примѣръ, достойный подражанія.

Но особенно памятна ему была во Флоренціи личность знаменитаго Савонаролы. „Флоренція градъ,—разсказываетъ онъ,—есть прекраснѣйшій и предобрѣйшій сущихъ въ Италиіи градовъ,

¹⁾ Хотя Курбскій говоритъ, что Максимъ Грекъ былъ „ученикъ славнаго Іоанна Ласкаря, учащеся отъ него въ Паризіи философій“. Думаютъ однако, что Максимъ Грекъ могъ учиться у него въ Венеціи.

²⁾ Т.-е. даромъ, безплатно.

³⁾ Жалованье.

⁴⁾ Тамъ же, III, стр. 179—180.

ихъ же самъ видѣхъ; въ томъ градѣ монастырь есть мниховъ, отчина глаголемыхъ по-латински предикаторовъ, еже есть божіихъ проповѣдниковъ; храмъ же священныя сея обители святѣйшаго апостола и евангелиста Марка получивъ призирателя и предста-теля. Въ сей обители игуменъ бысть нѣкій священный инокъ, Іеронимъ званіемъ, латининъ и родомъ и ученіемъ, преполовъ всякіа премудрости и разума богодохновенныхъ писаній и внѣш-няго наказанія, сирѣчь философіи, подвижникъ презѣленъ и бже-ственною ревностію довольно украшаемъ "... Онъ рассказываетъ, какъ Іеронимъ, разжегшись ревностію божіею, сталъ проповѣдо-вать жителямъ того города и возымѣлъ на нихъ такое дѣйствіе, что множество людей, возлюбивши его крѣпкія и спасительныя ученія, отступило отъ своихъ пороковъ; но зато тѣмъ больше враждовала противъ него другая половина жителей; не устрасаясь этого, Іеронимъ продолжалъ свои обличенія „жесточайшими сло-вами“, такъ что его стали называть еретикомъ, потому что обли-ченія свои онъ распространялъ даже на „священнаго“ ихъ папу. Рассказавъ о томъ, что наконецъ Іеронимъ былъ осужденъ, какъ по-рицатель римской церкви, и сожженъ вмѣстѣ съ другими двумя священными мужами, Максимъ Грекъ говоритъ: „Таковъ конецъ житію преподобныхъ онѣхъ тріехъ инокъ и таково имъ возмездіе о подвижѣ, яже за благочестіе отъ непреподобнѣйшаго ихъ папы Александра,—тогда бѣ Александръ, иже отъ Испаніи, иже вся-кимъ неправдованіемъ и злобою превзыде всякого законопреступ-ника ¹⁾. Авъ же толико совѣтенъ бывати неправеднымъ онѣмъ судіамъ отстою ²⁾, яко и прикладовалъ бы убо ихъ ³⁾ съ радо-стію древнимъ защитителемъ благочестію, аще не быша латыня вѣрою, ту же бо ревность древнимъ теплѣйшу за славу Спаса Христа и за спасеніе и исправленіе вѣрныхъ позналъ есмь въ преподобнѣхъ онѣхъ иноцѣхъ,—не отъ иного слышалъ, но самъ ихъ видѣвъ и въ поученіихъ ихъ многаяжды прилучився, не точію же ту же древнимъ ревность за благочестіе познахъ въ нихъ, но еще и ту же имъ премудрость и разумъ и искуство богодохно-венныхъ писаній и внѣшнихъ познахъ въ нихъ, и множайше нѣхъ въ Іеронимѣ, иже на два часа, есть когда и больша, стоя на сѣ-далищѣ учительномъ ⁴⁾, видяшеся изливая имъ струя учительна пре-обильно, не книгу держа и приѣмля оттуда свидѣтельства пока-зательна своихъ словесъ, но отъ сокровища великіа его памяти,

¹⁾ Это былъ извѣстный Александръ VI Борджіа.

²⁾ Т.-е.: я такъ далекъ отъ согласія съ этими неправедными судьями.

³⁾ Сравнилъ бы этихъ трехъ иноковъ.

⁴⁾ На кафедрѣ.

въ ней же сокровенъ былъ всякъ богомудренъ разумъ искусства святыхъ писаній“.

Онъ спѣшитъ, однако, оговориться, чтобы похвалу Іерониму не приняли за одобреніе самой латинской вѣры (дальше увидимъ, что онъ легко могъ опасаться подобнаго перетолкованія):

„Сія же пишу не яко да покажу латинскую вѣру чисту, совершену и прямоходящу во всѣхъ,—да не будетъ во мнѣ таково безуміе,—но да яко покажу православнымъ, яко и неуправомудренныхъ у латынѣхъ есть попеченіе и прилѣжаніе евангельскихъ спасительныхъ заповѣдей и ревность за вѣру Спаса Христа, аще и не по совершенному разуму, якоже глаголетъ божественный Павелъ апостолъ о неповоривыхъ іудеехъ: свѣдѣтельствую бо имъ, яко божію ревность имутъ, а не по совершенному разуму; сице и латыне, аще и во многихъ соблазнилися, чюжа вѣкая и странная ученія приводяще, отъ сущаго въ нихъ многоученнаго еллинскаго наказанія прельщаеми, но и не до конца отпадоша вѣры и надежды и любви, яже во Спаса Христа, его же ради ко святымъ его заповѣдемъ уставляють прилѣжно иноческое ихъ пребываніе сущи у нихъ мнихи, ихъ же единомудренно и братолюбно и нестяжательно и молчаливо и безпечно и востанливо ко спасенію многихъ, подобаетъ и намъ подражати, да не обрящемся ихъ вторіи“¹⁾.

Такова была школа и таковы юношескія впечатлѣнія, которыя, какъ видимъ, остались у Максима на всю жизнь. Его дальнѣйшія писанія указываютъ, что онъ дѣйствительно до значительной степени овладѣлъ приѣмами тогдашняго филологическаго знанія; но онъ не сдѣлался однако гуманистомъ въ тогдашнемъ итальянскомъ смыслѣ: въ самой Италіи могущественный противовѣсъ этому направленію онъ нашелъ въ ученіяхъ Савонаролы. Этотъ восторженный проповѣдникъ, увлекавшій за собою массы, сильно подѣйствовалъ и на молодого грека, который бывалъ въ толпѣ его слушателей: то поражающее дѣйствіе, какое производилъ Савонарола, явилось для Максима Грека живымъ идеаломъ христіанской проповѣди въ средѣ испорченнаго общества,—какимъ, между прочимъ, и русское общество того вѣка представлялось для самихъ русскихъ церковныхъ моралистовъ. Это впечатлѣніе поддержано было потомъ многолѣтнимъ пребываніемъ на Аѳонѣ. Та релігіозная ревность, какую нѣкогда возбудилъ въ немъ Савонарола, нашла здѣсь свою новую школу: Ватопедская обитель, въ кото-

¹⁾ Не окажемся вторыми послѣ нихъ, не отстанемъ отъ нихъ. Тамъ же, III, стр. 194—203; ср. здѣсь же описаніе латинскаго монашества, стр. 184 и слѣд.

рую онъ вступилъ, была особенно богата книгами, и здѣсь Максимъ, вѣроятно, въ особенности прибрѣлъ свои обширныя знанія въ церковной литературѣ. Онъ совершалъ также и другіе труды аеонскаго подвижничества: въ позднѣйшемъ посланіи къ митрополиту Макарію онъ вспоминаетъ, что, по повелѣнію своихъ преподобныхъ отцовъ въ Ватопедѣ, онъ былъ посылаемъ „по милостыню“, „свѣтло проповѣдалъ православную вѣру“. Къ тому времени, когда онъ былъ посланъ въ Москву, это былъ уже сложившійся характеръ ученаго богослова, непоколебимаго ревнителя вѣры, а также горячаго греческаго патріота, для котораго надежды на возрожденіе отечества заключались въ ту минуту въ поддержаніи православія и авторитета греческой церкви.

Если представить себѣ человѣка такого характера въ средѣ тогдашней русской жизни, гдѣ онъ долженъ былъ встрѣтить какъ различнаго рода „нестроенія“, такъ въ особенности крайне низкій уровень книжнаго образованія, то можно было бы впередъ ожидать, что при всемъ благочестіи обѣихъ сторонъ онъ долженъ былъ придти въ различные столкновенія со своей новой средой. Такъ дѣйствительно и случилось.

Онъ прибылъ въ Москву не тѣмъ книжнымъ переводчикомъ, каковаго тамъ ожидали; поэтому тамъ повидимому полагали сначала, что онъ пришелъ за милостынею, какъ приходили другіе греки и аеонскіе старцы: въ лѣтописи записано, что старцы отъ аеонской горы именно пришли бить челомъ о милостынѣ¹⁾. Максимъ принятъ былъ великимъ княземъ и митрополитомъ Варлаамомъ съ большою честью. Великій князь показалъ Максиму, какъ чело-
вѣку ученому, свою библіотеку, въ которой было множество греческихъ книгъ, и она поразила Максима своимъ богатствомъ: „вся Греція,—говоритъ онъ,—не имѣетъ такого богатства, ни Италія“. Эта библіотека, — для разысканія которой предприняты въ настоящее время археологическіе поиски въ Кремлѣ,—составилась, вѣроятно, изъ книгъ, отчасти собранныхъ древними князьями, отчасти вывезенныхъ въ Москву изъ Рима съ греческою царевною Софіею; отчасти, наконецъ, изъ книгъ, приносимыхъ различными пришельцами изъ Греціи. Въ этой библіотекѣ находилась и толковая Псалтирь, которую поручено было перевести Максиму Греку. Такъ какъ онъ „мало разумѣлъ“ тогда церковно-славянскій языкъ, то въ помощники ему дали Дмитрія Герасимова и Власія, а писцами — монаха Сергіева монастыря Сильвана и Михаила Медоварцева. Дмитрій Герасимовъ былъ по своему времени ученый

¹⁾ Полн. собр. лѣтоп., VI, стр. 261.

человѣкъ: онъ учился въ Ливоніи, зналъ латинскій и нѣмецкій языки, не однажды бывалъ въ чужихъ краяхъ, исполняя дипломатическія порученія, между прочимъ въ Римѣ сообщалъ свѣденія о Россіи Павлу Іовію, и оставилъ нѣсколько русскихъ сочиненій; Власій также бывалъ въ посольствахъ, былъ посредникомъ въ сношеніяхъ съ Герберштейномъ, сообщалъ свѣденія о Россіи Іоганну Фаберу. Дмитрій Герасимовъ такъ писалъ къ одному дьяку о своей работѣ съ Максимомъ Грекомъ: „нынѣ, господине, Максимъ Грекъ переводитъ Псалтирь съ греческаго толковую великому князю, а мы съ Власомъ у него сидимъ перемѣняясь: онъ сказываетъ по-латынски, а мы сказываемъ по-русски писаремъ; а въ ней 24 толковника“. Трудъ перевода занялъ годъ и пять мѣсяцевъ, и едва ли не въ первый разъ въ русской письменности переводъ обставленъ былъ сознательными критическими приѣмами. Толкованіе къ Псалтири было сборное, и такъ какъ толкователи въ различныхъ случаяхъ не сходились одинъ съ другимъ, то Максимъ Грекъ прибавилъ къ своей работѣ особое посланіе къ великому князю, которое было и введеніемъ къ самой книгѣ: Максимъ Грекъ далъ историческія свѣденія о толкователяхъ, указавъ ихъ различныя направленія и степень ихъ православія, потому что нѣкоторые изъ нихъ были признаны еретиками; переводъ былъ труденъ какъ по самому переложенію греческаго языка на церковно-славянскій, такъ и по неисправности книги,—на устраненіе этихъ затрудненій переводчикъ полагалъ „прилежаніе превеле“; но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оставилъ какъ было, „гдѣ ниже отъ книгъ, ниже отъ себе умыслити никоея цѣльбы возможно“. Уже при этой первой работѣ нѣкоторые изъ участниковъ ея высказывали недовѣріе къ исправленіямъ Максима Грека ¹⁾; поэтому онъ приводитъ примѣры своихъ поправокъ и считаетъ нужнымъ увѣрить, что руководился „не дерзостію, ниже гордостію, но ревностію лучшаго со всѣмъ прилежаніемъ и любовію истинны“. Конечно,—замѣчаетъ онъ скромно,—книга требовала бы болѣе искуснаго переводчика и въ его работѣ могутъ встрѣтиться недостатки по человѣческой немощи, и онъ просилъ у читателя снисхожденія,—но все-таки думалъ, что для настоящаго сужденія объ его трудѣ нужны люди свѣдущіе: „аще будутъ отъ сильныхъ въ разсужденіи греческаго гласа глубоко разумнаго, аще граматичными художествами и риторскою силою вооружени будутъ довольны“.

¹⁾ Обыкновенно простимъ грамматическимъ или удалившимъ явныя несообразности.

Великій князь передалъ трудъ Максима на разсмотрѣніе митрополита Варлаама, и черезъ нѣкоторое время митрополитъ явился къ великому князю со всѣмъ соборомъ и клирикомъ несть новопереведенію Псалтирь: церковныя власти отозвались о книгѣ съ великими похвалами и называли ее „источникомъ благочестія“. Князь почтилъ трудившагося не только великими похвалами, но и „сугубою мздою“. Затѣмъ онъ отпустилъ спутниковъ Максима въ Святую гору, пославши съ ними богатую милостыню, но Максима удержалъ, имѣя въ виду воспользоваться имъ для другихъ трудовъ. Еще до окончанія Псалтири Максимъ Грекъ совершилъ нѣсколько другихъ работъ по порученію митрополита: это были новыя переводы разныхъ священныхъ книгъ, церковныхъ правилъ; по порученію великаго князя, онъ пересматривалъ книги богослужебныя. Онъ занимался опять съ помощію переводчиковъ, съ которыми говорилъ „латинскою бесѣдою“: и здѣсь онъ опять нашелъ важныя ошибки, въ которыхъ искажалась, наконецъ, самая христіанская догматика. Впослѣдствіи, много лѣтъ спустя, Максимъ не однажды возвращался къ этому книжному исправленію, которое уже вскорѣ навлекло ему ожесточенную вражду со стороны людей, воспитавшихся въ слѣпой вѣрѣ въ буквѣ писаній, хотя бы въ спискахъ онѣ были изуродованы ¹⁾. Ему пришлось оправдываться передъ цѣлымъ соборомъ по обвиненіямъ въ порчѣ книгъ и даже въ ереси. Онъ пишетъ: „Богъ, иже всѣхъ Содѣтель и Господь единъ, вѣдый сердца человеческая, предъ нимъ же нѣсть тварь не явлена ни едина, но вся обнажена и объявлена предъ нимъ, свидѣтель вамъ благовѣрнѣйшимъ отъ мене недостойнаго инока Максима святогорца, яко ничто же по лицемѣрію, ли чрезъ уставъ ²⁾ богодохновенныхъ отецъ, ниже пишу, ниже вѣщаю къ вашему благовѣрію, ниже лаская вамъ, аки желая получить славу нѣкую привременную и отраду отъ лютыхъ, въ нихъ же одержимъ есмь лютѣ 18 лѣтъ; но убо божественною ревностію жегомъ, о немъ же возбраненъ есмь нѣкими, служити Богу же и вамъ, въ нихъ же силенъ есмь благодатию Христовою, глаголю же въ преводѣ и исправленіи книжномъ, ово же и охапемъ ³⁾ не мало, о немъ же нѣдци, не вѣмъ что ся случивше имъ, враждебнѣ ко мнѣ имущимся, ере-

¹⁾ См. именно: „Инокъ Максима Грека слово отвѣщательно о исправленіи книгъ русскихъ“ и другое „Слово отвѣщательно о книжномъ исправленіи“, въ казанскомъ изданіи, III, стр. 60—92, и другія статьи по поводу различныхъ текстовъ церковныхъ книгъ.

²⁾ Т.-е. нарушая уставъ.

³⁾ Т.-е. угрызаемъ.

тика мене называютъ и богодохновенныя книги растлѣвающа, а не правяща, иже и слово воздадать Господеву ¹⁾, яко не точію возбраняють таковому богоугодному дѣлу, но зане къ сему и мене бѣднаго, неповинна суща, клеветуютъ и ненавидятъ, аки еретика, и чрезъ всякого закона ²⁾ христіанскаго отлучаютъ пречистыхъ даровъ Христовыхъ, но о сущемъ убо во мнѣ и соблюдаемомъ исповѣданіи православныя вѣры довольна вамъ во увѣреніе писанная мною въ ливеллѣ ³⁾ моего отвѣта. А яко не порчу священныя книги, яко же клеветуютъ мя враждующіи ми всуе, но прилѣжнѣ и всякимъ вниманіемъ и божіимъ страхомъ и правымъ разумомъ исправляю ихъ, въ нихъ же растлѣшася ово убо отъ преписующихъ ихъ ненаученныхъ сущихъ и неискусныхъ въ разумѣ и хитрости граматикійстѣй, ово же и отъ самѣхъ исперва сотворшихъ книжный преводъ, приснопамятныхъ мужей, речетъ бо ся истина: есть нѣгдѣ неполно разумѣвшихъ силу еллинскихъ рѣчей и сего ради далече истины отпадоша, еллинска бо бесѣда много и неудобъ разсуждаемо имать различіе толка реченій, и аще кто недоволенъ и совершеннѣ научился будетъ яже граматикѣи, и пѣтии, и риторіи, и самыя философіи, не можетъ прямо и совершенно ниже разумѣти писуемая, ниже предложити ѿ на нѣзъ языкъ“.

Въ другомъ Словѣ онъ объясняетъ, что въ исправленіяхъ его нѣтъ никакого ущерба для святыхъ русскихъ чудотворцевъ, которые возсіяли въ русской землѣ и которымъ онъ самъ поклоняется; но они не изучали различія языковъ, и не удивительно, что отъ нихъ утаились нѣкоторые нужныя исправленія. Имъ дано дарованіе исцѣленій и дивныхъ чудесъ, а другому, хотя и грѣшному, дано разумѣніе языковъ, и это не удивительно, если нѣкогда и скотина безсловесная, вразумленная божіимъ мановеніемъ, могла оцѣломудрить многоразумнаго старца. Преподобнымъ русскимъ чудотворцамъ не прибудетъ никакой досады отъ книжнаго исправленія, какъ нѣкогда древнимъ святителямъ и мученикамъ не было никакого поношенія или досажденія отъ происходившихъ послѣ исправленій святаго писанія ветхаго завета, сдѣланныхъ Симмахомъ и Θεодотіономъ, Акилою и Лукіаномъ, пресвитеромъ антиохійскимъ, когда изъ нихъ каждый исправлялъ пропущенное прежнимъ переводчикомъ. „Но и объ этомъ довольно, потому что противъ клеветущихъ на меня напрасно я возражаю передъ праведнымъ и богоразсуднымъ архіереемъ Вышняго. Потому что

¹⁾ Т.-е. дадутъ отвѣтъ.

²⁾ Т.-е. нарушалъ всякій законъ.

³⁾ Въ книжкѣ, libellum.

если что будетъ сказано хорошо и правильно—благодареніе Богу, учащему человека разуму; если же нѣтъ, то по прочтеніи этого Слова, разорвавъ бумагу, брось въ огонь, а меня худоумнаго благоизволь поучать святителски, а вмѣстѣ и отечески¹⁾. Въ томъ же Словѣ онъ объясняетъ противъ своихъ клеветниковъ, что онъ вовсе не извращалъ святыхъ писаній, а только удалялъ непохвальные описи (ошибки), происходившія или отъ незнанія, забывчивости и невниманія „древнихъ приснопамятныхъ переводниковъ“, или отъ великой грубости и небреженія переписывавшихъ²⁾.

Такъ писалъ онъ послѣ бѣдствій, имъ уже испытанныхъ. Исправленія Максима съ самаго начала навлекали ему враговъ. Какъ послѣ, во второй половинѣ XVII столѣтія, исправленіе богослужебныхъ книгъ при Никонѣ цѣлой большой массѣ народа показалось уничтоженіемъ самой вѣры, такъ и теперь благочестивые люди, привыкшіе считать вѣру въ обрядъ и буквы, приходили въ ужасъ отъ нововведенія: по старымъ неисправленнымъ книгамъ спасались чудотворцы; какъ спастись по новымъ книгамъ, по которымъ еще никто не спасался? Утверждали, что Максимъ Грекъ унижалъ русскихъ чудотворцевъ, какъ онъ и упоминаетъ въ приведенномъ Словѣ.

Пробывши нѣсколько лѣтъ въ Москвѣ, Максимъ Грекъ успѣлъ достаточно понять среду, въ которой онъ находился, и усиленно просился домой на Аѳонъ. Его, однако, не отпускали; одинъ изъ его русскихъ пріятелей, Беклемишевъ-Берсень, объяснялъ ему, что его и не отпустить: „а и не бывати тебѣ отъ насъ“. На вопросъ Максима, за что великому князю его не отпустить, Берсень отвѣтилъ: „держитъ на тебя мнѣніе³⁾“,—припелъ еси сюда, а человекъ еси разумной, и ты здѣсь увѣдалъ наше добрая и лихая, и тебѣ тамъ приподъ все сказывать“. Берсень былъ правъ: Максимъ Грекъ не увидалъ больше своего отечества. Съ 1525 года уже начинаются его бѣдствія, которыя не кончились до его смерти...

Содержаніе сочиненій Максима Грека было излагаемо не однажды. Большая доля его трудовъ, частью переводныхъ, посвящена объясненію священнаго писанія и затѣмъ состоитъ изъ

¹⁾ Тамъ же, III, стр. 89—91.

²⁾ Въ біографіи Максима Грека, г. Иконниковъ слишкомъ преувеличиваетъ предположеніе о порчѣ старыхъ нашихъ книгъ еретиками; гораздо шире дѣйствовали общія условія старой русской книжности, которая нѣтъ въ виду Максимъ Грекъ и которая указываетъ самъ авторъ. „Максимъ Грекъ“, стр. 22, 114, 119 и др.

³⁾ Сомнѣвается относительно тебя.

длиннаго ряда догматико-полемиическихъ сочиненій—противъ іудеевъ, язычниковъ (обличеніе „еллинской прелести“, т.-е. греческой міеологіи), магометанъ, противъ „армянскаго зловѣрія“, противъ римскихъ католиковъ (здѣсь, между прочимъ, также противъ „звѣздоувѣрія“) и лютеранъ; далѣе, сочиненія правоучительныя—по поводу различныхъ явленій тогдашней русской жизни; сочиненія по поводу исправленія церковныхъ книгъ, объясненія нѣкоторыхъ молитвъ и обрядовъ, обличенія различныхъ суевѣрій и апокрифическихъ сказаній; наконецъ небольшія замѣтки историческія и филологическія. Не касаясь здѣсь его догматическихъ сочиненій, замѣтимъ, что его полемиическіе труды совпадали вполне съ интересами того времени, когда происходили разнаго рода столкновенія съ иновѣрными исповѣданіями. Для исторіи русской жизни въ особенности важны всѣ дальнѣйшіе его труды, гдѣ мы на каждомъ шагѣ встрѣчаемся съ обычными представленіями того времени, которыя вызывали объясненія и обличенія Максима Грека. Мы указывали прежде ту массу фантастическихъ легендъ и суевѣрій, которыми проникнуто было религіозное мировоззрѣніе тѣхъ вѣковъ: эти легенды и суевѣрія, какъ мы видѣли, были общимъ достояніемъ средневѣковаго востока и запада, но въ то время какъ на западѣ развитіе школы, а затѣмъ и настоящей науки давно ограничило ихъ вліяніе и оставляло за ними лишь значеніе поэтическаго міеа, у насъ при крайнемъ недостаткѣ знаній и полномъ отсутствіи критики они пользовались чрезвычайнымъ распространеніемъ и входили въ составъ самой вѣры. Правда, эти легенды и суевѣрія давно запрещались статьею о ложныхъ книгахъ, но это были запрещенія голословныя и мало убѣдительныя. Максимъ Грекъ относится къ подобнаго рода произведеніямъ съ великимъ негодованіемъ, но и съ доказательствами въ рукахъ: онъ изобличаетъ апокрифическія сказанія какъ нелѣпость, которая опровергается священнымъ писаніемъ, а также и здравымъ смысломъ.

Другимъ важнымъ интересомъ времени былъ вопросъ о монастырскомъ владѣніи селами. Максимъ Грекъ, при его высокомъ пониманіи иноческой жизни, очень естественно сталъ на сторонѣ того мнѣнія, которое раньше было высказано у насъ Ниломъ Сорскимъ и заволжскими старцами. Онъ посвятилъ этому предмету особое сочиненіе въ видѣ разговора между любостяжателемъ и нестяжателемъ и самъ принимаетъ сторону послѣдняго ¹⁾.

Какъ будто ученикъ Савонаролы сказался въ одушевленныхъ

¹⁾ „Инокъ Максима Грека стазаніе о извѣстномъ иноческомъ жителствѣ. Лица же стазующихся: Филоктимонъ да Акимонъ, сирѣчь любостяжательный да нестяжательный“.

призывахъ въ истинному христіанскому житію и въ обличеніяхъ противъ господствующей неправды и насилія. Однажды онъ изображаетъ аллегорическую картину царства, подверженнаго всѣмъ бѣдствіямъ по небреженію властителей. „Шествуя по пути жестоцѣ и многихъ бѣдъ исполненнемъ, обрѣтохъ жену, сѣдящу при пути и наклонну имущу главу свою на руку и на колѣну свою, стоящу горцѣ и плачущу безъ утѣхи, и оболчену во одежду черну, якоже обычай есть вдовамъ—женамъ, и окрестъ бѣша звѣри, львы и медвѣди, и волцы и лиси. И ужасохся о странномъ ономъ и незначаемомъ срѣтеніи; обаче дерзнувъ приступихъ къ ней и еже: миръ тебѣ, о жено,—прирекъ ей, спрошахъ ея, да речетъ ми: кто убо есть и каково имя ей, и чесо ради припустѣмъ семъ пути сѣдѣть, и кая вина плача и скорби есть? Она же, тяжело воздохнувши, отвѣщала мнѣ, глаголющи: вскую труды даеши мнѣ, о путнике? молю тя, премини мене молчаніемъ; моя бо безгодная не токмо неудобъ сказаема суть, но и отнюдъ неисцѣльна отъ человѣковъ; не нищи убо слышати сихъ, ни единъ бо успѣхъ будетъ ти отъ слышанія сихъ, паче же сопротивное въ бѣдахъ себе ввергнеши; въ прочимъ бо многимъ моимъ неисцѣльнымъ безгодіемъ правящѣи нынѣ мене отъ многія ихъ жестости, ниже мало общепользное совѣтованіе пріимають добротныхъ ихъ, еже и паче иныхъ прозавшихся въ нихъ страстей, мене убо неключиму и поругаему сотворили, себе же самѣхъ удобъ плѣняемыхъ показали (отъ) живущихъ окрестъ ихъ“. Эта неизвѣстная жена совѣтовала путнику идти мимо, не спрашивать ее и не говорить объ ней: „да не сія писанію предана бывши тобою, напасть нѣкую и ненависть воздвигнуть на ты отвращающимися истины и поученіе старческое ненавидящими, еже, паче всякаго иного градскаго недугованія, конечную наводитъ погибель человѣческимъ начальствомъ и властемъ“,—это было большое мѣсто Максима Грека. Какъ мы сказали, неизвѣстная женщина, которая, наконецъ, назвала свое имя, представляла собою „Царство“ (Basileia), которое страдаетъ отъ злыхъ и неразумныхъ властителей, не исполняющихъ божественнаго повелѣнія... Максимъ Грекъ заставляеть аллегорическую жену припоминать эти божественныя повелѣнія и скорбѣть, что нѣтъ у нея великаго Самуила, съ дерзновеніемъ ополчившагося противъ Саула; нѣтъ Наана, исцѣлившаго „благовознесенною притчею“ царя Давида; нѣтъ Ильи и Елисея, нѣтъ Амвросія чуднаго, не убоявшагося высоты царства Θεодосія великаго, нѣтъ Василя Великаго, нѣтъ Іоанна, „великаго и златаго языкомъ“¹⁾...

¹⁾ Каз. изд., II, 819—837.

Въ другой разъ онъ пишетъ: „Словеса, аки отъ лица пречистыя Богородицы въ лихоимцамъ и сквернымъ, всякія злобы исполненымъ, а каноны всякими и различными пѣсньми угожати чающимъ“. Богоматерь говоритъ человѣку, что часто воспѣваемое ей: „радуйся“, тогда только будетъ ей благопріятно, когда она увидитъ, что человѣкъ на дѣлѣ исполняетъ заповѣди Христа, отступится отъ всякой злобы, несправедливаго хищенія, какому онъ предается, „испивая мозги убогихъ“, ничѣмъ не отличаясь отъ скотина и отъ христуубійцъ, хотя и хвалится крещеніемъ. „Ты же, аки свинія, всякого студодѣнія несытнѣ насыщаяся, и аки хищникъ волеѣ, хищая чужая стяжанія и бѣдныя вдовицы лихоимствуя и всяческими изобилуя и обливаемъ дѣлы беззаконными, аки христоненавистникъ татаринъ зернію играя, и упиваяся, и гуслими всегда и пѣсньми скверными наслаждая себя блудно, божіаго страха отринувъ отнюдь отъ мысли своя, благоугодити ли мниши множествомъ каноновъ и стихѣрь, высокимъ воплемъ мнѣ воспѣвая“¹⁾. Она грозить грѣшнику будущимъ судомъ.

Наконецъ, онъ пишетъ слово о томъ, какия рѣчи сказалъ бы епископъ тверской²⁾ въ Творцу послѣ страшнаго пожара въ Твери (въ 1537) „и како отвѣщаетъ ему боголѣпнѣ всѣхъ Господь, имъ же и внимати подобаетъ со страхомъ и вѣрою нелицемѣрною“. Епископъ скорбитъ и недоумѣваетъ, за что постигло ихъ несчастіе, когда они постоянно совершали божественныя службы съ красноречивымъ пѣніемъ, съ свѣтлошумными колоколами, украшали иконы золотомъ, серебромъ и драгоценными каменьями, и несмотря на все это, постигъ ихъ божій гнѣвъ и всеядный огонь истребилъ всю красоту и доброту. На это Господь кроткимъ гласомъ отвѣчалъ: „чесо ради, о человѣцы, неблагодарственно и всуе клеветаете на праведный мой судъ? и должны суще каятися мнѣ, о нихъ же предо мною безстыдно согрѣшаете всегда: вы наипаче прогнѣваете моя утробы, доброгогласныхъ пѣній и колоколовъ шумъ предлагающе мнѣ, и многоцѣнное иконъ украшеніе и различныхъ миръ благоуханія, яже аще приносите ми отъ законныхъ списаний и праведныхъ трудовъ вашихъ, и правою мыслію, якоже и Авель древле, и любезна ми та, и на нихъ приварю, и божественными дарованіи воздарую васъ; праведенъ бо воздарователь Азъ, не оставляю безо мзды ниже чашю студеныя воды. Аще ли же отъ неправедныхъ и богомерскихъ лихвъ, лихоиманія же и хищенія чужихъ имѣній сія приношаете ми, человѣцы, не точю

¹⁾ Тамъ же, стр. 241—244.

²⁾ Подъ его властію былъ Максимъ Грекъ въ одно изъ своихъ заточеній.

возненавидитъ я душа моя, аки смѣшана слезами сиротъ и вдовицъ умиленныхъ и кровми убогихъ, но еще и вознегодуетъ на васъ, аки недостойна правдъ и человеколюбивъ мысли моей приносящихъ, да или зѣльнымъ огнемъ вытреблю я, или скиномъ въ расхищеніе издамъ, яко же и иныхъ, множае лучшихъ васъ людей, равнѣ же вамъ беззаконноавшихъ пѣяствы, гордостію, лихоимствы, студодѣяніи всякими, по моему праведному гнѣву, попустихъ содѣяться“. Онъ напоминаетъ о внезапной гибели „велеславнаго и велесильнаго царства греческаго“. „Поминайте, каково боголѣпное пѣніе, вкупѣ со свѣтлошумными колоколы и благовонными миры, совершашеся тамо богато мнѣ, по всѣ дни, еликаже пѣнія всенощная духовныхъ праздниѣ совершахуся, и преподобная торжества, какія же красоты и высоты предивныхъ храмовъ тамо мнѣ создавахуся, и въ нихъ елики сокрывахуся апостольскія и мученическія мощи обильно источаютъ источники испѣлений, елицы же сокровища горнія премудрости и разума всаческаго тамо сержвахуся, но ничимъ же она ихъ пользоваша; понеже убога возненавидѣша, и сира убиша, пришельца же и вдову, якоже есть писано“¹⁾.

Вмѣстѣ съ поученіями Нила Сорскаго, это было самое рѣшительное отрицаніе того обрядоваго благочестія, въ которомъ громадное большинство заключало всю свою вѣру и все христіанство.

Мы видѣли, какъ Максимъ Грекъ постоянно указывалъ необходимость ученія: онъ съ одушевленіемъ описываетъ западныя школы, которыя зналъ по собственному опыту и по рассказамъ, и конечно желалъ, чтобы хотя нѣчто подобное было въ московскомъ царствѣ; въ переводахъ священныхъ книгъ онъ находилъ грубыя ошибки, которыя считалъ невозможнымъ оставлять безъ исправленія. Судьями относительно его собственныхъ работъ въ этомъ отношеніи онъ признавалъ только людей, знающихъ „грамматикію“,—такихъ людей было тогда очень немного... Онъ самъ вѣроятно готовъ бы былъ работать для такой школы, но его поставили въ такое положеніе, что работа была невозможна. Онъ хотѣлъ по крайней мѣрѣ сколько возможно помочь этому круглому невѣжеству, и въ его сочиненіяхъ мы читаемъ слѣдующій свѣтъ „о пришельцахъ философѣхъ“, въ которомъ скрывается странное и жалкое положеніе вещей:

„Понеже,—пишетъ Максимъ Грекъ,—мнози обходятъ грады и земли овы убо куплею, овы же художествомъ всякимъ и ремесломъ, ини же и книжнымъ искусствомъ, или греческимъ, или

¹⁾ Тамъ же, II, стр. 260—276.

латынскимъ, еже есть римскимъ, и овы убо совершени суть, овы же исполу, ини же и отнюдь не вкусивше художнаго вѣдѣнія книжнаго, речеше грамотійскаго и риторскаго и прочихъ чюдныхъ учительствъ еллинскихъ, обаче хвалятся вѣдѣти вся, корыстовати желающе и кормыхатися,—праведно разсудихъ оставити вамъ, господамъ моимъ, мало срокъ ¹⁾, списанныхъ мною еллинскимъ образомъ мудрымъ на искушеніе всякаго, хвалящагося. Аще нѣкто по моемъ умертвіи будетъ нѣкто пришедъ къ вамъ, иже аще возможетъ превести вамъ срокъ тѣхъ, по моему переводу, имите вѣры ему: добръ есть и искусенъ; аще ли не умѣетъ совершенно превести, по моему переводу, не имите вѣры ему, хоти и тмами хвалится, и первѣе вопросите его: кою мѣрою сложени суть сроки тѣи, и аще речетъ: иройскою и елегійскою мѣрою, истиненъ есть; аще рцыте ему: коликами ногами ²⁾ обои мѣра совершается? и аще отвѣщаетъ, глаголя: яко иройска убо шестію, а елегійска пятію, ничто же прочее сомнитися о немъ, предобръ есть, пріимите его съ любовію и честію, и елико время у васъ жити проивволяетъ, жалуйте его нещадно, и егда же хочетъ возвратитися во свояси, отпустите его съ миромъ, а *смылоу не держите у себе* таковыхъ; нѣсть бо похвально, ниже праведно, но ни полезно земли вашей, яко же и Омиръ глаголетъ премудрый законополагая страннолюбію: лѣпо есть, рече, любити гостя у насъ живуща, а хотяща отъити—пустити“.

Къ этому приложены были греческіе стихи, переводъ которыхъ долженъ былъ служить экзаменомъ, а затѣмъ приложенъ самый переводъ ³⁾.

Наконецъ, какъ мы говорили, Максимъ остался греческимъ патріотомъ и вмѣстѣ упорнымъ защитникомъ главенства константинопольской патріархіи надъ русскою церковью. Въ посланіи къ великому князю Василию Ивановичу, которое было вмѣстѣ объясненіемъ и введеніемъ къ исполненному имъ переводу толковой Псалтири, Максимъ Грекъ проситъ наградить его сотрудниковъ, а ему самому позволить возвратиться въ Святую Гору, гдѣ ихъ (Максима и пришедшую съ нимъ братію) издавна ждутъ и гдѣ онъ самъ долженъ совершить свои иноческія обѣщанія „предъ Христомъ и страшными ангелы Его, въ день постриженія нашего“. Онъ просилъ отпустить его во Святую Гору и по дру-

¹⁾ Нѣсколько строкъ.

²⁾ Стопами. Дѣло въ томъ, что Максимъ написалъ нѣсколько греческихъ стиховъ, съ русскимъ переводомъ, и указываетъ, какъ проэкзаменовать по нимъ „примельца-философа“.

³⁾ Тамъ же, III, стр. 286—289.

гой причинѣ: „да и тамо (на Аѳонѣ и въ Греціи) сущимъ православнымъ явлена будутъ нами, елика видѣхомъ, нарочитая и царская твоя исправленія; да уразумѣютъ отъ насъ и тамо пребывающіи бѣдніи христіяне, яко имѣетъ еще царя не о языцехъ токмо безчисленныхъ и о иныхъ множайшихъ удивленія и слышанія достойныхъ царски изобилующа, но яко правдою и православіемъ и нарочитѣ и превысочайше паче всѣхъ прославленъ есть, яко Константину и Θεодосію великимъ уподобитися мощи, имъ же и твоя держава послѣдующи, *буди намъ нѣкогда царствовать* отъ нечестивыхъ работы *свобоженымъ тобою*“¹⁾.

Постановленіе русскихъ митрополитовъ безъ участія и утвержденія константинопольскаго патріарха Максимъ Грекъ считалъ незаконнымъ, по его рѣзкому выраженію — „самочиннымъ и безчиннымъ“; онъ тщетно доискивался грамоты патріарха, которая предоставляла русской церкви это право самостоятельнаго избранія, и посвятилъ особыя сочиненія защитѣ главенства греческой церкви²⁾.

Максимъ Грекъ не былъ отпущенъ въ Святую Гору и оказался въ ловушкѣ, какъ объяснялъ ему Берсень. Отсюда начались и его бѣдствія. Человѣкъ такихъ достоинствъ, такихъ обширныхъ знаній и такой ревности къ церковному исправленію былъ слишкомъ рѣдкимъ явленіемъ, и съ самаго начала онъ привлекъ къ себѣ вниманіе: суровыя обличенія уже вскорѣ создали ему недоброжелателей, а съ другой стороны и преданныхъ друзей, которые, однако, не въ силахъ были чѣмъ-нибудь ему помочь. Въ его взглядахъ, которые мы видѣли отчасти въ перечисленія его трудовъ, было много такого, что могло возбуждать только вражду въ духовныхъ властяхъ шволы Іосифа Волоцкаго: митрополитъ Варлаамъ былъ къ нему расположенъ, но смѣнившій его митрополитъ Даниилъ былъ чистый іосифлянинъ, и отношеніе къ Максиму Греку измѣнилось. Съ другой стороны взгляды Максима Грека внушали горячее сочувствіе въ кругу людей, которые хранили и развивали преданія Нила Сорскаго; самымъ ревностнымъ и вліятельнымъ изъ ихъ среды былъ названный нами раньше князь-инокъ Вассіанъ Патрикѣевъ, въ то время еще сильный расположеніемъ великаго князя. Къ Максиму Греку приходило и много другихъ людей, одни „спираться о книжномъ“, другіе поговорить и о предметахъ политическихъ. Въ числѣ послѣднихъ былъ упомянутый Беклемишевъ-Берсень и дьякъ Ѳеодоръ, по

¹⁾ Тамъ же, II, стр. 317—318.

²⁾ Тамъ же, III, стр. 154—164.

тогдашнему Оедька, Жареный. Берсень былъ близкимъ человекомъ при Иванѣ III; теперь онъ былъ въ опалѣ и, какъ на слѣдствіи оказалось, въ разговорахъ съ Максимомъ осуждалъ великаго князя и тогдашнее правленіе. На судѣ, къ которому привлеченъ былъ и Максимъ, доказано было преступленіе Берсеня и Жаренаго: Берсеню отрубили голову, Жарену урѣзали языкъ. Максимъ былъ посаженъ въ тюрьму, а затѣмъ собранъ былъ соборъ, на которомъ присутствовали великій князь съ своими братьями, митрополитъ и другія церковныя власти, старцы изъ многихъ монастырей, бояре, князья, вельможи и воеводы. Соборъ обсуждалъ церковныя вѣны Максима Грека, нашелъ ошибки въ исправленіи книгъ, призналъ въ этомъ еретичество и въ концѣ концовъ сослалъ Максима въ Волоколамскій монастырь подъ начало тамошнимъ старцамъ—іосифлянамъ: это были готовые враги, и по словамъ Курбскаго Максимъ здѣсь „много претерпѣлъ многолѣтнихъ и тяжкихъ оковъ и многолѣтнаго заточенія въ прегорчайшихъ темницахъ“. Между прочимъ, ему запрещено было писать кому бы то ни было и, кажется, у него отняли его греческія книги. Это было въ 1525 году, а въ 1531 Максимъ Грекъ подвергся новому соборному суду. На этотъ разъ обвиненія были многочисленны: за Максимомъ нашлись новыя преступленія, между прочимъ, политическія,—послѣднія на первомъ соборѣ не были выставлены, вѣроятно потому, что въ то время это находили неудобнымъ по тогдашнимъ обстоятельствамъ; несмотря на запрещеніе, Максимъ писалъ посланія, опять занимался переводами, въ которыхъ открылись новыя ереси и т. д. Послѣдовало новое осужденіе: Максимъ былъ сосланъ въ тверской Отрочъ монастырь.

Біографъ Максима Грека старается выяснитъ ходъ этого дѣла и думаетъ, что у собора не было предвзятой вражды въ Максиму, что по тогдашнему времени обвиненія, выставленныя противъ него, были дѣйствительно серьезныя обвиненія. Быть можетъ, однако, біографъ недостаточно разъяснилъ положеніе самого Максима. Начать съ того, что Максимъ давно уже просилъ, чтобы его отпустили на родину; въ просьбѣ ему было отказано, вѣроятно, по тѣмъ самымъ соображеніямъ, какія указывалъ Берсень. Естественно было, что захваченный насиліемъ, онъ не переставалъ носиться съ этою мыслью, и ему случалось говорить на эту тему съ находившимся тогда въ Москвѣ турецкимъ посломъ,—это былъ соотечественникъ Максима, грекъ Скиндеръ. Турецкій посолъ хотѣлъ, какъ говорили, поднять турецкаго царя на Москву, и Максима обвиняли, что онъ, зная объ этомъ, не донесъ; въ концѣ концовъ его самого обвиняли, что онъ, сидѣвши въ волоколам-

свой тюрьмѣ, хотѣлъ поднимать на Россію турецкаго султана. Другія обвиненія бывали также довольно фантастическія. Самъ биографъ признаетъ, что нравы и понятія того вѣка, независимо отъ самыхъ фактовъ дѣятельности Максима Грека, оказали вліяніе на рѣшеніе его судьбы. Преступленіемъ были уже одни разговоры съ Берсенемъ. Въ судебномъ дѣлѣ записаны показанія келейника Максима; онъ говорилъ: „Коли къ Максиму придутъ Токмакъ, Василій Тучковъ, Иванъ Даниловъ, Сабуровъ, князь Ондрей Холмъской и Юшка Тютинъ... и насъ тогда Максимъ и вонъ не выгоняетъ; а коли къ нему придетъ Берсень, и онъ насъ выплететъ тогда всѣхъ вонъ, а съ Берсенемъ сидитъ долго одинъ на одинъ“. Обвиненія по поводу книжныхъ исправленій также бывали очень странны. По поводу одной ошибки, которая найдена была въ его первыхъ переводахъ, онъ объяснилъ, что ошибка принадлежитъ не ему, а его сотрудникамъ, потому что самъ онъ въ то время еще недостаточно понималъ русскій языкъ; ему тѣмъ не менѣе была приписана ересь. Въ другомъ случаѣ такая же ересь была взведена на него, когда онъ *во время работы* велѣлъ своему писцу Медоварцеву зачеркнуть нѣсколько строкъ въ богослужебной книгѣ. Медоварцевъ, выросшій на потченіи къ буквѣ, пришелъ въ ужасъ, и говорилъ послѣ на соборѣ, что, вычеркнувъ двѣ строки, онъ остановился: „дрожь моя великая понимала, и ужасъ на меня напалъ“; Максимъ самъ вычеркнулъ остальные строки и, по мнѣнію тупоумнаго Медоварцева, зачеркнулъ „великій догматъ премудрый“. Въ великую вину постановлено было Максиму его мнѣніе о главенствѣ греческаго патріарха, хотя онъ объяснялъ, что искалъ той грамоты, которая утверждала самостоятельность церкви. Забыты были всѣ заслуги Максима Грека, или не хотѣли ихъ понять; не приняты объясненія возможности ошибокъ отъ забывчивости или утомленія; поставлены въ вину монастырскія сплетни, напр., когда однажды въ Волоколамскомъ монастырѣ онъ сказалъ своимъ надсмотрщикамъ: „азъ вѣдаю все вездѣ, гдѣ что дѣлается“, или когда іосифляне обвиняли его, что онъ „волшебными хитростями еллинскими писалъ водками на дланѣхъ своихъ, и распростиралъ длани свои противъ великаго князя, также и противъ иныхъ многихъ поставляя, волхвуетъ“.

Впослѣдствіи, когда свергнуть былъ (въ 1539) самъ митрополитъ Даниилъ и сосланъ въ Волоколамскій монастырь, Максимъ Грекъ писалъ ему примирительное посланіе, гдѣ заявлялъ опять, что никогда онъ ни мудрствовалъ, ни писалъ о православной вѣрѣ хульно и лукаво, что какія-либо ошибки произошли не по

ереси или лукавству, „но по нѣкоему всяко случаю, или по забвенію, или по скорби, смутившей тогда мою мысль, или нѣчто излишнему винопитію, погрузивши мя, написавшася тогда тако, не точію же просто отвѣщахъ тогда, но еще и ницъ падъ трижды предъ священнымъ соборомъ вашимъ, прощенія просихъ, о нихже по невѣдѣнію описался; преподобство же ваше, не вѣмъ что о мнѣ совѣтовавше, вмѣсто прощенія и милости, оковы паки дасте ми, и паки азъ заточенъ, и паки затворенъ и различными озлобленіи озлобляемъ“. Въ другомъ посланіи, къ митрополиту Макарію, онъ пишетъ опять о своихъ трудахъ для православной вѣры, „вашей и моей“, проситъ о разрѣшеніи ему причастія, котораго онъ лишень уже семнадцать лѣтъ, „не вѣмъ чесо ради“, и упоминаетъ, что никогда въ своей прежней жизни не привелось ему испытать такихъ бѣдствій: „нигдѣ же въ узы впадахъ, ниже въ темницахъ затворенъ быхъ, ниже мразы и думы и глады уморенъ быхъ, елика случишася здѣ мнѣ¹⁾“.

Послѣдніе годы жизни Максима Грека были, кажется, однимъ томленіемъ въ заточеніи. Напрасно просила объ его освобожденіи и отпушеніи въ Святую Гору и аеонская братія, и константинопольскій патріархъ отъ своего имени и отъ имени патріарха іерусалимскаго и цѣлаго собора митрополитовъ и епископовъ, замѣчая, что если царь не отпуститъ Максима, то „самому Богу погрубить и патріарховъ богомольцевъ своихъ оскорбить“, — и патріархъ антиохійскій. Самъ Максимъ Грекъ обращался съ просьбами къ митрополиту Макарію и наконецъ къ царю Ивану Васильевичу, но всѣ просьбы были безуспѣшны; самъ митрополитъ не могъ помочь Максиму и писалъ: „узы твоя цѣлуемъ, яко единого отъ святыхъ, пособити же тебѣ не можемъ“; онъ послалъ ему только „денежное благословеніе“. Причина, по которой не отпускали Максима Грека, была, безъ сомнѣнія, та же самая, какую лѣтъ за тридцать передъ тѣмъ указывалъ Берсень. Справедливо замѣчено было, что ходатайства патріарховъ могли только повредить Максиму, указывая, какое придавалось ему значеніе. Москва всегда боялась, чтобы иноземцы не узнавали, что въ ней творится. Въ послѣдніе годы участь Максима была, однако, нѣсколько облегчена. Митрополитъ Макарій разрѣшилъ ему причастіе и посѣщеніе церкви. Въ 1553 г., по просьбѣ нѣкоторыхъ бояръ и троицкаго игумена Артемія, Максимъ Грекъ былъ переведенъ на житіе въ Троицкую лавру, гдѣ въ томъ же году по-

¹⁾ Каз. изд., II, стр. 365, 370. Наиболѣе обстоятельное освѣщеніе суда надъ Максимомъ и соединенныхъ съ нимъ отношеній сдѣлано г. Жмакиннмъ: „Митрополитъ Даниилъ“, въ главѣ о борьбѣ Давіила съ завожцами.

сѣтилъ его царь Иванъ Васильевичъ. Въ 1554 г. его приглашали на соборъ, собравшійся по поводу ереси Башкина; но онъ отказался, думая, что и его примѣшиваютъ къ этому дѣлу. Въ 1556 году онъ умеръ.

Несмотря на всѣ гоненія, Максимъ Грекъ пользовался у лучшихъ современниковъ великимъ уваженіемъ. Къ нему обращались за книжнымъ наученіемъ и за нравственнымъ совѣтомъ; сама власть и іерархія, хотя угнетавшія его, признавали важность его совѣтовъ, и справедливо замѣчено было, что многія мысли Максима Грека были повторены на Стоглавомъ соборѣ, — хотя не всѣ. Такъ какъ, напримѣръ, соборъ остался защитникомъ монастырскихъ имѣній и въ цѣломъ стоялъ за укрѣпленіе стараго преданія, все-таки недостаточно понявъ то требованіе критическаго знанія писанія и уваженія къ наукѣ, какое заявлялъ Максимъ Грекъ.

Сочиненія Максима Грека уже въ XVI столѣтіи были широко распространены. Впослѣдствіи уваженіе къ нимъ все больше возрастаетъ. Въ XVI вѣкѣ великимъ почитателемъ его писаній былъ князь Курбскій; его ученикомъ называется Зиновій Отенскій, извѣстный ревнитель православія и обличитель ереси Θεодосія Косого. Въ XVII вѣкѣ его трудами пользуются Захарій Копыстенскій въ полемикѣ противъ латинства, Смотрицкій въ работахъ по славянской грамматикѣ, и т. д. Патріархъ Адріанъ ставилъ переводы Максима Грека въ примѣръ, какъ образцовые. Его считали святымъ мужемъ, преподобнымъ.

Значеніе Максима Грека въ судьбахъ древней русской письменности и образованія было двойственное. По своему характеру и шволѣ онъ былъ имъ чуждъ: онъ выросъ не на русской почвѣ и явился въ Россію уже зрѣлымъ человекомъ, съ готовыми, вполне опредѣлившимися, взглядами. Вступивъ въ русскую жизнь, онъ посвятилъ трудъ своей жизни ея потребностямъ и интересамъ — съ точки зрѣнія идей, выработанныхъ на греческой и частью западной почвѣ, и потому только, что его труды живо затрогивали эту русскую жизнь и являлись (сначала при чужой помощи) на русскомъ книжномъ языкѣ того времени, его дѣятельность принадлежитъ русской литературѣ. Собственно говоря, онъ является первымъ посредствующимъ звеномъ, которое соединяло старую русскую письменность съ западной научной школой. Правда, и раньше являлись въ старой Россіи подобные „пришельцы-философы“, греки и южные славяне, но это были люди совершенно однородныхъ понятій, только болѣе книжные, чѣмъ принимавшая ихъ русская среда; Максимъ Грекъ явился впервые съ пріемами

болѣе высокаго критическаго знанія, въ которомъ отражалась школа западнаго, спеціально итальянскаго Возрожденія.

Максимъ Грекъ явился въ Россію не по своей волѣ; онъ былъ посланъ съ Аэона въ отвѣтъ на вызовъ ученаго челоука, сдѣланный изъ Москвы. Это создало его органическую связь съ Москвою: она чувствовала необходимость ученыхъ силъ, которыхъ у нея не доставало, и онъ явился на ея службу. Но онъ угодилъ ей только отчасти: послѣ немногихъ первыхъ годовъ, когда онъ пользовался расположеніемъ власти и іерархіи, онъ впалъ въ немилость, попалъ въ тюрьму, задержанъ былъ какъ плѣнный, лишенъ былъ въ теченіе многихъ лѣтъ, какъ еретикъ, единственнаго утѣшенія, какое оставалось для вѣрующаго — причастія и посѣщенія церкви, былъ истомленъ гоненіемъ до „умертвія“, но до конца сохранилъ нравственное мужество. Эта личная судьба отражала собою положеніе вещей: русская церковная жизнь, — которая совмѣщала въ себѣ основные нравственные вопросы общества, — послѣ своей многолѣтней исторіи впала, за отсутствіемъ просвѣщенія, въ то состояніе застою, обрядоваго формализма, за которымъ терялась, наконецъ, возможность нравственно-просвѣтительнаго развитія, и при первой встрѣчѣ съ требованіями истиннаго христіанскаго достоинства и болѣе высокаго книжнаго знанія стала къ ихъ представителю въ крайнюю вражду, — два элемента оказались несовмѣстимы. Болѣе разумные современники поняли высокое значеніе пришельца-философа, но высшая іерархія увидѣла еретика — въ писателѣ, который уже вскорѣ, въ ближайшемъ потомствѣ, вызывалъ къ себѣ великое сочувствіе и почитеніе. Понятія были дѣйствительно несовмѣстимы: напр., то, въ чемъ ученый челоуекъ видѣлъ только описку, корректурную ошибку, казалось его врагамъ изъ высшей іерархіи ересью: митрополитъ Даниилъ, высшій представитель русской церкви, принимая показаніе писца Медоварцева, не умѣлъ отличить догмата отъ обряда, т.-е. раздѣлялъ простодушное невѣжество тогдашней массы, которая уже начинала заключать вѣру въ обрядъ и буквы. Подобное противорѣчіе проходитъ чрезъ всѣ церковныя и общественныя представленія двухъ сторонъ: Максимъ Грекъ и его судьи не понимали другъ друга.

Однако, органическая связь соединяла Максима Грека съ русскою жизнью и въ другомъ отношеніи: въ извѣстномъ кругу русскихъ книжныхъ людей были уже отчасти знакомы тѣ воззрѣнія, которыя проводилъ Максимъ Грекъ, — это былъ кругъ учениковъ Нила Сорскаго, и главный изъ нихъ, Вассіанъ Патрикѣевъ, сдѣлался ревностнѣйшимъ почитателемъ Максима Грека.

Последній, по своей учености, по своимъ многочисленнымъ трудамъ, по суровой опредѣленности своихъ взглядовъ и строгости нравственныхъ требованій, сталъ во главѣ партіи, давно враждовавшей противъ іосифлянъ, но послѣ митрополита Варлаама его преемникомъ сдѣлался митрополитъ Даниилъ, чистый іосифлянинъ, и Максимъ Грекъ оказался лицомъ къ лицу съ врагами. Почти безразлично разбирать, участвовала ли во враждебности митрополита Даниила къ Максиму чисто личная причина: митрополитъ, безъ сомнѣнія, искренно не понималъ взглядовъ Максима Грека и считалъ ихъ еретическими.

Итакъ, Максимъ Грекъ являлся въ старой Москвѣ представителемъ болѣе высокаго церковнаго просвѣщенія, имѣвшимъ понятіе о западной наукѣ. Должно сказать однако, что въ этомъ последнемъ отношеніи Максимъ Грекъ усвоилъ только одну опредѣленную сторону тогдашняго гуманистическаго образованія, а именно, онъ познакомился только съ приемами филологической критики, но по существу остался совершенно чуждъ содержанію гуманизма. Онъ зналъ классиковъ, но ни мало не раздѣлялъ классическихъ увлеченій и того свободомыслія, которое связывалось у гуманистовъ съ этими увлеченіями: онъ былъ и остался глубоко вѣрующимъ человекомъ, сдѣлался ученымъ богословомъ, и изъ всего содержанія тогдашней итальянской жизни самое сильное, господствующее вліяніе оказали на него ученія и проповѣди Савонаролы. Если, какъ можно думать, было время, когда онъ нѣсколько увлекался „внѣшними ученіями“, то эти увлеченія были, повидимому, до конца изглажены аскетическими проповѣдями знаменитаго флорентинца. Въ своихъ русскихъ писаніяхъ Максимъ Грекъ не однажды высказалъ свое враждебное отношеніе и къ той античной мифологіи, которою восхищались гуманисты и которая осталась для него „еллинскою прелестью“, язычествомъ и бессмыслицей, и къ астрологіи, которая была тогда такъ распространена на западѣ; въ его писаніяхъ нѣтъ слѣда той свободной мысли, которая въ то время рядомъ съ увлеченіями древностью пролагала пути широкому изученію природы. Его идеаломъ было аскетическое христіанство, о которомъ онъ читалъ у древнихъ отцовъ церкви и о которомъ онъ слушалъ пламенные рѣчи Савонаролы; онъ восхищался латинскими монашескими, которые производили ревностныхъ практическихъ проповѣдниковъ этого аскетизма, и западными шеолами, которые научали „благочестивому богословію и священной философіи“ и воспитывали „добрѣйшихъ споспѣшниковъ“ своему отечеству. Его собственная философія была по древнему примѣру основана на

Іоаннѣ Дамаскинѣ, которому онъ слѣдуетъ почти буквально, а Дамаскинъ въ своей „Діалектикѣ“ выставляетъ то самое положеніе, что богословію, какъ царигѣ, подобаешь „нѣкими рабынями служимъ быти“, т.-е. быть служимой такъ называемою „внѣшней мудростію“—положеніе, которое лежало въ основѣ средне-вѣковой западной схоластики (*philosophia theologiae ancilla*). Въ этой „внѣшней мудрости“ міровоззрѣніе Максима Грека осталось архаическимъ, и онъ повидимому мало зналъ о тѣхъ новыхъ взглядахъ на природу, какіе уже начинали тогда высказываться въ западной наукѣ: Козьма Индикопловъ, все еще былъ въ числѣ его авторитетовъ. Не удивительно, что въ его разсужденіяхъ встрѣчаются вопросы чисто-схоластическаго характера и въ разсужденіяхъ фیزیологическихъ, предполагающихъ вмѣшательство добрыхъ или злыхъ силъ, бываетъ и нѣчто весьма простодушное ¹⁾. Великая заслуга Возрожденія заключалась именно въ подъемѣ научнаго исслѣдованія, которое освобождало науку отъ этого служебнаго положенія и открывало для нея безграничный просторъ изысканій о природѣ и человѣкѣ. Этой стороны тогдашняго движенія Максимъ Грекъ не зналъ и не допустилъ бы,—и для русскаго просвѣщенія оставалась еще далеко впереди задача болѣе полного знакомства съ новой европейской наукой ²⁾.

¹⁾ Напр. въ статьѣ его „на общую прелесть мечтаемыхъ во снѣ соній“ Максимъ Грекъ приписываетъ снѣ, „нощныя мечтанія, сѣтованныя (печальныя) и радостныя“, злѣйшему врагу человѣческихъ душъ и изобрѣтателю всякихъ беззаконій, т.-е. дьяволу: „исчезни, скверне,—восплаещаетъ онъ,—исчезни отъ мене, вкушъ съ своимъ ухищреніемъ. Христосъ мнѣ спаситель, и свѣтъ и веселіе, и похвала и слава, и непобѣдима помощь и стѣна отъ тебе твердѣйша“. Обличивши „богомерзкаго“, который прельщаетъ людей злѣздами, ворожбой и „лѣтаніемъ птичьимъ, и обличивши смотрѣніи, и волхвованіи ячменными и мучными и бобными, и движеніемъ ока, и блюденіи дланьными“ (хиромантіей), Максимъ Грекъ говоритъ ему, что онъ безуменъ поругаться надъ людьми, которые „служать кѣроу твердою и непорочною дарю и Богу всѣхъ, Христу“, и отсылаютъ его смущать тѣхъ, кто его слушается: „Иныи тѣмъ прелестимъ твоимъ поругайся, не знающимъ извѣстно злобѣ твоея халдеомъ безбожникомъ, италянѣмъ и нѣмѣомъ прегордымъ, иже по всему повинуются твоимъ умышленіемъ“ (Каз. изд., II, стр. 154—156).

²⁾ Литература о Максимѣ Грекѣ довольно значительна:

— „Историческое извѣстіе о Максимѣ Грекѣ“, въ Вѣсти. Европы 1813, ноябрь,—кажется, митрополита Евгенія.

— „О трудахъ Максима Грека“, въ Журн. мин. пр. 1834, ч. III.

— Москвитининъ, 1842, № 11, статья Филарета Черниговскаго.

— Судное дѣло Максима Грека и Вассіана Патрикѣва, и Пренія съ митрополитомъ Данииломъ, въ „Чтеніяхъ“ моск. Общества исторіи и древностей, 1847, № 7 и 9.

Мы не будемъ подробно останавливаться на другихъ явленіяхъ того времени, представляющихъ менѣе важности для исторіи литературы, тѣмъ для исторіи церкви и также исторіи образованія. Броженіе, которое въ концѣ XV вѣка обнаружилось въ борьбѣ Іосифа Волоцкаго съ новгородскими еретиками и въ столкновеніяхъ его съ заволжскими старцами, продолжалось. Іосифляне, за которыми всегда стояло большинство, при митрополитѣ Даниилѣ находились во главѣ іерархіи; вліятельнымъ представителемъ заволжскихъ старцевъ при дворѣ великаго князя былъ Вассіанъ Патрикеевъ. Преданный ученикъ Нила Сорскаго, и теперь ученикъ и другъ Максима Грека, человѣкъ независимаго характера, упорныхъ убѣжденій, нерѣдко необузданный, вѣроятно, по старой боярской привычкѣ, онъ продолжалъ преданія Нила Сорскаго въ вопросѣ о монастырскихъ имѣніяхъ, о необходимости исправленія книгъ, и своими рѣзкими отзывами о неправильныхъ книгахъ (онъ говорилъ, напр., о существовавшей Кормчей, что это—не „правила“, а „кривила“), возстановилъ противъ себя іосифлянъ, которые, наконецъ, добились его низложенія на судномъ соборѣ 1531 года, гдѣ онъ былъ осужденъ вмѣстѣ съ Максимомъ Грекомъ и сосланъ въ волоколамскій монастырь ¹⁾).

Съ именемъ князя-инока Вассіана до послѣдняго времени

— „Максимъ Грекъ, святогорецъ“ (статья А. В. Горскаго), въ Прибавленіяхъ къ Твореніямъ св. отцевъ въ русскомъ переводѣ. Москва, 1859, ч. XVIII.

— „Максимъ Грекъ, какъ исповѣдникъ просвѣщенія“, проф. Нильскаго, въ „Христ. Чтеніи“, 1862, мартъ.

— Максимъ Грекъ. Исслѣдованіе Владимира Иконникова. Кіевъ, 1865—1866, два выпуска (изъ кіевскихъ Унив. Извѣстій).

— „Митрополитъ Даниилъ“, В. Жмакина. М. 1881, стр. 151 и далѣе.

— Сочиненія преподобнаго Максима Грека, изданныя при казанской духовной академіи. Казань, 1859—1862, три части (сюда не вошли нѣсколько сочиненій, напечатанныхъ ранѣе: въ „Скрижали“, 1656, въ Церковной Исторіи митрополита Платова, въ Журн. мин. пр. 1884, въ Москвитинѣ, 1842).

Впрочемъ, дѣятельность Максима Грека не изслѣдована съ должною полнотой и до сихъ поръ; кромѣ того, до сихъ поръ не нашлось, а быть можетъ, уже и не существуетъ многихъ документовъ, относящихся къ его суднымъ дѣламъ; не были достаточно изслѣдованы и его книжныя исправленія.

¹⁾ Здѣсь передъ тѣмъ былъ въ заключеніи Максимъ Грекъ, котораго перевели теперь въ Тверь. Оба они были, такимъ образомъ, отправлены въ самое гнѣздо своихъ враговъ. Курбскій два раза говоритъ, что въ Іосифовомъ монастырѣ „иноки скорѣ умирша“ Вассіана, и что „преподобно-мученикъ Вассіанъ вѣнецъ мученія пріялъ отъ Бога“. Новѣйшіе историки (Жмакинъ, стр. 281—282) сомнѣваются въ показаніи Курбскаго, но пока безъ достаточнаго основанія.

О дѣятельности Вассіана Патрикеева подробно у Жмакина, въ той же главѣ о борьбѣ митрополита Даниила съ заволжцами. Мы остановимся здѣсь на одномъ эпизодѣ этихъ споровъ.

соединялось одно произведение XVI-го вѣка, направленное противъ монастырскихъ владѣній. Изданное въ первый разъ Бодянскимъ въ 1859 году ¹⁾, оно было приписано имъ Вассіану—вѣроятно на основаніи одного намека у Карамзина. Присвоение этого памятника Вассіану вызвало весьма вѣскія возраженія со стороны издателя полемическихъ сочиненій Вассіана Патрикѣева, проф. А. С. Павлова ²⁾, который указалъ, что Бодянский, не извѣстно, на какихъ основаніяхъ, приписалъ Вассіану произведение ему вовсе не принадлежащее, и что, кромѣ того, это произведение, изданное Бодянскимъ далеко не сполна, на дѣлѣ представляетъ памятникъ болѣе обширнаго состава и съ особымъ заглавіемъ, а именно, это есть апокрифическая: „Бесѣда преподобныхъ Сергія и Германа, валаамскихъ чудотворцевъ“. Въ изданіи Бодянскаго „Бесѣда“ явилась отрывочно; въ немъ нѣтъ предисловія, гдѣ названы два мнимые автора „Бесѣды“; заключенія, написаннаго въ формѣ челобитной къ русскому государю, и, наконецъ, сказанія о явленіи валаамскихъ чудотворцевъ архіепископу новгородскому Іоанну съ извѣтомъ о томъ, какъ московскіе цари должны устроить свое государство. Вассіанъ дѣйствительно писалъ противъ монастырскихъ вотчинъ, но велъ эту полемику отъ своего собственного имени (слѣдовательно, не имѣлъ надобности скрываться подъ апокрифическими именами) и писалъ онъ довольно правильнымъ книжнымъ языкомъ, тогда какъ „Бесѣда“ отличается изложеніемъ беспорядочнымъ и „простою неученою рѣчью“. Въ другомъ случаѣ г. Павловъ полагалъ, что „Бесѣда Сергія и Германа“ была произведеніемъ мѣстнаго книжника изъ среды изобитанныхъ московскими неправдами новгородцевъ, который вложилъ ихъ жалобы и протесты въ уста новгородскихъ чудотворцевъ ³⁾. Противъ этого взгляда высказался Невоструевъ, который думалъ, что содержаніе „Бесѣды“ именно даетъ видѣть въ авторѣ Вассіана, такъ какъ послѣдній дѣлаетъ столь же рѣзкія выходы противъ царей и князей, жаловавшихъ монастыри вотчинами, а также противъ иноковъ; въ языкѣ сочиненія Невоструевъ видѣлъ пріемъ человѣка свѣтскаго и даже бывшаго на воинскомъ и дипломатическомъ поприщѣ; въ Сергіи и Германѣ былъ, по его мнѣнію, явный намекъ на Нила Сорскаго и Вас-

¹⁾ „Разсужденіе инока-князя Вассіана о неприличіи монастырскихъ владѣній вотчинами“, въ „Чтеніяхъ“, 1859, кн. III; изданіе, впрочемъ, весьма неполно.

²⁾ Въ казанскомъ „Православномъ Собесѣдникѣ“, 1868.

³⁾ Въ статьѣ „Земское направленіе русской духовной письменности“, „Прав. Собесѣдникъ“, 1868, кн. I.

сіана ¹⁾. Г. Павловъ не оставилъ возраженія Невоструева безъ отвѣта: между прочимъ, онъ указывалъ, что языкъ „Бесѣды“ и особенныя выраженія, напротивъ, свидѣлствуютъ о непринадлежности ея Вассіану, такъ какъ совсѣмъ не встрѣчаются въ его подлинныхъ сочиненіяхъ, что имена валаамскихъ чудотворцевъ, которыми онъ будто бы воспользовался по особому къ нимъ почтенію, даже не встрѣчаются въ его перечисленіи истинныхъ русскихъ святыхъ ²⁾; а главное, что въ содержаніи „Бесѣды“ есть явные признаки позднѣйшаго времени—указываются многіе предметы, о которыхъ говорится въ Стоглавѣ, русскіе государи постоянно называются царями, и что весь тонъ „Бесѣды“ всего скорѣе можетъ быть отнесенъ къ эпохѣ опалъ и казней, которыми открывалась вторая половина царствованія Грознаго ³⁾. Этотъ взглядъ представляется наиболѣе вѣроятнымъ. Не приводя другихъ мнѣній, высказанныхъ нашими историками объ этомъ памятникѣ, упомянемъ только одно разнорѣчіе: г. Ключевскому казалось, что валаамская „Бесѣда“ составлена публицистомъ боярскаго направленія, „съ одушевленіемъ и талантомъ“; а по мнѣнію Филарета черниговскаго „Бесѣда“, сочиненіе явно подложное, ни по какимъ рукописямъ не приписывается Вассіану, „да она и не толковита“,—съ чѣмъ нельзя не согласиться. Въ своемъ полномъ составѣ „Бесѣда“ издана только въ недавнее время ⁴⁾. Въ опредѣленіи эпохи составленія памятника и его авторства, новѣйшіе издатели принимаютъ мнѣніе г. Павлова, нѣсколько видоизмѣняя его. Судя по содержанію „Бесѣды“, авторъ ея „былъ близкій послѣдователь, можетъ быть, непосредственный ученикъ Вассіана“, и кромѣ того, что Вассіану не было бы никакой надобности скрывать своего имени, какъ это дѣлаетъ авторъ „Бесѣды“, разница языка и въ „Бесѣдѣ“ и въ сочиненіяхъ Вассіана убѣждаетъ несомнѣнно, что онъ не былъ ея авторомъ; притомъ въ подробностяхъ мыслей „Бесѣды“ также расходится

¹⁾ Разборъ книги Хрущова объ Іосифѣ Волоцкомъ, въ XII отчетѣ объ Уваровскихъ преміяхъ, 1869.

²⁾ Припомнимъ, что Вассіанъ отвергалъ многихъ русскихъ святыхъ, которыхъ прославляли въ то время.

³⁾ Павловъ, Истор. очеркъ секуляризаціи церковныхъ земель. Одесса, 1871, стр. 136—137.

⁴⁾ „Бесѣда преподобныхъ Сергія и Германа валаамскихъ чудотворцевъ. Апокрифическій памятникъ XVI-го вѣка“. Сиб. 1889 (изд. Археографической Коммиссіи). Съ обстоятельнымъ введеніемъ В. Дружинина и М. Дьяконова, гдѣ указана исторія вопроса объ этомъ памятникѣ, разобранъ его составъ и дается опредѣленіе его времени; текстъ изданъ по тринадцати спискамъ „Бесѣды“, почти исключительно изъ XVII-го вѣка.

съ произведеніями самого Вассіана. Авторомъ „Бесѣды“, по мнѣнію ея новѣйшихъ издателей, былъ мірянинъ: это сказывается въ не однажды повторенныхъ укорахъ противъ иноковъ; въ употребленіи терминовъ мірскаго характера (на что указывалъ еще Невоструевъ); въ отсутствіи обильныхъ цитатъ изъ писанія, неизбѣжныхъ у тогдашняго привычнаго книжника—авторъ „Бесѣды“ писалъ „испроста, простотою своею и неученою рѣчью“, и это безъ его указаній было бы замѣтно на каждой страницѣ. Сопоставленіе „Бесѣды“ со Стоглавомъ, сдѣланное г. Павловымъ, новѣйшіе издатели опредѣляютъ точнѣе, замѣчая, что хотя авторъ „Бесѣды“ и говоритъ иногда о тѣхъ же предметахъ, о которыхъ упоминаетъ Стоглавъ, но говоритъ столь своеобразно, что въ словахъ его трудно увидать заимствование изъ Стоглава. О другихъ церковно-общественныхъ недостаткахъ, указанныхъ Стоглавомъ, говорится еще раньше собора; наконецъ, русскіе государи называются царями только въ прибавочной статьѣ памятника, которая встрѣчается лишь въ очень немногихъ его спискахъ ¹⁾). По нѣкоторымъ чертамъ содержанія издатели относятъ составленіе „Бесѣды“ ко времени послѣ 1553—1554 года.

Что „Бесѣда“ не принадлежитъ Вассіану, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія, какъ нѣтъ сомнѣнія и въ томъ, что она писана мало-книжнымъ человѣкомъ, потому что она дѣйствительно не толковита. Въ ней нѣтъ опредѣленнаго плана, она переполнена повтореніями, изложеніе спутанное; тѣмъ не менѣе она чрезвычайно любопытна, и по своему содержанію, и по языку. Авторъ ея—мірской человѣкъ, живо затронутый тогдашними толками по вопросу о монастырскихъ имѣніяхъ, о вѣдѣтельности іерархіи въ государственныя дѣла, объ упадкѣ боярскаго вліянія,—и свои протесты по этимъ вопросамъ авторъ излагаетъ со всей непосредственностью простого житейскаго языка, который въ обыкновенной письменности того вѣка такъ скрытъ за церковно-славянскими словоизвитіями. Авторъ неспособенъ нарисовать цѣльной картины, связно изложить свою аргументацію, но въ его писаніи постоянно слышится живой отголосокъ народной рѣчи — именно новгородской ²⁾), въ той формѣ, въ какой вѣроятно и велись въ то время подобные толки, въ формѣ яркой и часто несдержанной. Прибавимъ, наконецъ, что въ тонѣ изложенія отразились приемы тогдашней народной полу-апокрифиче-

¹⁾ Это не точно, потому что терминъ „царь и великій князь“ съ первыхъ страницъ „Бесѣды“ является обычнымъ способомъ выраженія.

²⁾ По обилію особенностей новгородскаго нарѣчія, удѣлившихъ даже въ болѣе позднихъ спискахъ.

свой письменности — напр. наклонность къ эсхатологическимъ обличеніямъ и предвѣщаніямъ.

Основная мысль „Бесѣды“ высказана въ первыхъ строкахъ ея, гдѣ говорится, что преподобный Сергій и Германъ, валаамскаго монастыря начальники, „провидѣли святыми божественными книгами въ новой благодати царей и великихъ князей простоту, и иноческую погибель послѣдняго времени“: полуграмотный авторъ хотѣлъ сказать, что будетъ погибель землѣ отъ иноковъ, собирающихъ имѣнія и вступающихъ въ управленіе государствомъ. Прежде всего авторъ убѣждаетъ своего читателя покоряться благовѣрнымъ царямъ и великимъ князьямъ, во всемъ имъ радѣть и пріимать и молить за нихъ Бога паче самихъ себя; и объясняетъ, что доброе священническое и иноческое житіе является вѣрнымъ людямъ на землѣ образъ ангеловъ, но цари и иноки должны съ своей стороны исполнять каждый свое дѣло. И затѣмъ въ теченіе „Бесѣды“ еще много разъ повторяется съ варіаціями негодованіе ревнителя на то, что цари даютъ инокамъ „волости со *христіанами*“ и совѣтуются о дѣлахъ съ ними, а не съ князьями и боярами: въ этомъ ревнитель видитъ царскую простоту и погибель для самой земли; онъ настаиваетъ также на томъ, что правленіе должно быть милосердное, и милостивый царь уподобляется милостивому Богу. Иноки должны служить только себѣ и другимъ на душевное спасеніе; „а царемъ и великимъ княземъ достойтъ изъ міру всякіе доходы своя съ пощадою збирати и всякіе дѣла дѣлати милосердно съ своими князи и съ бояры и съ прочими міряны, а не съ иноки“. Вслѣдъ за тѣмъ: „А вотчинъ и волостей со *христіанами* отнюдъ инокамъ не подобаетъ давати; то есть инокамъ душевредно, что мірскими суетами мѣстися: того всего мірскаго по указу отрелися иноцы сами своею волею, тако имъ подобаетъ. А царемъ иноковъ селы и волости со *христіанами* жаловати не достойтъ, и не похвально есть царемъ таковое дѣло. Таковыя воздержатели сами собою царство воздержати не могутъ и отдають міръ свой, Богомъ данный, аки поганыхъ иноземцевъ, въ подначаліе. Богъ повелѣ ему царствовать и міръ воздержати, а для того цареви въ титлахъ пишутся самодержцы“. И ревнитель объясняетъ (опять довольно безграмотно), что тѣмъ, которые пишутся теперь самодержцами, не слѣдуетъ такъ писаться, потому что Богомъ данное царство они держатъ не одни и не съ своими пріятелями¹⁾, князьями и боярами, а съ „непогребенными мертвецами“, какъ онъ называетъ иноковъ.

¹⁾ Т.-е. вѣроятно: близкими людьми, доброжелателями.

„Лучше степень и жезлъ ¹⁾), и царскій вѣнецъ съ себя одати и не имѣти царскаго имени на себѣ и престола царства своего подъ собою, нежели иноковъ мірскими суеты отъ душевнаго спасенія отвращати. То есть царское ко инокамъ не милосердство, но душевредство и бесконечная погибель, что инокамъ княжее и боярское мірское жалованье давати, аки воиномъ, волости *со христианы*. Не съ иноки Господь повелѣлъ царемъ царство и грады и волости держати и власть имѣти, съ князи и съ бояры и съ прочими съ міряны, а не съ иноки. Инокомъ повелѣ Господь за царя и за великихъ князей въ смиренномъ образѣ Бога молити“. Иноки мнятъ, что они разумнѣе всѣхъ человѣкъ въ мірѣ и въ бѣльцахъ не чаютъ такого разума, какой полагаютъ въ себѣ, и не разумѣютъ того, что въ нихъ дѣйствуетъ врагъ ²⁾ и разумъ ихъ хуже самаго худшаго разума, потому что еслибы они имѣли настоящій разумъ, то имѣли бы ко всѣмъ равную любовь и заботились бы о душевномъ спасеніи, „а волостей *со христианы* за монастыри не залучали, и того бы бѣгали, и поминка и посуловъ не пріимали, и лъстивыхъ рѣчей бы не внимали, и мірскія суеты, постригшися, бы не возлюбили, и имѣли бы въ себѣ образъ смиренномудрія съ молчаніемъ, а не свирѣпствомъ и яростію на христіанскія слезы; и во царѣхъ таковое свирѣпство мало будетъ“.

Авторъ „Бесѣды“ снова призываетъ молиться Богу и звать на помощь всѣ небесныя силы; сворбитъ, что за иноческіе грѣхи и за царскую простоту Богъ попускаетъ гнѣвъ и на праведныхъ людей, и начинается предвѣщать по пророчеству Исаи: „И сего ради при послѣднемъ времени начнутъ люди напрасными бѣдами спасатися, и по мѣстамъ за таковыя грѣхи начнутъ быть глады и морове частые, и многіе всякіе трусны и потопы, и междуусобныя брани и войны, и всяко въ мірѣ начнутъ гинуть грады и стѣсняты, и смятенія будутъ во царствахъ велики и ужасты, и будутъ низимъ гонимы волости и села, пустѣютъ дома христіанскіе, люди начнутъ всяко убивати и земля начнетъ пространнѣе ³⁾ быти, а людей будетъ меньше, и тѣмъ достальнымъ людямъ будетъ на пространной земли жити негдѣ. Царіе на своихъ степеняхъ царскихъ не возмогутъ держатися и почасту премѣнятися за свою царскую простоту и за иноческіе грѣхи и за мірское невоздержаніе“.

Дальше, новыя изобличенія: „А царю достоитъ не простото-

¹⁾ Царское достоинство и скипетръ.

²⁾ Діаволъ.

³⁾ Просторнѣе, пустѣе.

вати, съ совѣтники совѣтъ совѣщевати о всякомъ дѣлѣ, а святыми божественными книгами сверхъ всѣхъ совѣтовъ внимати и по часту ихъ прочитати и бесѣды Іосифа Прекраснаго повѣсти дозирати... Господь иноковъ устави на исполненіе десятаго ангельскаго чина; а малосмысленніи цари, Христу противници, иноковъ жалуютъ и даютъ инокомъ свои царскіе вотчины, грады и села и волости *со христіаны*, и отдаютъ ихъ изъ міру отъ христіанъ своихъ, аки отъ невѣрныхъ. Онъ скорбитъ, что цари слушаютъ иноческаго ложнаго челобитья: „а сего царіе не вѣдаютъ и не внимають, что мнози книжницы во иноцѣхъ по дьявольскому наносному умышленію, изъ святыхъ божественныхъ книгъ и изъ преподобныхъ житія выписываютъ, и выерадываютъ изъ книгъ подлинное преподобныхъ и святыхъ отецъ писаніе и на то же мѣсто въ тѣхъ книги приписываютъ лучшая и полезная себѣ, носятъ на соборы во свидѣтельство, будьтоса подлинное святыхъ отецъ писаніе“.

Далѣе, новое обличеніе иноковъ. Имъ должно слѣдовать евангельскому писанію и святыхъ отецъ житію „и питатися имъ отъ своихъ праведныхъ трудовъ и своею потною прямою силою“, принимать всякую скудость и ризы хуже всѣхъ человѣкъ. „Аще ли которые иноки не послѣдствуютъ сему, таковыя есть не иноки, но на соблазнъ въ мірѣ бродятъ и святаются, осуды и посмѣхъ міру всему. Сего ради ихъ подобаетъ изъ міру разсылати царю въ подначаліе. Таковыя иноки труды своими питатися не хотятъ, накупаются на мірскія слезы, и хотятъ быти сыти отъ царя, по ихъ ложному челобитію. Таковыя иноки не богомольцы, но иконоборцы“ и т. д. Повидимому, авторъ имѣлъ въ виду тѣхъ „кружающихся“, т.-е. бродяжничающихъ иноковъ, которыхъ обличалъ нѣкогда Нилъ Сорскій и которыхъ теперь авторъ „Бесѣды“ совѣтуетъ царю разсылать въ подначаліе, т.-е. вѣроятно въ ихъ монастыри. Другое обличеніе направлено противъ иноковъ, богато живущихъ по монастырямъ; авторъ повторяетъ: „отнюдь то есть царское небреженіе и простота неслезанная, а иноческая бесконечная погибель, что инокомъ волости владѣть и міръ судити, и отъ нихъ по христіаномъ приставомъ ѣздити, и на поруки ихъ давати, и піянству въ инокахъ быти, и мірскими слезами кормитися, волости *со христіаны* отрекшимся инокомъ владѣти“. Инокамъ не прилично ѣздитъ съ вершниками, какъ воину на брань, и собирать себѣ изъ міра, какъ царевымъ мірскимъ приказнымъ, всякіе царскіе доходы; не прилично въ иноческомъ образѣ строить каменные ограды и палаты съ позлащенными узорами и травами многоцвѣтными, украшать кельи,

какъ царскіе чертоги, поносятъ себя пьянствомъ и брашномъ отъ трудящихся на нихъ людей, когда по правдѣ лучшая трапеза и лучшая жизнь должна принадлежать этимъ трудящимся, а не инокамъ.

Дальше авторъ „Бесѣды“ направляетъ свои обвиненія въ другую сторону: бѣда, скорбь и погибель роду христіанскому, когда люди отстаютъ отъ христіанской вѣры, измѣняютъ своему благовѣрному царю и возлюбятъ „слабую и прелестную ¹⁾ незаконную намъ латынскую и многихъ вѣръ вѣру“, и станутъ перенимать одежды невѣрныхъ, съ головы до ногъ, и ихъ обычаи,—потому что Богъ не повелѣлъ вѣрнымъ людямъ перенимать обычаи и одежды невѣрныхъ. „Богомерзко и незаконно ихъ житіе и обычаи ихъ непріятель ²⁾, занеже не дано имъ разумѣти про нашу новую благодать; и имъ наше ничтоже завидно есть; они прочать сесвѣтное житіе ³⁾, а мы угрожаемъ на будущее житіе“. Въ другомъ мѣстѣ авторъ грозитъ горемъ христіанскому роду, который прельщается портами ⁴⁾ и шлѣками невѣрныхъ, носить ихъ и впускаетъ въ свою землю „прелесть“ отъ невѣрныхъ и ищетъ у нихъ помощи...

Затѣмъ онъ снова возвращается къ своей главной темѣ. Гдѣ будетъ власть иноческая, а не царскихъ воеводъ, тамъ милости божіей нѣтъ; властвующіе иноки—не богомольцы, а гнѣвители (Бога); владѣть уставлено и повелѣно царямъ и мірскимъ властямъ, а не святительскому или священническому или иноческому чину; царямъ надо остерегаться, чтобы иноки „не выписывали и не выградывали изъ книгъ подлинного святыхъ отецъ писанія“; автору кажется даже, что „при послѣднемъ времени умышляютъ иноки съ книжники прелести своими, начнутъ лжами красти царей и великихъ князей“. Инокамъ надо просто давать урочную годовую милостыню, а не „волости со христіанъ“. Авторъ дѣлаетъ замѣчаніе и о самихъ царяхъ: „подобаетъ и царемъ изъ міру съ пощадою собирать всякіе доходы и дѣла дѣлать милосердно, а не гнѣвно, ни по наносу“.

Нѣкоторые историки, а съ ними и новѣйшіе издатели „Бесѣды“ придавали озобенное значеніе словамъ „Бесѣды“ о „земскомъ совѣтѣ“ ⁵⁾, предполагая, что рѣчь идетъ о земскомъ со-

¹⁾ Полную прелесть, т.-е. соблазна, дурного прельщенія.

²⁾ Т.-е. не долженъ быть принимаемъ.

³⁾ Т.-е. житіе сего свѣта.

⁴⁾ Одеждами.

⁵⁾ Въ данномъ случаѣ безразлично, находятся ли эти слова въ текстѣ самой „Бесѣды“ или въ прибавленіи („иномъ сказаніи“), которое принадлежитъ видимо другому перу.

борѣ, но по связи рѣчи выходитъ нѣчто странное. Въ изложеніи темномъ (вслѣдствіе плохой грамотности писавшаго) говорится о томъ, что христолюбивымъ царямъ и великимъ князьямъ русской земли слѣдуетъ „избранные воеводы своя и войско свое скрѣпити и царство во благоденство соединити и распространити отъ Москвы сѣмо и овамо, сюду и сюду, и грады, аки крѣпкіе непоколебимые Богомъ утвержденные столпы, крѣпко скрѣпити, и области вся задержати“, но слѣдуетъ все это дѣлать не своею царскою (вѣроятно личною и единичною) храбростію, а царскою мудростію и воинскимъ „валитовымъ“ (?) разумомъ. Вслѣдъ за этимъ говорится, что „и на такое дѣло благое достоинтъ святѣйшимъ вселенскимъ патріархомъ и православнымъ благочестивымъ папамъ (?), преосвященнымъ митрополитамъ и всѣмъ священнымъ архіепископомъ и епископомъ и преподобнымъ архимаритомъ и игуменомъ и всему священническому и иноческому чину благословити царей и великихъ князей русскихъ московскихъ на единомысленный вселенскій совѣтъ и съ радостію царю воздвигнути отъ всѣхъ градовъ своихъ и отъ уѣздовъ градовъ тѣхъ, безо величества и безъ высокоумія гордости, хриstopодобною смиренною мудростію, безпрестанно всегда держати погодно при собѣ отъ всякихъ мѣръ всякихъ людей“... Повидимому, рѣчь идетъ именно о государственномъ дѣлѣ, чтобы „царство во благоденство соединити и распространити отъ Москвы сѣмо и овамо“, но—держа при себѣ погодно вселенскій совѣтъ, царямъ слѣдуетъ „на всякъ день ихъ добръ распросити царю самому о всегоднемъ посту и о каѣниі міра всего и про всякое дѣло міра сего“. Выходитъ такъ, что вселенскій соборъ нуженъ для наблюденія того, держатся ли посты и исповѣдь, и затѣмъ уже для другихъ дѣлъ сего міра. И дальше дѣйствительно оказывается, что царю слѣдуетъ „вездѣ устави́ти своею царскою смиренною и всегодною грозою, чтобы покаятися и говѣти по вся годы всякому вездѣ мужеску полу и женьску двюнадесятъ лѣтъ: о томъ царю самому крѣпко и крѣпко печися паствы своя о спасеніи міра, о всегодномъ посту всегодными прямыми постными людьми (?) во благоденство міру всего“.

Таковъ этотъ странный памятникъ. Не считая прибавленія („иного сказанія“), онъ, безъ сомнѣнія, представляетъ отголосокъ мыслей, развивавшихся въ кругу заволжскихъ старцевъ, начиная съ Нила Сорскаго, продолжая Вассіаномъ Патрикѣевымъ и Максимомъ Грекомъ. Не весьма умѣлый грамотѣй не далъ (а можетъ быть, и не имѣлъ) связнаго представленія о цѣломъ своемъ взглядѣ; но онъ по крайней мѣрѣ высказалъ всю степень него-

дованія противъ монашескаго владѣнія „волостами со христіаны“, негодованія не только личнаго, но, видимо, уже значительно распространеннаго дальше тѣснаго круга заволжскихъ старцевъ. Трудно сказать, былъ ли авторъ „Бесѣды“ столь же сознательнымъ приверженцемъ партіи, желавшей сохраненія боярскихъ притязаній: могло быть, что, выставляя князей и бояръ естественными помощниками царя въ правленіи, онъ только повторялъ традиціонное представленіе о царскомъ правленіи,—главное было для него въ томъ, чтобы въ это правленіе не мѣшались иноки, „непогребенные мертвецы“. Прежде всего, это были именно іосифляне, упорные защитники монастырскихъ владѣній, гонители заволжскихъ старцевъ и ихъ приверженцевъ, и которые, по мнѣнію автора, „выкрадывали“ изъ книгъ подлинныя божественныя писанія и даже способны были „лжами красти царей и великихъ князей“.

Дѣятельность такихъ лицъ, какъ Нилъ Сорскій и его послѣдователи, не могла исправить внутренняго состоянія русскаго общества и его религіозной жизни. Эти силы остались единичными и не достигали крупныхъ результатовъ среди массы приверженцевъ стараго порядка, для которыхъ при сильномъ невѣжествѣ была всего удобнѣе и доступнѣе вѣра въ букву и обрядъ, чѣмъ трудная работа критики и исполненіе дѣйствительной христіанской жизни. Происходили странныя явленія. Нилъ Сорскій поддавался уже подозрѣнію въ сочувствіи къ ереси; Вассіанъ Патрикѣевъ былъ обвиненъ въ ереси и заточенъ; судьбу Максима Грека мы видѣли. Заволжскіе старцы приобрѣли дурную славу въ правящей іерархіи и новому обвиненію подвергся еще одинъ изъ среды этихъ старцевъ,—по своему благочестію и книжному знанію назначенный даже игуменомъ въ Троицѣ, потомъ обвиненный въ ереси, заточенный и наконецъ бѣжавшій въ Литву, гдѣ послѣ, рядомъ съ княземъ Курбскимъ, былъ горячимъ защитникомъ православія. Это былъ извѣстный Артемій. Всѣмъ этимъ ревнителямъ, искавшимъ исправленія русской религіозной жизни, при всемъ одушевлявшемъ ихъ энтузіазмѣ не удалось помочь дѣлу: видимо возбужденные, они не умѣли сдерживаться и давали противъ себя оружіе, которымъ не упускали злостнымъ образомъ воспользоваться ихъ противники. Люди, горячо преданные вѣрѣ и своему отечеству, оказывались ихъ врагами, а спасителями являлись приверженцы застоя, въ которомъ крылись причины многихъ и настоящихъ и послѣдующихъ бѣдствій. Защитники преобразованія,—потому что таковыми надо признать

названныхъ нами ревнителей, — не видѣли достаточно одного источника нестроений, заключавапгагося въ недостатокъ школы, въ полномомъ невѣжествѣ.

На глубокую потребность въ школѣ и знаніи указывали между прочимъ повторявшіяся ереси. Архіепископъ Геннадій и Іосифъ Волоцкій были глубоко убѣждены, что спасутъ церковь и обезпечать ея ненарушимое споконствіе, если сожгутъ и заточатъ всѣхъ еретиковъ. Они не предвидѣли, что ересь все-таки возобновится и послѣ этого; они не хотѣли вникнуть въ тѣ первоначальные мотивы, изъ которыхъ выходили эти превратныя умствованія, которымъ предавались люди несмотря даже на явную опасность жестокаго преслѣдованія. Подумать объ этомъ важно было бы въ интересахъ самой церкви: если еретики говорили неправильныя вещи о догматахъ и обрядахъ церкви, видимо было, что было недостаточно наличное церковное поученіе. Что оно было недостаточно, хорошо зналъ самъ Геннадій, когда жаловался на невѣжество новгородскихъ поповъ (а они, конечно, вездѣ были одинаковы или въ другихъ мѣстахъ еще хуже: новгородскій край отличался даже своей книжностью), — и однакоже ничего сколько-нибудь серьезнаго для школы сдѣлано не было. Если еретики говорили о недостаткахъ въ церковной практикѣ, о поставленіи поповъ „на мздѣ“, надо было обратить на это вниманіе и устранить злоупотребленіе, которое несомнѣнно было, если изъ него можно было дѣлать открытое обвиненіе. Было, наконецъ, видимое стремленіе къ болѣе широкому, болѣе внутреннему пониманію вѣры; въ неразвитыхъ умахъ оно искажалось, хваталось за уродливыя преданія (какъ богомилство у стригольниковъ), но по существу оно было законно и естественно, — и на него, однако, не находилось никакого отвѣта у людей, знавшихъ только одно средство — „жечи да вѣшати“. Изъ этого же стремленія выходило другое явленіе тогдашней религіозной жизни — идеалистическое движеніе въ школѣ Нила Сорскаго: отсюда и объясняется, что іосифляне находили потомъ связь между ученіями заволжскихъ старцевъ и еретичествомъ, — ересью казалось настойчивое отрицаніе монастырскихъ имѣній, „волостей со христіаны“; требованіе болѣе правильнаго изученія писаній; ересью казалось желаніе, чтобы христіанская вѣра означала братолюбіе, а не жестокость и ненависть.

Всѣ эти жизненныя потребности, настоятельность которыхъ указывалась и всѣмъ истиннымъ смысломъ вѣры и отрицательно указывалась ересями, не находили себѣ удовлетворенія — и ересь появлялась снова. Она появлялась въ различныхъ формахъ, отъ

простодушныхъ недоумѣній Матвѣя Башкина, отъ неясныхъ стремленій троицкаго игумена Артемія до рѣзкихъ заявленій Θεодосія Косого, который свое домашнее вольномысліе довелъ въ Литвѣ до крайностей западно-русскаго и польскаго антитринитаріанства.

Исторія этихъ ересей опять имѣетъ только косвенное отношеніе къ исторіи литературы, именно какъ указатель направленія умовъ съ обѣихъ сторонъ. Башкинъ, пришедшій съ своими религиозными сомнѣніями къ своему духовному отцу и усиленно просившій его о поученіи, прямо является жертвой тогдашняго положенія вещей: духовный отецъ самъ не могъ разрѣшить его недоумѣній, донесъ объ этомъ Сильвестру; дѣло дошло до самого царя, который сначала рѣшилъ оставить Башкина въ покоѣ; но затѣмъ его взяли, собрался соборъ, разыскали, кто „развратилъ“ Башкина (это оказались два латинца), и наконецъ его заточили. На соборѣ Башкинъ долженъ былъ изложить свое ученіе сполна и открылась явная ересь: въ ученіи Башкина оказалось раціоналистическое отрицаніе многихъ догматовъ и обрядовъ, недовѣріе къ святоотеческимъ писаніямъ, изъ которыхъ монахи могли извлекать, напр., защиту монастырскихъ имѣній и т. п. Но изъ обращенія Башкина къ духовному отцу видно, что онъ именно носился съ недоумѣніями, искалъ ихъ разрѣшенія правильнымъ путемъ,—но не нашелъ этого разрѣшенія. Между тѣмъ вопросы были серьезны и требовали рѣшенія: „еретикъ“ еще не говорилъ о догматахъ, но онъ думалъ, что если законъ училъ, что нѣтъ ничего больше той любви, какъ положить душу свою за други свои, то именно священникамъ и должно положить начало, и ученіе надо дѣломъ совершать, „а мы-де (говорили о немъ) Христовыхъ рабовъ у себя держимъ, Христосъ всѣхъ братією нарицаетъ, а у насъ-де на иныхъ и кабалы“; поэтому самъ онъ изодралъ всѣ кабалныя записи, какія у него были, и отпустилъ на волю своихъ холоповъ... Вѣроятно, уже вслѣдствіе этого одного о немъ пошла „недобрая слава“ и царю донесено было, что „прозябе ересь и явился шатаніе въ людехъ въ неудобныхъ словесъ о божествѣ“: безграмотная фраза даетъ однако понятіе о положеніи вещей. На соборѣ Башкинъ проговорился, что его ученіе одобряли заволжскіе старцы,—и они дѣйствительно могли одобрять ту долю его мнѣній, которая состояла въ требованіи внутренняго достоинства вѣры, въ отрицаніи исключительной обрядности, въ отрицаніи правильности монастырскихъ владѣній и т. п., что послѣ Нила Сорскаго еще въ послѣднее время подтверждалъ Максимъ Грекъ.

Теперь снова взялись и за заволжскихъ старцевъ, привлеченъ

былъ къ суду бывшій троицкій игуменъ Артемій, монахи Θεодосій Косой, Игнатій и нѣсколько другихъ; къ суду привлеченъ былъ даже святой впослѣдствіи Θεодоритъ, просвѣтитель лопарей, извѣстный тогда своими обличеніями противъ дурныхъ монаховъ. Главнымъ еретикомъ былъ Θεодосій Косой. Личность его до сихъ поръ мало выяснена. Онъ былъ холопъ одного московскаго боярина, бѣжалъ въ Бѣлозерскій край вмѣстѣ съ другими рабами и они приняли монашество, что избавляло ихъ отъ преслѣдованія. Когда онъ былъ въ монастырѣ, то ему „во мнишествѣ бѣ угодная господинъ его“. Здѣсь въ тѣ годы жилъ, до назначенія игуменомъ къ Троицѣ, упомянутый Артемій, и Θεодосія называютъ его ученикомъ. Послѣ того, какъ Артемій былъ привлеченъ къ суду, захваченъ былъ и Θεодосій съ его единомышленниками. Полагаютъ, что Θεодосій увлекся ученіемъ заволжскихъ старцевъ, но что оно оказалось не по его силамъ; онъ преувеличилъ его до крайностей, которыя стали ересью. Вольномысліе Θεодосія подвергалось разслѣдованію на соборѣ; во время слѣдствія Θεодосій, заключенный въ одномъ изъ московскихъ монастырей, „приластался“ къ стражамъ и бѣжалъ сначала на сѣверъ, потомъ пробрался въ Литву. Здѣсь онъ нашелъ покровителей, отрекся отъ монашества, женился, продолжалъ развивать свое ученіе все въ болѣе отрицательномъ направленіи и, повидимому, находилъ ревностныхъ послѣдователей. Дальнѣйшая судьба Θεодосія и его товарища Игнатія совершенно неизвѣстна.

Какъ ересь жидовствующихъ нашла своего обличителя въ Іосифѣ Волоцкомъ, такъ обличенію ереси Θεодосія Косого посвятилъ обширный трудъ инокъ Отенскаго монастыря, въ новгородскомъ краѣ, Зиновій (ум. въ 1568). Книга Зиновія произошла такимъ образомъ: однажды явились къ нему три послѣдователя ереси Косого, крылошане Хутынскаго Спасова монастыря (два монаха и одинъ мірянинъ, иконописецъ) и просили Зиновія сказать имъ свое мнѣніе о новомъ ученіи; нѣсколько разъ приходили крылошане, и бесѣды Зиновія съ ними составили огромную книгу подъ названіемъ: „Истины показаніе къ вопросившимъ о новомъ ученіи“. Книга распадается на 56 главъ и десять „пришествій крылошанъ“, и ученіе Косого разбирается во всѣхъ подробностяхъ ¹⁾.

¹⁾ Объ этихъ ересьхъ см. у историковъ церкви (Филарета, Макарія) и также въ специальныхъ изслѣдованіяхъ:

— „Ересь Башкина и Θεодосія Косого“, Емельянова, въ Трудахъ кievской дух. акад. 1882, II.

Происхожденіе этихъ сектъ XVI вѣка было объясняемо нашими историками весьма различно, даже противоположно. Одни считали эти ереси самобытно русскимъ явленіемъ; другіе предполагали участіе вліянія западно-европейскаго; третьи думали, что эти ереси не могли быть собственнымъ русскимъ произведеніемъ и были чужимъ иновѣрнымъ внушеніемъ; кромѣ того, одни приписывали имъ важное значеніе, какъ факту движенія русской религиозной мысли, другіе, напротивъ, отказывали имъ въ большомъ историческомъ вліяніи ¹⁾). Новѣйшій изслѣдователь этого вопроса указываетъ, что большинство мнѣній нашихъ историковъ склоняется въ пользу отечественнаго происхожденія ереси Θεοδοσία, но что затѣмъ она усилена была вліяніемъ протестантства и особенно антитринитаріанской секты, что и самъ онъ считаетъ наиболѣе вѣрнымъ. Въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Вся та часть ереси у Башкина и у Косого, которая относится къ отрицанію обрядности (или ея преувеличеній), къ отрицанію монастырскихъ владѣній и т. п., имѣетъ ясную связь съ тѣмъ церковнымъ движеніемъ, во главѣ котораго стояли Нилъ Сорскій и Максимъ Грекъ; и когда, напр., Иванъ Грозный приглашалъ послѣдняго на соборъ 1554 года по дѣлу Матвѣя Башкина, несчастный Максимъ Грекъ отказался быть на соборѣ, опасаясь, что и его привлекутъ къ этому дѣлу. Мы видѣли, что идеи самого Нила Сорскаго были до значительной степени внушены извѣстными направленіями византійской литературы и аеонскаго иночества, но онъ былъ такъ жизненно воспринятъ русскимъ подвижникомъ, что бросилъ крѣпкій корень въ религиозной жизни, какъ вскорѣ потомъ были усвоены цѣлымъ кругомъ почитателей идеи Максима Грека, хотя послѣдній воспитался совершенно внѣ русской среды.

— Костомаровъ, Историческія монографіи. Спб. 1863, т. I („Великорусскіе религиозные вольнодумцы въ XVI вѣкѣ“).

— И. Малишевскаго, „Подложное письмо половца Ивана Смерн къ вел. кн. Владиміру“, въ Трудахъ кiev. дух. ак. 1876, II.

— П. О. Николаевскій, въ „Дух. Вѣстн.“ 1865, май.

— „Зиновій, инокъ Отенскій, и его богословско-полемическія и церковно-учительныя произведенія“. Изслѣдованіе О. Калугина. Спб. 1894.

— Изданія сочиненій: „Истинны показаніе къ вопрошавшимъ о новомъ ученіи“. Сочиненіе инока Зиновія. Казань, 1863 (отдѣльно изъ „Прав. Собесѣдника“); „Многословное посланіе“ издано было Андреемъ Поповымъ, въ „Чтеніяхъ“ моск. общ. ист. и древн. 1880, кн. II; Слово Зиновія объ открытіи мощей архіепископа Іоны новгородскаго, издано въ приложеніяхъ къ книгѣ Калугина.

— Объ Артеміи мы указывали уже изслѣдованіе свят. Сергія Садковскаго, въ „Чтеніяхъ“ 1891, книга IV.

¹⁾ Ср. Обзоръ этихъ мнѣній относительно ереси Косого въ книгѣ г. Калугина, стр. 44 и далѣе.

Но дальнѣйшія крайности ереси были дѣйствительно обязаны чужому вліянію, латинскому и протестантскому раціонализму. Къ сожалѣнію, и здѣсь не сохранилось для насъ непосредственныхъ свѣдѣній и подлинныхъ писаній самихъ еретиковъ. Въ пятидесятихъ годахъ XVI-го вѣка идетъ цѣлый рядъ соборовъ противъ еретиковъ, и отъ дѣлъ этихъ соборовъ въ большинствѣ остались только одни имена обвиненныхъ и заточенныхъ, — но при всей скудости извѣстій можно, кажется, думать, что у нашихъ еретиковъ, принимавшихъ западныя вліянія, не составилось какой-нибудь отчетливой системы мнѣній и обстоятельнаго изложенія ихъ ученія: для такой системы требовалось бы больше зрѣлости мысли и книжнаго знанія, чѣмъ у нихъ было. Книга Зиновія Отенскаго считается вторымъ важнымъ памятникомъ той эпохи, составленнымъ въ защиту православія противъ ереси, на ряду съ „Просвѣтителемъ“ Іосифа Волоцкаго. Она ставится даже выше „Просвѣтителя“, потому что Зиновій былъ не простой начетчикъ, хорошо знавшій писаніе, но и мыслитель, который старался утвердить истины православнаго ученія не только авторитетомъ писанія, но и богословскимъ мышленіемъ. Такъ какъ ересь затрогивала основныя положенія православія и самаго христіанства, то Зиновій посвящаетъ цѣлые трактаты доказательствамъ бытія божія, ученію о триничности божества, о воплощеніи, о почитаніи иконъ, призваніи святыхъ, церковной обрядности и т. д. Его называютъ ученикомъ Максима Грека и въ его книгѣ есть о немъ сочувственныя упоминанія, но вмѣстѣ съ тѣмъ есть и осужденія, потому что въ нѣкоторыхъ случаяхъ Зиновій съ нимъ совершенно расходился, какъ напр. въ вопросѣ о монастырскихъ имуществѣхъ, въ вопросѣ о церковной обрядности, исключительность которой Максимъ сурово осуждалъ и которую Зиновій защищаетъ какъ древнее преданіе, а храненіе преданія составляетъ именно достоинство и силу православной церкви ¹⁾. Форма изложенія неровная — или слишкомъ книжная, или болѣе живая и образная; большой недостатокъ есть многословность, дѣлающая чтеніе книги утомительнымъ. Новѣйшій изслѣдователь Зиновія особенное значеніе его труда видитъ именно въ новомъ приѣмѣ богословскаго разсужденія. „Великое завоеваніе въ области (русской) мысли уже одно то, что было признано за разумомъ законное право на

¹⁾ Новѣйшій изслѣдователь произведеній Зиновія излагаетъ содержаніе его главнаго труда въ систематическомъ порядкѣ вопросовъ (котораго недостаетъ въ самой книгѣ) и сопоставляетъ его взгляды съ святоотеческими твореніями, которыми онъ пользуется, однако, гораздо болѣе самостоятельно, чѣмъ его предшественники (стр. 271 и слѣд.).

участіе въ области непререкаемыхъ вѣрованій; установлена правоспособность логической мысли, авторитетъ рациональнаго сужденія, которые являются на защиту, доказательство и выясненіе предметовъ религіознаго вѣденія. Мы видимъ въ этомъ немало-важную заслугу Зиновія, который, вопреки обычаю русскихъ книжниковъ говорить только отъ писаній, рѣшился допустить въ богословскія разсужденія такой высокой важности участіе разума и такъ ненавистнаго въ древности „мнѣнія“... Такая широта мышленія, такой обобщающій синтезъ показываютъ въ авторѣ ихъ личность высоко даровитую, съ недюжинными способностями, достаточно развитыми образованіемъ чрезъ чтеніе тогдашней литературы богословской и естественно-научной¹⁾,—хотя конечно его научныя мнѣнія отличаются недостатками того времени. Книга Зиновія имѣетъ и свои слабыя стороны. Зиновій—сильный полемистъ, но его полемика слишкомъ дробная и нерѣдко упускающая изъ виду самый источникъ возраженій. „Вслѣдствіе этого недостатка,—говоритъ новый изслѣдователь,—полемика Зиновьева имѣетъ значеніе только временное и мѣстное и потому, въ общемъ, маловажное; она бессильна, наприм., для борьбы съ протестантизмомъ.—Нельзя не отмѣтить еще одну черту, характеризующую невыгодно полемику Зиновія. Онъ не счумѣлъ избѣжать обычнаго въ то время приема полемистовъ—смѣшивать личность съ защищаемымъ ею дѣломъ или ученіемъ; рѣзкія укорительныя выраженія ею противъ Косого (и притомъ очень частыя) портятъ общее впечатлѣніе и даютъ его полемикѣ тонъ пристрастный и раздражительный, вопреки его собственному завѣренію о противномъ“²⁾. Книга Зиновія у старинныхъ читателей была меньше распространена, чѣмъ „Просвѣтитель“.

Намъ остается упомянуть еще объ одномъ замѣчательномъ дѣятелѣ той эпохи, который по складу своихъ религіозныхъ взглядовъ, отчасти и по личнымъ отношеніямъ къ Максиму Греку, примыкаетъ къ традиціи воложскихъ старцевъ и сочиненія котораго съ другой стороны представляютъ почти первый опытъ въ новомъ духѣ задуманнаго труда по современной исторіи, а также любопытный, почти единственный для тѣхъ временъ примѣръ политическаго памфлета. Это былъ знаменитый князь Андрей Курбскій (родился около 1528, ум. въ 1583). Исторія его извѣстна.

¹⁾ Калугинъ, стр. 140.

²⁾ Калугинъ, стр. 265—266.

Потомокъ князей ярославскихъ, высоко ставившій преданія и, какъ ему казалось, права своего происхожденія, одинъ изъ видныхъ полководцевъ царя Ивана Васильевича, участвовавшій еще молодымъ человѣкомъ во взятіи Казани, потомъ много служившій и подѣ конецъ въ ливонской войнѣ, онъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ человѣкъ просвѣщенный, знавалъ Максима Грека въ послѣдніе годы его жизни, высоко почиталъ его и во многомъ раздѣлялъ его взгляды ¹⁾. Въ томъ періодѣ царствованія Грознаго, который ознаменованъ боярскими опалами и казнями, Курбскій бѣжалъ въ 1563 или 1564 г. въ Литву, получилъ отъ польскаго короля помѣстья, и послѣдніе, еще долгіе годы своей жизни посвятилъ защитѣ православія въ западной Руси, обуреваемой тогда религиозными волненіями, отдался книжному труду, уже въ старые годы научился латинскому языку, переводилъ святоотеческія книги, которыхъ не доставало въ русской литературѣ, и этимъ продолжалъ служить потерянному отечеству, къ которому стремился мыслями, „въ странствѣ будучи, и долгимъ разстояніемъ отлученный и туне отогнанный отъ оныя земли любимаго отечества моего“.

Въ своихъ сочиненіяхъ, посвященныхъ церковнымъ предметамъ, Курбскій, какъ ученикъ Максима Грека, настаивалъ особенно на необходимости просвѣщенія, котораго такъ мало онъ видѣлъ среди русскихъ книжниковъ. Эти книжники, сами невѣжественные, отвергаютъ отъ ученія, сами вѣрятъ „болгарскимъ баснямъ“ и разсѣиваютъ ихъ вмѣсто истиннаго ученія и попадаютъ на тотъ пространный путь, который ведетъ къ гибели. Въ предисловіи къ переводу „Маргарита“ онъ говоритъ, что „обращается въ скорбяхъ къ Господу и утѣшается въ книжныхъ дѣлахъ, изучая „разумы древнихъ высочайшихъ мужей“. Онъ прочелъ Аристотеля, часто читалъ родное священное писаніе, которымъ „праотцы мои были по душѣ воспитаны“. При этомъ случилось ему вспомнить о преподобномъ Максимѣ, новомъ исповѣдникѣ, какъ однажды онъ говорилъ, что книги великихъ учителей восточныхъ не переведены на славянскій языкъ, но послѣ взятія Константинополя переведены были на латинскій. Курбскій началъ учиться по-латыни, чтобы перевести на свой языкъ то, что еще не переведено: нашими учителями чужіе наслаждаются, а мы голодомъ духовнымъ таемъ, на свое глядя. Для этого не мало лѣтъ потратилъ онъ, обучаясь наукамъ грамматическимъ, диа-

¹⁾ Прибавимъ еще, что духовнымъ отцомъ его бывалъ святой вполнѣдствіи Теодоритъ, о которомъ онъ съ благоговѣніемъ вспоминаетъ въ своей исторіи Ивана Грознаго, и который (по дошедшимъ до него слухамъ) былъ умерщвленъ Грознымъ за просьбу о Курбскомъ.

лектическимъ и прочимъ“¹⁾. Въ предисловіи къ переводу богословія Дамаскина, онъ убѣждалъ принимать здравыя ученія и „не потакаетъ безумнымъ, или лучше сказать, лукавымъ прелестникамъ, выдающимъ себя за учителей“. „Я самъ отъ нихъ слышалъ, еще будучи въ русской землѣ, подъ державою московскаго царя; прельщаютъ они юношей трудолюбивыхъ, желающихъ навѣянуть писанію, говорятъ имъ: вотъ этотъ отъ книгъ умъ потерялъ, а вотъ этотъ въ ересь впалъ. О, бѣда! отъ чего бѣсы бѣгаютъ и исчезаютъ, чѣмъ еретики обличаются, а нѣкоторые исправляются, это оружіе они отнимаютъ и это врачевство смертоноснымъ ядомъ называютъ“. Подобно Максиму Греку, Курбскій съ негодованіемъ говоритъ о массѣ апокрифическихъ сочиненій, которыя были распространены въ средѣ русскихъ читателей и даже „нынѣшняго вѣка мнимыхъ учителей“ и находили между ними полную вѣру. Вспоминая греческое царство, погибшее за свои грѣхи, онъ утѣшается зрѣлищемъ русской земли, которая одарена издревле благочестіемъ, но скорбитъ, что она падаетъ отъ недостатка просвѣщенія. „Книги, отъ Божественнаго Параклита написанныя, ветхія и новыя,—говоритъ онъ,—мы на своемъ языкѣ имѣемъ, епископы по великимъ властямъ сѣдѣюще, всякимъ преизобиліемъ полны суще, въ церквахъ многъ міръ имуще. И аще бы хотѣли и учить священному ученію, ни отъ кого же нигдѣ возбраняеми. И вся земля наша русская, отъ края и до края, яко пшеница чистая, вѣрою божіею обрѣтается; храмы божіи на лицѣ ея водружены, подобно частымъ звѣздамъ небеснымъ... Цари и князи въ православной вѣрѣ отъ древнихъ родовъ и нынѣ отъ Превышняго помазуются на правленіе суда и на заступленіе отъ враговъ чувственныхъ. Съ Еремѣемъ рещи милосердіе Господне должно: земля наша наполнена вѣры божіи и преизобилуетъ, яко же вода морская. Что воздадимъ Господеву, еже воздалъ намъ?.. Мы же нечувственніи и неблагодарніи, какъ аспиды затыкая уши свои отъ словесъ Его, преклоняемся послушаніемъ паче ко врагу своему, лстящему настоящему славою міра сего и ведущаго насъ по пространному пути въ погибель“. Ему кажется даже, что близится время пришествія Антихриста.

Курбскій бѣжалъ изъ Россіи во время ливонской войны, какъ думаютъ, чтобы избѣжать царскаго гнѣва послѣ потери битвы подъ Невлемъ: вѣрнѣе, что это обстоятельство могло быть только

¹⁾ Въ письмѣ къ ученику Артемію, Марку Сарнгозину, онъ писалъ, что не только другихъ побуждалъ къ изученію греческаго и латинскаго языка (какъ „благороднаго юношу“ князя Михаила Оболенскаго), „но и самъ не мало лѣтъ вѣнурихъ по силѣ моей, уже въ сѣдинахъ, со многими трудн пріучахся языку римскому“.

послѣднимъ побужденіемъ исполнить ранѣе задуманный планъ. Отсюда, изъ-за рубежа началъ онъ знаменитую переписку съ Иваномъ Грознымъ, которая заключаетъ четыре посланія Курбскаго изъ Вольмара и Полоцка съ 1563 по 1579 годъ, и два отвѣтныя посланія Грознаго. Содержаніе ихъ достаточно извѣстно. Какъ опредѣляется ихъ нравственно-политическое значеніе, какъ и значеніе самаго бѣгства Курбскаго?

Этотъ вопросъ, много разъ привлекавшій вниманіе историковъ, остается до сихъ поръ неразрѣшеннымъ—между полнымъ осужденіемъ Курбскаго и его защитой, какъ съ политической, такъ и съ нравственной стороны. Трудность рѣшенія заключается въ томъ, что этотъ частный вопросъ связанъ съ болѣе широкимъ вопросомъ о характерѣ личности и дѣятельности самого Ивана Грознаго. Полное опредѣленіе того и другого еще не достигнуто нашей исторіографіей. Первый издатель Курбскаго говорилъ: „До появленія въ свѣтъ IX тома Исторіи Государства Россійскаго, у насъ признавали Іоанна государемъ великимъ, видѣли въ немъ завоевателя трехъ царствъ и еще болѣе мудраго, попечительнаго законодателя. Знали, что онъ былъ жестокосердъ, но только по темнымъ преданіямъ, и отчасти извиняли его во многихъ дѣлахъ, считая ихъ необходимыми для учрежденія благодѣтельнаго самодержавія. Самъ Петръ Великій хотѣлъ оправдать его. Это мнѣніе поколебалъ Карамзинъ“. Но послѣ Карамзина великое значеніе Ивана Грознаго, независимо отъ картины нарисованной Карамзинимъ, или наперекоръ ей, было выставлено новыми историками, которые въ дѣятельности Ивана Грознаго увидѣли успѣхъ государственной идеи надъ отживающей стариной. Таковъ былъ взглядъ Соловьева и Кавелина. Въ ихъ глазахъ зрѣлище свирѣпостей Грознаго застилалось представленіемъ объ его стремленіяхъ къ органическому государственному единству, которому будто бы продолжали грозить притязанія хотя отживавшаго, но еще опаснаго удѣльнаго сепаратизма. Затѣмъ, въ исторической литературѣ снова выдвигалась другая точка зрѣнія, находившая, что для достиженія подобной цѣли не было надобности въ тѣхъ странныхъ и страшныхъ мѣрахъ (какъ опричнина и казни), какія принималъ Грозный, и что эта правительственная мудрость едва-ли могла вознаградить послѣдовавшую деморализацію. Но и эта точка зрѣнія не была достаточно развита; въ отвѣтъ явились новыя апологіи Грознаго, въ которыхъ опять указывалась государственная необходимость его политики, а его жестокости признаны чуть не легендой,—напримѣръ, многія казни сочтены

вымышленными, извѣстія о другихъ преувеличенными ¹⁾). И несмотря на то, мрачная легенда такъ сильна, что еще недавно въ нашей литературѣ появилось два специальныхъ трактата о психическомъ разстройствѣ Ивана Грознаго... Однимъ словомъ, вопросъ, для рѣшенія котораго нужны усиленные изысканія историка, юриста, психолога (и, можетъ быть, психіатра), остается еще открытымъ.

Въ связи съ этимъ колебались взгляды на дѣятельность Курбскаго, въ частности на фактъ его бѣгства. „Русскіе историки новой школы,—говоритъ одинъ изъ новѣйшихъ изслѣдователей этого вопроса,—видѣли въ кн. Курбскомъ представителя идей отживающей старины, въ Иванѣ IV—представителя новой *государственной* идеи... Разумѣется, между представителями этихъ различныхъ направленій должна была возникнуть борьба, и вотъ эта-то борьба, по словамъ апологистовъ Ивана IV, и характеризуетъ вторую половину XVI вѣка русской жизни.

„Кто же, спрашивается, вышелъ побѣдителемъ изъ этой борьбы? Кто же изъ борцовъ—гонитель? Кто жертва?

„Карамзинъ не обинуясь называлъ жертвами Курбскаго съ товарищи, Арцыбашевъ—Ивана IV. Последняго мнѣнія держались и позднѣйшіе русскіе историки, за исключеніемъ Погодина“ ²⁾).

Такая дилемма могла быть поставлена, и если она ставится, то по всѣмъ условіямъ характеровъ и событій представить Ивана Грознаго „жертвой“ очень мудрено. Предшествующія отношенія Курбскаго къ царю до сихъ поръ вполнѣ не выяснены; въ сохранившихся извѣстіяхъ есть намеки, которые остаются однако темны; общій тонъ переписки Курбскаго съ Иваномъ Грознымъ гораздо меньше указываетъ на какіе-либо политическіе принципы, чѣмъ на чисто личные отношенія—съ одной стороны необузданнаго деспота, до послѣдней степени раздраженнаго тѣмъ, что изъ рукъ его ускользнула намѣченная жертва, съ другой—человѣка, спасавшаго свою жизнь, но чувствовавшаго свою правоту. Конечно, со стороны Ивана Грознаго приведены были аргументы, носившіе и политическій характеръ, по которымъ онъ былъ со-

¹⁾ Ср. книгу г. Вѣлова: „Объ историческомъ значеніи русскаго боярства до конца XVI вѣка“. Спб. 1886.

²⁾ Князь А. М. Курбскій. Историко-библиографическія замѣтки по поводу послѣдняго изданія его „Сказаній“. М. П.—скаго. Казань, 1878 (изъ „Ученыхъ Записокъ“ казанскаго университета, 1878). Появившійся въ провинціальномъ изданіи, трудъ М. П. былъ мало распространенъ, но принадлежитъ къ лучшему, что было писано о Курбскомъ.

вершенно правъ, а „собака“ Курбскій кругомъ виноватъ. Первое посланіе Грознаго въ отвѣтъ Курбскому въ высшей степени характерно излагаетъ его представленія о своей власти; посланіе усыпано цитатами изъ писанія, ссылками на исторію. Онъ—царь ветхозавѣтнаго и византійскаго образца: онъ поставленъ самимъ Богомъ и его власти нѣтъ предѣла; возстаніе Курбскаго противъ него есть возстаніе противъ самого Бога: „Ты же, тѣла ради, душу погубилъ еси, и славы ради мимотекущія нелѣпотную славу приобрѣлъ еси, и не на человѣка возъярився, но на Бога возсталъ еси. Разумѣй же, бѣдникъ, отъ каковы высоты и въ какову пропасть душею и тѣломъ спелъ еси! Сбытся на тебѣ реченное: и еже имѣя мнитсѣя, взято будетъ отъ него! Се твое благочестіе, еже самолюбія ради погубилъ еси, а не Бога ради!“ И рядомъ иронія инквизитора: „Аще праведенъ и благочестивъ еси по твоему гласу, почто убоялся еси неповинныя смерти, еже нѣсть смерть, но приобрѣтеніе? Послѣди всяко умерти же!“ Затѣмъ, приводя текстъ апостола Павла, онъ продолжаетъ: „Смотри же сего и разумѣвай, яко противляйся власти, Богу противится, и аще кто Богу противится, сіи отступникъ именуются, еже убо горчайшее согрѣшеніе“. Новый текстъ о повиновеніи господамъ, не только благимъ, но и строптивымъ, долженъ еще разъ оправдать авторитетомъ священнаго писанія его право—на мучительство: „се бо есть воля Господня, еже благое творяще, пострадати!“ Въ примѣръ онъ приводитъ ему слугу его: „Како же не усрамишися раба своего Васьки Шибанова? Еже бо онъ благочестіе свое соблюдѣ, и предъ царемъ и предо всѣмъ народомъ, при смертныхъ вратѣхъ стоя, и ради крестнаго цѣлованія тебе не отвержесѣя, и похваляя и всячески за тя умерти тщащесѣя“. Иванъ Грозный не чувствовалъ, что самый постоунокъ его съ Шибановымъ ронялъ его нравственное достоинство и былъ насмѣшкой надъ христіанскимъ ученіемъ.

Въ чемъ было политическое значеніе спора? Давно указано было, что обѣ стороны впадали въ преувеличеніе во взаимныхъ обвиненіяхъ: какъ Иванъ Грозный создавалъ не существовавшія преступленія, такъ и въ словахъ Курбскаго проглядываетъ признаніе, что Сильвестръ и Адашевъ, которыхъ онъ защищаетъ, дѣлали ошибки, въ концѣ концовъ раздражившія царя противъ нихъ; но самъ Курбскій, повидимому, не имѣлъ вовсе такой роли въ правленіи, чтобы и на него можно было взвалить обвиненія, расточаемыя Грознымъ; по мнѣнію безпристрастныхъ историковъ, эти обвиненія въ значительной мѣрѣ были клеветы.

Прискорбный фактъ бѣгства находитъ себѣ достаточное объяс-

неніе. Самъ Устряловъ, въ третьемъ изданіи „Сказаній“, писалъ: „Очень можетъ статься, что Курбскій, свидѣтель безчестной казни князя Михаила Репнина и Дмитрія Курлятева, угрожаемый смертію и самъ, какъ другъ Сильвестра, Адашева, Воротынскаго, Шереметева, не задолго предъ тѣмъ изгнанный изъ Москвы, рѣшился по примѣру князя Дмитрія Вишневецкаго и другихъ спасти свою жизнь отъ вѣроятной казни удаленіемъ изъ Россіи“ ¹⁾. Неизвѣстно, при какихъ обстоятельствахъ, но несомнѣнно, что царь грозилъ ему; въслѣдствіи царскій гонецъ Колычевъ долженъ былъ говорить королю Сигизмунду: „Курбскаго и его совѣтниковъ измѣны то, что онъ хотѣлъ надѣ государемъ нашимъ и надѣ его царицею Настасьею и надѣ ихъ дѣтми умыслиати всякое лихое дѣло: и государь нашъ, увѣдавъ его измѣны, хотѣлъ-было его посмирить, и онъ побѣждалъ“. Лихое дѣло было фантазіей, и о немъ никогда не было сказано что-нибудь ясно. Въ другой разъ, въ 1572 году, Иванъ Грозный обвинялъ Курбскаго въ бесѣдѣ съ Воропаемъ, агентомъ литовскихъ и польскихъ дворянъ. „Есть тамъ люди, съѣхавшіе изъ моей земли въ вашу. Надобно опасаться, чтобы эти люди, когда почувятъ, что литовскіе и польскіе паны хотятъ имѣть меня государемъ, не съѣхали отсюда въ чью-нибудь землю подальше, либо въ орду, либо къ туркамъ. Пусть бы ваши паны заранѣе предупредили это потихоньку, да удержали ихъ, а я, клянусь Богомъ, обещаю, что этимъ людямъ не буду помнить ихъ неправды. Курбскій... отъѣхалъ въ вашу землю. Посмотри-ка, прошу, вотъ на этого (при этомъ онъ указалъ на своего старшаго сына)... вотъ этого дитяти мать, а мою жену отнялъ онъ у меня. И Богъ свидѣтель, что я даже и не думалъ казнить его, я, собственно говоря, имѣлъ только намѣреніе немножко убавить ему почестей и отобрать у него мѣста, съ тѣмъ, чтобы опять его пожаловать. Но онъ побоялся и отъѣхалъ въ ливонскую землю. Этому,—прибавилъ Иванъ,—пусть бы ваши паны поубавили мѣстъ, да пусть бы посмотрѣли за нимъ, чтобы онъ отсюда не отправился куда-нибудь“.

„Эта рѣчь Ивана,—говоритъ М. П—скій,—превосходно характеризуетъ его мелочной ненавистный характеръ, унижавшійся до очевидной лжи. Этотъ „мужъ добрый и благочестивый, у котораго на всякую мысль готовъ былъ текстъ изъ священнаго Писанія“—какъ отзывался о Грозномъ Баторій—этотъ „благочестивый мужъ“ клянется Богомъ, что за смерть супруги-царицы онъ

¹⁾ „Сказанія“, изд. 3-е, стр. XV.

хотѣлъ у виновнаго только поубавить почестей, съ тѣмъ, чтобы послѣ возвратить ихъ. Въ дипломатическомъ разговорѣ, гдѣ рѣчь шла о соединеніи Литвы и Польши съ державою московскою, Иванъ не могъ пройти молчаніемъ дѣла бѣглаго подданнаго, за-
дѣвшаго его самолюбіе, ввводилъ на него чуждое ему преступ-
леніе, и при этомъ влялся помиловать его, если онъ не уйдетъ
отъ его рукъ¹⁾.

Въ 1578 Иванъ Грозный писалъ самому Курбскому: „А и
съ женою меня вы прочто разлучили? Только бы у меня не от-
няли юницы моея: ино бы Кроновы жертвы не было“. Тотъ же
ислѣдователь замѣчаетъ, что Иванъ Грозный обвиняетъ здѣсь всю
партію въ словахъ „вы“, а не самого Курбскаго; въ упомяну-
томъ разговорѣ съ Воропаемъ онъ ввводилъ обвиненіе на одного
Курбскаго, но ему самому все-таки не рѣшался сказать, что онъ
повиненъ въ этомъ преступленіи. Столь же странно обвиненіе,
будто Курбскій хотѣлъ стать „ярославскимъ владыкою“ или „въ
Ярославль государити“; у Курбскаго, конечно, не могло быть та-
кого фантастическаго намѣренія, и если онъ напоминалъ о своемъ
происхожденіи отъ князей ярославскихъ, „влекомыхъ отъ роду
великаго Владимира“, и самъ назывался княземъ ярославскимъ,
то это было не болѣе какъ воспоминаніе о прежнемъ могуществѣ
его рода и упрекъ Ивану Грозному: послѣдній, по словамъ того
же изслѣдователя, самъ понималъ это, но прибѣгалъ къ такому
вымышленному обвиненію за отсутствіемъ дѣйствительной вины.
Нѣкоторые новѣйшіе историки, какъ мы видѣли, хотѣтъ доказы-
вать, что извѣстія о жестокостяхъ Ивана Грознаго вымышлены
или преувеличены, но достаточно и того, что не подлежитъ со-
мнѣнію. Чѣмъ была „опала“, видно изъ его собственнаго посланія
къ игумену Козьмѣ: „что мнѣ надъ чернецомъ опалятися или
поругатися?.. Что на Шереметевыхъ гнѣвъ держати, ино вѣдь
есть братья ево въ міру, и мнѣ есть надъ кѣмъ опала своя по-
ложить“. Это совершенно согласно съ тѣмъ, что говоритъ Курб-
скій²⁾. Онъ зналъ, что его могло ждать въ Москвѣ, какъ при-

¹⁾ М. П.—скій, стр. 20. А въ письмѣ къ Курбскому онъ прямо говорилъ, что
хотѣлъ дать ему „пріобрѣтеніе“—казнивши его.

²⁾ Въ предисловіи къ Маргариту: „Законъ Божій глаголетъ: да не понесетъ сынъ
грѣховъ отца своего, а не отецъ грѣховъ сына своего; каждый въ своемъ грѣсѣ
умретъ и по своей винѣ понесетъ казнь. А ласкатели совѣтуютъ, аще кого оклеве-
дуютъ, и повиннымъ сотворятъ, и праведника грѣшникомъ учинятъ, и извинникомъ
нарекуютъ, по ихъ обыкновенному слову; не токмо того безъ суда осуждаютъ и казни
предаютъ, но и до трехъ поколѣній, отъ отца и отъ матери по роду влекомыхъ, осу-
ждаютъ и казнятъ, и всеродно погубляютъ, не токмо единокровныхъ, но еще и знаемыхъ
быхъ, и сусѣдъ, и мало ко дружбѣ причастенъ, иже въ незамиреніе и бесчисленные

верженца Сильвестра и Адашева, и здѣсь простое объясненіе его бѣгства.

Курбскаго изображаютъ представителемъ стараго дружиннаго начала, защищавшимъ „право“ отъѣзда и „право“ совѣта; но этотъ отъѣздъ былъ только бѣгствомъ недовольныхъ и опальныхъ въ Литву, куда король переманивалъ ихъ на службу, обѣщая свои милости, и Курбскій нигдѣ не говоритъ объ этомъ „правѣ“; право совѣта — опять не было въ понятіяхъ Курбскаго какимъ-нибудь юридическимъ требованіемъ, а только желаніемъ, чтобы въ правленіи участвовали люди честные и опытные, какими онъ считалъ своихъ друзей, — онъ вступался только за убіенныхъ и опальныхъ. Тотъ же изслѣдователь замѣчаетъ, что и самъ Иванъ Грозный открылъ борьбу на смерть не старому отжившему порядку, а правителямъ и ихъ партіи, которые сдѣлались ему ненавистны; по его собственному выраженію, „онъ за себя сталъ“. „Въ своихъ посланіяхъ къ Курбскому онъ защищаетъ единственно себя, а не дѣло Руси, которымъ наука хотѣла обременить его темную память“¹⁾. Для Курбскаго съ тѣми политическими и церковными взглядами, какіе онъ дѣлилъ съ лучшими людьми своего времени, „по естественной человѣческой нетерпѣливости“ предстоялъ одинъ выходъ или, скорѣе, бѣгство изъ „запертаго царства русскаго“, въ которомъ подавлялось „свободное человѣческое естество“, по его прекрасному выраженію“²⁾.

Въ Литвѣ и на Волыни Курбскій велъ печальную жизнь „между челоѣки тяжкими и зѣло негостелюбными и къ тому въ ересяхъ различныхъ развращенными“³⁾; среди нравовъ польскаго панства и въ немъ сказывался упорный, иногда необузданный московскій бояринъ, но онъ много работалъ надъ своими книжными дѣлами и тосковалъ по покинутой родинѣ. Умирая, онъ предвидѣлъ бѣдствія, которыя грозили его беззащитному семейству и потомъ дѣйствительно его постигли. Сынъ его былъ уже католикомъ⁴⁾.

Въ общей оцѣнкѣ историческаго значенія Курбскаго намъ представляется наиболѣе близкимъ къ истинѣ взглядъ названнаго нами изслѣдователя. При всѣхъ ошибкахъ и недостаткахъ его са-

зла, гнѣвъ непримирительный и провозглашеніе производить на невинныхъ“ (Жизнь Курбскаго въ Литвѣ и на Волыни, II, стр. 304).

¹⁾ М. П—скій, стр. 11.

²⁾ Тамъ же, стр. 29.

³⁾ Жизнь Курбскаго въ Литвѣ и на Волыни, II, стр. 303.

⁴⁾ Литература объ Курбскомъ указана въ книгѣ М. П—скаго и въ „Русской Исторіи“ Бестужева-Рюмина, т. II, вып. первый. Сиб. 1865, стр. 260.

мого и его друзей, Курбскій былъ лучшимъ выразителемъ тѣхъ идей русской гражданственности, которыя, очевидно, были доступны и другимъ лицамъ той же партіи; но ни въ одномъ изъ нихъ не высказалось столько энергіи въ борьбѣ, какъ въ Курбскомъ. Курбскій представляетъ намъ образецъ тѣхъ доблестей, какія могла дать Русь XVI-го вѣка, даваемая правительственнымъ ерроромъ, стѣсняемая въ свободѣ изслѣдованія истины, далекая отъ европейскаго запада. Курбскій—это гражданинъ, представитель идеи прогресса, вопіющій противъ тупого абсолютизма; это—воинъ не щадящій живота за дѣло Руси; это—ученый, не довольствующійся тѣмъ недостаточнымъ образовательнымъ матеріаломъ, съ которымъ уживались другіе книжники его времени; наконецъ, это—первый русскій публицистъ, неуклонно идущій по предположенному заранѣе пути... Иванъ IV понималъ Курбскаго, не могъ не чувствовать его превосходства въ ряду остальныхъ бояръ, не стыдился вступить съ нимъ въ переписку, въ которой тщетно старался уязвить своего врага вымышляемыми преступленіями или неприличнымъ упрекомъ... И если въ перепискѣ съ Курбскимъ у Ивана не доставало пороку, то онъ нагибался до земли и не гнушался державною десницею поднять даже комъ грязи, чтобы ютя ея бросить въ очи своего жестокаго обличителя. Словомъ, характеръ переписки между Иваномъ и Курбскимъ чисто личный, ничего государственнаго въ ней нѣтъ, и наименѣе государственности въ томъ, въ чемъ ее нѣкоторые видѣли¹⁾.

А. Пыпинъ.



¹⁾ М. П—скій, стр. 23—24.

НАДѢЙСЯ, ВѢРУЙ И ЛЮБИ

Нѣтъ, не люби! Твоей любви не стануть
Въ продажномъ мірѣ признавать...
И будетъ жизнь мечты твои сжигать,
Пока въ душѣ цвѣтки любви завянутъ.
Не жертвуй сердцемъ для того,
Кто человека самъ не любитъ...
Не жертвуй! Онъ твое погубить,
Взамѣнъ не давши своего!..

Не вѣруй въ міръ—тотъ міръ, что отрицаньемъ
Себя какъ ядомъ отравилъ,—
Въ тотъ міръ, гдѣ жизнь—шумъ страсти заглушилъ,
Гдѣ сознають и мучатся сознаньемъ!..
Среди озлобленныхъ умовъ
Ты не найдешь себѣ пріюта;
Насмѣшекъ горькая минута
Убьетъ восторгъ твоихъ годовъ...

И если ты не потерялъ надежды,—
Не полагайся на другихъ:
Опоры нѣтъ въ сердцахъ давно пустыхъ,—
У нищаго нарядной нѣтъ одежды...
Ты самъ въ глубь жизни проруби
Тропу сквозь камни безучастья,
И лишь для неземного счастья
Надѣйся, вѣруй и люби!..

В. Булгаковъ.



ЭКОНОМИЧЕСКІЯ НЕДОРАЗУМѢНІЯ

Окончаніе.

II *).

Наша экономическая политика въ теченіе многихъ лѣтъ представляла собою крайне пеструю смѣсь разнородныхъ началъ и случайныхъ мѣропріятій, въ которыхъ трудно было бы уловить признаки какой-нибудь опредѣленной сознательной системы. Личныя взгляды смѣнявшихся правительственныхъ дѣятелей, даже второстепенныхъ и малоизвѣстныхъ, рѣшали судьбу важнѣйшихъ вопросовъ государственнаго хозяйства, при обычномъ канцелярскомъ способѣ обсужденія и рѣшенія дѣлъ; а перемѣнчивыя закулисныя вліянія заинтересованныхъ лицъ и кружковъ, имѣющихъ доступъ къ сильнымъ міра сего, давали часто направленіе всему ходу правительственной дѣятельности.

Повидимому, у насъ поощрялась крупная капиталистическая промышленность; но на самомъ дѣлѣ поощрялись отдѣльные предприниматели въ ущербъ прочимъ, поддерживались отдѣльныя привилегированныя предпріятія, или явно убыточные, или приносящіе и безъ того чрезмѣрные барыши, а промышленное развитіе страны задерживалось искусственными стѣсненіями и преградами. Графъ Канкринъ и Вронченко оказывали, между прочимъ, специальное покровительство петербургскимъ рафинаднымъ заводчикамъ, и по этому поводу откровенно признавали нужнымъ „стѣснить“ развивавшуюся свеклосахарную промышленность; позднѣе, когда послѣдняя достаточно укрѣпилась и достигла блестящаго процвѣ-

*) См. выше: июнь, стр. 772.

танія, она сдѣлалась предметомъ преувеличенныхъ и ничѣмъ уже не оправдываемыхъ поощрительныхъ мѣръ, стоившихъ ежегодно многихъ миллионовъ рублей государственной казнѣ, всему обществу и народу. Сахарные заводы даютъ неслыханные на западѣ дивиденды, сосредоточивающіеся въ рукахъ немногихъ капиталистовъ, а имъ еще гарантировалась возможность держать высокія монопольныя цѣны продукта для массы русскихъ потребителей и получать крупныя казенныя субсидіи за снабженіе дешевымъ сахаромъ иностранцевъ. Почему государство должно было брать на себя охрану дороговизны русскаго сахара внутри Россіи и обезпечивать на казенный счетъ дешевизну его для англичанъ и персовъ,—остается неизвѣстнымъ. Какъ бы ни прикрашивался этотъ голый фактъ громкими разсужденіями о западно-европейскихъ и азіатскихъ рынкахъ, вредное значеніе его для страны и народа не подлежитъ никакому спору. Если тутъ есть покровительство, то никакъ не интересамъ русскаго общества и даже не свекло-сахарной промышленности, а отдѣльнымъ спекулянтамъ и сахарозаводчикамъ съ одной стороны, персамъ и англичанамъ—съ другой. Въ основѣ этого своеобразнаго протекціонизма наизнанку лежитъ очевидное недоразумѣніе, и изъ такихъ недоразумѣній состоитъ въ сущности почти вся наша покровительственная система, начиная съ Канкрина и Вронченко до новѣйшаго времени. Охранительныя мѣры противорѣчатъ одна другой, парализуютъ себя взаимно и въ концѣ концовъ останавливаютъ то самое промышленно-капиталистическое развитіе, поощреніе котораго составляетъ будто бы задачу государства. Фабрики и заводы нуждаются прежде всего въ хорошихъ, усовершенствованныхъ машинахъ и въ дешевомъ каменномъ углѣ; между тѣмъ выписка нужныхъ машинъ изъ-за границы крайне стѣснена высокимъ таможеннымъ тарифомъ, а покровительствуемый туземный уголь не только обходится гораздо дороже иностраннаго, но иногда вовсе не можетъ быть доставленъ своевременно, вслѣдствіе ограниченности размѣровъ каменноугольнаго производства и неудобствъ или задержекъ желѣзнодорожной перевозки. Такимъ образомъ, фабрики и заводы встрѣчаютъ сильныя препятствія для своей дѣятельности, благодаря одностороннему и бесплодному поощренію барышей немногихъ каменноугольныхъ хозяевъ и неудачныхъ машиностроителей; требовалась поэтому болѣе значительная охрана фабрично-заводскихъ издѣлій, таможенные пошлины повышались, и покровительство все-таки оставалось только мнимымъ, вызывая одинаковое стѣсненіе и для добросовѣстныхъ производителей, и для потребителей, и для плательщиковъ податей. Заводчики и

фабриканты могли бы пользоваться подъездными рельсовыми путями для удешевленія и облегченія доставки товаровъ къ желѣзнодорожнымъ стаяціямъ; но рельсы стоятъ вдвое дороже, чѣмъ за границей, вслѣдствіе нехстати примѣненнаго таможеннаго покровительства, и устройство необходимыхъ подъездныхъ путей дѣлается мало доступнымъ. Желѣзо и уголь — насущный хлѣбъ для промышленности, по справедливому замѣчанію Д. И. Менделѣева, — искусственно повышаются въ цѣнѣ, къ великому ущербу всего народнаго хозяйства, и это тоже дѣлается во имя протекціонизма. Дурныя стороны денежнаго господства находили у насъ благодарную почву, но самостоятельное капиталистическое производство подрывалось на каждомъ шагѣ и едва пробивало себѣ дорогу съ большимъ трудомъ. Вспомнимъ судьбу знаменитаго мальцевскаго промышленнаго района, созданнаго частными усиліями и загубленнаго казеннымъ вмѣшательствомъ и управленіемъ. Протекціонизмъ, о которомъ у насъ такъ много разсуждали, не только не достигалъ цѣли, но его вовсе не существовало въ смыслѣ разумнаго покровительства промышленнымъ интересамъ страны.

Чтобы не быть голословными, мы воспользуемся фактическими свѣденіями, сообщаемыми въ весьма поучительной и къ сожалѣнію мало замѣченной въ нашей печати книжкѣ, вышедшей два года тому назадъ. Книжка написана технологомъ по спеціальности, г. К. Веберомъ, и даетъ очень назидательные, взятые прямо изъ жизни, практическіе отвѣты на отвлеченные вопросы, обсуждаемые нашими доктринерами капитализма. Одно изъ важныхъ сельскохозяйственныхъ техническихъ производствъ, доступныхъ и мелкимъ землевладѣльцамъ, — картофельно-крахмальное — „искусственно поставлено въ такое положеніе, при которомъ правильное развитіе его положительно невозможно“. Хотя заводскій картофель стоитъ у насъ вторе дешевле, чѣмъ въ Германіи, однако русскій крахмалъ не можетъ имѣть сбыта на нѣмецкихъ рынкахъ, такъ какъ привозъ его къ портовымъ городамъ удваиваетъ его цѣну, вслѣдствіе высокаго желѣзнодорожнаго тарифа; крахмалъ, который въ Ростовѣ продается по 85 коп. за пудъ, обходится въ Петербургѣ 1 р. 51 коп., а въ Гамбургѣ 1 р. 63 к. за пудъ, на 8—22 коп. дороже нѣмецкаго крахмала. По нашимъ желѣзнымъ дорогамъ провозъ крахмала отъ Ростова до Петербурга стоитъ 39 коп. съ пуда, при цѣнѣ 1 р. за пудъ; а въ Германіи тарифъ на такое же разстояніе составляетъ 24 коп. за пудъ, т.-е. меньше на 15 коп. съ пуда. Новые и прочные мѣшки, какіе требуются для привозимыхъ товаровъ на заграничныхъ рын-

вахъ, вздорожали у насъ на 12—15 коп. на пудъ вмѣстимости, вслѣдствіе покровительственной пошрины; если скинуть эту надбавку и уравнивать нашъ тарифъ по перевозкѣ съ германскимъ, то цѣна нашего крахмала въ Гамбургѣ была бы только 1 р. 36 коп. за пудъ, слѣдовательно на 5—19 коп. дешевле, чѣмъ нѣмецкій крахмалъ того же качества, и наши производители могли бы съ успѣхомъ поставлять картофельный крахмалъ на всемірный рынокъ, о чемъ въ настоящее время трудно и думать серьезно, въ виду указанныхъ выше обстоятельствъ. Притомъ, напр., прусское правительство принимало разнообразныя мѣры „для развитія и прочной установки крахмалистыхъ сортовъ картофеля и усовершенствованія крахмального производства, начиная съ долготѣльныхъ, строго и систематично поставленныхъ опытовъ надъ разными сортами картофеля, при самыхъ различныхъ почвенныхъ и климатическихъ условіяхъ, на опытныхъ поляхъ разныхъ земледѣльческихъ училищъ“; устроены были практическія опытные станціи по крахмальному производству въ Лейпцигѣ и Берлинѣ, и т. п. Ничего подобнаго у насъ не дѣлалось, а на производителей налагались лишь непосильныя тягости, въ видѣ высокаго тарифа на перевозку крахмала и особаго „покровительственнаго“ налога на мѣшки. Отсюда—„жалкое положеніе нашего крахмального производства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и культуры картофеля“.

При совершенно такихъ же анти-экономическихъ условіяхъ,—продолжаетъ г. К. Веберъ,—находятся у насъ и мукомольное, маслособное, солодовенное и другія производства, которыя по характеру своему тѣсно связаны съ земледѣіемъ и вездѣ, во всѣхъ другихъ странахъ, служили и служатъ главнымъ рычагомъ для его развитія. „У насъ они, вслѣдствіе большаго удобства чиновничеству преслѣдовать фискальныя цѣли, сидя въ городахъ, и имѣть дѣло лишь съ небольшимъ числомъ болѣе крупныхъ предпріятій, совершенно оторваны отъ земледѣлія и концентрированы въ заводско-промышленныя предпріятія. Этому отвѣчаютъ и наши желѣзнодорожныя тарифы, показывающіе, что у насъ желѣзныя дороги устроены не для поднятія народнаго хозяйства, а какъ отдѣльныя спекулятивныя предпріятія, интересы которыхъ часто діаметрально противоположны интересамъ народнаго хозяйства, ибо во многихъ случаяхъ желѣзныя дороги, въ силу своихъ спекулятивныхъ цѣлей, для увеличенія грузоспособности данной линіи, пускали въ ходъ всѣ средства для привлеченія сырого, необработаннаго матеріала къ портамъ, даже въ ущербъ народному хозяйству. Къ этому слѣдуетъ прибавить, что образовавшаяся черезъ это заводская промышленность, какъ болѣе монополизи-

рованный капиталистъ, всегда и въ высшихъ нашихъ сферахъ находила вліятельныхъ защитниковъ своихъ интересовъ, расходившихся съ интересами общенароднаго хозяйства; угнетаемыя же мелкія сельско-хозяйственныя производства, интересы которыхъ общи интересамъ нашего народнаго хозяйства, не имѣли — и до настоящаго времени не имѣютъ — ни въ одномъ изъ нашихъ правительственныхъ учрежденій защитника своихъ интересовъ, а слѣдовательно и интересовъ всего народнаго хозяйства, отданнаго всецѣло на эксплуатацію спекулятивной игры нашей крупной промышленности, созданной при насажденной искусственно покровительственной системѣ“.

Такъ разсуждаетъ технологъ-практикъ, который, съ точки зрѣнія нашихъ глубокомысленныхъ истолкователей Маркса, принадлежитъ несомнѣнно къ категоріи представителей торжествующаго капитализма. Г. Веберъ стоитъ за капиталистическое производство, но онъ рѣшительно противъ существующей хозяйственной политики, какъ подрывающей его основы; онъ отстаиваетъ также вспомогательные промыслы, связанные съ земледѣліемъ, и указываетъ на развитіе и поощреніе ихъ въ западно-европейскихъ государствахъ, даже такихъ специально-промышленныхъ, какъ Англія. Нашъ вывозъ слабъ не потому, что нѣтъ спроса на наши продукты, а единственно потому, что производство „не развито и не развивается въ силу созданныхъ ему искусственныхъ преградъ“. Въ Германію ввозится льняного масла въ 115 разъ больше, чѣмъ вывозится его изъ Россіи, и главная масса этого продукта доставляется на германскіе рынки Великобританію, вырабатывающею его изъ нашего русскаго льняного сѣмени. „На такой же низкой ступени стоитъ и муочное производство, которое все болѣе удаляется отъ земледѣльской Россіи, тогда какъ при нормальныхъ условіяхъ развитіе крупно-промышленныхъ центровъ мукомольнаго производства не могло бы задерживать расширеніе небольшихъ мельницъ, имѣющихъ громадное сельско-хозяйственное значеніе“. По мнѣнію г. Вебера, „и то, что Германія въ состояніи перерабатывать наше же зерно и сбывать его въ Великобританію, тогда какъ нашъ вывозъ муки скорѣе клонится къ сокращенію, чѣмъ къ увеличенію, является прямымъ послѣдствіемъ пагубнаго нашего протекціонизма“. Въ этой отрасли производства, какъ и во многихъ другихъ, „мы сами на себя налагаемъ руку и облагаемъ нашу вывозимую за границу муку сборомъ въ видѣ пошлины на мѣшокъ и уголь“, чѣмъ еще болѣе „ослабляемъ возможность конкуренціи нашихъ мукомоловъ съ Америкой, Австро-Венгріей и даже Германіей“. Не имѣя воз-

возможности работать для вывоза, мукомольныя предприятия направили всѣ свои силы на подавленіе внутренняго рынка и посредствомъ организованныхъ стачекъ сдѣлали невозможнымъ правильное развитіе этого производства, какъ побочной отрасли сельскаго хозяйства; между прочимъ, вслѣдствіе ненормальной организаціи нашихъ крупныхъ мукомольныхъ центровъ, почти всѣ отруби „вывозятся за границу, лишая и наше скотоводство цѣннаго, но при настоящей хозяйственной политикѣ положительно недоступнаго кормового средства“. Вопреки общепринятому взгляду, мелкія, но хорошо устроенныя мельницы вездѣ могутъ держаться и процвѣтать рядомъ съ крупнымъ производствомъ; такъ въ Англіи, „особенно съ послѣдней выставки по мукомольному производству въ Лондонѣ 1882 года, все болѣе и болѣе возникаютъ небольшія мельницы, не гоняющіяся за выработкой 8—10 сортовъ муки, а довольствующіяся выработкою лишь 3—4 сортовъ, которымъ онѣ находятъ болѣе прочный сбытъ“. То же явленіе замѣчается и въ Америкѣ, гдѣ укрѣпилось положеніе мелкаго мельничнаго производства „не только по конкуренціи на внутреннемъ, но и на мировомъ рынкѣ“. А у насъ толкуютъ, что эволюція „капитализма“ непременно приводитъ къ упадку мелкихъ производствъ и что въ этомъ отношеніи наше крупное кулачество слѣдуетъ будто бы примѣру културнаго запада.

Для характеристики существовавшей у насъ еще недавно „экономической политики“ авторъ приводитъ интересные замѣчанія и совѣты лица, стоявшаго въ 1887 году во главѣ учрежденія, на которомъ лежитъ забота о нашемъ земледѣліи. Къ этому лицу обратились съ жалобою на крайнюю обременительность желѣзнодорожнаго тарифа для курскихъ крахмалозаводчиковъ, такъ какъ провозъ отъ станціи курско-киевской дороги до мѣста сбыта въ Кіевѣ обходится дороже, чѣмъ за провозъ того же крахмала на разстояніе въ пять разъ большее, отъ Варшавы до Кіева. „Это все пустяки,—отвѣчалъ его превосходительство,—не слѣдуетъ быть столь консервативнымъ; если вы при настоящихъ условіяхъ не въ состояніи конкурировать крахмаломъ, вслѣдствіе несправедливаго тарифа, то вмѣсто того, чтобы требовать урегулированія тарифа, въ успѣхъ чего я положительно сомнѣваюсь, вы закройте ваше крахмальное производство, заведите себѣ свиней и откармливайте ихъ вашимъ картофелемъ для сбыта соленой свинины въ Англію“. Это фактъ,—подтверждаетъ г. К. Веберъ. Тотъ же „превосходительный кандидатъ санскритскаго языка, которому было поручено имѣть попеченіе объ интересахъ нашего земледѣлія, возвращаясь въ томъ же 1887 году

изъ Турціи черезъ Одессу, посѣтилъ, между прочимъ, и мельницу одного изъ крупнѣйшихъ мукомоловъ Одессы, молодого интеллигентнаго человѣка. Разспрашивая о дѣлахъ, онъ отъ этого владѣльца мельницъ, технолога, узналъ, что особенно трудно сбываются въ извѣстные года нившіе сорта муки, на которые, какъ на менѣе цѣнный товаръ, пошлины на мѣшокъ и уголь положительно становятся запретительными вывозными пошлинами. На это его превосходительство отвѣтилъ тѣмъ же авторитетнымъ, не терпящимъ противорѣчій тономъ: „не слѣдуетъ быть молодому интеллигентному человѣку такимъ консервативнымъ,—нѣтъ сбыта муки изъ-за пошлины на мѣшки и уголь, заведите свиней, откармливайте ихъ вашей мукою и сбывайте соленой свининой въ Англію“. И люди съ подобными экономическими понятіями распоразжались судьбами цѣлаго народнаго хозяйства, и ихъ рѣшенія указывали будто бы путь развитія и торжества капиталистической формы производства.

Удивительно ли, что народное хозяйство идетъ къ упадку, если оно отдано на волю хищникамъ и невѣждамъ? Практическая безтолковость, бесплодная растрата силъ и средствъ, отсутствіе всякой предусмотрительности, беззаботность относительно будущаго, недобросовѣстное отношеніе къ прямымъ обязанностямъ, наклонность къ произволу и къ легкой наживѣ, неуваженіе къ природнымъ богатствамъ, напр. къ лѣсу,—вотъ тѣ черты, которыя характеризуютъ наше экономическое „направленіе“ до недавнихъ лѣтъ. Г. Веберу, какъ и многимъ другимъ, приходится повторять азбучныя истины о необходимости знанія и разумнаго труда для того, чтобы „государственное благосостояніе не было построено единственно на погодѣ“. Многіе землевладѣльцы, лишеныя всякой научной и практической подготовки, пытались завести у себя „раціональное хозяйство“, и если эти попытки,—говорить г. Веберъ,—„заставляли мужика подсмѣиваться, то онъ въ этихъ случаяхъ оказывался совершенно правымъ: барскія затѣи дѣйствительно въ концѣ концовъ сводились часто къ пустому переводу денегъ и тратѣ времени. Напротивъ, когда крестьянинъ въ хозяйственныхъ нововведеніяхъ видѣлъ толкъ, онъ самъ спѣшилъ ими воспользоваться. А между тѣмъ у насъ именно ждуть, чтобы мужичокъ научилъ барина хозяйничать. Развѣ здѣсь не выражается все безсиліе нашей интеллигенціи?“ Безсиліе барства и бюрократизма, а не интеллигенціи,—прибавимъ мы. За границей считается повсюду задачей правительства способствовать распространенію знанія въ народѣ, устраивать общедоступныя техническія школы, облегчать всякія улучшенія и усовершенствованія

въ земледѣліи; эти заботы касаются даже такихъ специальныхъ дѣлъ, какъ на примѣръ уходъ за скотомъ. Въ нашей печати много говорилось о важности и пользѣ осенней вспашки; но осенняя вспашка „можетъ нашего хозяина оставить безъ осенняго подножнаго корма, что, разумѣется, должно повлечь за собой большой расходъ зимняго корма или сокращеніе скота, что для нашего хозяйства — уже вопросъ громадной важности“. А перейти къ содержанію скота въ стойлѣ, какъ это практикуется въ Германіи, Австро-Венгріи и даже Италіи, нельзя потому, что у насъ слишкомъ мало знающихъ и добросовѣстныхъ специалистовъ по уходу за скотомъ. Въ Германіи, Франціи, Австро-Венгріи, Италіи, Даніи, Швеціи и даже въ Финляндіи „правительства, видя въ томъ пользу народному хозяйству, своевременно раскинули по странѣ цѣлую сеть практическихъ школъ скотниковъ, дающихъ тотъ контингентъ специально подготовленныхъ людей, которымъ можно довѣрить уходъ за скотомъ: у насъ же въ Россіи ни одного подобнаго заведенія нѣтъ, и ни одного рубля на образованіе скотниковъ не затрачено“. И теоретики и практики признавали и признаютъ первостепенное значеніе разныхъ техническихъ производствъ для сельскаго хозяйства; однако сдѣлано ли что-нибудь не только для созданія и поддержки, но для поощренія и облегченія этихъ необходимыхъ отраслей народнаго труда?

Наши доктринеры отвлеченнаго капитализма или, вѣрнѣе, антикапитализма, въ родѣ г. Николая — она, приходятъ, путемъ долгихъ разсужденій, къ тому общему выводу, что соединеніе земледѣлія съ обрабатывающею промышленностью представляетъ существенное условіе народнаго благосостоянія, такъ какъ земледѣльческій трудъ оставляетъ свободнымъ зимнее время крестьянина; но этотъ простой и общезвѣстный фактъ не нуждался вовсе въ отдаленныхъ теоретическихъ доказательствахъ, и минимый выводъ, получаемый съ такими большими „научными“ усиліями, напоминаетъ отчасти напряженное философствованіе того мудреца басни, который имѣлъ дѣло съ „вервиемъ простымъ“¹⁾. Сельскія техническія производства и кустарные промыслы, въ видѣ

¹⁾ Окончаніе статьи г. Николая — она, появившееся въ юньской книжкѣ „Русскаго Богатства“, ничего не прибавляетъ къ тому, что сказано было въ первой части, по поводу нашихъ возраженій; отмѣтимъ только, что въ одномъ мѣстѣ онъ пользуется оказавшеюся у насъ ошибкою въ обозначеніи голоднаго года — 1890, вмѣсто 1891 („В. Е.“, 1893, сент., стр. 321 и 322), — и на этомъ очевидномъ недосмотрѣ строить совершенно излишнія разсужденія. Общій тонъ статьи — еще болѣе странный, чѣмъ въ первой части.

зимнего заработка для крестьянъ, существуютъ въ Германіи и въ другихъ странахъ, помимо всякихъ теорій; только у насъ эти необходимыя отрасли народнаго хозяйства, признаваемыя даже проф. Менделѣевымъ, связываются почему-то съ фантастическими вопросами объ упраздненіи капитализма, — какъ будто нарочно для того, чтобы отодвинуть насущныя практическія задачи въ область далекой утопіи. Нѣкоторые кустарные промыслы созданы въ Германіи по почину частныхъ лицъ, при прямомъ и значительномъ содѣйствіи правительства, несмотря на господство въ странѣ капиталистической формы производства. Объ организаціи и развитіи этихъ нѣмецкихъ промысловъ приводятся любопытныя подробности въ книгѣ г. Вебера. Въ Саксоніи, въ концѣ шестидесятыхъ годовъ, нѣкій землевладелецъ Шнейдеръ, замѣтивъ усилившееся переселеніе окрестныхъ крестьянъ въ города, рѣшилъ дать населенію работу въ свободное отъ земледѣльческихъ занятій время; для этого онъ задумалъ воспользоваться своимъ еловымъ лѣсомъ, чтобы устроить выдѣлку издѣлій изъ стружекъ и лучины и распространить это занятіе между крестьянами. Шнейдеръ обратился за помощію въ правительству и черезъ нѣкоторое время получилъ вполне сочувственный отвѣтъ, съ предложеніемъ казенной субсидіи на поѣздки въ Швецію для ознакомленія съ дѣломъ и на наемъ мастеровъ для обученія мѣстныхъ крестьянъ. Правительство сразу ассигновало на этотъ предметъ двѣ тысячи талеровъ въ годъ, и дѣло тотчасъ поставлено было на надлежащую почву. Нанятъ былъ шведскій мастеръ, знатокъ своего дѣла, съ платою въ 600 талеровъ за шесть зимнихъ мѣсяцевъ; остальные 1400 талеровъ употреблены на полное устройство всѣхъ принадлежностей работы. Въ слѣдующіе затѣмъ два года эти получаемыя отъ министерства деньги расходовались Шнейдеромъ „на посылку въ Швецію ежегодно по три человека изъ болѣе выдающихся по этимъ работамъ и на пособіе для обзаведенія разными орудіями тѣмъ изъ мѣстнаго населенія, которые начинали постепенно вводить это производство дома у себя“. Уже въ началѣ семидесятыхъ годовъ „дѣло стояло настолько прочно, что не нуждалось ни въ правительственной субсидіи, ни въ шведскихъ мастерахъ“. Въ другомъ мѣстѣ введена такимъ же образомъ выдѣлка пробковыхъ издѣлій. Въ Максайнѣ, въ баденскомъ округѣ, мѣстный пасторъ занялся организаціей этого дѣла, при помощи своего пріятеля, техника. Правительство выдало одновременно три тысячи талеровъ, на которые „была устроена небольшая мастерская для обученія населенія подъ руководствомъ техника и за-

купленъ первый запасъ пробочнаго дерева". Населеніе Максайна, подъ руководствомъ пастора, техника и трехъ избранныхъ членовъ, составляло администрацію „Максайнской пробочной промышленности", которая уже въ началѣ семидесятыхъ годовъ давала занятіе 223 мужчинамъ, 110 женщинамъ и 25 дѣтямъ; издѣлій выпрабатывалось тогда на сумму 75 тысячъ марокъ, изъ которыхъ „чистый заработокъ населенія составляли 24 тысячи марокъ, или около 70 марокъ на человѣка, въ видѣ побочнаго кустарнаго заработка у себя дома, въ свободное отъ земледѣлія время".

Такихъ примѣровъ изъ народнаго хозяйства Германіи, — представляетъ г. Веберъ, — можно привести безчисленное множество. „Особенно часто встрѣчаемъ мы въ частныхъ хозяйствахъ, не имѣющихъ какого-либо техническаго производства, веревочное и корзиночныя производства, которые легко прививаются, не требуютъ большихъ затратъ и все-таки сильно привязываютъ мѣстное населеніе къ (владѣльческой) экономіи, отъ которой исходить этотъ зимній заработокъ, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда производство это распространилось въ видѣ мелкаго кустарнаго промысла по домамъ, при чемъ экономія имѣнія является тогда лишь посредникомъ и комиссіонеромъ этихъ издѣлій". Только развитіе сельскохозяйственныхъ техническихъ и кустарныхъ производствъ, — справедливо говоритъ авторъ далѣе, — „дастъ населенію возможность примѣнять свой трудъ круглый годъ дома, на мѣстѣ, не отрывая его отъ семьи и оберегая его отъ того развращающаго вліянія, которое имѣютъ городскіе фабрики и заводы"; тогда „крестьянское населеніе, болѣе обеспеченное зимнимъ заработкомъ, будетъ больше дорожить роднымъ гнѣздомъ, такъ что и переселенческій вопросъ отойдетъ уже на задній планъ". Къ сожалѣнію, наша хозяйственная политика не имѣла ничего общаго съ германскою и только по недоразумѣнію называлась политикою; поэтому даже полезнѣйшіе народныя промыслы систематически подрывались и погибали, подъ ударами голаго грабительства, которое и теперь принимается иными за „капиталистическую форму производства", или за „эволюцію капитализма".

Въ Германіи, какъ видно изъ данныхъ, приводимыхъ г. Веберомъ, въ цѣломъ рядѣ крупныхъ производствъ, какъ шелкоткацкое, шелкопрядильное, чулочное и др., большинство производителей — кустари; такъ напр., въ шелкоткацкомъ дѣлѣ — 69% кустарей, въ апретурномъ производствѣ чулочныхъ товаровъ — 59%; въ другихъ производствахъ процентъ меньше, но все-таки значи-

тельный: въ басонномъ—47⁰/о, бумаго-ткацкомъ—41⁰/о, полотняномъ—39⁰/о и т. д. Что же касается спеціально кустарныхъ промысловъ, то они по суммѣ своихъ оборотовъ и по числу рабочихъ занимаютъ гораздо больше мѣста въ нѣмецкой промышленности, чѣмъ принято думать. Въ Германіи существуетъ очень мало канатныхъ, веревочныхъ и бичевныхъ фабрикъ, хотя потребление значительно возросло, и ввозъ готоваго товара совершенно ничтоженъ, при усиливающемся привозѣ пеньки; объясняется это тѣмъ обстоятельствомъ, что выдѣлка канатовъ, веревокъ и бичевъ служитъ предметомъ весьма распространеннаго въ деревняхъ кустарнаго производства, въ свободные отъ полевыхъ работъ зимніе мѣсяцы. „Тутъ не только крупный землевладѣлецъ, гдѣ это умѣстно, превращаетъ свое гумно или хлѣбный сарай въ канатную или бичевочную мастерскую, но и мелкій крестьянинъ съ успѣхомъ занимается этимъ на своемъ дворѣ или на лугу, какъ это дѣлается и у насъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ тверской, владимірской и другихъ губерній, съ той лишь разницей, что у насъ крестьянинъ выполняетъ эту работу самыми допотопными и малопродуктивными снарядами, будучи незнакомъ съ требованіями рынка и имѣя предъ собою лишь одинъ пунктъ сбыта, обыкновенно мѣстный базаръ“. Въ Германіи, конечно, какъ въ помѣщичьихъ хозяйствахъ, такъ и у крестьянъ, употребляются при этомъ производствѣ хорошія, хотя и простыя орудія; съ требованіями нѣмецкихъ и заграничныхъ рынковъ производитель знакомится „черезъ мѣстный промышленный музей“ или при помощи рефератовъ, которые читаются зимою особыми странствующими промышленными инспекторами по этому производству, при чтеніи этихъ рефератовъ сопровождается демонстраціею образцовъ товара, требуемаго тѣмъ или другимъ міровымъ рынкомъ“. Поэтому-то у насъ, „несмотря на большой вывозъ пеньки изъ Россіи, кустарное канатное, веревочное и бичевочное производства, которыя при правильной постановкѣ всегда могутъ конкурировать съ фабричнымъ, не только не увеличиваются, но даже падаютъ“, — тогда какъ Германія, ввозящая для выработки этого товара нашу же пеньку, вывозитъ за границу канатовъ, веревокъ и бичевъ на 5¹/₂ милліоновъ марокъ въ годъ, т.-е. на милліонъ рублей больше, чѣмъ Россія; по количеству германскій вывозъ почти равенъ русскому, но нѣмецкій товаръ — „несравненно высшаго качества“, почему и цѣнится дороже и находитъ обезпеченный сбытъ на міровомъ рынкѣ.

Столь же прочно поставлено въ Германіи кустарное производство корзиночныхъ издѣлій, приблизительно на 18 милліоновъ ма-

рокъ въ годъ; изъ этихъ 18 милл. приходится около $14\frac{1}{3}$ милл. марокъ кустарямъ, живущимъ въ деревнѣ, при чемъ личный заработокъ ихъ составляетъ свыше 9 миллионовъ марокъ въ годъ. Корзинное дѣло, кажущееся ничтожнымъ на первый взглядъ, имѣетъ такимъ образомъ очень серьезное значеніе; оно играетъ также большую роль въ успѣшномъ сбытѣ продуктовъ плодоводства и садоводства. Сбытъ свѣжихъ фруктовъ, какъ замѣчаетъ авторъ, „прямо зависитъ отъ того, насколько укупорка ихъ отвѣчаетъ вкусу и удобству потребителя“; фрукты и цвѣты часто нельзя покупать иначе, какъ въ корзинкахъ, и публика, напр. при проѣздѣ по желѣзнымъ дорогамъ, по неволѣ отказывается отъ покупки плодовъ, когда ихъ заворачиваютъ въ грязную бумагу. „Упаковывая плоды въ небольшія корзинки, обладающія даже нѣкоторымъ изяществомъ формъ и могущія быть полезными въ обыденной хозяйственной жизни“, производители и торговцы „въ значительной степени расширили внутреннее потребленіе плодовъ. Такое же вліяніе имѣла выработка изящныхъ корзинъ для цвѣтовъ на сильное потребленіе внутри страны продуктовъ цвѣтоводства. Кому приходилось лѣтомъ ѣздить по Крыму или по закавказской желѣзной дорогѣ,—говоритъ г. Веберъ,—тому часто приходилось видѣть довольно забавные споры изъ-за корзинки при покупкѣ фруктовъ проѣзжимъ, который, разумеется, хочетъ имѣть фрукты вмѣстѣ съ корзинкой и предлагаетъ за нее даже высокую цѣну, но никакъ не можетъ этого добиться, ибо продавецъ очень дорожитъ своей корзинкой, и ему негдѣ было бы раздобыть другую, чтобы носить фрукты изъ своего сада къ ожидаемому поѣзду. Проѣзжіе стали поэтому избѣгать покупки совершенно зрѣлыхъ плодовъ, въ виду неудобства держать ихъ въ бумагѣ, гдѣ они сдавливаются и портятся; а производители, не понимая, въ чемъ дѣло, вмѣсто того, чтобы обзавестись корзинками, начали носить не совсѣмъ спѣлыя и даже недозрѣвшіе фрукты, сообразно измѣнившимся будто бы требованіямъ публики, и это, разумеется, еще болѣе сократило сбытъ. То же самое и въ нашемъ цвѣтоводствѣ: „у садоводовъ нѣмцевъ и французовъ мы еще видимъ изящныя корзинки, но онѣ у насъ баснословно дороги, потому что все это по преимуществу иностранный привозный товаръ, обложенный почти запретительной пошлиной“; въ нашихъ цвѣточныхъ заведеніяхъ внутри Россіи нѣтъ этого удобства и приманки для покупателя, и потому самое цвѣтоводство плохо развивается. Въ Германіи корзинки и плетенныя издѣлія имѣютъ самое широкое и разнообразное употребленіе; корзинки служатъ рабочему люду для носки вещей на плечахъ, корзиночныя тачки употреб-

ляются для развозки нетяжелыхъ товаровъ и предметовъ, для переноски угля на желѣзныхъ дорогахъ и т. п.; „корзиночныя тележки и люльки для куколъ и дѣтей имѣютъ потребителей во всѣхъ классахъ общества“. Для распространенія и усовершенствованія этого важнаго кустарнаго производства устроены правительствомъ спеціальныя школы и курсы; обученіе этому дѣлу введено также въ школы садоводства и плодоводства, въ видѣ обязательнаго ремесла; существуютъ и поддерживаются „ферейны“, облегчающіе торговля сношенія и издающіе спеціальныя органы, по которымъ кустарь слѣдитъ за новыми формами и образцами и за требованіями мѣстныхъ и иностранныхъ рынковъ. Продаваемые издѣлія имѣютъ обыкновенно клеймо корзиночной „фабрики“, но въ дѣйствительности такихъ фабрикъ не существуетъ, а есть посредническія фирмы, работающія большею частью для заграничнаго вывоза. Такъ, крупная „фабрика“ въ Кобургѣ, имѣющая годовою оборотъ въ 328 тысячъ марокъ, занимаетъ у себя всего 12 человекъ рабочихъ, изъ которыхъ ни одинъ не занятъ изготовленіемъ корзинокъ; это лакировщики, упаковщики, браковщики и заготовители сырого матеріала для кустарей. Число кустарей, работающихъ у себя по деревнямъ для этой фирмы,—около 325 человекъ; на администрацію, сырой матеріалъ и коммисіонныя расходы идетъ около 126 тысячъ марокъ, а личный заработокъ кустарей составляетъ 202 тысячи марокъ, такъ что на долю каждаго приходится 621½ марки въ годъ. Другая корзиночная „фабрика“, въ Эберсдорфѣ, имѣетъ у себя всего четырехъ мастеровъ и даетъ работу 150 кустарямъ, получающимъ чистаго заработка около 565 марокъ на человека въ годъ. Конечно, ничто не мѣшаетъ кустарямъ организовать посредничество съ мѣстными и чужими рынками безъ содѣйствія коммисіонныхъ фирмъ; эта возможность исключаетъ или по крайней мѣрѣ значительно ослабляетъ одностороннюю эксплуатацію производителей коммисіонерами-капиталистами. Такъ же точно кустарное производство щетокъ и ситъ значительно развито въ Германіи; почти половина всѣхъ издѣлій по этой части изготовляется по деревнямъ, въ зимнее время года. За границу вывозится этого товара приблизительно на 15 милліоновъ марокъ, изъ которыхъ на долю кустарей достается 6½ мил., съ чистымъ заработкомъ въ два милліона, тогда какъ вывозъ изъ Россіи почти совершенно отсутствуетъ или опредѣляется въ какія-нибудь сотни рублей. Производство пробочныхъ издѣлій распространилось въ нѣмецкомъ крестьянствѣ взаимѣнъ прежнихъ столярныхъ работъ, на которыя уменьшился спросъ съ усовершенствованіемъ мебельнаго производства и съ возростаніемъ международной конкур-

ренціи; правительство въ свое время позаботилось о критическомъ положеніи крестьянъ-кустарей, издавна занимавшихся столярнымъ дѣломъ и грубою рѣзбою по дереву въ лѣсныхъ и горныхъ мѣстностяхъ, и содѣйствовало водворенію тамъ новой отрасли производства, болѣе отвѣчающей измѣнившимся промышленнымъ условіямъ, чѣмъ и увѣнчалось на практикѣ полнымъ успѣхомъ. Большою частью изготовленіе пробочныхъ издѣлій идетъ рядомъ съ земледѣліемъ, составляя или второстепенный, или главный заработокъ крестьянъ, смотря по положенію крестьянскаго хозяйства въ разныхъ мѣстахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, болѣе способнымъ и воспримчивымъ представителямъ прежняго столярнаго промысла давались всѣ средства къ усвоенію болѣе усовершенствованной техники и художественныхъ приѣмовъ работы; и „при малѣйшей возможности удержатъ за населеніемъ этотъ промыселъ развитіемъ его интеллектуальной производительности, это дѣлалось, не щадя даже крупныхъ затратъ, ибо какъ имперскій сеймъ, такъ равно и каждый король и герцогъ въ Германіи—хорошіе хозяева, и хорошо помнятъ, что податная способность народа растетъ по мѣрѣ затратъ правительства“ на развитіе производительности его труда и способности его соперничать на международномъ рынкѣ.

Г. Веберъ приводитъ результаты своихъ личныхъ наблюденій въ Саксоніи, съ 1875 года, относительно перехода отъ простыхъ кустарныхъ издѣлій, вытѣсняемыхъ машиннымъ производствомъ, къ болѣе тонкой работѣ по дереву. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ населеніе уже болѣе ста лѣтъ занимается приготовленіемъ чубуковъ и трубокъ изъ дерева; но, начиная съ шестидесятыхъ годовъ, этотъ промыселъ все болѣе выпрывается изъ рукъ кустаря. „Предвидя, что при производствѣ одного лишь гладкаго товара т.-е. однихъ чубуковъ, населеніе не въ силахъ долѣе имѣть въ немъ прочный заработокъ, великогерцогское правительство еще въ 1868 году ассигновало на введеніе рѣзного производства по три тысячи талеровъ ежегодно“. На эти деньги болѣе выдающиеся по своей работѣ подростки отдавались въ обученіе на годы въ мастерскія извѣстныхъ германскихъ рѣзчиковъ, съ обязательнымъ посѣщеніемъ „промышленной школы“ для теоретической подготовки; подростки менѣе способные посылались правительствомъ въ Тюрингенъ и другія мѣстности, пріобрѣвшія уже славу своими рѣзными издѣліями, и отдавались тамъ на 2—3 года въ обученіе. Въ 1881 году открыта была, наконецъ, въ деревнѣ Эмпфертсгаузенъ собственная школа и мастерская для образованія умѣлыхъ и художественно развитыхъ рѣзчиковъ и моделировъ; два

раза въ недѣлю учитель, извѣстный въ Германіи рѣзчикъ и въ то же время даровитый педагогъ, перебирается въ сосѣднюю деревню, находящуюся верстахъ въ десяти, гдѣ онъ обучаетъ рисованію и моделированію. Сверхъ того, два раза въ недѣлю къ обученію въ школѣ привлекаются также ученики мѣстнаго приходскаго училища, въ которомъ тотъ же учитель состоитъ преподавателемъ рисованія. Этотъ учитель, художникъ Гизе, которому довѣрена была организація всего дѣла, получаетъ при готовой квартирѣ шесть тысячъ марокъ жалованья и, слѣдовательно, можетъ чувствовать себя совершенно свободнымъ отъ личныхъ матеріальныхъ заботъ. „Въ настоящее время во всей этой мѣстности грубыя трубочныя издѣлія сократились до минимума и составляютъ занятіе лишь незначительнаго числа кустарей; зато производство дорогихъ рѣзныхъ трубокъ изъ дерева и производство художественной рѣзной мебели развилось въ такой мѣрѣ, что съ большимъ успѣхомъ конкурируетъ не только съ рѣзной работой цеховыхъ городскихъ мастеровъ, но и на міровомъ рынкѣ, составляя цѣнный товаръ отпускной торговли Германіи, привлечшій въ эту мѣстность крупныя экспортныя фирмы съ значительнымъ капиталомъ“. Изъ этого видно,—замѣчаетъ авторъ,—„чего можетъ добиться правительство въ сравнительно короткій срокъ, ежели оно является не органомъ хищническаго разоренія, а органомъ возстановленія производительныхъ силъ населенія и его податной способности“.

Въ той же Саксоніи издавна процвѣтало производство скрипокъ, въ видѣ кустарнаго промысла; но оно начало клониться къ упадку, подъ вліяніемъ конкуренціи, и населеніе могло со временемъ лишиться своихъ заработковъ. Тогда правительство рѣшило устроить школу съ учебной мастерскою, а болѣе выдающіеся работники посланы въ Италію, въ мѣстности, славящіяся изготовленіемъ хорошихъ музыкальных инструментовъ; эти мастера внесли у себя на родинѣ лучшіе приемы работы и положили начало изготовленію болѣе цѣнныхъ оркестровыхъ струнныхъ инструментовъ, скрипокъ, віолончелей и басовъ, а также гитаръ, мандолинъ и цитръ. Позднѣе тѣ же саксонскіе кустари занялись изготовленіемъ гармоникъ и оркестріоновъ, которые доведены ими до извѣстной степени совершенства. Въ 1890 году вывезено изъ Германіи уже почти на 25 милліоновъ марокъ разнаго рода музыкальных инструментовъ, изготовленныхъ кустарями, при чемъ чистый заработокъ послѣднихъ составляетъ около 8 милліоновъ марокъ въ годъ. Такимъ образомъ, не только сохранилась важная отрасль народнаго производства, но получила еще дальнѣй-

шее развитіе и распространеніе, благодаря своевременно принятымъ разумнымъ культурно-образовательнымъ мѣрамъ. Приведенные два примѣра—относительно рѣзбы на деревѣ и производства музыкальных инструментовъ—характеризуютъ положеніе дѣлъ во всей Германіи, гдѣ „кустарное производство доставляетъ прочныя заработки населенію, идя рука объ руку съ земледѣліемъ“. Понятно,—говоритъ г. Веберъ,—что вслѣдствіе заботъ и усилій правительства съ цѣлью поддержанія рѣзного, токарнаго и столярнаго производствъ въ нѣмецкомъ крестьянствѣ, „кустарные промыслы эти не только не погибли, не только не прозябаютъ въ жалкомъ состояніи, какъ у насъ, а напротивъ, укоренились настолько, что представляютъ собою прочный и чрезвычайно крупный заработокъ деревенскаго населенія“. Теперь рѣзныхъ издѣлій по дереву и мебели столярной, токарной и рѣзной работы вывозится изъ Германіи почти на 60 милліоновъ, изъ которыхъ до 15 милліоновъ марокъ достается кустарямъ, въ видѣ чистаго ихъ заработка.

У насъ обработка дерева, какъ кустарный промыселъ, имѣетъ громадное практическое значеніе, но дѣло несомнѣнно падаетъ по обычнымъ у насъ причинамъ. Напримѣръ, въ бочарномъ производствѣ, по свидѣтельству г. Вебера, „мы опустились далеко ниже того уровня, на какомъ оно въ качественномъ отношеніи стояло въ Россіи лѣтъ тридцать тому назадъ, и несравнимо отстали отъ нашихъ сосѣдей“. И мы стараемся какъ будто еще больше понизить этотъ уровень, „поощряя уже съ молодыхъ годовъ дилеттантское отношеніе къ дѣлу у тѣхъ бондарей, которые выходятъ изъ нашихъ низшихъ земледѣльческихъ школъ“. „Въ такомъ же плачевномъ состояніи вымиранія находятся у насъ и кустарно-столярное и токарное производства, а также производство рѣзныхъ издѣлій изъ дерева, для которыхъ у насъ въ Россіи до сего времени положительно ничего не сдѣлано въ смыслѣ развитія интеллектуальной производительности кустарей, а тѣмъ самымъ для поднятія покупной и податной способности громаднаго населенія лѣснаго района Россіи“. Стремленіе сохранить и усилить народную промышленность, въ связи съ земледѣліемъ, лежитъ въ основѣ всей хозяйственной политики въ Германіи и примѣняется одинаково къ различнымъ отраслямъ народного труда. Въ области металлических издѣлій крупная заводская промышленность имѣла, повидимому, наибольше шансовъ поглотить мелкую, кустарную; но, предвидя исходъ этой борьбы, правительство „обратило всѣ усилія на то, чтобы въ кустарь-кузнечъ развитъ интеллектуальную производительность, какъ въ техникѣ производства,

такъ и въ самостоятельномъ творествѣ“, и чтобы массовому фабричному производству производитель-кустарь могъ „противопоставить свою художественную работу, стоящую веѣ конкуренціи съ фабричною“. Этимъ способомъ, „постепенно, но прочно создалось въ Германіи художественно-кузнечное ремесло, распространенное по всей странѣ не только въ городахъ, но и въ деревняхъ, въ видѣ кустарнаго промысла“. Гдѣ нельзя было ожидать скорого перехода отъ привычной грубой работы къ болѣе усовершенствованному производству, тамъ введена выдѣлка проволочныхъ издѣлій разнаго рода, отъ простыхъ до болѣе тонкихъ. При подобной постановкѣ дѣла, „кустарное производство металлическихъ издѣлій, какъ художественно-кузнечное, отчасти переходитъ въ мелко-ремесленное и не только твердо удерживается, но даже показываетъ незначительный приростъ противъ фабричнаго производства“. У насъ же, въ Россіи, „ни художественно-кузнечное, ни производство проволочныхъ издѣлій, какъ отрасль кустарнаго промысла, не развито и не развивалось; напротивъ, по проволочнымъ издѣліямъ производство и не можетъ у насъ развиваться вслѣдствіе безумной пошрины на ввозную проволоку и неимѣнія своей, и мы, не вывозя за границу ни одного пуда, ввозимъ этихъ издѣлій почти на 1½ милліона рублей“, главнымъ образомъ изъ той же Германіи.

Даже въ области ткачества и пряденія нѣмецкіе кустари не особенно пострадали отъ водворенія фабричнаго производства, благодаря предусмотрительности и разумной заботливости правительствъ. На осуществленіе разныхъ мѣропріятій для поднятія льняной промышленности и поддержанія ея, какъ кустарнаго промысла, затрачено всего въ Германіи съ тридцатыхъ до восьмидесятыхъ годовъ болѣе пяти милліоновъ талеровъ, которые, конечно, возвращены казнѣ сторицей, вслѣдствіе увеличенія платежныхъ силъ населенія. За одно пятилѣтіе въ Пруссіи ежегодный расходъ на содержаніе ткацкихъ, басонныхъ и прочихъ школъ по разнымъ производствамъ увеличился почти вдвое,—съ 271 тысячь марокъ въ 1887 году до 711.000 марокъ въ 1892 году. У насъ же, „не имѣя образцовыхъ мастерскихъ или школъ ни по басонному производству, ни по чулочнымъ работамъ, при помощи которыхъ эти занятія могли бы быть превращены въ прочныя отрасли нашей кустарной промышленности“, производства эти сокращаются, и мы не только не вывозимъ ничего за границу, а ввозимъ еще на крупную сумму, преимущественно изъ Германіи, несмотря на существованіе чуть ли не запретительной пошрины. То же самое мы видимъ въ кружевномъ дѣлѣ и во

многихъ другихъ; у нѣмцевъ, какъ и у австрійцевъ, устроено множество кружевныхъ школъ, съ опытными мастерами; эти школы правильно снабжаются новыми образцами узоровъ, соответственно требованіямъ моды; въ техническихъ училищахъ обучаютъ спеціальному рисованію такихъ узоровъ, и въ результатѣ нѣмецкое ручное производство кружевъ освободилось отъ конкуренціи машинныхъ издѣлій и обезпечило себѣ прочный сбытъ на мировомъ рынкѣ. У насъ имѣется, правда, школа по кружевному производству—одна на всю Россію, да и то не гдѣ-либо въ центрѣ производства, а въ Петербургѣ, „въ видѣ отвлеченной затѣи, удерживающей искусственно производство того рода дешевыхъ кружевъ, которыми даже на внутреннемъ рынкѣ затрудненъ сбытъ, благодаря конкуренціи машинныхъ кружевъ“¹⁾.

И такъ во всемъ. Въ Германіи каменный уголь и желѣзная руда ввозятся безпошлинно, ради жизненныхъ интересовъ всей вообще народной промышленности, несмотря на громадные капиталы, вложенные въ каменноугольные копи и въ дѣло добыванія желѣза, а у насъ, наоборотъ, насущные интересы страны и народа, въ силу какого-то пагубнаго недоразумѣнія, приносятся въ жертву выгодамъ каменноугольныхъ хозяевъ и желѣзодѣлательныхъ заводчиковъ. На промышленныя и техническія школы тратятся ничтожныя средства; на умственный и культурный подъемъ большинства населенія, на обученіе и подготовку работниковъ-крестьянъ не употребляется и сотой доли тѣхъ усилій, которыя настойчиво и систематически примѣняются въ дѣлу въ другихъ странахъ, особенно въ Германіи; зато значительная часть бюджета шла на раздачу субсидій сахарозаводчикамъ и крупнымъ предпринимателямъ, независимо отъ обогащенія ихъ на народный счетъ при помощи превратно-понятаго протекціонизма. Относительно народного образованія предлагалось ограничиться чтеніемъ псалтыри, а потомъ добрые люди удивляются и жалуются, что отовсюду насъ вытѣсняетъ нѣмецъ. Съ другой стороны, въ серьезной и даже какъ будто научной литературѣ выступаютъ доктринеры, которые, отыскивая причины экономическаго упадка крестьянской массы, глубокомысленно находят ихъ въ „капиталистической формѣ производства“ съ ея желѣзными дорогами и банками;—роль вытѣсняющаго насъ отовсюду „нѣмца“ играетъ для нихъ капитализмъ, денежное хозяйство, желѣзная дорога. Источникъ зла будто бы въ томъ, что,—какъ выражается проф. Скворцовъ, съ которымъ мы вообще во многомъ совершенно

¹⁾ См. „Нужды нашего народнаго хозяйства“, К. К. Вебера. Спб., 1892.

несогласны,—дали волю капиталисту-кулаку, который „пришелъ, соблазнилъ мужика блескомъ монеты и такимъ образомъ вырвалъ у него хлѣбъ, а потомъ отобралъ у него и монету, соблазнивъ кумачевой рубахой“. Въ этомъ случаѣ г. Свворцовъ вполне вѣрно передалъ сущность нѣкоторыхъ мнимо-народническихъ экономическихъ воззрѣній, излагаемыхъ съ необыкновеннымъ многословіемъ и туманностью въ журнальных статьяхъ и цѣлыхъ книгахъ. Для авторовъ такихъ теорій было бы весьма полезно ознакомиться съ практическими данными и соображеніями, заключающимися въ небольшой книжкѣ г. Вебера и наглядно указывающими на реальныя причины безсилія и бѣдности нашей народно-промышленной производительности, сравнительно съ нѣмецкою.

Надѣмся, что теперь г. Николай —онъ согласится понять, какіе существуютъ, по нашему мнѣнію, ближайшіе и явные факторы экономического упадка крестьянства; мы думаемъ также,—вопреки свидѣтельству г. Николая —она,—что игнорировать эти опредѣляющія условія и причины далеко еще не значить обнаруживать широкое пониманіе явленій. Напрасно онъ сравниваетъ свои способы научнаго обобщенія съ методомъ Дарвина, Гельмгольца и другихъ знаменитыхъ естествоиспытателей: послѣдніе не пропускали существенныхъ факторовъ и элементовъ изучаемыхъ явленій, не игнорировали всей обстановки ихъ, не играли словами и понятіями, для полученія своихъ выводовъ, и никогда не прибѣгали къ сомнительнымъ приемамъ полемики для оправданія возможныхъ ошибокъ и недоразумѣній...

Л. Слонимскій.



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 іюля 1894 г.

Отчетъ оберъ-прокурора св. синода за 1890 и 1891 г.—Ретроспективный взглядъ на проектъ реформы церковнаго суда.—Вліяніе закона 3-го мая 1883 г. на настроеніе раскольниковъ и положеніе раскола.—Причины устойчивости раскола.—Расколъ и школа.—Предполагаемыя мѣры противъ сектантства.—Ворьба съ католической пропагандой.—Два отрадныхъ извѣстія.—Рѣчь министра юстиціи при открытіи комиссіи по пересмотру узаконеній о судебной части.—Вовстановленіе инспекторской части гражданскаго вѣдомства.

Недавно обнародованный отчетъ оберъ-прокурора св. синода обнимаетъ собою, подобно предъидущему, двухлѣтній періодъ времени (1890 и 1891 г.) и отличается, какъ всегда, обиліемъ интересныхъ данныхъ. Нѣтъ въ немъ, по обыкновенію, недостатка и въ сужденіяхъ, выходящихъ за предѣлы главной темы и затрогивающихъ вопросы болѣе общаго свойства. Отчетъ за 1888—89 г. заключалъ въ себѣ характеристику русскаго народа ¹⁾; въ отчетъ за 1890—91 г. мы встрѣчаемъ характеристику нашего недавняго прошлаго. „Духъ реформъ,—говорится въ отчетъ по поводу кончины архіепископа литовскаго, Алексія, — духъ реформъ, охватившій въ семидесятыхъ годахъ Россію и проникшій почти во всѣ части государственнаго организма, приразился и къ церкви. Если въ другихъ сферахъ государственной жизни, какъ показало время, реформы далеко не принесли всѣхъ тѣхъ благихъ результатовъ, которые отъ нихъ ожидались, то церкви готовившаяся ей реформа угрожала положительнымъ вредомъ. Учрежденіе церковное, на божественныхъ законахъ основанное и лишь въ неуклонной вѣрности этой основѣ имѣющее залогъ самаго своего бытія, хотѣли преобразовать по модному образцу учреждений человѣческихъ. Несмотря на всю несообразность такой затѣи, общее увлеченіе духомъ времени было настолько сильно, что нашлись рьяные защитники реформы церковнаго суда и въ высшихъ правящихъ

¹⁾ См. Внутр. Обзоръ въ № 6 „В. Е.“ за 1892 г.

классахъ, и въ средѣ литературныхъ дѣятелей. Много мужества, много самоотверженія и много вѣры въ свои силы и средства борьбы требовалось отъ того, кто осмѣлился бы выступить противъ реформы, за которую стояло большинство тогдашняго общества“. Такимъ смѣлымъ пловцомъ противъ теченія явился покойный архипастырь, тогда еще мало извѣстный профессоръ московской духовной академіи А. Ѳ. Лавровъ, сумѣвшій понять, „что частный повидимому вопросъ о реформѣ церковнаго суда поколеблетъ въ сущности весь богоучрежденный строй церковнаго управленія, создавая децентрализацію власти и тѣмъ въ основѣ подрывая высшій епископскій авторитетъ. Несмотря на то, что правда была раскрыта (въ сочиненіяхъ А. Ѳ. Лаврова) съ полною убѣдительною, ослѣпленіе духомъ либерализма было настолько сильно, что члены организованной по этому предмету коммисіи не вняли голосу протестующаго профессора и предложили свой проектъ, вмѣстѣ съ этимъ протестомъ, на судъ іерарховъ отечественной церкви. Здѣсь только правда одержала рѣшительный перевѣсъ и большинствомъ мнѣній, высказанныхъ въ согласіи съ проф. Лавровымъ, пресловутый проектъ церковной реформы былъ отвергнутъ“. Въ этомъ мѣстѣ отчета слѣдуетъ различать два элемента: общій приговоръ надъ эпохою реформъ и частный приговоръ надъ однимъ изъ ея произведеній — проектомъ преобразованія церковнаго суда. Первый произнесенъ безъ мотивовъ и потому не легко поддается разбору. Что реформы шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ не принесли „всѣхъ тѣхъ благихъ результатовъ, которые отъ нихъ ожидалось“ — это несомнѣнно; предметомъ спора могутъ быть только *причины* неудачи. Слѣдуетъ ли приписать ее *содержанію* реформъ (какъ на то, повидимому, указываетъ отчетъ) или способу ихъ *исполненія*, т.-е. ограниченіямъ и урѣзкамъ, которымъ онѣ подвергались — вотъ въ чемъ вопросъ, ни на шагъ не подвигаемый впередъ категорическимъ порицаніемъ самого „духа реформъ“. Что касается спеціально проекта преобразованія церковнаго суда, то едва ли возможно объяснять его однимъ только „увлеченіемъ“ или „ослѣпленіемъ“ и ставить его всецѣло на счетъ „либерализма“. Въ первой половинѣ семидесятыхъ годовъ, когда была поставлена на очередь реформа церковнаго суда, либерализмъ уже вышелъ изъ моды; первый пылъ преобразовательной работы давно угасъ и въ правительственныхъ сферахъ преобладалъ консерватизмъ, по временамъ близко граничившій съ реакціей. Инициатива церковно-судебной реформы или, по меньшей мѣрѣ, весьма видная въ ней роль принадлежала тогдашнему оберъ-прокурору св. синода, гр. Д. А. Толстому, менѣе чѣмъ кто-либо навлекающему на себя подозрѣніе въ либерализмѣ. Если онъ допускалъ возможность измѣненія духовно-судебныхъ порядковъ, то это значить, что въ нихъ

самихъ, а не въ обще-распространенномъ мнѣніи о нихъ, было нѣчто наводящее на мысль о перемѣнѣ. Та же самая мысль была усвоена не только многими изъ среды „правлящихъ классовъ“,—остывшихъ, повторяемъ, отъ первоначальнаго реформеннаго жара,—но и многими изъ среды духовенства: въ комиссіи, между членами которой было, конечно, не мало духовныхъ лицъ, никто, повидимому, не примкнулъ къ „протесту“ проф. Лаврова, да и въ засѣданіи синода проектъ реформы былъ отклоненъ лишь большинствомъ голосовъ. Уже это одно заставляеть думать, что проектъ не былъ направленъ противъ „богочрежденнаго строя церковнаго управленія“, противъ божественныхъ законовъ, на которыхъ зиждется церковь. Церковное *устройство* подвергалось у насъ въ Россіи преобразованіямъ болѣе кореннымъ, болѣе глубокимъ, чѣмъ задуманное въ семидесятыхъ годахъ: достаточно припомнить ломку временъ Петровскихъ. Столь же неприкосновенною въ своихъ основахъ, какъ и послѣ кризиса первыхъ десятилѣтій XVIII-го вѣка, церковь осталась бы и въ случаѣ осуществленія проекта гр. Д. А. Толстого. Реформа затронула бы преимущественно тѣ стороны церковной жизни, которыя, всего ближе соприкасаясь съ мало привлекательными сторонами свѣтскаго быта, всего чаще подаютъ поводъ къ неудовольствіямъ и нареканіямъ. Всѣмъ извѣстны недостатки духовныхъ консисторій, несовершенства бракоразводнаго процесса: ихъ-то, прежде всего, и имѣлось въ виду устранить, для блага самой церкви. Мы узнаемъ изъ отчета, что св. синодомъ назначена недавно ревизія архангельской духовной консисторіи, въ виду свѣдѣній „о не вполне нормальныхъ отношеніяхъ, возникшихъ между членами и секретаремъ консисторіи, и о различныхъ неурядицахъ въ области епархіальнаго управленія“. *Не вполне нормальнымъ* отношеніе между членами и секретаремъ консисторіи является не въ одной какой-либо епархіи, а повсемѣстно: оно напоминаетъ собою отношенія до-реформенныхъ судей къ до-реформенному секретарю, искоренить которыя могла только капитальная перестройка судебного зданія. Съ особенною ясностью послѣдствія только-что указанной аномаліи обнаруживаются именно въ дѣлахъ бракоразводныхъ... Возвращаясь къ ретроспективному освѣщенію, бросаемому отчетомъ на исторію семидесятыхъ годовъ, мы должны сдѣлать еще одно замѣчаніе. Тогдашнее настроеніе умовъ въ средѣ духовенства едва ли было таково, чтобы защита существующихъ порядковъ требовала большого мужества и самоотверженія. Приверженецъ старины могъ быть заранѣе увѣренъ въ сильной и авторитетной поддержкѣ: гораздо болѣе рисковали сторонники нововведеній, хотя бы имъ на время, повидимому, и благопріятствовало господствующее теченіе. Реформа церковнаго суда не принадлежала къ числу вопросовъ, возбуждающихъ страсти и вол-

нущихъ общество: ея противнику нечего и некого было бояться. Если опасеніе общественнаго негодованія не удерживало отъ сѣтвой по безвременно погибшемъ крѣпостномъ правѣ, то еще меньше оно могло помѣшать оппозиціи противъ мало кому извѣстнаго въ дѣлахъ и мало кого захватывавшаго за живое проекта церковно-судебной реформы.

Съ наибольшею подробностью обработанъ тотъ отдѣлъ отчета, который относится къ расколу. Въ первые годы послѣ изданія закона 3-го мая 1883 г., нѣсколько улучшившаго положеніе раскольниковъ, отзывы духовныхъ властей о его вліяніи не были единодушны. Одни находили его благопріятнымъ для православія, другіе — для раскола; одни подчеркивали сближеніе раскольниковъ съ церковью, другіе — большую чѣмъ прежде смѣлость и самоувѣренность раскола. Въ отчетѣ за 1888—89 г. отзывы втораго рода не встрѣчались вовсе; на ряду съ „отрадными явленіями, свидѣтельствующими объ ослабленіи раскольниковъ фанатизма“, констатировалась только значительная, въ иныхъ мѣстахъ, *устойчивость* раскола. Можно было думать, что мнѣніе о вредѣ терпимости окончательно отошло въ прошлое и что никто не стоитъ болѣе за возвращеніе къ прежнимъ порядкамъ и приѣмамъ. Отчетомъ за 1890—91 г. это предположеніе не оправдывается. Законъ 3-го мая 1883 г. опять выставляется, съ разныхъ сторонъ, источникомъ зла, причиною обостренія раскола. По заявленію преосвященнаго тобольскаго, „расколъ чрезвычайно поднялъ голову и потерялъ всякую мѣру сдержанности, въ особенности съ изданія закона 3-го мая. Превратно понимая этотъ законъ и давъ ему слишкомъ широкое толкованіе — въ смыслѣ полного разрѣшенія дѣйствовать среди православныхъ всѣми способами въ свою пользу, — руководители раскола возмнили, что симъ закономъ имъ дозволено почти все, и потому почти открыто новели обширную пропанду раскола“. „Нынѣшніе расколуучители, — говорится, далѣе, уже въ видѣ общаго тезиса, не приуроченнаго къ какой-нибудь отдѣльной мѣстности, — ложно истолковывая законъ 3-го мая 1883 г., мало заботятся о сохраненіи въ тайнѣ своей пропандистской дѣятельности. По мѣстамъ же, напримѣръ, въ епархіяхъ смоленской, самарской и особенно уфимской, раскольниковъ пропаганда ведется совершенно открыто и безбоязненно... Между нынѣшними раскольниками, благодаря ложно понятому ими закону 3-го мая 1883 г., укоренилось убѣжденіе, что расколу предоставлена особая свобода дѣйствій и никто не имѣетъ права ни стѣснять, ни ограничивать этой свободы. Это же ложное убѣжденіе относительно свободы дѣйствій и правъ раскола сектанты стараются внушить и православнымъ, особенно слабымъ въ вѣрѣ, въ видахъ привлеченія послѣднихъ на свою сторону. Къ

сожалѣнію, настойчивое распространѣніе такихъ ложныхъ взглядовъ на счетъ правъ раскола является одною изъ дѣйствительнѣйшихъ причинъ устойчивости раскола. Это съ особенною силою обнаруживается тамъ, гдѣ мѣстныя свѣтскія власти не только не содѣйствуютъ, въ указанныхъ закономъ предѣлахъ, православнымъ миссіонерамъ въ ихъ борьбѣ съ расколомъ, а обнаруживаютъ или равнодушіе, или потворство послѣднему". Не вполне понятнымъ, прежде всего, кажется намъ самый фактъ, указываемый въ вышеприведенныхъ словахъ отчета. Въ законѣ 3-го мая 1883 г. нѣтъ ни одной статьи, которая, даже съ величайшей натяжкой, могла бы быть истолкована въ смыслѣ предоставленія расколу, какъ *впроученію*, *особой* или вообще какой бы то ни было свободы дѣйствій. Раскольникамъ, какъ *гражданамъ*, дана свобода передвиженія и торговли, дано равное съ православными право на занятіе, по выборамъ, общественныхъ должностей; но во всемъ томъ, что касается ихъ *впроисповѣданія* и *богослуженія*, они не могутъ сдѣлать ни шага безъ разрѣшенія администраціи. Оно требуется не только для распечатанія закрытой моленной, не только для открытія новой, не только для перестройки существующаго молитвеннаго зданія (при чемъ ему ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть данъ внѣшній видъ православнаго храма), но и для *всякаго* его исправленія или возобновленія. Какъ пользуется администрація своею дискреціонною властью — объ этомъ, къ сожалѣнію, нѣтъ никакихъ официальныхъ свѣдѣній; но мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что эта власть не остается мертвой буквой и что ходатайства раскольниковъ, основанныя на законѣ 3-го мая, удовлетворяются на практикѣ далеко не всегда. Яснымъ для всѣхъ и каждого признакомъ неполноправности раскола является, впрочемъ, уже самая необходимость *просить* о томъ, что для другихъ составляетъ безспорное право. А запрещеніе „публичнаго оказательства“ раскола — развѣ оно совмѣстимо съ предположеніемъ о *свободѣ дѣйствій* и *правахъ* раскола? Развѣ не возникаютъ вновь уголовныя преслѣдованія раскольниковъ за противозаконное открытіе моленныхъ, за соvrращеніе православныхъ? Допустить можно только одно — что эти преслѣдованія возбуждаются не столь часто и ведутся не столь энергично, какъ того желали бы сторонники традиціонной политики по отношенію къ расколу...

Много разъ повторенныя, настойчивыя указанія на ложное толкованіе закона 3-го мая могутъ имѣть двоякую цѣль: побудить свѣтскую власть къ болѣе усердному пользованію правами, принадлежащими ей въ силу закона — или выставить на видъ недостаточность закона, подготовить его пересмотръ, въ смыслѣ ограниченія „льготъ“, предоставленныхъ расколу. Первая цѣль высказана совершенно ясно

въ тѣхъ словахъ отчета, которыя заключаютъ въ себѣ упрекъ свѣтскимъ властямъ за „равнодушіе или потворство расколу“; но и вторая цѣль не чужда, повидимому, той сферѣ, взгляды которой выражаются въ отчетѣ. Къ этому выводу насъ приводятъ въ особенности постановленія второго съѣзда противораскольническихъ и противосектантскихъ миссіонеровъ, состоявшагося въ Москвѣ въ 1891 г. ¹⁾. „Много вниманія, — читаемъ мы въ отчетѣ, — посвящено было съѣздомъ на разсмотрѣніе вопроса о степени вреда каждой изъ раскольническихъ еретическихъ сектъ ²⁾ прежде всего въ отношеніи церкви православной, а затѣмъ и государства. Вопросъ этотъ слишкомъ важенъ, особенно въ виду сознаваемого всѣми несоотвѣтствія дѣйствующей нынѣ классификаціи сектъ, несправедливо сравнившей предъ закономъ, по степени вреда, всѣ наши секты и выдѣлившей въ рядъ болѣе вредной одно только скопчество. Степень вреда сектъ раскольническихъ (а также мистическихъ и раціоналистическихъ) съѣздъ опредѣлялъ по легкости совращенія въ извѣстную секту православныхъ и по трудности возвращенія изъ секты въ православіе, а также по свойству вліянія секты на нравственное состояніе совращаемыхъ и ихъ отношеніе къ православной церкви и государству. Съ этой точки зрѣнія важнѣйшими изъ раскольничьихъ сектъ признаны секты *австрійская, еедосѣвцевъ и странникова*“. Итакъ, предлагается поворотъ назадъ, новое и весьма значительное расширеніе понятія о сектахъ, особенно вредныхъ — другими словами, новое и весьма существенное ограниченіе правъ, охватывающее сотни тысячъ или, вѣрнѣе, миллионы русскихъ гражданъ. Приравнять раскольниковъ-австрійцевъ и еедосѣвцевъ къ скопцамъ — значило бы не только лишить ихъ свободы передвиженія и права общественной службы, но и признать преступленіемъ, уголовно-наказуемымъ, самъ фактъ принадлежности къ данной сектѣ. По ст. 203 улож. о наказ., составляющей, въ настоящее время, единственный остатокъ прежняго дѣленія сектъ на болѣе и менѣе вредныя, тѣ изъ раскольниковъ, хотя и неизобличенные въ распространеніи своего лжеученія, которые принадлежатъ къ ересямъ, соединеннымъ съ свирѣпымъ изуверствомъ и фанатическимъ посягательствомъ на жизнь свою или другихъ, либо съ противонравственными, гнусными дѣйствіями, подвергаются лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылки на поселеніе въ Сибирь или Закавказье. Вотъ участь, которой московскій съѣздъ желалъ бы подвергнуть наиболѣе многочисленную группу

¹⁾ О первомъ съѣздѣ миссіонеровъ, бывшемъ въ 1887 г., см. Внутр. Обзоръ въ № 6 „Вѣсти. Европы“ за 1890 г.

²⁾ Между словами: „раскольническихъ“ и „еретическихъ“ пропущены, очевидно, слова и, такъ какъ расколъ и ересь — понятія совершенно разнородныя.

раскольниковъ ¹⁾—группу, наименѣе далекую, по своему ученію, отъ православной церкви, и даже въ прежнее суровое время не причислявшуюся къ особенно вреднымъ! Объясняется это, какъ намъ кажется, ошибкою въ исходной точкѣ сѣзда. Вредъ, приносимый ученіемъ, ни въ какомъ случаѣ не можетъ и не долженъ быть соразмѣримъ съ легкостью усвоенія этого ученія и съ приверженностью къ нему тѣхъ, кто его усвоилъ. Послѣдователи австрійскаго согласія, въ особенности если они принадлежатъ къ нему по рожденію и воспитанію и вовсе не думаютъ о дальнѣйшей его пропагандѣ, отнюдь не виноваты въ томъ, что оно привлекаетъ къ себѣ нетвердыхъ въ вѣрѣ православныхъ, и привлекаетъ настолько сильно, что затрудняетъ возвращеніе ихъ къ православію. Съ точки зрѣнія уголовного права и уголовной политики, все это совершенно безразлично, потому что не измѣняетъ самаго характера секты, не вліяетъ на отношеніе ея къ церкви и государству. Говорить о вредѣ ученія, какъ объ основаніи къ гражданскимъ правоограниченіямъ и уголовнымъ карамъ, можно только тогда, когда оно прямо ведетъ къ преступнымъ или безнравственнымъ дѣйствіямъ — безнравственнымъ въ такой мѣрѣ, которою вызывалась бы репрессія со стороны свѣтской власти. Вѣковой опытъ показалъ, что въ этихъ условіяхъ преслѣдованіе ученія никогда не приводитъ къ желанной цѣли. Законъ 3-го мая обязанъ своимъ происхожденіемъ не столько гуманности, сколько государственной мудрости; онъ призналъ не столько несправедливость, сколько безцѣльность и бесплодность гоненія за вѣру. До конца періода, обнимаемаго послѣднимъ отчетомъ оберъ-прокурора св. синода, прошло, съ тѣхъ поръ, только восемь лѣтъ. Въ такой короткий промежутокъ времени дѣйствіе поваго закона не могло еще обнаружиться съ достаточною ясностью. И полнымъ отсутствіемъ хорошихъ результатовъ нельзя было бы, впрочемъ, оправдать возвращеніе къ системѣ, давно осужденной исторіею.

Какъ и въ прежніе годы, внѣшняя форма отзывовъ о расколѣ отличается въ отчетѣ большою рѣзкостью. „Характеристическими чертами современнаго раскола *въ его массѣ* (курсивъ подлинника) остаются тьма, невѣжество и загроубѣлая косность мысли, поражающая крайней нетерпимостью, обманъ, лукавство, мелочность, пустота. Такова именно масса раскола, таковы и его вожди-руководители, въ буквальномъ смыслѣ *слѣпы*, но съ инстинктами и страстями хищныхъ волковъ“... Въ новгородской епархіи „едва ли можно найти въ раскольническихъ семействахъ дѣвицу, которая сохранила бы себя

¹⁾ По словамъ отчета, послѣдователи австрійскаго или блжгоприницкаго согласія составляютъ болѣе 2/3 общаго количества раскольниковъ.

до совершеннолѣтія и замужества"... Томскіе раскольники, не считая ложь въ отношеніи къ православному грѣху для себя, нерѣдко сочиняютъ слезныя жалобы на мнимое насиліе ихъ совѣсти и стѣсненіе свободы въ отправленіи богослуженія по ихъ обрядамъ". Такія выраженія, какъ „мѣстности зараженныя расколомъ", „пресловутое рогожское кладбище", „заманчивыя для темнаго простаго народа стѣны, раскинутыя расколомъ", „фарисейство", „разнузданность", „жалкіе владыки" — встрѣчаются весьма часто. Замѣчательно, однако, что въ одномъ мѣстѣ отчета раскольники являются не въ столь мрачномъ свѣтѣ, какъ въ остальныхъ. Задаваясь вопросомъ, „въ чемъ заключаются причины устойчивости раскола", отчетъ признаетъ, что расколъ „имѣетъ для своихъ послѣдователей какія-то пріятныя, привлекательныя стороны, и посему удерживаетъ ихъ въ своихъ обольстительныхъ сѣтяхъ. По словамъ преосвященнаго пермскаго, расколъ нерѣдко привлекаетъ очень религіозныхъ людей хотя неправильнымъ, но внимательнымъ, настойчивымъ обученіемъ христіанина по всѣмъ его должностямъ и обязанностямъ". Въ отчетѣ преосвященнаго вологодскаго заявляется, что „видимо строгая жизнь" раскольниковъ (вмѣстѣ съ другими причинами) „дѣлаетъ расколъ привлекательнымъ не только для послѣдователей его, но и для православныхъ. Православные часто, особенно подъ старость, переходятъ въ старую вѣру, полагая при этомъ, что они какъ бы вступаютъ на высшую ступень жизни, въ родѣ монашества". „Внимательное, настойчивое обученіе обязанностямъ христіанина" едва ли совмѣстно съ „обманомъ и лукавствомъ", при господствѣ которыхъ едва ли была бы мыслима и „строгая жизнь", импонирующая не однимъ только единомышленникамъ, но и постороннимъ наблюдателямъ... Справедливость огульных порицаній, направленныхъ противъ массы раскольниковъ, возбуждаетъ невольное сомнѣніе уже потому, что масса всегда и вездѣ ближе къ среднему уровню, чѣмъ къ какой-либо крайности. *Нестыжественной* масса безспорно можетъ быть потому, что это зависитъ отъ внѣшнихъ историческихъ условій; но лживыми, лукавыми, мелочными, пустыми, недобросовѣстными, бываютъ только отдѣльные люди. Если ученіе исповѣдуется сколько-нибудь значительнымъ числомъ лицъ, если оно не содержитъ въ себѣ, слѣдовательно, ничего противнаго основнымъ свойствамъ чело-вѣческой природы, оно не можетъ низводить *всѣхъ*, или почти *всѣхъ* своихъ послѣдователей на низшій уровень нравственности. Въ самомъ содержаніи наиболѣе распространенныхъ раскольническихъ вѣрованій нѣтъ, притомъ, ничего такого, чѣмъ можно было бы объяснить поголовное нравственное паденіе. Слишкомъ обобщенныя, слишкомъ далеко идущія укоризны — едва ли лучшее средство побудить рас-

кольниковъ къ сближенію съ церковью. Къ причинамъ устойчивости раскола отчетъ относить, *прежде всего*, давность его существованія. „Приверженцы его, по справедливому замѣчанію преосвященнаго половекаго, сжились съ нимъ, привыкли считать себя чѣмъ-то совершенно отличнымъ отъ православія, выработали себѣ свой особый строй и складъ жизни, тѣсно связанный съ религіозными воззрѣніями, и имъ трудно уже отстать отъ того, въ чемъ они родились и что всосали съ молокомъ матери. Весьма обычна среди раскольниковъ, едва ли не каждой епархіи, фраза: въ какой вѣрѣ мы родились, въ той и помереть должны“. Изъ этихъ безспорныхъ фактовъ вытекаютъ два столь же безспорныхъ заключенія: если раскольникамъ дорога вѣра предковъ, то меньше всего они могутъ быть поколеблены въ ней рѣзкимъ ея хуленіемъ—и если устойчивость раскола обуславливается его давностью, то нельзя и ожидать быстрого его ослабленія, обращать „упорство“ раскольниковъ въ аргументъ противъ закона 3-го мая 1883 г.

Сравнительно съ давностью раскола, всѣ остальные причины его устойчивости, перечисляемыя въ отчетѣ, имѣютъ весьма второстепенное значеніе. Объ одной изъ нихъ мы уже упоминали два года тому назадъ, при разборѣ отчета за 1888—89 гг. Это — „свобода религіозно-общественной жизни“ раскола, дающая раскольникамъ будто бы *привилегію* передъ православными: „выборъ и устраненіе ими самими разнаго рода лицъ, служащихъ ихъ духовнымъ потребностямъ, безконтрольное распоряженіе средствами, собираемыми при общественныхъ богомоленіяхъ, отсутствіе официальности въ отношеніяхъ между паствой и пастырями и формальностей, особенно при заключеніи браковъ, удоборасторжимость браковъ“. Право выбора священниковъ болѣе чѣмъ уравнивается постоянною опасностью потерять ихъ, а часто и трудностью ихъ присканія (въ особенности у бѣглопоповцевъ, „крайне затруднительное положеніе“ которыхъ констатируется и отчетомъ). „Безконтрольное распоряженіе средствами“—если и допустить, что контроль самихъ плательщиковъ имѣетъ характеръ исключительно номинальный—привлекательно только для самихъ распоряжающихся, которыхъ всегда немного, и ужъ конечно нисколько не симпатично для всѣхъ остальныхъ. „Отсутствіе официальности въ сношеніяхъ между пастырями и паствой“ если и не всегда существуетъ, то должно существовать и въ сношеніяхъ между православнымъ священникомъ и его прихожанами. Объ отсутствіи формальностей при заключеніи раскольническихъ браковъ и о ихъ удоборасторжимости можетъ быть рѣчь только до тѣхъ поръ, пока они вовсе не являются *браками* съ точки зрѣнія закона; въ противномъ случаѣ они подчинены столь же строгимъ формамъ и столь же неудобо-

расторжими, какъ и браки, заключаемые по правиламъ православной церкви. Если волостныя начальства, при запискѣ раскольниковыхъ браковъ въ установленныя для того книги, поступаютъ не согласно съ требованіями закона, то ничто не препятствуетъ подчинить ихъ болѣе бдительному надзору со стороны земскихъ начальниковъ, предводителей, губернаторовъ и губернскихъ присутствій.

„Самую привлекательную, соблазнительную сторону раскола“ составляетъ, по словамъ отчета, „сущестующая среди раскольниковъ взаимопомощь“. Еслибы подъ этимъ именемъ разумѣлась поддержка, постоянно, во всѣхъ случаяхъ жизни, встрѣчаемая каждымъ раскольниковъ со стороны всѣхъ другихъ, еслибы взаимопомощь была чѣмъ-то въ родѣ братскаго общенія и единенія, о которомъ мечтаютъ вѣрующіе въ лучшее будущее, тогда притягательная ея сила могла бы быть очень велика, хотя все же едва ли равнялась бы могуществу традиціи, унаслѣдованной отъ предковъ. Не эту форму взаимопомощи, однако, имѣетъ въ виду отчетъ: онъ говоритъ о подачкахъ, раздаваемыхъ богачами, о кабалѣ, въ которой послѣдніе держатъ бѣдняковъ, о разныхъ видахъ матеріальной зависимости, являющейся средствомъ удержанія въ расколѣ колеблющихся его приверженцевъ и свращенія въ расколѣ колеблющихся православныхъ. Отрицать существованіе и силу подобныхъ вліяній нельзя; но что же въ нихъ „привлекательнаго и соблазнительнаго“? Вѣдь это только разновидность эксплуатациіи, отъ которой вообще страдаетъ наше крестьянство. Въ дѣйствительность подкупа, какъ цемента, которымъ держится зданіе раскола, можно было бы повѣрить, еслибы раскольниковъ было нѣсколько тысячъ или хотя бы нѣсколько десятковъ тысячъ; но подкупать миллионы нельзя, да и незачѣмъ, такъ какъ ихъ связываетъ съ расколомъ могущественная формула: „въ какой вѣрѣ мы родились, въ той и помереть должны“... Далеко не лишена значенія, наконецъ, послѣдняя изъ причинъ устойчивости раскола, указываемая отчетомъ: „умственная темнота“ раскольниковъ. Конечно, она не вездѣ и не всегда достигаетъ той крайней степени, которая выразилась, напримѣръ, въ исторіи самозваннаго архіерея Архадія (стр. 184—7 отчета), но просвѣщеніе вообще распространено въ нашемъ народѣ очень слабо, и большинство раскольниковъ не возвышается, въ этомъ отношеніи, надъ массой, а въ мѣстностяхъ, гдѣ раскольники чуждаются народной школы—даже ей уступаетъ. Съ полнымъ основаніемъ отчетъ возлагаетъ большія надежды на школу, какъ на средство сближенія между раскольниками и православными; едва ли только церковно-приходской школѣ принадлежитъ, съ этой точки зрѣнія, какое-либо особое преимущество передъ школами другого типа. По словамъ преосвященнаго калужскаго,—читаемъ мы въ отчетѣ, — „вліяніе церков-

ной школы по отношенію къ расколу не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Всякое дитя, поступающее изъ замкнутой въ самой себѣ раскольнической семьи въ церковную школу, чѣмъ долѣе остается въ этой школѣ, тѣмъ глубже и вѣрнѣе перевоспитывается и даже, можно сказать, перерождается въ духовномъ отношеніи, такъ что подобный воспитанникъ, по окончаніи курса даже и начальнаго образованія—но только въ духѣ православной церкви, — дѣлается невольно какъ бы миссіонеромъ для своей родной семьи "... „Школьная семья,—говоритъ преосвященный уфимскій,—сближая дѣтей между собою въ раннемъ возрастѣ, соединяетъ ихъ дружбою навсегда, а эта дружба незамѣтно сгладитъ существующій теперь между читателями мнимой старины и разными инородцами православной вѣры религіозный раздоръ". Все это одинаково примѣнимо ко всѣмъ категоріямъ начальныхъ училищъ (правильно организованныхъ, т.-е. возвышающихся надъ школами грамоты): вездѣ преподаваніе закона Божія находится въ рукахъ священника, вездѣ изучается славянскій языкъ и читаются церковныя книги, вездѣ ученіе начинается и оканчивается молитвой, вездѣ обращено вниманіе на церковное пѣніе. Мы узнаемъ изъ отчета, что въ церковныхъ школахъ обучается сравнительно меньше раскольниковъ и сектантовъ, чѣмъ въ школахъ министерства народнаго просвѣщенія и другихъ вѣдомствъ. Отчетъ объясняетъ это отчасти тѣмъ, что „церковная, въ своемъ возрожденномъ видѣ, школа существуетъ очень недавно, въ сравненіи со школами другого типа", отчасти тѣмъ, что „раскольники и сектанты предчувствуютъ миссіонерскую ея силу, хотя и плѣняются строемъ ея жизни". Первое изъ этихъ двухъ объясненій едва ли правильно, такъ какъ изъ недавняго существованія церковно-приходскихъ школъ логически вытекаетъ лишь *абсолютно*, но не *сравнительно* меньшее число учащихся въ нихъ раскольниковъ; второе объясненіе очень правдоподобно—но именно потому и нельзя разсчитывать, для борьбы съ расколомъ, на *одну* только церковную школу. Внушая раскольникамъ меньше опасеній, свѣтская начальная школа можетъ привлечь къ себѣ больше дѣтей изъ раскольническихъ семействъ — а уменьшенію религіозной розни способствуетъ, какъ мы уже видѣли, самый фактъ совмѣстнаго обученія раскольниковъ и православныхъ, въ какой бы школѣ оно ни происходило.

О сектахъ, мистическихъ и раціоналистическихъ, отчетъ говоритъ въ выраженіяхъ еще болѣе рѣзкихъ, чѣмъ о расколѣ. Вотъ, напри-
мѣръ, характеристика штундистовъ: „при отсутствіи положительнаго вѣроученія, штунда, съ остальными сродными ей сектами, старается, повидимому, утвердиться на нравственныхъ, практическихъ требованіяхъ христіанства. Во внѣшнемъ своемъ поведеніи сектанты

дѣйствительно строго стараются исполнить предписанія нравственныхъ, чѣмъ и располагають въ свою пользу поверхностныхъ наблюдателей: штундисты весьма строго чтать воскресные дни, отвыкають отъ привычекъ пить водку и курить табакъ, не ругаются дурными словами и т. п. Но въ связи съ этими похвальными качествами развиваются у нихъ другія, нравственно несимпатичныя черты; такъ, всѣ лучшія стороны своего поведенія штундисты при каждомъ случаѣ стараются выставить на показъ предъ православными и при этомъ проявляютъ необыкновенную гордость и фарисейское самомнѣніе (явленіе общее всѣмъ сектамъ). Всѣ мѣста священнаго писанія, въ которыхъ говорится о „святыхъ“, „о народѣ Божіемъ“, о „новой твари во Христѣ“, сектанты всецѣло прижмаютъ къ себѣ. При всей своей видимой добропорядочности, почти всегда они оказываются на дѣлѣ людьми черствыми, мстительными, гордыми, непочтительными къ авторитетамъ, склонными къ зазорной спорливости и прекословіямъ. По отзывамъ православныхъ крестьянъ, штундистъ, не употребляя ни одного браннаго слова, можетъ такъ досадить, что можетъ вывести изъ терпѣнія и довести до насилія. О прямыхъ порокахъ сектантовъ, которые въ дѣйствительности встрѣчаются весьма рѣдко, нужно сказать, что съ штундистами въ этомъ случаѣ повторяется то же, что и со всѣми подобными сектами: непомѣрное развитіе лицемерія и фарисейства. Сюда же нужно отнести и существованіе у нихъ самосуда, такъ что дѣла о проступкахъ сектантовъ очень рѣдко восходятъ на судъ правительственный и принимаютъ огласку. Для достиженія спасенія сектанты совершенно отрицаютъ необходимость нравственныхъ подвиговъ воздержанія и самоотверженія и признають достаточнымъ исполненіе требованій относительно внѣшняго благоповеденія. Повторяемъ сказанное нами по поводу раскольниковъ: трудно допустить, чтобы какое бы то ни было ученіе, если оно не идетъ въ разрѣзъ съ основными началами нравственности, могло сдѣлать всѣхъ или почти всѣхъ приверженцевъ людьми дурными — черствыми, мстительными, лицемерными. Трудно допустить также, чтобы доктрина, тѣсно связанная съ протестантизмомъ, могла выдвигать на первый планъ „требованія внѣшняго благоповеденія“, слишкомъ высокая оцѣнка которыхъ католицизмомъ была одною изъ причинъ реформаціоннаго движенія. Весьма можетъ быть, что на крестьянъ, привыкшихъ употреблять бранныя слова, сдержанность штундистовъ дѣйствуетъ раздражающимъ образомъ: но это слѣдуетъ поставить въ вину скорѣе крестьянамъ, чѣмъ штундистамъ, особенно если раздраженіе выражается въ видѣ насилія. Едва ли, наконецъ, можно выводить „лицемеріе“ и „фарисейство“ штундистовъ изъ практикуемаго между ними „самосуда“. Самосудъ — понимаемый, конечно,

не въ смыслѣ самоуправства, а въ смыслѣ примирительнаго разбирательства—явленіе обычное въ средѣ небольшихъ, тѣсно сплоченныхъ религіозныхъ общинъ, въ особенности если онѣ терпятъ гоненіе за вѣру. Правило о „невынесеніи сора изъ избы“ соблюдается здѣсь не въ силу желанія скрыть отъ посторонняго глаза слабыя стороны общины, а въ силу предубѣжденія противъ суда и вообще противъ вмѣшательства власти.

Обсуждая мѣры борьбы съ рационалистическимъ сектантствомъ, миссіонерскій съѣздъ 1891 г. „постановилъ на первомъ планѣ мѣры церковно-миссіонерскаго воздѣйствія на сектантовъ въ духѣ мира, любви и сожалѣнія къ врагамъ церкви“, но вмѣстѣ съ тѣмъ призналъ необходимымъ „содѣйствіе гражданской власти“, въ видѣ „нѣкоторыхъ ограничительныхъ административныхъ мѣръ“. Къ числу такихъ „административныхъ“ мѣръ съѣздъ относитъ, между прочимъ, воспрещеніе наиболее упорнымъ изъ послѣдователей болѣе вредныхъ сектъ отлучки изъ ихъ мѣстъ жительства безъ особаго, каждый разъ разрѣшенія губернатора; передачу преступленій противъ вѣры и церкви изъ вѣденія суда присяжныхъ въ вѣденіе суда съ сословными представителями; запрещеніе послѣдователямъ болѣе вредныхъ сектъ покупки и арендованія поземельной собственности; тщательное наблюденіе начальствующихъ по крестьянскимъ дѣламъ, чтобы въ волостныя и сельскія общественныя должности не поставлялись явные еретики или лица сомнительной честности и твердости въ православіи. „Нѣкоторыя административныя мѣры“ оказываются, такимъ образомъ, цѣлою совокупностью постановленій, требующихъ законодательнаго утвержденія и направленныхъ не только къ восстановленію порядка, существовавшаго до закона 3-го мая 1883 г. (ограниченіе свободы передвиженія и права быть избираемымъ въ общественныя должности), но и къ усложненію его новыми стѣсненіями... „Въ виду случаевъ развращающаго вліянія сектантовъ на живущихъ съ ними въ одной семьѣ православныхъ, а также насилій, насмѣшекъ и стѣсненій православныхъ отъ своихъ домашнихъ сектантовъ“, съѣздъ выразилъ желаніе, чтобы „гонимымъ сектантами за вѣру членамъ православныхъ семей, въ особенности же несовершеннолѣтнимъ дѣтямъ, было оказываемо покровительство со стороны православнаго духовенства, вмѣстѣ съ должностными лицами, тѣми мѣрами, какія имѣются въ распоряженіи гражданской власти примѣнительно къ ст. 190 улож. о наказ.“. Съ перваго взгляда это желаніе можетъ показаться не совсемъ понятнымъ. Если „насиліе“ или „развращающее вліяніе“ соединяетъ въ себѣ признаки преступленія, оно всегда можетъ сдѣлаться объектомъ уголовнаго преступленія — и наоборотъ, „насмѣшки“ или „стѣсненія“, не заключающія въ себѣ ничего противозаконнаго, вовсе

не подлежатъ вѣденію гражданской власти. Настоящая мысль съѣзда выясняется только ссылкой на ст. 190 улож. о наказ., въ силу которой дѣти, подлежащія, по закону, воспитанію въ православной вѣрѣ, но воспитываемыя родителями по обрядамъ другого христіанскаго исповѣданія, отдаются на воспитаніе родственникамъ православнаго исповѣданія или, за неимѣніемъ ихъ, назначаемымъ отъ правительства опекунамъ, также православной вѣры. Предложеніе дѣйствовать *примѣнительно* къ этой статьѣ направлено, слѣдовательно, не къ чему иному, какъ къ *отобранію* дѣтей, крещенныхъ въ православіи, отъ родителей-штундистовъ, хотя бы послѣдніе и не подходили подъ прямой смыслъ ст. 190, т.-е. не воспитывали бы своихъ дѣтей по обрядамъ штунды. Нужно ли объяснять, что означаетъ, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, разлученіе дѣтей отъ родителей, отдача ихъ въ чужую имъ семью, на попеченіе лицъ, не связанныхъ съ ними никакою внутреннею связью?.. *Гоненіе за вѣру*, направляемое родителями противъ *несовершеннолѣтнихъ* дѣтей—нѣчто совершенно немыслимое или мыслимое развѣ въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ; но, при извѣстномъ предубѣжденіи, предположить его существованіе не трудно, а признать его доказаннымъ тѣмъ легче, что самихъ дѣтей допрашивать объ образѣ дѣйствій родителей, по всей вѣроятности, не будутъ. Правило, установленное ст. 190 улож. о нак., принадлежитъ къ числу самыхъ жестокихъ во всемъ нашемъ уголовномъ законодательствѣ; слѣдуетъ желать скорѣйшей его отміны, а отнюдь не дальнѣйшаго распространенія... Съѣздъ ошибается, если думаетъ, что мѣра, предусмотрѣнная ст. 190-й, находится „въ распоряженіи“ администраціи; она можетъ быть принята не иначе, какъ на основаніи судебного приговора—а судъ едва ли рѣшится примѣнять уголовный законъ, по аналогіи, къ случаямъ, прямо подъ его дѣйствіе не подходящимъ.

Насколько нежелательна и бесплодна борьба съ ересью путемъ уголовныхъ каръ и административныхъ стѣсненій, настолько же цѣлесообразно устраненіе внѣшнихъ условій, благопріятствующихъ распространенію сектантства. Съ этой точки зрѣнія чрезвычайно важно слѣдующее указаніе отчета: „въ херсонской губерніи основная причина происхожденія штунды заключается въ той экономической зависимости, въ какой находится русское населеніе края отъ нѣмцевъ-штундистовъ. Эта зависимость ведетъ свое начало еще съ того времени, когда для населенія Новороссійскаго края приглашались всякаго рода бѣглецы, бродяги и проч., которые селились гдѣ имъ было угодно. Послѣ освобожденія отъ крѣпостной зависимости, они не получили земельныхъ надѣловъ и образовали изъ себя классъ такъ называемыхъ мѣщанъ-десятишниковъ, численность которыхъ

равняется $\frac{1}{4}$ всего крестьянскаго населенія херсонской губерніи. Арендуя земельные участки преимущественно у нѣмцевъ, въ рукахъ которыхъ находится масса земли, они естественно стали въ экономическую зависимость, которая сдѣлалась удобнымъ орудіемъ въ рукахъ нѣмцевъ для проведенія въ народъ протестантскихъ воззрѣній и обычаевъ нѣмецкихъ. Успѣхъ нѣмецкой пропаганды штундизма въ значительной степени обусловливается тѣмъ обстоятельствомъ, что русское населеніе, разбросанное отдѣльными поселками по обширнымъ степямъ, во многихъ случаяхъ удалено отъ православныхъ храмовъ: изъ 167 поселеній херсонской губерніи, зараженныхъ штундой, — 105 не имѣютъ православныхъ храмовъ, причемъ $\frac{3}{4}$ всего числа штундистовъ составляютъ названные выше мѣщане-десятичники. Изъ этого указанія вытекаетъ сама собою необходимость озаботиться не только увеличеніемъ числа православныхъ храмовъ, но и надѣленіемъ мѣщанъ-десятичниковъ землею, въ размѣрахъ, достаточныхъ для экономической ихъ самостоятельности.

Отзывы отчета о католицизмѣ и лютеранствѣ во многомъ напоминаютъ отзывъ его о ересь и расколѣ. „Латинско-польская пропаганда избираетъ скрытныя, часто неувомимыя пути и пользуется нерѣдко для своихъ цѣлей *средствами неблаговидными*“... Протестантская пропаганда „съ наибольшимъ успѣхомъ ведется въ глухихъ деревняхъ и поселкахъ, отдаленныхъ отъ приходскихъ храмовъ. Не имѣя возможности часто посѣщать храмъ и слушать поученія своихъ пастырей, православное населеніе этихъ глухихъ мѣстностей легко поддается настойчивой и *обольстительной* пропагандѣ, обѣщающей бѣднымъ поселянамъ матеріальную поддержку и помощь и твердящей имъ о всеобщемъ равенствѣ и братствѣ“. Интересно было бы знать, исполняются ли заманчивыя обѣщанія? Если исполняются, то откуда же берутся у нѣмцевъ необходимыя для того громадныя средства? Если не исполняются, то на чемъ же держится легковѣріе обольщаемыхъ?.. Изъ числа мѣръ борьбы противъ католицизма особенное вниманіе обращаетъ на себя закрытіе католическаго монастыря и нѣсколькихъ костеловъ. Въ волынской епархіи существовалъ женскій римско-католическій монастырь ордена кармелитокъ, построенный въ 1660 г., по иниціативѣ іезуитовъ, чтобы ослабить вліяніе сосѣдней православной обители Честнаго Креста (нынѣ дубенская Крестовоздвиженская пустынь, приписанная къ Почаевской лаврѣ). Іезуиты постарались отдѣлить обитель эту отъ города (Дубна?), построивъ на томъ мѣстѣ, гдѣ проходитъ единственная къ обители дорога отъ города, римско-католическій кармелитскій монастырь, и лишивъ ее, такимъ образомъ, свободнаго къ ней пути. Фанатическія кармелитки устроили на своемъ подворьѣ, чрезъ

которое шла дорога въ православную обитель, ворота, держа ихъ постоянно или запертыми на замокъ, или же подъ охраною злыхъ собакъ, а на подворьѣ, вблизи дороги, возвели свои хозяйственные постройки—конюшни и хлѣва. Вслѣдствіе такихъ враждебныхъ отношеній кармелитокъ въ Крестовоздвиженской обители, представители православнаго духовенства нерѣдко обращались къ духовнымъ и гражданскимъ властямъ съ ходатайствомъ объ изыятіи изъ вѣденія кармелитокъ земли, по которой проходитъ дорога, такъ какъ земля эта отъ временъ князей Острожскихъ принадлежала Крестовоздвиженской пустыни. Ходатайствовали также и о перемѣщеніи кармелитокъ изъ дубенскаго монастыря, съ обращеніемъ зданій его въ собственность пустыни. Но ходатайства эти не получали до послѣдняго времени желаемаго удовлетворенія. Нынѣ, какъ извѣстно, латинскій кармелитскій женскій монастырь упраздненъ, съ передачею въ собственность дубенской пустыни зданій и угодій его. Изъ отчета не видно, почему мѣра болѣе крайняя была предпочтена менѣе рѣшительной (отобранію земли подъ дорогой) и какое вознагражденіе назначено кармелиткамъ за отошедшія отъ нихъ зданія и угодья. То же самое слѣдуетъ сказать и по поводу четырехъ католическихъ костеловъ въ царствѣ польскомъ, переданныхъ въ духовное вѣдомство со всѣми ихъ землями, строеніями и угодьями.

Намъ особенно пріятно закончить именно это обозрѣніе двумя извѣстіями, изъ которыхъ одно имѣетъ officialный характеръ, а другое заимствуется нами изъ газеты „Недѣля“ (№ 22), сообщающей его не въ видѣ слуха, а какъ несомнѣнный фактъ. Агентъ нашего правительства при Ватиканѣ, г. Извольскій, назначенъ министромъ-резидентомъ при папѣ римскомъ; другими словами, установлены правильныя дипломатическія сношенія съ папскимъ престоломъ. По справедливому замѣчанію газеты, это должно внести „внутреннее успокоеніе въ умы русскихъ католиковъ; ихъ религіозныя права получаютъ нѣкоторое особое подтвержденіе и признаніе; излишнія стѣсненія устранены“ (точнѣе, кажется, было бы сказать: „нужно надѣяться, что излишнія стѣсненія *будутъ* устранены“). Второе газетное извѣстіе заключается въ слѣдующемъ: „Валгутскій общинный старшина Педайя и жена его рижскимъ окружнымъ судомъ были приговорены къ заключенію въ тюрьмѣ на два мѣсяца за то, что своихъ троихъ дѣтей воспитывали въ лютеранской вѣрѣ. Согласно рѣшенію окружнаго суда, дѣти эти должны бы быть отобраны у родителей и отданы православнымъ родственникамъ для воспитанія

въ православной вѣрѣ. Съ Высочайшаго соизволенія приговоръ окружного суда относительно четы Педайя отмененъ по всѣмъ пунктамъ. Въ другомъ дѣлѣ пасторъ Безе, изъ Гельмета, признанъ былъ виновнымъ въ совершеніи брачнаго обряда надъ такъ называемыми „смѣшанными“, т.-е. надъ женихомъ и невѣстою, которые признавали себя принадлежащими къ евангелическо-лютеранскому вѣроисповѣданію, хотя православное духовенство и заявляло, что одинъ изъ новобратныхъ принадлежитъ къ православію. Тотъ же пасторъ Безе былъ привлеченъ къ отвѣтственности за совершеніе обряда крещенія надъ родившимся отъ упомянутаго брака ребенкомъ — крещеніе состоялось еще до постановленія перваго рѣшенія—и приговоренъ, по совокупности проступковъ, къ исключенію отъ должности на восемь мѣсяцевъ. Для супруговъ, подавшихъ поводъ къ судебному преслѣдованію, бракъ признанъ былъ недѣйствительнымъ, со всѣми вытекающими изъ такого постановленія послѣдствіями. Вслѣдствіе всеподданнѣйшаго ходатайства супруговъ этихъ, Высочайше повелѣно оставить ихъ въ ихъ бракѣ и въ ихъ вѣрѣ. Нельзя не согласиться съ газетой, что этими частными мѣрами какъ бы предугазанъ путь къ дальнѣйшему развитію нашихъ законовъ объ иновѣріи и отношеніяхъ его къ православію.

Въ газетахъ (прежде всего, по странной случайности—въ „Гражданинѣ“) появился недавно полный текстъ рѣчи, произнесенный г. министромъ юстиціи при открытіи засѣданій комиссіи по пересмотру узаконеній о судебной части. Предоставляя себѣ возвращаться къ тѣмъ или другимъ отдѣламъ этой рѣчи, по мѣрѣ движенія работъ комиссіи, мы остановимся теперь только на нѣкоторыхъ изъ возбуждаемыхъ ею вопросовъ, особенно важныхъ.

Въ началѣ своей рѣчи Н. В. Муравьевъ перечисляетъ тѣ основныя начала судоустройства и судопроизводства, „которыя уцѣлѣли при всевозможныхъ перемѣнахъ и тѣмъ доказали свою жизнеспособность и практическую пригодность“. Объ этихъ началахъ, по мнѣнію г. министра юстиціи, „почти нѣтъ принципиальнаго спора даже между противниками и сторонниками реформы 1864 г. Ихъ видоизмѣняли и ограничивали, но не поколебали и не уничтожили послѣдующія новеллы“. Къ числу такихъ началъ г. министръ отнести, между прочимъ, гласность процесса и судъ присяжныхъ. „Судъ долженъ быть гласный, т.-е. общество должно знать, что дѣлается въ судѣ и какъ творится правосудіе... Судъ долженъ производиться, хотя и правительственными должностными лицами, но не безъ незамѣнимаго, въ извѣстныхъ случаяхъ, участія общественнаго элемента, въ лицѣ обывателей, которые несутъ государственную повинность

содѣйствовать правосудію, въ качествѣ сословныхъ судей ¹⁾, присяжныхъ засѣдателей, понятыхъ, свидѣтелей“. Намъ кажется, что гласность, провозглашенная судебными уставами, не только „видоизмѣнена и ограничена“, но и прямо „поколеблена“ закономъ 1887 г.— а такъ какъ этотъ законъ былъ встрѣченъ въ свое время сочувствіемъ „противниковъ судебной реформы“, то едва ли можно утверждать, что по вопросу о гласности „принципіальнаго“ разногласія у насъ не существуетъ. *Принципъ* гласности остается неприкосновеннымъ и непоколебленнымъ лишь до тѣхъ поръ, пока устраненіе ея возможно только въ случаяхъ, закономъ предусмотрѣнныхъ, и только по опредѣленію суда. Тамъ, гдѣ закрытіе дверей засѣданія зависитъ отъ судебной администраціи, ничѣмъ въ этомъ отношеніи не стѣсненной, т.-е. дѣйствующей по усмотрѣнію, гласность является только *фактомъ*, могущимъ быть или не быть, но не *правомъ*, твердо установленнымъ и обеспеченнымъ. Нужно надѣяться, что пересмотръ судебныхъ уставовъ приведетъ къ отмѣнѣ закона 1887 г.; если общество, какъ сказано въ рѣчи г. министра юстиціи, „должно знать, что дѣлается въ судѣ и какъ творится правосудіе“, то всякое произвольное ограниченіе этого знанія отпадаетъ само собою... Еще менѣе подлежитъ сомнѣнію *принципіальное* разногласіе по вопросу о судѣ присяжныхъ. Только въ самое послѣднее время затихли крики противъ „суда улицы“—и затихли, конечно, не потому, чтобы измѣнилось, по существу, мнѣніе его противниковъ, а потому, что нѣсколько поднялись его фонды въ официальныхъ сферахъ. Объ этомъ поднятій свидѣлствуетъ и самая рѣчь г. министра юстиціи; но мы должны признаться, что насъ нѣсколько смущаетъ постановка суда присяжныхъ на одинъ уровень не только съ сословными судьями, но даже съ свидѣтелями и *понатыми*. Если роль присяжныхъ въ процессѣ аналогична съ ролью понятыхъ, то она теряетъ всякое выдающееся значеніе и можетъ быть „видоизмѣняема“ *ad libitum*. Если между присяжными и сословными судьями нѣтъ никакой существенной разницы, то дальнѣйшее распространеніе закона 1889 г., сужившаго сферу дѣйствій суда присяжныхъ и расширившаго сферу дѣйствій суда съ сословными представителями, не представляетъ ничего несовѣстнаго съ основными началами судебной реформы. Нужно ли доказывать, что судъ присяжныхъ—не только „обывательская“ повинность, но и лучшая, для дѣлъ болѣе важныхъ, форма отправленія правосудія?.. Въ другой части рѣчи г. министра къ числу задачъ комиссіи по пересмотру устава уголовного судопроизводства отнесено

¹⁾ Въ „Гражданинѣ“ и нѣкоторыхъ другихъ газетахъ напечатано: „современныхъ судей“, но едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что это опечатка и что нужно читать: *сословныхъ*.

„всестороннее изслѣдованіе дѣятельности суда присяжныхъ“ и присканіе „мѣръ, которыя изъ этого изслѣдованія должны возникнуть, съ цѣлью упорядоченія участія въ судѣ общественнаго элемента“. Нельзя не пожелать, чтобы исходной точкой изслѣдованія послужило сознаніе особой роли, принадлежащей присяжнымъ въ уголовномъ процессѣ и проводящей рѣзкую грань между ними и другими „обывателями“ (т.-е. гражданами), къ содѣйствію которыхъ, въ той или иной формѣ, обращается судебная власть.

„Въ заботахъ о независимости суда и о самостоятельности судей,— читаемъ мы въ рѣчи г. министра юстиціи,—судебные уставы, съ одной стороны, не вполне ясно согласовали свои опредѣленія съ коренными основами нашего государственнаго права, а съ другой—не снабдили правительство достаточно сильными и дѣйствительными средствами немедленно устранять изъ судебного вѣдомства всякій беспорядокъ, при первыхъ его признакахъ. Отсюда—нѣсколько двусмысленное, какъ бы недоговоренное понятіе о судейской несмѣняемости, не замедлившая возникнуть потребность въ его ограниченіи, не всегда практическая постановка судебного надзора и отвѣтственности и другія слабыя стороны судебной дисциплины. Отсюда—такъ много навредившая судебному вѣдомству и дѣлу благодарная почва для укоровъ въ кастичной обособленности и тенденціозности, не всегда совпадающей съ взглядами и намѣреніями правительства. И хотя въ этихъ указаніяхъ, несомнѣнно, много есть преувеличеннаго, а многое коренится въ простомъ недоразумѣніи или невѣрномъ пониманіи, но все-таки есть, или, точнѣе, была, а слѣдовательно и впредь можетъ быть нѣкоторая доля фактической подкладки. Поэтому нужно устранить всякіе къ тому поводы, сдѣлать невозможнымъ или безцѣльнымъ всякое преувеличеніе, разсѣять недоразумѣнія. При этомъ вовсе не слѣдуетъ опасаться мнимо-щекотливаго или остраго характера этого предмета. Тамъ, гдѣ нѣтъ ни политическихъ партій, ни ихъ вражды, вліяющей на судъ, а есть лишь государственное правосудіе, отправляемое правительственными учрежденіями отъ имени Императорскаго Величества, что можетъ тамъ быть остраго и щекотливаго признать и ясно, прямо выразить, что и судьи, наравнѣ со всѣми вѣрноподанными слугами отечества, подлежатъ въ томъ или иномъ направленіи дѣйствію непосредственнаго усмотрѣнія самодержавной верховной власти и что, вмѣстѣ съ тѣмъ, правительство должно всегда имѣть возможность быстро водворить въ судѣ нарушенный порядокъ или избавиться отъ недостойныхъ дѣятелей. Пересмотръ и исправленіе принадлежащихъ сюда правилъ должны утвердить на крѣпкомъ основаніи строго правительственный характеръ суда и судебного вѣдомства и тѣмъ принести и ему самому, его авторитету и

истинной самостоятельности неисчислимую, громадную пользу". Судить о томъ, какимъ образомъ ограниченіе независимости судей можетъ принести громадную пользу „истинной“ самостоятельности суда, сдѣлается возможнымъ только тогда, когда яснѣе обрисуются самыя мѣры, направленныя къ этой цѣли. Покажѣсть можно только замѣтить, что *самостоятельность* судьи и суда—понятіе совершенно определенное, едва ли оставляющее мѣсто для различія между самостоятельностью истинною и не-истинною. Самостоятельность не-истинная—это не что иное, какъ произволъ, котораго никто, конечно, не желалъ и не желаетъ предоставлять суду и судьямъ. Самостоятельнымъ, въ единственномъ нормальномъ смыслѣ слова, судья является тогда, когда онъ основываетъ свои дѣйствія и рѣшенія исключительно на законѣ, толкуемомъ по совѣсти и крайнему разумѣнію (*nach bestem Wissen und Gewissen*), и подлежитъ отвѣтственности (понимая подъ этимъ словомъ и удаленіе отъ должности) только передъ судомъ, на точномъ основаніи закона. При отсутствіи одного изъ этихъ условій немислима самостоятельность судей и независимость суда. „Водворить въ судѣ нарушенный порядокъ“ и „избавиться отъ недостойныхъ дѣятелей“ вполне возможно путемъ судебного воздѣйствія, правда, не всегда столь „быстро“, какъ дѣйствіе административное, но зато гораздо болѣе обезпеченнаго отъ ошибокъ.

Вступительная рѣчь г. министра позволяетъ ожидать, что пересмотръ „указоненій о судебной части“ коснется не только судебныхъ уставовъ и дополнительныхъ къ нимъ постановленій, но и законовъ, связанныхъ съ административно-судебной реформой 1889 г. Въ числѣ вопросовъ, включенныхъ г. министромъ въ программу комиссіи, мы встрѣчаемъ слѣдующее: не окажется ли возможнымъ выработать для всей Россіи такой средній общій типъ ближайшаго къ населенію суда, который, удовлетворяя потребностямъ губерній, управляемыхъ на общемъ основаніи, въ то же время былъ бы настолько эластиченъ и удобенъ, что его можно было бы примѣнить, съ нѣкоторыми частными измѣненіями, и къ окраинамъ? Не нужно ли, въ связи съ этимъ, *существенно измѣнить постановку судебной части въ судебно-административныхъ учрежденіяхъ*, въ смыслѣ разграниченія вѣдомствъ министерствъ внутреннихъ дѣлъ и юстиціи? Не должна ли мѣстная юстиція представлять собою первую низшую судебную единицу, обнимающую и собственно судъ по дѣламъ менѣе значительнымъ, и участіе въ судѣ по дѣламъ болѣе важнымъ, и слѣдственную часть, и охранительное производство, и нотаріальное дѣло? Въ какихъ отношеніяхъ должна находиться мѣстная юстиція къ судебной власти, предоставленной мѣстнымъ административнымъ учре-

женіямъ, и къ суду волостному? Какъ надлежитъ организовать высшую надъ мѣстнымъ судомъ юстицію и надзоръ за нимъ, и насколько пригоденъ въ этомъ отношеніи теперешній кассационный порядокъ производства?—Можно сомнѣваться въ цѣлесообразности нѣкоторыхъ нововведеній, намѣченныхъ въ этихъ вопросахъ (напр., соединенія въ однѣхъ рукахъ суда и слѣдствія), но нельзя не признать, что они затрогиваютъ многія слабыя стороны существующаго судебно-административнаго строя. Менѣе утѣшительное впечатлѣніе производитъ та часть рѣчи, изъ которой можно заключить, что не совсѣмъ забыта и оставлена мысль, занимавшая, въ послѣднее время его управленія, бывшаго министра юстиціи. Новой комиссіи предлагается рассмотреть, между прочимъ, вопросы: 1) объ измѣненіи кассационнаго производства, введеніемъ въ него ревизіоннаго начала и нѣкоторыми другими практическими мѣропріятіями, и 2) о порядкѣ разсмотрѣнія и разрѣшенія исключительныхъ судебныхъ дѣлъ, по которымъ, вслѣдствіе ихъ особенностей, должно послѣдовать выраженіе монаршей воли.

Мѣсто, отводимое печати въ дѣятельности комиссіи, г. министръ опредѣляетъ въ слѣдующихъ словахъ: „крупное государственное дѣло не нуждается въ печатномъ шумѣ и требуетъ серьезной сдержанности и достоинства, даже и во всѣхъ внѣшнихъ приемахъ. Но нельзя или, вѣрнѣе, бесполезно скрывать отъ общества то, что, касаясь интересовъ всѣхъ и каждаго, какъ въ дѣлѣ правосудія, естественно привлекаетъ къ себѣ общее вниманіе и потому, не будучи оглашено, возбуждаетъ самыя разнорѣчивыя и превратныя толки и гаданія. Гораздо благоразумнѣе, насколько возможно, сообщать имъ болѣе правильное направленіе или, по крайней мѣрѣ, открыто, офиціозно намѣчать истинныя черты, представлять свѣденія, внѣ которыхъ все печатаемое въ частныхъ изданіяхъ являлось бы сомнительнымъ и недостовернымъ по источнику. А потому—будущій „Журналъ Министерства Юстиціи“ для болѣе пространныхъ изложеній, „Правительственный Вѣстникъ“—для краткихъ сообщеній, время отъ времени, и никакихъ *стимульных* статей въ частныхъ органахъ; въ общемъ раза два, три въ годъ оповѣщенія читающей публики о ходѣ работъ нашей комиссіи—такова скромная и умѣренная, но не бесполезная схема нашихъ отношеній къ печати, какъ проводнику гласности съ ея большимъ и несомнѣннымъ, хотя, вѣстѣ съ тѣмъ, и обоюдоострымъ значеніемъ“. Что касается до постороннихъ лицъ, которыхъ г. министру юстиціи предоставлено привлекать къ участію въ трудахъ комиссіи, то г. министръ выражаетъ намѣреніе широко воспользоваться этимъ правомъ, не стѣсняясь „различіемъ взглядовъ на судебные вопросы“. „Зная,—говоритъ онъ,—

что именно изъ столкновенія различныхъ мнѣній легче всего выступать истина, мы не побоимся даже никакихъ крайностей, еслибы онѣ и оказались въ мнѣніяхъ". Все это бесспорно увеличиваетъ шансы успѣха предпринятаго дѣла.

„Не всегда возможно,—таковы заключительныя слова г. министра юстиціи,—вдохнуть въ работу тотъ животворящій духъ горячаго увлеченія высокими идеалами, который окрыляетъ силы и заставляетъ не замѣчать препятствій. Сразу перейдя отъ мрака стараго безсудія къ свѣтлымъ перспективамъ преобразованнаго суда, судебное дѣло, а съ нимъ и судебное вѣдомство уже пережили, однако, эти неповторяющіяся праздничныя минуты идейныхъ порывовъ и внешне-пылааго энтузіазма. Настало будничное время трезвой, разсудительной и неизбежно нѣсколько сухой, даже неблагоприятной критики всего того, что оказалось несоотвѣтствующимъ жизненнымъ потребностямъ или возлагавшимся надеждамъ. Но эта критика должна быть не разрушительною, а созидающею—тогда и она получить неотъемлемое право на общее сочувствіе, можетъ сдѣлаться могучимъ рычагомъ нравственнаго и умственнаго подъема. И если даже въ судебной области, подъ вліяніемъ времени, обветшали украшенія, потускнѣли идеалы, то вѣдь остался священный долгъ и искренняя преданность дѣлу, въ которыхъ и для нашей работы найдется своя заманчивая поддержка". Въ этихъ словахъ много справедливаго. Эпоха, когда работали составители судебныхъ уставовъ, была по истинѣ исключительная; условія столь благопріятныя встрѣчаются рѣдко, и нѣтъ повода надѣяться на повтореніе ихъ въ ближайшемъ будущемъ. Нельзя сказать, однако, чтобы порывъ энтузіазма, въ родѣ пережитаго тридцать лѣтъ тому назадъ, былъ теперь совершенно невозможенъ. Онъ овладѣлъ бы всѣми приверженцами справедливости и права, еслибы задачей новой судебной реформы было не только возстановленіе, но и дополненіе началъ, провозглашенныхъ 20 ноября 1864 г.—или, лучше сказать, проведеніе ихъ въ жизнь съ такою послѣдовательностью и полнотою, которой не обезпечивали даже судебные уставы.

Именнымъ Высочайшимъ указомъ 6-го мая возстановлено упраздненное въ 1858 г. особое управленіе инспекторскою частью гражданскаго вѣдомства. Поводомъ къ этому послужилъ, какъ объяснено въ указѣ, цѣлый рядъ уклоненій отъ дѣйствующихъ правилъ о прохожденіи гражданской службы. Завѣдываніе инспекторскою частью гражданскаго вѣдомства сосредоточено въ Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи. Она составляетъ общій по имперіи Высочайшій приказъ, въ который вносятся всѣ перемѣны въ

служебномъ положеніи должностныхъ лицъ гражданскаго вѣдомства (поступленіе на службу и увольненіе отъ нея, назначеніе на должность, увольненіе отъ должности, производство въ чины за выслугу лѣтъ, Всемилоствѣйшія награды). Никакое должностное лицо гражданскаго вѣдомства не можетъ считаться назначеннымъ на должность или уволеннымъ отъ нея, до воспослѣдованія Высочайшаго о томъ приказа.—Вполнѣ опредѣленное и точное понятіе о значеніи этой мѣры можно было бы составить себѣ только въ такомъ случаѣ, еслибы былъ извѣстенъ характеръ уклоненій, которыми она вызвана. Если уклоненія заключались преимущественно въ томъ, что при назначеніи на должности не принимались въ расчетъ чисто внѣшнія, формальныя препятствія (напр., несоотвѣтствіе между чиномъ и должностью), то, быть можетъ, лучшимъ средствомъ предупредить ихъ была бы отмѣна, законодательнымъ путемъ, самыхъ препятствій, удѣлѣвшихъ отъ далекаго прошлаго и не оправдываемыхъ новыми требованіями жизни. Если уклоненія отъ правилъ обусловливались протекціею и другими аналогичными обстоятельствами, то, конечно, положить имъ предѣлъ было необходимо; сомнѣваться можно только въ томъ, будетъ ли достигнута желанная цѣль, такъ какъ злоупотребленія, протекающія изъ протекціи, вполнѣ мыслимы и безъ явнаго нарушенія закона. Самое оригинальное толкованіе новой мѣры мы встрѣтили въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“: онѣ видятъ въ ней преимущественно охрану „служебныхъ преимуществъ дворянства“! Эти преимущества, *насколько они основаны на законѣ*, столь невелики (сводясь, главнымъ образомъ, къ сокращенію срока производства въ первый классный чинъ), что въ особыхъ мѣрахъ къ ихъ охранѣ едва ли предстояла надобность.



ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го іюля 1894 г.

Убіство Карно.—Жизнь и дѣятельность покойнаго президента.—Президентскіе выборы въ Версали.—Казимиръ Перье.—Борьба съ анархистами и динамитчиками.—

Президентъ французской республики, Сади-Карно, убитъ кинжаломъ на улицѣ въ Ліонѣ, на глазахъ привѣтствовавшей его сто-тысячной толпы, въ моментъ общаго энтузіазма и восторженныхъ криковъ: „vive Carnot!“ Онъ самъ нагнулся изъ экипажа къ убійцѣ съ привѣтливой улыбкой, собираясь принять изъ его рукъ бумагу, подъ которою былъ скрытъ кинжалъ; ему дали дорогу и кирасиры, окружавшіе экипажъ, и зрители, тѣснившіеся кругомъ; ему не помѣшалъ исполнить задуманное дѣло и сидѣвшій рядомъ съ президентомъ префектъ ронскаго департамента, Риво. Никто не замѣтилъ на лицѣ протолкавшагося впередъ молодого человѣка выраженія рѣшимости совершить злодѣяніе: человѣческое лицо служить какъ будто маскою, наглухо закрывающей отъ постороннихъ взоровъ самыя черныя мысли и намѣренія. Президентъ получилъ ударъ, нанесенный вѣрной и сильной рукой; кровь текла ручьемъ изъ раны, и оказавшійся тутъ же знаменитый хирургъ не могъ придумать ничего лучшаго, какъ велѣть скакать во весь опоръ къ префектурѣ; отъ усиленной ѣзды потеря крови становилась все сильнѣе, и положеніе жертвы дѣлалось все безнадежнѣе, а во всю дорогу, на встрѣчу президентскому кортежу, раздавались радостные крики ничего не подозревавшихъ обывателей: „vive Carnot!“ Президента доставили въ безсознательномъ состояніи въ казенное зданіе, гдѣ приходилось еще мучительно ждать необходимыхъ медицинскихъ принадлежностей и инструментовъ изъ больницы, для первой перевязки;—времени прошло слишкомъ много, и послѣ напрасныхъ и долгихъ мученій Карно скончался въ ночь съ воскресенья 24-го (12-го), на 25-е (13-е) іюня. Почему его не вынесли изъ экипажа тотчасъ же въ ближайшій частный домъ или не повезли, по крайней мѣрѣ, прямо въ хирургическую клинику,—осталось невыясненнымъ; очевидно, всѣ присутствовавшіе были поражены ужасомъ и совершенно растерялись,—до того неожиданно и невѣроятно было покушеніе на жизнь президента среди официальныхъ торжествъ, на глазахъ ликующихъ гражданъ, мѣстныхъ властей и полиціи. Въ то время какъ хирурги изслѣдовали

рану и изъ устъ Карно вырывались глухіе стоны, до помѣщенія префектуры доносились взрывы ракетъ, и фейерверкъ, освѣщавшій городъ фантастическими сочетаніями и смѣнами разноцвѣтныхъ огней въ честь умиравшаго уже президента, былъ послѣдней ироніею судьбы въ этотъ несчастный вечеръ праздничнаго веселаго дня.

Этотъ рѣзкій контрастъ между всеобщими оваціями президенту и подготовленною ему гибелью, между улыбкою Карно и вонзеннымъ въ него кинжаломъ, между позднѣйшими привѣтственными возгласами толпы и начавшеюся уже агоніею героя торжества—придаетъ событію особенно трагическій характеръ. Личность Карно, казавшаяся довольно безцвѣтною при жизни, выросла и приобрѣла какъ бы новыя черты подъ вліяніемъ смерти. Изъ немногихъ словъ, которыя онъ успѣлъ произнести, можно было видѣть, что онъ до конца оставался вѣренъ почетной роли официальнаго представителя великой націи: даже умирая, онъ не забывалъ обязательствъ, налагаемыхъ на него должностію президента, и въ краткіе моменты сознанія говорилъ лишь ласковыя, добрыя слова, съ какими всегда считалъ долгомъ обращаться къ окружающимъ, въ силу своего положенія;—онъ сердечно благодарилъ состоявшихъ при немъ лицъ за оказанныя ему услуги, а на утѣшеніе доктора Понсё, что около него находятся друзья, отвѣчалъ уже едва слышнымъ голосомъ: „я счастливъ ихъ присутствіемъ“. Ни одного слова горечи, ни одного замѣчанія или вопроса о виновникѣ его гибели не вырвалось изъ устъ Карно: онъ умеръ съ спокойною совѣстью, безъ жалобъ на судьбу, безъ всякаго протеста противъ причиненнаго ему зла, оставивъ послѣ себя впечатлѣніе рѣдкой нравственной чистоты. Таковъ онъ былъ во все время своей политической дѣятельности,—чуждый эгоистическихъ побужденій и расчетовъ, необычайно добросовѣстный и щепетильный въ исполненіи своихъ обязанностей, одинаково безупречный въ общественной и частной жизни, безусловно правдивый и искренній во всѣхъ своихъ заявленіяхъ и дѣйствіяхъ. Нельзя было вѣрнѣе опредѣлить нравственную личность Карно, чѣмъ сдѣлала это невольно газета „Temps“, типическій органъ богатой французской буржуазіи. Газета Гебрара, одного изъ панамскихъ дѣльцовъ, обмолвилась фразой, что покойный президентъ принадлежалъ къ числу людей, которые дѣйствительно вѣрятъ въ хорошія слова,—которые вѣрятъ, „que c'est arrivé“. Онъ вѣрилъ,—продолжаетъ „Temps“,—во Францію, въ республику, въ добродѣтель, въ патріотизмъ, и не вѣрилъ только въ самого себя. Ироническая характеристика наивныхъ людей, вѣрующихъ, que c'est arrivé, составляетъ въ сущности величайшую похвалу со стороны „Temps“: Карно выдѣлялся именно своей глубокой, серьезною вѣрою въ то, что для большинства французскаго общества

превратилось въ простую традицію, въ рядъ хорошихъ и громкихъ словъ безъ содержанія. Онъ серьезно принималъ старыя слова, вошедшія въ общій оборотъ политическаго фразѣрства; онъ сохранилъ „наивную“ вѣру въ прежніе идеалы, за которые когда-то боролись и жертвовали собою республиканцы и которые теперь служатъ большею частью лишь удобными формулами для пріобрѣтенія дешевой популярности, для удовлетворенія интересовъ честолюбія и наживы.

Многіе республиканцы новаго типа, утонченные скептики въ вопросахъ нравственныхъ и политическихъ, признававшіе одно только положительное благо въ жизни—матеріальное довольство и богатство, смотрѣли на Карно отчасти съ оттѣнкомъ пренебреженія и насмѣшки, выставляя его человѣкомъ недалекимъ, лишеннымъ оригинальныхъ и смѣлыхъ идей. Даже его строгая честность и „корректность“ давали матеріалъ для остроумія. Карно не былъ изъ тѣхъ, которые дѣйствуютъ на воображеніе толпы и увлекаютъ народныя массы: это былъ кабинетный труженикъ, не мечтавшій никогда о блестящей политической карьерѣ, убѣжденный и горячій патріотъ стараго зачала, скромно работавшій въ тѣни и выдвинутый на первый планъ исключительно своими нравственными качествами. У него не было представительной внѣшности, которую такъ цѣнятъ французы въ своихъ герояхъ и правителяхъ; онъ не отличался ораторскимъ краснорѣчіемъ и не обнаружилъ талантовъ первокласснаго политическаго дѣятеля. Онъ былъ только честенъ въ истинномъ и высшемъ смыслѣ этого слова,—и этого было достаточно, чтобы французская демократія поставила его во главѣ республики. Потребность въ чистыхъ, свѣтлыхъ личностяхъ сильнѣе чувствуется при общемъ господствѣ распущенности и нравственной безпринципности; и эта потребность всего легче удовлетворяется при широкой общественной свободѣ, какъ во Франціи. Въ концѣ президентства Гриви оказалось, что общественная порча проникла даже въ Елисейскій дворецъ и пустила корни въ высшемъ представительствѣ республики, благодаря слабости президента къ своему зятю Вильсону; и когда въ парламентѣ, по поводу этихъ печальныхъ разоблаченій, Рувье упомянулъ о рѣшительномъ отказѣ бывшаго министра финансовъ, Сади-Карно, исполнить желаніе Гриви относительно выдачи нѣсколькихъ десятковъ тысячъ франковъ на покрытие почтовыхъ расходовъ, произведенныхъ Вильсономъ подѣ фирмою президентства, то вся палата единодушно сдѣлала восторженную овацію скромному депутату, сумѣвшему дать отпоръ незаконнымъ закулиснымъ вліяніямъ,—и этотъ внезапный взрывъ общаго сочувствія по адресу Сади-Карно удивилъ, повидимому, самого Рувье. Не могъ ожидать Рувье и того,

что его простое фактическое сообщеніе, высказанное мимоходомъ, безъ особаго намѣренія, послужить первымъ поводомъ къ избранію Карно на постъ президента республики. Между тѣмъ несомнѣнно, что кандидатура Карно не была бы даже поставлена безъ этого невольнаго указанія Рувье въ парламентъ. Онъ сдѣлался преемникомъ Гриви въ силу неожиданнаго сдѣленія обстоятельствъ, приведшихъ республику къ крайне тяжелому кризису въ концѣ 1887 года. Президентъ, не желавшій разстаться съ своимъ сомнительнымъ зятемъ, вынужденъ былъ выйти въ отставку; главный кандидатъ умѣренной республиканской партіи, Жюль Ферри, былъ предметомъ систематической и ожесточенной травли въ значительной части печати, и непопулярность его въ народѣ доходила до того, что могла бы вызвать сильныя уличныя волненія и, быть можетъ, даже возстаніе, въ случаѣ выбора его въ президенты. Соперникъ его, Фрейснэ, не внушалъ довѣрія своими уклончивыми дипломатическими рѣчами, своею готовностью къ компромиссамъ и своими слишкомъ разнообразными общественно-политическими связями; Флоке и Бриссонъ были непріятны умѣренному большинству, а выбрать генерала Соссѣ, какъ предлагали консерваторы, было бы несогласно съ республиканскими принципами. До послѣдней минуты наибольше шансовъ имѣлъ Ферри, какъ самый выдающійся и авторитетный представитель республиканской партіи; но возможные результаты его избранія были ясны для тогдашняго конгресса, засѣданіе котораго происходило среди грознаго, непрерывнаго гула голосовъ народной толпы, окружавшей версальскій дворецъ 3-го декабря 1887 года: „à bas Ferry!“ Тѣ же несмолкаемые крики раздавались на улицахъ и площадяхъ Парижа, не предвѣщая ничего хорошаго оппортунистамъ, приверженцамъ ненавистнаго народу „тонкинца“. Поэтому рѣшимость республиканскихъ группъ остановить свой выборъ на Сади-Карно была внушена по истинѣ счастливою мыслью: имя человѣка нейтральнаго, уважаемаго всѣми за личныя качества, особенно цѣнными въ эпоху нравственнаго упадка и разложенія, должно было сразу положить конецъ партійнымъ раздорамъ и оживить надежды на лучшую будущность республики. Въ пользу Карно высказалось при второй баллотировкѣ 616 голосовъ противъ 188, поданныхъ за Соссѣ, и 23 за разныхъ лицъ. Такимъ образомъ, кандидатъ, о которомъ мало кто думалъ серьезно до открытія конгресса, былъ почти единогласно признанъ республиканцами самымъ подходящимъ для занятія перваго мѣста въ государствѣ. Версальскій конгрессъ слѣдовалъ въ этомъ случаѣ тому безотчетному нравственному чувству, которое въ критическіе моменты овладѣваетъ представительными народными собраніями, и это чувство встрѣтило живой откликъ во всѣхъ слояхъ французскаго

населенія. Всѣмъ стало легче на душѣ при мысли, что во главѣ республики стоитъ олицетворенная честность, въ соединеніи съ славнымъ историческимъ именемъ, напоминающимъ лучшія эпохи республиканскихъ движеній во Франціи. Внутрь знаменитаго „организатора побѣды“ время революціи, Лазаря Карно, сынъ министра 1848 года, Ипполита Карно, избранникъ 1887 года воплощалъ собою въ глазахъ французовъ тѣ идеи патріотическаго долга и безкорыстнаго служенія родинѣ, которыя какъ бы по наслѣдству перешли къ нему отъ дѣда и отца. И Сади-Карно вполне оправдалъ возлагавшія на него надежды. Онъ всецѣло отдался своей новой службѣ, которая заставляла его постоянно быть на виду, вопреки природной скромности и застѣнчивости; онъ исполнялъ свои официальные функціи съ такимъ самоотверженіемъ, что совершенно пересталъ жить для себя,—являлся повсюду, гдѣ могло быть полезно присутствіе президента республики, старался вездѣ вносить духъ примиренія и довѣрія, и сообщалъ извѣстный блескъ тому вышнему представительству, которое было слишкомъ уже запущено при Гриви. Предмѣстникъ Карно считалъ возможнымъ употреблять значительную часть своего президентскаго жалованья (сто тысячъ франковъ въ мѣсяцъ) на покупку процентныхъ бумагъ и на увеличеніе своего личнаго состоянія; онъ велъ прежнюю буржуазную жизнь, ѣздилъ только въ свое вогезское имѣніе и на официальные приемы тратилъ очень мало, чѣмъ вызывалъ справедливыя нареканія публики. Карно, напротивъ, съ самаго начала заботился больше всего о томъ, чтобы ни одного сантима своего жалованья не оставлять въ свою пользу и расходовать всѣ получаемыя деньги безъ остатка на исполненіе публичныхъ и свѣтскихъ обязанностей главы государства,—и онъ настолько аккуратно соблюдалъ этотъ принципъ, что дѣлалъ расходы еще изъ собственныхъ средствъ, особенно на благотворительность, и послѣ семилѣтняго президентства онъ готовился покинуть Елисейскій дворецъ менѣе богатымъ, чѣмъ былъ въ 1887 году.

Карно завоевалъ себѣ общія симпатіи и уваженіе прямою своего характера, своею сердечною мягкостью и въ то же время сдержанностью, своимъ неизмѣннымъ тактомъ и самообладаніемъ; онъ проявилъ также замѣчательное терпѣніе и добродушіе въ трудный періодъ буланжистской агитаціи. Множество бульварныхъ листовъ ежедневно пускало въ него ядовитыя стрѣлы и высмѣивало его въ каррикатурахъ и анекдотахъ; и даже на улицахъ Парижа ему устраивались враждебныя, насмѣшливыя манифестаціи, и личное положеніе его дѣлалось по временамъ невыносимымъ;—онъ не только оставлялъ безъ вниманія всевозможныя личныя обиды и не падалъ духомъ, но своимъ личнымъ примѣромъ поддерживалъ бодрость и

энергію во всей республиканской партіи, способствовалъ сосредоточенію разрозненныхъ ея группъ и дождался окончательной побѣды началъ законности надъ элементами двусмысленной радикально-военной диктатуры, едва не увлекшей французовъ на путь опасныхъ приключеній и междоусобій. Личный характеръ Карно побѣдилъ въ концѣ-концовъ и равнодушіе французскаго народа, и сомнѣнія, и колебанія иностранныхъ державъ; въ послѣдніе годы покойный президентъ пользовался уже прочною и широкою популярностью въ странѣ, а во всей Европѣ, не исключая и Германіи, изгладилась послѣдніе слѣды прежней подозрительности по поводу предполагаемыхъ воинственныхъ намѣреній и приготовленій Франціи. Французская республика постепенно заняла равноправное положеніе среди могущественныхъ европейскихъ монархій, и этимъ она обязана отчасти мирнымъ усиліямъ и авторитету Карно. Всемирная парижская выставка 1889 года и франко-русскія празднества въ Кронштадтѣ и Тулонѣ были блестящими внѣшними симптомами этого officialнаго возрожденія активной международной роли Франціи въ Европѣ—роли по преимуществу культурной и примирительной, вносящей больше устойчивости и равновѣсія въ общій ходъ западно-европейскихъ политическихъ дѣлъ. Франко-русская дружба, которая одно время понималась въ смыслѣ обостренія прежнихъ счетовъ съ Германіей, выяснила на дѣлѣ свое безспорно мирное, охранительное значеніе, въ качествѣ гарантіи справедливаго и спокойнаго развитія международныхъ связей и интересовъ. Значительная доля этихъ успѣховъ миролюбивой политики въ Европѣ должна быть приписана новѣйшей республиканской Франціи и ея покойному президенту. Большинство французовъ видитъ личную заслугу Карно въ состоявшемся франко-русскомъ сближеніи; это выразилось и при торжественной встрѣчѣ его въ Лионѣ, гдѣ русскіе флаги развѣвались рядомъ съ національными и гдѣ привѣтственные крики въ честь Карно соединялись съ возгласами въ честь Россіи. Президентъ, на данномъ ему городомъ банкетѣ, коснулся этого обстоятельства въ своей рѣчи и не считъ нужнымъ отрицать приписываемое ему участіе въ осуществленіи идеи франко-русскаго соглашенія; онъ напомнилъ только о дѣятельномъ и горячемъ участіи самого города Лиона въ чествованіи русскихъ моряковъ и въ упроченіи взаимной дружбы „двухъ великихъ народовъ, которыхъ сердечный союзъ служить обезпеченіемъ общаго мира“. Эта рѣчь на лионскомъ банкетѣ была послѣднимъ актомъ политической карьеры Карно; съ банкета онъ отправился въ коляскѣ въ театръ на парадный спектакль, на встрѣчу ожидавшей его смерти.

Во Франціи и въ Европѣ не было двухъ мнѣній о личности Карно;

разногласія касались только его дѣятельности, которую одни находили слишкомъ безстрастною и „корректною“, а другіе—напротивъ, слишкомъ одностороннею, особенно по отношенію къ кабинетнымъ комбинаціямъ во время частыхъ министерскихъ кризисовъ. Карно упрекали за то, что своими заботами о внѣшнемъ сосредоточеніи республиканской партіи онъ ослаблялъ значеніе главныхъ умѣренно-либеральныхъ группъ парламента и способствовалъ непомѣрному усиленію вліянія небольшой, но энергической радикальной фракціи, вслѣдствіе чего судьба министровъ слишкомъ часто зависѣла отъ Клемансо и Пельтана, заключавшихъ временные союзы съ реакціонерами и консерваторами правой. Далѣе, министерскіе кризисы не только повторялись часто, но и тянулись долго, подрывая довѣріе къ устойчивости правительственной власти; а продолжительность кризисовъ объяснялась будто бы тѣмъ, что президентъ обращался не къ надлежащимъ лицамъ и отчасти слѣдовалъ своимъ личнымъ симпатіямъ и предубѣжденіямъ, при выборѣ первыхъ министровъ или, по французской терминологіи, „предсѣдателей совѣта“. Оттого во главѣ кабинета появлялись нерѣдко малоизвѣстные сенаторы, не имѣвшіе серьезной точки опоры въ палатѣ депутатовъ и осужденные поэтому на безсиліе или на скорое паденіе. Подобные упреки, однако, основаны на слухахъ и предположеніяхъ, не поддающихся провѣркѣ; извѣстно только одно, что вліяніе радикаловъ было еще сильнѣе въ странѣ и въ печати, чѣмъ въ парламентѣ, благодаря выдающимся ораторскимъ публицистическимъ талантамъ ихъ руководителей, и что разлагающая роль Клемансо, какъ „сокрушителя министерствъ“, достигла своего наибольшаго развитія еще при Гриви, тогда какъ при Карно она сократилась и затѣмъ закончилась въ панамскомъ дѣлѣ. Что касается пресловутой „корректности“, составлявшей слабость покойнаго президента, то она заключалась прежде всего въ точномъ соблюденіи конституціонныхъ правилъ и обычаевъ, въ постоянномъ стараніи не выходить изъ тѣсныхъ официальныхъ рамокъ, въ какія президентская власть поставлена парламентскою практикою и строгимъ общественнымъ контролемъ. Карно не могъ понимать свои полномочія шире, чѣмъ это допускалось недовѣрчивымъ общественнымъ мнѣніемъ и подозрительностью оппозиціонныхъ партій; онъ долженъ былъ также считаться съ традиціями, которыя успѣли образоваться и утвердиться при президентствѣ Гриви, въ видѣ естественной реакціи противъ режима Макъ-Магона.

Недостатокъ энергіи и характера приписывался Карно чаще всего потому, что ему чуждо было желаніе выставить на видъ свой личный починъ или навязывать кому-либо свои идеи и рѣшенія. Вся его предшествовавшая политическая карьера свидѣтельствуетъ о силѣ и твердости

характера подѣ мягкой, деликатною внѣшностью. Паденіе имперіи за-
стало его въ Аннеси, гдѣ онъ былъ инженеромъ путей сообщенія. Послѣ
4 сентября 1870 г. онъ былъ назначенъ комиссаромъ временнаго прави-
тельства для организаціи народной обороны въ трехъ департаментахъ
— Сены, Эрн и Кальвадосъ, а въ январѣ слѣдующаго года сдѣлался пре-
фектомъ департамента Нижней Сены. Такія назначенія давались въ ту
бурную эпоху только самымъ энергическимъ и талантливымъ людямъ,
а Гамбетта умѣлъ выбирать исполнителей. При заключеніи переми-
рія Карно вышелъ въ отставку и рѣшительно протестовалъ противъ
подчиненія требованіямъ побѣдителей. Въ февралѣ 1871 года Карно
былъ выбранъ въ національное собраніе, гдѣ вступилъ въ ряды „лѣ-
вой республиканской“, и затѣмъ исполнялъ функціи секретаря этой
группы. Ему было тогда около 34 лѣтъ. Избранный вновь въ палату
депутатовъ въ 1876 году, онъ былъ однимъ изъ дѣятельныхъ участни-
ковъ борьбы противъ министерства герцога де-Броули. Въ палатѣ
онъ обращалъ на себя вниманіе преимущественно своими дѣльными
докладами и разъясненіями по вопросамъ, касавшимся публичныхъ
работъ, желѣзныхъ дорогъ и судоходства. Въ первомъ кабинетѣ
Жюль Ферри, въ 1880—81 годахъ, онъ былъ министромъ публич-
ныхъ работъ; тотъ же портфель онъ имѣлъ въ министерствѣ Брис-
сона въ 1885 году, но въ скоромъ времени перешелъ въ министерство
финансовъ, которымъ продолжалъ завѣдывать и въ преобразованномъ
кабинетѣ Фрейсина, съ января до декабря 1886 года. Въ качествѣ
министра финансовъ онъ приобрѣлъ общее довѣріе и уваженіе своею
правдивостью; онъ первый публично призналъ существованіе дефицита
и необходимость сильнаго сокращенія государственныхъ расходовъ,
равно какъ и преобразованія и улучшенія прежней финансовой системы.
Онъ не допускалъ того легкаго отношенія къ государственному бюд-
жету, которое обнаруживалось тогда въ извѣстной части господство-
вавшей республиканской партіи и находило опору среди лицъ, близ-
кихъ къ самому Гревю; онъ рѣшительно отвергалъ притязанія, под-
держиваемыя даже авторитетомъ Елисейскаго дворца, и нисколько
не стѣснялся при этомъ портить свои личныя отношенія съ прези-
дентомъ и съ главою кабинета, покладливымъ и уступчивымъ Фрейсиномъ.

Такъ можетъ дѣйствовать только человекъ съ характеромъ, и
именно эта неизмѣнная прямота заявленій и дѣйствій выдвинула
Карно при общей шаткости и безпринципности партійной политики.
Тѣ же черты характера проявились и въ концѣ его президентства,
въ его рѣшеніи отказаться отъ вторичнаго избранія и дать примѣръ
чисто-демократическаго примѣненія конституціонныхъ законовъ отно-
сительно президентской власти. Онъ скрывалъ свое рѣшеніе отъ пу-
блики, чтобы не ослаблять своего авторитета въ глазахъ иностран-

нихъ державъ; но онъ сообщилъ это своему предполагаемому преемнику, Казимиру Перье, когда уговаривалъ его принять на себя образованіе кабинета для приобрѣтенія необходимой опытности въ управленіи правительственнымъ механизмомъ. Карно заранее устраивалъ себѣ частную квартиру, недалеко отъ pont d'Alma, и патріотическая рѣшимость его покинуть первое мѣсто въ государствѣ и перейти въ скромную частную жизнь выразилась столь же просто и ясно, какъ было просто и ясно все остальное въ общественной и личной жизни покойнаго президента.

Преемникъ Карно былъ намѣченъ въ послѣднее время, въ лицѣ Казимира Перье; на него указывало общественное мнѣніе, и кандидатура его готовилась къ президентскимъ выборамъ, которые должны были состояться въ декабрѣ нынѣшняго года. На Перье указывала и палата депутатовъ, выбравшая его своимъ президентомъ послѣ назначенія Дюпию главою кабинета. Имя Казимира Перье давно уже пользовалось популярностью и уваженіемъ въ странѣ и въ парламентѣ, главнымъ образомъ благодаря тому, что носитель этого историческаго имени представлялъ собою рѣдкое сочетаніе личныхъ достоинствъ съ славными семейными традиціями и съ огромнымъ наслѣдственнымъ богатствомъ. Перье, которому теперь всего 47 лѣтъ, обладаетъ всѣми внѣшними и внутренними качествами для того, чтобы съ честью исполнять обязанности перваго сановника великой республики. Онъ несравненно болѣе свѣтскій человѣкъ, чѣмъ Карно, и будучи связанъ по рожденію и воспитанію съ высшею аристократіею, не только финансовою, но и родовитою, онъ сумѣлъ сохранить ту нравственную чистоту и прямоту характера, которая рѣже всего встрѣчается въ высшихъ слояхъ общества. Фамилія Перье занимала уже въ прошломъ столѣтіи видное мѣсто въ передовыхъ рядахъ французской буржуазіи. Въ роскошномъ замкѣ Клода Перье, недалеко отъ Гренобля, происходило въ 1788 году революціонное собраніе представителей сословій Дофина, и въ воспоминаніе этого событія, въ день столѣтней годовщины, въ 1888 году открытъ былъ въ Визиллѣ памятникъ въ присутствіи Карно, причемъ роль хозяина пришлось играть владѣльцу замка, прямому потомку Клода Перье, нынѣшнему президенту республики. Знаменитый „банкъ Франціи“, одно изъ первыхъ кредитныхъ учрежденій въ мірѣ, былъ организованъ и устроенъ Клодомъ Перье, бывшимъ тогда членомъ законодательнаго собранія; уставъ банка выработанъ имъ лично въ 1800 г. Сынъ Клода, дѣдъ нынѣшняго Перье, былъ знаменитымъ министромъ Луи-Филиппа, представителемъ и проповѣдникомъ правительственной энергіи и твердости. Имѣя такихъ предковъ и обладая состояніемъ, которое оцѣнивается приблизительно въ 40 милліоновъ, Ка-

зимиръ Перье въ то же время высказываетъ чисто республиканскія и демократическія убѣжденія. Онъ выросъ и возмужалъ въ періодъ упадка и разложенія второй имперіи, когда лучшія умственные силы Франціи возмущались режимомъ Наполеона III и его сподвижниковъ, а первое политическое воспитаніе онъ получилъ уже при республикѣ, подъ руководствомъ своего отца, который былъ министромъ въ президентство Тьера.

Конгрессъ, собравшійся въ Версали 27-го (15-го) іюня подъ председательствомъ президента сената, Шалльмель-Лакура, вполне удовлетворилъ общественное мнѣніе во Франціи и въ Европѣ, назначивъ Казимира Перье президентомъ республики. Конституція 25-го февраля 1875 года предписываетъ, въ случаѣ смерти или отставки президента, немедленно созвать обѣ палаты на конгрессъ, въ видѣ общаго „національнаго собранія“, для выбора новаго главы государства, но на этотъ разъ точное соблюденіе этого предписанія неизбежно привело бы къ тому, что многіе члены либеральныхъ и консервативныхъ группъ были бы лишены возможности явиться въ Версаль, такъ какъ они пользовались дѣтнымъ временемъ и проживали вдали отъ Парижа. Чтобы избѣгнуть этого неудобства, которое могло бы отразиться на самомъ рѣшеніи конгресса, Шалльмель-Лакуръ взялъ на свою отвѣтственность маленькое отступленіе отъ буквы закона и созвалъ конгрессъ только на третій день послѣ кончины Карно, за что горячо нападали на него въ радикальной части французской печати. Но буква закона должна несомнѣнно уступать его духу и смыслу, особенно въ вопросахъ политическихъ и государственныхъ, и въ этомъ отношеніи Шалльмель-Лакуръ поступилъ вполне разумно и предусмотрительно. Невольное отсутствіе значительнаго числа членовъ конгресса подрывало бы силу и авторитетъ его рѣшенія въ глазахъ націи, и этотъ недостатокъ оказалъ бы вліяніе на личное положеніе новаго президента, какъ избранника нѣкоторыхъ только парламентскихъ группъ, случайно находившихся въ большинствѣ въ моментъ неожиданнаго открытія вакансіи президентства. Говорятъ, что безъ этого распоряженія Шалльмель-Лакура имѣлъ бы больше шансовъ быть выбраннымъ кандидатъ болѣе передовой части республиканцевъ, Шарль Дюпюи, бывшій президентъ палаты, нынѣ председатель совѣта министровъ. Впрочемъ, большинство, высказавшееся за Перье, было и безъ того не особенно значительно, — 451 голосъ изъ 845; радикальныя фракціи раздѣлили свои голоса между Бриссономъ, за котораго подано 195 голосовъ, и Дюпюи, за котораго было всего 97; остальные голоса были за генерала Февріе, за бывшаго посланника въ Швейцаріи Араго и за разныхъ другихъ лицъ. Такимъ образомъ, новый президентъ выдвинуть

главнымъ образомъ умѣренными и консервативными элементами республиканской партіи, что соотвѣтствовало и личному положенію Казимира Перье и особенно тому настроенію, которое охватило французское общество при первомъ извѣстіи о трагической смерти Карно.

Правительственный кризисъ разрѣшился на этотъ разъ легко и скоро, безъ партійныхъ раздоровъ и пререканій, безъ всякой опасности волненій и безпорядковъ, — не такъ, какъ въ 1887 году, послѣ отставки Гревя. Кромѣ Перье и Дюпи не было другихъ серьезныхъ кандидатовъ; прежніе видные дѣятели, считавшіеся еще недавно возможными преемниками Карно, — Фрейсине, Флокэ, — устранены со сцены той очистительной работою демократическихъ учреждений, которая безпощадно удаляетъ съ политическаго поприща всѣхъ, заподозрѣнныхъ въ малѣйшей связи съ темными или сомнительными дѣлами и аферами, въ родѣ панамскихъ.

Тяжелая задача выпала на долю Казимира Перье: онъ становится лицомъ къ лицу съ возрастающею опасностью соціальной борьбы, выродившейся въ какую-то эпидемію убійствъ и динамитныхъ взрывовъ. Смертная казнь не останавливаетъ представителей этого такъ называемаго анархизма; она какъ будто даже придаетъ ореолъ геройства людямъ, совершающимъ преступленіе съ полнымъ хладнокровіемъ, съ убѣжденіемъ въ своей правотѣ и съ яснымъ ожиданіемъ эшафота. Убіиства совершаются во имя анархизма, т.-е. безвластія; но они не могутъ имѣть другого результата, кромѣ еще большаго сосредоточенія и усиленія власти, для предупрежденія преступныхъ посягательствъ. Притомъ, повторявшіеся въ послѣднее время динамитные взрывы, направленные противъ случайнаго сборища неизвѣстныхъ лицъ въ какомъ-нибудь ресторанѣ или въ театрѣ, не могутъ быть даже внѣшнимъ образомъ приурочены къ идеямъ безвластія или сознательнаго анархизма. Вѣрнѣе всего, мы имѣемъ предъ собою особое психическое повѣтріе на почвѣ глухого броженія нѣкоторыхъ элементовъ рабочаго класса, и въ оцѣнкѣ болѣзненныхъ продуктовъ этого броженія были бы, вѣроятно, болѣе компетентны психіатры, чѣмъ политическіе дѣятели и криминалисты. Можетъ быть, перспектива быть заключенными въ больницу для душевно-больныхъ сильнѣе дѣйствовала бы на воображеніе такъ называемыхъ анархистовъ, чѣмъ страхъ гильотины. Къ сожалѣнію, пока дѣлается еще очень мало для основательнаго всесторонняго изученія фактовъ, относящихся къ современному динамитному „анархизму“, и внутренняя природа этого печальнаго явленія остается скрытою отъ взоровъ лицъ, придумывающихъ или обязанныхъ придумывать средства борьбы противъ сознаваемаго всѣми зла. Казимиръ Перье не уклонялся отъ господствующаго взгляда, когда предлагалъ лишь

усилить внѣшнія карательныя мѣры противъ анархистовъ, послѣ взрыва бомбы Вальяна въ палатѣ депутатовъ; но тогдашній глава кабинета, призванный теперь занять мѣсто убитого Карно, долженъ невольно чувствовать недостаточность простой уголовной репрессіи и необходимость болѣе широкой и предупредительной системы леченія страшнаго недуга. Такіе люди, какъ убійца Карно и какъ виновники большинства недавнихъ динамитныхъ покушеній, выходятъ изъ рядовъ низшаго пролетаріата, и отъ нихъ отрешиваются повсюду народныя трудящіяся массы, составляющія рабочій классъ въ собственномъ смыслѣ этого слова. Поэтому связывать новѣйшія проявленія „анархизма“ съ какими-либо превратными идеями, распространяемыми въ народѣ путемъ печати, значило бы обнаруживать слишкомъ мелкое пониманіе серьезной общественной болѣзни, волнующей умы въ Европѣ въ настоящее время.



ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го іюля 1894.

— С. Т. Семеновъ. Крестьянскіе рассказы. Съ предисловіемъ Л. Н. Толстого. I. Москва, 1894.

Знаменитый писатель рекомендуетъ читателямъ рассказы г. Семенова по слѣдующему основанію. Гр. Л. Н. Толстой составилъ себѣ правило судить о художественныхъ произведеніяхъ съ трехъ сторонъ: насколько важно и нужно для людей то, что съ новой стороны открывается художникомъ въ его произведеніи, т.-е. по его содержанію; во-вторыхъ, насколько хороша и отвѣчаетъ этому содержанію форма, и, наконецъ, насколько искренно отношеніе художника къ изображаемому предмету. „Это послѣднее достоинство, — говоритъ Л. Н. Толстой, — мнѣ кажется всегда самымъ важнымъ въ художественномъ произведеніи. Оно даетъ художественному произведенію его силу, дѣлаетъ художественное произведеніе заразительнымъ, т.-е. вызываетъ въ зрителѣ тѣ чувства, которыя испытываетъ художникъ“. Этой искренностью и отличается новый писатель.

Въ объясненіе своей мысли Л. Н. Толстой приводитъ слѣдующій примѣръ:

„Есть извѣстный рассказъ Флобера, переведенный Тургеневымъ — Юліанъ Милостивый. Послѣдній, долженствующій быть самымъ трогательнымъ, эпизодъ рассказа состоитъ въ томъ, что Юліанъ ложится на одну постель съ прокаженнымъ и согрѣваетъ его своимъ тѣломъ. Прокаженный этотъ — Христосъ, который уноситъ съ собой Юліана на небо. Все это описано съ большимъ мастерствомъ, но я всегда остаюсь совершенно холоденъ при чтеніи этого рассказа. Я чувствую, что авторъ самъ не сдѣлалъ бы и даже не желалъ бы сдѣлать того, что сдѣлалъ его герой, и потому и мнѣ не хочется этого сдѣлать, и я не испытывалъ никакого волненія при чтеніи этого удивительнаго подвига“.

Впечатлѣніе было вѣрно, и не одного Л. Н. Толстого рассказъ Флобера оставилъ холоднымъ, потому что дѣйствительно французскому писателю, вѣроятно, не было въ сущности никакого дѣла до глубоко-нравственной основы его сюжета — его занимала только оригинальность темъ, на которой онъ пробовалъ свое внѣшнее мастерство...

Въ рассказахъ г. Семенова, Л. Н. Толстого трогаетъ именно его полная искренность. Когда онъ передаетъ исторію молодого парня, который отказывается отъ мѣста, потому что для него отнимаютъ это мѣсто у бѣднаго старика, — „все это рассказано такъ, что всякій разъ, читая этотъ рассказъ, я чувствую, что авторъ не только желалъ бы, но и навѣрное поступилъ бы также въ такомъ же случаѣ, а чувство его заражаетъ меня, и мнѣ пріятно и кажется, что я сдѣлалъ или готовъ былъ сдѣлать что-то доброе“. При этомъ особое достоинство рассказовъ состоитъ въ томъ, что ихъ „содержаніе всегда значительно: значительно и потому, что оно касается самаго значительнаго сословія Россіи, — крестьянства, которое Семеновъ знаетъ, какъ можетъ знать его только крестьянинъ, живущій самъ деревенскою тягловою жизнью. Значительно еще содержаніе его рассказовъ потому, что во всѣхъ главный интересъ ихъ не во внѣшнихъ событіяхъ, не въ особенностяхъ быта, а въ приближеніи или въ отдаленіи людей отъ идеала христіанской истины, который твердо и ясно стоитъ въ душѣ автора и служить ему вѣрнымъ мѣриломъ и оцѣнкой достоинства и значительности людскихъ поступковъ“. Наконецъ форма рассказовъ серьезна, проста; языкъ безыскусственный, но сильный и образный.

Рассказы г. Семенова дѣйствительно указываютъ полное знаніе крестьянской жизни и отличаются въ большой мѣрѣ тѣми достоинствами, о которыхъ говоритъ Л. Н. Толстой. Они любопытны и въ томъ отношеніи, что идутъ непосредственно изъ самой крестьянской среды, которая до сихъ поръ описывалась обыкновенно людьми другого круга, талантливыми, нерѣдко весьма знающими, но въ концѣ концовъ чуждыми этому кругу народной жизни. Изображеніе крестьянскаго обихода, тонъ разсказа, языкъ дѣйствующихъ лицъ естественны до полной непосредственности, — у автора не могло быть тѣни того искусственнаго отношенія со стороны, которое необходимо является въ подобномъ случаѣ у писателя другого общественнаго слоя. „Искренность“ придаетъ рассказамъ особый интересъ. Быть можетъ, однако, что всѣми этими качествами не покрывается одинъ недостатокъ, который въ различной степени сопровождаетъ эти рассказы. Можетъ показаться, что рассказы г. Семенова написаны подвліяніемъ тѣхъ представленій объ „опрощеніи“ искусства, какія слу-

чалось налагать, а частію и примѣнять самому Л. Н. Толстому: ничего „лишняго“, голое изображеніе факта, какъ онъ былъ или есть, и въ концѣ концовъ — сухость и недостатокъ, или малое количество, того элемента, безъ котораго пропадаетъ самое художество, недостатокъ поэзіи, т.-е. хотя бы поэзіи трагическаго и ужаснаго. Разказы г. Семенова — дѣловитыя повѣствованія о разныхъ случаяхъ крестьянской жизни, очень вѣрныя въ этнографическомъ отношеніи, полновѣсны тѣмъ, кто желаетъ познакомиться съ фактическимъ положеніемъ народнаго быта настоящей минуты; они имѣютъ несомнѣнную заслугу этой вѣрности и искренности изображенія, даже производятъ извѣстное впечатлѣніе, какъ передача факта, но, какъ намъ по крайней мѣрѣ кажется, не оставляютъ того дѣйствія, какого достигаетъ истинно художественное произведеніе — впечатлѣнія цѣльной картины, овладѣвающей и мыслью, и чувствомъ. Л. Н. Толстой находитъ, что главный интересъ этихъ разказовъ заключается не во внѣшнихъ событіяхъ, а „въ приближеніи или въ отдаленіи людей отъ идеала христіанской истины“. Не всегда мы сказали бы и это: всего чаще авторъ передаетъ фактъ безъ всякаго особеннаго освѣщенія, какъ будто въ тонѣ эпическаго спокойствія или равнодушія. Сюжеты берутся всего чаще довольно обыкновенные въ крестьянской жизни; поэтому, напримѣръ, нерѣдко въ нихъ играетъ роль пьяное состояніе, въ которомъ человѣкъ растрчиваетъ деньги, заводитъ бессмысленныя ссоры, бываетъ обокраденъ, зимой замерзаетъ на дорогѣ, наконецъ совершаетъ тяжкія преступленія — авторъ эпически разкажетъ исторію, и у читателя остается впечатлѣніе безобразнаго факта, изъ разряда тѣхъ, какіе сплошь и рядомъ читаются въ газетахъ, и при которыхъ приближеніе къ христіанскому идеалу или отдаленіе отъ него мало приводятся на мысль читателю. Въ первомъ изъ помѣщенныхъ здѣсь разказовъ, подъ названіемъ: „По неправедному пути“ передается исторія деревенскаго богача Онисима Ильича Головачова. Нажилъ онъ большое богатство, но не вышло ему счастья въ дѣтяхъ; сынъ сбился съ пути; отецъ, не сумѣвши исправить его, прогналъ сына и тотъ пропалъ безъ вѣсти; дочь онъ хотѣлъ выдать замужъ насильно, она сбѣжала и самовольно вышла замужъ за любимаго человѣка. Онисимъ не снесъ этихъ испытаній, съ нимъ сдѣлался ударъ и передъ смертью онъ каялся собравшимся односельчанамъ, что нажилъ свое богатство несправедливо: давно, еще молодымъ парнемъ, онъ задушилъ стараго больного хозяина и утаилъ его деньги. Такимъ образомъ скрытое преступленіе было отомщено; но этотъ мотивъ всенароднаго покаянія слишкомъ напоминаетъ подобный примѣръ въ произведеніяхъ самого Л. Н. Толстого. Въ разказѣ „Страшное дѣло“ цѣлый рядъ безобразныхъ насилій и пря-

мыхъ преступленій, и между прочимъ мы читаемъ слѣдующую сцену. Мужикъ, уже старый человѣкъ, вступивши въ связь со снохою, озлобился на свою жену, которая это замѣтила, какъ замѣтила и вся деревня. Однажды онъ принялся бить жену; она выбѣжала на улицу, но онъ догналъ ее.

„Настасья кричала отчаянно, онъ свирѣпѣлъ все больше и больше, и наконецъ сталъ бить ее сапогами. На крикъ Настасьи сталъ сбѣгаться народъ. Бросились-было отнимать ее, но Филиппъ такъ разошелся, что долго никто не могъ подойти къ нему. Когда наконецъ оттащили Настасью отъ Филиппа, она уже не подавала голоса. Лицо ея все было въ крови, мокрая пряди волосъ разметались вокругъ шеи. Не было слышно ни вздоха. Люди, собравшіеся вокругъ нея, переговаривались вполголоса и покачали головами.

— Вишь, что надѣлалъ, душегубъ, какъ изувѣчилъ бабу, теперь едва ли отойдетъ.

— Отойдетъ ли, нѣтъ ли, а глядѣть вря нечего,—сказалъ одинъ мужикъ.—Беритесь за нее, да давайте понесемъ въ избу ее.“

Они просто „стали ждать, что будетъ“; а было то, что Настасью снесли въ избу уже полумертвую, а къ утру она умерла, т.-е. на глазахъ у людей совершенно было убійство, и они пальцемъ не двинули, чтобы остановить разсвирѣпѣвшаго звѣря. Продолженіе исторіи заключается въ томъ, что вернувшійся сынъ (онъ жилъ на заработкахъ въ Москвѣ и его трудами семья вышла изъ бѣдности) топоромъ раскроилъ черепъ своей женѣ, а старикъ, вернувшись домой, не выдержавъ наконецъ этого зрѣлища, пошелъ и утопился. Когда утопленникъ былъ найденъ,—„у всѣхъ пробѣжалъ морозъ по кожѣ. Въ ужасѣ мужики обступили утопленника и молча уставились на него...

— Господи Батюшка, вотъ напасть-то открылась: вся семья прикончилась!—тяжело вздыхая, молвилъ одинъ старикъ.

— Видно бѣда-то одна не ходитъ, а и другихъ за собой приводитъ,—сказалъ другой.

— И въ какое время,—проговорилъ, покачивая головою, староста: —только-было оправился мужикъ, на путь сталъ, зажилъ по-людски, и вдругъ такое дѣло“.

То-есть, по мнѣнію односельчанъ мужикъ „сталъ на путь“ и „зажилъ по-людски“ въ то время, когда совершалъ гнусное насиліе въ семьѣ, о чемъ всей деревнѣ было извѣстно (какъ еще раньше замѣчаетъ авторъ).

Разсказъ не совсѣмъ понятенъ. Если въ душѣ автора, по словамъ Л. Н. Толстого, твердо и ясно стоитъ христіанскій идеалъ, то можно было бы ожидать, что онъ такъ или иначе отгнѣнитъ изображаемыя имъ событія. Эти мужики, которые спокойно смотрятъ, какъ Филиппъ

Тарасовъ убиваетъ Настасью, т.-е. по деревенскому взгляду „учить“ ее, конечно, возмутительно не меньше самого Филиппа, какъ и тотъ староста, который скорбѣлъ, что съ Филиппомъ случилась бѣда именно тогда, когда онъ сталъ жить „по-людски“ (на самомъ дѣлѣ пересталъ жить по-людски). Читателю не ясно, какъ относится авторъ къ поведенію этихъ мужиковъ, сознаетъ ли онъ самъ качество ихъ споконнаго невмѣстательства въ происходящее передъ ними. Словомъ, эпитетскій индифферентизмъ доведенъ до степени полицейскаго протокола: пишущій такіе протоколы, вѣроятно, глазомъ не моргнетъ, описывая самыя возмутительныя вещи; неужели таковъ долженъ быть и „художникъ“ съ твердымъ и яснымъ христіанскимъ идеаломъ въ душѣ? Мы не говоримъ, конечно, о томъ, чтобы онъ прибавлялъ къ своимъ рассказамъ правоученіе, какъ въ баснѣ; но у художника, изображающаго судьбу человѣческихъ душъ, можно было бы ожидать болѣе живого и теплаго отношенія къ нимъ, чѣмъ въ полицейскомъ протоколѣ.

Почти вся книжка г. Семенова состоитъ изъ варіацій на тему „Власти тьмы“. Казалось бы, что изображеніе народной жизни у писателя, знающаго ее, „какъ можетъ знать ее только крестьянинъ, живущій самъ деревенской тягловою жизнью“, могло бы и должно бы оставить въ читателѣ извѣстное нравственное впечатлѣніе—возбудить или усилить и опредѣлить сочувствіе къ народу, стремленіе такъ или иначе помочь его нуждамъ, разъяснить, какимъ путемъ должна бы быть принесена эта помощь, на что должна быть направлена забота. Опасаемся, что нашъ авторъ ничего не сдѣлалъ въ этомъ направленіи: онъ, кажется, только умножаетъ нѣсколькими новыми сухими протоколами количество тѣхъ мрачныхъ впечатлѣній, какія принесла „Власть тьмы“.

— Историческое Обозрѣніе. Сборникъ Историческаго Общества при Императорскомъ с.-петербургскомъ университетѣ, издаваемый подъ редакціей Н. И. Карцова. Томъ седьмой. Спб. 1894.

Историческое Общество при Спб. университетѣ ревностно продолжаетъ свое предпріятіе, изъ чего надо заключить, что оно находитъ достаточную поддержку со стороны лицъ, посвящающихъ свои труды историческимъ изученіямъ; этому можно очень радоваться, потому что общія историческія изученія (кромя русскихъ) не были поставлены въ нашей литературѣ въ достаточно широкой мѣрѣ. Къ сожалѣнію, нельзя порадоваться другому—что изданіе Общества не находитъ достаточной поддержки въ публикѣ. Въ предисловіи къ настоящему тому говорится, что онъ долженъ былъ выйти въ свѣтъ безъ обычныхъ обзоровъ исторической литературы

и безъ исторической хроники (они войдутъ въ слѣдующій томъ). „Значительная часть настоящаго тома была набрана, когда оказалось, что средства Историческаго Общества не позволяютъ ему издавать свое „Обозрѣніе“ два раза въ годъ, какъ прежде, книжками въ 20—25 листовъ, и потому на будущее время придется выпускать книжки только листовъ по 15“.

Настоящій томъ опять весьма разнообразенъ по содержанію. Въ европейской исторіи и исторической литературѣ относятся только двѣ статьи: г. Миновича о Сентъ-Жюстѣ и г. Зелинскаго о Теодорѣ Момсенѣ по поводу недавняго празднованія пятидесятилѣтняго докторскаго юбилея знаменитаго ученаго. Далѣе, двѣ статьи посвящены педагогическому значенію исторической науки—въ общемъ образованіи и школьномъ преподаваніи; это статьи г. Карѣва: „Объ общемъ значеніи историческаго образованія“ и г. Герасимова: „Одна изъ старыхъ чертъ въ нашей учебно-исторической литературѣ“. Г. Герасимовъ обратилъ вниманіе на ту черту нашего школьнаго преподаванія и господствующихъ учебниковъ, что въ нихъ очень недостаточно выясняются тѣ стороны исторіи, пониманіе которыхъ именно и даетъ цѣну историческому знанію,—внутреннее развитіе исторіи народовъ и государствъ, безъ уразумѣнія котораго исторія остается наборомъ именъ и голыхъ фактовъ, особливо военныхъ побѣдъ. Между прочимъ, критикъ остановился на извѣстномъ учебникѣ г. Иловайскаго, который издавна господствуетъ въ школахъ и совершенно, однако, не удовлетворяетъ этому основному требованію преподаванія. Г. Герасимовъ, съ мнѣніемъ котораго нельзя не согласиться, приходитъ къ самому печальному выводу о практическомъ дѣйствіи этого учебника. Благодаря отсутствію внутренней связи во всемъ изложеніи, ученику приходится только зазубривать учебникъ и „повторять фразы, въ которыхъ не будетъ никакого смысла“. „Но этого мало. Въ результатъ такого прохожденія курса исторіи у ученика выработается отвращеніе къ этому предмету—съ одной стороны, и неуваженіе къ нему—съ другой. Отвращеніе должно получиться уже вслѣдствіе одного того, что ему все время придется, изучая этотъ учебникъ, заставлять себя усваивать то, чего онъ не понимаетъ, и убивать въ себѣ съ каждымъ годомъ все растущую пытливость ума, удовлетворить которую можетъ только дѣйствительная наука, а не такой сборникъ случайно собранныхъ и ничѣмъ не связанныхъ фактовъ. Это отвращеніе къ предмету помѣшаетъ ученику обратиться къ изученію историческихъ сочиненій и, благодаря этому, на всю жизнь свяжетъ въ умѣ ученика представленіе объ исторіи съ представленіемъ о томъ, что онъ узналъ изъ учебника г. Иловайскаго, а это въ концѣ концовъ вызоветъ неуваженіе къ са-

ной наукѣ исторіи“... „Учившійся по такому руководству вмѣсто правильного представленія о ходѣ культурной работы человѣчества вынесетъ воспоминаніе только о непрекращающемся рядѣ войнъ и объ именахъ нѣкоторыхъ дѣйствовавшихъ въ нихъ лицъ.

„Съ научной точки зрѣнія такое представленіе объ историческомъ процессѣ не выдерживаетъ никакой критики. Неужели же оно нужно съ педагогической точки зрѣнія? Если да, то приходится только пожалѣть то поколѣніе, которое воспитывается на основаніи такихъ педагогическихъ воззрѣній“.

Эти качества учебника указаны были очень давно, но это не помѣшало ему господствовать въ школахъ. Не способствовало ли этому и то обстоятельство, что преподаватели исторіи не выставляли другихъ учебниковъ, которые могли бы болѣе рационально послужить дѣлу историческаго преподаванія?

Далѣе двѣ статьи, относящіяся къ русской исторіи — г. Красноперова, „Очеркъ промышленности и торговли Смоленскаго княжества съ древнѣйшихъ временъ до XV в.“, и г. Сторожева, о недавнемъ археологическомъ съѣздѣ въ Вильнѣ. Н. И. Веселовскій посвятилъ некрологическое воспоминаніе С. М. Георгіевскому (1851—1893), профессору петербургскаго университета по кафедрѣ китайской словесности. Статья „Объ одной ученой полемикѣ“ рассказываетъ о полемикѣ, вызванной публичной лекціей кіевскаго профессора Кулаковскаго о христіанской церкви и римскомъ законѣ въ теченіе двухъ первыхъ вѣковъ. Возраженія противъ лекціи, которыя пересматриваются въ настоящей статьѣ, были весьма дурного тона; но по существу лекторъ далъ, однако, матеріалъ для полемическихъ нападеній.

— Собраніе сочиненій Михайла Семеновича Куторги. Съ портретомъ автора. Издано подъ редакціей Мих. Степ. Куторги. Томъ I. Спб. 1894.

М. С. Куторга (1809—1886) съ конца тридцатыхъ годовъ и до конца пятидесятыхъ былъ профессоромъ петербургскаго университета по кафедрѣ всеобщей исторіи, затѣмъ послѣ нѣкотораго перерыва занималъ одно время ту же кафедру въ Москвѣ и окончилъ свою преподавательскую дѣятельность въ 1874. Онъ принадлежалъ къ поколѣнію тѣхъ русскихъ профессоровъ, которые въ тридцатыхъ годахъ, можно сказать, въ первый разъ получили возможность правильнаго ученаго образованія, почерпнаемаго въ прямыхъ источникахъ европейской науки: по окончаніи домашняго университетскаго курса (въ то время вообще очень слабаго) они обыкновенно довершали свою научную подготовку въ нѣмецкомъ Дерптѣ, въ такъ называемомъ профессорскомъ институтѣ, и затѣмъ проводили нѣсколько лѣтъ за гра-

ницей, преимущественно въ нѣмецкихъ университетахъ. Такимъ образомъ подготовился цѣлый рядъ замѣчательныхъ профессоровъ, которымъ принадлежить почетное мѣсто въ исторіи нашихъ университетовъ и нашей науки. Къ числу наиболѣе выдающихся между ними принадлежалъ несомнѣнно и М. С. Куторга, лекціи котораго въ петербургскомъ университетѣ въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ, всегда находившія многочисленныхъ слушателей, въ особенности отличались богатствомъ научнаго и образовательнаго содержанія. Онъ писалъ немного, но работалъ постоянно, даже въ свои старыя годы, когда, покинувъ профессуру, онъ поселился на своей родинѣ въ могилевской губерніи. Смерть застигла его за работой: онъ приготавливалъ изданіе своихъ трудовъ за послѣдніе годы жизни; этотъ планъ исполняется въ настоящемъ изданіи.

Сколько мы могли увидѣть изъ предисловія редактора настоящаго изданія, оно будетъ заключать именно послѣдніе труды Куторги, посвященные греческой исторіи. Первый томъ заключаетъ обширный трудъ, носящій заглавіе: „Аѳинская гражданская община по извѣстіямъ эллинскихъ историковъ“. Второй томъ будетъ заключать отдѣльныя изслѣдованія: О достовѣрности древнѣйшей греческой исторіи; О различныхъ видахъ бытописанія у древнихъ эллиновъ; О существованіи въ Греціи особаго, самостоятельнаго вида республиканской формы правленія, именуемаго Политією; Исторія происхожденія аѳинской Политіи, и Вліяніе Востока на Грецію. Особый выпускъ, въ видѣ приложенія къ этимъ двумъ томамъ, будетъ заключать подробные указатели къ обоимъ томамъ, въ которыхъ разъясненія къ нимъ по новымъ матеріаламъ, вышедшимъ по смерти автора, наконецъ библиографическій списокъ всѣхъ сочиненій Куторги и матеріалы для его біографіи по оставшимся послѣ него бумагамъ.

Едва ли нужно указывать большой интересъ этого изданія. Этотъ интересъ двоякій: съ одной стороны, въ этихъ трудахъ явится едва ли не первое въ нашей литературѣ подробное изслѣдованіе о внутреннемъ развитіи древне-греческаго политическаго быта, исполненное съ величайшей любовью и стараніемъ, съ высокимъ представленіемъ объ историческомъ значеніи эллинскаго міра; съ другой стороны, это будетъ любопытный матеріалъ для исторіи нашей науки. Въ области изученія всеобщей исторіи, М. С. Куторга, неизданный трудъ котораго является въ настоящемъ изданіи, принадлежалъ, какъ мы сказали, къ первому поколѣнію преподавателей, получившихъ правильную научную подготовку—такъ близко еще, въ этой области, начало русской науки!

По окончаніи изданія, мы надѣемся остановиться на немъ по-дробнѣе.—Т.

Въ іюнѣ поступили въ редакцію слѣдующія новыя книги и брошюры:

Бобринцева-Пушкина, М. — Пособіе къ практическому изученію французскаго языка для старшаго возраста. Спб. 94. Стр. 420. Ц. 2 р.

Бремъ, А. — Жизнь животныхъ. Популярное изданіе. Полут. I, вып. 12: Медвѣди. Ластовогія. Перев. съ нѣм. д-ра зоол. С. М. Переяславцевой. Од. 94. Стр. 363—384. Ц. 25 к.

Гертвигъ, О. — Клетка и ткани. Основы общей анатоміи и физиологіи. Перев. съ нѣм. и дополн. И. Вородинъ и Н. Холодковский. Съ 168 рис. въ текстѣ. Спб. 94. Стр. 339. Ц. 3 р.

Голдбертъ, А. — Мнѣнія о законодательной нормировкѣ рабочаго времени въ фабричныхъ и ремесленныхъ заведеніяхъ Россіи. Спб. 94. Стр. 94.

Греуаръ, Л. — Исторія Франціи въ XIX вѣкѣ. Съ приложеніемъ введенія и дополненій. Томъ второй. Іюльская монархія съ 1832 по 1848 г. Февральская революція. Перев. М. В. Лучицкой, подъ редакціей И. В. Лучицкаго. Изданіе К. Т. Солдатенкова. М. 1894. XXVI и 648 стр. Ц. 4 р.

Доброгаевъ, М. И. — Разведеніе мака. 3-е изд., съ 7 рис. въ текстѣ. Спб. 94. Стр. 32. Ц. 30 к.

Добрынинъ, д-ръ П. И. — Полное руководство къ изученію повивальнаго искусства, съ изложеніемъ краткихъ правилъ ухода и пособій при женскихъ болѣзняхъ. Съ 402 рис. въ текстѣ. 2-е изд., пересмотр. и дополнен. Спб. 94. Стр. 780. Ц. 5 р.

Ивановъ, д-ръ мед. Н. П. — Русскій Альманахъ по отечественнымъ водамъ, морскимъ купаньямъ, санитарнымъ станціямъ и др. лечебнымъ мѣстамъ Россіи. Спб. 94. Стр. 397, съ картою.

Крейсбергъ, Ф., инспекторъ 3-й Тифлисской гимназіи. — Учебникъ французскаго языка. Курсъ I кл. женскихъ и II кл. мужскихъ гимназій и реальныхъ училищъ. Тифлисъ, 1894. II и 111 стр. Ц. 50 к.

Лампретъ, Карлъ. — Исторія германскаго народа. Томъ первый. Части I и II. Переводъ съ нѣмецкаго П. Николаева. Изданіе К. Т. Солдатенкова. М. 1894. XX и 608 стр. Ц. 4 р.

Левенстимъ, А. — Рѣчь государственнаго обвинителя въ уголовномъ судѣ. Этюдъ. Спб. 94. Стр. 118. Ц. 1 р.

Допухинъ, А. П. — Два слова въ защиту библейской исторіи при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій и открытій. Спб. 1894. 19 стр.

Маркевичъ, Арсеній. — Тагріса. Опытъ указателя сочиненій, касающихся Крыма и Таврической губерніи вообще. Симферополь, 1894. III и 394 стр. Ц. 2 р.

Мятлевъ, И. П. — Полное собраніе сочиненій. Три тома. Изданіе иллюстрированное. М. 94. Стр. 191, 224 и 220. Ц. 1 р. 20 к.

Натеза-Састри. — Пажъ принцессы. Романъ изъ индійскихъ нравовъ (приложеніе къ журналу „Вокругъ Свѣта“, № 6). Съ рисунками Гомбара и Марольда. Переводъ съ индусскаго. Изд. т-ва Сытина. М. 1894. 16°, 127 стр.

Новицкій, Я. П. — Малорусскія пѣсни, преимущественно историческія, собранныя Я. П. Новицкимъ въ Екатеринославской губерніи въ 1874—1894 гг. Харьковъ, 1894. 112 стр.

Пастеръ. — Винная кислота и ея значеніе для ученія о строеніи матеріи (объ ассиметріи органическихъ соединеній). Цѣна 30 к., съ перес. 35 к. Изданіе журнала „Научное Обозрѣніе“. Спб. 1894. 36 стр.

Покровский, Е. — Сборникъ игръ, со многими гравюрами. М. 94. Стр. 96. Ц. 1 р.

Рубинштейнъ, С. Ф. — Хронологическій указатель указовъ и правительственныхъ распоряженій по губерніямъ западной Россіи, Вѣлоруссіи и Малороссіи за 240 лѣтъ, съ 1652 по 1892, годъ. Вильна, 1894. XII и 918 стр. Ц. 5 р.

Рудикъ, — Е. К. — Аполлонъ Михайловичъ Матушинскій. Въ исторіи Харьковскаго университета. Харьк. 94. Стр. 16.

Салтыковъ, М. Е. — Полное собраніе сочиненій, т. II. Господа Головлеви (1872—1876 г.). Сатиры въ прозѣ (1860—1862). Третье изданіе. Спб. 1894. 569 стр. Цѣна тома отдѣльно 2 р., съ перес. 2 р. 20 к. По подпискѣ на 12 томовъ 20 руб., съ перес. 22 р. 50 к.

Семеновъ, С. Т. — Брестыянскіе рассказы. Съ предисловіемъ Л. Н. Толстого. М. 1894. 319 стр. Ц. 60 к.

Спасовичъ, В. Д. — Сочиненія. Т. VII. Спб. 94. Стр. 318. Ц. 2 р.

Стрѣльниковъ, Н. Д. — О нѣкоторыхъ патолого-гистологическихъ измѣненіяхъ эпителія трахей и бронховъ при катаррѣ. Спб. 94. Стр. 43.

Шиперовичъ, М. В., д-ръ мед. — Что такое зараза и какъ себя оградить отъ нея? Спб. 94. Стр. 52.

Штаркенбургъ, Г. — Горе отъ любви. Перев. съ нѣм. Од. 94. Стр. 58.

Benoist, Ch. — La vie nationale. La Politique. Par. 94. Стр. 266. Ц. 4 фр.

— Raphaels seit 1508 verschallene, in St.-Petersburg aufgefundenene Madonna di Siena, die Geschichte ihrer allerersten und letzten Zeit, die Beweise ihrer Authenticität u s. w. Mit 33 Abbildungen von Fr. Steinchen. St.-Petersburg. 94. Стр. 58.

— Весна. Сборникъ рассказовъ, стиховъ и статей. Съ полезными свѣдѣніями въ общедоступномъ изложеніи. М. 1894. 198 стр. Ц. 40 к.

— Въ память Лавуазье. Рѣчи проф. Н. Д. Зелинскаго, И. А. Каблукова и проф. И. М. Съенова, произнесенныя въ публичномъ засѣданіи Отдѣленія химіи Импер. Общества любит. естествознанія, антропологін и этнографіи въ Москвѣ, въ день столѣтней годовщины смерти Лавуазье 26-го апрѣля (8-го мая) 1894 года, съ портретомъ Лавуазье. Изданіе Отдѣленія химіи. М. 1894. 42 стр.

— Отчетъ попечительства имп. Маріи Александровны о слѣбныхъ за 1893 г. Спб. 94. Стр. 128 и 26.

— Очеркъ 50-лѣтней дѣятельности Елисаветинской клинической больницы для малолѣтнихъ дѣтей. 1844—1894 г. Спб. 94. Стр. 224.

— „Петроградъ“. Практическій планъ столицы С.-Петербурга, съ указателемъ коноекъ, почты, пароходства, церквей, дворцовъ и музеевъ, улицъ, мостовъ и театровъ, больницъ, суда и участковъ и пр. Ц. плана съ описаніемъ 20 к. Спб. 94.

— Постановленія Полтавскаго уѣзднаго земскаго собранія созывовъ: чрезвычайныхъ 30-го мая и 7-го сентября 1893 г. и XXIX очередного 1893 г. съ докладами и другими приложеніями, относящимися къ этимъ постановленіямъ. Полтава, 1894. 145 стр.

— Сборникъ Имп. Русскаго Историческаго Общества. Т. 88: Дипломатическія сношенія Россіи съ Франціей въ эпоху Наполеона I, т. IV, 1807—8. — Т. 89: Посольство гр. П. А. Толстого въ Парижѣ, въ 1807—8 гг. — Т. 90: Бумаги комитета, учрежденнаго Высочайшимъ рескриптомъ 6-го дек. 1826 г. — Т. 91: Дипломатическая переписка англійскихъ пословъ при русскомъ дворѣ. — Т. 92: Депеши маркиза де-ла-Шетарди, 1740 г. — Т. 93: Депутатскіе наказы отъ дворянъ Оренбургской губерніи. Спб. 94. Каждый томъ—3 р.

— Что дѣлаютъ дворяне и что имъ слѣдовало бы дѣлать. Харьк. 94. Стр. 38. Ц. 1 р.

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I.

Gustave Larroumet. Nouvelles études de littérature et d'art. Paris. 1894. Стр. 844.

Въ лицѣ Гюстава Ларрумэ, профессора Сорбонны и бывшаго директора художественной секціи въ министерствѣ народнаго просвѣщенія, французская литература имѣетъ литературнаго критика, которому дороги также и вопросы чисто эстетическіе, касающіеся развитія національнаго искусства. Эти двѣ области довольно рѣзко разграничены въ современной французской критикѣ; ея представители проникнуты философскими идеями времени, и проводятъ ихъ въ разборахъ литературнаго творчества своихъ современниковъ;—что же касается изящныхъ искусствъ, воплощающихъ, подобно литературѣ, идеи и идеалы своего времени, то обсужденіе ихъ сосредоточено главнымъ образомъ въ газетной печати, въ отзывахъ объ ежегодныхъ выставкахъ, на столбцахъ „Figaro“, „Temps“ и т. д. и съ другой стороны въ статьяхъ и монографіяхъ, носящихъ научный и техническій характеръ. Критика, обнимающая литературное и художественное творчество въ одной общей философской и эстетической схемѣ, не имѣетъ представителей среди новѣйшихъ французскихъ писателей. Послѣ Тэна трудно было бы назвать болѣе или менѣе выдающагося французскаго эстетика, который вносилъ бы въ изученіе изящныхъ искусствъ литературныя приемы, освѣщающіе внутреннее философское значеніе художественныхъ произведеній. Ту роль, которую въ Англіи играетъ Рескинъ, и въ послѣднее время Вальтеръ Памеръ въ области эстетической критики, не выполняетъ ни одинъ изъ французскихъ критиковъ.

Ларрумэ, благодаря двойному характеру своей преподавательской и административной дѣятельности, имѣетъ возможность дѣлать попытки именно въ этомъ направленіи. Его новая книга—уже второй сборникъ этюдовъ по вопросамъ текущей литературы и національнаго искусства; онъ примѣняетъ къ критикѣ новыхъ произведеній въ той или другой области твердо установленную систему эстетическаго пониманія, и если его взгляды и представляютъ много весьма спорныхъ положеній и теорій, то книга его заслуживаетъ тѣмъ не

менѣе вниманія, какъ одна изъ рѣдкихъ въ современной Франціи попытокъ расширить область критики.

Эстетическіе взгляды Ларрумэ полнѣе всего высказываются въ первомъ этюдѣ его книги— „L'Art français avant Louis XIV“. Разбирая въ немъ книгу Лемонье „L'Art français au temps de Richelieu et de Mazarin“, Ларрумэ касается вопроса объ эстетической критикѣ вообще. Онъ констатируетъ ея неудовлетворительное положеніе въ современной Франціи и ни въ газетныхъ отчетахъ о выставкахъ, ни въ техническихъ работахъ специалистовъ не находитъ элементовъ истинной художественной критики, которая вліяла бы на эстетическое развитіе общества. Какова же должна быть эта критика, по мнѣнію автора? Изложеніе ея принциповъ въ названномъ этюдѣ показываетъ, что Ларрумэ находится еще вполне въ зависимости отъ эстетики Тэна. Его идеаль составляетъ историческій методъ изученія искусства, т.-е. критика, которая „доказывала бы, что, несмотря на негѣпную теорію искусства для искусства, послѣднее существуетъ только для человѣка“; для этого критика должна устанавливать отношеніе и связь между произведеніемъ искусства и условіями среды, въ которой оно возникло и т. д. Авторъ требуетъ также для художественной критики выработки опредѣленныхъ точныхъ критеріевъ, подобныхъ тѣмъ, которые опредѣляютъ сужденія въ области исторіи, археологіи и т. д.

Въ этомъ представленіи о задачахъ художественной критики странно только то, что Ларрумэ выставляетъ свои требованія какъ нѣчто новое, послѣ того, какъ методъ Тэна не только отразился на эстетической критикѣ всѣхъ европейскихъ странъ, но уже успѣлъ пережить свое вліяніе и уступить мѣсто болѣе плодотворному психологическому и философскому пониманію и толкованію искусства. Но французскій критикъ, при всѣхъ своихъ симпатіяхъ къ прогрессивному движенію въ эстетикѣ, самъ стоитъ еще довольно далеко отъ идей, руководящихъ современными художественными критиками другихъ странъ. Сторонникъ строгаго историческаго метода, Ларрумэ дополняетъ характерную рутинность своихъ взглядовъ тѣмъ, что видитъ единственныхъ блюстителей эстетическихъ идеаловъ въ университетскихъ ученыхъ. „Университетская литература, — говоритъ онъ, — съ своими привычками добросовѣстности и серьезности можетъ въ высшей степени способствовать достиженію“ идеала исторической критики въ искусствѣ. Онъ называетъ въ доказательство своихъ словъ нѣсколько новыхъ книгъ по исторіи искусства и впадаетъ тѣмъ самымъ въ обычное заблужденіе людей, не отличающихъ исторію искусства, какъ и исторію литературы, отъ эстетической и литературной критики, которая имѣетъ или должна имѣть, по крайней мѣрѣ, иные

горизонты и иные задачи. Все, что Ларрумэ говорит о задачах художественной критики и о людях, призванных исполнить их, относится къ исторіи искусства, и еслибы будущіе французскіе эстетики сообразовались съ его требованіями, положеніе вещей ничѣмъ не измѣнилось бы сравнительно съ теперешнимъ. Пока одни только добросовѣстные ученые будутъ судьями вопросовъ эстетики, пониманіе послѣдней такъ же мало подвинется впередъ, какъ пониманіе древнихъ авторовъ отъ грамматическихъ и иныхъ толкованій филологовъ.

Переходя отъ вопросовъ метода къ внутреннему пониманію искусства, Ларрумэ является сторонникомъ классицизма, потому что онъ содержитъ „абстрактные идеалы“. Онъ опровергаетъ нападки Лемонье на эпоху Возрожденія, замѣнившую въ развитіи французскаго искусства изученіе природы подражаніемъ отжившимъ формуламъ. Напротивъ того, въ возрожденіи классическихъ идеаловъ Ларрумэ видитъ возвратъ къ національнымъ традиціямъ, затемненнымъ средневѣковымъ наивнымъ реализмомъ. Въ этой формулировкѣ вопроса лежитъ недостаточно полное пониманіе эпохи Возрожденія. Говорить о ней какъ объ исключительномъ слѣдованіи древнимъ образцамъ—значитъ забыть широкое вліяніе итальянскаго „quattrocento“ съ его страстнымъ культомъ природы, стремленіемъ къ воспроизведенію жизни доходащими до писанія портретовъ въ картинахъ на евангельскіе сюжеты. Прежде, чѣмъ Брунеллески вдохновился римской архитектурой для купола Флорентинскаго собора, онъ научился отъ своихъ тосканскихъ предшественниковъ изучать близко природу и слѣдовать ей въ комбинаціи архитектурныхъ линій и орнаментовки. Нельзя поэтому приписывать исключительному вліянію эпохи Возрожденія условность въ искусствѣ временъ Людовика XIV, когда слѣпое подражаніе греческимъ и римскимъ образцамъ сдѣлалось обязательнымъ для всякаго артиста. Но повторяя ошибочный взглядъ Лемонье на характеръ эпохи Возрожденія, Ларрумэ заходитъ еще дальше разбираемаго имъ автора и отрицаетъ вредъ строгаго слѣдованія классическимъ образцамъ. Онъ доказываетъ, что Возрожденіе „вернуло Франціи наслѣдство предковъ, отнятое прекращеніемъ классическихъ традицій въ средніе вѣка“, и что подъ классическими формами художники „вѣка Людовика XIV“ свободно воплощали современную имъ жизнь, точно также какъ Расинъ и Корнель, вдохновляясь героями древности, снабжали ихъ душевной жизнью людей XVII в. Вопросъ такимъ образомъ опять сводится къ безконечному спору о „реализмѣ классиковъ“, и, возобновляя его, Ларрумэ не прибавляетъ никакихъ новыхъ аргументовъ, которые убѣдили бы насъ въ отсутствіи истинности какъ въ римлянахъ и грекахъ Корнеля и Расина, такъ

и въ миеологическихъ сюжетахъ картинъ и статуй художниковъ той поры.

Свои теоретическіе взгляды на искусство Ларрумэ прилагаетъ къ оцѣнѣ современныхъ художниковъ. Въ книгѣ есть два очень интересные этюда о живописцѣ Мейссоньѣ и скульпторѣ Фремиѣ. Ларрумэ очень близко и основательно изучилъ ихъ произведенія, и съ большимъ знаніемъ дѣла умѣетъ выдвинуть характерныя особенности художниковъ. Въ Мейссоньѣ онъ видитъ прежде всего чисто національныя свойства французскаго ума, „умѣнье выразить цѣлый характеръ одной чертой и отбросить подробности въ сжатой формѣ“. Характеризуя Фремиѣ, онъ видитъ въ немъ перваго реалиста, перенесшаго въ изученіе животныхъ точность наблюденія и стремленіе возсоздать внутренній міръ инстинктовъ вѣрнымъ воспроизведеніемъ характерныхъ внѣшнихъ чертъ. По поводу Фремиѣ Ларрумэ доказываетъ всю важность подготовительныхъ знаній чисто научнаго характера для художника. Онъ считаетъ, что ничто не способствовало такъ позднѣйшему умѣнью Фремиѣ дѣлать своихъ звѣрей совершенно живыми, какъ его долгія занятія для музея Орфила, приготовленіе точнѣйшихъ восковыхъ слѣпковъ съ труповъ и больныхъ тѣлъ; близкое знакомство съ человѣческой анатоміей онъ перенесъ затѣмъ на изученіе звѣрей, и, одухотворенные идеей, они представляютъ рѣдкую гармонію замысла и исполненія, богатой фантазіи и неотступнаго слѣдованія природѣ. Говоря о двухъ шедеврахъ Фремиѣ,—конной статуй его „Іоанна д'Аркѣ“ и „Гориллѣ, похитившей женщину“,—Ларрумэ справедливо причисляетъ ихъ къ самымъ выдающимся произведеніямъ вѣка, и проводитъ интересную параллель между „Гориллой“ и классической группой „Лаокоона“ по стремленію воплотить красоту въ сюжетѣ, вызывающемъ прежде всего чувство ужаса. Въ этюдѣ о Мейссоньѣ Ларрумэ защищаетъ художника отъ нападокъ критики за отсутствіе современности въ его картинахъ. Какъ сторонникъ классическихъ традицій, Ларрумэ не находитъ ничего искусственнаго въ томъ, что Мейссоньѣ рисуетъ своихъ куращихся и пьющихъ воиновъ не въ современной обстановкѣ, а въ историческихъ костюмахъ той или другой эпохи;—это по его мнѣнію артистическій приѣмъ, не нарушающій впечатлѣнія жизненности, которая характеризуетъ картины Мейссоньѣ. Едва-ли можно согласиться съ этимъ взглядомъ, и самъ Ларрумэ показываетъ, что не этими фантастическими воинами Мейссоньѣ стяжалъ свою славу, а реалистическимъ точнымъ воспроизведеніемъ военныхъ сценъ, своимъ гениальнымъ изображеніемъ лошади въ самыхъ разнообразныхъ моментахъ возбужденія и т. д. Теоретическое преклоненіе передъ классицизмомъ въ искусствѣ не ослѣпляетъ критика настолько, чтобы не видѣть великаго значенія „слѣ-

дованія природѣ“, помимо культа „абстрактныхъ идеаловъ“, и поэтому самыя художественныя оцѣнки Ларрумэ въ его двухъ названныхъ этюдахъ гораздо интереснѣе и глубже, чѣмъ его теоретическія разсужденія объ эстетической критикѣ.

Изъ литературныхъ очерковъ, помѣщенныхъ въ книгѣ, интересна статья, посвященная роману Леметра „Les Rois“, въ которой авторъ приписываетъ, однако, слишкомъ серьезное значеніе внутренней идеѣ романа Леметра. Послѣдній слишкомъ проникнутъ скептицизмомъ для того, чтобы быть выразителемъ какой бы то ни было положительной теоріи, какъ въ области философіи, такъ и политики; онъ подходит съ горькой усмѣшкой скептика ко всѣмъ утопическимъ теоріямъ фанатиковъ идей и „спасителей человѣчества“; не осуждая никого, понимая по своему всѣхъ, онъ указываетъ на пустоту и недостаточность ихъ вѣрованій, не отказываясь въ то же время проникнуться на минуту красотой ихъ увлеченія и присоединиться къ ихъ вѣрѣ, къ безконечному „быть-можетъ“.

Въ статьѣ о Золя Ларрумэ раздѣляетъ общее осужденіе послѣдняго его романа „Docteur Pascal“, слишкомъ далеко зашедшаго въ стремленіи къ „научности“, примѣненной къ воспроизведенію душевной жизни людей. Интересенъ также очеркъ нравовъ и искусства Даніи въ статьѣ „Au pays d'Hamlet“. Странное впечатлѣніе производитъ этюдъ о прогрѣвѣвшей книгѣ Нордау „Вырожденіе“. Изъ желанія выразить свое негодованіе по адресу новѣйшихъ теченій въ французской поэзіи и въ искусствѣ, Ларрумэ готовъ въ этомъ очеркѣ признать даже справедливость общихъ разсужденій психіатра, обратившаго значительную часть новѣйшей литературы— въ лицѣ ея видныхъ представителей—въ домъ умалишенныхъ.

II.

Augustin Filon. Merimée et ses amis. Paris 1894. Стр. 386.

Изъ всѣхъ писателей эпохи романтизма во Франціи, Просперъ Мериmé наименѣе занималъ собой до сихъ поръ литературную критику. Этотъ неистощимый, остроумный и элегантный рассказчикъ пользовался большимъ успѣхомъ при жизни, былъ баловнемъ лучшаго общества своего времени, и до сихъ поръ многіе изъ его рассказовъ (Colomba, Carmen, Vénus d'Ille etc.) сохранили неувядаемую свѣжесть; но его роль въ литературномъ движеніи, охватившемъ Францію въ 30-хъ годахъ, сравнительно мало выяснена. Это происходитъ въ значительной степени оттого, что на многостороннемъ творчествѣ Ме-

римэ лежитъ отчасти печать дилеттантизма; большинство критиковъ видить въ немъ не оригинальнаго представителя извѣстнаго литературнаго теченія, а только талантливаго художника, умѣющаго воспринимать и отражать вѣянія времени, не внося въ нихъ своей собственной ноты. Любознательный по природѣ, Меримэ то увлекался архитектурными памятниками средневѣковой Франціи и много работалъ для реставраціи ихъ, то принимался изучать иностранныя литературы и знакомилъ Францію съ невѣдомыми ей до тѣхъ поръ красотою русской поэзіи; наконецъ, заинтересованный жизнью странъ, гдѣ человѣкъ ближе къ природѣ и свободѣ въ своихъ чувствахъ, нежели въ благоустроенномъ культурномъ обществѣ, онъ создавалъ увлекательныя картины нравовъ цыганскихъ таборовъ и корсиканскихъ разбойниковъ. Драматизмъ его рассказовъ, юморъ и блескъ его языка обезпечиваютъ Меримэ симпатіи читателей и признаніе критики; но непостоянность его увлеченій и неспособность сосредоточиться на одной области творчества, не разбрасываясь по сторонамъ, породили странное отношеніе къ нему тогдашней критики и позднѣйшихъ историковъ романтизма. Меримэ не причислялся, такъ сказать, къ активной арміи романтизма, а считался скорѣе симпатизирующимъ outsider'омъ, талантомъ, которымъ всѣ увлекались, не замѣчая его внутренней связи съ идеями времени. Это отношеніе къ Меримэ сохранилось и послѣ его смерти; критика, изучающая значеніе романтизма въ французской литературѣ, менѣе всего останавливается на творчествѣ Меримэ. „За 23 года, прошедшія послѣ его смерти,—говоритъ Филонъ въ предисловіи своей книги о Меримэ,—молчаніе, окружавшее его имя, прервано было лишь позднимъ вступленіемъ въ академію его преемника и изданіемъ его писемъ къ двумъ незнакомкамъ" и къ Паницци. Но этому молчанію наступить конецъ, и по нѣкоторымъ симптомамъ можно заключить, что пришло время заняться Меримэ и опредѣлить его долю въ итогѣ, подводимомъ нашимъ концомъ вѣка.

Для справедливой оцѣнки творчества и значенія Меримэ книга Филона даетъ несомнѣнно цѣнный матеріалъ, не столько по выводамъ, къ которымъ авторъ приходитъ о личности Меримэ, сколько по сообщаемымъ имъ даннымъ изъ его переписки. Эти данныя способствуютъ освѣщенію его положенія среди современниковъ, характеризуютъ тѣ вліянія, среди которыхъ онъ жилъ, и выясняютъ, чтó онъ внесъ индивидуальнаго въ общее теченіе романтизма. Изъ книги Филона видно, что установившееся въ критикѣ мнѣніе о Меримэ несправедливо относительно сущности его творчества. Своими непринужденно остроумными, слегка скептическими рассказами, которые нерѣдко доходятъ до рубежа трагическаго, Меримэ внесъ новый эле-

ментъ въ французскій романтизмъ. Исходя изъ его рассказовъ въ родѣ „Venus d'Ille“ и др., и сгущая краски въ реализмъ деталей, Эдгаръ Поэ создалъ свою поэзію, витающую гдѣ-то по срединѣ между областю реального и фантастическаго. Своей практической дѣятельностью въ дѣлѣ возстановленія національных памятниковъ Меримэ много содѣйствовалъ возбужденію въ обществѣ интереса къ историческому прошлому Франціи, и въ особенности къ среднимъ вѣкамъ; „Notre Dame de Paris“ Виктора Гюго встрѣтила уже публику, подготовленную работами ученой комиссіи, въ которой Меримэ былъ однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ членовъ.

Въ развитіи романтизма Меримэ имѣетъ очень опредѣленное мѣсто; небрежный тонъ многихъ его рассказовъ и драматическихъ произведеній затемнилъ отчасти его роль, но она все болѣе становится ясной и несомнѣнной по мѣрѣ того, какъ появляется въ свѣтъ его обширная переписка, отражающая всю внутреннюю исторію его творчества. Данными этой переписки и пользуется главнымъ образомъ Филонъ для своего очерка жизни Меримэ, и ему удастся освѣтить ея общественную и литературную дѣятельность писателя. Біографу придется болѣе всего пользоваться перепиской Меримэ съ нѣсколькими женщинами, съ которыми онъ всю жизнь сохранялъ очень дружескія отношенія и дѣлился всѣми впечатлѣніями и настроеніями. Одна изъ нихъ — знаменитая „незнакомка“, Жюльетта Дакенъ, въ которую онъ былъ долго влюбленъ и съ которой оставался въ дружбѣ до самой смерти. Письма Меримэ къ ней изданы были въ 1874 г. и составляютъ достойный pendant къ лучшимъ изъ его повѣстей; въ нихъ заключается исторія души, въ которой поэзія искренняго чувства отбѣивается всегда легкой усмѣшкой скептика, и привычка ума недоверчиво смотрѣть на міръ и быть всегда насторожѣ противъ непосредственныхъ влеченій сердца смягчается любящей душой и пониманіемъ сложности человѣческихъ чувствъ. Другою изъ его постоянныхъ корреспондентокъ была графиня Монтихо, мать императрицы Евгеніи; ихъ неизданную до сихъ поръ переписку Филонъ имѣлъ возможность, какъ онъ сообщаетъ въ предисловіи, подробно прослѣдить и на ней основаны сообщаемыя имъ очень интересныя свѣденія о политической роли Меримэ, его служебной дѣятельности и характеръ его отношеній ко двору Наполеона III. Эта сторона его жизни, мало извѣстная до сихъ поръ, имѣла большое вліяніе на развитіе его таланта: путешествія, которыя онъ совершалъ по обязанностямъ службы и впослѣдствіи, подъ вліяніемъ графини Монтихо, въ Испанію, знакомили его съ экзотическими нравами разныхъ уголковъ Франціи и Испаніи; сношенія съ официальнымъ міромъ обострили его склонность къ скептицизму, а нѣсколько друзей, которыхъ онъ

приобрѣлъ среди политическихъ дѣателей тогдашней Франціи, побудили его принять активное участіе въ текущихъ дѣлахъ. Писатель въ немъ находился въ зависимости отъ дипломата и администратора, каковымъ его сдѣлали обстоятельства. Это взаимодѣйствіе литературнаго таланта и условій жизни особенно ясно видно изъ его писемъ къ графинѣ Монтихо; онъ сообщаетъ ей всѣ подробности своего образа жизни, описываетъ ей политическія событія, свидѣтелемъ которыхъ ему приходилось быть, и говорить обо всемъ совершенно свободно и искренно, такъ что эта переписка способствуетъ выясненію активной стороны его жизни, мотивовъ, руководившихъ его дѣйствіями и опредѣлявшихъ его взгляды, — какъ корреспонденція съ Жюльеттой Дашеъ рисуетъ исторію его души. Въ сношеніяхъ съ графиней Монтихо лежитъ также источникъ многихъ изъ его литературныхъ произведеній, такъ какъ подъ ея вліяніемъ онъ сталъ основательно знакомиться съ исторіей Испаніи, занялся старинными хрониками, написалъ „Исторію Педро I“, обнаружившую близкое знакомство съ нравами и исторіей феодальной Испаніи; на слышанномъ отъ нея разсказѣ основана фабула „Карменъ“, ей же онъ обязанъ своимъ знаніемъ испанскаго языка и испанской жизни. Бесѣды съ графиней Монтихо и путешествія въ Испанію, сдѣланныя подъ ея вліяніемъ, внесли въ позднѣйшія повѣсти и драмы Меримэ реализмъ описаній, отсутствующій у другихъ романтиковъ его эпохи; онъ описывалъ не условную Испанію ночныхъ серенадъ и шолоховыхъ дѣстницъ, а живыхъ людей, которыхъ онъ изучилъ вблизи, проводя дни и ночи въ цыганскихъ таборахъ, вращаясь среди мадридскаго общества, знакомясь съ міромъ народныхъ легендъ и историческихъ сказаній по мастерскимъ разсказамъ графини Монтихо. Близкое знакомство съ послѣдней началось уже со времени первой поѣздки Меримэ въ Испанію въ 1830 г. Молодой писатель, авторъ нѣсколькихъ остроумныхъ комедій, осмѣивавшихъ католическое духовенство и рисующихъ легкость нравовъ испанскаго общества („Théâtre de Clara Gazul“), отправился въ Мадридъ провѣрять вѣрность своихъ описаній. Тамъ онъ встрѣтилъ радушный пріемъ въ домѣ блестящей графини Теба (впослѣдствіи Монтихо), имѣвшей большое вліяніе на людей благодаря своему уму и талантливости своей натуры. Она сумѣла возбудить въ Меримэ искренній интересъ къ судьбѣ страны, въ которой онъ до того видѣлъ лишь живописный фонъ для описаній необузданныхъ страстей. Письма Меримэ къ ней служатъ доказательствомъ ея вліянія на развитіе и направленіе его литературнаго таланта; она способствовала его увлеченію экзотизмомъ, который онъ внесъ въ французскій романтизмъ. Увлеченіе Меримэ Испаніей нельзя разсматривать какъ нѣчто случайное, такъ какъ оно составляетъ одинъ изъ

существенных элементов романтизма. Интересъ къ правамъ другихъ странъ былъ возбужденъ въ литературѣ уже раньше и повліялъ также на Меримэ; но Испанія, привлекавшая воображеніе романтиковъ, рисовалась ими въ опереточномъ видѣ, не имѣющемъ почти ничего общаго съ дѣйствительностью. Заслуга Меримэ передъ романтизмомъ заключается въ томъ, что онъ внесъ реализмъ въ описанія и достигъ точности „*couleur locale*“ далеко не въ ущербъ живописности описываемыхъ нравовъ и характеровъ. Въ „*Camille*“, въ „*Colomba*“ испанскіе контрабандисты и корсиканскіе разбойники не окружены искусственнымъ ореоломъ эпического величія характеровъ и силы страстей, но тѣмъ неотразимѣе дѣйствуетъ естественный колоритъ въ описаніи бытовыхъ подробностей и интенсивныхъ чувствъ людей, никогда не увѣренныхъ въ томъ, что они доживутъ до слѣдующаго дня.

Указывая на роль графини Монтихо въ литературномъ творествѣ Меримэ, Филонъ выясняетъ, по дальнѣйшимъ даннымъ изученной имъ переписки, отношенія Меримэ къ политической и общественной жизни, о которой онъ болѣе всего распространяется въ письмахъ къ графинѣ. Послѣ короткаго пребыванія въ Парижѣ, еще болѣе сблизившаго писателя съ семьей графини, послѣдняя вернулась въ Мадридъ, гдѣ она въ теченіе долгаго времени играла крупную роль при королевскомъ дворѣ. За это время Меримэ ей пишетъ длиннѣйшія сообщенія о Парижѣ: онъ пишетъ ей о своемъ избраніи въ академію (въ 1845 г.) и о томъ, какъ тяжело ему пришлось обязательный панегирикъ своему предшественнику, Шарлю Нодье, талантъ котораго онъ менѣе всего считалъ выдающимся. Затѣмъ, когда наступило общественное броженіе, закончившееся революціей 1848 г., письма его переполняются картинами революціоннаго Парижа, описаніями нищеты народа и веселящейся, утопающей въ роскоши аристократіи, мѣткими оцѣнками парижской толпы, ея порывовъ великодушія и т. д. Политика занимаетъ большое мѣсто въ корреспонденціи Меримэ съ графиней Монтихо и послѣ *coup d'Etat* 1852 г. Меримэ былъ сенаторомъ въ теченіе семнадцати лѣтъ, близко стоялъ къ людямъ, бывшимъ въ то время во главѣ правленія, исполняя отъ времени до времени дипломатическія миссіи въ Англіи и Италіи, ходатайствовалъ передъ императоромъ Наполеономъ по просьбѣ итальянскаго патріота Паницци, до конца второй имперіи былъ близокъ ко двору и сохранилъ привычку читать рукописи своихъ произведеній императрицѣ, у которой связано было съ нимъ столько воспоминаній дѣтства и первой молодости. Очень искренній въ своихъ письмахъ, Меримэ является въ нихъ гораздо болѣе серьезнымъ мыслителемъ, чѣмъ полагали до сихъ поръ поклонники его изящ-

ныхъ разсказовъ. Его характеристики настроенія революціонной толпы, описаніе событій февральской революціи обнаруживаютъ большое историческое чутье, пониманіе сложности мотивовъ въ историческихъ событіяхъ, умѣнье безпристрастно обрисовывать расхолодившіяся инстинкты толпы. Нѣкоторыя страницы изъ его писемъ, приведенныхъ Филономъ, бѣглые портреты государственныхъ лицъ, сужденія о событіяхъ и т. п. сдѣлали бы честь первоклассному историку и заставляютъ жалѣть, что Меримэ такъ мало пользовался этой стороной своего таланта и ничего не оставилъ въ области исторической литературы, кромѣ неполныхъ и несмѣлыхъ „Etudes de l'histoire Romaine“ и „Histoire du Don Pedro I“. Реализмъ, который характеризуетъ даже самыя фантастическія изъ его повѣстей, прямо предназначалъ его въ историки, и письма къ графинѣ Монтихо показываютъ, какъ онъ всегда умѣлъ находить характерныя подробности, сразу освѣщающія описываемое событіе.

Въ книгѣ о „Меримэ и его друзьяхъ“ не можетъ быть, конечно, обойденъ вопросъ о взаимныхъ отношеніяхъ Меримэ и Стендала. Они были не только друзьями, но, какъ Меримэ самъ говоритъ въ письмахъ къ Женни Дакенъ, литературныя и жизненныя теоріи Стендала оставили сильный отпечатокъ (ont deteint) на взглядахъ и на творчествѣ его молодого друга. Филонъ отрицаетъ безусловность этого вліянія и доказываетъ, что Меримэ менѣе всего исповѣдовалъ донъ-жуанскія теоріи Бэйля и постоянно протестовалъ противъ любимыхъ афоризмовъ автора „Amour“ (въ родѣ сравненія женщины съ вѣрностью и т. д.) и слѣдованія имъ въ жизни. Но несомнѣнно однако, что, не заходя такъ далеко, какъ учитель, Меримэ все-таки заимствовалъ у него свое пониманіе женской психологіи, и если всѣ героини повѣстей Меримэ представляютъ разновидности одного общаго типа безсердечной и жестокой кокетки, то прототипа ихъ нужно искать въ Матильдѣ „Rouge et Noir“ и разныхъ теоретическихъ положеніяхъ Стендала. Очень характерна для выясненія отношеній между двумя писателями извѣстная брошюра Меримэ о Стендалѣ, вышедшая тотчасъ же послѣ смерти послѣдняго и перепечатанная впоследствии въ „Portraits historiques et littéraires“. Она болѣе всего выясняетъ духовную связь между Стендалемъ и Меримэ и общность ихъ взглядовъ и вкусовъ. То, что Меримэ говоритъ о недовѣрчивости Стендала, который изъ боязни быть обманутымъ доискивался во всемъ дурныхъ мотивовъ, Тэнъ совершенно справедливо примѣнилъ впоследствии (въ предисловіи къ „Lettres à une Inconnue“) къ характеристикѣ самого Меримэ. Онъ былъ по природѣ челоѣкъ съ любящей душой и идеалистическими наклонностями, но самолюбіе заставило его носить кольцо съ

девизомъ: „помни, что нужно недоувѣрять“, и проводить этотъ принципъ въ жизни. Близость къ Стендалю только увеличила рѣшимость слѣдовать этому девизу и повліяла на скептическую окраску его повѣстей. Въ то время какъ первыя драматическія произведенія Меримэ („Théâtre de Clara Gazul“) носятъ характеръ, поверхностной свѣтской насмѣшки салоннаго атеиста, въ повѣстяхъ, написанныхъ позже („Arsène Guillot“, „Vase Etrusque“, „L'abbé Aubin“ и др.), скептицизмъ болѣе глубоко захватываетъ основныя струны человѣческой души, и его психологическіе анализы становятся все болѣе пессимистическими, несмотря на юмористическій тонъ, въ которомъ они изложены. Подъ вліяніемъ Стендаля, Меримэ сдѣлался реалистомъ и внесъ въ французскій романтизмъ стремленіе къ тщательному изученію жизни, вѣрность деталей въ бытовыхъ описаніяхъ и психологическій анализъ, который въ школѣ Виктора Гюго менѣе всего отличался точностью, въ виду погони за сценичностью эффектовъ. Такимъ образомъ Стендаль, хотя и причисляемый къ романтической школѣ, но въ сущности оказавшій вліяніе лишь на писателей 70-хъ и 80-хъ годовъ, не прошелъ безслѣдно для своихъ современниковъ, благодаря своему вліянію на Меримэ. Послѣдній является посредникомъ между реализмомъ Стендаля и фантастичнымъ пониманіемъ жизни и человѣческихъ чувствъ у романтиковъ. Въ его повѣстяхъ самыя смѣлые полеты фантазіи отдѣляются строгимъ реализмомъ деталей, взятыхъ изъ жизни; на этомъ построена его писательская манера и этимъ умѣньемъ переиначивать дѣйствительность съ вымысломъ онъ достигаетъ поразительныхъ эффектовъ, какъ напр. въ „Vénus d'Ile“, гдѣ жизненность описываемыхъ событій до того велика, что читатель незамѣтно переходитъ къ вѣрѣ въ сверхъестественный элементъ, играющій въ повѣсти видную роль.

Большое значеніе для развитія романтизма имѣла дѣятельность Меримэ какъ инспектора національных памятниковъ. Изучая его рапорты министру о произведенныхъ осмотрахъ, Филонъ приходитъ къ убѣжденію, что Меримэ не понималъ „души готической архитектуры“, религіозной идеи, которую она воплощаетъ; онъ очень тщательно изучаетъ техническую сторону зданій, говоритъ о нихъ какъ историкъ, а не какъ философъ. Но, прибавляетъ біографъ, то, что Меримэ сдѣлалъ для готическихъ церквей Франціи, имѣетъ больше значенія, чѣмъ пониманіе ихъ: онъ ихъ спасъ отъ гибели среди невѣжества жителей французскихъ провинцій. Въ своихъ поѣздкахъ по Франціи ему приходилось бороться противъ фанатизма священниковъ, уничтожавшихъ въ церквахъ мнимыя изображенія дьявола, или противъ якобинцевъ, собирающихся перерубить головы статуямъ святыхъ; еще труднѣе было очистить старинныя памят-

ники отъ ремесленниковъ, устроивавшихъ въ нихъ свои мастерскія. Небрежность населенія къ стариннымъ барельефамъ, статуямъ и т. д. вызываетъ взрывы негодованія въ письмахъ Меримэ, и сцены, свидѣтелемъ которыхъ ему приходилось бывать во время своихъ служебныхъ поѣздокъ, показываютъ, какихъ громадныхъ трудовъ ему стоило отстаиваніе и реставрація старыхъ церквей. Эта дѣятельность составляетъ заслугу Меримэ не только передъ французскимъ романтизмомъ, но и передъ исторіей Франціи.

Разнообразіе литературныхъ и художественныхъ увлеченій Меримэ выразилось еще въ одной области его творчества,—его близкомъ знакомствѣ съ русской литературой и пропагандѣ ея во Франціи. Нѣтъ сомнѣнія, что среди переводчиковъ съ русскаго во Франціи Меримэ занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ не только по времени, но и по умѣнью проникнуться духомъ чуждой цивилизаціи. Его переводы Гоголя, Пушкина, Тургенева до сихъ поръ не превзойдены; что же касается его этюдовъ о Пушкинѣ и о Тургеневѣ, то если они и неудовлетворительны съ точки зрѣнія русскаго писателя, то среди иностранныхъ оцѣнокъ русской литературы они обнаруживаютъ наибольшее пониманіе русскихъ писателей. Черезъ него французская литература обогатилась новой струей славянскихъ вліяній, нашедшихъ благопріятную почву, какъ видно изъ дальнѣйшей судьбы русскихъ писателей во Франціи.

Мы видимъ такимъ образомъ, что разнообразіе занятій и увлеченій Меримэ имѣло слѣдствіемъ не дилеттантскій характеръ его творчества, а широкое значеніе его личности для французской литературы. Не становясь въ первые ряды бойцовъ романтизма, онъ сдѣлалъ очень много для распространенія идей, руководившихъ этимъ теченіемъ, и внесъ свои индивидуальныя черты въ его развитіе. Меримэ принадлежитъ, какъ мы видѣли, та струя реализма и философскаго скептицизма, которая соединяетъ романтизмъ съ психологическимъ романомъ, намѣченнымъ Стендалемъ и развившимся лишь гораздо позже. Показывая на перепискѣ Меримэ литературныя и иные вліянія, среди которыхъ сложилась личность писателя, Филонъ способствуетъ вѣрной оцѣнкѣ его дѣятельности, и въ небогатой литературѣ о Меримэ книга его заслуживаетъ вниманія по богатству собраннаго матеріала и освѣщенію неизвѣстныхъ до того подробностей частной жизни Меримэ.—З. В.



НЕКРОЛОГЪ.

Николай Михайловичъ Ядринцевъ.

9-го іюня телеграфъ принесть извѣстіе о кончинѣ Н. М. Ядринцева, послѣдовавшей наканунѣ въ Барнаулѣ. Извѣстіе было глубоко печально для всѣхъ, кто зналъ литературную дѣятельность покойнаго, и еще болѣе для тѣхъ, кто лично зналъ этого замѣчательнаго чело-вѣка; всего тяжелѣе эта потеря была почувствована, конечно, его земляками, уроженцами Сибири, изученію и интересамъ которой по-священъ былъ безраздѣльно трудъ всей его жизни.

Ядринцевъ родился въ 1842 году, учился въ томской гимназіи, съ 1860 года былъ нѣсколько лѣтъ вольнымъ слушателемъ въ петербургскомъ университетѣ, затѣмъ вернулся на родину, для которой хотѣлъ работать на мѣстѣ. Общественное возбужденіе того времени спокоя овладѣло имъ и разъ навсегда опредѣлило складъ его мыслей и направленіе его труда: съ нимъ дѣлили его взгляды молодые друзья, посвятившіе свой трудъ изученію своей родины и стремленію под-нять ея общественные и образовательные интересы. Въ 1863 году Ядринцевъ читалъ въ Томскѣ публичную лекцію, гдѣ, между про-чимъ, указывалъ необходимость и значеніе для Сибири университета—мысль, которая съ тѣхъ поръ неизмѣнно его занимала, и нѣтъ со-мнѣнія, что именно ему принадлежитъ въ большой мѣрѣ нравствен-ное и практическое участіе въ осуществленіи этого предпріятія, ко-торое могло исполниться прежде всего потому, что для него собраны были въ Сибири большія пожертвованія. Въ эти годы Ядринцевъ, еще юношей, началъ свою литературную дѣятельность въ мѣстныхъ изданіяхъ по различнымъ вопросамъ сибирской жизни, съ тѣмъ оду-шевленіемъ, которое съ тѣхъ поръ и до конца отличало его литера-турную дѣятельность. Къ сожалѣнію, на первыхъ же порахъ эта дѣятельность была прервана извѣстнымъ дѣломъ о сибирскомъ сепаратизмѣ,—дѣломъ очень страннымъ, если вспомнить, что обвиненіе направлялось противъ трехъ-четырехъ юношей, виновныхъ только въ идеалистическихъ мечтаніяхъ, какими они дѣлились между собой, и если представить себѣ абсолютную неисполнимость этихъ мечтаній. Для Ядринцева дѣло окончилось ссылкой въ Архангельскъ, которая кончилась для него только въ 1874 году. Трудное положеніе въ этой

ссылкѣ не остановило его работъ. Къ концу своей ссылки онъ уже выдвинулся въ литературѣ, какъ одинъ изъ лучшихъ знатоковъ сибирской жизни, которой посвящены были его многочисленныя статьи въ періодическихъ изданіяхъ. Уже въ 1872 году онъ собралъ свои статьи о сибирской ссылкѣ въ книгу: „Русская община въ тюрьмѣ и ссылкѣ“, которая обратила на себя большое вниманіе и послужила послѣ матеріаломъ для комиссіи, работавшей по вопросу о преобразованіи тюремъ и ссылки. Съ 1874 г., когда поднятъ былъ этотъ вопросъ официально, Ядринцевъ снова выступилъ съ цѣлымъ рядомъ статей по этому предмету и по другимъ вопросамъ сибирской жизни; съ 1875 г. онъ принималъ дѣятельное участіе въ газетѣ „Сибирь“, издававшейся въ Иркутскѣ В. И. Вагиннымъ; въ 1876 онъ былъ приглашенъ на службу генераль-губернаторомъ западной Сибири Казнаковымъ, что дало ему возможность собрать много важныхъ свѣдѣній по статистикѣ и этнографіи Сибири. Въ тѣ же годы основанъ былъ въ Омскѣ западно-сибирскій отдѣлъ Географическаго Общества, въ трудахъ котораго онъ также принималъ дѣятельное участіе. Въ 1878 онъ исполнилъ официальную командировку въ Алтайскій горный округъ для изслѣдованія переселенческаго движенія; въ 1880—новое путешествіе въ этотъ край для изученія быта инородцевъ. Въ 1881 онъ оставилъ службу въ Сибири, переселился въ Петербургъ и уже въ 1882 издалъ здѣсь свой главный трудъ: „Сибирь какъ колонія“, вышедшій въ 1886 году въ нѣмецкомъ переводѣ г. Петри, съ значительными дополненіями, и затѣмъ недавно повторенный въ новомъ весьма расширенномъ русскомъ изданіи. Въ томъ же 1882 году Ядринцевъ основалъ въ Петербургѣ „Восточное Обозрѣніе“, перенесенное потомъ въ Иркутскъ и доставившее вообще богатый матеріалъ для знакомства съ народной и общественной жизнью Сибири (приложеніемъ къ нему служилъ „Сибирскій Сборникъ“). Новымъ капитальнымъ трудомъ Ядринцева была книга: „Сибирскіе инородцы, ихъ бытъ и современное положеніе“ (1891), и въ связи съ этимъ трудомъ, онъ внесъ въ Географическое Общество еще ранѣ составленныя имъ карты распредѣленія сибирскихъ инородцевъ по губерніямъ. Много разъ Ядринцевъ дѣлалъ доклады въ ученыхъ обществахъ о результатахъ своихъ разнообразныхъ работъ по экономическому изученію Сибири, по переселенческому дѣлу, по вопросамъ этнографіи и археологіи, стремясь постоянно вызывать участіе общества въ работамъ въ этихъ областяхъ науки и современной народной дѣйствительности, и вмѣстѣ съ тѣмъ вызывая специалистовъ на критику и на расширеніе изслѣдованій. Таковы были его многочисленные доклады въ Географическомъ обществѣ въ Петербургѣ и въ его западно-сибирскомъ отдѣлѣ въ Омскѣ, въ археологическихъ

обществахъ въ Петербургѣ и въ Москвѣ, въ Обществѣ для содѣйствія промышленности и торговли, на географической выставкѣ въ Москвѣ, въ финляндскомъ ученomъ Обществѣ въ Гельсингфорсѣ. Кромѣ изученія современной Сибири и ея народной жизни, Ядринцева давно интересовала первобытная исторія страны, гдѣ онъ, конечно, искалъ объясненія инородческихъ элементовъ Сибири. По такому побужденію онъ сдѣлалъ между прочимъ въ послѣдніе годы путешествіе въ сѣверную Монголію, гдѣ онъ открылъ развалины знаменитой нѣкогда монгольской столицы Каракорума затерянной географами и историками. Открытіе Ядринцева, сдѣланное имъ въ трудномъ путешествіи на самыя скудныя средства, возбудило живѣйшій интересъ въ ученomъ мірѣ. По первымъ сообщеніямъ Ядринцева, не оставлявшимъ сомнѣнія въ значеніи найденныхъ имъ археологическихъ памятниковъ, отправилась на мѣсто ученая экспедиція изъ Гельсингфорса, а затѣмъ экспедиція отъ Академіи Наукъ въ сопровожденіи Ядринцева и съ В. В. Радловомъ во главѣ: финляндская экспедиція издала уже результаты своихъ изысканій; издано начало изслѣдованія г. Радлова.

Ядринцевъ не отличался крѣпкимъ здоровьемъ, но по истинѣ кипучая дѣятельность свидѣтельствовала о неистощимой нравственной энергіи, которой доставало на все: хлопотливая дѣятельность публициста, сложныя экономическія работы, разнообразныя научныя изслѣдованія, изученіе народной жизни на мѣстахъ, далекія путешествія (напр., даже въ послѣдніе годы два послѣдовательныя путешествія въ Монголію)—всегда оставляли его бодрымъ, неизмѣнно готовымъ къ труду, несмотря на всѣ матеріальныя затрудненія, на всѣ не однажды тяжелыя испытанія, соединенныя съ изданіемъ газеты, не пользовавшейся благосклонностью администраціи. Его энергія возбуждала и другихъ: ему несомнѣнно принадлежитъ большое вліяніе на пробужденіе общественныхъ и образовательныхъ интересовъ въ молодомъ слоѣ сибирскаго общества; вокругъ него собрались новыя силы, направлявшіяся на разнообразный трудъ по изученію Сибири и находившія у него не только нравственную поддержку, но и цѣнное практическое руководство. Такъ въ его предпослѣднюю поѣздку въ Западную Сибирь для изученія переселенческаго движенія, къ нему добровольно примкнулъ санитарный отрядъ, отправленный тогда въ этотъ край на средства частной благотворительности, и который нашелъ въ немъ опять цѣннаго руководителя. Когда онъ жилъ въ Петербургѣ, около него сосредоточивались всѣ нравственные интересы петербургской колоніи сибиряковъ. „Имя Ядринцева тѣсно связано съ Сибирью,—читаемъ въ одномъ некрологическомъ воспоминаніи.—Это былъ самоотверженный радѣтель всѣхъ

сибирскихъ дѣлъ, для котораго преуспѣяніе Сибири было самымъ дорогимъ дѣломъ жизни. Около Ядринцева ютились сибиряки; онъ былъ центромъ „сибирской колоніи“ въ Петербургѣ; въ то время, когда здѣсь издавалось „Восточное Обозрѣніе“, онъ и жена его всю силу свою положили въ этотъ журналъ; и всякій, кому случалось бывать въ обществѣ этихъ тружениковъ, выходилъ оттуда съ чувствомъ, граничащимъ почти съ благоговѣніемъ, потому что онъ видѣлъ людей чистоты необыкновенной, отдающихъ беззавѣтно дорогому для нихъ дѣлу“. Тотъ же некрологъ вѣрно замѣчаетъ, что въ житейскомъ отношеніи это былъ человѣкъ не отъ міра сего, совершенно неспособный позаботиться о своемъ матеріальномъ бытѣ, и который могъ сосредоточиваться только на интересахъ умственныхъ и общественныхъ; дѣйствительно, онъ не могъ вести обыденнаго разговора о мелочахъ, и его разговоръ съ первыхъ словъ переходилъ на тѣ общіе вопросы, которые постоянно занимали и волновали его мысль; зная его многіе годы, мы не слыхали отъ него празднаго слова.

Смерть застала его за той же работой. Онъ отправился въ Алтайскій округъ въ качествѣ завѣдующаго статистическимъ отдѣленіемъ при начальникѣ этого округа; въ частности его интересовалъ вопросъ, возникшій со времени послѣдняго переселенческаго движенія — враждебныя отношенія между сибирскими крестьянами-старожилами и новоселами.

Газеты сообщили на дняхъ, что въ первомъ осеннемъ общемъ собраніи Географическаго Общества будетъ возбужденъ вопросъ о чествованіи памяти Ядринцева: это будетъ признаніе заслугъ научнаго изслѣдователя, который вмѣстѣ съ тѣмъ былъ благороднымъ идеалистомъ въ вопросахъ общественной жизни и однимъ изъ самыхъ неутомимыхъ и самоотверженныхъ тружениковъ на пользу своей мѣстной родины.

А. Пыпинъ.



ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1 іюля 1894 г.

Новыя правила объ офицерскихъ дуэляхъ. — Существуетъ ли какое-либо различіе между этими дуэлями и всѣми другими? — Предѣлы вѣдомства офицерскаго суда. — Громкія уголовныя дѣла и отношеніе къ нимъ ежедневной печати. — По поводу письма г. Тихомирова редактору журнала.

Обнародованныя недавно правила объ офицерскихъ дуэляхъ (официально именуемыя правилами „о разбирательствѣ ссоръ, случающихся въ офицерской средѣ“) представляютъ большой интересъ не только для военнаго міра. Одной своей стороною они даже прямо касаются людей не-военныхъ: суду общества офицеровъ подвѣдомственны не только оскорбленія, нанесенныя офицеромъ офицеру, но и оскорбленія, нанесенныя офицеру *постороннимъ* (т.-е. не-военнымъ) лицомъ. Сообразно съ этимъ, для дальнѣйшаго направленія дѣлъ о поединкахъ между офицерами и „посторонними лицами“ предполагается установить тотъ же порядокъ, какъ и для дѣлъ о поединкахъ между офицерами. Сущность новыхъ правилъ заключается въ слѣдующемъ. Судъ общества офицеровъ (а гдѣ его нѣтъ или когда дѣло выходитъ изъ предѣловъ его вѣдомства — начальники части) принимаетъ мѣры къ примиренію сторонъ, если признаетъ его согласнымъ съ достоинствомъ офицера и съ традиціями части; въ противномъ случаѣ онъ постановляетъ, что поединокъ является единственно-приличнымъ средствомъ удовлетворенія оскорбленной чести офицера. Свое вліяніе на секундантовъ судъ общества офицеровъ употребляетъ въ томъ смыслѣ, чтобы условія дуэли наиболѣе соответствовали обстоятельствамъ даннаго случая. Если въ теченіе двухъ недѣль по объявленіи рѣшенія суда общества офицеровъ поединокъ не состоится, и отказавшійся отъ него офицеръ не подастъ просьбы объ увольненіи отъ службы, то командиръ полка входитъ съ представленіемъ объ увольненіи его отъ службы безъ прошенія. Слѣдственное производство о поединкѣ, по роду своему подлежащее судебному разсмотрѣнію, представляется съ заключеніемъ прокурорскаго надзора военному министру ¹⁾, для всеподданнѣйшаго доклада тѣхъ изъ означенныхъ дѣлъ, которымъ не признается возможнымъ дать движеніе въ судебномъ порядкѣ. Тотъ же порядокъ соблюдается

¹⁾ Если въ дуэли съ офицеромъ участвовало „постороннее лицо“, то всеподданнѣйшій докладъ о ней представляется военнымъ министромъ по соглашенію съ министромъ юстиціи.

и въ тѣхъ случаяхъ, когда офицерской дуэли не предшествовало постановленіе суда общества офицеровъ.

Изъ статьи „Русскаго Инвалида“, напечатанной одновременно съ правилами о поединкахъ, мы узнаемъ, что основною ихъ мыслью было „повышеніе общаго уровня понятій о чести въ офицерской средѣ“. До сихъ поръ случалось, хотя и рѣдко, что въ рядахъ арміи оставались офицеры, оскорбившіе товарищей и не давшіе имъ должнаго удовлетворенія, или потерпѣвшіе оскорбленіе и не озаботившіеся принять мѣры къ возстановленію своей чести. Правила направлены къ тому, чтобы на будущее время такіе случаи не были возможны: они ясно и опредѣленно указываютъ на поединокъ, какъ на единственный, при извѣстныхъ условіяхъ, нормальный выходъ изъ положенія, созданнаго оскорбленіемъ. Отсюда не слѣдуетъ еще, однако, что поединокъ въ офицерской средѣ долженъ быть признанъ безнаказаннымъ. Это немыслимо уже потому, что пришлось бы оставлять безнаказанными и гражданскихъ лицъ, вышедшихъ на поединокъ съ офицерами, а затѣмъ, „въ силу послѣдовательности, освободить ихъ отъ наказанія и за всякую дуэль, внѣ офицерской среды“. Притомъ, „не всякая дуэль даже и между одними офицерами можетъ быть оправдываема интересами арміи. Возможны дуэли, вызываемыя далеко не благородными побужденіями ненависти, мести, злобы по личнымъ соображеніямъ; случаются дуэли и по такимъ, сравнительно ничтожнымъ поводамъ, когда дѣло, безъ всякаго вреда для чести обѣихъ сторонъ, могло окончиться примиреніемъ и когда дуэль, слѣдовательно, ничѣмъ не оправдывается“. Въ силу этихъ соображеній признано достаточнымъ *урегулировать* дуэль, т.-е. установить такой порядокъ, при которомъ дуэль происходила бы лишь въ случаяхъ дѣйствительно серьезныхъ, когда она считается неизбѣжною по укоренившемуся мнѣнію всей офицерской корпораціи. Затѣмъ возникалъ вопросъ, какъ разсматривать дуэль, состоявшуюся на точномъ основаніи постановленія офицерскаго суда? Установить разъ навсегда ея безнаказанность или меньшую наказуемость признано невозможнымъ, такъ какъ она часто ничѣмъ не отличается отъ дуэли, состоявшейся помимо офицерскаго суда. Возвести на степень общаго правила безнаказанность оскорбленнаго также нельзя, потому что не всегда легко опредѣлить, кто—оскорбленный, кто—оскорбитель, да и общее сочувствіе можетъ быть иногда на сторонѣ оскорбителя, въ виду мотивовъ, вызвавшихъ оскорбленіе. Ставить безнаказанность дуэли въ зависимость отъ подчиненія ея участниковъ мнѣнію офицерскаго суда было найдено неудобнымъ еще и потому, „что одна изъ сторонъ можетъ быть готова подчиниться мнѣнію суда объ умѣстности примиренія, другая же предпочтетъ дуэль, которая и состоится;

едва ли было бы справедливо въ подобныхъ случаяхъ лишать всякаго снисхожденія и того изъ дуэлистовъ, который, при полной своей готовности, согласно постановленію суда, извиниться или принять извиненіе, уступаетъ противнику, настаивающему на поединкѣ". Вотъ почему рѣшено было опредѣлять, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, подлежитъ ли дѣло объ офицерской дуэли судебному разсмотрѣнію или прекращенію безъ суда, въ административномъ порядкѣ.

Таково, въ главныхъ чертахъ, офиціозное объясненіе новыхъ правилъ объ офицерскихъ дуэляхъ. Составителямъ объясненія предстояла трудная или, лучше сказать, неразрѣшимая задача: они должны были соединить несоединимое, доказать совместиость понятій, взаимно исключających одно другое. Въ самомъ дѣлѣ, первое и существенное условіе преступности дѣянія, это—запрещеніе его уголовнымъ закономъ. Не можетъ быть преступнымъ дѣяніе, совершенное *въ силу закона*, съ разрѣшенія или даже по требованію *закономъ установленной власти*, подъ опасеніемъ служебнаго взысканія за неисполненіе этого требованія. Такимъ именно дѣяніемъ является дуэль, происходящая на основаніи опредѣленія офицерскаго суда — а между тѣмъ она *можетъ* подлежать судебному преслѣдованію, *можетъ* служить поводомъ къ уголовной отвѣтственности, *можетъ*, однимъ словомъ, быть разсматриваема какъ *преступленіе*. Здѣсь есть, очевидно, глубокое внутреннее противорѣчіе. Единственнымъ логическимъ выходомъ изъ правилъ, уполномочивающихъ судъ общества офицеровъ постановлять опредѣленія о необходимости дуэли, была бы полная безнаказанность поединка, состоявшагося вслѣдствіе этого опредѣленія (безъ нарушенія, притомъ, обычныхъ условій „правильной“ дуэли). „Офицерскія дуэли,—говорить „Русскій Инвалидъ“,—теряютъ отнынѣ характеръ обыкновеннаго преступленія, а становятся дѣяніями, иногда и ненаказуемыми". Въ томъ-то и дѣло, что при однихъ и тѣхъ же юридическихъ условіяхъ — т.-е. при наличности опредѣленія офицерскаго суда, требующаго дуэли, и при вѣрней правильности боя,—офицерская дуэль, по новому закону, *иногда* ненаказуема, а *иногда* наказуема, тогда какъ уголовная кара за исполненіе законнаго требованія законной власти *всегда* логически несообразна. Не устраняютъ этой несообразности и остальные доводы, приводимые „Русскимъ Инвалидомъ". Они относятся, собственно говоря, къ совершенно другимъ вопросамъ: они показываютъ, что право на снисхожденіе или безнаказанность участники офицерской дуэли могутъ имѣть и тогда, когда она произошла помимо или даже вопреки постановленію офицерскаго суда—но они даже не пытаются обосновать факультативную наказуемость дуэли, состоявшейся по требованію офицерскаго суда. Нетрудно, однако, угадать, почему, въ

данномъ случаѣ, допущено отступленіе отъ юридической логики. Возражая противъ безнаказанности офицерскихъ дуэлей вообще, „Русскій Инвалидъ“ замѣтилъ, что дуэль вызывается иногда „далеко не благородными побужденіями ненависти, мести и злобы“. Возможно ли, при такихъ условіяхъ, требованіе дуэли со стороны офицерскаго суда? Безъ сомнѣнія—возможно. Представимъ себѣ, что подъ вліяніемъ ненависти и злобы одинъ офицеръ оскорбляетъ другого—оскорбляетъ съ заранѣе обдуманномъ намѣреніемъ, публично и тяжело. Конечно, офицерскій судъ не только не откажетъ оскорбленному въ разрѣшеніи на поединокъ, но даже вмѣнитъ ему въ обязанность потребовать удовлетворенія отъ оскорбителя. Представимъ себѣ дальше, что исходъ дуэли будетъ несчастливъ для оскорбленнаго. Оставить оскорбителя безнаказаннымъ было бы слишкомъ тяжело для нравственнаго чувства; лучше погрѣшнить противъ юридической логики, чѣмъ противъ справедливости — и допустить возможность уголовно-судебной отвѣтственности за дуэль, хотя бы она и состоялась согласно съ постановленіемъ офицерскаго суда. Но развѣ нельзя было избѣжать этого конфликта между справедливостью и правомъ, развѣ нельзя было развязать, а не разсѣчь гордіевъ узелъ? Для этого достаточно было бы, какъ намъ кажется, предоставить предварительное обсужденіе поводовъ къ дуэли не офицерскому суду, а посредникамъ, добровольно избраннымъ сторонами. Дѣятельность такихъ посредниковъ служила бы до извѣстной степени гарантіей противъ легкомысленныхъ и необдуманныхъ дуэлей, но не связывала бы свободу сторонъ, не снимала бы съ нихъ отвѣтственность за окончательное рѣшеніе. Мнѣніе посредниковъ оставалось бы только *мнѣніемъ* болѣе или менѣе авторитетнымъ, но ни для кого не обязательнымъ. Въ поединкѣ, хотя бы и предпринятомъ съ одобренія посредниковъ, нельзя было бы видѣть исполненіе предписанія, исходящаго отъ закономъ установленной *власти* — и, слѣдовательно, въ наказаніи участниковъ поединка не было бы ничего несовмѣстнаго съ основными началами уголовного права. Не зачѣмъ было бы создавать тогда и особый порядокъ направленія дѣлъ о дуэляхъ; нужно было бы только постановить, что если поединку предшествовало разбирательство чрезъ посредниковъ, признавшихъ примиреніе—невозможнымъ, поединокъ — неизбѣжнымъ, то судъ *съ правъ* оправдать, смотря по обстоятельствамъ дѣла, одного или обоихъ участниковъ дуэли. Само собою разумѣется, что подобное постановленіе могло бы быть распространено на всѣ поединки вообще, независимо отъ званія дуэлянтовъ; по отношенію къ офицерамъ можно было бы только ограничить свободу выбора посредниковъ, принявъ за правило, чтобы они всѣ (или, при участіи въ дуэли „посторонняго лица“ — по меньшей мѣрѣ половина) принадлежали къ составу арміи.

Мы только-что коснулись одной изъ самыхъ интересныхъ сторонъ вопроса о дуэли. Есть ли какое-либо существенное, глубокое различіе между дуэлями офицерскими и всѣми остальными? Съ точки зрѣнія „Русскаго Инвалида“ такое различіе совершенно несомнѣнно: онъ не допускаетъ даже и мысли объ установленіи такихъ правилъ, которыя примѣнялись бы одинаково во *всѣхъ* дуэляхъ. Предполагается съ одной стороны, что офицерская дуэль необходима въ интересахъ арміи, съ другой стороны—что она неизбежна въ силу особыхъ взглядовъ на честь, господствующихъ въ средѣ офицеровъ. Интересы арміи—это поддержаніе воинственнаго духа, пренебреженія къ опасности, готовности рисковать и жертвовать жизнью. Какъ же объяснить, однако, что не во всѣхъ европейскихъ арміяхъ практикуется и поощряется дуэль, хотя, конечно, воинственный духъ не угасъ и даже не ослабѣлъ ни въ одной изъ нихъ? Англійскіе офицеры ничѣмъ, въ этомъ отношеніи, не уступаютъ континентальнымъ,—а между тѣмъ дуэль, за послѣдніе полвѣка, встрѣчается въ ихъ средѣ лишь въ видѣ самаго рѣдкаго исключенія. Общеупотребительной между англійскими офицерами дуэль перестала быть именно тогда, когда она исчезла въ другихъ классахъ англійскаго общества. Не наводитъ ли это на мысль, что социальный законъ, управляющій дуэлями, одинъ и тотъ же—въ данной странѣ и въ данное время—для всѣхъ сословій и профессій, стоящихъ на одномъ и томъ же, приблизительно, уровнѣ умственнаго и нравственнаго развитія? И въ самомъ дѣлѣ, развѣ представленіе о томъ, что тяжкое оскорбленіе можетъ быть смыто только кровью, свойственно, въ Россіи и въ западной Европѣ, однимъ только офицерамъ? Во Франціи, въ Италіи дуэль, въ кругу литераторовъ и въ особенности журналистовъ—явленіе ничуть не менѣе распространенное, чѣмъ въ кругу офицеровъ. На поединкѣ палъ Лассаль; на поединкѣ палъ, въ пятидесятыхъ годахъ, начальникъ берлинской полиціи. У насъ въ Россіи между дуэлями, сдѣлавшимися предметомъ громкихъ уголовныхъ процессовъ, нетрудно припомнить такіа, участники которыхъ были чиновники, публицисты, адвокаты. Инициатива дуэли, въ которой палъ Пушкинъ, принадлежала ему, а не его военному противнику. „Обычай—деспотъ межъ людей“ вообще, а не только межъ людей военныхъ. До тѣхъ поръ, пока общественное мнѣніе оправдываетъ выходящихъ на поединковъ и осуждаетъ отказывающихся отъ него, до тѣхъ поръ неизбежно снисходительное законодательство о дуэляхъ. Желать можно только одного: чтобы мѣра снисхожденія соответствовала обстоятельствамъ даннаго случая, образу *дѣйствител*ьныхъ участниковъ поединка, а не положенію ихъ въ обществѣ и не профессиональнымъ ихъ занятіямъ.

На основаніи правилъ объ офицерскихъ дуэляхъ, судъ общества

офицеровъ принимаетъ мѣры къ примиренію сторонъ, если признаетъ его согласнымъ съ достоинствомъ офицера и съ *традиціями части*. Рѣшающее значеніе слѣдовало бы признать, какъ намъ кажется, не за традиціями *части*, а за *общими традиціями армии*, образующими то общее понятіе о *воинской чести*, которымъ руководствуется общественное мнѣніе въ средѣ офицеровъ. Въ традиціяхъ *части* всегда есть элементъ случайный: онѣ могутъ, напримѣръ, требовать поединка только потому, что прошедшее части богато дуэлями и почти не знаетъ ссоръ, окончившихся примиреніемъ. Въ двухъ полкахъ исходъ аналогичныхъ дѣлъ можетъ быть, такимъ образомъ, совершенно различный, тогда какъ воинская честь—только одна, одинаковая для всѣхъ войсковыхъ частей. Такъ называемая *честь мундира*—синонимъ воинской чести; нельзя, поэтому, утверждать, что для носителей различныхъ мундировъ различны и способы возстановленія нарушенной чести. Фактически, конечно, традиции полка всегда могутъ вліять на постановленіе офицерскаго суда; но это вліяніе не должно быть узаконяемо, не должно быть разсматриваемо какъ нѣчто нормальное и правильное. Законъ долженъ стремиться, наоборотъ, къ возможно большому единообразію взглядовъ, регулирующихъ одну изъ важнѣйшихъ сторонъ военного быта.

Суду общества офицеровъ вмѣнено въ обязанность употреблять свое вліяніе на секундантовъ въ томъ смыслѣ, чтобы условія дуэли наиболѣе соотвѣтствовали обстоятельствамъ даннаго случая. Это постановленіе направлено, очевидно, къ тому, чтобы уменьшить шансы несчастнаго исхода дуэли и ограничить примѣненіе условій, особенно опасныхъ (напр. близкаго разстоянія, большого числа выстрѣловъ и т. п.), немногими, наиболѣе серьезными случаями. Нельзя не сочувствовать этому стремленію, но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не опасаться, что оно будетъ, до извѣстной степени, парализовано распоряженіемъ г. военнаго министра, обнародованнымъ одновременно съ правилами объ офицерскихъ дуэляхъ. „Означенныя правила,—сказано въ приказѣ г. министра,—не касаясь вовсе общихъ правъ суда общества офицеровъ входить во всѣхъ безъ исключенія случаяхъ въ обсужденіе неблаговидности поведенія офицера и постановлять объ удаленіи недостойныхъ офицеровъ изъ части, нисколько не ограничиваютъ сихъ правъ и въ отношеніи каждаго случая дуэли, когда обнаружится, что офицеръ, защищая свою честь или давая удовлетвореніе оскорбленному, не проявилъ при этомъ истиннаго чувства чести и собственного достоинства, а обнаружилъ стараніе соблюсти лишь одну форму“. Чтобы избѣжать подозрѣнія въ *стараніи соблюсти форму*, дуэлянты часто, по всей вѣроятности, будутъ отклонять сравнительно менѣе опасныя условія дуэли, хотя бы и предлагаемыя се

кундантами съ вѣдома офицерскаго суда. Имъ нелегко будетъ освободиться отъ опасенія, что согласіе ихъ можетъ быть въ послѣдствіи истолковано въ смыслѣ для нихъ неблагопріятномъ.

Поводами къ возбужденію дѣла о дуэли въ офицерскомъ судѣ новыя правила признаютъ съ одной стороны оскорбленіе, нанесенное офицеромъ офицеру, съ другой—оскорбленіе, нанесенное офицеру постороннимъ лицомъ. Намъ кажется, что къ этимъ двумъ поводамъ слѣдовало бы присоединить еще третій: оскорбленіе, нанесенное офицеромъ постороннему лицу. Самою собою разумѣется, что постановленіе офицерскаго суда обязательно для послѣдняго—но вѣдь оно точно такъ же обязательно для него и въ тѣхъ случаяхъ, когда ему принадлежитъ роль оскорбителя. Оскорбленное „постороннее лицо“ имѣетъ полное право обратиться къ содѣйствію офицерскаго суда, чтобы побудить оскорбителя къ извиненію или къ удовлетворенію путемъ дуэли. Несогласнымъ съ правилами чести, общей или спеціально-военной, бываетъ сплошь и рядомъ не только образъ дѣйствій оскорбленнаго, но и образъ дѣйствій оскорбителя; товарищескій судъ не можетъ и не долженъ смотрѣть сквозь пальцы на незаслуженное, ничѣмъ не вызванное оскорбленіе, нанесенное офицеромъ „постороннему лицу“, только потому, что это лицо не носитъ военнаго мундира. Представимъ себѣ, напримѣръ, такой случай: оскорбленіе нанесено офицеромъ, безъ всякой серьезной причины, пожилому, болѣзненному человѣку, неспособному владѣть оружіемъ—и оскорбитель отказывается извиниться передъ оскорбленнымъ. Трудно предположить, чтобы офицерскій судъ призналъ этого офицера достойнымъ оставаться въ офицерской средѣ. Уваженіе къ слабости, беспомощности и беззащитности—такое же требованіе чести, какъ и отсутствіе страха передъ силой.

Къ многочисленнымъ грѣхамъ второй французской имперіи принадлежитъ созданіе мелкой прессы (въ специфическомъ смыслѣ этого слова) и такъ называемой *presse à information*, т.-е. печати, гонящейся за „новостями дня“ и щеголяющей спѣшностью и подробностью (но не достовѣрностью) своихъ сообщеній. Оба эти паразитныя растенія быстро распространились за предѣлы Франціи; въ Европѣ, какъ и въ Америкѣ, едва-ли найдется періодическая литература, которая была бы отъ нихъ вполне свободна. Иногда они являются въ своей простѣйшей формѣ: изъ среды ежедневныхъ изданій выдѣляются такія, которыя исключительно или преимущественно промышляютъ сплетней, болтовней и наименѣе привлекательными видами репортерства. Случается, однако, что примѣру этихъ изданій начинаютъ слѣдовать, въ болѣе или меньшей степени, и другія, изъ категоріи „серьезныхъ“ органовъ прессы. Соперничествомъ въ раскрытіи и возможно-яркомъ освѣщеніи

сенсационныхъ фактовъ увлекаются и „большія“ газеты, предназначенныя для служенія инымъ, болѣе высокимъ цѣлямъ. Главнымъ объектомъ соперничества являются крупные уголовные процессы или выдающіяся „пронсшествія“. Подобно тому, какъ двадцать пять лѣтъ тому назадъ страницы парижскихъ газетъ наполнялись и переполнялись извѣстіями, догадками, комментаріями о кровавомъ дѣлѣ Тропмана, многія изъ нашихъ газетъ отводили недавно безчисленное количество столбцовъ дѣлу о подложномъ духовномъ завѣщаніи Грибанова. Когда оно сошло со сцены, мѣсто его заняло сначала убійство Довнара, потомъ убійство Чарнецкой. Ненормальна уже самая многочисленность и многословность сообщений, посвященныхъ всѣмъ этимъ событіямъ, ненормальны преждевременные, поверхностные, легкомысленные отзывы о нихъ, еще болѣе ненормально прямое приглашеніе къ такимъ отзывамъ, т.-е. поощреніе, со стороны одной изъ газетъ, переливанія изъ пустого въ порожнее, какъ нельзя менѣе соответствующаго серьезности темы. Чтобы понять вполнѣ, какъ не симпатичны новыя газетныя нравы и какъ желательно измѣненіе ихъ къ лучшему, необходимо привести нѣсколько примѣровъ, особенно поразительныхъ.

Въ половинѣ мая мѣсяца молодая женщина П. убиваетъ, въ номерѣ гостиницы, студента института путей сообщенія. Черезъ два дня послѣ этого событія въ одной изъ петербургскихъ газетъ появляется длиннѣйшій рассказъ о прежнихъ отношеніяхъ убійцы и жертвы преступленія—рассказъ, основанный, очевидно, на свѣдѣніяхъ наскоро собранныхъ, ничѣмъ не проверенныхъ, но претендующій на характеристику обоихъ дѣйствующихъ лицъ. Погибшій студентъ,—говоритъ рассказчикъ со словъ неизвѣстнаго лица,—пользовался средствами женщины, его убившей, и вмѣстѣ съ тѣмъ жестоко истязалъ ее, въ присутствіи своей матери. „Сильная волей, энергичная, обладающая горячимъ темпераментомъ южанки, дѣвушка становилась передъ своимъ повелителемъ робкой, бояливой, исполняла чудовищныя прихоти его, по одному его приказанію“. Еще два дня спустя та же газета печатаетъ новое сообщеніе, опять-таки имѣющее характеръ обвинительнаго акта противъ убитаго; опять идетъ рѣчь о его жестокости, о крупныхъ суммахъ, которыя онъ получалъ отъ П. Нѣсколько позже, въ другой газетѣ, появляется письмо лица, случайно встрѣтившагося на желѣзной дорогѣ съ матерью убитаго и слышавшаго отъ нея совсѣмъ иные отзывы объ участникахъ печальной драмы и объ обстоятельствахъ, ей предшествовавшихъ. Всѣ обвиненія, взведенныя на покойнаго, встрѣчаютъ здѣсь самое энергичное опроверженіе; въ крайне неблагопріятномъ свѣтѣ выставляется, зато, госпожа П. На чьей сторонѣ правда—объ этомъ мы, конечно, судить не беремся, да это для насъ, съ занимающей насъ

теперь точки зрѣнія, и безразлично; замѣтимъ только, что еслибы убитый былъ виновенъ въ эксплуатаціи своей связи съ госпожей П., то къ его памяти не отнеслись бы такъ сочувственно бывшіе товарищи его по институту... Проходитъ недѣли двѣ: въ Петербургѣ совершается новое убійство, на этотъ разъ съ корыстною цѣлью. Мельница, всего охотѣе занимающаяся перемоломъ всякихъ ужасовъ, опять приходитъ въ усиленное движеніе. На этотъ разъ убійца—лакей, находившійся въ услуженіи у убитой—представляетъ мало интереснаго, и усердіе репортеровъ сосредоточивается на жертвѣ преступленія. Въ той же газетѣ, которая такъ много потрудилась надъ раскрытіемъ грѣховъ убитаго студента, появляется подробнѣйшее сообщеніе о нравахъ и обычаяхъ убитой пожилой дѣвицы. Печатаются цѣлыя свидѣтельскія показанія о ея скупости, подозрительности, неделикатности въ обращеніи съ лицами, у нея жившими. Противъ покойной, незадолго до ея смерти, было предъявлено у мирового судьи уголовное обвиненіе въ оскорбленіи на письмѣ. Само собою разумѣется, что возбужденное такимъ образомъ дѣло прекращено, за смертью обвиняемой; но это не мѣшаетъ все той же газетѣ воспроизвести на своихъ столбцахъ письмо, подавшее поводъ къ процессу, „со всѣми его ореографическими особенностями“, а также выписку изъ жалобы отца оскорбленной. Въ разговорахъ, записанныхъ репортеромъ и напечатанныхъ въ газетѣ, идетъ рѣчь даже о томъ, что покойная не прочь была выйти замужъ!.. Спрашивается, прежде всего, какого серьезнаго читателя—а именно для такихъ читателей издается большая политическая газета—могутъ интересовать подобныя сообщенія? Кому нужно знать толки и пересуды, не умолкающіе даже передъ открытой могилой, даже передъ трагической смертью? Допустимъ, что госпожа Ч. не сдѣлалась бы жертвой преступленія: кому пришло бы тогда въ голову собирать и, тѣмъ болѣе, публиковать свѣденія о количествѣ употребляемаго ею сахара или хлѣба? Неужели эти свѣденія сдѣлались занимательными только потому, что несчастную женщину постигла ужасная участь? Быть можетъ, они удовлетворяютъ чье-либо любопытство—но это любопытство самаго низшаго сорта, ужъ, конечно, не заслуживающее поощренія. Почему, между прочимъ, такъ вредна мелкая пресса (мелкая, повторяемъ, въ специфическомъ смыслѣ слова, т.-е. не по формату, а по содержанію)? Потому что, предлагая своимъ читателямъ пищу дурного качества, сильно приправленную приностями, она дѣлаетъ ихъ менѣе воспріимчивыми къ здоровымъ питательнымъ веществамъ, менѣе способными и расположенными къ полезному чтенію. Обязанность „большой“ прессы—противодѣйствовать или, по меньшей мѣрѣ, не поддаваться этому вліянію. Для нея нѣтъ даже

того оправданія (весьма, впрочемъ, сомнительнаго), на которое могутъ ссылаться представители мелкой прессы: они не въ правѣ утверждать, что ничего другого, кромѣ сплетенъ и сенсационныхъ разсказовъ, не въ состояніи переварить ея читатели... Служа низкопробному любопытству, газеты не только понижаютъ умственный и нравственный уровень читающей публики: онѣ ухудшаютъ положеніе всѣхъ тѣхъ, на комъ безъ того уже тяжело отразилось преступленіе или „пронисшествіе“. Нетрудно себѣ представить, что должна была испытать мать убитаго студента, когда, вслѣдъ за вѣстью о смерти сына, до нея дошли газетныя статьи, омрачающія его память. Совершенно понятно, что она рѣшилась поѣхать въ Петербургъ, чтобы „спасти хотя бы опозоренную честь убитаго и остальной семьи“. Быть можетъ, близкіе люди были и у убитой старушки; каково, въ такомъ случаѣ, было имъ читать „надгробныя рѣчи“, о которыхъ мы упоминали выше!.. Тяжела, конечно, для участниковъ судебной драмы, для ихъ друзей и родственниковъ и та огласка, которая неразрывно (за рѣдкими исключеніями) связана съ судебнымъ процессомъ; но здѣсь частные интересы должны уступить общественному, требующему публичности и гласности судопроизводства. На судѣ, притомъ, дѣло выясняется со всѣхъ сторонъ, изъ первыхъ источниковъ, со всею достовѣрностью, какая только доступна для правосудія—а газетныя сообщенія почти всегда односторонни, случайны и недостоверны: опроверженіе того, что сказано въ одной газетѣ, печатается обыкновенно въ другой, т.-е. читается другою публикою. Если дѣло госпожи П. дойдетъ до суда, отношенія ея къ убитому будутъ, безъ сомнѣнія, предметомъ судебного слѣдствія и судебныхъ преній; но передъ судомъ показанія даются иначе, чѣмъ передъ газетнымъ репортеромъ, да и каждое изъ нихъ тотчасъ же можетъ быть проверено и исправлено... Когда процессъ законченъ, когда весь матеріалъ, имъ добытый, можетъ быть охваченъ однимъ взглядомъ, тогда и только тогда имѣются на лицо всѣ условія для опредѣленія его общественнаго и психологическаго значенія; тогда наступаетъ время для сужденій и выводовъ, раньше неудобныхъ уже потому, что они могутъ заронить въ комъ-либо изъ будущихъ судей предубѣжденіе въ пользу или противъ обвиняемаго.

Спѣшимъ замѣтить, что единственное лекарство противъ указанной нами болѣзни мы видимъ въ распространеніи болѣе правильныхъ взглядовъ на обязанности и задачи печати. Вмѣшательство суда или, тѣмъ болѣе, администраціи было бы зломъ еще худшимъ, нежели то, противъ котораго оно было бы направлено. Если общественное мнѣніе, до известной степени, подчиняется печати, то и печать, въ свою очередь, испытываетъ его вліяніе. Рѣшительное осужденіе сообщеній, рассчитанныхъ только на праздное любопытство

—осужденіе, повторенное съ разныхъ сторонъ, съ достаточною силой— должно, рано или поздно, возвратить печать въ тѣ границы, которыхъ она держалась еще недавно и которыя отнюдь не уменьшаютъ область фактовъ, доступныхъ гласности.

Въ іюньской книжкѣ „Русскаго Обзорѣнія“ (стр. 853—856) появилось письмо г. Тихомірова „Г. Редактору Вѣстника Европы“, гдѣ онъ сѣтуетъ на „искаженіе“, будто бы, его замѣтки о „сословіи журналистовъ“ и говоритъ, между прочимъ, что „какъ ни обычна политическая нечестность въ современной журналистикѣ (?), но приписать противнику то, что диаметрально противоположно его словамъ— это уже выходитъ изъ предѣловъ обычнаго. Это поступокъ, явно разсчитанный на то, что сами читатели „Вѣстника Европы“ не станутъ справляться съ моей статьей, а всѣ союзническіе (?) „либеральные“ органы не захотятъ разоблачать „своего“, что бы онъ ни выкинулъ. Г. Стасюлевичъ, на котораго падаетъ отвѣтственность за поступокъ его редакціи, воспитался въ такіа времена и въ такихъ sloxъ, гдѣ было еще живо сознаніе литературной порядочности. Къ этому чувству, видимо заглужающему въ ученикахъ старыхъ либераловъ, я обращаюсь, покорнѣйше прося лично г. Стасюлевича свѣрить тексты, свѣрить то, что я говорю, и то, что приписываетъ мнѣ руководимый ею журналъ“.

Но самъ г. Тихоміровъ предупредилъ редактора „Вѣстника Европы“ и уже въ письмѣ къ нему (стр. 854 и 855) перепечаталъ текстъ своей замѣтки, а вслѣдъ затѣмъ и текстъ нашей хроники; чтобы исполнить просьбу г. Тихомірова, г. Стасюлевичу ничего не оставалось бы, какъ перепечатать еще разъ изъ письма самого г. Тихомірова и то, и другое, en regard, для удобства сравненія инкриминированнаго мѣста, что мы и исполнимъ:

Г. Тихоміровъ:

„Собственно говоря, „разбойники пера и мошенники печати“ *всѣмъ направлены* и теперь не пропадаютъ. Именно они-то и имѣютъ наиболѣе шансовъ успѣха, какъ всегда бываетъ при всякой анархіи, при отсутствіи правильной организаціи. Еслибы правительство и сами журналисты сдѣлали все, что возможно для упорядоченія самого сословія журналистовъ, это обратилось бы на пользу не разбойниковъ пера и мошенниковъ печати, а совершенно наоборотъ—противъ нихъ“ („Русское Обзор.“, апр., стр. 950—951).

Наша хроника:

„Г. Тихоміровъ старается успокоить единомышленную ему газету („Москов. Вѣд.“), обращая ея вниманіе на то, что всего больше шансовъ успѣха „мошенники пера и разбойники печати“ имѣютъ именно при „отсутствіи правильной организаціи“. Еслибы правительство и сами журналисты дѣлали все, что возможно, для упорядоченія самого сословія журналистовъ, это обратилось бы на пользу не разбойникамъ пера и мошенникамъ печати, а совершенно наоборотъ—противъ нихъ“ („Вѣстникъ Европы“, Обществ. Хрон., май, стр. 443).

„Я спрашиваю г. Стасюлевича,—восклицаетъ не безъ пафоса г. Тихоміровъ,—какъ назвать писателей, позволяющихъ себѣ такой полемическій подлогъ?“—Но какъ самъ г. Тихоміровъ назоветъ писателей, усматривающихъ полемическій „подлогъ“ тамъ, гдѣ его вовсе нѣтъ, какъ то ясно видно изъ сравненія двухъ вышеприведенныхъ текстовъ. Если г. Тихоміровъ допускаетъ „разбойниковъ пера и мошенниковъ печати“ *въсѣхъ направленій* и при этомъ обращается именно къ „Московскимъ Вѣдомостямъ“, то, конечно, онъ говоритъ языкомъ понятнымъ этой газетѣ, на столбцахъ которой появилось впервые то выраженіе, при прежнемъ редакторѣ этой газеты, Катковѣ, а потому г. Тихоміровъ напрасно увѣряетъ, говоря: „кого подразумѣвалъ Катковъ подъ названіемъ „мошенниковъ пера и разбойниковъ печати“—это безразлично“. Нѣтъ, это вовсе не безразлично, а въ настоящемъ случаѣ даже весьма существенно; допуская существованіе разбойниковъ пера и мошенниковъ печати во „всѣхъ направленіяхъ“, г. Тихоміровъ повторилъ только то, что говорятъ и сами „Московскія Вѣдомости“, нападая на либерализмъ и на „иные измы“. Нѣтъ сомнѣнія, что при этомъ „Московскія Вѣдомости“ исключаютъ себя изъ числа этихъ „иныхъ измовъ“, точно также какъ и г. Тихоміровъ, говоря „Московскимъ Вѣдомостямъ“ о „мошенникахъ печати *въсѣхъ направленій*“, исключаетъ и себя, и „Москов. Вѣдомости“. „Я,—сообщаетъ нынѣ г. Тихоміровъ,—въ всякихъ недоразумѣній, называю мошенниками и разбойниками именно мошенниковъ и разбойниковъ, не либераловъ, не консерваторовъ, а тѣхъ безсовѣстныхъ писателей, которые совершаютъ акты мошенничества и литературнаго разбоя при помощи пера, то-есть, напримѣръ, кто сознательно клеветаетъ на противника, умышленно передѣлывая текстъ его статьи и т. п.“. Просимъ позволенія дополнить этотъ примѣръ еще однимъ примѣромъ и включить сюда прежде всего тѣхъ, кто, желая извернуться и взять на себя роль „угнетенной невинности“, обвиняетъ противника въ передѣлкѣ имъ текста его статьи и подлогѣ, котораго, однако, не оказывается въ дѣйствительности, какъ то ясно видно изъ вышеприведеннаго сравненія текстовъ.

Издатель и редакторъ: М. Стасюлевичъ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.

Промышленные кризисы въ современной Англіи, ихъ причины и вліяніе на народную жизнь. М. И. Туганъ-Барановскаго. Съ приложениемъ 12 диаграммъ. Спб., 1894. Стр. II и 512. Ц. 3 р.

Въ изслѣдованіи г. Туганъ-Барановскаго собрано много данныхъ для разъясненія особенностей того типа крупной промышленности, который достигъ наибольшаго развитія и процвѣтанія въ Англіи. Такъ какъ въ другихъ государствахъ, въ томъ числѣ у насъ въ Россіи, до сихъ поръ еще господствуетъ представленіе о торжествѣ капиталистической фабрично-заводской формы промышленности, какъ о высшемъ идеалѣ хозяйственнаго развитія и богатства страны, то практическіе результаты англійской промышленной системы приобретаютъ общее значеніе и должны быть принимаемы къ свѣдѣнію во всѣхъ вообще странахъ, слѣдующихъ экономическому примѣру Англіи. Въ этомъ отношеніи весьма важную роль играютъ постоянно повторяющіеся промышленные кризисы, которые по мѣрѣ успѣховъ крупнаго производства становятся все болѣе частыми и продолжительными, превращаясь въ періоды хроническаго зстоя и упадка. Экономисты и практическіе дѣятели смотрѣли прежде на кризисъ какъ на временныя и случайныя явленія, происходившія отъ какихъ-либо спеціальныхъ причинъ; но со временемъ пришлось убѣдиться, что эти губительные кризисы находятся въ органической связи съ новымъ промышленнымъ строемъ и составляютъ его существенную, необходимую принадлежность. Такое положеніе вещей, какъ справедливо замѣчаетъ авторъ, доказываетъ, что современная организація народнаго хозяйства не удовлетворяетъ своему назначенію. Важнѣйшая задача нашего времени заключается поэтому въ экономической реформѣ, способной „избавить человечество отъ потрясеній и нестачей, сопровождающихъ въ настоящее время промышленный прогрессъ“. Неограниченная свобода конкуренціи должна уступить мѣсто особому порядку „регулированія общественнаго процесса производства“, и установленіе этого порядка есть дѣло будущаго. Книга г. Туганъ-Барановскаго заключаетъ въ себѣ не только обстоятельную исторію англійскихъ кризисовъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, но вмѣстѣ съ тѣмъ и общій очеркъ развитія англійскаго народнаго хозяйства въ новѣйшее время. Авторъ заимствовалъ свои матеріалы, главнымъ образомъ, изъ первыхъ источниковъ—англійскихъ „синихъ книгъ“, отчетовъ парламентскихъ комиссій и официальныхъ статистическихъ изданій, которыми онъ пользовался въ Британскомъ музеѣ въ Лондонѣ, въ теченіе 1892 года. Мы будемъ еще, вѣроятно, имѣть случай возвратиться къ данному изслѣдованію г. Туганъ-Барановскаго.

Указъ и законъ. Изслѣдованіе Н. М. Коркунова. Спб., 1894. Стр. VIII и 408. Ц. 2 р. 50 к.

Различіе между закономъ и распоряженіемъ, возбуждавшее болѣе споры въ западно-европейской и особенно нѣмецкой литературѣ, не представляетъ, повидимому, особенной практической важности у насъ въ Россіи, въ виду отсутствія того раздѣленія властей, которое существуетъ на западѣ. Когда источникъ законодательной и исполнительной власти—одинъ и тотъ

же, то весь вопросъ объ отличіи закона отъ распоряженія сводится въ сущности къ вопросу чисто формальному, при оцѣнкѣ правительственныхъ актовъ, исходящихъ отъ Высочайшей власти; что же касается административныхъ распоряженій и разъясненій, не имѣющихъ такой санкціи, то, казалось бы, этого внѣшняго признака исполнѣ достаточно для отличія ихъ отъ законовъ. Тѣмъ не менѣе, какъ доказываетъ проф. Коркуновъ въ своей интересной книгѣ, вопросъ имѣетъ серьезное значеніе и для нашей государственной и общественной жизни. Многія указанія и доводы автора поучительны не для однихъ только юристовъ. Быть можетъ, слово „указъ“ не совсемъ точно передаетъ смыслъ нѣмецкаго „Verordnung“, по нашему „распоряженія“, и эта неточность бросается въ глаза уже въ самомъ заглавіи книги. Но всякій пойметъ, почему надо отличать указъ отъ закона, когда въ нашей законодательной практикѣ вовсе не соблюдается такого различія; болѣею частью указами называются у насъ спеціальныя законы, изданные Высочайшею властью, и по значенію своему ничѣмъ не отличающіеся отъ обыкновенныхъ законовъ. Какъ признаетъ самъ авторъ, „акты, исходящіе отъ министровъ, никогда не называются указами“, и трудно поэтому согласиться съ его мнѣніемъ, что „такія выраженія, какъ министерскій, губернаторскій, земскій, думскій указъ нисколько не рѣжутъ уха“. Но неудачность того или другого термина не отражается, конечно, на достоинствѣ содержанія книги г. Коркунова и не умаляютъ принципиальнаго значенія его выводовъ.

Государственное хозяйство Швеции. Изслѣдованіе Эдуарда Берендса, проф. Демидовскаго юридическаго лицей. Ч. II, выпускъ II. Формальный строй государственнаго хозяйства Швеции. Ярославль, 1894. Стр. V и 324.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ появился огромный томъ, посвященный исторіи государственнаго хозяйства Швеции до начала настоящаго столѣтія; этотъ первый трудъ г. Берендса, задуманный по обширному плану, обращалъ на себя вниманіе богатствомъ и интересомъ содержанія и былъ, конечно, по справедливости оцѣненъ специалистами. Вышедшіе недавно два выпуска второй части составляютъ продолженіе означенной работы и отличаются такою же полнотою и повизною матеріала. Фактически свѣденія о государственномъ хозяйствѣ Швеции являются впервые въ русской печати въ столь обстоятельной и систематической обработкѣ; въ этомъ отношеніи заслуга проф. Берендса тѣмъ болѣе значительна, что природныя условія Швеции во многомъ напоминаютъ сѣверный русскій край и даютъ поводъ къ поучительнымъ параллелямъ и выводамъ. Въ первомъ выпускѣ представленъ ходъ политическаго и социально-экономическаго развитія Швеции въ XIX столѣтіи, а въ появившемся нынѣ второмъ отдѣлѣ изложены начала современнаго „формальнаго строя государственнаго хозяйства Швеции“, а именно о субъектахъ финансовой власти, о бюджетѣ и бюджетномъ правѣ, объ органахъ финансоваго управленія, о механизмѣ движенія суммъ, контролѣ и административной юстиціи въ области государственныхъ финансовъ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКѢ

въ 1894 г.

(Двадцать-девятый годъ)

„ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ“

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСТОРИИ, ПОЛИТИКИ И ЛИТЕРАТУРЫ

— выходитъ въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца, 12 книгъ въ годъ, отъ 28 до 30 листовъ обыкновеннаго журнальнаго формата.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.

	На годъ:	По полугодіямъ:		По четвертямъ года:			
		Январь	Іюль	Январь	Апрѣль	Іюль	Октябрь
Безъ доставки, въ Конторѣ журнала	15 р. 50 к.	7 р. 75 к.	7 р. 75 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 80 к.
Въ Петербургѣ, съ доставкой	16 „ — „	8 „ — „	8 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „
Въ Москвѣ и друг. городахъ, съ перес.	17 „ — „	9 „ — „	8 „ — „	5 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „
За границы, въ госуд. почтов. союза	19 „ — „	10 „ — „	9 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	4 „ — „

Отдѣльная книга журнала, съ доставкой и пересылкою — 1 р. 50 к.

Примѣчаніе. — Въмѣсто разсрочки годовой подписки на журналъ, подписка по полугодіямъ: въ январь и іюль, и по четвертямъ года: въ январь, апрѣль, іюль и октябрь, принимается—безъ повышенія годовой цѣны подписки.

Съ перваго іюля открыта подписка на третью четверть 1894 г.

Книжные магазины, при годовой и полугодовой подпискѣ, пользуются обычною уступкою.

ПОДПИСКА принимается — въ *Петербургѣ*: 1) въ Конторѣ журнала, на Вас. Остр., 5 лин., 28; и 2) въ ея Отдѣленіяхъ, при книжн. магаз. К. Риккера на Невск. просп., 14; А. Ф. Цинзерлинга, Невскій просп., 20, у Полицейскаго моста (бывшій Мелье и К^о), и Н. Фену и К^о, Невскій просп., 42; — въ *Москвѣ*: 1) въ книжн. магаз. Н. И. Мамонтова, на Кузнецкомъ Мосту; Н. П. Карбасникова, на Моховой, домъ Коха, и 2) въ Конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи. — *Иногородные и иностранные* — обращаются: 1) по почтѣ, въ Редакцію журнала, Спб., Галерная, 20; и 2) лично—въ Контору журнала. — Тамъ же принимаются

ИЗВѢЩЕНІЯ И ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Примѣчаніе. — 1) *Почтовый адресъ* долженъ заключать въ себѣ: имя, отчество, фамилію, съ точнымъ обозначеніемъ губерніи, уѣзда и мѣстожительства и съ названіемъ ближайшаго къ нему почтоваго учрежденія, гдѣ (NB) *допускается* выдача журналовъ, если нѣтъ такого учрежденія въ самомъ мѣстожительствѣ подписчика. — 2) *Перемена адреса* должна быть сообщена Конторѣ журнала своевременно, съ указаніемъ прежняго адреса, при чемъ городскіе подписчики, переходя въ иногородные, доплачиваютъ 1 руб. 50 коп., и иногородные, переходя въ городскіе — 40 коп. — 3) *Жалобы* на неисправность доставки доставляются исключительно въ Редакцію журнала, если подписка была сдѣлана въ вышепоименованныхъ мѣстахъ и, согласно объявленію отъ Почтоваго Департамента, не позже какъ по полученіи слѣдующей книги журнала. — 4) *Билеты* на получение журнала высылаются Конторою только тѣмъ изъ иногородныхъ или иностранныхъ подписчиковъ, которые приложить къ подписной суммѣ 14 коп. почтовыми марками.

Издатель и отвѣтственный редакторъ М. М. Стасюлевичъ.

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“:

Спб., Галерная, 20.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА:

Вас. Остр., 5 л., 28.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА:

Вас. Остр., Академ. пер., 7.

Digitized by Google

ВЪСТЪЖЪ ЕВРОПЫ
ЖУРНАЛЪ
ИСТОРИИ-ПОЛИТИКИ.
ЛЮБОВЬ.

ДВАДЦАТЬ-ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ. — КНИГА 8-я.

2 АВГУСТЪ, 1894.

ПЕТЕРБУРГЪ.

КНИГА 8-я. — АВГУСТЪ, 1894.

Стр.

I.—СИНГАПУРЪ. — Очерки и воспоминанія кругосвѣтнаго плаванія. — Влад. Тихонирова.	461
II.—ПРОТИВОРѢЧІЯ НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ. — Кн. С. Трубецкого	510
III.—ВЕСЕННІЯ ИЛЛЮЗИИ. — Повѣсть. — VII-XIV. — В. Дмитріевой.	528
IV.—ЭКОНОМИЧЕСКІЙ МАТЕРІАЛИЗМЪ ВЪ ИСТОРИИ. — VI-IX. — Н. Н. Карьева.	568
V.—СТИХОТВОРЕНІЯ. — Мих. Гербацковскаго	607
VI.—Н. В. ГОГОЛЬ. — Пять лѣтъ жизни за границей, 1836—1841 г. — XIII-XX. — В. П. Шенрокъ.	611
VII.—ВЪ ЧАДУ ЛЮБВИ. — Im Liebesgansch, von Heinz Tovote. — Съ нѣмецкаго. — Окончаніе. — А. Б.—Г	648
VIII.—ИЗЪ КОМАНДИРОВКИ НА ЭПИДЕМИИ ВЪ 1892 ГОДУ. — Личныя наблюденія и замѣтки. — Н. Б.	698
IX.—ИТОГИ СТАРАГО МОСКОВСКАГО ЦАРСТВА. — А. Н. Пыпина	760
X.—ВАРІАЦИИ НА „CARNIVAL DE VENISE“. — Т. Готье. — О. Михайловой.	806
XI.—ПОЗЕМЕЛЬНЫЯ ЗАДАЧИ. — Л. З. Слонимскаго	810
XII.—ХРОНИКА. — ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ. — Крестьянское населеніе земской Россіи. — Н. Благовѣщенскаго	828
XIII.—ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНІЕ ПО „ГРАЖДАНИНУ“. — Письмо въ Редакцію. — Р.	851
XIV.—ЗАМѢТКА. — По поводу засѣданія московскаго губернскаго земскаго собранія 10 іюня. — Н. Горбова	854
XV.—ПО ПОВОДУ ПАСПОРТНАГО УСТАВА. — О. О.	859
XVI.—ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ. — Внутренняя политика во Франціи. — Правительственные проекты и парламентская оппозиція. — Недоразумѣнія по поводу новаго закона объ анархистахъ. — Замѣчанія и выводы „Московскихъ Вѣдомостей“. — Болгарскія дѣла и русскіе корреспонденты	866
XVII.—ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. — И. А. Саловъ. Суета мірская. Очерки и рассказы. — Македонско-славянскій сборникъ, съ прилож. словаря. Составилъ П. Драгановъ. Вып. I. — Русская поэзія. Издастся п. р. С. А. Венгерова. Вып. IV. — Т. — Русскіе символисты. Вып. I. Валерій Брюсовъ и А. Л. Мировольскій. — Вл. С. — Новыя книги и брошюры.	880
XVIII.—ЗАМѢТКА. — Былъ ли В. И. Григоровичъ въ Римѣ въ 1840—1841 г.? — Н. П. Булича	895
XIX.—НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. — I. A. de Lamartine. Philosophie et Littérature. — П. Н. Beyle (Stendhal). Lucien Leuwen. Oeuvre posthume etc. — З. В.	900
XX.—ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ. — Дѣло сельскаго народнаго образованія 30 лѣтъ тому назадъ и сегодня. — Школы министерства государственныхъ имуществъ и церковно-приходскія того времени, ихъ численность и качество. — Примѣръ полтавской губерніи. — Школьная статистика московскаго земства; образцовое изслѣдованіе двухъ ея уѣздовъ, и практическіе его результаты. — Н. П. Колюпановъ и Н. М. Астыревъ †.	912
XXI.—ИЗВѢЩЕНІЯ. — Отъ Сиб. Комитета Грамотности	922
XXII.—БИБЛОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ. — Стратегія въ эпоху Наполеона I и въ наше время. Капитана Мартынова. — Бар. М. Таубе. Исторія зарожденія современнаго международнаго права. Средніе вѣка. Т. I. — Настоящій Энциклопедическій словарь. Т. VI (Муромъ-Побѣдоносцевъ). Изданіе А. Граната и К ^о , бывшее — А. Гарбеля и К ^о . — Русское государственное право. Т. I. проф. Н. О. Кулевскаго.	
XXIII.—ОБЪЯВЛЕНІЯ. — I-XVI стр.	



СИНГАПУРЪ

ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНІЯ КРУГОСВѢТНАГО ПЛАВАНІЯ.

Во время кругосвѣтнаго плаванія мнѣ, по особымъ условіямъ самаго путешествія, трижды пришлось побывать въ Сингапурѣ: въ мартѣ, маѣ и юнѣ 1891 года.

Раннимъ утромъ, въ 7^{1/2} часовъ, старикъ „Djemnah“, пароходъ общества „Messageries Maritimes“, совершавшій свой послѣдній рейсъ на дальній востокъ, покинулъ, при отличной погодѣ и тихомъ морѣ, рейдъ Коломбо и направился въ ближайшій по пути своего слѣдованія портъ Сингапуръ. Несмотря на преклонный возрастъ (построенъ въ началѣ 60-хъ годовъ), трехмачтовый „Djemnah“—хорошій ходокъ, какъ и всѣ его товарищи, французскіе почтовые пароходы, идущіе всегда скорѣе своихъ многочисленныхъ здѣсь, какъ и вездѣ, англійскихъ конкурентовъ (на которыхъ, замѣтимъ кстати, каюты и столъ, послѣдній особенно, значительно хуже, а плата дороже), дѣлая въ часъ отъ 13 до 14 узловъ (узелъ—морская миля—равенъ 1^{3/4} нашей версты) вмѣсто обязательныхъ 12-ти, добѣжалъ до Сингапура въ пять сутокъ только. Въ 8^{1/2} часовъ утра 18-го марта мы уже стояли на якорѣ передъ первымъ по его значенію, всемірнымъ портомъ этого города.

Самое плаваніе отъ Коломбо до Сингапура началось при у ляхъ вполне благоприятныхъ. Какъ уже упомянуто, мы в ѣ въ ясную погоду и при морѣ вполне тихомъ. Подъ а ль синимъ небомъ горѣлъ своею ослѣпительной бѣлизною с лй знакомый маякъ Коломбо. Лазурь Индійскаго океана б такъ же глубока, ярка и безмятежна, какъ опрокинувшійся н нимъ небесный сводъ. На гладкой безбрежной водной рав-
номъ IV.—Августъ, 1894.

нинѣ океана справа ни одного „барашка“, слѣва—кокосовая роща, въ которой пріютился Galle-Façe-Hôtel—последняя окраина Коломбо, отель, служившій мнѣ постояннымъ жилищемъ на островѣ. Затѣмъ потянулись какъ бы рвущіяся на встрѣчу къ морю и склоняющіяся надъ нимъ сплошныя заросли кокосовыхъ плантацій; въ дымкѣ прозрачнаго тумана обрисовались далѣе, сначала неясно, а затѣмъ все рѣзче и рѣзче выступающія синеватыя очертанія ближайшей цѣпи горъ центральной возвышенности острова (мы шли постоянно вдоль берега), а въ два часа пополудни впереди снова видѣлся уже другой маякъ, бѣлѣли представшіяся въ густой темной зелени разбросанныя тамъ и самъ низкія постройки, и молочно-жемчужная пѣна могучаго прибоя (здѣсь постоянного вслѣдствіе утесистости берега) выдѣлялись особенно рѣзко на общемъ зеленомъ фонѣ прибрежнаго лѣса: то была Punto-Gala, передѣланная французами въ Point de Galle и подъ этимъ искаженіемъ сохранившаяся поднесъ во всѣхъ учебникахъ географіи: Gala на языкѣ сингалезовъ значитъ: скала, Kandy—утесъ; таково истинное происхожденіе названій двухъ старѣйшихъ и знаменитѣйшихъ городовъ Цейлона: его перваго порта и столицы, такъ долго послѣдовательно и упорно отстаивавшей свою независимость отъ Португаліи, Голландіи и, наконецъ, Англіи, ее покорившей.

Названіе Punto-Gala является сочетаніемъ сингалезскаго слова Gala, скала, съ португальскимъ Punto—точка или мысъ, такъ какъ городъ расположенъ дѣйствительно на выдающемся далеко въ море утесистомъ мысѣ. Этотъ мысъ и охватывающіе его широкимъ кольцомъ коралловые рифы образуютъ превосходную, отеритую лишь къ югу, обширную и безопасную гавань одного изъ безспорно лучшихъ въ мірѣ портовъ. Онъ былъ бы даже безукоризненнымъ вполнѣ, еслибы не пожалѣли средствъ и динамита, чтобы взорвать встрѣчающіеся кое-гдѣ внутри его коралловые утесы, могущіе быть опасными судамъ при недостаточномъ знакомствѣ съ топографіею порта.

Окружающіе городъ, съ центральной стороны острова, лѣса замыкаются, какъ уже упомянуто, на горизонтѣ горною цѣпью, тянущеюся параллельно берегу. Между синими вершинами последней рѣзко выступаетъ своими высотой и причудливыми очертаніями „Хей-кокъ“ (Haу-sock), названная такъ англичанами по сходству ея со стогомъ сѣна. Гора эта видна съ моря на далекое разстояніе и является для подходящихъ къ Punto-Gala судовъ первымъ признакомъ близкой земли.

По своему выдающемуся выгодному положенію между Егип-

томъ и Аравією съ одной стороны, Китаемъ, Малайскимъ архипелагомъ и Индією съ другой, Puntó-Gála былъ съ древнѣйшихъ временъ величайшимъ торговымъ морскимъ центромъ отдаленнаго востока, и только искусственное возвеличеніе Коломбо на его счетъ, постройка въ гавани послѣдняго гигантскаго (стоившаго миллионы) искусственнаго мола для защиты судовъ въ открытомъ рейдѣ, отняли въ настоящее время у Пунто-Гала его первенствующее значеніе.

Онъ сохраняетъ его, впрочемъ, отчасти, какъ второе по важности послѣ Коломбо мѣсто вывоза важнѣйшаго туземнаго продукта острова—вокосоваго масла, его сѣмянныхъ ядеръ (сорга), выжимаемыхъ уже въ Европѣ, и волоконъ (соіг). Извѣстно, что другіе важнѣйшіе продукты вывоза Цейлона: хинная корка, кофе, а теперь главнымъ образомъ чай, какао и въ послѣднее время мускатный орѣхъ—продукты растеній, только нашедшихъ на Цейлонѣ свое второе отечество, но не туземныхъ. Было время, когда Цейлонъ вообще и Пунто-Гала въ особенности являлись центрами вывоза другого, весьма цѣннаго туземнаго продукта: цейлонской корицы, но это время давно прошло. Въ настоящее время цейлонская корица подавлена на міровомъ рынкѣ болѣе дешевою, хотя и болѣе грубою обыкновенною корицею китайскою.

Наблюдая неприглядное и вообще упадающее состояніе тѣхъ называемыхъ *коричными садами*, „Cinamon-Gardens“, въ окрестностяхъ Коломбо и зная, что Пунто-Гала была издавна центромъ производства корицы, зная въ то же время, что этимъ важнымъ центромъ Цейлона мнѣ придется любоваться лишь съ борта парохода, я еще въ бытность свою въ Коломбо старался путемъ разспросовъ свѣдущихъ туземцевъ (производство корицы въ противоположность чайному находится почти исключительно въ рукахъ сингалезовъ) выяснить себѣ, въ какомъ положеніи находится теперь тамъ этотъ вопросъ. Наиболѣе обстоятельныя свѣденія были сообщены мнѣ въ этомъ отношеніи народнымъ врачомъ, сингалезомъ Nami-Widampati, первымъ практикомъ и медицинской знаменитостью „черной“, т. е. туземной части населенія города Коломбо.

Этому почтенному собрату по профессіи обязанъ я многими приобрѣтеніями и свѣденіями по части цейлонскихъ народныхъ лекарственныхъ средствъ, которыя были знакомы ему въ совершенствѣ.

Владѣя свободно санскритомъ и языкомъ пали, онъ представлялъ собою настоящаго туземнаго ученаго, прекрасно знакомаго съ древнею индійскою медициною, и не разъ приходилось жалѣть, что некомпетентность переводчика при передачѣ черезъ-

чуръ спеціальныхъ темъ бесѣды часто лишала меня возможности пользоваться передаваемыми интересными свѣдѣніями.

Въ средѣ своей многочисленной практики Hani-Widampati пользовался величайшимъ авторитетомъ и уваженіемъ, между прочимъ, и какъ человекъ: за строгое соблюденіе національнаго образа жизни и одежды, а также и за антипатію въ англичанамъ, которыхъ туземное населеніе Цейлона (какъ и другихъ колоній) имѣетъ полное основаніе не очень любить...

Самая наружность моего новаго коллеги, въ особенности же его исполненное скромнаго достоинства умѣнье держать себя, дѣйствительно могли сразу расположить въ его пользу и внушить въ себѣ довѣріе: очень выразительное, строгое коричневое лицо 65-лѣтняго старика, правильнаго арійскаго типа, сѣдые, довольно густые еще волосы, заплетенные свади въ косу и спереди украшенные двумя черепаховыми гребнями: однимъ полукруглымъ надъ лбомъ, обращеннымъ выгнутостью назадъ и другимъ на затылкѣ, съ очень высокою, по угламъ расходящеюся въ видѣ роговъ спинкою, сѣбно-бѣлая коленкоровая кофточка съ широкими рукавами, темная ситцевая юбка, вмѣсто нижняго платья, спускающаяся отъ пояса почти до земли, и ноги, обутыя въ сандаліи, сплетенныя изъ растительныхъ волоконъ—таковъ былъ своеобразный и при всей простотѣ одежды исполненный строгаго достоинства и благообразія видъ моего цейлонскаго собрата, который сообщилъ по поводу корицы слѣдующія данныя: въ окрестностяхъ Коломбо и Пунто-Гала мелкіе собственники-крестьяне готовятъ для экспорта корицу въ апрѣлѣ и продаютъ ее, небольшими партіями въ 400—600 фунтовъ, особымъ скупщикамъ, имѣющимъ дѣло съ торговыми фирмами, занимающимися окончательною отправкою товара. Кромѣ того туземцами изготовляется также въ мѣстечкѣ Baddegama, въ 4 миляхъ отъ Пунто-Гала, добываемое на мѣстѣ перегонкою съ водою, эеирное масло корицы (наиболѣе цѣнный продуктъ ея).

Сколько можно было понять, перегонка эта совершается довольно первобытнымъ способомъ, влекущимъ за собою большія потери цѣннаго продукта,—въ мѣдныхъ кубкахъ и оловянныхъ пріемникахъ, при охлажденіи соединяющихъ кубъ и пріемникъ змѣевиковъ (металлическихъ проводныхъ трубокъ) водою.

Прежде Пунто-Гала славилась также торговлей драгоценными камнями (алмазы, топазы, изумруды) и въ особенности жемчугомъ; въ настоящее время добыча ихъ на Цейлонѣ значительно уменьшилась, и эта отрасль промышленности утратила также свое прежнее значеніе.

Возвратимся къ нашему плаванію. Третій маякъ на южной оконечности Цейлона послалъ мнѣ въ 3^{1/2} часа пополудни свое послѣднее прости, а въ 4 часа круговая линія горизонта ограничивала уже одну только водную гладь: мы были теперь въ открытомъ океанѣ, тихомъ и спокойномъ, какъ прудъ.

На другой день, однако, океанъ этотъ оказался предателемъ въ полномъ смыслѣ слова: при наступившей пасмурной погодѣ, мелкомъ дождѣ и безпрестанно вспыхивающихъ на горизонтѣ молніяхъ, пароходъ попалъ въ полосу такъ называемой у моряковъ *мертвой зыби*.

Явленіе это состоитъ въ томъ, что подъ вліяніемъ теченій различной температуры, или какихъ-либо иныхъ совсѣмъ неизвѣстныхъ причинъ, при совершенно спокойной поверхности моря на нѣкоторой глубинѣ его появляется волненіе, которое передается пароходу и всему на немъ находящемуся. Тогда людямъ, подверженнымъ морской болѣзни, приходится не только плохо, но и обидно! Лежитъ себѣ такой будущій страдалецъ на палубѣ въ своемъ длинномъ плетеномъ креслѣ-кушеткѣ, нѣжась подъ плотнымъ тентомъ (натянутою надъ всею почти палубою въ видѣ крыши двойною парусиною), или сидитъ въ салонѣ подъ освѣжающими непрерывными размахами гигантскаго вѣера—такъ называемая „панка“—рядъ широкихъ и плотныхъ полотняныхъ, спускающихся съ потолка сторъ, приводимыхъ въ движеніе электродинамомашинною силою или чаще, по старому обычаю, веревкою, которую непрерывно дергаетъ предназначенный исключительно для этой цѣли и сидящій за дверьми салона китаецъ—эта необходимая живая принадлежность каждаго почтового парохода индо-китайской линіи. Пассажиръ радуется, что море такъ смирно сегодня... Вдругъ пассажиру становится что-то не по себѣ. Не замѣчая никакой качки, онъ рѣшается посмотретьъ, кланяются ли поочередно носъ и корма морю; устанавливаетъ свое кресло ради этого по возможности у гротъ-мачты, т.-е. въ центрѣ судна, убѣждается, что все обстоитъ благополучно, и вдругъ... едва успѣваетъ, а подчасъ и не успѣваетъ добѣжать до своей каюты, чтобы тамъ, вдали отъ нескромныхъ и часто даже насмѣшливыхъ взоровъ скрыть внезапно предательски охватившій его недугъ, близости котораго онъ не допускалъ въ эти минуты: морскую болѣзнь.

Таковы бывають результаты мертвой зыби, которую пришлось пережить пассажирамъ нашего парохода между Цейлономъ и Сингапуромъ въ субботу нашей масляницы, 14-го марта 1891 года.

Всякій человѣкъ, при извѣстной силѣ и специальныхъ свойствахъ того или другого случая качки, подлежитъ морской бо-

лѣзни неизбѣжно и платитъ ей роковую дань, но степень противо-
дѣйствія того или другого человѣка самой болѣзни даже и въ
каждомъ отдѣльномъ случаѣ весьма неодинакова. На мою долю
выпала счастливая участь страдать ею значительно меньше дру-
гихъ, но именно при этомъ случаѣ мертвой зыби я наблюдаю
особенно рѣзко, какъ велика зависимость между проявленіемъ
недуга и мозговою работою. Лежа въ своемъ креслѣ на палубѣ,
я чувствовалъ себя вполне здоровымъ, но стоило только взять
книгу и начать читать, какъ почти тотчасъ давало себя знать
то особое ощущеніе тяжести въ головѣ, которое является роко-
вымъ предвѣстникомъ настоящаго приступа. Повторивъ опыты
нѣсколько разъ, я попробовалъ, у себя въ каютѣ, заняться срисо-
вываніемъ заготовленнаго для этой цѣли ботаническаго матеріала:
тяжесть головы перешла тотчасъ почти въ ощущеніе головокру-
женія уже настоящаго, сопровождаемаго тошнотою — и вотъ, не
желая далѣе искушать судьбу, я долженъ былъ въ теченіе почти
цѣлаго дня, пока продолжалась мертвая зыбь, предаваться пол-
ному вынужденному бездѣйствію, тогда какъ многимъ пассажи-
рамъ, какъ это можно было видѣть по отсутствію ихъ за обѣ-
домъ, день этотъ обошелся еще гораздо непріятнѣе и тяжелѣе.

На слѣдующій, третій день плаванія, въ воскресенье масли-
ницы, мертвая зыбь прекратилась. Какъ блестящее зеркало раз-
стился, утратившій вполне за ночь свои предательскія свойства,
океанъ; всѣ страдальцы прошлаго дня, такъ сказать, воскресли, и за
завтраками (раннимъ въ 8—10 часовъ *брѣкфестомъ* и позднимъ
въ 1—2 ч. *тиффиномъ*), въ особенности же за обѣдомъ (въ 6 ч.
пополудни), спѣшили усердно наверстать недавнее невольное воз-
держаніе, съ тѣмъ аппетитомъ, который даетъ *хорошее* море,
при освѣжающемъ, несмотря на 24⁰ Реомюра, легкомъ вѣтерѣ.
Нѣкоторые изъ спутниковъ — москвичей, вздыхали, однако, въ
виду знаменательнаго дня, по блинамъ и зернистой икрѣ, такъ
что на постоянно обычно-любезный вопросъ комиссара (экономъ,
завѣдующій хозяйствомъ парохода) довольны ли мы сегодня сто-
ломъ, представителямъ Россіи пришлось отвѣчать, что, конечно,
все прекрасно, но недостаетъ... блиновъ.

Выяснивъ себѣ, что такое блины, совершенно неизвѣстные
ему по существу, любезный комиссаръ пытался утѣшить моихъ
соотечественниковъ такимъ заключеніемъ: „Enfin, messieurs, ça ne
doit pas être grande chose!“ Посыпались, разумѣется, горячіе
протесты, но масленица все-таки началась и кончилась въ этомъ
году для россиянъ безъ блиновъ.

Дивная ночь смѣнила превосходный день. Несмотря на тѣ же

24° Р. и близость экватора (сѣверной широты), на защищенной плотнымъ тентомъ палубѣ чувствовался вѣтерокъ, дававшій освежающую прохладу.

При быстро наступившей ночи, вслѣдствіе сильнаго свѣченія моря, огненный блескъ далеко предшествовалъ пароходу, тянулся вдоль борта его и оставлялъ за кормою слѣдъ не менѣе яркій и продолжительный. Море и небо были равно хороши: ярко, не по нашему, горѣли на послѣднемъ созвѣздіи, между которыми видѣлись типическіе представители противоположныхъ полушарій; низко-низко надъ горизонтомъ, какъ бы прощаясь съ нами, гиперборейцами, горѣла еще родная и великолѣпная Большая Медвѣдица, но три звѣзды хвоста ея, или дышла, если предпочесть болѣе популярное у многихъ народовъ названіе „колесницы“, были обращены уже своею выпуклостью внизъ, а не вверхъ, какъ у насъ, исходя изъ нижняго, а не верхняго края ея характернаго четырехугольника остальныхъ звѣздъ.

Дискъ молодого мѣсяца, въ свою очередь, глядѣлъ также выгнутымъ краемъ своего серпа вверхъ, выпуклостью внизъ. Выше надъ горизонтомъ, со стороны противоположной, горѣлъ своимъ блѣднымъ, сравнительно съ Большою Медвѣдицею, свѣтомъ, широкій ромбъ Южнаго Креста съ его пятою меньшею и несимметрично помѣщенною звѣздою, и блисталъ гораздо болѣе привлекательный, чѣмъ первый, Центавръ.

Такое звѣздное небо возможно только вблизи экватора, и какъ хорошо оно тамъ!

На четвертый день плаванія, утромъ въ 9-мъ часу, 16 марта, справа въ туманѣ обрисовался сѣверо-восточный берегъ Суматры — та часть ея, которая далѣе въ глубь острова извѣстна подъ названіемъ: Ачинъ. Этотъ Ачинъ — большое мѣсто Голландіи, являющійся для нея тѣмъ, чѣмъ былъ для Россіи Кавказъ до плѣненія Шамиля. Здѣсь туземцы упорно не желаютъ до сихъ поръ, даже и номинально, подчиниться чужеземной власти. Англія, въ качествѣ доброй сосѣдки Голландіи, усердно и не безъ выгоды для себя, тайно снабжаетъ ачинцевъ скорострѣльными ружьями и патронами къ нимъ; ужасная „Béri-Béri“, этотъ бичъ Малайскаго архипелага, вмѣстѣ съ тяжелыми дизентеріями и злокачественными лихорадками, являются, вдобавокъ, очень часто даже еще лучшими союзниками мѣстнаго населенія — и въ результатѣ получается та хроническая, не закрывающаяся язва голландской Индіи, которой названіе — *ачинская война*.

— Когда же вы выгоните, наконецъ, англичанъ изъ Индіи? это, право, совсѣмъ будетъ не трудно! — не разъ, съ накипѣвшею,

очевидно, глубокою въ душѣ враждою, спрашивали на Явѣ меня въ качествѣ русскаго, совершенно упуская изъ вида мою полную некомпетентность въ разрѣшеніи такого спеціальнаго вопроса.

Думаю, однако, что подавляющее большинство читателей настолько же не компетентны по отношенію къ Béri-Béri, какъ и я къ вопросу о возможности легкаго и удобнаго изгнанія изъ Индіи англичанъ; поэтому скажу о первой два слова. „Béri-Béri“ есть невѣдомая у насъ, но весьма распространенная на крайнемъ востоѣ, отъ Цейлона до Японіи (тамъ она зовется уже *кама*) включительно, болѣзнь, характеризующаяся глубокимъ пораженіемъ дѣятельности нервной и кровеносной системъ, равно поражающая, при извѣстныхъ неблагоприятныхъ условіяхъ (плохое питаніе, усиленная работа и въ особенности скученныя городскія помѣщенія: тюрьмы и казармы), какъ туземцевъ, такъ и европейцевъ; послѣднихъ, повидимому, даже сильнѣе, чѣмъ и понятно, такъ какъ они — неакклиматизированные пришельцы, легко заболѣвающие въ этихъ широтахъ тропическимъ малокровіемъ, первую, повидимому, производящую причину „Béri-Béri“. Болѣзнь рѣдко протекаетъ бурно, ованчиваясь въ немногіе дни параличомъ сердца. Гораздо чаще теченіе ея медленное и хроническое, причемъ недугъ тянется мѣсяцы и даже годы. Первоначально наступаетъ — и это очень характерно — онѣмѣніе губъ (больной не ощущаетъ, напримѣръ, при питьѣ, края чашки или стакана), затѣмъ ручныхъ и ножныхъ пальцевъ. Далѣе является неполный, а впослѣдствіи и совершенный параличъ ногъ и рукъ, наступаетъ, при постоянно усиливающемся упадѣ силъ, одышка, является общая водянка, сопровождаемая пораженіемъ почекъ, и послѣ долгихъ мучительныхъ страданій больной гибнетъ, наконецъ, неизбѣжно, если не будетъ въ качествѣ туземца возвращенъ въ естественныя условія сельской жизни или, какъ пришелецъ, отправленъ обратно въ Европу. Спеціальныхъ средствъ для борьбы съ этимъ своеобразнымъ злымъ недугомъ до сихъ поръ не найдено никакихъ.

Нерѣдко цѣлые, вновь прибывшіе изъ Голландіи на Зондскіе острова, полки повально заболѣваютъ Béri-Béri и требуютъ безотлагательнаго возвращенія ихъ въ Европу. Легко понять, во что обходится при такихъ условіяхъ, съ доброю помощью Англіи, голландцамъ ея вѣчная „ачинская война“!

Въ самомъ началѣ шестого дня нашего плаванія отъ Коломбо (кстати, слово это происходитъ отъ сингалезскаго Kalamba, которое португальцы въ свое время передѣляли въ Colombo), именно въ 7 часовъ утра 18-го марта, Djemnah вошелъ въ

Малаккскій проливъ, при чемъ справа потянулись, покрытые лѣсомъ, холмистые берега Суматры, а слѣва—оконечность полуострова Малакки, и въ 8½ часовъ утра якорная цѣпь уже гремѣла послѣ выстрѣла нашей единственной и скромной пушки, знаменовавшаго благополучное прибытіе парохода на рейдъ Сингапура.

Какъ уже упомянуто, мнѣ пришлось быть здѣсь три раза; потому все видѣнное и испытанное на Сингапурѣ я изложу въ порядкѣ моихъ въ немъ пребываній, предпославъ сначала общія свѣденія о возникновеніи Сингапура, его прошлomu и современному положеніи, которыя считаю необходимымъ возобновить въ памяти благосклоннаго читателя. Начнемъ съ названія: происхожденіе слова: Сингапуръ (измѣненное англичанами въ Singapore) объясняется двояко. Первое объясненіе, хотя и гораздо болѣе распространенное, чѣмъ второе, въ виду историческихъ и въ особенности этнографическихъ данныхъ, по-моему, менѣе вѣроятно. Его производятъ отъ санскритскихъ словъ: „Sinha“ или „Sing“ — *левъ* и „Pura“ — *городъ*. Второе толкованіе, допуская заключительное санскритское „Pura“, принимаетъ для первой половины слова малайское „Singgah“: глаголъ, значеніе котораго: *посѣщать, касаться, приставать къ берегу* ¹⁾.

Малайская этимологія Сингапура—ясный намекъ на прекрасный рейдъ, въ мѣстности, послужившей для основанія этого великолѣпнаго порта. Какъ извѣстно, современный Сингапуръ является несомнѣнно выдающимся мировымъ торговымъ центромъ, связующимъ и неизбѣжнымъ звеномъ между Европою (черезъ Суэцъ) съ одной, Австраліею (черезъ Коломбо) съ другой, Большими Зондскими Островами, Филиппинами, Китаемъ и Японіею съ третьей стороны. Топографическія преимущества его, усиливаемыя первенствующею организаторскою способностью и энергіею Англіи въ отношеніи колоніальномъ, не только подавляютъ въ настоящее время Батавію, не говоря уже о Самарангѣ и Сурабайѣ, но смѣло выдерживаютъ конкуренцію и съ такимъ несравненно болѣе опаснымъ для него соперникомъ, силы котораго отвлекаются, впрочемъ, частью Америки, какъ Гонгъ-Конгъ.

Припомнимъ теперь, что было на мѣстѣ современнаго Сингапура менѣе ста лѣтъ тому назадъ.

Какъ извѣстно, 9-го іюля 1810 года Голландія, захвачен-

¹⁾ Сравни. De La Croix: Vocabulaire Français-Malais et Malais-Français, книгу, принесшую мнѣ не мало практической пользы, такъ какъ малайскій языкъ является международнымъ для Малакки, Явы и вообще острововъ Малайскаго архипелага).

ная Наполеономъ, перестала существовать какъ самостоятельное государство, а съ нею вмѣстѣ въ качествѣ голландской колоніи и Ява, въ предѣлахъ той части острова, которая принадлежала тогда Голландіи. Въ то доброе старое время вѣсти доходили не скоро изъ одного полушарія въ другое, и только случайно, въ декабрѣ того же года, черезъ одно американское купеческое судно, Батавія узнала, что она около полугода уже принадлежитъ Франціи, тогда какъ официально это стало извѣстно лишь въ февралѣ 1811 года. Англія въ свою очередь не дремала; „британскіе интересы“ тогда были такъ же всесторонни, какъ теперь, да еще съ добавленіемъ возбуждавшей ихъ континентальной системы Наполеона, и вотъ въ началѣ августа того же года громадная (около 100 судовъ) англійская эскадра, подойдя къ Батавіи, спустила, безъ всякаго сопротивленія, на яванскую почву 12.000 ч. десанта, которому городъ сдался на капитуляцію. Послѣ неудачнаго кавалерійскаго дѣла, разбитая французская армія бѣжала въ Бейтензоргъ (Buitenzorg), затѣмъ 17 сентября 1811 г. осажденный въ Самарангѣ генералъ Янсенъ долженъ былъ капитулировать окончательно, и Ява, войдя въ составъ остъ-индской компаніи, оказалась принадлежащею Англіи, причемъ былъ назначенъ англійскій губернаторъ вновь приобрѣтеннаго острова. Прошло, однако, немного лѣтъ и по изложеніи Наполеона послѣдовало вновь восстановленіе Голландіи какъ самостоятельнаго государства (въ 1814 году), причемъ въ великому прискорбію Англіи послѣдняя снова должна была уступить Голландіи только-что приобрѣтенный лакомый кусочекъ — Яву; официальное возвращеніе послѣдней состоялось 19-го августа 1816 года.

Энергичный англійскій губернаторъ (Рафльсъ), которому, между прочимъ, наука навсегда останется обязанной) какъ починамъ археологической разработки скрытыхъ дотогѣ въ неприступныхъ дѣвственныхъ лѣсахъ Явы историческихъ памятниковъ браманизма и буддизма, такъ и организацію въ глубь Суматры естественно-историческихъ экспедицій, давшихъ богатѣйшіе результаты, былъ слишкомъ хорошимъ сыномъ своего отечества, чтобы переносить сложа руки прискорбную утрату Явы. Перемѣщенный съ послѣдней губернаторомъ въ Бенкуленъ, на восточномъ берегу Суматры, онъ обратилъ особое вниманіе на дикій, заросшій непроходимымъ лѣсомъ островокъ Сингапуръ, лежащій почти у экватора подъ 1,30 градус. сѣверной широты, какъ разъ противъ южной оконечности полуострова Малакки, отдѣленный отъ послѣдней узкимъ проливомъ всего около двухъ кило-

метровъ шириною. Островокъ былъ необитаемъ и лишь изрѣдка посѣщался рыбаками и охотниками. Проницательный губернаторъ сразу оцѣнилъ по достоинству его великое будущее значеніе, и вотъ номинальный голландскій вассалъ противуположной оконечности материка, раджа Джогора, продалъ въ 1819 году Англіи этотъ принадлежащій ему островокъ за выгодную, какъ тогда казалось, но совершенно ничтожную по современному значенію Сингапура сумму, а Голландія заплатила тяжелую и непоправимую дань собственной непредусмотрительности, упустивъ навсегда изъ своихъ рукъ будущій важнѣйшій торговый центръ далекаго востока: менѣе чѣмъ десять лѣтъ послѣ основанія города Сингапура уже выяснилось исполнѣ его непрерывно возростающее, въ настоящее время колоссальное торговое значеніе!

Въ мое первое посѣщеніе Сингапура я могъ пробыть тамъ всего нѣсколько часовъ, такъ какъ въ шестомъ часу пополудни пароходъ уже уходилъ далѣе, а я долженъ былъ слѣзнуть въ Китай, чтобы попасть въ апрѣлѣ во времени приготовленія первосортнаго чая, завершающагося наступленіемъ такъ называемаго чайнаго сезона Ханькоу и выпадающаго на май, іюнь.

Немногіе бывшіе въ моемъ распоряженіи часы я употребилъ на посѣщеніе нашего консула А. М. В. и на бѣглый осмотръ ботаническаго сада.

Неизгладимыми чертами сохраняются навсегда въ моей благодарной памяти то безпредѣльное радушіе и гостепріимство, которыми я пользовался въ мое позднѣйшее двукратное пребываніе на Сингапурѣ въ столь же роскошномъ, какъ и комфортабельно-изящномъ жилищѣ А. М. В.—а и его супруги Е.—ы С.—ы. На долю послѣдней выпало въ мое первое посѣщеніе Сингапура тяжелое испытаніе: представляясь, я подалъ Е. С.—нѣ собственноручное письмо ея отца, привезенное мною изъ Москвы послѣ того, какъ наканунѣ лишь въ русскомъ консульствѣ была получена телеграмма о его кончинѣ, что, понятно, мнѣ не могло еще быть извѣстно. Консулъ нашъ находился тогда въ Сіамѣ, по поводу посѣщенія послѣдняго Его Императорскимъ Высочествомъ Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ.

Несмотря на тяжелое горе и глубокую душевную скорбь, еще болѣе обостренную доставленнымъ мною письмомъ, г-жа В.—а настояла на необходимости тотчасъ же отправиться сначала совместно въ консульство, дѣлами котораго она завѣдывала въ настоящее время, чтобы исполнить всѣ формальности, обусловившія для меня необходимость обращенія къ содѣйствію нашего консула, а затѣмъ и въ ботанической садъ, ради облегченія воз-

возможности болѣе подробнаго, чѣмъ это дозволяется публикѣ вообще, осмотра его. Нужно ли говорить, съ какою признательностью было принято такое великодушное предложеніе.

Богатымъ и цѣннымъ въ научномъ отношеніи матеріаломъ, собраннымъ невозбранно при этомъ первомъ посѣщеніи Ботаническаго сада города, обязанъ я именно временному русскому консулу Сингапура Е. С. В—ой, за что и сохраню, конечно, навсегда глубочайшую признательность.

Познакомимся теперь поближе съ самимъ Сингапуромъ, городомъ. Первое, что останавливаетъ вниманіе, когда вы къ нему подходите со стороны ли Малаккискаго пролива (линія Цейлона), или со стороны Китайскаго южнаго моря (линія Гонгъ-Конга), это не самый городъ, малозамѣтный и частью разбросанный по холмамъ, частью сползающій къ ихъ подошвамъ, пересѣченный обширными пустырями и болотистыми низменностями и вездѣ подавляемый роскошной, мѣстами буквально его закрывающей, экваторіальной растительности, но обиліе и красота обширнѣйшаго, естественнаго и всегда очень оживленнаго рейда этого великаго порта.

Разнообразный флотъ его постоянно представленъ здѣсь судами чуть ли не всѣхъ націй и величинъ. Колоссальныя часто, всегда сверкающіе ослѣпительно-бѣлою окраскою корпуса, обладающіе сравнительно невысокимъ рангоутомъ, длинныя и низкосидящія въ водѣ военныя паровыя суда Англіи; столь симпатичныя, также весьма внушительныя по размѣрамъ, безусловно первенствующія по всей индо-китайской линіи почтовые пароходы Франціи, общества „Messageries Maritimes“, съ его флагомъ: головою единорога, увѣнчанною характерною короною изъ зубчатой городской стѣны и шеею, оканчивающеюся двузубымъ якоремъ; громадныя также, но болѣе крутобокіе товаро-пассажирскіе пароходы, часто уже издалека рѣзко отличаемыя своими свѣтло-синими трубами парусныя трехъ- и двухъ-мачтовые „купцы“; нескладныя китайскія „джонки“ съ ихъ высокимъ, срѣзаннымъ косвенно носомъ, украшеннымъ фантастическою рыбьею или драконовою головою съ двумя ярео выведенными и раскрашенными по бокамъ его глазами, съ не менѣе высокою, разсѣченною по срединѣ кормою, одною, двумя или даже тремя бамбуковыми мачтами и неуклюже тяжелымъ рогожнымъ парусомъ, смѣняются паровымъ катеромъ таможенной стражи и летящими изо всѣхъ силъ къ вамъ на встрѣчу малайскими открытыми, длинными и узкими „прау“ (челнокъ, лодка) и такими же по очертаніямъ, но снабженными по срединѣ легкимъ навѣсомъ изъ пальмовыхъ листьевъ лодками темно-бурыхъ, почти

черныхъ индѣйцевъ-тамилевъ. Всѣ эти китайцы, малайцы и индусы спеціально стерегли васъ въ качествѣ (если удастся) вашихъ будущихъ прачекъ, портныхъ, продавцовъ рыбы, морскихъ раковъ, плодовъ и такъ называемыхъ „рѣдкостей“, здѣсь очень нерѣдкихъ: весьма разнообразныхъ, подчасъ очень цѣнныхъ и въ научномъ отношеніи, коралловъ и раковинъ, которыми такъ богаты прибрежья Малакки и Сингапура. Болѣе случайными, но все же весьма нерѣдкими являются продавцы обезьянъ, тигровыхъ шкуръ, попугаевъ или другихъ птицъ и проч.; предлагаются, наконецъ, коллекціи превосходныхъ плетеныхъ креселъ-кушетокъ, столь необходимыхъ при долгихъ плаваніяхъ по Индѣйскому океану, и знаменитый малаккскій тростникъ, извѣстный въ торговлѣ подъ неправильнымъ названіемъ „испанскихъ тростей“, собственно стволы ползучихъ пальмъ-ліанъ (виды рода *Calamus*) извѣстныхъ подъ общимъ названіемъ „ротангъ“.

Прибавимъ еще ко всей этой пестрой этнографической живой коллекціи смуглыхъ, съ ястребинымъ носомъ и жгучимъ пронизательнымъ взглядомъ, „парси“ (гебры-огнепоклонники, главнымъ образомъ изъ Бомбея), нерѣдко въ европейскомъ платьѣ, но всегда почти съ черною усѣченною фескою безъ кисти на головѣ, арабовъ изъ Адена въ неизмѣримо пышныхъ бѣлыхъ шальварахъ и кисейныхъ чалмахъ или парчевыхъ тупо-коническихъ кокошникахъ (иначе я затрудняюсь назвать этотъ оригинальный головной уборъ)—мѣнялъ по профессіи, ростовщиковъ по страсти, нерѣдко банкировъ по удачѣ, и не забудемъ присоединить ко всему этому еще золотисто-коричневаго сингалеза, нерѣдко съ весьма красивымъ почти европейскимъ лицомъ въ бѣлой женской коленкоровой кофтѣ, ситцевой юбкѣ, безъ панталонъ, съ гребнемъ на лбу и косою, связанною въ узелъ на затылкѣ, въ сандаляхъ,—сингалеза, который тщетно и безуспѣшно продавалъ въ *Oriental* и *Gale-Face-Hotel* Коломбо (ихъ тамъ только два и есть) свои стеклышки, выдавая ихъ за изумруды, топазы, алмазы и гранаты, а теперь пытается счастье въ Сингапурѣ—и списокъ претендентовъ на ваши карманы будетъ полнымъ, или почти полнымъ.

Нужно ли говорить, что когда пароходъ станетъ, наконецъ, на якорь и по окончаніи всѣхъ обычныхъ официальныхъ посѣщеній таможенныхъ чиновниковъ, портоваго врача и такъ далѣе, вся эта пестрая, разноязычная, жаждущая наживы толпа хлынетъ по спущенному трапу на палубу, то огромному большинству, ее составляющему, придется возвратиться съ парохода все-таки ни съ чѣмъ. Наиболѣе обезпечены въ такихъ случаяхъ продавцы

рыбы, плодовъ и вообще съѣстныхъ припасовъ: ихъ заберетъ непремѣнно комиссаръ парохода для дальнѣйшаго плаванія; пассажиры охотнѣе всего приобрѣтутъ плоды, раковины и кораллы, а также кресла-кушетки; все остальное будетъ дѣломъ одного случая! Раковины и кораллы, въ качествѣ вновь приобрѣтенной собственности, особенно если пассажиръ слѣдуетъ дальше, обыкновенно скоро очень сильно его огорчатъ. Забравъ покушку въ себѣ въ каюту, любитель-пассажиръ, всего чаще полный дилеттантъ даже въ элементарномъ познаніи природы, вдругъ поражается сначала тяжелымъ, а затѣмъ просто нестерпимымъ запахомъ; онъ недоумѣваетъ, зоветъ лакея и тотъ объясняетъ, если любитель не догадается наконецъ самъ, что внутри раковинъ и коралловыхъ трубочекъ есть покойники: морскія дива были доставлены живьемъ, но быстро скончались и разложились въ жарѣ близкаго сосѣда-экватора. Конецъ исторіи тотъ, что дилеттантъ сразу освобождаетъ себя отъ приобрѣтенной только-что коллекціи — черезъ окно каюты, возвращая ее морю.

Итакъ, мы наконецъ на мѣстѣ. Попасть въ городъ не трудно. Рядъ одноконныхъ наемныхъ каретъ вытянулся вдоль набережной въ ожиданіи пассажировъ. Обладатели ихъ, индусы-тамилы, частью въ чалмахъ, частью съ длинными связанными на затылкѣ въ большой узелъ, частью свободно распущенными волосами, непрерывъ предлагаютъ вамъ свои услуги на ломаномъ англійскомъ языкѣ. Ослѣпительно свербаютъ глаза и зубы на темномъ фонѣ оживленныхъ шоколадныхъ лицъ и гортанные звуки родного языка очень скоро подавляютъ собою вполне весь малый запасъ заученныхъ кое-какъ англійскихъ фразъ. Тутъ же рядомъ къ вашимъ услугамъ, такъ сказать, извозчики-лошади: одновременно желто-бурые, губастые малайцы въ огромныхъ коническихъ, плетеныхъ изъ ротанга (пальмы-ліаны) шляпахъ, обнаженные до пояса; точнѣе, вся одежда ихъ состоитъ лишь изъ одной короткой ситцевой юбки (саронгъ) отъ пояса до колѣнъ. Валые и апатичные, обыкновенно усердные курильщики опиѣ, они рѣзко отличаются своимъ, очень напоминающимъ монголовъ, типомъ отъ стройныхъ индусовъ-арійцевъ, съ ихъ оживленными, нерѣдко столь же красивыми какъ и интеллигентными лицами европейскаго типа.

Эти извозчики-лошади повезутъ васъ лѣнивымъ бѣгомъ въ двухколесныхъ, легкихъ, рассчитанныхъ на одного сѣдока, колясочкахъ изящной англійской работы. Колясочки носятъ китайское названіе: *инг-рикъ-ша*, буквальный переводъ словъ: чело-вѣкъ-сила-коляска. Экипажи эти — типическая принадлежность Японіи, гдѣ, насколько я могъ понять, какъ самъ возница, такъ

и экипажъ его обозначаются однимъ и тѣмъ же словомъ: курума. Ирикеши, или, какъ ихъ обыкновенно вовутъ, согласно англійскому произношенію, *джинрикиши*, или просто *рикиши*, изъ своего первоначальнаго источника, Японіи, распространились теперь по всему дальнему востоку: черезъ Шанхай, Гонгъ-Конгъ и Сингапуръ вплоть до Цейлона (Коломбо, Канди), такъ что въ оглобляхъ этого своеобразнаго экипажа бѣгаютъ японцы, китайцы, малайцы, тамилы и сингалезы. Лучшими по стойкости и скорости бѣга, по моимъ личнымъ наблюденіямъ, являются, безспорно, китайцы—самый выносливый народъ. Очень рѣзвые сначала японцы скоро устаютъ (въ иныхъ случаяхъ завѣдомо притворно). Малайцы вялы, сингалезы слабы вообще, тамилы (на Цейлонѣ) сильны, но лѣнны. Теперь два слова о ѣздѣ на людяхъ. На первый разъ она не по себѣ свѣжему пришельцу изъ Европы: кажется очень неловкимъ ѣхать вмѣсто лошади на цвѣтномъ собратѣ. Для англичанъ это, конечно, легче: съ возмутительнымъ цинизмомъ доказываютъ они на каждомъ шагу, безъ всякой нужды даже, что не-европейцевъ они не считаютъ и за людей, окрестивъ ихъ, независимо отъ цвѣта кожи, будутъ ли это бурные тамилы, коричневые сингалезы или желтые малайцы, однимъ общимъ именемъ: *черныхъ*; но, говорю, другимъ представителямъ Европы это на первыхъ порахъ дѣйствительно не легко. Тѣмъ не менѣе, сознаніе оказываемаго туземцу пособія, о которомъ онъ очень хлопочетъ, иногда необходимость сама по себѣ, а затѣмъ привычка, конечно, быстро дѣлаютъ свое дѣло, и вы скоро разсуждаете уже свободно о тѣхъ или другихъ преимуществахъ вашихъ цвѣтныхъ собратій, которыхъ приходится оцѣнивать и сравнивать съ точки зрѣнія ихъ не человѣческихъ, а лошадиныхъ свойствъ!

Карета извозчиковъ Сингапура запряжена въ одну лошадь. Это—маленькій безобразный и слабосильный пони. Ихъ доставляютъ сюда по преимуществу изъ Корси и Борнео, рѣже съ Тимора или Малахъ Зондскихъ острововъ. Въ настоящее время кареты не отличаются своимъ типомъ отъ экипажей всего цивилизованнаго міра; лѣтъ тридцать назадъ онѣ были туземнаго производства, безъ рессоръ, кузовъ изъ досокъ, снаружи вмѣсто козелъ дощечка, на которой кучеръ-извозчикъ, однакоже, никогда не сидѣлъ,—обыкновенно онъ все время бѣжалъ, ведя лошадь подъ уздцы. Теперь экипажи легче, улицы прекрасно шоссированы, но мелкіе пони такъ же слабосильны, а старыя традиціи кромѣ всего этого стойки и прочны по прежнему; вотъ почему извозчикъ только сначала, какъ и подобаетъ, сидитъ здѣсь на козлахъ: очень скоро онъ соскакиваетъ на землю и, держа возжи въ ру-

какъ, бѣжитъ рядомъ съ экипажемъ, у лѣваго окна кареты (въ колоніяхъ востока, какъ и въ западной Европѣ, вообще при встрѣчахъ разѣзжаются обязательно слѣва, а не справа, какъ у насъ).

Отели Сингапура пользуются плохую репутацію, въ особенности по отношенію удобства самыхъ номеровъ и прислуги, что не мѣшаетъ имъ быть очень дорогими, какъ и все вообще здѣсь для европейцевъ. Монетная единица—мексиканскій серебряный долларъ, стоимостью соотвѣтствующій нашимъ $1\frac{1}{2}$ металлическимъ рублямъ (долларъ Соединенныхъ-Штатовъ, коротко называемый американскимъ, равняется, какъ извѣстно, нашимъ двумъ металлическимъ рублямъ).

Въ Сингапурѣ кончается уже царство индійско-цейлонской рупіи и вплоть до Японіи нераздѣльно и властно начинается царить, какъ единственная размѣнная монета, мексиканскій долларъ (раздѣляемый на сто центовъ)—живое доказательство того, какое значеніе имѣютъ на всемъ этомъ громадномъ протяженіи, въ качествѣ торговаго элемента, китайцы, не допускающіе и не признающіе въ своихъ коммерческихъ операціяхъ никакой денежной единицы, кромѣ названной. На первый разъ можетъ показаться страннымъ такое переселеніе монеты маленькой и ничтожной въ торговомъ отношеніи Мексики на восточную половину земного шара. Дѣло въ томъ, что китайцы, не имѣющіе, какъ извѣстно, размѣнной серебряной монеты (ихъ ланъ или ямбъ, слитокъ серебра стоимостью отъ 25 до 200 нашихъ рублей и отрубаемый кусками, обращается только въ оптовой туземной торговлѣ), при своихъ торговыхъ сношеніяхъ съ Испанією на Филиппинахъ, когда Мексика принадлежала еще послѣдней, признали мексиканскій долларъ какъ серебряную единицу и стали его охотно принимать, и затѣмъ прошли годы, Мексика стала давнымъ-давно независимою, на востокъ прежнее торговое значеніе Испаніи совершенно пало, но тамъ, гдѣ торгуетъ китаецъ, по прежнему властно царитъ мексиканскій долларъ, и съ ассигнаціями его всегда удобнѣе имѣть дѣло, чѣмъ съ бумажными фунтами стерлингами, или еще того хуже—съ ними же въ качествѣ золота!

Городъ Сингапуръ, возникшій исключительно ради потребностей и цѣлей торговыхъ, узловая и притомъ крупнѣйшая станція морской большой дороги всего свѣта. По своему населенію онъ также является настоящимъ космополитомъ. Тонъ всему даютъ представители Англіи и Китая. Пришельцы индусы, тамилы по преимуществу, и коренные жители Малакки, малайцы, являются

элементомъ лишь рабочимъ, подъ общимъ названіемъ *кули*—синонимъ нашего чернорабочаго. Впрочемъ, весьма важное вообще значеніе очень многочисленныхъ здѣсь китайцевъ двояко: меньшая часть ихъ богатые, нерѣдко колоссально богатые купцы, въ рукахъ которыхъ сосредоточена столь важная вообще и для Сингапура въ особенности торговля перцемъ, сахаромъ, кофе, ватеху (гамбиръ) и сѣменами (орѣхами) пальмы-арёка, служащими для жеванія такъ называемаго *бэтя* (о которомъ рѣчь впереди), не говоря о многомъ другомъ; тогда какъ несравненно большее количество сыновъ Небесной Имперіи прекрасно эксплуатируютъ своихъ эксплуататоровъ въ Китаѣ, европейцевъ, т.-е., собственно говоря, англичанъ. Эта эксплуатація заключается въ томъ, что никакое хозяйство для европейца безъ участія китайца въ Сингапурѣ немыслимо. Прежде всего китаецъ—неизбѣжный поваръ и портной, нерѣдко даже модистка, и во всякомъ случаѣ экономъ, дворецкій, камердинеръ, лакей, все то, что характеризуется въ англійскихъ колоніяхъ терминомъ: *boy*—высшая категория прислуги; низшая есть *кули*.

Характерною особенностью далекаго востока является неизбежная тамъ (съ точки зрѣнія коренного жителя Европы просто невозможная), даже обязательная многочисленность прислуги. Одинъ бой смотритъ за платьемъ, другой вѣдаетъ буфетъ, третій убираетъ комнаты, и если ихъ много, то лишь половину, и каждый въ отдѣльности, хотя бы онъ былъ и совсѣмъ свободенъ, ни за что не выйдетъ изъ предѣловъ своей специальности, чтобы исполнить за товарища ту или другую работу. При этомъ каждый изъ нихъ хозяйственные расходы по своей дѣятельности считаетъ личною добычею: только черезъ него, у торгующихъ китайцевъ, возможно приобрести хозяину что-либо необходимое для дома.

Нужно ли говорить, по какой цѣнѣ и какіе львинные барыши выпадаютъ при этомъ на долю этого замѣнутаго круга: слугъ и продавцовъ китайцевъ!

Эта всеобщая постоянная стачка—злой геній всѣхъ европейскихъ домохозяекъ въ Сингапурѣ, Гонгъ-Конгѣ, Шанхаѣ, Хань-коу и такъ далѣе; и чѣмъ опытнѣе, аккуратнѣе и больше понимаетъ она дѣло, тѣмъ неуволнимѣе ускользаютъ у нея доллары и все-таки порядокъ вещей остается прежній. Итакъ, все и всюду высасывающій изъ туземца англичанинъ въ своемъ собственномъ хозяйствѣ является самъ мухою для домашняго паука—китайца. Послѣдній ради достиженія такихъ цѣлей долженъ обладать однимъ качествомъ: умѣть говорить по-англійски, точнѣе, объясняться на такъ называемомъ „голубиномъ англій-

скомъ языкѣ“ (pigeon english). Нарѣчіе это есть собраніе необходимыхъ английскихъ фразъ, исковерканныхъ и произносимыхъ сообразно характеру языка китайскаго, со включеніемъ какъ нѣкоторыхъ словъ, принадлежащихъ послѣднему, такъ и не принадлежащихъ даже никакому языку—просто выдуманныхъ.

Перейдемъ теперь къ самому городу. Онъ разбросанъ по холмамъ и низменностямъ, какъ уже объ этомъ была рѣчь выше. Посреди города протекаетъ узкая и мутная, но довольно глубокая рѣчка, —рѣкою ее все-таки не назовешь,—служащая границей европейской и китайской частей города. Названіе рѣчки общее съ островомъ и городомъ: Сингапуръ. Городъ раздѣляется на участки европейскій, китайскій, малайскій и индусскій. Каждый имѣетъ свои характерныя особенности. Лучшая аристократическая часть города—такъ называемая „Эспланада“. Длинною, довольно широкою, снабженною прекрасною мостовою, лентою вытянулась она по берегу моря вдоль громаднаго рейда. Отчетливо рисуются на немъ вплоть до самой линіи горизонта силуэты многочисленныхъ судовъ. Подобно гигантскимъ лебедямъ сверкаютъ вдали особою золотистою бѣлизною подходящіе на всѣхъ парусахъ „купцы“; рѣзкимъ контрастомъ послѣднимъ является тамъ и сямъ черный дымъ, длинными клубами тянущійся за пароходными трубами судовъ паровыхъ, тогда какъ на первомъ планѣ рисуются съ поразительною ясностью рангоуты стоящихъ на якорѣ судовъ съ ихъ убранными уже парусами. Особенно эффектенъ видъ рейда при солнечномъ закатѣ: горящій золотомъ западъ становится вдругъ кроваво-краснымъ и зарево быстро расширяется по направленію къ зениту, являя рѣзкій, невѣроятный даже для непривычнаго глаза контрастъ съ лазурью небснаго свода; но вотъ дискъ солнца коснулся нижнимъ краемъ горизонта; свѣтло какъ днемъ. Проходитъ 1½ минуты, не болѣе, и сразу, безъ малѣйшаго смягченія, ослѣпительный дневной свѣтъ смѣняется, безъ тѣни чего-либо похожаго на нашу зарю, мракомъ глубокой ночи! Таковъ подъ экваторомъ весь годъ изъ дня въ день: въ 6 часовъ вечера закатъ—таковъ же (въ обратномъ порядкѣ явленій) и восходъ солнца въ 6 часовъ утра. Наши зари, наши сумерки здѣсь неизвѣстны.

Вдоль Эспланады, любимаго мѣста вечерней прогулки высшаго общества Сингапура, расположены лучшія зданія города. Здѣсь красуется его готическій соборъ, здѣсь же и памятникъ-obeliskъ основателю Сингапура, сэру Раффльсу. Домъ губернатора виднѣется вдали на вершинѣ холма. На высокомъ флагштокѣ, хорошо видимомъ съ разныхъ сторонъ города, перемѣна того или другого

изъ многочисленныхъ флаговъ всѣхъ націй даетъ вѣсть о прибытіи того или другого очередного почтового парохода.

Дома европейской части города представляютъ общераспространенный типъ англійскихъ колоніальныхъ построекъ далекаго востока. Бѣлые, или вообще свѣтлые, обыкновенно двухъэтажные, съ глубокими, идущими вдоль всей стѣны крытыми балконами-верандами, всегда полутемными отъ далеко выдающагося навѣса крыши, съ окнами безъ стеколъ, со ставнями изъ взаимно-прикрывающихъ другъ друга подвижныхъ дощечекъ, окруженные роскошными деревьями и кустарниками и увитые ползучими растеніями, дома эти вообще уютны и относительно прохладны, нѣрѣдко весьма изящны.

Постоянная забота о сквозномъ вѣтрѣ, огражденіе отъ жгучихъ солнечныхъ лучей верандами, глубокими и очень высокими комнатами (во избѣжаніе духоты), при отсутствіи стеколъ въ окнахъ, закрываемыхъ ставнями, между раздвинутыми дощечками которыхъ можетъ свободно циркулировать воздухъ (къ сожалѣнію, въ Сингапурѣ онъ все-таки постоянно почти неподвиженъ), закрывъ дверей завѣсами изъ рѣдкихъ сквозныхъ бамбуковыхъ пластинокъ, изящно расписанныхъ японцами-художниками (привозятся изъ Іокогамы, Кобе, Нагасаки), вотъ мѣры борьбы съ постоянною бѣдою: душною, истощающею силы атмосферою почти экваторіальнаго Сингапура.

Въ общественныхъ зданіяхъ, гостинницахъ и клубахъ весьма могущественнымъ средствомъ для такой борьбы является перенесенная изъ Индіи и съ Цейлона „панка“, гигантскій вѣеръ, состоящій изъ ряда висящихъ съ потолка тяжелыхъ полотняныхъ сторъ, шнуры которыхъ, соединенные въ одинъ общій, находятся въ рукахъ сидящаго въ сосѣдней комнатѣ китаецца, который ихъ непрерывно дергаетъ.

Равномѣрные и постоянные размахи панки даютъ живительную прохладу, значеніе которой оцѣнить лишь тотъ, кому придется страдать за ея отсутствіе въ Батавіи; — консервативные не въ мѣру голландцы почему-то умерно игнорируютъ до сихъ поръ благотворительную панку въ своихъ индійскихъ колоніяхъ.

Нѣтъ болѣе исполнительныхъ и аккуратныхъ слугъ, какъ китаеццы вообще, однакоже и у нихъ иногда случается бѣда съ панкой: за обѣдомъ въ отелѣ, напримѣръ, случается, что ритмическіе размахи ея, постепенно ослабѣвая, вдругъ прекращаются совсѣмъ, и вслѣдъ за этимъ наступаетъ, такъ сказать, домашній циклонъ, — какъ бы подъ вліяніемъ быстро налетѣвшаго урагана панка начинаетъ махать неистово, наперстывая недавнее бездѣй-

ствіе. Объясненіе въ томъ, что домашній аквилонъ-битаецъ не справился съ душною истомою, задремалъ и теперь, проснувшись, или пробужденный вездѣсущимъ хозяиномъ, въ испугѣ спѣшитъ исправить свою оплошность неистовымъ дерганіемъ шнура.

Таковы мѣры борьбы съ непрерывною, насыщенною даже и въ сухое время года водяными парами, духотою Сингапура. Мѣры эти, палліативныя вообще, парализуются еще въ значительной мѣрѣ другими неудобствами. Несмотря на близость моря, бичъ тропиковъ—москиты—одолѣваютъ Сингапуръ, благодаря въ особенности его болотистымъ низменностямъ.

Москиты—ближайшіе родственники нашихъ комаровъ. На крайнемъ востоѣ они отличаются сравнительно гораздо меньшею величиною. Укушеніе крошечныхъ враговъ, мало или даже совсѣмъ не замѣчаемое на первыхъ порахъ, влечетъ за собою ограниченную, но относительно обширную припухлость, очень болѣзненную и сопровождаемую сильнымъ, иногда нестерпимымъ зудомъ, такъ что черезъ недѣлю, и даже еще дольше, лица, искусанныя москитами и обладающія раздражительною кожею, представляются какъ бы только-что перенесшими оспу; однимъ словомъ, москиты далеко не чета нашимъ часто все-таки несноснымъ комарамъ. Поэтому „москитная клѣтка“ является неизбѣжною принадлежностью всякой спальни: на Цейлонѣ, Явѣ, Сингапурѣ и въ южномъ Китаѣ. Кровать помѣщается подъ рамою, на которой натянута бѣлая, особаго рода, мелкопетлистая ткань, въ родѣ рѣдкой кисеи. Куски этой же ткани спускаются со всѣхъ четырехъ сторонъ потолка рамы вплоть до полу. Полотнища эти подтыкаются очень тщательно и далеко вглубь со всѣхъ сторонъ подъ тюфякъ постели утромъ, тотчасъ послѣ ея уборки, и въ такомъ видѣ остаются цѣлый день до вечера.

Непосредственно передъ захоженіемъ солнца служитель, для того специально назначенный, является съ большимъ, не менѣе двухъ аршинъ длиною, пучкомъ связанныхъ у основанія, очень гибкихъ и тонкихъ бамбуковыхъ пластинокъ. Отворачиваются наружныя полы клѣтки съ одной стороны ея, служитель входитъ внутрь и становится у кровати; раздается рѣзкій характерный свистъ бамбука—это производится усердное изгнаніе (иногда, при случайной удачѣ, даже и самое избіеніе) немногихъ, успѣвшихъ пробраться за день, несмотря на всѣ предосторожности, внутрь клѣтки крошечныхъ враговъ: вѣдь одного москита съ избыткомъ достаточно, чтобы сдѣлать невозможною душную, особенно благодаря клѣтѣ, экваторіальную ночь, при наступленіи которой о какой-либо живительной свѣжести нѣтъ и помину, что всего

краснорѣчивѣе доказывается термометромъ, нерѣдко не обнаруживающимъ паденія въ предѣлахъ даже лишь десятыхъ частей градуса.

Итакъ, ночи душны, а неизбежная москитная клѣтка еще значительно увеличиваетъ ихъ духоту. Какъ ни стараются помочь горю возможною высотой потолка клѣтки и гигантскими размѣрами кроватей, но близость экватора и клѣтка, вмѣстѣ взятыя, даютъ себя знать очень сильно, несмотря на то, что одиночныя, почти или совершенно квадратныя постели тропиковъ обладаютъ очень большими размѣрами.

Постель Сингапура и Явы отличается, притомъ, обязательнымъ отсутствіемъ одѣяла, или хотя бы только простыни, и обязательнымъ же присутствіемъ, кромѣ головныхъ подушекъ, еще иной: въ видѣ цилиндрическаго валика, въ половину человѣческаго роста длиною, при поперечникѣ нѣсколько меньшемъ, чѣмъ въ полъ-аршина. Подушка эта очень характерна для данныхъ мѣстностей. Она кладется постоянно вдоль кровати по срединѣ послѣдней. Назначеніе такой подушки, непонятное на первый взглядъ, выработано лучшимъ учителемъ—житейскимъ опытомъ. Сонъ возможенъ тамъ только при полномъ обнаженіи тѣла; но этого еще мало: соприкосновеніе частей собственнаго тѣла уже плохо переносится кожей,—здѣсь-то и является кстати гигантская подушка-валикъ. Помѣщенная между ногами, она препятствуетъ взаимному соприкосновенію кожи ихъ, устраняя такимъ путемъ тягостное ощущеніе жара, мѣшающее заснуть и въ безъ того душной клѣткѣ.

Есть затѣмъ мѣстности, гдѣ москиты настолько безпощадны, что не ограничиваются одними ночными нападеніями, но буквально дѣлаютъ жизнь невыносимою даже и днемъ. Таковы, между прочимъ, Сингапуръ и Ханькоу въ Китаѣ. Здѣсь приходится прибѣгать уже и къ такъ называемымъ „москитнымъ домикамъ“. Это тѣ же москитныя клѣтки, болѣе значительныхъ размѣровъ и снабженныя очень плотно затворяющеюся дверью.

Стѣны такого домика обтянуты тою же сквозною бѣлою кисеею, какъ и клѣтки-постели. Дверь затворяется и открывается возможно быстро и рѣдко, чтобы не впустить какъ-нибудь осаждающихъ ее постоянно извнѣ москитовъ, особенно обильныхъ, потому что обыкновенно москитная комната для достиженія большей прохлады устроивается на верандѣ дома.

Могущественнымъ союзникомъ въ борьбѣ съ москитами въ Сингапурѣ (какъ и на Цейлонѣ) являются домашнія, впрочемъ поселяющіяся въ жилищахъ самовольно, особаго рода ящерицы—

великіе истребители и ловцы москитовъ, муравьевъ и всякихъ иныхъ, отравляющихъ тамъ жизнь, насѣомыхъ. Это оригинальныя, немного превышающія длину мизинца взрослого человѣка, животныя—неизбѣжная принадлежность всякаго дома Сингапура; встрѣчаются онѣ и на Цейлонѣ. Пока свѣтло, ихъ не видно; но только-что наступитъ ночной мракъ, на стѣнахъ, потолкахъ и даже зеркалахъ вдругъ десятками появляются эти ящерицы, не стѣсняясь искусственнымъ свѣтомъ лампъ. Подобно мухамъ, одарены онѣ способностью не только ползать, но даже быстро бѣгать головою внизъ по потолкамъ и по стѣнамъ комнатъ.

Отъ времени до времени ящерицы эти издаютъ своеобразный, громкій для такого маленькаго животного, ритмически повторяющійся крикъ: „іеко, геко“, или: „чекъ, чекъ-чеко!“ тогда какъ вдвое крупнѣйшія домашнія ящерицы Сіама, гораздо болѣе безобразныя на видъ, испускаютъ звуки, всего удобнѣе передаваемые словами: „токэ, токэ“. Туземцы такъ и зовутъ ихъ тамъ: *токэ*, подобно тому какъ звукъ *іеко* или *геко* послужилъ поводомъ къ научному обозначенію этихъ ящерицъ, причисляемыхъ къ особому семейству *іеконидъ* (Geckonida) общимъ названіемъ *іеко*.

Разъ занявъ свои позиціи, ящерицы тотчасъ же предаются съ жаромъ охотѣ на москитовъ и другихъ насѣомыхъ, во множествѣ привлекаемыхъ свѣтомъ лампъ черезъ открытыя двери и окна безъ стеколъ, при чемъ, не обращая никакого вниманія на людей и считая себя очевидно настоящими хозяевами, геко то прямо преслѣдуютъ свою добычу бѣгомъ, то подкрадываются къ ней и, вдругъ бросаясь впередъ, такъ сказать на лету, прилепляютъ зазѣвавшася муравья, москита или жука къ своему быстро выдвигаемому впередъ липкому языку, который и препровождаетъ затѣмъ жертву прямо въ ротъ.

Наблюденіе такой охоты, вслѣдствіе привычки ящерицъ къ людямъ и обилія ихъ, очень легкое вообще, доставляетъ немалое удовольствіе. Нерѣдки при этомъ драматическіе эпизоды: то произойдетъ внезапно враждебное столкновение двухъ помѣшавшихъ другъ другу охотниковъ; то, несмотря на всю свою ловкость и способность къ бѣготѣ по потолку, какой-нибудь геко, въ жару преслѣдованія, сорвется внизъ и свалится на кого-либо изъ присутствующихъ, или, ударившись о край стола, мебель, или прямо о полъ, даже оставитъ тамъ, въ видѣ печальнаго трофея, свой очень хрупкій хвостъ, имѣющій впрочемъ способность вновь отрасти.

Совершенная безвредность этихъ домашнихъ ящерицъ, ихъ интересныя нравы, польза, приносимая ими истребленіемъ докуч-

живыхъ насѣкомыхъ — все это заставляетъ считать геко тѣмъ, что онъ есть на самомъ дѣлѣ: другомъ человѣка. Къ сожалѣнію, однако, здѣсь, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, тупое невѣжество, недостатокъ естественно-историческаго образованія, неосмысленный страхъ, часто заставляютъ смотрѣть на полезныхъ геко какъ на враговъ — до тѣхъ поръ, пока привычка не возьметъ наконецъ свое и не заставитъ относиться къ нимъ по крайней мѣрѣ равнодушно. Чуждые предразсудковъ, домохозяева Сингапура являются, напротивъ, друзьями и покровителями своихъ геко, и такъ какъ отдѣльныя семьи послѣднихъ, постепенно размножаясь, живутъ все-таки непремѣнно за тою или другою картиною, зеркаломъ или мебелью, за которыми поселились ихъ предки, то не удивительно, что Е. С. В.—а, указывая въ качествѣ доброй хозяйки на ту или другую изъ нихъ, на мой взглядъ ничѣмъ не отличавшуюся отъ ближайшей сосѣдки, говорила не разъ: „Вотъ эта живетъ за тою-то картиною, за такимъ-то шкафомъ и такъ далѣе; эту я называю такимъ-то именемъ, та родилась въ прошломъ году, а сегодня или завтра изъ двухъ яицъ, положенныхъ въ пустой ящикъ, стоящій тамъ, должны вылупиться новыя дѣти“. И въ самомъ дѣлѣ, въ тотъ же день, въ нашемъ присутствіи, изъ бѣлаго яйца величиною въ воробьиное (но болѣе продолговатое) благополучно вышелъ на свѣтъ новый членъ колоніи ящерицъ, очень слабо державшійся еще на своихъ ножкахъ, пока только головою вверхъ. Новорожденный, со всѣми предосторожностями, которыя требовалъ его нѣжный возрастъ, былъ посаженъ на потолокъ mosquito-комнатки веранды. Часовъ черезъ шесть его уже тамъ не оказалось: очевидно, онъ отправился къ своей семьѣ, на родину, т. е. въ ту комнату, гдѣ явился на свѣтъ.

Прежде чѣмъ проститься съ геко Сингапура, принадлежащаго, насколько могу судить, къ виду *Hemidactylus reticulatus*, или формѣ, къ послѣднему весьма близкой, остановимся нѣсколько на оригинальной способности этихъ ящерицъ бѣгать по стѣнамъ и потолокамъ такъ же легко и свободно, какъ это дѣлаютъ, напримѣръ, мухи. Очень недавно еще, всего какихъ-нибудь лѣтъ 25 тому назадъ, полагали ошибочно, что способность эта обусловливается свойствомъ пальцевъ геко выдѣлать на своей нижней поверхности особую вязкую жидкость, приклеивающую, такъ сказать, животное къ потолку или стѣнѣ. Все это вполнѣ невѣрно. Всякій, кто только имѣлъ случай видѣть, какъ легко и быстро перемѣщается геко, бѣгая по потолку или даже зеркалу, уже a priori долженъ отвергнуть это толкованіе. Прямое наблюденіе доказываетъ затѣмъ, что никакой жидкости здѣсь и не выдѣляется. Причина совсѣмъ

иная: на каждомъ пальцѣ нижней стороны переднихъ и заднихъ конечностей ящерицы замѣчается двойной рядъ особыхъ пластинокъ, которыя въ спокойномъ состояніи плотно прикрываютъ одна другую, какъ черепица, но съ помощію особыхъ мышечныхъ пучковъ могутъ и приподниматься каждый самъ по себѣ въ видѣ свода. Плотнo прижавъ сначала свои пластинки въ гладкой поверхности, геко поднимаетъ ихъ затѣмъ сводомъ, за исключеніемъ остающагося плотно прижатымъ края: возникаетъ такимъ образомъ рядъ безвоздушныхъ пространствъ—и животное держится, вопреки закону тяжести, исключительно воздушнымъ давленіемъ на эти безвоздушныя пространства.

Перейдемъ теперь къ торговому кварталу европейской части Сингапура, центру города. Прежде всего здѣсь бросается въ глаза предпочтеніе, оказываемое почему-то домовладѣльцами яркому свѣтлосинему цвѣту, которымъ сплошь выкрашены зданія этой части города; такой цвѣтъ, благодаря вертикальнымъ лучамъ жгучаго солнца, особенно непроченъ: онъ скоро переходитъ въ очень неприглядный бурo-желтоватый, такъ что синій Сингапуръ всегда являлся мнѣ болѣе чѣмъ на половину полинявшимъ.

Магазины, исключительно англійскіе, защищены по возможности глубокими наружными колоннадами крытыхъ галерей, образующихъ родъ непрерывно тянущихся верандъ, ограничивающихъ, насколько это достижимо, подавляющую силу солнечнаго свѣта и жара, который все-таки здѣсь именно, т.-е. въ торговой части города, даетъ себя чувствовать особенно сильно, въ виду скученія сильно накаляющихся каменныхъ зданій и меньшаго обилія той могучей и разнообразной растительности, которою такъ богаты остальныя, менѣе центральныя части города.

Здѣсь постоянно наблюдается сильное народное движеніе: индусы, китайцы, малайцы, сингалезы—торговцы, парси и арабы—ростовщики и мѣнялы, англичане—въ качествѣ властныхъ и болѣе чѣмъ высокомерныхъ хозяевъ, а въ дни прихода почтовыхъ судовъ веселыя толпы отпущенныхъ „на землю“ погулять матросовъ,—все это сливается въ толпу столь же пеструю, какъ и шумно-многоязычную.

Разнообразие средствъ передвиженія еще болѣе содѣйствуетъ пестротѣ картины. Джинрикши-малайцы, носильщики-китайцы и тамилы-двуногіе бѣгуны перемежаются здѣсь съ экипажами частныхъ владѣльцевъ: крупныхъ финансистовъ, купцовъ и консуловъ. Экипажи ихъ, обыкновенно парные, запряжены крупными, часто очень породистыми, вывезенными изъ Австраліи лошадьми, являющимися рѣзкій контрастъ съ крошечными и безобразными пони наем-

ныхъ извозчиковъ, тамилонъ. Не успѣвъ такой экипажъ остановиться, какъ уже грумъ (кучера и грумы—тамилы или малайцы), соскочивъ съ возелъ, гдѣ онъ сидитъ рядомъ съ кучеромъ, держа подъ мышкою лѣвой руки укрѣпленный на короткой рукояткѣ пышный лошадиный хвостъ, начинаетъ тотчасъ непрерывно обмахивать имъ лошадей, отгоняя москитовъ, мухъ и оводовъ—иначе самыя добронравныя лошади не выдерживали бы остановки. А вотъ и старыя цейлонскіе знакомые, маленькіе горбатые и, если они типичны, чернаго цвѣта съ мелкими бѣлыми пятнами, *бычки-бичуны*, везущіе довольно скорою рысью, благодаря прекрасной мостовой, легкую двухколесную коляску съ двумя и даже (считая кучера) тремя сѣдоками.

Присутствіе горба у этихъ рогатыхъ рысаковъ указываетъ на принадлежность ихъ къ типу быка-зебу, характернаго вообще для востока, начиная съ Египта и кончая Японіей, гдѣ горбъ, однако, уже едва обозначается. Зато наибольшаго развитія достигаетъ онъ у встрѣчающихся здѣсь крупныхъ и очень сильныхъ зебу-тяжеловозовъ, свѣтло-сѣрыхъ или бѣлыхъ. Въ противоположность короткорогимъ бѣгунамъ, они украшены длинными, нерѣдко прямыми, отклоненными назадъ, какъ у антилопъ, рогами.

Запряженные въ громадные двухколесныя, крытыя въ видѣ свода, сплетеннаго изъ кокосовыхъ листьевъ, фуръ (индійская „тонга“), мѣрно выступаютъ они, звеня и гремя мѣдными колокольчиками и круглыми бубенчиками своихъ ошейниковъ, тогда какъ на длинныхъ рогахъ красуются мѣдныя кольца и вѣнчающіе ихъ мѣдные же шарикъ. Эти своеобразныя украшенія придаютъ быкамъ особо характерный, нѣсколько фантастическій видъ, такъ хорошо гармонирующій съ типичными и затѣйливыми орнаментами браманскихъ и буддійскихъ храмовъ и вообще со всею остальною индійскою обстановкою города.

Эти терпѣливые и иногда прямо многострадальныя труженники здѣсь все-таки счастливыѣ, чѣмъ на Цейлонѣ. Тамъ весьма распространенъ варварскій обычай расписывать съ помощью раскаленнаго желѣза иногда священными знаками, чаще же просто различными фигурами всю шкуру несчастнаго быка, за исключеніемъ одной головы, равно какъ и отрубать имъ, ни съ того, ни съ сего, часть хвоста.

Цейлонъ, какъ извѣстно, есть религіозный центръ буддизма. Адамовъ Пикъ хранитъ на своей вершинѣ отпечатокъ гигантской стопы „всечтимаго“ учителя Гуатамы-Будды, съ вершины этой горы вознесшагося на небо, какъ вѣрують послѣдователи его ученія. Для отдаленнаго Забайкалья, для Тибета, Китая и

Японіи, не говоря уже о самой буддійской Индіи, Цейлонъ вообще и храмъ „Святого Зуба“ въ Канди въ частности, есть то же, что Мекка для мусульманина — и вотъ правовѣрные сингалезы, долженствующіе служить примѣромъ для всѣхъ остальныхъ буддистовъ, являются по отношенію къ своимъ зебу, просто вслѣдствіе варварскихъ личныхъ вкусовъ, нарушителями существеннѣйшаго догмата своей религіи: не только не убивать никакого животнаго, но даже и не причинять ему ни малѣйшаго вреда и страданія.

Они говорятъ, что, клеймя своихъ быковъ, дѣлають это во славу Будды, руководствуясь тою же логикою, которою объясняютъ возможность употребленія въ пищу рыбы. „Какъ рѣшается вы ѣсть рыбу?—спросишь у сингалеза.—Вѣдь и рыба животное, а вашъ великій учитель запретилъ убивать все живое. Поэтому, слѣдуя его ученію, вы правильно ѣдите лишь то яйцо, скорлупа котораго случайно треснула и цыпленокъ изъ него не можетъ уже развиваться. Какъ же можно вамъ ѣсть рыбу?“ — „Да развѣ мы ее убиваемъ, — отвѣтилъ онъ: — мы бережно и осторожно только вынимаемъ ее изъ воды, а умираетъ уже она сама; грѣха тутъ нѣтъ!“ Отвѣтъ не лишенный лицемѣрія, но во всякомъ случаѣ сингапурскіе зебу должны быть довольны, что такого рода аргументація къ нимъ не прилагается и здѣсь ихъ не клеймятъ такъ жестоко, какъ на Цейлонѣ, въ центрѣ чистѣйшаго ученія Гуатамы.

Типичными для города являются браманскій и буддійскій храмы. Входная, служивающая постепенно кверху, башня перваго какъ бы стремится убіжать въ небо своимъ остріемъ. Самый храмъ помѣщается въ глубь пространнаго двора, обнесеннаго высокою каменною оградой. На дворѣ обширное зданіе, крыша котораго поддерживается толстыми колоннами въ четыре ряда; большой водоемъ и сложенный изъ бѣлыхъ камней жертвенникъ, гдѣ во славу и умиловленіе индійской троицы вообще, или спеціально грознаго *Сивы* и его страшной супруги *Дурги-Кали*, украшенной ожерельемъ изъ человѣческихъ череповъ, предаются закланію невинные козлята и ягнята. Самый храмъ украшенъ круглымъ бѣлымъ куполомъ. Въ глубь его залы — ниша, гдѣ воссѣдаютъ на тронахъ главные представители браманскаго пантеона, окруженные второстепенными божествами. На жертвенныхъ столахъ цвѣты: священный индійскій лотосъ (*Nelumbo speciosum*), розовый и бѣлый, содрѣвѣтыя пальмы: арека (*Areca Catechu*) и кокоса (*Cocos nucifera*), зеленые цвѣтки и отдѣльные лепестки *канани* (*Cananga odorata*), отличающейся упонительнымъ запахомъ: изъ нихъ, перегонкою, готовится эфирное масло *иланг-иланг*, служащее для

производства столь распространенныхъ духовъ того же имени, и цвѣтки не менѣе ароматной хампака (*Michelia Champaca*), такъ высоко почитаемой въ Индіи. Англичанамъ она извѣстна въ произношеніи „чемпэкъ“. Понятно, что все это можно было совершать лишь издали: входъ въ храмъ для нечестивцевъ, не-бра-манитовъ, даже и безъ обуви, не допускается.

Храмы буддійскіе, куда можно войти безъ обуви и шляпы на Цейлонѣ, а у китайцевъ какъ угодно, особенно въ этой части города, утрачиваютъ свою типическую цейлонскую обстановку. Подчиненные полубоги слишеомъ выдвигаются на первый планъ въ ущербъ самому Сакіямуні. Украшенія и вся архитектура принимаютъ отчасти уже китайскій типъ. Только „дагоба“ и священная неизбѣжная Во-хага (святая дерево), священная смоковница: *Ficus religiosa*, остаются во всей ихъ неприкосновенности.

Дагоба есть отдѣльное зданіе безъ оконъ и дверей, родъ гигантскаго, стоящаго на землѣ колокола: это „святая святыхъ“ послѣдователей Будды; здѣсь всегда хранятся какія-либо реликвиі его, — часть пояса, одежды упоминаются почти постоянно бон-зами, рѣже говорится о зубѣ или какой-либо иной части самаго тѣла „Великаго“. Все это, конечно, скрыто отъ взоровъ профановъ.

Подъ священной смоковницею Во-хага, неизмѣнно осѣняющую дагобу, въ „великую ночь испытанія“ послѣ многонедѣльнаго поста, бдѣнія и молитвъ, Будда побѣдилъ рой обворожительныхъ дѣвъ-демоновъ, „Апшаръ“, тщетно старавшихся, подъ предводительствомъ главы зла и сладострастія, могучаго „Кама“, искутить его чарами женской красоты. Напрасно расточали ему красавицы свои обольстительныя ласки, тщетно Кама опустошалъ свой кошель, пуская въ подвижника пламенные стрѣлы страсти съ тетивы своего золотого, обвитаго цвѣтами лука, Гуатама Будда остался непреклоненъ, посрамилъ демоновъ, принудилъ ихъ бѣжать и слился съ божествомъ во всеобъемленіи Нирваны. Не легко, однакоже, далось ему это послѣднее испытаніе: онъ едва устоялъ самъ, когда обольститель Кама, видя полную безуспѣшность искушеній, вдругъ принялъ образъ страстно любимой жены царевича Будды, царевны Ясодгары, покинутой имъ ради сознанія необходимости подавленія и полного устраненія всѣхъ земныхъ утѣхъ и радостей, когда онъ, еще какъ царевичъ Сиддарта, тайно бѣжалъ изъ родительскаго дворца, чтобы открыть людямъ „Путь“, т.-е. освободить ихъ отъ „Колеса судьбы“, цѣпи непрерывныхъ страданій, смертей и возро-

ждений, опять для страданія, безъ надежды успокоиться когда-либо въ лонѣ всепрощающей и всепримиряющей Нирваны. Вотъ почему обязательная при каждомъ буддйскомъ храмѣ дагоба должна быть всегда осѣнена священной смоковницею: подъ послѣдней былъ доведенъ Буддою до конечной цѣли искомый имъ такъ страстно „путь“ — путь спасенія страждущаго человѣчества!

Переходя теперь къ китайскому кварталу Сингапура, мы встрѣтимъ въ немъ ту же обстановку, которая всюду и вездѣ вносится съ собою китайцами.

Тѣ же тѣсныя, крытыя, узкія улицы съ ихъ нечистотою и вонью, которая здѣсь, при удушающей жарѣ, конечно, еще ужаснѣе и невозможнѣе, чѣмъ въ самомъ Китаѣ; тѣ же характерныя вывѣски; типичная одежда, косы, походныя кухни, притоны для куренія опиѣ. Уступка климатическимъ условіямъ состоитъ въ томъ, что работающіе на улицѣ и несущіе тяжести китайцы обыкновенно совсѣмъ обнажены до пояса. Ихъ лодочная жизнь на рѣкѣ Сингапура по обстановкѣ и условіямъ ничѣмъ не отличается отъ такой же въ Гонгъ-Конгъ и другихъ портахъ южнаго Китая.

Малайцы и индійцы (по большей части тамилы) ютятся въ своихъ кварталахъ. Жилища первыхъ — хижины, сохраняющія еще типъ свайныхъ построекъ. Полъ приподнятъ около метра надъ землею на деревянныхъ сваяхъ, оконъ и дверей нѣтъ, стѣны и крыши при бамбуковомъ остовѣ сплетены изъ сухихъ листьевъ кокоса, скрѣпленныхъ бамбуковыми пластинками.

Индійцы живутъ въ небольшихъ глиняныхъ мазанкахъ также весьма первобытнаго устройства. Многіе изъ нихъ — поклонники Сивы и могутъ быть распознаны уже издали: безъ чапмы, въ одной юбкѣ выше колѣнъ, съ волосами коротко обстриженными или, наоборотъ, очень длинными, связанными на затылкѣ большимъ узломъ, они бросаются въ глаза тройными бѣлыми полосами масляной краски, которою расписаны ихъ грудь, руки и даже шея. Полосы эти выдаются особенно рѣзко на почти черномъ тѣлѣ, при необычайно яркомъ освѣщеніи экваторіальнаго солнца.

Привлекательною стороною городского рынка являются своеобразные плоды, своеобразные настолько, что большинство ботаниковъ Европы знакомы съ ними только теоретически, и врядъ ли найдется между ними много такихъ, которые по личному опыту знакомы со вкусомъ царя всѣхъ экваторіальныхъ плодовъ — *мангустана*, затѣмъ *рамбутана*, *манни*, *дуріана*, *папай* и *пизанги*, болѣе извѣстнаго подъ его распространеннымъ, американскимъ,

названіемъ *банана*. Къ плодамъ, извѣстнымъ въ Европѣ, относятся ананасы, которыми Сингапуръ по справедливости особенно славится, ватѣмъ арбузы, дыни и огурцы.

Наши обыкновенные плоды и ягоды, какъ извѣстно, совсѣмъ не могутъ расти или по крайней мѣрѣ вызрѣвать не только вблизи экватора, но даже и въ предѣлахъ тропическихъ широтъ.

Ананасы Сингапура своею величиною и вкусомъ превосходятъ цейлонскіе, но какъ здѣсь, такъ и тамъ существуетъ громадная разни́ца между породами улучшенными, воспитываемыми спеціально для продажи по высшей цѣнѣ, сравнительно съ дешевыми ананасами, продаваемыми на рынкѣ какъ низшій сортъ. Последніе являются продуктомъ тѣхъ ананасовъ, которые, благодаря шипамъ ихъ густыхъ колючихъ листьевъ, имѣютъ значеніе только въ качествѣ живой изгороди, защищающей огороды отъ домашнего скота. Арбузы здѣсь такъ же сухи и несладки, какъ кислы и вѣчно зелены (даже и во время полной зрѣлости) апельсины на Цейлонѣ. Кстати, на последнемъ туземцы ѣдятъ ананасы, предварительно посоливъ ихъ. Практическій опытъ научилъ сингапурцевъ тому, что посаженный ананасъ лучше переносится желудкомъ. Насколько бананъ представляетъ собою здоровую и питательную пищу жаркаго пояса, настолько плохо переносится желудкомъ въ тропикахъ ананасъ. Ёдкій и здѣсь особенно кислый сокъ его, при малѣйшей неосторожности жадно набрасывающихся на недоступное въ Европѣ лакомство матросовъ, часто бываетъ причиною сильнѣйшей оскомины, доходящей до воспалительнаго раздраженія десенъ, языка и глотки.

Первымъ между всѣми плодами является здѣсь *мангустанъ* (*Garcinia Mangostana*), у англичанъ — „мангостэнъ“. Родина его — Малакка и Зондскіе острова; мангустанъ — дитя экватора восточной половины земного полушарія; до сихъ поръ, несмотря на всѣ старанія, его не удается развести въ соответственномъ поясѣ Южной Америки. Дерево само по себѣ очень красиво: высокій, покрытый бѣловато-сѣрою корою, стволъ его обладаетъ развѣсистою вершиною, богатою крупными блестящими цѣльными темнозелеными листьями, дающими густую тѣнь. Сами вѣтви гнутся подъ тяжестью множества плодовъ, красно-бурый цвѣтъ которыхъ мало выделяется, впрочемъ, на общемъ темнозеленомъ фонѣ. Плодъ сферической формы, величиною съ небольшое яблоко, сверху украшенъ черною, 6—8-лопастною звѣздою, снизу четырьмя очень свѣтло-зелеными лопастями остающейся чашечки. Съедомою, какъ и почти у всѣхъ тропическихъ плодовъ, является лишь срединная сочная мякоть. Наружная оболочка плотная

и кожистая, въ молодости ядовитая, въ зрѣломъ состояніи обладаетъ непріятнымъ сильно вяжущимъ, терпкимъ вкусомъ. Шестъ или восемь лучисто расходящихся изъ центра перегородокъ заключаютъ въ себѣ каждая по одному большому очень горькому сѣмени; каждое сѣмя у зрѣлаго плода окружено снѣжно-бѣлою или слегка розоватою полужидкою мякотью. Последнюю только и ѣдятъ. Срѣзавъ верхнюю часть плода, ложечкою выбираютъ полужидкую мякоть, которая видомъ, превосходнымъ вкусомъ и плотностью напоминаетъ висловато-сладкое мороженое. Мякоть эта обладаетъ слабымъ, но очень тонкимъ ароматическимъ запахомъ. Сходство съ мороженымъ увеличивается еще и тѣмъ, что плоды держатъ постоянно на льду, но и при такихъ условіяхъ они остаются годными не болѣе 48 часовъ. Итакъ, чтобы познакомиться со вкусомъ мангустана, необходимо лично побывать на Цейлонѣ, Явѣ, Сингапурѣ или Малаккѣ; въ другихъ мѣстностяхъ земного шара его найти невозможно. Однако и въ Сингапурѣ не легко встрѣтить такіе контрасты, какъ наши соленые рыжики и черный хлѣбъ, гречневая каша и кремъ изъ мангустановъ въ качествѣ пирожного, артистически приготовленного, по всѣмъ правиламъ французской кухни, поваромъ-китайцемъ. Такимъ контрастомъ являлось, однакоже, меню одного изъ роскошныхъ завтраковъ нашего гостепріимнѣйшаго консула А. М. В—а. Незачѣмъ прибавлять, что поименованныя типичныя произведенія далекаго отечества, приобретающія здѣсь особенное значеніе, какъ живыя воспоминанія далекой родины, были доставлены только-что побывавшимъ въ Сингапурѣ пароходомъ нашего добровольнаго флота, а мангустаны были изъ собственнаго сада.

Другой, лучший изъ тропическихъ плодовъ—*манга* или *мангу* (*Mangifera indica*), который недостаточно компетентными авторами и путешественниками часто смѣшивается совершенно ошибочно съ мангустаномъ. Различіе внѣшняго вида и строенія плода, вытекающее изъ систематическаго несходства производящихъ растений (принадлежащихъ къ различнымъ естественнымъ семействамъ) мангустана и манги, такъ велико, что и не-ботаники, познакомившійся съ ними лично, никогда ихъ не смѣшаетъ.

Манга видомъ своимъ напоминаетъ желтую, нѣсколько скатую съ боковъ сливу, величиною съ гусиное яйцо и даже значительно болѣе—въ лучшихъ крупныхъ культурныхъ породахъ. Обремененное плодами дерево манги весьма красиво: густолиственная темно-зеленая развѣсистая вершина его украшена какъ бы связками золотистыхъ плодовъ, спускающихся на весьма удлинненныхъ ножкахъ (характерная особенность) съ вершинъ вѣтвей, которыя они

граціозно пригибають своею тяжестью. Красота и высокій ростъ дерева, богатая тѣнь, имѣ доставляемая, вкусные плоды, всегда легко сбываемые на рынкѣ,—все это дѣлаетъ дерево любимѣйшимъ матеріаломъ для городскихъ насажденій и бульваровъ Цейлона, Сингапура и Сайгона; въ послѣднемъ всѣ бульвары города засажены (совмѣстно съ изящными тамариндами, *Tamarindus indica*) мангами, составляющими одну изъ статей городского дохода, такъ какъ плоды деревьевъ отдаются на откупъ.

Плодъ манги представляетъ, однако, несравненно меньшій съѣдомый матеріалъ, чѣмъ это можетъ казаться съ перваго раза: наружная, довольно толстая кожистая оболочка его, непріятнаго вязущаго вкуса, въ дѣло неидетъ. Вся срединная часть плода занята громадною косточкою, заключающею въ себѣ большое, очень горькое сѣмя. Промежутокъ между наружною оболочкою и косточкою выполненъ сочною оранжевою мякотью. Слой этотъ очень тонокъ: не превышая въ среднемъ выводѣ $\frac{1}{2}$ сантиметра, онъ лишь кое-гдѣ бываетъ вдвое толще, причемъ встрѣчаются зато и участки только въ два, даже одинъ миллиметръ: очень много для глаза и мало для услажденія вкуса! Вкусъ породистаго плода зрѣлаго, хотя и безъ сравненія уступающій мангустану, все-таки очень хорошъ. Кисловато-сладкій, онъ имѣетъ своеобразный ароматъ, отдаленно напоминающій запахъ свѣжей малины. Самыя лучшія манги приходится однакоже ѣсть уже внѣ тропиковъ: въ Шанхаѣ, куда онѣ доставляются изъ Маниллы; Филиппины даютъ лучшіе плоды, хотя родиною дерева ботаники почитаютъ Индію, а древнія санскритскія сказанія—Цейлонъ.

Исторія Ганумана, для всякаго правовѣрнаго индуса, священнѣйшей изъ священныхъ обезьянъ, тѣсно сплетается съ исторіею манги и занесена въ одну изъ древнѣйшихъ эпическихъ поэмъ Индіи, „Рамаяну“. Царствовавшій на островѣ Ланка (Цейлонъ) великанъ Равана похитилъ у героя Рамы его прекрасную супругу Ситу. Тщетно пытался возратить ее Рама собственными силами. Тогда ему на помощь явился царь обезьянъ, великій Гануманъ. Армія его перешла мостъ, соединявшій по преданію Цейлонъ съ материкомъ (слѣдами этого моста остались многочисленные острова въ проливѣ Палкѣ, между Цейлономъ и Коромандельскимъ берегомъ передней Индіи), а самъ онъ счастливо похитилъ Ситу изъ дворца великана и благополучно доставилъ ее Рамѣ обратно, причемъ встати украсть изъ садовъ Раваны превосходный, неизвѣстный дотошъ въ Индіи, плодъ „мангу“, также имъ туда доставленный и съ тѣхъ поръ размножившійся повсемѣстно.

Желая затѣмъ еще болѣе наказать великана, онъ вернулся снова на Ланку, былъ взятъ въ плѣнъ и осужденъ на сожженіе. Общія безропотно перенести свой ужасный жребій, Гануманъ молилъ только объ одномъ: дозволить раздѣлить съ нимъ горькую участь избраннымъ воинамъ-обезьянамъ, на что и получилъ согласіе. Передъ казнью всѣ обезьяны привязали къ своимъ хвостамъ тряпки и взошли съ Гануманомъ на костеръ, который тотчасъ и былъ зажженъ. Присущую ему божественною силою Гануманъ тотчасъ же погасилъ костеръ, а воины его, съ горящими на хвостахъ тряпками рассыпавшись по крышамъ столицы, мгновенно зажгли весь городъ, который и сгорѣлъ до тла, вмѣстѣ съ дворцомъ Раваны. Между тѣмъ Гануманъ, занятый тушеніемъ костра, неосторожно обжегъ себѣ руки, ноги и лицо, оставшіяся навсегда черными: съ тѣхъ поръ всѣ потомки великаго царя обезьянъ при желтовато-бѣломъ цвѣтѣ ихъ шерсти имѣютъ голыя лицо, руки и ноги чернофіолетоваго цвѣта, въ память похищенія манги. Такъ гласитъ индійская легенда и таковъ на самомъ дѣлѣ внѣшній видъ священной въ Индіи обезьяны, извѣстной въ зоологій подъ названіемъ *Semnopithecus Entellus*.

„Такъ ли было все это, какъ я вамъ рассказываю, Маршалъ?“ спросилъ я однажды своего проводника и переводчика на Цейлонѣ, сингалеза, очень хорошо говорившаго по-русски. — „Такъ, совершенно такъ!“ — отвѣтилъ онъ, видимо довольный, въ качествѣ глубоко убѣжденнаго буддиста, моимъ знакомствомъ съ подвигами Ганумана, высокочтимаго не только браманитами, но и послѣдователями Будды. Сингалезъ, единственный на Цейлонѣ, хорошо говорящій по-русски — явленіе столь исключительное, что я нѣсколько остановлюсь на немъ. Сынъ домовладѣльца такъ называемаго „чернаго“ квартала (Petha) Коломбо, Маршалъ десятилѣтнимъ ребенкомъ (теперь ему около 25 лѣтъ) былъ увезенъ, по согласію отца, однимъ изъ нашихъ крупныхъ землевладѣльцевъ, офицеромъ флота, въ Европу и поселенъ въ имѣніи моряка, въ нижнедѣвицкомъ уѣздѣ воронежской губерніи, — переходъ по географическимъ и бытовымъ условіямъ, конечно, довольно рѣзкій! Цѣлыхъ восемь лѣтъ прожилъ здѣсь Маршалъ и уже 18-лѣтнимъ юношей возвратился обратно на Цейлонъ, по желанію отца, усвоивъ себѣ свободно русскую рѣчь, научившись писать, хотя и неправильно, но все-же понятно и сносно. Изъ своей новой жизни въ Россіи онъ вывезъ на Цейлонъ пристрастіе къ черному хлѣбу и сожалѣніе объ его отсутствіи на родинѣ; что же касается до убѣжденій религіозныхъ, то Маршалъ остался тѣмъ же ревностнымъ послѣдователемъ Будды, какимъ прибылъ въ воронежскую

губернію, несмотря на юный возрастъ. Не имѣя, подобно браминтамъ, глубокаго отвращенія къ какой-либо религіи кромѣ собственной, онъ относится къ христіанству, которое считаетъ выше всѣхъ другихъ вѣроученій, съ тѣмъ высокомѣрнымъ снисхожденіемъ, которое вообще типично для правовѣрнаго цейлонскаго буддиста. Впрочемъ, въ этомъ направленіи Маршалъ идетъ и дальше. Онъ не чуждъ исканія новыхъ прозелитовъ во славу Гаутамы-Будды... Подчасъ старанія эти воплощались у него въ формѣ столь же своеобразной, какъ и наивной.

Особенно характернымъ изъ типичныхъ плодовъ Сингапура является *рамбутанъ* (*Nephelium Lappaceum*). Рамбутаны разводятся очень охотно какъ въ городѣ, такъ и на островѣ вообще. Это высокія, развѣсистыя деревья съ неравноперистыми листьями, мелкими, неказистыми цвѣтками и очень оригинальными плодами, при урожаѣ настолько обильными, что безъ подпоръ дерево не выдерживаетъ ихъ тяжести, несмотря на относительно незначительные размѣры самого плода, достигающаго размѣровъ мелкаго яблока, удлиненно-яйцевидной формы. Названіе „рамбутанъ“ весьма характерно и происходитъ отъ малайскихъ словъ: *Rambut*—волосъ и *Ap*—покрытый. Въ самомъ дѣлѣ, вся наружная кожистая краснобурая оболочка рамбутана покрыта длинными, мягкими, кожистыми, загнутыми на концахъ сосочками, напоминающими очень утолщенный волосъ—отсюда и названіе. Съѣдомою является бѣлая, сочная, сладкая масса мякоти плода, окружающая большое центральное горькое сѣмя, заключенное въ свѣтлосѣрой оболочкѣ. Рамбутанъ имѣетъ весьма ограниченное распространеніе: Зондскіе острова, Малакка и Сингапуръ—его родина; разводится онъ также на Цейлонѣ и островахъ Малайскаго Архипелага, а далѣе нейдетъ, и если, благодаря быстротѣ современныхъ морскихъ сообщеній, бананъ и манга получили извѣстность иногда далеко за предѣлами тропиковъ, то рамбутанъ, какъ и мангустанъ, благодаря особенной ихъ непрочности, доступны лишь для восточной половины экваторіальнаго пояса.

Папая, описываемая обыкновенно подъ названіемъ *дыннаго дерева* (*Carica Papaya*), принадлежитъ также къ числу характерныхъ плодовъ Сингапура.

Величиною въ небольшую желтую дыню, чаще всего грушевидной формы, она съѣдается цѣликомъ, за исключеніемъ многочисленныхъ сѣмянъ, часто не доразвивающихся совсѣмъ у высшихъ породъ, что почитается большимъ достоинствомъ. Въ незрѣломъ состояніи плодъ ядовитъ; изъ надрѣзовъ его стѣнокъ обильно вытекаетъ въ это время густой, подобный молоку, сокъ,

богатый особымъ веществомъ, папайотиномъ, который имѣетъ способность размягчать, а затѣмъ и растворять мясо и бѣлокъ круто свареннаго яйца, почему называется также иначе еще и растительнымъ пепсиномъ, отъ котораго, впрочемъ, рѣзко отличается своимъ химическимъ характеромъ. Сокъ этотъ заключается въ системѣ особыхъ, микроскопически мелкихъ, образующихъ сплошную сѣть трубокъ, такъ называемыхъ млечныхъ сосудовъ (какъ и въ головкахъ мака, напримѣръ, сгущенный сокъ которыхъ даетъ опій). При созрѣваніи плода этотъ млечный сокъ исчезаетъ, сосуды спадаются, плодъ становится безвреднымъ, сладкимъ и у высшихъ культурныхъ сортовъ слегка ароматнымъ. Дерево, дающее эти плоды, замѣчательно также во многихъ отношеніяхъ: стволъ его, чаще простой и неразвѣтвленный, въ пять-шесть лѣтъ достигаетъ вышины 5—6 метровъ, оставаясь сочнымъ и настолько мягкимъ, что при небольшомъ усилии можетъ быть срѣзанъ ножомъ; толщина его достигаетъ при этомъ размѣровъ поперечника руки взрослого человѣка. Вершина голаго ствола украшена вѣнкомъ крупныхъ, глубоко вырѣзанныхъ семилопастныхъ, пальчатыхъ листьевъ, какъ бы въ видѣ гигантскихъ рукъ, протягивающихся во всѣ стороны на своихъ длинныхъ черешкахъ, а подъ самую вершину ствола, въ видѣ мелкихъ дынь или гигантскихъ грушъ, висятъ, также на длинныхъ ножкахъ, многочисленные золотые плоды папая.

Вообще растительность Сингапура поражаетъ своею мощью, разнообразіемъ и богатствомъ чуждыхъ нашему сѣверному глазу формъ, и на нѣкоторыхъ изъ нихъ, наиболѣе типичныхъ, нельзя не остановиться, такъ какъ ими именно опредѣляется и самый характеръ города: какъ уже упомянуто, за исключеніемъ центральной торговой части, онъ тонетъ своими часто весьма разбросанными зданіями въ густой экваторіальной растительности, которая, впрочемъ, нерѣдко смѣняется очень неприглядными и, конечно, весьма вредными лужами стоячей болотной воды. За исключеніемъ такихъ неприглядныхъ мѣстъ, прекрасно шоссированныя улицы пробѣгаютъ между нависшими густымъ сводомъ аллеями роскошныхъ деревьевъ, позади которыхъ, въ европейской, т.-е. англійской части города, тянутся вездѣ, прямые какъ стрѣла и зеленые какъ изумрудъ, живыя ограды изъ низкорослаго стриженнаго щеткою бамбука, отдѣляющаго дома, расположенные въ глубь прилежащихъ къ дорогѣ садовъ, отъ улицы.

Материаломъ для аллей служить уже упомянутая священная смоковница (*Ficus religiosa*), хлѣбныя деревья: тару (*Artocarpus incisa*), съ его какъ бы лакированными, глубоковырѣзанными

листьями, и другой, менѣе цѣнный видъ: нанга (*A. intergrifolia*). Громадные плоды хлѣбныхъ деревьевъ, превышающіе, особенно у перваго, своими размѣрами вдвое и болѣе голову взрослого человѣка, разрѣзанные на куски и испеченные въ золѣ, вкусомъ дѣйствительно напоминаютъ нѣсколько плохой пшеничный хлѣбъ и охотно употребляются въ пищу туземцами. Громадные, отливающіе серебромъ своей листвы при малѣйшемъ дуновеніи вѣтра, *дуріаны*, съ ихъ оригинальными плодами также невольно привлекаютъ къ себѣ вниманіе путника-ботаника. *Дуріанъ* (*Durio Libethinus*), представитель семейства бавольниковыхъ, *Bombaceae*, близкихъ родственниковъ нашихъ мальвъ, *Malvaceae*, значитъ: *покрытый илами* плодъ (*Duri* по-малайски остріе, шипъ, *Ap*—покрытый). Дико растетъ онъ обильно на Борнео и западѣ Суматры, на родинѣ оранг-утана, *Satyrus rufus*, представляя собою, какъ показали Уоллесъ, въ незрѣломъ состояніи предпочтительную пищу этого антропоида. Суданезы Суматры и даяки Борнео убѣждены, что оранг-утанъ—убѣжавшій въ лѣсъ человѣкъ, притворяющійся нѣмымъ, чтобы его не заставили работать.

Дуріанъ—большое, очень высокое дерево съ широкою, но не особо тѣнистою вершиною. Листья у него очередные, черешчатые, удлиненно-овальные, суженные къ основанію и верхушкѣ, гладкіе, сверху темнозеленые, снизу бѣловатые. Благодаря этой особенности, серебристо-сѣроватый оттѣнокъ листвы *дуріана*, преимущественно при вѣтрѣ, даетъ возможность легко отличать его уже издали между другими деревьями, даже и при отсутствіи весьма характерныхъ плодовъ, вырастающихъ, какъ и нѣкоторые другіе (шоколадникъ, хлѣбныя деревья), не на вершинахъ вѣтвей, а изъ основанія ихъ, или даже изъ самаго ствола дерева, что и понятно: тяжесть плода исключаетъ возможность обычнаго развитія его въ области верхушки вѣтви.

Плоды *дуріана*, сферической или продолговатой формы въ зрѣломъ состояніи, смотря по различію культурныхъ породъ, желтовато-зеленые, сѣроватые или красноватые, усажены сплошь очень острыми и твердыми деревянистыми шипами, нерѣдко достигающими цѣлаго сантиметра длиною. Падая при созрѣваніи съ весьма значительной высоты, плоды эти нерѣдко наносятъ тяжелыя поврежденія домашнимъ животнымъ и людямъ. Извѣстны случаи самой смерти при ушибахъ и раненіяхъ ими головы и лица, что не мудрено при величинѣ плода, почти достигающаго размѣровъ головы взрослого человѣка, его тяжести, высотѣ паденія

и крайне тяжелыхъ послѣдствіяхъ раненія кожи подъ экваторомъ, особенно при отсутствіи раціональной врачебной помощи.

Деревянистая, толстая оболочка усаженного шипами плода такъ плотна, что послѣдній, благодаря густо торчащимъ во всѣ стороны шипамъ, нельзя взять въ руки и онъ можетъ быть вскрытъ только крѣпкимъ большимъ ножомъ или маленькимъ туземнымъ топорикомъ, снабженнымъ тонкою и длинною характерною рукояткою. При внимательномъ наблюденіи можно замѣтить пять очень узкихъ линій, расходящихся отъ ножки плода и снова встрѣчающихся у его вершины. Здѣсь нѣтъ шиповъ, и линіи эти — створки, по которымъ плодъ самъ раскрывается на пять частей во время его зрѣлости.

Только по этимъ линіямъ и можетъ быть вскрытъ онъ ножомъ или топорикомъ. При произвольномъ или искусственномъ вскрытіи плода распространяется тотчасъ же очень сильный и рѣзкій запахъ, весьма противный для непривычнаго. Всего ближе подходитъ онъ къ запаху выспихъ сортовъ свѣжей индійской вонючей камеди (*Asa foetida*), доставляемой въ Бомбей изъ Кандагара подъ названіемъ *Kandahari Hing* и употребляемой въ Индіи богатыми туземцами-мусульманами (не на нашъ вкусъ, конечно) вмѣсто приправы къ мяснымъ кушаньямъ.

Многіе путешественники сравнивали и сравниваютъ запахъ дуріана съ запахомъ загнившаго лука или даже сѣроводорода. Это несправедливо; дуріанъ напоминаетъ, конечно въ болѣе сильной степени, запахъ свѣжаго чеснока, представляющій немалое сходство съ запахомъ аса-фетиды вышеупомянутаго индійскаго сорта. Запахъ этотъ такъ силенъ, что онъ рѣзко обнаруживается въ воздухѣ еще висащими на большой высотѣ на деревьяхъ зрѣлыми и соврѣвающими плодами дуріана, какъ въ этомъ легко убѣдиться въ концѣ іюня, проѣзжая по улицамъ города между садами, въ которыхъ очень часто и обильно встрѣчаются весьма любимые въ Сипгапурѣ, особенно малайцами и витайцами, дуріаны. Сѣроводородомъ пахнутъ лишь загнившіе, слѣдовательно уже болѣе нестѣдкомые плоды. Благодаря своему сильному противному запаху, дуріаны безусловно лишены права гражданства на борту почтовыхъ пароходовъ: какъ только злополучный плодъ обнаружить на немъ свое присутствіе своимъ предательскимъ запахомъ, онъ немедленно выбрасывается въ море, такъ какъ обстоятельство это предусмотрено правилами. Познакомимся теперь съ нимъ поближе. Каждый изъ пяти вышеупомянутыхъ участковъ дуріана-плода представляется внутри въ видѣ какъ бы бѣлой или бѣлорозовой лодочки, содержащей

два-три крупныхъ бурыхъ, овальныхъ или почти сферическихъ съмени, величиною равняющихся съмени конского каштана. Съмена эти облечены особю сочною мясистою оболочкою, извѣстною у ботаниковъ подъ названіемъ *кровельки* (Arillus). Оболочка эта бѣлая, слегка красноватая или желтоватая, такъ сочна, что у плода вполне зрѣлаго расплывается въ полужидкую массу, имѣющую плотность сметаны. Это единственная съѣдомая часть всего плода, которая какъ бы таетъ во рту, обнаруживая совершенно иной, дѣйствительно очень пріятный, слабый и тонкій ароматъ и сладко маслянистый, едва острый вкусъ. Послѣдній, какъ и запахъ съѣдомой мякоти, очень нѣженъ. Во всякомъ случаѣ эти пріятные вкусъ и запахъ не заглушаютъ противнаго запаха вонючей камеди (или чеснока), столь характернаго для дуріана. Для полноты знакомства со вкусовыми свойствами оригинальнаго плода должно отмѣтить, что достаточно очень немного насладиться дуріаномъ, чтобы получить весьма продолжительное, не менѣе 12 часовъ, воспоминаніе о такомъ наслажденіи путемъ послѣдовательной сильной отрыжки чеснокомъ.

Какъ уже упомянуто, туземцы и китайцы страстно любятъ дуріанъ. Европейцы въ этомъ отношеніи дѣлятся на два противоположные лагеря. Одни говорятъ, что это нѣчто прямо невозможное, другіе становятся столь же страстными поклонниками своеобразнаго плода, какъ и туземцы. Кто же правъ? Думаю, увлекаются и тѣ, и другіе. Нельзя, конечно, согласиться съ Уоллесомъ, почитающимъ дуріанъ первымъ изъ всѣхъ плодовъ экватора, могущимъ по своимъ качествамъ стать рядомъ съ лучшимъ апельсиномъ. Въ своемъ увлеченіи, знаменитый авторъ „Малайскаго Архипелага“ упустилъ изъ виду даже мангустанъ, тогда какъ послѣднему несомнѣнно принадлежитъ пальма первенства между экваторіальными плодами.

Несомнѣнно, что крайне рѣзкій, большинству прямо противный, запахъ плода очень вредитъ и заглушаетъ пріятный, сладко-маслянистый и тонко ароматическій вкусъ его съѣдомой, почти совсѣмъ жидкой, мякоти. Вкусъ этотъ очень хорошъ по разнообразію вызываемыхъ имъ частностей самаго ощущенія, но описанію онъ не поддается. Это подтверждается всего нагляднѣе и лучше столь же подробнымъ, какъ и неудачнымъ, описаніемъ самого Уоллеса.

Зато вполне поддаются описанію отрицательныя стороны этого вкуса, а именно очень сильный запахъ чеснока, и упорная отрыжка имъ въ теченіе цѣлаго дня, иногда и болѣе. По мнѣнію того какъ вы привыкаете къ дуріану, противный запахъ его ста-

новится постепенно менѣе непріятнымъ. Страстные поклонники плода—а такихъ встрѣчается не мало между колоніальными европейцами—говорятъ, что запахъ этотъ становится подѣ концѣ даже пріятнымъ. Это, конечно, уже дѣло вкуса! Въ маѣ и юнѣ 1891 года, въ Сингапурѣ и на Явѣ, я не упускалъ случая, чтобы поскорѣе *привыкнуть* къ дуріану, и говорю объ немъ теперь на основаніи нѣкоторой личной опытности. Къ дуріану можно привыкнуть до извѣстной степени, можно и должно отдавать справедливость его тонкому вкусу, но куда же дѣвать сильнѣйшій чесночный запахъ? Пусть обсудитъ читатель.

Между малайцами, китайцами, сунданезами и аванцами дуріанъ вдобавокъ ко всему слыветъ еще и какъ сильное *aphrodisiacum*, чего наука, по наблюденіямъ колоніальныхъ врачей, не подтверждаетъ. Мнѣніе это пользуется, однакоже, полною вѣрою между европейцами—не-врачами. Вслѣдствіе всего вышесказаннаго понятно, что въ виду какъ реальныхъ, такъ и фивтивныхъ свойствъ дуріана, плодъ этотъ многими колонистами-европейцами считается прямо неприличнымъ. Поэтому неудивительно, что въ индійскихъ колоніяхъ дуріанъ является нерѣдко не только яблокомъ раздора въ семьѣ, но даже и предметомъ различныхъ нескромныхъ сплетней въ обществѣ.

Возвратимся теперь къ аллеямъ и городскимъ насажденіямъ Сингапура: манги и рамбутаны, букеты гигантскихъ, часто граціозно склоняющихся въ разныя стороны, бамбуковъ, усыпанные крупными ярко-красными цвѣтками; большинству читателей хорошо знакомы, такъ называемыя китайскія розы (*Hibiscus Rosa sinensis*) здѣсь уже не скромныя деревца нашихъ комнатъ, а очень большія деревья, представляющія такой контрастъ своею густою листвою, съ голымъ, т.-е. стоящимъ болѣешую половину года безъ листьевъ, родственникомъ, нашимъ старымъ яванскимъ знакомымъ, называемымъ хлопчатобумажнымъ деревомъ (Карокъ)—таковъ обычный матеріалъ городскихъ аллей. Рѣзкимъ контрастомъ перечисленнымъ густолиственнымъ формамъ являются казуарины (*Casuarina equisetifolia*), высокія деревья, повислыя вѣтви которыхъ въ общемъ напоминаютъ наши плакучія березы, но этимъ сходство и ограничивается. Казуарины лишены того, что не ботаники признаютъ за листья: молодыя вѣтви ихъ напоминаютъ до извѣстной степени стебли хвощей, а самое названіе казуарина было дано дереву по сравненію съ гигантскимъ казуаромъ, птицею, какъ извѣстно, вмѣсто перьевъ покрытою волосами, подобно тому, какъ и это дерево лишено листьевъ въ обыкновенномъ смыслѣ слова.

Затѣмъ, неизбежные спутники человѣка на экваторѣ и въ тропикахъ восточнаго полушарія, пальмы: арека или по-малайски „пинанга“ (*Agave Catechu*) и кокосъ, Клара или *Kelara* (*Cocos nucifera*), и также вѣчно разорванные въ клочки вѣтромъ, свѣтло-ярко-зеленые громадныя листья пизанга (бананы), съ его конечными, пригибающимися къ землѣ вершину сочнаго стебля, массами золотистыхъ плодовъ, — дополняютъ картину выдающихся растительныхъ формъ Сингапура.

Особенно характерными являются затѣмъ также невозможныя и невѣдомыя въ нашихъ широтахъ, здѣсь же обычныя и неизбежныя, такъ называемыя растенія-эпифиты, часто неправильно причисляемыя не-ботаниками къ паразитамъ.

Эпифитами называются такія растенія, которыя нуждаются въ другихъ лишь въ качествѣ опоры и мѣста жительства. Проникая своимъ первичнымъ корнемъ въ ткани коры дерева, эпифитъ пользуется послѣднимъ лишь для своего прикрѣпленія. Питаніе почерпаетъ онъ помощью листьевъ и многочисленныхъ воздушныхъ корней, не изъ соковъ дерева жертвы, какъ настоящіе, здѣсь же тоже нерѣдкіе, паразиты, а изъ насыщеннои водяными парами влажной атмосферы окружающаго его воздуха.

То, что мы наблюдаемъ въ миниатюрѣ въ нашихъ орхидейныхъ теплицахъ, даютъ намъ здѣсь условія самой природы. У насъ подвѣшенный подъ крышею теплицы на проволоку кусокъ обернутаго мхомъ дерева служитъ скромнымъ мѣстомъ прикрѣпленія свѣсившейся внизъ ярко цвѣтущей орхидеи жаркаго пояса, на примѣръ съ того же Сингапура; здѣсь же гигантскіе стволы деревьевъ сплошь покрыты, нерѣдко на высоту весьма значительную, эпифитными орхидеями и папоротниками, то блистающими ярко сочною зеленью своей изящно кружевной, мелко вырѣзной листвы, то поражающихъ причудливостью своихъ грубыхъ гигантскихъ листьевъ. Въ однихъ случаяхъ папоротники эти напоминаютъ собою громадныя птичьи гнѣзда, откуда и научное названіе нѣкоторыхъ (*Asplenium Nidus*); въ другихъ же часть удлиненныхъ кожистыхъ листьевъ, превышающихъ размѣры человеческого роста, поднимается параллельно стволу дерева, на которомъ поселился эпифитъ, прямо вверхъ, тогда какъ другая часть листьевъ, напоминающая очертаніями рога лося или сѣвернаго оленя, спускается по тому же стволу на землю съ высоты двухъ и даже болѣе метровъ (*Platycerium grande*). Аройники съ ихъ лопастными листьями (*Phylodendron* и проч.) и причудливыя ярко-цвѣтущія орхидеи еще болѣе разнообразятъ эту живую роскошную декорацію ствола служащаго имъ жилищемъ дерева, являя

собою, вмѣстѣ съ папоротниками и нѣкоторыми другими эпифитными формами, неисчерпаемый источникъ живыхъ декорацій, которыми такъ неистощимо и разнообразно убираетъ здѣсь природа каждый стволъ и даже почти каждый деревянный древесный сукъ!

Изъ украшающихъ садовыхъ растений Сингапура слѣдуетъ отмѣтить въ качествѣ выдающихся по ихъ красотѣ и оригинальности мадагаскарскую равеналу (*Ravenala Madagascariensis*), ближайшую родственницу пизанга или банана. Это гигантское сочное, травянистое растеніе, голый стволъ котораго, въ руку толщиною, при высотѣ 5 и болѣе даже метровъ, оканчивается вѣнцомъ двурядно расходящихся, также гигантскихъ, яркозеленыхъ и также всегда изорванныхъ вѣтромъ, какъ и у родственника пизанга, листьевъ. Длинные черепки ихъ оканчиваются расширеніями въ видѣ влагалищъ, охватывающихъ стволъ и образующихъ глубокіе желоба, въ которыхъ скопляется дождевая вода. Последнею пользуются для утоленія жажды туземцы Мадагаскара—откуда и общераспространенное популярное названіе растенія „деревомъ путешественниковъ“. Подъ нимъ именно извѣстно оно также и на Цейлонѣ, Явѣ, какъ и въ Сингапурѣ. Весьма любимы здѣсь также (какъ въ Коломбо и Батавіи) большія деревья съ мягко округленными густыми вершинами ихъ очень свѣтлыхъ, зеленовато-желтыхъ, въ вершинахъ вѣтвей почти бѣлыхъ, крупныхъ и сочныхъ листьевъ: это такъ называемое салатное дерево, *Lettuce tree* англичанъ (*Pisonia morindifolia*), кромѣ цвѣта листьевъ, съ нашимъ салатомъ латукомъ ничего общаго не имѣющее. Любимымъ и очень эффектнымъ получимъ растеніемъ, употребляемымъ для закрытія верандъ, стѣнъ домовъ, кіосковъ и оградъ, является *Bougainvillea spectabilis*, родомъ изъ Бразиліи, но здѣсь вполнѣ нашедшая свое второе отечество. Сплошной зеленый коверъ ея является испещреннымъ обильными массами ярко-фіолетовыхъ цвѣтковъ, какъ покажется на первый взглядъ. На самомъ дѣлѣ, однакоже, это не цвѣтки, а верхніе листья, такъ называемые прицвѣтники ботаниковъ, въ углахъ которыхъ помѣщаются мелкіе и непріглядные бѣловатые цвѣточки, издали совершенно подавляемые яркою окраскою и крупными размѣрами своихъ прицвѣтниковъ.

Ботаническій садъ Сингапура, расположенный на одной изъ окраинъ города, принадлежитъ къ числу выдающихся какъ по своимъ научнымъ, такъ и по декоративнымъ достоинствамъ. Прелестныя группы и одиночныя экземпляры замѣчательнѣйшихъ по красотѣ, изяществу формъ и рѣдкости деревьевъ и кустарниковъ

разбросаны здѣсь среди зеленыхъ газоновъ, содержимыхъ безукоризненно. Превосходно шоссированныя дороги и дорожки для экипажей, всадниковъ и пѣшеходовъ, обширный прудъ, охваченный кольцомъ роскошнѣйшей древесной чащи—все это дѣлаетъ ботаническій садъ любимымъ мѣстомъ катанья и прогулокъ высшаго общества Сингапура въ тотъ краткій періодъ дня, который предшествуетъ солнечному заходу, между 5^{1/2} и 6 часами по-полудни.

Въ шесть часовъ день внезапно и сразу смѣняется уже глубокимъ мракомъ, такъ что экипажи, въѣхавшіе въ садъ при полномъ яркомъ блескѣ солнца, прежде чѣмъ оставить садъ, должны зажигать свои фонари, чтобы продолжать или окончить предшествующую обѣду прогулку въ темнотѣ охватившей ихъ внезапно ночи. Прибавимъ, что время визитовъ отводится здѣсь промежутку между 5—7 часами вечера. Было бы не только верхомъ неприличія, но даже и прямой невозможностью принять это раньше, такъ какъ послѣ второго завтрака, отъ 12 до 1 часа дня (первый рано утромъ), всѣ должны, свободные отъ оболочекъ и покрововъ, возлечь, если не спать, подъ знаменами уже намъ „мустикерами“, на своихъ широчайшихъ тропическихкихъ ложахъ, обыкновенно до 4 или даже 5 часовъ по-полудни.

Прудъ сада также невольно привлекаетъ къ себѣ вниманіе. На зеркальной поверхности его широко и привольно раскинулись, подобно плоскимъ чашамъ, ярко-зеленые, гигантскіе (до 2-хъ метровъ наибольшаго поперечника) листы царственной викторіи Южной Америки (*Victoria regia*), во время моего перваго посѣщенія Сингапура, въ 20-хъ числахъ марта, бывшей въ полномъ цвѣту. Снѣжнобѣлые въ однихъ, ярко-розовые въ другихъ случаяхъ (смотря по возрасту), крупные цвѣтки ея возвышались между сегментами края листа и представляли великолѣпный видъ. Викторія, быть можетъ, самое аккуратное растеніе въ мірѣ. Цвѣточная почка ея поднимается по мѣрѣ своего развитія изъ воды постоянно такъ, что цвѣтокъ обазывается какъ разъ между двумя относительно короткими лопастью вырѣзки края листа. При расцвѣтаніи снѣжнобѣлая цвѣточная почка остается полу-распустившеюся и безъ дальнѣйшихъ измѣненій 24 часа, затѣмъ, распустившаяся окончательно еще черезъ сутки, она становится уже бѣло-розовою, тогда какъ основанія многочисленныхъ лепестковъ цвѣтка принимаютъ теперь свѣтло-малиновую окраску и полосы. Рядомъ съ этою представительницею противоположной, западной половины жаркаго пояса красуются: изящный бѣлый и розовый

египетскій (*Nymphaea Lotus*) и столь же священный въ Инди, какъ первый былъ въ древнемъ Египтѣ, индійскій лотосъ (*Nelumbo speciosum*), также бѣлый и розовый. Листья перваго, напоминающіе листья нашихъ кувшинокъ (обыкновенно и совершенно неправильно называемыхъ бѣлыми и желтыми водяными лиліями), плаваютъ на водѣ; у втораго они возвышаются надъ нею и достигаютъ значительно болѣешихъ размѣровъ. Лотосъ, неизбѣжная принадлежность браманскаго и буддійскаго богослуженія — одинъ изъ священнѣйшихъ символовъ этихъ религій: согласно священнымъ преданіямъ браманитовъ (принимаемыхъ также и послѣдователями Будды), міръ произошелъ такъ. На волнахъ океана вѣчности появился цвѣтокъ лотоса. Тогда будущій творецъ боговъ и людей, великій Брами, заключилъ себя внутрь яйца, поконившагося на днѣ цвѣтка этого лотоса, и долго пребывалъ тамъ неподвижнымъ, пребывалъ до тѣхъ поръ, пока внутри его не созрѣло „желаніе“, послѣдствіемъ ставшее самостоятельнымъ подчиненнымъ божествомъ — такъ явился на свѣтъ Кама, богъ любви, вождельный и страстей. Желаніе возбудило въ Брамѣ потребность освобожденія изъ яйца. Тогда силою божественной воли оно раскололось на двѣ равныя половины: нижняя, обруженная океаномъ, стала землею, на немъ плавающею; верхняя половина яйца превратилась въ опрокинутый надъ землею небесный сводъ. Затѣмъ создалъ Брами великихъ Вишну, охранителя, и грознаго Сиву, разрушителя, но въ то же время и жизнеподателя въ качествѣ представителя оплодотворяющей и возбуждающей къ новой жизни мужской силы. Этимъ божествамъ предоставилъ Брами управление вселенною. Согласно такимъ воззрѣніямъ, современные послѣдователи браманизма раздѣляются на поклонниковъ Сивы и Вишну: сивантовъ и вишнунитовъ, такъ какъ самъ верховный Брами слишкомъ великъ и недоступенъ для непосредственнаго участія въ судьбѣ и ничтожныхъ дѣлахъ созданныхъ имъ людей.

Таково значеніе лотоса въ космогоніи браманитовъ и буддистовъ. Религія послѣднихъ является (и въ этомъ залогъ ея успѣха и преобладанія надъ послужившимъ ей исходною точкою браманизмомъ) живымъ протестомъ противъ безучастно-высокомѣрнаго невмѣшательства верховнаго божества въ судьбу страдающаго человечества, рядомъ неизбѣжныхъ возрожденій, карательнаго характера (переходомъ души въ низшихъ и нечистыхъ животныхъ), привязаннаго къ роковому „колесу судьбы“ и тяжелыхъ скорбей безъ указанія возможности успокоительнаго пути спасенія. Какъ ни мало даетъ буддизмъ самъ по себѣ, все-же при такихъ условіяхъ и это малое овазывается многимъ: онъ даетъ искомый путь,

цѣль котораго — Нарвана, освобожденіе души отъ вѣчныхъ митарствъ роковыхъ перерожденій, на которыя осуждаетъ ее браманизмъ.

Краткосрочность моего хотя и троекратнаго пребыванія въ Сингапурѣ не дала мнѣ возможности ступить на материкъ задней Индіи, во владѣнія султана Джогора, несмотря на полную готовность содѣйствія въ этомъ направленіи нашего консула, моего радушнѣйшаго и гостепріимнаго хозяина. Тѣмъ съ большимъ удовольствіемъ воспользовался я предложеніемъ А. М. В.—а посѣтить въ концѣ іюня одну изъ окрестныхъ плантацій города, принадлежавшей мѣстному старожилу, французу Chassaigiaux. Этимъ путемъ была дана возможность хотя до нѣкоторой степени познакомиться съ условіями жизни на островѣ внѣ города.

Рано утромъ, въ щегольскомъ экипажѣ, запряженномъ паркою породистыхъ, крупныхъ воронныхъ Австраліи, выступили мы въ походъ на плантацію, отстоявшую отъ города въ немногихъ миляхъ (около часа хорошей быстрой ѣзды). По прекрасному шоссе выѣхали мы изъ города; путь лежалъ между европейскими дачами, вскорѣ смѣнившимися малайскими хижинами и индійскими мазанками, теравшимися среди обступившихъ ихъ плантацій лизанговъ, окруженныхъ хлѣбными деревьями, папаями, дуріанами, зрѣлые плоды которыхъ, несмотря на высоту самыхъ деревьевъ, наполняли атмосферу своимъ характернымъ чесночнымъ запахомъ, мангустанами и рамбутанами, склонявшими свои вѣтви подъ тяжестью безчисленныхъ плодовъ. Высоко поднимались надъ этими деревьями прямые, какъ стрѣла, тонкіе и стройные, кольчатые стволы пальмы арека, обанчивающіеся короткими, какъ бы обстриженными, султанчиками своихъ пяти-шести темнозеленыхъ листьевъ, тогда какъ, наоборотъ, молодые кокосы широко раскидывали въ стороны перистый свѣтлозеленый вѣнецъ своихъ 12—15 листьевъ надъ невысокимъ, еще прямымъ, но уже несущимъ золотистокоричневые орѣхи стволомъ. Кокосъ начинаетъ давать здѣсь плоды уже съ 7-го, даже 6-го года жизни, иногда и ранѣе. Жилище нашего хозяина, его *бемалоу* (bungalow), представляло собою обычный типъ сельскаго дома англійскихъ плантаторовъ. Прежде чѣмъ отправиться показывать свое хозяйство, Chassaigiaux, очень бодрый и энергичный старикъ, лѣтъ около 70-ти (по имѣющимъ у меня свѣдѣніямъ, онъ умеръ въ 1892 году въ Аденѣ, на пути въ Европу), угостилъ насъ превосходными мангустанами, которые мы съ удовольствіемъ запили прохладною „водою“ только-что сорванныхъ кокосовыхъ орѣховъ.

Кто не читалъ о такъ называемомъ кокосовомъ молокѣ, этой

необходимой принадлежности житейскаго обихода жарезаго пояса, — и какъ мало однакоже между такими читателями лицъ, которые знали бы, насколько невѣрно такое названіе! „Клара-ауег“, вода кокоса—вотъ настоящее, соответствующее истинѣ, названіе этой жидкости. Сѣмянное ядро созрѣвающего, но еще далеко не достигшаго зрѣлости, кокоса состоитъ изъ относительно тонкаго, снѣжно-бѣлаго, плотнаго наружнаго слоя, своимъ нѣжнымъ вкусомъ напоминающаго лучший миндаль, и слоя внутренняго, рыхлаго и нѣжно-волонистаго, на вкусъ сладковатаго. Этимъ внутреннимъ слоемъ ограничивается центральная, выполненная прозрачною безцвѣтною жидкостью, полость сѣмени. Жидкость эта и представляетъ собою то, что туземцы зовутъ „кокосовою водою“; ее они пьютъ, а два вышеописанные слоя сѣмяннаго ядра ѣдятъ прямо или приготовляютъ изъ него различныя кушанья, которые могутъ быть подчасъ такъ же мало привлекательны въ смыслѣ гастрономическомъ, какъ разнообразны численно.

Орѣхъ, достигшій предѣловъ своего нормальнаго роста, но еще не созрѣвшій, содержитъ въ себѣ болѣе двухъ большихъ стакановъ воды. Это—прозрачная, едва опалесцирующая жидкость. Ее-то и называютъ неправильно кокосовымъ молокомъ, потому что въ орѣхахъ, давно сорванныхъ и долго лежавшихъ, она, становясь непрозрачною, дѣйствительно принимаетъ видъ молока, получая при этомъ непріятный запахъ и прогорклый вкусъ—въ такомъ состояніи она, понятно, уже негодна болѣе въ употребленію и въ такомъ видѣ именно прибываютъ содержащіе ее орѣхи въ порты Европы, подтверждая ошибку самаго названія.

Только-что снятый съ дерева, надлежащаго возраста, кокосовый орѣхъ срѣзывается у своего верхняго заостреннаго полюса ножомъ,—мягкость еще не одеревенѣвшей стѣнки его это позволяетъ. Теперь остается только разлить по стаканамъ воду, и все готово! На первый разъ слегка сладковатая жидкость кажется нѣсколько приторною, но замѣчательная свѣжесть, дающая чувство пріятной и столь желательной при томѣющей жарѣ прохлады, быстро миритъ съ этимъ неудобствомъ, тѣмъ болѣе, что прибавка одной или двухъ чайныхъ ложекъ портвейна, хереса или коньяку совершенно устраняетъ приторный вкусъ кокосовой воды, которая по своему содержанію сахара и бѣлка представляетъ собою не только средство для утоленія жажды, но до извѣстной степени и питательный матеріалъ вообще.

Цѣль моего посѣщенія Chassairiaux была его плантація такъ называемаго *либерія-кофе*. Кофе обыкновенно получается отъ растенія, извѣстнаго въ наукѣ подъ названіемъ *Coffea Arabica*,

хотя родина его—Абиссинія. Паразитный микроскопическій грибокъ, *Hemileia vastatrix*, въ настоящее время уничтожившій значительную часть кофейныхъ плантацій Цейлона, проникшій на Яву и Сингапуръ, является страшнымъ бичомъ плантаторовъ. Болѣзнь выражается появленіемъ на листьяхъ пораженныхъ растений желтыхъ, впоследствии чернѣющихъ пятенъ, въ которыхъ микроскопъ обнаруживаетъ присутствіе оранжевыхъ тѣлецъ, такъ называемыхъ споръ, служащихъ для размноженія паразита и его грибныхъ нитей. Пораженный болѣзнию кустъ теряетъ листья, почти перестаетъ цвѣсти, ягоды его сохнутъ и опадаютъ задолго до созрѣванія, кустъ гибнетъ, зараза быстро охватываетъ всю плантацію, неизбежная участь которой—полная гибель. Вотъ почему характерное названіе „кофейной чумы“, противъ которой до сихъ поръ не найдено никакихъ средствъ, вполне соответствуетъ печальной дѣйствительности.

Либерія-кофе, родина котораго западная Африка, въ странѣ того же имени (Либерія, какъ извѣстно, лежитъ въ 5—6° сѣв. широты, между Сьерра-Леоне и страной Ашанти), отличается несравненно болѣе крупными размѣрами самаго дерева, его листьевъ, цвѣтковъ и ягодъ и, что особенно важно, страдаетъ относительно мало отъ кофейной чумы. Кромѣ того, либерія-кофе отличается своими высокими качествами, какъ я въ томъ лично могъ убѣдиться на Явѣ и въ Сингапурѣ, продается всегда по высокимъ цѣнамъ, и въ настоящее время распространеніе его на Цейлонѣ, Явѣ и Сингапурѣ является вопросомъ дня, тѣмъ болѣе, что сладкую, богатую сахаромъ мякоть краснобурныхъ ягодъ, вдвое болѣе крупныхъ, чѣмъ у кофе обыкновеннаго, прежде пропадавшую безъ всякой пользы при очисткѣ такъ называемыхъ „кофейныхъ бобовъ“, т.-е. сѣмянъ, изъ которыхъ состоитъ продажный товаръ, теперь начали утилизировать для полученія виннаго спирта, столь дорогого и плохого вообще въ жаркомъ поясѣ. Неудивительно поэтому, что я съ живѣйшимъ интересомъ собирался осмотрѣть обширную плантацію либерія-кофе на Сингапурѣ.

Въ 9 часовъ утра выступили мы въ походъ на плантацію, раскинувшуюся по сосѣднимъ холмамъ и занимавшую нѣсколько сотъ акровъ. Былъ поданъ очень своеобразный экипажъ, нѣчто въ родѣ нашей старинной линейки, очень низкій на ходу и запряженный весьма почтеннымъ ветараномъ: крупнымъ австралийскимъ воронимъ конемъ. Консулъ, я и хозяинъ усѣлись какъ могли удобнѣе; послѣдній взялъ возжи; малаецъ въ саронгѣ, подавшій экипажъ, пошелъ позади и шествіе торжественно и мед-

ленно тронулось со двора. Дорога поднималась исподволь, но постоянно въ гору, по ровному зеленому лугу.

Естественные луга, въ нашемъ смыслѣ слова, въ тропикахъ восточнаго полушарія такъ же невозможны, какъ у насъ пальмы на открытомъ воздухѣ. Тамъ нѣтъ общественныхъ растений вообще и нашихъ невысокихъ злаковъ въ частности, представляющихъ собою неизбѣжныя условія существованія всякаго луга. Въ садахъ ровныя зеленныя лужайки—продуктъ посѣва райграса и нѣкоторыхъ другихъ травъ Европы. Естественно, что меня заинтересовало знакомство съ лугомъ Сингапура, несомнѣнно самороднымъ; я сошелъ съ линейки и встрѣтился съ явленіемъ, уже достаточно знакомымъ по Цейлону и Явѣ. Лугъ состоялъ изъ сплошныхъ массъ стыдливой мимозы (*Mimosa pudica*), нѣжнаго травянистаго растеньица, не превышавшаго здѣсь 30—40 сантиметровъ, съ его двукратно-перистыми листочками и небольшими головками розовыхъ соцветій, которыя не-ботаники такъ охотно сравниваютъ съ кругло обрѣзанными розовыми шолоковыми кисточками. Стыдливая мимоза—дочь Бразиліи и Гвіаны, но она одичала и вполне акклиматизировалась на Цейлонѣ, Сингапурѣ и Явѣ, занимая сплошными массами всякую сколько-нибудь для нея подходящую почву, съ которой вытѣсняетъ другія растенія.

Какъ извѣстно, она отличается необычайною раздражительностью листьевъ,—раздражительностью, которая прямо пропорціональна силѣ солнечнаго освѣщенія и тепла; короче, растеніе является здѣсь несравненно болѣе чувствительнымъ, чѣмъ даже лѣтомъ въ нашихъ оранжереяхъ.

При малѣйшемъ прикосновеніи, не говоря уже о прямомъ давленіи, листочки, смотрящіе горизонтально въ стороны, складываются другъ съ другомъ и ложатся вдоль своихъ вторичныхъ черешковъ, тогда какъ общій первичный черешокъ листа, до сихъ поръ отстоявшій отъ стебля горизонтально, также обвисаетъ безпомощно прямо внизъ. Такое состояніе листа продолжается тѣмъ долѣе, чѣмъ сильнѣе было раздраженіе растенія; затѣмъ онъ мало-по-малу возвращается къ своему первоначальному положенію. Здѣсь одиночный опытъ ботаническихъ лабораторій съ мимозою повторяется вами въ грандіозныхъ размѣрахъ невольно. По мѣрѣ того, какъ вы идете по лугу мимозы, раздраженіе растеній ногами, тростями и зонтиками предшествуетъ идущему и передается растеніямъ сосѣднимъ. Быстрое складываніе листочковъ и опусканіе самыхъ листьевъ вызываютъ особые волнообразные переливы оттѣнковъ зеленого ковра мимозы, которые до извѣстной степени напоминаютъ переливы волнующихъ

вѣтромъ нашихъ полей только-что выколосившагося ячменя, ржи или пшеницы, съ тою разницею, что здѣсь явленіе это наблюдается при полной неподвижности подавляющей своею духотою атмосферы.

Рядомъ съ луговинами мимозы попадались участки, сплошь заросшіе бичомъ Сингапура и Явы, высокимъ, достигающимъ мѣстами до двухъ метровъ, жесткимъ, грубымъ и ни на что не годнымъ злакомъ, извѣстнымъ подъ туземнымъ названіемъ „алангъ-алангъ“. Злакъ этотъ, ближайшій родственникъ сахарнаго тростника, называется въ наукѣ *Saccharum (Imperata) Koenigi*. Свойственный горнымъ мѣстностямъ Явы и Малакки, онъ неизбѣжно завладѣваетъ всякою воздѣлываемою и затѣмъ брошенною землею, поселяясь также и на мѣстахъ выжигаемыхъ лѣсовъ.

Алангъ-алангъ—одна изъ величайшихъ бѣдъ земледѣльца этихъ странъ. Систематическія выжиганія не приносятъ пользы, такъ какъ далеко и глубоко расплзающіяся подъ землею корневища даютъ обильные отпрыски, а мельчайшіе, снабженные волосками, плоды разсѣиваются повсемѣстно и на далекія пространства.

Насколько безотрадными являлись участки земли, заполоненные алангъ-алангомъ, настолько привлекательны и красивы были правильные ряды кустовъ самой кофейной плантаціи, съ ихъ большими кожистыми, какъ бы лакированными листьями, бѣлыми, крупными, видомъ и чуднымъ запахомъ напоминавшими жасминъ цвѣтками и многочисленными, созрѣвающими и уже созрѣвшими, краснобуроватыми крупными ягодами.

На обратномъ пути пришлось пережить не особенно пріятный, но на Сингапурѣ весьма обычный эпизодъ.

Подъ вліяніемъ возрастающаго жара — было уже около 11 часовъ утра—мы медленно подвигались въ своемъ низкомъ, оригинальномъ экипажѣ обратно къ усадьбѣ; вдругъ Chassairiaux быстро остановилъ лошадь. Въ двухъ шагахъ отъ нея медленно и лѣниво переползала дорогу почти черная „кобра“, темная разновидность столь страшной своимъ безусловно смертельнымъ укушеніемъ сѣрой очковой змѣи (*Naja tripudians*): „Attention, messieurs! Voilà le cobra noire qui passe; il n'aime pas à se voir dérangé en chemin. Place, place à monseigneur!“

И вотъ, какъ бы въ подтвержденіе только-что сказаннаго, змѣя остановилась на дорогѣ и, медленно приподнявъ голову, стала смотрѣть на насъ. Кобра не была для меня, конечно, новостью: представленія заклинателей змѣй, гдѣ фигурируетъ именно она, успѣли надобѣсть въ свое время въ Коломбо и Канди; случилось также видѣть не разъ и только-что убитыхъ кобръ въ

знаменитомъ ботаническомъ саду Цейлона, „Пераденіи“. Но тамъ дѣло обстояло иначе: мертвыя, конечно, въ счетъ не шли, а живыя были совершенно безвредны; заклинитель змѣй, отправляясь на практику, дразнить предварительно посаженную въ закрытую корзинку змѣю, заставляя ее долго кусать подставленный клубокъ шерсти. Истративъ весь запасъ накопившагося въ железахъ ея зубовъ яда, змѣя на извѣстное число часовъ становится вполне безвредною. Заклинателю путемъ эмпирическаго опыта хорошо извѣстенъ тотъ періодъ времени, въ теченіе котораго онъ можетъ безнаказанно продѣлывать со страшною коброю свои штуки, обвивать ею свою шею, прятать за пазуху и такъ далѣе. Не то было здѣсь: наши ноги находились менѣе чѣмъ на полъ-аршина отъ земли; кобра, очевидно, вполне свѣжая, была въ двухъ шагахъ. Моментъ во всякомъ случаѣ непріятный, но все обошлось благополучно. Змѣя лѣниво и какъ бы нѣхотя переползла дорогу. Мы поѣхали далѣе, вернулись въ усадьбу, поблагодарили хозяина и безъ всякихъ дальнѣйшихъ приключеній возвратились въ городъ.

Описаніе послѣдняго заключало бы въ себѣ, однако, существенный пробѣлъ, еслибы я не упомянулъ о его временныхъ, но тѣмъ не менѣе не особо рѣдкихъ посѣтителяхъ—тиграхъ.

Такой случай произошелъ именно, среди бѣлаго дня, во второмъ часу по-полудни, 23 марта 1891 года, какъ свидѣтельствуя сохраняющіяся у меня вырѣзки мѣстныхъ газетъ. Дѣло въ томъ, что на самомъ островѣ постоянно держатся одинъ или иногда нѣсколько тигровъ, переплывающихъ проливъ, который отдѣляетъ островъ Сингапуръ отъ материка Малакки километра на два. Тигры эти, между прочимъ, охотятся на домашнихъ животныхъ, преслѣдуя въ особенности собакъ, составляющихъ ихъ любимѣйшее лакомство. Собаки, въ свою очередь, страшно боятся тигра, почуявъ котораго поднимаютъ отчаянный вой. Вторымъ любимымъ лакомствомъ для тигра являются одионочно работающіе на плантаціяхъ китайцы, тогда какъ на индусовъ и малайцевъ нападенія случаются рѣже. Бродя по острову, тигръ часто подходитъ къ окраинамъ города. Густо заросшіе пустыри между отдѣльными рѣдкими зданіями служатъ ему хорошимъ прикрытіемъ и убѣжищемъ, откуда по временамъ онъ дѣлаетъ и болѣе дерзкія вылазки.

Результатомъ послѣднихъ бываютъ облавы мѣстныхъ немродовъ-англичанъ. Большіе сборы, торжественныя приготовленія и солидная выпивка являются обыкновенно началомъ и конечнымъ исходомъ такихъ охотъ, потому что тигръ всего чаще благопо-

лучно уходить лишь подальше отъ города, или, въ крайнемъ случаѣ, переплываетъ обратно на Малакку, чтобы вернуться снова на островъ, какъ только прекратится обезпокоившій его безвредный шумъ охотничьяго похода.

Случай 23 марта 1891 года произошелъ при такихъ условіяхъ. На одной изъ окраинъ города, въ домѣ, принадлежащемъ одному англичанину, въ половинѣ 2-го часа дня собаки вдругъ подняли на дворѣ отчаянный вой, привлекшій на себя вниманіе малайца-водоноса. Войдя въ кухню, помѣщавшуюся въ нижнемъ этажѣ, водоносъ нашелъ въ ней вмѣсто повара тигра, который преспокойно, съ большимъ кускомъ мяса въ пасти, чинно и важно посѣдствовалъ въ дверь мимо его и исчезъ, унося весь матеріалъ, предназначавшійся для обѣда семьи домовладѣльца.

Такой дерзкій поступокъ произвелъ общую сенсацію: мужчины заговорили объ облавѣ, дамы волновались въ виду слишкомъ сильно затронутыхъ интересовъ экономическихъ и даже личной безопасности.

Бесѣдуя по этому случаю со своимъ поваромъ-китайцемъ о необходимости соблюденія извѣстныхъ мѣръ предосторожности и указывая ему на всю ихъ важность, такъ какъ домъ, посѣщенный тигромъ, находился очень недалеко отъ жилища нашего консула, Е. С. В.—а получила, однакоже, слѣдующій характерный отвѣтъ: „Я три года служилъ тамъ поваромъ и каждый годъ, одинъ разъ по крайней мѣрѣ, приходилъ туда тигръ: онъ пришелъ къ дому, вотъ и все; а къ намъ, не безпокойтесь, не пойдетъ, да и вы бы такъ объ этомъ не тревожились, еслибы подобныя извѣстія каждый разъ попадали въ газеты!“

Этимъ характернымъ эпизодомъ городской жизни закончу я мои воспоминанія о Сингапурѣ.

Владиміръ Тихомировъ.

Москва.



ПРОТИВОРѢЧІЯ

НАШЕЙ

КУЛЬТУРЫ

На торжественномъ засѣданіи с.-петербургскаго славянскаго благотворительнаго общества, генераль Кирѣевъ произнесъ рѣчь о противникахъ и союзникахъ славянофильства ¹⁾. Почтенный ораторъ стремится доказать живучесть славянофильской идеи и несостоятельность направленныхъ противъ нея нападеній. Славянофильство хотя и не прогрессируетъ, но и не разлагается, какъ утверждаютъ его „противники“. Оно живетъ и крѣпнеть, находя себѣ многочисленныхъ союзниковъ въ Россіи и за границей. Сорокъ лѣтъ тому назадъ, на него косилась администрація: теперь обстоятельства измѣнились—въ пользу славянофиловъ. „Мессіаническое значеніе Россіи относительно Запада не подлежитъ сомнѣнію, это не химера, не утопія“ (14): одно славянофильство можетъ избавить Европу отъ парламентаризма, анархизма, безвѣрія и динамита (ib). Противники славянофильства нападаютъ на него либо потому, что сами (!) проникнуты разрушительными западно-европейскими теоріями, либо потому, что смѣшиваютъ съ нимъ явленія, ничего общаго съ нимъ не имѣющія и причисляютъ къ славянофиламъ писателей какъ Вл. С. Соловьевъ и К. Леонтьевъ, которые сами отрекались отъ славянофильскаго ученія и полемизировали противъ него.

¹⁾ Протоколи общихъ собраній гг. членовъ с.-петербургскаго слав. благотв. общества 12-го и 19-го декабря 1898 г.

Не имѣя возможности разбирать всѣхъ противниковъ этого ученія, ген. Кирѣевъ рѣшилъ ограничиться наиболѣе „типичными“ изъ нихъ, и съ этой цѣлью избралъ г. Милюкова, въ качествѣ позитивиста, относящагося скептически къ идеаламъ русскаго мессіанизма ¹⁾, и меня—за мою статью о Леонтьевѣ, помѣщенную въ „Вѣстникъ Европы“.

Признаться, такой выборъ меня нѣсколько удивилъ: ген. Кирѣевъ, вмѣсто г. Милюкова или меня, пытавшихся дать лишь объективное объясненіе совершившагося разложенія славянофильства, могъ бы выбрать гораздо болѣе рѣшительныхъ противниковъ этого ученія. Если ген. Кирѣевъ не хочетъ болѣе полемизировать съ преемниками прежнихъ западниковъ, я могъ бы указать ему, какъ на самыхъ сильныхъ противниковъ прежняго славянофильства, на Вл. С. Соловьева и К. Леонтьева—какъ ни странно можетъ показаться такое сопоставленіе. Во всякомъ случаѣ и г. Милюковъ, и я, въ значительной степени пользовались ихъ аргументами.

Положимъ, что со времени И. С. Аксакова славянофилы не разъ полемизировали съ Вл. С. Соловьевымъ. Ихъ отношеніе къ нему достаточно выяснилось. Но я съ большимъ интересомъ прочиталъ бы какое-нибудь славянофильское опроверженіе теорій К. Леонтьева. Ген. Кирѣевъ отдѣляется отъ него очень легко заявленіемъ, что этотъ реакціонеръ, извѣрившійся въ славянствѣ и національной политикѣ, проповѣдуетъ аракчеевщину и не имѣетъ ничего общаго съ славянофилами. Тѣмъ болѣе слѣдовало обратить вниманіе на его критику первоначальнаго славянофильства—чрезвычайно сильную и оригинальную. Я воспроизвелъ ее въ моей статьѣ довольно пространно, и мнѣ кажется, что, разбирая мою статью, ген. Кирѣевъ долженъ былъ прежде всего остановиться на этой критикѣ. Я думаю, что еслибы ему удалось дѣйствительно ее опровергнуть, мы легко нашли бы съ нимъ почву для соглашенія.

Признаюсь, уже одно отреченіе отъ Леонтьева, высказанное въ весьма рѣзкой и рѣшительной формѣ, меня крайне порадовало. Я никогда не считалъ Леонтьева истиннымъ славянофиломъ. Но въ той газетной брани, которую вызвала моя статья, мнѣ доказывали между прочимъ, что Леонтьевъ именно и есть настоящій славянофилъ, очистившій ученіе своихъ предшественниковъ отъ европейскаго либерализма, отъ случайной примѣси чужеродныхъ

¹⁾ См. его статью: „Разложеніе славянофильства“, въ журналѣ „Вопросы философіи и Психологіи“, май 1898 г.

гуманитарныхъ и прогрессивныхъ идей западнаго происхожденія.

Я съ своей стороны думаю, что славянофилы 50-хъ и 60-хъ годовъ могли бы только съ отвращеніемъ протестовать противъ цинической проповѣди Леонтьева, точно такъ же, какъ они несомнѣнно протестовали бы противъ теперешнихъ реакціонеровъ. Нравственный обликъ и вся дѣятельность такихъ людей, какъ Самаринъ или Аксаковъ, память которыхъ дорога не однимъ славянофиламъ, — представляетъ самый рѣзкій контрастъ всему ученю Леонтьева.

Тѣмъ не менѣе я желалъ бы знать, *какъ* отвѣтили бы старые славянофилы на его критику? Они, разумѣется, могли бы обличать нравственную ложь и противорѣчія его собственнаго ученія. Но, какъ я полагаю, Леонтьевъ правильно указалъ на большую неопредѣленность славянофильскаго ученія и на внутреннія противорѣчія, между націонализмомъ и универсализмомъ славянофиловъ, между ихъ византійскимъ идеаломъ до-петровской культуры и ихъ либеральнымъ панславизмомъ. Эти противорѣчія, эта неопредѣленность понятій продолжаютъ связываться и въ рѣчи генерала Кирѣева. Мы постараемся это показать, чтобы защитить себя и К. Леонтьева отъ незаслуженныхъ нападеній.

I.

„Православіе, самодержавіе и народность“ — такова наша формула, — говоритъ генералъ Кирѣевъ. Не даромъ почтенный ораторъ утверждаетъ, что противники славянофильства должны непременно „предлагать“ „унію“ или „бумажныя гарантіи парламентаризма“ (стр. 22), и великодушно рекомендуетъ снисхожденію „нашихъ цензуръ“ тѣхъ изъ своихъ противниковъ, которые, послѣ этого, рѣшатся полемизировать съ славянофилами.

Признаться, это стремленіе канонизировать славянофильство, упрочить за нимъ какую-то мнимую монополію на „православіе, самодержавіе и народность“ — придаетъ ему нѣсколько особый характеръ, весьма рѣзко отличающій его теперешній видъ отъ первоначальнаго ученія. Въ самомъ дѣлѣ, если генералъ Кирѣевъ думаетъ, что въ его „формулѣ“ выражаются и религіозно-этические, и политическіе идеалы русскаго народа (стр. 8), то по какому праву онъ монополизировать ее за собою? Она несомнѣнно существовала въ нашей литературѣ и до славянофиловъ, остается и послѣ нихъ. Леонтьевъ, по словамъ ген. Кирѣева, не имѣетъ ни-

чего общаго съ славянофилами, и однако онъ исповѣдовалъ православіе и самодержавіе, и даже, несмотря на свою глубокую критику національной политики, считаетъ себя поборникомъ „истинно русскаго націонализма“. Съ другой стороны, неужели же ген. Кирѣевъ рѣшится утверждать, что всѣ западники измѣнили церкви, престолу и отечеству въ своемъ спорѣ съ славянофилами?

Генераль Кирѣевъ, безъ сомнѣнія, согласится, что формулой „православіе, самодержавіе и народность“ никогда такъ не злоупотребляли, какъ въ наши дни. Ею равно пользуются противники и защитники земства, общиннаго землевладѣнія, реформъ Александра II. Ею явно злоупотребляетъ всякій, кто хочетъ зажать ротъ противнику, недостойнымъ образомъ превращая этотъ „символъ вѣры русскаго патріотизма“ въ какое-то новое „слово и дѣло“. Очевидно нужно точно выяснитъ, въ какомъ смыслѣ надо понимать эту формулу, чтобы помѣшать злоупотребленію, прискорбному для всякаго истиннаго русскаго патріота.

Во всякомъ случаѣ какъ бы ни было высоко то мѣсто, которое занимала въ славянофильствѣ помянутая формула, оно ею не исчерпывалось, и не въ ней состояла его оригинальность въ отличіе отъ обыкновеннаго патріотизма. Славянофильство заключало въ себѣ цѣлую философію, цѣлую политическую и религіозную программу, которая могла казаться опасною правительству 50-хъ годовъ. Славянофилы мечтали о созданіи самобытной славяно-русской культуры, въ корнѣ своемъ отличной отъ той „гнилой“ западно-европейской цивилизаціи, которая была „насилъственно привита“ намъ Петромъ Великимъ, и которая уже въ значительной степени успѣла стать условіемъ нашего настоящаго культурнаго существованія. Каковы же идеальныя начала исконно-русской, до-Петровской культуры, въ которой хотѣли вернуться славянофилы? Леонтьевъ совершенно правильно указывалъ ихъ *византийскій* характеръ.

„Византизмъ“, — говоритъ ген. Кирѣевъ, — выраженіе крайне неопредѣленное: въ политикѣ принято отождествлять его съ коварствомъ, лживостью, въ религіи — съ застывшимъ формализмомъ, съ слѣпымъ буквѣдствомъ, отказывающимся отъ всякой мысли, наконецъ — съ поглощеніемъ догмата обрядомъ. Что такое направленіе, *какъ частное*, существовало въ средневѣковой греческой церкви и существуетъ и нынѣ, какъ оно существуетъ и въ другихъ православныхъ церквахъ, этого нечего оспаривать, но во всякомъ случаѣ въ *нашихъ* славянофильскихъ теоріяхъ ему нѣтъ мѣста... Мы, славянофилы, ни прежде, ни теперь не ставили и

не ставимъ обряда выше догмата и не преклонялись и не преклоняемся передъ буквой" (стр. 11).

Но гдѣ же дѣлаетъ это Леонтьевъ и гдѣ нашелъ у него ген. Кирѣевъ подобный византизмъ? Преклоненіе передъ буквой и мертвой обрядностью, смѣшеніе обряда съ догматомъ является, какъ извѣстно, характерной чертою не византизма, а нашего старообрядчества, нашего раскола, въ которомъ сказался нашъ *національный протестъ* противъ византизма. И Леонтьевъ, будучи врагомъ всякаго націонализма въ церкви, разумѣется, такого протеста одобрять не могъ. Если онъ и отзывался иногда сочувственно о старообрядствѣ, то лишь за то, что видѣлъ въ немъ „одинъ изъ самыхъ спасительныхъ тормазовъ нашего прогресса“, а вовсе не за его крайній ритуализмъ.

Леонтьевъ даетъ совершенно иное опредѣленіе византизма, чѣмъ то, которое мы находимъ у генерала Кирѣева. Онъ указываетъ, что идеалы православія и самодержавія, которыми жила древняя до-Петровская Русь и которые доселѣ „проникають насквозь весь великорусскій общественный организмъ“, обусловливая его силу и крѣпость, суть византійскіе идеалы, идеалы завѣщанные намъ византійской имперіей. Чтѣ было въ нихъ специально русскаго или славянскаго?—спрашиваетъ Леонтьевъ. Чтѣ въ нихъ такого, чтѣ не было бы уже византійскимъ? При этомъ надо оговориться, что Леонтьевъ вовсе не думалъ отрицать универсальность церкви или сверхъ-народный характеръ государственнаго начала. Онъ признавалъ лишь, что вся концепція церкви, всѣ формы церковной жизни въ ея отношеніи къ міру, все своеобразное пониманіе взаимныхъ отношеній церкви и государства даны намъ Византіей, точно такъ же какъ и до-Петровскій идеалъ самодержавія. Какія же культурныя начала слѣдуетъ искать теперь въ Россіи и славянствѣ за вычетомъ того, чтѣ дала славянскому міру Византія? Это общекультурныя начала *западной* цивилизаціи—матеріальная культура и неразрывно связанное съ нею западно-европейское просвѣщеніе. Другихъ культурныхъ началъ, кромѣ византійскихъ и западно-европейскихъ, нѣтъ ни у насъ, ни въ славянствѣ, ибо національность сама по себѣ, помимо религіозно-этическихъ вѣрованій и политическихъ принциповъ, не можетъ быть культурнымъ началомъ. Это только „этнографическій матеріалъ“, какъ выражаются Данилевскій и Леонтьевъ. Что касается до „націонализма“, въ которомъ Леонтьевъ видитъ „антирелигіозное и антигосударственное“ начало ложнаго демократизма, то, по справедливому замѣчанію генерала Кирѣева, его уже начали

„примѣнять къ жизни“ на Западѣ, когда у насъ о немъ еще только спорили (стр. 6).

Теперь спросимъ себя вмѣстѣ съ Леонтьевымъ: могутъ ли послужить одни византійскіе идеалы до-Петровской Руси къ объединенію всѣхъ славянъ? Могутъ ли они одни залечь въ основаніе новой „всеславянской культуры“? Вмѣстѣ съ Леонтьевымъ приходится отвѣчать рѣшительнымъ *нѣтъ*. Здѣсь его критика панславизма тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе желалъ онъ его осуществленія на византійскомъ основаніи: для болѣе тѣснаго сближенія съ славянами, для практическаго осуществленія панславизма, потребовалось бы усвоеніе Россіей тѣхъ культурныхъ устоевъ Запада, которыми издавна живутъ западные славяне, и къ которымъ юго-славянскіе народы тяготеютъ несравненно больше, чѣмъ къ идеаламъ византійскимъ. Къ этимъ послѣднимъ южные и западные славяне равнодушны или глубоко враждебны. Не даромъ до Петра В. вся наша борьба съ Западомъ была почти исключительно борьбою съ западными славянами. На чемъ же, спрашиваетъ Леонтьевъ, могла бы сойтись съ славянами Россія, если она не захочетъ присоединить ихъ насильственно, чтобы создать себѣ „пять или шесть Польшъ вмѣсто одной“ ¹⁾? Племенные интересы только раздѣляютъ славянъ, племенное сродство лишь усиливаетъ національную вражду. Леонтьевъ указываетъ, и по нашему мнѣнію совершенно справедливо, что помимо насильственнаго присоединенія объединить славянъ могло бы лишь нѣчто стоящее внѣ православія, внѣ византизма, внѣ нашей народности—интересы демократіи, національной независимости, политической свободы и культурнаго прогресса. Мы не можемъ сойтись съ славянами на почвѣ византійскаго обособленія отъ Европы. Поэтому Леонтьевъ такъ боится „опрометчиваго панславизма“, видя въ немъ неизбежное торжество европейскихъ началъ въ славянствѣ надъ византійскими. Еслибы состоялось такое объединеніе славянъ послѣ побѣды нашей надъ Австріей, оно и внутри самой Россіи доставило бы торжество западно-европейскимъ культурнымъ началамъ.

Что могли бы отвѣтить славянофилы на эту критику панславизма? Вся новѣйшая исторія освобожденнаго славянства подтверждаетъ ея справедливость. Пришлось бы согласиться съ Леонтьевымъ и отречься отъ славянъ, а имѣть—радикально измѣнить все отношеніе къ *западной культурѣ*, признать ея уни-

¹⁾ „Разочаров. славянофилъ“, стр. 791. Мнѣ пришлось бы снова воспроизвести превосходную характеристику современнаго славянства, данную Леонтьевымъ въ подтвержденіе его взглядовъ на отношеніе славянъ къ Россіи.

версальное значеніе, допустить, что она является источником не только военной и экономической силы современной Россіи, но и внутренней силы ея, наряду съ ея религиозными и политическими идеалами, переданными ей Византіей.

II.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что византійскіе идеалы, которыми жила до-Петровская Русь, и на которые не думала посягать Петровская реформа, отличны по существу отъ западно-европейскихъ культурныхъ началъ. Византійская культура до-Петровской Россіи была цѣльной, свободной отъ внутреннихъ противорѣчій; но она оказалась *недостаточною* для успѣшнаго разрѣшенія государственныхъ и экономическихъ задачъ Россіи. Она не могла *одна* залечь въ основаніе не только всеславянской, но и русской культуры: потребовалось ея восполненіе, потребовалось усвоеніе европейской образованности. Современная русская культура—смѣшанная, и соединяетъ въ себѣ вышнимъ образомъ два различныхъ, отчасти противоположныхъ другъ другу начала—византійское и европейское. И между тѣмъ эти два начала въ равной степени исторически необходимы; ни отъ того, ни отъ другого Россія не хочетъ и не можетъ отречься, не отрекаясь отъ себя самой, отъ всей своей силы и своихъ вѣрованій, отъ своего народа и своей интеллигенціи, отъ своего прошлаго и своего будущаго. Въ этомъ вся оригинальность, все трагическое своеобразіе настоящаго положенія, въ этомъ великая историческая задача Россіи, отъ рѣшенія которой зависитъ вся ея судьба и судьба славянства. Важно уже одно сознаніе этой задачи, выяснившейся въ спорѣ нашихъ западниковъ и славянофиловъ. Какъ уничтожить роковой антагонизмъ культурныхъ началъ современной Россіи? Славянофилы предлагали весьма простое средство, чтобы исполнить это внутреннее противорѣчіе, чтобы достигнуть вновь утраченной цѣльности личныхъ и общественныхъ идеаловъ и вѣрованій, они призывали русскую интеллигенцію вернуться къ народу и его святынь, сознавъ основную ложь западной цивилизаціи. Они требовали, чтобы Россія, круто своротивъ съ того пути, на который она вступила при Петрѣ, —вернулась къ идеаламъ московскаго періода. Въ этихъ идеалахъ—залогъ нашей самобытности, залогъ новой и цѣльной всеславянской культуры, въ нихъ — мессіаническое призваніе русскаго народа.

Правда, самые идеалы значительно подновлялись, какъ указывали всѣ критики славянофильства. Оно и не могло быть иначе: славянофилы вѣрили въ ихъ универсальность, въ ихъ грядущее общекультурное значеніе и не помышляли о простой реставраціи древне-византійской имперіи, о которой мечталъ Леонтьевъ. Въ теоріи „русскія начала“ противопоставлялись „западнымъ“ съ большой исключительностью; на практикѣ—ихъ утвержденіе и развитіе совмѣщалось съ весьма широкимъ усвоеніемъ западно-европейскихъ идей—политическихъ, философскихъ и даже богословскихъ. Вопреки своему романтическому построенію всеобщей и русской исторіи, вопреки своему національному протесту противъ „гнилого Запада“, славянофилы грѣшили эклектизмомъ, сами проникнутые тѣми культурными идеалами Запада, противъ которыхъ они ратовали. „Но о какой культурѣ говорить кн. Трубецкой, — спрашиваетъ ген. Кирѣевъ: — культура Шопенгауера, Спенсера, Ог. Конта, Зола и Оффенбаха—одна! Культура Канта, Гёте, Бетховена — другая. Съ первой мы имѣемъ очень мало общаго—со второй очень много. Гдѣ у насъ вычитаетъ кн. Трубецкой, что мы протестуемъ противъ всей западной культуры?“ (стр. 13).

Съ современной русской литературой натурализмъ Зола имѣетъ, въ сожалѣнію, болѣе общаго, чѣмъ поэзія Гёте; въ культурѣ современнаго европейски образованнаго русскаго человѣка не только Кантъ, но и Контъ имѣетъ свое значеніе. Но съ византійско-русской до-Петровской культурой и ея идеалами не только Контъ, но и Кантъ, не только Оффенбахъ, но и Бетховенъ, очевидно, ничего общаго не имѣютъ. Культура Канта есть рационализмъ XVIII в.; культура Гёте и Бетховена — нѣмецкая романтика, близкая развѣ кружку московскихъ славянофиловъ, но не Москвѣ XV и XVI в. Чѣмъ руководствовался ген. Кирѣевъ, отдавая предпочтеніе глубоко-протестантской философіи Канта передъ позитивизмомъ Конта, или поэзіи Гёте передъ другими произведеніями европейскихъ литературъ? Идеалами православія, самодержавія и народности, или личнымъ вкусомъ, развитымъ европейскимъ образованіемъ? Если онъ имѣетъ какія-либо мѣрки для оцѣнки произведеній западныхъ писателей или композиторовъ, то онъ почерпнулъ ихъ конечно не въ народной русской пѣснѣ, не въ памятникахъ до-Петровской словесности и не въ культурномъ идеалѣ до-Петровской Москвы.

Разумѣется, никакая національная культура, какъ бы оригинальна она ни была, не обходится безъ заимствованій. Но тамъ, гдѣ она усваиваетъ себѣ духовныя сокровища другихъ культуръ,

она невольно, неизбежно проникается идеями, первоначально ей совершенно чуждыми. Весь историческій опытъ Россіи показать, что нельзя брать одни плоды западной цивилизаціи, не усвоивъ ея сѣмянъ. И не только произведенія европейской науки, искусства, литературы, воплощающія европейское міросозерцаніе, самая *техника*, которую мы прежде всего сочли необходимымъ заимствовать у нашихъ западныхъ сосѣдей, не могла быть усвоена безъ того, чтобы къ намъ не проникло все западное просвѣщеніе, безъ того, чтобы весь строй нашей жизни не измѣнился глубоко и не приблизился къ западному строю. Леонтьевъ въ этомъ отношеніи былъ неизмѣримо послѣдовательнѣе славянофиловъ: онъ сознавалъ внутреннюю связь духовной и матеріальной культуры, и боялся прежде всего матеріальной культуры, сознавая, что она распространяется съ *физической* неизбежностью.

Изъ всѣхъ народовъ одни китайцы сознавали до послѣдняго времени, что матеріальная культура Европы связана съ ея политическимъ и духовнымъ строемъ, что нельзя измѣнить военной или промышленной техники, не измѣнивъ постепенно всю систему народнаго хозяйства и связанныхъ съ нимъ социальныхъ отношеній, не измѣнивъ всю финансовую, административную систему, всю внѣшнюю и внутреннюю политику государства. Одинъ переходъ натуральнаго хозяйства въ денежное приближаетъ Россію къ Европѣ болѣе, чѣмъ образованность отдѣльныхъ умовъ. Прежде чѣмъ думать о томъ, какъ испортить университеты и народную школу, остановить развитіе народной грамотности, которая несомнѣнно послужитъ распространенію „новыхъ идей“, всякій послѣдовательный охранитель старины долженъ подумать о томъ, какъ испортить пути сообщенія, закрыть фабрики, уничтожить флотъ и современное войско—словомъ, упразднить весь тотъ строй, при которомъ необходима народная грамотность, неизбежны инныя западныя учрежденія, необходима западно-европейская наука. Я ни минуты не думалъ причислять славянофиловъ къ ретроgrадамъ: напротивъ того, въ своей неуспынной патріотической заботѣ о благосостояніи народа, о его умственномъ и экономическомъ развитіи, о всяческой его эмансипаціи они были, вопреки своимъ до-Петровскимъ идеаламъ, истинными *прогрессистами*. Я утверждаю только, что Леонтьевъ, бывшій сознательнымъ, убѣжденнымъ реакціонеромъ, гораздо послѣдовательнѣе и глубже ихъ сознавалъ все духовное и политическое значеніе, всю социальную мощь той техники, той непрерывно прогрессирующей матеріальной культуры, которую мы не могли не заимствовать, и которой мы не можемъ не развивать у себя

со всѣми ея логически и физически неизбежными послѣдствіями. Очень немногіе у насъ, какъ, напр., покойный архіепископъ Никаноръ въ своемъ замѣчательномъ словѣ противъ желѣзныхъ дорогъ (произнесенномъ при освященіи одной изъ нихъ), поняли такъ глубоко внутреннее значеніе этой матеріальной культуры и противорѣчіе ея духовныхъ основъ съ исконнымъ византизмомъ до-Петровской Россіи.

Ошибка славянофиловъ, приводившая въ значительной путаницѣ понятій, состояла именно въ ихъ бессознательномъ эклектизмѣ. Въмѣсто того, чтобы понять цѣлостное единство, универсальность и необходимость европейской цивилизаціи и стремиться въ органическому соединенію и примиренію своихъ религіозныхъ и національных идеаловъ съ ея началами, они вставали противъ устоевъ западной культуры, противъ „гнилого Запада“ въ его цѣломъ и въ то же время брали по частямъ и въ розницу все то, что имъ нравилось изъ европейской науки и философіи, изъ католическаго и протестантскаго богословія, изъ техническихъ изобрѣтеній и политическихъ учреждений Запада. Признавая все русское хорошимъ, они нерѣдко считали и все хорошее русскимъ или „сроднымъ духу русскаго народа“, произвольно налагая свое таможенное клеймо на отдѣльныя детали западной цивилизаціи.

III.

Въ прежней моей статьѣ я указывалъ на замѣченное Леонтьевымъ противорѣчіе, заключавшееся въ усвоеніи славянофилами европейскаго либерализма, совершенно чуждаго до-Петровскому византизму. Генералъ Кирѣевъ находитъ, что никакого противорѣчія нѣтъ, но на самомъ дѣлѣ даетъ намъ въ своей рѣчи новый типическій образчикъ неопредѣленнаго и мечтательнаго эклектизма въ сферѣ политическихъ принциповъ.

„Широкая гласность есть *conditio sine qua* поп всякаго порядка и преуспѣянія“,—разсуждаетъ почтенный ораторъ (стр. 8). „У западнаго государства есть великое преимущество въ широкой гласности, охраняющей его отъ конечнаго паденія и дающей ему возможность превосходно администрироваться“ (стр. 9).

Но неужели же ген. Кирѣевъ думаетъ, что эта европейская гласность, составляющая одно изъ *политическихкихъ правъ* западныхъ народовъ, мыслима безъ цѣлаго правового порядка этихъ народовъ? Неужели онъ не помнитъ исторіи гласности на Западѣ?

Но, можетъ быть, у насъ она должна развиваться иначе? Въ подтвержденіе своихъ мыслей ген. Кирѣевъ приводитъ нѣсколько строкъ анонимнаго автора „о гласности и о необходимости полнаго и обоюднаго знакомства между народомъ и правительствомъ“:

„народъ долженъ знать истину о правительствѣ, и правительство должно знать истину о народѣ, и оба должны знать истинную цѣль своихъ стремленій. Правительство и народъ должны знать не только конкретную истину другъ о другѣ, но, дабы не дѣлать ошибокъ во взаимныхъ своихъ отношеніяхъ, они должны знать и отвлеченную истину, во имя которой эти отношенія существуютъ (?). Они должны знать и ясно понимать тѣ вѣковѣчные принципы, которые лежатъ въ основѣ государственной жизни и которые должны руководить правительствомъ и народомъ во всѣхъ его дѣйствіяхъ. Правительство должно знать истину о своемъ народѣ. Но теперь оно узнаетъ ее почти исключительно черезъ своихъ агентовъ, а эти послѣдніе, докладывая своему начальству о собственныхъ дѣйствіяхъ по вѣренному имъ дѣлу, всегда склонны представить ихъ въ томъ видѣ, что „все обстоитъ благополучно“ (стр. 9)“.

На основаніи этого разсужденія довольно трудно составить себѣ опредѣленное представленіе о томъ, какъ думаетъ ген. Кирѣевъ организовать и обезпечить гласность? Въ какой формѣ должны мы будемъ представить себѣ тотъ интимный раутъ, на который правительство и народъ имѣютъ быть приглашены для полнаго обоюднаго знакомства?

Правительство должно слышать гласъ народа не черезъ своихъ агентовъ, а непосредственно отъ самого народа, быть освѣдомлено самимъ народомъ о его нуждахъ и его идеалахъ. Очевидно, однако, нельзя собрать весь „народъ“ на вѣчевую сходку — даже если ограничиться одними православными великоруссами. Очевидно, съ другой стороны, нельзя принять за гласъ народа — мнѣнія, выражаемыя отдѣльными газетчиками, хотя бы и весьма благонамѣренными. Значить, народъ долженъ быть представленъ особыми указываемыми имъ и уполномоченными имъ на то представителями. Это будетъ, — чтобы не произнести ненавистнаго слова, — это будетъ всенародное представительное собраніе, родъ „собора“, о которомъ мечтали либеральные славянофилы. Чѣмъ, однако, такой „соборъ“ будетъ отличаться отъ западной „говорильни“? Очевидно, и на „соборѣ“ будутъ говорить, и даже исключительно говорить, „освѣдомлять“ или „освѣдомляться“, предоставляя дѣйствовать кому слѣдуетъ. Отличіе между русской и

западной „гласностью“, повидимому, должно заключаться не въ одной праздности разговоровъ.

„Нашъ споръ съ конституціоналистами (вѣрнѣе съ парламентаристами), говоритъ ген. Кирѣевъ, можетъ быть выраженъ въ двухъ словахъ: мы вѣримъ „въ одну волю и многу умовъ“; „они — „во мною волю и мною умовъ“. Такова формула парламентаризма“ (стр. 7).

Рассмотримъ, однако, первую формулу ген. Кирѣева и спросимъ себя, обязательно ли для единой „воли“ рѣшеніе собирательнаго „ума“? Если нѣтъ, такъ не стоить къ нему обращаться, понапрасну подвергая „волю“ суду и пересудамъ всеобщаго „разума“ и выѣшивая его въ вопросы, ему не подлежащіе. Если да, то, какъ я полагаю, не только западные конституціоналисты, но даже республиканцы могутъ подъ этой формулой подписаться. Что же касается до второй формулы — „много воли и много умовъ“, то ген. Кирѣевъ напрасно считаетъ ее формулой парламентаризма: ее могла бы усвоить себѣ развѣ какая-нибудь анархическая вольница ¹⁾.

IV.

Я указалъ на противорѣчія славянофильскаго мессіанизма, намѣченныя Леонтьевымъ, и думаю, что генералу Кирѣеву не вполне удалось ихъ разрѣшить. Главное противорѣчіе заключается въ томъ, что тѣ самыя начала, которыя обособляли Россію отъ всего прочаго цивилизованнаго міра, должны стать принципомъ всемірной, универсальной культуры. Мы должны только еще болѣе обособиться, принципиально обособить наши истинно-русскіе идеалы отъ западныхъ, чтобы во всей чистотѣ явить ихъ погибающему западному міру.

„Гнили, по нашему мнѣнію,—говоритъ ген. Кирѣевъ,—эпическіе устои Запада... гнили и его религіозные устои. Чтобы выйти изъ своихъ затрудненій, Западу останется одинъ путь — принятіе нашихъ идеаловъ; насколько это возможно — вопросъ другой ²⁾. Мессіаническое значеніе Россіи относительно Запада не подлежитъ сомнѣнію — это не химера, не утопія. Какъ это ни кажется парадоксальнымъ, мы несомнѣнно можемъ указать ему путь спасенія“.

¹⁾ Замѣчу, что славянофилы, полемизируя съ Вл. С. Соловьевымъ, оставили безъ отвѣта его превосходную критику политическихъ мечтаній К. Аксакова о свободѣ общественнаго мнѣнія.

²⁾ Курсивъ нашъ.

Другой вопросъ, можетъ ли Западъ идти этимъ путемъ! Странный мессіаниззмъ, однако! Вѣдь если мы указываемъ Западу такой путь, которымъ онъ идти не можетъ, и такіе идеалы, которыхъ онъ не можетъ принять, то очевидно мы не въ силахъ его спасти, и должны вмѣстѣ съ Леонтьевымъ признать, что политическій мессіаниззмъ славянофиловъ есть фантастическая мечта. Итакъ, прежде всего надо рассмотреть, въ состояніи ли Западъ принять славянофильскіе идеалы.

Наши идеалы суть православіе, самодержавіе и русская народность, или православіе, самодержавіе и славянство, — говоритъ ген. Кирѣевъ. — Но идеаль панславизма или русской національности, очевидно, не можетъ быть принятъ Западомъ и спасти даже французовъ, не только нѣмцевъ и англичанъ. Идеаль русскаго національнаго самодержавія также едва ли можетъ быть примѣнимъ во Франціи, Америкѣ или Великобританіи. Повидимому и самъ ген. Кирѣевъ того же мнѣнія, несмотря на свой „споръ съ конституціоналистами“: „идеалы политическіе (не имѣющіе божественнаго, безусловнаго основанія) могутъ до известной степени измѣняться въ зависимости отъ условій мѣста и времени“ (стр. 6).

Остается идеаль православія — религіозная истина котораго не подлежитъ никакому измѣненію. Его-то, очевидно, и имѣетъ въ виду почтенный ораторъ. Но и тутъ возникнетъ вопросъ: насколько „Западъ“ можетъ принять православіе?

Въ самомъ дѣлѣ, уже личное обращеніе отдѣльныхъ европейскихъ католиковъ и протестантовъ въ православіе встрѣчаетъ на практикѣ довольно досадныя (хотя и устранимыя) затрудненія, поскольку отдѣльныя православныя церкви не вполне выяснили вопросъ о тѣхъ основаніяхъ, на какихъ слѣдуетъ принимать западныхъ христіанъ, т.-е. признавать ли дѣйствительность таинствъ (крещенія, рукоположенія), совершенныхъ надъ обращающимися до ихъ вступленія въ православную церковь? Ген. Кирѣеву несомнѣнно лучше меня извѣстно, какъ прискорбны возникающія отсюда недоразумѣнія. Они, конечно, устранимы, и я не сталъ бы о нихъ упоминать, еслибы въ связи съ этой неопредѣленностью въ отношеніи къ обращающимся въ православіе католикамъ и протестантамъ не стояла нѣкоторая неопредѣленность въ отношеніи къ западнымъ церквамъ въ ихъ цѣломъ: слѣдуетъ ли вообще считать ихъ за церкви, или же вмѣстѣ съ Хомяковымъ признавать, что есть только одна церковь — православная. Въ послѣднемъ случаѣ, разумѣется, никакія таинства внѣ ея не дѣйствительны.

Но пусть устраняется и это затрудненіе: пусть католики и протестанты, убѣдившіеся въ заблужденіяхъ своихъ исповѣданій, не останавливаются передъ условіями, которыя мы можемъ предложить имъ, заботясь исключительно о спасеніи своихъ погибающихъ душъ. Спрашивается: можетъ ли обращеніе отдѣльныхъ, даже весьма многихъ протестантовъ и католиковъ спасти самый погибающій Западъ и западное государство?

Западъ, по мнѣнію генерала Кирѣева, гибнетъ именно отъ того, что „западное государство отдѣлилось отъ церкви, сдѣлалось *confessionalslos*, сдѣлалось *l'état athée*, и потеряло ту высшую сверхъ-юридическую связь, безъ которой государство не можетъ жить, безъ которой оно превращается въ компанію на акціяхъ, стремящуюся въ удовлетворенію матеріальныхъ потребностей“. Сила Россіи, напротивъ того, всецѣло зависитъ отъ органической связи, которая еще существуетъ въ ней между церковью и государствомъ. „Вѣдь мы и государство, мы же и церковь, — говоритъ ген. Кирѣевъ, — поэтому между нами какъ государствомъ и нами же какъ церковью могутъ быть лишь временныя недоразумѣнія, временныя размолвки, а не принципиальная борьба, какъ на Западѣ! Не можемъ же мы бороться сами съ собой!“ (стр. 9).

Правда, не можемъ! И я даже не понимаю, о какихъ временныхъ недоразумѣніяхъ и размолвкахъ говоритъ ген. Кирѣевъ. Онъ, по всей вѣроятности, разумѣетъ русскихъ не-православнаго вѣроисповѣданія: вотъ между ними какъ церковью и ими же какъ государствомъ дѣйствительно могутъ возникать временныя недоразумѣнія въ тѣхъ случаяхъ, напримѣръ, когда они, по ошибкѣ, числятся православными.

Но какъ бы то ни было, если Западу нужна единая церковь и органическая связь церкви съ государствомъ, недостаточно обращать *отдѣльныхъ* европейцевъ въ православіе или даже въ славянофильство: это можетъ только усилить „принципиальную борьбу“ такихъ европейцевъ „между собою какъ церковью и собою же какъ государствомъ“. И если такая борьба не приметъ самыхъ острыхъ формъ, то развѣ потому, что европейское государство „стало *confessionalslos*“. Иначе борьбѣ пришлось бы тянуться до тѣхъ поръ, пока западныя правительства не усвоятъ себѣ нашей русской вѣроисповѣдной политики, что во всякомъ случаѣ можетъ случиться не скоро, — точнѣе, никогда не можетъ случиться.

Присоединеніе *отдѣльныхъ* протестантовъ или католиковъ къ православію никакъ не можетъ дать Западу единой религіозной

основы общественной жизни, единой церкви, скрѣпляющей государство своей „сверхъ-юридической нравственной связью“. Изъ примѣра старокатоличества, на которое ссылается ген. Кирѣевъ, мы видимъ, что даже обращеніе въ православіе цѣлыхъ общинъ могло бы создать на Западѣ лишь новую церковь наряду съ другими и тѣмъ самымъ усугубить религиозную разнь Запада. Не этого, конечно, желаетъ ген. Кирѣевъ для его спасенія. Другое дѣло, еслибы сами западныя церкви приняли православіе!

Но *обращать* можно не церкви, а отдѣльныя общины или отдѣльныя лица. Раздѣленные церкви могутъ враждовать между собою, могутъ и примириться во Христѣ, могутъ выработать основанія для своего общенія и соединенія. Во всякомъ случаѣ славянофильское богословіе Хомякова, не признававшего ни римской, ни протестантскихъ церквей въ качествѣ церквей, и учившее, что есть только одна православная греко-россійская церковь, не оставляетъ мѣста для какой бы то ни было рѣчи о *соединеніи церквей*. Остается только заботиться объ обращеніи отдѣльныхъ иновѣрцевъ и, оставивъ мысль о „мессіанизмѣ Россіи относительно Запада“, обратиться къ миссіонерской дѣятельности отдѣльныхъ православныхъ проповѣдниковъ среди западныхъ нехристей. Мало того, хотя краснорѣчивая и убѣжденная проповѣдь свободы совѣсти составляетъ одну изъ самыхъ крупныхъ заслугъ славянофиловъ, ихъ богословскія теоріи могутъ вести на практикѣ лишь къ большому обостренію вѣроисповѣдной распри и къ отрицанію церковныхъ правъ католичества и протестантства.

Какъ бы то ни было, Европа не можетъ вступить на путь, указываемый ей генераломъ Кирѣевымъ и усвоить наши идеалы славянства, самодержавія и православія: первые два—потому что они наши *національные* идеалы, третій—потому что сами славянофилы послѣдовательно не могутъ допустить мысли о соединеніи церквей и хотятъ лишь присоединенія отдѣльныхъ европейцевъ, ихъ отреченія отъ католицизма и протестантства, при чемъ такое отступничество можетъ очевидно спасти лишь отступниковъ, а никакъ не погибающій Западъ и его государства. Во что же обращается славянофильскій мессіанизмъ? Не должны ли мы вмѣстѣ съ Леонтьевымъ отречься отъ него, точно также какъ отъ панславизма, отъ просвѣщенія, отъ общественнаго развитія Россіи?

Понятіе мессіанизма болѣе всякаго другого нуждается въ точномъ опредѣленіи. Вспомнимъ только, какъ различно понимался мессіанизмъ въ эпоху пришествія самого Мессіи! Одни ждали отъ Него хлѣба съ небесъ, другіе—знаменій, третьи—политическаго возвеличенія рода избраннаго путемъ пораженія другихъ наро-

довъ. Тѣ три искушенія, съ которыми Христосъ боролся въ пустыни, были именно искушеніями *ложнаго мессіанизма*. И отечественный мессіаниззмъ можетъ пониматься весьма различно: одни могутъ видѣть миссію Россіи въ разрѣшеніи соціального вопроса, другіе—въ всемірномъ владычествѣ, въ какомъ-то страшномъ судѣ надъ народами Европы. Ген. Кирѣевъ видитъ истинный мессіаниззмъ въ подвигахъ самоотреченія, въ безкорыстной, христіанской политикѣ, которой долженъ слѣдовать русскій народъ. Это болѣе согласно съ христіанскимъ ученіемъ, но не всегда согласно съ требованіями національной политики. Вѣдь признаетъ же ген. Кирѣевъ, что интересы національностей, напр. русской и польской или нѣмецкой или еврейской, могутъ сталкиваться. Какъ же тутъ поступить? какимъ принципомъ руководствоваться?

V.

Итакъ, мнѣ кажется ген. Кирѣевъ слишкомъ поспѣшно высказываетъ столь рѣшительное осужденіе К. Леонтьеву. Его критика панславизма, его критика мессіанизма, культурныхъ и политическихъ замысловъ славянофильства—остается въ силѣ; она показываетъ, что всѣ эти замыслы предполагаютъ не обособленіе отъ западной Европы, а глубокое принципиальное сближеніе съ нею и постольку заключаютъ въ себѣ противорѣчіе; она показываетъ, что на почвѣ исключительнаго утвержденія до-Петровскихъ, византійскихъ идеаловъ нашихъ такіе замыслы представляются не только неосуществимыми, но опасными и нежелательными. Но значеніе Леонтьева этимъ не ограничивается: онъ показалъ, къ чему могло бы привести исключительное развитіе Россіей византійскихъ началъ при насильственномъ устраненіи западныхъ элементовъ нашей культуры. Онъ послѣдовательно продумалъ свою мысль до конца—и результатомъ ея было не только разочарованіе въ панславизмѣ, но и во всей русской культурѣ, смѣшанной изъ византійскихъ и западно-европейскихъ началъ. Обособляя византійскіе идеалы до-Петровской Руси, онъ и мечталъ о возникновеніи самобытной культуры вполне византійской, съ культурнымъ центромъ въ Царьградѣ, внѣ предѣловъ Россіи; ибо онъ сознавалъ, что Россія уже *безвозвратно* приняла матеріальную и отчасти духовную культуру Запада. Леонтьевъ указалъ и единственно правильный путь къ достиженію своей цѣли—ту анти-культурную и разрушительную политическую программу, которую ген. Кирѣевъ характеризуетъ какъ аракеевщину, и которая является лишь

последовательнымъ развитіемъ исключительнаго византизма нашего „разочарованнаго славянофила“.

Ученіе Леонтьева, какъ бы оно ни было уродливо, могло бы послужить славянофиламъ: оно могло бы открыть имъ глаза на ихъ собственное ученіе, на ихъ неполноту и недомолвки, ихъ ложное пониманіе русской и всемірной исторіи, ихъ *не-русское* отношеніе къ Западу и европейской культурѣ.

Раннее славянофильство съ своей романтикой принадлежитъ безвозвратному прошлому. Оно сыграло славную роль въ исторіи русскаго просвѣщенія, и русское общество будетъ чтить память его родоначальниковъ. Несмотря на принципиальное разногласіе съ ними, я не думаю однако, чтобы оно совсѣмъ умерло и не могло имѣть преемниковъ. Напротивъ того, я думаю, что оно можетъ еще ожить, не отрекаясь ни отъ церкви, ни отъ своего широко понимаемаго монархическаго идеала, ни отъ народолюбія, ни отъ славянства, ни отъ гласности и свободы совѣсти. Преемникамъ старыхъ славянофиловъ придется только отречься отъ обветшавшей романтики своихъ предшественниковъ, отъ ихъ ложнаго анти-историческаго пониманія западнаго государства, западнаго христіанства и западной культуры—въ Европѣ и въ Россіи. Имъ придется помириться съ „западничествомъ“ *принципиально*, а не на почвѣ поверхностнаго эклектизма; имъ придется понять, что византійскій партикуляризмъ, мнимо-культурное самоослабленіе Россіи, которое славянофилы до сихъ поръ проповѣдовали, противорѣчить всѣмъ ихъ широкимъ замысламъ и последовательно вести къ ученію Леонтьева, къ отреченію отъ современной Россіи—не только отъ славянства или мечтаній политическаго мессіанизма.

Отношеніе славянофиловъ къ Европѣ было и непоследовательнымъ, и не-русскимъ. Оно было бы византійскимъ, еслибы оно не было внушено европейской романтикой. Пусть существенное культурное отличіе Россіи отъ Европы обусловливается византійскимъ происхожденіемъ ея религіозныхъ и государственныхъ идеаловъ; оригинальность Россіи въ отличіе отъ Византіи выражается въ томъ, что ея отношеніе къ Европѣ въ корнѣхъ отлично отъ византійскаго. Романтическій протестъ противъ европейской культуры звучалъ анахронизмомъ уже въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ; теперь онъ является явнымъ недомыслиемъ. Преемники старыхъ славянофиловъ, въ которыхъ остался еще истинный и просвѣщенный патріотизмъ, должны отречься отъ этой принципиальной вражды противъ Запада—отречься во имя Россіи и славянства, во имя своихъ идеаловъ. Пусть оставятъ они таковую

„принципіальную вражду“ сознательнымъ обскурантамъ, какъ Леонтьевъ, врагамъ гласности, просвѣщенія, общественнаго развитія и свободы совѣсти. Не западники, не открытые противники и критики славянофильства компрометируютъ его въ общественномъ мнѣніи, а именно тѣ ложные патріоты, которые усваиваютъ одніи его ошибки, наружно прикрываясь его идеалами. Во имя стараго славянофильства, во имя всего, что было въ немъ честнаго и хорошаго, его теперешніе преемники должны отречься отъ такихъ ложныхъ патріотовъ и положить между ними и собою непроходимую грань. А это въ свою очередь возможно лишь путемъ отреченія отъ ошибокъ и заблужденій стараго славянофильства, въ которыхъ заключается мнимое оправданіе теперешнихъ реакціонеровъ и обскурантовъ. Ошибки и заблужденія есть во всякомъ человѣческомъ ученіи: исправляя ихъ, оно лишь доказываетъ свою жизненность и способность къ развитію.

Судьбы славянофильства въ наши дни напоминаютъ извѣстную сказку объ Иванѣ-царевичѣ. Въ своихъ поискахъ за жаръ-птицей этотъ мифическій представитель русскаго духа, „во-очію совершившагося“ передъ бабой-Ягою, пришелъ однажды къ распутію, отъ котораго шли три дороги. При распутіи стоялъ столбъ и на столбѣ была надпись: „пойдешь направо—погибнешъ твой конь, но самъ останешься цѣлъ; пойдешь налѣво—себя загубишь, но коня сбережешь; пойдешь прямо—сбережешь и себя, и коня, но всю дорогу будешь голоденъ и холоденъ и никуда не дойдешь“. Иванъ-царевичъ, недолго думавъ, повернулъ направо и предпочелъ сѣраго волка, заѣвшаго его коня, тѣмъ волкамъ, которые неизбѣжно должны были съѣсть его самого.

Современное славянофильство давно уже пришло къ подобному распутію: если оно рѣшится пожертвовать своимъ ложнымъ конькомъ, оно сбережетъ себя и можетъ еще быть плодотворнымъ; если оно дорожить конькомъ своимъ больше, чѣмъ собой и своими идеалами, оно пойдетъ по пути Леонтьева, гдѣ оно неизбѣжно погибнетъ. Если же оно захочетъ идти прямо, тѣмъ среднимъ путемъ, какой указываетъ ген. Кирѣевъ, сохраняя и свои идеалы, и своихъ коньковъ—оно будетъ голодно, холодно, бесплодно и никуда не дойдетъ, хотя бы ему была дана драгунь-дубинка и шапка-невидимка Ивана-царевича!

Кн. С. Трубецкой.



ВЕСЕННІЯ ИЛЛЮЗИИ

ПОВѢСТЬ.

VII *).

На другой день Ганя проснулась очень рано, — она привыкла дома вставать съ зарею и, открывъ глаза, какъ это часто бываетъ въ незнакомомъ мѣстѣ, съ недоумѣніемъ оглядѣлась вокругъ. Но сейчасъ же она вспомнила, что вѣдь это тетина комната, а тамъ, за окнами, Петербургъ, и радостно улыбнулась. Сонъ ея прошелъ окончательно; она тихонько приподнялась на своемъ диванчикѣ и прислушалась. Въ домѣ царила тишина; должно быть было еще очень рано, и Татьяна Аристарховна мирно посвистывала носомъ. Но за окнами уже слышался гулъ и гдѣ-то пронзительно кричали: „редиска молодая! огурчики зеленны!“ „Я въ Петербургѣ!“ подумала Ганя, и ей стало весело, какъ бывало въ дѣтствѣ, по праздникамъ, когда проснешься и сейчасъ же вспомнишь, что сегодня не учиться, а цѣлый день дѣлать, что вздумается. Она быстро вскочила, подбѣжала къ окну и отдернула занавѣсъ. Цѣлая толпа свѣтлыхъ зайчиковъ ворвалась въ окно и забѣгала по стѣнамъ и потолку; день былъ прекрасный. На улицѣ уже начиналось движеніе; ломовые цѣлой вереницей съ грохотомъ тянулись по Кузнечному переулку; дворники мели троттуары, и ихъ голоса звонко раздавались въ утреннемъ воздухѣ; торговцы и торговки съ лотками на головахъ, съ коромыслами, на которыхъ болтались огромные жестяные кувшины,

*) См. выше: июль, 86 стр.

наполненные молокомъ, какъ трудолюбивые муравьи, сновали взадъ и впередъ. А надъ всѣмъ этимъ безмолвно и неподвижно возвышался Пушкинъ, и солнечные лучи золотили его бронзовый затылокъ. Какъ хорошо! И какъ все это не похоже на то, что было тамъ, на хуторѣ. Ганя мысленно перенеслась домой. Папа уже всталъ теперь и сидитъ на балкончикѣ, пьетъ чай. На немъ его обычный пестрый халатъ и ермолка вязаная, съ кисточкой. Милый папочка и милый халатъ, и ермолка, которую вязала еще покойная мама,—тоже такая милая и смѣшная! Передъ балкономъ, по обыкновенію, бродятъ куры и индюшки, любимый папинъ „индюкъ“, котораго почему-то зовутъ „Людовикомъ XIV“, вѣроятно за его величественный видъ,—навѣрное забрался на самый балконъ, а папа бросаетъ ему хлѣбные шарикъ, а старая Христя ворчитъ и гоняется за индюкомъ съ хворостинкой... Все по прежнему, только ея нѣтъ на обычномъ мѣстѣ, за самоваромъ. Папа одинъ... и навѣрное скучаетъ, бѣдный!.. Тутъ Ганѣ вспомнилось, какъ онъ ее провожалъ и какъ притворялся веселымъ, и какъ на глазахъ у него что-то блестѣло, а онъ усиленно затыгивался папирсомъ и увѣрялъ, что табакъ-анаемскій крѣпокъ, чортъ его побери! Вспомнила это Ганя, и на глазахъ у нея навернулись слезы... Но сейчасъ же нахлынули другія воспоминанія, и слезы высохли. Она въ Петербургѣ... Какъ жадно мечталось ей когда-то объ этомъ чудномъ городѣ, который представлялся ей въ видѣ огромной аудиторіи, гдѣ можно все, все узнать! И Ганя дрожала отъ восторга при мысли, что когда-нибудь и она займетъ свое скромное мѣстечко въ этой аудиторіи. Ей на яву снились высокія свѣтлыя залы, наполненные народомъ, а въ ушахъ звучали чьи-то рѣчи, пока неясныя, смутныя, но много общавшія, манявшія... Куда? Ганя еще не знала, но чувствовала, что къ чему-то очень хорошему, на широкій, свѣтлый путь...

Предъ Ганей вдругъ промелькнула одна сцена изъ недавняго прошлаго. Уже въ послѣднемъ классѣ гимназіи, во время экзаменовъ, она полюбила уходить вечеромъ за городъ, на кладбище, иногда одна, а чаще всего съ любимую подругой и непременно съ Некрасовымъ подъ-мышкой. Здѣсь онѣ или садились гдѣ-нибудь на могилѣ, прислонившись къ кресту, поросшему мохомъ, или блуждали по высокой травѣ, разсѣянно обрывая голубые колокольчики и розовую душицу. И при этомъ безъ умолку говорили, декламировали Некрасова, клялись въ вѣчной дружбѣ, а главное, мечтали о будущемъ, которое начиналось для нихъ вмѣстѣ съ окончаніемъ курса. Мечты были, конечно, самыя юныя и самыя свѣтлыя... всѣхъ любить, быть честными, хорошими, и

непремѣнно „положить жизнь“ — за кого? это имъ было еще неизвѣстно, но „положить“ непремѣнно. И вотъ однажды, въ одну изъ такихъ хорошихъ, мечтательныхъ минутъ, которыя никогда не забываются и при воспоминаніи о которыхъ даже въ самую глухую пору жизни на душѣ свѣтлѣетъ, Ганя раскрыла Некрасова и прочла: „отъ ликующихъ, празднично-болтающихъ“... И тутъ вдругъ съ ними обѣими что-то сдѣлалось. Обѣ онѣ остановились, взглянули другъ на друга, охваченныя какимъ-то новымъ для нихъ и страшно огромнымъ чувствомъ, и... заплакали. Ихъ поразили слова „великое дѣло любви“, и онѣ въ первый разъ ясно поняли, какое это, правда, великое и страшное дѣло и какой огромный долгъ лежитъ на каждомъ человѣкѣ передъ всѣмъ человѣчествомъ. Долго онѣ плакали, испуганныя и обрадованныя, и потомъ долго говорили, горячо и беспорядочно повѣряя другъ другу свои мысли и чувства. И такъ въ эту минуту любили онѣ и весь міръ, и другъ друга, и Некрасова, такъ хорошо было имъ, что хотѣлось даже умереть... Но, конечно, онѣ не умерли, а счастливыя, возбужденныя, хотя и съ заплаканными глазами, вернулись домой.

— А знаешь, Ганя, — сказала подруга, когда онѣ прощались у калитки. — Вѣдь это все Некрасовъ... Безъ него мы ничего бы не знали и не поняли, что надо дѣлать и какъ жить.

— Да, — задумчиво проговорила Ганя и вдругъ вся вспыхнула. — Знаешь что? — продолжала она взволнованно. — Когда я буду въ Петербургѣ, я первымъ долгомъ пойду къ нему на могилу и поклонюсь ему, да?

— Поклонись и отъ меня! — восторженно подхватила подруга, и онѣ расстались.

Вотъ, наконецъ, Ганя и въ Петербургѣ, и непремѣнно пойдетъ къ Некрасову поклониться ему за себя, и за подругу, которая хоть и осталась тамъ, въ глуши, но не закисло и не опошлѣлась, а работаетъ, открыла воскресную школу и возится съ самымъ бѣднымъ рабочимъ людомъ. Надо ей написать обо всемъ, она теперь ждетъ не дождется письма, но это уже потомъ, послѣ Некрасова и послѣ того, какъ Ганя побываетъ въ Академіи, и въ Эрмитажѣ, и въ Публичной Библіотекѣ, и вездѣ, вездѣ... Тутъ Ганей овладѣло нетерпѣніе и радостное безпокойство. Какъ жаль, что время идетъ такъ себѣ, даромъ, и какая досада, что тетя спитъ! А будить нельзя, вчера поздно легли. Ганя оглянулась — Татьяна Аристарховна все такъ же тихонько всхрапывала, и ея маленькое личико, утонувшее въ подушкѣ, имѣло самый безмятежный видъ. Ганя со вздохомъ опустила занавѣску и вернулась

къ себѣ на постель. Тишина, стоявшая въ квартирѣ и представлявшая такой рѣзкій контрастъ съ уличнымъ шумомъ, успокоительно подѣйствовала на ея возбужденные нервы, и Ганя, пригнѣвшись подъ одеяломъ, задумалась. Ей вспомнился вчерашній вечеръ, который произвелъ на нее какое-то смутное и смѣшанное впечатлѣніе; она была и довольна имъ, потому что увидѣла много новыхъ и интересныхъ лицъ, и въ то же время въ общемъ характеръ его было что-то такое, чего она не понимала и что ей не нравилось. Не понравился ей Потесинъ, не понравились нѣкоторые разговоры, не понравилась насмѣшливая улыбка Хотынцевой, когда она говорила о Татьянѣ Аристарховнѣ. Во всемъ этомъ было много непріятнаго... Но зато сама Хотынцева ей понравилась, понравился и ея мужъ, и Селищевъ тоже. При мысли о Селищевѣ Ганя почему-то густо покраснѣла и даже наткнула на голову одеяло, хотя никто и не могъ ее увидѣть. Ей вспомнилось вдругъ, какъ Хотынцева на прощанье предостерегала ее отъ Селищева и сказала, что на него дѣйствуетъ ея молодость. Что это значить? Правда, что Селищевъ вчера былъ очень къ ней внимателенъ и даже предложилъ осмотрѣть свою мастерскую, но что же изъ этого? Ровно, ровно ничего... Нѣтъ, онъ славный, этотъ Иванъ Александровичъ (Ганя выговорила про себя его имя и опять покраснѣла), славный, симпатичный, только какой-то невеселый и какъ будто больной. Вѣроятно, у него на душѣ лежитъ какое-нибудь тяжелое горе... какъ онъ вчера сказалъ: „хоть бы драма какая-нибудь, хоть бы горе, или страданіе, или радость“... У Гани даже сердце дрогнуло, когда онъ сказалъ это. А Хотынцевъ? Онъ тоже больной и какой грустный,—болжно на него смотрѣть. А какъ пишетъ!.. не даромъ онъ съ подружкой рыдали надъ его романомъ „Сильные міра“. Онъ какъ будто и смѣется надъ всѣмъ, но въ то же время чувствуется, что онъ самъ мучается оттого, что люди такъ смѣшны и несчастны, и ему страшно хочется, чтобы они были хороши и счастливы. И когда дочитаешь до конца, то какъ-то все вдругъ ясно станетъ, и сразу поймешь, и отчего несчастны люди, и какъ сдѣлать, чтобы они были счастливы. Жаль, что онъ такой больной и даже какъ будто суровый. Да они всѣ здѣсь, должно быть, больные и разочарованные. Всѣмъ недовольны, все бранять, особенно этотъ противный Потесинъ!—и что смѣшно, —завидуютъ ей, Ганя! Всѣ точно сговорились,—и тетя, и Селищевъ, и Хотынцева,—весь вечеръ конфузили Ганю ея молодостью. Молодость, молодость... что такое молодость? Какъ весна,—пролетѣть, и ничего не останется... А вѣдь, встать, теперь весна,

на хуторѣ хорошо. „Какъ молокомъ облитые стоятъ сады вишневые... Идетъ-гудетъ зеленый шумъ, зеленый шумъ, весенний шумъ“...

Тутъ мысли Гани стали путаться... и вдругъ обступили ее деревья, обсыпанные цвѣтами, и зеленая трава зашумѣла кругомъ, и ландыши пахли, и кукушка гдѣ-то закуковала... И вотъ будто она уже на хуторѣ, въ отцовскомъ саду, стоитъ подъ вишней, а внизу все цвѣты, да такіе красивые, душистые,—она такихъ и не видѣла никогда прежде. И кто-то говорить ей: „рвите, да рвите же скорѣе, а то облетятъ и разсыплются, какъ молодость“... Она глядитъ,—это Селищевъ, только Селищевъ веселый и совсѣмъ не такой, какой былъ вчера, а совсѣмъ другой, молодой и счастливый. „Какъ онъ сюда попалъ?“ думаетъ Ганя, но думать некогда, надо рвать цвѣты. А Селищевъ улыбается ей и тоже рветъ, и цвѣты будто поютъ, и ей такъ жутко и такъ весело, и все тѣснѣе около нея становится, и все громче, громче поютъ цвѣты...

— Ганя, Ганя, вставай! Проспала Академію, соня! Ахъ ты, лѣнтяйка этакая!

Ганя проснулась и вскочила, протирая глаза. Надъ нею стояла Татьяна Аристарховна, уже совсѣмъ одѣтая, съ папиросой въ зубахъ, и громко смѣялась.

— Боже, она до того доспалась, что ничего не понимаетъ! А еще, безстыдница, вчера увѣрала, что рано встанетъ. „Я всегда, тетя, рано встаю!“ Что? Вотъ тебѣ и рано! И выставку проспала!

— Неужели проспала, тетя?—въ испугѣ воскликнула Ганя, торопливо одѣваясь.—Который же часъ?

— Успокойся, только 11, и ничего мы не проспала. А все-таки стыдно такъ долго спать. Ну, рассказывай, что во снѣ видѣла. Знаешь вѣдь,—„на новомъ мѣстѣ приснишь женихъ невестѣ“... Кто же тебѣ снился?

Ганя вспомнила свой сонъ и покраснѣла.

— Ахъ, тетя, все глупости такія!

— Не увертывайся, говори! Чтобы у меня никакихъ секретовъ не было, слышишь?

— Да что же, тетя, я не помню... Разное снилось. Деревья, ландыши, цвѣты. И цвѣты будто поютъ. Потомъ Селищева видѣла...

— Что? Селищева?—Татьяна Аристарховна засмѣялась.—У тебя, душенька, губка-то не дура. Только нѣтъ, Ганя, онъ для тебя черезъ-чуръ старъ, — не годами старъ, а душой. Онъ, я

думаю, и любить-то разучился. Постой, я сама тебѣ заплету косу... Какая прелесть, точно лень!

Татьяна Аристарховна распустила Ганины волосы и, пропуская сквозь них гребень, любовалась ихъ серебристымъ отливомъ.

— Вотъ и Хотынцева мнѣ вчера то же говорила,—сказала Ганя, задумчиво глядя въ зеркало.

— Что? О волосахъ или о Селищевѣ? Да, о Селищевѣ... Она права. Хотынцева—очень умная женщина, и я ее уважаю. Она немножко суховата и горда, но это оттого, что имъ вообще плохо живется теперь.

— Плохо?

— Очень, очень плохо, Ганичка!—вздыхнула Татьяна Аристарховна. Писать кое-гдѣ и съ кѣмъ-нибудь онъ не хочетъ, а порядочныхъ журналовъ у насъ теперь такъ мало. Да и цензура его очень тѣснить... Не прежнія времена, Ганичка, когда было „Русское Слово“, былъ Писаревъ...

И старушка, не переставая заплетать косу, бросила грустный взглядъ въ уголъ, гдѣ надъ письменнымъ столомъ, въ черной рамѣ съ золотомъ, висѣлъ портретъ молодого человека съ огромнымъ лбомъ и твердымъ, настойчивымъ взглядомъ свѣтлыхъ глазъ.

— Тетя, а что же это у нихъ вчера съ Потесинимъ вышло?—спросила Ганя.

— Ахъ, это очень непріятная исторія, голубчикъ! Видишь ли, они раньше оба были сотрудниками въ одномъ журналѣ, и Потесинъ писалъ очень либерально. А потомъ, когда этому журналу сдѣлали второе предостереженіе и стало извѣстно, что вотъ-вотъ его прекратить совсѣмъ, Потесинъ взялъ да и ушелъ въ другой журналъ, да и не только ушелъ, а написалъ ужасно гадкую статью совсѣмъ въ другомъ духѣ и бранилъ своихъ прежнихъ сотрудниковъ. Съ тѣхъ поръ они враги, конечно, но я вчера,—Богъ знаетъ, что со мной сдѣлалось,—совсѣмъ позабыла объ этомъ.

— Тетя, да вѣдь это же подло!—воскликнула Ганя съ негодованіемъ.

— Со стороны Потесина? Еще бы, Ганя! Мы всѣ тогда ужасно были возмущены...

— А теперь? Теперь зачѣмъ ты его принимаешь у себя, тетя?

Татьяна Аристарховна смутилась, заволновалась и заходила по комнатѣ.

— Ахъ, Ганя, ты мое больное мѣсто затронула! Я сама иногда мучаюсь отъ этого ужасно. Ты не понимаешь... Это, ко-

нечно, слабость, безхарактерность, но что подѣлаешь,—не могу я какъ-то его выгнать,—не въ моей натурѣ это. Тогда, послѣ этого, одно время я избѣгала встрѣчаться съ нимъ, но представъ его нахальство,—въ одинъ изъ вторниковъ является какъ ни въ чемъ не бывало, цѣлуешь ручки,—ну не хватило духу выгнать, что ты тутъ сдѣлаешь! И сама чувствую, что нехорошо это, а не могу... жалкій онъ такой, противный... Да нѣтъ, Ганя, ты этого не поймешь, тутъ цѣлая психологія...

Ганя молчала. Она очень любила и уважала тетку, но на душѣ ея все-таки тихонько лежалъ какой-то горькій и непріятный осадокъ.

VIII.

Наскоро напившись чаю,—Ганя шла даже стоя и въ шляпѣ,—Змиевскія отправились на извозникѣ въ Академію. День былъ чудный, яркій, и Невскій, залитый солнечнымъ блескомъ, имѣлъ особенно праздничный и нарядный видъ. Пестрый потокъ безостановочно и шумно лился по солнечной сторонѣ; мелькали дамскія весеннія шляпы, цилиндры, бѣлыя фуражки военныхъ. Окна магазиновъ сіяли и искрились, мостовая грохотала, слышались непрерывные, торопливые звонки конки и оглушительный рѣзъ бородатыхъ кучеровъ. Ганя была оглушена, ослѣплена и совершенно позабыла о горькомъ осадкѣ послѣ давешняго разговора съ теткой. Теперь ей было не до того, и она жадно ко всему присматривалась, мысленно отмѣчая, куда ей надо будетъ пойти и что осмотрѣть. Вотъ Аничковскій мостъ съ его взвившимися на дыбы конями и извилистая линія Фонтанки, загроможденной баржами; вотъ Казанскій соборъ съ его античною колоннадой, а вонъ вдали, въ солнечномъ туманѣ, вырисовался и стройный шпигъ Адмиралтейства. Свернули налѣво, мимо темной громады Исакія, будто придавленной тяжелою золотою шапкой. Темныя фигуры святыхъ величаво глядятъ съ высоты; холодомъ вѣетъ отъ гранитныхъ стѣнъ, ступеней и колоннъ. „И сюда надо сходить“... думаетъ Ганя, но едва успѣла бросить взглядъ на соборъ—глядь, уже и Сенатская площадь, и Петровскій садъ, сквозь оголенные вѣтви котораго рисуется энергичный силуэтъ Петра, а тамъ засверкала и сама великолѣпная Нева съ тяжелою аркой Николаевского моста надъ нею...

— Ахъ, какъ хорошо, тетя!—не вытерпѣла Ганя, вся пылая отъ восторга.

— Да, хорошо, Ганичка. Только мнѣ уже все это пригля-
дѣлось, — вѣдь двадцать пять лѣтъ смотрю. Однако, ты ужасно вер-
тишься, — смотри, совсѣмъ меня съ дрожжъ столонула.

Но Ганя не слушала, — она вся ушла въ глаза и не знала,
куда ей смотрѣть. Это что? А это что? А вотъ, наконецъ, и Ака-
демія съ величественною фигурою Минервы на куполѣ... и колос-
сальныя фигуры сфинксовъ неподвижно лежатъ на своихъ гра-
нитныхъ пьедесталахъ. Минерва Ганѣ не понравилась — черезъ-
чуръ тяжела и посажена такъ некрасиво, но сфинксы привели
ее въ восторгъ.

— Тетя, пойдѣмъ, посмотримъ! — умоляла она, когда извоз-
чикъ высадилъ ихъ у подъѣзда академіи.

— Да успѣешь еще, неугомонная!

— Нѣтъ, тетя, пожалуйста! Хоть разочекъ взглянуть.

Онѣ перешли къ сфинксамъ. Ганя съ любопытствомъ вгляды-
валась въ ихъ каменные лица съ страннымъ разрывомъ глазъ и
таинственною улыбкой, застывшей на каменныхъ губахъ. Стран-
ныя мысли волновали Ганю, — ей хотѣлось спросить сфинксовъ, —
что видѣли они? Вотъ такъ же вѣдь они смотрѣли нѣкогда на
песчанныя пустыни Египта, а теперь такъ же смотреть на холод-
ную Неву и дворцы, и Богъ знаетъ, на что еще будутъ смотрѣть
черезъ тысячу лѣтъ. И вдругъ какой-то мистическій ужасъ передъ
невѣдомымъ прошедшимъ, гдѣ ея не было, и невѣдомымъ буду-
щимъ, гдѣ ея не будетъ, охватилъ Ганю, и ей почудилось, что
сфинксы усмѣхаются... Татьяна Аристарховна насилу оттащила
ее отъ нихъ.

— Да пойдѣмъ же, Ганя! И что тебѣ понравились эти идолы?
не понимаю.

— Странные они, тетя! — въ раздумѣ проговорила Ганя,
слѣдуя за теткой. — Не знаю, но меня почему-то такъ и тянетъ
на нихъ смотрѣть. Они точно и смѣются надъ тобой, и грозятъ...

Но Татьянѣ Аристарховнѣ было не до сфинксовъ: онѣ вошли
въ подъездъ и сразу попали въ страшную сутолоку. Народу
было множество; одни раздѣвались, другіе уже одѣвались и ухо-
дили. Нужно было отыскать сторожа, отдать ему платье, полу-
чить нумерокъ. Но, несмотря на эту толкотню, Ганя все еще не
могла отдѣлаться отъ впечатлѣнія, произведеннаго на нее сфинк-
сами; она машинально раздѣлась, машинально оправила волосы
и послѣдовала за теткой, которая уже своими мелкими, торопли-
выми шажками взбиралась по лѣстницѣ.

Наверху, облокотясь на перила и тревожно всматриваясь въ
лица входящихъ, стоялъ Селищевъ. Онъ ждалъ. Раскрѣтающая

красота Гани произвела на него впечатлѣніе, и онъ не спалъ всю ночь, блуждая по улицамъ. Только когда взошло солнце, онъ вернулся домой, но спать все-таки не могъ, а сѣлъ передъ натянутымъ полотномъ и просидѣлъ такъ до десяти часовъ. Въ мозгу его роились тысячи неясныхъ образовъ, и онъ ощущалъ давно уже неиспытанный имъ приливъ силъ. Къ нему точно опять возвратилась молодость, съ ея страстными мечтами и порывами, съ ея тоской и радостью, съ ея громадными желаніями и сомнѣніями. И онъ былъ радъ, безумно радъ этому возврату молодыхъ силъ и желаній; онъ жадно прислушивался къ тому, что звучало у него въ душѣ, и жадно ждалъ минуты, когда эти неясные звуки сольются въ одинъ опредѣленный могучій аккордъ, и кисть его свободно и легко бросить на полотно тѣ первыя краски, въ которыхъ потомъ воплотится его мечта.

Когда пробило десять часовъ, Селищевъ очнулся и съ радостнымъ удивленіемъ взглянулъ на стоявшее передъ нимъ полотно. Теперь это полотно не раздражало его, какъ недавно; онъ бережно набросилъ на него покрывало и сталъ торопливо одѣваться. И на улицѣ, по дорогѣ въ Академію, онъ все думалъ о Ганѣ и о своей будущей картинѣ. Голова его кружилась и отъ бессонной ночи, и отъ свѣжаго воздуха; онъ чувствовалъ себя точно съ похмелы, но похмелье это было пріятное, и онъ былъ радъ, что такъ чувствуется. „Все это отлично, все это хорошо, — думалъ онъ радостно: — пусть кружится голова, пусть болить даже, — и боль, и тревога, и тоска все это лучше того, что было. И даже эти глупые стихи, — и они хороши... Потому хороши, что говорятъ о веснѣ, а весна — это молодость, это счастье, это любовь, это та вчерашняя дѣвочка въ красной шапочкѣ. Ахъ, какая милая дѣвочка! — еслибы я встрѣтилъ ее, то расцѣловалъ бы. Съ нея, съ нея все началось“... „А весна, какъ струна, занимаетъ въ груди“...

Онъ почти бѣгомъ вошелъ въ Академію, наскоро раздѣлся и бросился въ залы. Но Зміевскихъ не было. Селищевымъ овладѣло почти отчаяніе. Ему казалось, что они разойдутся, не встрѣтятся, что, можетъ быть, Татьяна Аристарховна позабыла, что собиралась сегодня, и онъ бѣсился на себя и на нихъ. Какъ все это глупо вышло, — развѣ не могъ онъ заѣхать за ними? Гораздо лучше было бы. И какъ надоѣли эти глупые стихи: „а весна, какъ струна“...

Онъ вышелъ на лѣстницу, облокотился на перила и сталъ ждать. И вотъ, когда ему показалось, что прошло уже нѣсколько часовъ — прошло всего нѣсколько минутъ — на лѣстницѣ появилась сначала коротенькая фигурка Татьяны Аристарховны, а за нею

и она, въ простомъ синенькомъ платьицѣ, въ легонькой весенней шляпѣ, съ своею серебристою косой и съ своими широко открытыми глазами, радостно и жадно устремленными впередъ.

— Здравствуйте,—что это, какъ вы долго? Ужъ я васъ ждалъ, ждалъ!..—взволнованнымъ голосомъ вымолвилъ Селищевъ, крѣпко сжимая Ганину руку и съ ласковымъ упрекомъ заглядывая ей въ лицо. Ганя взглянула на него, вспомнила свой утренній сонъ и вспыхнула. Сонъ оказывался въ руку... Селищевъ сегодня былъ совсѣмъ молодой, такой, какъ во снѣ... или это ей онъ только показался вчера такимъ старымъ? И Ганѣ стало смѣшно и ужасно весело.

— Уфъ, устала!—выговорила, наконецъ, запыхавшаяся Татьяна Аристарховна, взбираясь на послѣднюю ступеньку. Почему опоздали, вы спрашиваете? А вотъ все она виновата! Хотѣла рано встать—проспала, потомъ потащила меня сфинксовъ смотрѣть,—все ей сразу хочется.

Человѣкъ, переживающій что-нибудь важное въ своей жизни, всегда немножко суевѣренъ и склоненъ придавать особый таинственный смыслъ всякимъ мелочамъ и случайностямъ. Селищеву также, въ томъ возбужденномъ состояніи, въ какомъ онъ находился со вчерашняго вечера, показалось многозначительнымъ, что Ганю, у самого порога въ Академію, тянуло къ сфинксамъ.

— Какъ это странно!—проговорилъ онъ вслухъ.—Знаете, эти сфинксы играли въ моей жизни большую роль. Около нихъ я много пережилъ и перечувствовалъ... около нихъ я выстрадалъ своего Вѣду...—Станный тонъ и странный взглядъ Селищева смущали Ганю. Его волненіе сообщилось и ей.

— Ну, господа, вотъ что!—сказала Татьяна Аристарховна, когда они вошли въ конференцъ-залу.—Вы себѣ идите, побѣгайте, а я здѣсь посижу, отдохну. А потомъ вы вернетесь за мной.

— Позвольте руку вамъ?—обратился Селищевъ къ Ганѣ.

— Нѣтъ, благодарю... я одна...—промолвила Ганя, все болѣе и болѣе смущаясь.

Залы были полны народу. Къ нѣкоторымъ картинамъ невозможно было пробраться.

— Ну, кажется, намъ съ вами сегодня въ самомъ дѣлѣ придется только „побѣгать“!—смѣясь, сказалъ Селищевъ.—Ничего не увидимъ; смотрите, сколько публики.

Ганя не отвѣчала. Она совершенно растерялась въ этой чужой толпѣ, рядомъ съ этимъ тоже чужимъ, но производившимъ на нее странное впечатлѣніе человѣкомъ. Она и довѣряла ему,

и боялась его; еще никогда, ни съ однимъ мужчиной ей не приходилось быть такъ близко.

— Да дайте же руку, Агаея Михайловна! Васъ совсѣмъ за- толкаютъ здѣсь, — сказалъ Селищевъ, когда ихъ стѣснили у ка- кого-то огромнаго полотна.

Ганя испуганно схватилась за руку Селищева. Теперь они были еще ближе другъ къ другу и совершенно одни. Нигдѣ не чувствуешь себя такимъ одинокимъ, какъ въ незнакомой толпѣ.

— Ну, скажите же, какое впечатлѣніе произвели на васъ сфинксы?

— Право, не знаю... Глядя на нихъ, мнѣ вдругъ какъ-то стало страшно жить.

— Жить страшно? Почему же?

— Это трудно объяснить. Передъ этими чудовищами чув- ствуешь себя такимъ жалкимъ, ничтожнымъ... Думается, — зачѣмъ же жить? Вѣдь, все равно, и ты исчезнешь, и все исчезнетъ...

— Не правда ли, обидно какъ-то становится, — эти каменные истуканы, никому не нужные и бессмысленные будутъ существо- вать, а тебя съ твоимъ мозгомъ, съ твоими нервами, мечтами, идеалами, любовью и ненавистью — не будетъ. Я тоже думалъ объ этомъ... Но знаете, къ вамъ такія мысли не идутъ. Зачѣмъ вамъ объ этомъ думать? Вы — сама жизнь, сама радость, на васъ свѣтло смотреть, отъ васъ весной пахнетъ. Ваше будущее — пре- красное будущее, если вы такъ начинаете. Знаете ли вы, что вы многихъ сдѣлаете счастливыми? А развѣ для этого не стоитъ жить?

Ганя вся пылала и не знала, что отвѣчать. Она забыла, что вокругъ нея множество незнакомыхъ людей, что она въ Академіи, на выставкѣ; она не видѣла ни картинъ, никого, ей было душно и хорошо, и страшно. А Селищевъ глядѣлъ сбоку на ея разго- рѣвшуюся щеку, по которой вилась серебристая прядка волосъ, и ему вспомнилось:

...И солнца отливы
У ней на кудряхъ золотистыхъ,
И зрѣющей сливы
Румянецъ на щечкахъ пушистыхъ...

— Иванъ Александровичъ? Вы здѣсь? — воскликнулъ кто-то около нихъ.

Селищевъ обернулся и увидѣлъ всю вчерашнюю компанію — Крынкина, Пыхтѣева, Василькова и „D-g Dick'a“, — не было только Потесина. Всѣ они были красные, возбужденные и полупьяные;

Васильковъ какъ-то безсмысленно улыбался, но Крынкинъ, какъ всегда, сохранялъ джентльменскій видъ, хотя отъ него и сильно пахло виномъ.

„Чтобы чортъ васъ побралъ!“ — думалъ Селищевъ со злостью. „Такъ кабакомъ и запахло“...

— А мы, знаете, всю ночь напролетъ... — продолжалъ Крынкинъ весело, но взглянулъ на Ганю и спохватился. — Да... ну и потомъ прямо сюда. Только, представьте себѣ, ходимъ, ходимъ и рѣшительно ничего не понимаемъ, — гдѣ суть? Вотъ эта пьяная образина, — указалъ онъ на Василькова, — тамъ отыскалъ онъ какую-то Мадонну, да чтó онъ понимаетъ? „Мадонна“, говорить, — а посмотрѣли въ каталогъ, — оказывается „пастушка“.

Они всѣ захохотали. Очевидно, послѣ бессонной ночи и выпитаго вина, они теперь находились въ томъ особомъ туманномъ и смѣшливомъ настроеніи, которое переживается человѣкомъ въ періодъ вытрезвленія.

— Ну, вотъ и отлично, что вы намъ встрѣтились! Вотъ вы намъ самую суть-то и покажете!

— Нѣтъ, ужъ извините, господа, я не могу, — сказалъ Селищевъ вѣжливо, но сухо.

— Какъ не можете? Вы-то? — захрипѣлъ Васильковъ. — Творецъ? Селищевъ?

Онъ говорилъ такъ громко, что на нихъ стали оглядываться. Кто-то прошепталъ: „Селищевъ“. „Селищевъ!“ пронеслось по залу, и около нихъ стѣснился народъ. Какой-то баринъ вслухъ сказалъ: „гдѣ Селищевъ?“ а нѣсколько разряженныхъ барынь уставились на него съ лорнетами. Селищевъ готовъ былъ провалиться сквозь землю отъ досады и злости.

— Уйдемте отсюда скорѣе! — шепнулъ онъ Ганѣ, и они стали протискиваться сквозь толпу. За ними въ припрыжку послѣдовалъ Пыхтѣевъ въ надеждѣ подслушать какія-нибудь замѣчанія Селищева о картинахъ и выдать ихъ потомъ за свои собственные. Но это ему не удалось, потому что Селищевъ не только не дѣлалъ никакихъ замѣчаній, но даже не останавливался ни передъ одной картиной, и Пыхтѣевъ, разочарованный, вернулся къ своей компаніи, которая стояла все на одномъ мѣстѣ и о чемъ-то совѣщалась.

— Ушелъ! — объявилъ Пыхтѣевъ, егова передъ Крынкинымъ.

— Ушелъ? Ну вотъ видишь, — обратился Крынкинъ къ „D-g Dick'y“. Ну и мы пойдемъ. Какого чорта намъ тутъ дѣлать? Ужъ если само свѣтило удалилось, мы-то чего будемъ? Ну, идемъ же!

— Подожди! — съ упрямствомъ сильно выпившаго человека говорилъ „D-g Dick“. — Мы еще не все досмотрѣли... я хочу досмотрѣть...

— Да будетъ тебѣ, — вотъ тоска какая! Ёдемъ, нечего сморѣть, — все пересмотрѣли.

— А „Вакханка-то“?

— Какая тамъ еще Вакханка!

— А вотъ, № 431. Вакханку мы не видали.

— Да ну ее къ чорту! — прохрипѣлъ съ досадою Васильковъ. — Пойдемте лучше въ „Золотой Якорь“.

— Нѣтъ, постой, нельзя. А можетъ, въ ней-то и есть самая суть?..

Пришлось возвращаться опять въ залы и отыскивать Вакханку.

— Простите, что я такъ скоропостижно увелъ васъ съ выставки, — говорилъ между тѣмъ Селищевъ уже на улицѣ. — Но, ей Богу, просто невозможно было иначе.

— Да чтó случилось? Отчего вы убѣжали? — спросила Татьяна Аристарховна.

— Да вотъ отъ Крынкинской компаніи. Поставили въ самое комическое положеніе, — всѣ подъ хмелькомъ, остановились посреди залы и ну восклицать: „Вы, Селищевъ! Вы, свѣтило!“ Конечно, всеобщее вниманіе, лорнеты, восклицанія...

— Вотъ чтó значить быть знаменитостью! — смѣялась Татьяна Аристарховна. — Ганя, хорошо, что мы съ тобой не знаменитости. А ты чтó нахохлилась? Завидно, что-ли, стало?

— Нѣтъ, я такъ, тетя.

— Нѣтъ, не такъ. Меня не обманешь, — ужъ я вижу, бродить что-то въ головѣ новенькое. Иванъ Александровичъ, а вы куда же? Къ намъ, обѣдать!

— Если позволите.

— Боже мой, очень рады! Вы такъ давно не были у меня запросто. Ёдемте!

IX.

Выходя отъ Татьяны Аристарховны подъ вліяніемъ нѣсколькихъ рюмокъ выпитой воды, Потесинъ былъ въ сильно возбужденномъ состояніи, и воспоминаніе о непріятной сценѣ между нимъ и Хотынцевымъ на время сгладилось, вытѣсненное другими впечатлѣніями. Онъ громко хохоталъ надъ выходами Орш-

никова, котораго называлъ „Рудинимъ наизнанку“, издѣвался надъ Татьяной Аристарховной и грозилъ камня на камень не оставить отъ всей ихъ „гнилой“ писаревщины, которую они выдаютъ за свои „убѣжденія“. Но когда свѣжій ночной вѣтерокъ обивалъ его разгоряченную виномъ голову, Потесинъ очнулся, и ѣдкое, саднящее чувство поднялось въ его душѣ. Онъ вспомнилъ все,—и горящій негодованіемъ взглядъ Хотынцева, и свою протянутую руку, оставшуюся висѣть въ воздухѣ, и недоумѣвающія лица присутствующихъ... Обида и злость схватили его и горячею краской облили его щеки. Онъ понялъ, что разыгралъ жалкую, позорную роль, и это сознаніе до того было нестерпимо, до того мучительно, что онъ чуть не задохся и принужденъ былъ остановиться.

— Чтѣ это съ вами?—спросилъ шедшій съ нимъ рядомъ Пыхтѣевъ.

— Ничего,—грубо сказалъ Потесинъ.—Я съ вами не поѣду. Прощайте, господа!—крикнулъ онъ Крынкину и другимъ, шедшимъ впереди, и, свѣвъ на перваго попавшагося извозчика, приказалъ ѣхать домой.

Какъ всѣ люди съ огромнымъ, но мелочнымъ самолюбіемъ, Потесинъ былъ особенно чувствителенъ не къ самому факту оскорбленія, а болѣе всего къ внѣшней обстановкѣ его. И теперь его терзалъ не столько внутренній смыслъ нанесенной ему Хотынцевымъ обиды,—какое ему дѣло до того, чтѣ думаетъ о немъ этотъ мальчишка!—а главнымъ образомъ публичность ея. Эта протянутая рука, безпомощно повисшая въ воздухѣ, положительно перевертывала въ немъ душу, и онъ даже стоналъ отъ стыда и злобы при воспоминаніи о своемъ позорѣ. Конечно, завтра весь Петербургъ будетъ знать о томъ, что Хотынцевъ не подаль руки Потесину, а этотъ слетникъ Пыхтѣевъ навѣрное съ разными комментаріями и со своимъ злобнымъ хихиканьемъ будетъ рассказывать, а можетъ быть даже и представлять въ лицахъ все происшедшее у Аристарховны... Этотъ бестія Пыхтѣевъ умѣетъ рассказывать! Онъ замѣчательно наблюдателенъ и обладаетъ способностью схватывать самыя тонкія, самыя типическія черточки въ характерѣ человѣка.

Тутъ Потесинъ опять представилъ себѣ, какъ, вѣроятно, онъ былъ смѣшонъ и жалокъ съ своей протянутой рукой, и громко выругался. Никогда еще не переживалъ онъ ничего подобнаго и теперь чувствовалъ смертельную неистовую ненависть къ Хотынцеву, который сдѣлалъ его публично смѣшнымъ и жалкимъ. А между тѣмъ по натурѣ своей онъ былъ человѣкъ не злой и

вообще къ сильнымъ чувствамъ неспособный. Характеръ у него былъ довольно ровный и покладистый, такъ что люди, ненавидѣвшіе его за насмѣшливыя, полныя яда статьи, превосходно сходились съ нимъ при ближайшемъ знакомствѣ. Онъ любилъ все сладкое въ жизни, любилъ комфортъ и находилъ, что изъ-за принциповъ не стоитъ портить себѣ крови и разстраивать аппетитъ. Поэтому въ своихъ личныхъ отношеніяхъ съ людьми онъ являлся „добрымъ малымъ“ и избѣгалъ всякихъ непріятныхъ столкновений, если только это зависѣло отъ него, но въ то же время онъ не выносилъ ничего, что касалось его самолюбія. Огромное, болѣзненное самолюбіе было его *locus minoris resistentiae*... Еще въ ранней молодости, находясь въ старшихъ классахъ гимназіи, Потесинъ былъ одержимъ страстною жаждою выдѣлиться изъ толпы, сдѣлаться замѣтнымъ. Аппетиты къ сладкому житію въ то время еще дремали въ немъ, подавленные юношескими порывами къ славѣ, и, подчиняясь тогдашнимъ вліяніямъ, онъ увлекался ролью Шпильгагеновскаго Лео. Онъ изучалъ политическую экономію, организовалъ чтенія, рефераты, группировалъ кружки и прослылъ среди товарищей за коновода и будущаго дѣятеля. Начальство поглядывало на него довольно косо, но тѣмъ не менѣе Потесинъ какъ-то ухитрился кончить курсъ, да еще съ золотой медалью, которой въ душѣ онъ былъ страшно радъ, хотя дѣлалъ видъ, что презираетъ „всѣ эти балаболки“. Въ университетъ онъ поѣхалъ въ полной увѣренности, что и тамъ будетъ играть выдающуюся роль, но на первыхъ же порахъ его ожидало разочарованіе. Перезнакомившись съ товарищами и со всей университетскою обстановкой, онъ убѣдился, что есть люди и умнѣе, и сильнѣе, а главное, убѣжденнѣе его, и что здѣсь на однихъ рефератахъ далеко не уѣдешь. Понадобились не только слова, но и дѣла, а на дѣло-то Потесина и не хватило, да и знанія его, по повѣркѣ, шли не далѣе гимназическихъ тетрадокъ. Это обнаружилось на первой же товарищеской сходкѣ, на которой Потесинъ съ апломбомъ попробовалъ говорить. Но съ первыхъ же словъ его встрѣтили свистками, смѣхомъ и криками: „долой!“ Пристыженный, злой, оскорбленный сошелъ Потесинъ въ толпу и больше уже не пробовалъ ни разу говорить на сходкахъ, а тѣмъ болѣе—вліять на товарищей; онъ понялъ, что для этого у него нѣтъ ни искренности, ни силы убѣжденія, а главное, нѣтъ той смѣлости, почти дерзости, которая готова на все и которая тѣмъ-то и увлекательна, что ничего не боится и ни передъ чѣмъ не останавливается, даже передъ погибелью.

Послѣ этой первой неудачи Потесинъ задумалъ издавать сту-

денческий журнал и сначала обратил на себя внимание своими статьями, которые отличались бойкимъ, острымъ, хотя нѣсколько сухимъ языкомъ и особымъ ѣдко-пессимистическимъ отношеніемъ къ явленіямъ общественной жизни. Молодежь, недовольная проявленіями наступавшей реакціи, пришла въ восторгъ; о Потесинѣ заговорили. Ободренный успѣхомъ, Потесинъ еще „поддалъ жару“, и его ядовитыя филиппики противъ современнаго порядка вещей заходили по рукамъ въ десяткахъ рукописныхъ экземпляровъ. Одна изъ такихъ засаленныхъ, истрепанныхъ, „зачитанныхъ“ тетрадошекъ попала въ руки издателю-редактору извѣстнаго въ то время своимъ передовымъ направленіемъ и очень любимаго публикой журнала. Прочитавъ тетрадку, редакторъ задумался... а дня черезъ два Потесинъ получилъ предложеніе сотрудничать въ журналъ и получилъ авансомъ довольно крупную сумму денегъ въ счетъ будущаго гонорара. Мечты Потесина сбылись; самолюбіе его было удовлетворено. У него были и деньги, и слава, имя его получило извѣстность, статьями его зачитывались. Правда, онъ нигдѣ не высказывалъ своего *profession de foi*, но этого отъ него пока и не требовали, читатель вполне удовлетворялся злой и остроумной критикой общественныхъ и административныхъ неурядицъ. Но сверху все гуще и грознѣе наплывала реакціонная муть, и отсутствіе опредѣленности въ Потесинскихъ статьяхъ стало замѣчаться. Послышались недовольные голоса, что Потесинъ тухнетъ, блѣднѣетъ, повторяется, что насмѣшка его черезъ-чуръ поверхностна, одностороння; кто-то пустилъ даже о немъ фразу, что онъ „пѣвецъ безъ словъ, дѣлецъ безъ дѣла“, и эта фраза облетѣла всѣ литературные кружки. Потесину все это было извѣстно, и въ его душѣ начинала закипать злость противъ вчерашнихъ своихъ друзей и союзниковъ.

Въ это время онъ познакомился съ Хотынцевымъ. Потесину до сихъ поръ памятенъ этотъ день, когда молоденькій робкій студентъ съ яркимъ румянцемъ на щекахъ и взволнованнымъ лицомъ вошелъ въ редакцію съ своей первой повѣстью въ рукахъ. Потесинъ, въ качествѣ почтеннаго и многоуважаемаго члена редакціи, обошелся съ юношей снисходительно и, отпустивъ его съ шаблонными словами „навѣдаться недѣльки черезъ двѣ“, лѣниво сталъ просматривать рукопись. На первой страницѣ онъ насмѣшливо улыбнулся, на второй задумался, а на третей усѣлся поудобнѣе, закурилъ сигару и не вставалъ съ мѣста до тѣхъ поръ, пока не прочелъ всего. Повѣсть поразила его свѣжестью и искренностью чувства и глубиной мысли; большой, яркій, хотя еще и не окрѣпшій талантъ сверкалъ въ каждой строчкѣ произведенія.

Молодой авторъ тоже относился отрицательно ко многимъ явлениямъ русской жизни, тоже смѣялся и негодовалъ, но у него при этомъ было то, чего именно и недоставало Потесину—была огромная сила убѣжденія и была горячая любовь къ человѣку. О немъ нельзя было сказать, что онъ „пѣвецъ безъ словъ“—въ томъ, что онъ пѣлъ, и слова, и мотивъ были опредѣленны до рѣзкости. Потесину даже страшно стало... и тутъ впервые въ его душѣ шевельнулось что-то нехорошее противъ Хотынцева. Онъ попытался—было „исправить“ повѣсть,—сгладить кое-какія „шероховатости“, выбросить кое-какія, черезъ-чуръ рѣзкія страницы,—т.-е. отнять отъ нея именно ея яркость и силу, но, къ счастью, редакторъ воспротивился этому и повѣсть была напечатана цѣломъ. Ее сразу замѣтили и оцѣнили; Потесинъ потускнѣлъ еще больше. Его грызла зависть, но, встрѣчаясь съ Хотынцевымъ въ редакціи, онъ былъ съ нимъ любезенъ и милъ такъ, какъ онъ умѣлъ это, когда хотѣлъ. Но теоретическихъ разговоровъ онъ съ нимъ избѣгалъ, чувствуя, что здѣсь еще рельефнѣе выкажется его безпринципность и нравственная шаткость. Что тамъ ни говори, а человѣкъ все-таки лучше всего знаетъ самого себя, и Потесинъ, какъ человѣкъ умный, хорошо сознавалъ, чего ему недостаетъ, и тщательно пряталъ отъ всѣхъ свои недостатки.

Между тѣмъ надъ журналомъ собирались тучи; редактору все чаще и чаще приходилось ѣздить куда слѣдуетъ для непріятныхъ объясненій; наконецъ получилось и первое предостереженіе. Въ редакціи поднялся переполохъ; всѣ почувствовали, что журналъ виситъ на волоскѣ, но ни редакторъ, ни сотрудники не хотѣли ни на іоту отступать отъ принятаго направленія. Тутъ выступилъ Потесинъ, и ни на кого не глядя,—ему еще тогда было немножко совѣстно,—высказалъ, что, по его мнѣнію, надо смягчить тонъ, что не стоитъ губить журнала изъ-за пустяковъ, что если хочешь добиться чего-нибудь—надо дѣйствовать не дубьемъ, не на проломъ, а гдѣ ползкомъ, гдѣ тишкомъ... Онъ говорилъ въ этомъ духѣ много и долго и самъ чувствовалъ, что говорить дрянно, неискренне, трусливо, и отъ этого сознанія еще болѣе путался и мямлилъ. „Чего я вилую?“—мелькала у него мысль. Выругать ихъ хорошенько, сказать, что они дураки, идіоты, губятъ себя изъ-за какой-то мечты, объявить имъ, что я не хочу идти съ ними и проламывать себѣ башку о каменную стѣну... Но онъ ничего этого не сказалъ и не выругался,—опять у него не хватило смѣлости, и онъ договорилъ свою лживую рѣчь до конца.

Вслушавъ его, всѣ возмутились, и между Потесинимъ и ре-

дакторомъ вышла серьезная размолвка. Но особенно возмущенъ былъ Хотынцевъ, и Потесинъ даже теперь не можетъ забыть, какъ онъ взглянулъ на него своими засверкавшими глазами и, задыхаясь отъ негодованія, сказалъ, что побѣда никогда не остается за трусами.

Послѣ этой сцены у Потесина съ редакторомъ установились довольно холодныя отношенія; съ нимъ едва говорили, едва кланялись, и часто Потесинъ, входя въ редакціонную комнату, замѣчалъ, что оживленный разговоръ въ его присутствіи прекращался. Потесинъ понялъ, что фонды его здѣсь упали и что надо уходить. Но даже и уйти онъ не сумѣлъ открыто, честно, а поступилъ измѣннически, изъ-за угла. Числясь еще сотрудникомъ своего журнала и даже сдавъ въ редакцію новую работу, онъ написалъ статью, въ которой предаль осмѣянію все то, чему прежде служилъ, и отослалъ ее въ журналъ совершенно противоположнаго направленія. Статья была написана зло и остроумно; всѣ крайности, всѣ слабыя стороны радикальной партіи были жѣтко схвачены и съ явнымъ злорадствомъ преувеличены до карикатурности; ее приняли и напечатали немедленно, почти поспѣшно. Появленіе имени Потесина во враждебномъ журналѣ вызвало цѣлую бурю среди прежнихъ его сотрудниковъ. Редакторъ, состарѣвшійся на журнальномъ дѣлѣ и всю жизнь остававшійся вѣрнымъ своимъ принципамъ, былъ глубоко оскорбленъ и обиженъ,—обиженъ не насмѣшкой и глумленіемъ надъ его идеалами, не грязными инсинуаціями, направленными противъ его личности,—нѣтъ: ему обидно было за человѣка, за своего бывшего товарища, котораго онъ уважалъ и съ которымъ работалъ рядомъ.

Но скорбь скоро смѣнилась гнѣвомъ. Статья Потесина, уже набранная, была уничтожена, а рукопись вмѣстѣ съ короткимъ письмомъ, содержавшая отказъ отъ его сотрудничества, была отослана автору. На Потесина это произвело мало впечатлѣнія: онъ прочиталъ письмо, улыбнулся и закурилъ письмомъ сигару. На душѣ у него было легко и ясно: онъ почти радъ былъ, что легко раздѣлался съ опасными людьми. А менѣе чѣмъ черезъ годъ журналъ былъ запрещенъ навсегда, редакторъ вскорѣ умеръ, а сотрудники разсѣялись по лицу земли русской. Нѣкоторые надолго должны были покинуть Петербургъ, въ томъ числѣ и Хотынцевъ. Ему пришлось отправиться въ одинъ изъ захолустныхъ городковъ вологодской губерніи, гдѣ онъ и прожилъ около пяти лѣтъ.

Бываютъ ренегаты-мученики, ренегаты ликующіе и ренегаты-мотыльки. Ренегаты-мученики всю жизнь терзаются стыдомъ за совершенную ими измѣну, и хотя стараются какъ-нибудь оправ-

дать себя, но въ душѣ сознають, что ни оправдать, ни простить ихъ нельзя,—поэтому они робки, недоувѣрчивы и озлоблены. Ренегаты ликующіе, напротивъ, дерзки, самоуувѣренны и довольны собою,—они смѣло несутъ всюду свой мѣдный лобъ, и не только не оправдываются, но даже гордятся своей измѣной, какъ необычайно героическимъ подвигомъ. Наконецъ, ренегаты-мотыльки,—эти не оправдываются и не гордятся, а просто перелетаютъ себѣ съ цвѣтка на цвѣтокъ, смотря по тому, какой изъ нихъ лучше пахнетъ, и вездѣ чувствуютъ себя одинаково хорошо, такъ какъ не сознають за собою никакихъ обязанностей. Потесинъ принадлежалъ къ числу послѣднихъ. Переходъ его въ другую вѣру совершился ясно и безболѣзненно, безъ всякой нравственной ломки и припадковъ угрызенія совѣсти. Онъ страхнулъ съ себя все прежнее, какъ змѣя стряхиваетъ шкуру, и теперь въ новой шкурѣ и подъ новымъ знаменемъ даже какъ будто посвѣжѣлъ и помолодѣлъ, а перо его приобрѣло новый блескъ и ѣдкость. Происходило это отъ того, что Потесинъ по природѣ своей былъ разрушитель и отрицатель, и вся сила его таланта заключалась въ насмѣшкѣ. Поэтому, когда тамъ, подъ старымъ знаменемъ, отъ него требовалась насмѣшка и отрицаніе—онъ писалъ легко, свободно, ярко, смѣло; когда же понадобилось охранять и отстаивать отъ враждебныхъ вѣяній идеалы и принципы—онъ потускнѣлъ, расплылся и отъ каждой строчки его несло фальшью. Освободившись отъ всякихъ принциповъ и идеаловъ, висѣвшихъ, какъ тяжелыя горы, на его плечахъ, онъ почувствовалъ себя снова въ своей сферѣ, а примѣсь личнаго озлобленія противъ старыхъ товарищей придавала еще болѣе остроты его статьямъ. Имя Потесина опять ярко заблестѣло, и хотя въ этомъ имени теперь очень часто прибавлялись нехорошіе эпитеты, но Потесинъ не смущался. Положеніе его было навсегда упрочено; журналъ имъ дорожилъ, а жизнь, которую онъ такъ любилъ, текла широко, сытно и привольно. Больше ему ничего не нужно было.

И вдругъ эта встрѣча съ Хотынцевымъ, котораго онъ не встрѣчалъ лѣтъ восемь, взбудоражила ему всѣ нервы. У него даже голова разболѣлась, и придя къ себѣ домой, на Литейную, онъ ни за что ни про что выругалъ болваномъ швейцара, чуть не оторвалъ звонка въ квартирѣ и, выпивъ графинъ воды, заперся у себя въ кабинетѣ. Спать ему совсѣмъ не хотѣлось, хотя было уже около четырехъ часовъ; стиснувъ руки, онъ почти бѣгомъ ходилъ по комнатѣ, и самыя злобныя мысли выпѣли у него въ мозгу. Ему хотѣлось унижить, осмѣять, втоптать въ грязь своего

оскорбителя, и ядовитыя фразы сами собой складывались въ его головѣ. Онъ вспоминалъ всѣ его промахи и недостатки, придумывалъ унижительные эпитеты, и его трясло какъ въ лихорадкѣ, и отъ злости, и отъ налетѣвшаго на него творческаго порыва. Наконецъ онъ схватилъ листъ бумаги, сѣлъ къ столу, и перо быстро забѣгало.

Онъ сидѣлъ такъ цѣлое утро и цѣлый день, вставая только для того, чтобы выпить воды, и чуть не бѣгомъ возвращаясь опять къ столу. Онъ боялся потерять каждую секунду, боялся упустить какую-нибудь особенно мѣткую мысль, и страшно торопился. Къ вечеру статья была готова. Она называлась: „Мыльные пузыри, одержимые міровой скорбью“, и представляла изъ себя нѣчто ужасное. Потесинъ превзошелъ самого себя. Онъ разобралъ по ниточкѣ всѣ произведенія Хотынцева, и его героевъ выставилъ къ позорному столбу. Онъ рвалъ на клочки свое старое знамя, топталъ его ногами и плевалъ въ него. Это было страшное отреченіе отъ прошлаго, въ своемъ отвратительномъ цинизмѣ не лишенное нѣкотораго величія. Нужно было имѣть силу воли и присутствіе духа, чтобы такъ откровенно обнаружить передъ всѣми свое нравственное безобразіе. И Потесина только оскорбленное самолюбіе заставило дойти до такой крайности.

Написавъ послѣднее слово, Потесинъ съ облегченіемъ вздохнулъ, приказалъ позвать посыльного, и отослалъ статью въ редакцію, не перечитывая ее. Когда посыльный ушелъ, у него на душѣ стало еще легче. Онъ всталъ, потянулся и нѣсколько разъ прошелся по комнатѣ, съ улыбкой вспоминая то или другое удачное выраженіе, злую фразу, мѣткое сравненіе. Иногда ему въ голову приходила какая-нибудь новая оригинальная и остроумная мысль, и онъ сожалѣлъ, что отослалъ рукопись. „Эхъ, жаль! Ну, да ладно, въ корректурѣ можно будетъ прибавить. Воображаю, какъ теперь на меня накинута, какой гвалтъ поднять всѣ эти красныя, розовыя, оранжевыя“...

„Однако!“ — подумалъ онъ, и вспомнилъ, что еще не умывался, не ѣлъ и не гулялъ сегодня. Онъ позвалъ слугу, умылся, одѣлся, выпилъ стаканъ горячаго кофе съ коньякомъ и пошелъ на Невскій. Погода и сегодня была великолѣпная; Потесинъ со-всѣмъ пришелъ въ себя и, весело насвистывая изъ „Евгенія Онегина“ пѣсенку Трика, направился къ Палкину обѣдать. На углу Владимірской онъ встрѣтился съ Крынкинымъ, Васильковымъ и D-г Dick'омъ.

— Что это у васъ такой побѣдоносный видъ нынче? — воскликнулъ Крынкинъ, останавливаясь. — Кого вы убили?

— Комара, — улыбаясь, отвѣчалъ Потесинъ. — А вы куда?

— Къ Палкину, „литки“ пить. Вотъ этотъ мастодонтъ „Арлекина“ купилъ, — празднуемъ. Пойдемте и вы съ нами, выпьемъ за процвѣтаніе отечественной литературы!

— Съ удовольствіемъ! — согласился Потесинъ, и тяжелыя рѣзныя двери широко распахнулись передъ ними.

Х.

Прошло около недѣли.

Погода за это время успѣла совершенно измѣниться: на улицахъ было сѣро и грязно, шелъ мелкій упорный дождь, дулъ пронзительный вѣтеръ, по Невѣ шелъ ладожскій ледъ. Въ мастерской Селищева также было холодно, хотя и топились каминъ. Его мастерская тремя огромными окнами выходила на Неву; это была большая высокая комната, но до того заставленная, загроможденная мебелью, полотнами, бронзой, драпировками, что казалась тѣсной. По срединѣ, нѣсколько вкось къ окнамъ, стоялъ мольбертъ съ полотномъ, задернутымъ бѣлымъ покрываломъ; передъ нимъ помѣщался трехногій высокій табуретъ и низенькій столикъ въ помпейскомъ вкусѣ, на которомъ лежали кисти, ящичекъ съ красками и палитра. По стѣнамъ висѣли этюды, эскизы, гравюры, между прочимъ и великолѣпная французская гравюра Бэды. Между двумя огромными художественными вазами изъ майолика бѣлѣло въ тѣни роскошныхъ Макартовскихъ букетовъ мраморная статуэтка Мефистофеля — копія Антокольскаго. Насмѣшливый объѣсъ, какъ живой, сидѣлъ въ своей задумчивой позѣ, и казалось, что вотъ-вотъ онъ зашевелится, вздохнетъ и въ тишинѣ раздастся его шипящій смѣхъ. Лампа съ большимъ зеркальнымъ рефлекторомъ была уже зажжена, и яркій снопокъ свѣта падалъ на мольбертъ, оставляя углы комнаты въ тѣни. Но несмотря на это яркое освѣщеніе и художественную обстановку мастерской, она имѣла какой-то мрачный характеръ. Тяжелыя драпировки на окнахъ, ниспадавшія съ золоченыхъ копій причудливыми складками, были черевъ-чуръ темны и густы; казалось, что онѣ никогда не пропускаютъ сюда солнечныхъ лучей. По угламъ таинственно бродили странныя, фантастическія тѣни; мольбертъ въ своемъ бѣломъ покрывалѣ казался призракомъ, а нестерпимо-яркій конусъ свѣта рядомъ съ этими погруженными въ сумракъ углами и среди гнетущаго безмолвія производилъ почти жуткое

впечатлѣніе. А въ окна бился дождь и вѣтеръ грохоталъ по крышѣ.

Но у камина, за драпировкой на толстыхъ шпалерныхъ шнурахъ съ кистями, было уютно и тепло. Это былъ совсѣмъ особый уголокъ, похожій на будуаръ женщины. Передъ каминомъ стояла широкая оттоманка, на которой было удобно и сидѣть, и лежать; круглый столикъ былъ заваленъ альбомами, эстампами, книгами; нѣсколько мягкихъ креселъ были тѣсно сдвинуты вокругъ него, точно здѣсь еще недавно шла дружеская бесѣда. Подъ ногами лежалъ пушистый темный коверъ. Въ этомъ уголкѣ, совершенно отдѣльномъ отъ мастерской, Селищевъ любилъ отдыхать отъ работы, читалъ, писалъ письма, принималъ знакомыхъ, завтракалъ, обѣдалъ, иногда даже спалъ.

Было уже шесть часовъ вечера. Селищевъ сидѣлъ у огня и хмуро глядѣлъ, какъ золотыя змѣйки перебѣгали и извивались между толстыми полѣньями дровъ. Онъ былъ недоволенъ и сердитъ; онъ ждалъ къ себѣ сегодня Зміевскихъ, но вотъ уже шесть часовъ, а ихъ нѣтъ, и вѣроятно не будетъ, потому что онѣ обѣщались пріѣхать въ три часа. Побоялись дожда и холода... какая досада! А онъ былъ такъ хорошо настроенъ сегодня, такъ волновался, такъ ждалъ этого дня и этого свиданія. Но это уже всегда такъ бываетъ — самыя жгучія и жадныя желанія никогда не исполняются.

Селищевъ закрылъ глаза и задумался. Какъ измѣнилась его жизнь съ того памятнаго вечера, когда онъ увидѣлъ Ганю! Давно ли онъ бродилъ холоднымъ и равнодушнымъ „трупомъ“ и съ отвращеніемъ просыпался каждый день, зная, что и сегодня будетъ то же, что вчера, а вчера былъ все одинъ и тотъ же холодъ и мракъ. А теперь... Вся эта недѣля прошла для него какъ въ чадѣ. Онъ проводилъ безсонныя ночи, или на улицѣ, или здѣсь, на оттоманкѣ, а утромъ, едва начиналась обычная петербургская жизнь, бѣжалъ въ Академію или въ Эрмитажъ, или даже въ Пушкинскій скверъ, гдѣ садился на скамеечку, противъ нихъ подлѣва, и ждалъ, когда онѣ выйдутъ. И какъ мучительно-сладко было ждать, волноваться, дрожать, какъ въ лихорадкѣ, отъ страха, что не придутъ, и какой восторгъ зато овладевалъ душой, когда, наконецъ, двери отворялись и на порогѣ показывалась ея стройная фигурка, съ этой оригинальной серебристой косой и этимъ южнымъ загаромъ на щекахъ, какого не увидишь ни у кого здѣсь въ Петербургѣ. И затѣмъ начинался день, полный самыхъ захватывающихъ ощущеній. Какое наслажденіе было знакомить ее съ своими любимыми картинами и разъяснять ей

ихъ красоты, слѣдить, какъ ея глаза загораются восторгомъ, и самому вмѣстѣ съ нею переживать вновь уже давно пережитое и полузабытое. Да, этихъ минутъ ничто замѣнить не можетъ... любовь дѣлаетъ человѣка равнымъ богамъ. Иногда Татьяна Аристарховна, которая неизмѣнно и всюду сопровождала Ганю, уставала и садилась гдѣ-нибудь отдыхать,—они оставались одни. Тогда Селищевъ бралъ ея руку и уводилъ ее куда-нибудь въ полутемный и прохладный уголокъ, чаще всего въ свою любимую испанскую галерею, гдѣ была Мадонна съ полумѣсяцемъ. Здѣсь они садились на бархатный диванчикъ, подальше отъ посѣтителей, и говорили, говорили... Т.-е. больше говорилъ Селищевъ, а Ганя слушала, и въ ея темныхъ расширенныхъ глазахъ загорались какіе-то тревожные огоньки. Рѣчь художника была безпорядочна; онъ перескакивалъ съ предмета на предметъ,—то рассказывалъ ей о себѣ, путаясь въ психологическихъ тонкостяхъ творческаго процесса, то вспоминалъ біографіи знаменитыхъ мастеровъ и мистическія средневѣковыя легенды, связанныя съ ихъ именами. Однажды, рассказывая о Рафаэлѣ и его подругѣ, Фоваринѣ, которую великій художникъ обезсмертилъ своимъ гениемъ, Селищевъ воскликнулъ: „Да, Агаѣя Михайловна, любовь сильнѣе смерти, любовь побѣждаетъ все — сомнѣніе, тоску, злобу, даже самого сатану!“ —и съ этими словами онъ схватилъ ея руку и крѣпко сжалъ. Ганя сначала вспыхнула, потомъ поблѣднѣла и пошатнулась, — испуганный и сконфуженный Селищевъ едва успѣлъ ее поддержать. Но она сейчасъ же пришла въ себя и, необыкновенно серьезно взглянувъ на художника, тихонько отвела его руку. „Что съ вами, Агаѣя Михайловна? — спросилъ Селищевъ. — Простите меня... я, кажется, былъ дерзокъ съ вами и причинилъ вамъ боль“... „Нѣтъ, — сказала Ганя, все тѣми же страшно серьезными глазами глядя на Селищева. — Меня поразили ваши слова, что любовь сильнѣе смерти... вѣдь это значить, что можно жизнь отдать за то, что любишь, и это даже вовсе не подвигъ, потому что если только по настоящему любишь, то умирать будетъ и не больно, и не страшно“... — „И вы бы умерли за любимаго человѣка?“ — спросилъ Селищевъ. — „Я не знаю, — отвѣчала Ганя, — но я вотъ что подумала, когда вы сказали, что любовь все побѣждаетъ. Я подумала, какая сила любви должна быть въ человѣкѣ, если онъ все отдаетъ за то, что любить. И мнѣ стало какъ-то страшно при этой мысли... даже голова закружилась. Это со мною бываетъ“, — прибавила она, и вдругъ застыдилась, и серьезность ея смѣнилась прежнимъ дѣт-

скимъ, немножко недоумѣвающимъ и немножко сконфуженнымъ выраженіемъ.

Послѣднихъ словъ ея Селищевъ не понялъ, но почувствовалъ нѣчто въ родѣ досады и разочарованія, что не его горячій порывъ взволновалъ Ганю, а какая-то отвлеченная мысль. „Ребенокъ... ребенокъ!—подумалъ онъ.—Мечтаетъ о подвигахъ, о самопожертвованіи... дитя!“ И онъ какъ-то вдругъ опустился, замолкъ и весь вечеръ былъ задумчивъ и печаленъ. На него повѣяло прежнимъ холодомъ; онъ подумалъ, что слишкомъ старъ, утомленъ, что его нельзя полюбить... Но на другой день, встрѣтившись съ нею, онъ позабылъ вчерашнія сомнѣнія и снова весь отдался своему чувству. Онъ не противился ему, напротивъ, онъ съ восторгомъ слѣдилъ, какъ оно все больше и больше разгорается въ его охладѣвшей душѣ и понемногу захватываетъ его всего, вытѣсняя все больное, мрачное, накопившееся за прежніе годы. Онъ любитъ... значитъ, онъ еще живъ и для него еще существуетъ и солнце, и блескъ, и краски, и красота, и женщина... Собственно для Селищева женщина не была культомъ, но онъ любилъ ее за тѣ чувства, которыя она заставляла переживать. Въ ней самой и въ любви къ ней было что-то таинственное, опьяняющее, заставляющее и мыслить, и ощущать ярче и сильнѣе. Поэтому, хотя Селищевъ по натурѣ вовсе не былъ донъ-Жуаномъ и чувственнымъ человекомъ, но онъ имѣлъ много романовъ. Любовь всегда на время согрѣвала и даже вдохновляла его,—всѣ его картины послѣ Бѣды были написаны имъ, когда онъ любилъ,—только въ Бѣду онъ былъ влюбленъ безраздѣльно. Но кончалась картина—кончалась и любовь. Наступалъ холодъ, мракъ, потомъ скука, почти отвращеніе, и женщины уходили отъ него съ ненавистью, съ проклятіями, понимая, что онъ любилъ не ихъ самихъ, а свои собственные ощущенія. При этомъ не обходилось безъ драмъ... и до сихъ поръ Селищева по временамъ тревожитъ одна мрачная тѣнь...

Но прочь тѣни!.. теперь, за бархатной драпировкой, въ теплѣ камина, при фантастическихъ переливахъ догорающаго огня—не до нихъ. Все это прошло, исчезло; новая любовь, новыя ощущенія волнуютъ душу. И на этотъ разъ надолго... можетъ быть, навсегда. Селищеву кажется, что онъ раньше никогда не переживалъ ничего подобнаго, да и Ганя такъ непохожа на тѣхъ, прежнихъ... Тѣ были по большей части уже нѣсколько изломанные, пожившія или искавшія въ любви уже знакомыхъ наслажденій, или увлеченныя его славой, громкимъ именемъ, но и тѣ, и другія одинаково не удовлетворенныя жизнью. Ганя не такова.

Это чистая, цѣльная, непосредственная натура. Она еще не знаетъ жизни, ни ея добра и зла, ни ея тернiевъ и розъ, но она уже полна тревожныхъ ожиданiй и сладкаго предчувствiя. Рядомъ съ нею самъ начинаешь волноваться и чего-то ждать... И какое наслажденiе, должно быть, видѣть, какъ эти широко открытые дѣтскiе глаза загорятся страстью, а грудь затрепещетъ отъ любви!.. Полюбить ли она... и кого полюбить? Отчего бы ему не быть этимъ счастливецемъ? Какъ бы устроилъ онъ тогда свою жизнь... Уѣхали бы вмѣстѣ въ Италию; тамъ, рядомъ съ нею, все уже пережитое пережилось бы вновь, но навѣрное ярче, полнѣе. Сколько новыхъ впечатлѣнiй, обновляющихъ воображенiе! Отчего бы? Неужели онъ обреченъ на вѣчное отчужденiе и одиночество?

Въ мастерской раздался мелодическiй звонъ часовъ,—Селищевъ очнулся и прислушался. Уже шесть... а дождь все хлещетъ и вѣтеръ реветъ. Не придутъ. „Ганя, Ганя“... прошептала Селищевъ, и по тѣлу его пробѣжала нервная дрожь, заставившая его потянуться. Онъ поправилъ въ каминѣ, улегся поудобнѣе и опять задумался. Образъ Гани не выходилъ у него изъ головы. Онъ мысленно уже набрасывалъ на полотно ея черты и придумывалъ, какъ ее одѣть. Она мерещилась ему вся въ бѣломъ, какъ невѣста, съ цвѣтами въ рукахъ. Цвѣты тоже бѣлые, нѣжные... ландыши. И непременно на темномъ фонѣ, въ рембрандтовскомъ освѣщенiи. Такъ должно быть... развѣ не явилась она ему, какъ свѣтлое видѣнiе, на мрачномъ фонѣ его жизни?

Селищевъ вдругъ весь вздрогнулъ, всталъ съ дивана и схватился за голову руками. Сначала его бросило въ холодъ... потомъ кровь прилила къ головѣ,—сердце сильно забилося и замерло. Онъ чуть не задохнулся отъ восторга: онъ нашелъ наконецъ свою картину...

XI.

Въ дверь давно уже кто-то сдержанно, но упорно стучался.

— Кто тамъ? Кто тамъ? Кто тамъ?—свирѣпо спрашивалъ Селищевъ, ничего не понимая.

— Васъ спрашиваютъ дамы. Отказывать?

— А... нѣтъ, постой... Да нѣтъ же, конечно, нѣтъ! Приглашай сюда, давай огня больше, чаю...

Онъ побѣждалъ отворять дверь, но руки у него тряслись. Онъ былъ еще какъ во снѣ и дѣйствовалъ автоматически. Наконецъ дверь отворилась.

— Что, не ждали такъ поздно?—заговорила Татьяна Аристарховна еще въ передней.—Мы стучались, стучались... вы вѣроятно работали? Да?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Селищевъ, приходя въ себя и чувствуя почти досаду, что онѣ пріѣхали и помѣшали.—Нѣтъ, я не работалъ, но... Агаея Михайловна, входите же!

Нѣтъ, онъ уже не чувствовалъ больше досады. Передъ нимъ опять была его картина, но картина живая, яркая, гораздо ярче, чѣмъ та, которая явилась ему давеча въ красноватомъ отблескѣ тлѣющихъ углей. Ганя была въ своемъ всегдашнемъ темномъ платьѣ съ узенькимъ бѣлымъ воротничкомъ, но Селищеву каждый разъ казалось, что она именно въ эту минуту одѣта особенно къ лицу. И теперь онъ не могъ отвести отъ нея глазъ, подвигая ей кресло поближе къ огню.

— Такъ вотъ вы гдѣ работаете!—говорила Татьяна Аристарховна, оглядываясь.—Славный уголокъ!

— Да, я люблю его. Съ нимъ у меня связано много-много воспоминаній.

— Хорошихъ?

— Всѣхъ. Были и сомнѣнія, и тоска, были и свѣтлыя минуты. Но... кажется, больше первыхъ. Здѣсь я пережилъ смерть своего лучшаго друга и товарища,—знаете, Б.? Онъ умеръ въ Ментонѣ, въ злѣйшей чахоткѣ, но вдохновеніе не измѣнило ему до самой послѣдней минуты, и онъ не переставалъ писать. Я получилъ потомъ цѣлую тетрадку его стихотвореній, написанныхъ во время болѣзни, и на послѣдней страницѣ, какъ я узналъ послѣ, за нѣсколько часовъ до смерти, онъ вписалъ свое послѣднее стихотвореніе: „Люблю я смерть“. Помните? „Люблю я смерть, то сонъ души больной“...—продекламировалъ Селищевъ.

— Да,—вздыхнула Татьяна Аристарховна.—Очень талантливыи былъ человѣкъ.

— Не только талантливый, душа у него была замѣчательная. Я такихъ людей послѣ не встрѣчалъ. Смерть его была для меня страшной потерей,—безъ него я осиротѣлъ, остался совсѣмъ одинъ. Въ каждомъ человѣкѣ есть потребность кому-нибудь открывать свою душу,—я могъ это дѣлать только передъ нимъ. А вы не знаете, какое это мученіе, какой ужасъ быть вѣчно наединѣ съ самимъ собою. По временамъ просто кричать отъ боли хочется.

— Я понимаю это. Но неужели никого, кромѣ Б., у васъ нѣтъ?

— Никого.

— Вы самолюбивый человѣкъ, оттого и скрытны.

— Совсѣмъ нѣтъ. Самолюбивый человѣкъ не откроетъ своей души изъ страха насмѣшки, издѣвательства, презрѣнія; я скрѣпленъ изъ страха, что меня не поймутъ, и что я опять буду одинъ. Да, это тяжелая вещь—одиночество... Впрочемъ, въ послѣднее время, не знаю, весна, что-ли, на меня такъ подѣйствовала, я началъ немного оживать. Даже въ работѣ потянуло.

— Слава Богу! Уже пишете что-нибудь?

— Думаю. Вотъ посмотрите.

Онъ повелъ ихъ въ мастерскую, гдѣ уже были зажжены, кромѣ лампы, канделябры на высокихъ постаментахъ изъ темнаго мрамора. Селищевъ сдернулъ съ мольберта покрывало и открылъ совершенно чистое полотно. Татьяна Аристарховна засмѣялась.

— Ну, это немного! Если кто и видитъ здѣсь картину, то вѣроятно только вы одни.

— И я ее не видѣлъ до сегодняшняго вечера.

— А теперь увидали?

— Да,—сказалъ Селищевъ и взглянулъ на Ганю. Она, сложивъ руки, стояла передъ полотномъ и не могла отвести отъ него глазъ. Ею овладѣло странное торжественное настроеніе, какъ, бывало, въ дѣтствѣ, во время обѣдни, когда задерживалась шолоховая завѣса и тамъ, въ алтарѣ, происходило что-то таинственное, непостижимое, заставлявшее всѣхъ замолкать и въ благоговѣйномъ трепетѣ опускаться на колѣни. Маленькая Ганя тоже падала на колѣни, и ей казалось, что тамъ, за этой завѣсой, самъ Богъ... и ей становилось и жутко, и сладко, и слезы навертывались отчего-то, и она жмурила глаза отъ страха, что вотъ-вотъ завѣса отдернется и оттуда полетѣтъ яркій свѣтъ и она ослѣпнетъ. Теперь, передъ этимъ бѣлымъ полотномъ, она испытывала нѣчто подобное, и это полотно и все вокругъ было полно тайны, и ей было жутко и хотѣлось понять, чтó это за сила, которая дастъ жизнь бездушнóй тряпкѣ и заставитъ множество людей думать и говорить объ этой тряпкѣ.

У Татьяны Аристарховны между тѣмъ блеснули глаза. Она въ первый разъ была въ мастерской прославленнаго художника, и ей хотѣлось все узнать, все выспросить и набраться какъ можно больше впечатлѣній.

— А хотѣлось бы мнѣ знать, какъ вы пишете... т.-е. нѣтъ, не то, какъ вы пишете, потому что это, вѣроятно, скучная, утомительная работа. Я хотѣла бы знать, какъ создается у васъ картина, какъ впервые зарождается мысль, образъ... ну, я не знаю, какъ это сказать, чтобы вы поняли.

— Я понимаю васъ—вы хотите сказать, откуда берутся у насъ тѣ образы, которые мы потомъ воплощаемъ на полотнѣ? Это трудно разсказать... Впрочемъ, если хотите, я попробую.

Онъ прошелся по мастерской, разсѣянно отодвигая попадавшіеся по дорогѣ столики, табуреты, гипсовые модели, и остановился у ногъ улыбающагося Мефистофеля. Онъ былъ вволнованъ; глаза его горѣли, блѣдныя щеки поблѣднѣли еще больше.

— Видите ли,—началъ онъ:—это является внезапно... Т.-е., нѣтъ, не то я говорю, не внезапно. Идея картины родится въ вашемъ мозгу прежде, чѣмъ самая картина, т.-е. тѣ образы и краски, въ которыхъ вы потомъ воплощаете эту идею. Мысль, содержаніе ея вамъ уже ясны, но вы еще не знаете ни формъ, ни красокъ—въ мозгу вашемъ хаосъ. Смутно мелькаютъ какія-то тѣни, контуры, группы; ваша идея не даетъ вамъ покоя, вы волнуетесь, мучитесь, беспокоитесь и всюду ищете формы для нея. Это очень тяжелый періодъ; иногда хочется не думать, забыть, бросить, но нѣтъ,—ваша идея преслѣдуетъ васъ, вы постоянно носите ее съ собою, она не покидаетъ васъ даже и во снѣ. Каждое мгновеніе вы прислушиваетесь къ тому, чтѣ въ васъ происходитъ, и въ то же время вы жадно присматриваетесь ко всему окружающему и ловите каждое, даже самое ничтожное впечатлѣніе. „А можетъ быть, это мнѣ пригодится“? Все, все,—розовое облачко на небѣ, обрывокъ мелодіи, подслушанный гдѣ-нибудь мимоходомъ, мимолетная встрѣча—все это врѣзывается въ вашъ мозгъ съ особенной яркостью и отчетливостью. Воображеніе напряжено до крайности... и иногда кажется, что вотъ-вотъ вы нашли наконецъ то, чтѣ вамъ нужно,—кажется, только схватить и... Вы бѣжите къ полотну, беретесь за кисть, но нѣтъ,—все потускнѣло, все пропало и руки безсильно опускаются.

Онъ помолчалъ, какъ бы припоминая, потомъ продолжалъ, все болѣе и болѣе разгораясь.

— Да... Это очень тяжело и мучительно, но въ то же время и страшно хорошо. Понимаете ли вы это, что въ страданіи бываетъ наслажденіе? Нѣтъ? А я вамъ скажу, что да, бываетъ. И именно состояніе творчества даетъ вамъ испытывать такое сложное ощущеніе. И больно, и хорошо. И плакать отъ отчаянія хочется, и смѣяться отъ восторга. Ну вотъ, и въ такомъ-то настроеніи, когда нервы натянута, какъ струны, а мозгъ возбужденъ почти до безумія,—и вдругъ какой-нибудь сильный толчокъ, словно ударъ электрической искры, — сильное горе, сильная радость, разговоръ, поразившій васъ, встрѣча необыкновенная, въ необыкновенной обстановкѣ, — и предъ вами разомъ

встаетъ вся картина... и вы загораетесь, какъ порохъ отъ искры... Да нѣтъ, это невозможно передать словами,—я путаюсь и говорю не то. Вы навѣрное не поняли.

— Нѣтъ, нѣтъ, хорошо, я понимаю! — поспѣшно сказала Татьяна Аристарховна.—Она была въ восторгѣ и безпрестанно взглядывала на Ганю, желая хоть при помощи мимики подѣлиться съ нею впечатлѣніями, но Ганя ей не отвѣчала. Она отошла въ уголокъ, гдѣ стояла средневѣковая арматура, и, казалось, была углублена въ разсматриваніе заржавленныхъ колецъ рыцарскаго одѣянія.

— Впрочемъ, я приведу вамъ какой-нибудь примѣръ,—началь опять Селищевъ.—Вотъ тогда у васъ,—помните,—шелъ разговоръ о сѣренъкихъ временахъ, о томъ, какъ тяжело и уныло теперь живется. Помните, всѣ мы жаловались, вздыхали, бранились, проклинали этотъ удупливый мракъ, нависшій надъ нами. И со стороны навѣрное казалось, что намъ всѣмъ рѣшительно нечѣмъ жить. Но вѣдь это неправда; вѣдь еслибы намъ нечѣмъ жить было, такъ каждый изъ насъ давно бы покончилъ съ своимъ постылымъ существованіемъ. Нѣтъ, мы живемъ и живемъ не по привычкѣ, какъ сказалъ тогда кто-то, а потому, что надѣмся. Мы надѣмся, что мракъ не вѣченъ,—послѣ него наступитъ свѣтъ, какъ послѣ ночи—день, послѣ грозы—солнце, послѣ зимы—весна. У каждого изъ насъ, даже самого разбитого, есть въ душѣ маленький уголокъ, въ которомъ потихоньку свѣтится этотъ живой огонекъ надежды. Онъ-то и спасаетъ насъ отъ крайностей отчаянія. Мало ли чтѣ,—ну плохо, скучно, мрачно теперь, а можетъ быть и не всегда будетъ такъ мрачно? Вѣдь и солнце еще не погасло, и дѣтскій смѣхъ слышится кругомъ, и молодость расцвѣтаетъ пышно и красиво,—такъ неужели же и погибать? Нѣтъ, подождемъ! Придетъ весна.

— Bravo, bravo!—не вытерпѣла Татьяна Аристарховна.—Какъ это хорошо вы сказали! Именно, придетъ весна, и всѣ мы ждемъ ея и не дождемся.

— Да? Вы поняли?—подвинувшись къ ней, сказалъ Селищевъ съ одушевленіемъ.—Поняли вы мою мысль? Ну вотъ, представьте же, что я хочу эту мысль выразить картиной, но такъ выразить, чтобы у самого измученнаго человѣка при взглядѣ на нее просвѣтлѣло на душѣ, и онъ отошелъ бы отъ нея ободренный и обнадеженный. Задача трудная,—какъ ее выполнить, какъ избѣжать съ одной стороны вычурности, съ другой—пошлой обыденности? Этого не придумаешь; это нужно прочувствовать и перестрадать.—Селищевъ помолчалъ.—Да, для того, чтобы напи-

сать эту картину, нужно самому испытать и холодъ безнадежности, и тоску отчаянія. И нужно, чтобы въ твою омертвѣвшую душу вдругъ ворвался свѣжій и свѣтлый лучъ и отогрѣлъ тебя, и далъ тебѣ опять испытать радость жизни. Весна... вѣдь это и есть радость, жизнь, любовь. Весна—это солнечный лучъ, пробравшійся въ темный гнилой уголъ, это весенній вѣтерокъ, это дѣтскій звонкій смѣхъ подъ распускающимися деревьями, это фіалки, отъ которыхъ пахнетъ лѣсомъ, землей. Весна для всѣхъ и каждого! Представьте себѣ темную, мрачную комнату. Въ углахъ свалены кучи книгъ, покрытыхъ пылью; надъ ними влочьями виситъ паутина. За столомъ, сгорбившись, сидитъ человѣкъ. Передъ нимъ развернутая книга, но онъ не читаетъ ее,—онъ давно уже не читаетъ. Ему скучно, ему все надобно, онъ избѣрился въ себѣ, въ людяхъ, въ своемъ трудѣ и своихъ книгахъ, въ цѣли и смыслѣ жизни. Онъ ничего не хочетъ и ничего не ждетъ; онъ усталъ жить и омертвѣлъ. Скука, страшная, безумная, отчаянная скука вѣетъ отъ него и вокругъ него. Около него холодно и хочется умереть... И вдругъ—представьте себѣ только этотъ моментъ!—вдругъ въ его смрадномъ логовищѣ настѣжь отворяется дверь... Солнце,—много солнца! Оно льется водопадомъ, заливаешь всѣ углы, топить въ своихъ сверкающихъ волнахъ и груды книгъ, и пыль, и паутину, ложится горячими пятнами на сѣдьющую голову угрюмаго человѣка. Вообразите себѣ этотъ переполохъ... пауки испуганно прячутся въ свою паутину, сѣдая крыса, ослѣпленная солнцемъ, недовольно щурится, среди запыленныхъ фоліантовъ и, кажется, даже мрачныя стѣны спрашиваютъ съ недоумѣніемъ: „что это такое?“...

Говоря это, Селищевъ подошелъ къ натянутому полотну и, взявъ уголь, торопливо набрасывалъ имъ какіе-то одному ему понятные контуры и пятна.

— Но солнце не одно вошло въ этотъ холодный гробъ. Вмѣстѣ съ нимъ, вся одѣтая его сверкающими лучами и сама сверкающая, вошла она... Она—молодая, свѣжая, смѣющаяся, благоухающая, какъ весна. На ней ослѣпительное бѣлое платье, серебристые локоны сыплются по плечамъ, на лицѣ—восторгъ, ожиданіе, жажда жизни. Въ рукахъ у нея бузетъ ландышей... на ландышахъ и роса еще не высохла. „Весна пришла! Весна пришла!“ И угрюмый человѣкъ поднялъ свою отяжелѣвшую голову и смотритъ... на лицѣ его еще не изгладилась слѣды тоскливыхъ думъ и недоумѣніе, но яркое солнце уже согрѣло его... въ глазахъ его и вопросъ, и сдержанная радость—онъ готовъ

улыбнуться и протянуть руки прелестному видѣнію. „Неужели это возможно,—и опять солнце, и опять весна, цвѣты, любовь“...

— Прелестно, прелестно! — воскликнула Татьяна Аристарховна и въ пылу энтузіазма даже достала изъ кармана портсигаръ и закурила. — Это будетъ прелесть что такое... я уже заранѣе вижу вашу картину. „Весна пришла“, — да? Вѣдь такъ будетъ называться картина?

Селищевъ мутнымъ взглядомъ посмотрѣлъ на нее — и очнулся. Легкая краска выступила на его щекахъ, — онъ бросилъ уголь и потерялъ лобъ рукою.

— Однако, я увлекся... — проговорилъ онъ смущенно. — И совсѣмъ забылъ, что... Простите пожалуйста, — все это бредъ, бредъ, бредъ!

— Не вѣрю, — возразила Татьяна Аристарховна, бѣгая маленькими шажками по мастерской и то задѣвая за мебель, то по привычкѣ разгоняя дымъ рукою. — Какой это бредъ! Это вдохновеніе... творчество!

— А что такое творчество, какъ не бредъ? — съ усталой улыбкой проговорилъ Селищевъ. — Кто это рѣшить и гдѣ между ними граница? Но довольно объ этомъ, я чувствую, что надоѣлъ вамъ и что вообще я плохой хозяинъ. Даже забылъ угостить васъ чаемъ, — пойдемте туда, къ камину...

— Нѣтъ, постойте! — перебила его Татьяна Аристарховна. — Я никакъ не могу примириться съ мыслью, что все это, о чемъ вы сейчасъ говорили, такъ и останется „бредомъ“. Бредъ исчезаетъ безслѣдно, а это... эта идея ваша не должна и не можетъ исчезнуть. И вамъ будетъ стыдно, если вы бросите ее, — она такъ хороша, такъ свѣтла, что всѣ пауки, всѣ крысы попрячутся въ свои норы, когда она ударитъ имъ въ глаза. Ганя, что же ты молчишь? Не права ли я?

— Я не знаю, — проговорила Ганя. — Но мнѣ хотѣлось бы знать, оживетъ ли этотъ человѣкъ отъ того, что къ нему „пришла весна“...

Селищевъ быстро взглянулъ на нее и весь вздрогнулъ. Необыкновенно радостное, молодое, счастливое чувство поднялось въ его душѣ и на мгновеніе отуманило голову. „Неужели?“ — подумалъ онъ, теряясь. Его выручила Татьяна Аристарховна.

— Вотъ она о чемъ думаетъ, плутовка! — разсмѣялась она. — Голубчикъ, картина не романъ, продолженія не будетъ. Да и Богъ съ нимъ, — оживетъ онъ или нѣтъ. Главное въ томъ, чтобы мы-то, мы-то ожили, глядя на эту картину. Намъ-то нужно встряхнуться и прибодриться, а то вѣдь мы, правда, одряхлѣли,

засохли, и пауки давно на нашихъ головахъ паутину вьютъ. Надо же намъ вспомнить, что на небѣ солнышко свѣтитъ! А ты романа захотѣла,—о молодость,—вотъ что значить жизнь-то еще не искалѣчила!

Но Селищевъ ее уже не слушалъ. Весь просвѣтлѣвшій, возбужденный, онъ показывалъ Ганѣ гравюры и эскизы своего Бэды и говорилъ безъ умолку, самъ плохо сознавая что. Онъ былъ точно въ лихорадѣ, да и Ганя была неспокойна. А на нихъ съ высоты своего пьедестала иронически улыбался коварный Мефистофель.

Осмотрѣвъ мастерскую, вспомнили, наконецъ, и о чаѣ, который давно уже былъ приготовленъ за драпировкой. Перешли туда, Ганя сѣла за самоваръ. Она была блѣдна и молчала, избѣгая смотрѣть на Селищева; ей каждый разъ, когда она встрѣчала его взглядъ, становилось жутко и странно, какъ тогда, въ Академіи, въ толпѣ. Нѣтъ, теперь даже еще больше, потому что она начинала сознавать, отчего и этотъ страхъ, и эта тревога, отъ которой такъ кружится иногда голова и сжимается сердце. И ей хотѣлось и уйти скорѣе отсюда, чтобы остаться одной и все обдумать, и въ то же время жалъ было уйти.

А Татьяна Аристарховна говорила безъ умолку, возбужденная и необыкновенно-проведеннымъ вечеромъ, и художественной обстановкой, и теплотой камина. Всѣ эти ковры, мягкіе причудливые диваны, фантастическія складки тяжелыхъ драпировокъ, а главное то, что тамъ за драпировкой стоитъ таинственное, исчерченное полотно, которое, можетъ быть, превратится въ чудную картину,—все это оцѣняло ее и располагало къ интимности и изліяніямъ. Она допрашивала Селищева, что онъ чувствуетъ, когда пишетъ, потомъ когда картина уже кончена и т. д. И она долго бы еще проговорила, еслибы часы не прозвонили разъ... два...

— Боже ты мой! Уже два! — всполошилась Татьяна Аристарховна.—Это безсовѣстно такъ засиживаться въ гостяхъ. Что вы о насъ подумаете, Иванъ Александровичъ,—пришла въ первый разъ и такъ засѣли, что не выживешь!

— Я подумаю, что хорошо, еслибы это было почаще,—съ счастливой улыбкой сказалъ Селищевъ, помогая Татьянѣ Аристарховнѣ завязывать платокъ.

— Ну, прощаю вамъ вашъ комплиментъ за все то, что вы заставили меня сегодня пережить. Вѣдь только подумать, что мы сегодня присутствовали, такъ сказать, при рожденіи картины! Я этого никогда не забуду; а ты, Ганя?

Да, Ганя тоже, вѣроятно, никогда не забудетъ этого вечера, но она этого не сказала. Только когда Селищевъ на прощанье крѣпко сжималъ ея руку, она подняла на него глаза, и въ ея взглядѣ художникъ прочелъ нѣчто большее, чѣмъ простая благодарность.

Нева стонала и плакала, ударяясь о гранитъ; вѣтеръ рвался и визжалъ; тучи, какъ бѣшенныя, неслись по небу и мелкій холодный дождь сыпался надъ городомъ. Татьяна Аристарховна куталась въ пледъ и ворчала, проклиная петербургскій климатъ; Ганя не говорила ни слова. Ей все мерещилась темная, угрюмая комната, и отворенная дверь, и солнце, освѣтившее посѣдѣвшую голову затворника... и она думала, что эта комната—мастерская Селищева, посѣдѣвшій затворникъ—онъ самъ, а лучъ солнца, букетъ ландышей и эта дѣвушка въ бѣломъ—она, Ганя... И сердце ея ныло и замирало, замирало...

Подъѣзжая къ Николаевскому мосту, Ганя вдругъ вспомнила что-то и, обернувшись, пристально посмотрѣла въ сумракъ. Тамъ, надъ бушующею Невой, таинственно темнѣли загадочныя силуэты сфинксовъ.

— Что это ты смотришь?—спросила Татьяна Аристарховна.

— Такъ...—проговорила Ганя, но порывъ вѣтра отнесъ ея слова въ сторону, и Татьяна Аристарховна оставила ее въ покоѣ, занявшись уютиваньемъ.

А Селищевъ, проводивъ ихъ до подъѣзда, вернулся въ мастерскую и, взявшись обѣими руками за голову, долго стоялъ передъ полотномъ, на которомъ чернѣли беспорядочныя штрихи и точки. Счастливая улыбка бродила все еще на его губахъ... и мало-по-малу изъ этого безформеннаго хаоса черточекъ и грязныхъ пятенъ сталъ складываться яркій и прекрасный образъ. Въ ушахъ зашумѣло, голова загорѣлась,—Селищевъ подвинулъ табуретъ, взялъ палитру и поспѣшно размѣшалъ краски. А губы шептали помимо воли:

И, можетъ быть, на мой закатъ печальный
Блеснетъ любовь улыбкою прощальной...

XII.

Хотынцевы жили на Пескахъ, недалеко отъ Таврическаго сада, въ большомъ домѣ, биткомъ набитомъ разнымъ небогатымъ людомъ. Квартиру они занимали въ пятомъ этажѣ, небольшую

и дешевую, съ дровами; въ ней было всего три комнаты. Въ одной обѣдали, пили чай, принимали гостей; въ другой помѣщались дѣти и Серафима Александровна, а третья, самая маленькая, узкая и длинная, похожая на гробъ, служила Николаю Николаевичу и кабинетомъ, и спальней. Она была темна и неудобна, что очень мучило Серафиму Александровну, и одно время она колебалась—не отдать ли мужу дѣтскую, но Николай Николаевичъ разсердился, раскричался и остался въ своемъ „гробу“, какъ онъ говорилъ, увѣряя, что ему тамъ отлично работается.

Было около двухъ часовъ дня; Серафима Александровна оставалась одна дома. Николай Николаевичъ ушелъ въ редакцію; старшаго сынишку, Колю, она отпустила гулять съ дѣвочкой-няней, и теперь, накормивъ младшаго и уложивъ его спать, она собиралась приняться за разные домашнія дѣла. Нужно было затопить печь и приготовить что-нибудь къ обѣду, потомъ перестирать дѣтское бѣлье, котораго собралось очень много. Отдавать постоянно прачкѣ было дорого, не по средствамъ, да и зачѣмъ, когда у Серафимы Александровны находились для этого и силы, и время.

Серафима Александровна вошла въ крошечную полутемную кухню и развела плиту. Она была озабочена, и глубокія складки перерѣзывали ея бѣлый лобъ. Хотя Серафима Александровна не любила очень предаваться хандрѣ, находя, что это „разслабляетъ“, но въ послѣднее время на душѣ у нея было неспокойно, и она никакъ не могла отдѣлаться отъ этого беспокойства. Тревожилъ ее Николай Николаевичъ. Здоровье его съ каждымъ днемъ становится все хуже и хуже, это ясно какъ Божій день. Онъ худѣетъ не по днямъ, а по часамъ, плохо ѣстъ, мало спитъ и кашляетъ по ночамъ. Серафимѣ Александровнѣ даже холодно стало, когда она вспомнила этотъ ужасный кашель, и сердце ея защемило. А лечиться и не на что, да и не хочетъ онъ. Нервный сталъ и раздражается на каждомъ шагѣ, изъ-за каждой мелочи, такъ что Серафима Александровна уже потихоньку отъ него написала вчера одному знакомому медику, недавно кончившему, чтобы онъ какъ-нибудь „случайно“ зашелъ и выслушалъ мужа. Конечно, можетъ быть, это и пустяки, какъ увѣряетъ самъ Николай Николаевичъ,—обыкновенная петербургская весенняя простуда, но вѣдь можетъ быть и серьезное.

Серафима Александровна налила воды въ котелъ и стала разбирать бѣлье, какъ вдругъ въ передней раздался робкій, незнакомый звонокъ. Серафима Александровна съ засученными рукавами вышла въ переднюю и отложила крѣпокъ.

— Здѣсь Хотынцевы живутъ?—спросила Ганя, стоя на порогѣ и послѣ уличнаго блеска ничего не видя передъ собою.

— Агаея Михайловна!—воскликнула Серафима Александровна, всматриваясь.—Вотъ уже не ожидала я васъ! Ну, входите сюда, здѣсь свѣтлѣе, раздѣвайтесь, и простите, что я передъ вами такой кухаркой. Ну что? Какъ вы? Все еще очарованы Петербургомъ! Да? Вижу, по лицу вижу—сияете и цвѣтете!..

Она помогла Ганѣ снять кофточку и шляпку, и стояла передъ ней, улыбаясь. Свѣжесть и ясность Гани дѣйствовали на нее какъ-то успокоительно.

— Вы работаете? Я вамъ помѣшала?—спросила Ганя.—А можетъ быть, я вамъ помогу въ чемъ-нибудь?

— Нѣтъ, нѣтъ, не надо, да и нечего. Обѣдъ варится, а бѣлье подождетъ. А вамъ я очень рада, и хочу на васъ смотрѣть. Чтѣ это въ васъ такое есть, отчего на душѣ легче становится? Не могу опредѣлить, а есть... и вотъ какъ было грустно передъ вами, а вы пришли, и ничего, и кажется, что жить можно и нужно, и даже вѣдь радуешься чему-то.

— Отчего вамъ было грустно?

— Ахъ, не спрашивайте! Старѣть, должно быть, начинаю,—съ усмѣшкой сказала Хотынцева.—Но вы не подумайте, что я ужъ такая размазня,—нѣтъ, я киснуть не люблю. И чего киснуть? Я здорова, сильна,—она взглянула на свои крѣпкія, мускулистыя руки, загрубѣвшія отъ работы:—у меня есть хорошая семья, дѣти... но такъ, по временамъ что-то темно на душѣ становится.

Она на минуту задумалась, потомъ встряхнула головой и, отбросивъ назадъ свои густые волосы, улыбнулась.

— Ну да чтѣ объ этомъ говорить! Давайте лучше объ васъ, у васъ вѣроятно интереснѣе. Рассказывайте, гдѣ были, чтѣ видѣли, чтѣ на свѣтѣ дѣлается?

Ганя рассказала, что была на выставкѣ въ Академіи, ходила нѣсколько разъ въ Эрмитажъ, была въ мастерской Селищева. Онъ пишетъ новую картину... Упомянувъ о Селищевѣ, Ганя вспыхнула, смутилась и опустила глаза передъ испытующимъ пристальнымъ взглядомъ Хотынцевой.

Серафима Александровна замѣтила ея смущеніе и усмѣхнулась.

— Писать началъ?—переспросила она.—Ужъ это не вы ли его вдохновили?

Послышался новый звонокъ, и Серафима Александровна пошла открывать. Ганя вздохнула свободнѣе, — пристальные взгляды Хо-

тынцевой, казалось ей, все видѣли въ ея душѣ, и она рада была, что разговоръ о Селищевѣ прервался.

— А, Талыгинъ!—говорила Серафима Александровна въ передней.—Вотъ сколько у насъ нынѣ гостей! Ну идите, я васъ познакомлю.

Въ столовую вошелъ высокій, плечистый молодой человекъ съ густыми, длинными, бѣлокурыми волосами, расчесанными по-мужичьи, на обѣ стороны, и съ такою же бѣлокурой бородкой, скудно покрывавшей щеки. Лицо у него было самое простое, мужицкое, добродушное и нѣсколько даже наивное, но взглядъ небольшихъ карихъ глазъ, которые онъ любилъ нѣсколько прищуривать, былъ рѣшителенъ и твердъ. И дѣйствительно, упрямъ Талыгинъ былъ страшно, и если ужъ рѣшилъ что-нибудь, то никакія силы не могли его остановить. А на рѣшенія онъ былъ чрезвычайно скоръ, и слово у него никогда съ дѣломъ не расходилось, благодаря подвижности и экспансивности его натуры. О его выходахъ и поступкахъ среди знакомыхъ, которые за его огромную фигуру и богатырскую силу звали Талыгина „Ильей-Муромцемъ“, ходили цѣлыя легенды, нерѣдко даже и прикрашенные. Такъ однажды на пожарѣ Талыгинъ вступилъ въ пререканія съ полиціймейстеромъ, который, по его мнѣнію, дѣлалъ нелѣпныя распоряженія, заставилъ пожарныхъ дѣйствовать по своему и отсидѣлъ за это въ части недѣли двѣ, да заплатился бы и больше, еслибы за него не похлопоталъ профессоръ химіи, который очень любилъ Талыгина. Въ другой разъ онъ безцеремонно отодралъ за уши какого-то франта, пристававшего на улицѣ къ дѣвушкѣ, и отдѣлался отъ этой исторіи легко только потому, что дѣвушка оказалась гувернанткой какого-то важнаго генерала. Наконецъ рассказывали еще, что Талыгинъ однажды послѣ того, какъ одинъ изъ студентовъ университета отравился отъ голода, пошелъ къ одному извѣстному петербургскому богачу, вызвалъ его и произнесъ передъ нимъ громовую рѣчь, въ которой укорялъ его за бессмысленную роскошь, рисовалъ въ самыхъ яркихъ краскахъ всѣ ужасы голода и нищеты, а въ заключеніе, взявъ оторопѣвшаго банкира за руку, подвелъ его къ окну и, указавъ на улицу, воскликнулъ: „вы хотите, чтобы эта улица облилась кровью и задрожала отъ криковъ разъяренныхъ нищихъ,—ну такъ вы скоро этого дождетесь!“ И съ этими словами ушелъ. Впрочемъ самъ Талыгинъ какъ-то смутно передавалъ содержаніе своей бесѣды съ богачемъ, а говорилъ только, что, должно быть, „здорово“ выходило, потому что богатъ былъ весь блѣдный и даже дрожалъ. Когда же товарищи спрашивали его, зачѣмъ онъ это сдѣлалъ, Талыгинъ

отвѣчалъ: „а пусть себѣ хоть одна скотина не поспитъ ночь въ то время, какъ люди съ голоду умираютъ!“ Рассказывали еще, что будто бы вскорѣ послѣ визита Талыгина къ банкиру, въ комитетъ для помощи бѣднымъ студентамъ была прислана отъ не-извѣстнаго лица тысяча рублей, и увѣряли, что это непременно отъ банкира. Но это ужъ, можетъ быть, и присочинили, а можетъ быть, деньги и были присланы, да только совсѣмъ другимъ лицомъ.

Въ дополненіе къ характеристикѣ Талыгина нужно еще прибавить, что онъ страшно любилъ дѣтей и женское общество. Товарищи и знакомые мужчины относились къ Талыгину хорошо — но если у него не было враговъ между ними, то не было также и друзей. Напротивъ, съ женщинами у него замѣчательно быстро завязывались самыя дружескія отношенія. Онъ любилъ этотъ особый женскій мірокъ съ его тайнами, особыми интересами, порывами и даже мелочами. И женщины льнули къ Талыгину, повѣряли ему свои интимныя дѣла, давали разныя деликатныя порученія, такъ что часто Талыгину приходилось попадать, благодаря этому посредничеству, въ очень непріятныя исторіи. Его знакомыя курсистки часто говорили, что безъ Талыгина имъ хоть умирать, — онъ и работу достанетъ, когда нужно, онъ и совѣтъ дастъ, онъ и заступится, если обидятъ. Да не только курсистки — квартирныя хозяйки, у которыхъ случалось жить Талыгину, были въ восторгѣ отъ своего жильца. Не успѣетъ онъ поселиться на новой квартирѣ — глядь, ужъ у него въ комнатахъ сидитъ хозяйка, пьетъ чай и раскрываетъ свою жизнь, а на колыньяхъ взгромоздился хозяйскій ребенокъ и настойчиво требуетъ, чтобы „дядя“ сдѣлалъ ему пѣтушка изъ газетной бумаги.

Учился Талыгинъ на естественномъ факультетѣ и особенно усердно занимался химіей, — даже открылъ какой-то паральдегидъ или что-то въ этомъ родѣ. Профессоръ химіи возлагалъ на него большія надежды, но часто сокрушался, что Талыгина рано или поздно сгубитъ „бабизмъ“ — такъ профессоръ окрестилъ всѣ его увлеченія и въ особенности его возню съ женщинами, о которой зналъ весь университетъ. Онъ пророчилъ ему даже, что онъ ни за что не кончитъ курса, и не разъ говаривалъ ему на занятіяхъ въ лабораторіи: „Эхъ, батенька, какой бы химикъ-то изъ васъ вышелъ, еслибы не бабизмъ этотъ проклятый! Ну, что вамъ за охота тратить время на вздоръ? Вѣдь это бабамъ да съумасшедшимъ простительно вѣрить въ сказки и предаваться утопіямъ, потому у нихъ логика особенная, дурацкая, т.-е. я-молъ такъ хочу, слѣдовательно, такъ и должно быть. Ну, а намъ

съ вами это стыдно, мы точныя науки изучали и знаемъ, что даже кристаллъ по извѣстнымъ законамъ образуется, а не то что плюнуть—и готово дѣло. Бросьте-ка вы всю эту музыку,—зара-нѣе вамъ предсказываю, что изъ всей вашей суеты выйдетъ одна муть, а осадка никогда не получится!“ Но Талыгинъ каждый разъ при этихъ увѣщаніяхъ дѣлалъ какое-то деревянное лицо и со словами: „человѣкъ не кристаллъ, ваше превосходительство“, уходилъ изъ лабораторіи. И, несмотря на злобщія предсказанія профессора, онъ благополучно дошелъ до выпускного экзамена и теперь работалъ надъ кандидатской диссертацией, не забывая также и „бабизма“.

Войдя, Талыгинъ осторожно поставилъ на столъ что-то громоздкое, завернутое въ красный ситцевый платокъ, посмотрѣлъ на свои огромныя, покрытыя какими-то бурными пятнами и рубцами отъ ожоговъ, руки и только тогда уже поздоровался съ Ганей.

— Откуда вы?—спросила Серафима Александровна.

— Да изъ лабораторіи. Только вотъ въ Щукинъ дворъ за-ходилъ.

— А это у васъ что за узелъ?

— А это я Коля чижика купилъ,—серьезно сказалъ Талыгинъ и сталъ развязывать платокъ. Всѣ его движенія были необычайно медленны и осторожны, можетъ быть, отъ привычки работать съ опасными веществами, а можетъ быть и оттого, что онъ боялся давать просторъ своему огромному тѣлу и каждую минуту долженъ былъ наблюдать за собой,—какъ бы не задѣть чего-нибудь, не опрокинуть и не разломать.—Смотрите-ка, ишь какой!—продолжалъ онъ, развязавъ узелъ съ кѣткой, въ которой дѣйствительно весело попрыгивалъ чижикъ.—Такъ и скачетъ, а ужъ, вотъ подождите, еще пѣть начнетъ! Фю-ю, фю-ю-ить!—засвисталъ онъ, поддразнивая чижика, и его широкое лицо освѣтилось совсѣмъ дѣтскою улыбкой.

— Ребенокъ вы, Талыгинъ!—сказала Серафима Александровна, полу-смѣясь, полу-печально.—Ну къ чему этотъ чижикъ? Зачѣмъ онъ Коля? Коля самъ на чижика похожъ и въ этой вонищей кѣткѣ!—съ горечью добавила она, обводя вокругъ себя рукою.

— Ну, ну!—примирительно заговорилъ Талыгинъ и полезъ въ карманъ.—Ну, чего вы въ драматизмъ-то ударяетесь? Стоить изъ-за чижика... А я вамъ тоже гостинчика принесъ!

И, вытащивъ изъ кармана свертокъ съ апельсинами, онъ подаль его Хотынцевой.

— Ну вотъ! Вѣчно съ подарками! И что это у васъ за ма-нера такая,—точно салопница!

— Ну что-жъ, пусть салопница, чего же сердиться-то?

— Да какъ же на васъ не сердиться? Гостинцы носить, — вѣдь это смѣшно.

— Носилъ дорогіе подарки,
Все приники да баранки!

запѣлъ Талыгинъ и разсмѣялся.

— Эхъ, голубушка, Серафима Александровна! Кому же мнѣ подарки носить, какъ не вамъ! Вѣдь вы для меня больше, чѣмъ мать родная, — вы меня и приголубите, и побраните, и изъ бѣды выручите, вы для меня все на свѣтѣ, — такъ о комъ же мнѣ еще думать-то, какъ не о васъ, а?

И Талыгинъ, съ просіявшимъ лицомъ, съ нѣжною лаской, тихонько дотронулся до руки Хотынцевой.

— Ну, ну, безъ нѣжностей! — остановила его Серафима Александровна и, отойдя къ окну, стала глядѣть на улицу.

— Земляки вѣдь мы, — словно оправдывая свой порывъ, обратился Талыгинъ къ Ганѣ. — Оба вологодскіе кержаки, обонимъ наши сосны одну колыбельную пѣсенку напѣвали, потому и духъ въ насъ одинъ. Ну, а что Николай Николаевичъ? — перебилъ онъ самъ себя и снова подошелъ къ Серафимѣ Александровнѣ.

— Плохо. Все кашляетъ, ночи не спитъ.

— Такъ чего же вы смотрите? Уѣзжайте скорѣе отсюда, да заставьте его бросить на время всю эту свою литературу. Чортъ съ ней!

Серафима Александровна усмѣхнулась.

— Чудной вы, право. Какъ все это легко сказать, — уѣзжайте! бросьте! Во-первыхъ — куда уѣхать, на какія средства? Развѣ вы не знаете, какъ у насъ теперь плохо? А потомъ, вы думаете, онъ бросить работу? Ни за что! онъ безъ нея жить не можетъ.

— Ну, хорошо, ну, пусть себѣ пишетъ, если безъ этого жить не можетъ. Ну, а уѣхать-то все-таки можно. Денегъ я хоть сейчасъ достану, — хотите?

— Онъ не возьметъ денегъ. Ему уже предлагали — онъ отказался. Говорить, — пока здоровъ, не хочу жить на счетъ общественной благотворительности.

— Да вѣдь еслибы здоровъ! А то вѣдь нѣтъ. Вотъ вы и растолкуйте ему это.

— Попробуемъ. Я Колокольцеву писала, — посмотримъ, что онъ скажетъ.

— А ужъ какъ бы мы съ вами здорово въ деревнѣ зажили! —

воскликнулъ Талыгинъ, вставая и подходя къ Серафимѣ Александровнѣ.—Огородъ разведемъ, цвѣтовъ насадимъ, мы съ Николаемъ Николаичемъ за соху примемся, вы коровъ доить будете, а Коля...

— А диссертация?

— А чортъ съ ней, съ диссертацией! Успѣется.

— Э, ну васъ, Талыгинъ!—смѣясь, сказала Серафима Александровна и ласково погладила Талыгина по головѣ.—Все это „бабизмъ“,—пойду лучше въ кухню; чай, вѣдь, ѣсть скоро захотите.

Она ушла; Талыгинъ хотѣлъ-было идти за нею, но раздумалъ и подселъ къ Ганѣ.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ,—началъ онъ самымъ дружелюбнымъ тономъ и глядя на Ганю такъ, какъ будто они сто лѣтъ были знакомы.—Ну какой же это „бабизмъ“? Вѣдь человѣкъ убиваетъ себя, ей Богу, заживо вколачиваетъ въ гробъ,—развѣ же это не видно? Положительно, нѣтъ живого мѣстечка, — до чего ни дотронешься, все болитъ. Ну и она... она, конечно, храбрится теперь, ну а что, ежели онъ....—Талыгинъ оглянулся и понизилъ голосъ:—умреть, такъ вѣдь это будетъ ужасъ!

— Неужели Николай Николаевичъ такъ опасно боленъ? — тоже шопотомъ и съ защемившимся сердцемъ спросила Ганя.

— А вы развѣ не видали его давно? Таетъ какъ свѣча, на глазахъ таетъ. Ему бы надо на время перестать работать, уѣхать изъ Питера, ничего не читать,—ну, тогда онъ поправится. А будетъ сидѣть въ этой ямѣ,—придется намъ его хоронить, вотъ увидите.

У Талыгина какъ-то странно затряслась борода, и онъ всталъ, хотѣлъ-было пройти по комнатѣ, но задѣлъ за столъ, потомъ за стулъ и опять сѣлъ.

— Такъ развѣ нельзя какъ-нибудь это устроить? Вы бы сказали ему, посоветовали...

— А я не говорю, что-ли? И ей, и ему надоѣдаю каждый разъ. Такъ нѣтъ,—говорить, что онъ совсѣмъ здоровъ, а просто у него „нервы“ (какіе тамъ еще къ чорту „нервы“!), что рано еще ему отдыхать, когда онъ и такъ мало сдѣлалъ, что теперь-то и нужно писать изъ всѣхъ силъ—и тому подобная ерунда. Ну что ему на это скажешь? Вѣдь чувствуешь, что онъ правъ; а когда сознаешь, что человѣкъ правъ, такъ вѣдь и спорить съ нимъ не хочется, хотя бы и ради его пользы, потому что всякую убѣдительность теряешь. Правда это, что нуженъ онъ намъ страшно и каждое словечко его для насъ дорого,—языкъ не по-

ворачивается сказать: „перестань, замолчи, отдохни!“ И въ то же время знаешь, что отдохнуть необходимо, а иначе...

— Мамочка, мамочка, Илья-Муромецъ пришелъ? — послышался въ передней дѣтскій голосъ.

Лицо Талыгина мгновенно просіяло, и онъ со всѣхъ ногъ бросился въ переднюю. Поднялся смѣхъ, возня, слышались радостныя восклицанія, и черезъ минуту Талыгинъ торжественно показывалъ Колѣ чижики. Они съ серьезными лицами обсуждали вопросъ: какъ и чѣмъ кормить чижики, куда поставить клѣтку и выпускать его изъ клѣтки или не выпускать. Коли былъ худенькій, блѣдный мальчикъ съ черезъ-чуръ серьезнымъ и задумчивымъ лицомъ, очень похожій на отца; только большіе сѣрые глаза были у него материнскіе.

Въ самый разгаръ интересной бесѣды о чижикиѣ пришелъ Хотынцевъ съ большою связкой газетъ въ рукахъ и прямо, не раздѣваясь, прошелъ въ свой „гробъ“. Ганѣ показалось, что онъ еще больше похудѣлъ и измѣнился съ тѣхъ поръ, какъ она его видѣла; щеки его были блѣдны, подъ глазами лежали синіе круги, шелъ онъ сгорбившись и утомленно шаркалъ на ходу ногами. Ганя замѣтила и его старенькое, вылинявшее и сильно потертое на швахъ пальто, и сердце ея еще болѣе защемило.

— Фу, усталъ! — сказалъ Хотынцевъ, раздѣвшись и входя въ столовую. — Такая лѣстница проклятая... — Онъ закашлялся и долго кашлялъ, держась за спинку стула. Въ комнатѣ всѣ притихли; Талыгинъ искоса смотрѣлъ на Хотынцева и всею своей фигурой выражалъ сильнѣйшее порицаніе.

— Да... ужасная лѣстница... — продолжалъ Николай Николаевичъ, откашлявшись и переводя дыханіе. — 78 ступенекъ! Настоящій Монбланъ, — даже въ глазахъ повелѣнѣтъ, пока доберешься.

— А вы бы ходили больше, — угрюмо сказалъ Талыгинъ.

— Да какъ же не ходить-то? — Хотынцевъ взглянулъ на Талыгина и засмѣялся. — Ну, я по вашему лицу вижу, что вы сейчасъ какую-нибудь нотацію начнете. У васъ такой многозначительный видъ, будто у Цицерона, собирающагося разгромить Катилину. Нате-ка вотъ лучше, прочтите.

Онъ вынулъ изъ кармана нумеръ газеты и бросилъ его Талыгину.

— Карандашомъ отмѣчено... Полюбуйтесь-ка! Часъ отъ часу не легче!

— Ну что жъ такое? — сказалъ Талыгинъ, прочитавъ газету и дѣлая видъ, что онъ нисколько не пораженъ. — Эка важность!

Подлецы такъ и подлецы,—давно извѣстно. Не плакать же изъ-за этого.

Блѣдныя щеки Хотынцева вспыхнули, и онъ быстро вскочилъ съ мѣста.

— Привыкли?—заговорилъ онъ рѣзкимъ звенящимъ голосомъ, комкая газету въ рукахъ.—Одеревенѣли? Такъ чего же вамъ еще нужно? Чтобы прямо въ лицо плевали? Не понимаю я этого деревяннаго равнодушія! Не понимаю молодежи! Ну Потесины и tutti quanti—тѣ понятны, но вы, вы, молодежь... кто же вы послѣ этого? Кузлы? Тряпки? Говорящіе обезьяны?

Губы у Талыгина задрожали,—онъ уже готовился что-то возразить, но въ дверяхъ появилась Серафима Александровна со скатертью въ рукахъ и, зорко взглянувъ на мужа, весело сказала:

— Что это? Споръ, кажется? Ну, успокойтесь, спорить вамъ не удастся, по крайней мѣрѣ, сейчасъ. Супъ мира у меня готовъ и бифштексъ согласія тоже рассчитывается на ваше благосклонное вниманіе. Талыгинъ,--столъ!

Талыгинъ бросился раздвигать столъ, и помогая Серафимѣ Александровнѣ накрывать и собирать посуду, шепнулъ мимоходомъ:

— Ну, умница вы, Серафима Александровна! Не войдите вы съ своимъ супомъ мира въ эту минуту,—вѣдь я бы съ Николаемъ Николаевичемъ поругался. Совсѣмъ свою роль позабылъ и непремѣнно бы разругался въ дребезги. А вы выручили!

— Я давно знала, что вы глупенькій,—сказала Серафима Александровна.

Между тѣмъ Хотынцевъ уже успокоился и подошелъ къ Ганѣ.

— Ну что, не сердится на меня ваша тетуська за мою грубую выходку? —спросилъ онъ ее.—Мнѣ очень жаль было обидѣть ее, но что дѣлать, — иначе поступить я не могъ. Я немножко нетерпимъ, это правда, но я такъ рассуждаю: сдѣлай одну уступку, за ней логически должны послѣдовать другія. Поэтому я рѣшилъ лучше не дѣлать никакихъ. А Потесина я, кромѣ того, ненавижу,—добавилъ онъ, и глаза его сверкнули.

— Мнѣ онъ тоже не нравится,—сказала Ганя, краснѣя оттого, что говоритъ съ Хотынцевымъ и что ей приходится высказывать одинаковое съ нимъ мнѣніе. Онъ, должно быть, фальшивый...

— Да,—задумчиво проговорилъ Хотынцевъ, скорѣе отвѣчая на свою собственную мысль, а не на слова Гани:—А вѣдь было время, когда я его уважалъ и даже любилъ. Странно это, не

правда ли? Можетъ быть, оттого теперь его и ненавижу такъ. Знаете, нѣтъ ничего горчѣе, когда тебя обманетъ человѣкъ, котораго ты любилъ! Ахъ, какая это горечь и злость!

— Обѣдать, обѣдать, господа! — шумно хлопая въ ладоши, приглашала Серафима Александровна.

ХІІІ.

За обѣдомъ всѣ какъ будто повеселѣли. Николай Николаевичъ тоже оживился и говорилъ безъ умолку, но Серафиму Александровну это не радовало, и она съ безпокойствомъ глядѣла на мужа. Она хорошо знала, что это оживленіе болное, что за нимъ послѣдуетъ еще сильнѣйшій упадокъ силъ и приступъ мрачной хандры. Ей знакомъ былъ этотъ яркій блескъ глазъ, эти розовыя пятна на щекахъ—они не предвѣщали ничего хорошаго. Но она старалась скрыть свою тревогу и съ веселымъ видомъ принимала участіе въ разговорѣ.

Николай Николаевичъ рассказывалъ о прекращеніи своего журнала и вообще о томъ смутномъ времени, которое пережили всѣ они, сотрудники.

— Знаете, это было похоже на то, какъ бы у васъ умеръ самый близкій, самый дорогой для васъ человѣкъ,—говорилъ онъ, обращаясь къ Ганѣ.—Мы всѣ были оглушены, растеряны, убиты. Я какъ сейчасъ помню это ужасное сентябрьское утро, когда мы всѣ собрались въ редакціи. Мы всѣ молчали... мы боялись говорить, потому что знали—стоить сказать слово—и разрыдаешься. Нашъ редакторъ былъ блѣденъ какъ смерть—милый, благородный человѣкъ!—но бодрился и обратился—было къ намъ со словами: „ну, господа“... Но тутъ же губы у него затряслись и онъ поспѣшно началъ что-то искать на столѣ. И вдругъ гдѣ-то въ уголку послышалось мучительное, отчаянное рыданіе,—я помню, мнѣ даже холодно стало отъ тоски, отъ какого-то безумнаго, страшнаго ужаса. Мы оглянулись,—это плакалъ одинъ изъ самыхъ старыхъ и самыхъ преданныхъ сотрудниковъ журнала. Его теперь тоже нѣтъ въ живыхъ,—онъ недолго пережилъ смерть своего любимаго дѣтища.

Хотынцевъ помолчалъ, взволнованный воспоминаніями.

— Да, это тяжело было. Потомъ, когда мы начали нѣсколько оправляться, началось другое. Начались зазыванія со стороны разныхъ литературныхъ лавочекъ, начался безцеремонный торгъ, чуть не хватанье за полу. Остать не дали и какъ вороны на

падали слетѣлись. Разсчитывали, что въ суматохѣ, въ смущеніи удастся купить для своихъ лавочекъ нѣсколько крупныхъ именъ и, конечно, по сходной цѣнѣ. Куда же дѣваться-то? Вѣдь не умирать же съ голоду. Тому старику, который плакалъ,—человѣку съ большимъ талантомъ, съ громадной силой убѣжденія, съ капитальными знаніями,—этому столпу журнала одна мелкая фирма предлагала двѣсти рублей за печатный листъ, и набавляла чуть не по пятаку, когда тотъ отказывался. А до того ли было? Тутъ умереть хотѣлось... Къ счастью, я скоро лишень былъ возможности все это видѣть—меня увезли изъ Петербурга. Тамъ, въ вологодскихъ лѣсахъ, я только пришелъ въ себя и сталъ нѣсколько походить на человѣка.

— Ну, не очень-то скоро,—сказала Серафима Александровна. —Вы не можете представить себѣ, Агаея Михайловна, какой онъ былъ тогда ужасный. Просто мертвецъ какой-то,—полнѣйшее равнодушіе ко всему. Около него холодно было и страшно. Ну, весной немножко отогрѣлся, сталъ оживать.

— Да, и за это спасибо ей,—произнесъ Николай Николаевичъ и съ порывистой лаской протанулъ руку женѣ. —Дай мнѣ сюда свою хорошую, сильную руку. Вотъ такъ!—онъ крѣпко потрясъ руку Серафимы Александровны и продолжалъ, обращаясь опять къ Ганѣ:—Да, это она меня спасла,—безъ нея я бы погибъ. Да и теперь—только она поддерживаетъ во мнѣ бодрость и надежду,—по временамъ такъ тяжело бываетъ жить, что...

— Ну, Коля, довольно объ этомъ!—прервала его Серафима Александровна, указывая глазами на Колю, который, раскрывъ глаза, жадно слушалъ отца. —Давайте лучше апельсины ѣсть, а ты, Коля, ступай съ Талыгиннымъ самоваръ ставить. Что это? Еще гости?

— Колокольцевъ, здравствуйте!—сказалъ Хотынцевъ, пожимая руку вошедшему.

Молодой врачъ былъ маленькій человѣчекъ съ эспаньолкой и въ очкахъ, которыя онъ сейчасъ же снялъ и сталъ протирать, говоря:

— Пойдите, постойте, безъ очковъ ничего не вижу! А! Ну вотъ, готово. Э, да у васъ сегодня Валтасаровъ пиръ! Ну что, всѣ здоровы? Младенцы здоровы?

Онъ на ходу пощупалъ голову Коли, въ которомъ подозрѣвалъ рахить, похвалилъ свѣжій цвѣтъ лица Гани, отчего она покраснѣла, какъ макъ, и наконецъ постучалъ по спинѣ Талыгина, что дѣлалъ непремѣнно каждый разъ при встрѣчѣ съ нимъ.

— Богатырь! Эка вѣдь грудища - то! Печка! Ну, а вы, Николай Николаевич? Здоровы?—Серафима Александровна сдѣлала ему таинственный знакъ.

— Ну ужъ вы сейчасъ, пожалуй, выслушивать начнете!— съ улыбкой сказалъ Хотынцевъ.—Экая вѣдь страсть у этихъ начинающихъ врачей выслушивать и выстукивать каждаго встрѣчнаго. Да какое тамъ встрѣчнаго! У насъ, знаете, котъ былъ, Агаѣя Михайловна, такъ онъ и кота, бывало, въ покое не оставить, ощупаетъ и выстукаетъ.

— Ну что же,—невозмутимо отвѣчалъ Колокольцевъ.—Вѣдь и нашель же я у него въ концѣ концовъ ожирѣніе сердца! Но котъ котомъ, а васъ дѣйствительно выслушалъ бы съ удовольствіемъ.

— Это почему?—спросилъ Хотынцевъ, начиная сердиться.

— Да я по лицу вижу, что у васъ бронхитъ. Вѣдь кашляете, да? Ну вотъ!—Колокольцевъ сдѣлалъ умиленный видъ и сталъ передъ Хотынцевымъ.—Ну, голубчикъ! Ну, пожалуйста! Ну что вамъ стоитъ, а мнѣ практика. Пойдемте, выслушаю!

— Фу ты, несносный эдакій! Ну пойдемте, что-ли. И зачѣмъ вы пришли? Нюхъ у васъ, что-ли, какой особенный, право...

Они ушли въ кабинетъ. Серафима Александровна перевела духъ.

— Ну слава Богу!—проговорила она.—Талыгинъ, вы здѣсь разливайте чай, а я пойду въ дѣтскую.

Она отослала дѣвочку, Таню, обѣдать, а сама вынула ребенка изъ колыбельки и сѣла кормить. Вошла Ганя.

— Господи, и какъ это вы все успѣваете дѣлать!—сказала она, глядя на малютку, раскинувшуюся на колѣняхъ матери.— И обѣдъ, и стирка, и дѣти...

— Да вѣдь за то же и занятъ цѣлый день!—возразила Серафима Александровна.—Иной разъ и почитать бываетъ некогда,—вонъ Мюссе лежитъ, до сихъ поръ не прочла. Э, голубушка, жизнь не праздникъ, а самыя скучныя сѣрыя будни! Только въ ранней молодости мечтаешь о розахъ, а какъ поживешь, то и съ шипами помирись. Да по правдѣ сказать, ничего кромѣ шиповъ-то и нѣтъ.

Она помолчала, прислушиваясь. Но въ кабинетѣ все было тихо, только изъ кухни доносились веселые голоса Коли и Тани, шипѣнье воды, бѣгущей изъ крана, и еще какіе-то странные звуки. Это навѣрное Талыгинъ раздувалъ сапогомъ самоваръ.

— Впрочемъ,—продолжала Серафима Александровна,—я и въ молодости не отличалась мечтательностью. Я всегда склонна

была подмѣчать только самыя дурныя и темныя стороны жизни, оттого, можетъ быть, я никогда духомъ не падаю. Когда ничѣмъ не былъ очарованъ, то и разочаровываться не въ чемъ.

Она пристально взглянула на Ганю и усмѣхнулась.

— А вотъ вы... вы совсѣмъ не такая. Вы—мечтательница, и поэтому вамъ плохо придется. Вамъ все кажется въ розовомъ туманѣ, и вы на небо смотрите. Охъ, тяжело съ неба на землю спускаться! На землѣ ангелы не живутъ, а вѣдь по вашему всѣ люди ангелы, не правда ли?

— Нѣтъ, не всѣ,—возразила Ганя.

— Такъ многіе. А я вамъ скажу, что въ каждомъ, даже самомъ хорошемъ, человѣкѣ свой дьяволъ сидитъ. Нѣтъ-нѣтъ, да и высунетъ либо рога, либо хвостикъ. Этого никогда не надо забывать, когда имѣешь дѣло съ людьми.

— Но вѣдь это ужасно такъ смотрѣть на жизнь!—проговорила Ганя.

— Почему ужасно?—спросила Серафима Александровна, съ любопытствомъ глядя на дѣвушку.

— Да вѣчно быть на-сторожѣ... никому не довѣрять, въ каждомъ видѣть врага.

— Ну, зачѣмъ врага! Такъ, маленькаго-маленькаго дьяволѣнка!—Серафима Александровна засмѣялась и ласково погладила Ганю по руцѣ.—Но все-таки вы правы,—такъ жить тяжело. И я вамъ завидую, маленькая идеалистка, ахъ, какъ завидую вашей свѣжести, непосредственности, вашимъ иллюзіямъ и мечтамъ. Вы за нихъ поплатитесь, онѣ вамъ принесутъ много горя, но зато вѣдь и радости-то сколько! А я...—она вздохнула и докончила:—Помните ли вы сказку Андерсена о зеркалѣ злого духа? Въ этомъ зеркалѣ отражалось только одно зло міра, и вотъ однажды зеркало это разбилось, и осколокъ его попалъ въ глазъ одному хорошему доброму мальчику. И мальчикъ, любящій, нѣжный, вдругъ сдѣлался сухимъ и жесткимъ, потому что онъ все сталъ видѣть въ дурномъ свѣтѣ и въ каждомъ человѣкѣ видѣлъ только злое и грязное. Помните? Вотъ, должно быть, мнѣ попалъ въ глаза такой же осколокъ.

Ребенокъ насосался и, откинувъ круглую голову, на которой вились рѣденькіе черные волосики, сладко дремалъ. Серафима Александровна нѣсколько минутъ смотрѣла на него молча, и въ глазахъ ея свѣтилась грусть... Потомъ она встала и осторожно уложила его въ колыбельку.

— Спи, мальчикъ, пока злая фея тоже не броситъ тебѣ въ

глаза осколка! Пойдемте, Агаея Михайловна, въ столовую, — вонъ Талыгинъ уже и самоваръ притащилъ!

— Мама, мама! смотри-ка, чижикъ-то хлѣбъ ѣстъ! — въ восторгъ кричалъ Коля, прыгая около кѣтки. — Ахъ, мама, какой онъ смѣшной!

Серафима Александровна сдѣлала веселое лицо и подошла къ чижiku. Подошли и Ганя, и Талыгинъ, и всѣ пятеро глядѣли на маленькую птичку, заботливо опичивавшую кусочекъ бѣлаго хлѣба, засунутый между прутьями кѣтки. А въ кабинетѣ было все такъ же тихо...

— Что это, какъ они долго! — проговорила Серафима Александровна вполголоса.

Талыгинъ взглянулъ на нее, и ему вдругъ стало какъ-то душно и тяжело. Онъ безтолково засуетился и, подойдя къ чайному столу, началъ наливать чай.

— Серафима Александровна, а вы чайку?... — предложилъ онъ и самъ сейчасъ же подумалъ: „какой тамъ чай, — не до чаю ей теперь, и чего я лѣзу?“

— Уйдите съ чаемъ... Угощайте вонъ Агаею Михайловну, а я пойду посуду мыть.

Она вышла. Она чувствовала, что волненіе все болѣе и болѣе растетъ въ ней и что ей даже трудно дышать отъ этого. Сердце билось ускоренно, въ виски колотило, руки дрожали. Скоро ли, скоро ли? Уже скорѣе бы узнать все...

Въ кабинетѣ слышались, наконецъ, шаги, голоса; дверь отворилась, и въ столовую вошелъ Колокольцевъ. Онъ имѣлъ нѣсколько растерянный видъ, хотя и улыбался.

— Ничего, пустяки! — черезъ-чуръ громко и весело сказалъ онъ, отвѣчая на вопросительный взглядъ Талыгина. — Бронхитъ... полежать малость надо, а то вѣдь какъ разъ воспаленіе схватить! Э, чижикъ-то какой славный! Поетъ? Да, бронхитъ, бронхитъ... Ну, а я пойду, руки вымою. Тамъ что-ли Серафима Александровна-то?

Онъ вошелъ въ кухню и остановился, глядя на Хотынцеву. Оба молчали.

— Ну, голубушка, — началъ, наконецъ, Колокольцевъ тихо и съ тѣмъ же растеряннымъ видомъ. — Знаете, дѣла-то плохи... Хроническій-то процессъ само собой — это бы ничего, а главное — никакъ воспаленіе еще начинается. Температура почти 40... Не пускайте вы его нигуда, уложите сейчасъ же въ постель, а я завтра профессора привезу. Хорошо?

Серафима Александровна поблѣднѣла, пошатнулась и тяжело

оперлась на плиту. Да, въ жизни ея не цвѣли розы и она привыкла ко всему, но призракъ грядущей потери былъ чересчуръ страшенъ... Колокольцевъ поддерживалъ ее, самъ чуть не плача.

— Голубушка вы моя, милая!—говорилъ онъ, пожимая ея похолодѣвшія, какъ ледъ, руки.—Вы не очень волнуйтесь,—зачѣмъ такъ преувеличивать? Мало ли хворають люди... можетъ, еще ерунда все это. Вотъ профессоръ пріѣдетъ, онъ вамъ скажетъ. А пока унывать нечего...

Но Серафима Александровна уже оправилась и съ спокойнымъ, хотя все еще блѣднымъ лицомъ пошла изъ кухни.

XIV.

Было уже около девяти часовъ, когда Ганя съ Талыгиннымъ—онъ вызвался провожать ее—вышли отъ Хотынцевыхъ. Надъ городомъ уже повисъ прозрачный весенній сумракъ; на блѣдномъ небѣ загорались блѣдныя звѣзды. Тамъ, въ городѣ, слышался переставаемый гулъ, но здѣсь, на Пескахъ, было тихо и пустынно. Только Таврическій садъ таинственно шумѣлъ, да гдѣ-то въ казармахъ играли „зѣрю“. И Ганя, и Талыгинъ молчали; имъ обоимъ было грустно. Ганя думала о Хотынцевыхъ, о ихъ бѣдной трудовой жизни, о горькихъ рѣчахъ Серафимы Александровны, и ей становилось стыдно, что вотъ она сама такъ счастлива, наслаждается жизнью, любитъ картинами, и нѣтъ у нея никакого горя. И опять ей вспомнилось больное лицо Хотынцева, вспомнился блѣдненькій мальчикъ, восторгающійся чижиномъ, и сердце болѣло, ныло, и хотѣлось сдѣлать что-нибудь такое, отчего бы всѣмъ-всѣмъ было хорошо.

Они миновали садъ и вышли на Знаменскую. Прохлада и свѣжесть сразу смѣнились теплою удушливою атмосферой города; въ глаза рѣзко ударилъ яркій свѣтъ фонарей и лампъ на окнахъ магазиновъ; по сторонамъ потянулись огромные дома, лавки, портерныя, трактиры. Изъ отворенныхъ дверей на улицу валилъ теплый паръ; пахло горячимъ хлѣбомъ, пивомъ, керосиномъ; за окнами видны были раскраснѣвшіяся пьяныя лица; тамъ и сямъ слышались пьяныя рѣчи, визгливые голоса, пѣсни, ругань. По мостовой безостановочно громыхали извозчицки пролетки, дребезжала и лязгала конка; на троттуарахъ безостановочно шаркали и стучали тысячи ногъ, и какія-то мрачныя тѣни крались у стѣнъ домовъ, у рѣшетокъ садовъ, подальше отъ свѣта, безмолвно про-

тягивая прохожимъ свои дрожащія руки. И Ганя вдругъ все это стало противно, и Петербургъ показался ей уже совсѣмъ не такимъ красивымъ и великолѣпнымъ, какъ вчера, третьяго дня, недѣлю тому назадъ... и всѣ чудныя впечатлѣнія, вынесенныя ею изъ Эрмитажа, изъ Академіи, изъ фантастической мастерской Селищева, вдругъ поблѣднѣли, стерлись, стали какими-то сѣрыми, скучными и ненужными.

— Скверно, скверно! — сказала Талыгинъ громко, и эти слова, точно отвѣчавшія на Ганины мысли, заставили ее сильно вздрогнуть.

— Что скверно? — спросила она испуганно.

Талыгинъ снялъ шапку и долго ерошилъ свои волосы, что означало у него сильное безпокойство.

— Да, вотъ, что она теперь дѣлать будетъ? — сказалъ онъ, опять нахлобучивая шапку. — Вы слышали, докторъ-то что сказалъ? Этакая гадость!... Вотъ тебѣ и въ деревню уѣхали!

Ганя молчала, не зная, что сказать. Сердце ея все ныло и отъ жалости, и отъ желанія что-то сдѣлать. А Талыгинъ продолжалъ:

— Вотъ я сейчасъ шелъ и думалъ, — есть ли какой-нибудь разумный смыслъ въ томъ, что совершается въ мірѣ? Есть ли, напримѣръ, смыслъ въ томъ, что Хотынцевъ умираетъ? Вы какъ думаете?

— Я не знаю, — проговорила Ганя, нѣсколько смущенная этимъ вопросомъ.

— Да и я тоже не знаю. Но я думаю, что все это ужаснѣйшая бессмыслица и вопіющая несправедливость. И *struggle for life* — несправедливость, и *natural selection* — несправедливость, и... чѣмъ дольше думаешь, тѣмъ больше негодуешь. Да вотъ вы сами подумайте: лучшая и благороднѣйшая часть человѣчества — и наименѣе приспособлена къ борьбѣ за существованіе, значитъ обречена на вымираніе. И наоборотъ — люди съ шакальими сердцами, люди-волки, люди-гіены — эти вооружены превосходно и, конечно, выживутъ. Развѣ это не подлость?

Онъ остановился и посмотрѣлъ на Ганю такъ, какъ будто она была виновата во всѣхъ этихъ міровыхъ несправедливостяхъ и „подлостяхъ“.

— Да, — подтвердила Ганя, тоже останавливаясь, потому что онъ все еще стоялъ.

— Ну вотъ видите! А между тѣмъ говорятъ, что челоѣчество идетъ къ счастію, что въ концѣ концовъ на землѣ будетъ рай и блаженство, и то, и сѣ... Какой же, позвольте васъ спро-

силь, рай, когда останутся одни волки и шакалы и, глядя другъ на друга, будутъ щелкать зубами? Не желалъ бы я быть въ этомъ раю; а вы?

Ганя даже улыбнулась на этотъ вопросъ.

— Вы, кажется, смѣтаетесь? Но вѣдь я серьезно говорю и, подождите, я васъ сейчасъ удивлю. Вотъ мы сейчасъ съ вами согласились, что все въ мирѣ—безсмыслица и гадость. Все хорошее погибаетъ, все гнусное цвѣтеть, плодится и множится. Что же, значить, остается дѣлать? Уничтожиться или, какъ говорить нашъ профессоръ, „вступить въ новую реакцію съ природой“.

— То-есть, умереть?—спросила Ганя, начиная интересоваться и Талыгинимъ, и разговоромъ.

— Ну, конечно.

— Нѣтъ, это ужъ черезъ-чуръ обидно умирать-то.

— Ну, а что же по вашему дѣлать надо?—усмѣхался, сказавъ Талыгинъ.

Ганя молчала. Опять смутное желаніе дѣла, какого-нибудь огромнаго и хорошаго дѣла, поднялось въ ней и вызвало въ душѣ щемлящее ощущеніе тоски и неудовлетворенности.

— Ага, вы молчите!—воскликнулъ Талыгинъ.—И навѣрное вамъ сейчасъ представляется что-нибудь такое возвышенное... принести себя въ жертву... и такъ далѣе! Вы, женщины, замѣчательный народъ въ этомъ отношеніи! Героизма въ васъ пропасть, и ужъ если вы беретесь за какое-нибудь дѣло, то дѣйствительно себя не жалѣете. Но... опять-таки, спрашиваю я васъ, что же въ этомъ толку-то? И опять кому же вы дорожку-то расчищаете? Все тѣмъ же шакаламъ и волкамъ... все для нихъ работаете, для нихъ ваши жертвы! Нѣтъ, не въ жертвѣ суть и ничего вы своими жертвами не подѣлаете!

— А чѣмъ же?—спросила въ свою очередь Ганя и вся вспыхнула, ожидая отвѣта.

— А, вотъ тутъ-то и весь вопросъ!.. И вы навѣрное думаете обо мнѣ съ негодованіемъ, что я либо фразеръ, либо пессимистъ. Но нѣтъ, я ни то, ни другое, а насчетъ пессимизма—даже слова этого терпѣть не могу. И по моему этотъ пессимизмъ просто выдумали для того, чтобы кое-какіе изъянцы и прорѣшны въ себя прикрывать. Трусить человѣкъ: „я пессимистъ“! Дѣлать ничего не хочется или не умѣть: „пессимистъ“! Всякую гадость этимъ пессимизмомъ прикрываютъ теперь! У насъ на студенческой квартирѣ кухарка была пьяница, такъ наслушалась она нашихъ разговоровъ и тоже, бывало, напьется и говоритъ: „пес-

симвизмъ, баринъ!" Поняла отлично, въ чемъ суть! Ну-съ, такъ вотъ,—я не пессимистъ. И хотя думаю, что на свѣтѣ все идетъ изъ рукъ вонъ скверно—все-таки не пессимистъ. Скверно, это правда... но знаете, что сказалъ одинъ нѣмецъ? „Если твоя постель неудобна, возьми и перестели ее". Отчего бы намъ не перестелить свою постель?

Талыгинъ остановился снова и сдѣлалъ энергичный жестъ своей богатырской рукой.

— Вѣдь и вы, и я, и многіе недовольны своей постелью. Вѣдь и вы, и я, и многіе, сознаемъ, что Хотынцевы нужны для блага міра, а шакалы и волки вредны и нежелательны. Зачѣмъ же мы вертимся и мучаемся на своей неудобной постели и зачѣмъ Хотынцевы умираютъ, а шакалы щелкаютъ зубами? Развѣ это нужно и разумно? Нѣтъ, мы уже признали, что все это бессмысленно и несправедливо. Такъ въ чемъ же дѣло? А въ томъ только, возможно ли намъ несправедливое замѣнить справедливымъ, а бессмысленное—разумнымъ. Вотъ къ чему мы пришли... и какъ вы думаете,—возможно это или нѣтъ?

— Я думаю, возможно,—сказала Ганя оживленно.

— Я тоже! Вашу руку! А какъ и что—объ этомъ въ другой разъ. Это уже не важно, а важно только узнать человека. Я васъ немножко узналъ и очень доволенъ. Вотъ и Пушкинская. Но все-таки меня страшно мучаетъ вопросъ: что будетъ дѣлать она?

— Серафима Александровна?

— Да. Послушайте, ходите къ ней почаще,—ей теперь люди нужны и особенно такіе, какъ вы, вѣрующіе въ будущее и не разбитые настоящимъ. Она сильна, страшно сильна, но ни во что не вѣруетъ, ни на что не надѣется. Это очень тяжело, и жаль, если такая сила окаменѣетъ и пропадетъ.

— Всегда она такая была?

— Н-нѣтъ, не всегда... впрочемъ, кое-что было и прежде. Такъ вы общаетесь ходить къ ней? Спасибо, вы хорошій человѣчекъ. Я какъ давеча взглянулъ на васъ, такъ сейчасъ подумалъ: вотъ кого намъ надо! Ну, прощайте, голубушка, скоро увидимся.

Онъ пошелъ назадъ, къ Невскому, но Ганя все еще стояла на подъѣздѣ и провожала его глазами. Ей почти жаль было, что онъ уходитъ,—такъ хотѣлось бы еще поговорить съ нимъ... И онъ тоже вдругъ обернулся, увидѣлъ, что она еще не ушла, и крикнулъ ей: „такъ возможно, да?" И засмѣялся.

— Возможно! — отвечала ему весело Ганя и вошла въ подъездъ.

Поднимаясь по лѣстницѣ, она уже совсѣмъ не чувствовала той гнетущей тоски, какая овладѣла ею по выходѣ отъ Хотынцевыхъ. „Нѣтъ, стоить жить и нужно жить,—думала она, и сердце ея замирало и расширялось, точно она летѣла съ горы. —Нужно только поменьше думать о себѣ и... непременно поговорить съ Талыгинымъ. Пусть онъ скажетъ ей, что надо дѣлать, чтобы „несправедливое замѣнить справедливымъ и бессмысленное — разумнымъ“! —вспомнилась ей фраза Талыгина. И она громко позвонила.

Передняя была ярко освѣщена; на вѣшалѣ висѣли пальто и дамскіе ватерпруфы; изъ столовой доносился оживленный говоръ. Сегодня былъ день Татьяны Аристарховны, и сама она вышла на звонокъ въ переднюю.

— Хороша, хороша!—воскликнула она съ притворной строгостью.—Ушла и пропала. Гдѣ это вы были, а? Извольте рассказывать!

— Я все время у Хотынцевыхъ была, тетя,—сказала Ганя, входя въ столовую.

Вокругъ чайнаго стола собрались всѣ обычные гости Татьяны Аристарховны: блѣдныя, измученныя Минервы, Потесинъ, Крынкинъ съ „D-g Dick'омъ“ и Селищевъ. Не было только Пыхтѣва, Василькова и Орѣшниковъ, но было еще рано, и ихъ ждали.

Селищевъ при входѣ Гани весь встрепенулся, и глаза его загорѣлись, когда онъ пожималъ ея холодные съ воздуха пальцы.

— У Хотынцева были?—протяжно спросилъ Потесинъ.— Ну что, онъ все „страдаетъ“?

Ганя взглянула на его веселую, сытую фizioномію, и ей вдругъ стало противно все здѣсь,—и этотъ чайный столъ съ шипящимъ самоваромъ и разными закусками на бѣлоснѣжной скатерти, и вся эта уютная, комфортабельная обстановка, и гости, и особенно самъ Потесинъ съ своею самодовольною улыбкой и прищуренными глазами. Недоброжелательное чувство противъ тети шевельнулось въ ней...

— Да, Хотынцевъ очень боленъ! — рѣзко сказала Ганя, вспыхивая и волнуясь отъ своей смѣлости и оттого, что на нее всѣ смотрѣли.—И боленъ опасно... такъ что я не знаю, что здѣсь смѣшного... У него былъ докторъ сегодня,—добавила она, обращаясь къ Татьянѣ Аристарховнѣ.

— Кто боленъ? У кого докторъ?—спросилъ Орѣшниковъ, появляясь на порогѣ.

— Хотынцевъ, говорятъ, боленъ, — проговорила Татьяна Аристарховна, взволнованная.

— Что вы говорите, — я его сегодня видѣлъ! Онъ, правда, ужасно худъ, но ничего, глядѣлъ довольно бодро. Такъ что-нибудь, — простуда! Не дай Богъ, если захвораетъ серьезно!

Орѣшниковъ, въ противоположность многимъ, склоннымъ все преувеличивать и представлять себѣ въ мрачномъ свѣтѣ, напротивъ, не любилъ предаваться унынію и даже въ самыхъ печальныхъ фактахъ отыскивалъ свѣтлыя стороны для того будто бы, чтобы не очень „падать духомъ“. И дѣйствительно, какъ мы видѣли, онъ почти никогда и не падалъ.

— Фу ты, Боже мой, какое, подумаешь, событие! — сказалъ Потесинъ все такъ же насмѣшливо: — Хотынцевъ боленъ! У Хотынцева прыщъ на носу вскочилъ... Положимъ что, случается иногда, и прыщъ на носу великаго человѣка ведетъ къ великимъ событіямъ въ исторіи, но excusez du peu! Хотынцеву еще далеко до титула „великаго“...

— Что васъ это такъ возмущаетъ! — миролюбиво сказалъ Крынкинъ, не любившій никакихъ рѣзкостей и боявшійся, чтобы опять не вышло какой-нибудь сцены. Ну, великій такъ великій, — вамъ-то что же?

— Меня возмущаетъ не Хотынцевъ, — возразилъ Потесинъ: — а какая-то холопская наклонность русскаго человѣка непремѣнно кому-нибудь и чему-нибудь поклоняться. Нѣтъ великаго человѣка, такъ онъ его выдумаетъ и начнетъ передъ нимъ бухать лбомъ, точно замоскворѣцкая купчиха передъ Иверской; а ужъ если и выдумать даже нельзя, такъ онъ хоть сапогъ съ ноги сниметъ, и собственному сапогу будетъ кланяться, а безъ кумира не останется!

„Ну, ты, я думаю, не отказался бы быть на мѣстѣ этого сапога!“ — подумалъ Селищевъ, взглядывая на раскраснѣвшагося и улыбающагося, хотя видимо раздраженнаго Потесина.

— Какъ это гадео! Какъ это возмутительно... — вымолвила вдругъ Ганя прерывающимся голосомъ и стремительно вышла изъ комнаты.

— Вотъ что значить барышня въ дурномъ обществѣ побывала! — сказалъ ей вслѣдъ Потесинъ.

— Но вы, Александръ Герасимовичъ, дѣйствительно Богъ знаетъ что говорите! — возразилъ Крынкинъ.

— А что-съ? Правду, одну только самую трезвую правду!

— Ну, какая же это „трезвая правда“, и что за слово: *трезвая правда*? Точно бываетъ какая-то еще „не трезвая“! Но

Богъ съ нимъ, съ словомъ,—а то, что вы говорили, не правда, а чистѣйшая клевета на русскаго человѣка.

— Нѣтъ-съ, не клевета!—протяжно проговорилъ Потесинъ.—Русскій человѣкъ холопъ и идолопоклонникъ по натурѣ, и если хотите, я вамъ докажу это...

— Что такое? Въ чемъ дѣло?—спросилъ Орѣшниковъ, окончивъ какое-то таинственное совѣщаніе въ уголку съ Татьяной Аристарховной и подходя къ столу.

Крынкинъ, улыбаясь и въ душѣ радуясь, что Орѣшниковъ избавляетъ его отъ скучной необходимости спорить, сталъ передавать ему слова Потесина. Воспользовавшись этой минутой и зная, что сейчасъ между Орѣшниковымъ и Потесинымъ разразится словесная война, Селищевъ тихонько всталъ изъ-за стола и пошелъ въ гостиную.

Ганя стояла у окна и смотрѣла на улицу. Слезы обильно и беззвучно лились по ея лицу и падали на подоконникъ, но она не всхлипывала и не рыдала, а только изрѣдка глубоко переводила дыханіе.

— Агаея Михайловна!—сказалъ Селищевъ тихо, наклоняясь къ ней.—Что это съ вами?

Ганя сдѣлала-было быстрое движеніе, чтобы отвернуться, но осталась на мѣстѣ, и слезы закапали еще сильнѣе.

— Неужели на васъ подѣйствовала такъ негѣная выходка Потесина?—продолжалъ Селищевъ.—Полноте, не стоитъ изъ-за этого волноваться! Вѣдь это онъ отъ злости накинулся на Хотынцева и на всѣхъ, кто любитъ этого писателя. У нихъ тамъ какіе-то старинные счеты... но главное, все-таки, самолюбіе, самолюбіе... Потесинъ страшно самолюбивъ, и лавры Хотынцева не даютъ ему спать. Вотъ и все, и Хотынцеву эта выходка, конечно, никакъ не можетъ повредить. Успокойтесь же!

— Да я совсѣмъ не о томъ, что повредить...—прошептала, наконецъ, Ганя, переводя дыханіе.—Но мнѣ горько, что есть такіе люди... и потомъ эти издѣвательства надъ человѣкомъ, который...—Ганя замолчала и опять стала глядѣть на улицу.

— Не плачьте!—ласково повторилъ Селищевъ, слегка дотрогиваясь до Ганиной руки.—Ваши слезы мучительно видѣть... особенно, когда не знаешь, чѣмъ помочь.

— Да это пройдетъ...—поспѣшно сказала Ганя.—Это такъ... просто я немножко расстроилась сегодня. Такъ много впечатлѣній... и мнѣ ужасно стыдно передъ вами...

— Полноте! Расскажите лучше, что васъ встревожило. Ну, сядемте вотъ здѣсь,—онъ подвинулъ стулъ въ самый темный

уголокъ гостиной:—и рассказывайте. Мнѣ такъ жалъ, что ваши первыя впечатлѣнія въ Петербургѣ омрачены слезами. Мнѣ хотѣлось бы, чтобы вамъ все улыбалось, чтобы на душѣ у васъ всегда было покойно и свѣтло...

— Это нельзя,—отвѣчала Ганя съ глубокимъ вздохомъ. Она уже не плакала и покорно сидѣла въ уголку, избѣгая глядѣть на Селищева и все еще стыдись передъ нимъ за свои слезы.— Нельзя всегда быть спокойнымъ и веселымъ... да и нечестно. Стыдно передъ чужимъ горемъ.

— Стыдно тому, кто былъ причиной чужого горя. А вы ни въ чемъ не виноваты ни передъ кѣмъ,—за что же вамъ мучиться? Это несправедливо.

— Коли мучаешься, значить справедливо,—сказала Ганя, и заплаканное лицо ея приняло обычное восторженное и мечтательное выраженіе.—И потомъ, почему я знаю, что я ни передъ кѣмъ не виновата... можетъ быть, и виновата... Помните, у Достоевскаго, кажется, сказано, что „всѣ и за всѣхъ виноваты“...

— Ну, оставьте этотъ мистическій вздоръ! Такъ Богъ знаетъ до чего можно договориться. Расскажите же лучше, какъ вы провели день, гдѣ были, что видѣли,—только, чуръ, больше не плакать, а то тетенькѣ пожалуюсь!—шутливо договорилъ Селищевъ.

Ганя улыбнулась уже совсѣмъ весело и стала рассказывать Селищеву о Хотынцевыхъ, о ихъ жизни и даже о Талыгинскомъ чижикѣ. Когда она рассказывала о Талыгинѣ и разговорѣ съ нимъ,—лицо Селищева омрачилось; что-то въ родѣ ревности шевельнулось у него въ душѣ. Ему вспомнились ядовитыя слова Потесина о развивателяхъ, и, глядя на одушевленное лицо Гани, онъ медленно упивался сладкимъ ядомъ молодости и любви.

В. ДМИТРИЕВА.



ЭКОНОМИЧЕСКІЙ МАТЕРІАЛИЗМЪ

ВЪ

ИСТОРІИ

VI *).

Экономическій матеріализмъ возникъ приблизительно тогда же, когда положено было начало и исторической школѣ въ экономической наукѣ, т.-е. въ половинѣ нынѣшняго столѣтія, но заставилъ онъ о себѣ говорить только за послѣднее, сравнительно весьма короткое время. Не такъ давно, отмѣчая теоретическую неразработанность исключительнаго экономизма въ исторіи, намъ пришлось упомянуть о томъ, что въ одной ученой нѣмецкой книгѣ, въ коей рассматривалось отношеніе исторіи къ другимъ наукамъ, вопросъ о политической экономіи не былъ совсѣмъ затронутъ. Теперь эта книга, — я говорю о „Lehrbuch der historischen Methode“ Эрнста Бернгейма, — вышла вторымъ изданіемъ черезъ пять лѣтъ послѣ перваго, и теперь въ ней впервые только, да и то очень коротко (всего на трехъ-четырехъ страницахъ) рассматривается экономическій матеріализмъ ¹⁾. Еще менѣе заставляла говорить о себѣ эта общая концепція историческаго процесса лѣтъ за десять и болѣе того: собирая и изучая сочиненія по теоріи исторіи для своихъ „основныхъ вопросовъ философіи исторіи“, мы въ массѣ книгъ и статей, съ которыми приходилось знакомиться, не встрѣчали трактатовъ, посвященныхъ исключительно обоснованію

*) См. выше: июль, 5 стр.

¹⁾ Въ книгѣ: James Bonar. Philosophy and political economy in some of their historical relations (London, 1898) объ экономическомъ матеріализмѣ едва упоминается, стр. 345 и слѣд.

той точки зрѣнія, что въ основѣ историческаго процесса лежитъ одинъ процессъ экономическій, да и потомъ, переиздавая названную книгу, не имѣли никакого повода для того, чтобы отмѣтить среди разныхъ историко-философскихъ направленій, сколько-нибудь представленныхъ въ литературѣ по теоріи исторіи, направленіе, сводящее всю культурную и соціальную жизнь къ одной экономической основѣ. Правда, и раньше были историческіе труды, въ коихъ къ той или другой части прошлаго *примѣнялась* такая точка зрѣнія, но не было трактатовъ, въ коихъ *доказывалась* бы ея исключительная истинность, да и всѣ труды, въ коихъ мы находимъ ея примѣненіе, мало чѣмъ отличались отъ общей историко-экономической литературы, не предполагающей непремѣннаго признанія за экономическимъ процессомъ значенія единственной основы всего историческаго процесса. Нужно замѣтить, что и въ настоящее время литература экономическаго матеріализма, какъ ученія, *обосновывающаго себя теоретическимъ образомъ*, весьма незначительна, и въ томъ сравнительно небольшомъ списокѣ книгъ, брошюръ и статей, которыя примыкаютъ къ этому направленію, большая часть посвящена или *популяризаціи* основныхъ положеній экономическаго матеріализма, или *примѣненію* ихъ къ разсмотрѣнію дѣйствительной исторіи, какъ будто истинность исходаго пункта доктрины доказана, обоснована и стоитъ внѣ всякаго спора. Популяризаторы идей экономическаго матеріализма не скрываютъ незначительнаго количества написанныхъ въ его духѣ сочиненій, но, перечисляя ихъ, иногда пристегиваютъ къ нимъ труды, принадлежащіе лишь вообще къ экономическому направленію въ исторіи и лишь косвенно могущіе быть включенными въ такіе списки: экономическій матеріализмъ есть нѣчто весьма опредѣленное, и не всякій историкъ-экономистъ или экономистъ-историкъ долженъ быть непремѣнно представителемъ экономическаго матеріализма (примѣръ — хотя бы тотъ же Роджерсъ). Какая въ этомъ отношеніи разница съ дарвинистической литературой, въ которой обосновываются, разрабатываются теоретически, популяризуются и примѣняются къ объясненію фактовъ принципы, завоевавшіе въ короткое время весь ученый міръ! Популяризаторы экономическаго матеріализма сравниваютъ это ученіе съ ученіемъ Дарвина: одно, по ихъ словамъ, совершило переворотъ въ біологіи, другое произвело точно такой же переворотъ въ соціологіи, но они забываютъ только одну вещь, что у новаго біологическаго ученія *есть основная книга* („О происхожденіи видовъ“ Дарвина), тогда какъ у экономическаго матеріализма *такой книги нѣтъ*, и это, между прочимъ, заявилъ, какъ

мы увидимъ, одинъ изъ защитниковъ основной точки зрѣнія этого исторіологическаго ученія. Если даже признавать дарвинизмъ не вполне научной теоріей, а только гипотезой, то и тогда преимущество на его сторонѣ: ученіе Дарвина представляетъ собою стройную систему, въ коей главныя положенія постоянно обосновываются и рассматриваются всѣ возраженія, какія можно только предвидѣть, тогда какъ въ экономическомъ матеріализмѣ мы находимъ только общія положенія, принимаемыя за аксіомы, и онѣ не только теоретически не обосновываются, но даже не защищаются противъ всѣхъ тѣхъ возраженій, которыя долженъ предусматривать всякій, кто только желаетъ ввести въ науку сколько-нибудь новую, непривычную мысль. Во всякомъ случаѣ мы констатируемъ только фактъ: теоретическая часть литературы экономическаго матеріализма крайне незначительна, и еслибы даже было неизмѣримо больше популяризацій и примѣненій этой исторіологической концепціи, это не могло бы восполнить недостатка основного труда, каковымъ, напр., является для позитивизма „Курсъ“ Конта или для дарвинизма „Происхожденіе видовъ“.

Сущность экономическаго матеріализма сводится къ двумъ положеніямъ: по первому, основа всей культурно-соціальной жизни есть не что иное, какъ экономическая структура общества, а по второму—весь историческій процессъ долженъ получить свое объясненіе въ борьбѣ, происходящей между разными классами общества на почвѣ экономическихъ интересовъ. Эти два положенія были впервые сформулированы Карломъ Марксомъ и приняты потомъ его послѣдователями; но ихъ, собственно говоря, не слѣдуетъ отождествлять со всѣмъ ученіемъ Маркса. Мы, во-первыхъ, еще увидимъ, что историко-философская теорія Маркса была не чѣмъ инымъ, какъ внесеніемъ въ діалектическій эволюціонизмъ идеалиста Гегеля—чисто матеріалистическаго содержанія, но ни гегельянское отождествленіе исторіи съ діалектическимъ процессомъ не требуетъ непременно экономическаго ея пониманія, такъ какъ у Гегеля этотъ процессъ понимался въ чисто психологическомъ смыслѣ; ни признаніе экономики за основу исторической жизни, въ свою очередь, не требуетъ непремѣннаго разсмотрѣнія исторіи съ точки зрѣнія діалектическаго процесса, какъ это доказывается примѣромъ Роджерса, не имѣющаго ничего общаго съ гегельянствомъ, и какъ это было пояснено однимъ изъ сторонниковъ ученія, который указалъ на то, что гегельянскій принципъ оказалъ вліяніе лишь на форму, а не на содержаніе ученія Маркса ¹⁾. Во-вторыхъ, нужно строго различать *историческую*

¹⁾ Weisengrün, Verschiedene Geschichtsauffassungen. Leipzig, 1890. Стр. 21 и слѣд.

концепцію и экономическое учение Маркса. Сводя послѣднее къ теоріи прибавочной стоимости и образованія капитала, мы можемъ признавать эту теорію безусловно вѣрною, но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы былъ вѣренъ общій его взглядъ на всю исторію, какъ на продуктъ однихъ экономическихъ отношеній, и наоборотъ, согласіе съ тѣмъ, что весь историческій процессъ вполне объяснимъ при помощи однихъ экономическихъ отношеній, еще не обязываетъ принимать экономической теоріи Маркса, какъ это и случилось съ Лоріа, о коемъ у насъ рѣчь будетъ еще впереди: скажемъ только, что Лоріа—экономическій матеріалистъ, но не только не марксистъ, а даже антагонистъ Маркса. Учение Маркса о прибавочной стоимости и о способѣ образованія капитала, лежащее въ основѣ его практическихъ требованій социализма, есть именно учение экономическое, созданное для того, чтобы объяснить чисто экономическія явленія въ ихъ сосуществованіи и послѣдовательности, и принятіе или, наоборотъ, отверженіе ихъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ зависѣть отъ рѣшенія вопроса о томъ, какъ слѣдуетъ представлять себѣ происхожденіе и развитіе религіи, философіи, морали, права, государства и какъ понимать движущія силы исторической жизни. Можно вполне слѣдовать Марксу въ его экономическихъ взглядахъ, не принимая его историческаго міросозерцанія, т.-е. не думая, что экономіей объясняется вся культурная и социальная жизнь человѣчества, и можно, повторяемъ, стоять на такой точкѣ зрѣнія, но совершенно инымъ образомъ, чѣмъ Марксъ, понимать сущность экономическихъ отношеній капиталистическаго періода. Однимъ словомъ, марксизмъ и экономическій матеріализмъ не должны отождествляться, и тотъ, кто думаетъ, что экономическое учение Маркса держится и падаетъ вмѣстѣ съ его общей исторической концепціей,—глубоко заблуждается: авторъ „Капитала“ обосновалъ свою экономическую теорію своей книгой, которая, дѣйствительно, совершила переворотъ въ политической экономіи,—и обосновалъ независимо отъ своей общей концепціи исторіи, наоборотъ, оставшейся у него необоснованною. Поэтому и критиковать экономическій матеріализмъ, какъ историко-философскую концепцію, можно, совсѣмъ не касаясь того, что составляетъ существо политико-экономической доктрины Маркса.

Эту свою доктрину Марксъ противопоставлялъ—и вмѣстѣ съ нимъ противопоставляютъ его сторонники—буржуазной политической экономіи; но экономическій матеріализмъ противопоставляется его сторонниками идеалистическому пониманію исторіи. На эту именно точку зрѣнія и мы должны стать въ своей критикѣ (при-

чемъ напомнимъ, что, по нашему мнѣнію, оба міросозерцанія или одинаково истинны, когда объясняютъ лишь разныя стороны исторіи, или одинаково ложны, когда стремятся объяснить всю исторію). Дѣйствительно, на экономическій матеріализмъ въ исторіи мы имѣемъ право смотрѣть какъ на одностороннюю реакцію противъ другой односторонности—объясненія историческаго процесса изъ одного духовнаго начала. Раньше, чѣмъ произошло сближеніе исторіи съ политической экономіей и юриспруденціей, произошло ея сближеніе съ философій, и подъ влияніемъ философіи образовался тотъ взглядъ на исторію, что главное въ ней, основное и движущее есть движеніе идей, умственное развитіе, жизнь человѣческаго духа. Такой взглядъ въ XIX вѣкѣ былъ естественнымъ наслѣдіемъ, доставшимся ему отъ прошедшаго столѣтія, недаромъ называемаго „философскимъ вѣкомъ“, отъ эпохи „просвѣщенія“, прославлявшаго „успѣхи человѣческаго ума“, видѣвшаго источникъ общественныхъ золъ въ невѣжествѣ, суевѣріяхъ и фанатизмѣ, полагавшаго, что, сдѣлавъ людей просвѣщеннѣе, мы сдѣлаемъ ихъ и счастливѣе: въ XVIII столѣтіи совершалась великая умственная работа, накоплялись знанія, шла перестройка міросозерцанія, происходилъ пересмотръ нравственныхъ и общественныхъ понятій, и возможность общественныхъ переменъ объяснялась изъ простаго несоотвѣтствія старыхъ отношеній съ новыми идеями. Въ основѣ историческаго процесса мыслились такимъ образомъ умственныя переменны: исторія была понята какъ движеніе мысли, какъ исторія идей, и эта концепція сдѣлалась господствующею въ философій исторіи первой половины XIX в. Съ такой именно точки зрѣнія, съ „предвзятою мыслью“, что „разумъ господствуетъ въ исторіи“, сдѣлана была грандіозная попытка обозрѣнія всемірно-историческаго процесса въ „Философіи исторіи“ Гегеля. Извѣстно, что этотъ разумъ, мысль, идею онъ олицетворялъ въ видѣ „всемірнаго духа“ и сущность исторіи понималъ какъ постепенное познаваніе послѣднимъ своей сущности. Отъ этого процесса, идейнаго по самому своему существу, Гегель ставилъ въ зависимость и существенныя переменны политическія. На Востоцѣ духъ не сознаетъ своей сущности, каковою является свобода, и здѣсь свободенъ одинъ, права всѣхъ неизвѣстны; въ древнемъ мірѣ духъ сознаетъ свою сущность, но подъ извѣстными условіями, и свободны только нѣкоторые; лишь въ новомъ мірѣ духъ пришелъ къ ясному сознанію своей сущности, и свободными сдѣлались всѣ. Историческое построеніе Гегеля было произвольно, фантастично; это не исторія, какова она есть, а какая-то символика исторіи, но въ этомъ

построеніи важенъ для насъ принципъ, дѣлающій изъ идейнаго процесса самую основу исторіи. Другая, равносильная попытка философіи исторіи сдѣлана была Контомъ. Онъ стоялъ въ рѣзкой противоположности къ Гегелю, презиралъ метафизику, т.-е. именно то, чѣмъ занимался Гегель, и отводилъ ей промежуточное мѣсто между теологическимъ и позитивнымъ фазисами умственного развитія. Извѣстна формула Конта, которой онъ придавалъ значеніе основного закона историческаго развитія: умъ человѣческій проходитъ черезъ три стадіи въ объясненіи вѣдѣній природы сначала дѣйствіемъ сверхъестественныхъ агентовъ, потомъ проявленіемъ въ нихъ нѣкоторыхъ сущностей (*entités*), и наконецъ посредствомъ научныхъ законовъ. Эту-то формулу онъ положилъ въ основу собственнаго своего построенія философіи исторіи. И тутъ, значить, за основу принятъ процессъ интеллектуальный, но сверхъ того въ зависимость отъ идейныхъ перемѣнъ Контъ поставилъ и процессъ перемѣнъ общественныхъ, хотя бы, напирѣмъ, въ той своей формулѣ, по которой жрецамъ, философамъ и ученымъ, какъ духовнымъ вождямъ общества на трехъ ступеняхъ его развитія, ставятся въ соотвѣтствіе, какъ вожди свѣтскіе,—воины, юристы и индустріалы. На что ужъ Бокль былъ „натуралистъ въ исторіи“, замѣняя философію естественными науками, психологію—статистической ариѳметикой и т. п., но и онъ проповѣдовалъ, однако, что „прогрессъ человѣчества зависитъ отъ успѣха, съ которымъ разрабатываются законы явленій, и отъ мѣры распространенія этихъ знаній“, т.-е. опять умственный процессъ, явленіе духовнаго порядка полагалось у него въ основу самыхъ важныхъ историческихъ перемѣнъ. И въ частности такой крупный историческій переворотъ, какимъ была французская революція, объяснялся у Бокля чуть не исключительно вліяніемъ тѣхъ новыхъ идей, которыя вырабатывались изученіемъ природы въ предшествующую эпоху. Если такимъ образомъ теоретически выдвигалась на первый планъ „роль идей“ въ исторіи, то съ другой—и историки отдѣльныхъ народовъ, эпохъ и явленій считали своею обязанностью все болѣе и болѣе обращать вниманіе на идейную, духовную сторону жизни, на міеологію и религію, на философію и науку, на литературу и искусство, на моральныя и политическія ученія, на идейные принципы, лежавшіе въ основѣ той или другой политической формы, составлявшіе подкладку тѣхъ или другихъ юридическихъ нормъ. Идейная жизнь народа, исторія его настроеній проявляется въ литературѣ, и литература сдѣлалась фокусомъ, въ который историки стали собирать всѣ отдѣльные лучи умственной жизни. Каждый знаетъ,

кто только читалъ извѣстную „Исторію“ Шлоссера, какое мѣсто отводилъ онъ литературѣ въ своихъ общихъ историческихъ трудахъ, хотя бы литература и не была у него органически слита со всѣмъ остальнымъ. Краснорѣчивѣе же другихъ о значеніи литературы для пониманія исторіи, какъ мы уже видѣли выше, говорилъ Тэнъ, рекомендуя въ литературѣ искать великую душу исторіи, ея внутреннее содержаніе, и провозглашая, что задача исторіи, какъ науки, есть задача психологическая. И въ своемъ крупномъ трудѣ по исторіи французской революціи, онъ остается вѣренъ себѣ: все существенное въ этой эпохѣ объясняется изъ того вліянія, какое отвлеченныя идеи философіи XVIII в. оказывали на разгоряченныя головы французскаго народа. Мы съ намѣреніемъ взяли здѣсь столь несходныхъ мыслителей, нарочно сопоставили Гегеля и Конта, нарочно послѣ Бокля назвали Тэна. Гегель былъ убѣжденный метафизикъ, тогда какъ для Конта названіе метафизика было бы чуть не браннымъ словомъ; между натуралистомъ Боклемъ, ставившимъ человѣка въ зависимость отъ внѣшней природы, и психологомъ Тэномъ, искавшимъ въ духовныхъ свойствахъ расы объясненія исторіи цѣлыхъ народовъ, разница тоже большая, но всѣ они,—и Гегель, и Контъ, и Бокль, и Тэнъ,—были какъ бы согласны между собой въ той основной идеѣ, что процессъ историческій сводится главнымъ образомъ къ перемѣнамъ, происходящимъ въ духовной сферѣ жизни.

Эта общая концепція вѣрна, однако, только на половину, и ея несогласіе съ дѣйствительностью заключалось въ томъ, что выдавалась она за полную формулу историческаго процесса. Экономическій матеріализмъ явился на смѣну къ этой концепціи, но и въ немъ мы имѣемъ дѣло лишь съ частью истины, а не со всею истинною. Реакція противъ психологическаго идеализма вытекла, однако, не изъ одного только діалектическаго процесса мысли, стремящейся къ истинѣ, путемъ отрицанія прежнихъ моментовъ процесса, но и изъ того пониманія жизни, которое дано было самимъ движеніемъ жизни. Къ серединѣ XIX в. историческій опытъ показалъ, что источникъ социальныхъ золъ заключался не въ одномъ недостаткѣ просвѣщенія, не въ одномъ недостаткѣ политической свободы, но и въ ненормальностяхъ экономическаго устройства. Экономическій вопросъ сталъ доминировать въ практической жизни, и это должно было отразиться на философскомъ пониманіи исторіи.

Мы и рассмотримъ теперь происхожденіе экономическаго матеріализма.

VII.

Въ тѣхъ немногихъ сочиненіяхъ, въ коихъ мы нашли кое-какія данныя и соображенія по вопросу о происхожденіи экономического матеріализма, родоначальниками коего являются Карлъ Марксъ и его другъ Энгельсъ, указывается вообще на то, что ученіе это имѣетъ свой корень, съ одной стороны, въ Гегелевой философіи, съ другой—во французскомъ социализмѣ первой половины нынѣшняго столѣтія. Самъ Энгельсъ,—вообще, замѣтимъ, гораздо больше, нежели Марксъ, занимавшійся мыслью объ экономической подкладкѣ всего историческаго процесса,—указывалъ и, даже можно сказать, особенно напиралъ на то, что экономическій матеріализмъ есть не что иное, какъ замѣна *идеалистическаго* содержанія историко-философской формулы Гегеля—содержаніемъ *материалистическимъ*, подобно тому, какъ и все ученіе Маркса представляется имъ въ видѣ замѣны прежняго *утопическаго* социализма французовъ—социализмомъ *научнымъ*, основаннымъ на Гегелевой идеѣ развитія. Намъ еще придется говорить объ этомъ взглядѣ на происхожденіе экономического матеріализма, высказанномъ однимъ изъ его родоначальниковъ, а теперь, отмѣчая его, обратимъ вниманіе на то, что авторы, писавшіе объ экономическомъ матеріализмѣ за послѣднее время, стали нѣсколько отступать отъ такого пониманія дѣла. Что гегельянство и ранній социализмъ играли большую роль въ генезисѣ экономического міросоверпанія, въ этомъ, конечно, не можетъ быть никакого сомнѣнія, но вопросъ о томъ, какова была относительная роль каждого изъ этихъ источниковъ, можетъ еще подлежать спору. Новѣйшіе авторы, коимъ приходилось высказываться по вопросу, все болѣе и болѣе, какъ мы еще увидимъ, склоняются къ той мысли, что связь между гегельянствомъ и экономическимъ матеріализмомъ не *реальная*, а *формальная*, и они въ этомъ отношеніи совершенно правы, ибо у Гегеля Марксъ и Энгельсъ заимствовали пониманіе того, *какъ* совершается исторія, а не того, *съ чѣмъ* она заключается: можно думать, что существенное содержаніе исторіи заключается въ экономическомъ процессѣ, вовсе не раздѣляя гегельянскаго воззрѣнія на этотъ процессъ, какъ на діалектическій, и наоборотъ, можно понимать этотъ процессъ діалектически, вглядывая въ него и не-экономическое содержаніе, какъ это доказывается философіей исторіи самого Гегеля и его многочисленныхъ послѣдователей, кромѣ Маркса и Энгельса. Притомъ новѣйшіе послѣдователи экономического матеріализма и не придаютъ зна-

ченія гегельянской его окраскѣ у его родоначальниковъ. Совершенно также и въ специальной области Маркса, т.-е. въ политической экономіи, самыя важныя его идеи могутъ получать признание безъ всякаго обязательства со стороны признающаго непременно принять все то, что въ теоріи Маркса носить слѣды гегельянскаго происхожденія. Одинъ изъ современныхъ теоретиковъ исторіи, весьма основательный ученый, именно Бернгеймъ, о которомъ намъ пришлось уже упомянуть, замѣчаетъ, что хотя при громадной начитанности Маркса и трудно опредѣлить источники его историко-философской концепціи, тѣмъ не менѣе у него оказывается наиболѣе точекъ соприкосновенія съ французскими социалистами и философами исторіи,—и при этомъ Бернгеймъ едва упоминаетъ въ подстрочномъ примѣчаніи о связи воззрѣнія Маркса съ гегельянствомъ, отсылая за подробностями къ книгѣ Барта, о которой у насъ рѣчь будетъ впереди. И другіе новѣйшіе писатели сильнѣе подчеркиваютъ именно зависимость Маркса отъ французскихъ социалистовъ и историковъ: отъ нихъ идетъ, дѣйствительно, самое главное—пониманіе общества и исторіи на чисто экономической подкладкѣ. Съ другой стороны, экономическій матеріализмъ въ исторіи сдѣлался своего рода историческимъ догматомъ современной нѣмецкой социаль-демократіи, одинъ изъ органовъ коей („Unsere Zeit“) въ значительной степени содѣйствовалъ распространенію идеи экономического матеріализма въ Германіи. Но и тутъ мы тоже встрѣчаемся не съ такою связью между экономическимъ матеріализмомъ и социализмомъ, которая вездѣ и всегда оставалась бы неразрывною. Упоминая объ одномъ защитникѣ экономического матеріализма (о Вейсенгрюнѣ, на которомъ мы остановимся подробнѣе ниже), все тотъ же Бернгеймъ, отведшій разсмотрѣнію этого направленія три страницы, отмѣчаетъ, однако, что указываемый имъ защитникъ отрѣшаетъ экономическую концепцію исторіи отъ ея специально социалистической тенденціи (löst diese Theorie von ihrer speciell socialistischen Tendenz los). Равнымъ образомъ и г. Николаевъ, въ книгѣ своей „Активный прогрессъ и экономическій матеріализмъ“ (Москва, 1892), относясь весьма сочувственно къ „гипотезѣ“, замѣчаетъ, что партійное ея происхожденіе—случайность, и что гипотеза „могла появиться съ такимъ же удобствомъ въ другой партіи и еще лучше внѣ партій“. Дѣйствительно, для того, чтобы признавать экономическую подкладку исторіи, не нужно быть непременно социалистомъ, а съ другой стороны, и социализмъ какъ таковой, т.-е. какъ ученіе о *перестройкѣ социальной жизни* на новыхъ экономическихъ началахъ, не требуетъ необходимо, чтобы внѣ эконо-

мических началъ ничего другого не принималось для объясненія сущности историческаго процесса.

Еще болѣе мы убѣдимся, что экономическій матеріализмъ мыслимъ безъ социалистической окраски (какъ мыслимъ и социализмъ безъ экономического матеріализма), если бросимъ даже самый бѣглый взглядъ на происхожденіе обѣихъ основныхъ историческихъ идей Маркса-Энгельса.

Экономическая концепція общества возникла вмѣстѣ съ политической экономіей, т.-е. впервые была формулирована фیزیократами и Адамомъ Смитомъ, идеи конихъ социалистами отвергаются. Если ранѣе всѣхъ положилъ эту концепцію въ основу всей социологіи Сентъ-Симонъ, то не нужно забывать, что его „утопическій социализмъ“ былъ отвергнутъ представителями экономического матеріализма. Съ другой стороны, социализмъ отвергался Роджерсомъ, который, однако, очень близокъ къ экономическому матеріализму, тогда какъ Сентъ-Симонъ, мечтавшій о перерожденіи человѣчества посредствомъ „новаго христіанства“ и вмѣстѣ съ Контомъ признававшій великую движущую силу за идеями, былъ очень далекъ отъ экономического объясненія исторіи, хотя и выдвинулъ весьма значительно впередъ экономическую сторону исторіи. Другая основная идея Маркса-Энгельса — та, что исторія въ послѣднемъ анализѣ сводится къ борьбѣ классовъ. Эту идею Марксъ нашелъ во французской исторіографіи временъ реставраціи и іюльской монархіи. Въ эпоху реставраціи во Франціи шла борьба между реакціонной земледѣльческой аристократіей и либеральной капиталистической буржуазіей, впервые показавшей свою силу въ 1789 г., и съ этой точки зрѣнія многіе писатели понимали не только свое время или сравнительно недавнюю революцію, но и готовы были сводить къ ней чуть не все прошлое Франціи. Іюльская революція дала побѣду буржуазіи, но вслѣдъ затѣмъ возникъ антагонизмъ между буржуазіей и пролетаріатомъ, съ точки зрѣнія котораго равнымъ образомъ стала пониматься и изображаться какъ самая эпоха, такъ и революція конца XVIII в. Припомнимъ, что „Организація труда“ (1840) и „Исторія десяти лѣтъ“ (1841—1844) Луи Блана вышли почти одновременно, и что во введеніи къ этому своему труду онъ далъ знаменитое опредѣленіе буржуазіи и народа, борьбу между ними и изобразилъ впослѣдствіи въ своей „Исторіи французской революціи“ (1847 и слѣд.). Концепція исторіи, какъ борьбы классовъ, внушалась французскимъ писателямъ двадцатыхъ, тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ самою дѣйствительностью, но эта борьба понималась въ социалистическомъ освѣщеніи лишь одною частью

тогдашнихъ историковъ и публицистовъ; другая ихъ часть была далека отъ того, чтобы классовою борьбѣ придавать именно такой характеръ. Съ другой стороны, можно указать на одного новѣйшаго социолога, смотрящаго на исторію именно съ точки зрѣнія борьбы между отдѣльными социальными группами, внутри коихъ существуетъ связь интересовъ и изъ которыхъ однѣ господствуютъ надъ другими,—социолога этого зовутъ Гумпловичъ, а его книга имѣетъ заглавіе „Grundriss der Sociologie“¹⁾, а между тѣмъ Гумпловичъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ сойти за социалиста. Мало того: понимая общество не иначе, какъ въ смыслѣ господства одной социальной группы надъ другими, и полагая, что вся внутренняя исторія общества сводится къ борьбѣ между такими группами, обособленными посредствомъ своихъ интересовъ, Гумпловичъ видитъ въ этомъ своего рода законъ природы, въ силу чего и общество, и исторія должны сохранить такой характеръ на вѣчныя времена, тогда какъ социализмъ соединяется съ вѣрою въ то, что междуклассовой борьбѣ долженъ наступить конецъ, и съ этой стороны идея классовою борьбы въ исторіи человечества у социалистическихъ представителей экономическаго матеріализма даже не играетъ такой основной роли, какъ у Гумпловича, который, какъ мы сказали, отнюдь не социалистъ.

Такимъ образомъ, если экономическій матеріализмъ, какъ таковой, возникъ на почвѣ гегельянства и социализма, то изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы *въ смыслѣ историко-философской доктрины* онъ долженъ былъ разсматриваться въ связи съ гегельянствомъ и социализмомъ, такъ какъ сведеніе всей социальной жизни къ экономическимъ факторамъ можетъ быть мыслимо, а потому можетъ доказываться (хотя, думаемъ мы, и не можетъ быть доказано) и оспариваться безъ всякаго отношенія къ философіи Гегеля или къ стремленіямъ социальной демократіи, хотя послѣдняя и включила бы экономическій матеріализмъ въ число своихъ теоретическихъ основаній. Настоящую основу такой исторической концепціи мы можемъ найти лишь въ односторонне-материалистическомъ взглядѣ на жизнь, за которымъ должны признать право на существованіе въ научной теоріи исторіи лишь постольку, поскольку внесеніемъ этой точки зрѣнія устраняется прежній односторонне-идеалистическій взглядъ. На этомъ переворотѣ сказалось вліяніе самой жизни, конечно, но теоретическая мысль должна

¹⁾ См. о ней въ соч. нашемъ „Сущность историческаго прогресса и роль личности въ исторіи“.

стоять выше жизни, безъ чего послѣдняя не можетъ получить вполне разумнаго направленія.

VIII.

Обратимся теперь къ общей характеристикѣ теоретическихъ воззрѣній Маркса и Энгельса въ области исторіи.

Нами только-что было отмѣчено двойное вліяніе гегельянства и французскаго социализма на Маркса и было указано, что первое подѣйствовало на него главнымъ образомъ формальною своею стороною. Въ частности, по вопросу о томъ, что составляетъ первооснову исторіи, онъ примкнулъ къ Фейербаху, одному изъ наиболѣе видныхъ представителей крайней лѣвой гегельянства, учившему, что человѣкъ создаетъ идею, а не идея человѣка: уже въ 1844 г. Марксъ объявилъ въ „Deutsch-französische Jahrbücher“, издававшихся имъ вмѣстѣ съ Руге, что „человѣкъ создаетъ религію, а религія не создаетъ человѣка“, — взглядъ, который могъ легко быть примѣненъ и къ другимъ элементамъ культуры. Съ другой стороны, у французскаго социализма Марксъ заимствовалъ свой взглядъ на человѣка преимущественно въ его отношеніи къ природѣ и къ средствамъ воздѣйствія на природу, т.-е. по отношенію къ его роли въ производствѣ. Въ 1847 г., далѣе, вышла въ свѣтъ его „La misère de la philosophie“, направленная, какъ извѣстно, противъ Прудона, и въ этомъ сочиненіи, между прочимъ, проводится та мысль, что экономія не только не зависитъ отъ политики, но сама даже опредѣляетъ мораль и религію. Сущность воззрѣній Маркса въ послѣднемъ отношеніи сводится къ тому, что во всѣхъ религіяхъ выражается зависимость человѣка отъ природы, но что экономическое развитіе должно привести къ исчезновенію религіи, и что вообще съ такой точки зрѣнія слѣдуетъ понимать научнымъ образомъ исторію религіи. Въ приложеніи къ всемірной исторіи эта концепція приводила Маркса къ такой приблизительно формулѣ: на Востокѣ и въ классической древности, гдѣ человѣкъ производилъ конкретныя цѣнности, не принимавшія абстрактной формы товаровъ, человѣкъ и самъ былъ конкретнѣе, и боговъ своихъ точно также мыслилъ конкретнѣе, чѣмъ въ новое время, когда продукты принимаютъ абстрактную, безличную форму товаровъ. По мнѣнію Маркса, наиболѣе подходящею религіозною формою для общества, состоящаго изъ производителей товаровъ, и является потому христіанство съ своимъ культомъ отвлеченнаго человѣка,

особенно въ своемъ новомъ видѣ, протестантизма, деизма и т. п. Такимъ образомъ въ образованіи религіи Марксъ видѣлъ процессъ, не имѣющій никакого самостоятельнаго значенія рядомъ съ процессомъ экономическимъ, и полагалъ, что процессъ религіозный является чисто производнымъ по отношенію къ этому послѣднему. Черезъ годъ послѣ того, какъ высказаны были такія мысли о зависимости такого элемента культуры, какъ религія, отъ экономіи, именно въ 1848 г., Марксъ и Энгельсъ, уже тогда раздѣлявшій его взгляды, издали знаменитый „Коммунистическій манифестъ“, въ которомъ эти мысли обобщаются, хотя, конечно, и не получаютъ большого развитія въ виду того, что авторы „Манифеста“ вовсе не думали, издавая его въ свѣтъ, излагать новую историческую теорію, такъ какъ цѣль ихъ была иная, чисто боевая въ общественномъ смыслѣ, какъ это и должно быть понятно, разъ мы вспомнимъ, когда изданъ былъ этотъ документъ и каково было его содержаніе. Тѣмъ не менѣе стоить отмѣтить наиболѣе для насъ интересныя мѣста этого воззванія. „Исторія, — говорится въ самомъ началѣ „Манифеста“, — всѣхъ донинѣ существовавшихъ обществъ есть исторія борьбы классовъ“... „Трудно ли понять, — сказано далѣе въ другомъ мѣстѣ, — что съ образомъ жизни людей, съ ихъ общественными отношеніями, съ ихъ общественнымъ положеніемъ мѣняются также ихъ представленія, воззрѣнія, понятія, словомъ, все ихъ міросозерцаніе? Что же доказываетъ исторія идей, если не то, что умственная дѣятельность преобразуется вмѣстѣ съ матеріальной? Господствующими идеями даннаго времени всегда были идеи господствующаго класса. Говорятъ объ идеяхъ, которыя создаютъ революціонное настроеніе во всемъ обществѣ; этимъ выражаютъ тотъ фактъ, что внутри стараго общества образовались элементы новаго строя, что рядомъ съ разрушеніемъ стараго образа жизни идетъ разложеніе старыхъ идей“. Вотъ все существенное по интересующему насъ предмету, что только и можно найти въ „Манифестѣ“. Заявляя, что „исторія всѣхъ донинѣ существовавшихъ обществъ основывалась на противоположности классовъ, принимавшей въ различныя эпохи различныя виды, „Манифестъ“ прочитъ исчезновеніе тѣхъ формъ общественного сознанія, въ коихъ оно до сихъ поръ всегда вращалось, разъ произойдетъ полное уничтоженіе противоположности классовъ (другими словами, основа исторіи не принимается здѣсь за нѣчто вѣчное). Далѣе, въ предисловіи къ сочиненію „Zur Kritik der politischen Oekonomie“ (1859) Марксъ указываетъ на то, что „въ своей общественной жизни люди наталкиваются на извѣстныя, необходимыя, не зави-

сящія отъ ихъ воли отношенія, именно на отношенія производства, соответствующія той или другой ступени развитія производительныхъ силъ. Вся совокупность этихъ отношеній производства,—продолжаетъ онъ,—составляетъ экономическую структуру обществъ, реальный базисъ (*die reale Basis*), на которомъ возвышается юридическая и политическая надстройка (*Ueberbau*) и которому соответствуютъ извѣстныя формы общественнаго сознанія“. Отсюда онъ выводитъ, что „соответствующій матеріальной жизни способъ производства обуславливаетъ собою процессы социальной, политической и духовной жизни вообще. Не понятія,—поясняетъ онъ,—опредѣляютъ общественную жизнь людей, но, наоборотъ, ихъ общественная жизнь обуславливаетъ собою ихъ понятія... Правовыя отношенія,—прибавляетъ онъ еще,—равно какъ и формы государственной жизни, не могутъ быть объяснены ни сами собою, ни такъ называемымъ общимъ развитіемъ чловѣческаго духа, но коренятся въ матеріальныхъ условіяхъ жизни, совокупность которыхъ Гегель, по примѣру англичанъ и французовъ XVIII-го столѣтія, обозначилъ именемъ гражданскаго общества; анатомію же гражданскаго общества нужно искать въ его экономіи... На извѣстной ступени своего развитія матеріальныя производительныя силы общества приходятъ въ столкновеніе съ существующими отношеніями производства, или (говоря юридическимъ языкомъ) съ имущественными отношеніями, внутри которыхъ онѣ до тѣхъ поръ вращались. Изъ формъ, способствующихъ развитію производительныхъ силъ, эти имущественныя отношенія дѣлаются его тормазами... Съ измѣненіемъ экономическаго основанія измѣняется болѣе или менѣе быстро вся возвышающаяся на немъ огромная надстройка. Ни одна общественная формація не исчезаетъ раньше, чѣмъ разовьются всѣ производительныя силы, которымъ она предоставляетъ достаточно простора; и новыя, высшія отношенія производства никогда не занимаютъ мѣста старыхъ раньше, чѣмъ выработаются въ нѣдрахъ стараго общества матеріальныя условія ихъ существованія“. Вотъ все самое важное и существенное въ теоріи, выраженное словами самого Маркса; съ одной стороны, это—представленіе всей исторіи, какъ борьбы классовъ на почвѣ экономическихъ интересовъ, съ другой—представленіе экономической структуры общества какъ базиса, а всего остального—какъ надстройки; наконецъ, представленіе историческихъ перемѣнъ какъ перемѣнъ, обуславливающихъ измѣненіями исключительно экономическаго свойства. Тутъ мы находимъ, выражаясь терминами Конта, и социальную статистику, и социальную динамику, т.-е. и теорію обще-

ства, и теорію историческаго процесса. Эта послѣдняя основывается у Маркса на понятіи развитія противорѣчій каждой формы производства, причемъ развитіе это объявляется единственнымъ путемъ, по которому идетъ разложеніе и пересложеніе этихъ формъ, и все это въ духѣ діалектики Гегеля. Эмпирическимъ субъектомъ этого діалектическаго процесса родоначальникъ экономическаго матеріализма считаетъ формы собственности, которыя суть лишь простыя юридическія выраженія формъ производства. Что касается до эмпирической причины процесса, то для Маркса она заключается въ противоположныхъ интересахъ общественныхъ классовъ ¹⁾. Весьма понятно, что если формальные элементы исторической теоріи Маркса ведутъ свое начало отъ Гегеля, то матеріальными онъ обязанъ главнымъ образомъ Луи Блану ²⁾, и вся оригинальность теоріи заключается именно въ своеобразномъ сочетаніи и тѣхъ и другихъ элементовъ. Первоначально господствовалъ коммунизмъ, смѣнившійся своею противоположностью—частною собственностью, но и послѣдняя переходитъ, посредствомъ собственной своей внутренней и неизбежной діалектики, въ свою же противоположность.

Таково было происхожденіе и развитіе историко-теоретическихъ идей Маркса. Мы видѣли, какъ онъ применилъ сначала въ философіи къ крайней лѣвой гегельянства, удержавъ, однако, склонность, характеризующую всѣхъ гегельянцевъ, совершенно произвольно построить исторію. Вопросъ о религіи игралъ весьма видную роль въ философіи Гегеля, и рѣшая его вообще въ томъ направленіи, которое особенно прославило Фейербаха, Марксъ чисто діалектическимъ путемъ, а не на основаніи культурно-историческаго и сравнительнаго изученія формъ религіознаго сознанія, въ частности поставилъ послѣднія въ зависимость отъ экономіи, никогда, однако, научнымъ образомъ не доказавъ этой мысли. Тѣмъ не менѣе найдена была формула, которую очень легко было превратить въ боевой лозунгъ въ начинавшейся социальной борьбѣ. Всякое общественное движеніе стремится себя санкціонировать, ссылаясь для этого на ту или другую идею, которая и дѣлается своего рода догматомъ: въ эпоху реформаціи ссылались на „слово Божіе“, на „евангельскую свободу“ и т. п.; во время революціи—на „естественное право“, на „священные и неотчуждаемыя права человека и гражданина“ и т. п.; и вотъ

¹⁾ Эту идею борьбы классовъ Маркс применилъ къ разсмотрѣнію исторіи Франціи въ 1848—51, въ своемъ сочиненіи „18-ое брюмера Людовика Бонапарта“.

²⁾ Adler, Die Grundlagen der Marx'schen Kritik der bestehenden Volkswirtschaft.

составители „Коммунистическаго Манифеста“ также ссылаются на новое историческое ученіе, которое, однако, не доказывается, а излагается, какъ истина, не подлежащая спору. И въ дальнѣйшихъ своихъ сочиненіяхъ, въ коихъ Марксу приходилось высказываться по вопросу о сущности историческаго процесса, онъ предъявляетъ свое ученіе какъ своего рода аксіому, не требующую дальнѣйшихъ доказательствъ.

Оставляя въ сторонѣ экономическое ученіе Маркса, составляющее главную его силу, и не касаясь перенесенія имъ на объективную исторію трехчленной формулы гегелевой діалектики, которой въ настоящее время никто защищать не станетъ, мы должны подчеркнуть то, что автора „Капитала“, какъ основателя особой историко-философской концепціи, совсѣмъ не приходится ставить на одну доску съ Дарвиномъ, дѣйствительно произведшимъ переворотъ въ области біологическихъ наукъ. Марксъ, оставившій великую книгу въ политической экономіи, не создалъ такой книги для своей теоріи историческаго процесса. Между тѣмъ наиболѣе рьяные сторонники экономическаго матеріализма сравниваютъ значеніе Маркса въ философіи исторіи съ значеніемъ Дарвина въ философіи природы ¹⁾. Энгельсъ, собственно говоря, для самого экономическаго матеріализма сдѣлать больше, чѣмъ Марксъ, но и его сочиненія, относящіяся къ этой историко-философской концепціи, не могутъ разсматриваться какъ труды, въ коихъ идея эта не пропагандировалась бы только и не примѣнялась бы только, какъ вполне доказанная и абсолютная истина, а именно прежде всего доказывалась бы и обосновывалась.

У Энгельса сравнительно съ Марксомъ мы находимъ мало оригинальнаго. Будучи гегельянцемъ по взгляду на исторію, какъ на процессъ чисто діалектическій, считая отрицанія всеобщимъ, всегда и вездѣ дѣйствующимъ и наиболѣе важнымъ закономъ мышленія и бытія (природнаго и историческаго), Энгельсъ видитъ содержаніе исторіи въ процессѣ экономическомъ, какъ и Марксъ. Опѣнивая общее значеніе своего друга въ исторіи, Энгельсъ ставитъ ему въ заслугу главнымъ образомъ два крупныя открытія: матеріалистическое пониманіе исторіи и разоблаченіе тайны капиталистическаго производства. Хотя по первому пункту самъ Энгельсъ высказывался гораздо болѣе, нежели Марксъ, тѣмъ не менѣе, по его собственному заявленію въ предисловіи къ сочиненію о нѣмецкой крестьянской войнѣ ¹⁾, матеріалистическое пони-

¹⁾ См., напр., Gerhard Krause, Die Entwicklung der Geschichtsauffassung bis auf Karl Marx. Berlin, 1891.

маніе исторіи именно имѣеть своимъ родоначальникомъ не его, а Маркса. Въ статьѣ своей о заслугахъ, оказанныхъ Марксомъ наукѣ ¹⁾, онъ на первое мѣсто ставитъ переворотъ, произведенный его другомъ во взглядъ на исторію, какъ на борьбу классовъ.

Но болѣе глубокой, чѣмъ у Маркса, обосновки этого взгляда Энгельсъ не даетъ, если только не считать того, что въ своей извѣстной полемикѣ съ Дюрингомъ онъ стремится доказать научность своего историческаго взгляда, ставя его въ связь съ философіей Гегеля, при чемъ онъ защищаетъ однако не столько экономическій матеріализмъ, сколько социализмъ въ своемъ пониманіи. Въ своемъ сочиненіи: „Herrn E. Düring's Umwälzung der Wissenschaft“, Энгельсъ коснулся именно анти-историчности социальныхъ утопій, коимъ онъ и противопоставляетъ социализмъ научный. „Социализмъ въ представленіи утопистовъ,—говоритъ онъ,—есть выраженіе абсолютной истины, разума и справедливости, и нужно только открыть его, чтобы онъ собственной силою покорилъ весь міръ; а такъ какъ абсолютная истина не зависитъ отъ времени, пространства и историческаго развитія человѣчества, то это уже дѣло чистой случайности, когда и гдѣ она будетъ открыта“. Научное значеніе социализмъ, по его словамъ, могъ получить, лишь ставъ на реальную почву, которую создала философія Гегеля; величайшая же заслуга этой философіи, по опредѣленію Энгельса, „состоитъ въ томъ, что она въ первый разъ представила весь естественный, историческій и духовный міръ въ видѣ процесса, т.-е. изслѣдовала его въ непрерывномъ движеніи, измѣненіи и развитіи и пыталась обнаружить взаимную внутреннюю связь этого движенія и развитія“. Только, прибавляетъ онъ, „уразумѣніе полной ошибочности господствовавшего въ Германіи идеализма должно было неизбежно привести къ матеріализму“, который однако остался все-таки діалектическимъ. Къ этому присоединились обстоятельства времени, и „новые факты заставили подвергнуть всю прежнюю исторію новому изслѣдованію, и тогда выяснилось, что вся она, за исключеніемъ первобытнаго состоянія, была исторіею борьбы классовъ, что эти борющіеся общественные классы являются въ каждый данный моментъ результатомъ условій производства и обмѣна, короче—экономическихъ отношеній своего времени“. Однимъ словомъ, по представленію Энгельса, „Гегель освободилъ отъ метафизики по-

¹⁾ Der deutsche Bauernkrieg.

²⁾ Arbeiter-Kalender за 1878 годъ.

ниманіе исторіи, — онъ сдѣлалъ его діалектическимъ, — но его собственный взглядъ на нее былъ идеалистиченъ по существу. Теперь идеализмъ былъ изгнанъ изъ его послѣдняго убѣжища въ области исторіи; теперь пониманіе исторіи стало матеріалистическимъ; теперь найденъ былъ путь для объясненія человѣческаго самосознанія условіями человѣческаго существованія, вмѣсто прежняго объясненія этихъ условій человѣческимъ самосознаніемъ“.

Въ приведенныхъ словахъ возникновеніе экономическаго матеріализма оправдывается съ точки зрѣнія ложности прежнихъ воззрѣній. Научная *идея* развитія, дѣйствительно, многимъ обязана философіи Гегеля, хотя изъ этого еще не слѣдуетъ, что вѣрна именно Гегелева формула развитія. Съ другой стороны обнаруженіе ошибочности прежняго идеализма не можетъ служить доводомъ въ пользу того, чтобы искать истину въ его противоположности, ибо ошибочность заключалась только въ односторонности. Новое историческое ученіе, дѣйствительно, оказало большую услугу, отерывъ, такъ сказать, борьбу классовъ въ исторіи; но это еще не даетъ наукѣ права утверждать, что вся исторія заключается въ одной этой борьбѣ и что вся эта борьба сводится къ однимъ условіямъ производства и обмѣна.

„Матеріалистическое пониманіе исторіи, — говоритъ еще Энгельсъ, — основывается на томъ положеніи, что производство и обмѣнъ продуктовъ служатъ основаніемъ всякаго общественнаго строя, что въ каждомъ историческомъ обществѣ распредѣленіе продуктовъ, а съ нимъ и образованіе классовъ или сословій зависитъ отъ того, какъ и что производится этимъ обществомъ и какимъ способомъ обмѣниваются произведенные продукты“. Отсюда слѣдуетъ, что „коренныхъ причинъ соціальныхъ перемѣнъ и политическихъ переворотовъ нужно искать не въ головахъ людей, не въ болѣе или менѣе ясномъ пониманіи ими вѣчной истины и справедливости, а въ измѣненіи способовъ производства и обмѣна, другими словами, не въ философіи, а въ экономіи данной эпохи. Пробудившееся сознаніе неразумности и несправедливости существующихъ общественныхъ отношеній служитъ лишь указаніемъ того, что въ способахъ производства и формахъ обмѣна постепенно совершались измѣненія, настолько значительныя, что имъ не соотвѣтствуетъ болѣе порядокъ, выкроенный по мѣркѣ старыхъ экономическихъ условій“. Или вотъ какъ еще Энгельсъ формулируетъ ту же мысль: „экономическій строй общества каждой данной эпохи представляетъ ту реальную почву, свойствами которой объясняется въ послѣднемъ анализѣ вся надстройка, образуемая совокупностью правовыхъ и политическихъ учреждений,

равно какъ и религіозныхъ, философскихъ и прочихъ воззрѣній каждаго даннаго историческаго періода“. Въ этихъ словахъ мы въ сущности находимъ лишь пересказъ мысли Маркса и также въ чисто догматической формѣ. Энгельсъ говоритъ намъ, на чемъ основывается матеріалистическое пониманіе исторіи: это — извѣстныя положенія, которыя сами еще нуждаются въ доказательствахъ, а между тѣмъ Энгельсъ не доказалъ ни одного изъ нихъ, довольствуясь простыми заявленіями въ родѣ того, что будто бы состояніе умовъ такъ-таки не играетъ никакой роли въ общественныхъ измѣненіяхъ. Нельзя еще не упомянуть, что и Энгельсъ смотритъ на „раздѣленіе общества на классы эксплуатирующіе и эксплуатируемые, господствующіе и угнетаемые“ лишь какъ на „необходимое слѣдствіе прежняго недостаточнаго развитія производства“. Но если, по его мнѣнію, такое раздѣленіе и имѣетъ извѣстное историческое оправданіе, то лишь для даннаго періода и при данныхъ условіяхъ: оно, говоритъ онъ, „коренилось въ слабости производства и будетъ сметено полнымъ развитіемъ современныхъ производительныхъ силъ“.

Съ теченіемъ времени Энгельсъ дополнилъ свой взглядъ новыми соображеніями, которыя внесли въ него существенное измѣненіе. Если ранѣе онъ признавалъ за основу матеріальнаго пониманія исторіи только изслѣдованіе экономической структуры общества, то позднѣе онъ призналъ равносильное значеніе и за изслѣдованіемъ семейнаго устройства, что случилось подъ влияніемъ новаго представленія о первобытныхъ формахъ брачныхъ и семейныхъ отношеній, заставившаго его принять въ расчетъ не одинъ только процессъ производства продуктовъ, но и процессъ воспроизведенія человѣческихъ поколѣній. Въ данномъ отношеніи влияние шло въ частности со стороны „Древняго общества“ Моргана ¹⁾. Уже самъ Марксъ хотѣлъ представить выводы изъ изслѣдованій Моргана въ освѣщеніи своего собственнаго пониманія исторіи: Энгельсъ занялся этимъ дѣломъ во исполненіе воли своего покойнаго друга, результатомъ чего было особое сочиненіе о происхожденіи семьи, собственности и государства ²⁾,

¹⁾ Lewis H. Morgan, *Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization*, 1877.

²⁾ Engels, *Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staates in Anschluss an H. Lewis Morgan's Anschauungen*. 1884. Въ 1891 г. вышло 4-е изданіе. До 1891 г. вышли переводы итальянскій (1885), румынскій (1885—86), датскій (1888), а въ 1898 г. появился и французскій переводъ (Frédéric Engels, *L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'état pour faire suite aux travaux de Lewis H. Morgan*).

имѣвшее въ Германіи нѣсколько изданій и переведенное на разные языки. Это весьма любопытная книжка, въ которой мы имѣемъ, однако, дѣло не съ обоснованіемъ матеріалистической теоріи исторіи, — открытой, по словамъ Энгельса, вторично Морганомъ въ Америкѣ черезъ сорокъ лѣтъ послѣ открытія Маркса, — а съ примѣненіемъ этой идеи и къ до-исторической эпохѣ.

IX.

Мы уже упоминали раньше, что лишь за послѣднее, сравнительно очень короткое, время экономическій матеріализмъ заставилъ о себѣ говорить. Въ литературѣ, посвященной выясненію основной его точки зрѣнія, преобладаетъ догматическое къ нему отношеніе, какъ къ вполне установленной теоріи. Но экономическій матеріализмъ начинаетъ обращать на себя вниманіе и критики, не всегда, впрочемъ, отмѣчающей чисто догматическій характеръ всего ученія ¹⁾. Прежде нежели мы перейдемъ къ разсмотрѣнію нѣсколькихъ сочиненій, написанныхъ въ защиту основной мысли ученія, мы остановимся на нѣсколькихъ страницахъ (текста и примѣчаній) интересной книги Павла Барта объ историко-философскихъ воззрѣніяхъ Гегеля и гегельянцевъ до Маркса и Гартмана включительно ²⁾. Понятно, мы не станемъ разбирать здѣсь всю эту книгу, а укажемъ лишь на то, что имѣетъ прямое отношеніе къ нашему предмету.

Марксъ, по словамъ Барта, такъ много носитъ на себѣ слѣдовъ гегельянства *въ формальномъ отношеніи* (in formaler Hinsicht), что его историко-философскія воззрѣнія непременно должны были быть разсмотрѣны въ сочиненіи, посвященномъ вообще разбору гегельянской исторической философіи. Онъ даже смотритъ на Маркса какъ на послѣдняго самостоятельнаго представителя этой школы въ данной области, съ которымъ и прекратилось дальнѣйшее развитіе основного взгляда Гегеля на сущность историческаго процесса. Совершенно вѣрно Бартъ отмѣчаетъ при этомъ еще и то, что на Маркса и Энгельса гегельянство повлияло лишь со стороны ученія о діалектической необходимости всемірно-историческаго процесса, но что подъ влияніемъ Фейербаха оба они усвоили чисто матеріалистическую точку зрѣнія и

¹⁾ Cp. Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode.

²⁾ Die Geschichtsphilosophie Hegel's und der Hegelianer bis auf Marx und Hartmann. Ein kritischer Versuch von Dr. Paul Barth. 1890.

вложили въ логическую формулу вполне эмпирическое содержаніе. Съ этой стороны онъ нападаетъ на одного изъ авторовъ ¹⁾, писавшихъ о марксизмѣ и утверждавшихъ, что матеріалистическая теорія исторіи Маркса вполне оригинальна, за исключеніемъ развѣ только усвоенія имъ историческихъ взглядовъ Луи Блана. Вполнѣ согласно съ истиной понимаетъ Бартъ и то отношеніе, въ какомъ Маресь находился къ историкамъ французской революціи и къ французскимъ социалистамъ. Но для того, чтобы критиковать экономическій матеріализмъ, Барту пришлось выискать въ главныхъ научныхъ трудахъ Маркса отдѣльныя, иногда совершенно отрывочныя замѣчанія, имѣющія то или иное отношеніе къ вопросу, чтобы такимъ путемъ воссоздать въ сколько-нибудь цѣльномъ видѣ историческое міросозерцаніе автора „Капитала“: до такой степени онъ самъ не позаботился вполне развить и разъяснить свои взгляды. Напр., для доказательства того, что и философія находится въ зависимости отъ экономическихъ измѣненій, Бартъ нашелъ у Маркса лишь одно примѣчаніе съ такого рода утвержденіемъ: Декартъ, опредѣляя животныхъ какъ простыя машины, уже отражалъ на себѣ вліяніе начинавшагося въ его время мануфактурнаго періода въ отличіе отъ среднихъ вѣковъ, когда на животныхъ смотрѣли какъ на помощниковъ человека. Всякій, кто только знакомъ съ тѣмъ, какъ возникаютъ и развиваются философскія возрѣнія, признаетъ полную несостоятельность такого объясненія. Вообще, — отмѣчаетъ и этотъ критикъ указываемую всѣми характерную особенность экономического матеріализма, — Маресь и его школа довольствуются весьма немногими, какъ выражается самъ Энгельсъ, „иллюстраціями“ общаго положенія.

Весьма естественно, что нашему автору не стоило большого труда указать на несостоятельность сведенія всѣхъ элементовъ культуры къ одной экономіи. Опираясь, напр., на факты и на выводы авторитетныхъ ученыхъ, онъ доказываетъ, что во многихъ случаяхъ политика опредѣляетъ или обуславливаетъ экономію вопреки утвержденію школы о противномъ. Между прочимъ, онъ приводитъ нѣкоторыя соображенія, основанныя на изслѣдованіяхъ одного изъ лучшихъ теперешнихъ историковъ экономического быта, Инамы-Штернегга ²⁾, который даже формулируетъ такое общее положеніе, что взаимодѣйствіе между политикой и

¹⁾ Adler, Die Grundlagen der Marx'schen Kritik der bestehenden Volkswirtschaft.

²⁾ K. T. v. Inama-Sternegg, Deutsche Wirthschaftsgeschichte bis zum Schluss der Karolingenperiode. 1879.

хозяйствомъ является основной чертой развитія всѣхъ государствъ и всѣхъ народовъ. „Главенство (das Principat) экономіи надъ политикой,—говоритъ Бартъ,—не можетъ быть доказано ни для начала, ни для продолженія исторіи, а скорѣе существуетъ тѣснѣйшее взаимодѣйствіе между обѣими сферами жизни, нѣкоимъ образомъ не оправдывающее уподобленія одной основанію, а другой—надстройкѣ“. „Право,—говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ,—не есть простая надстройка, но имѣетъ существованіе, частью отъ хозяйства независимое, все болѣе и болѣе упрочивающееся съ теченіемъ исторіи и не только подвергающееся вліянію другихъ сторонъ жизни, но и само на нихъ вліяющее ¹⁾. Мы уже видѣли, въ чемъ заключается общій взглядъ Маркса на религію, являющуюся у него точно также лишь функціей экономіи, и, вѣроятно, Барту особенно нетрудно было установить ту истину, что „религія въ происхожденіи своемъ далека отъ экономіи: если,—замѣчаетъ онъ,—позднѣе экономія и могла воздѣйствовать на религію,—что Марксомъ только утверждается, но нигдѣ не доказывается,—то подобнаго рода вліяніе должно быть весьма незначительно“. Наоборотъ, критикъ указываетъ на случаи глубокаго вліянія религіи на экономію, причемъ имѣетъ за себя между прочимъ книгу Феликса: „Entwicklungsgeschichte des Eigenthums“, третій томъ коей (Der Einfluss der Religion auf die Entwicklung des Eigenthums) какъ разъ заключаетъ въ себѣ факты, свидѣтельствующіе о томъ, что религіозныя воззрѣнія въ значительной мѣрѣ опредѣляютъ формы собственности. Наконецъ, Бартъ касается вопроса и о взаимныхъ отношеніяхъ между философіей и экономіей. По Марксу выходитъ, что новое мышленіе было результатомъ измѣненій въ производствѣ, тогда какъ, наоборотъ, уже Декартъ и Бэконъ вѣрно указывали на то, что новые приемы мысли произвели измѣненія въ производствѣ, давъ человѣку сильную власть надъ природой. Кромѣ того, онъ весьма основательно ссылается еще на то, что очень часто „философія опредѣляетъ политику, а чрезъ нее посредственно и экономію“.

Въ критикѣ Барта особенно интересны двѣ страницы, посвященныя разбору взгляда Маркса на діалектическій процессъ исторіи. По его представленію, все это воззрѣніе есть сплошная ошибка. „Съ тою же,—говоритъ онъ,—быстротою, съ какою одно сужденіе уничтожается его отрицаніемъ, по этой иллюзіи должно измѣняться и историческое состояніе и вмѣстѣ съ тѣмъ должно про-

¹⁾ И въ другомъ мѣстѣ: Das Recht führt also eine selbstständige, eigene, wenn auch nicht unabhängige Existenz, es ist nicht eine blosse Function der Oekonomie.

изводить свою противоположность. Заблужденіе сдѣлается яснымъ, если мы разложимъ на основные элементы сложное понятіе того, что подлежитъ превращенію. Статическое состояніе общества заключается въ томъ, что большое число людей, образующихъ общество, привыкло хотѣть и дѣйствовать на основаніи извѣстныхъ понятій. Эти понятія одни и тѣ же въ разныхъ классахъ, но только однѣ дѣятельности, вслѣдствіе раздѣленія труда, въ различныхъ классахъ различны. Разъ въ какомъ-либо классѣ измѣнились эти общія понятія—измѣнятся въ немъ и стремленія (*ihr Wollen*) и начнется борьба классовъ, изъ которой Марксъ дѣлаетъ единственный рычагъ соціальной динамики. Однако понятія класса, стремящагося къ перемѣнѣ, не могутъ тотчасъ же осуществить новаго состоянія, ихъ воля сталкивается съ волею класса, воснѣющаго въ старыхъ понятіяхъ, и эта-то послѣдняя въ стремленіи своемъ идти по пути наименьшаго сопротивленія (т.-е. по пути привычки) дѣлается реальною силою, противодействующею новой волѣ другого класса. Такимъ образомъ, разъ только эти силы взаимно не уничтожаются, дальнѣйшее движеніе пойдетъ не по направленію новаго класса, не въ направленіи діаметрально противоположномъ прежнему, а по нѣкоторой равнодѣйствующей, образованной обоими. Въмѣсто логическаго чистаго отрицанія существующихъ порядковъ, въ исторіи, такимъ образомъ, мы имѣемъ дѣло съ реальнымъ, лишь въ извѣстной только части отрицательнымъ измѣненіемъ". Это общее разсужденіе Бартъ иллюстрируетъ примѣрами, взятыми изъ исторіи разныхъ переворотовъ. Тѣмъ не менѣе критикъ признаетъ, что Марксъ и его послѣдователи „оказали большую услугу, если не впервые, то съ особою рѣзкостью указать на участіе, какое экономія принимаетъ въ генезисѣ всѣхъ, даже наиболѣе возвышенныхъ проявленій общественной жизни: они,—прибавляетъ Бартъ,—только слишкомъ преувеличили значеніе этого участія и даже приписали ему значеніе исключительно всеобъясняющей причины“.

Критику экономическаго матеріализма у Барта можно признать безпристрастной и въ общемъ весьма основательною. Очень хорошо показана несостоятельность гегельянской стороны ученія, —безъ которой, какъ мы уже видѣли, оно, впрочемъ, можетъ и обойтись,—и генезисъ общественныхъ перемѣнъ выясненъ съ большею вѣроподобностью, чѣмъ это сдѣлано Марксомъ и Энгельсомъ. Отмѣчена критикомъ дѣйствительная заслуга направленія, но не упущено изъ виду и того, что собственно теорію Маркса приходится нерѣдко возсоздавать на основаніи отдѣльных, часто отрывочныхъ замѣчаній. Ни цѣли, ни размѣры нашей статьи не по-

зволили намъ подробнѣе остановиться на аргументаціи Барта въ пользу независимаго отъ экономіи происхожденія религіи, философіи, отчасти права и государства, и въ доказательство того, что и онѣ могутъ оказывать вліяніе на экономическую сферу: для насъ важно лишь то, что критикъ аргументируетъ, тогда какъ противъ себя онъ имѣетъ очень часто не аргументы, а прямо-голословныя утвержденія. Быть можетъ, не всѣ отдѣльныя возраженія Барта удачны, но, во всякомъ случаѣ, онъ стремится пользоваться данными, какія находятся въ сочиненіяхъ спеціалистовъ, изучавшихъ экономическую исторію въ ея отношеніяхъ къ другимъ проявленіямъ общественной жизни, — доказательство между прочимъ и того, что не всегда исключительное занятіе экономическою исторіей приводитъ къ одностороннему взгляду на исторію. Страницы, посвященныя въ книгѣ Барта критикѣ экономическаго матеріализма, могутъ быть указаны въ качествѣ образчика того, какъ слѣдуетъ рѣшать вопросъ о роли экономическаго фактора въ исторіи.

Н. Карѣевъ.



СТИХОТВОРЕНІЯ

МОЛОДЕЖИ.

(Изъ Асныка.)

Стремитесь къ истинѣ; въ лучахъ ея сіянья
Ищите новыхъ вы, ненайденныхъ дорогъ...
Вѣдь съ каждымъ шагомъ вглубь земного мірозданья
Смѣлѣе духъ парить, отважнѣе желанья
И ближе сердцу Богъ!

Хоть отрясете вы преданій цѣпъ прекрасный,
Легендъ сомнете вы таинственный узоръ,
Разгоните съ небесъ рой призраковъ неясный—
У сердца много тайнъ, отнять ихъ трудъ напрасный!
Вашъ дальше взглянетъ взоръ...

Имѣетъ каждый вѣкъ свое предназначенье
И память не хранить о промелькнувшихъ снахъ...
Исторія—для васъ; чье доблестно служенье,
Тому она несетъ почетъ и уваженье
Въ признательныхъ сердцахъ.

Былого алтари храните, почитая,
Хотя бы лучший вамъ пришлось алтарь возвесть:
На нихъ горить огонь священный, догорая,
На стражѣ тамъ любовь—заступница святая...
Воздайте предкамъ честь!

Съ прошедшимъ, что уже покрыло время тьмою,
 Съ потухшей радугой когда-то яреихъ сновъ,
 Пусть мудрость примиритъ васъ лучшею судьбою...
 О, побѣдители! и ваши звѣзды мглою
 Задержатъ далъ вѣковъ!

СОНЕТЫ ПЕТРАРКИ.

ХП.

Отчизна—позади... Идетъ старикъ унылый
 Въ невѣдомую даль... Разлуки тяжкій гнѣтъ
 На сердце камнемъ легъ; онъ тихо слезы льетъ—
 Покинута семья и домъ покинутъ милый!

Онъ старъ, и близокъ часъ, когда на край могилы
 Дрожащею стопой покорно онъ придетъ...
 Но нѣтъ! Надежда съ нимъ—впередъ, скорѣй впередъ..
 Вдохнула въ грудь она всю свѣжесть юной силы.

Есть въ Римѣ ликъ святой... Онъ въ Риму держитъ путь,
 Чтобъ увидать его, чтобъ на Того взглянуть,
 Кто въ сонмѣ душъ святыхъ предстанетъ въ горнемъ свѣтѣ...

И я, какъ тотъ старикъ, любимыя черты
 Ловлю въ лучахъ иной, мнѣ чуждой красоты,
 Хоть отразить ее лучи безсильны эти!

ХVII.

Чтобъ заключить мнѣ миръ съ прекрасными глазами,
 Я сердце, милый врагъ, вамъ предлагалъ не разъ,
 Напрасно предлагалъ: взоръ вашихъ гордыхъ глазъ
 Такъ низко опустить вы не желали сами.

Но сердца не поймать любовными сѣтями
 Красавицѣ другой; немилое для васъ—
 Немило для меня... Насталъ тяжелый часъ:
 Я сердце разлюбилъ, я сталъ иной съ годами.

О, если изгоню я сердце изъ груди
И не спасете вы—его погубить это...
Безъ васъ оно уметь, какъ чуждое для свѣта,

Въ немъ жизнь—пока любовь сіяетъ впереди...
И будемъ оба мы виновны въ ранней смерти,
Нѣтъ, больше вы: вѣдь я люблю васъ больше—вѣрьте!

XL ¹⁾.

Отецъ мой! опьяненъ безумнымъ чадомъ страсти,
Какъ много я ночей рабомъ грѣха провелъ,
Когда, признавъ любви надъ сердцемъ произволь,
Я созерцалъ черты, покоренъ чудной власти.

Спаси меня, спаси отъ сладостной напасти!
Пусть осіаетъ жизнь безгрѣшный ореолъ,
И мой недавній врагъ—надмененъ, гордъ и золь—
Въ досадѣ разобьетъ ненужный лукъ на части.

Одиннадцатый годъ идетъ уже съ тѣхъ поръ,
Какъ подъ его ярмо склонился я покорно...
Постыднѣе тюрьмы мой долгій былъ позоръ.

О, просвѣти меня! я плачу непритворно...
Верни мои мечты въ ихъ прежней чистотѣ
И помани меня, Ты—Сущій на крестѣ!

CXXXVII.

Плыветъ мой утлый челнъ, забвеньемъ нагруженный,
По волѣ дивихъ волнъ... Сгущаетъ ночь туманъ...
Чернѣютъ гребни скалъ... Черезъ бурный океанъ
Ведетъ челнокъ любовь, мой врагъ ожесточенный.

Мысль у весла сидитъ—гребецъ едва спасенный,
Его не устрашитъ неожиданный ураганъ!
И стонетъ въ парусахъ, летя изъ влажныхъ странъ,
Печальныхъ вздоховъ вихрь, надеждой окрыленный.

¹⁾ Этотъ сонетъ написанъ Петrarкой въ страстную пятницу.

Дождь горькихъ слезъ крѣпнѣть все чаще паруса,
Что нѣкогда мое невѣденъ согревало,
И, влажные, они повиснули устало...

Созвѣзды скрылъ туманъ, затмила взоръ слеза,
Мой разумъ утонулъ—волна его умчала...
Гдѣ гавань?—замеръ вопль... безмолвны небеса!

Мих. Германовскій.



Н. В. ГОГОЛЬ

ПЯТЬ ЛѢТЪ ЖИЗНИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

1836 — 1841 гг.

ХІІІ *).

Поѣздка въ Парижъ произвела неожиданный переворотъ въ путешествіи Гоголя: до сихъ поръ онъ все еще былъ по возможности вѣренъ предначертанному маршруту, и если отклонялся отъ него иногда, то только въ частностяхъ, не теряя изъ виду общаго плана. Совсѣмъ иначе было теперь: хотя онъ по прежнему собирается при первомъ удобномъ случаѣ осуществить свою мечту пожить въ Италіи, но уже мысль о возвращеніи на родину откладывается на неопредѣленное время и самое напоминаніе объ этомъ становится для него непріятнымъ. Выбитый совершенно изъ колеи, Гоголь уже не чувствовалъ себя болѣе проживающимъ временно гостемъ за границей и, часто переносясь мыслью на родину, не хотѣлъ въ ней „повторить вѣчную участь поэтовъ“, особенно когда узналъ о кончинѣ Пушкина. Такъ какъ всѣ эти перемѣны въ намѣреніяхъ во многомъ зависѣли и отъ денежныхъ условій, то намъ предстоитъ здѣсь остановить свое вниманіе отчасти и на этой сторонѣ дѣла.

Прежде всего слѣдуетъ вспомнить, что изъ Петербурга Гоголь, по его собственнымъ словамъ, „вывезъ только двѣ тысячи“. На эти деньги ему надо было прожить и ѣздить до октября (1836 г.),

*) См. выше: июль, 146 стр.

послѣ чего онъ надѣялся получить отъ Смирдина еще около тысячи рублей, — конечно, за проданные экземпляры его сочиненій. Наконецъ, Жуковский, стараясь по обыкновенію помочь своему собрату по литературѣ и въ матеріальномъ отношеніи, хлопоталъ за Гоголя передъ императрицей и просилъ ему денегъ „на дорогу“. Въ январѣ 1837 г., Гоголь просилъ Прокоповича передать Плетневу, что деньги „получены съ невѣроятной исправностью“; но были ли это деньги, какія должны были придти отъ Смирдина или инныя — намъ неизвѣстно. Въ мартѣ Гоголь снова поручалъ Прокоповичу: „Зайди къ Плетневу и узнай, послалъ ли онъ ко мнѣ деньги, о которыхъ я писалъ къ нему изъ Рима“. Проживая на эти средства и не имѣя постоянныхъ и вполнѣ обезпеченныхъ ресурсовъ, Гоголь сначала долженъ былъ представить дальнѣйшее направленіе своего пути обстоятельствамъ, и пока могъ только путешествовать, но нигдѣ еще не располагался жить надолго. Напротивъ, по мѣрѣ того, какъ открывались новые источники доходовъ, онъ получалъ возможность, согласно желанію, какъ можно болѣе продлить свое пребываніе за границей, такъ какъ еще въ началѣ его онъ писалъ Жуковскому, что будетъ „терпѣть недостатковъ и бѣдность, но ни за что на свѣтѣ не возвратится скоро“.

Въ одномъ изъ писемъ къ матери, написанномъ вскорѣ по пріѣздѣ въ Парижъ, въ отвѣтъ на ея безпокойство о немъ, Гоголь сообщалъ, что, „еще не выѣзжая изъ Петербурга, уже такъ устроилъ, что въ какомъ городѣ ни былъ, банкиръ, живущій въ немъ, по первому востребованію, выдастъ сумму, какую онъ, Гоголь, захочетъ“. „Кромѣ того, — продолжаетъ Гоголь, — одного слова, написаннаго въ Петербургъ, достаточно, чтобы выслали мнѣ требуемую сумму“. Эти слова, безъ сомнѣнія, представляютъ дѣло въ нѣсколько преувеличенномъ видѣ и притомъ были сказаны въ минуту раздраженія, всегда овладѣвавшего Гоголемъ при малѣйшемъ неосторожномъ намекѣ на оскорбительное для его самолюбія опасеніе за его безпомощность. Сильная досада звучитъ особенно въ волекомъ намекѣ на собственную непрактичность матери: „Неужели вы думаете, что я похожъ на нѣкоторыхъ нашихъ помѣщиковъ, которые думаютъ только о томъ, какъ бы теперь прожить, а о будущемъ и не помышляютъ, и говорятъ: „авось Богъ милосердный поможетъ какъ-нибудь выпутаться“. Между тѣмъ запутываются болѣе и болѣе въ долги. Я знаю очень хорошо пословицу: „Береженаго и Богъ бережетъ“, и потому никогда не полагаюсь на чудеса и чрезвычайные случаи“. Черезъ нѣсколько строкъ этотъ язвительный намекъ уже

разъясняется прямо: „Итакъ, вы видите, что обо мнѣ нечего вамъ беспокоиться. Какъ бы то ни было, но мои долги всегда лучше вашихъ, и потому я советую вамъ болѣе обратить вниманіе на ваши долги“.

Такимъ образомъ, если не съ самаго начала, то позднѣе у Гоголя былъ какъ будто обезпеченъ вѣрный кредитъ изъ Петербурга, причемъ обычнымъ посредникомъ между нимъ и Жуковскимъ и другими лицами, присылавшими деньги Гоголю (въ томъ числѣ между прочимъ и съ Смирдинымъ) является Плетневъ. Переписка при всей отрывочности и неполнотѣ сохранила намъ явные слѣды уже тогда начавшихся попеченій о Гоголѣ его друзей. Такъ, поручая однажды Прокоповичу узнать, посланы ли ему деньги Плетневымъ, Гоголь прибавлялъ еще: „Если посланы,—то когда и на имя какого банкира онѣ адресованы. Я въ нихъ нуждаюсь“. Все это говорилось уже въ совершенно спокойномъ и увѣренномъ тонѣ, какъ бы мимоходомъ, въ серединѣ письма. Спрашивается: откуда и какъ рассчитывалъ Гоголь получать средства для дальнѣйшаго проживанія за границей? Подарки отъ царской фамиліи не могли быть настолько часты и неистощимы, чтобы на нихъ можно было всегда такъ смѣло рассчитывать, какъ это видимъ у Гоголя въ приведенномъ письмѣ. Очевидно, у него бывали и другіе источники, и въ томъ числѣ обширный кредитъ у знакомыхъ; такъ намъ извѣстно, что у него были долги въ Петербургѣ, которые были болѣею частью уплачены, но не всѣ сразу („съ петербургскими моими долгами я кое-какъ распорядился: иные выплатилъ изъ моей суммы, другіе готовы подождать“). По словамъ княжны В. Н. Репниной, когда Гоголь получилъ извѣстіе о болѣзни Данилевскаго въ Парижѣ уже въ 1837 г., то онъ занялъ денегъ у нея и у зятя ея Кривцова, которые вскорѣ возвратилъ. Въ октябрѣ 1836 г. Гоголь благодарилъ Жуковскаго за испрошенное имъ вспоможеніе у государя. Опять мы не имѣемъ данныхъ для рѣшенія вопроса о томъ, не были ли это тѣ самыя деньги, которыя Гоголь ожидалъ получить отъ императрицы; послѣднее вѣроятнѣе, потому что иначе Гоголь благодарилъ бы за нихъ отдѣльно. Но съ другой стороны мы находимъ ясное указаніе на то, что это была уже не первая милость Гоголю отъ царской фамиліи, такъ какъ онъ самъ говоритъ объ императорѣ Николаѣ, что, „какъ нѣкій Богъ, онъ сыплетъ полною рукою благодѣянія и не желаетъ слышать нашихъ благодарностей“. Въ июлѣ 1837 г. Гоголь ожидалъ денегъ за поднесеніе государынѣ экземпляра „Ревизора“, говоря, что Жуковский передъ отъѣздомъ общалъ объ этомъ

позаботиться. Наконецъ, въ апрѣлѣ 1839 г. Гоголь написалъ Жуковскому: „Дайте мнѣ спасительный совѣтъ, что я долженъ сдѣлать для того, чтобы протянуть на свѣтѣ свою жизнь, до тѣхъ поръ, пока мнѣ сдѣлаю сколько-нибудь изъ того, что мнѣ нужно сдѣлать“. Указывая всѣ эти данныя, мы должны, однако, въ интересахъ справедливости заявить, что ни въ какомъ случаѣ не можемъ взять на себя смѣлость сдѣлать изъ нихъ какое-либо заключеніе невыгодное для памяти покойнаго писателя, потому что, во-первыхъ, частные долги, насколько извѣстно, были имъ выплачиваемы, а царскія милости, по понятіямъ его времени и среды, хотя и принимаемыя слишкомъ часто, нисколько или почти совсѣмъ не отягощали его совѣсти. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи притомъ едва ли и теперь многіе щекотливы, и упрекъ, сдѣланный впоследствии Бѣлинскимъ Гоголю, могъ бы въ равной силѣ быть обращенъ на весьма многихъ лицъ, покровительствуемыхъ Жуковскимъ, и притомъ часто на лицъ, также принадлежащихъ литературному міру, но только вслѣдствіе случайнаго повода всею тяжестью палъ на Гоголя. Трудно притомъ прослѣдить теперь, какъ неожиданное полученіе денегъ откуда бы то ни было могло имѣть вліяніе на перемену рѣшеній Гоголя (особенно принимая въ соображеніе, что часто они вели съ Данилевскимъ общіе товарищескіе счета, недоступные даже и тогда постороннему контролю). Но что вліяніе это было—не подлежитъ сомнѣнію ¹⁾.

Первое время въ Парижѣ было посвящено Гоголемъ прогулкамъ въ городѣ и по окрестностямъ. Но въ это время Гоголь снова продолжалъ работать надъ созданіемъ „Мертвыхъ Душъ“. О томъ и другомъ онъ писалъ Жуковскому: „Парижъ не такъ дуренъ, какъ я воображалъ, и что всего лучше для меня: мѣстъ для гулянья множество; одного сада Тюльери и Елисейскихъ полей достаточно на весь день ходьбы. Я нечувствительно дѣлаю препорядочный моціонъ, что для меня теперь необходимо. Богъ простеръ здѣсь надо мной свое покровительство и сдѣлалъ чудо: указалъ мнѣ теплую квартиру, на солнцѣ, съ печкой, и я блаженствую. Снова веселъ; „Мертвыя“ текутъ живо, свѣжѣе и

¹⁾ Обращаясь къ Жуковскому съ просьбами о ходатайствѣ передъ трономъ, Гоголь замѣтно стѣснялся и считалъ неловкимъ, не получая долго отвѣта, возбуждать вопросъ снова, но въ трудныхъ случаяхъ поручалъ Прокоповичу узнавать черезъ Шлетнева, „получилъ ли Жуковский письмо, и какой имѣло успѣхъ письмо къ государю. Отъ него зависитъ моя судьба“. („Русское Слово“ 1859, I, стр. 101). И дѣйствительно, вскорѣ онъ извѣщалъ, что „получилъ отъ государя опять неожиданно и теперь не нуждается“ (тамъ же, стр. 107).

бодрѣе, чѣмъ въ Веве, и мнѣ совершенно кажется, какъ будто я въ Россіи“. Вскорѣ Данилевскій, восхищавшійся парижскими театральными знаменитостями, вовлекъ и Гоголя, также страстнаго любителя драмы и оперы, въ частныя посѣщенія театровъ, при чемъ оба восхищались Гризи, Тамбурины, Тальони и проч. Въ одно изъ посѣщеній Théâtre Français Гоголь присутствовалъ при годовичномъ празднованіи дня рожденія Мольера и здѣсь передумалъ и перечувствовалъ тѣ мысли, которыя имъ были потомъ высказаны въ концѣ „Театральнаго Разъѣзда“. Въ письмѣ сказано: „Меня обняло какое-то странное чувство. Слышитъ ли онъ, и гдѣ онъ слышитъ. это“; въ „Театральномъ Разъѣздѣ“: „Побасенки! А вотъ: стонуть балконы и перила театровъ; все потряслось съ низу до верху, превратясь въ одно чувство, въ одинъ мигъ, въ одного человѣка; всѣ люди встрѣтились, какъ братья, въ одномъ душевномъ движеніи, и гремитъ дружнымъ рукоплесканіемъ благодарный гимнъ тому, котораго уже пятьсотъ лѣтъ, какъ нѣтъ на свѣтѣ. Слышать ли это въ могилахъ истлѣвшихъ его кости? отзывается ли душа его, терпѣвшая суровое горе жизни?“

XIV.

Болѣе полное представленіе о парижской жизни Гоголя можно составить по его повѣсти „Римъ“, сравнивая подробно изображенныя впечатлѣнія юнаго князя, героя этого отрывка, съ впечатлѣніями и взглядами самого автора. Собственно передача этихъ впечатлѣній и сравненіе шумной парижской жизни и тихой, но полной высокихъ эстетическихъ наслажденій итальянской, занимаетъ весьма видное мѣсто въ разсказѣ, а апофеозъ Рима, его превознесеніе надъ всѣмъ прекраснымъ, надъ всѣмъ, что можетъ возбуждать въ людяхъ восторгъ, не исключая даже величія прошлыхъ вѣковъ и обаянія женской красоты, составляетъ главную цѣль этого произведенія. („Боже, какой видъ! князь, объятый имъ, позабылъ и себя, и красоты Аннунціаты, и таинственную судьбу своего народа, и все, что ни есть на свѣтѣ“). Разсказъ не конченъ и является въ видѣ отрывка, вѣроятно, потому, что въ немъ, какъ въ нѣкоторыхъ раннихъ своихъ произведеніяхъ, Гоголь пытался выразить въ возможно болѣе яркой и блестящей формѣ переполнявшія его душу совершенно субъективныя чувства и настроенія. Такія произведенія не могли быть удачны по самой сущности дѣла, такъ какъ, облеченныя въ повѣствовательную форму, онѣ въ то же время предназначались

для несвойственной имъ передачи внутреннихъ душевныхъ движеній автора. Не владея стихомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ поддаваясь сильно охватывавшему его лиризму, Гоголь силился повѣствовательной прозой передать то, что можно выразить развѣ стихотвореніемъ или музыкальнымъ мотивомъ. Съ другой стороны, кромѣ характеристики психическаго состоянія, пережитаго княземъ въ разные періоды его юности, и кое-какихъ схваченныхъ авторомъ чертъ итальянской жизни, никакого иного матеріала и не было въ распоряженіи Гоголя. Въ отрывкѣ на первый планъ выступаетъ всюду описательная сторона, которая вообще раньше и скорѣе давалась Гоголю, нежели собственно повѣствовательная, требующая значительно болѣе близкаго и внимательнаго изученія изображаемой среды, тогда какъ для живого и мѣткаго описанія Гоголю было совершенно достаточно бѣлаго внѣшняго наблюденія. Но прежде чѣмъ перейти къ характеристикѣ парижскихъ впечатлѣній Гоголя на основаніи отрывка „Римъ“, постараемся установить его автобіографическое значеніе. Для этого намъ необходимо указать отношеніе его къ другимъ произведеніямъ Гоголя.

Прежде всего въ этомъ отрывкѣ, первоначально озаглавленномъ „Аннунціата“, Гоголь еще разъ возвращается къ волновавшей его въ юности темѣ—къ изображенію въ яркихъ краскахъ невыразимыхъ чаръ обаянія, производимыхъ на поэта женской красотой. Въ этомъ отношеніи между „Аннунціатой“ есть несомнѣнное сходство съ юношескимъ наброскомъ Гоголя „Женщина“. Здѣсь тотъ же приподнятый тонъ, и также при изображеніи наружности Аннунціаты повторяется еще разъ столь правившееся ему сочетаніе чернаго цвѣта волосъ съ необыкновенной бѣлизной лица. „Густая смоль волосъ тяжеловѣсной косою вознеслась въ два кольца надъ головой и четырьмя длинными кудрями рассыпалась по шеѣ. Какъ ни поворотить она сіяющій снѣгъ своего лица—образъ ея весь отпечатлѣвается въ сердцѣ“. Для изображенія красоты Аннунціаты Гоголь не щадитъ красокъ. „Это было чудо въ высшей степени,—описываетъ ее Гоголь.—Все должно было померкнуть передъ этимъ блескомъ. Глядя на нее, становилось ясно, почему итальянскіе поэты и сравниваютъ красавицъ съ солнцемъ. Это именно было солнце, полная красота! Все, что рассыпалось и блистаетъ по одиночкѣ въ красавицахъ міра, все это собралось сюда вмѣстѣ“. Здѣсь такъ же, какъ въ остальныхъ произведеніяхъ Гоголя, гдѣ изображается красивая женщина, она является на пьедесталѣ, скорѣе напоминающая сошедшее на землю божество, нежели обыкновеннаго чело-

вѣка, и притомъ представляясь воображенію читателя почти исключительно со стороны вѣншей красоты. Какъ въ Алкиноѣ, такъ и въ Аннунціатѣ чувствуется скорѣе изображеніе женщины, какою она является на картинѣ или въ статуѣ, нежели живого существа съ плотью и кровью. Въ лицѣ послѣдней Гоголь, идеализируя женщину, приписываетъ ей даже способность производить какое-то волшебное дѣйствіе на окружающее: „Все въ ней вѣнецъ созданья, отъ плечъ до античной дышащей ноги и до послѣдняго пальчика на ея ногѣ. Куда ни пойдетъ она — уже несетъ съ собой картину: спѣшитъ ли ввечеру къ фонтану съ ковannoй мѣдной вазой на головѣ—вся проникается чуднымъ согласіемъ обнимающая ее окрестность: легче уходить въ даль чудесныя линіи албанскихъ горъ, синѣ глубина римскаго неба, прямѣй летитъ вверхъ кипарисъ“ и проч. Въ другомъ мѣстѣ Гоголь говоритъ объ Аннунціатѣ, что „руки ея были для того, чтобы всякаго обратить въ художника: какъ художникъ, глядѣлъ бы онъ на нихъ вѣчно, не смѣя дохнуть“, и черезъ нѣсколько строкъ повторяетъ вновь тотъ же образъ и сравненіе, изображая, „какъ все, чтѣ ни было, казалось, превратилось въ художника и смотрѣло на одну ее“. „Это блескъ молніи, а не женщина“, — въ восхищеніи отозвался о ней князь, и такую же характеристику авторъ повторяетъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ уже отъ собственнаго лица, утверждая, что „чудный праздникъ летѣлъ съ лица ея на встрѣчу всѣмъ“. Но Гоголь какъ будто не замѣчалъ того, что чѣмъ болѣе онъ отрываетъ отъ земли свою идеальную красавицу, тѣмъ болѣе образъ ея затемняется и блѣднѣетъ, при всемъ стараніи автора озарить его ореоломъ дивнаго величія. Въ „Аннунціатѣ“ повторены въ измѣненномъ видѣ и нѣкоторые частныя приемы, особенно охотно употребляемые Гоголемъ при изображеніи молодыхъ, красивыхъ женщинъ. Такъ мы говорили въ другомъ мѣстѣ, что, желая придать особый эффектъ образу Ганны въ „Майской Ночи“, Гоголь окружаетъ ее какой-то таинственной прелестью въ словахъ: „Дверь распахнулась со скрипомъ, и дѣвушка на порѣ семнадцатой весны, *обитая сумерками*, переступила порогъ“. Сходными штрихами поэтъ рисуетъ Аннунціату въ выраженіи: „Глубина галлерей выдаетъ ее изъ сумрачной темноты своей всю сверкающую, всю въ блескѣ“. Наконецъ, какъ художникъ Пискаревъ преклоняется въ священномъ трепетѣ и нѣмомъ благоговѣніи передъ встрѣченной имъ на Невскомъ красавицей и потомъ въ своихъ мечтахъ представляетъ себѣ ее своей женой, способной украсить его скромную жизнь, такъ и здѣсь снова рѣчь идетъ, между прочимъ, о „художникѣ съ ван-

диговской бородкой, который долѣе всѣхъ остановился на одномъ мѣстѣ, подумывая: „то-то была бы чудная модель для Діаны, гордой Юноны, соблазнительныхъ грацій и всѣхъ женщинъ, какія только передавались на полотно!“ и дерзновенно думая въ то же время: „то-то былъ бы рай, еслибы такое диво украсило навсегда смиренную его мастерскую“.

Всѣ эти указанныя черты въ повѣсти „Римъ“ достаточно показываютъ связь ея съ другими произведеніями Гоголя и притомъ съ тѣми мѣстами въ нихъ, которыя имѣютъ особенное значеніе для характеристики субъективнаго отношенія Гоголя къ женщинѣ и ея красотѣ; все это придаетъ ей важное автобіографическое значеніе, какъ, впрочемъ, это по другимъ соображеніямъ уже высказано было Тихонравовымъ.

Возвращаясь къ извлеченію характеристики парижскихъ впечатлѣній Гоголя, насколько они отразились въ рассматриваемой повѣсти, мы, во-первыхъ, должны принять въ соображеніе поразительное сходство разбросанныхъ отдѣльными чертами въ разныхъ письмахъ Гоголя описаній Парижа съ тѣми, которыя читаемъ въ „Римѣ“. Какъ прежде Гоголь нерѣдко набрасывалъ отдѣльныя характеристики посѣщенныхъ имъ городовъ, то въ письмахъ къ матери и къ друзьямъ, то внося ихъ въ видѣ эпизодовъ въ свои сочиненія (описаніе Коломны въ „Портретѣ“, Невского Проспекта въ повѣсти того же названія), такъ и описаніе Парижа является у него въ другихъ мѣстахъ лишь въ видѣ бѣглыхъ, разрозненныхъ набросковъ, тогда какъ въ повѣсти „Римъ“ онъ получилъ полную характеристику въ изящной художественной обработкѣ. Впрочемъ, существенное различіе между впечатлѣніями Гоголя и молодого князя заключается лишь въ томъ, что Гоголь уже съ самаго начала своего пребыванія въ Парижѣ не былъ увлеченъ имъ, и хотя поддавался до нѣкоторой степени очарованію вѣшняго блеска, комфорта и изящества, но это нисколько не мѣшало ему тогда же смотрѣть на Парижъ только какъ на временную станцію, изъ которой онъ готовъ былъ при первой возможности направить путь въ Италію. Въ первомъ же письмѣ къ Прокоповичу онъ отзывался такъ о немъ: „Парижъ—городъ хорошій для того, кто именно ѣдетъ для Парижа, чтобы погрузиться во всю его жизнь. Но для такихъ людей, какъ мы съ тобою,—не думаю; развѣ нужно скинуть съ каждаго изъ насъ по восьми лѣтъ. Къ удобствамъ здѣшнимъ приглядишься, тѣмъ болѣе, что ихъ болѣе, нежели сколько нужно; люди легки, а природы, въ которой всегда находишь ресурсъ и утѣшеніе, когда все пріѣдется—нѣтъ: итакъ, нѣтъ того, что бы могло привязать

къ нему мою жизнь". Кромѣ указаннаго единственнаго различія, впечатлѣнія молодого князя-итальянца во всемъ поразительно сходны съ впечатлѣніями Гоголя до мелочныхъ подробностей. Такъ Гоголь вмѣстѣ съ Данилевскимъ ежедневно посѣщалъ въ Парижѣ разныя роскошно меблированныя *cafés* и близко познакомился съ ихъ порядками и обычными посѣтителями. Впослѣдствіи онъ узналъ также итальянскія *cafés* и имѣлъ полную возможность ихъ сравнивать. Уже въ южной Франціи они поражали его своей нечистотой, неопрятностью, но еще сильнѣе бросались въ глаза эти недостатки при вѣздѣ въ Италію. Разницу между ними онъ такъ описывалъ Данилевскому въ письмѣ изъ Ліона, (безъ точной даты, начинающемся словами: „Хотя бы вовсе не слѣдовало писать изъ Ліона“): „Какъ я завидовалъ тебѣ всю дорогу, тебѣ, сѣдоку въ этомъ солнцѣ великолѣпія, въ Парижѣ! Вообрази, что по всей дорогѣ, по всѣмъ городамъ храмы бѣдныя (такъ Данилевскій и Гоголь называли въ дружеской бесѣдѣ и въ шутку *cafés*). Богослуженія тоже; жрецы невѣжи и неопрятны; благородная форма чашки въ видѣ круглаго колодца совершенно исчезла, и мѣсто ея замѣнила подлѣйшая форма суповой чашки, которая въ тому же показываетъ довольно скоро неопрятное дно свое“. Почти буквально сходное, съ незначительной варіаціей, описаніе читаемъ и въ повѣсти „Римъ“. „Въ девять часовъ утра, схватившись съ постели, князь уже былъ въ великолѣпномъ кафе, съ модными фресками за стекломъ, съ потолкомъ, облитымъ золотомъ, съ листами длинныхъ журналовъ и газетъ, съ благороднымъ приспѣшникомъ, проходившимъ мимо посѣтителей, держа великолѣпный серебряный кофейникъ въ рукѣ. Тамъ пилъ онъ съ сибаритскимъ наслажденіемъ свой жирный кофе изъ громадной чашки, нѣжась на эластическомъ, упругомъ диванѣ и вспоминая о низенькихъ, темныхъ итальянскихъ кафе съ неопрятнымъ боттегой, несущимъ невымытые стеклянные стаканы“. Далѣе въ повѣсти „Римъ“ слѣдуетъ чрезвычайно живая передача уличныхъ впечатлѣній, охватывающихъ въ Парижѣ только-что пріѣхавшаго иностранца. Роскошь и блескъ дѣйствуютъ на него возбуждающимъ образомъ, а выставленныя въ магазинахъ рѣдкости вводятъ въ соблазнъ. Подобныя же характеристики впечатлѣній, вызываемыхъ роскошью другихъ городовъ, Гоголь даетъ въ разсказѣ о капитанѣ Копѣйкинѣ и отчасти въ „Шинели“ (сравни, напримѣръ, въ „Римѣ“): „Онъ зѣвалъ передъ лавками, гдѣ останавливаются по цѣлымъ часамъ парижскіе крокодилы, засунувъ руки въ карманы, разинувъ ротъ, гдѣ краснѣлъ въ зелени огромный морской ракъ, воздымалась набитая трюфелями индѣйка, съ лаконическою

надписью: 300 fr., и мелькали золотистымъ перомъ и хвостами желтыя и красныя рыбы въ стеклянныхъ вазахъ". Въ повѣсти о капитанѣ Копѣйкинѣ: „Пройдетъ ли мимо Милютинскихъ лавокъ: тамъ изъ окна выглядываетъ въ нѣкоторомъ родѣ сема такая, вишенки по пяти рублей штука, арбузъ громадище, дилижансъ такою, высунулъ изъ окна, и, такъ сказать, ищетъ дурака, который бы заплатилъ сто рублей"). Подобныя впечатлѣнія, вначалѣ восторженныя, спустя нѣкоторое время смѣняются совершенно противоположными, когда за временемъ ослѣпленія наступаетъ пора спокойнаго критическаго отношенія къ пустому вѣйшему блеску. Это душевное состояніе и передано Гоголемъ, какъ въ письмѣ къ Прокоповичу отъ 25-го января 1837 г. („Къ удобствамъ здѣшнимъ приглядишься..."), такъ и въ повѣсти „Римъ" („Во многомъ онъ разочаровался. Тотъ же Парижъ, вѣчно влекущій иностранцевъ, уже показался ему много, много не тѣмъ, чѣмъ былъ прежде"). Нерасположеніе Гоголя къ преобладанію у парижанъ политическихъ интересовъ надъ художественными и литературными также выразилось не только въ разсказѣ о впечатлѣніяхъ князя, но и въ нѣсколько разъ цитированномъ письмѣ къ Прокоповичу, какъ это уже было указано Тихонравовымъ. О множествѣ театровъ и сценическихъ представленій въ Парижѣ также не мало говорится и здѣсь, и тамъ. Наконецъ, даже такія черты наружнаго блеска, какъ напр.: „Улицы всѣ освѣщены газомъ. Многія изъ нихъ сдѣланы галереями, освѣщены сверху стеклами. Полы въ нихъ мраморныя и такъ хороши, что можно танцовать", — черты, наскоро и мимоходомъ указанныя въ письмѣ къ матери, являются снова и въ повѣсти „Римъ": „Его ослѣплялъ трепещущій блескъ магазиновъ, озаряемыхъ свѣтомъ, падавшимъ сквозъ стеклянный потолокъ въ галерею" и проч.

Въ общемъ результатъ впечатлѣнія, вынесеннаго Гоголемъ изъ Парижа, были скорѣе неблагопріятныя, и они также были высказаны устами молодого князя въ повѣсти: „въ движеніи вѣчнаго его кипѣнія и дѣятельности видѣлась теперь ему страшная недѣятельность, страшное царство словъ вмѣсто дѣлъ".

Но въ Парижѣ Гоголь испыталъ и много счастливыхъ минутъ, на чтѣ указываетъ уже то обстоятельство, что творческая работа его подвигалась быстро, чтѣ случалось съ нимъ лишь въ тѣхъ городахъ, гдѣ онъ чувствовалъ себя привольно, гдѣ все было ему по душѣ. Но дѣло въ томъ, что въ Парижѣ онъ снова встрѣтилъ много знакомыхъ, въ томъ числѣ Смирновыхъ и, можетъ быть, Толстыхъ. По воспоминаніямъ покойной А. О. Смирновой,

переданнымъ въ „Запискахъ о жизни Гоголя“, Гоголь не любилъ Парижа, но, какъ бы забывая о немъ, онъ много говорилъ съ нею о родной Малороссіи, о высокомъ камышѣ, о бурьянѣ, объ аистахъ, о галушкахъ, о вареникахъ и сѣренькомъ дымѣ, вылетающемъ изъ деревянныхъ трубъ и стелющемся по голубому небу“. Она же пѣла ему пѣсню: „Ой не ходи, Грицю, на вечерніци“.

XV.

Хотя Парижъ былъ первымъ городомъ, въ которомъ Гоголь остался на болѣе продолжительный срокъ, но, живя въ немъ, онъ чувствовалъ себя не вполне удовлетвореннымъ и дожидался только прекращенія холеры въ Италіи, чтобы направить туда путь свой. Нетерпѣніе его усиливалось еще отъ недовольства парижскимъ климатомъ, о которомъ онъ составилъ такое невыгодное представленіе, что готовъ былъ сравнивать его съ петербургскимъ и почти во всѣхъ письмахъ жаловался на сырую погоду въ Парижѣ во время зимы. Въ Италію Гоголя манило желаніе встрѣтить весну во всемъ ея расцвѣтѣ,—весну, это любимое его время года. Въ концѣ января 1837 г. по старому стилю Гоголь еще не могъ выѣхать на югъ, такъ какъ слухи о холерѣ не совсѣмъ замолкли; недѣли черезъ двѣ онъ, напротивъ, говорилъ уже, что „болѣзнь въ Италіи давно прекратилась, и время становится благоприятнымъ для отъѣзда“, но несмотря на то онъ остается еще почти на цѣлый мѣсяцъ въ Парижѣ. Если причиной промедленія его на этотъ разъ не были денежные затрудненія, то, можетъ быть, его слѣдуетъ приписать опасенію пропустить въ дорогѣ время карнавала, такъ какъ въ Римѣ уже было невозможно поспѣть въ этому сроку, а затѣмъ уже пріѣздъ могъ быть соображенъ съ наступленіемъ слѣдующаго выдающагося празднованія въ Римѣ, т.-е. праздника Пасхи. По крайней мѣрѣ по нѣкоторымъ соображеніямъ можно думать, что для него вообще, какъ впрочемъ это и естественно, иногда имѣли нѣкоторое значеніе при опредѣленіи маршрутовъ разныя торжества и выдающіяся событія.

Италія уже заранѣе рисовалась Гоголю въ самыхъ привлекательныхъ краскахъ, но были еще два особенныхъ обстоятельства, подготовившія въ немъ будущее восторженное отношеніе къ ней. Во-первыхъ, онъ еще въ Петербургѣ много слышалъ отъ Жуковского о красотахъ Германіи и Швейцаріи и былъ преждевременно настроенъ восхищаться ими, но при собственномъ озна-

комленія съ этими странами его преувеличенныя ожиданія во многомъ не оправдались. Отсюда почувствовалась неудовлетворенность, и душа поэта сосредоточила всѣ надежды на Италію. Между тѣмъ неожиданное препятствіе не позволило слишкомъ скоро осуществить поѣзду въ заманчивый край, и это послужило другимъ обстоятельствомъ, въ силу котораго заочное обаяніе Италіи росло для Гоголя съ каждымъ днемъ. Нетерпѣніе увидѣть, наконецъ, Италію, насладиться ея пышной весной, встрѣтить въ знаменитомъ храмѣ св. Петра свѣтлый праздникъ и присутствовать въ этотъ день при богослуженіи, совершаемомъ „самимъ папой“, сдѣлалось для Гоголя горячей мечтой въ послѣдніе дни его жизни въ Парижѣ.

Первыя впечатлѣнія Гоголя въ Италію, когда онъ былъ еще въ дорогѣ и спѣшилъ безостановочно въ Римъ, во многомъ, какъ увидимъ, сходны съ впечатлѣніями молодого князя въ его повѣсти. Тѣмъ болѣе нельзя не пожалѣть, что отсутствіе подробностей въ перепискѣ о выѣздѣ Гоголя изъ Парижа и его дорожныхъ впечатлѣніяхъ не позволяетъ намъ въ точности прослѣдить, насколько именно въ этой части разсказа слѣдуетъ искать автобіографическаго матеріала. Первыя римскія впечатлѣнія Гоголя были настолько ярки и сильны, что они совершенно заслонили для него впечатлѣнія предшествующей Риму поѣздки, и о ней онъ, противъ обыкновенія, не упоминаетъ вовсе. Самое письмо къ матери, въ которомъ заключается извѣщеніе о пріѣздѣ въ Римъ, было написано второпяхъ, вслѣдствіе желанія поскорѣ насладиться чуднымъ итальянскимъ небомъ и солнцемъ. О князѣ же въ повѣсти сказано, что онъ „не хотѣлъ медлить минуты и взялъ мѣсто въ курьерской каретѣ. Казалось, страшная тягость свалилась съ души его, когда скрылся изъ вида Парижъ, и дохнуло на него свѣжимъ воздухомъ полей. Въ двое сутокъ онъ уже былъ въ Марселѣ, не хотѣлъ отдохнуть часу и въ тотъ же вечеръ пересѣлъ на пароходъ. Средиземное море показалось ему роднымъ: оно омывало берега его отчизны, и онъ полетѣлъ уже, только глядя на однѣ безконечныя его волны“. Оставляя въ сторонѣ личныя черты, относившіяся только къ молодому итальянцу („Средиземное море омывало берега его отчизны“), все остальное могло быть отзвукомъ пережитаго самимъ Гоголемъ, какъ къ нему же можно и раньше отнести выраженіе: „и стала представляться ему чаще забытая имъ Италія, вдали, въ какомъ-то манящемъ свѣтѣ; съ каждымъ днемъ зазывы ея становились слышнѣе“. Какъ эстетикъ и энтузіастъ въ отношеніи красотъ природы, Гоголь легко могъ почувствовать даже Средиземное море „роднымъ“ для себя, какъ впослѣдствіи онъ называлъ не разъ

родною Италію, а роднымъ языкомъ—итальянскій. Но все это пока предположенія, тогда какъ нельзя ни на минуту усомниться въ томъ, что все связанное затѣмъ о впечатлѣніяхъ князя въ Генуѣ и Флоренціи должно быть смѣло отнесено къ самому Гоголю. Онъ такъ же пріѣхалъ въ Римъ черезъ Геную и Флоренцію, и такъ же Генуя была первымъ видѣннымъ имъ въ Италіи городомъ, въ которомъ „онъ принялъ первый поцѣлуй Италіи“ и потомъ, „какъ прекрасную статую, унесъ ее въ своемъ воображеніи“. И князю такъ же, какъ и ему, была незнакома прежде Генуя, и въ описаніи этого города въ повѣсти „Римъ“ несомнѣнно отразились собственныя восторженныя впечатлѣнія автора, изъ которыхъ незамѣтно сложились матеріалъ для яркой, хотя и исключительно внѣшней бѣглой характеристики. Описаніе Генуи любопытно въ томъ отношеніи, что уже изъ него ясно, до какой степени душа Гоголя, даже мимоходомъ, жадно захватывала не только очарованіе итальянской природы, но и своеобразную красоту оригинальной итальянской жизни. Видно, что Гоголю Италія полюбилась сразу и сильно, полюбилась навсегда всѣми своими особенностями. Гоголь чутко и живо воспринималъ впечатлѣнія и передавалъ ихъ вполне поэтически. „Въ двойной красотѣ,—писалъ онъ о князѣ,—вознеслись надъ нимъ пестрыя колокольни Генуи, полосатыя церкви изъ бѣлаго и чернаго мрамора и весь многобашенный амфітеатръ ея, вдругъ обнесшій его со всѣхъ сторонъ, когда пароходъ пришелъ къ пристани. Эта играющая пестрота домовъ, церквей и дворцовъ на тонкомъ небесномъ воздухѣ, блиставшемъ непостижимой голубизною, была единственна“. Какъ всегда, Гоголь сдумалъ съ необыкновенной быстротой схватить всѣ малѣйшія подробности иногда почти неуловимыхъ впечатлѣній и воспроизвести въ одной яркой картинѣ („Сопедши на берегъ, онъ очутился вдругъ въ этихъ темныхъ, чудныхъ, узенькихъ мощеныхъ плитами улицахъ, съ одной узенькой вверху полоской неба. Его поразила эта тѣснота между домами высокими, огромными, отсутствіе экипажнаго стуку, треугольныя маленькія площадки и между ними, какъ тѣсные коридоры, изгибающіяся линіи улицъ, наполненныхъ лавочками генуэзскихъ серебряныхъ и золотыхъ мастеровъ“). При первомъ вступленіи на итальянскую почву, Гоголь уже ощутилъ особенное благоговѣйное настроеніе, которое онъ нерѣдко переживалъ потомъ въ тишинѣ украшенныхъ превосходными созданіями искусства католическихъ храмовъ. Чтобы убѣдиться еще болѣе, насколько субъективны и въ высшей степени важны для характеристики чувства, охватившаго самого Гоголя въ Генуѣ, слѣдующія за приведеннымъ мѣстомъ слова его въ повѣсти, ихъ

необходимо сравнить съ словами его въ одномъ изъ писемъ. „Живописныя кружевныя покрывала женщинъ, — говоритъ Гоголь, — чуть волнуемыя теплымъ сирокко, ихъ твердыя походы, звонкій говоръ въ улицахъ, отворенныя двери церквей, кадильный запахъ, несшійся оттуда, — все это дунуло на него тѣмъ-то далекимъ, минувшимъ. Онъ вспомнилъ, что уже много лѣтъ не былъ въ церкви, потерявшей свое чистое, высокое значеніе въ тѣхъ умныхъ земляхъ Европы, гдѣ онъ былъ. Тихо вошелъ онъ и сталъ въ молчаніи на колѣни у *великоколонныхъ мраморныхъ колоннъ*, и долго молился самъ не зная за что, — молился, что его приняла Италия, что снизошло на него желаніе молиться, что празднично было у него на душѣ, и молитва эта вѣрно была лучшая“. Въ письмѣ къ М. П. Балабиной, написанномъ въ апрѣлѣ 1838 года, Гоголь передаетъ въ поразительно сходныхъ чертахъ чувство, испытываемое имъ при посѣщеніи „церквей римскихъ, тѣхъ прекрасныхъ церквей, гдѣ дышетъ священный сумракъ и гдѣ солнце, съ вышины овальнаго купола, какъ Святой Духъ, какъ вдохновеніе, посѣщаетъ середину ихъ, *идѣтъ три молящіяся на колѣняхъ фигуры не только не отвлекаютъ, но, кажется, даютъ еще крылья молитвѣ и размышленію*“. Ср. въ VI главѣ „Тараса Бульбы“ въ исправленномъ видѣ: „Нѣсколько женщинъ, похожихъ на приобщенія, стояли на колѣняхъ; нѣсколько мужчинъ, прислонясь у колоннъ, печально стояли тоже на колѣняхъ. Оно съ цвѣтными стеклами, бывшее надъ алтаремъ, озарилось розовымъ румянцемъ утра, и упали отъ него на полъ голубые, желтые и другихъ цвѣтовъ кружки свѣта, освѣтившіе внезапно темную церковь. Весь алтарь въ своемъ далекомъ уединеніи показался вдругъ въ сіяніи; кадильный дымъ остановился въ воздухѣ радужнымъ освѣщеннымъ облакомъ“. Припоминая это прекрасное мѣсто, гдѣ Гоголь такъ художественно рисуетъ картину быстрого распространенія утренняго свѣта въ сумракѣ костела, — мѣсто, *отсутствующее въ первоначальномъ эскизѣ*, — мы не можемъ сомнѣваться, что между нимъ и приведенными выше строками письма къ Балабиной сходство во всякомъ случаѣ далеко не случайное, и дѣйствіе, произведенное этимъ эффектнымъ свѣтомъ вмѣстѣ съ волшебными звуками органа, на душу Андрія, конечно, было только отголоскомъ тѣхъ чудныхъ поэтическихъ минутъ, которыя оставили неизгладимый слѣдъ въ религиозной душѣ самого автора, не разъ испытывающаго сладкій трепетъ благоговѣнія въ великолѣпныхъ и изящныхъ римскихъ церквахъ.

Наконецъ Гоголь прибылъ въ Римъ. Путешествіе его было

не очень удачно: оно затянулось гораздо дольше, чѣмъ можно было предполагать. Онъ „ѣхалъ и моремъ, и землею, съ задержками и остановками, но, несмотря на все это, попалъ какъ разъ въ праздникъ“.

XVI.

Намъ необходимо остановиться подробнѣе на томъ огромномъ значеніи, которое имѣла для Гоголя жизнь въ Италіи.

Страсть къ Риму представляетъ такой крупный, знаменательный фактъ въ біографіи нашего писателя, что она должна быть отмѣчена съ особеннымъ удареніемъ. Въ Римѣ Гоголь нашелъ наконецъ, послѣ долгихъ скитаній, тотъ родной уголокъ земли, гдѣ онъ могъ, предаваясь отъ души блаженству исполненной тонкихъ художественныхъ наслажденій жизни, позабыть на время всѣ мучительныя невзгоды и дразги, гдѣ ему дышалось хорошо и привольно и откуда не тянуло его даже въ родную Украину. Здѣсь ему удалось, хотя не надолго, найти настоящій земной рай, и наслажденіямъ его не было границъ. Ни въ годы счастливой юности, ни въ пору блестящихъ литературныхъ успѣховъ Гоголь не зналъ и тѣни того восторженнаго поэтическаго упоенія, которому онъ отдался беззавѣтно въ Италіи. Въ Римѣ ему сразу и навсегда полюбилась и „скромная типшина улицъ, и это особенное выраженіе римскаго населенія, и этотъ призракъ восемнадцатаго вѣка, еще мелькавшій по улицѣ то въ видѣ чернаго аббата съ треугольными шляпами, черными чулками и башмаками, то въ видѣ старинной, пурпурной, кардинальской кареты съ позлащенными осями, колесами, картузами и гербами—все какъ-то согласовалось съ важностью Рима“. Великое историческое прошлое Италіи также часто рисовалось въ пылкомъ воображеніи поэта во всемъ своемъ славномъ, міровомъ величіи, и, припоминая его, онъ готовъ былъ въ восторгѣ восклицать вмѣстѣ съ изображеннымъ имъ въ повѣсти „Римъ“ молодымъ княземъ, что „еще не умерла Италія, что слышится ея неотразимое вѣчное владычество надъ всѣмъ міромъ, что вѣчно вѣетъ надъ нею ея великій геній, уже въ самомъ началѣ завязавшій въ груди ея судьбы Европы, внесшій крестъ въ европейскіе темные лѣса, вознесшійся потомъ всѣмъ блескомъ ума, вѣнчавшій чело свое святымъ вѣнцомъ поэзіи“ и проч. Напомнимъ мимоходомъ, что отъ этихъ послѣднихъ строкъ, какъ и отъ всей повѣсти „Римъ“, снова вѣетъ молодыми увлеченіями Гоголя, ярко проявившимися

въ его историческихъ статьяхъ и наброскахъ, помѣщенныхъ имъ въ „Арабескахъ“.

Горячій энтузіазмъ Гоголя, вспыхнувшій свѣтлымъ пламенемъ при вѣздѣ въ Италію, и порожденная имъ исключительность, побуждавшая впослѣдствіи нашего поэта на нѣкоторое время пожертвовать предмету своего новаго пристрастія почти всѣми интересами жизни, довели его до того, что, по словамъ покойнаго Анненкова, „влелѣбанный уединеніемъ Рима, онъ весь предался творчеству и пересталъ читать и заботиться о томъ, что дѣлается въ остальной Европѣ“.

Въ Италіи Гоголь съ самыхъ первыхъ дней восхищался и природой, и произведеніями искусства, и въ каждомъ словѣ, которымъ онъ привѣтствовалъ радушно принявшую его страну, слышится горячее чувство художника. Странно, какимъ образомъ онъ могъ писать позднѣе Жуковскому, что Швейцаріей и Германіей онъ будто бы восторгался больше, нежели со временемъ Италіей при первомъ ознакомленіи съ нею, тогда какъ уже первыя впечатлѣнія, полученные имъ въ Римѣ, были полны безпредѣльнаго восторга. Впрочемъ и Данилевскому онъ также говорилъ однажды: „Влюбляешься въ Римъ очень медленно, понемногу и уже на всю жизнь. Словомъ, вся Европа для того, чтобы смотрѣть, а Италія для того, чтобы жить“. Въ самомъ дѣлѣ, это былъ не мимолетный порывъ эстетическаго увлеченія, но истинная, жаркая, пламенная страсть.

Необходимо по возможности прослѣдить, какъ крѣпла и росла эта страсть и какіе слѣды она оставила на личности и творествѣ Гоголя. Для того, чтобы оцѣнить въ полной мѣрѣ ея значеніе, слѣдуетъ обратить вниманіе какъ на исключительность поэтической натуры Гоголя, такъ и на самый предметъ его страсти. Если, какъ поэтъ, Гоголь страстно любилъ природу вообще, то извѣстно, что больше всего его приводила въ восторгъ чудная, ни съ чѣмъ несравнимая прелесть европейскаго юга, чарующая роскошь весны, яркій, привѣтливый блескъ солнечнаго дня. Въ силу своей пылкой южной натуры, Гоголь цѣнилъ въ природѣ преимущественно яркія, сверкающія краски; понятно, что ему особенно должна была прійтись по душѣ именно природа „счастливей“ Италіи, съ ея пламенной нѣгой, въ ея вѣчно свѣтломъ, праздничномъ ликованіи. Неудивительно также, что если, едва лишь вступивъ въ предѣлы Италіи, Гоголь беззаветно отдался захватывающему дѣйствию ея дивныхъ красотъ, то потомъ Италія осталась для него почти до гроба обѣтованной землей, и ему, какъ всякому человѣку, охваченному страстью, съ каждымъ днемъ

открывались въ любимомъ предметѣ незамѣченныя и неоцѣненныя прежде красоты. Чары Италіи заслонили и смягчили для него самую утрату Пушкина. „О, Пушкинъ, Пушкинъ!—говорилъ онъ:—какой прекрасный сонъ удалось мнѣ видѣть въ жизни, и какъ печально было мое пробужденіе! Чтѣ бы за жизнь моя была послѣ этого въ Петербургѣ; но какъ будто съ цѣлью всемогущая рука Промысла бросила меня подъ сверкающее небо Италіи, чтобы я забылъ о горѣ, о людяхъ, о всемъ, и весь впился въ ея роскошныя красоты. Она замѣнила мнѣ все. *Глаголю, какъ изступленный, на нее и не налагаюся!*“ Объ Италіи онъ говоритъ съ величайшимъ восхищеніемъ во многихъ письмахъ и потому до конца жизни не могъ о ней вспомнить иначе, какъ съ восторженнымъ чувствомъ, причемъ это увлеченіе иногда сообщалось и его собесѣдникамъ. Такъ точно и товарищъ и участникъ его заграничныхъ странствованій и восторговъ, А. С. Данилевскій, уже на краю гроба не могъ говорить безъ волненія о чудной странѣ, въ которой онъ пережилъ съ Гоголемъ столько свѣтлыхъ, незабываемыхъ въ жизни минутъ. Его воспоминанія о Римѣ, объ Isola Bella и проч. въ тѣсномъ кругу любящей семьи, при всемъ грустномъ сознаніи вѣчной, невознаградимой утраты, дышали какой-то неизвѣстной отрадой.. Но всего замѣчательнѣе было наслажденіе Гоголя, когда ему выпадалъ счастливый случай посвящать неопытнаго новичка во всѣ неизвѣданныя имъ тайны святынь италіанской природы и искусства. Въ это время Гоголь чрезвычайно воодушевлялся, гордился всѣмъ показываемымъ, какъ собственнымъ счастьемъ и славой. Всѣхъ наиболѣе дорогихъ людей онъ неоднократно звалъ и заманивалъ въ Италію, какъ только могъ, и радовался, когда узнавалъ, что кому-нибудь изъ нихъ въ самомъ дѣлѣ предстояла поѣздка въ Италію. Гоголю, конечно, случалось находить и сочувствующихъ товарищей своего страстнаго обожанія Италіи, къ числу которыхъ прежде другихъ можетъ быть отнесена его бывшая ученица М. П. Балабина, до того полюбившая Римъ, что, выѣхавъ однажды изъ него, просила Гоголя поклониться отъ нея всему тому, чтѣ болѣе говорить о Римѣ и, между прочимъ, непременно первому встрѣчному аббату. Ей же Гоголь въ слѣдующихъ выраженіяхъ сообщалъ о вторичномъ пріѣздѣ своемъ въ Италію, очевидно, вполнѣ рассчитывая на сочувствіе: „Когда я увидѣлъ наконецъ во второй разъ Римъ, о, какъ онъ мнѣ показался прекрасенъ! Мнѣ казалось, что будто я увидѣлъ свою родину, въ которой нѣсколько лѣтъ не бывалъ, и въ которой жили только мои мысли. Но нѣтъ, это все не то: не свою родину, но родину

души своей я увидѣлъ, гдѣ моя душа жила еще прежде, чѣмъ я родился на свѣтъ. Опять то же небо, то все серебряное, одѣтое въ какое-то атласное сверканіе, то синее, какъ любить оно показываться сквозъ арки Колизея“. Также дѣлили съ Гоголемъ въ Италіи свои восторги Жуковский и Шевыревъ, а отчасти и Погодинъ. Римъ нравился также и больному Іосифу Віельгорскому. Только одинъ, почти безъ движенія пригвожденный къ своему грустному одру, несчастный страдалецъ Языковъ не могъ увлекаться этимъ чуднымъ краемъ и лишь тяготился напоминавшимъ о жизни и счастьѣ энтузіазмомъ Гоголя. Наконецъ даже маленькимъ дочерямъ Александры Осиповны Смирновой Гоголь умѣлъ внушить такую сильную симпатію къ Италіи, что, возвратившись однажды послѣ большого промежутка времени въ Римъ, онѣ въ избыткѣ восторга и счастья бросились цѣловать мостовую вѣчнаго города.

Словомъ, годы, проведенные Гоголемъ въ Римѣ, можно безъ большого преувеличенія назвать въ нѣкоторомъ родѣ свѣтлымъ праздникомъ его жизни.

XVII.

Гоголь пріѣхалъ въ Римъ съ своимъ знакомымъ Золотаревымъ 14 марта 1837 года. Выѣзжая изъ Парижа, онъ взялъ съ Данилевскаго обѣщаніе какъ можно скорѣе послѣдовать за нимъ, не позже, какъ черезъ недѣлю послѣ его собственнаго пріѣзда. Но, какъ всегда, Данилевскій нѣсколько запоздалъ. Впрочемъ время Гоголя было совершенно наполнено отъ множества новыхъ и сильныхъ впечатлѣній, и если онъ могъ о чемъ жалѣть, то развѣ только о томъ, что ему не съ кѣмъ было дѣлить непосредственно своихъ восторговъ. Данилевскому же онъ не могъ теперь передавать охватывавшія его чувства, ожидая его къ себѣ со дня на день. Но онъ тотчасъ же почти писалъ другому, наиболѣе близкому своему другу, Прокоповичу: „Что тебѣ сказать объ Италіи? Она прекрасна. Она менѣе поразитъ съ перваго раза, нежели послѣ. Только осматриваясь болѣе и болѣе, видишь и чувствуешь ея тайную прелесть. Въ небѣ и облакахъ виденъ какой-то серебряный блескъ. Солнечный свѣтъ далѣе объемлетъ горизонтъ. А ночи... прекрасны. Звѣзды блещутъ сильнѣе, нежели у насъ, и по виду кажутся больше нашихъ, какъ планеты. А воздухъ! онъ такъ чистъ, что дальніе предметы кажутся близкими“. Изъ этого же письма къ Прокоповичу ясно, что развалины и древности Рима, увѣщанныя плющемъ,

ные въ новые дома куски старинной стѣны, колонны или рельефа, съ самыхъ первыхъ дней очаровали Гоголя. Начиная съ этого письма къ Провоповичу, а также съ письма Гоголя матери, написаннаго тотчасъ по прїѣздѣ въ Римъ, мы замѣчаемъ вообще, что онъ вступаетъ въ новую, лучшую фазу своей жизни. Его письма изъ Италіи настолько же блестятъ поэзіей, настолько проникнуты здоровьемъ и радостнымъ чувствомъ молодого, счастливаго упоенія жизнью, насколько черезъ нѣсколько времени они становятся, напротивъ, унылыми, монотонными и безжизненными. Но особенно они дышутъ жизнью и счастьемъ въ 1838 и 1839 годахъ, хотя въ это время его переписка даже съ матерью становится очень рѣдкою: до того онъ былъ упоенъ и поглощенъ тогда одной Италіей.

Изъ знакомыхъ у Гоголя въ это время въ Римѣ не было почти никого, кромѣ Балабиныхъ, Репниныхъ и княгини Зинаиды Александровны Волконской, не считая, конечно, сожителя его Данилевскаго. Объ отношеніяхъ Гоголя къ послѣднему мы уже подробно говорили въ особой статьѣ; что касается до отношеній его къ другимъ поименованнымъ лицамъ, то мы можемъ здѣсь сообщить нѣкоторыя новыя подробности на основаніи разсказа княжны Варвары Николаевны Репниной.

Мы говорили выше, что Гоголь прожилъ нѣсколько недѣль въ обществѣ Балабиныхъ и Репниныхъ въ Баденъ-Баденѣ въ 1836 году. „Послѣ этого, — разсказывала намъ княжна В. Н. Репнина, — изъ Баденъ-Бадена поѣхали мы въ Марсель и потомъ на берегъ въ Италію. Мы ѣхали такимъ образомъ. По дорогѣ въ Марсель, въ маленькомъ городѣ на Ронѣ, въ Pont Saint Esprit мы должны были ночевать, потому что мать занемогла. Потомъ мы продолжали прерванный путь съ матерью и сестрой (Елизаветой Николаевной Репниной, вскорѣ послѣ этого вышедшей замужъ за начальника русскихъ художниковъ въ Римѣ, Павла Ивановича Кривцова), а Марья Петровна Балабина отправилась съ своей матерью до Авиньона. Потомъ мы поѣхали вмѣстѣ въ Ліонъ экипажемъ, а изъ Ліона въ Марсель. Въ Марселѣ сѣли на пароходъ, гдѣ намъ сопутствовали три брата лордовъ Харвей, изъ которыхъ одинъ влюбился въ Марью Петровну и сдѣлалъ ей предложеніе, но получилъ отказъ. Въ намѣреніи посвататься онъ рѣшился сопровождать Балабиныхъ въ Италію и поѣхалъ вмѣстѣ съ Варварой Осиповной, Марьей Петровной и съ Глафирой Ивановной Дуниной-Барковской въ Ливорно. Это былъ первый городъ въ Италіи, въ которомъ мы остановились. Мы должны были долго пробыть тамъ, потому что нашъ корабль былъ въ сопри-

косновеніи съ Смирной, гдѣ свирѣпствовала тогда чума, и насъ не пускали дальше, а сначала даже и въ Ливорно. Мы должны были остаться въ карантинѣ и здѣсь получили печальное извѣстіе о смерти моей сестры, Кушелевой-Безбородко. Потомъ мы поѣхали въ Пизу. Такъ какъ Пиза чрезвычайно скучный городъ, то Варвара Осиповна вскорѣ переѣхала во Флоренцію. Въ Пизѣ-то Артуръ Харвей и сдѣлалъ предложеніе Марѣ Петровнѣ. Она сначала даже дала-было согласіе, но отецъ ея, Петръ Ивановичъ, былъ въ страшномъ негодованіи, и дѣло разстроилось. Изъ Флоренціи мы поѣхали въ Римъ. Сюда пріѣхалъ потомъ и мой отецъ. Здѣсь мы опять встрѣтились съ Гоголемъ. У отца была сильная подагра. Онъ часто разговаривалъ съ Гоголемъ, но они не сходились и почти всегда спорили. Отцу сильно не нравился сатирическій складъ ума Гоголя и онъ былъ притомъ недоволенъ его произведеніями, особенно „Миргородомъ“. Напротивъ, Варвара Осиповна очень любила Гоголя, какъ и вообще всегда цѣнила общество умныхъ и образованныхъ людей. Насъ нерѣдко навѣщалъ аббатъ Лапсі, имя котораго не разъ встрѣчается въ перепискѣ Гоголя. Помню, какъ однажды вечеромъ Гоголь у насъ, не переставая, говорилъ по-русски (онъ былъ тогда, что называется, въ ударѣ), такъ что аббатъ, не понимая нашего языка, не могъ во весь вечеръ проронить ни слова. На этотъ разъ, — но это случилось только однажды, — и Варвара Осиповна осталась недовольна Гоголемъ и бранила его за недогадливость и неучтивость“.

О княгинѣ Зинаидѣ Александровнѣ Волконской и ея отношеніяхъ къ Гоголю княгиня Репнина сообщила намъ слѣдующее.

„Зинаида Александровна, урожденная княжна Бѣлосельская-Бѣлозерская, была жена родного моего (княжны Репниной) дяди, князя Никиты Григорьевича Волконскаго. Ее воспѣвали Веневитиновъ, Жуковскій, Пушкинъ; Мицкевичъ въ чудныхъ стихахъ описалъ ея гостиную. Она жила сначала въ Москвѣ, гдѣ и встрѣчалась съ Веневитиновымъ и Мицкевичемъ. Позднѣе она приняла католичество (тайнымъ образомъ, вѣроятно, еще когда жила въ Москвѣ). Потомъ переѣхала въ Петербургъ. Когда извѣстіе о возвращеніи ея въ католицизмъ дошло до императора Николая Павловича, то онъ хотѣлъ ее вразумить и посылалъ ей съ этой цѣлью священника. Но съ ней сдѣлался нервный припадокъ, конвульсія. Государь позволилъ ей уѣхать изъ Россіи, и она избрала мѣстомъ жительства Италію, что, конечно, было въ связи съ перемѣной религіи. Въ Римѣ ее вскорѣ прозвали Беата; она сначала очень полюбила Гоголя, но потомъ возненавидѣла. Это случилось позднѣе, по слѣдующей причинѣ. Когда умиралъ Іосифъ Вѣльгорскій,

то у него ежедневно бывали Елизавета Григорьевна Черткова, урожденная Чернышева, графиня Марья Артемьевна Воронцова и наконец Гоголь. Зинаида Александровна была уже тогда ярая католичка, и мы рассказывали, что Гоголь пошелъ прогуляться и вмѣстѣ поискать священника для исповѣди умирающаго. Гоголь же потомъ самъ читалъ для него отходную. Молодой Виельгорскій причащался въ саду, и мой отецъ поддерживалъ его и читалъ за него: „Вѣрую, Господи, и исповѣдую“. Но когда онъ умиралъ, то въ его комнатѣ уже былъ приглашенный княгиней Волконской аббатъ Жерве. Зинаида Александровна нагнулась надъ умирающимъ и тихонько шепнула аббату: „вотъ теперь настала удобная минута обратить его въ католичество“. Но аббатъ оказался настолько благороденъ, что возразилъ ей: „Княгиня, въ комнатѣ умирающаго должна быть безусловная тишина и молчаніе“. Тѣмъ не менѣе моя тетка (т.-е. княгиня З. А. Волконская) что-то еще пошептала надъ Виельгорскимъ и потомъ проговорила: „Я видѣла, что душа вышла изъ него католическая“. Виельгорскій же былъ передъ смертью такъ слабъ, что Черткова вмѣстѣ съ Гоголемъ нѣжно ухаживали за нимъ и держали тарелку, когда онъ ѣлъ. Но Черткова собиралась уѣхать, такъ какъ этого требовалъ ея мужъ. Въ знакъ глубокой признательности къ ней за хлопоты и попеченія о немъ, Виельгорскій, умирая, снялъ съ руки кольцо, чтобы передать его Чертковой. Увидя это, Волконская почему-то съ несдерживаемымъ негодованіемъ произнесла: „с'est immoral“. Она находила, что когда Виельгорскій умиралъ, то у него не должно было остаться никакого земного чувства“.

Гоголь прожилъ въ Римѣ до половины іюня 1837 г. и все это время провелъ вмѣстѣ съ Данилевскимъ. Разстаться съ другомъ и покинуть любимый городъ заставили поэта возобновившіеся и усилившіеся недуги и возвращеніе въ Римъ холеры. Сначала онъ еще надѣялся провести все лѣто въ Римѣ, но вскорѣ нашелъ необходимымъ выѣхать въ Баденъ и писалъ оттуда: „Сердце мое тоскуетъ по Римѣ и по моей Италіи! И не дождусь, покамѣстъ пройдетъ мѣсяць, который мнѣ нужно *убить* на здѣшнихъ водахъ“. Въ началѣ лѣта его сильно захватила нужда и, можетъ быть, это также была одна изъ причинъ его выѣзда изъ Италіи. Очевидно, всѣ прежнія средства истощились, и Гоголю необходимо было изыскивать новые ресурсы. Онъ поручилъ-было Провоповичу узнать, всѣ ли деньги получены отъ Смирдина и не успѣлъ ли для него что-нибудь сдѣлать Жуковскій при дворѣ. Наконецъ онъ просилъ своего пріятеля продать оставшуюся въ Петербургѣ его бібліотеку и прислать ему какія-то „рукописныя книги“, т.-е.,

вѣроятно, тѣ тетради, въ которыхъ записывались его сочиненія. Въ то же время онъ узнавалъ адресъ Павла Николаевича Демидова, которому вскорѣ и написалъ весьма любезное письмо, напечатанное въ „Русской Старинѣ“ (1888 г., мартъ). Но въ Римѣ вскорѣ усилилась холера, и это прискорбное обстоятельство заставляло Гоголя противъ воли все болѣе отсрочивать свое возвращеніе въ излюбленный городъ; такъ 12 іюня онъ писалъ, что предполагаетъ только мѣсяцъ пробыть въ Швейцаріи, тогда какъ черезъ нѣсколько дней онъ писалъ уже съ дороги, что проживетъ недѣли двѣ въ Баденѣ и затѣмъ уже пріѣдетъ въ Женеву, а въ Римъ воротится только въ концѣ августа или въ началѣ сентября. Такъ или иначе, нѣтъ никакого сомнѣнія, что внѣ Италіи Гоголя удерживала только крайняя необходимость. Еще немного позднѣе онъ писалъ Прокоповичу: „возьми изъ банка полторы тысячи и пришли мнѣ“. Изъ письма отъ 16-го іюля 1837 г. къ Варварѣ Осиповнѣ Балабиной оказывается, что онъ прибылъ въ Баденъ около половины этого мѣсяца, такъ какъ, согласно обѣщанію, письмо было написано на первыхъ дняхъ по пріѣздѣ. „Я обѣщался писать, — говорилъ Гоголь въ началѣ письма, — пріѣхавши на мѣсто, гдѣ мнѣ суждено пользоваться водопоемъ, и передать вамъ впечатлѣнія которыя произвела на меня Швейцарія послѣ Италіи“ и проч. Судя по второй половинѣ письма, въ Баденѣ онъ не намѣревался оставаться долго („я въ Баденѣ мимоѣздомъ. Еще неизвѣстно, на какія воды буду отправленъ“). Между тѣмъ, какъ видно изъ письма къ матери отъ 1-го октября, онъ остался въ Баденѣ цѣлый мѣсяцъ и въ этотъ-то промежутокъ, вѣроятно, побывалъ вмѣстѣ съ братомъ А. О. Смирновой, Аркадіемъ Осиповичемъ Россетомъ, въ Страсбургѣ, какъ это видно изъ книги г. Кулиша: „Записки о жизни Гоголя“. Причиной такого промедленія, кромѣ леченія, могла быть такимъ образомъ новая пріятная встрѣча съ Смирновой, облегчившая для него одиночество и скуку.

XVIII.

Съ половины іюля почти до октября 1837 года переписка Гоголя совершенно прекращается. Такой перерывъ, однако, долженъ быть объясненъ не одной болѣзнью, но и другими соображеніями. Гоголь, безъ сомнѣнія, былъ боленъ въ этотъ промежутокъ времени, но не тяжело, такъ какъ въ противномъ случаѣ воспоминаніе объ этомъ непремѣнно сохранилось бы или въ печатныхъ источникахъ, или въ памяти тѣхъ лицъ, которыя знали

его и не забыли это далекое время. Между тѣмъ совершенно не осталось никакихъ слѣдовъ чего-либо подобнаго, и напротивъ, есть основаніе думать, что Гоголь ни разу не былъ сильно боленъ до 1840 г., хотя тогда перерывъ въ его перепискѣ былъ никакъ не больше. Мы уже говорили, что въ Баденѣ Гоголь пробылъ больше мѣсяца, слѣдовательно до половины или конца августа. Передъ прїѣздомъ въ Баденъ онъ, неизвѣстно для какой цѣли, былъ снова во Франкфуртѣ-на-Майнѣ. Въ Баденѣ онъ былъ совершенно здоровъ и выѣзжалъ оттуда нѣсколько разъ, напр., въ Страсбургъ и Карlsruэ. Такъ какъ это время онъ провелъ преимущественно въ семьѣ Александры Осиповны Смирновой, то много любопытныхъ подробностей должно открыться по обнаруженіи подлиннаго дневника послѣдней. Затѣмъ, по выѣздѣ изъ Бадена, трехнедѣльный или мѣсячный промежутокъ времени могъ быть проведенъ Гоголемъ въ непрерывныхъ переѣздахъ. „Теперь я таскаюсь безпрїютно“, писалъ онъ Прокоповичу 19-го сентября уже изъ Швейцаріи, — если только послѣднее выраженіе не указываетъ исключительно на вынужденный переѣздъ изъ Рима сначала въ Баденъ, а потомъ въ Женеву. Въ Швейцарію къ нему вскорѣ прїѣхалъ и Данилевскій. Затѣмъ все остальное время до конца ноября онъ прожилъ съ Данилевскимъ и потому, по его словамъ, „провелъ осень довольно прїятно“, и наконецъ при первой возможности снова возвратился въ Римъ, впрочемъ не тотчасъ по прекращеніи въ немъ холеры, а спустя уже нѣкоторое время, потому что въ Женевѣ онъ дожидался писемъ изъ Петербурга (вѣроятно, отъ Прокоповича и Жуковскаго по поводу запросовъ о денежныхъ дѣлахъ). Письмо къ Жуковскому отъ 30 октября 1837 г. изъ Рима заставляетъ, впрочемъ, предположить, что, уже вернувшись туда въ концѣ октября, Гоголь снова на короткое время долженъ былъ еще разъ прїѣхать въ Швейцарію.

Упомянутый пробѣлъ въ перепискѣ могъ произойти прежде всего потому, что матери Гоголь уже писалъ, чтобы она не ждала отъ него писемъ во время предстоящей разъѣздной жизни и не удивлялась, если не будетъ получать отвѣтовъ, такъ какъ и ея письма, адресованныя по прежнему въ Римъ, долго не могутъ быть имъ получены. Онъ не сообщилъ ей опредѣленнаго временнаго адреса, очевидно не зная самъ, какъ придется ему распоряжаться разъѣздами. Впрочемъ, если мать его пожелала бы, чтобы онъ раньше получилъ письмо, то она должна была адресовать письмо въ Женеву въ *poste restante*, но и это могло произойти только въ концѣ лѣта. „Если успѣете его отправить въ

августъ мѣсяцѣ, то оно будетъ мною получено, потому что, *можетъ быть*, я въ Женевѣ пробуду недѣли двѣ, на возвратѣ въ Италію“. Притомъ въ это время онъ вообще сталъ уже рѣдко переписываться съ матерью и предъидущій промежутокъ между письмами былъ не менѣе продолжительный (также трехмѣсячный). Далѣе слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что Гоголь также совершенно ни съ кѣмъ не переписывался, начиная съ водворенія своего въ Римѣ, даже съ Погодинымъ, и не прерывалъ своихъ отношеній лишь съ Балабиными, Данилевскимъ и Прокоповичемъ, — съ послѣднимъ отчасти даже обмѣнивался письмами по необходимости чаще прежняго. Между тѣмъ съ Данилевскимъ, въ занимающій насъ промежутокъ времени, онъ жилъ вмѣстѣ, а Балабиной—матери—онъ писалъ тотчасъ по пріѣздѣ въ Бадень. Наконецъ, благодаря карантинамъ и почтовымъ неисправностямъ, нѣкоторыя письма Гоголя, относящіяся къ этому времени, не были получены его корреспондентами. 15 апрѣля 1838 г. Гоголь жаловался Прокоповичу: „Римское правительство вздумало сдѣлать разныя преобразованія почтъ, которая, въ продолженіе холеры и прочихъ несчастныхъ обстоятельствъ, пришла въ весьма жалкое положеніе съ тѣхъ поръ, какъ сдѣланы эти преобразованія. *Пропало уже два письма*, которыя я писалъ къ нѣкоторымъ моимъ знакомымъ, а ко мнѣ, я думаю, множество, потому что я болѣе полугода рѣшительно не получалъ писемъ“.

Всѣ эти справки и соображенія могутъ быть полезны, между прочимъ, для того, чтобы установить предположеніе о поѣздѣ Гоголя, въ занимающій насъ промежутокъ времени, въ Испанію. Что Гоголь былъ дѣйствительно въ Испаніи, сообщено еще г. Булиномъ въ „Запискахъ о жизни Гоголя“ и затѣмъ подтверждается показаніями Смирновыхъ и Данилевскаго; но никакого иного времени для этой поѣздки рѣшительно нельзя допустить по сохранившимся даннымъ переписки. Притомъ въ это время Гоголь „таскался безпріютно“, чтд, какъ извѣстно изъ многихъ случаевъ его жизни, случалось именно, когда онъ чувствовалъ себя нехорошо. Дорога служила ему обыкновенно развлеченіемъ и способствовала его духовному и тѣлесному возрожденію. Какъ мы видѣли, всѣ эти причины въ настоящемъ случаѣ были въ наличности. Въ письмѣ къ Прокоповичу отъ 19 сентября 1837 г. читаемъ: „Я боюсь ипохондріи, которая гонится за мною по пятамъ. Смерть Пушкина, вѣжета, какъ будто отняла отъ всего, на чтд погляжу, половину того, чтд могло бы меня развлекать. Желудокъ мой гадокъ до невозможной степени и отказывается рѣшительно варить. Воды мнѣ ничего не помогли; только чув-

ствую себя хуже: легкость въ карманѣ и тяжесть въ желудкѣ". Ко всѣмъ этимъ непріятностямъ присоединялось еще то, что бібліотеку, оставленную Гоголемъ въ Петербургѣ, стоявшую Гоголю до трехъ тысячъ, рѣшительно не удалось продать. Впрочемъ въ концѣ 1837 г. его денежные обстоятельства замѣтно улучшились: сначала онъ получилъ тысячу рублей отъ Плетнева, что дало ему возможность уплатить нѣкоторую часть долговъ, а потомъ онъ „неожиданно“ получилъ отъ государя снова пять тысячъ и такимъ образомъ былъ выведенъ изъ затруднительнаго положенія.

Письмо къ Прокоповичу, въ которомъ сообщено объ этомъ подаркѣ государя, не имѣетъ даты, но оно несомнѣнно предшествовало возвращенію Гоголя въ Италію, такъ какъ по полученіи денегъ онъ нисколько не промедлилъ въ Женевѣ и по приѣздѣ въ Римъ писалъ Жуковскому въ благодарственномъ письмѣ за присланныя деньги: „Вексель съ извѣстіемъ еще въ августѣ мѣсяцѣ пришелъ ко мнѣ въ Римъ, но я долго не могъ возвратиться туда по причинѣ холеры. Наконецъ я вырвался. Еслибы вы знали, съ какою радостью я бросилъ Швейцарію и полетѣлъ въ мою душеньку, въ мою красавицу, Италію! Она моя! Никто въ мірѣ ея не отниметъ у меня! Я родился здѣсь.—Россія, Петербургъ, снѣга, подлецы, департаментъ, кафедра, театръ,—все это мнѣ снилось. Я проснулся опять на родинѣ и пожалѣлъ только, что поэтическая часть этого сна—вы, да три-четыре оставившихъ вѣчную радость воспоминанія въ душѣ моей, не перешли въ дѣйствительность“. Но, судя по датамъ писемъ, Гоголь долженъ былъ снова возвратиться почему-то еще разъ не надолго въ Швейцарію. Вторично онъ поѣхалъ въ Италію уже черезъ Альпы и, освободившись отъ долговременной тяжести, лежавшей у него на душѣ во все время его разлуки съ страстно любимой Италіей, любовался скалами, стремнинами, водопадами. Опять онъ съ увлеченіемъ передаетъ свои дорожныя впечатлѣнія матери и восхищается прелестнымъ островомъ Isola Bella, всегда сильно нравившимся какъ ему, такъ и Данилевскому. Матери онъ также писалъ о своей радости, испытанной имъ при возвращеніи въ Италію: „Мысль увидѣть Италію опять—вновь произвела то, что я бросилъ Швейцарію, какъ узникъ бросаетъ темницу. Я избралъ на этотъ разъ другую дорогу, сухимъ путемъ, черезъ Альпы, самую живописную, какую только мнѣ удавалось видѣть“, и проч. Наконецъ черезъ Миланъ и Флоренцію онъ прибылъ вторично въ Римъ, и ему уже казалось, что отъ одного приѣзда въ любимую страну онъ совершенно исцѣлился отъ всѣхъ болѣзней и чувствовалъ себя хорошо.

Такимъ образомъ, маршруты Гоголя въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, отъ половины іюня до конца ноября 1837 г., были приблизительно слѣдующіе: 12 или 13 іюня онъ выѣхалъ изъ Рима, 15-го былъ въ Туринѣ, откуда написалъ письмо матери, потомъ былъ во Франкфуртѣ-на-Майнѣ, прожилъ нѣкоторое время въ Баденъ-Баденѣ, потомъ былъ въ Женевѣ, откуда поѣхалъ въ Римъ и прибылъ туда въ концѣ октября (30 октября имъ было изъ Рима написано письмо Жуковскому), затѣмъ снова пріѣхалъ въ Швейцарію, наконецъ изъ Женевы возвратился черезъ Сеплонъ, пройдя мимо острова *Isola Bella*, въ Миланъ, Флоренцію и Римъ. Во время этихъ блужданій и переездовъ могла быть, кромѣ того, совершена Гоголемъ упомянутая поѣздка въ Испанію. Въ этомъ приблизительномъ маршрутѣ Гоголя мы допускаемъ его вторичное возвращеніе въ Швейцарію, конечно, лишь въ томъ предположеніи, что даты писемъ его вѣрны.

XIX.

Во второе свое пребываніе въ Римѣ Гоголь сначала жилъ почти совершенно одинъ, не имѣя никакихъ знакомыхъ, кромѣ мало интересныхъ и несимпатичныхъ ему русскихъ художниковъ, состоявшихъ подъ начальствомъ Павла Ивановича Кривцова, женившася 12 ноября 1837 г. на Елизаветѣ Николаевнѣ Репниной. Остальные Репнины жили тогда во Флоренціи, а Балабины давно уже возвратились въ Петербургъ. Но зато Гоголю мелькала надежда въ скоромъ времени увидѣть въ Римѣ Жуковского, сопровождавшаго, какъ извѣстно, наследника Александра Николаевича, который предполагалъ послѣ путешествія по Россіи и западной Сибири совершить такое же путешествіе по западной Европѣ. „Узнай отъ Плетнева,—писалъ Гоголь Прокоповичу еще изъ Женевы 12 сентября 1837 года:—правда ли это, что говорятъ, что будто на слѣдующій годъ ѣдетъ наследникъ, а съ нимъ, безъ сомнѣнія, и Жуковский, а можетъ быть и Плетневъ, въ Италію“. Между тѣмъ обычное теченіе жизни Гоголя было совершенно такое же, какъ и прежде. Его отношенія къ Италіи измѣнились очень мало; но такъ какъ теперь они опредѣлились еще яснѣе, то намъ и слѣдуетъ еще разъ остановиться на изученіи нѣкоторыхъ подробностей. Красоты Италіи еще сильнѣе стали поражать Гоголя послѣ того, какъ онъ оставилъ ее на время и снова побывалъ въ странахъ, которыя прежде нравились ему, но теперь, въ сравненіи съ Италіей, потеряли всякое обаяніе. Всего ярче новыя впечатлѣнія въ Швейцаріи

были изображены Гоголемъ въ письмѣ къ Варварѣ Осиповнѣ Балабиной отъ 16 іюля 1837 года, въ которомъ читаетъ: „Вы знаете, что я почти съ грустью разставался съ Италіей. Мнѣ жалко было и на мѣсяцъ (какъ сначала предполагалъ Гоголь) оставить Римъ. И когда при вѣздѣ въ сѣверную Италію, на мѣсто кипарисовъ и куполовидныхъ римскихъ сосенъ увидѣлъ я тополи, мнѣ сдѣлалось какъ-то тяжело. Тополіи стройные, высокіе, которыми я восхищался бы прежде непременно, теперь показались мнѣ пошлыми“. Точно также жаловался Гоголь потомъ на „медвѣжье дыханье сѣвернаго океана“ и на близость „царства зими“ уже въ Швейцаріи, а сама Швейцарія казалась ему даже Сибирью, не говоря уже о Парижѣ, и только Монбланъ и Женевское озеро сохраняли для него отчасти свой прежній престижъ. Вообще же онъ находилъ, что „кто былъ въ Италиі, тотъ скажи прости другимъ землямъ“. Марья Петровна Балабина онъ писалъ уже цѣлыя восторженные письма на итальянскомъ языкѣ, наполненные обычными гимнами Италиі: „*Sapete di me, che tutta Italia è un boccone di ghiotto ed io levo la sua aria balsamica e creppagozza, in modo, che per altre forestieri non ne resta niente*“ („Вы знаете, что вся Италія — лакомый кусочекъ, и я упиваюсь ея бальзамическимъ воздухомъ до надрыва горла, съ такою жадностью, что для другихъ иностранцевъ не остается ничего). Подобно Гоголю, и Марья Петровна Балабина въ часы досуга любила бродить по улицамъ Рима, заглядывая иногда и въ самые отдаленные уголки его, и часто возвращалась домой съ какими-нибудь случайно найденными остатками древностей. Какъ Гоголю, такъ и Балабиной нравились всѣ подробности римской жизни и обихода, а изъ величественныхъ памятниковъ искусства ихъ наиболѣе привлекали храмъ святого Петра, Монте-Пинчіо, Колизей, piazza Barberini, римскіе фонтаны и статуи и проч. Очень милы шутки Гоголя въ письмѣ къ Балабиной о Колизеѣ: „Колизей сильно гнѣвается на вашу милость. По этой причинѣ его не посѣщаю, потому что онъ вѣчно у меня спрашиваетъ: „скажи-ка мнѣ, любезнѣйшій *помисіо* (какъ онъ всегда меня называетъ), что-то она подѣлываетъ? Она дала клятву любить меня вѣчно и при всемъ томъ молчитъ и знать меня не хочетъ: скажи, что это значитъ?“ И я отвѣчаю: не знаю. А онъ говоритъ мнѣ: „скажи мнѣ, почему она перестала благоволить ко мнѣ?“ а я отвѣчаю: „старъ ты слишкомъ, синьоръ Колизей“¹⁾. Слыша такіа

¹⁾ „Il Colosseo è molto adirato contra la vostra signoria. Per questo ragione non vado da lui, per che mi domanda sempre: dite mi un poco, mio caro *umicio*

слова, онъ хмурить брови и лобъ его становится все мрачнѣе и суровѣе" и проч. Вообще о храмѣ святого Петра, Колизеѣ, объ итальянскихъ древностяхъ и объ аббатахъ Гоголь писалъ Балабиной съ какой-то особенной любовью, какъ о самыхъ близкихъ и дорогихъ существахъ. (Въ частности Гоголю нравились въ Италіи цвѣтъ горъ. Тамъ въ Швейцаріи ему горы казались сѣрыми, а въ Италіи голубыми, и это впечатлѣніе Гоголь высказываетъ въ нѣсколькихъ письмахъ и не разъ упоминаетъ также о томъ, что въ Швейцаріи „воздуха нѣтъ, этого прозрачнаго, транспарантнаго воздуха, какъ въ Италіи“). Съ Балабиной же, какъ съ наиболее молодой, впечатлительной и отзывчивой корреспонденткой, Гоголь съ особеннымъ удовольствіемъ дѣлился не только своими лучшими итальянскими впечатлѣніями, но и сообщалъ ей въ шутиливой формѣ курьезныя извѣстія объ общихъ знакомыхъ. Къ числу послѣднихъ принадлежали, напримѣръ, археологъ Мейеръ и художники Ефимовъ, Каневскій и прочіе. Первый изъ нихъ былъ очень преданъ семейству Балабиныхъ и особенно любилъ Марью Петровну, а также и былъ расположенъ ко всѣмъ Волконскимъ. У него была оригинальная странность: онъ часто влюблялся во многихъ близко знакомыхъ ему особъ и горячо увѣрялъ и доказывалъ, что въ этомъ нисколько не обнаруживается его непостоянство, но, наоборотъ, это именно послужитъ доказательствомъ постоянства самаго чувства, которое не измѣняется, но только избираетъ себѣ разные предметы обожанія. Однажды онъ написалъ даже романъ подъ заглавіемъ: „Eduard in Rom“, гдѣ въ одномъ изъ дѣйствующихъ лицъ, по его собственному признанію, была изображена княжна В. Н. Репнина. Ей онъ посвятилъ книгу и, вручая экземпляръ, торжественно просилъ прочитать; но, по воспоминаніямъ княжны, романъ былъ такъ длиненъ и тяжелъ и наполненъ множествомъ такихъ скучныхъ и безжизненныхъ археологическихъ подробностей, что она не могла приневолить себя прочитать эту книгу, которая такъ и осталась неразрѣзанной до болѣе благоприятнаго времени, никогда, впрочемъ, не наступившаго. Надъ страстью этого Мейера въ женскому полу подсмѣивались всѣ въ домѣ Балабиныхъ, и Гоголь также расточалъ относительно его чрезвычайно удачныя

(mi chiama sempre così), che fa adesso la mia signora Maria? Ella a fatto il giuramento sull'ara d'amar mi sempre e con tutto, cio tace e non vuole conoscermi, dite cosa è questo? ed io rispondo: non lo so, ed egli dice: dite mi, per che ella non continuo a volermi bene? ed io rispondo: siete troppo vecchio, signor Colosseo! Ed egli dopo aver sentito tali parole, aggrota le ciglia, e la sua fronte diviene barbara e severa“.

и мѣткія насмѣшки. Въ своихъ письмахъ Гоголь также былъ не прочь пошутить на его счетъ. „На вопросъ вашъ, — писалъ онъ Марья Петровна Балабиной, — боготворить ли онъ статуи? — имѣю честь доложить, что онъ, какъ кажется, предпочитаетъ имъ живыя творенія; по крайней мѣрѣ, онъ больше попадаетъ съ дамами въ шляпкахъ и лентахъ, нежели съ статуями, у которыхъ нѣтъ ни шляпокъ, ни лентъ, а одна запыленная драпировка, навинутая какъ ни попало. Впрочемъ Мейеръ теперь въ модѣ, и княжна Варвара Николаевна, которая подтрунивала надъ нимъ первая, говоритъ теперь, что Мейеръ совершенно не тотъ, какъ узнать его покороче, что въ немъ очень много хорошаго“. Дмитрій Егоровичъ Ефимовъ, архитекторъ, также часто бывалъ у Репниныхъ и Балабиныхъ и при встрѣчѣ съ Гоголемъ всегда начиналъ съ нимъ споръ. Въ одномъ письмѣ къ Погодину Гоголь глумился надъ нимъ, говоря: „кое-гдѣ я встрѣчалъ (въ книгѣ Шафарика) мои собственныя мысли, которыя хранилъ въ себѣ и хвастался тайнѣ, какъ открытіями, и которыя натурально теперь не мои, потому что уже не только образовались, но даже напечатаны раньше моего. И я похожъ теперь на Ефимова, который показывалъ тебѣ египетскія древности, въ увѣренности, что это его собственныя открытія, потому только, что онъ имѣетъ благородное обыкновеніе, свойственное впрочемъ всѣмъ художникамъ, не заглядывать въ книги“. Надъ художникомъ Каневскимъ Гоголь также подсмѣивался, говоря, что онъ можетъ только нарисовать портретъ Кривцова; портретъ, впрочемъ, по воспоминаніямъ В. Н. Репниной, былъ дѣйствительно удаченъ. Особенно же доставалось отъ Гоголя художникамъ Дурнову и Никитину. Гоголь смѣялся также надъ пріѣхавшимъ въ Римъ изъ Петербурга землякомъ Базилевскимъ, знакомство котораго вѣкогда мать его, Марья Ивановна, находила для него желательнымъ. Гоголь никакъ не могъ забыть, какъ однажды Базилевскій, сидя за карточнымъ столомъ, озадачилъ всѣхъ присутствующихъ неожиданнымъ вопросомъ о томъ, гдѣ находится Ватиканъ, и замѣтивъ общее смущеніе, вызванное такимъ наивнымъ невѣжествомъ, нисколько не конфуясь, оправдывалъ себя тѣмъ, что онъ только недавно пріѣхалъ въ Римъ. Осматривая потомъ при Гоголѣ храмъ св. Петра, онъ столь же неожиданно выразилъ требованіе, чтобы ему была показана также церковь св. Павла: „А гдѣ же Павелъ? Вѣдь и Павелъ долженъ быть тутъ!“ И когда кустодъ началъ ему объяснять, что Павелъ дѣло совершенно другое и находится въ другой сторонѣ города, то нашъ соотечественникъ такъ началъ говорить ему сильно и убѣ-

дительно, что самъ чичероне, наконецъ, убѣдился, что точно и Павелъ долженъ быть тутъ“. Но больше всего любилъ Гоголь подтрунить надъ Магдалиной Александровной Власовой, родной сестрой княжны Зинаиды Александровны Волконской. Въ противоположность послѣдней, она была весьма ограниченная женщина, но чрезвычайно добрая и сердечная. Она имѣла серьезное лицо, на которомъ иногда совершенно неожиданно и некстати появлялась улыбка, которая обыкновенно сопровождалась неизвѣннымъ восклицаніемъ: „а вѣдь Емельяни ужъ уѣхалъ!“ Эти слова она повторяла всѣмъ и каждому, нисколько не заботясь о томъ, знали ли ея собесѣдники Емельяни. Гоголь добродушно подсмѣивался надъ этой странностью и, какъ юмористъ, любилъ копировать старушку, а однажды, въ концѣ письма къ Варварѣ Николаевнѣ Репниной, также безъ всякаго отношенія къ его содержанію, прибавилъ: „А вѣдь Емельяни ужъ уѣхалъ“. Странная привычка г-жи Власовой объясняется ея неудавшимся страстнымъ желаніемъ устроить судьбу одной знакомой дѣвушки, въ которую влюбился Емельяни, но почему-то раздумалъ потомъ жениться и скрылся. Власова, по добротѣ своей, когда узнала объ этомъ, долго ни за что не хотѣла повѣрить этому и разстаться съ надеждой на возвращеніе Емельяни, и все повторяла, что онъ уѣхалъ. Наконецъ Гоголь дружески подшутилъ однажды по поводу несостоявшагося отъѣзда изъ Рима въ Неаполь самихъ Репниныхъ. Сборы были продолжительные, но кончились ничѣмъ. Тогда Гоголь написалъ, будучи въ Римѣ, письмо къ Варварѣ Николаевнѣ, также еще не выѣхавшей изъ Рима, письмо, которое начиналось словами: „Итакъ вы уже въ Неаполѣ. Какъ я завидую вамъ: вы глядите на море, купаетесь мыслью въ яхонтовомъ небѣ, пьете, какъ мадеру, упоительный воздухъ. Передъ вами лежатъ живописные лацарони; лацарони ѣдятъ макароны длиною съ дорогу отъ Рима до Неаполя, которую вы такъ быстро пролетѣли“. Кромѣ этой послѣдней невинной дружеской шутки, какъ мы видѣли, предметами насмѣшки Гоголя были всегда только люди мелочные и ничтожные. Считаемъ необходимымъ указать на это еще разъ, во избѣжаніе возможнаго перетолкованія нашихъ словъ въ томъ смыслѣ, что будто Гоголь былъ насмѣшливъ безъ разбора и былъ, по извѣстному выраженію Достоевскаго, „демономъ смѣха“.

Возвращаясь къ дальнѣйшему изложенію фактовъ біографіи Гоголя, отмѣтимъ здѣсь, что нигдѣ въ письмахъ его за 1837 и 1838 годы мы не находимъ никакихъ упоминаній о работѣ его надъ „Мертвыми Душами“. Чрезвычайно важно поэтому сообще-

ніе Н. В. Берга въ его воспоминаніяхъ о томъ, какъ, уже незадолго до смерти, Гоголь рассказывалъ, что въ былые годы ему гораздо легче давался литературный трудъ и какъ въ бильярдной одного жалкаго трактира между Дженцано и Альбано ему удалось при страшномъ шумѣ и среди удушливой атмосферы написать, подъ вліяніемъ внезапно осѣнившаго его вдохновенія, за одинъ присѣсть цѣлую главу „Мертвыхъ Душъ“. Этотъ фактъ долженъ быть отнесенъ къ лѣту 1838 года, когда Гоголь въ срединѣ лѣта отправился изъ Рима въ Неаполь и Кастелла-маре. О другихъ занятіяхъ Гоголя можно дѣлать только весьма смутныя предположенія, — напр., объ изученіи имъ русской исторіи древняго періода. Такъ онъ, повидимому, усердно занимался въ концѣ тридцатыхъ годовъ чтеніемъ лѣтописей, произведеній народной словесности и сочиненій, относящихся къ этой области (напр., сочиненій Сахарова, Снегирева, Шафарика), сборниковъ малороссійскихъ пѣсенъ.

Среди этихъ занятій и наслажденій красотою древняго Рима Гоголь забывалъ весь остальной міръ, и ему было досадно, когда его чѣмъ-нибудь отрывали отъ предмета его обожанія. Однажды онъ былъ очень недоволенъ матерью за то, что она, неизвѣстно почему, стала высказывать опасеніе, чтобы въ Римѣ не повліяла на него католическая пропаганда, что онъ много проживаетъ денегъ, и стала, наконецъ, выражать рѣшительное желаніе, чтобы онъ ѣхалъ скорѣе въ Малороссію, убѣждая его лечиться у знакомаго полтавскаго военнаго доктора Кричевскаго, который пользовался прочной репутаціей. Желая поскорѣе увидѣть сына, она наивно пробовала увѣрить его, что и климатъ въ Малороссіи ничѣмъ не хуже, чѣмъ въ Италіи, и Гоголю приходилось серьезно объяснять преимущества послѣдняго. Въ то же время своимъ роднымъ она съ гордостью передавала: „Сынъ мой теперь въ Италіи и каждый мѣсяцъ пишетъ ко мнѣ со всякаго мѣста, гдѣ находится“.

XX.

Обиходный бытъ Гоголя въ Римѣ былъ очень однообразенъ и скромнѣе, особенно въ то время, когда у него не было тамъ знакомыхъ. Но въ тѣ лучшіе годы, еще чуждый своей позднѣйшей брюзгливости, онъ легко свыкался съ окружающей обстановкой и держалъ себя естественно и просто, не нуждаясь пока ни въ какомъ особомъ комфортаѣ. Гдѣ ни появлялись они съ Данилевскимъ, у нихъ всюду завязывались знакомства, начиная отъ

передовыхъ представителей мысли—какъ въ Женевѣ и Парижѣ они встрѣчались съ Мицкевичемъ и Богданомъ Залѣскимъ—до разныхъ комическихъ и каррикатурныхъ лицъ, доставлявшихъ обильную пищу природному юмору Гоголя. По поводу послѣднихъ онъ всегда любилъ пошутить, или придумывая разные забавныя положенія, въ которыхъ ярче выступали ихъ комическія стороны, или представляя въ новомъ юмористическомъ освѣщеніи нѣчто еще незамѣченныя странности. Даже содержатели гостинницъ и гарсоны ресторановъ нерѣдко служили источникомъ и привычнымъ предметомъ ихъ молодого остроумія. Разставаясь другъ съ другомъ, пріатели любили иногда вспоминать о прослушанныхъ вмѣстѣ операхъ и о лучшихъ пѣвцахъ, о достопримѣчательностяхъ Рима и о парижскихъ бульварахъ, объ уличной итальянской жизни и объ игрѣ на билліардѣ въ одномъ изъ парижскихъ ресторановъ (эту игру они оба любили), и, наконецъ, о знакомыхъ гостинницахъ и ихъ прислугѣ. Ни съ кѣмъ Гоголь не жилъ до такой степени душа въ душу, какъ съ Данилевскимъ, и потому ихъ письма всегда носятъ явный отпечатокъ долговременнаго душевнаго сожителства. Изъ этихъ же писемъ видно, какъ нерѣдко имъ случалось неожиданно встрѣчать и потомъ вскорѣ опять терять изъ виду своихъ общихъ знакомыхъ, а иногда даже нѣжинскихъ однокашниковъ, пріѣзжавшихъ за границу. Словомъ, письма Гоголя къ Данилевскому переносятъ насъ изъ блестящей аристократической сферы, въ которой Гоголь, какъ извѣстно, вращался преимущественно въ кругу дамъ, въ непритязательную обстановку безпечной товарищеской жизни холостыхъ и съ дѣтства близкихъ другъ къ другу людей. Въ позднѣйшіе годы заграничной жизни Гоголя онъ окончательно втянулся въ великосвѣтскія отношенія и почти вовсе охладѣлъ къ своимъ „нѣжинцамъ“, но въ концѣ тридцатыхъ годовъ онъ еще съ бѣльшимъ наслажденіемъ вращался попеременно въ обоихъ названныхъ кружкахъ; этой переменѣ много способствовали прекратившіяся потомъ случайныя встрѣчи съ друзьями дѣтства. Кружокъ римскихъ художниковъ имѣлъ одинаково близкое соприкосновеніе какъ съ семействами Балабиныхъ и Репнинныхъ, такъ и съ Данилевскимъ и другими не-аристократическими пріателями Гоголя.

Душевное настроеніе Гоголя было почти все время самое счастливое: хандра, временами посѣщавшая его нѣкогда въ Парижѣ и въ Женевѣ, теперь забыта надолго. Правда, въ первые дни по пріѣздѣ въ Римъ, Гоголь, несмотря на великую радость при полученіи вѣсти о щедромъ подаркѣ государя, былъ не со-

всѣмъ въ духѣ, не найдя въ Римѣ противъ ожиданія никакихъ писемъ отъ своихъ знакомыхъ; но когда дѣло разъяснилось и во всемъ оказались виноваты стѣснительныя карантинныя формальности, то и отъ этой непродолжительной непріятности скоро не осталось слѣда. Тогда Гоголь говорилъ: „Въ душѣ небо и рай. У меня теперь въ Римѣ мало знакомыхъ или, лучше, почти никого (Репнины во Флоренціи). *Но никогда я не былъ такъ веселъ, такъ доволенъ жизнью*“. Вскорѣ неизгладимое впечатлѣніе произвелъ на него блестящій римскій карнавалъ, этотъ шумный народный праздникъ, когда „Римъ гуляетъ напропало“. Описаніе карнавала встрѣчается въ нѣсколькихъ письмахъ Гоголя и въ его повѣсти „Римъ“, но всѣ они представляютъ, къ сожалѣнію, лишь бѣглые наброски, разрозненныя части одной мастерской картины, наиболѣе полно объединенной лишь въ „Римѣ“. Планъ повѣсти не позволилъ Гоголю сдѣлать слишкомъ большое отступленіе отъ ея главнаго содержанія, и потому въ данномъ случаѣ мы лишь отчасти имѣемъ возможность прослѣдить, какъ отрывочныя впечатлѣнія художника слагались въ одно стройное изображеніе.

О карнавалѣ Гоголь писалъ прежде всѣхъ Данилевскому, причемъ обратилъ вниманіе преимущественно на общую характеристику безпорядочнаго веселья и шумной суматохи толпы, а также на описаніе вида запруженныхъ экипажами улицъ; кромѣ того онъ вскользь упоминаетъ о наиболѣе необходимыхъ принадлежностяхъ карнавала: маскахъ, обильно сыплющейся со всѣхъ сторонъ мукѣ и о выдающихся даже среди страшнаго многолюдства „забѣткахъ“, забравшихся на балконы и бросающихъ горстями и ведрами мучные шарики на сидящихъ въ колесницахъ. Въ отрывкѣ „Римъ“ повторены лишь нѣкоторыя черты изъ этого описанія, слишкомъ общія, напр. уличная давка, цѣпь медленно тянущихся вереницами экипажей и проч. Но есть одна подробность, представляющая дальнѣйшее художественное развитіе мимоходомъ уловленной опытнымъ наблюденіемъ общей картины. Въ письмѣ къ Данилевскому Гоголь, рассказывая о разныхъ производящихъ суматоху выходахъ отдѣльныхъ „забѣтокъ“, прибавляетъ: „для интригъ время удивительно счастливое. При мнѣ завязано множество исторій самыхъ романическихъ съ нѣкоторыми моими знакомыми. Всѣ красавицы Рима всплыли теперь на верхъ; ихъ такое теперь множество! и откуда онѣ взялись, одинъ Богъ знаетъ“. Въ повѣсти „Римъ“ взятъ именно только одинъ этотъ моментъ всеобщей суматохи и неожиданнаго среди нея появленія передъ очарованнымъ княземъ сверкавшей ослѣ-

пительною красотою Аннунціаты. Черезъ нѣсколько страницъ описывается также обычное обсыпаніе мукой, пестрые наряды толпы и разукрашенная сверху до низу телѣга, причемъ снова повторяются уже рассказанныя Данилевскому подробности, но все-таки описаніе остается всюду строго подчиненнымъ естественному теченію разсказа и въ сущности отступаетъ на второй планъ. Въ письмѣ къ сестрамъ Гоголь отчасти останавливается на тѣхъ же, уже сообщенныхъ Данилевскому подробностяхъ, причемъ начало обоихъ описаній замѣчательно сходно (ср. въ письмѣ къ Данилевскому: „Все, что ни есть въ Римѣ, все на улицѣ, всѣ въ маскахъ. У котораго же нѣтъ никакой возможности нарядиться, тотъ выворотитъ тулупъ или вымажетъ рожу сажею“; въ письмѣ къ сестрамъ: „Вообразите, что въ продолженіе всей недѣли всѣ ходятъ и ѣздятъ замаскированные во всѣхъ костюмахъ и маскахъ. Иной одѣтъ адвокатомъ—съ носомъ величиною съ улицу, другой туркомъ, третій лягушкой, паяцемъ и чѣмъ ни попаало. Всякій старается одѣться во что можетъ; кому не во что, тотъ, просто, выпачкаетъ себѣ рожу, а мальчишки выворотятъ свои куртки и изодранные плащи“). Съ другой стороны передаются нѣкоторыя другія, столь же обычные и общеизвѣстныя принадлежности карнавала, не вошедшія въ описаніе его въ „Римѣ“, такъ какъ эффектное изображеніе Рима въ концѣ повѣсти исключало возможность вставки въ разсказъ описанія вечерняго продолженія карнавала, еслибы авторъ даже имѣлъ желаніе это сдѣлать. Еще одно описаніе карнавала находится въ письмѣ къ Данилевскому отъ 5-го февраля 1839 г., конецъ котораго опущенъ въ изданіи г. Булиша, а подлинникъ утраченъ; но въ „Запискахъ о жизни Гоголя“ дополнены слѣдующія строки: „Теперь начался карнавалъ; шумно, весело. Нашъ его высочество доволенъ чрезвычайно и, разѣзжая въ блузахъ, бросаетъ муку въ народъ корзинами и мѣшками, во что ни попаало“.

Возвратившись въ Римъ, Гоголь принялся-было, по его выраженію, въ четвертый разъ читать его; но, соскучившись оставаться долгое время безъ знакомыхъ и тяготясь страшнымъ зноемъ итальянскаго лѣта, рѣшился мѣсяца на два оставить его. При этомъ на первое время своей резиденціей онъ выбралъ Неаполь,—городъ хотя болѣе южный, но съ климатомъ болѣе умѣреннымъ, благодаря близости моря. Въ Неаполѣ и въ Кастелла-маре онъ жилъ нѣкоторое время опять съ Репниными, и къ этому-то времени преимущественно относятся недавно напечатанныя въ „Русскомъ Архивѣ“ воспоминанія княжны В. Н. Репниной. Матери Гоголь объяснял свой отъѣздъ въ Неаполь именно

тѣмъ, что изъ города выѣхали всѣ знакомые, и особенно княгиня Зинаида Александровна Волконская. Какъ видно изъ того же письма, Гоголь предполагалъ сначала выѣхать въ одну изъ окрестныхъ деревень, но потомъ предпочелъ устроиться вблизи отъ хорошихъ знакомыхъ, тѣмъ болѣе, что еще никогда не былъ до тѣхъ поръ въ Неаполѣ. При въѣздѣ въ этотъ городъ, онъ былъ очарованъ имъ, особенно прекраснымъ видомъ на Везувій, почти не менѣе, нежели Римомъ, но до конца 1847 г. постоянно предпочиталъ вѣчный городъ Неаполю. Разумѣется, Гоголь не замедлилъ познакомиться съ чудными окрестностями Неаполя и вскорѣ побывалъ на Капри.

Между тѣмъ денежные дѣла Гоголя снова пришли въ разстройство, вслѣдствіе неожиданнаго займа, сдѣланнаго имъ для Данилевскаго, котораго онъ поспѣшилъ выручить изъ затруднительнаго положенія, когда послѣдній лишился матери и, вмѣстѣ съ тѣмъ, возможности вести прежній безпечный образъ жизни. Въ тому же Данилевскій вскорѣ былъ обманутъ какимъ-то негодяемъ въ Парижѣ. Этотъ случай лишній разъ доказываетъ, какъ горячо любилъ тогда Гоголь Данилевскаго, помогая ему среди самыхъ стѣсненныхъ условій собственной жизни. Но, сдѣлавъ заемъ у Балабиныхъ, онъ не имѣлъ уже необходимости въ деньгахъ, занятыхъ для той же цѣли у Прокоповича, и, предполагая, что послѣдній самъ могъ быть въ нуждѣ, немедленно отослалъ ихъ обратно. Вмѣсто того, Гоголь рѣшилъ просить денегъ взаймы у Погодина. „Если ты богатъ,—писалъ онъ Погодину отъ 20-го августа 1838 года,—пришли вексель на 2.000“. Это письмо было отправлено съ той почтой, съ которой былъ посланъ отвѣтъ Данилевскому на его неожиданный призывъ пріѣхать къ нему въ Парижъ.

Въ этомъ письмѣ къ Погодину отиѣтимъ, между прочимъ, мимоходомъ сдѣланное Гоголемъ указаніе на успѣхъ его литературнаго труда,—указаніе, получающее особенное значеніе въ виду всегдашней крайней необщительности Гоголя въ данномъ отношеніи. Нѣсколько искреннихъ словъ, вырвавшихся прямо изъ души писателя, вводятъ насъ въ тайну мукъ творчества, которыя переживались въ то время Гоголемъ. Намъ кажутся особенно замѣчательными слова этого письма: „О, другъ! какіе существуютъ великіе сюжеты! Пожалѣй обо мнѣ“. Въ этомъ неожиданномъ сопоставленіи, въ этомъ глубоко-трагическомъ возгласѣ художника, чувствующаго и сознающаго роковой разладъ между обширными замыслами и недостаткомъ физическихъ силъ, какъ нельзя лучше выразилась въ немногихъ, но знаменательныхъ словахъ печать

высшей натуры. Какъ поэтъ по призванію, Гоголь не могъ бы, не въ силахъ былъ не творить. Въ инны минуты вдохновеніе было для него въ одно и то же время и лучшимъ благословеніемъ, и величайшимъ проклятіемъ. О нравственномъ состояніи своемъ Гоголь сообщалъ совершенно неутѣшительныя свѣденія: „Увы! здоровье мое плохо, и гордые мои замыслы... Сижу надъ трудомъ, о которомъ ты уже знаешь, но работа моя вяла, нѣтъ той живости“... Всѣ эти трогательныя признанія заслуживаютъ особаго изученія съ иной, специально психологической (и даже психіатрической) точки зрѣнія. Они уже несомнѣнно отражаютъ на себѣ начало того ужаснаго процесса разложенія, который въ послѣдствіи подточилъ въ корнѣ великое природное дарованіе художника. Открывая въ этомъ письмѣ Погодину свою душу съ наболѣвшими ранами, Гоголь утѣшаетъ себя мыслью о лучшемъ здоровьѣ и о большихъ успѣхахъ своего пріятеля. По свойственной всѣмъ людямъ привычкѣ судить о другихъ по себѣ, онъ уже объяснялъ себѣ молчаніе Погодина тѣмъ, что тотъ создаетъ что-то для будущаго.

Въ этомъ-то интимномъ письмѣ обратился Гоголь къ Погодину съ просьбой о высылкѣ векселя, предназначавшагося для Данилевскаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ собирался, согласно просьбѣ послѣдняго, оставить Римъ на полтора мѣсяца и пріѣхать къ нему въ Парижъ. Данилевскаго онъ убѣдительно просилъ подождать его въ Парижѣ полторы недѣли, а между тѣмъ прислать ему письмо въ Марсель. Сдѣлавъ эти распоряженія, онъ немедленно двинулся въ путь. Черезъ недѣлю застаемъ Гоголя уже по дорогѣ въ Парижъ, остановившимся въ Ливорно, откуда онъ пишетъ письмо къ матери, наполненное разспросами объ осиротѣвшемъ семействѣ Черныша и Данилевскихъ. Въ Парижѣ снова мелькнули передъ нимъ boulevard des Italiens, café Monmartre и проч. Простившись съ Данилевскимъ, Гоголь взялъ съ него слово писать какъ можно чаще, и самъ писалъ ему съ дороги въ Римъ изъ Ліона и Марселя. Въ Римъ Гоголь возвратился уже въ концѣ ноября. Здѣсь онъ получилъ исходатайствованныя ему Жуковскимъ деньги отъ государя. Изъ отвѣтнаго благодарственнаго письма видно, въ какомъ тяжеломъ нравственномъ состояніи находился тогда Гоголь. На него стали чаще находить минуты сомнѣнія, признакъ или, по крайней мѣрѣ, близкое предвѣстіе гибели таланта. Онъ уже тогда былъ способенъ временами падать духомъ и трепетать за будущее. „Боже! я недостойнъ такой прекрасной любви, — писалъ Гоголь Погодину. —

Ничего не сдѣлать я! Какъ бѣденъ мой талантъ! Затѣмъ мнѣ не дано здоровье? Грозовалось кое-что въ этой головѣ и душѣ, и неужели мнѣ не доведется обнаружить и высказать хотя половину его? Признаюсь, я плохо надѣюсь на свое здоровье!"

В. ШЕНРОЕЪ.



ВЪ ЧАДУ ЛЮБВИ

— Im Liebesrausch. Berliner Roman, von Heinz Tovote *).

X *).

Матери Герберта, Марианнѣ фонъ-Дюрень, шелъ уже шестидесятый годъ.

Ей не было еще и восемнадцати лѣтъ, когда она познакомилась со своимъ будущимъ мужемъ и два года терпѣливо ожидала согласія родителей, мечтавшихъ о томъ, чтобы дочь вышла за коренного датчанина, на своей родинѣ, а не за ненавистнаго имъ нѣмца. Тяжело досталось ей это ожиданіе, но любовь превозмогла все, и бракъ ея былъ особенно счастливъ до самой той минуты, когда она овдовѣла.

Марианнѣ фонъ-Дюрень было тогда уже сорокъ-шесть лѣтъ, и съ той поры эта преданная жена и добрая мать особенно привязалась къ старшему своему сыну, Герберту: въ немъ была вся ея гордость, вся надежда!

Максъ, младшій, былъ! на десять лѣтъ моложе, но ужъ давно осуществилъ желаніе матери имѣть внуковъ, между тѣмъ какъ Гербертъ все еще жилъ холостякомъ, а мать, изъ любви къ сыну, не рѣшалась сама приступить къ нему съ волновавшимъ ее вопросомъ. Ее тѣмъ болѣе заботилъ этотъ вопросъ, что у Макса рождались все дѣвочки: неужели же славному роду фонъ-Дюрень такъ и суждено угаснуть?...

Въ разговорѣ о своей поѣздкѣ на Гельголандъ, Гербертъ теперь, сидя рядомъ съ матерью и ласково, какъ во времена

*) См. июль, 193 стр.

своего далекаго дѣтства, поглаживая ея руку, разсказалъ ей, между прочимъ, и о томъ, что онъ познакомился тамъ съ одной молодой дѣвушкой, которую онъ называлъ „миссъ Люси“.

„Должно быть, англичанка“, рѣшила г-жа фонъ-Дюрентъ про себя.

Затѣмъ Гербертъ сказалъ, что было бы хорошо пригласить ее сюда, въ Зассенхагенъ, и какая-то смутная догадка промелькнула въ умѣ его матери; но она побоялась его разспрашивать и потому промолчала, выразивъ только свое согласіе на все, что онъ пожелаетъ.

— Видишь ли, мама,—продолжалъ онъ.—Я говорю это не безъ намѣренія. Ты живешь здѣсь, особенно зимою, такъ одиноко; твоя добрая старушка Визингъ мало прибавитъ тебѣ оживленія; а между тѣмъ тебѣ бы не мѣшало общество существа молодого, полнаго жизни и силъ. Давно уже я подумывалъ объ этомъ, но никого не могъ найти подходящаго. Миссъ Люси могла бы вполне соответствовать этимъ требованіямъ. Стоитъ тебѣ только пригласить ее... ну, хоть пока, на время,—и я увѣренъ, что она полюбитъ тебя... что ты полюбишь ее!

Задумчиво покачала головою старушка.

— Будто можетъ понравиться молодому, живому созданью возиться со мною, старухой? Да, наконецъ, еслибъ она и ужилась здѣсь, я бы все-таки мучилась мыслью, что заѣдаю ея юный дѣвичій вѣкъ. Ну какое я для нея общество?

— Самое лучшее, какое только можно себѣ представить! Всякій, кто знаетъ мою маму, скажетъ, что съ нею не будетъ скучно!

— Не льсти мнѣ, смотри, дрянной мальчишъ!—шутя пригрозила мать.

— Ну, прошу тебя, дорогая: только попробуй! Пусть она будетъ нашей гостьей, а остальное уже все придетъ само собою... и, я увѣренъ, моя мечта обратится въ дѣйствительность.

— Изволь, голубчикъ, изволь: говорю же тебѣ, что мнѣ можетъ быть только пріятно исполнить твое желаніе.

Какъ ни былъ серьезенъ годами и умомъ молодой ученый, но онъ съ дѣтской нѣжностью любилъ свою мать, и теперь его смутила мысль, что онъ еще не все ей сказалъ. Но какъ начать, какъ объяснить ей, что Люси уже здѣсь, въ Зассенхагенѣ... что она пріѣхала съ нимъ и только ждетъ ея рѣшенія?

Гербертъ всталъ, постоялъ съ минуту у окна, прошелся по комнатамъ и, не находя себѣ мѣста, подошелъ къ старушкѣ, поло-

жилъ ей руку на плечо и заглянулъ прямо въ ея глубокіе, умные глаза.

— А что, мама, ты очень будешь сердиться, если я кое-въ чемъ тебѣ признаюсь?—сказалъ онъ замѣтно встревоженнымъ голосомъ.

Старушка покачала отрицательно головою.

— Да полно, милый! могу ли я сердиться на то, что ты дѣлаешь?

— Нѣтъ, мама... представь себѣ... Ну, что бы ты, напримеръ, сказала, еслибы... миссъ Люси была... уже здѣсь?

Мать долго и пристально посмотрѣла на Герберта и, наконецъ, спросила:

— То-есть, какъ это „здѣсь“? У насъ въ домѣ?

— Нѣтъ, тамъ... на селѣ. Я не хотѣлъ говорить тебѣ сразу... но, такъ и быть, ужъ сказалъ!.. Но только ты правду говоришь, что это ничего... что ты не сердись на меня за такую необдуманную поспѣшность и своеволие?

— Да нѣтъ, чего же тутъ сердиться?

— Значить, мнѣ можно за нею сѣздить, привести ее къ тебѣ, какъ нашу общую гостью?

— Ну да, конечно, мой мальчикъ! Ступай скорѣе!..

И г-жа фонъ-Дюрентъ осталась одна.

Волненіе душило ее: воображеніе уже рисовало картины семейнаго счастья любимаго сына; конечно, не могъ бы онъ говорить такъ горячо о посторонней, еслибы она не была ему дорога. Старушка готова была прижать къ сердцу молодую женщину, которая осчастливитъ своими ласками и любовью ея любимое дитя, ея сына, и озаритъ его жизнь радостями семейной жизни... Но кто она и откуда? Достояна ли носить его древнее доблестное имя? Отчего она съ нимъ вдвоемъ пріѣхала изъ Гельголанды? такъ ли она одинока, какъ онъ упомянулъ мимоходомъ въ своемъ разсказѣ о ней? Все равно,—лишь бы онъ былъ съ нею счастливъ, дорогой, любимый!..

Карета вернулась обратно... Вотъ ужъ она подъѣзжаетъ къ крыльцу...

Сильно забилося сердце старушки и замерло отъ волненія. Она отошла отъ окна и старалась преодолѣть свою тревогу: что бы ни было, а невѣста ея Герберта, ея любимаго сына, не должна была найти у нея иного пріема, кромѣ самаго ласковаго и радушнаго. Надо превозмочь волненіе, надо казаться спокойной.

Дорогой къ материнскому дому, Гербертъ все разсказалъ Люси.

Она думала, что онъ во всемъ признается откровенно, что мать не согласится ее принять.

— Нѣтъ, нѣтъ!—съ отчаяніемъ въ голосъ вскричала она.— Ъдемъ назадъ... Скорѣе! Я боюсь твоей матери! Она не можетъ меня полюбить! Вели ѣхать назадъ... сейчасъ же, сію минуту!..

— Полно, Люси; не бойся, дорогая! Мама такъ ласкова и добра, что навѣрно полюбитъ тебя... Наконецъ, ты свободна ѣхать, когда тебѣ вздумается: побудь только два-три дня у нея въ гостяхъ... Попробуй!

— Но я должна обманомъ войти въ ея домъ, обманомъ по-правиться, смотрѣть ей прямо въ лицо... Нѣтъ, нѣтъ! Ни за что! Это позоръ... это хуже позора!..

Гербертъ не отставалъ отъ нея: просилъ, уговаривалъ, умолялъ... и, наконецъ, добился того, что Люси покорилась,—именно только „поворилась“ его желанію.

Большая гостиная, въ которой г-жа фонъ-Дюренъ встрѣтила свою молодую гостью, была залита полуденнымъ солнцемъ. Лучи его освѣтили стройную, полную юной дѣвичьей прелести фигуру молодой женщины, одѣтой въ простую сѣрую накидку, въ темномъ дорожномъ платьѣ. На бѣлокурой изыщной головѣ былъ надѣтъ простенькій беретъ, изъ-подъ котораго золотомъ отливали волнистыя пряди скромно зачесанныхъ волосъ. Черты ея точенago личика были такъ нѣжны, выраженіе ихъ было такъ дѣтски-ясно и застѣнчиво, она такъ робко остановилась на порогѣ большой богатой комнаты, что мать Герберта почувствовала сразу, что такое милое, нѣжное дитя нельзя не любить!

Подъ вліяніемъ внезапнаго прилива нѣжности, она быстрыми шагами подошла къ Люси и ласково пожала ея маленькую холодную, дрожавшую ручку. Чтобы ободрить молодую дѣвушку, хозяйка дома сама усадила ее въ глубокое кресло; просила отдохнуть, раздѣться; прибавила шутливо, что въ Зассенхагенѣ таковъ ужъ обычай, чтобы гости распоряжались какъ хозяева... Въ разговорѣ она назвала Люси „дитя мое“ и просила у нея разрѣшенія всегда ее такъ называть.

Заслыша искренній нѣжный звукъ ея голоса, назвавшего ее такъ задушевно и просто, Люси смутилась еще больше; слезы выступили у нея на глазахъ; она не могла скрыть своего волненія.

Г-жа фонъ-Дюренъ наклонилась къ ней и, поглаживая ее по головкѣ, какъ ребенка, проговорила:

— Что съ вами, дитя?

Люси вскинула на нее глазами и, силясь улыбнуться севозъ

слезы, почувствовала, что сердце ея разрывается на части, при видѣ безграничной доброты и ласки, которой она не заслуживала.

— Ничего!.. Ничего!.. Только давно ужъ никто не говорилъ мнѣ: „дѣтя мое!..“ — всхлипывая пролепетала бѣдная дѣвушка.

Гербертъ замѣтно волновался и не зналъ, что дѣлать. Мать выручила его изъ затруднительнаго положенія, предложивъ Люси пойти отдохнуть въ ея комнату.

— Тамъ уже все готово: Визингъ обо всемъ позаботилась, — прибавила она, обращаясь къ сыну. — Итакъ, до свиданія! Черезъ полчаса мы всѣ сойдемся къ обѣду. Гербертъ васъ проводить.

Тихо поднялись молодые люди вверхъ по широкой, старинной лѣстницѣ и, только очутившись наединѣ съ Гербертомъ въ довольно большой, но богато и уютно убранной комнатѣ, Люси снова дала волю своимъ чувствамъ.

— Ну, развѣ мама не воплощенная доброта и ласка? — было первымъ словомъ Герберта.

— Вотъ это меня и мучаетъ! — горячо заговорила Люси. — Не могу я равнодушно сносить ея довѣрчивую нѣжность, ея полный участіа, искренній взглядъ! Пусти меня, пусти бѣжать отсюда... бѣжать, какъ воръ, со стыда, безъ оглядки!

— Нѣтъ, Люси, и не проси: не пуцую! Ты должна здѣсь остаться, если меня любишь; и останешься надолго... навсегда, какъ и слѣдуетъ моей дорогой, нѣжно любимой женѣ!

Молча слушала его Люси; молча стремительно обняла его и поцѣловала. Онъ ушелъ и она осталась одна, наскоро смывая слѣды слезъ съ пылавшаго, возбужденнаго лица. Тишина и уютность этой комнаты, обставленной по-барски, мало-по-малу успокоили ее: ей казалось, что здѣсь она въ безопасности. Припоминая подробности радушнаго пріема доброй хозяйки дома, Люси не спѣша причесалась, одѣлась и уже съ большимъ самообладаніемъ спустилась въ столовую.

Въ глубокой, отдѣланной подъ дубъ столовой, съ массивной рѣзной дубовой мебелью, уже былъ накрытъ на три прибора небольшой обѣденный столъ. Г-жа фонъ-Дюрень и Гербертъ ожидали свою молодую гостью.

За обѣдомъ старушка такъ умно и предупредительно вела разговоръ, касаясь самыхъ разнообразныхъ вопросовъ на нейтральной почвѣ, такъ охотно болтала съ Люси по-англійски, говоря, что рада случаю вспомнить свой любимый, давно забытый языкъ, что молодая дѣвушка вскорѣ позабыла свою застѣнчивость и мило и остроумно вела оживленную бесѣду. Мать Герберта тоже восторгалась Гельголандомъ, на который ѣздила еще въ моло-

дости; она разспрашивала о немъ свою гостью, и та охотно поддавалась воспоминаніямъ о его прелестяхъ.

Обѣдъ кончился.

— Ну, а теперь, Гербертъ, я пойду, по своему старушечьему обыкновенію, отдохнуть часочекъ; а ты, другъ мой, познакомь миссъ Люси съ нашимъ незатѣйливымъ паркомъ и цѣтникомъ. До свиданія, дитя мое: не скучайте безъ меня, старухи!—и, съ милой улыбкой, она удалилась. Гербертъ не чувствовалъ себя отъ радости: когда онъ остался передъ обѣдомъ вдвоемъ съ матерью, онъ поспѣшилъ спросить:

— Ну что? Какъ она тебѣ нравится?

Мать сдержанно, но съ удовольствіемъ повторила ему вслухъ то же, что подумала при видѣ Люси. Гербертъ не сказалъ ничего; но по горячимъ поцѣлуямъ, которыми онъ, какъ счастливое дитя, награждалъ ее обѣ щеки, старушка поняла, что ее догадки справедливы.

Теперь, идя рядомъ съ Люси по гладкимъ дорожкамъ сада, Гербертъ горѣлъ нетерпѣніемъ скорѣе сообщить ей о благополучномъ оборотѣ, который принимало ее появленіе въ домѣ его матери; но выжидалъ, все-таки, пока они не вышли изъ сада.

Когда надъ ними раскинулись вѣтви могучихъ дубовъ, часть которыхъ была срублена для того, чтобы проложить дорожки въ неоконченномъ еще паркѣ, докторъ Дюренъ нѣжно взялъ подъ руку Люси, и никто бы изъ его посѣтителей не узналъ въ немъ въ эту минуту вѣчно холодного и сосредоточеннаго философа и ученаго. Замѣтивъ на себѣ его нѣжный, восторженный взглядъ, Люси сама подставила свои алыя губки для поцѣлуя и отъ души порадовалась, когда у него вырвалось невольное признанье:

— Ты не повѣришь, какъ мнѣ трудно притворяться: сдерживаться и помнить, чтобы не сказать тебѣ „ты“ по привычкѣ!

— А мнѣ развѣ это легко дается?.. Но какъ тебѣ кажется: вѣрить ли она намъ; не подозрѣваетъ ли чего?

— Кажется, нѣтъ.

— А я такъ думаю, что подозрѣваетъ! Она внимательно присматривается къ намъ и легко можетъ догадаться.

— Ну, что жъ такое? Тѣмъ лучше для насъ всѣхъ; тѣмъ скорѣе кончится наше затруднительное положеніе.

Въ разговорѣ, пересыпанномъ объятіями и поцѣлуями, они незамѣтно углубились въ лѣсъ.

Скоро вечерній сумракъ и прохлада спустились на землю; взглянули и подъ сѣнь лѣсныхъ деревьевъ. Пора была возвращаться домой, гдѣ на крыльцѣ уже поджидала сына и гостью любезная

хозяйка дома. За ужиномъ, когда рѣчь зашла о верховой ѣздѣ, она, улыбаясь, вышла изъ комнаты и вскорѣ вернулась съ хорошенькой амазонкой, которую она сдѣлала года четыре тому назадъ для своей племянницы. Прикинувъ ее на Люси, г-жа фонъ-Дюрентъ нашла, что двухъ-трехъ швовъ будетъ довольно для того, чтобы молодая дѣвушка могла ее надѣть.

Ночь Люси провела тревожно. Ей тяжело было одиночество, разлука съ Гербертомъ; ее мучила роль обманщицы, которую ей приходилось играть въ угоду ему, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, она готова была на все, лишь бы онъ, любимый, былъ счастливъ.

На утро ее разбудила Визингъ, съ готовой амазонкой на рукахъ. Гербертъ сначала проѣзжалъ лошадей, которая когда-то ходила подъ дамскимъ сѣдломъ, а попозже присоединился къ обществу сосѣдей, навѣстившихъ г-жу фонъ-Дюрентъ всей семьей. Въ числѣ этой семьи были три бойкихъ барышни. Играя съ ними въ крокетъ, Люси заразилась ихъ весельемъ и, позабывъ на время всѣ свои тревоги, бѣгала и смѣялась такъ же непринужденно, какъ онѣ. Одна изъ тетюшекъ и маменька молодыхъ дѣвушекъ, не сводившія съ незнайомихъ своихъ проникательныхъ глазъ, принялись осматривать хозяйку дома такими подробными разспросами о ней, какіе и ей самой не приходили въ голову.

Наконецъ, которая-то изъ нихъ категорически заявила:

— Это, вѣрно, будущая неvěста Герберта?.. Нѣтъ?.. Я ошибаюсь?.. Э, полно скрытничать! Знаемъ мы эти тайны, которыя ни для кого не тайна!

— Да что жъ тутъ такого?—возразила другая. — Она такъ мила, такъ хороша собой и прелестна, что всякому молодому человѣку можетъ только честь сдѣлать влюбиться въ такую хорошенькую дѣвушку... Смотрите: вонъ, вонъ она опять побѣжала за шаромъ!..

На слѣдующій день, и затѣмъ ежедневно, Гербертъ сталъ ѣздить съ Люси верхомъ, и это было для нихъ большой отрадой; но тѣмъ тяжелѣе доставались имъ долги, одинокія ночи, когда каждый изъ нихъ страдалъ отъ своей добровольной временной разлуки.

Однажды ночью Люси неподвижно лежала въ постели. Въ окна вливался чистый свѣтъ яркаго мѣсяца, играя на полированной мебели и на паркетѣ. Люси нарочно, зная, что ей долго не уснуть, откинула занавѣски. Ей было видно въ окно, что въ саду свѣтло какъ днемъ.

За стѣной, по обыкновенію, долго прохаживалась мать Герберта: ей часто не спалось, при мысли о томъ, что молодые люди

почему-то скрытничаютъ передъ нею и замѣтно этимъ мучаются, тяготеютъ. Привести же это дѣло къ разъясненію она не рѣшилась, не желая идти противъ воли Герберта.

Тихо лежала Люси, и въ ухахъ ея, благодаря ночной тишинѣ, особенно громко отдавался каждый шорохъ. Шаги за стѣною смолкли.

Вдругъ Люси совершенно ясно слышала, что близко, подъ окномъ, захрустѣлъ песокъ... Тамъ кто-то есть! Но кому бы это вздумалось гулять по ночамъ?

Еще мигъ, и она догадалась, она знала навѣрное: это Гербертъ!

Босикомъ, въ одной рубашкѣ, какъ лежала въ постели, Люси подбѣжала къ окну и заглянула въ садъ, притаясь за тяжеломъ занавѣской.

Она не ошиблась: это былъ дѣйствительно Гербертъ! Въ тѣнистыхъ кустахъ онъ стоялъ безъ движенія, какъ темное изваянье, и не спускалъ глазъ съ ея окна.

Горячо забилося ея сердце. Она, казалось, глазами готова бы полетѣть къ нему... Но и она сдерживала свою страсть, она тоже страдала и въ то же время боялась дать ему замѣтить, что она тоже здѣсь, тоже страдаетъ и не находитъ покоя!

Кровь усиленно прилиwała ей къ сердцу, къ головѣ, къ вискамъ, она вся горѣла и въ то же время дрожала отъ озноба, который пробѣгалъ по ней съ головы до ногъ.

Наконецъ, Гербертъ прошелся разъ-другой по дорожкѣ, мимо ея оконъ, будто въ движеніи ища успокоенія; затѣмъ снова остановился, постоялъ немного и, бросивъ долгій прощальный взглядъ на окно, за которымъ спала она, его Люси, тихимъ и мѣрнымъ шагомъ скрылся за группой кустовъ и деревь.

Тогда только Люси вспомнила, что ей холодно, и, дрожа, бросилась на кровать, закуталась поплотнѣе въ одеяло и напряженно стала прислушиваться—не вернется ли онъ, бѣдный, опять подъ окно?

Но все было тихо и лунный свѣтъ по прежнему обливалъ своими чистыми лучами кусты и дорожки барскаго сада.

Ни Люси, ни Герберту и въ голову бы не пришло, что старуха-мать еще не спала, что она тоже видѣла, какъ онъ ходилъ подъ окномъ и стоялъ неподвижно въ кустахъ. Ей даже показалось, что потому кто-то за стѣной тихо, но безутѣшно плакалъ.

Но, можетъ быть, ей это только показалось?..

XI.

На слѣдующій день, во время своей обычной прогулки верхомъ, Люси и Гербертъ были еще осторожнѣе, еще молчаливѣе, чѣмъ когда-либо за послѣднее время, несмотря на то, что были одни, безъ свидѣтелей.

Доѣхавъ до своей вѣчной цѣли—охотничьяго домика, Гербертъ помогъ Люси спѣшиться и, снимая ее съ сѣдла, почувствовалъ, что она вся дрожала, какъ бѣдный осиновый листокъ. Молча припала она къ его плечу, и слезы тихо покатались у нея по щекамъ. На этотъ разъ они оба, инстинктивно, избѣгали объятий и поцѣлуевъ и, не войдя въ домикъ, поѣхали обратно, предпочитая теперь быть больше на глазахъ у людей; но и тутъ они чувствовали себя какъ бы связанными.

Наконецъ насталъ вечеръ.

Тихо бесѣдовали они съ матерью втроемъ, въ то время, какъ сумерки все темнѣли. Гербертъ подошелъ къ роялю и наигрывалъ что-то вполголоса. Но вдругъ, неожиданно для него самого, полились звуки страстной, мучительной нѣги.

Ни огонь, ни пламя не горятъ такъ ярко,
Не сжигаютъ душу, не волнуютъ кровь,
Какъ томить, сжигаетъ тайная любовь!

Рѣзко замеръ, дрожа въ тишинѣ гостиной, послѣдній звукъ. Гербертъ опустилъ руки на колѣни и задумался.

— Гербертъ!—тихо окликнула его мать.—Гербертъ, подо ко мнѣ!

Онъ подошелъ. Мать взяла его за руку и усадила рядомъ съ собою. Нѣсколько минутъ въ комнатѣ стояла такая тишина, что, казалось, можно было слышать, какъ билось сердце каждаго изъ присутствовавшихъ.

— Гербертъ!—начала снова мать:—неужели ты мнѣ не довѣряешь?... Развѣ вамъ обоимъ нечего сказать? Или вы думаете, что мать можетъ остаться слѣпа къ вашимъ чувствамъ, что она съ первой же минуты не догадалась обо всемъ?..

— Ахъ, мама! Такъ ты...

— Ну, да, мой голубчикъ: я давно уже знала, что вы... Гербертъ! Люси!..—и она протянула къ нимъ руки, чтобы ихъ обнять.

Люси сидѣла неподвижно, и только рука ея, холодная, какъ ледъ, нервно вздрагивала въ теплой, нѣжной рукѣ старушки.

— Люси! вы очень его любите?

Вмѣсто отвѣта, молодая дѣвушка упала на колѣни и, спрятавъ лицо въ колѣняхъ старушки, судорожно всхлипывала. Ей хотѣлось закричать, что она недостойна такого счастья, что она — грѣшное, порочное созданье; ей казалось, что ее облегчило бы это признаніе. Но что же будетъ съ нимъ, съ ея Гербертомъ? Его убьетъ такой ужасный конецъ ихъ любви и счастья...

Въ ней боролись сомнѣнія и пылкая, безпредѣльная страсть. Ее душило...

— Ты не сердись на насъ, мама? — спрашивалъ Гербертъ, цѣлуя руки матери. — Ты согласишься, чтобы Люси была твоей дочерью?

— Да, Гербертъ, согласна... Вѣдь ты же ее любишь!

— Люси! — воскликнулъ онъ радостно; и Люси бросилась къ нему на грудь.

Нѣжно прижимая ее къ себѣ, Гербертъ подвелъ молодую дѣвушку къ своей матери, которая обняла ее и поцѣловала. Долго еще потомъ сидѣли они вмѣстѣ въ полутьмѣ лѣтняго вечера и тихо, какъ-то особенно серьезно и торжественно, звучалъ голосъ старушки.

— Живите такъ же счастливо, какъ и я жила! — говорила она. — Вамъ счастье легко дается; а намъ-то сколько пришлось выстрадать, пока родители дали свое согласіе! Тяжелое это было время: дай вамъ Богъ никогда его не видать!.. Вы оба созданы для счастья, и вѣрьте мнѣ, оно не оставитъ васъ, пока вы будете любить другъ друга... А знаешь ли, Люси: вѣдь я сразу тебя полюбила, когда ты, — еще совсѣмъ для меня чужая, — такъ робко остановилась на порогѣ? Я ужъ тогда предчувствовала, что полюблю тебя такъ же горячо, какъ любить тебя Гербертъ...

— Жена моя! дорогая, любимая жена!.. — нашептывалъ Гербертъ молодой дѣвушкѣ, успокоенный, ободренный материнскими словами, и на губахъ Люси долго еще потомъ горѣлъ его поцѣлуй, — первый поцѣлуй на глазахъ у матери.

Шла уже вторая недѣля съ тѣхъ поръ, какъ съ помощью г-жи фонъ-Дюрентъ все объяснилось.

Казалось бы, что молодые люди должны бы теперь быть совершенно счастливы, выйдя изъ своего тягостнаго неловкаго положенія; но это могло только казаться. Въ дѣйствительности же Люси мучилась мыслью, что теперь мать Герберта могла и имѣла полное право заговорить съ нею объ ея прошломъ, о семьѣ...

Впрочемъ Гербертъ, котораго безпокоила та же докучная мысль, предупредилъ мать, чтобы она воздержалась отъ подобныхъ разспросовъ, такъ какъ Люси въ прошломъ вынесла столько горя, что всякое напоминаніе о немъ еще слишкомъ чувствительно отзывается у нея на душѣ. Старушка обѣщала; но это, все-таки, не могло ее не тревожить.

Страннымъ (хотя вполнѣ извинительнымъ во дни юности и страсти) казалось ей еще и то, что молодые люди чаще и все дольше и дольше отлучались изъ дому. Разъ случилось даже такъ, что, уйдя въ самаго утра, они подъ-вечеръ прислали какого-то крестьянина сказать, что будутъ обратно только въ ночи.

Все это волновало строгую въ дѣлахъ нравственности старушку, особенно съ тѣхъ поръ, какъ она нечаянно вошла въ комнату, гдѣ они сидѣли одни. Гербертъ обнималъ Люси, а она, закинувъ назадъ голову, какъ обезумѣвшая отъ страсти, упивалась его поцѣлуями...

Эта сцена огорчила мать, открыла ей все. Такъ не цѣлуются влюбленные; такъ не должна и не можетъ цѣловаться чистая душою дѣвушка-невѣста! Это была страсть уже высказавшаяся, страсть полнаго забвенія и обладанія...

Ей грустно было разочароваться въ ихъ чувствѣ; грустно подумать, что они уже давно знаютъ и любятъ другъ друга и что они сознательно обманываютъ ее. Да неужели? Нѣтъ, нѣтъ; не надо и думать объ этомъ! Ей это могло почудиться по ее излишней нервности и впечатлительности.

Ну, пусть ихъ цѣлуются, гуляютъ одни (это желаніе такъ естественно въ будущихъ супругахъ!), лишь бы они искренно любили другъ друга, лишь бы они были счастливы! Что жъ тутъ такого особенно предосудительнаго, если Люси долго не спитъ и плачетъ по ночамъ? Развѣ она сама, будучи невѣстой, не плакала, не тосковала, не страдала безсонницей?!

Но не отъ той же причины не спалось Люси, какъ нѣкогда Маріаннѣ,—невѣстѣ фонъ-Дюрена: не разлукой съ другомъ терзалась она, а сознаніемъ своей вины передъ честной, высоко-нравственной женщиной. Люси хотѣла оправдать ея довѣріе, сдерживая порывы своей страсти и всѣми силами отстраняя поводъ къ нимъ отъ себя и отъ Герберта. Но борьба тяжело давалась имъ обоимъ, жившимъ другъ для друга, наслаждавшимся до сихъ поръ счастьемъ полной взаимной любви.

Чувствуя, что смѣлость ея слабѣетъ, она боялась, какъ бы г-жа фонъ-Дюрентъ не прочла у нея на лицѣ ея грѣховныхъ мыслей; она стала не такъ ясно и открыто смотрѣть ей въ лицо,

стала избѣгать оставаться съ нею. Люси не могла не замѣтить, какъ добрая и любящая старушка становилась задумчивѣе, какъ осунулось ея открытое, привѣтливое лицо; ей это казалось нѣмымъ укоромъ...

Въ душномъ осеннемъ воздухѣ ни пороха, ни вѣтерка. Въ поляхъ—тишина; хлѣбъ давно убранъ. Въ лѣсу тоже тихо,—такъ тихо, что даже легкіе шаги шумно скользятъ по желтоватымъ, облетѣвшимъ листьямъ. Люси душно. Она тяжело дышетъ, опираясь на руку Герберта. Сердце его бьется такъ быстро и такъ горячо, что давить грудь, мѣшаетъ дышать... Жилые остались далеко позади, за опушкой лѣса. Вокругъ тишина. Жизнь вокругъ какъ бы замерла.

Вѣтерокъ не шалитъ съ желтѣющей листвою; неугомонный сверчокъ не стрекочетъ въ травѣ, и только откуда-то издали доносится воркованье дикой горлицы...

Люси стояла молча, прислонившись къ плечу Герберта, будто завороченная таинственнымъ молчаніемъ еще недавно шумнаго лѣса. Она не шелохнулась и тогда, какъ Гербертъ горячо прильнулъ къ ея полураскрытымъ губамъ; только ея горячая ручка крѣпко сжала его руку. Будто во снѣ, стоятъ они неподвижно, у ствола рослаго, широкаго дуба и только тогда смотрятъ другъ другу въ лицо, когда Люси подымаетъ на Герберта свои полужакрытыя, дремотныя глаза. Въ нихъ Гербертъ ясно читаетъ томленіе и страсть, которыя его терзаютъ. Онъ крѣпче прижимаетъ къ своему сердцу свое сокровище, свою „жену“ и тихо, тихо идетъ съ нею впередъ, въ чащу лѣса, будто повинувая какой-то невидимой силѣ, которая безъ словъ объясняетъ имъ ихъ общія думы и желанья...

Гроза застала ихъ еще въ охотничьемъ домикѣ, который укрылъ ихъ,—счастливыхъ, забывшихъ все на свѣтѣ, кромѣ своей любви.

Грознымъ рокотомъ прокатился буйный вихрь по верхушкамъ высокихъ деревьевъ; налетѣла туча; кругомъ стало темно, какъ ночью... и дружной дробью разсипался крупный дождь по развѣсистымъ вѣтвямъ уже значительно порѣдѣвшаго лѣса. За первой тучей набѣжала вторая—чернѣе, грознѣе!.. Дождь уже не сыпался дробью, а падалъ съ неба прямою стѣной, отъ которой надъ землею подымался бѣлый паръ. Молнія и громъ не отставали отъ ливня и общались еще долго чередоваться въ освѣженномъ воздухѣ, насыщенномъ дождевою влагой...

Люси вообще не боится грозы и даже рада ей. Она смотрит весело, улыбаясь то Герберту, котораго обнимаетъ за шею, то дружному дождю, который не боится навлечь на себя ихъ гнѣвъ за то, что преграждаетъ имъ путь домой...

Долго воюетъ дождь, беспрепятственно обливая и уютный охотничій домикъ, и старыя развѣсистыя деревья, и побурѣвшіе отъ лѣтняго солнца мхи и кочки. Наконецъ онъ становится мельче, ровнѣе, постепенно слабѣетъ, рѣдѣетъ, и вотъ его ужъ нѣтъ! Солнце спѣшитъ обсушить тропинки... Но не спѣшатъ Гербертъ и Люси воспользоваться его добрыми заботами.

Имъ здѣсь хорошо, привольно, тепло въ уютной комнатѣ, устланной мягкими шкурами, увѣшанной оленьими рогами и другими охотничьими украшеніями...

Однако пора же когда-нибудь и въ обратный путь! Рука объ руку идутъ они по сырмъ еще тропинкамъ и только смѣются, когда задѣтая нечаянно вѣтка шаловливо страхнетъ на нихъ капли дождя, нависшія на ея листьѣхъ.

Г-жа фонъ-Дюрентъ, встревоженная ихъ долгимъ отсутствіемъ и грозою, встрѣчаетъ ихъ на крыльцѣ, и ей бросается въ глаза рѣзкая перемѣна въ настроеніи и осанкѣ молодой дѣвушки. Насколько вчера она была въ возбужденномъ, болтливомъ и непокойномъ состояніи, настолько теперь она тиха, молчалива и покойна. Въ глазахъ ея, какъ и въ движеніяхъ, разлита какая-то нѣга, которой еще никогда не замѣчала въ ней мать Герберта. Да, теперь старушка убѣдилась, что *тогда* она не обманулась!..

Прощаясь съ Гербертомъ на-ночь, она прямо спросила его объ этомъ, стараясь казаться спокойной; но когда онъ молча отвернулся отъ нея и отошелъ въ сторону, она неудержимо зарыдала.

Мать ни словомъ не упрекнула его, не стала громко ужасаться испорченности такой, по наружности, чистой и невинной дѣвушки, какою казалась ей Люси. Но Гербертъ и безъ словъ понялъ, какъ ей было тяжело и обидно. Онъ умолялъ ее простить бѣдную любящую дѣвушку, которую онъ—онъ одинъ—натолкнулъ на грѣхъ: во всемъ виноватъ только онъ!..

Три дня не выходила изъ своей комнаты г-жа фонъ-Дюрентъ; она не хотѣла видѣть Люси, ни слышать о ней. На четвертый день она призвала къ себѣ сына.

Гербертъ вошелъ къ матери видимо измученный, но спокойный. Онъ былъ готовъ на все изъ любви къ своей Люси.

Несчастливая то склонялась передъ этимъ ударомъ судьбы, считая себя достойною наказанія; то вдругъ возмущалась, не признавала за людьми права судить ее. Да кто жъ они такіе, чтобы

бросать въ нее камнемъ? Кто смѣетъ осуждать ее? Никто! никто! Она любитъ Герберта, она предана и вѣрна ему, какъ самая вѣрная и любящая жена! Ничто не въ силахъ разлучить ихъ, оторвать ее отъ него... ничто, кромѣ смерти!

Гербертъ изнывалъ въ тоскѣ, въ безграничной жалости къ блѣдной, оскорбленной матери и къ той, которую онъ считалъ своей женою передъ Богомъ; она, выйдя съ нимъ, печальная, измѣнившаяся, вошла въ комнату, гдѣ ихъ ждала г-жа фонъ-Дюрентъ. Старушка была такъ блѣдна, казалась такой усталой и посѣдѣвшей, ея глаза такъ безнадежно и холодно смотрѣли на дорогихъ ей „дѣтей“, что у Герберта больно сжалось сердце.

Люси первая заговорила, кротко, но твердо высказавъ ей свою просьбу простить ее и, главное, Герберта. Они оба не хотѣтъ огорчать матери и не будутъ стѣснять ее своимъ присутствіемъ... они уйдутъ отсюда и не будутъ ей больше напоминать о себѣ. Ей, Люси, ничего не нужно отъ Герберта: только бы онъ ее любилъ, не разставался съ нею!..

Но мать рѣшилась: она требовала, чтобы Гербертъ узаконилъ свои отношенія къ молодой дѣвушкѣ, поступилъ бы какъ честный, порядочный человѣкъ. Онъ долженъ жениться: это единственный и наилучшій исходъ изъ ихъ фальшиваго положенія.

Люси, рыдая, отказывалась отъ этой жертвы, на колѣняхъ каялась въ своемъ грѣхѣ,—въ обманѣ; но старушка и слышать ничего не хотѣла.

Тяжело, томительно и грустно потянулось теперь время для обитателей барскаго дома въ Зассенхагенѣ.

Черезъ шесть недѣль Гербертъ и Люси были обвиняемы и въ тотъ же день уѣхали изъ-подъ родного крова.

На прощанье мать Герберта поцѣловала Люси и тяжелой, истомленной походкой вернулась въ комнаты, опираясь на руку своей вѣрной старушки, Визингъ.

Карета, уносившая молодыхъ, казалось, уносила и все живое, отрадное, свѣтлое, что оживляло старый домъ цѣлаго поколѣнія фонъ-Дюреневъ.

ХІІ.

И году не прошло, какъ новобрачные вернулись въ Берлинъ.

Какъ ни баснословно хорошо и отрадно чувствовали они себя подъ синимъ, знойнымъ небомъ южной Италіи, у темныхъ, тихихъ водъ Венеціи, въ горахъ величественной, живописной Швейцаріи,—все же ихъ неудержимо тянуло на родину, чтобы среди

своихъ, родныхъ и близкихъ, встрѣтить праздникъ Рождества Христова.

Въ Италіи Люси постепенно пришла въ себя отъ пережитыхъ тревогъ и волненій. Какъ чуткая ко всему прекрасному и въ высшей степени впечатлительная натура, она поддавалась безъ труда обаянію чудной природы поэтичнаго юга. Она ожила, она расцвѣла, какъ еще никогда. Ей казалось, что только теперь любовь ея дѣйствительно стала горяча и глубока; что только теперь любовь для нея—все на свѣтѣ!

Бывало, она смѣялась надъ тѣмъ, что вообще называютъ „настоящей“ любовью. Она допускала, что есть увлеченіе, страсть; но любовь!.. Любви-то она и не признавала; не понимала даже, что это такое? Подобную любовь она считала исключительно достояніемъ романовъ; въ жизни она ей казалась невысказанной, неестественной... Но, Боже мой! Что можетъ быть естественнѣе того чувства, какое она сама теперь испытываетъ къ Герберту? Что можетъ полнѣе захватывать всѣ мысли, всѣ чувства? Что, какъ не эта,—именно „эта“—любовь, можетъ дать такое безграничное счастье? При одной только мысли, что этому счастью когда-нибудь можетъ придти конецъ, сердце у нея замирало, въ душу вливался жуткій холодъ и страхъ...

Да нѣтъ же, не будетъ никакого конца! Она вѣдь теперь собственность мужа, она принадлежитъ ему, какъ жена!..

Помнится, ее страшило и самое слово: „бракъ“. Ей казалось, что ихъ отношенія станутъ тогда какъ-то формальнѣе, холоднѣе; а между тѣмъ вѣдь она и тутъ ошиблась! Какая грубая, жестокая ложь, что бракъ убиваетъ любовь! Нѣтъ, она еще пышнѣе, еще привольнѣе развивается въ брачномъ союзѣ, не стѣсненная больше никакимъ ложнымъ стыдомъ или предразсудкомъ! Люси казалось, что теперь всѣ ея чувства, ея любовь безбрежны, какъ море, котораго не убудеть, сколько въ немъ ни черпай наслажденій!..

Ноябрь миновалъ. Декабрь уже близился къ концу. Недавно появился въ печати послѣдній серьезный трудъ Герберта, возбудившій горячіе споры и толки въ средѣ его противниковъ, критиковъ и знакомыхъ. Друзья писали ему, призывали къ себѣ; онъ и самъ зналъ, что ему надо самому отстаивать свое мнѣніе, но не хотѣлъ ничего знать, ни думать о чемъ бы то ни было, кромѣ своего безоблачнаго счастья... И только наступленіе Рождественскихъ праздниковъ побудило его, наконецъ, возвратиться въ Берлинъ.

На вокзалѣ ихъ уже ждала та самая карета, запряженная

той самой парой воронныхъ, которая везла ихъ въ тотъ памятный вечеръ, послѣ представленія „Микадо“.

Люси, едва очутившись въ каретѣ, невольно примолкла, сравнивая свои отношенія къ Герберту тогда и теперь. Ей было жутко, стыдно за себя: какъ могла она такъ непристойно, такъ легкомысленно шутить своимъ чувствомъ или, вѣрнѣе, безъ всякаго чувства? Но тогда она еще не знала, что такое любовь... *настоящая* любовь! И могла ли она подумать, что уже тогда Гербертъ былъ ей такъ безгранично дорогъ... что она любила его?.. можно ли было тогда предвидѣть, что она войдетъ хозяйкой, — уважаемой и любимой, законной женою, — въ тотъ самый домъ, куда онъ привезъ ее тайкомъ, ночью, будто подобранную на улицѣ!..

Люси прижалась къ плечу мужа, будто ища у него защиты противъ обуревавшихъ ее тяжкихъ воспоминаній.

— Гербертъ! — тихо шепчетъ она, склоняясь къ нему: — Гербертъ!

Его самого, должно быть, тревожатъ тѣ же жуткія мысли: онъ взглядомъ отвѣчаетъ ей, и особой нѣжности полно его движеніе, когда онъ съ любовью мужа и гордостью отца, охраняющаго любимое дитя, прижимаетъ Люси къ своей груди. Оба невольно думаютъ:

„Какъ все въ жизни проходитъ! И вѣдь приноситъ же время счастье! По крайней мѣрѣ, намъ оно принесло“...

Карета остановилась. Бережно высадилъ Гербертъ свою молодую жену и повелъ вверхъ по лѣстницѣ, прямо въ комнаты. Едва остались они одни, какъ онъ нѣжно взялъ въ обѣ руки ея прелестную головку и покрылъ поцѣлуями дорогое, нѣжно-любимое личико.

— Вотъ мы и дома, моя безцѣнная, несравненная жѣнка! Дай Богъ, чтобы у насъ, въ *нашемъ* домѣ, вмѣстѣ съ нами жило полное, ясное счастье! — сказалъ онъ.

— Да! Счастье и... любовь! Она, сама по себѣ, уже большое, безмѣрное счастье! — взволнованно прибавила Люси.

Горячо обнялись молодые супруги, и каждый изъ нихъ почувствовалъ, что этими словами все сказано. Они умолкли, и въ комнатѣ только тихо-тихо раздавался звукъ поцѣлуевъ, которыми Гербертъ покрывалъ заплаканные глазки жены: Люси плакала... но на этотъ разъ уже слезами радости и счастья!

Обозрѣвая свои владѣнія, молодая хозяйка не могла удержатъ поминутныхъ криковъ восторга.

И въ самомъ дѣлѣ, какъ было не восхищаться? Весь домъ былъ отдѣланъ за-ново. Все въ немъ было модно и красиво; въ каждой мелочи видно было, что приложены любящія заботы человека, которому хотѣлось, чтобы въ малѣйшихъ подробностяхъ были исполнены всѣ ея желанія. Но особенно хороша была спальня—голубая, шелковая, съ пушистыми бѣлыми и черными медвѣжьими шкурами, въ которыхъ тонули маленькія ножки Люси. Подъ голубымъ шелковымъ пологомъ, убитаннымъ лѣпной работой съ золотомъ, утопала рѣзная кровать изъ чернаго дерева, вся въ кружевахъ и батистѣ. Такіе же рѣзные черные стулья красиво выдѣлялись на свѣтломъ фонѣ драпировокъ, на бѣлыхъ пушистыхъ мѣхахъ, а съ потолка струился нѣжно-голубой, будто лунный свѣтъ, придавая всей обстановкѣ какой-то мечтательный, особенно нѣжный оттѣнокъ.

Когда молодые вернулись въ столовую, къ нимъ на встрѣчу бросился Милордъ, съ радостнымъ лаемъ суетясь вокругъ господъ. Онъ сейчасъ же узналъ свою давнишнюю пріятельницу, Люси, и принялся лизать ей руки и лицо; едва-едва удалось его успокоить.

Тихо сидѣли Люси и Гербертъ, предаваясь вполнѣ наслажденію чувствовать, что наконецъ-то настало для нихъ время душевнаго мира и отдыха. Съ тихой улыбкой на счастливомъ лицѣ, Гербертъ подошелъ къ женѣ и опустился около нея на колѣни, съ невыразимой нѣжностью цѣлуя ея руки. Свѣтлой улыбкой отвѣтила ему Люси, когда онъ прошепталъ:

— Люси!.. Дорогая! Счастлива ты?

Обнявъ его за шею и глядя ему прямо въ глаза, молодая женщина прошептала изъ глубины души:

— О, да: безгранично!.. Я и не думала, что есть на землѣ такое счастье!..

А за окномъ, въ саду, шумѣлъ зимній вѣтеръ, шаловливо сбивая съ оголенныхъ, почернѣвшихъ вѣтвей ихъ нарядный серебряный покровъ...

Какъ ни возставала Люси противъ желанія мужа иногда бывать съ нею въ обществѣ, ей все-таки пришлось ему покоряться: они вмѣстѣ сдѣлали всѣ визиты, необходимыя, согласно условіямъ приличій, но на томъ и кончились ихъ свѣтскія развлечения. Съ молодыми женщинами высшаго круга Люси не имѣла никакихъ общихъ интересовъ; старушки, рассчитывавшія видѣть въ ней

робкое, еще неумѣлое дитя, которому онѣ готовились покровительствовать, ошиблись въ расчетѣ и даже досадовали на свою новую знакомую за то, что она такъ непринужденно и умѣло держала себя, ни въ комъ не заискивала, не разыгрывала изъ себя простушки. Ей же самой было все равно, что бы про нее ни думали; лишь бы не мѣшали ей быть счастливой съ мужемъ.

Съ волненіемъ прислушивалась Люси къ тому, какъ о немъ говорили въ обществѣ. За нимъ признавали недюжинный умъ, и даръ слова, и выдающуюся ученость; говорили, что онъ богатъ, и, пожимая плечами, принимали за особую „странность“ его стремленіе „бесѣдовать съ народомъ“, въ какой-нибудь дымной пивной, „куда бы отнюдь не слѣдъ заглядывать такому богатому и ученому человѣку“, у котораго впереди самая блестящая будущность. Вотъ и женился онъ тоже какъ-то странно, на дѣвушкѣ низшаго круга,—положимъ, очень видной и красивой, но о которой все-таки ничего никто не могъ сказать: кто она и откуда родомъ, гдѣ ея семья?.. При крайней простотѣ наряда, Люси казалась всегда настолько красивѣе и стройнѣе всѣхъ другихъ молодыхъ дамъ и барышень, что мужчины были отъ нея безъ ума,—вполнѣ уважительная причина для того, чтобы вся женская половина общества относилась къ ней враждебно.

Иногда случалось, что Люси встрѣчала кого-нибудь, кто ей напоминалъ ея прошлое, казался ей знакомымъ: но болѣею частью она ошибалась. Одинъ только поручикъ Вердеръ могъ бы ее узнать; но она такъ измѣнилась, такъ непохожа была на прежнюю дѣвушку изъ пивной, что онъ довольно долго разговаривалъ съ нею, да такъ и простился, видя въ ней только богатую и красивую женщину, то-есть совершенно не узнавъ ея. Очевидно, опасность быть узнанной болѣе не существовала. А все-таки Люси не хотѣлось выѣзжать, не хотѣлось и принимать у себя.

— Да какъ же, дитя мое,—уговаривалъ ее мужъ: — если мы ни къ кому не поидемъ, такъ и къ намъ никто не придетъ!

— И не нужно! Намъ и такъ хорошо!..—горячо возражала Люси.

Единственными, противъ кого она ничего не имѣла, были: Эггерсдорфъ съ женой,—весьма милой молодой женщиной, которая очень ее полюбила,—и художникъ-реалистъ Фрицъ Лаутнеръ. Это тріо считалось у нихъ въ домѣ совершенно своимъ; особенно же нравился Люси послѣдній.

Его чистосердечіе, порой рѣзкая откровенность, а главное, полная естественность и независимость мнѣній, какъ въ живописи,

такъ и въ его воззрѣнiяхъ, положительно привлекали къ нему симпатiю молодой женщины. Онъ и прежде, до ихъ женитьбы, бывалъ у нихъ,—но только теперь, казалось ему, увидѣлъ молодую красавицу въ настоящемъ ея свѣтѣ, и тѣмъ обаятельнѣе, тѣмъ совершеннѣе во всѣхъ отношенiяхъ казалась она ему теперь.

Кромѣ ихъ, Люси часто видалась со своей невѣстой, Юлей, женой Макса фонъ-Дюрена. Это была слабая здоровьемъ, блѣдная, хоть еще и молодая женщина, искренно полюбившая Люси, какъ прекрасное свѣтило, до совершенствъ котораго ей никогда и не снилось дойти; но именно эти-то совершенства ея юной родственницы и плѣняли ее. Дѣти ея, три дѣвочки, съ восторгомъ висли на шеѣ, на рукахъ своей „тети“, когда она заходила къ нимъ, и Люси отъ души привязалась къ малюткамъ... Словомъ, все складывалось какъ нельзя лучше. Одно только мѣшало полнотѣ ея счастья (хоть въ глубинѣ души она и была этимъ довольна),—это упорный отказъ матери Герберта переѣхать на зиму въ Берлинъ. Какъ ни просили ее сыновья, старушка не хотѣла оставить свое одинокое старое гнѣздо — Зассенхагенъ. Люси знала, что она тому причиной, и это мучило ее.

Но, говорятъ, слухомъ земля полнится: и до ушей любопытныхъ дошла интересная вѣсть, что Люси, еще невѣстой, жила у свекрови; значить, та ее знаетъ. Почему же она не хочетъ у нея погостить или хоть повидаться съ нею? Нѣтъ! Тутъ что-нибудь да не ладно... и ужъ конечно такое, что не говорить въ пользу молодой фонъ-Дюрень. Иногда Максъ пытался заговорить съ братомъ; но Гербертъ или отмалчивался, или просто просилъ его вообще не поднимать прошлаго...

На томъ дѣло и стало.

ХІІІ.

Ранъ утромъ, когда солнце обливало своимъ теплымъ свѣтомъ садъ, пестрые цвѣты и весь домъ, за открытыми окнами котораго уже сидѣлъ Гербертъ, углубившись въ работу,—въ сосѣдней комнатѣ слышались чьи-то торопливые, тяжелые шаги. Молодой ученый оглянулся: на порогѣ стоялъ его братъ.

— А, Максъ!.. Ну, здравствуй!—сказалъ Гербертъ радушно и протянулъ ему руку; но тотъ стоялъ неподвижно, будто не замѣчая его движенiя.

— Ахъ, оставь, пожалуйста!—только проговорилъ онъ.

— Что съ тобой, Максъ? Ты разстроены?

— Да: я пришелъ требовать у тебя объясненія...

— Объясненія? Какого, и въ чемъ?

— А вотъ, вчера, въ моемъ присутствіи... грубо бранили... оскорбляли твою жену! Я, конечно, потребовалъ удовлетворенія. Въ немъ мнѣ, разумѣется, не отказали; но замѣтили, что это... ничего не измѣнить!..—глухо и отрывисто звучалъ его голосъ.

Гербертъ поблѣднѣлъ.

— Кто посмѣлъ...

— Не все ли равно?

— Но, мнѣ кажется, я имѣю право...

— Никакого! Это говорилось въ моемъ присутствіи; слѣдовательно, это право остается за мною. И наконецъ, я—братъ тебѣ!

— Но чтѣ сказали?..

— Ахъ, да не все ли равно? Скажи мнѣ только, Гербертъ... прошу тебя, умоляю! Это—*ложь*? Это—подлая, гнусная ложь?.. Вѣдь мама сама отдала ее тебѣ въ жены?..

Гербертъ смотрѣлъ въ сторону и молчалъ.

Братъ отступилъ назадъ, пораженный, униженный этимъ безмолвнымъ признаніемъ. Отчаянный крикъ вырвался у него изъ груди:

— Гербертъ! Да скажи же хоть слово! Скажи, что это неправда, что Люси никогда не была... О, Боже! Не могъ же фонъ-Дюрень взять себѣ въ жены... нечестную дѣвушку! Скажи только, что на ней нѣтъ пятна позора!..

Гербертъ молчалъ.

Замолкъ и Максъ, но лишь на минуту.

— Да знаешь ли ты, понимаешь ли, чтѣ про нее говорятъ, чтѣ говорятъ про тебя? Говорятъ, что ты подобралъ ее въ грязи и позорѣ, которымъ ты не задумался запятнать весь нашъ древній родъ!.. Скажи же мнѣ откровенно: гдѣ ты съ нею встрѣтился, чѣмъ она была прежде?

Молчаніе Герберта было ужаснѣе всякаго отвѣта.

— Ты молчишь? А! такъ благодарю же тебя отъ имени всей семьи! Благодарю особенно за то, что ты подарилъ нашу мать „такой“ дочерью, породнилъ съ нею... распутную женщину!..

— Максъ! — больно и грозно раздался крикъ его несчастнаго брата.

— Что жъ тутъ такого, если это такъ и есть?.. Я самъ, твой братъ, предлагаю тебѣ: пойди, послушай, какъ тебя поворачать, какъ они хвастаются, что давно были съ нею знакомы, съ твоей „женою“!

Гербертъ сжалъ кулаки.

— Максъ! Замолчи, ради Бога! А не то...

— А не то?

— Береги честь мундира! Помни, что ты мнѣ братъ!

— А ты-то помнишь ли это? Ты, — старшій въ родѣ, гордость и глава семьи, — что ты надѣлалъ? Ты внесъ грязь и позоръ въ родную семью, ты не задумался ввести въ нашъ честный домъ... Ноги моей здѣсь не будетъ, пока въ немъ живеть... „та“!.. И попомни ты мое слово: не я одинъ отшатнусь отъ тебя, — всѣ тебя бросать, не желая марать себя „ея“ присутствіемъ!.. Ты опозорилъ нашу честь, ты плюнулъ въ лицо всему, что намъ велитъ долгъ и совѣсть... Прощай! Мнѣ больше нѣтъ дѣла до тебя, погрязшаго въ стыдѣ и безпутствѣ!

Прежде, чѣмъ Гербертъ могъ крикнуть, удержать брата, Максъ исчезъ. Гербертъ остался одинъ, — безъ словъ, безъ движенія.

Какъ все это быстро, ужасно случилось! Сердце замирало, мысли путались, въ глазахъ разстилались, порывами, волны тумана; въ головѣ холодило... Душно! Душно! Скорѣе на воздухъ!.. И Гербертъ инстинктивно пошелъ къ выходу въ садъ.

Но, выйдя въ гостиную, онъ остановился: на полу, у дверей, во весь ростъ лежала Люси и только головой и плечами касалась спинки ближайшаго кресла. Лицо ея было мертвенно блѣдно, глаза закрыты, губы — бѣлыя и безкровныя — судорожно стиснуты; руки висѣли безпомощно, какъ въ обморокѣ.

Гербертъ быстро нагнулся къ ней, бережно перенесъ на диванъ и, тихо обликая ее, нѣжными поцѣлуями старался привести жену въ чувство. Дыханіемъ согрѣвая ея холодныя ручки, онъ обнималъ ее, поправлялъ ей подушки... Но она лежала тихо, безучастно, какъ неживая. Вотъ она открыла глаза, — неподвижныя, глубокіе глаза, въ которыхъ не отражалось ничего, кромѣ безграничнаго, невыразимаго ужаса. Ласки мужа, его мольбы очнуться, успокоиться, его горячіе поцѣлуи и увѣренія въ любви будто не касались Люси: она лежала тихо, уныло, равнодушно, и только въ широко раскрытыхъ глазахъ ея отражался смертельный ужасъ и душевные муки...

Въ открытое окно вливался живительною струею чистый утренній воздухъ, напоенный солнечнымъ, благодатнымъ тепломъ. Весело играли шаловливыя лучи въ зеленой листвѣ. Неугомонныя болтуны-птички покачивали гибкія вѣтки, порхая съ одного куста на другой.

Полная жизни и радости бытія ликовала природа. Жадно упивалась тепломъ и свѣтомъ возрожденная, счастливая земля...

Съ того дня Люси стала совсѣмъ другая. Никакія ласки и заботы мужа не могли оживить, успокоить ее. Она какъ бы застыла въ ужасѣ передъ грознымъ ударомъ судьбы. Блѣднѣя, тощая, страдала она не столько за себя, сколько за него, — любимого, дорогого! Максъ былъ правъ: всѣ оставили ихъ домъ; даже на улицѣ, если Гербертъ шелъ съ нею, знакомые обходили его или вовсе не кланялись. И общество было право, осуждая его за то, что онъ навязывалъ своимъ знакомымъ ея общество; но его, все-таки, отчасти считали „своимъ“, и случалось, что онъ получалъ приглашенія, но только... одинъ, безъ жены, — какъ будто ея и не существовало! Люси считала, что все это ей по дѣломъ; но за чтѣ же онъ, бѣдный, страдаетъ? Ей казалось теперь, что ей отнюдь не слѣдовало тогда уступать его просьбамъ и желанію его матери: вѣдь она-то, Люси, знала, что она не годится ему въ жены!

Гербертъ тоже какъ-то притихъ и замѣтно осунулся: это она видѣла, не могла не видѣть! Онъ былъ по прежнему съ нею добръ и предупредителенъ, но это ужъ было не то... не то, чтѣ прежде! Прежней страстной любви между ними не было и помину. Теперь онъ любилъ ее, да, любилъ! но это была скорѣе глубокая жалость, нежели любовь, и это сознаніе отнимало у Люси послѣднюю долю мужества, самообладанія. Она готова была бодриться, не унывать передъ ужасной бѣдою, но въ этомъ мужъ долженъ былъ служить ей надежной опорой... а онъ самъ унывалъ и отчаявался не меньше ея. Объятія, ласки ихъ уже не опьяняли, не давали имъ полной отрады, забвенія!..

Ужасно!.. Ужасно!.. Лучше умереть, нежели жить такъ безотрадно, безнадежно!..

Такъ думала бѣдная Люси, подперевъ голову руками, и безцѣльно, ничего не видя, смотрѣла въ пестрый садъ, полный нѣжныхъ благоуханій.

Въ дверь кто-то постучался.

— Войдите! — отвѣтила она и онѣмѣла отъ удивленія: передъ нею стояла Юлія, жена Макса.

Блѣдная, взволнованная, Юлія заговорила, торопясь высказать все, чтѣ накипѣло у нея на душѣ. Обнимая и цѣлуя невѣстку, она призналась, что ушла къ ней безъ вѣдома мужа; что ее беспокоитъ ссора братьевъ и что она пришла попытать, вмѣстѣ съ

Люси, счастья помирить ихъ, выяснитъ недоразумѣніе. Мавсъ не сказалъ ей, въ чемъ дѣло; но она увѣрена, что вдвоемъ онѣ обѣ успокоятъ скорѣе этихъ „глупыхъ“ мужчинъ. Они такъ любятъ другъ друга,—и вздумали ссориться!

Люси съ грустной усмѣшкой слушала ее и только покачивала головой на эти слова, не сводя своихъ задумчивыхъ глазъ съ полу-дѣтской фигурки невѣстен.

— Но въ чемъ же дѣло? Скажи! Что у нихъ вышло?—допытывалась та.

— Не могу я тебѣ ничего сказать!—тихо говорила Люси.

— Но почему же?..

— Не могу! Понимаешь: не могу, ни за что на свѣтѣ!.. Могу только сказать тебѣ, что твой мужъ совершенно правъ, что запретилъ тебѣ къ намъ ходить... Но если ты когда-нибудь что и узнаешь, постарайся не судить слишкомъ строго несчастныхъ, которые и сами потомъ не рады своимъ заблужденіямъ и ошибкамъ. Общай мнѣ, что ты стараешься не обвинять меня необдуманно, не будешь меня презирать...

— Я?—презирать тебя, прелестнѣйшую изъ женщинъ?

— Да, ты такого мнѣнія обо мнѣ, потому что ты любишь и знаешь меня; большинство, которое меня не знаетъ и звать не хочетъ, бросаетъ въ меня грязью...

— Въ тебя?! Да развѣ ты способна на что-нибудь достойное порицанія?

— Значитъ, способна! Не удивляйся же и не пугайся: на свѣтѣ все возможно!

— Полно, Люси, дорогая, голубка!—и молодая женщина обняла ее крѣпко своими слабенькими, нѣжными руками, притнула къ себѣ и принялась горячо цѣловать.—Да полно же, моя душечка: тебѣ нездоровится, ты потому все и преувеличиваешь. Ну, признайся же мнѣ скорѣе, что у васъ вышло,—и тебѣ сразу станетъ легче на сердцѣ! Развѣ я не другъ, не сестра тебѣ?

— Нѣтъ, Юлія, не проси: не мучай себя! а меня... ты не повѣришь, какъ меня терзаютъ твои разспросы!

— Но вѣдь можешь же ты вполне мнѣ довѣриться? Я все-таки старше тебя, хоть ты и лучше меня, и красивѣе, и умнѣе. Повѣрь, ты не раскаяешься: все обойдется и пойдетъ опять какъ по маслу!..

Люси молча сидѣла у окна, будто глядя въ него; вдругъ она встрепенулась и взяла Юлію за обѣ руки.

— Нѣтъ, дорогая, это непоправимо! Если ты дѣйствительно такъ же сильно любишь меня, какъ и я тебя, ты вернешься

скорѣе домой и больше ко мнѣ не заглянешь! Слушайся мужа, не ходи ко мнѣ, и пусть онъ лучше не подозрѣваетъ, что ты была у меня... Но что бы ни случилось, прошу тебя: постарайся не слишкомъ меня осуждать!.. Прощай, моя милая, дорогая!.. Не плачь, уходи скорѣе! Не лишай меня бодрости духа,—я не вынесу этой пытки!—Нѣжно уговаривая бѣдную рыдавшую невѣстку, Люси мало-по-малу успокоила ее.

— Нѣтъ, не прощай, а до свиданья!—крикнула ей та уже на порогѣ:—я скоро вернусь... вотъ увидишь! И вернусь вмѣстѣ съ Максимъ!..

Но Люси только грустно кивнула головой ей во слѣдъ. Она знала, что этому не бывать... никогда... никогда!

Она чувствовала, что теперь и этотъ вѣрный любящій другъ не вернется къ ней; и еще тяжелѣе стало у нея на сердцѣ.

Подъ окномъ слышались голоса: Гербертъ и Лаутнеръ возвращались изъ сада. Люси на-скоро вытерла слезы, поправила волосы и пошла къ нимъ на встрѣчу.

Лаутнеръ попрежнему бывалъ у нихъ; онъ шелъ къ нимъ дѣлиться всѣмъ, что у него было хорошаго и дурного. Онъ зналъ, что фонъ-Дюрены лучше другихъ способны его понять, сочувствовать ему; зналъ, что Люси охотно говорить съ нимъ о живописи, и что въ ней есть художественное чутье и тонкое пониманіе искусства. Она не разъ выражала ему сожалѣніе, что свой выдающійся и вполне самобытный талантъ онъ тратитъ на полотна, не отвѣчающія, по ея мнѣнію, цѣлямъ чистаго искусства—изображать истинно-прекрасное. Лаутнеръ же, напротивъ того, писалъ все ужасное, жалкое, отвратительное. Послѣднее выраженіе Люси особенно примѣняла къ одной изъ его послѣднихъ картинъ; но, можетъ быть, потому, что она напоминала ей ея собственное жалкое, безотрадное дѣтство,—въ грязи и въ боязняхъ.

Картина изображала грязный дворъ; въ сторонѣ десятилѣтняя взерошенная, замазанная и оборванная дѣвочка держитъ на рукахъ ребенка, такого же грязнаго, какъ и она сама. Но до ребенка ей дѣла нѣтъ: она занята наблюденіемъ за горячей схваткой двухъ оборвышей, которые подрались изъ-за полусгнившаго, надуханнаго яблока...

Мрачныя краски невольно сами ложились на его полотна: что бы ни началъ Лаутнеръ писать мягче, свѣтлѣе по тону,—кисть, будто помимо его воли, энергичными мазками, снова придавала общему тону особый, свойственный ему одному, безотрадный и, вмѣстѣ съ тѣмъ, талантливый оттѣнокъ.

Сначала Лаутнеръ охотно бесѣдовалъ съ Люси, прислушиваясь къ ея рѣчамъ, затѣмъ онъ замѣтилъ, что это доставляетъ ему все болѣе и болѣе наслажденіе, что сама Люси кажется ему все лучше и совершеннѣе; и наконецъ, въ одинъ прекрасный день, его осѣнила мысль, что она ему особенно дорога, что онъ любитъ ее!

Любовь его была полна страстнаго чувства и восторженности, свойственной художнику, поклоннику всего прекраснаго; но онъ былъ вѣрнымъ другомъ Герберта; онъ уважалъ его и Люси, и такъ скрывалъ свое чувство, что о немъ никто бы не могъ догадаться.

XIV.

Такъ прошло лѣто, миновала осень, настала зима. На улицахъ и деревьяхъ засверкалъ на солнцѣ чистый, пушистый снѣжокъ.

У Герберта въ волосахъ заблестѣли сѣдинки, которыхъ день ото дня становилось все больше и больше. Онъ осунулся, постарѣлъ; осанка его стала небрежна, какъ и одежда; ясное, самоувѣренное выраженіе лица пропало безслѣдно; на лбу появились морщинки, которыхъ поцѣлуи Люси не въ силахъ уже были согнать.

Тихо, уединенно, но, повидимому, спокойно текла теперь жизнь хозяйвъ хорошенькой виллы; но именно только *повидимому*. Они хотъ и любили другъ друга все такъ же сильно, какъ прежде, но любовный пылъ миновалъ, оставивъ за собою болѣе ровное, хотъ и глубокое чувство.

Теперь, когда супруги были исключительно предоставлены самимъ себѣ, разница ихъ взглядовъ и воспитанія чувствовалась рѣзче, и это особенно огорчало Люси, которая прилагала всѣ старанія къ тому, чтобы пополнить хотъ немного пробѣлы своей жизни и воспитанія. Она усердно читала серьезныя и вообще полезныя книги; интересовалась работами мужа; принимала въ его планахъ и интересахъ живѣйшее участіе...

Но тутъ-то и ожидало ее еще новое, горькое разочарованіе.

Внимательно читая ученые труды мужа, вслушиваясь въ его разсужденія, она стала замѣчать, что его знаніе народа, любовь къ нему и сочувствіе его интересамъ основаны скорѣе на умственной работѣ, на его, такъ сказать, „кабинетномъ“ знаніи, а не на врожденной наклонности и чувствѣ. Люси, какъ „дитя народа“, иной разъ поражалась несоотвѣтствіемъ нѣкоторыхъ его

взглядовъ съ дѣйствительной жизнью и потребностями народа: ей-то онѣ съ дѣтства были знакомы и она скорѣе могла судить о томъ, что нужно простолюдину.

Однажды, въ сумерки, когда Гербертъ возвращался съ нею домой съ прогулки пѣшкомъ, имъ пришлось проходить по шоссе, которое шло за чертой города. На встрѣчу имъ, съ фабрикъ и заводовъ, спѣшили домой усталые рабочіе и ремесленники; большинство несло за плечами мѣшки съ принадлежностями своего мастерства, и это заставляло ихъ еще больше спѣшить къ желанному отдыху. Легкій морозецъ тоже подгонялъ запоздалыхъ.

Одинъ изъ рабочихъ остановился передъ зажженнымъ фонаремъ и, бессознательно покачиваясь взадъ и впередъ, чтобы сохранить равновѣсіе, оскалилъ зубы на Люси, бормоча что-то совершенно безсвязное. Гербертъ хотѣлъ ему что-то сказать, но Люси прижалась къ мужу покрѣпче и потянула его впередъ.

— Оставь его, милый, оставь! Видишь: онъ пьянъ, бѣдняга!

— Ну такъ возьмемъ извозчика!

— Ахъ, нѣтъ, лучше пройдемся пѣшкомъ! Погода такая прекрасная!

Невеселыя думы овладѣли молодой женщиной. Этотъ несчастный живо напомнилъ ей дѣтство и пьяныя выходки отца, громившаго всѣхъ и вся во хмелю. Въ лицо женѣ и дѣтямъ летѣли грязные сапоги и все, что попадало подъ руку; туканки и потасовки доставались правому и виноватому, — всѣмъ безъ разбора. Случалось, что онъ становился ласковъ и даже чрезмерно нѣженъ, лѣзъ къ женѣ обниматься и грубо говорилъ, когда она останавливала его при дѣтяхъ:

— Эка невидаль — дѣти!

Какъ отъ него разило вонючимъ виномъ! Какъ противны были тогда его ласки!..

Люси пробирала нервная дрожь; и, въ отвѣтъ на ея мысли, она замѣтила опять передъ собою того же самого пьянаго рабочаго. Онъ стоялъ на мостовой у самыхъ рельсовъ и грубо ругался за то, что вагоны не подождали, пока онъ сядетъ. Въ это время приближался еще вагонъ конно-железной дороги. Спотыкаясь, покачиваясь всѣмъ тѣломъ, рабочій заспѣшилъ къ нему; хотѣлъ ухватиться за перила, но это ему не удалось, и онъ сталъ ругать кондукторовъ, „не желавшихъ“ принять въ число пассажировъ „честнаго рабочаго“.

— У, свиньи! — оралъ онъ своимъ хриплымъ голосъ. — Небось везутъ же всякую сволочь, а меня... чѣмъ же я хуже ихъ?

— Эхъ ты, пьяница!—мимоходомъ сказалъ ему одинъ изъ рабочихъ.

Это слово взорвало несчастнаго.—Ишь ты, свой братъ, рабочій, да еще такъ честить! Этого только не хватало!..

Винновнй былъ уже далеко, а пьяненькій все еще грозилъ ему во слѣдъ кулакомъ.

На бѣду, въ эту минуту подъѣзжалъ вагонъ, и пьянчугѣ удалось ухватиться за перила. Кондукторъ не пускалъ его; онъ упрямо цѣплялся, но не могъ удержаться, чтобы вскочить, и, протаскившись по землѣ вслѣдъ за вагономъ, грузно свалился лицомъ на мостовую.

— Смотри! Онъ свалился!—въ ужасѣ воскликнула Люси и бросилась къ несчастному.

Гербертъ равнодушно взглянулъ на него и не пускалъ жену:

— Да ну его! Видишь, онъ пьянъ!

Но Люси уже нагнулась надъ неподвижной, неуклюжей фигурой блузника и старалась приподнять ему голову, заглянуть, живъ ли онъ.

— Хэ, барышня!—проговорилъ тотъ.—Ты чего? Ступай своей дорогой! Ты думаешь... я пьянъ? Ни-ни! Я только в-в-веселъ! Я старикъ, от-т-тецъ семейства!.. Проходи... проходи!

Въ это время прохожій студентъ поднялъ упавшаго, приговаривая не грубо, но внушительно:

— Ладно, ладно, любезный! Вставай-ка на ноги да проваливай себя съ Богомъ.

— Не расшибся ли онъ?—участливо спросила Люси.

— Чтò ему дѣлается!—возразилъ студентъ:—что пьяницы, что дѣти,—падаютъ, да не ушибаются!

— Ахъ, Боже мой! Онъ въ крови!—воскликнула молодая женщина и платкомъ своимъ отерла его окровавленное лицо.

Но въ эту минуту несчастнаго узналъ его сосѣдъ-рабочій, проходившій мимо, и вызвался доставить его домой.

Гербертъ, медленно подошедшій къ нимъ, вынулъ кошелекъ, чтобы дать ему на извозчика, но Люси, замѣтивъ довольно приличный видъ обоихъ сосѣдей, остановила мужа, изъ боязни обидѣть ихъ подачкой.

Уходя прочь, съ мужемъ подъ-руку, Люси спросила его:

— Ты иначе, какъ деньгами, и не помогъ бы ему?

— Но чего жъ мнѣ было туда мѣшаться, если къ нему подошли ужъ другіе?.. И, наконецъ, я не люблю имѣть дѣло съ пьянымъ народомъ!..

Очевидно, онъ готовъ былъ бросить несчастнаго на произ-

воля судьбы, если не пускалъ жену помочь разбитому, можетъ быть, уже мертвому человѣку!

И это—народникъ! Это—защитникъ и проповѣдникъ гуманныхъ воззрѣній на „низшую братію“? Да нѣтъ же, нѣтъ: онъ, какъ родился, такъ и остался аристократомъ въ глубинѣ души, въ самыхъ сокровенныхъ тайникахъ своего ума и сердца!..

Еще глубже казалась ей теперь возникавшая между ними душевная и умственная рознь. Невольныя тихія слезы скатились у нея по щекамъ. Въ сумеркахъ, подъ вуалью, Гербертъ ничего не замѣтилъ; и только грустное молчаніе жены дало ему понять, что она съ нимъ несогласна.

Это несогласіе все росло и росло. Въ одномъ только супруги сходились: имъ обоимъ было тяжело всякое напоминаніе о ихъ прежней, свѣтлой и страстной любви, погибшей безвозвратно.

Люси рѣзала глаза роскошная обстановка спальни, навѣвающая мысли о нѣгѣ и счастьѣ любви. Она приказала убрать голубыя шолковыя драпировки и бѣлоснѣжные мѣха и замѣнить ихъ темными, болѣе простыми; и Гербертъ ей въ этомъ не препятствовалъ. Они продолжали жить бокъ-о-бокъ, какъ друзья, преданные одному общему горю, но ни горячихъ, страстныхъ поцѣлуевъ, ни пылкихъ объятій уже не было между ними. Порой, съ грустной улыбкой, Гербертъ молча обнималъ Люси, какъ больное, слабое дитя; но слова страсти не приходили имъ на умъ... Чадъ любви миновалъ: остались только взаимное горе и слезы!..

Однажды, когда Гербертъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ, углубившись въ работу, жена тихо, незамѣтно подошла къ нему. Онъ вздрогнулъ, когда она очутилась уже рядомъ съ нимъ, и поднялъ голову. Онъ плакалъ: на лицѣ его были слѣды недавнихъ слезъ.

Страшная боль и тревога сжали сердце Люси: она не смѣла спросить его, чтѣ съ нимъ? Отчего ему тяжело... до слезъ?.. Мужъ притянулъ ее къ себѣ и нѣжно поглаживалъ ей волосы и блѣдныя, впалыя щеки; но онъ не облегчилъ свою душу ни словомъ, ни взглядомъ!

Люси тревожно озиралась вокругъ, ища разъясненія его душевной муки, и взглядъ ея упалъ на газету, которую онъ, по видимому, только-что читалъ.

Гербертъ задумался и не замѣтилъ, что она жадно пробѣгала глазами одинъ столбецъ за другимъ. Вдругъ ей бросился въ глаза отчетъ о послѣдней рѣчи ея мужа и подробное изложеніе рѣчи

одного рабочаго, который былъ съ нимъ несогласенъ... Она прочла все отъ слова до слова... Она все поняла!

Надъ Гербертомъ,—ея мужемъ, ея божествомъ,—издѣвались; его называли неискреннимъ, актеромъ, не понимающимъ своей прямой роли! Его укоряли въ томъ, что онъ, желая поднять нравственность въ брагѣ, уронилъ ее въ своей собственной семьѣ. Ему доказывали, что дѣйствовать на духъ народа надо не только словомъ, но и примѣромъ. Хорошъ примѣръ, нечего сказать! Такой умница, такой горячій проповѣдникъ нравственныхъ началъ, и вдругъ—окунулся въ самую грязь,—женится на негодной женщинѣ, про которую ходятъ по городу самыя неприглядныя сплетни... (Тутъ же приводились нѣкоторыя изъ нихъ для примѣра.) И такой франтъ еще смѣетъ читать другимъ наставленія, укорять ихъ, „честныхъ тружениковъ“, въ безнравственности? Нѣтъ, голубчикъ, постой: прежде водвори порядокъ у себя въ домѣ, а потомъ ужъ поучай и насъ грѣшныхъ!..

Гербертъ вдругъ очнулся, и скомканная газета полетѣла на полъ... Съ громкимъ воплемъ бросилась жена къ нему на грудь и обняла его крѣпко-крѣпко, будто желая защитить отъ ужаснаго оскорбленія.

— Да ну же, Люси! Ну полно, дитя!.. Стѣдить ли обращать вниманіе на грубыхъ нахаловъ?.. Полно же, успокойся! Пусть ихъ кричатъ; ничего они не измѣнятъ! Ну, развѣ я могу когда разлюбить тебя, мое сокровище... жизнь моя? Ты бы никогда ничего не узнала, я бы не показалъ тебѣ виду... Я все снесу изъ любви къ тебѣ... Ты одна для меня—весь міръ... все, что только есть на свѣтѣ прекраснаго и... любимаго!..

Нѣжныя ласки, полный любви, тихій, глубокій голосъ мужа какъ будто убаюкалъ на время страданія бѣдной Люси; но стѣлю ей остаться одной,—и снова она не могла найти себѣ покоя. Невыразимую душевную боль причиняло ей сознаніе, что она загубила его жизнь, его счастье... его карьеру!

Въ пріунывшемъ роскошномъ домѣ не слышно было, какъ прежде, веселаго, звонкаго смѣха его юной красавицы-хозяйки, не мелькало въ комнатахъ или въ саду ея свѣтлое платье. Какъ слабая больная, тихо скользила она отъ кресла до кресла и замирала по цѣлымъ часамъ, погруженная въ безцѣльныя тяжкія думы. Нерѣдко случалось теперь, что Люси чувствовала себя одинокой; чувствовала, что чего-то ей не хватаетъ... И она знала, чего: ей не хватало ребенка,—нѣжнаго, крохотнаго существа, безъ котораго семейная жизнь неполна. Благодаря почти дѣтской прелести ея характера, ея крайне юному и живому темпера-

менту, Люси долго не приходило въ голову, что она можетъ быть матерью. Тогда, въ чадѣ страсти, она ни о чемъ не думала, кромѣ Герберта и своей любви къ нему; теперь, когда чувство ихъ стало спокойнѣе, когда явилась необходимость отвлечься отъ ихъ общаго горя, Люси почувствовала всю необходимость такого особаго, близкаго имъ обоимъ интереса, какимъ бываетъ для родителей ребенокъ. Это желаніе росло въ ней и созрѣвало съ каждымъ днемъ, и она страстно мечтала о радостяхъ материнства. Но желаніе ея не сбывалось, и она видѣла въ этомъ персть Божій, достойную кару за ея грѣхи въ ранней юности. Она не смѣла роптать, находя это вполне справедливымъ, но ей было такъ тяжело и пусто на душѣ!..

XV.

Какъ ни тяжело было Лаутнеру скрывать свои чувства, онъ все приносилъ въ жертву состраданію къ своимъ бѣднымъ друзьямъ. Съ замѣчательной силою воли онъ преодолевалъ свою грусть при видѣ ихъ обоихъ и почти ежедневно заходилъ къ нимъ, гулялъ съ ними, бесѣдовалъ, казался развязнымъ,—подчасъ даже веселымъ. Но чуткое сердце Люси давно угадало его тайну, и она боялась оставаться съ Лаутнеромъ наединѣ, чтобы не дать ему повода нечаянно высказаться. Она дорожила его дружбой и участіемъ и не хотѣла, чтобы нарушились ихъ добрыя, непринужденныя отношенія.

Настало снова лѣто, и Гербертъ предложилъ женѣ поѣхать на Гельголандъ, но она не согласилась очутиться опять въ той самой обстановкѣ, съ которой у нея было соединено столько самыхъ свѣтлыхъ воспоминаній: онѣ могли только разбередить ея сердечныя раны...

Рѣшено было ѣхать въ Швейцарію и тамъ, для разнообразія, кочевать съ мѣста на мѣсто.

На чистомъ горномъ воздухѣ Люси дышалось какъ-то легче; Гербертъ какъ будто немного оживился.

Но счастье ихъ,—хотя и относительное,—продолжалось недолго. Въ Вевѣ Гербертъ получилъ отъ доктора телеграмму, вызвавшую его немедленно въ Зассенхагенъ: г-жа фонъ-Дюрентъ была настолько плоха, что при ея преклонномъ возрастѣ надо было опасаться неблагоприятнаго исхода болѣзни.

Гербертъ уѣхалъ. Люси пришлось вернуться въ Берлинъ.

Жара и духота стояли въ то лѣто невообразимыя, особенно

въ городѣ. Какъ ни прекрасна была обставлена вилла фонъ-Дюрена, въ ней все-таки тяжело было проводить такое знойное лѣто. Люси скучала, томила, и совсѣмъ бы изныла и физически, и душевно, еслибы не развлекалъ ее Фрицъ Лаутнеръ, взявши на себя роль ея подруги и компаньонки.

Тихо ходили они взадъ и впередъ по саду; тихо велась ихъ бесѣда. Художникъ не сводилъ глазъ съ прелестнаго, грустнаго лица Люси и думалъ, что еслибы ему когда-либо удалось измѣнить своей безотрадной и мрачной живописи, то одна только Люси могла бы ему въ этомъ помочь. Ужъ не впервые любовался онъ, какъ поклонникъ чистаго искусства, совершенствомъ линий ея стана, ея головы и лица—подвижнаго и дѣтски-выразительнаго, несмотря на строго правильныя, точеныя очертанія. Онъ мечталъ, что ему могло бы посчастливиться изобразить ее, полную жизненной правды и той чистой, дѣвственной прелести, которой и горе еще не могло лишить ее.

Фономъ служила бы кружевная листва раскидистаго ясени, черезъ которую сквозятъ горячіе солнечные лучи. Блестками скользятъ они по могучимъ стволамъ ближайшихъ деревь и по бурнымъ листьямъ, которые ужъ не годъ и не два лежатъ на сырой землѣ, на пушистомъ мху. Подъ ясенемъ, на зеленомъ, мшистомъ коврѣ, обхвативъ руками колѣни, сидитъ молодая дѣвушка, немного наклонивъ голову впередъ и задумчиво, жадно смотреть въ даль. На ея нѣжномъ, тонко-очерченномъ лицѣ играютъ лучи знойнаго, веселаго солнца, и тѣни отъ нѣжной прозрачной листвы ложатся на гибкую, полную юной прелести, классически-прекрасную фигуру... И самую фигуру дѣвушки, и фонъ, и прочіе аксессуары картины никто не уворилъ бы тогда въ мертвенной безотрадности тоновъ: Лаутнеръ чувствовалъ въ себѣ силу писать яркими, живыми красками, но единственная модель, какой онъ тщательно искалъ до сихъ поръ, наотрѣзъ отказалась дать ему хотя бы одинъ единственный сеансъ. Все его краснорѣчіе не могло повліять на рѣшеніе Люси: она даже фотографическихъ карточекъ никогда съ себя не снимала...

Въ ту самую минуту, когда краснорѣчіе художника достигло своего апогея, вдали, на главной аллеѣ показался старый слуга, видимо спѣшившій съ какимъ-то важнымъ извѣстіемъ.

Это была телеграмма отъ Герберта.

Люси дрожала отъ волненія.

— Читайте! Читайте скорѣе!—просила она.

Художникъ развернулъ депешу:

„Пріѣзжай сейчасъ же. Мать хочетъ тебя видѣть. Гербертъ“.

Она хочетъ ее видѣть?! Значить, еще не все пропало! Значить, счастье, примиреніе съ прошлымъ еще возможно!.. Скорѣе, скорѣе туда, къ бѣдной больной, оскорбленной женщинѣ: если есть на землѣ власть, которая можетъ все исправить, такъ эта власть въ ея рукахъ...

Люси на-скоро собралась въ дорогу. Лаутнеръ провожалъ ее на вокзалъ.

Скорый поѣздъ не шелъ, а летѣлъ, но Люси казалось, что онъ ползетъ черепашинымъ шагомъ. Томительно тянулось время; молодая женщина задыхалась въ тѣснотѣ вагона и оживала только на минуту, когда поѣздъ останавливался на промежуточныхъ станціяхъ. Слава Богу, каждая остановка приближала ее къ цѣли!

Наконецъ, вотъ и послѣдняя станція! Еще двѣ-три минуты — и Люси уже ѣдетъ по пыльной, раскаленной солнцемъ дорогѣ, въ большомъ старинномъ дормезѣ. При въѣздѣ въ деревню, жену встрѣтилъ Гербертъ и сѣлъ къ ней въ экипажъ.

Сегодня мать проснулась чуть свѣтъ, и вдругъ, совершенно неожиданно спросила, гдѣ Люси, — отчего она не здѣсь? Она сама пожелала видѣться съ невѣсткой и ждетъ ее съ нетерпѣніемъ. Юлія не могла пріѣхать, въ виду приближенія родовъ; Макс докторъ написалъ, что пока онъ можетъ оставаться съ женою; поэтому при больной были только Гербертъ и вѣрная старушка Визингъ. Г-жа фонъ-Дюрень упорно остановилась на мысли увидѣться со своей богоданной дочерью, примириться съ нею. Нѣсколько разъ въ день повторяла она тревожно свои опасенія, что Люси обижена ею и вѣрно не захочетъ пріѣхать; затѣмъ, не отпускала отъ себя сына ни на шагъ и заставляла его все, все подробно рассказывать ей про жену... Вѣдь она знала, что у нихъ тамъ что-то вышло, — и что-то ужасное, по словамъ Макса. — Но барыня (говорила Визингъ своему любимцу-барину) все не рѣшалась васъ допрашивать: она ждала, что вы сами все ей напишете, разъясните. Часто она вашу барыню вспоминала, безпокоилась о васъ обоихъ, и вотъ... наконецъ-то свидѣлась съ вами!..

Когда Люси, подъ-руку съ мужемъ, вошла въ комнату его матери, старушка протянула къ ней обѣ руки, и Люси, растроганная, опустилась передъ ней на колѣни. Съ вѣжною лаской поглаживали дрожащія, мягкія старческія руки золотистые волосы и мокрое отъ слезъ лицо молодой женщины. Съ этой минуты, казалось, исчезли безслѣдно семейная рознь и холодность. Душев-

ная бодрость придала больной столько физической силы, что докторъ только изумлялся и почти отбѣчалъ за нее.

Г-жа фонъ-Дюрентъ не отпускала отъ себя свою „дочку“ и мечтала только о томъ, чтобы у ея изголовья состоялось примиреніе ея сыновей. Но этого она не дождалась.

Въ одно прекрасное утро, когда она, по обыкновенію, задремала въ своемъ низкомъ, глубокомъ креслѣ, душа ея тихо отошла въ вѣчность.

На похороны пріѣзжалъ Максъ, но спѣшилъ обратно, къ женѣ, и потому оставался недолго; но пока онъ былъ въ Зассенхагенѣ, Люси сочла приличнымъ лучше не показываться ему на глаза. Между братьями состоялось холодное, но вѣжливое соглашеніе относительно предстоявшаго имъ теперь наслѣдства, и Максъ уѣхалъ.

Уступая горячимъ просьбамъ Люси, Гербертъ согласился провести всю остальную часть лѣта въ Зассенхагенѣ. Съ ранняго утра онъ уходилъ хлопотать по хозяйству, какъ настоящій помѣщикъ, а Люси въ это время гуляла по лѣсу съ своимъ старымъ другомъ—Милордомъ. Она заходила и за окраину деревни, и въ самую глубину лѣса... но старалась подальше обходить свой любимый охотничій домикъ.

День ото дня она замѣчала въ Гербертѣ переменъ къ лучшему: его апатія проходила, онъ оживалъ, онъ хотѣлъ жить и трудиться. Смерть матери оставила въ немъ только свѣтлыя воспоминанія, и главное изъ нихъ было то, что она... простила Люси!

Между тѣмъ и онъ замѣчалъ въ женѣ такую же отрадную переменъ. Они оба словно были теперь на дорогѣ къ своей прежней, безмятежной жизни. Преграды, которая выросла между ними и ихъ любовью, не существовало, и они мало-по-малу поддавались обаянію возрождающейся въ нихъ жизни и... любви.

Несмотря на трауръ, на искреннее сожалѣніе объ угасшей старушкѣ, Люси ужъ больше не скользяла какъ тѣнь, не подкрадывалась боязливо къ мужу: ея звонкій смѣхъ и возня съ Милордомъ нерѣдко оживляли теперь большой старинный домъ именитаго рода фонъ-Дюрентъ.

Однажды подъ вечеръ яснаго, знойнаго дня, когда солнце садилось въ багровыхъ лучахъ, разгоняя по небу розовато-сѣрыя, пушистыя облачка, Гербертъ пошелъ вмѣстѣ съ Люси побродить по лѣсу.

Въ отрадной тиши замолепшей чащи они чувствовали себя снова прежними, молодыми, и ничуть не удивились, когда извилистая тропинка привела ихъ къ дверямъ охотничьяго домика.

Какъ будто такъ и слѣдовало, Гербертъ отперъ дверь и распахнулъ настежь всѣ окна. Мебель и вся уютная обстановка сохранились прекрасно, но запахъ пыли и нежизненного, спертаяго воздуха непріятно поразилъ Люси.

Тихо бесѣдуя, супруги еще побродили по двумъ-тремъ памятнымъ для нихъ лѣснымъ дорожкамъ...

Ночь надвигалась. Становилось свѣжо и сыро. Они вернулись подъ гостепріимный кровъ своей хижины, которая теперь благоухала чистымъ запахомъ сосенъ, лѣсныхъ травъ и цвѣтовъ.

Мѣра волненій Люси переполнилась. Она прижалась къ мужу, и цѣлый потокъ самыхъ горячихъ, сокровенныхъ признаній полился неудержимо.

— О, милый, милый! — говорила она. — Еслибъ ты зналъ, что я пережила, что я выстрадала! Мнѣ казалось, что твоя любовь ко мнѣ погибла на вѣки. Когда ты, бывало, поцѣлуешь меня, мнѣ чудилось, что холодомъ вѣетъ отъ твоихъ поцѣлуевъ. Сколько разъ я, бывало, забьюсь въ садовый домикъ, гдѣ ты меня помѣстилъ, помнишь, тогда, какъ мы снова сошлись съ тобою?.. и тамъ я, бывало, одна, безъ свидѣтелей, выплачу свое горе! Но ты... ты ни разу не вспомнилъ, не заглянулъ туда: я тамъ была одна... одна! Никто не мѣшалъ мнѣ плакать... Но теперь... теперь прочь слезы, прочь тоска!.. Не такъ ли, милый, любимый? Обойми же меня, скажи, что любишь по прежнему! Поцѣлуй же скорѣе покрѣпче... еще и еще!

Возбужденіе залило щеки Люси нѣжнымъ румянцемъ; она снова была прежней, пылкой, дѣвственно-прекестной и вмѣстѣ съ тѣмъ страстной женщиной.

Гербертъ обнялъ жену и осыпалъ ее жаркими поцѣлуями, увѣреніями въ любви и счастіи.

XVI.

Недѣли двѣ-три спустя, въ ихъ интимную жизнь вошелъ посторонній, но этотъ посторонній не стѣснялъ, а напротивъ того, — оживлялъ, развлекалъ ихъ.

Доктора посовѣтовали ему уѣхать куда-нибудь на отдыхъ, гдѣ бы глаза его тоже могли отдохнуть на мягкой зелени полей и лѣсовъ, и Лаутнеръ поспѣшилъ къ своимъ друзьямъ, которые, какъ всегда, были рады, что онъ о нихъ вспомнилъ.

Сначала онъ охотно подчинялся командѣ любезныхъ хозяевъ: лѣниться! оставить работу!.. — но постепенно красоты природы и

яркія краски ранней осени прельстили его до того, что онъ „по-слабъ къ чорту“ команду и сталъ по утрамъ убѣгать въ лѣсъ, на берегъ небольшого, но живописнаго озера. Окинувъ восхищеннымъ взоромъ опушку лѣса, щеголявшую разнообразіемъ тоновъ и переливовъ, Лаутнеръ, затанувъ дыханіе, переводилъ глаза на голубую поверхность озера, которое тихо рябилъ нѣжный вѣтерокъ. Красное солнышко, умывшись утренней росой, уже сіяло во всей своей прелести и, смѣясь, осыпало серебромъ, какъ блѣсками, тихія воды, въ которыя любовно смотрѣли темныя ели, свѣтло-зеленыя пихты и пожелтѣвшія, красноватыя вѣтви порѣдѣвшихъ кленовъ. Налюбовавшись вдоволь искусствомъ неподражаемой художницы природы, ея страстный поклонникъ раскидывалъ свой станокъ, отрывалъ ящичекъ съ красками и, повинувшись своему восторженному настроенію, брался за кисти и палитру. Иногда сюда заглядывали вмѣстѣ его любезные хозяева, въ поискахъ за своимъ гостемъ; случалось, что они заходили отдѣльно: то Гербертъ, между хозяйственными хлопотами, — то Люси, со своимъ вѣрнымъ спутникомъ Милордомъ.

Лаутнеръ такъ былъ увлеченъ своей работой, что они не мѣшали ему, и онъ самъ не былъ помѣхой ихъ личному счастью.

Еслибъ не чары природы, которыя совершенно заполонили его, то Лаутнеръ навѣрно замѣтилъ бы какую-то особую, выжидательно-блаженную усмѣшку на лицѣ Люси... Но онъ поклонялся пока не ей, а природѣ, и уѣхалъ, не предвидя того, что случилось послѣ его отъѣзда.

Люси давно замѣчала въ себѣ что-то странное, и это странное наполняло ее блаженствомъ и благодарностью къ судьбѣ, которая, повидимому, хотѣла ее утѣшить... Наконецъ, убѣдившись въ томъ, что она не ошиблась, Люси не могла дожидаться минуты, когда она съ мужемъ останется вдвоемъ, — совсѣмъ, совсѣмъ вдвоемъ.

Но, вотъ, Лаутнеръ уѣхалъ... и въ тотъ же день вечеромъ, когда она, сидя у мужа на колѣняхъ, играла прядями его „стариковскихъ“ серебристыхъ волосъ, Люси призналась ему, то смѣясь, то плача, что весной они прїѣдутъ сюда... уже не одни, а *троемъ*!

Она будетъ матерью!.. Въ этихъ немногихъ словахъ — цѣлый міръ грядущаго счастья, — полное забвеніе ужаснаго, позорнаго прошлаго. Съ появленіемъ малютки, съ нею, бѣдной грѣшницы, смоется послѣднее пятно провлятія и позора... Казалось, будущее теперь уже не предвѣщало молодымъ супругамъ ничего, кромѣ радости и счастья; но скоро Люси стала чувствовать себя нехо-

рошо, и даже доктору ея беременность внушала опасенія. Бывали минуты, часы и даже дни, когда крайняя слабость и боли такъ мучили молодую женщину, что она чуть не роптала на свое положеніе, котораго такъ страстно желала. Она худѣла, дурнѣла и досадовала на то, что не можетъ быть Герберту милой по прежнему. Напрасно увѣрялъ онъ ее, что теперь она стала еще дороже ему; что красота и здоровье, страсть и любовь вернутся въ ней въ свое время, обычнымъ порядкомъ: Люси капризничала, тосковала и тѣмъ еще больше вредила своему нервному настроенію. Бывали, однако, промежутки, когда ей было лучше, и она совершенно перерождалась: оживала, видѣла все въ розовомъ свѣтѣ. Но стоило ей опять прихворнуть,—и она падала духомъ; въ печальной ласкѣ и молчаливости мужа видѣла холодность, тосковала о погибшей любви; мучила и его, и себя...

Въ такихъ переходахъ отъ оживленія къ горю, отъ бодрости къ унынію и болѣзненной тоскѣ, прошла зима; подходила весна, —на дворѣ уже былъ свѣтлый мартъ.

Какъ-то разъ, послѣ засѣданія въ какомъ-то комитетѣ, Гербертъ зашелъ, по дорогѣ, въ мастерскую Лаутнера, который что-то давно не заглядывалъ къ нимъ. Фрица не было дома, но старушка, управлявшая его несложнымъ хозяйствомъ, просила гостя войти и обождать немного: баринъ долженъ былъ скоро вернуться.

Гербертъ и не замѣтилъ, какъ шло время. Онъ съ удовольствіемъ разсматривалъ картины и эскизы, занимавшіе не только станки, но даже стѣны и полъ просторной, но почти голой; неуютной комнаты. Дверь въ сосѣднюю комнату, которую художникъ въ шутку называлъ „свалкой хлама и мусора“, была только притворена, вопреки обыкновенію Лаутнера держать ее всегда на запорѣ.

Машинально Гербертъ вошелъ въ этотъ таинственный складъ предметовъ живописнаго искусства. Чего тутъ только не было! Полуоконченныя полотна, всевозможныя станки, картины безъ рамъ и рамы безъ картинъ, разсѣяныя безъ системы, небрежно, какъ попало. Были здѣсь и довольно большія полотна; одно изъ нихъ, самое большое, почти въ человѣчeskій ростъ, было уже безцеремонно приткнуто лицомъ къ стѣнѣ.

Прочно натянутая на тяжелой рамѣ, картина эта была настолько тяжела, что Герберту стоило довольно большого труда отодвинуть ее отъ стѣны и повернуть лицомъ къ свѣту.

Лучи весенняго солнца ударили въ тихую, сверкающую серебромъ поверхность воды, на горизонтѣ, далеко-далеко, сливаю-

щейся съ небомъ. На подвижномъ серебрѣ зыбкихъ струй, на спинѣ, вытянувшись во весь стройный ростъ, тихо колыбалась молодая, прекрасная, совершенно нагая женская фигура. По водѣ разметались отливавшія золотомъ пряди ея пушистыхъ волосъ; солнце смотрѣлось въ ея глубокіе, задумчивые, широко раскрытые глаза...

Вотъ, вотъ такою точно, съ полуоткрытыми, алыми, какъ у ребенка, губами лежала она не разъ въ его объятіяхъ, въ то чудное, незабвенное время ихъ первой любви, когда ихъ опьяняла безграничная, пылкая страсть! Это ея нѣжное, дѣйственно-прекрасное тѣло, которое было для него предметомъ неизсякаемыхъ восторговъ.

Гербертъ обезумѣлъ отъ душевной боли. Онъ ужъ видѣлъ передъ собой не картину, а дѣйствительность, — живую Люси, свою... жену!

Да! „Свою“?.. „Свою“?! Развѣ она только его, *сю* Люси? Развѣ онъ первый назвалъ ее „своею“? Не одинъ только онъ имѣлъ право считать ее своей... собственностью. И познакомился онъ, Гербертъ, когда она была съ другимъ; и сама же она говорила ему о своемъ ужасномъ прошломъ... Отчего жъ бы и Лаутнеру не быть въ числѣ этихъ счастливицевъ? А если онъ имѣлъ поводъ написать этотъ... пасквиль, — что-жъ? ничего тутъ нѣтъ удивительнаго!

Но вдругъ Гербертъ что-то вспомнилъ. Онъ опустился на колѣни передъ зловѣщимъ полотномъ и близко, близко принялся разглядывать тѣло красавицы: если это „она“, — у нея пониже правой груди должно быть темное, какъ бархатная мушка, родимое пятно. Вотъ тутъ... но на этомъ самомъ мѣстѣ ничего не замѣтно, не видно даже ея бѣлаго, розоватаго тѣла, — до того ослѣпительны серебристыя блѣстки студеной воды, которая плещется на ея точеной высокой груди. И чѣмъ больше всматривался несчастный, тѣмъ видѣлъ все хуже и хуже. Какой-то туманъ застилалъ ему глаза; въ ухахъ шумѣло; колѣни дрожали... А родимаго пятнышка — нигдѣ ни слѣда!..

Все равно! Надо дожидаться Лаутнера, надо требовать у него разъясненія! Да: требовать и добиться... во что бы то ни стало!..

Но что-жъ онъ нейдетъ?.. Боже! какъ душно, какъ здѣсь нестерпимо душно!..

Гербертъ съ трудомъ всталъ на ноги, распахнулъ окно... Нѣтъ! Это просто пытка! Скорѣе, скорѣе на воздухъ!

Еще минута — и Гербертъ уже бѣжалъ, не помня себя, по шумнымъ и тѣснымъ улицамъ, по мостамъ и бульварамъ...

Долго ли онъ такъ бѣжалъ, онъ не помнилъ; наконецъ, онъ— у себя дома!..

— Барыня еще не изволили вернуться,—доложилъ старикъ-камердинеръ:—уѣхали за покупками...

Гербертъ остался одинъ въ гостиной и, шагая отъ волненія взадъ и впередъ, невольно поддавался самымъ ужаснымъ, но и самымъ *своятѣннымъ* (какъ ему казалось) сопоставленіямъ.

— Лаутнеръ—негодяй и не другъ, а злѣйшій врагъ мнѣ! Онъ не могъ не воспользоваться удобнымъ случаемъ; употребилъ во зло радушное гостепріимство друга...

И вдругъ несчастному мужу и отцу пришла мысль, что ребенокъ, о которомъ ему сказала жена лишь по отъѣздѣ художника... Да, это такъ! Все къ тому клонилось: и одинокія отлучки Фрица со станкомъ и красками, которыя, очевидно, играли только роль приличнаго предлога; и охотничій домикъ, въ которомъ такъ просто было только повторить сцену примиренія... но не съ нимъ, ея мужемъ, а... съ тѣмъ, другимъ!..

О, она—обманщица! Она усыпила его своими ласками, опьянила поцѣлуями, заворожила чадомъ любовной, всемогущей отравы! Что же онъ думалъ? Чего смотрѣлъ? Какъ она обманывала другихъ, какъ другіе обманывали ее, — такъ и она теперь обманула его. Чтѣ жъ тутъ такого? Это въ порядкѣ вещей! Это такъ просто, такъ ясно: его жена—не „его“ жена; его дитя,—не „его“ дитя...

Послышался стукъ кареты. Вотъ она у крыльца: стукъ замеръ у подъѣзда.

Весело напѣвая какую-то пѣсенку, съ усмѣшкой на губахъ, Люси вошла въ гостиную.

— А, Гербертъ! Ты дома?—и подойдя къ мужу, она поставила ему лицо для поцѣлуя.

— Да! — отвѣчалъ онъ такъ равнодушно и спокойно, какъ будто не о немъ говорилось. Онъ не смотрѣлъ ей въ лицо, но по голосу и по движеніямъ догадался, что она была въ духѣ, и это еще болѣе озлобило его.

Не говоря ни слова, Гербертъ схватилъ ее за руку такъ больно, такъ крѣпко, что она напрягла всѣ силы, чтобы вырвать у него руку, и, смѣясь, потирала ее, дула на нее, помахивала въ воздухъ.

— Какъ ты мнѣ больно сдѣлалъ!—тихо посмѣиваясь, сказала Люси, не подозревая ничего о причинѣ такого страннаго поступка.

Онъ молчалъ и думалъ, глядя на нее:

„Такъ вотъ какой невинной и прекрасной можетъ казаться... распутная обманщица!..“

Люси взглянула на него поближе и ужаснулась.

— Боже мой! Гербертъ! Да что съ тобой?

Онъ встряхнулъ головой и грубо сказалъ:

— Ничего!.. Ты мнѣ сдѣлала... очень больно!

— Гербертъ!—воскликнула она и хотѣла его обнять, прижаться къ нему, но онъ отстранилъ ее.

— Не надо! Садись и выслушай меня спокойно: мы оба должны быть совершенно спокойны!..

Водворилось тяжелое молчаніе. Гербертъ заговорилъ опять.

— Чтѣ было, то прошло и его ужъ не передѣлаешь. Я тамъ былъ, у Лаутнера, и видѣлъ эту картину...

Онъ опять замолчалъ. Люси смотрѣла на него, ничего не понимая.

— Ну, ту, знаешь?..

— Картину?.. Какую картину?

— Мнѣ, что-ли, прикажете вамъ объяснять?.. Не думалъ я, что мнѣ придется еще продлить свои мученія!

— Пожалуйста, Гербертъ, говори яснѣе: я ничего не могу понять!

— Ну, вотъ: я видѣлъ голую женщину... Она лежитъ на спинѣ, на водѣ... и эта женщина... ты!—хрипло, но громко оборвалъ онъ.

— Я!.. Я?.. Гербертъ, да я-то тутъ причемъ?..

Но онъ не далъ ей докончить:

— Ахъ, оставь притворство! Не отпѣкивайся: это—ты, ты сама, съ головы до ногъ. Что-жъ, картина—на славу... Только сюжетъ ужъ слишкомъ наглый...

— Гербертъ, чтѣ ты? Опомнись!

— Но это еще не все! Я все знаю: и ваши свиданья, и твою измѣну... тамъ, въ Зассенхагенѣ...

— Клянусь тебѣ... Гербертъ!

Какъ въ желѣзныхъ тискахъ ломалъ онъ ей руки, но она не чувствовала ничего, не рвалась: она застыла въ ужасѣ, какъ неживая.

— Да! Я все знаю!—неумолимо продолжалъ онъ.—И всѣ ваши уловки, и чтѣ было тамъ, въ охотничьемъ домикѣ...

— Боже мой! Гербертъ, ты боленъ, ты не понимаешь, чтѣ говоришь!

— Нѣтъ, понимаю! Понимаю прекрасно (настаивалъ онъ съ

упорствомъ пьяницы или безумнаго), что ты... ты — распутная женщина!

Съ нечеловѣческимъ, страшнымъ крикомъ бросилась Люси къ мужу, обхватила его колѣни руками, молча, глазами взывая къ нему, подавленная гнетомъ обиды, позора. Вотъ оно, вотъ то ужасное слово, которымъ назвалъ ее Максъ тогда, когда онъ разошелся съ братомъ, изъ-за нея, изъ-за „этой... распутной!..“ Но, Боже! Неужели это пятно таеъ и пойдетъ съ нею въ могилу, не отнимется отъ нея, не смоеся никакимъ страданьемъ?..

— А дитя?.. *Наше* дитя! Оно не чужое, *мое*? Оно — мое? Мое? Да говори же! Скорѣе!.. Ну, говори же, клянись... лги еще, и еще!

Онъ кричалъ, онъ ломалъ ей плечи и руки, онъ готовъ былъ растерзать ее на части, убить, задушить...

— Что же? Одинъ конецъ!—промелькнуло у нея въ головѣ, и она, неожиданно для себя, закричала:

— Ну, да: не твое, не твое!.. Слышишь ли: *не твое*!

— Ты лжешь, лжешь! Скажи, что ты лжешь!—отчаянно кричалъ онъ, но Люси молчала, какъ нѣмая.

Рядомъ съ хозяиномъ стоялъ Милордъ и жалобно вылъ, вторя ужасному, возбужденному крику своихъ господъ.

Гербертъ вдругъ выпустилъ изъ рукъ жену и оттолкнулъ ее отъ себя.

— Вонъ!.. Вонъ, негодная!..—бѣшено прокричалъ онъ, не понимая, что говорить и дѣлать.

Медленно встала Люси на ноги, выпрямилась, дрожа всѣмъ тѣломъ.

Въ гостиной было ужъ совсѣмъ темно.

Какъ робкій ребенокъ, хватаясь за кушетки и стулья, чтобы не упасть, Люси вышла вонъ изъ комнаты, пятясь назадъ, толкаясь то объ столъ, то объ этажерку, инстинктивно взмахивая впередъ руками.

Очутившись въ коридорѣ, она стремительно бросилась наверхъ, къ себѣ въ спальню, собирая впопыхахъ кое-какія вещи, сиѣнна скорѣе... скорѣе вонъ отсюда, съ ея глазъ долой! Наскоро набросивъ на себя пальто, шляпу, Люси вышла, выбѣжала вонъ изъ дома.

На дворѣ было темно, какъ ночью, и вѣтеръ гналъ косые, тяжелые потоки проливнаго дождя.

Въ гостиной Гербертъ стоялъ неподвижно и, тупо смотря передъ собою въ пространство, слышалъ, какъ хлопнула внизу дверь, подъ напоромъ вѣтра, швырявшаго въ окна крупными

каплями дождя, который дружно билъ въ оконныя стекла и скатывался неровными струями.

Со двора доносился вой вѣрнаго пса, какъ безсловесная жалоба на безпріютную мглу и ненастье...

XVII.

Машинально, подойдя къ своему столу, Гербертъ сѣлъ и облокотился, тяжело опустивъ на руки свою наболѣвшую голову.

Мало-по-малу мысли въ ней заронились, забродили, сначала неопредѣленно смѣняя одна другую, но затѣмъ становясь все яснѣе и опредѣленнѣе. Ему стало ясно, что онъ самъ виноватъ въ своей бѣдѣ: къ чему было слушать пустыя бредни художника и его товарищей? Къ чему было настаивать на этомъ ужасномъ бракѣ?.. Положимъ, онъ былъ тогда какъ въ чаду, отъ ея обворожительной красоты, дѣтски-милаго нрава, но не она ли сама боялась новыхъ узъ, отговаривая его, можетъ быть предчувствуя бѣду?

Общество отшатнулось отъ нея, и оно право: она не измѣнилась; позоръ ея юности наложилъ на нее свою неотразимую печать.

Юность, какъ и все прошлое, не проходитъ для человѣка безслѣдно: Гербертъ самъ испыталъ это на себѣ. Все, что прошло, непременно отзовется на дальнѣйшей жизни человѣка, — таковъ законъ жизненныхъ явленій. Что ни дѣлай, какъ ни стирай свое прошлое, оно не изгладится, не оставитъ тебя: какъ цѣпями скуетъ оно твою память и душу!..

Гербертъ знаетъ это по себѣ. Цѣлая вѣчность прошла съ тѣхъ поръ, какъ онъ оскорбилъ, опозорилъ несчастную Лизу Юргенсъ, а теперь... теперь на немъ отзываются ея слезы: за нее, мертвую, отомстила ему живая, и какъ жестоко, какъ справедливо отомстила!! Весь позоръ, все издѣвательство надъ чистымъ, преданнымъ чувствомъ, которымъ онъ свелъ Лизу въ могилу, пали теперь на него: его самого теперь оскорбили, надъ его чувствомъ нагло издѣвались!

Лиза была совершенная противоположность Люси: высокая, крѣпко-сложенная, смуглая брюнетка, она казалась старше своихъ лѣтъ. Когда Гербертъ въ первый разъ увидѣлъ ее въ семьѣ своего командира, ему было всего двадцать-три года, а ей — восемнадцать. Бѣдная дѣвушка рано лишилась матери, и жена командира, особенно чтившая ее отца, а своего духовника-па-

сторы, взяла къ себѣ въ домъ Лизу и полюбила ее, какъ родную: онѣ вмѣстѣ занимались хозяйствомъ и воспитывали, учили дѣтей, которыя любили ихъ одинаково.

Всегда молчаливая, скрытная, Лиза ничѣмъ не выдавала своего страстнаго темперамента. Съ перваго взгляда молодой, блестящій офицеръ понравился ей, его умъ и манеры очаровали бѣдную дѣвушку, выросшую въ глухой тиши родного села и не выдавшую ничего дальше дрянного провинціального городишка и его простыхъ, недалекихъ людей.

Едва подмѣтивъ въ себѣ зарождавшееся чувство любви, молодая дѣвушка, чтобы не выдать себя, стала еще сдержаннѣе, холоднѣе. Это подзадорило офицера добиваться взаимности: ему казалось обиднымъ такое равнодушіе простушки, провинціалки. Его усилія увѣнчались успѣхомъ: Лиза не всегда успѣвала скрыть свое смущеніе. Гербертъ торжествовалъ, и однажды, въ сумерки, заставъ ее одну въ большой, глубокой залѣ, неожиданно обнялъ и осыпалъ бѣдную растерявшуюся дѣвушку такими горячими поцѣлуями, что она обомлѣла отъ страсти и ужаса. Въ первую минуту, однако, она еще успѣла наградить его звонкой пощечиной, но во гнѣвъ она показалась ему еще привлекательнѣе, и побѣда, все-таки, осталась на его сторонѣ...

Съ той поры его любовь сдѣлалась для Лизы свѣтомъ и наслажденіемъ: онъ покорилъ, а страсть окончательно поработила ее. Однажды, въ одно изъ свиданій, она сама отдалась ему, и ей отрадно, легка была ея жертва. Но пришелъ часъ, когда ей стало жутко и больно на сердцѣ: долго не рѣшалась она признаться другу, но, наконецъ, рѣшилась.

Гербертъ не вѣрилъ ей, не хотѣлъ вѣрить, смѣялся надъ нею и вообще старался не думать о ея опасеніяхъ, какъ ребенокъ о горькомъ лекарствѣ. Но Лиза не забывала, томилась своимъ положеніемъ и, поддаваясь общему веселію (Гербертъ возилъ ее, въ обществѣ Эббингена и его пріятельницы Анеты, по театрамъ и другимъ увеселительнымъ мѣстамъ), она все-таки чувствовала, что самый пылъ любви миновалъ и тревожно думала о развязкѣ...

И развязка пришла скорѣе, нежели она ожидала. Какъ-то за ужиномъ въ отдѣльномъ кабинетѣ, когда бойкая Анета, развалилась на креслѣ и закинувъ назадъ свою отуманенную виномъ голову, ловко пускала къ потолку клубы дыма, Гербертъ спросилъ:

— Вы курите, Анета? А вотъ Лизу никакъ не убѣдить попробовать: говорить, что ей это не нравится... А почему она знаетъ? Она — чистая пуританка!

Это было сказано такимъ досадливымъ и холоднымъ тономъ, что смутило бѣдную дѣвушку.

Она уже подняла бокалъ, чтобы чокнуться съ нимъ, но улыбка замираетъ у нея на губахъ и она, стараясь не выдавать своего волненія, говоритъ полу-шутливо:

— Такъ ты мной недоволенъ?

— Еще бы! Есть тутъ чѣмъ быть довольнымъ!—раздраженно ворчатъ молодой человекъ.

— Что жъ! Видно, я тебѣ надоѣла?

— А ты думаешь, что нѣтъ?—злбной усмѣшкой перебилъ онъ ее.

— Полно же издѣваться! Ты, видно, меня разлюбилъ. Нездаромъ мнѣ все такъ тяжело... такъ тяжело, что я, кажется... сейчасъ бы готова умереть!..

— Что же, попробуй: и перестанетъ казаться!—продолжалъ Гербертъ издѣваться надъ бѣдной дѣвушкой.

— Меня ужъ давно не было бы въ живыхъ, еслибы не ребенокъ... Слышишь ли? Твой ребенокъ!

— Ну, что жъ такое, что мой?.. Да брось, наконецъ, свои бредни: будетъ съ насъ! Лучше выпьемъ! Ахъ, извини!—прибавилъ онъ, замѣтивъ, что налилъ прежде себѣ, и потянулся къ ея бокалу, чтобы и ей налить.

Но Лиза прикрыла бокалъ рукою:

— Нѣтъ, нѣтъ: мнѣ лучше воды... освѣжиться!

— Вотъ и прекрасно! Авось тогда перестанешь дуться!

Не слушая его, неопредѣленно и туло, какъ мертвая, смотрѣла Лиза куда-то въ уголъ, широко раскрывъ свои большіе бархатистые глаза, и нервно болтала ложечкой въ недопитомъ стаканѣ воды.

— Ну, чего ты стучишь?—грубо обликнулъ ее Гербертъ.

Эббингенъ съ Анетой молча, безстрастно слѣдили за ходомъ ссоры.

— Я хочу перестать дуться, какъ ты говоришь!—проговорила Лиза довольно спокойно и снова задумалась.

— Такъ это вѣрно? Ты разлюбилъ меня?.. Да?—допытывалась она снова, повторяя все одинъ и тотъ же, роковой для нея вопросъ.

Но Гербертъ молчалъ и только передергивалъ плечами, съ какой-то кислой гримасой на равнодушномъ лицѣ.

Тяжело, неловко поднимается съ мѣста несчастная дѣвушка, и ея блѣдныя губы съ трудомъ выговариваютъ слова:

— Я такъ... я такъ... любила тебя! Я не хочу... быть тебѣ въ тягость!

Какъ подшошенная шатается и падаетъ бѣдная Лиза, безпомощно хватаясь за грудь... Ей дурно, она задыхается... она въ обморокѣ!

— Этого удовольствія еще не хватало!—недовольно ворчить Гербертъ.

Но Лиза не шевелится, не открываетъ глазъ...

Герберту становится жутко. Онъ теревить ее, уговариваетъ очнуться и наклоняется надъ нею, въ ужасѣ не сводя глазъ съ ея неподвижныхъ, чуть-чуть видныхъ бѣлковъ. Губы ея полураскрыты... и Герберта обдаетъ сильный запахъ, какъ бы отъ горькаго миндаля; въ углахъ рта замѣтна бѣлая пѣна...

— Доктора!.. Скорѣе!.. Она отравилась!—стонетъ онъ, и Эббингенъ бросается за докторомъ.

Но доктора трудно найти: одного дома нѣтъ, другой боленъ. Наконецъ, приходитъ какой-то старикъ, флегматично снимаетъ шляпу, пальто и калоши и выслушиваетъ больную.

— Вы говорите, она отравилась?—допрашиваетъ онъ.

— Да, ціанистымъ кали.

— Почему вы знаете?

— По запаху... Извольте понюхать! — протягиваетъ Гербертъ доктору зловѣщій стаканъ.

— Это безразлично!.. Помогите мнѣ приподнять больную!

Онъ снова слушаетъ... и констатируетъ смерть. Герберту кажется, что онъ самъ умираетъ отъ ужаса... отъ жалости къ несчастной, отъ укуровъ совѣсти, которая къ нему неумолима... Чего бы онъ только не далъ за то, чтобы хоть на минуту вернуть ее къ жизни, просить у нея прощенія... ту, которая была ему въ тягость! Но она лежитъ неподвижно, холодная, равнодушная.

Гербертъ перестаетъ чувствовать, думать, и молча, безъ слезъ, повинуется не оставляющему его товарищу. Эббингенъ одинъ обо всемъ думаетъ и хлопочетъ: беретъ отпускъ себѣ и Герберту, распоряжается похоронами.

Послѣ дождливой, сумрачной ночи наступаетъ ясное утро, и солнце ласкаетъ зеленый скромный холмикъ надъ свѣжею могилой. У Герберта—ни слезы, ни движенія: онъ застылъ въ безконечной тоскѣ...

Выйдя въ отставку, онъ предался наукамъ, и въ нихъ постепенно нашелъ себѣ отраду.

Но на пути его снова явилась женщина... Онъ ожилъ, от-

дался чувству взаимной любви, былъ счастливъ и... этимъ счастьемъ поплатился за свои тяжкія прегрѣшенія въ прошломъ...

Да! Прошлое не проходитъ даромъ: рано или поздно оно отзовется... и на жалобы бѣдной, обиженной Лизы отзывалась теперь обожаемая, счастливая Люси!!

XVIII.

Въ дверь постучалась прислуга:

— Барыни здѣсь нѣтъ? Я нигдѣ не найду ее!

— Ступайте прочь: барыня вышла... уѣхала!—пробормоталъ Гербертъ; но этотъ вопросъ далъ новый толчокъ его мыслямъ, и онъ невольно представилъ себѣ бѣдную, слабую женщину, которую мочить дождь, валить съ ногъ порывистый вѣтеръ. Она одна, — безпріютная, безпомощная!...

Ему жаль ее. Она встаетъ, выходитъ въ прихожую, на-скоро одѣвается и спѣшитъ, спѣшитъ все впередъ по мокрымъ, грязнымъ, скользкимъ тротуарамъ... онъ обгоняетъ и пугаетъ своимъ разстроеннымъ, безумнымъ взглядомъ прохожихъ, — мужчинъ и женщинъ...

Усталый, разбитый, вернулся онъ къ себѣ. Пробило два часа ночи. Лампа, которую будто еще недавно зажегъ лакей, заморгала и съ шумнымъ хрипѣньемъ потухла. Гербертъ этого не замѣтилъ. Онъ продолжалъ сидѣть у стола, опустивъ на него свою отяжелѣвшую голову.

Потру вѣрный старикъ-камердинеръ робко вошелъ къ своему барину: всѣ они знали, всѣ слышали отчаянный крикъ и бѣгство барыни; всѣ видѣли, что баринъ „не въ себѣ“. Гербертъ едва прикоснулся къ завтраку и снова задумался. Вдругъ раздался звонокъ и къ нему вбѣжалъ Эггерсдорфъ. Онъ, какъ будто, хотѣлъ сказать что-то другое, но попятился назадъ и въ ужасѣ крикнулъ:

— Боже мой, Гербертъ! Что съ тобою? Что жъ ты молчишь? Говори же!

— Со мной?.. ничего! Никто мнѣ не поможетъ... Люси...

— Ну, что же съ нею?.. Ушла, или... ты самъ ее выгналъ?

— Да... выгналъ изъ дома, который она... покрыла позоромъ!..

— Полно! Опомнись!.. Не можетъ этого быть!

— Нѣтъ, можетъ: я... знаю все!

— Сумасшедшій! Ничего ты не знаешь... Это все несчастная случайность!.. Послушай: Лаутнеръ въ отчаяніи. Онъ пони-

масть, что ты могъ подумать. Онъ вѣ себя отъ горя. Онъ думаетъ, что это ты отодвинулъ и смотрѣлъ картину...

— Ну, да: и разсмотрѣлъ хорошо...

— Ага! Значить, его догадка вѣрна!.. Бѣдная Люси! Пойми ты, несчастный, что она невинна: Лаутнеръ даетъ тебѣ слово, что онъ не могъ отъ нея добиться ни одного, единого сеанса!

— Такъ я ему и повѣрилъ!.. Она сама мнѣ призналась...

— Быть не можетъ!

— Да я же тебѣ говорю!..

Но Эггерсдорфъ не сдавался: онъ долго и убѣдительно разбивалъ всѣ доводы Герберта; заставилъ его болѣе рассудительно и внимательно все припомнить.

И Гербертъ припомнилъ.

Значить, она не лгала, когда говорила, что не понимаетъ его, — что не знаетъ, о какой картинѣ онъ говоритъ; значить, она только съ отчаянія разжигала его злобу, кричала, что ребенокъ—не его! Она надѣялась, что мужъ убьетъ ее, разомъ покончить ея душевныя муки...

Гербертъ уже не противился увѣщаніямъ Эггерсдорфа, который торопилъ его разыскивать злополучную бѣглянку, и послушно пошелъ съ нимъ въ мастерскую Лаутнера.

Тотъ уже поджидалъ ихъ и самъ предложилъ дать Герберту удовлетвореніе. Отдирая отъ рамы полотно, разрѣзая его на куски и бросая въ огонь, онъ едва переводилъ духъ отъ волненія.

— Вотъ!.. Вотъ!—приговаривалъ художникъ. — Вѣрите ли, друзья, съ той минуты, какъ я ее написалъ, мнѣ казалось всегда преступленіемъ когда-либо уничтожить эту картину... Но легче бы мнѣ было никогда не прикасаться къ палитрѣ, нежели на-творить такую бѣду!..

XIX.

Больше мѣсяца прошло въ усердныхъ, отчаянныхъ поискахъ. Вся полиція, всѣ слуги и близкіе неутомимо разыскивали несчастную. Нигдѣ ни слѣда: ни въ дѣйствительной жизни, ни среди мертвецовъ, — въ дневникѣ приключеній, которыми такъ полны газеты, не было ни малѣйшаго намека на то, что случилось съ Люси фонъ-Дюрень. Гербертъ и самъ не зналъ, считать ли ее погибшей или живою? Но все еще, растерянный, онъ не могъ спойкойно пройти по улицѣ, останавливалъ прохожихъ, заходилъ чуть не въ каждый дворъ, гдѣ играли дѣти, и описавъ

имъ наружность жены, допрашивалъ, не видали ли ее; а если видѣли, то гдѣ и когда? На него сначала испуганно смотрѣли, какъ на сумасшедшаго, затѣмъ прислушивались къ его словамъ и говорили, что да, дѣйствительно видѣли такую точно даму... вчера?... два дня, недѣлю тому назадъ?... Да,—но это мало помогло дѣлу.

Однажды, утромъ, изъ Зассенхагена пришла телеграмма:

„Пріѣзжайте сейчасъ. Барыня опасно больна. Визингъ“.

Зассенхагенъ? Она—въ Зассенхагенъ? И отчего это раньше никому въ голову не пришло обратиться туда?!

Гербертъ не помнилъ, какъ онъ доѣхалъ до стараго гнѣзда фонъ-Дюреновъ, и тогда только ожилъ, когда Визингъ (бѣдная старушка!) выбѣжала къ своему барину на встрѣчу, прося его простить ее, что она распорядилась тутъ безъ его вѣдома.

— Да она-то, голубушка моя, ангелочекъ небесный, такъ слезно просила, чтобы никто, никто не зналъ, что она здѣсь. Кто бы могъ ей отказать? Развѣ какой-нибудь звѣрь и безбожникъ. А она-то, она все плакала и говорила: „Потерпите, милая. Дайте мнѣ только дожидаться родовъ: я оставлю ему ребенка, а сама уйду... уйду, куда глаза глядятъ!..“ — И добрая женщина дала волю слезамъ, которыя душили ее.

— Полно, полно, моя милая старушка! — успокаивалъ ее молодой баринъ.—Не сердиться я долженъ на тебя, а благодарить за то, что ты сберегла мнѣ жену и ребенка!..

— Если Богу угодно!..—замѣтила старушка, и не рѣшилась помѣшать ему сейчасъ же видѣть больную, которая лежала въ забытѣ.

Люси, однако, и во снѣ не была спокойна: она безпрестанно шевелилась, шептала что-то совершенно безсвязное.

Гербертъ разобралъ свое имя, нагнулся и обнялъ жену.

Она открыла глаза, но не узнала его и, прижимаясь къ нему, понемногу стала спокойнѣе. Осторожно Гербертъ помогъ ей откинуться на подушки и увидалъ, что на губахъ у нея играетъ тихая, счастливая улыбка. Долго еще не выпуская онъ изъ своихъ рукъ горячія руки жены и шопотомъ, взглядами, говорилъ съ докторомъ.

Докторъ ручался за жизнь ребенка, который родится лишь недѣли за двѣ до срока; но здоровье матери возбуждало въ немъ серьезныя опасенія. Она была такъ слаба, такъ нервно разстроена, что могла не вынести предстоящей ея организму тяжелой борьбы.

Подъ вечеръ Люси какъ будто очнулась, открыла глаза и безмолвно, нѣжно обняла мужа, который не отходилъ отъ нея

ни на минуту. Отрадные слезы облегчили ее, но она, повидимому, ничего не помнила, гдѣ она и что съ нею было. Утомившись слезами, она уснула у него на рукахъ, — уснула тихо и крѣпко, какъ дитя. Лихорадка немного ослабѣла.

Герберта насильно заставили лечь, но ему не спалось: онъ, вмѣстѣ съ вѣрной старушкою Визингъ, не спускалъ глазъ съ больной. На утро Люси окончательно пришла въ себя и засѣпала мужа разспросами: почему она не дома, а въ Зассенхагенъ? Или это Гербертъ ее сюда привезъ?.. Мужъ, какъ умѣлъ, отвѣчалъ ей на каждый вопросъ, и она успокоилась, лицо ея выражало полное счастье и довольство... Но вдругъ въ ней проснулись воспоминанія, и ею овладѣла страшная тревога. Она хотѣла вскочить и бѣжать... „вонъ, вонъ отсюда!“... Большого труда стоило удержать больную, но вдругъ силы оставили ее и она, съ громкимъ, постепенно слабѣвшимъ рыданьемъ, затихла. Гербертъ осыпалъ жену ласками, утѣшалъ ее, какъ любимое, нѣжное дитя, и въ поцѣлуяхъ, въ его объятіяхъ, она снова увидала прежнюю любовь и отраду. Обоимъ стало легко на душѣ, оба ожили духомъ.

Гербертъ разсказалъ Люси всю исторію злополучной картины и отчаяніе бѣднаго художника. Люси просила вызвать его въ Зассенхагенъ для того, чтобы онъ отъ нея лично услышалъ слово прощенія. На слѣдующій же день онъ пріѣхалъ и выслушалъ его самъ.

Но это волненіе не прошло ей даромъ. Къ вечеру лихорадка усилилась, а на разсвѣтѣ наступилъ уже кризисъ, котораго опасался докторъ.

Роды прошли довольно удачно. Ребенокъ, — прелестная, здоровая дѣвочка, — кричалъ громко, и вообще общалъ впереди жизнь и здоровье, но мать была еще безъ памяти и такъ слаба, что за нее трудно было ручаться.

Сѣрый, унылый день занимался надъ родовымъ гнѣздомъ фонъ-Дюреновъ, въ которомъ увидѣло свѣтъ новое крохотное существо, — новый членъ семьи.

На дворѣ бушевало ненастье; въ спальнѣ больной была мертвая тишина...

Наконецъ, Люси глубже вздохнула, шевельнула головою, открыла глаза... проснулась. Ей показали малютку — и она заплакала отъ восторга, потребовала, чтобы ей разрѣшили самой кормить; но докторъ просилъ ее потерпѣть еще два-три дня, и предупредилъ Герберта, что онъ ручается за нее, если эти дни пройдутъ благополучно.

Люси, повидимому, чувствовала себя хорошо. Она была совершенно счастлива, мечтала о жизни, какую они поведутъ всѣ „втроемъ“, и прежней красой засіяли ея милныя, полу-дѣтскія черты. Она говорила весело, много и безъ умолку.

Восхищенный ея оживленіемъ, Гербертъ слушалъ жену, прерывая ея слова тихими поцѣлуями. Люси все говорила, говорила... но голосъ ея постепенно слабѣлъ и затихалъ, будто доносясь откуда-то издалека. Губы ея еще шевелились, — но ни звука не было слышно въ тишинѣ большой полу-темной спальни... Глаза Люси смотрѣли какъ-то странно, ясно, но вопросительно, будто чего-то ища гдѣ-то, въ невѣдомой ей дали.

Вдругъ она содрогнулась всѣмъ тѣломъ, судорожно ухватилась за мужа и, безсильно закинувъ назадъ голову, упала на подушки.

— Люси! Люси! Что съ тобой, сокровище мое, жизнь моя? — кричалъ несчастный, прижимая къ ея холодѣвшимъ, блѣднымъ губамъ...

Но Люси молчала. Она умолкла на вѣки, и только блаженная, мирная улыбка играла на ея прелестномъ лицѣ, которому смерть возвратила всю его прежнюю поразительную красоту.

Въ неудержимомъ горѣ упалъ на ея холодѣвшее тѣло блѣдный мужъ: въ ней онъ терялъ свою любовь, свое счастье!..

Тихо поднявшись съ колыбели, онъ самъ осторожно закрылъ ей глаза, подошелъ къ окну и откинулъ тяжелую занавѣску.

Дождь пересталъ. На небѣ, между послѣдними, убѣгавшими вдаль, сѣрыми облачками, виднѣлись просвѣты ясной лазури, а подѣ ними, съ недосыгаемой, невѣдомой вышины рвались на землю лучи ликующаго солнца. Они пронизывали угрюмыя облака, скользили по ясной лазури и врывались въ полу-темную, тихую комнату, любовно ласкали блѣдное, безмятежное лицо и золотистые волосы уснувшей.

При взглядѣ на нее, залитую вѣчнымъ, радостнымъ свѣтомъ, въ душу Герберта проникло новое, еще незнакомое ему чувство, разогнавшее мракъ и тревогу...

Въ эту минуту до него донесся звонкій, уже сильный и требовательный крикъ его ребенка... ребенка умершей... Ихъ дитя нуждалось въ немъ, — въ своемъ отцѣ: слабое, безпомощное, оно безсознательно призывало его къ себѣ, отдавало себя подѣ его защиту.

Прочь, тоска и сомнѣніе! Долгъ и жизнь призывали его: всѣ свои силы онъ долженъ отдать этому маленькому, беззащитному созданію.

Склонившись надъ тихимъ, сіявшимъ лицомъ бѣдной Люси, погибшей изъ любви къ нему и къ ребенку, Гербертъ долго не сводилъ съ нея глазъ и, нѣжно коснувшись рукой ея головы, поцѣловалъ мирно почившую въ безмолвныя, на вѣки умоляшія уста...

Вся его жизнь вмѣстѣ съ нею, вся его страсть и любовь, и ихъ муки, пронеслись передъ нимъ въ этотъ мигъ. Передъ нимъ вставала новая жизнь, полная воспоминаній о прошломъ. Чадъ любви миновалъ, но глубокая благодарная память о ней, — объ этомъ нѣжномъ, преданномъ чувствѣ, — будетъ жить и не умирать никогда!

А. Б—г—



ИЗЪ КОМАНДИРОВКИ

НА ЭПИДЕМИИ ВЪ 1892 ГОДУ.

Личныя наблюденія и замѣтки.

17-го марта 1892 года мы двинулись въ путь.

Насъ было десять человѣкъ, отправлявшихся первой партией въ самарскую губернію на борьбу съ тифомъ, голодомъ и цынгой, свирѣпствовавшими тамъ уже болѣе трехъ мѣсяцевъ.

Добровольный отъѣздъ нашъ, озакоенный командированіемъ, случился такъ внезапно, что мы едва справились съ самыми необходимыми домашними дѣлами, а объ экзаменахъ, которые уже начали-было сдавать по окончаніи учебнаго года, забыли и думать.

За недѣлю передъ этимъ, 10-го марта, состоялось въ большой аудиторіи клиническаго военного госпиталя экстренное полное курсовое собраніе по поводу пронесшихся въ академіи слуховъ о требованіи помощи народу, въ лицѣ хотя бы студентовъ-медиковъ, если не врачей, въ виду его бѣдственнаго положенія, и этимъ собраніемъ, состоявшимъ изъ 105 человѣкъ, большинствомъ 95 голосовъ было изъявлено полное желаніе и согласіе отправиться немедленно, если позволятъ отложить экзамены на осень.

Инициатива этого движенія исходила отъ начальника академіи, который, какъ говорили на курсѣ, отправляясь съ докладомъ къ военному министру, пожелалъ узнать мнѣніе студентовъ о возможности или готовности откликнуться на помощь народу, въ случаѣ, если у министра зайдетъ объ этомъ рѣчь. Никогда,

кажется, въ жизни я не забуду этого большого курсового собранія, одушевленнаго такими чудными думами, которыя, кажется, только и возможны въ лучшіе молодые годы, въ лучшее время студенчества, когда почти каждый готовъ былъ, рискуя жизнью, кинуться на помощь человѣку, когда высокая задача врача не шла въ разрѣзъ съ убѣжденіями и побужденіями души и сердца.

Эти благородные, возвышающіе душу порывы, въ сожалѣнію, только и возможны, кажется, въ такую пору, когда столкновенія съ дѣйствительностью еще не огрязнили и не исковеркали душу.

Шуму было ужасно много. Послѣ выясненія единодушнаго согласія отправиться куда угодно, начали выработывать тутъ же условія объ отношеніяхъ отъѣзжавшихъ и остававшихся, условія о сдачѣ экзаменовъ, о возможной потерѣ учебнаго года, и пр., и проч. Прошелъ день.

О чемъ говорилъ начальникъ съ министромъ и какъ все случилось, мы не знали, но на другой уже день было объявлено, что самарскій губернаторъ проситъ десять человѣкъ студентовъ. Предложено было курсу представить желающихъ изъ не-стипендіатовъ. Такихъ нашлось семь человѣкъ. Приходилось пополнить ихъ стипендіатами, и въ число трехъ изъ нихъ попалъ и я. Извѣстіе объ этомъ я получилъ вечеромъ того же дня запиской товарища, пригласившей меня на другой день въ 12-ти часамъ въ барачную больницу, для полученія подготовительныхъ свѣдѣній въ борьбѣ съ эпидеміями вообще и тифомъ въ частности.

Въ первый моментъ я обрадовался, потому мнѣ стало страшно за будущее, за неизвѣстность, за свою неподготовленность къ практической дѣятельности, но ни минуты я не подумалъ, чтобы можно было отказаться отъ этой поѣздки. Весь вечеръ я въ волненіи проходилъ по комнатѣ изъ угла въ уголъ, большую часть ночи приводилъ свои дѣла въ порядокъ, имѣя въ виду возможность не вернуться больше уже въ Петербургъ, написалъ письма близкимъ, сдѣлалъ нѣчто въ родѣ духовнаго завѣщанія и уснулъ далеко за полночь. На другой день въ Александровской барачной больницѣ мы прослушали Н. И. Соколова о тифѣ и леченіи заразныхъ болѣзней, познакомились со способами дезинфекціи помѣщеній и обеззараживанія одежды и мебели; на слѣдующій день прослушали профессоровъ Шидловскаго, Пастернацкаго, Манасеина, передавшихъ намъ всѣ свѣденія, какія могли понадобиться намъ въ командировкѣ, получили вечеромъ взаимы отъ общества вспоможенія студентамъ по 50 рублей на дорогу, и еще черезъ день, закупивъ все казавшееся намъ необходимымъ и получивъ отъ всѣхъ желѣзно-дорожныхъ обществъ

нашего направленія даровые билеты II-го класса, тронулись въ путь съ вокзала Николаевской желѣзной дороги въ 10 часовъ вечера.

На вокзалѣ насъ провожалъ почти весь курсъ, пили за наше здоровье, кричали ура и проводили со всякими добрыми пожеланіями. До Любани съ нами ѣхалъ нашъ курсовой штабъ-офицеръ.

Совмѣстный нашъ путь прошелъ такъ оживленно и дружно, какъ рѣдкій путь приходится провести человѣку. Мы всѣ чувствовали себя точно родными; болтали, ѣли, пили, смѣялись, судили о дѣлѣ, о задачахъ и назначеніи нашемъ, и, кажется, каждый изъ насъ готовъ былъ кинуться въ самую страшную бурю эпидеміи, одушевленный благороднымъ порывомъ. Остановившись переночевать въ Москвѣ, мы побывали въ большомъ московскомъ трактирѣ, гдѣ собственно и познакомились другъ съ другомъ, такъ какъ до тѣхъ поръ мы только знали одинъ другого по курсу. Тамъ, запивая селянку и растегая шампанскимъ и красомъ, мы высказывали все, что кому хотѣлось сказать самаго существеннаго, бывшаго на душѣ, передали адреса своихъ родныхъ избранному нами старостѣ, сдѣлали всѣ распоряженія на случай, если кого изъ насъ не станетъ, и съ того дня другъ съ другомъ были на ты.

Въ Рязкѣ наши дороги расходились. Семеро изъ насъ ѣхали на Самару, трое—въ числѣ которыхъ былъ и я—на Саратовъ, чтобы оттуда перебраться черезъ Покровскую слободу въ глубь новоузенскаго уѣзда. Первые должны были по пріѣздѣ явиться къ губернатору, чтобы получить отъ него всѣ инструкціи, а относительно насъ трехъ мы знали только, что староста нашъ извѣститъ насъ изъ Самары о дальнѣйшей нашей задачѣ.

Въ Рязкѣ мы дружески простились, въ надеждѣ выйти побѣдителями изъ этой борьбы и встрѣтиться въ добромъ здоровьѣ.

Черезъ сутки мы подѣзжали къ Саратову. Чрезвычайно неприятное и тяжелое чувство, испытываемое при видѣ цѣлаго лѣса кладбищенскихъ крестовъ, при приближеніи къ этому городу, сгладилось изяществомъ и европейскимъ отѣнкомъ его лучшихъ строеній и улицъ.

Саратовъ дѣйствительно красивъ и изященъ и не даромъ зовется по Волгѣ красавцемъ. Высокіе, но легкіе дома, мощенныя, средней ширины улицы, съ конками, умѣренное движеніе и оживленіе производили очень пріятное впечатлѣніе. Здѣсь мы пробыли сутки, приглядѣлись, пообчистились, отдохнули и 24-го марта переправились на саняхъ черезъ Волгу въ Покровскую слободу.

Въ слободѣ стояла еще совсѣмъ зима. Было холодно и толстый снѣгъ покрывалъ широкія, изрытыя ухабами улицы.

Не скрою, что я былъ чрезвычайно удивленъ, что въ Покровскомъ на постояломъ дворѣ намъ подали прекрасный бѣлый хлѣбъ, за обыкновенную цѣну очень хорошій черный хлѣбъ, хорошую колбасу, что люди въ Покровскомъ были какъ всѣ люди, что на улицахъ были вороны, кошки, собаки, что слобода была какъ слѣдуетъ быть слободѣ, не выражала ни паники, ни угрюмости и ничего такого, что такъ неразрывно связывалось въ моемъ воображеніи съ понятіемъ о народномъ голодѣ и эпидеміи, хотя бы даже цынги и тифа. Хозяинъ постоялаго двора былъ чрезвычайно добродушный, плотный, рослый нѣмецъ, хозяйка и прислуга были въ настолько удовлетворительномъ состояніи питанія, что я думалъ, что это не самарская губернія и не то мѣсто, гдѣ намъ предстояло работать. Мы помѣстились въ крошечной комнатѣ въ одно окно, въ которой и днемъ едва хватало для насъ мѣста, а ночью, когда вносили третью скамью для сна въ мѣсто кровати, она превращалась въ какую-то тюремную камеру, въ которой едва можно было протискаться между скамьями, чтобы лечь спать.

На другой же день мы отправились въ земскую больницу познакомиться съ врачомъ, отъ котораго надѣялись получить всѣ свѣденія относительно слободы и положенія дѣлъ въ уѣздѣ. Это былъ прекрасный господинъ, въ которому и по сей часъ я сохранилъ полное уваженіе и глубокую симпатію за его истинно-врачебную трудовую дѣятельность. Встрѣтившись въ послѣдствіи въ уѣздѣ съ нѣсколькими земскими врачами и познакомившись отчасти съ требованіями, какія предъявляетъ имъ земская медицина, и съ выполненіемъ съ ихъ стороны этихъ требованій, я во многомъ разочаровался, такъ какъ отношеніе между требованіемъ и выполненіемъ стоитъ далеко нижежелаемаго. Виноваты въ этомъ и постановка земской медицины, и ничтожное число врачей сравнительно съ громадностью ихъ районовъ, и глупость ихъ ближайшихъ помощниковъ—фельдшеровъ, зачастую совсѣмъ не знающихъ своего дѣла и силою обстоятельствъ долженствующихъ нести обязанности чуть не врачей, и неразвитость народа, переворачивающаго по своему ихъ совѣты и предписанія, и правители земства, отъ которыхъ дѣятельность врача находится въ такой серьезной зависимости, виноваты и сами врачи, мирящіеся съ такими условіями и по-неволѣ не отвѣчающіе своей задачѣ.

Покровскій земскій врачъ—воспитанникъ казанскаго университета—былъ поставленъ въ лучшія условія, сравнительно съ осталь-

ными земскими врачами. Владѣя прекрасной больницей, снабженной всѣми желаемыми средствами, онъ въ состояніи былъ отдавать ей всѣ свои труды и заботы, и дѣлалъ это столь добросовѣстно, что его зналъ весь уѣздъ и ни отъ кого не слышалъ я о немъ худого слова за все мое пребываніе въ уѣздѣ.

Онъ принялъ насъ какъ товарищей, поговорилъ о болѣзняхъ и голодѣ, о положеніи медицины въ уѣздѣ, о медицинѣ вообще, объ академіи и студентахъ, и направилъ насъ къ исправнику, которому должно было быть извѣстнымъ наше назначеніе и отъ котораго мы должны были получить указаніе на мѣста, гдѣ требовалось наше присутствіе.

Въ тотъ же вечеръ, за чаемъ у исправника, мы получили всѣ свѣденія, какія могли насъ интересовать.

Состояніе слободы въ медицинскомъ отношеніи было настолько сносное, что наше присутствіе здѣсь было бы лишнею роскошью. Здѣсь было три врача, четыре фельдшера и двѣ сестры милосердія. Было три больницы: земская (постоянная), тифозная (временная) и общественная для хрониковъ (тоже постоянная), занятая на время также подъ тифозныхъ. Первая была въ вѣденіи земскаго врача; въ другихъ двухъ работалъ врачъ, незадолго передъ нами прибывшій во главѣ московскаго санитарнаго отряда. Третій врачъ, служившій въ слободѣ по приглашенію покровскаго общества, работалъ отчасти въ общественной больницѣ, отчасти оказывалъ помощь на домахъ. Для полученія свѣденій о заболѣваніяхъ слобожанъ были учреждены ежедневные обходы по участкамъ всей слободы съ опросомъ въ каждомъ домѣ; для изоляціи приставлялись сторожа къ карантинированнымъ домамъ; для разъѣздовъ врача былъ общественный ямщикъ съ телѣжкой; для дезинфекціи былъ санитарный обозъ подъ управленіемъ фельдшера, и все было совершенно налажено. Врачъ московскаго отряда любезно познакомилъ насъ съ тифозными больницами, и, въ ожиданіи своего отправленія въ уѣздъ, мы предложили свою помощь врачамъ посѣщеніемъ съ ними или по ихъ указаніямъ больныхъ и дезинфекціей жилищъ съ служителями, данными для этого въ наше распоряженіе.

Лицевая сторона слободы не давала возможности подозрѣвать ничего худого; но за этой лицевой стороной въ заброшенныхъ грязныхъ лачужкахъ на окраинахъ слободы таилась такая безпросвѣтная нужда, о которой трудно составить себѣ представленіе, не видѣвъ ея.

Въ одинъ изъ нашихъ объѣздовъ больныхъ съ московскимъ врачомъ, мы вошли въ хату, гдѣ по свѣденіямъ, доставленнымъ утреннимъ обходомъ десятниковъ, были больные тифомъ. Три ступеньки изъ прихожей вели въ маленькую кухню. Температура кухни ничѣмъ не отличалась отъ температуры холоднаго наружнаго воздуха; не пахло не только тепломъ, но даже жильемъ, такъ присущимъ всѣмъ избамъ. Никто насъ не встрѣтилъ, когда мы вошли; все было тихо. На окликъ нашъ съ печки показались двѣ головы мальчиковъ, грязныхъ, оборванныхъ, лохматыхъ. Одинъ изъ нихъ спустился на полъ и на вопросъ, кто и гдѣ боленъ, молча указалъ намъ на комнату. Мы вошли. Въ этой комнатѣ было не теплѣе, чѣмъ на дворѣ. Очевидно, здѣсь очень, очень давно не топили; внутренность и обстановка ея были очень печальны: голыя стѣны, грязный, засоренный полъ, грязныя тусклыя окна и мертвая тишина. Налѣво отъ двери, на деревянной старой кровати безъ намека на какую бы то ни было подстилку, точно въ агоніи лежала покрытая лохмотьями и рванью женщина не то въ тифѣ, не то въ цынгѣ, и рядомъ съ нею маленькая дѣвочка лѣтъ пяти; возлѣ кровати стоялъ табуретъ съ кружкой воды. Въ углу направо было совсѣмъ пусто. Въ переднихъ углахъ слѣва стояла кровать съ двумя больными дѣтьми, едва пошевелившимися при нашемъ приходѣ; справа—лавка съ мертвымъ ребенкомъ, накрытымъ чистымъ новымъ платкомъ, вѣроятно подареннымъ кѣмъ-то. И больше ничего во всей хатѣ. Слезы не слезы, а какая-то гнетущая жалость охватили меня. Это было первое, чтѣ видѣлъ я въ жизни изъ народной нужды; и такихъ печальныхъ картинъ намъ еще много потомъ пришлось увидѣть въ уѣздѣ.

Въ другой разъ, въ слободѣ же, мы зашли въ избу, пови-
димому, довольно зажиточнаго крестьянина. Въ ней было тепло
и чисто. Изба была въ карантинѣ. Насъ встрѣтилъ совершенно
сѣдой старикъ, простой и почтенный, какъ сама старость, но ви-
димо подавленный горемъ. Въ избѣ, разгороженной пополамъ де-
ревянной перегородкой, лежало четверо дѣтей разныхъ возрастовъ.
Одинъ изъ мальчиковъ, самый маленькій, пораженный дифтеритомъ,
почти умиралъ, задыхаясь. Широкая, раздувшаяся шея, сукровица
изъ носа и испуганные выпятившіеся глаза безъ словъ говорили
о неминуемой смерти. Другой мальчикъ-подростокъ былъ очень
плохъ. На полу лежала дѣвочка лѣтъ 12-ти, вся въ жару, съ
красными какъ кумачъ щеками, съ горящими глазками и высох-
шимъ языкомъ, которымъ едва въ состояніи была рассказать о
своей болѣзни; немного поодаль отъ нея лежала еще дѣвочка
въ дифтеритѣ. Все это были братья и сестры одной семьи; и

при нихъ безотлучно находился старый ихъ дѣдъ, съ горечью, но безропотно переносившій жестокое божіе наказаніе.

Производя дезинфекцію, мы въ ряду прочихъ домовъ дезинфицировали одно жилище, стоявшее на выгонѣ. На четверть въ снѣгу мы добрались до какой-то крыши, врытой въ землю. Подъ этой крышей, въ небольшой темной землянкѣ, была печь, большая кровать, покрытая соломой, столъ, два-три табурета и лавка. Жило здѣсь 9 человѣкъ взрослыхъ нѣмцевъ, занимаясь починкой сапогъ, и при нихъ 9 душъ дѣтей, грязныхъ, голыхъ или одѣтыхъ въ самыя жалкія рубища. На кровати лежала хроническая больная, не поднимавшаяся съ нея уже три года. Смертный воздухъ былъ невыносимо тяжелъ и душенъ. Трудно было представить себѣ, какъ могли помѣститься всѣ эти люди въ этой землянкѣ, и, помѣстившись, какъ могли они выносить ея воздухъ.

День нашего отъѣзда изъ слободы былъ, наконецъ, назначенъ. Во дворъ подали трое саней, запряженныхъ парами. Ямщики забрали и уложили узлы бѣлья для предполагавшихся больницъ, плетенки съ лекарствами и чемоданы наши и подъ звукъ бубенчиковъ санки за санками бодро двинулись въ путь. Былъ морозный, но сѣрый день. На первыхъ же порахъ товарищъ, которому выпало на долю отправиться на тифъ въ колонію меннонитовъ, свернулъ отъ насъ направо, и скоро звукъ его колокольчиковъ замеръ далеко-далеко отъ насъ. Мы проѣзжали мимо дома исправника, — его супруга и свояченица изъ окна пожелали намъ счастливаго пути, — и скоро широкое море снѣга забѣлѣло передъ нашими глазами. Съ нами былъ полицейскій надзиратель Покровской слободы и сестра милосердія московскаго санитарнаго отряда. Съ этого дня собственно началось наше знакомство съ бытомъ народа, голодомъ, тифомъ и народной нуждой.

Мы быстро проѣхали первую станцію. Морозъ былъ настолько силенъ, что я не разъ по пути выскакивалъ изъ саней и, взявшись за спинку, бѣжалъ за ними, чтобы согрѣть нахолодѣвшія ноги. Уже вечерѣло, когда мы прибыли въ нѣмецкое селеніе Гнадендорфъ, гдѣ долженъ былъ остаться другой мой товарищъ. Переночевавъ на вѣзжей квартирѣ, мы рѣшили на утро обойти хоть нѣсколько больныхъ на домахъ. Здѣсь не было такой крайней бѣдности; по крайней мѣрѣ, намъ не пришлось натолкнуться на нее при нашемъ бѣгомъ осмотрѣ немногихъ домовъ, но и здѣсь встрѣтилась довольно грустная картина: — одинъ несчастный нѣмецъ въ горячечномъ бреду перерѣзалъ себѣ горло ножомъ, къ счастью не поранивъ большихъ сосудовъ. Мы видѣли его уже въ полномъ сознаніи, съ какою-то грязной тряп-

кой на нагноившейся широкой ранѣ. Въ хатѣ насъ окружила его семья и старуха-мать, со слезами на глазахъ, безъ словъ просившими спасти ему жизнь.

Въ тотъ же день въ Гнадендорфѣ былъ отведенъ пустой домъ подъ больницу и начались дѣятельныя приготовленія къ ея незатѣйливому устройству: изъ разныхъ домовъ натащили кровати и скамьи, отыскалась вода, топливо и разная утварь, нашлись люди для найма въ прислугу и дѣло было быстро налажено. Въ трехъ верстахъ отсюда, въ селеніи Розенфельдѣ, мы познакомились съ пасторомъ, человѣкомъ очень симпатичнымъ и образованнымъ, который, въ качествѣ председателя мѣстнаго благотворительнаго комитета, изъявилъ полную готовность помогать товарищу всѣмъ, чѣмъ возможно. Къ вечеру мы перебрались въ маленькое село Александер-ге, главный пунктъ дѣятельности товарища, гдѣ считалось до 80-ти больныхъ тифомъ при 1.500 чел. жителей.

Изъ Гнадендорфа же былъ посланъ нарочный увѣдомить земскаго начальника о нашемъ прибытіи. На другой же день къ квартирѣ, въ которой мы остановились, подѣхали маленькія закрытыя санки, запряженныя парой въ дышло и третья впередъ; раскачиваясь, они въѣхали во дворъ и изъ нихъ вылѣзъ невысокаго роста, закутанный съ головою въ широкую шубу, въ громадныхъ валенкахъ во всю ногу, земскій начальникъ. Обнявшись съ нашимъ спутникомъ, съ которымъ былъ въ большой дружбѣ, онъ поздоровался съ нами, какъ съ давнишними пріятелями, которыхъ давно хотѣлъ видѣть и каждый день поджидалъ. Товарищу оставалось только радоваться и благодарить судьбу.

По натурѣ дѣятельный и энергичный, онъ такъ горячо и хорошо принялся за дѣло и такъ умѣло повелъ его, что его скоро полюбили не только наши сотрудники, но и сами нѣмцы выражали ему дружескую симпатію: улыбаясь во весь ротъ, они съ самодовольною гордостью говорили: „нашъ докторъ“, хлопывали его по плечу и пожимали его руку. Въ первое время онъ меня очень смѣшилъ своими разговорами съ нѣмцами. Владѣя на первыхъ порахъ очень ограниченнымъ лексикономъ словъ, какъ: Kopf, Fenster, Schmerz и Stuhl, онъ прибавлялъ къ этому всевозможные жесты руками и ухитрялся изъясняться все-таки такъ, что его понимали. Сами же нѣмцы-колонисты, живя въ Россіи десятками лѣтъ, не хотѣли учиться по-русски и почти ничего не знали.

Въ слѣдующіе два дня мы побывали въ трехъ сосѣднихъ

селахъ Нижнекарманской волости, для знакомства съ представителями и жителями этихъ селъ.

Очень интересенъ былъ въ одномъ изъ этихъ селъ патеръ, такой, какимъ рисуютъ патеровъ на юмористическихъ картинкахъ. Средняго роста, кругленькій, съ смѣющимися глазами и красноватымъ блестящимъ носомъ, онъ былъ чрезвычайно веселымъ собесѣдникомъ. Говоря о самыхъ серьезныхъ вещахъ, онъ пересыпалъ ихъ шутками, останавливался и, потирая свои колѣна, вдругъ смѣялся до того задумчивымъ смѣхомъ, что невольно вызывалъ улыбку. Онъ угостилъ насъ хорошимъ обѣдомъ и виномъ, указавъ домъ, въ которомъ могла быть устроена больница, рассказавъ о болѣзняхъ и голодѣ и выразилъ полную готовность помогать, чѣмъ будетъ въ состояніи. Жители этого села кормились кониной и сусликами, когда у нихъ не хватило запасовъ, и были въ сравнительно лучшемъ состояніи, чѣмъ многіе изъ видѣнныхъ нами впоследствии.

Гнадендорфская больница была уже почти готова.

Нашелся откуда-то фельдшеръ, выгнанный со службы за пьянство и вновь взятый въ виду недостатка медицинской помощи; и совершенно неожиданно для насъ и къ большому нашему удовольствію прибылъ студентъ московскаго санитарнаго отряда. Онъ также никакъ не ожидалъ встрѣтить насъ здѣсь, такъ какъ былъ отряженъ изъ с. Моршанки для самостоятельнаго подаванія помощи въ эти села.

Мы слышали объ этомъ отрядѣ, когда прибыли въ Покровскую слободу. Составленный на благотворительныя средства, онъ въ числѣ двухъ врачей, трехъ студентовъ-медиковъ и трехъ сестеръ милосердія общины „Утоли моя печали“, прибылъ изъ Москвы за нѣсколько дней передъ нами. Изъ этого отряда одинъ врачъ съ сестрою милосердія остались въ Покровской слободѣ, другая сестра была дана въ помощь товарищу, а другой врачъ, двое студентовъ и третья сестра уѣхали въ Тонкошуровскую волость. Пріѣздъ московскаго студента, чрезвычайно симпатичнаго и дѣльнаго малаго, былъ тѣмъ пріятнѣе и цѣннѣе, что интеллигентная помощь была очень дорога въ то время, а масса работы требовала многихъ хорошихъ работниковъ.

Въ тотъ же день, послѣ обѣда, простившись съ товарищами, земскимъ начальникомъ и полицейскимъ надзирателемъ, я выѣхалъ изъ Гнадендорфа въ Красный-Кутъ познакомиться съ земскимъ начальникомъ моего района.

Утомленный дневными впечатлѣніями, я скоро уснулъ подъ монотонный звукъ колокольчиковъ и мягкую ѣзду санокъ по одно-

образной бѣлой снѣжной равнинѣ. Изрѣдка просыпаясь отъ снѣ-
жаго воздуха, я видѣлъ свѣтлое море снѣга, залитое луннымъ
сіяніемъ, спину ямщика, иногда мельницы по сторонамъ и ничего
больше.

Къ земскому я пріѣхалъ при снѣгахъ. Меня встрѣтилъ моло-
дой интеллигентный, пріятный господинъ, полу-вопросительно,
полу-удивленно задавая себѣ вопросъ, кто я, зачѣмъ и откуда.
Я представился, объяснилъ все и попросилъ возможныхъ свѣ-
деній о его районѣ.

Его взгляды—и до сихъ поръ не берусь рѣшить, правые или
неправые—чрезвычайно поразили меня.

— Вотъ вы говорите: народъ несчастный, голодный, жал-
кій,—говорилъ онъ:—а они—плуты, они излѣнились, ничего не
хотятъ дѣлать и говорятъ: „корми меня“. Правительство ихъ раньше
кормило и избаловало; а они думаютъ, что ихъ и вѣчно будутъ
кормить, что кормить ихъ обязаны; утаиваютъ то, что у нихъ
есть, воруютъ запасы хлѣба, а потомъ поютъ Лазаря, чтобы имъ
дали еще. Всѣ говорятъ—цынга да цынга! Знаю я эту цыngu! Пріѣдетъ земскій врачъ, ткнетъ пальцемъ въ зубы мужику и
говоритъ: цынга; а какая тамъ цынга, когда мужикъ въ полномъ
порядкѣ и только рожу кислую корчить. Бывало, что только
взглянетъ докторъ и прямо записываетъ въ цынготные, а у этого
мужика и коровы, и лошади... У меня есть только два мѣста,
куда я давно уже хочу съѣздить и гдѣ, вѣроятно, есть больные.
Это деревни—Ивашевка и Лебедевка, изъ переселенцевъ, около
Гофентала, да еще Владиміровка и Журавлевка, гдѣ говорятъ, да
и вѣроятно, есть цынга. Остальные у меня всѣ здоровы. Вотъ
здѣсь есть бумаги земскаго врача, полученныя уже довольно давно
о Лебедевкѣ,—онъ порылся въ бумагахъ,—вотъ, прочтите.

Я началъ читать донесеніе врача земскому начальнику отъ
13-го марта о крайне недостаточномъ и неудовлетворительномъ
питаніи жителей Лебедевки и Ивашевки, Краснокутской волости,
и о полномъ отсутствіи у нихъ топлива, вслѣдствіе чего тамъ
уже развилась цынга, которою въ то время были поражены
8 человекъ изъ 113; и больше половины всѣхъ жителей страдали
простудными болѣзнями, вслѣдствіе промерзлыхъ, сырыхъ помѣ-
щеній и отсутствія топлива. Почти всѣ поголовно носили слѣды
плохого питанія. Просилась въ этой бумагѣ болѣе широкая по-
мощь Краснаго-Креста.

— А вотъ другая бумага въ краснокутскій благотворительный
комитетъ,—сказалъ земскій, протягивая мнѣ другой листокъ. Эта
бумага была о томъ же, съ приложеніемъ пожертвованныхъ трехъ

рублей для покупки капусты. По первой бумагѣ было разрѣшено отпустить хлѣба изъ Краснаго-Креста, а по второй была куплена капуста и разрѣшено выдать топлива 16-го марта.

— Вотъ видите, — продолжалъ земскій начальникъ: — гдѣ нужно и что можно, конечно, дѣлаемъ, но пожалуйста не насчитывайте больныхъ тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ. У меня, говорю вамъ, всѣ здоровы. Никакихъ тифовъ и цынги у меня нѣтъ; все это выдумки.

— А дифтеритъ? — спросилъ я. Я собственно и былъ посланъ на эпидемію дифтерита въ село Карпенки его волости.

— Ну, отъ дифтерита, правда, мрутъ; да, вотъ, вы поѣдете, увидите сами; а кстати для знакомства вашего поѣдете завтра вмѣстѣ; мнѣ тоже нужно бы посмотрѣть амбары и запечатать ихъ, чтобы тамъ чего не уворовали.

Мы еще немного побесѣдовали и около полуночи я ушелъ на вѣзжую квартиру для ночлега.

Какъ и откуда узнаютъ поселяне о пріѣздѣ врача—Богъ ихъ знаетъ, но до обѣда на другой день меня уже не выпустили амбулаторные больные, и это повторялось каждый разъ, въ каждомъ селѣ.

Лишь только я хотъ въ полночь пріѣзжалъ на вѣзжую избу, какъ утромъ, при моемъ пробужденіи, видѣлъ въ сѣняхъ и на дворѣ толпившійся народъ, и пока ставился самоваръ, начинался пріемъ. Для меня это было тѣмъ болѣе мѣшкотно, что, едва со школьной скамьи, я не умѣлъ отличать болѣзни съ одного взгляда, какъ практическій опытный врачъ, и приходилось обстоятельно и сравнительно долго расспрашивать каждого больного.

Мы выѣхали уже далеко послѣ полудня.

Въ одну линію передъ нами, по теченію поэтической рѣчонки Еруслана, выстроилось нѣсколько селъ и деревень. При бѣгломъ осмотрѣ попадавшихся намъ жителей и разспросахъ старость мы не замѣтили ничего печальнаго. На вопросы наши о болѣзняхъ говорили, что были раньше—гдѣ тифъ, гдѣ цынга, гдѣ дифтеритъ или корь, но что теперь, слава Богу, всѣ здоровы и эпидемій никакихъ нѣтъ.

Благотворительные амбары, наполненные хорошими, полными зернами пшеницы, выданной для продовольствія и для весеннихъ посѣвовъ, оказались всѣ цѣлы и полны.

Земскій запечаталъ ихъ сургучомъ и мы возвратились домой.

Повидимому, дѣлать во всѣхъ этихъ селахъ мнѣ было дѣйствительно нечего, но все-таки, руководясь указаніемъ земскаго начальника, я прежде отъѣзда въ Карпенки рѣшилъ побывать въ

деревняхъ Лебедевыхъ и Ивашевыхъ, гдѣ мы не успѣли быть накануне, чтобы на мѣстѣ ознакомиться съ состояніемъ здоровья этихъ деревень.

Гофентальскій ямщикъ довезъ меня до ряда избышекъ, вытянувшихся въ одну улицу въ 17 дворовъ; перпендикулярно къ ней шла другая, болѣе широкая, въ 70 дворовъ. Первая была—Ивашевка, вторая—Лебедевка. Эти избы были населены переселенцами изъ ананьевскаго уѣзда херсонской губ., пришедшими всего годъ назадъ и встрѣтившими на первыхъ же порахъ жестокой неурожай въ хлѣбородной самарской губерніи.

По колѣна въ снѣгу я переходилъ изъ избы въ избу и всюду было голо, буквально голо, холодно и сыро, всюду дышало самой крайней бѣдностью и цынгой.

Семья старосты—это были старуха-мать, жена и пятеро почти голыхъ ребятишекъ съ вздутыми и твердыми, какъ барабанъ, животами. Всю деревню одолевалъ кашель, потому что укрыться и истопить въ избахъ было нечѣмъ, обуться для улицы было не во что, а обѣ деревни были открыты всѣмъ вѣтрамъ.

Одно изъ видѣнныхъ мною жилищъ было совсѣмъ въ землѣ.

Въ него спускалась какая-то вырытая лѣсенка; въ немъ жило человѣкъ 10. Одна дѣвушка лежала безъ силъ отъ цынги; хозяинъ показалъ мнѣ что-то въ родѣ рѣзаной или крошеной соломы, смѣшанной съ отрубями, изъ которой они пекли себѣ лепешки, образецъ которой я взялъ съ собою. Съ печи, какъ волченята, на меня смотрѣли дѣти, удивленные моимъ приходомъ. Повернуться въ этой землянкѣ было рѣшительно негдѣ, и, вѣроятно, только благодаря ея положенію въ землѣ и тѣсотѣ, въ ней было хоть немного тепло. Какъ бы въ противоположность этой тѣсотѣ, я попалъ въ другую хату, просторную съ избыткомъ; ея просторъ казался тѣмъ болѣе замѣтнымъ, что, кромѣ большой русской печи и голыхъ лавокъ по стѣнамъ, въ ней ничего не было больше. На печи, едва ворочаясь отъ слабости, лежала женщина вся въ синякахъ.

Впечатлѣніе она производила самое непріятное, и еслибы не знать, что эти синяки, слабость и лепетаніе—отъ цынги, можно было бы отвернуться отъ нея, подумавъ, что она была пьяна и избита до полусмерти.

Возлѣ нея лежала ея взрослая дочь, тоже не въ состояніи подняться, и внученокъ, небольшой мальчикъ, все время плакавшій.

При моемъ приходѣ, какая-то женщина принесла имъ миску пшенной похлебки изъ комитетской столовой, которую я попробовалъ. Вкусъ ея былъ прѣсный, но не противный, видомъ же

она напоминала грязную жижицу, которую, приправляя помоями, даютъ собакамъ послѣ обѣда.

Ни въ одной семьѣ я не видалъ достатка, а о довольствѣ даже и думать было странно.

Цынга была у всѣхъ поголовно, конечно въ разной мѣрѣ.

Комитетскія столовыя здѣсь были открыты уже три мѣсяца, но однообразіе пищи и отчаянныя гигиеническія условія были до того изнурительны, что удивляться цынгѣ было нельзя.

Сами люди просили только хлѣба и чего-либо кислаго или сырого растительнаго—рѣдьки, огурцовъ, капусты, картофеля, особенно кислой капусты.

Три мѣсяца ѣсть изо дня въ день похлебку, то съ постнымъ масломъ, то съ саломъ, а теперь, въ великомъ посту, только съ масломъ, ѣсть точно отмѣренное ежедневное количество хлѣба и жить въ грязи и сырости—на это нуженъ былъ большой запасъ силъ и здоровья, которыми, конечно, не могли располагать изнуренные приплылые люди. Въ обѣихъ деревняхъ вмѣстѣ считалось 470 душъ, и изъ нихъ было всего 230 ѣдоковъ, на которыхъ рассчитывались комитетскій хлѣбъ и похлебка. Ёдоками считались люди отъ 2-хъ до 18-ти-лѣтняго возраста, старики послѣ 55 лѣтъ и всѣ женщины. Каждому ёдоку въ столовой выдавалось 30 фунтовъ зерна въ мѣсяцъ и онъ долженъ былъ дѣлить его такъ, чтобы въ концѣ мѣсяца не остаться безъ куска хлѣба, и на 100 человѣкъ ёдоковъ отпускалось въ кухню 12 фунтовъ пшена въ день и 1 фунтъ подсолнечнаго масла или свиного сала, замѣнявшагося иногда 25 фунтами мяса.

Были семьи, въ которыхъ считалось 1—2 ёдока на 4 или 5 душъ. Мужики и дѣти выходили на улицу, одѣтые въ рубища, обутые въ какую-то рвань или вовсе босые, немытые, нечесанные, и производили впечатлѣніе скорѣе разбойниковъ или нищихъ, чѣмъ крестьянъ. Кашля было очень много, и кашель былъ до того убійственный, точно коклюшъ.

Все это было очень тяжело и обо всемъ я въ тотъ же день рассказалъ земскому, прося его помощи. Это было 30-го марта. Къ несчастью, случаетъ цынга, въ которой и слѣпой не могъ бы усомниться, было немного. На дѣлѣ всѣ поголовно были цынготными, и только врачъ не могъ сомнѣваться, что это—цынга и что такихъ нужно много и хорошенько кормить.

Заручившись все-таки обѣщаніемъ помощи, я поспѣшилъ выѣхать на мѣсто моего назначенія въ Карпенки, такъ какъ днемъ солнце начинало уже пригрѣвать и весна со дня на день собиралась придти, а проѣздъ въ весенній разливъ отъ Краснаго-

Кута до Карпенокъ былъ невозможенъ: рѣка Ерусланъ разливалась бурно и широко, маленькія канавки превращались въ шумные, глубокіе ерики и сообщеніе на недѣлю прекращалось совершенно, если путникъ не хотѣлъ тонуть или купаться съ головою въ холодной водѣ.

Мнѣ было ужасно досадно, что, подѣхавъ къ перевозу черезъ Ерусланъ, ямщикъ отказался переправиться, боясь, что не выдержитъ ледъ. Ледъ, правда, былъ не очень крѣпкій и не совсѣмъ надеженъ; но остановиться, не доѣхавъ до мѣста назначенія, или возвращаться назадъ, было и стыдно, и смѣшно. Я вылѣзъ изъ саней и перешелъ по льду на другой берегъ; ямщикъ одну за другою перенесъ мои вещи, а затѣмъ, съ помощью какого-то мужика, перевелъ и лошадей. Я совершенно промерзъ, шагая по противоположному берегу въ ожиданіи переноски вещей. На полъаршина въ таломъ снѣгу я чувствовалъ, что ноги мои промокли, и сердитый пріѣхалъ въ Карпенки. Это было довольно порядочное русское село, въ двѣ большія улицы въ 337 дворовъ, со школой и съ большою деревянною церковью. До сихъ поръ, начиная отъ Покровскаго, на всѣхъ вѣзжихъ квартирахъ и станціяхъ были нѣмцы и большая часть попадавшихся намъ селъ были нѣмецкія. Здѣсь я только увидалъ, наконецъ, на вѣзжей квартирѣ русскія лица, перекрестился и сказалъ: „слава Богу“, тѣмъ болѣе, что послѣдній нѣмецъ-ямщикъ такъ разсердилъ меня, что на прощанье я его выругалъ шельмой, понятной на обоихъ языкахъ.

Позвавъ къ себѣ старосту, я отдалъ ему предписаніе земскаго начальника объ отведеніи мнѣ квартиры, двухъ служителей и дежурной лошади отъ села для разѣздовъ, и все это было исполнено въ какіе-нибудь два—три часа.

Моя первая практическая дѣятельность здѣсь началась хирургіей. Утромъ другого дня, когда я еще спалъ, на вѣзжую квартиру пришла женщина, вогнавшая себѣ въ руку толстую иглу, вытирая ставни окна. Иголка была глубоко и обломилась. Ощупываніемъ ее слабо удалось опредѣлить въ области группы мышцъ возвышенія большого пальца. Едва одѣтый, я принялся за первую операцію и, разрѣзавъ мышцы, вытащилъ кусокъ въ полдюйма, дошедшій до кости. Больная со слезами, но героически, вынесла всю процедуру и скоро ушла. Другой больной, введенный вслѣдъ за нею, едва стоялъ на ногахъ. Слабый, въ послѣднемъ градусѣ чахотки, выпущенный на волю солдатъ былъ до того изнуренъ болѣзью, что едва говорилъ и долженъ былъ съѣсть, пока я его изслѣдовалъ.

Съ этого часа я уже не принадлежалъ себѣ. Квартира док-

тора противъ сельскаго правленія и церкви съ утра до поздней ночи была занята народомъ. Пить чай, обѣдать, закусывать мнѣ приходилось при больныхъ; я вставалъ и видѣлъ уже и на дворѣ, и въ сѣняхъ массу народа; я принималъ амбулаторныхъ до такого необыкновеннаго для народа времени, какъ часъ ночи, и отпускалъ послѣдняго, имѣвшаго терпѣніе ожидать; даже письма я не былъ въ состояніи ни писать, ни даже читать свободно, а дѣлать это долженъ былъ или урывками, или отнимая отъ больныхъ минуты. Изъ эпидемическихъ больныхъ до моего пріѣзда, по свѣдѣніямъ сельскаго управленія, здѣсь, начиная съ 5-го іюля 1891 г., на 1.850 душъ населенія умерло 218 дѣтей отъ дифтерита; теперь же было только двое дифтеритныхъ, которыхъ я посѣщалъ по два раза въ день, давалъ полосканье и смазываніе. Одного изъ нихъ мнѣ, къ сожалѣнію, уже не удалось спасти; онъ задохнулся въ ночь подъ Пасху отъ громаднхъ плѣнокъ, проникшихъ въ гортань, и моя помощь была бесполезна.

Странно мнѣ было видѣть этихъ людей. Они пять лѣтъ ожидали ребенка и лелѣвали его четыре года, а теперь передъ смертью просили его не трогать и не довѣряли леченію, точно родительскимъ чутьемъ угадывая, что надежды на жизнь его уже нѣтъ. Отецъ съ матерью, впрочемъ, скоро утѣшились дочкой, родившейся послѣ Пасхи. Цынги и тифа здѣсь дѣйствительно не было; бѣдности такой, какъ въ прежнихъ селахъ, я тоже не видалъ ни разу—село было зажиточное и хорошее.

Въ страстную пятницу, передъ вечеромъ, со мною сдѣлался вдругъ сильный ознобъ. Еще раньше я чувствовалъ себя не важно: —какая-то разбитость, утомленіе, раздраженіе заставляли меня думать, что я не совсѣмъ здоровъ, но чѣмъ — я не могъ догадаться. Думая, что это—предвѣстники дифтерита, я началъ осматривать свое горло и, увидѣвъ легкій катарръ, началъ аккуратно и тщательно его мазать и полоскать. Пища была совсѣмъ не по мнѣ. Щи впрочемъ и вправду были вонючіе и гадкіе до-нельзя, хлѣбъ былъ совершенно безвкусенъ, жареная колбаса съ картофелемъ мнѣ опротивѣла, яицъ я не хотѣлъ, а больше ничего не было и достать было негдѣ, такъ какъ весна уже наступила и Карпенки были предоставлены самимъ себѣ. Изъ лучшей муки, какую можно было достать, хозяйка испекла мнѣ такую дрянь, что я не могъ ея ѣсть, и оставался только чай съ черствыми какъ дерево булками, тоже невкусными, какъ трава. Послѣ озноба съ послѣдующимъ проливнымъ пдотомъ я подумалъ, что у меня перемежающаяся лихорадка, которая такъ обыкновенна была во всѣхъ мѣстахъ, которыя мы проѣзжали. Я принялъ хины, меня

вырвало. Ночью я весь был мокрый, точно облитый водою. Голова моя болѣла и была тяжела, точно налитая свинцомъ. Ухаживанія за мною хозяйки, въ сущности очень продажной женщины, раздражали меня своею угодливостью. Она истопила по моей просьбѣ баню, но хуже этой бани я не могу и до сихъ поръ ничего себѣ вообразить. Бани при домахъ были очень обыкновенны въ этомъ селѣ. На заднемъ дворѣ былъ выстроенъ домикъ безъ потолка. Въ этомъ домикѣ стояла печь, входившая своей топкой въ какую-то маленькую, пристроенную къ ней каморку, а трубой въ крышу домика. Передъ печью пришлось раздвигаться. Вѣтеръ свободно гулялъ подъ крышей и продувалъ меня со всѣхъ сторонъ. Кое-какъ я влѣзъ въ каморку, полную дыма, гари, копоти и слизи. Дышать было почти нечѣмъ, точно я былъ на пожарѣ или дышалъ самоварнымъ дымомъ. Десятникъ Тарасъ, одинъ изъ моихъ деньщиковъ, разложилъ простыню на лавку возлѣ печи; на ней кое-какъ растянулся я, боясь прикоснуться съ одной стороны къ стѣнкѣ, покрытой отвратительной слизью, а съ другой — къ печкѣ, горячей какъ каленое желѣзо, и Тарасъ меня великолѣпно вымылъ, насколько можно было допустить великолѣпіе въ этой банѣ. Въ раздвиганіи меня снова основательно продуло. Одѣвшись спѣшно, какъ могъ, я побѣжалъ въ комнату, браня въ душѣ и себя, и хозяйку. Тарасъ остался париться въ банѣ. Онъ былъ въ ней совершенно одѣтый и говорилъ, что это очень хорошо и что такъ именно и слѣдуетъ париться и потѣть, а въ сущности вѣрно просто стѣснялся раздѣться при мнѣ.

Страстную субботу я провелъ благополучно, принимая больныхъ и продолжая объѣзды.

Въ воскресенье, придя отъ заутрени, я сѣлъ у открытаго окна въ моей маленькой комнаткѣ, низенькой и закопченной отъ свѣчей, горѣвшихъ у иконъ. Передо мною былъ садикъ съ распускавшимися кустиками; воробьи весело прыгали по вѣтвямъ и чирикали на всѣ лады; дальше — сельское правленіе, центръ общественной сельской жизни, еще дальше, влѣво, на площади — церковь съ массой народа въ разноцвѣтныхъ костюмахъ и множество телѣгъ возлѣ церковной ограды, а надъ всѣмъ этимъ — шумный колокольный трезвонъ и свѣтлый куполъ неба, озаренный разсвѣтомъ.

Мнѣ было очень хорошо. Я написалъ письмо домой и написалъ чаю. Оставалось немного времени до объѣзда дѣтей и прихода больныхъ, я могъ хоть немного уснуть и дѣйствительно легъ, но поспать мнѣ не удалось.

Черезъ два часа пріѣхалъ священникъ съ причетникомъ, а

потомъ за ними хоръ пѣвчихъ, который такъ пріятно поразилъ меня въ церкви, спѣлъ очень хорошо концертъ Бортнянскаго: „Сей день“. Настроеніе мое отъ всего этого было самое блаженное. Пѣвчіе, кромѣ поздравленія, спѣли мнѣ много другихъ и не-церковныхъ пѣсенъ, изъ которыхъ я попросилъ записать себѣ „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ“. Она пѣлась на обыкновенный народный напѣвъ, извѣстный, конечно, каждому, и начиналась какъ всегда, но послѣ второго куплета регентъ вдругъ громко говорить:

— Есауль, а есауль!

Есауль, одинъ изъ басовъ, отвѣчаетъ:

— Чего изволите, господинъ атаманъ?

И дальше происходитъ такой разговоръ:

— Слѣзь на шлюпку (вѣроятно: влѣзь на рубку) и посмотри въ подзорную трубку, не видать ли пеневъ, каменьевъ и опасныхъ мѣстъ, чтобы намъ на мель не свѣсть и не сломать своихъ кораблей! Гляди вѣрнѣй!

— Вижу, вижу, господинъ атаманъ!

— А что ты видишь?

— Чернь!

— Какая тутъ чернь? Чернь въ горахъ, въ лѣсахъ сучки, въ городахъ полицейскіе крючки. Гляди вѣрнѣй!

— Вижу, вижу, господинъ атаманъ!

— А что ты видишь?

— Колоду!

— Какой тутъ чортъ, воеводу! Будь здѣсь полтора милліона турецкаго войска, я и того не боюсь, далѣ Балканскихъ горъ заберусь. Самъ полтора милліона перебью. Гляди вѣрнѣй!

— Вижу, вижу, господинъ атаманъ!

— А что ты видишь?

— Близъ берега село, барскій домъ съ виномъ!

— А! барскій домъ съ виномъ! А у нашихъ гребцовъ молодцовъ и животики подвело. Подворачивай, ребята, ко крутому берегу!

Затѣмъ пѣсня кончается такимъ же напѣвомъ:

„Подворачивай, ребята, ко крутому берегу, ко крутому бережочку, ко знакомому бугорочку“.

Къ вечеру со мною снова сдѣлался ознобъ. Ночью я лежалъ и метался въ жару, затѣмъ сильно вспотѣлъ и утромъ всталъ совершенно разбитый. Понедѣльникъ и вторникъ я продолжалъ быть въ жару. Температура по вечерамъ доходила до 40,2°; но, продолжая думать, что это все та же лихорадка, я не оставлялъ

своихъ амбулаторныхъ приемовъ и объѣзда больныхъ и ожидалъ только возможности проѣхать въ Лебедевку, раздѣлить тамъ капусту и мясо, выговоренные отъ благотворительнаго комитета, отправка которыхъ была до сихъ поръ задержана весеннимъ разливомъ. Наконецъ въ среду кто-то пріѣхалъ изъ Лебедевки и сказалъ, что путь хотя и опасенъ, но возможенъ. Въ четвергъ, въ полдень, какъ только позволила мнѣ моя амбулаторія, я выѣхалъ съ помощникомъ писаря Филиппомъ, разбитнымъ парнишкой лѣтъ 14, исполнявшимъ при мнѣ добровольно должность какъ бы секретаря или подручнаго. Я взялъ его съ собою для составленія списковъ больныхъ и на случай надобности послать съ какими-нибудь порученіями.

Кое-какъ перебрались мы черезъ шумящіе ерики, въ которыхъ вода доходила по животъ лошадямъ, и прибыли въ Лебедевку. Силы меня совсѣмъ оставляли, но я крѣпился. Изъ Лебедевки я намѣревался быть у земскаго въ Красномъ-Кутѣ, чтобы поѣхать оттуда съ нимъ во Владиміровку и Журавлевку, посмотреть, насколько справедливы ожиданія его найти тамъ бѣдность и цынгу.

Къ сожалѣнію, планамъ моимъ на этотъ разъ не суждено было сбыться. Переночевавъ въ Лебедевкѣ и почти ничего не ѣвъ, я принималъ на другой день больныхъ лежа. Голова моя точно хотѣла разорваться отъ боли; послѣ нѣсколькихъ словъ я долженъ былъ обдумывать, что сказать дальше, такъ какъ мысли мои совершенно путались. Для каждаго звука и движенія я долженъ былъ дѣлать надъ собою значительныя усилія, и въ довершеніе всего меня все сердило. Помню, ко мнѣ пришли два мужика съ просьбою дать имъ удостовѣреніе, что они не могутъ отсиживать въ заключеніи, которое имъ угрожало за растрату запаснаго зерна, и вмѣсто того, чтобы войти въ ихъ положеніе, я сталъ въ роль администраціи и отказалъ, сказавъ, что они не смѣли этого дѣлать. Правда, что я самъ хотѣлъ представить земскому резоны въ ихъ пользу, но въ просьбѣ ихъ все-таки отказалъ. Какъ вспоминаю теперь, я велъ себя безобразно въ отношеніи ихъ и сердился Богъ знаетъ за что. Послѣ ихъ ухода я наконецъ понялъ, что я боленъ и не могу не только никому ничѣмъ быть полезнымъ, но и самъ съ собою не могу справиться. Я велѣлъ призвать ямщика и уѣхалъ въ Покровскую слободу, бросивъ всѣ дѣла, списки и донесенія, которые уже въ Покровскомъ dokonчилъ мнѣ Филиппъ.

Мы прибыли въ Покровское поздно, почти ночью, и остановились у того же нѣмца, въ той же маленькой комнаткѣ. На

утро я послалъ Филиппа за земскимъ врачомъ, который не замедлилъ прѣхать. Я лежалъ, такъ какъ ни ходить, ни сидѣть уже не могъ. Мы встрѣтились очень дружески, и на первыхъ же порахъ я объявилъ врачу, что у меня вѣроятно *intermittens*, потому что было два приступа и я обесилъ. Внимательно осмотрѣвъ меня, онъ оставилъ меня въ моемъ заблужденіи, но предложилъ помѣститься въ его больницѣ, гдѣ и мѣста больше, и ухоть лучше. Я переѣхалъ въ просторную, чистую, свѣтлую палату и провалялся тамъ, къ своему глубокому стыду и огорченію, до 24-го апрѣля.

Тифъ мой былъ, какъ и большая часть попадавшихся намъ раньше и послѣ случаевъ, не изъ страшныхъ, съ небольшимъ бредомъ и кровотечениями изъ носу, доводившими меня, впрочемъ, до обмороковъ. Температура не поднималась уже выше. Въ галлюцинаціяхъ самаго пріятнаго содержанія, явившихся въ концѣ болѣзни при полномъ упадкѣ силъ, я не разъ чувствовалъ и видѣлъ себя въ облакахъ на какой-то плывущей по нимъ гондолѣ и испытывалъ самое блаженное настроеніе, слыша подъ аккомпаниментъ чуднаго хора знакомые голоса, называвшіе меня по имени и говорившіе мнѣ самыя пріятныя вещи.

Филиппъ уѣхалъ на другой день по моемъ переводѣ въ больницу, и уже въ концѣ болѣзни я получилъ отъ него письмо. Начиналось оно такими словами:

„Сколько дней уже укатилось какъ разстался я съ вами вотъ начальный мой вопросъ какъ хранить васъ Христосъ не собираваетесь ли къ намъ въ Карпенку побывать и старое дѣло завладать“. Затѣмъ извѣщалось о полученіи на мое имя писемъ и кончалось такъ: „Получилъ я извѣстіе очень горестное событіе что будто вы еще сильнѣе заболѣли и не знаю какъ это горестное событіе перенести стемъ прощайте желаю Вамъ быть здоровымъ“.

На самомъ дѣлѣ въ Карпенкахъ разнеслись слухи, будто я умеръ уже отъ дифтерита.

Первое время послѣ болѣзни я былъ такъ слабъ, что ходилъ не иначе, какъ держась за столъ и стулья, и едва могъ написать донесеніе въ управу, что я здоровъ и въ концѣ апрѣля намѣренъ выѣхать въ Карпенки, если не будетъ другого назначенія. Понемногу я началъ сначала выѣзжать, а потомъ выходить на улицу съ палкою и нѣсколько разъ переѣзжать на пароходѣ въ Саратовъ и обратно, чтобы подышать воздухомъ. Волга была въ полномъ разливѣ—она казалась какимъ-то моремъ, правда, очень мутнымъ, какого-то желто-грязнаго цвѣта,

но воды было такое обиліе, что пароходъ приставалъ у крутого обрыва сажень въ 10 вышиною почти у самыхъ амбаровъ. Ни острововъ, ни деревьевъ, которые мы видѣли, переѣзжая Волгу зимою, не было видно: все было скрыто въ водѣ и только кое-гдѣ торчали изъ воды вѣточки высокихъ деревьевъ, казавшіяся травкою или мелкими кустиками. Саратовъ теперь казался очень далеко, а вправо и влѣво вдоль Волги не было видно границъ широкому разливу.

Въ концѣ моей болѣзни меня навѣстилъ товарищъ, пріѣхавшій отъ меннонитовъ, которыхъ онъ очень хвалилъ за ихъ послушаніе и осмысленное отношеніе къ чистотѣ и медицинскимъ предписаніямъ. Больныхъ у нихъ было немного, теперь они всѣ выздоровѣли и онъ пріѣхалъ узнать о новомъ назначеніи, находя, что меннонитамъ онъ больше не нуженъ. Черезъ 2—3 дня ему предложили отправиться въ Савинку, на границу уѣзда, возлѣ татарскихъ владѣній, гдѣ появилась оспа.

Не успѣлъ я еще хорошенько оправиться, какъ на мое мѣсто въ больницу пріѣхалъ упомянутый выше московскій студентъ, а я въ тотъ же день переѣхалъ къ врачу московскаго отряда, любезно предложившему мнѣ помѣщеніе до моего подкрѣпленія и отѣзда; студентъ слегъ въ тифъ. Къ счастью и его тифъ прошелъ благополучно, а по выздоровленіи онъ уѣхалъ въ Москву, о чемъ я узналъ уже послѣ, такъ какъ черезъ недѣлю выѣхалъ по указанію управы въ село Логиновку, гдѣ появились корь и тифъ.

Встрѣтившись по дорогѣ съ земскимъ врачомъ своего района, я по его предложенію измѣнилъ свой маршрутъ и попалъ снова въ Карпенки, оставивъ Логиновку на его попеченіе.

Весь май и половина іюня были наполнены у меня самой кипучей дѣятельностью. Обѣзды селъ, пріемъ больныхъ, заботы о продовольствіи брали у меня все, что я въ состояніи былъ дать, и я, не оставаясь ни минуты съ самимъ собою, не замѣчалъ, какъ быстро летѣло время. Моя амбулаторія была до того велика, что иногда казалось, точно съѣздъ собрался около моей квартиры—масса телѣгъ изъ сосѣднихъ селъ, еще больше народа, который толпился и въ сѣняхъ, и на дворѣ, и на улицѣ и ожидалъ своей очереди. Разнообразіе болѣзней было изумительное, по всѣмъ отраслямъ медицины приходилось изощрять свои знанія, и еслибы не краткое руководство терапіи, я не зналъ бы, что дѣлать, такъ какъ клиника не могла намъ представить всѣ формы болѣзней и леченія. Я былъ и хирургъ, и окулистъ, и отиатръ, и невро-патологъ, и гинекологъ, и все, чѣмъ можетъ быть медицина.

Пациентами моими были и нѣмцы и русскіе, и бабы и дѣти, и парни и старики. Больше всего было наслѣдственныхъ сифилистовъ: іодистый калий, ртутная мазь и іодъ шли въ громадныхъ количествахъ, и мнѣ раза четыре приходилось посылать Филиппа въ разные мѣста за лекарствами. Приходилось давать и денегъ больнымъ, лишеннымъ возможности питаться какъ должно, но еще раньше, побывавъ у представителей мѣстныхъ участковыхъ благотворительныхъ комитетовъ, я попросилъ ихъ, чтобы по моей запискѣ они давали цынготнымъ хлѣба, молока, капусты и, гдѣ можно, мяса.

Цынготныхъ въ моихъ восьми селахъ было очень немного, тифа долгое время совсѣмъ не было, а дифтеритъ изрѣдка выхватывалъ одну, другую жертву, если родители не успѣли предупредить о заболѣваніи. При малѣйшемъ намекѣ на лихорадку и красноту горла или легкій жаръ я уже смазывалъ зѣвъ и давалъ полосканіе, и большею частью удавалось не дать развиться жестокому налетамъ, но основательно искоренить изъ села дифтеритъ было, по моему мнѣнію, невозможно. Нужно было бы съезъ все село и всѣ пожитки крестьянъ, тагъ какъ почти не было дома, на воротахъ котораго особымъ знакомъ не было бы отмѣчено, что здѣсь были больные дифтеритомъ. Все-таки я не могъ не продезинфицировать основательно школы и лавочки одного отставного фельдшера, у котораго раньше лечились всѣ дифтеритные.

Этотъ бывшій фельдшеръ, чтобы не утруждать себя хожденіемъ по домамъ въ виду своей торговли, велѣлъ сносить къ себѣ всѣхъ дифтеритныхъ дѣтей въ лавочку, ухитрился сдирать дифтеритныя плѣнки, тутъ же бросаея или выплевываемыя дѣтми на полъ, смазывалъ обнаженные мѣста полутораклористымъ желѣзомъ и отпускалъ своихъ пациентовъ до слѣдующаго раза. Грязи въ этой лавочкѣ была такая пропасть, что навѣрно она лѣтъ пять не мылась и не чистилась. Школу мы дезинфицировали въ виду того, что сюда посылались зимою дифтеритныя дѣти, и въ слѣдующую зиму, конечно, здѣсь снова должны были собираться учащіеся.

Около этого времени отъ моихъ петербургскихъ хозяевъ прибылъ большой ящикъ новой и старой одежды въ 7 пудовъ вѣсомъ, пожертвованный ими на бѣдныхъ. Совершенно не зная степени зажиточности разныхъ семей, я считалъ за лучшее составить маленькій комитетъ изъ священника, учителя, причетника, старосты и меня. Сообща они распредѣляли, что кому дать, и роздали очень много. Составлены были списки, разложена узел-

нами одежда и одинъ за другимъ вызывались въ мою комнату тѣ, кому что-либо присуждено было въ подарокъ.

Одному изъ моихъ деньщиковъ достался большой драповый дамскій ватерпруфъ съ широкими рукавами, изъ котораго онъ на другой же день смастерилъ себѣ прекрасное пальто. Нѣкоторымъ достались гимназическія фуражки, кому одѣяло, чулки, ботинки, сапоги и другія всевозможныя вещи человѣческаго гардероба. Были между этими вещами настолько хорошія, цѣнныя и красивыя, что, какъ говорилъ причетникъ, „и моей бы женѣ такъ и то в пору“.

Всѣ были безконечно благодарны, кланялись въ ноги и, выходя на дворъ, тотчасъ же показывали всѣмъ свои подарки. Квартире мою, и въ день раздачи, и въ слѣдующіе дни, осаждала масса народа и просили уже не просто для одѣванія, а для второй смѣны. Просьбамъ конца не было. Зная, что всѣ нуждавшіеся были удовлетворены по указанію мѣстныхъ представителей, я не велѣлъ впускать никого, кромѣ больныхъ; начали просить въ окна, начали подавать записочки, написанныя каракулями, съ просьбами дать что-нибудь. Чтобы хоть чѣмъ-нибудь руководиться, я объявилъ, что кто хочетъ просить и получить что-нибудь, тотъ долженъ принести записку отъ причетника о томъ, что онъ дѣйствительно нуждается, и не одна баба приносила мнѣ такія записки: „Baba bohataja, dvoje sinovej rabotnikov, lochad, korova, dom s dostatkom, davat ne sleduet“.

Въ короткое время записокъ набрались у меня цѣлыя десятки.

Нельзя было не улыбнуться, читая такой приговоръ, но нужно было соблюдать полную серьезность, чтобы не выдать причетника, и, конечно, такимъ было отказано подъ предлогомъ необходимости раздать остатки въ другихъ мѣстахъ.

Между тѣмъ въ серединѣ мая въ сосѣднемъ нѣмецкомъ селѣ Шендорфѣ появились заболѣванія тифомъ.

Вѣсть объ этомъ дошла до меня тогда, когда тамъ заболѣло уже 10 домовъ. Откуда былъ занесенъ этотъ тифъ, мнѣ не удалось выяснить; но, за неимѣніемъ чего-либо лучшаго, я велѣлъ разставить карантинъ при домахъ заболѣвшихъ, чтобы не давать разноситься болѣзни по селу. Подобная мѣра позже, въ Карпенкахъ, имѣла успѣхъ, такъ какъ, захвативъ въ карантинъ первый случай и выдержавъ его до конца, я не слыхалъ больше ни объ одномъ заболѣваніи въ селѣ, но въ Шендорфѣ это оказалось не такъ возможнымъ. Карантины держались не строго, больныхъ домовъ было уже 10 въ разныхъ мѣстахъ, и тифъ, хотя слабо, но захватывалъ новые случаи. Къ счастью, въ началѣ іюня по

новоузенскому уѣзду проѣхалъ выбранный нами товарищъ-староста и оставилъ мнѣ 100 рублей для устройства больницы въ Шендорфѣ. Послать за бѣльемъ, которое въ большомъ количествѣ было получено въ Красномъ-Яру отъ благотворительнаго комитета, было дѣломъ трехъ дней; привести американскую муку и пшено изъ слободы Покровской, отыскать подходящий домъ въ Шендорфѣ, найти прислугу и обстановку больницы было такъ недолго и нетрудно, что устройство больницы заняло времени меньше недѣли, и 11-го юня она была открыта на 5 кроватей для женщинъ и 9 для мужчинъ. Въ общемъ и здѣсь были легкіе случаи тифа, никто изъ 24-хъ больныхъ, перебивавшихъ въ больницѣ не умеръ и только двое бузились очень. Въ больницу, однако, шли неохотно. Сколько и мнѣ, и товарищамъ приходилось видѣть и слышать, народъ вообще какъ-то предубѣжденъ противъ больницы, отчасти боясь, что отъ другихъ лежащихъ можетъ пристать и увеличиться болѣзнь, отчасти думая, что, разъ попавъ въ больницу, не выйдешь оттуда живымъ, отчасти просто предпочитая умирать у себя дома возлѣ своихъ, если ужъ суждено умереть. Вѣра въ судьбу у народа гораздо крѣпче, чѣмъ вѣра въ людей и во что бы то ни было людское. Приходилось иногда долго представлять всѣ резоны въ пользу больницы нѣмцу, не имѣющему даже порядочнаго ухода и подходящей пищи у себя на дому. Требовался и авторитетъ сельскаго шендорфскаго учителя-нѣмца, и власть и убѣжденіе волостного старшины, принявшихъ большое и дѣятельное участіе въ больницѣ; но все-таки нѣкоторые соглашались скорѣе на строгій карантинъ, чѣмъ на переселеніе въ лечебницу.

Небольшой арсеналъ лекарствъ, хорошій уходъ, квась, хорошій столъ и водка, которую больные употребляли очень охотно, были вполне достаточны для леченія тифозныхъ. Деревянное длинное корыто, служившее прежде для поенія скота, чисто вымытое, послужило ванной, а прислуги, пищи, одежды и бѣлья было совершенно достаточно для всѣхъ лежавшихъ. Изъ сосѣднихъ селъ, гдѣ также изрѣдка случались заболѣванія, больныхъ или тотчасъ доставляли въ Шендорфъ, или закарантировывали, и тифъ быстро началъ стихать. Этому въ значительной мѣрѣ благопріятствовало и хорошее время года, и немедленное принятіе мѣръ, и выѣздъ крестьянъ въ поля на работы или на ловлю сливокъ.

Передъ открытіемъ шендорфской больницы я проѣхалъ съ земскимъ въ деревни Владиміровку и Журавлевку, но ни цыги и никакихъ болѣзней особенныхъ тамъ не нашелъ, кромѣ одного

чрезвычайно классически выраженного случая сифилитической высыпи, называемой „коринескими щитами“.

Лебедевка и Ивашевка понемногу оправились; имъ не мало помочь картофель и полученная въ концѣ мая американская мука, которая, впрочемъ, была не очень хорошаго качества (это была смѣсь пшеничной муки съ кукурузной). Получивъ ея 50 пудовъ для шендорфской лечебницы, зная, что ея съ избыткомъ хватитъ на цѣлые мѣсяцы и видя, что, продолжая лежать, она только пропадетъ, дождавшись молодого хлѣба, я рѣшилъ раздать большую часть ея въ Карпенкахъ болѣе бѣднымъ и слабымъ людямъ. Хлѣбы, сдѣланные изъ нея, не всходили, не выпекались какъ должно и были горьковатаго вкуса, но все-таки и мука, и пшено, котораго у меня было 15 пудовъ, брались очень охотно. Заниматься въ то время объѣздомъ селъ, раздачей одежды и муки мнѣ было тѣмъ болѣе свободно, что съ выѣздомъ крестьянъ въ поля и съ наступленіемъ хорошихъ дней, амбулаторныхъ, а особенно серьезныхъ больныхъ становилось меньше, а дифтеритъ совершенно затихъ. 18-го іюня оба товарища, работавшіе въ новозуенскомъ уѣздѣ, и я, по взаимнымъ запискамъ, собрались въ Карпенкахъ и пробыли вмѣстѣ четыре дня, въ первый разъ за все пребываніе наше въ уѣздѣ. Въ дѣятельности александргейскаго товарища было также не мало интереснаго. Тѣ же разъѣзды по селамъ, то же обиліе больныхъ и особенно голодныхъ, для которыхъ онъ въ нѣсколькихъ селахъ отерыл столовые. Насколько ощущалась въ нихъ нужда, можно судить изъ того, что на одно мясо и молоко имъ было истрачено около 800 рублей, и когда не хватило комитетскихъ благотворительныхъ денегъ или онъ запаздывалъ съ почтой, онъ съ московскимъ товарищемъ вынимали свои и платили за хлѣбъ, молоко и мясо, чтобы не прерывать необходимаго продовольствія. Одинъ ребенокъ умеръ отъ голода на его глазахъ. Двѣ недѣли до этого онъ просилъ молока, котораго не было—ему давали хлѣба, онъ отказывался, не будучи въ состояніи его ѣсть, и когда, наконецъ, пришло молоко—было уже поздно. Послѣ нѣсколькихъ глотковъ ребенокъ скончался. Была семья, изъ 17-ти человѣкъ которой умерло 14 отъ тифа, за недостаткомъ ухода и болѣзнью старшихъ. Теперь это все прошло и утихло. Тифъ былъ на исходѣ, цынготныхъ не было, въ нашей дѣятельности уже не представлялось такой крайней необходимости, какъ прежде, и, собравшись теперь вмѣстѣ, мы рѣшили, что въ началѣ іюля намъ можно покинуть самарскую губернію.

Между тѣмъ въ началѣ іюня холера уже появилась въ Рос-

сія на берегахъ Каспійскаго моря. 3-го іюня она была въ Баку, благодаря, какъ говорили, пропуску холерныхъ пассажировъ въ бакинскомъ порту. Черезъ 10—11 дней она появилась въ Астрахани; еще черезъ 2 дня заболѣванія были въ Саратовѣ; а черезъ день, перейдя Волгу, случаи холеры обнаружались на лѣвомъ ея берегу—въ слободѣ Покровской.

Мы ничего еще не знали объ этомъ. 24-го іюня я собрался осмотрѣть еще разъ всѣ села моего района и, возвратившись ночью, усталый и промокшій отъ дождя, уснулъ какъ убитый. Утромъ я едва успѣлъ напиться чаю, какъ хозяйка подала мнѣ письмо, полученное наканунѣ съ нарочнымъ отъ александръ-гейскаго товарища, короткое, маленькое, но перевернувшее всѣ планы и намѣренія, построенные нами во время нашего свиданія. Онъ писалъ: „Иванъ Васильевичъ! Прошу тебя немедленно явиться съ этимъ же нарочнымъ въ Александръ-ге и принять отъ меня завѣдываніе Нижне-Караманской волостью, такъ какъ я получилъ сегодня предписаніе отъ управы немедленно выѣхать въ сл. Покровскую для борьбы съ появившеюся тамъ холерою; Нижне-Караманскую же волость предписано сдать тебѣ“.

Изъ газетъ, изрѣдка доходившихъ до насъ и то недѣлю-двумя позже ихъ выхода, мы знали, что холера не такъ далеко отъ Россіи, но никто изъ насъ во время нашего свиданія не ожидалъ, чтобы она была уже такъ близко, и вѣсть о появленіи ея въ слободѣ упала на меня какъ снѣгъ на голову.

Разсортировавъ больныхъ, собравшихся уже ко мнѣ, отказавъ тѣмъ, кто могъ обойтись помощью фельдшера и опоздалъ приходомъ, я поспѣшилъ съ своей амбулаторіей, пока десятники собирали мнѣ самыя необходимыя вещи въ дорогу.

Послѣ полудня, побывавъ въ Шендорфѣ и сказавъ старшинѣ объ отъѣздѣ, я сдалъ больницу фельдшеру, простился съ учителемъ и священникомъ и только вечеромъ могъ выѣхать изъ Карпеноевъ. Учитель, а особенно учительница, были сильно встревожены вѣстью о холерѣ въ Покровскомъ. Учительница даже всплакнула немножко, да и самъ я былъ весь день какъ-то лихорадочно настроенъ подъ впечатлѣніемъ этой новости. До вечера, впрочемъ, я скрывалъ эту вѣсть отъ сельчанъ и только уѣзжая передалъ старостѣ и собравшемуся народу о причинѣ моего отъѣзда и о возможныхъ мѣрахъ оградить село отъ заноса холеры. Было замѣтно, что эту вѣсть всѣ принимали съ какимъ-то страхомъ и выслушивали вытянувъ лица; она на всѣхъ производила какое-то особенное впечатлѣніе. Потомъ, во время эпидеміи, я навидѣлся столько пьяныхъ, какъ никогда раньше. Пили затѣмъ,

чтобы заглушить въ себѣ страхъ холеры, и чтобы побороть ее водкой, и чтобы умирать было легче въ пьяномъ состояніи; пили и затѣмъ, чтобы помянуть умершаго, и затѣмъ, чтобы весело было дожить послѣдніе дни; пили и Богъ знаетъ затѣмъ,—лишь бы быть пьяными. Настроение народа во время эпидеміи было такъ характерно, что даже свалившійся съ неба могъ понять, что на землѣ творится что-то вышедшее изъ границъ обыденной жизни.

Ночью по дорогѣ отъ Гофенталя въ Гнадендорфъ мнѣ удалось немного вздремнуть. Съ разсвѣтомъ я прибылъ на станцію. Товарищъ уже выѣхалъ въ слободу, не дождавшись меня, и приглашалъ меня запиской, оставленной на станціи, туда же за пріемомъ больныхъ. Въ ожиданіи самовара и перепряжки лошадей я навѣстилъ сестру, оставшуюся одну въ больницѣ. Оказалось, что и въ Гнадендорфѣ былъ уже холерный случай, занесенный изъ слободы и окончившійся смертью. Сестра очень картинно описала мнѣ эту первую холерную смерть. Это былъ шедшій на заработки мужикъ, заболѣвшій, по дорогѣ изъ слободы, отъ огурцовъ, которыми питался въ тотъ день. Къ Гнадендорфу онъ едва добрался съ своимъ товарищемъ, попалъ въ больницу и черезъ часъ умеръ. „Онъ былъ, конечно, безъ пульса,—добавляла сестра;—весь посинѣлъ и не могъ ничего говорить“.

Больше пока сестра ничего не знала ни о холерѣ, ни о мѣрахъ, предполагавшихся для борьбы съ нею. Тифъ здѣсь можно было считать закончившимся; оставалось только двое больныхъ.

Въ Александръ-ге сегодня должна была закрыться больница, и бывшая тамъ другая сестра выѣхала сюда же. Черезъ часъ я былъ по дорогѣ въ слободу и въ полудню увидѣлся съ товарищемъ. Онъ почти не измѣнился съ тѣхъ поръ, какъ я его не видалъ, развѣ былъ немного блѣднѣе обыкновеннаго. Къ несчастью и общей нашей печали, его желудокъ былъ не совсѣмъ въ порядкѣ, что было особенно опасно для холернаго времени. Онъ старательно принималъ опій и не снималъ набрюшника, каковымъ сейчасъ же снабдилъ и меня.

Утромъ была получена отъ нашего старосты телеграмма, которую губернаторъ предлагалъ намъ остаться въ уѣздѣ для борьбы съ холерой. Нашъ староста отправлялся въ Петербургъ пригласить еще товарищей-студентовъ на помощь. Страшно было, но ни минуты мы не задумывались надъ выборомъ. Удирать домой и бросать народъ въ критическую минуту эпидеміи было недопустимо нашему пониманію. О предложеніи и нашемъ рѣшеніи мы извѣстили тотчасъ же товарища У—ва.

— Вотъ видишь-ли,—сказалъ товарищъ,—въ Нижне-Кара-

манской волости все равно уже дѣлать нечего, такъ какъ тифъ тамъ на исходѣ, а здѣсь бы нужна помощь. Вотъ ты сегодня побудь здѣсь и пойдешь вечеромъ на засѣданіе для обсужденія холерныхъ вопросовъ и тамъ посмотримъ, что будетъ дальше, а теперь пока хочешь, можетъ быть, посмотрѣть больныхъ?

Мы ѣхали долго: надо было пробѣхать все село, чтобы добраться до барака и хатокъ съ больными. Холера еще не успѣла разгрататься въ слободѣ и больныхъ было немного, но съ бараккомъ нужно было спѣшить, такъ какъ онъ былъ еще далеку отъ возможности помѣщать въ себѣ больныхъ, а обывательскія заброшенныя хатки, отведенныя на краю села для холерныхъ, были уже полны.

Когда я впервые увидалъ эти хатки, маленькія, слѣпенскія, обсыпанныя съ карнизовъ известью, я не могъ побороть въ себѣ чувства страха; морозъ ходилъ у меня по спинѣ—мнѣ въ первый разъ въ жизни довелось быть лицомъ къ лицу съ холерою. Мы вошли въ первую хату выздоравливающихъ. Не безъ порядочнаго смущенія смотрѣлъ я, какъ товарищъ близко подошелъ къ больному; я хотѣлъ схватить его и оттащить прочь.

— Ты не бойся,—сказалъ онъ мнѣ:—со мною было то же самое, но только первые больные такъ дѣйствовали на меня, а потомъ, какъ видишь, я совершенно привыкъ и освоился.—И онъ былъ правъ.

Мы вошли въ другую хату, потомъ въ третью; послѣдняя хата была въ одну большую, просторную комнату; въ нее свозились только-что заболѣвшіе. По стѣнамъ стояло 6 кроватей съ подушками и мѣшками съ соломой. Двое больныхъ были въ полномъ сознаніи. Исхудавшія, посинѣвшія лица, блестящіе, глубоко ввалившіеся глаза, тоненькій, чуть слышный, дрожащій пошопотъ и холодное, мертвенное дыханіе—все это было до того безпомощно, слабо и жалко, что всѣ страхи вылетѣли изъ головы. Видѣлось только, что нужна широкая помощь, щедрая безъ малѣйшихъ колебаній, въ которой одни наши силы были слишеюмъ ничтожны и слабы.

Товарищъ распоряжался о чемъ-то, а я не могъ оторвать глазъ отъ этой тяжелой картины.

Одинъ тутъ же умиралъ на кровати; другой кое-какъ долѣлъ до входа избо, мучимый поносомъ, а когда возвратился ползкомъ къ своей кровати, былъ не въ силахъ влѣзть на нее и повалился поперекъ ея, потерявъ силы и сознаніе. Тутъ же возлѣ хаты стояла телѣга съ умершимъ, котораго собирались отвезти для погребенія. Служителей почти не было. Платили по 16 рублей

на всемъ готовомъ — и едва-едва ужъ какіе-то отчаянные рѣшились идти въ услуженіе къ холернымъ. А прислуги нужно было много, очень много. Перебѣднать бѣлье, убирать хаты, помогать больнымъ, напоить ихъ, поддерживать совершенно безсильныхъ — нужно было много самоотверженныхъ рукъ, а ихъ не было. Нуженъ былъ большой, со многими службами и прислугою баракъ, чтобы стать лицомъ къ лицу съ быстро надвигавшейся грозной тучей, а баракъ обѣщали не раньше, какъ на той недѣлѣ.

Всякій, кто познакомился съ эпидеміей холеры, какъ это было съ нами, скажетъ, что холера не такъ страшна самой формой болѣзни, какъ той быстротой, съ какой налетаетъ она на людей, и переполохомъ властей и народа, или совершенно теряющихся при ея приближеніи, или медлящихъ принятіемъ мѣръ, обманывая себя, что опасность еще далеко. Эти причины влекутъ за собою потомъ столько хлопотъ и матеріальныхъ затратъ, что просто досадно становится видѣть, что люди, упустивъ время, увеличиваютъ заботы, которыхъ требовалось бы вдвое и втрое меньше, будь онѣ приняты когда нужно.

Въ тотъ же вечеръ мы были въ общемъ собраніи временно учрежденнаго „комитета народнаго здравія“ новоузенскаго уѣзда. Мы собрались въ прекрасной квартирѣ мѣстнаго земскаго начальника. Изъ врачей были земскій, общественный и насъ двое. Черезъ день къ намъ прибылъ изъ уѣзда остававшійся въ уѣздѣ студентъ московскаго отряда.

Приведенъ былъ въ извѣстность наличный составъ врачей всего новоузенскаго уѣзда, распредѣлили ихъ по разнымъ участкамъ на случай холеры, а меня рѣшено было оставить въ слободѣ для поданія помощи въ домахъ и надзора за островомъ, на которомъ былъ сборный пунктъ идущихъ на заработки.

Такихъ пришлыхъ рабочихъ около Петрова дня въ Покровской слободѣ скопляются цѣлыя тысячи изъ сосѣднихъ губерній: бабъ, дѣвокъ, мужиковъ, подростковъ и цѣлыхъ семей съ малыми ребятами; и славящійся по всему Поволжью своими громадными хлѣбными полями новоузенскій уѣздъ даетъ этому люду заработокъ на цѣлую зиму.

Въ избранные сборные пункты уѣзда, какъ Покровское, Ровное, Балаково, Дергачи, Муравли и др. большія села, съѣзжаются наниматели и пѣшими партіями, по 50, по 100 и болѣе чело-вѣкъ, или оригинальными пестрыми караванами въ телѣгахъ, запряженныхъ верблюдами, увозятъ или увозятъ рабочихъ на свои поля.

Наплывъ этой массы рабочихъ представляетъ изъ себя бога-

тую почву для заноса и распространения и вообще болѣзней, и особенно теперь холеры.

Живя подъ открытымъ небомъ, подвергаясь всѣмъ измѣненіямъ погоды, пытаюсь какъ и чѣмъ придется и неси на себѣ обиліе грязи, эти люди представляли собой готовыхъ жертвъ и переносчиковъ холеры, и больше всего умирало именно этого пришлаго народа. Въ легендѣ объ отравленіи народа врачами говорилось такъ, что за каждаго русскаго отравленнаго и умершаго докторъ получаетъ 30 рублей, а за хохла, которыхъ было большинство между пришлыми—40 р., изъ чего легко заключить, что умирало послѣднихъ больше, чѣмъ первыхъ.

Уже три года назадъ покровскій земскій врачъ указывалъ на выгодное положеніе совершенно чистаго большого острова, выходящаго изъ воды передъ слободой въ то время, когда Волга спадаетъ. Постройка бараконъ или сараевъ и подводъ съѣстныхъ припасовъ изъ слободы на этотъ островъ дали бы полную возможность всѣмъ пришлымъ оставаться тамъ въ ожиданіи найма и не запружать базаръ и всю слободу своимъ нашествіемъ.

Теперь, въ виду холеры, эта предупредительная мѣра была въ высшей степени желательна, и земство, наконецъ, послушалось благоразумнаго совѣта. Много здѣсь помогъ земскій начальникъ, и исправникъ своимъ авторитетомъ, и членъ управы, чрезвычайно боявшійся холеры,—боявшійся до того, что не только не здоровался съ врачами за руку, а даже до комизма держался отъ насъ въ почтительномъ отдаленіи. Мѣра не здороваться за руку была, впрочемъ, введена въ комитетѣ еще съ перваго засѣданія и съ начала появленія холеры въ слободѣ.

На другой день, въ легкомъ кабріолетѣ, я вѣхалъ черезъ мостикъ на островъ съ полицейскимъ надзирателемъ для перваго знакомства.

По срединѣ острова воздвигалась постройка двухъ длинныхъ крытыхъ бараконъ, которые предназначались для укрыванія и ночлега пришлаго народа, и кухни съ большими кубами для чая и кипяченія воды. Постройка шла неизмѣнно медленно. Подрядчикъ, взявшійся строить и холерный баракъ, и эти сараи, изъ экономіи имѣлъ въ своемъ распоряженіи до того мало рабочихъ, что для сарая, строившагося на тысячу человѣкъ, было всего пять плотниковъ. И здѣсь говорили, что бараки будутъ готовы послѣ Петра и Павла, т.-е. тогда, когда главныя массы рабочихъ уже пройдутъ и когда бараки будутъ почти бесполезны. Тутъ же строится маленькій домикъ для меня и фельдшера,

чтобы, постоянно находясь тамъ, мы могли подать первую помощь прежде отправки больного въ главный холерный баракъ.

По дорогѣ мы встрѣтили направлявшійся на островъ возъ съ хлѣбомъ и припасами для припльхъ, которымъ торговцы и торговки были обязаны отпускать хлѣбъ даже на $\frac{1}{2}$ копѣйки дешевле базарнаго, чтобы тѣмъ вѣрнѣе удержать рабочихъ отъ стремленія въ слободу и толканія по базару.

Возлѣ построекъ и за ними толпились народъ самый разнообразный, самый разнохарактерный, всѣхъ одеждъ и фасоновъ, всѣхъ цвѣтовъ и оттѣнковъ. Загорѣлыя грубыя лица, мускулистыя руки, лохматыя головы, косы и котомки за плечами производили странное впечатлѣніе. Эта толпа и правила мнѣ, и пугала своею дикостью. Полицейскій надзиратель твердо и немножко развязно подошелъ къ толпѣ и обратился къ ней:

— Ну, чтѣ, вамъ хорошо здѣсь, братцы?

— Ничего, хорошо, — слышались голоса.

— Тутъ еще не все въ порядкѣ, — продолжалъ надзиратель: — а вотъ скоро выстроитъ здѣсь помѣщеніе, чтобы укрываться гдѣ было на ночь, — тогда будетъ совсѣмъ ладно; тутъ и домъ будетъ, и докторъ, на случай, кто заболѣетъ. Это для васъ же все. Въ слободѣ у насъ не совсѣмъ спокойно, — холерой заболѣваютъ; ну, вотъ, чтобы не разносить ее, вамъ и нужно быть здѣсь; и сами будете здоровѣй, да и слободѣ будетъ лучше. Наѣмка здѣсь же будетъ.

— Да, тутъ хорошо, чего лучше! — слышались съ разныхъ сторонъ голоса: — только вотъ хлѣба намъ мало подвозятъ, да и снѣди хотѣлось бы, и квасу испить; а докторовъ намъ не нужно, мы и такъ обойдемся.

— Знаемъ мы этихъ докторовъ! — вызвался какой-то чумазый парень: — ты чуть присядь въ сторонкѣ отдохнуть, а они тебя и сволокутъ въ больницу: молъ, боленъ, помираетъ; а какое тутъ помираетъ!

Нѣкоторые засмѣялись.

Какъ теперь помню я этого парня. Невысокаго роста, черный, косой, похожій скорѣе на цыгана, широкоплечій, съ громадной косой за плечами. Улыбаясь, онъ показывалъ рядъ бѣлыхъ чистыхъ зубовъ, чрезвычайно красивыхъ; только глаза его были непріятны, какіе-то дикіе и глядѣвшіе въ сторону.

— А насчетъ хлѣба и прочаго, — продолжалъ надзиратель, какъ бы не слышавъ его: — я прикажу, вамъ все сейчасъ подвезутъ изъ слободы. Можете даже и сами посылать отъ себя туда

за всѣмъ, чего нужно, только не останавливайтесь долго на базарѣ; купите, что надо, и уходите на островъ.

Мы скоро уѣхали. На дежурство сюда были отряжены два санитары и телѣга для отвоза больныхъ. Каждое утро санитарные служители должны были докладывать о прошедшей ночи, а каждый вечеръ передъ засѣданіемъ я заѣзжалъ узнать о прошедшемъ днѣ.

Подавать помощь приходилось рѣдко, болѣли мало, да и заболѣвшихъ сгѣшили отправить въ бараки, такъ какъ организовать подаваніе помощи безъ всякаго помѣщенія и сообщенія съ слободой было на мѣстѣ почти невозможно. Отправкою въ бараки въ видахъ спокойствія народа нивого, впрочемъ, не наслоняли. Желавшихъ оставаться на островѣ только откладывали въ сторону и оставляли на попеченіе родныхъ, давъ возможные средства, а безродные сами просились въ больницу.

Въ ожиданіи, когда сарай и домикъ будутъ готовы, я перевезъ свои вещи на крытую баржу съ каютой, уступленную пароходовладѣльцемъ, и всячески торопилъ съ постройкой.

А толпа все росла и росла. Вечерами этотъ пришлый людъ представлялъ живописную картину. Подъ открытымъ небомъ и подъ навѣсомъ громадныхъ деревьевъ они раскидывались красивыми группами. Кое-гдѣ горѣли и дымились костры, на которыхъ косари готовили себѣ ужинъ и чай; кое-гдѣ быльи палатки, восягъ которыхъ раскладывались семьи, сидя и лежа; кто бродилъ, кто лежалъ у построекъ на землѣ или на грудѣ сложенныхъ досокъ и балоковъ. Тутъ были и хохлы, и русскіе, и татары, и Богъ знаетъ какой народности неопредѣленные люди. Я часто любовался этими картинами, подѣзжая на извозчикѣ, и, переходя съ санитарамъ отъ одной группы къ другой, выслушивалъ, кто гдѣ заболѣлъ или чувствуетъ себя плохо.

Между тѣмъ постройка тянулась медленно и вяло, только 10-го іюля были готовы эти бараки, но тогда было уже настолько поздно, что затраченные деньги пропали совершенно даромъ для прошедшей холеры.

Холера разыгрывалась, но все было еще тихо. Мы читали, что въ Баку и Астрахани уже были бунты, но у насъ не было замѣтно никакого броженія.

28-го іюня я ѣхалъ для обыкновеннаго осмотра на островъ. Пароходъ изъ Саратова только-что прибылъ; на встрѣчу мнѣ попадались пассажиры.

— Куда вы ѣдете?—вдругъ, повидимому, ни съ того, ни съ

сего, ослынуль меня какой-то незнакомецъ, повстрѣчавшійся мнѣ на пути.

Я удивился.

— А вамъ зачѣмъ это? — спросилъ я.

— Я хотѣлъ предупредить васъ, — отвѣтилъ онъ, — чтобы вы не ѣхали въ Саратовъ, такъ какъ думалъ, что вы собираетесь на пароходъ.

— Нѣтъ, — отвѣтилъ я: — я сюда на островъ. А что же въ Саратовѣ? — полюбопытствовалъ я, и тутъ только замѣтилъ, что онъ какъ будто немного взволнованъ чѣмъ-то.

— А вотъ посмотрите! — и незнакомецъ указалъ мнѣ на Саратовъ.

Въ двухъ мѣстахъ города дымъ густыми клубами поднимался къ небу; ничего больше не было видно особеннаго.

Я взглянулъ на собесѣдника.

— Въ Саратовѣ народъ бунтуетъ, — вдругъ выпалилъ онъ: — разбилъ нѣсколько домовъ, разбилъ полицію, угрожаютъ губернатору, — словомъ, совсѣмъ плохо. Ищутъ докторовъ, и раскуривали такъ, что и войска ничего не могутъ подѣлать. Вонъ, видите, дымъ — это поджоги.

Это было ужъ очень скоро и неожиданно.

Я поблагодарилъ незнакомца за предупрежденіе, сказалъ, что дальше острова нигде не поѣду, и направился къ пристани узнать у капитана парохода что-либо подробнѣе. Онъ и его помощникъ были порядочно выпивши, съ горя ли, съ досады ли, или отъ страха передъ холерой и бунтомъ, — Богъ ихъ знаетъ.

— Скажите, правда ли? — обратился я къ нему, едва ступивъ на порогъ.

— Совсѣмъ скверно, — вдругъ набросился онъ на меня: — сейчасъ тамъ бьютъ, а завтра и насъ поколотятъ.

— Да за что же? За что насъ-то?

— А развѣ вы не знаете, что тѣ, что дѣлается въ Саратовѣ, тѣ черезъ два часа у насъ повторяется? Это ужъ такъ! Вѣдь вонъ у насъ сколько народу! Вѣдь если мы будемъ здѣсь, такъ отъ насъ и духу не останется ночью! Я сейчасъ ѣду къ исправнику предупредить. Да и вы бросьте все, и поѣзжайте въ слободу.

— За чтѣ же они меня-то тронуть? — возразилъ я: — вѣдь я имъ ничего не сдѣлалъ?

— Не знаете вы еще народа! За чтѣ они въ Саратовѣ всю интеллигенцію бьютъ? За чтѣ они дома разоряютъ и грабятъ?!

Мы разстались. Капитанъ поѣхалъ въ слободу, а подозревалъ

санитаровъ и все-таки осмотрѣлъ островъ. Никто изъ народа мнѣ не выражалъ пріязни, но и непріязни я не замѣтилъ, и благополучно возвратился въ слободу.

Въ засѣданіи всѣ были какъ-то удручены. Это настроеніе была смѣсь подавленнаго чувства, ожидающаго опасности, и вспышекъ энергіи и стремленія къ самозащитѣ. Въ Саратовъ была послана срочная отвѣтная телеграмма о присылкѣ войска въ защиту слободы, такъ какъ всѣ ожидали на завтра грозы. Оказалось, что Саратовъ не могъ намъ дать ничего безъ особаго разрѣшенія командующаго войсками округа и самарскаго губернатора. Нужно было телеграфировать въ Самару.

— Вѣдь вотъ пропасть! — горячился исправникъ: — пока мы будемъ переписываться, отъ слободы одни камни останутся!

Тѣмъ не менѣе мы собрали всѣ свѣденія о заболѣвшихъ и умершихъ и распредѣлили ночныя дежурства. Первымъ начиналъ земскій врачъ.

Ночь прошла тихо и спокойно.

29-го утромъ я замѣнилъ врача, окончившаго дежурство, въ его объѣздахъ по больнымъ и пріемѣ въ больницы. Самъ же онъ, взявъ жену и дѣтей, уѣхалъ на хуторъ къ своему пріятелю-землевладѣльцу, вѣроятно предвидя, что день не обойдется безъ бури.

Начавъ съ объѣзда, я прибылъ въ больницу въ 11 часовъ. Амбулаторные были уже отпущены фельдшеромъ — ихъ, не по обыкновенію, было очень мало; мнѣ оставалось посѣтить еще немногихъ больныхъ на домахъ.

Благодаря тому обстоятельству, что врачей насъ было 5 человекъ, на долю cadaго приходилось немного. Случаи были обыкновенные, узнаваемые съ перваго взгляда; помощь тоже была намѣчена по шаблону, и объѣздъ дѣлался очень быстро.

Въ одной хатѣ пьяный мужикъ какъ-то грубо поморщился и подозрительно спросилъ меня: „чего надо?“ Я отвѣтилъ, что объѣзжаю больныхъ вмѣсто земскаго врача; тутъ же вышла какая-то баба, изъ домашнихъ, и я вошелъ къ больному.

Время было уже около обѣда, когда я возвратился домой къ товарищу, который квартировалъ на краю села, недалеко отъ холернаго барака. Онъ и сестра милосердія, прибывшая сюда изъ Александръ-ге, были уже дома.

— Ну, что, съ тобою ничего не случилось? — спросилъ товарищъ.

— Богъ милостивъ.

— Ну, у насъ не такъ-то. Изъ одной избы, когда мы вы-

шли, такъ грозили, что „сунься-ка еще, мы тебя не такъ примемъ“. А московскому студенту на базарѣ не позволили дать лекарства два раза. Вѣдь народъ уже на базарѣ—ты знаешь? Утромъ перешелъ съ острова на базаръ, и теперь его тамъ тьма тьмущая.

— А какъ же это съ московскимъ товарищемъ?

— Да такъ: санитаръ позвалъ его къ больному. Тотъ приѣзжаетъ съ каплями и порошками, а больного обступили и говорятъ:— „Не лѣзь, молъ; ничего не дадимъ, а то еще уморишь!“ — Онъ принялся-было убѣждать, — не слушаютъ; ну и бросилъ, уѣхалъ. И въ другой разъ въ этомъ же родѣ. А то вотъ еще, что въ одной хатѣ мнѣ рассказывали,—продолжалъ онъ:— „вотъ, молъ, говорятъ, доктора не травятъ, а вчера вотъ дали порошки, а больной-то и умеръ. Мы тогда полъ-порошка утенку всыпали—вѣдь околѣлъ! А, говорятъ, не травятъ“.

Удивительная логика!

Мы пообѣдали и, немного соснувъ, сѣли къ чаю.

Никто насъ не тревожилъ, никто не ввалъ уже вторые сутки. Больныхъ, къ которымъ мы ѣздили, указывали намъ десятники утренней выпиской, да и то вѣрно не всѣхъ, такъ какъ заболѣваній по записямъ было мало, а новаго зова — ни откуда.

Мы еще мирно пили чай, какъ въ намъ вошелъ какой-то не то мужикъ, не то переодѣтый солдатъ.

— Ваше благородіе,—обратился онъ къ намъ:—полицейскій надзиратель прислали сказать вамъ, чтобы вы переодѣвались и куда-нибудь на зады пртались. Въ слободѣ бунтъ. Народъ бьетъ больницу, а потомъ и сюда пойдетъ холерные бараки бить, такъ какъ бы и васъ не нашли.

Все это было до того ясно и до того просто, что не понять угрожавшей опасности было нельзя.

Человѣкъ ушелъ. Впопыхавъ натянулъ товарищъ на себя сапоги, сорвалъ моментально погоны съ пальто, кое-какъ подпоясался и былъ готовъ въ минуту. Сестра сняла передникъ съ крестомъ, схватила свой ридикюль, записала заѣмъ-то апельсинъ въ карманъ, притенула куда попало разбросанныя изъ чемодановъ бѣлье и вещи, и тоже моментально была готова. Я едва успѣлъ надѣть на себя фляжку съ водкой. Неразлучныя антихолерныя капли и укусная кислота были у товарища въ карманѣ, вмѣстѣ съ деньгами.

У воротъ оказался нашъ легковой извозчикъ Александръ, здоровый, рослый мужчина, нанятый земствомъ для развѣздовъ товарища по селу. Моего извозчика не было, такъ какъ время посѣщенія острова еще не пришло.

— А я уже давно здѣсь, — сказалъ Александръ: — какъ народъ пошелъ на больницу, такъ я сюда.

— Что же ты намъ не сказалъ? — вскричалъ товарищъ.

Мы, вообще, всѣ трое чего-то кричали, суетились и торопились.

— Да чего же говорить? Вѣдь коли бъ увидалъ здѣсь народъ, мы бы всегда уѣхать успѣли.

— Куда же намъ?

Мы, конечно, не знали, куда. Намъ нужно было только отсюда, а дальше мы теряли соображеніе.

Александръ поѣхалъ впередъ. Такъ собственно мы и ожидали, — куда-нибудь только вонъ изъ села.

Проѣзжая мимо холернаго барака, товарищъ подозвалъ кого-то изъ прислуги и, сказавъ, что въ слободѣ бунтъ, посоветовалъ тоже скрыться, такъ какъ больныхъ стеречь было нечего, а баракъ былъ настолько неотстроенъ, что ему не угрожало опасности быть фундаментально разбитымъ; да и сопротивленіе было бы бесполезно.

Мы выѣхали изъ слободы, со страхомъ озираясь назадъ и сilesь откуда-нибудь увидеть, какъ разоряютъ больницу и не гонятся ли за нами, — но въ слободѣ было тихо. Солнце уже склонилось къ закату. Далеко на правомъ берегу былъ виденъ Саратовъ, а Покровское скрывалось за зеленою деревьею, выгншихъ изъ береговъ и острововъ омельвшей Волги. Сначала мы думали-было скрыться въ этой чащѣ деревъ, но разсудили, что здѣсь мы будемъ меньше всего въ безопасности, и Александръ повезъ насъ въ ближайшее село Шумейку, за 12 верстъ, предлагая заѣхать къ священнику этого села, будто бы въ гости.

Грустное это было бѣгство.

Бѣжать, не только не чувствуя себя виноватымъ, а думая, что этому же народу, отъ котораго бѣжишь, готовъ быть жизнь отдать для его спасенія, — это удивительно странное чувство нравственной обиды. Оно вызывало какую-то бурю и протестъ въ душѣ, хотя разсудокъ говорилъ, что нужно бѣжать, что какъ бы ты ни былъ невиненъ, оставаться на волю озлобленной толпы — безумно. Мы смѣялись дорогой надъ своимъ положеніемъ и въ то же время чувствовали страхъ, что вотъ-вотъ покажется столбовая толпа, увидеть насъ и побѣжить съ крикомъ за нами.

Александръ ѣхалъ не торопясь. Нужно было беречь лошадей на 12-ти-верстный путь съ четырьмя сѣдоками. Только уѣхавъ совсѣмъ далеко и не видя за холмами слободы, мы на время сошли съ дрожекъ.

— Ну, а къ священнику все-таки какъ-то неудобно,—сказалъ товарищъ: — мы прямо на вѣзжей остановимся.

Сестра и я согласились съ тѣмъ, что какъ-то даже обидно за себя искать спасенія, какъ настоящіе бѣглецы, да, наконецъ, и съ какой стати безпокоить незнакомаго совершенно человѣка.

— Да чего же,—возразилъ извозчикъ: — прямо пріѣхали и ничего больше!—но его доводъ показался намъ неосновательнымъ.

По большой улицѣ села мы встрѣтили старшину, котораго указалъ намъ Александръ, и товарищъ, объяснивъ ему, въ чемъ дѣло, велѣлъ поставить за околицей вѣстового, чтобы предупредить насъ на случай опасности. Страхъ былъ очень великъ. Мы остановились на вѣзжей. Александръ уѣхалъ обратно, пообѣщавъ прибыть утромъ и забрать насъ, если все будетъ благополучно, или рассказать о положеніи дѣлъ. Мы остались одни. У насъ не было ничего съѣстного, кромѣ апельсина въ карманѣ сестры. Ножа у меня не было съ пріѣзда въ слободу, и за недосугомъ я до сихъ поръ его не покупалъ, а тутъ вдругъ такая пропасть свободнаго времени. Табаку не было ни у меня, ни у сестры, и мы оба хотѣли курить.

Немного посидѣвъ, мы вышли въ лавочку закупить эти вещи. Сестра осталась на вѣзжей. Было еще свѣтло, хотя солнце скрылось за Волгой. Въ выпитыхъ рубашкахъ, въ форменныхъ фуражкахъ, мы вышли изъ хаты, велѣвъ поставить себѣ самоваръ, и зашли въ первую лавочку, указанную намъ на вѣзжей.

Почему она называлась лавкой, я не придумаю: ни снаружи, ни во дворѣ, ничего не было видно.

Тѣмъ не менѣе, мы спросили колбасы и хлѣба. Лавочница подозрительно и медленно оглядѣла насъ и отвѣтила, что такихъ вещей нѣтъ. — А табакъ есть? — спросилъ я. — Тоже нѣтъ. — А ножи перочинные? — и ихъ не оказалось. Мы остановились.

— А нѣтъ ли гдѣ еще другой лавки?

— Да вонъ тамъ спросите,—указала намъ баба: — по другой улицѣ.

Мы не спѣша двинулись, и не успѣли дойти до другой лавки, какъ какой-то парень подошелъ раньше нашего къ мужикамъ, сидѣвшимъ возлѣ нея на заваленкѣ, и двери лавки прикрылись.

Мы повторили свои вопросы — и тутъ ничего не оказалось. Это было уже довольно странно, но все-таки мы спросили, нѣтъ ли еще третьей лавочки.

Оказалась еще одна по этой же улицѣ, но до нея мы уже не дошли.

Помахивая хворостинками, мы такимъ же шагомъ двинулись

къ ней, какъ вдругъ черезъ нѣсколько шаговъ насъ окликнулъ: Эй, стойте!

Мы обернулись. Къ намъ приближался какой-то громадный мужикъ съ бляхой десятника, въ сопровожденіи еще трехъ пожилыхъ крестьянъ и двухъ взрослыхъ парней. Онъ протянулъ руку товарищу, потомъ мнѣ. Удивленный такимъ началомъ, я не подалъ ему руки и только поглядѣлъ на этого великана.

Лицо и фигура его были очень внушительны. Съ сажень ростомъ, съ громадными руками, съ крупными чертами лица и косматыми съ просѣдью волосами на бородѣ, онъ производилъ такое неприятное впечатлѣніе, что не только ночью, но и днемъ я не хотѣлъ бы съ нимъ встрѣчаться.

— Вы кто такіе за люди есть?! — грозно обратился онъ къ намъ.

— А тебѣ какое дѣло?

— Такъ! такое дѣло, что я знать долженъ. Зачѣмъ вы сюда пришли?

— Это тоже тебя не касается.

— А гдѣ ваши бумаги? Гдѣ вы стали?

Мы недоумѣвали, что это значить и къ чему клонится. Десятникъ начиналъ горячиться. Онъ былъ немного выпивши и дѣлалъ намъ допросъ такъ громко, что понемногу началъ собираться народъ.

— Да вы кто такіе за люди и какъ вы сюда попали? — уже кричалъ онъ.

Вопросъ былъ жестокий. Что мы могли на него отвѣчать! Мы молчали.

— Да это бѣглецы изъ Саратова, — сказалъ кто-то изъ толпы. — Вотъ ихъ тамъ били, а они сюда и прибѣжали.

— А за что васъ тамъ бьютъ? — За хорошія вѣрно дѣла! — слышалось въ толпѣ.

— Да какъ же ты смѣешь безъ бумагъ въ чужое село заѣзжать? — уже набросился на товарища десятскій.

— Это не тебѣ бумаги съ насъ спрашивать, ты долженъ насъ къ старостѣ или къ старшинѣ представить, — отвѣтилъ я.

— Какой тебѣ старшина! Я самъ тебѣ старшина! Мое дѣло бумаги спрашивать! — зыкнулъ онъ на меня.

Голосъ былъ дѣйствительно адскій! И страхъ, и злоба, и обида душили меня. Оставаться въ такомъ положеніи было очень неловко.

Народъ понемногу собирался со всѣхъ концовъ улицы; бабы, дѣти тоже появлялись откуда-то и тоже начали подвигаться къ

намъ. Сохранить полное самообладаніе и присутствіе духа было довольно трудно и, чтобы хоть какъ-нибудь выйти изъ этого положенія, товарищъ обратился ко мнѣ:

— Нѣтъ ли у тебя хоть какихъ-нибудь бумагъ? — спросилъ онъ.

Я былъ увѣренъ, что нѣтъ.

— Можетъ быть, у меня что-нибудь въ пальто найдется, — сказалъ я и обратился къ десятнику:

— Пойдемъ на вѣзжую; можетъ быть, тамъ найдется что-нибудь у меня.

Мы двинулись назадъ.

Рядомъ съ нами шелъ десятникъ и нѣсколько человѣкъ мужиковъ и парней, а сзади толпились удивленные и любопытствующія женщины и дѣти.

Поднимался какой-то сдержанный шумъ; десятникъ продолжалъ свое нравоученіе; мужики и парни прибавляли предположенія и догадки о нашемъ посѣщеніи села. Какъ ураганъ разнеслась вѣсть, что явились отравители, убѣжавшіе изъ Саратова, подсыпали отравы въ колодезь, спрашивали ножей, чтобы рѣзать народъ, хлѣба, колбасы и табакъ зачѣмъ-то.

Мы наконецъ вошли во дворъ. Удивленная сестра встрѣтила насъ на порогѣ. Хозяинъ вѣзжей, молодой мужикъ, тоже недоумѣвалъ.

— Ты что же смотришь?! — закричалъ на него первымъ долгомъ десятникъ. — Какихъ такихъ ты людей пускаешь? а?! Откуда они у тебя?

Мы вошли въ хату и притворили двери, чтобы не набивался народъ.

Первое, что бросилось мнѣ въ глаза, это были фляжка съ водкой на столѣ и два пузырька — одинъ полный коричневой смѣси опія, стрихнина и валеріана, другой съ уксусной кислотой.

Воспользовавшись короткимъ замѣшательствомъ у дверей, я подошелъ къ столу и быстро спряталъ пузырьки съ опіемъ въ карманъ; остальное казалось мнѣ безопаснымъ.

Товарищъ порылся въ пальто и дѣйствительно нашелъ какую-то квитанцію отъ Нижне-Караманской волости за печатью въ продажѣ или покупкѣ воровъ для голодавшихъ. Этотъ единственный формальный документъ онъ протянулъ къ десятнику, говоря, что вида нѣтъ, но что эта бумажка удостовѣряетъ его личность.

— Да ты мнѣ что показываешь-то? — крикнулъ десятникъ: — ты мнѣ видъ покажи, а это на что мнѣ!

Двери уже отворились. Одинъ за другимъ въ комнату наби-

вались мужики; въ открытыя окна вѣзжей видѣлось со всѣхъ сторонъ море головъ, волнующееся и шумящее.

— А ты кто такая?—накинулся кто-то на сестру.

— Я сестра милосердія,—отвѣтила сестра.

— Какая ты сестра, коли на тебѣ креста нѣтъ! Знаемъ мы милосердныхъ! На нихъ фартуки бываютъ, а на тебѣ и того нѣтъ!

— Да это мужчина переодѣтый! Это не баба вовсе!—крикнулъ кто-то, обративъ вниманіе на ея остриженные волосы.

— Раздѣть его, шельму!—зашумѣло въ открытыя окна.

Никто, благодаря Бога, не тронулся, чтобы исполнить это.

Я подошелъ къ сестрѣ; старуха-мать и жена хозяина вѣзжей квартиры приняли нашу сторону. Все вокругъ ужасно шумѣло и кричало.

— Да крестъ-то есть ли на тебѣ? — кричалъ уже товарищу десятникъ.

Показанный крестъ не оказалъ никакого дѣйствія.

— Да что крестъ!—крикнулъ кто-то.—Крестъ и на собаку можно одѣть!

Ни военное студенческое пальто, ни пуговицы съ орлами, ни погоны, ни кокарды не принимались во вниманіе; все отвергалось, сводилось къ нулю и клонилось къ нашему побовищу. Мы просили лошадей, обѣщая уѣхать отсюда сейчасъ же.

— Нѣтъ тебѣ лошадей! Мы васъ тутъ обоеихъ убьемъ, чтобы и духу вашего не было!—кричали намъ.

— Вотъ ты говоришь, что ты докторъ,—вырывается кто-то изъ толпы:—доктора вѣдь ѣздятъ съ баночками и пузырьками, а гдѣ они у тебя? Ты воръ, бѣглый, шаромыжникъ, бить тебя надо!

Послѣ долгихъ криковъ и на насъ, и между собою, фляжка и пузырекъ на столѣ привлекли къ себѣ вниманіе собравшихся.

Десятникъ протянулъ къ фляжкѣ руку.

— Не тронь, умрешь!—крикнулъ кто-то въ окно. — Тутъ орута (отрава)!

— Это чтѣ?—грозно вскинулся онъ.

— Водка,—отвѣтилъ я.

Десятникъ взялъ фляжку. Возцарилась какая-то удивительная тишина. И крики, и ссоры, и брань—все стихло, умолкло и только съ улицы доносилось какое-то жужжаніе. Нужно было видѣть эти лица, полныя любопытства и страха, вытянувшіяся, приподнявшіяся и внимательно слѣдившія за малѣйшимъ движеніемъ десятника. Держа отъ себя фляжку возможно дальше, онъ отвинтилъ чарку и налилъ ее до краевъ.

— Пей!—протянулъ онъ чарку товарищу. — Это приказаніе было до того громко и внушительно, что сопротивляться нельзя было и думать.

Тишина наступила гробовая.

Товарищъ выпилъ.

Такъ же медленно и осторожно налилъ онъ вторую чарку и протянулъ мнѣ.

— Пей!—повторилъ онъ.

Я тоже выпилъ и, взявъ затѣмъ фляжку изъ его рукъ, поднесъ ее къ его носу и сказалъ въ сердцахъ тоже довольно внушительно.

— На, нюхай! Коли не вѣришь, что это водка!

Онъ понюхалъ; понюхалъ еще разъ, подумалъ, налилъ себѣ и тоже выпилъ.

— Эхъ, хорошая водка!—сказалъ онъ.

Это былъ если не поворотъ, то хоть маленькая надежда на спасеніе. Уксусную кислоту тоже обнюхали и нашли, что это уксусъ и даже „эссенція“.

И въ хатѣ, и во дворѣ, и на крыльцѣ, и на улицѣ между тѣмъ вновь зашумѣли, но уже не такъ бурно. Оставить все-таки дѣло такъ и вести все на мировую было бы со стороны десятника и рано, и непослѣдовательно, и онъ ограничился тѣмъ, что сталъ нападать на насъ менѣе грозно и рѣже.

— Обыскать ихъ! У нихъ орута спрятана! У нихъ ножи попрятаны! — кричала еще неутомившаяся толпа, видя, что десятникъ началъ сдаваться.

На сцену выступилъ другой десятникъ, невысокаго роста, широкоплечій, тоже сѣдоватый мужикъ съ зоркими глазками и отвратительной фizioноміей. Онъ принался за насъ съ такимъ же рвеніемъ, какъ и первый; потомъ его замѣнилъ другой мужикъ, потомъ третій, четвертый, потомъ въ перемежку набрасывались на насъ всѣ, кому не лѣнь было накричать на насъ во все горло. Насъ поверхностно ощупали, осмотрѣли у сестры риднеюль съ бумагами и деньгами и апельсинъ, привлекшій также большое вниманіе; ощупали сверху голенища сапогъ и карманы, къ счастью не залѣзая въ нихъ, и не нашли ничего.

Какъ не нащупали у меня пузырекъ, одному Богу извѣстно.

Въ это время вошелъ старшина, за которымъ мы давно просили послать. Свaщенника, котораго мы тоже ждали, все еще не было. Старшина принялъ нашу сторону. Первый десятникъ прижмулъ къ нему и, нападая еще понемногу на насъ, въ проме-

жутокъ покрикивалъ и на мужиковъ: чего, молъ, собрались, чего кричать, что это, молъ, не ихъ дѣло.

Онъ еще разъ потянулся за водкой.

— Да ты не очень-то пей, и намъ надо! — замѣтилъ ему я.

— Ничего, — благодушно отозвался онъ: — можно и тутъ достать!

Товарищъ воспользовался этимъ моментомъ и, доставъ денегъ, сунулъ ему съ порученіемъ достать водки.

А шумъ все продолжался.

Сестру въ это время довели до истерики, и ее отвела баба въ другую комнату.

На старшину, заступавшагося за насъ, начали кричать, что онъ съ нами за-одно, что мы его подкупили, что и съ нимъ надо расправиться. Кто-то полѣзъ на него съ кулаками; другіе его удержали.

На дворѣ между тѣмъ было совершенно темно. Давно уже зажгли лампу и свѣчи и закрыли ставни, которые долго народъ не давалъ затворять, вырывая засовы, когда, наконецъ, пришелъ священникъ. Это окончательно спасло насъ.

Успокоившись немного, повыгонявъ лишній народъ, мы уговорились на томъ, что къ намъ приставятъ на всю ночь караулъ изъ мужиковъ и десятниковъ, чтобы мы не убѣжали до тѣхъ поръ, пока не возвратятся гонцы, посланные изъ села съ нашими записками, при помощи священника и денегъ, къ земскому начальнику и исправнику.

Намъ поставили самоваръ; принесли отъ священника табакъ и хлѣба, и мы вмѣстѣ съ нимъ напились чаю.

Было уже позже 12-ти часовъ ночи. Десятникъ не разъ ходилъ уже доставать, и одинъ, и съ компаніей, водки и былъ уже порядочно пьянъ. Затѣмъ, по уходѣ священника, водка появилась и у насъ на столѣ. Полупьяные сторожа разсѣлись по стульямъ; первый десятникъ сидѣлъ за столомъ съ товарищемъ; сестра легла за аркой, отдѣлявшей другую комнату, на диванѣ, а я, утомленный внутренней борьбой и криками, легъ на полу возлѣ арки, подстеливши подъ голову пальто.

Съвозъ дрему я слышалъ потомъ пьяный голосъ десятника, пѣвшаго подъ аккомпаниментъ гитары какой-то романсъ, раздравшій душу своей претензіей на нѣжность и трогательность, слышалъ, что товарищъ о чемъ-то бесѣдовалъ съ мужиками, вразумляя ихъ повидимому о докторяхъ и болѣзняхъ, слышалъ, какъ наша гроза Веденей (какъ мы узнали потомъ) оказался въ самыхъ пріятельскихъ отношеніяхъ съ товарищемъ, но самъ я былъ до

того измученъ, и эта фамиллярная задушевность казалась мнѣ до того противной, что я уже не шевелился и не отерывалъ глазъ.

Священника, какъ мы узнали потомъ, какая-то баба Христомъ Богомъ заклинала велѣть бить въ набатъ, объясняя со слезами и воплями, что пришли отравители и селу грозитъ большая опасность.

Съ разсвѣтомъ мы еще разъ слышали какой-то шумъ: это Веденей сцѣпился съ бабами, гнавшими коровъ и упрекнувшими его, что мы его подеушили. Двѣ бабы такъ и остались до свѣта сидѣть у нашихъ воротъ, не надѣясь на стражу мужицкую.

Въ это время подъѣхалъ урядникъ, присланный отъ исправника выручать насъ изъ бѣды. Мы тотчасъ же сѣли въ его телѣжку и двинулись по направленію къ Красному-Яру, а по дорогѣ насъ встрѣтила тройка, посланная оттуда земскимъ начальникомъ за нами по нашей запискѣ.

Было, вѣроятно, часовъ 6—7, когда мы прибыли въ Красный-Яръ.

Большое довольно общество покровскихъ бѣглецовъ собралось въ этомъ домѣ въ нейтральномъ нѣмецкомъ селѣ. Здѣсь былъ покровскій земскій начальникъ, городской судья, судебный слѣдователь, городской (общественный) врачъ и его братъ. Объ исправникѣ, земскомъ врачѣ и надзирателѣ мы знали, что они на дачахъ, и надѣялись на ихъ безопасность. Куда дѣлся московскій студентъ, никто не могъ сказать. Всѣ чувствовали себя точно неловко, хотя смѣялись и говорили много. На общественнаго врача чуть не обрушилась толпа. Но кто-то изъ поселянъ за него вступился, а онъ, воспользовавшись этимъ моментомъ, сѣлъ на извозчика и удралъ сюда. Его братъ гимназистъ окольными путями тоже выбрался изъ слободы, покинувъ квартиру, которой также, вѣроятно, угрожалъ разгромъ. Онъ только видѣлъ, какъ народъ, предводительствуемый пьяной бабой и толпой ребятишекъ, двинулся черезъ площадь къ земской больницѣ.

Мы провели тревожное утро, не имѣя никакихъ вѣстей о Покровскомъ и стараясь хоть чѣмъ-нибудь убить время, оставшееся бездѣльнымъ послѣ рассказовъ о происшествіяхъ. Въ полдень покровскій земскій начальникъ и мировой судья рѣшили ѣхать въ Баронскъ, чтобы оттуда пароходомъ прибыть въ Саратовъ и просить о помощи, а оставшіеся пошли погулять по селу. Наша записка, писанная на клочкѣ бумаги, вырванномъ изъ записной книжки, была теперь довольно комична, но несмотря на общій смѣхъ, съ которымъ читалась она по нашему спасенію, каждый понималъ, что въ ней писалась серьезная правда. Уже много спустя

намъ говорилъ урядникъ, что главныхъ воротилъ неурядицъ не было тогда дома, и это спасло насъ отъ жестокой расправы. Не было только начала, удара, который вызвалъ бы, какъ искра, взрывъ народнаго озлобленія и отъ насъ осталось бы одно воспоминаніе въ судебныхъ лѣтописяхъ.

Мы шли по широкой улицѣ села. На встрѣчу намъ показалась партія косарей, человѣкъ въ 12—15, и по приказу мѣстнаго земскаго начальника, бывшаго съ нами, они были остановлены урядникомъ для освидѣтельствованія ихъ паспортовъ и разспроса объ ихъ пути.

Ни одинъ не слыхалъ о покровскомъ бунтѣ—они шли изъ Баронска. Не было, повидимому, ничего смирнѣе этой партіи, остановленной однимъ человѣкомъ, но всѣ они казались мнѣ какими-то чудовищами.

Въ сторонѣ улицы плелся тоже какой-то мужикъ, измученный, слабый. Когда мы подошли поближе, я узналъ въ немъ того парня, который на островѣ такъ нелюбезно отозвался о докторѣхъ, и онъ, вѣроятно, тоже узналъ меня. Онъ прилежъ въ изнеможеніи подъ заборомъ. Онъ былъ блѣденъ, часто дышалъ и едва говорилъ. Тусклые глаза, посинѣвшіе пальцы и губы и страдальческое выраженіе лица безъ словъ говорили, что положеніе его очень серьезно. Онъ попросилъ насъ отойти немного, чтобы не стѣснять его естественныхъ отпращиваній. Жадный рисовый поносъ не оставилъ сомнѣнія въ его болѣзни, и по распоряженію земскаго начальника несчастный паренъ былъ дѣйствительно сташенъ въ больницу. Съ сестрой, бывшей въ Красномъ-Яру, я оказалъ ему какую могъ помощь, но онъ былъ уже совсѣмъ плохъ и просилъ только умереть спокойно. Чтѣ съ нимъ случилось, я не узналъ потомъ, такъ какъ послѣ обѣда была получена телеграмма, что въ слободу пришли войска, мятежъ усмирень и насъ ждутъ обратно. Телеграфировалъ полицейскій надзиратель. Въ тотъ же вечеръ мы подѣзжали уже къ слободѣ.

Ночь была бурная, воробьиная. Темная, какъ сама тьма, свѣжая отъ холоднаго, прошедшаго вечеромъ, дождя, она поминутно освѣщалась блескомъ яркой фосфорической молніи. Въ слободѣ было тихо. Мы собрались въ большой залъ квартиры надзирателя и не спали. Въ арестантской комнатѣ, подъ охраной одного взвода солдатъ, было собрано болѣе 60-ти мужиковъ, схваченныхъ послѣ прихода войскъ, и всѣ невольно боялись или новаго взрыва народнаго безумія, или попытки выручить арестованныхъ, или просто протеста самихъ заключенныхъ, могшихъ сдѣлать съ нами чтѣ угодно. Остальныя войска ушли обратно въ Саратовъ.

Поминутно кто-нибудь изъ насъ, прильнувъ къ окну, вглядывался въ беспросвѣтную тьму и тишину слободы, ожидая момента, когда яркая молнія озарить и площадь, и дома, и базаръ, и всю слободу, чтобы разглядѣть или бѣшеную толпу, или крадущуюся кучку людей; но въ слободѣ было тихо, какъ въ гробу, и пустынно.

Московскій студентъ, переодѣвшись, провелъ все время бунта въ квартирѣ полицейскаго надзирателя и, вѣроятно, пережилъ тяжелыя минуты, хотя не признавался намъ въ этомъ.

На другое утро я поѣхалъ посмотрѣть больницу.

Это было печальное зрѣлище.

На площади передъ больницей валялись обломки мебели, обрывки одежды, тряпки, бумажки, перья, солома и соръ. Окна больницы были широко раскрыты, точно сами глядѣли во всѣ глаза на совершившееся безобразіе; ставни были расколочены, стекла разбиты въ мелкіе дребезги, именно въ мелкіе дребезги: я никогда не видѣлъ, чтобы стекло было раскрошено такъ мелко, какъ въ коридорахъ и палатахъ больницы. Желѣзныя кровати были погнуты и въ беспорядкѣ разбросаны по палатамъ. Прекрасная аптека съ большими запасами лекарствъ представляла голую комнату съ перебитыми шкафами, залепанными стѣнами и грудями мусора. Перегородка пріемной была разбита; мѣдный рукомойникъ вывороченъ и изогнутъ; столъ тоже разбитъ, журналы изорваны. Въ квартирѣ врача не осталось ничего. Отъ массы цѣлѣбъ въ его прихожей остались только черепки и земля; диванъ и мягкая мебель были вспороты, выпотрошены, изломаны въ щепы и выброшены кусками за окно на площадь; подушки, кровати, матрасы—ихъ не было въ комнатахъ—ихъ пухъ усыпалъ и площадь, и дворъ; дубовый письменный столъ былъ въ щепкахъ; даже уголъ печи въ дѣтской комнатѣ былъ отвороченъ. Я понятія не имѣлъ о возможности такого разгрома. Горькія чувства тѣснили грудь при видѣ этого разрушенія, и я поспѣшилъ уйти, чтобы не вырвались слезы, сдавившія мнѣ горло.

Въ это утро пріѣхалъ и земскій врачъ. Онъ былъ у надзирателя, когда я вошелъ въ комнату. Мы обнялись, какъ избавленные отъ смертной казни. На глазахъ его были слезы.

— Чтѣ я пережилъ въ прошедшую ночь—трудно рассказать! Каждые два часа ко мнѣ приходили съ извѣстіемъ, чтобы я спасался, что меня ищутъ, что за мной идутъ къ хутору. Одна надежда у меня была на револьверъ. Пятерыхъ нервыхъ я положилъ бы на мѣстѣ, а шестую пулю рѣшилъ оставить для себя, чтобы не переживать такого позора и не отдаться имъ живымъ.

А дѣти! А жена! Что они вынесли! И знаете, вѣдь у меня только и всего имѣнія, что на мнѣ!

Я не говорилъ ему о картинѣ разрушенія больницы. Затѣмъ? Онъ и такъ былъ разбитъ. Онъ не хотѣлъ смотрѣть на это пепелище, боясь, что не вынесетъ.

— Я бросаю службу, вы знаете?—обратился онъ ко мнѣ.

— Чтѣ вы?! Полноте! Ну, развѣ такъ можно!?—возразилъ я.

— О, конечно, можно! Служить послѣ всего, чтѣ перенесъ и чтѣ получилъ за свою службу?! Вѣдь знаете, что я одиннадцать лѣтъ честно служилъ народу! что со студенческой скамьи я только и думалъ о немъ! А онъ оставилъ меня нищимъ, да еще искалъ меня растерзать!

— Ну и все-таки развѣ можно думать, что народъ поступалъ обдуманно и сознательно?—возразилъ я.—Да, наконецъ, вѣдь не народу же мы служимъ, а дѣлу; не людямъ, а медицинѣ; такъ какъ же ее можно бросить?

Я возражалъ противъ воли. Я самъ чувствовалъ жестокое отвращеніе къ этой безумной толпѣ, къ этому удивительно дикому стаду людей. Оскорбленный до глубины души такою отплатою, я своими руками готовъ былъ разорвать этихъ безумныхъ мужиковъ, хотя разсудокъ говорилъ иначе. Я понималъ хорошо, что это такая же роковая, стихійная, грубая и глупая сила, какъ ураганъ, какъ самумъ, слѣпой и бессмысленный; и объ этой силѣ можно было только жалѣть, а не бросать совершенно въ тяжелые дни.

Земскому врачу дали отдыхъ и отпускъ на двѣ недѣли, а мы снова принялись за работу. Въ день бунта, на другой и на третій день умирало по 50 человѣкъ; это были самыя большія цифры за время холеры въ Покровскомъ; потомъ понемногу она начала стихать. Подкладка народного бунта была, какъ мы потомъ ее узнали, такъ интересна, что ее нельзя не привести здѣсь. Составилась удивительная басня, имѣвшая замѣчательную силу и форму правды въ глазахъ народа.

По его словамъ, все это вышло вотъ почему.

За зиму, когда голодъ постигъ приволжскія губерніи, Царь много посылалъ и хлѣба и денегъ для раздачи народу, но эта помощь не доходила по назначенію, оставаясь въ рукахъ чиновниковъ, грабившихъ и казну, и народъ. Провѣдавъ стороною объ этомъ, Царь послалъ Наслѣдника инкогнито разузнать дѣло на мѣстѣ. Наслѣдникъ пріѣхалъ, разузналъ, долго уговаривалъ чиновниковъ отдать все награбленное народу, но, не сладивъ съ ними, „по-

ѣхалъ за отцомъ". Чиновники же, узнавъ объ этомъ и испугавшись расправы, подкупили докторовъ, чтобы тѣ распустили холеру и не допустили бы этимъ Царя въ Поволожью. Царь дѣйствительно не пріѣхалъ, но переодѣтый Наслѣдникъ участвовалъ съ народомъ и въ бунтахъ, и въ разгромахъ больницъ. Въ Покровскомъ народъ три раза поднималъ на ура портретъ Государя, висѣвшій на стѣнѣ въ аптекѣ земской больницы, и снова повѣсилъ его на мѣсто. Онъ и икона были единственными уцѣлѣвшими тамъ вещами.

Другая редакція, болѣе политическая, но не менѣе распространенная, была такая.

Незадолго до появленія холеры прибыла въ тѣ края американская мука. Видя, что она не совсѣмъ хорошаго качества (вслѣдствіе подмѣсы и долгаго лежанія), и слышавъ, что эта мука дарованная, привозная изъ-за моря, политики соткали такую исторію, что „англичанка“ посадила холеру въ муку и отправила, чтобы сморить русскій народъ, а такъ какъ раздачей ея занимались бары и доктора, то слѣдовательно они и были подкуплены для травли народа. И это передавалось съ такимъ убѣжденіемъ, на которое способна только глубокая невежественность народа.

Завязка покровскаго бунта и была основана на началахъ подкупа и отравы.

Возбужденный народъ, недовольный изоляціей на островѣ и лишеніемъ свободы, перешелъ на базаръ.

Сопротивляться двухтысячной толпѣ съ десятью полицейскими было бессмысленно и бесполезно. На базарѣ, конечно, сейчасъ же начали обнаруживаться заболѣванія. Какой-то мужикъ пожаловался, что ему плохо. Цирюльникъ Катинъ изъ отставныхъ фельдшеровъ, снабженный порошками и каплями, предложилъ ему помочь, но едва мужикъ принялъ капли, какъ не прерывавшееся теченіе болѣзни вдругъ обнаружилось рвотой и вслѣдъ за нею поносомъ. Около цирюльника мигомъ собралась толпа и требовала признанія, кто его подкупилъ и сколько ему платять за cadaго отравленнаго. Возбужденіе росло и росло. Недоставало только удара или искры для взрыва. Какой-то подмастерье изъ бойкихъ не выдержалъ, ударилъ Катина, и этого было достаточно. Въ ту же минуту мужики цѣлой толпой набросились на несчастнаго, сбили его на землю, исколотили и истоптали ногами, и, волоча по землѣ за собою, двинулись расправляться съ больницей. Несчастный Катинъ умеръ черезъ недѣлю отъ побоевъ.

Баракы послѣ бунта были скоро окончены, водворилась сравнительная тишина въ слободѣ; врачей начинали звать въ дома къ больнымъ, санитаровъ пускали дезинфицировать жилища подѣ страхомъ нахлынувшего судебного слѣдствія и охлажденія послѣ взрыва страстей, и дѣло начало понемногу налаживаться.

17-го іюля покровскій комитетъ здравія только-что окончилъ свое засѣданіе, какъ была подана временному предсѣдателю его, красно-ярскому земскому начальнику, телеграмма изъ Дергачей: „Врачъ заболѣлъ холерой. Пришлите, кого можно. Село безъ помощи“. Телеграфировалъ земскій начальникъ. Въ первый моментъ мы всѣ молчали.

— Нужно кому-нибудь ѣхать, — сказалъ, наконецъ, предсѣдатель.

— Я поѣду, — вызвался я: — надо врача выручать.

Послѣ недолгихъ разговоровъ о передачѣ надзора за островомъ и новомъ распредѣленіи обязанностей, мы разошлись. За лошадьми для меня было уже послано. Въ виду экстренности и дальности пути (около 200 верстъ) я ѣхалъ тройкою съ остановками только для смѣны лошадей. Уложивъ самыя необходимыя вещи, съ расчетомъ пробыть въ Дергачахъ не больше недѣли, я черезъ два часа по полученіи телеграммы уже выѣхалъ изъ слободы. Ночь была совершенно темная. Неизмѣнный послѣ бунта револьверъ торчалъ за поясомъ, какъ охрана на случай опасности, а мысль о спасеніи врача уравнивала тревоги за возможность заболѣванія въ дорогѣ, и я чувствовалъ себя настолько хорошо, что уснулъ подѣ звонъ колокольчиковъ и потряхиваніе шарабана. Проѣзжая черезъ Карпенки, я захватилъ еще кое-какія вещи и кусокъ льду, чтобы глотать его отъ жажды въ дорогѣ, такъ какъ солнце начинало сильно припекать. Дорога была чистая, ровная, гладкая, какъ скатерть, и почти не пылила. По сторонамъ колосились поля и степи, слегка холмистыя или сливавшіяся съ небомъ; попадались громадныя степныя орлы и еще большихъ размѣровъ дрофы, не боявшіеся ни звона колокольчика, ни топчущей тройки, ни тарантаса и подпускавшіе къ себѣ ближе, чѣмъ на выстрѣлъ; и еслибы не жаркое солнце, можно было бы быть вполне довольнымъ этимъ путемъ.

Въ Семеновѣ я остановился передохнуть, выпить чаю и закусить хоть немного. Радужный толстый хозяинъ русакъ предложилъ мнѣ своихъ щей и куру, которую онъ для себя приго-

товилъ. Я былъ такъ голоденъ, что, не отказываясь, поѣлъ съ нимъ съ большимъ аппетитомъ.

Говорили мы, конечно, о холерѣ. Были случаи заболѣванія въ Михайловкѣ, въ Перовскомъ, но въ повалеу народъ нигдѣ не валился и вездѣ было тихо.

— Давеча,—разговорился хозяинъ,—былъ я въ Михайловкѣ на ярмаркѣ. Только мы съ однимъ человѣкомъ тамъ и выпили, а черезъ день, гляжу я, хоронятъ кого-то. Кого, думаю, хоронятъ? А это онъ самый, оказывается. Ну и пошелъ я за нимъ. Вотъ, думаю, исторія! А тутъ какой-то—и не видалъ я его никогда и не знаю—повстрѣчался, да на меня и говорить: „и съ тобой такъ, пьяница, будетъ!“ и на гробъ указываетъ. Ахъ, ты, думаю, такой сякой, да ему:—„и съ тобой такъ будетъ!“ Такъ мы и разошлись.

Уже было совсѣмъ темно, когда я подѣхалъ къ Мавринкѣ, послѣдней станціи передъ Дергачами.

Меня начинало тошнить. Мой ужасъ трудно описать, когда я почувствовалъ, что сейчасъ непремѣнно будетъ рвота и что силы меня оставляютъ. Ужаснѣе всего было то, что я самъ ѣхалъ на помощь другому врачу и, можетъ быть, самъ слягу далеко отъ всякой помощи, среди совершенно незнакомыхъ мѣстъ и людей. Я вышелъ изъ хаты и, постаравшись отойти, чтобы меня никто не видалъ, засунулъ въ ротъ палецъ. Вырвало меня одной водой, чуть теплой, и мнѣ стало легче. Не трудно было догадаться, что я сильно охладилъ желудокъ, такъ какъ всю дорогу не переставалъ сосать и глотать ледъ. Я поспѣшилъ, чѣмъ могъ, укутать себѣ животъ, чтобы по возможности его согрѣть. Чаю я пить не могъ и ничего не ѣлъ, несмотря на все сознаніе необходимости закусить. И здѣсь хозяева предложили мнѣ сѣстного и, разузнавъ, кто я, откуда, куда и зачѣмъ я ѣду, разговорились и сами.

— Тутъ вотъ, верстахъ въ десяти въ сторонѣ отъ дороги, два мертвыхъ тѣла лежатъ,—сказалъ молодой хозяинъ.—Ѣхали они изъ Балакова на Дергачи, да и померли одинъ за другимъ дорогой — мужъ и жена. Лошадь мы ихъ съ телѣгой взяли и послали къ становому; закопать-то ихъ сами не смѣемъ, да вотъ пятны сутки не слышать ничего—ни станового, ни урядника; такъ и не знаемъ мы, какъ быть съ ними; смердятъ они ужъ очень, почернѣли, надулись.

Я зналъ, какъ строго относятся полицейскія власти къ народу за всѣ „нарушенія закона“, и не могъ ничего имъ сказать. Будь это днемъ, я свернулъ бы съ дороги и, посмотрѣвъ умершихъ, взялъ

бы на себя отвѣтственность въ распоряженіи закопать ихъ тѣла; но была ночь, нужно было спѣшить и одно, что могъ я сдѣлать, это, прибывъ въ Дергачи, попросить пристава ускорить формальности дѣла, пока не разложились окончательно трупы.

Около 12-ти часовъ ночи я подъѣзжалъ къ Дергачамъ. Въ домѣ земскаго начальника еще свѣтился огонь. Я подъѣхалъ къ нему и постучалъ. Вышелъ самъ земскій.

Извинившись за тревогу, я попросилъ указать мнѣ квартиру врача, чтобы сейчасъ же быть у него.

— А вы не безпокойтесь,—сказалъ земскій начальникъ:—ему теперь лучше; здѣсь есть фельдшеръ и желѣзнодорожный врачъ, и навѣстить его вы можете завтра; а пока поѣзжайте на вѣзжку, переночуйте тамъ. Врачъ тутъ же, около вѣзжей живетъ!

Перебудивъ всѣхъ на вѣзжей, я велѣлъ поставить самоваръ, умылся, закусилъ и, постеливъ на диванѣ что попало, уснулъ какъ убитый.

На утро я оказался уже не одинъ. Черезъ часъ послѣ меня прибылъ сюда же врачъ изъ Орлова-Гая, вызванный тоже на помощь заболѣвшему. Это былъ старый, но еще бодрившійся господинъ, прослужившій уже много лѣтъ военнымъ врачомъ, бывший дивизионнымъ и перешедшій въ земство, выйдя въ отставку. Мы вмѣстѣ отправились къ дергачевскому врачу. Сверхъ всякаго моего ожиданія, онъ встрѣтилъ насъ самъ на ногахъ. Тутъ же въ комнатѣ сидѣлъ еще желѣзнодорожный врачъ. Земскій врачъ произвелъ на меня все-таки очень пріятное впечатлѣніе.

— Извините, господа, что васъ потревожили. Мнѣ такъ неловко передъ вами.—Онъ былъ дѣйствительно смущенъ.

— Ну, вотъ пустяки,—сказалъ я:—вѣдь навѣрное еслибы вы узнали о болѣзни собрата, вы поступили бы такъ же, какъ и мы теперь. Вотъ вы лучше поправляйтесь скорѣе.

Онъ былъ боленъ уже четвертый день и не зналъ, что дѣлается съ холерными. Земскій фельдшеръ управлялся и съ больницей, и съ баракомъ, который былъ отведенъ въ полуверстѣ отъ села. Желѣзнодорожный врачъ не принималъ въ этомъ никакого участія. При баракѣ были двое служителей съ бабой и дѣло, повиdimому, было все-таки налажено.

— Да вотъ вы пойдете, вамъ фельдшеръ покажетъ,—сказалъ врачъ. Я скоро ушелъ въ земскую больницу принять за него больныхъ и познакомиться съ дѣломъ, какое мнѣ временно предстояло.

Больница была недалеко. Небольшая, чистенькая, снабжен-

ная всѣмъ необходимымъ, она имѣла очень хорошій видъ. Кромѣ фельдшера, здѣсь же служила акушерка-фельдшерица, бойкая дѣвушка, быстро и аккуратно исполнявшая все просимое. Мы скоро покончили съ приемомъ немногихъ больныхъ, я осматрѣлъ лежавшихъ въ больницѣ, одѣлъ халаты и вышелъ съ фельдшеромъ посмотреть холерный баракъ и больныхъ.

Никогда въ жизни не забуду я этого утра. Солнце свѣтило ярко и горячо. Воздухъ былъ тихъ, небо безоблачно, точно для контраста съ тѣмъ, что довелось мнѣ увидѣть въ отношеніяхъ человѣческихъ.

Холерный баракъ—это былъ пустой амбаръ, отведенный за селомъ, какъ постановила коммиссія по борьбѣ съ холерой. Вокругъ этого амбара на большой площади были разложены вучи кирпича (кизяка) для просушки, градами, кубами и пирамидами. Возлѣ амбара, въ немъ и подъ нимъ, возлѣ грудъ кирпича и между пирамидами и грудями размѣстились группы людей здоровыхъ съ своими больными или одни больные, кто съ люльками, кто съ палатками, кто съ навѣсами изъ какого-то тряпья, кто подъ тѣнью амбара или кирпичей или просто подъ открытымъ небомъ. За амбаромъ въ тѣни лежало человѣкъ 12—15 въ повалку, кто какъ могъ, или неподвижно, или переползая къ разнымъ сторонамъ амбара по движенію солнца и тѣни. Умиравшіе хрипѣли и просили воды; заболѣвшіе глядѣли то озлобленными, то умоляющими глазами; агоники стеклянныиъ взоромъ уставились въ небо и казались мертвыми. Кто сумѣлъ и могъ—забился подъ амбаръ, стоявшій на полъ-аршина надъ землею, на бревнахъ, потому что тамъ продувалъ вѣтерокъ и было прохладнѣе, а жажда томила и мучила несчастныхъ. Немножко въ сторонѣ стояла маленькая походная палатка, въ которой помѣщались грязные измученные служителя—мужикъ съ бабой и какой-то грамотный парень, который и велъ списокъ больнымъ. Этимъ служителямъ платили 25 рублей въ мѣсяцъ. Съ другой стороны амбара была широкая, но не глубокая яма, въ которую складывались умершіе на виду у умирающихъ и больныхъ и прикрывались тулупами или одежками, въ которыхъ пришли. Въ глубину этой ямы складывались остатки одежды, какъ соръ, подлежащій вывозу или сожженію. Косы, серпы, лапти и мѣшечки съ дорожною снѣдью и припасами валялись гдѣ попало; клочки соломы, привезенной вѣроятно для подстилки больнымъ, разбросаны были соломенками повсюду вокругъ больныхъ, точно въ насмѣшку надъ тѣмъ, что сами больные лежали на голой землѣ.

Въ амбарѣ было и того хуже. Въ одномъ углу стоялъ боль-

пой деревянный ящикъ, кажется, для вещей и посуды. Около него, облокотившись, чтобы можно было сидѣть, и потерявъ сознание вслѣдствіе отлившей отъ головы крови, въ безсиліи хрипѣлъ больной, широко открывъ ротъ и разставивъ руки, готовый умереть каждую секунду. Слѣва отъ входа стояли три кровати и на голыхъ доскахъ одной изъ нихъ лежалъ мальчикъ лѣтъ 12-ти и его рвало на полъ.

Немного въ сторонѣ отъ середины амбара, на голомъ полу лежала больная женщина возлѣ умиравшей дѣвочки и, казалось, потеряла самое пониманіе о жизни—такъ безпомощенъ былъ ея тусклый взглядъ. Подъ головой ея былъ вѣлокъ соломы. Дѣвочка лежала на грязномъ, рваномъ ватномъ одѣялѣ и просила пить. А солнце свѣтило такъ удивительно ярко и рѣзко! Можно было съ ума сойти отъ такой картины.

Гдѣ-то возлѣ амбара раздались вдругъ громкіе вопли. Я вышелъ туда. Около кучи кирпича молодая, крѣпкая, здоровая женщина силилась приподнять своего молодого мужа-мужа, а онъ закатилъ глаза и безжизненно повисъ на ея рукахъ. Ей показалось, что онъ уже умеръ. Успокоивъ ее, я велѣлъ положить мужа на землю, надѣясь, что онъ очнется отъ обморока, и онъ дѣйствительно очнулся, но больше я уже не могъ выносить всей этой картины и, отвернувшись, пошелъ прочь.

Злоба, слезы, ненависть и презрѣніе къ человѣку, допустившему такое положеніе дѣла, душили меня.

Я былъ неправъ, но я глубоко ненавидѣлъ и презиралъ дергачевского врача въ ту минуту и долго не могъ успокоиться. Разсудокъ приводилъ всѣ доводы въ защиту врача—его болѣзнь, внезапность холеры, возможность заботъ съ его стороны, разбѣгающихся о равнодушіе и медленность дѣйствій управы, но сердце трудно мирилось съ разсудкомъ...

Фельдшеръ, занятый, кажется, только статистикой, самъ полный страха передъ холерой, перетывалъ больныхъ пальцемъ для счета, узналъ о вновь прибывшихъ и умершихъ, далъ кое-кому валерьяны съ опіемъ и поспѣшилъ удалиться. Онъ долженъ былъ уже придти только на другое утро! Все это было до того невыносимо гадко, что я и во снѣ не думалъ видѣть ничего подобнаго. Выѣздившись активно въ такое положеніе вещей мнѣ все-таки казалось неудобнымъ. Приѣхавъ собственно ради врача, которому подлежало это дѣло, и видя его на ногахъ, я былъ увѣренъ, что какъ только онъ будетъ въ состояніи выйти изъ дому, онъ дѣятельно примется за организацію помощи больнымъ, и

было бы съ моей стороны совсѣмъ грубо вторгаться въ предѣлы его власти и заводить все по своему...

Помощь холернымъ больнымъ и холерный баракъ остались за мною. Много хлопотъ пришлось положить, пока амбаръ принять видъ сносной больницы, и еслибы не помощь земскаго начальника, амбару этому никогда бы не добиться положенія, соотвѣтствующаго требованіямъ народной помощи. Мало того, что приходилось все устроить вновѣ, нужно было все дѣлать быстро, такъ какъ холера не ждала и не переставала похищать новыя и новыя жертвы. Помѣщеніе было очень малод—нужно было пристроить палатку; кроватей не было—устроили лавки; одежды не было—выписали изъ Карпенокъ и Шендорфа все, что уже не было нужно для тифа, и все, что можно было оттуда достать; пищи изъ земской больницы могли отпускать только на 5 человѣкъ; устроили тутъ же свою печь и заключили договоры съ мяснымъ и хлѣбнымъ торговцемъ; молока не хватало въ земской больницѣ—обратились въ народной помощи и добровольнымъ пожертвованіямъ; воды не было,—добыли бочку изъ сборни и доставали воду изъ пруда для варки пищи и мытья бѣлья; льду не было и земская больница отказалась давать, потому что у самой было мало—нашли ледники и покупали ледъ боченками; устроили большіе кубы въ печи для кипяченія воды на ванны и питье; закупили окружный кирпичъ (квизакъ) для топки печи; очистили окружную мѣстность и обнесли заборомъ амбаръ; заказали ванну и стулъчаки съ ведрами; нашли кухарку, прачку и двухъ служителей, кромѣ трехъ бывшихъ и оставшихся, по 12 рублей; нашли столяровъ, плотниковъ и могилокопателей,—и все это съ безконечными хлопотами съ утра до ночи, съ безконечнымъ бѣганьемъ изъ конца въ конецъ, отъ амбара въ село на базаръ, съ базара къ земскому, который такъ живо и горячо откликнулся на все, что было нужно для организаціи помощи и самъ входилъ во всѣ мелочи дѣла.

На ряду съ первымъ моимъ знакомствомъ съ холернымъ амбаромъ я не могу не поставить и знакомства съ холернымъ кладбищемъ, которое я посѣтилъ на другой день послѣ рѣшенія взять борьбу съ холерой въ свое вѣденіе и на свою ответственность.

На большой телѣгѣ въ тотъ день было отвезено туда шесть или семь труповъ людей, умершихъ за эти сутки въ амбарѣ. Возница былъ слегка пьянъ и улыбался чему-то; главный надсмотрщикъ за кладбищемъ былъ изрядно пьянъ и бѣгалъ глазами во всѣ стороны; работники, которые только-что окончили

рыть глубокую яму, были похожи на казнихъ-то каторжниковъ, потому что рыть могилу для холерныхъ считалось послѣднимъ дѣломъ и никто не хотѣлъ идти. Нанятые за три рубля отъ могилы работали нѣхотя, кое-какъ и вели себя крайне цинично.

Когда я подошелъ, четыре трупа были спущены въ яму...

Велѣвъ поправить при себѣ брошенные въ могилу трупы, я ушелъ къ земскому, чтобы съ нимъ просить благочиннаго, бывшаго въ этомъ селѣ, о напутствіи больныхъ и присутствіи при погребеніи, чтобы хоть немного образумить этихъ обезумѣвшихъ отъ страха холеры людей.

Благочинный, почтенный старикъ, былъ слабъ и по горло заваленъ службой, но на другой же день былъ уже со мною и въ амбарѣ, и на кладбищѣ. Подъ открытымъ небомъ онъ выслушалъ исповѣдниковъ, далъ причастія всѣмъ желавшимъ и напутствовалъ умершихъ у могилы, а на третій день, къ несчастью, самъ заболѣлъ холерой.

Въ жизни села этотъ священникъ сослужилъ большую службу. Покровскіе и поволжскіе бунтовщики, двинувшись въ глубь уѣзда, чуть-было и здѣсь не возбудили толпу начать свою расправу. Въ Дергачахъ на базарѣ умерла какая-то баба изъ пришлыхъ. Полиція хотѣла взять трупъ—народъ не давалъ, толпился, начиналъ шумѣть, и дѣло собиралось принять плохой оборотъ. Въ это время подѣхалъ благочинный, позванный кѣмъ-то къ умершей. Подойдя къ толпѣ, онъ обратился къ ней съ немногими словами по поводу умершей, которая, какъ всѣ видѣли, была дѣйствительно мертва, и перешелъ на вопросъ о бѣдствіи, которое Богъ послалъ на людей за ихъ грѣхи и беззаконія. „И каждый изъ насъ,—сказалъ онъ,—сегодня живъ, а завтра можетъ умереть вдали отъ родныхъ, далеко отъ своего дома, и въ смерти каждаго одинъ только Богъ воленъ, а чтобы предстать передъ Нимъ съ чистымъ сердцемъ и спокойной душою, покайтесь въ грѣхахъ своихъ и приходите ко мнѣ въ церковь на исповѣдь и святое причастіе. Завтра я начну приобщать всѣхъ, кто хочетъ идти дальше на заработки“. Было совершенно достаточно этихъ немногихъ, но твердо, въ-время и убѣжденно произнесенныхъ словъ, чтобы дать мыслямъ другое направленіе; полиція тутъ же безпрепятственно взяла послѣ напутствія мертвое тѣло, но зато съ этого дня въ церковь повалила такая масса народа, что съ 6-ти часовъ утра до 2-хъ часовъ дня благочинный каждый день стоялъ въ церкви съ причастіемъ, не пивши и не ѣвши. „Силъ моихъ не хватало,—говорилъ онъ потомъ:—кончишь въ церкви,

по домамъ зовутъ напутствовать; едва закусишь, исповѣдники ждуть, и ужъ такъ я измучился, что и сказать не умѣю.

Между тѣмъ холера въ его ослабленномъ организмѣ принимала такое грозное теченіе и до того не поддавалась никакимъ мѣрамъ, что и всѣ окружающіе, и я отчаялись въ его спасеніи. Нѣсколько разъ на день заѣзжалъ или заходилъ я къ нему, продолжая работы по больницѣ и устройству кладбища, а онъ все слабѣлъ и былъ совсѣмъ плохъ.

По третьему зову прибылъ, наконецъ, изъ другого села священникъ, на долю котораго выпало уже его соборовать. Нѣсколько бабъ, почтмейстеръ и я стояли въ комнатѣ при этомъ тяжеломъ прижизненномъ отпѣваніи человѣка. Земскаго не было, потому что и у него началось небольшое расстройство желудка.

По окончаніи церемоніи священникъ и бабы ушли, въ комнатѣ было тихо, жутко, пахло ладономъ и гарью восковыхъ свѣчей и все будто настроилось къ смерти. Медицинскихъ средствъ уже не хватало, были испробованы всѣ; оставалась Баклановская микстура, и какъ утопающій хватается за соломенку, такъ и я, воспользовавшись минутой спокойнаго промежутка между рвотой, дая умиравшему $\frac{1}{2}$ рюмки этой микстуры, потомъ еще и еще. Благочинный продолжалъ жить. Потомъ дали коньяку съ лимономъ, сельтерской воды со льдомъ, вену, обложили припарками и горчичниками, и благочинный, благодаря Бога, выжилъ. Онъ больше мѣсяца пролежалъ въ постели въ тифоидѣ, но гордости моей не было конца, когда при нашемъ отѣздѣ онъ вышелъ на крыльцо и издали махалъ большой шляпой, прощаясь съ отрядомъ. Въ противоположность этому священнику, готовому на всякія жертвы, я не могу не упомянуть о другомъ, молодомъ, пріѣхавшемъ только по третьему зову. Чтò мѣшало ему пріѣхать раньше, не берусь навѣрное сказать, но слышалъ, что благочинному онъ приводилъ отговорки въ томъ смыслѣ, что у него и жена молодая одна останется, и на поляхъ работы идутъ—присмотръ нуженъ, и что въ то же время въ другомъ селѣ были лишніе священники, которыхъ можно было бы вызвать. Вѣроятно же всего онъ просто боялся холеры и не хотѣлъ ѣхать изъ села, гдѣ у него было все тихо и спокойно. Соборую благочиннаго и давая ему цѣловать евангеліе, онъ употребилъ всѣ усилія, чтобы ни одинъ кусочекъ его одежды не прикоснулся къ постели больного и, какъ земскій фельдшеръ отъ амбара, поспѣшилъ удалиться отъ умирающаго какъ можно скорѣе. Мнѣ это казалось и грустнымъ, и вчужѣ было досадно.

На другой день въ пять часовъ утра меня разбудили къ нему.

Испугавшись, что, можетъ быть, и онъ заболѣлъ, я быстро одѣлся и пріѣхалъ.

— Что съ вами? — спросилъ я, едва увидѣвъ его. Онъ былъ довольно блѣденъ, немного взволнованъ и совершенно одѣтый сидѣлъ за самоваромъ.

— Ахъ, докторъ, я всю ночь не спалъ; садитесь, пожалуйста.

— Да что же такое: поносъ, что-ли, или животъ болитъ?

— Нѣтъ, ничего не болитъ, а такъ, сна совсѣмъ нѣтъ; лежалъ, лежалъ, измучился.

Я чуть не вслухъ проклиналъ его. Положимъ, что каждый болѣетъ по своему и каждому своя жизнь дорога, но мнѣ и по сей часъ кажется безбожнымъ его поступокъ со мною. За день я до того бывалъ въ это время измученъ, что дорожилъ каждой минутой сна, котораго немного выпадало на мою долю. Эти дни были для меня особенно тревожны, такъ какъ благочиннаго я навѣщалъ и ночью, и, уснувъ въ часъ, долженъ былъ подняться въ пять, чтобы выслушать, что у него сна нѣтъ!

Но все-таки онъ и на самомъ дѣлѣ былъ, какъ говорятъ, не въ себѣ. Боязнь за оставленную жену и обстановка среди холерныхъ, это кляло замѣтный отпечатокъ на состояніе его духа и онъ былъ какъ-то экальтивированно тревоженъ.

Успокоивъ его, прописавъ капли и выпивъ съ нимъ чаю, я уѣхалъ.

Черезъ день онъ попросту удралъ изъ села и, донеся только куда-то рапортомъ о назначеніи другого священника въ село, оставилъ приходъ на волю Божью. Благочинному до выздоровленія не говорили объ этомъ, тѣмъ болѣе, что черезъ два дня пріѣхалъ братъ благочиннаго, тоже священникъ. За уѣхавшимъ оказались потомъ и еще грѣхи, въ видѣ двухъ отказовъ напутствовать умиравшихъ, которые такъ и умерли.

Меня просто поражалъ этотъ паническій ужасъ большинства передъ холерой. Боялся ужасно врачъ, боялся до-нельзя фельдшеръ, боялся этотъ священникъ, боялся становой приставъ, боялся простой народъ и бѣжалъ отъ холеры, какъ отъ какой-то ужасной проказы. Въ одномъ селѣ какіе-то благотворители-землевладѣльцы, желая помочь холернымъ и въ то же время боясь холеры, какъ огня, сносились съ заболѣвшими черезъ здоровыхъ не иначе, какъ опуская лекарства и пищу по веревочкѣ изъ окна второго этажа своего дома. Впрочемъ отношеніе народа къ заболѣвавшимъ было, конечно, разное: были такіе, которые самаго близкаго своего оставляли чуть не на произволъ случая; но были и такіе, которые, положившись на судьбу, и пили и ѣли

вмѣстѣ съ холерными. Но общая картина страха слишкомъ рѣзко бросалась въ глаза въ Дергачахъ.

Черезъ день послѣ меня былъ присланъ изъ Самары на помощь дергачевскому врачу фельдшеръ, который и сталъ моимъ помощникомъ. Черезъ недѣлю сюда же прибыли три сестры кронштадтскаго морского госпиталя и всѣ вмѣстѣ мы составили свой холерный отрядъ. Эги лица, фельдшеръ изъ прежнихъ классныхъ, а теперь по вольному найму, и сестры, были чудные люди.

Работать, какъ они работали, и такъ честно относиться къ своему дѣлу, какъ они относились, дай Богъ каждому работнику. Мы поселились всѣ въ одной хатѣ и дружно принялись за работу. Одна изъ сестеръ вела все продовольствіе больницы; другія двѣ чередовались въ уходѣ за больными и въ приѣмѣ со мною амбулаторныхъ, которыхъ и здѣсь было много у насъ на дому. Фельдшеръ былъ моимъ первымъ помощникомъ и нерѣдко самъ ходилъ въ дома на помощь заболѣвшимъ, когда я бывалъ въ другомъ мѣстѣ. Въ началѣ августа былъ присланъ сюда же еще одинъ фельдшеръ, предназначавшійся для санитарной дѣятельности; но, прибывъ, онъ сначала два дня не являлся, затѣмъ, явившись и объяснивъ причину скрыванія неизвѣнемъ сапогъ, попросилъ денегъ на сапоги (ноги его были дѣйствительно обуты въ валенки), а получивъ деньги, снова пропалъ и только черезъ три дня былъ отысканъ полиціей и приведенъ въ пьяномъ видѣ. Дѣлать съ нимъ что-нибудь было трудно и по-неволѣ онъ былъ отправленъ обратно въ Самару.

Къ 28-му іюля больница была наконецъ устроена. Русскіе, татары, мѣстные и пришлые, одинаково принимались въ нее, и за все время до 10-го сентября въ ней перебивало по спискамъ 153 человека. Это было немного, потому что главная масса больныхъ и самый разгаръ холеры пролетѣлъ въ то время, когда только началась устроиваться больница и когда списки велись самымъ неопредѣленнымъ образомъ. Больше всего больныхъ прибывало около 15—20-го іюля, то-есть какъ разъ когда я прибылъ туда. Больные приходили къ амбару, вылеживали холеру и или, оправившись, уходили Богъ вѣсть куда, или отвозились на кладбище. И до меня, и въ первые дни по моемъ пріѣздѣ бывали такія вещи: фельдшеръ считаетъ больныхъ:—Разъ, два, три, четыре, десять, двадцать... а гдѣ же еще пять?

— А, должно, ушли,—отвѣчаетъ служитель;—они здѣсь вчерась были.

— А гдѣ вонъ тамъ подъ киззяками лежалъ?

— А померъ.

— Какъ же его звали?

— Должно, Сидоромъ Поликарповымъ; нѣтъ, кажись, Иваномъ Петровымъ.

Тѣмъ и кончалось.

Земскій фельдшеръ до меня какъ-то справлялся съ этимъ; мой же, которому это было вновѣ, путалъ и вралъ тѣмъ болѣе, что уходившихъ не зналъ, а у мертвого имени не спросишь. Да и какъ было требовать отъ него, когда все это велось подъ открытымъ небомъ?

Больные въ больницу попадали по большей части съ полей уже на серединѣ или въ концѣ болѣзни, иногда въ столь безнадежномъ состояніи, что трудно было и надѣяться на ихъ поправленіе.

Какъ теперь помню одну татарку, пришедшую къ намъ съ двумя дѣтьми. По пути изъ Дергачей въ глубь уѣзда умеръ ея мужъ, а возвращаясь по смерти его обратно, она сама захворала дорогой. Мальченокъ лѣтъ четырехъ, ея сынъ, смотрѣлъ волчкомъ и сидѣлъ забившись въ уголъ и свернувъ ноги калачикомъ; дѣвочка лѣтъ семи ухаживала то возлѣ матери, то возлѣ брата, кормила его чаемъ и хлѣбомъ и выражала столько трогательной нѣжности и заботливости, что вполне замѣняла ему и мать, и няньку. Мать лежала большею частью въ безпамятствѣ, понемногу теряя силы. Неудержимая рвота, поносъ и судороги изнурили ее, а послѣдовательное воспаленіе почечъ и отравленіе свели ее въ могилу.

Отчаянію дѣвочки не было границъ. Она рвалась и металась, зова свою мать, тормозила ее за руки, и ее насилу оттащили отъ умершей. Помню также одного парня, котораго въ пьяномъ видѣ схватила холера. Привезенный въ баракъ ночью, онъ умеръ на утро на моихъ рукахъ. Его отнесли за амбаръ въ ожиданіи тѣлги.

— Ваше благородіе, пожалуйста, посмотрите, покойникъ шевелится!— подошелъ ко мнѣ черезъ нѣсколько минутъ служитель:— не живъ ли онъ?— Я не сомнѣвался, что онъ мертвъ, зналъ, что это наступало окоченѣніе мышцъ, и отослалъ служителя. Черезъ двѣ минуты приходитъ другой съ тѣмъ же зовомъ. Для вида я пошелъ, раскрылъ покойника, долго слушалъ умершее сердце, потрогалъ руки и ноги, которыя продолжали то сгибаться, то разгибаться понемногу, и окончательно сказалъ, что онъ мертвъ.

Одинъ больной недѣлю пролежалъ совсѣмъ безъ памяти и движенія и сестра, насильно разжимая ему зубы, выкормила и выходила его.

Одна баба обладала такимъ стоицизмомъ, что ни убѣжденія,

ни насиліе не могли вынудить ее принять лекарство. Даже въ безпамятствѣ она, при попыткѣ разжать ей ротъ, такъ вѣрно сжимала зубы, что всѣ усилія были бесполезны. Одинъ молодой парень, только-что умиравшій и оправившійся отъ холеры, поѣлъ съ радости орѣховъ, Богъ вѣсть откуда-то ему доставшихся, къ ночи вдругъ снова захворалъ и на утро умеръ. И много, много грустныхъ картинъ прошло передъ нашими глазами.

Чисто денежныя и хозяйственныя больничныя дѣла и амбулаторныя и домашніе больные не мало отрывали меня отъ больницы и, къ сожалѣнію, по-неволѣ приходилось иногда упускать что-нибудь. Отдавая все свое время работѣ, я жалѣлъ только, что въ суткахъ 24, а не 48 часовъ, потому что, можетъ быть, только этихъ часовъ хватало бы для дѣла.

Съ дергачевскимъ врачомъ мы окончательно разошлись; онъ не ходилъ къ намъ, я не ходилъ къ нему...

Около середины августа, когда уже наладилось дѣло и стало возможнымъ по введенному порядку довѣрить больницу фельдшеру, я съ земскимъ начальникомъ выѣхалъ для осмотра громадной Натальинской волости, такъ какъ по извѣстіямъ и тамъ были случаи заболѣванія холерою. Мы взяли съ собою присланные четыре насоса для дезинфекціи, сулемы на нѣсколько ведеръ, чтобы раздать это въ селахъ, нѣсколько бутылокъ валерьяны, опиѣ, капель Боткина и нашатырнаго спирта, какъ анти-холерныя средства, и двинулись въ путь на трое сутокъ. Дорога была хорошая и ровная. По обѣимъ сторонамъ тянулись поля съ хорошимъ урожаемъ, какъ бы въ замѣну безхлѣбцѣ прошлаго года. Посѣвы и всходы были бы еще удачнѣе, не будь такъ называемой общественной запашки, такъ какъ, работая на общественныхъ поляхъ, крестьяне упустили свои работы и, наверстывая потраченное время, справляли запашку свою кое-какъ на скорую руку, а съ уборкой тоже позапаздывали.

Не мало земли было и негодной, перемѣшанной съ известнякомъ, зашедшимъ сюда отъ отроговъ Урала. Громадныя пространства такой негодной земли цѣнились по 12—14 рублей за десятину и служили прежде только для показанія имущественнаго ценза мировымъ судьямъ. Раза три-четыре по пути намъ попадалась машинная уборка и обработка хлѣба, локомобили, вѣялки, и молотилки.

Изъ села Натальинскаго, гдѣ оказался земскій фельдшеръ, которому можно было поручить помощь на случай заболѣванія, мы направились на хуторъ К., на границѣ уѣзда. Какъ вѣроятно и большая часть русскихъ усадебъ и хуторовъ, этотъ хуторъ рас-

положился среди обширнаго пространства степей и полей со всѣми своими службами и угодьями. Тутъ были и сарай, и конюшни, и амбары, и кухня, и мельница, и прудъ, и рѣчонка, и все подъ руками. На 20—20 верстъ кругомъ не было ни одного дома, въ которомъ жили бы такіе же землевладѣльцы, и домъ по-неволѣ долженъ былъ обходиться самъ собою. Владѣтель этого хутора и окружающихъ полей, К., въ молодости былъ большимъ чудачкомъ. Онъ сильно кутилъ и блажилъ, какъ только можетъ придти на умъ самородочному, самодѣльному русскому человѣку. Теперь онъ былъ высокій, коренастый, но уже постарѣвшій мужчина съ признаками начала спинной сухотки, отъ которой съ успѣхомъ, по его словамъ, лечился кузьмичевой травой. Собираютъ эту траву недалеко отъ Самары и почти вся губернія лечится ею отъ всѣхъ болѣзней. К., напримѣръ, лечился отъ стрѣляющихъ болей въ ногахъ и неувѣренной походки; дергачевскій благочинный лечился отъ хроническаго катарра желудка; крестьяне совѣтовали ее отъ ревматизма, кашля и лихорадки. Переночевавъ у К., мы двинулись дальше. Начинались холмы или, вѣрнѣе, большія ложбины, перегороженные большими насыпями, точно громадное желто-зеленое море начало слегка волноваться и застыло въ допотопныя времена. Это были вѣтви Урала. Горъ не было видно и формы холмовъ казались длинными лапами растянувшагося великана, надвинувшагося на плоскость равнины. Мы проѣхали громадное пространство. Миновали нѣсколько селъ и поселковъ и вездѣ было тихо. Въ Муравьяхъ было 4—5 случаевъ холеры, но и тѣ уже прошли. Намъ оставалось только раздать на всякій случай лекарства и сулему съ насосами, гдѣ старость, гдѣ уряднику, и возвратиться обратно.

Немного дней спустя изъ Покровскаго были присланы два санитары для производства дезинфекціи въ Дергачахъ, и по окончаніи ихъ работъ я съѣздивъ съ ними въ Карпенки для этой же цѣли. Здѣсь же я собралъ всѣ оставшіяся мои вещи и простился съ Карпенками навсегда. Съ учителемъ и учительницей мнѣ было особенно жалъ прощаться. Милые интеллигентные люди, мужъ и жена, заброшенные въ среду мужиковъ, они не находили нигдѣ, кромѣ домашнего очага, сочувственной души. Недостаточно твердые и увѣренные въ своихъ молодыхъ силахъ, они по-неволѣ подчинялись требованіямъ и взглядамъ сельчанъ, и не шли дальше предписаній управы.

— Ну, помилуйте, что можно сдѣлать, когда каждый мужикъ контролируетъ и слѣдитъ за каждымъ вашимъ шагомъ и обсуждаетъ его по своему, когда на сходѣ онъ скажетъ: не хочу, и

вы ничего не сдѣлаете! Вѣдь знаете, что они насъ за ничто считаютъ, что они смотрятъ на насъ какъ на дармоѣдовъ, обирающихъ мірскія деньги, какъ на батраковъ, которымъ они могутъ позволить или запретить, что хотятъ.

Грустно было проститься съ этими людьми, когда сознавалъ, что имъ предстояло еще много, много вынести, живя въ зависимости отъ схода, пока изъ этой борьбы не выработаются какіе-нибудь удивительные типы или озлобленныхъ на свою гнетущую зависимость, или покорившихся рутинѣ и потерявшихъ понемногу всѣ стремленія и всѣ интересы, или пока, наконецъ, не прольется нѣсколько свѣта въ эту народную тьму..

Холера, начавшись здѣсь скоро вслѣдъ за Покровскимъ, уже затихла, да и въ селѣ былъ писарь изъ отставныхъ фельдшеровъ, довольно свѣдущій и разсудительный въ дѣлѣ поданія помощи. Въ двое сутокъ санитары успѣли продезинфицировать, то-есть только побрызгать, какъ это всюду велось, все село, сдѣлали то же съ сосѣднимъ Розенталемъ, и мы уѣхали подъ звонъ неугомонныхъ колокольчиковъ.

Между тѣмъ холера все убывала. Начинались холода. Предстояло еще только принять мѣры на случай развитія холеры въ селѣ Новорѣпномъ во время ярмарки, куда я отправилъ фельдшера съ одной сестрой, а самъ остался доживать въ Дергачахъ. Отъ товарищей ничего не было слышно, но въ виду прекращенія холеры, на 14-е сентября я уже назначилъ отъѣздъ.

Все время пребыванія въ Дергачахъ, вся дѣятельность больницы пролетѣла такъ быстро, что мнѣ было жаль покинуть и село, и больницу, и семью земскаго начальника, гдѣ я провелъ много хорошихъ минутъ дѣятельности и отдыха отъ трудовъ. Незадолго до отъѣзда, узнавъ въ волостномъ правленіи объ особенно бѣдныхъ, я, при помощи земской начальницы и дочери здѣшняго священника, роздалъ имъ вещи, оставшіяся отъ карпенковской раздачи и пополненныя новою присылкою изъ Керчи, отъ знакомой мнѣ учительницы. Еще спустя нѣсколько дней, когда фельдшеръ и сестра благополучно возвратились изъ Новорѣпнаго, былъ отслуженъ на площади благодарственный молебенъ объ окончаніи холеры, въ амбаръ были сложены всѣ вещи, бѣлье и принадлежности больницы, амбаръ заколотили, запечатали и сдали земскому.

Въ этотъ вечеръ было назначено земскимъ начальникомъ общее засѣданіе по поводу окончанія холерныхъ дѣлъ, моего отчета о нихъ и сдачи имущества. На засѣданіе, кромѣ насъ

двоихъ, пришли земскій и желѣзнодорожный врачъ, становой приставъ, урядникъ и нѣсколько человѣкъ мужиковъ.

По окончаніи моего отчета желѣзнодорожный врачъ покровительственнымъ тономъ, но въ жестовыхъ выраженіяхъ, сдѣлалъ мнѣ нѣсколько выговоровъ по поводу того, что я въ чужой монастырь пришелъ съ своимъ уставомъ, что я самостоятельно взялся за борьбу съ холерой, а не предложилъ себя въ помощники земскому врачу и не хотѣлъ спрашивать его руководительства, и много въ этомъ родѣ, что заставляло меня и краснѣть, и блѣднѣть. Дергачевскій врачъ чрезвычайно раздраженнымъ тономъ посмѣялся надъ однимъ моимъ рецептомъ, котораго составить было нельзя въ тѣхъ пропорціяхъ, какія я написалъ, надъ моимъ замѣчаніемъ, что въ холерное время во всякой болѣзни нужно подавать помощь немедленно, и говорилъ со мною рѣзко и раздраженно, видимо волнуясь.

Въ это прощальное засѣданіе я чувствовалъ себя ужасно скверно, точно я сдѣлалъ что-то очень дурное. Два врача, такъ безцеремонно расправлявшіеся со мною по поводу моего не-товарищескаго къ нимъ отношенія, нарушившаго традиціи медицинской академіи, до того поразили меня, что я не находилъ словъ, что отвѣчать имъ. Я зналъ, что я ни въ чемъ не виновать передъ ними; я зналъ, что они больше моего нарушили традиціи врачебнаго сословія, но, не ожидая такихъ рѣзкихъ выраженій и такого безцеремоннаго отношенія ко мнѣ, я казался совсѣмъ побѣжденнымъ ими. Мы встрѣтились сухо, а чтобы не прощаться съ ними, я ушелъ раньше. Мнѣ было и стыдно, и больно за себя. Больше мы не видались.

Наступилъ день отъѣзда.

Наканунѣ мы укладывались въ нашей квартирѣ. Ворохи бумажекъ, тряпья и сору валялись на полу; чемоданы, корзины и ящики стояли въ углахъ и на дорогѣ; мы всѣ хлопотали и собирали свои пожитки, когда вошелъ земскій начальникъ.

— А васъ народъ самъ вести хочетъ, — вдругъ объявилъ онъ мнѣ.

— Что вы?!

— Право; вотъ на сходѣ говорятъ, что мы, молъ, его сами повеземъ изъ села.

Я не сомнѣвался, что это дѣло рукъ земскаго, всячески уговаривалъ его не позволять этого дѣлать, но подъ конецъ сдался.

Въ Покровское мы прибыли поздно ночью. Все спало. Мои оба товарища жили уже здѣсь вѣсть. Одинъ только на дняхъ

прѣхалъ изъ Ровнаго, другой доканчивалъ дѣла въ Покровскомъ. Мы ожидали только извѣстія отъ нашего старосты, чтобы двинуться въ обратный путь, но его долго еще не было. Только въ началѣ октября мы получили телеграмму, отзывающую насъ обратно въ Петербургъ. Сестры давно уѣхали, холера кончилась, бараки были закрыты, и, не имѣя другого дѣла, мы чередовались въ амбулаторныхъ приѣмахъ въ общественной больницѣ, пока земская поправлялась послѣ погрома.

Поздно вечеромъ 14-го октября мы втроемъ покинули Покровскую слободу и съ нею новоузенскій уѣздъ, увозя съ собою столько впечатлѣній, какъ никогда, вѣроятно, во всю жизнь не придется больше перенести. Товарищи нашей партіи всѣ были живы и здоровы, всѣ благополучно въ разное время возвратились въ Петербургъ, и, отдохнувъ немного и войдя понемногу въ свою прежнюю жизнь, начали черезъ мѣсяцъ сдавать прерванные весенюю экзамены.

И. Б.



ИТОГИ

СТАРАГО

МОСКОВСКАГО ЦАРСТВА

Когда говорить о старомъ самобытномъ русскомъ преданіи, о подлинныхъ началахъ русской жизни, которыя покинуты были съ XVIII-го вѣка, то этой настоящей русской старины надо искать не столько въ непосредственной до-петровской эпохѣ, сколько въ московскомъ царствѣ XVI-го вѣка. XVII-й вѣкъ, особливо въ концѣ, былъ уже затронутъ новымъ броженіемъ; въ жизни начался уже расколъ, не только тотъ расколъ, который отдѣлилъ большую массу народа отъ господствующей церкви, но и тотъ, какой возникалъ въ другомъ слоѣ общества, гдѣ начиналась наклонность къ западному образованію, гдѣ явились дѣятели южно-русской и западно-русской школы, которые въ свою очередь возбуждали недовѣріе или даже прямую вражду въ людяхъ стараго вѣка. Въ XVII вѣкѣ начинается уже то исканіе новыхъ формъ культурной жизни, которое закончилось и затерялось потомъ въ Петровской реформѣ. Правда, старина была сильна и теперь; какъ извѣстно, приверженцевъ ея можно было не мало встрѣтить и въ средѣ самаго XVIII-го вѣка,—но еслибы мы искали подлинныхъ, еще нетронутыхъ формъ этой старины въ ея полномъ свѣжемъ господствѣ, мы нашли бы ихъ только въ московскомъ царствѣ XVI-го столѣтія.

Въ самомъ дѣлѣ, это была характерная эпоха. Въ это время вполне сформировался тотъ складъ государственнаго, церковнаго и общественнаго быта, который готовился издавна, зарождался

впервые подъ гнетомъ татарскаго владычества и возростая главнымъ образомъ въ исторіи Москвы. Среди всѣхъ тревоженій русской жизни этихъ вѣковъ невозможно не видѣть этого основного движенія, которое все больше отодвигало русскую древность первыхъ вѣковъ и ставило на ея мѣсто новыя начала. Московское царство слагалось въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій, съ первыхъ, сначала робкихъ и мелкихъ, собирателей до тѣхъ московскихъ государей XV-го вѣка, которые въ сущности были уже царями, какъ Иванъ III, не нося пока царскаго титула. Нѣкоторые изъ новѣйшихъ историковъ видѣли еще въ теченіе всего XVI-го вѣка, въ самое царствованіе Грознаго, опасное броженіе старыхъ удѣльныхъ элементовъ; но въ сущности уже при Иванѣ III какое-либо цѣльное и органическое противодѣйствіе этихъ элементовъ возникавшему царству было немислимо; намъ хотѣть изобразить эти элементы опасными даже при Иванѣ Грозномъ; но боярскія интриги могли разыгаться только благодаря тому, что на великокняжескомъ престолѣ была то женщина, то ребенокъ,—и здѣсь роль боярства, изъ старыхъ удѣльныхъ князей, была возможна лишь потому, что оно гнѣздилося подлѣ этого великокняжескаго престола, и только въ силу отраженія великокняжеской власти боярство могло имѣть значеніе. Трудно представить себѣ (и упомянутые историки этого не объясняютъ), въ какую форму могло бы сложиться это противодѣйствіе удѣльно-боярскихъ элементовъ, чтобы повліять на самый характеръ государственнаго строя: независимость какихъ-либо удѣловъ была немислива; удѣльно-боярскія притязанія не шли дальше *придворной* интриги и *придворной* борьбы; единственный практическій протестъ могъ заключаться только въ „отѣздѣ“, то-есть бѣгствѣ, которому только случайно могло помочь то обстоятельство, что рядомъ была другая русская страна, хотя и подъ чуждой властью. Передъ тѣмъ цѣлые вѣка прошли въ безплодной борьбѣ удѣльныхъ родовъ, руководившихся только разрозненными эгоистическими интересами, и изъ этой борьбы вышла побѣдительницей Москва: удѣльный сепаратизмъ долженъ былъ, наконецъ, вызвать противовѣсъ въ стремленіи къ народному и государственному объединенію, и разъ эта общая цѣль была поставлена, удѣльное начало было подорвано окончательно и навсегда: съ тѣмъ содержаніемъ, какое оно заявляло въ исторіи, оно потеряло право на существованіе. Успѣхъ Москвы оправдался исторической логикой тогдашнихъ условій.

Этотъ успѣхъ былъ, однако, очень односторонній. Государство объединилось прежде всего въ силу внѣшнихъ, такъ сказать, боевыхъ требованій. Первой необходимостью было сосредоточеніе

народныхъ силъ для вѣшняго обезпеченія національной жизни. Русскій народъ раскидывался на огромномъ пространствѣ, но ему еще грозила опасность отъ стараго врага на востокѣ, югѣ и отъ новыхъ враговъ на западѣ: въ этомъ послѣднемъ направленіи борьба была труднѣе и московское государство стало въ особенности распространяться на востокѣ, относительно котораго оно было сильнѣе и матеріальными и культурными средствами; въ концѣ концовъ, захвативъ Новгородъ и Псковъ, оно одерживало важныя успѣхи и на западѣ. Вѣшняя сила государства уже съ конца XV-го вѣка производила сильное впечатлѣніе въ разныхъ направленіяхъ. На югѣ, въ славянскихъ земляхъ послѣ паденія славянскихъ царствъ, и въ греческомъ мірѣ послѣ паденія Константинополя, московская Россія осталась единственнымъ свободнымъ и сильнымъ православнымъ государствомъ, и здѣсь начинали уже искать въ ней помощи и милости. На востокѣ магометанскія массы послѣ паденія Казани и Астрахани остались вѣрны своей религіи и долго (даже до сихъ поръ) чуждались русскаго культурнаго вліянія; но высшій слой, начиная съ казанскихъ царей и царевичей, мурзы и т. д. давно (даже во времена татарскаго ига) склонялись къ этому вліянію, принимали крещеніе и вступали въ ряды русскихъ князей, бояръ и служилаго сословія. На западѣ эта сила московскаго государства также обратила на себя вниманіе и вошла въ расчеты западной европейской политики, государственной и церковной, — послѣднее потому, что католицизмъ питалъ надежду распространить и на Россію то вліяніе, какое онъ оказывалъ уже въ западной Россіи (литовскомъ княжествѣ), а одно время въ самой Греціи.

Въ этихъ политическихъ условіяхъ, внутреннихъ и вѣшнихъ, шло образованіе политическихъ идей московскаго великаго княжества, ставшаго, наконецъ, царствомъ, и эти идеи достигли уже своего полнаго выраженія во временахъ Ивана Грознаго...

Но этому широкому политическому горизонту, какъ мы уже видѣли, далеко не отвѣчали средства умственнаго образованія и культуры. Интересы образованія были заброшены издавна. Руководящій классъ, князья и боярство еще въ періодѣ до-татарскомъ были поглощены тѣсными и узкими вопросами удѣльнаго быта и ихъ мысль не возвышалась уже до тѣхъ широкихъ интересовъ народа, какіе нѣкогда одушевляли даже древнихъ князей, какъ Владиміръ Святий, Ярославъ, Владиміръ Мономахъ. Съ теченіемъ времени единственной формой образованія стала элементарная грамотность и то тѣсное „внижное почитаніе“,

которое такъ восхваляемо было старыми книжниками и которое въ сущности оставляло ихъ въ состояніи полнаго застоя и крайней скудости знаній. Въ концѣ концовъ совсѣмъ заглохла всякая потребность умственнаго труда и распространилось то недозвѣріе къ этой работѣ мысли, которое надолго (и даже до нашихъ дней) осталось трудно одолимой помѣхой къ распространенію правильнаго и широкаго просвѣщенія. Мы видѣли, какія бывали послѣдствія такого положенія вещей: крайній недостатокъ книжныхъ людей, даже для исполненія церковныхъ нуждъ; слѣпая вѣра въ букву и вмѣстѣ порча книгъ; въ громадной массѣ людей превращеніе вѣры въ обрядовое суевѣріе; распространеніе ересей, которое во многихъ отношеніяхъ было связано съ простой недостаточностью образованія, и противъ которыхъ высокопоставленные въ іерархіи книжники считали единственно возможнымъ и необходимымъ дѣйствовать только казнями; наконецъ, вызовъ чужихъ ученыхъ людей, какъ Максимъ Грекъ, — потому что своихъ совсѣмъ не было, — и тяжелая судьба этихъ ученыхъ людей въ невѣжественной средѣ. Книжные вопросы становились, наконецъ, дѣломъ великой важности не только для церкви, но и для самого государства: для обрядоваго суевѣрія, которое было всеобщимъ, требовалось, наконецъ, опредѣлить хотя бы правильность чтенія, когда было въ ходу множество испорченныхъ книгъ; подобные вопросы, какъ и сужденіе о ересь и еретикахъ, разрѣшались соборами и на эти соборы, кромѣ высшихъ іерарховъ и особливо почитаемыхъ старцевъ, являлись царь и бояре.

Въ половинѣ XVI-го вѣка на московскомъ велико-княжескомъ престолѣ былъ юноша, будущій Иванъ Грозный. Мы говорили уже, что личность и историческая дѣятельность его до сихъ поръ составляютъ неразрѣшенную историческую задачу. Не входя въ разборъ противорѣчивыхъ мнѣній о его личномъ характерѣ и результатахъ его правленія, несомнѣнно, что это была оригинальная и одаренная натура; съ дѣтства, повидимому испорченный дурною обстановкой, съ пренебреженнымъ воспитаніемъ, онъ пріобрѣлъ задатки будущаго деспота и тирана, но рано пріобрѣлъ и широкую начитанность, которая была тогдашнимъ образованіемъ, и воспринялъ идеи, подобавшія московскому царю той эпохи. Новѣйшіе историки ревностно защищаютъ его память во имя его великой государственной заслуги: онъ завершилъ созданіе московскаго государства, увеличилъ его могущество, намѣтилъ будущія задачи; но для вѣрной оцѣнки его собственной заслуги необходимо вспомнить предшествующую исторію. Мы увидимъ, что его личная инициатива въ очень сильной степени опиралась на предъ-

идущее, часто была только послѣдовательнымъ, какъ бы вынужденнымъ продолженіемъ стараго, и, быть можетъ, болѣе внимательное изученіе значительно ограничить размѣры этой собственной инициативы.

Въ самомъ дѣлѣ до сихъ поръ, — вслѣдствіе обычной, отчасти официальной сухости лѣтописнаго разсказа, — намъ далеко не достаточно извѣстны подробности внутренней исторіи того времени: не вполне ясно, что бывало собственной мыслью и исполненіемъ Ивана Грознаго или что было дѣломъ его совѣтниковъ и руководителей, что указывалось прямо самою жизнью; кака была роль Сильвестра, Адашева, митрополита Макарія; были ли достаточны мотивы того свирѣпаго преслѣдованія, жертвой котораго были его бояре и которое такъ настойчиво оправдывается новѣйшими историками. Понятно, что только съ точнымъ изслѣдованіемъ этихъ вопросовъ для насъ выяснится дѣйствительное значеніе личности и эпохи Ивана Грознаго. Изслѣдованія, сдѣланныя до сихъ поръ, еще не полны.

Нѣкогда Константинъ Аксаковъ указывалъ въ характерѣ Ивана Грознаго извѣстную черту художественности. Казалось страннымъ прилагать эту черту къ дѣяніямъ злобнаго мучителя: это была бы художественность Нерона, сжигающаго Римъ для красиваго зрѣлища — подобную возможность допускалъ, впрочемъ, и Аксаковъ ¹⁾. Но, дѣйствительно, въ Иванѣ Грозномъ была фан-

¹⁾ „Іоаннъ IV былъ — природа художественная, художественная въ жизни. Образы являлись ему и увлекали его своею внѣшней красотой; онъ художественно понималъ добро, красоту его, понималъ красоту раскаянія, красоту доблести — и, наконецъ, самне ужасы влекли его къ себѣ своею страшною картинностью. Одно чувство художественности, не утвержденное на строгомъ, на суровомъ нравственномъ чувствѣ, есть одна изъ величайшихъ опасностей душъ человѣка... Человѣкъ довольствуется однимъ благоуханіемъ добра, а добро, само по себѣ, вещь для него слишкомъ грубая, тяжелая и черствая. Это человѣкъ, безнравственный на дѣлѣ, но понимающій художественную красоту добра и приходящій отъ нея въ умиленіе. Дѣло самое доброе ему не нужно и не подъ силу, онъ чувствуетъ только, какъ оно изящно-хорошо, — и довольствуется этимъ. — Такое состояніе почти безнадежно. Ибо тотъ, кто не понимаетъ добра и не чувствуетъ его, можетъ понять, почувствовать и преобразиться нравственно. Тотъ же, кто чувствуетъ добро, но только художественно, кто наслаждается его благоуханіемъ, а дѣло самое откидываетъ, — тотъ едва ли можетъ исправиться... Но есть другая сторона художественнаго чувства, въ свою очередь губящая человѣка. Художественное чувство можетъ отыскать красоту и въ самомъ дикомъ, и въ самомъ низкомъ явленіи...

„Въ Іоаннѣ была такая художественная природа, не основанная на нравственномъ чувствѣ. Она влекла его отъ образа къ образу, отъ картины къ картинѣ, — и эти картины любилъ онъ осуществлять себѣ въ жизни. То представлялась ему площадь, полная присланныхъ отъ всей Земли представителей, — и Царь, стоящій тор-

тазія, желаніе придать извѣстную если не поэтическую, то реторическую окраску событіямъ и своимъ рѣчамъ, любовь къ царственной торжественности, къ высокопарному языку. Никто изъ московскихъ государей прежняго времени не выступалъ на все-народную сцену, какъ Иванъ Грозный, никто не искалъ, какъ онъ, того, что можно назвать эффектомъ; ни у кого государственное дѣло не принимало такого показного вида и не облакалось въ такія выдумки, какъ удаленіе въ Александровскую слободу, посланія къ московскому народу, монашеское переодѣваніе и т. п.; одной изъ такихъ выдумокъ была опричнина, и новѣйшіе историки оправдываютъ ея учрежденіе, какъ ловкій шахматный ходъ, цѣлью котораго было окончателно разбить удѣльную традицію и поставить боярство въ прямую зависимость отъ царской воли. Дѣло въ томъ, однако, что царскій авторитетъ былъ уже такъ силенъ давно, что едва ли была надобность въ театральномъ эффектѣ, и мнимая государственная польза опричнины сопровождалась извѣстными дѣяніями опричниковъ, являвшихся какъ бы специальными слугами царя, дѣяніями, которыя вмѣстѣ съ другими однородными фактами должны были оставить самый печальный слѣдъ на народномъ характерѣ: на этой сторонѣ дѣяній Ивана Грознаго историки останавливались, къ сожалѣнію, мало. Они мало останавливались и на другой чертѣ его характера. Среди государственныхъ плановъ слишкомъ выдается грубое и коварное себялюбіе. Эта черта была уже замѣчена (какъ мы имѣли случай указывать) по его собственнымъ признаніямъ въ посланіи къ Курбскому, когда онъ говорилъ о преслѣдованіи бояръ: онъ могъ „за себя стать“, но въ личномъ мщеніи совсѣмъ забывалось и христіанство, на которое онъ постоянно ссылался, и государство, какъ забывалось государство и тогда, когда онъ собирался покинуть Россію и бѣжать въ Англію, или когда въ разговорахъ съ иностранцами онъ бранилъ русскій народъ, для просвѣщенія котораго онъ ничего не придумалъ сдѣлать, а для нравственной порчи сдѣлалъ очень много.

жественно, подъ освѣщеніемъ крестовъ, на Лобномъ мѣстѣ, и говорящій рѣчь народу. То представлялось ему торжественное собраніе духовенства, и опять Царь по срединѣ, предлагающій вопросы. То явились ему, и тоже съ художественной стороны, площадь, уставленная орудіями пытки, страшное проявленіе царскаго гнѣва, громъ, губящій народи... и вотъ—ужасы казней московскихъ, ужасы Новгорода. То явились предъ нимъ монастырь, черныя одежды, постъ, молитва, покаяніе, труды и земные поклонны,—картина царскаго смиренія,—и, увлеченный ею, онъ обращалъ и себя и опричниковъ въ отшельниковъ, а дворецъ свой—въ обитель. —Какъ трудно тому, кто любитъ красоту покаянія, покаяться въ самомъ дѣлѣ!“ (Полное собраніе сочиненій К. С. Аксакова, т. I. М. 1861, стр. 167—168).

Въ политической жизни московскаго государства, внѣшней и внутренней, Иванъ Грозный тѣсно связанъ съ дѣлами и стремленіями своихъ предшественниковъ. Паденіе татарскихъ царствъ близилось уже само собой; окончательное довершеніе его, конечно, потребовавшее значительной энергіи, увеличило его авторитетъ. Завоеваніе Сибири, опять стоявшее на очереди, было, какъ извѣстно, начато совсѣмъ независимо отъ участія московскаго правительства. Внутри, значеніе удѣловъ, независимость Новгорода и Пскова подорваны были задолго до Грознаго. Едва ли сомнительно, что Иванъ Грозный, какъ въ настоящее время его апологисты, преувеличивалъ опасности отъ боярства и отъ склонности Новгорода къ Литвѣ; и если даже допустить, что его подозрѣнія имѣли извѣстное основаніе, его политика была только истребленіемъ: боярство могло быть воздержано гораздо менѣе жестокими средствами, а съ паденіемъ Новгорода, съ истребленіемъ и выселеніемъ его жителей, несомнѣнно потеряна была значительная доля его культурныхъ приобрѣтеній. Факты, конечно, производили свое дѣйствіе: власть московскаго царя выросла и установилась, но съ національнымъ ущербомъ.

Возвеличеніе этой власти было одной изъ главныхъ заботъ Ивана Грознаго, но и въ этомъ отношеніи онъ только довершалъ давно начатое дѣло. Приблизительно со второй половины XV-го вѣка, лѣтъ за сто до Грознаго, идея московскаго царства уже созрѣвала. Первостепенное значеніе Москвы не подлежало сомнѣнію: немногіе сохранившіеся удѣлы сохраняли только тѣнь независимости; потребность единой государственной силы становилась наглядной. Съ конца XV-го вѣка московскій великій князь иногда уже называется царемъ. Къ идеѣ „царства“ вели всѣ книжныя, а затѣмъ народныя, наконецъ практическія соображенія. Разъ Москва свергла татарское иго, свободное московское государство уже тѣмъ самымъ превращалось въ царство: это было уже единственное политическое представленіе. Его вычитывали изъ библейской исторіи и изъ всѣхъ византійскихъ писаній, знавшихъ политическую власть только въ лицѣ византійскаго императора. Бракъ Ивана III съ византійскою царевною наводилъ на мысль о византійскомъ преемствѣ, и мы видимъ прежде, что въ концѣ XV-го вѣка, съ помощью византійскихъ и южно-славянскихъ преданій и политическихъ ожиданій, складывается легенда о перенесеніи въ Москву древнихъ царскихъ регалій, происходившихъ отъ древняго восточнаго царства. Мы видимъ также, что, какъ еще съ XIV-го вѣка московская митрополія стала могущественной союзницей московскаго великокня-

женія, такъ въ XV вѣкѣ московскіе государи приобрѣтають сильныхъ союзниковъ въ цѣлой группѣ монастырскихъ дѣятелей, — какова была, кромѣ школы Сергія Радонежскаго, школа Пафнутія Боровскаго. Выученикъ этой послѣдней школы былъ Іосифъ Волоцкій, и затѣмъ цѣлый рядъ его ревностныхъ послѣдователей, въ числѣ которыхъ былъ, наконецъ, знаменитый митрополитъ Макарій, другъ и наставникъ Грознаго въ первую половину его царствованія. Мы видѣли, какъ сложились взгляды Іосифа Волоцкаго. Весь проникнутый „божественными писаніями“, — въ число которыхъ входили у него даже византійскіе „градскіе законы“, — Іосифъ понималъ церковную и политическую жизнь только въ тѣснѣйшемъ ихъ союзѣ и въ тѣхъ чертахъ, какія онъ видѣлъ въ византійскихъ писаніяхъ и исторіи. Церковь имѣла свои права, государство имѣло свои, но оно должно было поддерживать церковь, во-первыхъ, обезпечивая ея имѣнія, и во-вторыхъ, преслѣдуя, по ея указанію, еретиковъ. Для того и другого онъ вычиталъ въ писаніяхъ цѣлую массу доказательствъ, и хотя въ Москвѣ еще не было царя, онъ примѣнялъ къ московскому великому князю тѣ черты власти и правительственнаго достоинства, каковыми въ писаніяхъ окруженъ былъ византійскій императоръ; въ московскомъ великомъ князѣ онъ уже вполне готовъ былъ видѣть московскаго царя съ византійскими атрибутами.

Къ двадцатымъ годамъ XVI-го столѣтія относятся извѣстныя посланія Филоея, старца Елеазарова псковскаго монастыря, къ одному дьяку и къ самому великому князю Василию Ивановичу. Первое написано было по поводу того же извѣстнаго Николая Нѣмчина, котораго обличалъ Максимъ Грекъ и который по своему звѣздочетству предсказывалъ на 1524 годъ великое „премѣненіе“ не только на землѣ, но на солнцѣ, лунѣ и во всемъ мірѣ. Старецъ Филоей, конечно, опровергаетъ звѣздочетство: всякая тварь обновляется и обращается духомъ святымъ, а не звѣздами; звѣзды и планеты не имѣютъ жизни и сами движутся ангельскими силами ¹⁾; толки о вліяніи звѣздъ на судьбу людей — это „воцунны и басни“, идущія отъ халдеевъ; перемѣны въ странахъ идутъ также не отъ звѣздъ, а отъ Бога, который за благочестіе ихъ возвышаетъ, а за грѣхи предастъ ихъ на разореніе, какъ предалъ грековъ 90 лѣтъ тому назадъ (за измѣну православію на флорентійскомъ соборѣ). Но и латины не правы, когда говорятъ о благоволеніи къ нимъ Бога, почему и царство

¹⁾ По Шестодневу и Козьмѣ Индикоплову.

римское стоитъ „неподвижно“: латины—настоящіе еретики, и если стѣны ихъ великаго Рима не плѣнены, то плѣнены ихъ души дьяволомъ — и по мнѣнію старца Филоея одно изъ главныхъ, если не главное преступленіе латинянъ состоитъ въ томъ, что они служатъ на опрѣсновахъ. А теперь,—говоритъ старецъ Филоей,—есть только одно православное царство московское: „Нынѣшнее православное царствіе пресвѣтлѣйшаго и великостолнѣйшаго государя нашего, иже по всей поднебеснѣй *единому христіаномъ царя* и браздодержателя святыхъ божіихъ престолъ святыхъ вселенскія церкви, иже *вмѣсто римской и константинопольской*, иже есть въ богоспасенномъ градѣ Москвѣ, святаго и славнаго Успѣвія пресвятыя Богородицы, иже едина во всей вселеннѣй паче солнца свѣтитъ... Вся христіанская царства преидоша въ конецъ и *сидошася во едино царство нашего государя*, по пророческимъ книгамъ, то-есть российское царство; два убо Рима падоша, а третій стоитъ, а четвертому не быти. Многажды апостолъ Павелъ поминаетъ Рима въ посланіихъ, въ толкованіи глаголетъ Римъ — весь міръ; уже бо христіанской церкви исполнися глаголъ блаженнаго Давида“ (приводятся пророчества Давида и Іоанна Богослова)... „Видиши ли... яко христіанскія царства потопишася отъ невѣрныхъ. Токмо единого нашего государя царство, благодатію Христовою, стоитъ“... Но старецъ предостерегаетъ: „подобаетъ царствующему держати сіе съ великимъ опасеніемъ и къ Богу обращеніемъ, и не уповати на злато и на богатство исчезновенное“.

Въ посланіи къ великому князю Василю Ивановичу, старецъ Филоей указывалъ, что великій князь долженъ позаботиться, чтобы не „вдовствовала святая соборная церковь“ (онъ разумѣлъ Новгородъ и Псковъ, которые не имѣли своего владыки послѣ низложенія архіепископа Серапіона, возставшаго противъ присоединенія монастыря Іосифа Волоцкаго къ московской епархіи), но и здѣсь повторяетъ свою увѣренность, что Москвѣ суждено преемство послѣ Византіи. „Старога Рима церкви,—пишетъ онъ,—падеся невѣріемъ Аполлинаріевы ереси; втораго же Рима, Бонстантинова града, церкви агаряне внуцы сѣкирами и оскордами разсѣкоша двери. Сіа же нынѣ *третьяю новаго Рима* державнаго твоего царствія святая соборная апостольская церкви, иже въ концыхъ вселенныя въ православной христіанстѣй вѣрѣ во всей поднебеснѣй паче солнца свѣтитъ. И да вѣсть твоя держава, благочестивый царю, *яко вся царства* православныя христіанскія вѣры сидошася въ *твое* едино царство: единъ ты во всей поднебеснѣй

христіаномъ царь. Подобаеть тебѣ, царю, сіе держати со страхомъ божіимъ; убойся Бога, давшаго ти сія" ¹⁾).

Послания Филовея не были фактомъ единичнымъ. Представленіе о византійскомъ преемствѣ Москвы проходитъ цѣлой половиной въ нашей старой письменности со второй половины XV-го вѣка и до конца XVII-го, и даже до нашихъ дней, когда каждая война съ Турціей обновляла старое популярное убѣжденіе о завоеваніи Константинополя русскими. Исторію этого представленія прослѣдить не легко, такъ какъ оно уже очень рано получило ускользающій отъ точнаго опредѣленія легендарный характеръ. Мы останавливались уже на легендѣ о царскихъ регаліяхъ, пришедшихъ послѣ долгаго странствованія въ Москву. Легенда о византійскомъ преемствѣ повторяется, въ другой формѣ, въ повѣсти о взятіи Константинополя турками, составленной, какъ полагаютъ, уже вскорѣ послѣ событія. Паденіе Византіи приписывалось вообще винѣ самихъ грековъ — слабости въ вѣрѣ и особливо неправосудію и порабощенію народа; но любопытно то, что въ одной изъ этихъ повѣстей — какова бы она ни была происхожденія, греческаго, южно-славянскаго, и были ли въ ней русскія прибавки — говорится, что „греки утѣшаются нынѣ благовѣрнымъ и вольнымъ царствомъ и царемъ русскимъ“, хотя и въ самомъ русскомъ царствѣ мало правды, отъ упадка которой пало и греческое царство; въ повѣсти приведены слова, сказанныя какимъ-то латиняниномъ о русскихъ: „велика милость божія въ землѣ ихъ, но еслибы къ той вѣрѣ христіанской да правда турецкая была, съ ними бы ангелы бесѣдовали“... Изъ этой подробности видно, что авторъ не былъ особеннымъ любителемъ московскаго государства, и тѣмъ любопытнѣе находящееся въ повѣсти предвѣщаніе — что русскіе нѣкогда побѣдятъ турокъ и воцарятся въ Седмихолмномъ городѣ ²⁾).

Въ концѣ XVI-го вѣка, при учрежденіи у насъ патриарше-

¹⁾ Послания старца Филовея издааны въ „Православномъ Собесѣдникѣ“, 1861, кн. II, стр. 78—98; 1863, кн. I, стр. 387—348. Третье посланіе въ „Дополненіяхъ“ къ Атамъ Историческимъ, т. I, № 28.

²⁾ Въ повѣсти любопытна слѣдующая подробность. Султанъ Магометъ изображается мудрымъ правителемъ; онъ преслѣдуетъ несправедливыхъ судей и такъ говоритъ о порабощеніи народа: „въ которомъ царствѣ люди порабощены, въ томъ царствѣ люди не храбры и къ бою противъ недруга не смѣли: ибо порабощенный чело-вѣкъ срама не боится и чести себѣ не добываетъ, а говоритъ такъ: хоть богатырь или не богатырь, однако я холопъ государевъ, и ко мнѣ имени не прибудеть. А въ царствѣ Константиновѣ, при царѣ Константиновѣ и у вельможъ его, лучшіе люди всѣ порабощены были въ неволю; цѣлѣнно было видѣть полки его вельможъ, да противъ недруга не держались крѣпкаго бою, смертною игрою не играли и съ бою утѣкали“.

ства, константинопольскій патріархъ Іеремія говорилъ царю Федору Ивановичу, — какъ будто повторяя слова старца Филофея: „Понеже убо ветхій Римъ падеся Аполинаріевою ересью; второй же Римъ, иже есть Константинополь, агарянскими внуцы отъ безбожныхъ турокъ обладаемъ. Твое же, о благочестивый царю, великое русійское царство—третій Римъ — благочестіемъ всѣхъ превзыде, и вся благочестивая *въ твое царство въ едино* собираются; и *ты одинъ подъ небесемъ христіанскій царь*, именуешься во всей вселенной, во всѣхъ христіанѣхъ“.

Костомаровъ замѣчалъ, что при Иванѣ III византійское вліяніе обнаружилось только тѣмъ, что онъ „сталъ воображать себя преемникомъ славы и величія православныхъ византійскихъ царей“, но мы видѣли уже, что это воображалъ не онъ одинъ, а вообще книжные и руководящіе люди того времени: на эту тему писалась легендарная исторія и дѣлались политическія соображенія о Москвѣ, какъ третьемъ Римѣ, со второй половины XV-го вѣка и задолго до настоящаго основанія московскаго царства.

Иванъ Грозный выполнилъ, наконецъ, это давнее ожиданіе. Нѣтъ сомнѣнія, что его юношеская рѣшимость становилась крупнымъ фактомъ, какъ закрѣпленіе историческаго явленія, имѣвшее крупныя нравственно-политическія слѣдствія. Въ 1547 году Иванъ IV вѣнчался на царство; въ боярской средѣ сказывалось глухое недовольство, потому что при обычномъ представленіи о царской власти терялась почва для какой-либо княжеско-боярской независимости. Это обычное представленіе о царской власти было, вѣроятно, довольно однородно у тогдашнихъ людей. Не очень давно „царемъ“ называли татарскаго хана, и свойства татарскаго владычества давали представленіе о полной безграничности этой власти; грубые нравы тѣхъ вѣковъ и безъ того приучали къ необузданному употребленію власти, когда она оказывалась въ рукахъ,—таковы были дѣйствія русскихъ князей въ ихъ удѣльныхъ раздорахъ, таковы были потомъ дѣянія Ивана III въ Новгородѣ, —а съ другой стороны приучали и къ униженной покорности передъ фактической властью. Такимъ образомъ были уже практическія данныя къ тому, чтобы вновь установленная форма могла быть воспринята въ ея полномъ смыслѣ. Одинъ изъ нашихъ историковъ ¹⁾ объяснялъ представленіе о царской власти въ Москвѣ исконнымъ понятіемъ великорусскаго племени о власти главы семейства, домохозяина, который былъ въ своемъ кругу не только „господиномъ“, но и „государемъ“; эта власть была опять без-

¹⁾ И. Е. Забылинъ въ „Исторіи русской жизни“.

условная и деспотическая. Но въ тѣхъ широкихъ государственныхъ отношеніяхъ, въ какихъ должна была дѣйствовать новая власть, и при господствующемъ міровоззрѣніи тѣхъ временъ, она должна была получить особую высокую санкцію. Эта санкція была церковная. Мы указывали, гдѣ были найдены ея источники: это были извѣстные ветхозавѣтные и новозавѣтные тексты писанія, говорившіе о царской власти библейскаго типа, тексты святоотеческіе, имѣвшіе въ виду власть царя византійскаго, наконецъ, историческія свидѣтельства изъ византійскаго хронографа и подобныхъ источниковъ. Этотъ матеріалъ, какъ мы видѣли, былъ уже подготовленъ ранѣе нашими церковными писателями и легендой. Царская власть есть божественное установленіе; мало того, власть царя приравнивалась божественному авторитету: царь есть земной богъ. Подобныя сужденія, на основаніи божественныхъ писаній, высказывались еще въ древнемъ періодѣ нашей письменности; тѣмъ больше онѣ стали повторяться теперь, когда ожидалось и наконецъ осуществилось фактическое установленіе московскаго царства.

Титулъ царя употребляли уже предшественники Ивана Грознаго, Иванъ III и Василій Ивановичъ, въ сношеніяхъ съ иноземными государствами—кромѣ сосѣднихъ Литвы и Польши, гдѣ ближе знали, что московскіе государи еще не носили этого титула у себя дома. И съ этой стороны Иванъ IV довершилъ стремленія своихъ предшественниковъ.

Иванъ IV понялъ и потомъ осуществлялъ свое царское достоинство во всемъ томъ объемѣ, какой давали ему указанныя фактическія и книжныя преданія. „Молодой государь,—пишетъ новѣйшій историкъ установленія царской власти въ Москвѣ,—съ юныхъ лѣтъ имѣлъ возможность ознакомиться съ сочиненіями современной русской публицистикѣ, и многое изъ нихъ, несомнѣнно, твердо усвоилъ. Благодаря развившейся у него страсти къ литературнымъ занятіямъ, Иванъ Грозный нерѣдко касался основныхъ политическихъ вопросовъ того времени и въ собственныхъ своихъ сочиненіяхъ; по нимъ можно судить, что позаимствовалъ публицистическій государь отъ предшественниковъ въ сферѣ политической мысли.

„Царь Иванъ Васильевичъ Грозный былъ прежде всего, какъ и громадное большинство его современниковъ, горячій поборникъ идеи о богоустановленности власти и о покореніи властямъ. Защищаясь отъ нападокъ Курбскаго, онъ ссылаясь на общеизвѣстное ученіе объ этомъ ап. Павла, иногда своеобразно комментируя апостольскія слова. Такъ указавъ на то, что противляющійся власти противится Богу, Грозный отсюда выводилъ, что если кто

противится Богу, „сїй отступникъ именуется, еже убо горчайшее согрѣшеніе“. При этомъ онъ отмѣтилъ, что апостольское ученіе примѣняется ко всякой власти, хотя бы пріобрѣтенной кровопролитіемъ; но съ своей стороны, вопреки словамъ апостола, добавилъ: „тѣмъ же *наипаче*, противляясь власти, пріобрѣтенной не восхищеніемъ, Богу противится“, устанавливая такимъ образомъ различіе въ почитаніи властей законныхъ и незаконныхъ. Далѣе изъ словъ апостола о карающемъ и милующемъ мечѣ Грозный сдѣлалъ выводъ, что цари, не примѣняющіе этого правила, не суть цари. Въ одномъ только пунктѣ онъ ограничилъ ученіе о покореніи властямъ: согласно всему божественному писанію рабы не должны противиться господамъ ни въ чемъ, кромѣ вѣры. Согласно ученію публицистовъ объ обязанностяхъ царя по охранѣ правовѣрія, Грозный не разъ открыто заявлялъ, что эту обязанность онъ считаетъ самой существенной. Такъ, задумавъ построить въ 1551 г. Свѣяжскъ для защиты отъ невѣрныхъ казанцевъ, онъ говорилъ: „Всемилюстивый Боже... устроилъ мя земли сей православной царя и *пастыря*, вожа и правителя еже правити людіе Его въ православіи непоколебимомъ быти“... Въ томъ же смыслѣ онъ писалъ и Курбскому: „Тщуся со усердіемъ люди на истину и на свѣтъ наставить, да познають Бога истиннаго и отъ Бога даннаго имъ государя“. Совершенно почти дословно онъ повторялъ и извѣстное мнѣніе іосифлянъ о высотѣ царскаго достоинства; такъ въ письмѣ къ Баторію онъ ссылаясь на извѣстные слова пророка: „слышите убо, цари, и разумѣйте, яко дана бысть вамъ держава отъ Господа и сила отъ Вышняго“ и проч. Соотвѣтственно этому Грозный воспринималъ и ученіе о великой отвѣтственности представителя власти передъ судомъ Божества какъ за собственные прегрѣшенія, такъ и за грѣхи своихъ подданныхъ. „Азъ убо вѣрую,—пишетъ онъ,—яко о всѣхъ согрѣшеніяхъ вольныхъ и невольныхъ судъ пріяти ми, яко рабу, и не токмо о своихъ, но и о подвластныхъ мнѣ дати отвѣтъ, аще моимъ несмотрѣніемъ погрѣшатъ“. Вспоминая, конечно, іосифлянскую догму, по которой, за грѣхъ государя Богъ казнить всю землю, Иванъ Васильевичъ молился, чтобы Господь „не помянулъ юностныхъ его согрѣшеній и не связалъ бы его грѣхомъ толика множества народу“. Не даромъ же благовѣрный царь Иванъ Васильевичъ зѣло похвалялъ „Просвѣтителя“ Іосифа Волоцкаго.

„Такимъ образомъ мнѣнія Грознаго о царскомъ достоинствѣ, о правахъ и обязанностяхъ государя слагались уже по готовымъ образцамъ, и ему не пришлось прибавить *ничего новаго* къ готовымъ теоріямъ. Онъ только примѣнялъ ихъ въ полномъ объемѣ

на практикѣ и принужденъ былъ защищать эту практику противъ литературныхъ нападокъ оппозиціи. Именно потому, быть можетъ, теорія самодержавнаго царства у Грознаго вышла гораздо болѣе конкретной, но въ то же время и болѣе узкой. Исходя изъ готовой теоретической посылки, что „земля правится Божиимъ милосердіемъ, пресвятой Богородицы и всѣхъ святыхъ молитвами, родителей нашихъ благословеніемъ, послѣди нами, государями своими“, Грозный съ негодованіемъ отвергъ всякое значеніе избранной рады, такъ какъ, по его мнѣнію, „россійское самодержавство изначала сами владѣютъ своими царствы“, а государь не можетъ назваться самодержцемъ, если „не самъ строить“. Это самодержательство въ пылу полемики и династическихъ споровъ у Грознаго сводится къ тому, что государь повелѣваетъ „хотѣніе свое творити отъ Бога повиннымъ рабомъ“, которые по Божію повелѣнію не должны отметаться своего работнаго ига и владычества своего государя. Исполненіе его хотѣній есть первая обязанность подданнаго и составляетъ то, что Грозный называетъ доброхотствомъ. Этимъ устанавливается мѣрило отношеній государя къ подданнымъ. „Доброхотныхъ своихъ,—пишетъ Грозный,—жалуемъ великимъ всякимъ жалованіемъ, а иже обрящутся въ супротивныхъ, то по своей винѣ и казнѣ пріемлютъ“. Государю принадлежитъ неограниченное право казнить и жаловать своихъ слугъ по усмотрѣнію, такъ какъ они Богомъ поручены ему въ работу, и никому, кромѣ Бога, государи не даютъ въ этомъ отчета¹⁾.

Тотъ же историкъ справедливо замѣчаетъ, что ни одно изъ этихъ положеній не было создано самимъ Иваномъ IV, какъ не ему принадлежить указаніе на мнимую древность русскаго самодержательства, которое онъ относитъ ко времени Владиміра Святого и Владиміра Мономаха. Но онъ съ величайшей настойчивостью высказывалъ свои взгляды, и исходя отъ самого царя, они пріобрѣтали тѣмъ болѣе авторитетъ для современниковъ. Наконецъ, „торжественное вѣнчаніе Грознаго на царство,—говоритъ тотъ же историкъ,—въ значительной степени удовлетворило гордое національное чувство горячихъ патріотовъ такимъ повышеніемъ чести русскаго государя. Но ихъ стремленія на этомъ остановиться не могли. Единный во всей поднебесной православный царь долженъ былъ получить признаніе за нимъ такого достоинства во всѣхъ странахъ. Отсюда получаютъ объясненіе всѣ на-

¹⁾ Дьяконовъ, „Власть московскихъ государей“, Спб. 1889, стр. 136—139. Въ одной главѣ этой книги сдѣланъ довольно подробный пересмотръ сужденій о царской власти въ старой русской письменности до временъ Грознаго.

стойчивыя попытки московскаго правительства добиться признанія за государемъ всея Руси права на царскій титулъ“.

Это первое твердое и торжественное установленіе „царства“, вмѣстѣ съ послѣдующими завоевательными подвигами Ивана IV, было и главной, въ сущности единственной, основой того прославленія, какое выпало на долю Грознаго въ народной поэзіи. Онъ представляется единственнымъ православнымъ царемъ на всей землѣ; онъ выше всякихъ другихъ царей: онъ взялъ Казань, Астрахань, Сибирь, онъ „вывелъ измѣну“ изъ Новгорода, — и это было главное, что было понято и усвоено народной массой; Пѣсня сохранила различные эпизоды изъ царствованія Ивана Грознаго, но пѣсенное воспоминаніе не представляло себѣ ясно внутреннихъ событій той эпохи, ни того, въ чемъ заключалась борьба Ивана Грознаго съ боярствомъ, ни того, въ чемъ была „измѣна“ Новгорода. Господствующее представленіе о немъ было то, что это былъ „грозный царь“, и это осталось типическимъ выраженіемъ народной поэзіи: такой царь покоряетъ все кругомъ, а также народъ создалъ для своего утѣшенія представленіе о томъ, что царь есть единственный защитникъ народа отъ боярскаго притѣсненія.

Такимъ образомъ въ основаніи царства Иванъ IV исполнялъ завѣтъ предшественниковъ. Онъ закрѣпилъ старыя приобрѣтенія, закончилъ давно сооружавшееся зданіе, и этимъ, безъ сомнѣнія, сообщилъ большую силу государственному организму. Но мы напрасно стали бы искать въ этомъ дѣлѣ той параллели съ дѣлами Петра Великаго, какая не однажды указывалась. Какъ бы высоко ни ставили мы заслугу Ивана IV въ централизаціи государства, общій характеръ его дѣятельности въ сущности не имѣетъ ничего общаго съ реформаторскимъ духомъ Петра: въ то время, какъ послѣдній дѣлаетъ всѣ усилія къ тому, чтобы вывести русское государство и русскій народъ изъ состоянія умственнаго застоя и поставить ихъ достойнымъ образомъ въ рядъ просвѣщенныхъ народовъ Европы, Иванъ IV стремится исключительно къ охранѣ неподвижнаго преданья. Петру можно было продолжать дѣло Ивана Грознаго только въ одномъ — во вѣдѣнномъ расширеніи государства; въ остальномъ, въ развитіи умственныхъ и культурныхъ средствъ народа, Петру приходилось, напротивъ, разрушать то преданіе застоя, которое закрѣплялъ Иванъ IV и которое продолжали его преемники до самаго конца XVII вѣка.

Въ самомъ дѣлѣ, эпоха Грознаго въ дѣлѣ просвѣщенія, культуры, письменности представляетъ именно этотъ трудъ соби-

ранія и утвержденія стараго преданія: это преданіе, дѣйствительное, а иногда мнимое, казалось какъ бы уже законченнымъ запасомъ политическихъ, церковныхъ, нравственно-общественныхъ идей, которыя были уже готовы, не подлежали спору и нуждались только въ сводѣ, ихъ разъ навсегда узаконяющемъ. Цѣлый рядъ предпріятій той эпохи, совершавшихся иногда съ личной инициативой или участіемъ самого царя, посвященъ былъ этому собранію и объединенію преданія. Таковы были канонизація русскихъ святыхъ, почитаніе которыхъ оставалось до тѣхъ поръ жѣстнымъ; Стоглавый соборъ, долженствовавшій утвердить старину, которая считалась „испатавшеяся“; составленіе Великихъ Четивхъ-Миней, которыя должны были собрать весь существовавшій составъ русской письменности съ древнѣйшихъ временъ, и довершеніе Степенной книги; наконецъ, памятникъ бытовой, цѣлью котораго было утвердить старину въ бытовомъ обычаѣ и нравственности—знаменитый Домострой.

Дѣятельнымъ сотрудникомъ, а въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ руководителемъ Ивана Грознаго въ подобныхъ предпріятіяхъ былъ знаменитый митрополитъ Макарій, занимавшій московскую кафедру въ теченіе всей первой половины царствованія Ивана Грознаго (Макарій умеръ въ 1563). Особенный характеръ старой русской исторіографіи, всего чаще собиравшей факты въ сухой и какъ бы оффиціально-книжной формѣ, пренебрегавшей живыми личными и бытовыми чертами, былъ причиною того, что намъ остается почти неизвѣстной біографія митрополита, который считается славнѣйшимъ изъ русскихъ іерарховъ всего средняго періода нашей исторіи. Извѣстно только, что онъ принялъ постриженіе въ монастырѣ Пафнутія Боровскаго и затѣмъ воспитался на ученіяхъ Іосифа Волоцкаго. Только изъ случайно сохранившейся записи Макарія на книгѣ („Просвѣтитель“), подаренной имъ этому монастырю на память о своей „дочери“ и родителяхъ, можно было заключить, что онъ былъ семейнымъ человекомъ и, вѣроятно, послѣ потери семьи пошелъ въ монахи. Онъ былъ архимандритомъ монастыря въ Можайскѣ и, вѣроятно, тогда лично узналъ его и оцѣнилъ великій князь Василій Ивановичъ, который и назначилъ его на вторую послѣ московской кафедру въ Новгородѣ. По словамъ лѣтописи, Василій Ивановичъ „любаше его зѣло“, и въ 1526 велѣлъ митрополиту Даніилу поставить Макарія въ архіепископы. Онъ явился въ Новгородѣ послѣ продолжавшагося семнадцать лѣтъ запустѣнія новгородской кафедры (по удаленіи Серапіона): его торжественно встрѣтили духовенство и множество народа; онъ отправился прямо въ Софійскій соборъ и

тамъ говорилъ къ народу „повѣстями многими“. Слушатели, между прочимъ, поражены были его простою, доступною рѣчью. Лѣтописецъ записалъ: „И всѣ чудишася яко отъ Бога дана ему бысть мудрость въ божественномъ Писаніи, *просто осмыслъ разумѣти*“, и вообще восхваляетъ „тихіа и прохладныя времена его правленія“; другая лѣтопись замѣчаетъ: „и бысть людямъ радость велія въ Новгородѣ, Псковѣ и повсюду; монастыремъ легче въ податехъ, людямъ заступленіе веліе и сиротамъ кормитель“. Макарій заботился о монастыряхъ, церквахъ и духовенствѣ, старался о распространеніи просвѣщенія, пользуясь расположеніемъ великаго князя, старался оборонять новгородцевъ отъ притѣсненій ихъ гражданскихъ правителей. Какъ скажемъ далѣе, въ Новгородѣ онъ принималъ и собраніе Четихъ-Миней; въ Новгородѣ онъ продолжалъ дѣло архіепископа Геннадія и составилъ съ священникомъ Агаеономъ такъ называемый Великій міротворный кругъ, въ которомъ была вычислена пасхалія на 532 года.

Въ 1542 году, въ дѣтствѣ Ивана IV, Макарій былъ выбранъ московскимъ митрополитомъ; выбиралъ его соборъ іерарховъ, но выборъ всего болѣе былъ дѣломъ Шуйскихъ, игравшихъ тогда главную роль и ожидавшихъ, что въ Макаріи они будутъ имѣть свое орудіе. Неизвѣстны подробности о дѣйствіяхъ Макарія въ малолѣтство великаго князя, но, повидимому, бояре должны были ошибиться въ своихъ расчетахъ. Макарій старался сблизиться съ юнымъ великимъ княземъ и приобрѣсти его расположеніе, а когда, наконецъ, великій князь, не терпя боярскаго безчинства, велѣлъ схватить Андрея Шуйскаго и отдать его на убіеніе псарямъ, и началъ свое самостоятельное правленіе, въ этой перемѣнѣ, какъ полагаютъ историки, не малое участіе принималъ и митрополитъ Макарій. По крайней мѣрѣ, съ этихъ поръ митрополитъ получилъ при великомъ князѣ весьма вліятельное положеніе; съ нимъ совѣщался великій князь по всѣмъ важнымъ дѣламъ, и боярамъ сообщалось уже готовое рѣшеніе, какъ воля государя; бояре стали видѣть въ митрополитѣ своего противника и не однажды старались потомъ вредить ему; едва ли сомнительно, что Макарій принималъ участіе и въ рѣшеніи Ивана IV вѣнчаться на царство: съ этимъ рѣшеніемъ долженъ былъ и для самого Макарія исполниться его идеалъ царя, власть котораго будетъ освящена церковью, какъ нѣкогда у царей греческихъ. На другой день послѣ того, какъ великій князь связалъ ему о своемъ желаніи, Макарій служилъ молебны въ Успенскомъ соборѣ и потомъ отправился съ боярами къ великому князю. Постѣдній держалъ къ нимъ рѣчь, въ которой заявилъ о своемъ намѣреніи вступить въ бракъ,

а прежде этого хотѣлъ, какъ его „прародители, цари и великіе князья и сродничъ Владиміръ Мономахъ, поискать родительскихъ чиновъ и на царство, великое княженіе, сѣсть“. Это было въ декабрѣ 1546 года: въ январѣ 1547 совершенно было торжественное вѣнчаніе на царство въ Успенскомъ соборѣ, а въ февралѣ Иванъ вступилъ въ бракъ съ Анастасіей Романовной. Вскорѣ затѣмъ произошли извѣстные пожары, причемъ едва не погибъ самъ митрополитъ. Въ народномъ волненіи, возбужденномъ врагами дядей государя, Глинскихъ, одинъ изъ нихъ былъ убитъ въ Успенскомъ соборѣ, другіе съ ихъ родственниками собирались бѣжать въ Литву; самому царю, по его выраженію, „вошелъ страхъ въ душу и трепеть въ кости“. Царь приблизилъ къ себѣ новыхъ людей, но при Сильвестрѣ и Адашевѣ митрополитъ, повидимому, сохранилъ все свое вліяніе. Полагаютъ, что царь совѣтовался съ митрополитомъ о тѣхъ средствахъ, какія нужно было принять для истребленія крамолъ. Въ Москву созваны были выборные люди со всей земли; они собрались на Лобномъ мѣстѣ; царь вышелъ къ нимъ и послѣ нѣсколькихъ словъ къ митрополиту обратился къ выбраннымъ съ цѣлоу рѣчью, въ которой говорилъ о своемъ дѣтствѣ, о боярскихъ неправдахъ, заявлялъ о своей невинности въ нанесенныхъ ими обидахъ и обѣщалъ на будущее время быть для своихъ подданныхъ судьей и обороной. Изъ первыхъ привѣтственныхъ словъ его къ митрополиту Макарію, котораго онъ называлъ „желателемъ благого дѣла и любви“, котораго призывалъ быть ему „помощникомъ и любви поборникомъ“, можно заключать, что Макарій былъ здѣсь его совѣтникомъ.

Въ первый же годъ царскаго правленія Ивана IV, Макарій задумалъ выполнить, вѣроятно, давнишнюю мысль, которая опять должна была отвѣчать національному достоинству русскаго царства, и для которой онъ приобрулъ сочувствіе царя. Мы упоминали, что, еще бывши архіепископомъ новгородскимъ, онъ совершилъ трудъ собиранія Четихъ-Миней. Въ составъ ихъ входило, между прочимъ, большое число житій русскихъ святыхъ. Только немногіе изъ этихъ святыхъ пользовались всенароднымъ чтеніемъ въ русской церкви; гораздо большее ихъ число были чтимы только мѣстно. Когда русская земля была объединена въ одномъ царствѣ, нужно было, чтобы собрана была во-едино и церковная святыня русскаго народа. Предпринята была въ обширныхъ размѣрахъ канонизація русскихъ святыхъ, съ которой соединилось и литературное предпріятіе. Относительно многихъ святыхъ недоставало жизнеописаній достаточно удовлетворительныхъ

съ той точки зрѣнія, съ какой цѣнились тогда подобныя произведенія: инымъ житіямъ должно было составить вновь, другія пере-дѣлать въ надлежащемъ стилѣ, и въ концѣ концовъ установить для святыхъ общее чествованіе въ цѣлой русской церкви. Макарій уже раньше предпринималъ работы для этой цѣли; теперь онъ обратился къ царю, и по повелѣнію Грознаго созванъ былъ въ 1547 году соборъ, на которомъ на первый разъ опредѣлено было праздновать двѣнадцать святыхъ по всей Россіи, и девяти мѣстно, гдѣ они дѣйствовали и поклонись. Вліяніе Макарія выразилось здѣсь въ томъ, что большинство этихъ новыхъ всероссійскихъ святыхъ были внесены по его желанію. Но такъ какъ для канонизаціи требовались необходимыя біографическія данныя, которыхъ въ ту минуту еще не было, то дѣло собора 1547 года не могло считаться конченнымъ. Въ концѣ собора царь обратился къ присутствующимъ съ просьбою собирать свѣденія о новыхъ чудотворцахъ и представить ихъ на слѣдующій соборъ, который состоялся въ 1549 году: на немъ опредѣлено было почитаніе еще двадцати-трехъ новыхъ святыхъ, въ томъ числѣ шести новгородскихъ, двухъ сербскихъ и трехъ литовско-русскихъ.

Значеніе этихъ соборовъ не исчерпывается вопросомъ практическаго благочестія, направлявшагося на почитаніе святыхъ, и не исчерпывается фактомъ литературнымъ, когда этимъ почитаніемъ вызванъ былъ цѣлый рядъ новыхъ или заново исправленныхъ житій святыхъ. Канонизація, исполненная соборами 1547 и 1549 годовъ, захватывала цѣлый кругъ религіозной и политической жизни старой Россіи и была новымъ фактомъ церковно-политическаго объединенія, съ которымъ снова возвышался авторитетъ московской церковной и государственной власти. Мѣстное почитаніе святыхъ было проявленіемъ стараго удѣльнаго порядка вещей. При политическомъ раздѣленіи земель, которое сопровождалось нерѣдко прямо враждебнымъ отношеніемъ ихъ между собой, церковная святыня извѣстной земли, благочестивый подвижникъ, получившій признаніе святости, оставались мѣстною принадлежностью этой земли. Ихъ священныя авторитеты были приближенъ въ благочестивой жизни, въ самой военной защитѣ земли и въ удѣльныхъ раздорахъ: мѣстныя святыни и святые были патронами своей земли. Это положеніе вещей такъ изображаетъ новѣйшій историкъ канонизаціи XVI вѣка. „Такъ какъ каждый удѣлъ представлялъ изъ себя цѣлую замкнутую общину, жившую своею особенною, вполне самостоятельною жизнію, то для каждаго удѣла важно было имѣть свою святыню, около которой онъ обыкновенно и сосредоточивался. Если ея не было, то

всячески старались ее приобрести. Вспомнимъ Андрея Боголюбскаго, который, уѣзжая изъ Кіева, богатаго святынями, въ новый удѣлъ (Суздальскій), гдѣ ихъ не было, не остановился предъ похищеніемъ чудотворной иконы Божіей Матери. Точно также, смотря съ этой точки зрѣнія, для насъ понятна будетъ радость и въ то же время гордость, связывающая въ словахъ этого же князя, которая онъ сказалъ при открытіи мощей св. Леонтія, еп. ростовскаго: „теперь я уже ничѣмъ не охужденъ“, разумѣется предъ другими князьями, у которыхъ въ удѣлахъ были свои мощи. Такой святыней былъ въ большинствѣ случаевъ какой-нибудь подвижникъ, святитель или князь, много поработавшій на благо этого удѣла. По смерти этого подвижника связь его съ своимъ удѣломъ не прекращалась. Переселившись въ другую жизнь, онъ и тамъ продолжалъ свою прежнюю благотѣльную дѣятельность. Но и эта посмертная дѣятельность святого простиралась не на весь русскій народъ, а только на жителей опредѣленнаго края: святой является по смерти патрономъ именно той мѣстности, гдѣ провелъ послѣдніе годы своей жизни на землѣ“.

Удѣльные земли почитали каждая своихъ святыхъ, не хотѣли знать другихъ и даже относились къ нимъ враждебно. „Обыкновенно удѣлъ, имѣвшій много святыхъ, тщеславился ими и дерзавъ даже хульно отзываться о святыхъ и подвижникахъ другихъ мѣстностей. Примѣромъ подобныхъ отношеній къ чужимъ святымъ можетъ служить Сергій, москвичъ родомъ, назначенный архіепископомъ въ Новгородъ и назвавшій святого новгородскаго архіепископа Моисея „смердомъ“. Князья, извѣстные своею набожностью, не считали грѣхомъ грабить храмы чужихъ областей и награбленными сокровищами украшать храмы и раки святыхъ въ своемъ удѣлѣ. Такъ въ 1066 году Всеславъ Полоцкій взялъ Новгородъ и унесъ изъ его св. Софіи колокола, паникадила, ерусалимъ церковный и сосуды служебные. Въ 1171 г. рать Андрея Боголюбскаго, предводимаго его сыномъ Мстиславомъ, взяла Кіевъ, и—„грабили монастыри и Софью и Десятинную Богородицу: церкви обнажиша иконами и книгами и ризами, и колоколы изнесоша всѣ, и вся святыни взята бысть. Въ 1203 году Рюрикъ Ростиславичъ отнялъ Кіевъ у своего соперника съ помощію союзниковъ, и эти послѣдніе „митрополью св. Софью разграбиша, и Десятинную св. Богородицу разграбиша, и монастыри всѣ, и иконы одраша, а иныѣ поимаша, и кресты честныя и ссуды священныя и книги, то положиша все собѣ въ полонъ“. Въ послѣдующее время удѣльнаго періода можно найти еще болѣе фактовъ безцеремоннаго отношенія къ святынямъ

другого удѣла. Стоитъ только вспомнить московскихъ князей, которые обыкновенно по присоединеніи того или другого удѣла всѣ святыни послѣдняго свозили къ себѣ на Москву. Благодаря именно такому хищничеству князей, въ московскомъ Успенскомъ соборѣ очутились: икона Спаса изъ покореннаго Новгорода, изъ Устюга икона Благовѣщенія, предъ которою молился Проколій Устюжскій объ избавленіи города отъ каменной тучи, изъ Владиміра икона Одигитріи, изъ Пскова икона Псковопечерская¹⁾...

„Каждый удѣлъ сосредоточивался около какой-нибудь святыни. Поэтому послѣдняя служила залогомъ отдѣльности и индивидуальности области. Откуда, какъ скоро тотъ или другой удѣлъ терялъ свою святыню, то вмѣстѣ съ нею терялъ какъ бы и свою самостоятельность, что и выражалось наглядно перемѣщеніемъ святыни изъ покореннаго удѣла въ главный городъ покорившаго. Такова, напр., исторія перенесенія иконы Всемиловаго Спаса изъ Софійскаго новгородскаго собора въ Москву въ 1476 году великимъ княземъ Іоанномъ Васильевичемъ, которую онъ взялъ именно какъ священный трофей покоренія Новгорода, а также и исторія перенесенія иконы Одигитріи Смоленскія Божія Матери, которая была взята великимъ княземъ Василиемъ Іоанновичемъ изъ покореннаго имъ Смоленска въ 1514 году“¹⁾.

Эти, такъ сказать, удѣльные отношенія святыхъ обнаруживаются цѣлымъ рядомъ фактовъ, обнимающимъ и святыхъ московскихъ. Въ Новгородѣ не было чествованія преподобнаго Сергія, который такъ почитался въ Москвѣ, и оно явилось только при Василии Темномъ, въ послѣдніе годы новгородской свободы: архіепископъ Іона, отправляясь въ Москву хлопотать за Новгородъ передъ великимъ княземъ, далъ обѣтъ построить въ Новгородѣ храмъ святому Сергію. Митрополитъ Петръ, одинъ изъ первыхъ церковныхъ дѣятелей въ возвышеніи Москвы и первыхъ московскихъ святыхъ, давно пользовавшихся мѣстнымъ почитаніемъ, не былъ признаваемъ въ другихъ русскихъ областяхъ, и надо было прибѣгнуть къ авторитету константинопольскаго патріарха, чтобы заставить другіе удѣлы почитать покровителя Москвы. Съ другой стороны, Москва не признавала другихъ мѣстныхъ святыхъ и, напр., стремилась даже какъ будто унижить новгородскую святыню. Новгородскія легенды рассказывали, что когда Иванъ III хотѣлъ видѣть мощи Варлаама Хутынскаго, чудесамъ котораго не вѣрилъ, то передъ гробомъ святого вырвалось изъ земли пламя

¹⁾ В. Васильевъ, „Исторія канонизаціи русскихъ святыхъ“. Москва, 1893 (изъ „Чтеній“ московскаго Общества исторіи и древностей), стр. 146 и слѣд.

и князь уразумѣлъ, что мѣстная святыня не подлежитъ волѣ завоевателя. Въ другой разъ, упомянутый архіепископъ Сергій, родомъ москвичъ, съ пренебреженіемъ отнесся къ мощамъ новгородскаго святого архіепископа Моисея, но уже вскорѣ былъ за это наказанъ: „и бысть отъ того времени приде на него изумленіе“, т.-е. онъ потерялъ рассудокъ и его больного увезли въ Троицкій Сергіевъ монастырь. Но съ паденіемъ удѣловъ начинается расширяться почитаніе мѣстныхъ святыхъ. Съ половины XV вѣка многіе мѣстные святые вдругъ становятся обще-російскими, напр. епископы ростовскіе Леонтій, Исаія, Игнатій, Авраамій ростовскій, Антоній печерскій, Дмитрій прилуцкій, Никита переяславскій, князь Михаилъ черниговскій и бояринъ его Феодоръ и др. Это произошло не вслѣдствіе какой-нибудь особой мѣры, а само собою: московскіе князья, присоединяя удѣлы, присоединяли и удѣльныхъ святыхъ. Соборы 1547 и 1549 годовъ были только болѣе широкимъ, а вмѣстѣ и болѣе торжественнымъ завершеніемъ такихъ присоединеній. Вмѣстѣ съ тѣмъ это сдѣлалось, само собою, новымъ утвержденіемъ московской церковной централизаціи: со времени этихъ соборовъ право совершенія канонизаціи стало принадлежать высшей церковной власти въ Москвѣ; съ этимъ вмѣстѣ устанавливались и новыя правила канонизаціи. Пребывая въ Москвѣ, вдали отъ мѣста жизни святыхъ и ихъ чудесъ, эта власть не могла имѣть очевидныхъ свидѣтельствъ чудесъ, нетлѣнныхъ мощей, и становилось необходимо собраніе свѣденій, подтвержденныхъ свидѣтельствами очевидцевъ и мѣстной іерархіи; съ тѣхъ поръ самое совершеніе канонизаціи, прежде исполнявшееся въ разнообразныхъ формахъ, получаетъ болѣе или менѣе однообразный характеръ; а наконецъ, и къ самой канонизаціи стали относиться внимательнѣе и строже, а затѣмъ, вмѣстѣ съ другими условіями жизни, самые факты канонизаціи становятся рѣже.

Установленіе московскаго царства было первымъ дѣломъ Ивана Грознаго въ утвержденіи государственнаго порядка, какъ онъ представлялся по тогдашнему идеалу. Канонизація святыхъ русской земли принадлежала къ той же задачѣ; и сюда относится, наконецъ, состоявшійся уже вскорѣ послѣ того соборъ 1551 года, извѣстный подъ названіемъ Стоглаваго собора. Цѣлью его было исправленіе недостатковъ русской жизни, введеніе добрыхъ порядковъ церковныхъ и гражданскихъ, но рѣшеніе этихъ задачъ совершено было въ томъ же консервативномъ духѣ, какимъ исполнено было большинство правящей іерархіи, въ томъ числѣ митрополитъ Макарій, а наконецъ и самъ царь. Трудно согласиться

съ тѣми историками, которые видѣли въ Стоглавомъ соборѣ особую заслугу его дѣятелей; скорѣе можно думать, что онъ далеко не рѣшилъ стоявшей передъ нимъ задачи исправленія русской жизни, дѣйствительно нуждавшейся въ исправленіи, и повторяя обычныя традиціонныя поученія, нисколько не подвинуть дѣла впередъ. Соборъ созванъ былъ въ 1551 году и собрался въ царскихъ палатахъ⁴. Подъ предсѣдательствомъ митрополита Макарія, членами собора были архіепископы, епископы, архимандриты, игумены и многихъ честныхъ монастырей строители¹). Самъ Макарій и большинство епископовъ были „іосифляне“, частью даже постриженники Іосифа; одинъ Кассіанъ рязанскій былъ приверженцемъ противной іосифлянамъ партіи. Впослѣдствіи спрошено было по нѣкоторымъ вопросамъ мнѣніе бывшаго митрополита Іоасафа, занимавшаго московскую кафедру передъ Макаріемъ и жившаго тогда у Троицы. Іоасафъ, упомянувъ въ своемъ отвѣтѣ о соборѣ 1503 года, напомнилъ, что на этомъ соборѣ, — гдѣ особенно ревностнымъ дѣятелемъ былъ Іосифъ Волоцкій, — были и многіе другіе старцы, „которые житіемъ были богоугодны и святое писаніе извѣстно и разумно знали“, и о которыхъ, по его мнѣнію, слѣдовало также сказать, если говорилось о томъ соборѣ. А на этомъ соборѣ 1503 года, кромѣ Іосифа, были Паисій Ярославовъ, Нилъ Сорскій и Вассіанъ Патрикѣевъ, его коренные противники. Намекъ Іоасафа остался безъ всякаго дѣйствія; соборъ 1551 года остался въ существѣ консервативнымъ въ духѣ іосифлянъ. Соборъ открытъ былъ двумя рѣчами царя, въ которыхъ онъ (какъ было уже разъ прежде) указывалъ бѣдствія русской земли во дни его юности, обвинялъ бояръ въ учиненныхъ ими насиліяхъ и неправдахъ, обвинялъ ихъ во всякихъ порокахъ, и наконецъ просилъ соборъ потрудиться о томъ, чтобы „исправить истинная и непорочная наша христіанская вѣра, иже отъ божественнаго писанія, во исправленіе церковному благочинію и царскому благоуказанію, и всякому земскому строенію, и нашимъ единокровнымъ и безсмертнымъ душамъ на просвѣщеніе и на оживленіе“. Въ другой рѣчи онъ предлагалъ собору іерарховъ рассмотреть и утвердить судебникъ; онъ просилъ вообще соборъ способствовать во всякихъ нуждахъ и утвердить „по правиламъ святыхъ апостоловъ и святыхъ отецъ, и по прежнимъ законамъ прародителей нашихъ, чтобы всякое дѣло и всякіе обычаи строилися по Божѣ въ нашемъ царствіи

⁴) Въ рѣчи своей къ собору послѣ „всего священнаго собора“ и молебникомъ царь дѣлаетъ и такое обращеніе: „также и братія мои и вси любиміи мои князи и бояре, и воины, и все православное христіанство, — помогайте ми и способствуйте всѣмъ“ и т. д.

при вашей святительской паствѣ, а при нашей державѣ“, — потому что „обычай прежнихъ временъ поиспатались и въ самовласти чинилось по своимъ волямъ и старымъ преданіямъ и законы порушены“. Царь просилъ соборъ „духовно побесѣдовать и посовѣтовать“ и его извѣстить, а разсудить обо всемъ соборъ долженъ былъ по правиламъ святыхъ апостоловъ и святыхъ отецъ.

Замыселъ былъ широкій и, по обыкновенію Ивана Грознаго, поставленный съ извѣстной театральностью; но, обратившись къ исполненію, мы найдемъ, что цѣль далеко не была достигнута, и при употребленныхъ на то средствахъ не могла быть достигнута. Задумано было исправленіе русской жизни и полагалось, что она только въ послѣднее время „поиспаталась“ (а прежде, слѣдовательно, этихъ недостатковъ не имѣла); но эта испатанность была очень давняго происхожденія, и Стоглавъ не имѣлъ никакого яснаго представленія ни о предполагаемыхъ хорошихъ временахъ, ни о причинахъ недостатковъ, ни о дѣйствительныхъ средствахъ къ ихъ исправленію. Одной изъ главныхъ причинъ было давнишнее, почти исконное отсутствіе школы — отсюда порча книгъ и внѣшне-обрядовое пониманіе самой вѣры; паденіе нравовъ, на которое моралисты жаловались въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ, происходило, между прочимъ, отъ отсутствія высшихъ нравственныхъ интересовъ и общественной дѣятельности, вслѣдствіе давняго гнета самовласти, въ значительной мѣрѣ воспитаннаго татарскими и удѣльными временами, а затѣмъ и самой практикой московскаго объединенія. Моралисты (назовемъ изъ нихъ, напр., ближайшаго къ этому времени, митрополита Давида), не скупились на негодующія обличенія, но, не думая восходить къ причинамъ происходившаго явленія, надѣялись помочь дѣлу усиленной проповѣдью того же внѣшняго обряда, который уже оказывался бессильнымъ поднять общественную нравственность. То же самое дѣлаетъ и Стоглавъ. Онъ долженъ былъ исправить русскую жизнь на основѣ божественныхъ писаній: на этой основѣ должно было бы построиться общество въ духѣ древняго христіанства, но въ дѣйствительности отцы собора и самъ Грозный, по всему складу ихъ понятій, предполагали то христіанство, какое разумѣлъ, напримѣръ, Іосифъ Волоцкій — строгое обрядовое благочестіе, обставленное іерархіей (въ особенности изъ боярства), съ богатыми монастырями, которые владѣли бы „селами со христіанами“, съ безпрекословнымъ повиновеніемъ мірянъ, съ поддержкою свѣтской власти, съ безопаздными казнями еретиковъ и съ отсутствіемъ школъ. Историки замѣчаютъ, что Стоглавъ намѣревался восполнить недостатки, уже сознанные раньше и, напр., тѣ,

какіе указывалъ Максимъ Грекъ. Біографъ послѣдняго ¹⁾ указываетъ, что Максимъ посылалъ самому царю своихъ „словесъ тетрадки“, посылалъ такія тетрадки митрополиту Макарію; что на соборѣ присутствовалъ тверской епископъ Авакуй, къ нему расположенный; что въ сочиненіяхъ своихъ Максимъ изобличалъ негодность церковныхъ книгъ, дурныя нравы духовенства и особливо монашества, негодовалъ противъ обычая носить тафьи и т. п., и что всѣхъ этихъ вопросовъ коснулся Стоглавъ въ своихъ обличеніяхъ, правилахъ и запрещеніяхъ. Дѣйствительно, Стоглавый соборъ обратилъ вниманіе на эти и подобные вопросы, и хотя уже самъ Максимъ смотрѣлъ на подобные предметы съ извѣстной исключительностью церковника, но соборъ не достигъ и до его точки зрѣнія. Напр., Максимъ Грекъ не однажды съ великимъ увлеченіемъ говорилъ о западныхъ школахъ, очевидно, видѣлъ въ нихъ идеалъ, которому должно было бы послѣдовать; но Стоглавъ повторилъ только безплодныя увѣщанія духовенству о заведеніи школъ, — не помышляя о томъ, что оно съ своими тогдашними знаніями неспособно было основать никакой школы, кромѣ первоначальной выучки чтенію и письму и „канонарханію“. Максимъ Грекъ указывалъ на безплодныя излишества одного обрядоваго благочестія; но соборъ именно такому благочестію посвятилъ самыя ревностныя заботы. Максимъ Грекъ восталъ противъ монастырскихъ имѣній; самъ Иванъ Грозный былъ склоненъ ограничить эти монастырскія владѣнія; но Стоглавый соборъ, составленный въ большинствѣ изъ іосифлянъ и вообще людей съ тогдашними тѣсными консервативными взглядами, остался вѣренъ старинѣ. Извѣстно специальное посланіе митрополита Макарія къ царю Ивану Васильевичу, гдѣ вопросъ о монастырскихъ имѣніяхъ былъ еще разъ объясненъ съ точки зрѣнія іосифлянъ „отъ божественныхъ правилъ святыхъ апостолъ и отецъ седми соборовъ и помѣстныхъ... и отъ заповѣдей святыхъ православныхъ царей“, и подъ вліяніемъ этого посланія разсмотрѣніе вопроса о церковныхъ имѣніяхъ ограничилось на соборѣ только тѣмъ, что онъ постановилъ прекратить безпорядки въ управленіи церковными имѣніями и запретилъ выпрашивать новыя пожалованія.

Вопросъ о церковныхъ книгахъ рѣшенъ былъ такъ же элементарно, какъ вопросъ объ училищахъ; въ главахъ о книжномъ исправленіи и о книжныхъ писцахъ соборъ велѣлъ протопопамъ и „священническимъ старѣйшинамъ“ (поповскимъ старостамъ) осма-

¹⁾ Иконниковъ, глава XI, въ концѣ.

тривать церковныя книги (а также иконы) и „которыя будутъ святыя книги въ коейждо суть церкви обращенѣ не правлены и описливы, и вы бы тѣ книги, съ добрыхъ переводовъ, исправляли соборнѣ, зане же священныя правила о томъ запрещаютъ, и не повелѣваютъ неисправленныхъ книгъ въ церковь вносить, ниже по нихъ пѣти“; а что касается писцовъ, то протопопы и поповскіе старосты должны были велѣть имъ писать „съ добрыхъ переводовъ“ (т.-е. хорошихъ списковъ) и, написавши, исправить, а потомъ уже продавать, а еслибы нашлись книги неисправленные, то протопопы должны были „возбранять съ великимъ запрещеніемъ“, а наконецъ и просто отнимать „у продавцовъ и у купцовъ“ (т.-е. покупавшихъ) эти книги и, исправивъ, отдавать въ бѣдныя книгами церкви; а исправлять книги протопопы должны— „елико ваша сила“, и за то соборъ обѣщаетъ имъ отъ Бога великую мзду, отъ благочестиваго царя хвалу и честь, отъ іерарховъ соборное благословеніе, а отъ всего народа благоволеніе за ихъ труды и подвиги. Одна была бѣда—что эти труды и подвиги остались бы Сизифовой работой, потому что физически невозможно было бы исправлять такимъ образомъ книги по всему русскому царству, и притомъ познанія самихъ исправителей ничѣмъ не были удостовѣрены и на дѣлѣ были крайне сомнительны. Прошло еще больше ста лѣтъ этого порядка вещей и во второй половинѣ XVII-го вѣка такіе же исправители церковныхъ книгъ стали во главѣ раскола, слѣпо защищавшаго букву испорченныхъ книгъ.

Какъ мало все собраніе іерарховъ Стоглаваго собора компетентно было даже въ тѣхъ частныхъ обрядовыхъ вопросахъ, на которые тотъ вѣкъ обращалъ столько вниманія, можно видѣть изъ самого Стоглава. „Лучшіе представители русской церкви,—говоритъ одинъ изъ біографовъ митрополита Макарія,—не считали противозаконнымъ основываться на апокрифическихъ сказаніяхъ, подложныхъ правилахъ и невѣрныхъ выдержкахъ изъ св. Писанія, произвольно ихъ толковать и т. п.; они же узаконили подѣ страхомъ анаемы такіе обряды и обычаи, какъ двуперстное сложеніе, сугубая аллилуія, небритіе бороды и усовъ, и другіе имъ подобныя. Напрасно стали бы мы оправдывать въ этихъ прегрѣшеніяхъ Стоглава митрополита Макарія. Онъ былъ человѣкъ своего времени, воспитавшійся при такихъ условіяхъ, при которыхъ возможно было появленіе цѣлаго ряда замѣчательныхъ людей, впадавшихъ въ такія же, какъ и онъ, ошибки по недостатку надлежащаго образованія. Самъ Макарій чувствовалъ свою несостоятельность въ этомъ отношеніи; въ одномъ изъ своихъ со-

чиневій онъ пишетъ: „если гдѣ написано ложное и отреченное слово, и мы того не возмогохомъ исправить и отставить, о томъ отъ Господа Бога прошу прощенія“. Какъ шатки были у него убѣжденія относительно нѣкоторыхъ узаконенныхъ имъ обычаевъ, видно изъ того, что въ Четвѣхъ-Минеяхъ онъ помѣстилъ „преніе философа Никифора Панагіота съ Азимитомъ“, въ которомъ доказывается правильность троеперстія, указъ о трегубой аллилуйи и т. п.“¹⁾

Сугубая аллилуйя придумана была въ половинѣ XV-го вѣка, въ Евфросиновомъ псковскомъ монастырѣ, на подобіе того, какъ въ то же время мѣстные „философы“, по разсказу лѣтописи, разошлись въ мнѣніяхъ о томъ, должно ли пѣть: „Осподи помилуй“, или: „О Господи помилуй“. Черезъ сто лѣтъ іерархи Стоглаваго собора продолжали стоять на точкѣ зрѣнія этихъ „философовъ“. Всѣ толкованія Максима Грека, что спасительность вѣры заключается вовсе не въ обрядахъ, были забыты или, вѣрнѣе, не были и понаты. Далѣе, Стоглавъ вооружился противъ апокрифической литературы. На царскій вопросъ (22-й) объ этомъ предметѣ соборъ постановилъ, чтобы вездѣ „царю свою царскую грозу учинить и заповѣдь“, а святителямъ „каждому въ своемъ предѣлѣ по всѣмъ городамъ запретити съ великимъ духовнымъ запрещеніемъ, чтобы православные христіане такихъ богомерзкихъ книгъ еретическихъ у себя не держали и не чли, а которые держали у себя такіа еретическіа отреченныа книги и чли ихъ, и иныхъ прельщали, и тѣ бы о томъ калялися отцомъ своимъ духовнымъ, и впредь бы у себя такихъ еретическихъ отреченныхъ книгъ не держали и не чли, а которые учнутъ у себя впредь такіа книги держати и чести, или учнутъ иныхъ прельщати и учити, и имъ быти отъ благочестиваго царя въ великой опалѣ и въ наказаніи, а отъ святителей, по священнымъ правиломъ, быти во отлученіи и въ проклятій“ (глава 41). Наконецъ особыми главами (90, 92, 93) подъ именемъ „еллинскаго бѣснованія“ запрещались не только всякіе суевѣрные обычаи, но и

¹⁾ Журн. мин. просв. 1881, ноябрь, стр. 12. Прибавимъ еще, что въ свое пребываніе въ Новгородѣ Макарій специально возставалъ противъ распространеннаго обычая „двонть“ аллилуйю. Онъ издалъ по этому случаю особый указъ, въ которомъ „пишетъ, что сугубая аллилуйя раздражаетъ на части св. Троицу, что троеніе аллилуйи истекаетъ изъ Апокалипсиса и Псалтыри. Въ видѣ доказательства приводитъ посланіе Фотія къ инокѣмъ, въ которомъ сказано, что только трегубая аллилуйя истинна. Введеніе сугубой аллилуйи Макарій приписываетъ митр. Исидору. Наконецъ, въ заключеніе онъ угрожаетъ великими наказаніями поющимъ двойную аллилуйю — они творять это себѣ на грѣхъ и осужденіе“. Тамъ же, октябрь, стр. 226.

простыя народныя увеселенія—въ томъ родѣ, какъ еще въ XI столѣтїи народныя пѣсни, праздники и обряды осуждались и за-прещались въ качествѣ „еллинскихъ“, языческихъ и бѣсовскихъ.

Въ 39 главѣ отцы собора, въ соотвѣтствіе съ заявленіями царя о нарушеніи старыхъ обычаевъ, видятъ зло между прочимъ именно въ забвеніи своего обычая: „Въ коейждо убо страѣ законъ и отчина, а не приходятъ другъ къ другу, но своего обычая кѣйждо законъ держать, мы же православніи, законъ истинный отъ Бога приѣмше, разныхъ странъ беззаконія воспріѣмше, и осквернихомся ими, и сего ради казни всякія отъ Бога на насъ приходятъ за таковыя преступленія“. Спасеніе—только въ возвращеніи къ той мнимой счастливой старинѣ, которая жила по божественнымъ писаніямъ и правиламъ святыхъ отецъ, не знала заблужденій и не уклонялась въ чужіе обычаи. Достигнуть всего этого Стоглавъ хотѣлъ увѣщаніями, наставленіями, а также и угрозами; правила его простирались на всю церковную и нравственную жизнь, наконецъ на народный обычай, и въ цѣломъ только повторяли въ извѣстномъ систематическомъ порядкѣ поученія, которыми русская письменность наполнена была съ самыхъ первыхъ вѣковъ своего существованія, въ переводныхъ и собственныхъ писаніяхъ... Поученія оставались, однако, безплодными, частью потому, что не сопровождались учрежденіями, оберегающими гражданскую правду, частью потому, что не сопровождались заботой о просвѣщеніи, которое могло бы удалить грубѣйшія заблужденія и отсутствіе котораго понижало самый уровень религіознаго чувства и пониманія, до привычки заключать дѣло религіи во внѣшнемъ обрядѣ.

Биографъ митрополита Макарія говоритъ о дальнѣйшей судьбѣ Стоглава: „Въ продолженіе 150 лѣтъ послѣ Стоглаваго собора, всѣ іерархи русской церкви пользовались и руководились его постановленіями. Соборъ 1667 года наложилъ анаѣму на Стоглавъ за его извѣстныя ошибки, „зане той Макарій митрополитъ и иже съ нимъ мудрствовали невѣжествомъ своимъ безразсудно, якоже восхотѣша, сами собой, не согласася съ греческими и древними славянскими харатейными книгами, ниже съ вселенскими святѣйшими патріархами о томъ совѣтовалися“. Но эта анаѣма не помѣшала патріарху Адріану руководиться Стоглавомъ при составленіи въ 1700 году новаго уложенія, и хотя Стоглавъ, согласно постановленію 1667 года, считался „якоже не бысть“ въ продолженіе весьма долгаго времени, и даже вслѣдствіе ложныхъ опасеній не издавался, но въ настоящее время, благодаря безпристрастнымъ его изслѣдованіямъ, онъ занялъ должное мѣсто

въ исторіи русской церкви, и всѣми признаны заслуги его составителей“¹⁾). Неточно, однако, послѣднее указаніе. Историки далеко не согласны относительно заслугъ составителей Стоглава²⁾). Въ томъ положеніи, въ какомъ находилась церковная жизнь, просвѣщеніе, нравы, Стоглавъ не сказалъ ничего новаго, не сдѣлалъ ничего, чтобы улучшить положеніе вещей, открыть перспективу какого-либо прочнаго успѣха въ будущемъ. Онъ только закрѣпилъ данное положеніе вещей, которое было застоемъ, даже не чувствовавшимъ необходимости улучшенія, напр. болѣе степени образованія. Соборъ 1667 года крайне преувеличилъ въ своихъ проклятіяхъ, но былъ правъ, когда находилъ, что „той Макарій митрополитъ и иже съ нимъ мудрствовали невѣжествомъ своимъ безразсудно“; во второй половинѣ XVII-го вѣка Стоглавъ, вмѣстѣ съ книгами старой печати занялъ важное мѣсто въ числѣ тѣхъ основъ, на которыхъ опиралась „старая вѣра“, т.-е. расколъ. Вслѣдствіе этого онъ долго оставался недоступенъ для печати и понадобилось изданіе его въ Лондонѣ, пока, наконецъ, съ него снято было двухъ-вѣковое veto и онъ сдѣлался предметомъ историческаго изслѣдованія. Для своего времени, не внося въ жизнь ничего новаго по содержанію, онъ былъ опять однимъ изъ тѣхъ предпріятій, которыя выѣшнимъ образомъ снова заявляли начало политическаго и церковнаго объединенія. Важнымъ фактомъ осталось только то, что въ связи съ Стоглавомъ совершилось открытіе первой типографіи въ Москвѣ. Типографія открыта была именно для печатанія церковныхъ книгъ „во очищенію и во исправленію ненаучныхъ и неискусныхъ въ разумѣ книгописцевъ“, какъ сказано въ послѣсловіи московскаго Апостола 1564 г. Правда, типографія явилась нѣсколько поздно: типографское искусство уже болѣе ста лѣтъ широко развивалось въ Европѣ; даже славянскія кирилловскія типографіи появились еще въ девятыхъ годахъ XV-го вѣка, въ Краковѣ, Ободѣ (въ Черногоріи), Венеціи; но заслугой Макарія все-таки было покровительство первымъ московскимъ типографщикамъ Ивану Федорову и Петру Тимофееву Мстиславцу, которые только при этомъ покровительствѣ могли вести свое дѣло, потому что печатаніе книгъ съ самаго начала возбудило противъ себя вражду невѣжественныхъ писцовъ и суевѣрныхъ фанатиковъ. По смерти Макарія типографія была разрушена, домъ ея былъ сожженъ, Иванъ Федо-

¹⁾ „Журн. мин. просв.“ 1881, ноябрь, стр. 16—17.

²⁾ Не приводя другихъ цитатъ, укажемъ, хотя бы только отзывъ всегда очень умѣреннаго Порфирьева: „Исторія русской словесности“, ч. I, изд. 4-е, стр. 538.

ровъ и Мстиславецъ были обвинены въ ереси и должны были спастись бѣгствомъ въ Литву, гдѣ впоследствии Иванъ Федоровъ работалъ у князя Острожскаго, издателя знаменитой Острожской библии (1581). Послѣ Макарія нарушена была и столь ревностно защищаемая имъ неприкосновенность монастырскихъ имѣній: еще при Иванѣ Грозномъ запрещено было записывать вотчины за большими монастырями, а затѣмъ всѣ монастыри лишились права получать имѣнія по завѣщаніямъ.

Какая была въ дѣлѣ Стоглаваго собора роль Ивана Грознаго? Новѣйшіе изслѣдователи находятъ, что въ рѣчи или посланіи царя къ собору повторялись въ сущности тѣ внушенія, какія онъ слышалъ отъ Сильвестра и которыя находятся въ сохранившемся посланіи этого послѣдняго; но царь видимо развилъ эти мысли съ извѣстной самостоятельностью. „Юный царь, — пишетъ одинъ изъ новѣйшихъ изслѣдователей, — выступилъ въ этомъ посланіи въ роли обличителя и моралиста; громилъ гордость, распутство, корыстолюбіе, зависть. Онъ не замѣчалъ, по-видимому, какъ странно должны были звучать въ его устахъ эти обличительныя рѣчи. Онъ, очевидно, заинтересовался своею ролью; она давала ему случай высказать любимыя, душевные мысли. Онъ могъ много говорить о себѣ, о тѣхъ несчастіяхъ и оскорбленіяхъ, которыя ему пришлось перенести. Обвиненія, жалобы и вмѣстѣ съ тѣмъ обобщенія и предположенія полились обильнымъ потокомъ. Иванъ распространялся и о своемъ печальномъ дѣтствѣ и безпутной молодости, и о тѣхъ бѣдствіяхъ и казняхъ божіихъ, которыя постигали при немъ русскую землю, но эти грустныя воспоминанія онъ обильно пересыпалъ обвинительными замѣчаніями“ (обвиненія противъ бояръ, жалобы на свое сиротство, сознаніе въ собственныхъ ошибкахъ)... „Въ этихъ жалобахъ и обвиненіяхъ намъ слышатся все тѣ же звуки, которые повторяются и въ рѣчи на Лобномъ мѣстѣ, и въ посланіи къ Курбскому, и въ духовномъ завѣщаніи царя, и въ его рѣчи къ духовенству и боярамъ въ Александровской слободѣ. Во всю свою жизнь Иванъ тянулъ одну и ту же тоскливую пѣсню. Что-то недоброе слышалось въ этой пѣснѣ, и чѣмъ больше уходило времени, тѣмъ отчаяннѣе и ужаснѣе звучала она. Въ 1551 году, когда Ивану было только 20 лѣтъ, оставалось еще много мѣста прекраснымъ надеждамъ и добрымъ стремленіямъ“. Царь просилъ наставленій у собора, даже требовалъ противорѣчій, напоминая примѣры Стефана Новаго, Максима Исповѣдника, Теофилакта Никомидійскаго, неустрашимо защищавшихъ свои убѣжденія. Онъ несомнѣнно принималъ участіе въ составленіи вопросовъ, предло-

женныхъ собору, потому что въ нихъ находятся, между прочимъ, и его личныя воспоминанія...

Еще новымъ памятникомъ той эпохи, задуманнымъ въ томъ же духѣ объединенія и собранія старины были упомянуты Четвы-Минеи митрополита Макарія. Въ 1552 году Макарій внесъ въ Успенскій соборъ владѣ—вновь пересмотрѣнный и дополненный списокъ Четивхъ-Миней; другой экземпляръ онъ поднесъ тогда же царю Ивану Васильевичу. Это было завершеніе многолѣтняго труда, задуманнаго гораздо раньше, въ 1529 году, и надъ которымъ онъ работалъ въ особенности во время своего архіепископства. Названіе Четивхъ Миней изъ греческаго и изъ русскаго слова, обозначающее мѣсячныя чтенія, присвоено цѣлому ряду памятниковъ нашей письменности по греческому образцу: это были сборники въ особенности церковно-поучительныхъ произведеній, а также житій святыхъ, и по этому плану Макарій задумалъ свой сборникъ, но въ несравненно болѣе широкомъ объемѣ, чѣмъ имѣли подобные сборники когда-нибудь прежде. „Писалъ я,—говоритъ онъ въ предисловіи къ Минеямъ,—сіи святыя великія книги въ великомъ Новгородѣ, когда былъ тамъ архіепископомъ, а писалъ и собиралъ ихъ въ одно мѣсто двѣнадцать лѣтъ, многимъ имѣніемъ и многими различными писарями, не щадя серебра и всякихъ почестей, особенно много трудовъ и подвиговъ подъялъ я отъ исправленія иностранныхъ и древнихъ реченій, переводя ихъ на русскую рѣчь, и сколько намъ Богъ даровалъ уразумѣть, столько и смогъ я исправить, а иное и донынѣ въ нихъ осталось не исправлено; мы оставили это тѣмъ, кто послѣ насъ съ божіею помощію можетъ исправить“. Макарій задумалъ собрать въ своихъ Минеяхъ „всѣ святыя книги, которыя въ русской землѣ обрѣтаются“. Онъ собралъ ихъ сколько возможно въ календарномъ порядкѣ: когда празднуется память святого, помѣщается его житіе и его писанія. Такъ въ день пророка Іереми (мая 1-го) помѣщены книги его пророчествъ, въ день праведнаго Іова (мая 6-го)—книга Іова, въ день святого Іоанна Богослова (сентября 26-го)—его Евангеліе и Апокалипсисъ, въ день двѣнадцати апостоловъ (іюня 30)—толковый Апостолъ; въ дни памяти святыхъ отцовъ, какъ Василій Великій, Іоаннъ Златоустъ, Григорій Богословъ, Ефремъ Сиринъ и т. д., помѣщены ихъ, часто обширныя, творенія. Произведенія писателей, которые не были святыми и которыхъ поэтому нельзя было приурочить къ святымъ, помѣщались въ приложеніяхъ къ по-

слѣднимъ числамъ разныхъ мѣсяцевъ; такъ, напр., размѣщены Патерики, сочиненія Іосифа Евреина, Никона Черногорца, Іоанна экзарха болгарскаго, Пчела, Козьма Индикопловъ, Странникъ игумена Давида, посланія русскихъ князей, митрополитовъ и епископовъ, и т. д. Вообще въ Минеяхъ Макарія помѣщены произведенія всѣхъ отдѣловъ старой церковной литературы: книги священнаго писанія и толкованія на нихъ; цѣлый рядъ патериковъ; прологи; сочиненія отцовъ церкви и святыхъ русскихъ и греческихъ; сочиненія, не принадлежавшія писателямъ святымъ, но пользовавшимся большимъ уваженіемъ — по церковнымъ вопросамъ и христіанскому правоученію; путевыя записки, монастырскіе уставы, грамоты, Кормчая книга; житія святыхъ и особенно житія святыхъ русскихъ, отчасти составленныхъ именно для сборника Макарія. Первая работа надъ этимъ сборникомъ окончена была въ двѣнадцать лѣтъ, и въ 1541 году Макарій положилъ двѣнадцать книгъ Миней у святой Софіи на поминъ родителей; но онъ продолжалъ работу и въ Москвѣ и, какъ упомянуто, въ 1552 году окончена была вторая редакція Миней, экземпляры которой онъ положилъ въ Успенскій соборъ и поднесъ царю Ивану Васильевичу. Это громадное собраніе заключаетъ (по описанію арх. Іосифа) до четырнадцати тысячъ большихъ листовъ, или еще болѣе.

Сборникъ Макарія остается, однако, неполонъ; въ немъ нѣтъ нѣкоторыхъ книгъ священнаго писанія, нѣтъ многихъ сочиненій русскихъ писателей, и, какъ полагаютъ, эти пропуски объясняются тѣмъ, что Макарій имѣлъ въ виду въ особенности „душевную пользу“ читателей, и изъ книгъ священнаго писанія вносилъ преимущественно тѣ, при которыхъ имѣлись толкованія. Несмотря на неполноту, трудъ Макарія имѣетъ великое значеніе для исторіи русской литературы, такъ какъ многія замѣчательныя произведенія старой русской письменности сохранились только въ этомъ собраніи, и въ Четвѣхъ-Минеяхъ передъ нами является почти весь запасъ стараго русскаго просвѣщенія, весь горизонтъ тогдашняго мышленія. „Почти наканунѣ своего появленія въ качествѣ дѣятельнаго фактора среди европейскихъ народовъ, русское общество все еще не могло покончить съ своими средними вѣками“, замѣчаетъ біографъ митрополита Макарія; но это общество и послѣ того еще больше ста лѣтъ осталось въ этихъ среднихъ вѣкахъ.

Однимъ изъ главныхъ предметовъ, на которые Макарій обратилъ вниманіе, были житія русскихъ святыхъ. Задумавъ свое предпріятіе, онъ собралъ около себя цѣлый кружокъ сотрудни-

ковъ. „Однихъ,—говорить его біографъ,—онъ привлекъ къ себѣ, не щадя золота, серебра и многихъ почестей, а другіе работали, такъ же, какъ и онъ, изъ любви къ дѣлу. Такимъ образомъ составилось цѣлое литературное общество, одни члены котораго рылись въ монастырскихъ библіотекахъ, вездѣ старались найти нужный имъ матеріалъ, другіе переписывали разныя редакціи житій, третьи уже составляли новыя житія, или передѣлывали старыя сообразно требованіямъ времени. Такое общество—явленіе единственное въ то время въ московской Руси“. Распредѣляя работы и исправляя доставленныя редакціи, Макарій и самъ, какъ говорить одинъ изъ его помощниковъ, Илья, любилъ „день и ночь, яко пчелы сладость отовсюду приносить, поискати святыхъ житія. Мнози отъ святыхъ забвенію предани быша, сихъ убо святитель подъ спудомъ не скрываетъ, но на свѣщницѣ добродѣтели возлагаетъ“¹⁾.

На первомъ мѣстѣ между этими сотрудниками ставятъ очень извѣстнаго въ то время дьяка Дмитрія Герасимова, или какъ его называли, Толмача—вѣроятно, не по фамиліи, а по его профессіи. Его главная дѣятельность относится ко временамъ Ивана III и въ послѣдніе годы онъ жилъ въ Новгородѣ при Макаріи. Герберштейнъ и Павелъ Іовій, бывавшіе съ нимъ въ сношеніяхъ, свидѣтельствуютъ о немъ, какъ объ одномъ изъ самыхъ образованныхъ людей той эпохи. Онъ хорошо зналъ по-латыни, бывалъ по дипломатическимъ порученіямъ въ разныхъ странахъ Европы, и для Макарія, между прочимъ, перевелъ съ латинскаго Толковую псалтырь Брунона. Другіе сотрудники работали въ особенности по отдѣлу житій русскихъ святыхъ. Одинъ изъ нихъ былъ боярскій сынъ Василій Тучковъ, прибывшій въ Новгородъ въ 1537 году для набора ратныхъ людей. Онъ былъ великій книжникъ, поражавшій тѣмъ, что былъ знаткомъ божественныхъ писаній, не будучи духовнымъ лицомъ—„отъ многоцѣнныя царскія палаты храбрый воинъ и всегда во царскихъ домахъ живши и мягкая нося и подружіе законно имѣя и вмѣстѣ съ тѣмъ селена разумія отъ Господа сподобися“. Въ дѣйствительности, Тучковъ, начитавшись тогдашней литературы, сподобился большого искусства въ такъ называвшемся тогда „плетеніи словесъ“. Макарій поручилъ ему передѣлать житіе и чудеса святого Михаила Клопскаго, и Тучковъ наполнилъ житіе реторическими прикрасами, но относительно фактовъ во многихъ случаяхъ сократилъ и испортилъ его; къ житію прибавилъ онъ предисловіе, гдѣ изобразилъ

¹⁾ Журн. мин. просв., 1881, ноябрь, стр. 27.

искупленіе рода человѣческаго, начиная съ Адама, и послѣсловіе, гдѣ показалъ свое знакомство съ троянскими сказаніями и называетъ имена Омира, Ахиллеса и Еркула. Но рядомъ съ твореніемъ Тучкова Макарій помѣстилъ, однако, и старую редакцію житія. Далѣе, однимъ изъ дѣятельныхъ сотрудниковъ Макарія былъ іеромонахъ его домовоі церкви Ильа, между прочимъ написавшій, по разсказамъ пришедшихъ въ Новгородъ аеонскихъ монаховъ, житіе болгарскаго мученика Георгія.

Въ Москвѣ, какъ упомянуто выше, совершена была на соборахъ 1547 и 1549 годовъ всероссійская канонизація русскихъ святыхъ. Для этого необходимы были ихъ житія, но для нѣкоторыхъ святыхъ эти житія не были составлены или нуждались въ передѣлкѣ, и Макарій еще до собора 1547 года поручилъ епископу крутицкому Саввѣ, постриженнику Іосифа Волоцкаго, написать его житіе; другому постриженнику—составить службу Іосифу и разрѣшилъ ему даже молитвовать по ней въ кельѣ еще до соборнаго опредѣленія. Такимъ же образомъ составлены были по его порученію житія Макарія Колязинскаго и Александра Свирскаго, еще до ихъ канонизаціи. Затѣмъ послѣ собора по его же порученіямъ составленъ былъ цѣлый рядъ новыхъ житій, внесенныхъ потомъ въ новую редакцію Четіихъ-Миней, какъ, напримѣръ, житія Александра Невскаго, митрополита Іоны, Саввы Сторожевскаго и другихъ и, между прочимъ, житія преподобнаго Евфросина и князя Всеволода псковскихъ, составленные пресвитеромъ Василюемъ, ревностнымъ защитникомъ сугубой алылуіи. Это были послѣднія житія, внесенныя Макаріемъ въ его Четіи-Миней. Въ 1552 году, какъ выше замѣчено, Макарій довершилъ вторую редакцію своего громаднaго собранія, но и послѣ этого продолжалъ заботиться о составленіи житій, такъ что вообще въ результатъ вызванной имъ дѣятельности появилось до *шести-десяти* новыхъ житій. Впослѣдствіи у митрополита Макарія нашлись подражатели. Въ 1646—1654 составлены были Четіи-Миней священникомъ Милютинимъ; въ концѣ XVII-го вѣка трудъ Макарія послужилъ источникомъ для Четіихъ-Миней Димитрія Ростовскаго, которыя, впрочемъ, заключаютъ въ себѣ только житія святыхъ. Еще въ концѣ XVII-го вѣка ученый монахъ Евѣмій составилъ краткое оглавленіе Макаріевскихъ Миней по Успенскому списку ¹⁾.

¹⁾ Это оглавленіе издано было Ундольскимъ въ „Чтеніяхъ“ московскаго Общества исторіи и древностей, 1847, № 4, но это оглавленіе и неполно, и неточно. Описаніе Софійскаго списка сдѣлано пр. Макаріемъ въ „Лѣтописяхъ“ Тихонравова, 1859, I.

Новый трудъ описанія Макаріевскихъ Миней по Успенскому списку, который

Послѣдній трудъ митрополита Макарія посвященъ былъ еще одному труду, который въ извѣстномъ отношеніи опять носитъ на себѣ энциклопедическій или политическыи-объединительный характеръ. Это была такъ называемая Степенная книга—историческій сборникъ по старымъ лѣтописямъ, но не въ погодномъ лѣтописномъ порядкѣ, а по степенямъ генеалогіи великихъ князей. Цѣлью этого новаго порядка, видимо, было провести мысль о преемственности великокняжеской и, наконецъ, царской власти правильнымъ наслѣдованіемъ отъ первыхъ начинателей русскаго государства, на подобіе того, какъ самъ Иванъ Грозный (и даже ранѣе его, книжные приверженцы единодержавія) возводилъ свою царственную власть до Владиміра Святого и Владиміра Мономаха. Всѣхъ „степеней“ насчитано семнадцать, отъ начала русскаго государства и до Ивана Грознаго. На основаніи Татищева, первымъ начинателемъ Степенной книги считали митрополита Кипріяна; въ своемъ настоящемъ видѣ она составляетъ трудъ митрополита Макарія, который, впрочемъ, и здѣсь, какъ въ собираніи Миней, былъ не столько авторомъ, сколько редакторомъ и руководителемъ. Онъ поручалъ другимъ составленіе разныхъ отдѣловъ книги, и на нихъ значится обыкновенно, что онѣ составлены „благословеніемъ и повелѣніемъ митрополита Макарія всея Руси“. Въ изложеніи событій господствуетъ тонъ не столько лѣтописи, сколько житія. „Нельзя, однако, сказать,—замѣчаетъ біографъ митрополита Макарія,—что Макарій не чувствовалъ никакого различія между житіями Четіихъ-Миней и Степенной книги; напрімѣръ, изъ того уже обстоятельства, что для Степенной книги онъ счелъ нужнымъ составить новыя редакціи житій, уже помѣщенныхъ въ Четіихъ-Миней, видно, что онъ хоть и слабо, но все-таки сознавалъ эту разницу. Такъ, если сравнимъ житія Александра Невскаго, помѣщенные въ Четіихъ-Миней и въ Степенной книгѣ, то замѣтимъ, что въ послѣдней нѣтъ столько вѣтievатостей, нѣтъ реторическаго похвальнаго слова, нѣтъ подробнаго перечня чудесъ, вообще преобладаетъ біографическій разсказъ, и дѣятельность великаго князя изображается въ связи съ другими историческими явленіями его времени. Это замѣчаетъ самъ составитель, который относительно чудесъ говоритъ: „сія же различная чудеса довольно писана быша въ торжественнѣмъ словеси его, въ сей же

въ 1856 году переданъ былъ въ синодальную бібліотеку, сдѣланъ былъ архимандритомъ Іосифомъ (изданіе докончено по его смерти): „Подробное оглавленіе великихъ Четіихъ-Миней всероссійскаго митрополита Макарія, хранящихся въ московской патріаршей (нынѣ синодальной) бібліотекѣ“. Москва, 1892 (4°, IV, 582 и 502 столбца, церковнымъ шрифтомъ).

повѣсти сокращено прочихъ ради дѣяній“. Такимъ же характеромъ отличаются помѣщенные въ Степенной книгѣ житія св. Владимира, Ольги, Бориса и Глѣба, митрополита Іоны, Алексія и другихъ¹⁾.

Форма житія была, вѣроятно, принята потому, что была единственная привычная форма связнаго историческаго повѣствованія; вмѣстѣ съ тѣмъ она вѣроятно казалась и соотвѣтствующею важности историческаго плана. Самое обширное по размѣрамъ есть житіе Владимира Святого: въ понятіяхъ XVI вѣка это былъ первый *царь*, какъ первый начинатель русскаго православія. Въ житіи Владимира включенъ и рассказъ о началѣ Руси, при чемъ здѣсь, такъ сказать, полу-официально заявлено происхожденіе рода Рюрика изъ Пруссіи, гдѣ онъ велъ свое начало отъ Августа Кесаря — легенда, которая должна была указать римское и византійское преемство московскаго царства и которую (вѣра или не вѣра въ нее) выставлялъ и самъ Иванъ Грозный²⁾.

Наконецъ, въ разрядъ характерныхъ памятниковъ XVI вѣка, появившихся въ ближайшей обстановкѣ Ивана Грознаго, принадлежитъ знаменитый „Домострой“, соединяемый съ именемъ извѣстнаго совѣтника Грознаго, попа Сильвестра: онъ также имѣетъ нѣкоторое отношеніе къ господствовавшему въ этомъ кругу стремленію установить основы русской жизни на старомъ преданіи.

„Домострой“ привлекъ на себя вниманіе изслѣдователей рус-

¹⁾ Журн. мин. просв. 1881, ноябрь, стр. 83.

²⁾ О митрополитѣ Макаріи см. у историковъ русской церкви, Филарета и особливо Макарія, и кромѣ того спеціальныя изслѣдованія.

— Н. Лебедевъ, „Макарій митрополитъ всероссійскій“, въ „Чтеніяхъ“ Общества любителей духовнаго просвѣщенія, 1877, ч. II; 1878, ч. I.

— К. Заусцинскій, „Макарій митрополитъ всея Россіи“, въ Журн. мин. просв. 1881, октябрь и ноябрь.

— Относительно Стоглава см. изданія различныхъ его редакцій, которыхъ полагаютъ три. Первая, такъ называемая обширная—въ двухъ изданіяхъ, лондонскомъ и казанскомъ (1862), сдѣланныхъ однако по спискамъ позднимъ и не всегда удовлетворительнымъ; сокращенная редакція, XVII-го вѣка и мало пригодная, въ изданіи Кожанчикова, Спб. 1863; еще одна краткая, неполная, редакція издана Калачовымъ, въ „Архивѣ историческихъ и практическихъ свѣдѣній, относящихся до Россіи“, кн. V, отдѣлъ II, стр. 1—44. О значеніи Стоглава—въ исторіяхъ русской церкви; см. также изслѣдованія Добротворскаго, въ „Правосл. Собесѣдникѣ“, 1862, III; Вѣльева въ „Чтеніяхъ“ Общ. любит. духов. просв., 1875, ноябрь; Жданова, „Матеріалы для исторіи Стоглаваго собора“, въ Журн. мин. просв., 1876, июль—августъ, и др.

— О соборахъ 1547 и 1549 годовъ, въ упомянутомъ изслѣдованіи о канонизаціи, Васильева.

свой старины сравнительно недавно. Первое изданіе его относится не далѣе какъ къ 1849 году; съ тѣхъ поръ ему посвящено было не мало изслѣдованій съ исторической, бытовой и литературной точки зрѣнія; издано было нѣсколько различныхъ его списковъ, но изслѣдованіе и до сихъ поръ едва-ли можно считать законченнымъ. Но выяснилось несомнѣнно, что авторство попа Сильвестра было здѣсь лишь относительное. Домострой принадлежалъ къ числу тѣхъ произведеній старой письменности, какія бывали трудомъ сборнымъ, даже не одного, а нѣсколькихъ поколѣній. Къ первоначальной основѣ присоединялись мало-по-малу новыя дополненія и создавалось, наконецъ, нѣчто цѣлое, которое представляется рукописями въ различныхъ, такъ-называемыхъ, редакціяхъ, смотря по тому, въ какомъ составѣ писецъ рукописи встрѣчалъ это произведеніе. Главнымъ образомъ опредѣлялись теперь двѣ такія редакціи Домостроя: одна—обширная, другая—сокращенная, и эта послѣдняя была трудомъ Сильвестра, которому принадлежитъ также особая статья въ концѣ, обращенная, какъ поученіе, къ сыну его Анѣиму и представляющая краткій обзоръ содержанія цѣлаго Домостроя, такъ-называемый „малый Домострой“.

По всему складу нашей письменности тѣхъ вѣковъ, дѣйствительно, скорѣе можно было бы ожидать, что подобный трудъ явится именно сборнымъ, что и здѣсь скажется духъ традиціи, повтореніе преданія, только подкрѣпляемого новыми добавками, соединеніе въ книгу нѣсколькихъ отдѣльныхъ работъ. Въ той обширной редакціи Домостроя, которая считается и несомнѣнно была первоначальною, въ самомъ заглавіи (или оглавленіи, потому что въ древнѣйшемъ извѣстномъ спискѣ заглавіе книги даже не названо) можно замѣтить эти наслоенія: „*Поученіе и наказаніе отцевъ духовныхъ ко всѣмъ православнымъ христіаномъ, како вѣровати во святую Троицу и пречистую Богородицу, и кресту Христову, и небеснымъ силамъ, и святымъ мощемъ покланятися, и святымъ тайнамъ причащатися, и како прочей святости касатися, и како царя чтити, и его князи и вельможа*“ (и т. д.)... „И еще в сей книгѣ изнайдеши наказъ отъ нѣкоего о мірскомъ строеніи, какъ жити православнымъ христіаномъ въ міру съ женами и з дѣтьми, и з домочятци, и ихъ наказывати и учити, и страхомъ спасати, и грозою претити“ (и т. д.)... „И еще в сей книгѣ изнайдеши о домоовномъ строеніи, какъ наказъ имѣти въ женѣ и дѣтемъ и къ слугамъ, и какъ запасъ имѣти,... а главъ 67 все изнайдеши“.

Видимо, что составитель перваго отдѣла, имѣющаго свое опредѣленное содержаніе, прибавилъ къ нему сочиненіе другого лица—

о мірскомъ строеніи; а затѣмъ новымъ особымъ отдѣломъ являются наставленія о домовномъ строеніи, т.-е. собственно о домашнемъ хозяйствѣ. Полагаютъ, что этотъ послѣдній отдѣлъ составлялъ, быть можетъ, наиболѣе старую часть Домостроя, и указываютъ во всѣхъ трехъ отдѣлахъ извѣстныя различія не только содержанія, но и самаго склада и языка ¹⁾. Хронологическое отношеніе этихъ отдѣловъ довольно трудно установить съ какою-либо точностію, — какъ мы вообще указывали это при безличномъ и нерѣдко чисто компилятивномъ характерѣ произведеній нашей древней письменности. Какъ бы то ни было, сборный характеръ Домостроя едва ли подлежитъ сомнѣнію, какъ несомнѣнно и то, что основа этого сборника существовала задолго до Сильвестра и восходитъ вѣроятно еще къ концу XV-го вѣка.

Сдѣланы были опыты сопоставлять Домострой съ подобными памятниками другихъ европейскихъ литературъ среднихъ вѣковъ — итальянской, французской, нѣмецкой, чешской, даже съ однимъ памятникомъ древне-индійской литературы; недавно ²⁾ Домострой былъ привлеченъ къ сравненію съ одной дидактической поэмой византійской. При отсутствіи непосредственной литературной связи, которая могла бы давать идею о подражаніи или заимствованіи, эти сличенія остаются безплодными: памятники могутъ представлять извѣстные случаи сходства, какъ, напр., общія указанія на необходимость благочестія или житейскаго благоразумія, общія черты извѣстной суровости нравовъ въ семейной дисциплинѣ и т. п.; но въ цѣломъ характерѣ названныхъ литературъ, какъ и создавшей ихъ жизни, было столько различія, что эти параллели могутъ имѣть только интересъ анекдотическій. Единственная прочная связь соединяетъ нашъ памятникъ съ той греческой переводной литературой, тѣми „божественными писаніями“, которыя наложили свой отпечатокъ на всю нашу древнюю письменность. Дѣйствительно, когда у нашихъ изслѣдователей возникъ вопросъ о составѣ и источникахъ Домостроя, то вскорѣ уже подобранъ былъ цѣлый рядъ параллелей между Домостроемъ и различными памятниками древней церковно-поучительной литературы. Изъ нихъ почерпнуть

¹⁾ Такъ полагаютъ и г. Некрасовъ, посвятившій Домострою извѣстное специальное изслѣдованіе; но онъ нѣсколько противорѣчиво называетъ въ одномъ случаѣ наиболѣе старымъ третій отдѣлъ Домостроя („мы приходимъ къ тому мнѣнію, что третья часть Домостроя составляетъ самое древнее, самое основное зерно его, первичный изводъ Домостроя“ — *третья часть говоритъ о домовномъ строеніи*), а въ другомъ случаѣ считаетъ основой Домостроя отдѣлъ *о мірскомъ строеніи* — т.-е. второй („Опытъ изслѣдованія о происхожденіи Домостроя“, стр. 160, 168, 184).

²⁾ Въ странной книжкѣ г. Бракенгеймера, Одесса, 1893.

былъ не только весь складъ наставленій церковныхъ и поученій о „мірскомъ строеніи“, но иногда буквально взяты самые тексты поученій. Это совершенно отвѣчало всему характеру старой письменности: гдѣ было взять „наказаніе отъ отца къ сыну“, которымъ начинается „Домострой“, откуда заимствовать наставленія о томъ, „како христіаномъ вѣровати“, „како страхъ божій имѣти и память смертную“, „како чтити людямъ отцевъ своихъ духовныхъ“, „како святительскій чинъ почитати, тако же и священническій и мнишескій“, „како въ церквамъ божіимъ и въ монастыри съ приношеніемъ приходити“,—гдѣ было взять эти наставленія, какъ не въ тѣхъ „божественныхъ писаніяхъ“, которыя издавна были готовымъ авторитетомъ? Произведенія такого рода встрѣчаются уже въ первыхъ памятникахъ русской письменности съ XI вѣка: это были и поученія о вѣрѣ, и наставленія о нравственности. Позднѣе, особливо въ XIV вѣкѣ, встрѣчается уже большое обиліе дидактическаго матеріала въ сборникахъ какъ Иамарадъ, Златоустъ, Златая Цѣпь, Пчела и т. д.; сборники какъ Измарагдъ и особливо Златая Цѣпь между прочимъ заключали, кромѣ обычныхъ переводныхъ, и не мало русскихъ статей, гдѣ правоученіе примѣнялось уже и специально къ русскому быту. Связь Домостроя съ этой дидактической литературой доказывается многими несомнѣнными параллелями. Въ числѣ образцовъ и источниковъ его могли быть и извѣстные русскіе памятники, какъ поученіе Владиміра Мономаха, слова Серапіона владимірскаго. Далѣе, Домострой прямо ссылается на постановленія соборовъ, Номоканонъ, Прологъ; иногда дѣлаетъ прямо выписки, не указывая своего источника, какъ, напр., изъ „Слослова“ патріарха Геннадія—въ самыхъ первыхъ главахъ сочиненія. Наконецъ, въ самомъ хозяйственномъ отдѣлѣ Домострой имѣлъ предшественниковъ въ монастырскихъ обиходникахъ (напр. монастырей Сійскаго, Волоколамскаго, Кирилло-Бѣлозерскаго), гдѣ преподавались правила благочинія и приличія, а также сообщались весьма обширныя росписи кушаньевъ.

Наиболѣе самостоятельнымъ и интереснымъ отдѣломъ Домостроя является второй, посвященный мірскому строенію или бытовому обряду и нравственности: здѣсь авторъ стоялъ всего ближе къ непосредственному быту и самое изложеніе просто и реально и языкъ приближается къ народному; затѣмъ съ непосредственнымъ бытомъ связанъ и третій, хозяйственный, отдѣлъ. Если отдѣлъ о церковномъ благочестіи по самому существу не могъ имѣть чего-либо специально мѣстнаго, то въ этихъ двухъ отдѣлахъ, напротивъ, можно было бы ожидать хотя легкаго отраженія быто-

выхъ особенностей той или другой изъ главныхъ тогдашнихъ областей русскаго народа и народнаго быта. Изслѣдователь Домостроя не сомнѣвался, что по этимъ бытовымъ чертамъ надо приписать Домострою происхожденіе новгородское: на него указываютъ бытовныя подробности, принадлежащія гораздо болѣе обычаю новгородскому (боярскому, торговому), чѣмъ московскому¹⁾. Въ главахъ о неправедномъ житіи (28) и о праведномъ житіи (29) въ особенности отражается бытъ новгородскаго богача-боярина: въ то время, какъ „первыя 15 главъ полнаго Домостроя отъ хорошаго человѣка постоянно требуютъ, чтобы онъ помнилъ царя, повиновался царской власти, молился за него, служилъ ему вѣрой и правдой“, въ послѣдующихъ главахъ (начиная съ 16-ой) нѣтъ „ни одного подобнаго намека или указанія на царскую власть“; нѣтъ упоминанія ни о царской, ни даже о княжеской власти и тамъ, гдѣ изображаются дурныя стороны гражданской жизни: вѣто страха божія не имѣть и отеческаго преданія не хранить, и отца духовнаго не слушаетъ, и чинить всякую неправду, тотъ за свои дурныя дѣла будетъ „отъ Бога непомилованъ и отъ народа проклятъ“. „Очень замѣчательно то, что именно въ этихъ главахъ Домостроя меньше всего тѣхъ предписаній, въ которыхъ обыкновенно упрекаютъ Домострой и которыя отличаются челоуѣкоугодливостью, слишкомъ грубою практичностью. Для такого богатаго властелина и судьи некому было *уноравливать* особенно, или нужно было уноровить всѣмъ, что равняется справедливости“. Въ этой части Домостроя встрѣчается довольно много указаній именно на торговый бытъ, между прочимъ на торговлю „по морю“, и эти черты сглажены были потомъ въ позднѣйшей московской редакціи Домостроя. Далѣе, въ этомъ отдѣлѣ нѣтъ никакихъ грубыхъ предписаній относительно женщины; напротивъ, цѣлая глава посвящена похвалѣ хорошей хозяйки и жены,— правда, содержаніе ея несамостоятельно и взято изъ готовыхъ книжныхъ образцовъ, но любопытно, что авторъ выбралъ эти образцы, а не другіе, напр. не извѣстныя слова о „злыхъ женахъ“.

Третья часть Домостроя²⁾ составилаь опять независимо, и въ ней также не легко отличить старыя или болѣе позднія составныя части; но тонъ ея уже другой и именно, по указанію нашего изслѣдователя, „положеніе женщины, или лучше взглядъ на нее, довольно непривлекательны“; мораль этого отдѣла невысокая, практично себлюбивая. Къ этой части Домостроя особенно от-

¹⁾ Некрасовъ, стр. 150 и далѣе.

²⁾ Въ древней полной редакціи съ главы 80-й.

носятся замѣчаніе, сдѣланное г. Буслаевымъ: „Руководясь благо-разуміемъ народной пословицы, иногда себялюбивымъ, Домострой учить, при соблюденіи экономіи, и гостя употчивать безъ убытка, и милостыню подать съ расчетомъ: что попортилось изъ годовыхъ запасовъ, онъ говорить, то напередъ съѣдать, или взаймы отда-вать, или на милостыню неимущимъ. Изъ самаго гостепріимства Домострой учить извлекать барышъ... Эгоизмъ—порокъ, общій всѣмъ временамъ. По крайней мѣрѣ, старина откровенно выска-зывала своекорыстные виды, и тѣмъ самымъ обезоруживала ихъ злонамѣренность“ ¹⁾. Въ этой части Домостроя находятся и со-быты о томъ, какъ уживаться съ людьми, какъ всѣмъ „уноро-вить“. Раньше нашъ изслѣдователь замѣчалъ, что для новгород-скаго богатаго боярина не было надобности въ этомъ уноравли-ваніи ²⁾; здѣсь, относительно другой части Домостроя, онъ за-мѣчаетъ, что „это требованіе уживчивости, „уноравливанія“ всѣмъ, вызывалось самымъ свойствомъ жизни Новгорода, гдѣ, съ одной стороны, таковой боязни сверху, или грозной управы, не было, а съ другой и стремленіемъ составлять себѣ сторону, или заслу-жить общественное расположеніе. Въ Москвѣ не нужно было всѣмъ уноравливать, а одному“ ³⁾. Попъ Сильвестръ въ своей ре-дакціи Домостроя, въ той части его, гдѣ онъ рассказывалъ сыну о своей собственной жизни, настаиваетъ именно на житейской мудрости, какъ со всѣми надо жить въ ладахъ, какъ всѣмъ уно-ровить. Извѣстенъ отзывъ Соловьева объ этой чертѣ его настав-леній. „Несмотря на то, что наставленіе Сильвестра сыну но-ситъ, повидимому, религіозный, христіанскій характеръ, нельзя не замѣтить, что цѣль его—научить житейской мудрости; кро-тость, терпѣніе и другія христіанскія добродѣтели предписываются какъ средства для пріобрѣтенія выгодъ житейскихъ, для пріобрѣ-тенія людской благосклонности; предписывается доброе дѣло,—и сейчасъ же выставляется на видъ матеріальная польза отъ него; предписывая уступчивость, уклоненіе отъ вражды, и основываясь при этомъ, повидимому, на христіанской заповѣди, Сильвестръ доходитъ до того, что предписываетъ челоуѣкоугодничество, столь противное христіанству: „ударъ своего, хотя бы онъ и правъ былъ,—этимъ брань утолишь, убытка и вражды избудешь“. Вотъ слѣдствіе того, что христіанство понято не въ духѣ, а въ плоти! Сильвестръ считаетъ добрымъ дѣломъ освободить рабовъ; хвалится, что у него всѣ домочадцы свободные, живутъ по своей волѣ, и,

¹⁾ Очерки русской народной словесности и искусства, т. I, стр. 475.

²⁾ Некрасовъ, стр. 151.

³⁾ Тамъ же, стр. 172.

въ то же время, считаетъ позволительнымъ бить домочадца, хотя бы онъ и справедливъ былъ: хочетъ исполнить форму, а духа не понимаетъ“¹⁾. Но только „подъ конецъ вышло, что Сильвестръ не всѣмъ уноровилъ, ибо всѣмъ уноровить дѣло невозможное“.

По поводу того, что Домострой постоянно связывается съ именемъ Сильвестра, изслѣдователь его замѣчаетъ: „Обыкновенно ту мрачную картину жизни, которую представляетъ нашъ Домострой, соединяли съ именемъ Сильвестра, какъ составителя его. Это было однимъ изъ *тяжелыхъ обвиненій*, которымъ пользовались для обозначенія этого лица времени Ивана IV. Время Ивана IV такъ много обозначается личностью Сильвестра, что разъясненіе вопроса о томъ, какое участіе принималъ онъ, и принималъ ли, въ составленіи Домостроя, въ высшей степени важно. Если Домострой былъ сложенъ еще до него, и если онъ имъ пользовался, какъ готовою теоріею, то естественно, что съ его личности должно быть сложено кое-что для его оправданія. Воспитаться на извѣстной теоріи, принять ее готовую, созданную уже другими, или цѣлымъ обществомъ, либо кружкомъ, или создать ее самому, двѣ вещи очень различныя между собою“²⁾. Но большого различія вовсе нѣтъ. Прикосновенность Сильвестра къ Домострою такова, что послѣдній если не вполне, то въ очень значительной степени можетъ быть соединяемъ съ его именемъ. Сильвестръ нѣсколько сократилъ такъ-называемую полную редакцію, существовавшую до него, но внесенныя имъ измѣненія были совершенно незначительны и ограничились, какъ объясняютъ, только тѣмъ, что онъ примѣнилъ его къ московскимъ обычаямъ, устранивъ инныя мелкія подробности новгородскаго быта; а затѣмъ новая глава, „несомнѣнно принадлежащая перу Сильвестра“, по словамъ самого изслѣдователя, „представляетъ мастерской образчикъ мыслей, сжато изложенныхъ и заимствованныхъ изъ цѣлаго Домостроя“³⁾. Такимъ образомъ его собственный взглядъ нимало не расходился съ общимъ характеромъ Домостроя: быть можетъ, онъ нѣсколько мягче понималъ педагогію Домостроя, но вполне дѣлилъ всю основную систему его взглядовъ и даже расширилъ приемы челоуѣкоугодничества.

Комментаторы Домостроя различнымъ образомъ оцѣнивали его литературно-бытовое значеніе: была ли это прямая картина суще-

¹⁾ Исторія Россіи. Слб. 1894, кн. II (т. VI—X), стр. 523.

²⁾ Некрасовъ, стр. 175—176.

³⁾ Тамъ же, стр. 176.

ствовавшихъ нравовъ, приведенная въ педагогическую систему, такъ что Домострой можетъ считаться готовымъ матеріаломъ для исторіи быта, или, напротивъ, это былъ только идеалъ, къ которому моралисты хотѣли привести общество своего времени? Очевидно, было и то и другое, и напр. глава „о неправедномъ житіи“ вся занята подробностями неправеднаго житія, взятыми прямо изъ дѣйствительности; съ другой стороны, тотъ почти монашескій образъ жизни, который предлагается каждой семьѣ, былъ не столько фактомъ, сколько идеаломъ автора. Въ цѣломъ „Домострой“ былъ, какъ мы замѣтили, однимъ изъ тѣхъ завершающихъ явленій, какихъ мы видѣли цѣлый рядъ въ царствованіе Грознаго. Это были опять итоги прошлаго, которые должны были, по мысли руководящихъ людей того времени, не только исправить порушенную и поиспатавшуюся старину, но и дать прочную опору и руководство для будущаго. Что старина „поиспалась“, это была отчасти обыкновенная иллюзія, ищущая идеала въ прошедшемъ; но отчасти это было и справедливо потому, что броженіе, происходившее въ политическомъ быту земли въ эпоху московскаго объединенія, сопровождалось, повидимому, большою испорченностью нравовъ, на которую неизмѣнно жаловались моралисты (какъ, напр., незадолго передъ тѣмъ митрополитъ Даніилъ въ его многочисленныхъ писаніяхъ). На дѣлѣ, указанныя усилія закрѣпить нарушенную старину въ руководство будущему становились именно только историческими итогами: Великія Четин-Миней митрополита Макарія, Стоглавъ, Домострой, собрали то, что было приобрѣтено старою жизнью, но они были безсильны остановить общество на намѣченной ими ступени его внутренняго и внѣшняго быта. Исторія должна была потребовать дальнѣйшаго движенія; но здѣсь совсѣмъ отсутствовала самая мысль о какомъ-либо измѣненіи въ данномъ порядкѣ понятій и обычаевъ. Всѣ эти дѣятели были глубокими консерваторами—Иванъ Грозный, митрополитъ Макарій, дѣятели Стоглаваго собора, Сильвестръ, самъ Курбскій ¹⁾—при всѣхъ широкихъ замыслахъ воздѣйствовать на цѣлый государственно-церковный бытъ, установить для народа правила благочестиваго христіанскаго воспитанія и житейской правственности, собрать во-едино книжное достоиніе народа, эти ревнители и труженики остаются на той же невысокой ступени — въ сущности ложнаго пониманія самой вѣры, заключаемой въ обрядовое суевѣріе; на ряду съ толпой остаются

¹⁾ Ср. вѣрные замѣчанія Жданова въ „Журн. мин. просв.“ 1876, августъ, стр. 187—189.

чужды всякой мысли о необходимости расширить просвѣщеніе, дать мѣсто наукѣ,—самого существованія которой они не подозревали, хотя говорилъ о ней еще жившій въ тѣ годы Максимъ Грекъ. Мы выдѣлили раньше князя Курбскаго, который въ известной мѣрѣ можетъ назваться ученикомъ этого Максима Грека: онъ понималъ и отвергалъ нѣкоторыя стороны тогдашняго невѣжества (напр., хотя бы вѣру въ „болгарскія басни“); подѣ старость самъ сталъ учиться; возставая противъ Грознаго, хотѣлъ охранить по крайней мѣрѣ „человѣческое естество“, т.-е. достоинство человѣческой личности, которое дѣйствительно попиралось въ ученіяхъ, какія возводилъ тогда суровый и тяжелый законъ, утверждаемый на „писаніяхъ“,—но и Курбскій оставался, тѣмъ не менѣе, такимъ же консерваторомъ въ основѣ своихъ понятій. Это преклоненіе передъ стариною въ дѣятеляхъ половины XVI-го вѣка тѣмъ ярче бросается въ глаза, что еще за полъ-вѣка болѣе глубокое пониманіе самой вѣры,—на которой опирали тогда все міровоззрѣніе,—указывалось въ ученіяхъ Нила Сорскаго и его послѣдователей, и еще доживалъ свои послѣдніе годы Максимъ Грекъ,—которому, даже „плѣлуя его узы“, не могъ или боялся помочь самъ митрополитъ Макарій ¹⁾.

Но всѣ эти усилія закрѣпить старину не могли закрыть для русской жизни новыхъ путей ея дальнѣйшаго развитія. Правда, еще довольно долго она въ той или другой степени продолжала это старое преданіе (не забытое и до сихъ поръ), но не была имъ связана, какъ этого ожидали дѣятели XVI вѣка, и уже послѣдніе XVII столѣтія искали новыхъ теоретическихъ понятій и новыхъ формъ быта. Было чрезвычайно характернымъ явленіемъ,

¹⁾ О Домостроѣ и другихъ писаніяхъ Сильвестра см.:

— Изданіе Голохвастова во „Временникѣ“ московскаго Общества исторіи и древностей, 1849, кн. I (по списку Кошкина, съ 64-ой главой, заключающей писаніе самимъ Сильвестромъ Забѣжаніе къ своему сыну или „Малый Домострой“).

— Домострой. По рукописамъ Имп. Публ. Библіотеки. Подъ редакціею В. Яковлева. Спб. 1867 (безъ 64-ой главы).

— И. С. Некрасовъ. Опытъ историко-литературнаго изслѣдованія о происхожденіи древне-русскаго Домостроя. М. 1873 (изъ „Чтеній“ 1872, кн. III; здѣсь и обзоръ прежней литературы вопроса).

— Посланія Сильвестра издали Н. И. Барсовымъ, въ Христіанскомъ Чтеніи, 1871, № 3; см. также трудъ Голохвастова и архимандрита Леониды, въ „Чтеніяхъ“ Моск. Общества исторіи и древностей, 1874, кн. I. Поправки къ этимъ изслѣдованіямъ и другія замѣчанія у Жданова, „Матеріалы для исторіи Стоглаваго собора“, Журн. мин. просв., 1876, июль, августъ.

— Домострой по списку Им. Общества исторіи и древностей русскіихъ. М. 1882 (изъ „Чтеній“, 1882; изданіе старѣйшаго списка, безъ дополненій Сильвестра, приготовленное Андреемъ Поповымъ, съ предисловіемъ И. Е. Забѣлина).

что во второй половинѣ XVII вѣка Стоглавъ оказался опорой для раскола, отвергнутого и осужденнаго господствующей церковью и государствомъ, а Домострой нашелъ себѣ противобѣсъ въ изображеніи русскихъ нравовъ у Котошихина.

Историко-литературное значеніе Домостроя ¹⁾ заключается въ томъ, что это есть картина нравовъ и вмѣстѣ общественный идеалъ, что онъ отражаетъ въ себѣ взгляды тогдашнихъ приверженцевъ старины, стоявшихъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ первыхъ рядахъ общества того времени. Содержаніе его достаточно извѣстно. Впечатлѣніе, какое производитъ онъ какъ нравственный и житейскій кодексъ, опредѣляется тѣмъ, что его названіе стало какъ бы техническимъ терминомъ. Авторитетный историкъ хотѣлъ недавно идеализировать воспитательную систему Домостроя, утверждая, что въ правилѣ—дѣтей „страхомъ спасти“ (посредствомъ жезла, т.-е. палки) мы имѣемъ дѣло съ *планомъ*, а не съ *практикой* домашняго воспитанія, что если древняя педагогика возлагала преувеличенныя надежды на это средство искоренять злобу и насаждать добродѣтель, то „эти излишества такъ и остаются въ области метафизическаго мышленія, знаменуя силу мысли, но не портя жизни“ (?); что особымъ преимуществомъ древняго воспитанія было то, что оно все совершалось на наглядныхъ образцахъ въ средѣ семьи, на помощь которой приходилъ священникъ, какъ духовный отецъ. Правда, старое воспитаніе обходилось безъ школы; оно не давало книжнаго знанія, зато въ немъ приобреталась „не-книжная мудрость“. Эта мудрость затерялась во время реформъ. „Русская мысль, ошеломленная крутымъ переворотомъ, весь XVIII в. силилась придти въ себя и понять, что съ нею случилось. Толчокъ, ею полученный, такъ далеко отбросилъ ее отъ насиченныхъ предметовъ и представленій, что она долго не могла сообразить, гдѣ она очутилась. Чуть не въ одинъ вѣкъ перешли отъ Домостроя по па Сильвестра къ Энциклопедіи Дидро и Даламбера. Такой переходъ можно было сдѣлать только прыжками, а въ области мысли прыжки совершаются всегда на счетъ логики и самообладанія. Русскіе „преобразованные люди XVIII вѣка“, по словамъ автора, растерялись отъ неожиданности и новизны своего положенія. „Мнѣнія раздвоились: одни радовались, что такъ далеко ушли впередъ; другіе жалѣли, что вслѣдствіе далекаго ухода стало невозможно вернуться назадъ“; люди прошлаго вѣка не могли отдать себѣ отчета въ томъ, какъ

¹⁾ Составленіе редакціи Сильвестра относить ко времени послѣ 1556—1557 года (ср. Жданова, Журн. мин. просв. 1876, июль, стр. 74), т.-е. къ послѣднимъ годамъ его значенія при Иванѣ Грозномъ.

совершился этот „акробатическій перелетъ“; они „чувствовали себя въ положеніи лунатика, который не понимаетъ, какъ онъ попалъ туда, гдѣ очнулся“¹⁾ и т. д.

Такое представленіе вещей есть сворѣе историческій памфлетъ, чѣмъ исторія. Воспитательная „практика“ Домостроя была, конечно, совсѣмъ похожа на теорію, и это достаточно подтверждается даже нѣсколько вѣковъ спустя въ тѣхъ слояхъ русскаго народа, гдѣ старина достаточно сохранилась и гдѣ, къ сожалѣнію, авторитетъ „железа“ остается понынѣ твердымъ убѣжденіемъ и обычаемъ. Что идеальная старина не сбереглась въ другихъ классахъ, получавшихъ обученіе въ новой школѣ, виною тому была сама старина, не дававшая между прочимъ никакого мѣста одной изъ глубочайшихъ потребностей человѣческой природы—потребности знанія, и не удовлетворявшая этой потребности даже въ тѣсныхъ предѣлахъ простого прикладного знанія, необходимаго для самого государства. Переходъ отъ старины Домостроя къ Энциклопедіи, т.-е. къ концу XVIII-го вѣка, или ближе—къ Петровскому времени, можетъ быть названъ „акробатическимъ перелетомъ“ только для тѣхъ, кто забылъ исторію. Новое безпристрастное изслѣдованіе находитъ предшествія реформы задолго до Петра, не только въ половинѣ XVII-го, но даже въ концѣ XVI-го вѣка, относитъ ихъ первымъ проявленія къ эпохѣ Грознаго, даже къ эпохѣ Ивана III. Переходъ отъ старины къ новизнѣ трудно назвать скачкомъ, когда онъ занималъ цѣлые вѣка и представлялъ длинный рядъ переходныхъ явленій.

А. Пыпинъ.



¹⁾ В. О. Ключевскій, „Два воспитанія“, въ Русской Мысли, 1898, мартъ.

ВАРІАЦІИ

НА „CARNAVAL DE VENISE“

Т. Готье.

1.—НА УЛИЦѢ.

Старинный мотивъ карнавала!
Заиграннѣй нѣтъ ничего.
Шарманка гнусила, бывало,
И скрипки терзали его.

Для всѣхъ табаковокъ онъ сразу
Классическимъ номеромъ сталъ,
И чижъ музыкальную фразу
Изъ вѣтъи своей повторялъ.

Въ тѣни запыленной бесѣдки,
Подъ звуки его на балу
Кружились коммѣ и гризетки
На ветхомъ досчатомъ полу.

Слѣпецъ на разбитомъ фаготѣ
Играетъ его, и за нимъ
Собака сорвавшейся нотѣ
Ворчаніемъ вторить глухимъ...

И звуки того же мотива
Въ кафѣ и публичныхъ садахъ

Поють гитаристи фальшиво
Съ улыбкой на блѣдныхъ губахъ.

Но вотъ чародѣй Паганини,
Бъ нему прикоснувшись жезломъ,
Его обезсмертилъ огнемъ
Своимъ вдохновеннымъ смычкомъ.

Онъ, щедро рассыпавъ по газу
Своихъ арабесокъ узоръ,
Облекъ обветшалую фразу
Въ блестящій и новый уборъ.

2.—НА ЛАГУНАХЪ.

Собою прабабушекъ съ дѣтства
Плѣнялъ этотъ странный мотивъ,
Гдѣ слышатся грусть и бокетство,
Насмѣшка и нѣжный призывъ.

Когда-то въ разгаръ карнавала
Звучалъ надъ лагунами онъ,
И вѣтромъ съ Большого канала
Былъ въ оперу къ намъ занесенъ.

Когда запуютъ его струны—
Мнѣ грезятся: мѣсяца свѣтъ,
И синія воды лагуны,
И темныхъ гондолъ силуэтъ.

Венера надъ пѣной морскою,
Подъ звукъ хроматическихъ гаммъ,
Блестая волшебной красою,
Является нашимъ глазамъ.

Подъ старый мотивъ серенады
Ласкаютъ морскія струны
Дворцовъ величавыхъ фасады,—
И словно поють о любви.

Венеція, городъ каналовъ,
 Краса Адриатическѣ водъ—
 Съ весельемъ своихъ карнаваловъ,
 Въ старинномъ мотивѣ живетъ.

3.—КАРНАВАЛЪ.

Сегодня—разгаръ карнавала:
 И блескъ, и веселье, и шумъ...
 Весь городъ облечся для бала
 Спѣшить въ маскарадный костюмъ.

Вотъ тамъ—незнакомый съ заботой,
 Избранникъ и другъ Коломбинъ—
 Смѣется визгливою нотой
 И дразнить толпу Арлекинъ.

Вотъ докторъ съ осанкою важной,
 Одѣтый смѣшно и пестро,
 Его задѣваетъ отважно
 И локтемъ толкаетъ Пьеро.

Какъ будто бы въ тактъ контрабасу,
 И тамъ появляясь, и тутъ,
 Бросаетъ въ безпечную массу
 Насмѣшкою ѣдкою шутъ.

Скрываясь подъ кружевомъ маски,
 Мелькнуло въ толпѣ домино,
 Но эти лукавые глазки
 Я, кажется, знаю давно...

Глаза мои вѣрить не смѣли,
 Но только минута одна—
 И скрипки воздушныя трели
 Сказали мнѣ:—Это она!—

4.—ПРИ ЛУННОМЪ СВѢТѢ.

Задорною гаммою смѣха
И тихаго рокота струнъ
Смущаетъ болтливое эхо
Спокойныя воды лагунъ.

Но въ звукахъ веселья, игриво
Несущихся въ лунную даль,
Мнѣ чудятся вздохи призыва
И тихая чья-то печаль.

Опять предо мной изъ тумана
Всплываетъ бывшая любовь,
И плохо зажившая рана
Въ душѣ раскрывается вновь...

И рѣчи, звучавшія страстно,
Любовь и цвѣтущій апрѣль—
Напомнилъ мучительно ясно
Мнѣ вздохомъ своимъ ригурнель.

Такъ нѣжно и такъ своевольно
Звучала въ немъ квинта одна,
Что голосъ любимый невольно
Напомнила сразу она.

Звучала она такъ задорно,
Такъ лживо, томя и дразня,
И нѣжности столько притворной
Въ ней было, и столько огня,

И столько любви безпредѣльной,
Насмѣшки такой глубина,
Что въ сердцѣ съ тоскою смертельной
Восторгъ пробуждала она...

Старинный мотивъ карнавала,
Гдѣ вторить улыбка слезамъ—
Какъ все, что давно миновало,
На память приводишь ты намъ!

О. МИХАЙЛОВА.



ПОЗЕМЕЛЬНЫЯ ЗАДАЧИ

I.

Въ послѣднее десятилѣтіе несомнѣнно господствуетъ и принимается у насъ на дѣлѣ тотъ весьма опредѣленный взглядъ, что государство должно поддерживать дворянское землевладѣніе, обставить его всевозможными льготами и пособиями, и въ этомъ смыслѣ дѣлается очень много, даже несравненно больше, чѣмъ для поддержанія и улучшенія всего народнаго земледѣлія. Между прочимъ, въ теченіе восьми съ небольшимъ лѣтъ, съ 1886 до апрѣля текущаго года, государственный дворянскій банкъ выдалъ ссудъ приблизительно на 350 милліоновъ рублей, подѣ залогъ земли, — тогда какъ крестьянскій банкъ за болѣе продолжительный періодъ времени, съ 1882 до апрѣля 1894 года, выдалъ всего 60¹/₂ милліоновъ, почти въ шесть разъ меньше. Среднимъ числомъ приходилось въ годъ на долю дворянскаго землевладѣнія въ восемь разъ больше (до 40 милл.), чѣмъ на долю крестьянскаго (5 милл.). Сверхъ того, подѣ соло-векселя выдано болѣе 13¹/₂ милл. р., къ 1 мая текущаго года. Улучшилось ли, однако, положеніе дворянъ-землевладѣльцевъ, благодаря этимъ щедрымъ кредитнымъ услугамъ государственнаго казначейства? Не только не улучшилось, а напротивъ, несомнѣннѣйшимъ образомъ ухудшилось. Льготный кредит обременилъ долгами и такія земли, которыя при обыкновенныхъ условіяхъ не были бы вовсе заложены, и общая цифра задолженности земельнымъ банкамъ превысила уже милліардъ. Дворянскій банкъ вынужденъ объявлять о продажѣ имѣній съ публичнаго торга за невзносъ причитающихся платежей, и, напримѣръ, въ апрѣлѣ текущаго года появились публикаціи отъ особаго отдѣла банка (бывшаго Общества взаимнаго

поземельнаго кредита) о 1400 имѣніяхъ, подлежащихъ аукціону. Большинство владѣльцевъ очутилось еще въ болѣе трудномъ положеніи, чѣмъ прежде, и соблазнившая ихъ кредитная помощь превращается въ острый ножъ, подрывающій самые корни землевладѣнія.

Въ области поземельной политики мы видимъ то же явленіе, какое замѣчалось и въ заботахъ о промышленности и торговлѣ: вмѣсто покровительства землевладѣнію и сельскому хозяйству, примѣняется система поддержки привилегированныхъ землевладѣльцевъ, въ ущербъ интересамъ земледѣлія,—точно такъ же, какъ покровительство промышленному развитію страны замѣнено было щедрою охраною и поощреніемъ отдѣльныхъ крупныхъ промышленниковъ, въ ущербъ экономическимъ интересамъ большинства населенія.

Если сосчитать, сколько милліоновъ рублей потрачено на поддержаніе землевладѣльцевъ въ видахъ покровительства дворянскому землевладѣнію, безъ пользы для земледѣлія, то получится колоссальная цифра. Выкупныя суммы, доставшіяся бывшимъ помещикамъ за отошедшую отъ нихъ крестьянскую землю, составляютъ около 900 милліоновъ; подъ залогъ земель выдано изъ земельныхъ банковъ около милліарда, и если имѣть въ виду еще закладныя частныхъ лицъ, то можно сказать положительно, что болѣе двухъ милліардовъ рублей попало въ руки привилегированныхъ землевладѣльцевъ, при посредствѣ государственнаго и частнаго кредита. Употреблена ли хоть какая-либо доля этихъ громаднхъ средствъ на поддержаніе и усовершенствованіе сельского хозяйства? На этотъ вопросъ трудно дать опредѣленный отвѣтъ, такъ какъ ссуды выдавались и займы дѣлались безъ всякихъ ограничительныхъ условій, и употребленіе даже казенныхъ денегъ, выдаваемыхъ подъ обезпеченіе земли, не подлежало и не подлежитъ никакому контролю. Въ этомъ и состоитъ пагубное значеніе поземельнаго кредита, что при его помощи огромныя суммы проваливаются куда-то безслѣдно, безъ всякой связи съ насущными потребностями разумнаго землевладѣнія и сельского хозяйства, хотя и подъ прикрытіемъ землевладѣльческихъ и сельско-хозяйственныхъ интересовъ.

Владѣльцы чувствуютъ на себѣ гнетъ задолженности и постоянно взываютъ къ новымъ льготамъ, отсрочкамъ и пособіямъ; но они не отдаютъ себѣ отчета въ ненормальности всего своего положенія и въ роковой бесплодности всѣхъ придумываемыхъ ими лекарствъ. Стремиться одновременно къ тому, чтобы удержать за собою землю и получить денежную стоимость ея, въ видѣ за-

логовой суммы,—это первая и опаснѣйшая иллюзія землевладѣльца. Проживать не только доходы съ земли, но и капитальную ея цѣнность,—значить неминуемо готовить окончательную ликвидацію поземельныхъ правъ. Большинство владѣльцевъ остается въ сторонѣ отъ интересовъ земледѣлія и пользуется земельнымъ кредитомъ для надобностей, не имѣющихъ ничего общаго съ нуждами сельскаго хозяйства. Земельный кредитъ служитъ не землевладѣнію и не хозяйству, а лицамъ, случайно поставленнымъ въ положеніе землевладѣльцевъ и имѣющимъ свои особыя профессіи въ городахъ и столицахъ. Смѣшивать потребности и выгоды землевладѣльцевъ съ интересами землевладѣнія и сельскаго хозяйства,—это вторая крупная ошибка, повторяющаяся сплошь и рядомъ въ обычныхъ разсужденіяхъ о поддержаніи дворянской поземельной собственности. Извлекать все изъ земли, не заботясь объ ея производительности, и переводить на деньги самые источники земельного дохода, не щадя ни лѣсовъ, ни естественныхъ силъ почвы,—такова обычная роль людей, владѣющихъ землею и чуждыхъ непосредственной сельско-хозяйственной дѣятельности. Въ такомъ именно положеніи находится значительнѣйшая часть владѣльцевъ, требующихъ отъ государства особенныхъ привилегій и пособій во имя интересовъ дворянскаго землевладѣнія.

Вмѣсто того, чтобы противодѣйствовать дальнѣйшему и окончательному расхищенію земельныхъ богатствъ, у насъ предлагаются мѣры для распространенія и усиленія того разорительнаго процесса, которому систематически подвергается сельское хозяйство при существующихъ условіяхъ. Многіе изъ бывшихъ помѣщиковъ выпускаютъ изъ рукъ свои наслѣдственные земли, запущенныя и истощенныя отчасти при содѣйствіи банковскаго кредита; а законодательная практика все еще держится того взгляда, что эти привилегированные землевладѣльцы, разоряющіе свои имѣнія для городскихъ и столичныхъ удобствъ или для заграничныхъ поѣздокъ, представляютъ собою элементъ культурнаго прогресса и устойчивости въ нашемъ поземельномъ строѣ. По какому-то странному недоразумѣнію, на нихъ продолжаютъ смотрѣть теоретически, какъ на колонизаторовъ и хозяевъ, хотя обычныя свойства ихъ практическихъ дѣйствій и стремленій всѣмъ извѣстны. Всякій понимаетъ, что прогорѣвшіе помѣщики, заслуженные чиновники или отставные военные, мечтающіе о даровыхъ имѣніяхъ или арендахъ, не могутъ поставить хозяйство на правильный путь; обыкновенно они думаютъ только о томъ, чтобы поправить свои денежные дѣла посредствомъ скорѣйшей вырубки

лѣса, выгодной передачи земли въ другія руки или арендныхъ сдѣлокъ съ сосѣдними крестьянами, нуждающимися въ выговѣ. Между тѣмъ въ принципѣ они считаются насадителями какихъ-то хозяйственныхъ, нравственныхъ и политическихъ началъ, и эта теорія, постоянно опровергаемая наглядными и краснорѣчивыми фактами, кладется все-таки въ основу серьезныхъ мѣропріятій.

Недавно еще обнародованы правила о ссудахъ изъ дворянскаго земельного банка на покупку имѣній. Заботы о водвореніи русскихъ землевладѣльцевъ въ западномъ краѣ привели лишь къ напрасному разоренію земель, попавшихъ фиктивно въ руки новыхъ „благонадежныхъ“ хозяевъ; но причину этой неудачи у насъ упорно ищутъ „въ нѣкоторыхъ побочныхъ обстоятельствахъ и въ условіяхъ выдачи ссудъ покупателямъ, а не въ самомъ существѣ“. Ссуды, какъ полагаетъ нашъ „Вѣстникъ Финансовъ“ (№ 26, отъ 26 іюня), были слишкомъ малы сравнительно съ цѣнами, по которымъ совершались сдѣлки, и „не оказывали покупателямъ достаточнаго пособія“. Мысль объ усиленіи русскаго землевладѣнія при помощи лицъ, не занимающихся сельскимъ хозяйствомъ и живущихъ вдали отъ пріобрѣтенныхъ на ихъ имя имѣній, обсуждалась вновь въ 1885 году, причемъ „производство необходимыхъ кредитныхъ операцій предположено было возложить на государственный дворянскій земельный банкъ“. Рѣшено было „сдѣлать пользованіе ссудами возможно болѣе легкимъ и доступнымъ, съ устраненіемъ излишнихъ формальностей и проволочекъ“, и вмѣстѣ съ тѣмъ „довести самый размѣръ ссудъ до такого уровня, который, безъ ущерба и риска для банка, представлялъ бы серьезное, существенное пособіе лицу, желающему пріобрѣсти недвижимость и осѣдлость (?) въ западныхъ губерніяхъ или выкупить родовое имѣніе“. Ссуды выдаются въ размѣрѣ до 75% оцѣнки имѣнія, такъ какъ, по убѣжденію министерства финансовъ, „выработанныя правила могли бы имѣть серьезное практическое значеніе, для преслѣдуемыхъ правительствомъ цѣлей, лишь въ зависимости отъ выдачи ссудъ въ наибольшемъ, допустимомъ безъ риска для банка размѣрѣ“. Въ силу этихъ правилъ, дворянскому банку предоставляется „выдавать ссуды потомственнымъ дворянамъ на покупку недвижимыхъ имѣній отъ лицъ не-русскаго происхожденія въ губерніяхъ виленской, ковенской, гродненской, минской, витебской, могилевской, кievской, волынской и подольской“. Заявленія о желаніи получить ссуду подаются въ мѣстное отдѣленіе банка, съ приложеніемъ необходимыхъ документовъ. Банкъ дѣлаетъ оцѣнку имѣнія и составляетъ расчетъ, для утвержденія котораго требуется со-

гласіе продавца, выраженное въ особой подпискѣ; „со дня полученія этой подписки и по устраненіи заявленныхъ претензій, покупщикъ признается собственникомъ имѣнія и получаетъ отъ банка утвержденную выпись купчей крѣпости; банкъ производитъ всѣ причитающіяся выдачи, выдавая оставшуюся часть продавцу, а имѣніе считается заложеннымъ въ банкѣ на общихъ основаніяхъ его устава“.

Какъ поступить новый собственникъ съ землею, превратить ли ее въ пустошь для немедленной реализаціи ея цѣнности, отдать ли въ аренду мѣстнымъ кабатчикамъ и купцамъ, — объ этомъ ничего не говорится въ правилахъ 6-го іюня 1894 года. Широкий кредитъ на покупку имѣній дается государствомъ безъ всякихъ условій; владѣлецъ, получивъ землю при помощи дворянскаго банка, остается свободнымъ отъ какихъ бы то ни было обязательствъ, кромѣ лишь уплаты процентовъ за льготную ссуду; — онъ можетъ не заглядывать вовсе въ свое имѣніе и предоставить его всецѣло на произволъ мѣстныхъ хищниковъ, можетъ дѣйствовать и распоряжаться какъ ему угодно, въ интересахъ возможно большей наживы, — такъ что „преслѣдуемая правительствомъ цѣль“ остаются лишь на бумагѣ и абсолютно ничѣмъ не гарантируются на дѣлѣ. Привилегіи и льготы должны бы сопровождаться хоть какими-нибудь обязательствами; но о нихъ нѣтъ и рѣчи въ текстѣ закона. Относительно „желающихъ“ дворянъ нельзя предположить, что они непременно сами займутся сельскимъ хозяйствомъ въ чужомъ мѣстѣ, среди непривычной обстановки; такое предположеніе было бы законно и естественно только по отношенію къ крестьянамъ, земледѣльцамъ по ремеслу, колонизаторамъ по призванію. Крестьяне ищутъ землю для обработки, для производства хлѣба, а не для превращенія ея въ деньги; многія тысячи бѣдствующихъ искателей земли и работы бродятъ и гибнутъ безплодно, въ качествѣ „переселенцевъ“, а между тѣмъ не было бы ничего легче, какъ направить эти русскія народныя силы туда, гдѣ есть свободныя земли для раздачи русскимъ людямъ при помощи государственнаго казначейства; — тогда и укрѣпленіе русскаго элемента въ западномъ краѣ стало бы дѣйствительностью, а не разорительною мечтою, какъ нынѣ. Введеніе рациональной земледѣльческой культуры подъ руководствомъ опытныхъ агрономовъ-практиковъ могло бы быть поставлено условіемъ передачи участковъ поселенцамъ, а устройство народныхъ шкѣлъ и селско-хозяйственныхъ училищъ несравненно вѣрнѣе и лучше обезпечило бы достиженіе преслѣдуемыхъ правительствомъ цѣлей,

тѣмъ всевозможныя льготы городскимъ и столичнымъ приобрета-
телямъ имѣній.

II.

Крупные землевладѣльцы, даже обладающіе большими сред-
ствами, очень рѣдко вносятъ какое-либо подобіе рациональности
въ свои обширныя хозяйства; служебныя и общественныя связи
держатъ ихъ вдали отъ имѣній, а малая подготовленность къ прак-
тической дѣятельности, отсутствіе необходимыхъ положительныхъ
знаній и привычка довѣрять сообщеніямъ и совѣтамъ приближен-
ныхъ лицъ портятъ дѣло даже въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда
есть несомнѣнное желаніе прямого участія въ хозяйственномъ
трудѣ. Одинъ изъ хозяевъ-практиковъ, г. Логашевъ, много лѣтъ
управлявшій крупными имѣніями и ведущій теперь собственное
небольшое хозяйство, сообщаетъ въ изданной имъ недавно бро-
шюрѣ любопытныя свѣденія объ обычномъ ходѣ дѣлъ въ богатыхъ
владѣльческихъ экономіяхъ ¹⁾. Г. Логашевъ, очевидно, свободенъ
отъ какихъ-либо предвзятыхъ идей и теорій; онъ искренно сочув-
ствуетъ крупному землевладѣнію и, указывая его грѣхи, хочетъ
способствовать исправленію ихъ. Все изложенное имъ, какъ онъ
заявляетъ въ предисловіи, есть „плодъ наблюденій и опыта“. Тѣмъ
поучительнѣе картина, которая получается изъ его описаній и
примѣровъ.

„Большинство нашихъ родовитыхъ крупныхъ собственниковъ,
—говоритъ г. Логашевъ,—въ своихъ имѣніяхъ не живетъ и лично
хозяйства не ведетъ, а ввѣряетъ свои имѣнія управляющимъ. Кон-
тингентъ этихъ лицъ представляетъ до-нельзя странное разномы-
сліе, —начиная отъ ученаго агронома и разорившагося помѣщика
и кончая отставнымъ камердинеромъ и даже лакеемъ“. Владѣлецъ
не имѣетъ даже возможности правильно оцѣнивать степень добро-
совѣстности и компетентности управителя; оттого люди, дѣйстви-
тельно знающіе дѣло и честно относящіеся къ нему, рѣдко слу-
жатъ у крупныхъ собственниковъ, такъ какъ „здѣсь для личныхъ
успѣховъ болѣе требуются качества „приспособленія“, чѣмъ со-
отвѣтственныя знанія“. „Безсистемность, —по словамъ автора,—от-
личительный признакъ нашихъ крупныхъ хозяйствъ. Больше
извлечь при возможно меньшихъ затратахъ труда и капитала —
является единственной задачей. Хищное расширеніе запасекъ

¹⁾ Нѣсколько словъ о крупномъ частно-владѣльческомъ хозяйствѣ. Экономическій
этюдъ. Сиб., 1894.

приносило большія выгоды и привлекало къ себѣ капиталистовъ-спекулянтовъ; но со временемъ эта азартная игра оказалась рискованною, и настоящіе дѣльцы бросили ее; „типъ посѣвщика-арендатора исчезъ, но замѣчательно,—прибавляетъ г. Логашевъ,—что это спекулятивное направленіе получило право гражданства въ крупномъ землевладѣніи, преимущественно впрочемъ тамъ, гдѣ дѣла ведутъ не сами владѣльцы, а довѣренные лица“. Такого рода хозяйство практикуется не только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ земля не находитъ спроса, но и въ центральной черноземной полосѣ, гдѣ арендные цѣны доходятъ до 15 р. за одинъ посѣвъ. „Формы и системы хозяйства въ такихъ имѣніяхъ обыкновенно мѣняются чуть не при каждой переимѣнѣ управляющихъ. Крупныя имѣнія въ двадцать, тридцать, сорокъ тысячъ десятинъ, по большей части, будучи юридически однимъ цѣлымъ, представляютъ нѣсколько отдѣльных хозяйственныхъ единицъ, а потому хуторская система явилась въ нихъ натурально необходимою“. Хутора эти находятся въ распоряженіи смотрителей, между которыми весьма часто встрѣчаются люди малограмотные, изъ отставныхъ солдатъ; а „между тѣмъ сколько молодыхъ людей ежегодно кончаетъ курсъ въ специально-земледѣльческихъ учебныхъ заведеніяхъ, которые, будучи направлены опытной рукой, могли бы приносить дѣйствительную пользу“. Администрація селско-хозяйственной Марининской фермы „ежегодно публикуетъ о выпускѣ воспитанниковъ для свѣденія гг. землевладѣльцевъ и проситъ заявлять о своемъ желаніи взять ихъ къ себѣ на службу. Этотъ фактъ знаменателенъ въ томъ отношеніи, что въ районѣ саратовской губерніи, гдѣ находится это училище, и смежныхъ съ нею губерній, огромнѣйшія территоріи находятся во владѣніи крупныхъ собственниковъ, а запросъ на специально подготовленныхъ техникумовъ такъ слабъ, что приходится дѣлать публикаціи съ предложеніемъ; между тѣмъ должности управляющихъ и смотрителей на нѣсколько тысячъ десятинъ занимаютъ малограмотные солдаты“.

Главные хозяйственные расчеты основаны на эксплуатаціи нужды и рабочей силы крестьянъ; на земляхъ крупныхъ собственниковъ господствуетъ та же бѣдная земледѣльческая культура, представляемая зависимымъ, подавленнымъ, обреченнымъ на небыжество и бѣдность крестьянствомъ. Въ экономіяхъ саратовскаго уѣзда крестьяне-испольщики сѣютъ рожь своими сѣменами; затѣмъ они же жнутъ, молотятъ, дѣлятъ зерно пополамъ съ владѣльцемъ и долю его привозятъ въ амбаръ. Авторъ дѣлаетъ подробный расчетъ, во сколько обходится хлѣбъ самому работнику-крестьянину при этихъ условіяхъ; — оказывается, что пудъ добытаго зерна

стоять ему 60 коп. съ дробью, тогда какъ рыночная цѣна на мѣстѣ—45 коп. Въ трубчевскомъ уѣздѣ орловской губерніи „крестьяне-испольщичи засѣвають рожь своими сѣменами на владѣльческихъ поляхъ—на худшихъ изъ третьей части, а на лучшихъ изъ двухъ пятыхъ на долю собственника“; въ первомъ случаѣ, по приблизительному разсчету и при среднемъ урожаѣ, остается 4 р. 50 коп., а во второмъ—6 р. 30 к. „за трудъ полной обработки и уборки десятины озимаго сѣва“. Такую оплату труда и риска, замѣчаетъ авторъ, „нельзя считать нормальной“. Какъ же въ подобныхъ случаяхъ,—спрашиваетъ онъ далѣе,—оплачивается тяжелый трудъ пахаря въ годы недорода, и можетъ ли при подобныхъ обстоятельствахъ развиваться благосостояніе земледѣльческаго класса?

Крестьяне работаютъ на владѣльцевъ „за выгоны, за пастьбу на паровыхъ поляхъ, а также за другія обязательства и за деньги“; исполняются эти работы по необходимости небрежно, иногда съ плохими рабочими силами и примитивными орудіями; у иного пахаря „лошадь отъ истощенія едва ноги волочить, — какая ужъ тутъ можетъ быть пашня!“ А при обязательныхъ исполненіяхъ этихъ работъ всѣмъ обществомъ „разбора и выбора и быть не можетъ“. Что касается годовыхъ или срочныхъ рабочихъ, то они обыкновенно „нанимаются по возможно дешевымъ цѣнамъ, а потому и вполнѣ соотвѣтствуютъ имъ по качествамъ“. Санитарныя и гигиеническія условія, въ которыхъ они находятся, „очень часто не поддаются описанію. Хорошій и неглупый мужикъ-домохозяинъ ни за что не отпуститъ своего сына въ такія экономіи въ работники на долгій срокъ, зная, какое растлѣвающее вліяніе оказываетъ эта среда по своимъ моральнымъ качествамъ и свойству самаго труда“. Какъ выражаются сами крестьяне, „если отпустилъ парня въ лапманы (мѣстное названіе экономическихъ работниковъ), то онъ уже не работникъ на дому“. Одно это „въ достаточной степени указываетъ, въ какомъ положеніи находится организація такого труда“. „Мы положительно увѣряемъ,—говоритъ г. Логашевъ, — что такія экономіи, а ихъ большинство, имѣютъ очень вредное воспитательное вліяніе на мѣстныхъ работниковъ; въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ крупныхъ земельныхъ собственниковъ или хозяйство ими не ведется на такихъ основаніяхъ, рабочіе вообще доброкачественнѣе, — конечно, если нѣтъ отхожихъ промысловъ, имѣющихъ также дурное вліяніе“. Авторъ справедливо осуждаетъ обычную погоню за дешевизною рабочихъ, при полномъ игнорированіи „условій ихъ существованія, заключающихся въ удовлетворительномъ питаніи и сколько-нибудь удоб-

номъ помѣщеніи“. Нельзя требовать хорошей работы отъ людей, плохо питаемыхъ и получающихъ нищенскую плату. Въ противоположность помѣщикамъ и ихъ управляющимъ, „зажиточные, здравомыслящіе крестьяне опытомъ дошли до этого пониманія и всегда гонятся за „стоющими“, по ихъ мѣткому выраженію, работниками и платятъ имъ всегда хорошія, по мѣстной нормѣ, цѣны“.

Подъ вліяніемъ общаго хищническаго направленія хозяйства явилось „упрощеніе хозяйственныхъ приемовъ, стремленіе къ скорѣйшему использованию всякихъ запасовъ почвенныхъ богатствъ — усиленіе распашекъ залежей, цѣлины, луговъ и всякаго кочка, способнаго къ производству, а отсюда послѣдовало уменьшеніе хорошихъ пастбищъ и паденіе скотоводства“. Рабочій экономическій скотъ представляетъ большею частью печальную картину; „плохой уходъ при непосильномъ утомленіи работой такъ изнушаетъ живой инвентаръ въ этихъ имѣніяхъ, что безъ сожалѣнія нельзя смотрѣть на животныхъ; исключеніе иногда составляютъ разбѣдныя лошади, находящіяся въ пользованіи администраціи (владѣтельской), да и то довольно рѣдко можно встрѣтить цѣльныхъ и непорченныхъ лошадей“. Тѣ или другія отрасли производства, направленныя къ дальнѣйшей переработкѣ добываемыхъ изъ земли сельскохозяйственныхъ продуктовъ, „совершенно отсутствуютъ въ помѣщичьихъ имѣніяхъ, и вообще способовъ наивыгоднѣйшаго потребленія ихъ не ищется; все ограничивается въ большинствѣ простѣйшимъ приемомъ добыванія зерна и продажей его“. Обращеніе сѣнокосовъ въ пахоть и паденіе скотоводства приводятъ къ тому, что хозяйство ведется безъ скота и безъ инвентаря; по статистическимъ даннымъ курской губерніи 74% мелкихъ землевладѣльцевъ и 89% крупныхъ ведутъ такое хозяйство. Богатѣйшіе лѣса подвергаются, съ одной стороны, беспорядочной рубкѣ для предполагаемыхъ надобностей управленія, а съ другой — не утилизируются, какъ слѣдуетъ, и остаются бездоходными; такъ, напр., по словамъ автора, въ одномъ большомъ барскомъ помѣстьѣ имѣется около десяти тысячъ десятинъ лѣсного матеріала, а продажа лѣсного матеріала крестьянамъ была обставлена такими затрудненіями, что тѣ предпочитали ѣздить за лѣсомъ въ другое мѣсто за тридцать верстъ. Несообразно высокія цѣны за лѣсъ, въ связи съ обременительными условіями и формальностями отпуски его покупателямъ, „дѣйствовали угнетающимъ образомъ на мѣстный кустарный колесный промыселъ, составляющій серьезную поддержку для безземельныхъ крестьянъ“; сокращалось производство, а слѣдовательно и потребленіе самого матеріала, чтошло при

въ разрѣзъ съ интересами собственника. Въ другомъ обширномъ имѣніи добросовѣстный и энергическій лѣсничій получаетъ изъ конторы владѣльца строгій выговоръ за то, что выбралъ для рубки участки съ старѣйшимъ лѣсомъ, вдали отъ города, а не подгородныя дачи съ молодымъ подростомъ лѣсомъ; лѣсничій дѣйствовалъ вполне рационально, но долженъ былъ покинуть службу. Между тѣмъ самъ владѣлецъ никогда даже не показывался въ этихъ своихъ имѣніяхъ, занимающихъ около 42 тысячъ десятинъ.

Въ повальномъ истребленіи лѣсовъ играли большую роль и крупныя собственники; фабрики, заводы и особенно желѣзныя дороги предъявили грандіозный, все возрастающій запросъ на дерево, и, по рѣшенію владѣльцевъ, „чуждые дѣйственные лѣса застонали подъ ударами топоровъ и повалились къ ногамъ цѣлой плеяды народившихся лѣсопромышленниковъ“. Началась гибельная работа, и „нынѣ, гдѣ нѣкогда гордыя и могучія сосны задумчиво качали своими вершинами,—огромныя пространства съ рѣдкими большими кусточками и, какъ памятники надъ могилами, обгнившіе и гниющіе пни, и цѣлое море песка“. Это умерщвленное царство,—говоритъ далѣе г. Логашевъ,—„намъ не по силамъ воззвать къ новой жизни, и пусть оно будетъ передъ нашими глазами укоромъ въ прошломъ и живымъ урокомъ въ настоящемъ“. Къ несчастью, эти укоры и уроки никого ничему не научили,—система грабительскаго хозяйства не измѣнилась даже подъ вліяніемъ страшнаго голода, указавшаго на возможность превращенія плодородныхъ областей въ безнадежную пустыню. Крайне страннымъ кажется намъ мнѣніе автора, что въ совершившемся фактѣ лѣсоистребленія „никто не виноватъ“;—виноваты законы, допускаящіе личный произволъ владѣльцевъ въ распоряженіи важнымъ государственнымъ достояніемъ; виноваты общественныя условія, дающія господство частнымъ интересамъ надъ публичными и позволяющія жертвовать будущностью страны ради настоящихъ выгодъ отдѣльнаго класса лицъ; виновата и беззаботность насчетъ культурнаго и умственнаго развитія, возведенная въ принципъ. Г. Логашевъ приводитъ любопытный примѣръ благотворнаго дѣйствія просвѣщенныхъ людей на цѣлыя отрасли промышленности. Въ прежнее время нефтяные продукты „доставлялись изъ Баку въ дубовыхъ деревянныхъ бочкахъ и на шкунахъ. На постройку дубовыхъ бочекъ требовалась такая масса клепокъ—особыхъ колотыхъ досокъ, что буквально на этотъ предметъ уничтожены самыя старыя и лучшія лѣса по рѣкамъ Бѣлой, Камѣ, Волгѣ и ихъ притокамъ. Но вотъ явились европейцы-нефтепромышленники, братья Нобель, и внесли съ собою въ это дѣло, кромѣ капита-

ловъ, разумную идею парового транспорта наливомъ въ металлическихъ резервуарахъ и убили практиковавшіеся дорогіе и ветхозавѣтные приемы. Тогда цѣнность на дубовую клепку упала сразу чуть не на половину, а требованіе сократилось на двѣ трети, а слѣдовательно и пропорціонально уменьшилось истребленіе этого цѣннаго лѣса“. Зато отечественные охранители, считающіе себя солью земли и претендующіе на исключительное вниманіе государственной власти, продолжаютъ истреблять лѣса и послѣ изданія лѣсоохранительнаго закона; они „нашли брешь въ новомъ законѣ и дѣлаютъ прежнее дѣло на новый ладъ“. Рубки по извѣстному выбору не воспрещаются лѣсоохранительными комитетами, а „лѣсовладѣльцы безпрепятственно выбираютъ изъ всего лѣса все нужное и цѣнное, оставляя мелколѣсъ и кусты“. Многіе лѣсовладѣльцы „поставлены въ необходимость желать скораго обращенія лѣсовъ въ деньги“, и никакіе законы не заставляютъ ихъ предпочитать общіе интересы страны и государства своимъ частнымъ выгодамъ и расчетамъ. Сохраненіе лѣсовъ и разумное пользованіе ими, какъ справедливо указываетъ авторъ,—это самая долгосрочная и малоодоходная изъ всѣхъ существующихъ культуръ; „слѣдовательно, это самое невыгодное пользованіе землею,—отсюда логически вытекаетъ стремленіе собственниковъ обратить данную лѣсную площадь въ другой родъ болѣе краткосрочныхъ и выгодныхъ угодій“. По чисто практическимъ соображеніямъ г. Логашевъ приходитъ къ тому выводу, что право собственности на крупныя лѣса должно принадлежать государству. „Нельзя требовать, чтобы каждый приносилъ въ жертву государству свои личные интересы, да и много такихъ, которые по безденежью или задолженности не имѣютъ возможности поступать иначе. Рѣдко кто изъ частныхъ собственниковъ способенъ выполнить задачу правильного хозяйства и лѣсовладѣнія во всей его полнотѣ. Только одно государство можетъ взять на себя въ данномъ случаѣ подобную заботу и, выпустивъ спеціальнѣйшій заемъ, скупить лѣса, за которыми будетъ признано извѣстное государственное значеніе. Оно явится могущественнымъ собственникомъ и хозяиномъ, способнымъ отречься отъ близорукихъ расчетовъ и не гоняться за выгодами только настоящаго“. Если такъ можно поступить относительно лѣсовъ, которые вообще включены были въ кругъ частной собственности только по недоразумѣнію, то что дѣлать противъ истощенія земель и чрезмѣрной задолженности помѣщичьихъ имѣній вообще? Оставалось бы только выкупать земли у желающихъ на счетъ казны для раздачи участковъ въ вѣчную аренду крестьянамъ и сельскимъ обществамъ,—такъ какъ неудача дѣятельности

крестьянского банка именно и вытекает из ошибочнаго примѣненія принципа продажи земли, вмѣсто отдачи въ пользованіе за опредѣленный оброкъ. Но такая мѣра не могла бы обнять значительной доли крупнаго землевладѣнія и только смягчила бы общій поземельный кризисъ, не устраняя его причинъ и послѣдствій.

Большинство крупныхъ сельско-хозяйственныхъ экономій, по мнѣнію г. Логашева, страдаетъ отъ собственной безхозяйственности; поэтому, „прежде чѣмъ заявлять о невыгодности земельной собственности, слѣдовало бы собственникамъ заняться изученіемъ и оцѣнкой организаціи своего хозяйства“. Но еслибы собственники могли этимъ заняться съ пользою для дѣла, то не было бы самой „безхозяйственности“ и не возникало бы поводовъ къ жалобамъ на бездоходность имѣній. „Убыточность настоящаго крупновладѣльческаго зернового производства,—продолжаетъ авторъ,—не подлежитъ сомнѣнію и сознается всѣми; но, вмѣсто того, чтобы обратить все свое вниманіе на реорганизацію своего хозяйства, владѣльцы ждутъ своего спасенія отъ элеваторовъ, тарифовъ, подъѣздныхъ путей и т. п. палліативовъ и упорно продолжаютъ практиковать вредную систему, за исключеніемъ тѣхъ, кого финансовыя затрудненія поставили въ невозможность идти по наклонной плоскости. При подобныхъ обстоятельствахъ не помогутъ дѣлу не только дешевые кредиты, но и какая бы то ни была покровительственная политика и привилегіи“. Чаше всего владѣльцы ссылаются на недостатокъ надежныхъ рабочихъ и на распущенность крестьянъ; но собственной своей неумѣлости и безтолковости они, конечно, не сознаютъ.

Г. Логашевъ рассказываетъ интересную исторію своего хозяйничанія въ одномъ крупномъ имѣніи орловской губерніи, трубчевскаго уѣзда, куда онъ былъ приглашенъ въ качествѣ управляющаго. Имѣніе это, въ 12 тысячъ десятинъ, было приобрѣтено всего три года тому назадъ, и за это время давало одни убытки; оно представляло крайне непривлекательный видъ: „постройки убогія, инвентарь печальный, скотъ до того плохъ, что не глядѣли бы глаза, и вдобавокъ зараженъ чахоткой“. Оказалось, что „дѣло велось на чисто-кулаческихъ началахъ“, причемъ „изъ со-сѣдей выдавливалось все, что можно выдать, и въ результатъ, кромѣ убытковъ, да еще значительныхъ, ничего не достигалось“. Отношеніе экономіи къ крестьянамъ и обратно „было самое озлобленное и взаимно недоброжелательное, хотя народъ въ этой мѣстности сравнительно податливъ и задавленъ нуждою такъ, что хлѣбъ постоянно употребляютъ съ полдой и другими примѣсами“. Вражда доходила до того, что „крестьяне не шли на работу въ

экономію, а эта послѣдняя нѣкоторымъ не давала земли, предпочитая, чтобы она пустовала, нежели была въ ненавистныхъ рукахъ". Была уже весна, а съ осени не было приготовлено ни одной десятины для посадки картофеля, такъ что годъ пропалъ бы для винокурения. Желających пахать за деньги при обостренныхъ отношеніяхъ было такъ мало, что справиться съ работою нечего было и думать. Какъ же поступилъ новый управляющій, чтобы вывести хозяйство на правильный путь? Прежде всего онъ „собралъ сходы мѣстныхъ крестьянъ и выразилъ имъ свое желаніе жить съ ними по душѣ, помогая другъ другу, — какъ говорится, по-сосѣдски. Подобнымъ обращеніемъ мужики остались очень довольны, и оно произвело на нихъ очень пріятное впечатлѣніе, хотя въ выраженіи нѣкоторыхъ лицъ и проскальзывало какъ бы недовѣріе". Управляющій обратился затѣмъ къ крестьянамъ съ просьбой помочь въ пахотной работѣ, обѣщаясь, съ своей стороны, помогать имъ посильно въ нуждѣ. Такъ какъ это обращеніе относилось къ двѣнадцати крестьянскимъ обществамъ, то въ первый же назначенный день было вспахано сто десятинъ. При вторичной пахотѣ опять прибѣгнуто было къ содѣйствію „мира", и такимъ легкимъ и общедоступнымъ способомъ рѣшена была задача быстрой и своевременной обработки земли. Но скоро и крестьяне пришли съ нуждою: у нихъ не хватало хлѣба до жатвы, и вотъ, зная, что въ экономіи есть запасы зерна, они явились съ просьбою ссудить имъ хлѣба заимообразно до осени, за круговой порукою; управляющій отклонилъ круговую поруку, и далъ каждому взаимны отдѣльно, по состоянію его хозяйства; — такъ было роздано всего нѣсколько тысячъ пудовъ. При раздатѣ экономической земли въ аренду выяснилось, что большая часть ярового поля должна была остаться пустовать единственно по неимѣнію крестьянами зерна для обсѣмененія. Рѣшено было поэтому купить партію гречихи и раздать мужикамъ взаимны для посѣва на экономической землѣ. Въ свое время весь розданный крестьянамъ хлѣбъ вернулся полностью, за исключеніемъ трехъ пудовъ, пропавшихъ за однимъ спившимся мужикомъ; такъ же точно возвращены были сѣмена гречихи, которая въ томъ году дала средній урожай. Дѣло сразу пошло, какъ слѣдуетъ, на началахъ взаимной выгоды. „Можемъ увѣрить, — заявляетъ г. Логащевъ, — что отъ мірской работы мы получали хорошіе проценты, потому что располагали одновременно такой большой рабочей силою, которая давала возможность пользоваться важнымъ въ хозяйствѣ моментомъ, и работа эта была всегда исполняема съ охотою и удовольствіемъ. Нужно ли сразу вывести въ поле на-

возъ, лѣсу ли привезти, копы ли свозить, пользуясь погодой,— стоило только слово сказать, и все сдѣлано, причемъ ни обремененія, ни тяготы ни для кого не было, потому что все дѣлалось миромъ. Зато, не хватить ли у кого денегъ, хлѣба ли, или другая нужда — шли къ намъ. Экономія же потерять никогда не могла, потому что у каждаго крестьянина посѣвъ на экономической землѣ, сѣно также и, наконецъ, денежные заработки—въ экономіи. Кто, имѣя возможность отдать долги, не исполнялъ своего обязательства, тому былъ уже отрѣзанъ путь въ экономію, и не только въ смыслѣ кредита, — не давалось ни луговъ, ни земли. Кара эта столь внушительна, что недомокъ не было, и каждый старался, оправдывая довѣріе, заручиться новымъ. Со стороны владѣльческаго управленія не было ни особенной снисходительности, ни слабости, ни филантропіи, а былъ только здраво понимаемый расчетъ, который не замедлил оправдаться на практикѣ самымъ блестящимъ образомъ. При раздачѣ земли подъ посѣвъ, денегъ или хлѣба взаймы, и при всякихъ вообще сдѣлкахъ съ крестьянами не заключалось никакихъ письменныхъ договоровъ; все записывалось въ книгу, и споровъ не было. Въ теченіе своего четырехлѣтняго хозяйничанья въ этомъ имѣніи, г. Логашевъ только разъ или два обращался къ суду для взысканія за самовольную порубку лѣса, когда не послѣдовало сознанія, а гдѣ являлась просьба о прощеніи и мирѣ, тамъ всегда дѣло кончалось миромъ. Порубокъ было вообще мало, такъ какъ крестьянамъ отпускался лѣсъ на отопленіе и другія нужды за деньги или подъ работу. А прежде „мировой судья былъ буквально заваленъ экономическими дѣлами о порубкахъ, и въ концѣ концовъ являлись кипы исполнительныхъ листовъ, по которымъ, за отсутствіемъ имущества, взыскивались гроши, и только съ обѣихъ сторонъ безплодно тратилось время на поѣздки къ судѣ въ тридцать верстъ“. Самовольныхъ порубокъ было прежде очень много, потому что крестьянамъ топливо не продавалось и не отпускалось ни за какія деньги, хотя „валежники безплодно гнили въ лѣсу, и все это дѣлалось во имя какой-то непонятной ненависти къ мужику“, который съ своей стороны, „будучи поставленъ въ необходимость добывать топливо не ближе какъ за 15 верстъ, невольно соблазнялся близостью дровецъ“. Новые порядки въ экономіи отразились и на крестьянскомъ хозяйствѣ, такъ какъ всякій разумный начинъ и примѣръ неизбѣжно производитъ свое дѣйствіе на окружающихъ. На надѣльной землѣ въ этомъ районѣ крестьяне преимущественно воздѣлываютъ коноплю и на нее употребляютъ весь навозъ, оставляя безъ удоб-

ренія остальную землю; почва постоу истощена до крайности, и разъ не уродилась конопля, крестьянину приходится совсѣмъ плохо. Г. Логашевъ постарался пріохотить мужиковъ къ посадкѣ картофеля, предложилъ имъ заимообразно извѣстное количество сѣмянъ и обязался весь будущій урожай, или сколько они доставятъ, принять по 15 коп. за пудъ для винокуреннаго завода. Этотъ пробный посѣвъ оказался чрезвычайно удачнымъ, и крестьянамъ было заявлено, что на слѣдующій годъ имъ сѣмянъ уже не будутъ раздавать, а кто желаетъ продолжать посадку картофеля, пусть оставитъ для себя сѣмянъ. „Черезъ два года эта культура въ крестьянскомъ хозяйствѣ получила распространение, потому что была для нихъ выгодна, и цѣны на картофель установились нормальныя. Установилось мнѣніе, — прибавляетъ г. Логашевъ, — что русскій крестьянинъ, вслѣдствіе своей консервативности, туго и мало способенъ на переимчивость къ болѣе интенсивнымъ приѣмамъ культуры, — но это невѣрно; онъ, правда, очень недоувѣрчиво относится къ новшествамъ, но если въ чемъ видитъ выгоду, то перенимаетъ и заимствуетъ очень быстро“. Въ итогѣ оказались въ барышѣ обѣ стороны, — и землевладѣлецъ, и крестьяне. На третій годъ имѣніе дало уже солидный доходъ, который обезпеченъ и въ будущемъ, если владѣлецъ будетъ придерживаться установленнаго порядка и системы. „Что же касается крестьянъ, то они за это время буквально „вздохнули“, по выраженію мѣстныхъ жителей, такъ что въ голодный годъ ссуду брали немногіе, да и то нѣкоторые могли бы обойтись своимъ хлѣбомъ, а если взяли, то въ надеждѣ на царскую милость, — авось послѣ простятъ; въ то время среди народа циркулировали подобные слухи“. Система хозяйствованія, принятая г. Логашевымъ, заключалась въ томъ, чтобы владѣльческіе посѣвы и запашки не сильно стѣсняли крестьянъ и не были для нихъ разорительны; всякая работа въ имѣніи отдавалась предпочтительно своимъ мѣстнымъ жителямъ; въ критическую минуту экономія по возможности выручала мужика: кормцомъ ли для скота, если есть лишній, а у кого нѣтъ, ссудой ли подъ работу, или вообще, если въ чемъ была у него неотложная нужда. Въ результатѣ, какъ показали опыты, матеріальныя интересы имѣнія не только не проиграли, но выиграли. Нравственная сторона выражалась въ требованіи правды и преслѣдованіи за уклоненія отъ нея и въ показаніи собственнымъ примѣромъ, какъ надо жить „по-божески“. Это направленіе такъ подняло престижъ экономіи, что крестьянскій міръ сталъ относиться не только съ

довѣриемъ, но и исполнялъ совѣты и указанія, за которыми шель часто по собственному побужденію“.

И какъ въ сущности легко и просто достигаются эти важные и цѣнные результаты, при тѣхъ матеріальныхъ и нравственныхъ средствахъ, которыми располагають или могутъ располагать землевладѣльцы! Ничего особеннаго тутъ не требуется,— нужно только простое человѣческое отношеніе къ мѣстному крестьянству, вмѣстѣ съ пониманіемъ сельско-хозяйственныхъ требованій и условий, съ дѣйствительною заботливостью о правильномъ ходѣ хозяйства, безъ хищническихъ пополюзованій и спекулятивныхъ расчетовъ. Но эти черты разумнаго, добросовѣстнаго и дѣятельнаго хозяина встрѣчаются довольно рѣдко на практикѣ, и нельзя основывать на нихъ какіе-либо общіе выводы о способахъ разрѣшенія землевладѣльческаго кризиса. Управляющіе того типа, какой представляетъ собою г. Логашевъ, составляютъ исключеніе изъ общаго правила; просвѣщенные помѣщики тоже не часто попадаются въ деревнѣ,—они заняты службою или другими дѣлами, и на мѣстѣ безконтрольно господствуетъ элементъ кулачества въ разныхъ видахъ и формахъ.

Подавленіе крестьянскихъ хозяйствъ, даже безъ пользы для владѣльцевъ, возводится въ систему въ имѣніяхъ многихъ купцовъ и отсутствующихъ дворянъ; отъ имени послѣднихъ распоряжаются иногда люди, причиняющіе одинаковый вредъ и своимъ довѣрителямъ, и окрестному населенію. Въ нѣкоторыхъ экономіяхъ, по свидѣтельству г. Логашева, въ то время, когда съ полей возятъ владѣльческій хлѣбъ, крестьянамъ запрещается возить свои снопы. „Находясь въ полнѣйшей зависимости, они подчиняются этой мѣрѣ, имѣющей цѣлью предупрежденіе кражъ экономическихъ сноповъ“. Это ставитъ крестьянъ въ такое положеніе, что „пока продолжается владѣльческій сноповозъ, они должны бездѣйствовать, подвергаясь риску испортить, а то и совершенно потерять свой хлѣбъ отъ могущаго наступить ненастья“. Тѣмъ болѣе обидно,—прибавляетъ авторъ,— „что и подобные приемы не служатъ къ увеличенію доходности и процвѣтанію владѣльческаго хозяйства“. Г. Логашевъ считаетъ долгомъ доказывать, что для владѣльцевъ невыгодно разорять крестьянъ, такъ какъ „обѣднѣніе населенія уменьшаетъ не только платежныя силы, но и производительныя, а слѣдовательно арендныя способности“. Существуютъ простыя, элементарныя истины, которыхъ никто не хочетъ знать; многіе, напротивъ, убѣждены, что бѣдность крестьянъ обезпечиваетъ обиліе и дешевизну рабочихъ рукъ; а когда деревенская голъ оказывается ненадежною въ работѣ и не исполняетъ своихъ

обязательствъ, то поднимаются напрасные возгласы о мѣрахъ, способныхъ будто бы помочь горю. „Гдѣ ведутся эти такъ-называемыя крупныя хозяйства, — говоритъ далѣе авторъ, — безземельное населеніе находится въ очень тяжкомъ положеніи. Недостатокъ въ землѣ, отсутствіе луговъ и пастбищъ убиваютъ крестьянское хозяйство. Вслѣдствіе ограниченности посѣвовъ и недостатка кормовъ скотоводство падаетъ“. Экономіи отпускаютъ крестьянамъ солому на самыхъ обременительныхъ условіяхъ, и все-таки ее берутъ нарасхватъ, чтобы не быть вынужденными продавать скотину за безцѣное. Для отдачи въ аренду крестьянамъ выдѣляется земля худшаго качества, а при расширеніи владѣческихъ запашекъ арендныя цѣны даже за худшіе изъ свободныхъ участковъ доходятъ до того, что нѣтъ расчета заниматься ихъ обработкою; тогда крестьяне начинаютъ подумывать о выселеніи, и они выселяются „изъ черноземныхъ и плодороднѣйшихъ мѣстъ, гдѣ имѣются на лицо всѣ условія для процвѣтанія какъ крупнаго собственника, такъ и непосредственнаго земледѣльца“. Богатыя экономіи въ экстренныхъ случаяхъ могутъ предлагать рабочимъ такія цѣны и дѣлать вообще такія затраты, которыя непосильны для болѣе мелкихъ хозяйствъ, и эта конкуренція приноситъ тоже свои горькіе плоды; въ видѣ примѣра авторъ ссылается на „выдающееся разорительное вліяніе, которое оказывала экономія гг. Борисовскихъ (въ изюмскомъ уѣздѣ харьковской губерніи) на сосѣднихъ землевладѣльцевъ; она положительно убила мелкія хозяйства и кончила тѣмъ, что совершенно разорила сама, и надъ имѣніемъ была назначена администрація“. Угнетая одновременно и болѣе слабыхъ конкурентовъ, и крестьянское населеніе, крупныя владѣческія экономіи и сами не получаютъ соотвѣтственныхъ выгодъ или даже терпятъ большіе постоянные убытки.

„Гдѣ же кроются причины такого неуспѣха? — спрашиваетъ г. Логашевъ. — Временное ли это явленіе или хроническое, имѣющее значеніе приговора надъ жизнеспособностью такихъ формъ производства? Публицисты нарекли его хлѣбнымъ кризисомъ, и какъ только было провозглашено это слово, общественные взоры обратились на хлѣбный рынокъ, — въ немъ увидѣли якорь спасенія“. Авторъ, будучи только практикомъ и не претендуя на какія-либо теоретическія разъясненія или обобщенія, смотритъ на вопросъ гораздо вѣрнѣе и шире, чѣмъ иные теоретики-экономисты, разсуждавшіе о нашемъ сельско-хозяйственномъ кризисѣ. Несомнѣнно, — замѣчаетъ онъ, — кризисъ существуетъ. „Для крупнаго неумѣлаго собственника-предпринимателя онъ заключается въ дешевизнѣ зерна,

сравнительно съ стоимостью производства; для безземельнаго крестьянина, стѣсненнаго этимъ собственникомъ, онъ весь—въ невозможности достать земли для обработки, а для моего сосѣда-крестьянина, владѣющаго землею около ста десятинъ и работающаго лично съ братьями и наемными работниками, нѣтъ рѣшительно никакого кризиса, и хозяйство его все растетъ: инвентарь и скотъ увеличиваются и улучшаются, посѣвы расширяются, а обработка земли вполне соответствуетъ ея свойству и характеру. Словомъ, сосѣдъ мой не имѣетъ рѣшительно никакого понятія о кризисѣ, и если вы, въ то время, когда другіе хозяева кричатъ о тяжелыхъ временахъ, спросите его, какъ идутъ дѣла, то непременно услышите: „слава Богу, идутъ своимъ чередомъ,—жить можно“. И дѣйствительно ему теперь жить можно; купивъ землю почти безъ денегъ, съ разсрочкою платежа, онъ въ эти шесть-семь лѣтъ оплатилъ ее совсѣмъ“. Выводъ отсюда тотъ, что „крупное спекулятивное сельско-хозяйственное производство отжило и возрожденія ждать не можетъ,—оно убыточно“.

Въ сущности кризисъ нашего сельскаго хозяйства имѣетъ въ своей основѣ кризисъ землевладѣнія, который, въ свою очередь, коренится въ постоянномъ внутреннемъ разладѣ между функціями собственниковъ и хозяевъ. Владѣльческій элементъ все болѣе отдѣляется отъ сельско-хозяйственнаго и подкапывается такимъ образомъ подъ настоящій свой фундаментъ; все болѣе слабѣетъ надежда на прочность двойного совмѣстительства—владѣнія землею и распоряженія ея денежнымъ кредитомъ, служебной или иной дѣятельности и сельско-хозяйственной. Вопросы земледѣльческой политики осложняются трудными поземельными задачами, вся важность которыхъ скорѣе чувствуется, чѣмъ сознается, большинствомъ заинтересованныхъ лицъ.

Л. Слонимскій.



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 августа 1894 г.

КРЕСТЬЯНСКОЕ НАСЕЛЕНІЕ ЗЕМСКОЙ РОССИИ.

Земская подворная перепись производилась въ 123 уѣздахъ въ теченіе прошлаго десятилѣтія. Начавшись въ 1880 году въ борисоглебскомъ уѣздѣ тамбовской губерніи, хозяйственная перепись на слѣдующій годъ производится уже въ четырехъ губерніяхъ; затѣмъ съ 1882 по 1886 включительно земская статистика, въ смыслѣ производства мѣстныхъ основныхъ изслѣдованій, достигаетъ высшаго своего напряженія: въ 1884 и 85 годахъ переписано по 21 уѣзду за годъ, въ 1886 г.—20 уѣздовъ. Въ 1887 году произошла реакція въ земской средѣ—и мы видимъ, что изслѣдованія производятся всего въ 12 уѣздахъ, а въ 1888 году послѣдовали и внѣшнія стѣсненія, такъ что земская перепись производилась только въ шести уѣздахъ, а въ 1889 г. всего въ одномъ уѣздѣ.

Странная судьба преслѣдовала земскую статистику. Большинство тѣхъ земскихъ собраній, которыя своими постановленіями вызывали существованіе статистики, понимало далеко неясно цѣль и задачи своего новаго созданія. Этимъ объясняется много нескладностей въ исторіи земской статистики. Требовали первоначально не только голыхъ цифръ, но и общедоступныхъ выводовъ. Земскіе статистики смѣло пошли на встрѣчу этимъ требованіямъ и спѣшили обнародовать полученные выводы.

Мѣстные изслѣдованія коснулись мельчайшихъ деталей крестьянской жизни; ни одна подробность, повидимому, не ускользнула отъ искусныхъ наблюдателей и попала въ таблицы въ видѣ малопонятной цифры. Эту цифру сопоставляли съ другими и она становилась доступной каждому: она трепетала жизненно и въ большинствѣ случаевъ приводила въ трепетъ всякаго, кто съ нею сталкивался. Не виноваты земскіе статистики въ томъ, что, памятуя научные законы,

получали и опубликовывали тѣ именно выводы, которые давала сама жизнь. Что жизнь эта неприглядна, безотраднa, угрюма—это знали каждый и до земской статистики. Но послѣдняя не только не разубѣдила въ этомъ, а подавляющей массой цифръ усугубила мрачныя воззрѣнія, подтвердила ихъ даже тамъ, гдѣ обыкновенно привыкли подразумѣвать, розовый колоритъ. И вдругъ сѣрый, а то и совсѣмъ темный, какъ ночь!.. Разочарованные земцы не могли простить этого своимъ нанятымъ агентамъ: они стали обвинять ихъ въ тенденціозности, а потомъ и въ болѣе крупныхъ преступленіяхъ. Эти обвиненія обнаружались очень рано: въ Рязани, напр., на другой же годъ по открытіи изслѣдованій собраніе обвинило статистиковъ въ преувеличеніи зла, будто бы причиненнаго *недобросовѣстными* отводомъ крестьянскихъ надѣловъ. „Если это и правда, то вы бы должны были скрыть это отъ публики! Подумали бы вы, что не ради этого срама мы тратимъ на васъ десятки тысячъ!“ Къ 1886 году обвиненія принимаютъ болѣе серьезный характеръ. Бурское собраніе обвиняетъ чуть ли не въ государственной измѣнѣ не только совѣтъ московскаго университета, присудившій Самаринскую премію за такъ-называемые „Итоги изслѣдованія“, но и московскую цензуру, которая пропустила эту невинную книгу! Извѣстный публицистъ и приснопамятный курскій земецъ г. Евгеній Марковъ въ своей громовой рѣчи противъ земской статистики прямо заявлялъ, что „итоги г-на Вернера начинены социалистическимъ перцемъ“... Оказывается, этотъ перецъ заключается въ бѣгломъ предположеніи г. Вернера относительно причинъ всѣмъ извѣстной дѣли однодворцевъ. По мнѣнію статистика, однодворцы—это тѣ залѣгившіеся дворяне, которые еще со временъ Алексѣя Михайловича предпочитали быть въ нѣтъхъ. Объясненіе весьма удачное и основанное на точныхъ наблюденіяхъ, которыхъ не удалось опровергнуть г. Е. Маркову инымъ путемъ, какъ намекомъ на извѣстный перецъ... Вообще въ борьбѣ съ своей статистикой земцы не затруднялись средствами. Но достойно вниманія, что возникающая какъ бы случайно, какъ бы по капризу земцевъ, статистика стойко выдержала искусь. Очевидно, сила ея лежала въ правдѣ фактовъ, а тронуть правду не всегда удобно. Были попытки со стороны земцевъ напасть на статистику именно со стороны фактической правды; такъ, напр., фатежское уѣздное земское собраніе избрало особую комиссію для повѣрки работъ и результаты подало въ губернское земское собраніе. Всѣ найденныя ошибки оказались вовсе не ошибками. Льговскій земецъ, г. Роштокъ, въ концѣ концовъ, выступившій противъ статистики съ филиппикой въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, въ свое время бралъ изъ курсаго статистическаго бюро бланки своей деревни и провѣрялъ ихъ на мѣстѣ: собранныя

данныя оказались вполне точными и о такомъ результатѣ пришлось довести до свѣденія губернскаго собранія.

Что свѣденія, собираемыя отъ крестьянъ на полномъ сельскомъ сходѣ, отличаются возможною точностью и добросовѣстностью—объ этомъ давно писали многіе; да иначе и быть не можетъ,—крестьянину бояться нечего; не боится онъ повышенія обложенія, не стыдится своей нищеты, не хвастается и своимъ богатствомъ. Во время переписи между изслѣдователемъ и сходомъ устанавливаются такіе довѣрчивыя отношенія, какія обыкновенно немислимы при другихъ условіяхъ. Немислимо, чтобы торговцы и квартирновладѣльцы откровенничали съ податнымъ инспекторомъ, а фабриканты съ фабричной инспекціей, или московскіе лавочники съ санитарнымъ надзоромъ, мясники съ ветеринарами, сахарозаводчики и винокуры съ акцизными чиновниками. Бѣда изслѣдованіе по строго выработанной программѣ, изъ коей выключено все, что можетъ поставить въ щекотливое положеніе опрашиваемаго, земскіе статистики умѣли пользоваться различными пріемами для провѣрки. Контроль схода только облегчалъ эту тяжелую работу. Немудрено, что свѣденія, полученныя отъ крестьянъ, отличаются особенною доброкачественностью, чего нельзя сказать про свѣденія о помѣщичьихъ хозяйствахъ. Помѣщикъ часто изъ тщеславія показываетъ лишній скотъ и инвентарь, для увеличенія кредита увеличиваетъ свои доходы, а иногда, боясь обложенія, явно преуменьшаетъ ихъ. И у земскаго изслѣдователя нѣтъ никакого орудія для провѣрки; онъ не имѣетъ даже возможности спросить у сосѣда, правда ли это? Сосѣдъ скажетъ: а почему я знаю... Крестьяне же знаютъ другъ про друга все до послѣдней нитки.

Такимъ образомъ, со стороны точности, работы земскихъ статистиковъ были безупречны, и враги статистики скоро убѣдились въ этомъ. Пришлось нападать на выводы, но такъ какъ это требовало солидныхъ знаній и противопоставленія иныхъ данныхъ, которыхъ притомъ и не было, то и этотъ путь былъ признанъ опаснымъ. Остался путь инсинуацій: съ одной стороны успѣли провалить статистику на собраніяхъ, а съ другой споспѣшествовали установленію разныхъ стѣснительныхъ мѣръ, мѣшавшихъ производить изслѣдованіе. Въ послѣднемъ отношеніи больше всего добились орловскіе земцы.

Какъ бы то ни было, но статистика просуществовала уже больше десяти лѣтъ: нѣкоторыя губерніи, числомъ пять, успѣли переписаться полностью за первое десятилѣтіе, шесть губерній переписались больше чѣмъ на половину и одиннадцать губерній переписались лишь отчасти по нѣскольку уѣздовъ.

На перепись затрачено много денегъ, но деньги эти не пропали.

Правда, земство мало пользуется данными своей статистики. Объясняется это полным неумѣньемъ приступить къ такому пользованію, но все-таки въ отдѣльных случаяхъ и земства прибѣгаютъ за помощью къ статистическимъ сборникамъ. Такъ въ голодный годъ нижегородское и воронежское бюро облегчили задачи земства по продовольствію населенія. Со дня на день можно ожидать новыхъ обращеній къ архивамъ земско-статистическихъ бюро по вопросу о переоцѣнкѣ имуществъ. Правительственные учрежденія относятся къ земско-статистическимъ даннымъ съ полнымъ вниманіемъ и довѣріемъ. Такъ, напр., при уничтоженіи подушной подати казенныя палаты воронежской, курской и екатеринославской губерній цѣлкомъ пользовались земскими переписями для переоценки крестьянскихъ земель. Вновь открытое министерство земледѣлія врядъ-ли сдумаетъ обойтись безъ земскихъ данныхъ.

Но наибольшую пользу принесли земско-статистическія изслѣдованія общественному развитію Россіи; земская статистика прежде всего сдѣлалась достояніемъ образованнаго общества. Вся читающая публика зорко слѣдила за каждымъ крупнымъ открытіемъ, изучала факты и знакомилась съ выводами по всѣмъ отраслямъ крестьянскаго хозяйства. Нѣкоторые люди бросали даже университетскія каѳедры и уходили въ деревню „на статистику“. Съ другой стороны, лучшіе статистики прямо изъ деревни выходили на каѳедры. Это было время серьезнаго изученія народа и къ чести земства надо отнести, что это изученіе совершено за его счетъ. Впрочемъ, доля горечи есть и въ этомъ фактѣ: изучали народъ за его же счетъ... Въ одной деревнѣ спрашивали меня, сколько я получаю жалованья. Я сказалъ: шестьдесятъ рублей. А сколько васъ такихъ-то? Я сказалъ: десять. „И все это съ насъ идетъ!“ заключилъ вопрошавшій. Видѣлъ онъ, что работа статистика тяжела, но вѣдь и понималъ, что въ обществѣ она очень дорого стоитъ... ему, ибо добрыми тремя четвертями расходъ падалъ на крестьянскую землю. Всѣ эти соображенія отравляли работу не мнѣ одному; всѣ часто слышали эти разсужденія и руки невольно опускались въ такомъ раздумьи.

Какъ бы ни было, но земскія изслѣдованія, кромѣ общаго обогащенія русскихъ знаній, создали еще цѣлый классъ специалистовъ, которыми вообще бѣдна Россія. По довольно неполному подсчету, въ обще-земскомъ сводномъ сборникѣ занесено 219 лицъ, участвовавшихъ въ производствѣ подворныхъ переписей. Но вѣдь это не все—много лицъ занимались еще подсчетомъ и обработкой матеріала. Статистика, прежде бывшая достояніемъ профессоровъ и читавшаяся только на юридическомъ факультетѣ и въ Петровской земледѣльческой академіи, начинаетъ популяризоваться. Печать открываетъ свои

страницы для спеціальныхъ статистическихъ монографій, которыя съ интересомъ читаются всею публикой. Новый притокъ массы фактовъ, своеобразная группировка ихъ, поразительные своимъ новизной и неожиданностью выводы—все это ставило земскую статистику въ исключительное положеніе своеобразныхъ факторовъ общественнаго самосознанія: можно сказать, что восьмидесятие годы, благодаря земской статистикѣ, занимались серьезнымъ, хотя, можетъ быть, и кропотливымъ изученіемъ крестьянской жизни на мѣстѣ, а не въ кабинетѣ. И это изученіе далеко еще не закончилось: только въ девяностыхъ годахъ стали появляться обобщенія. Нужно думать, что интересъ общества отъ этого не ослабѣетъ, а наоборотъ усилится, и земская статистика займетъ себѣ еще болѣе широкое поле. Теперь, уже не требуя экстраординарныхъ расходовъ, ложившихся на мужика, земская статистика, какъ неоскудѣвающій источникъ положительныхъ знаній, должна воздать сторицею то, что на нее затрачено. Затраченные крестьянскіе деньги должны возвратиться тѣмъ, что русское общество, тщательно изучившее крестьянскую жизнь, пойдетъ на встрѣчу улучшеніямъ, будетъ стремиться къ уврачеванію всякаго зла въ крестьянской средѣ, къ облегченію борьбы съ нищетою и невѣжествомъ. И возникающая на довѣрчивомъ отношеніи общества къ крестьянскому міру, земская статистика и въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи должна держаться тѣхъ же традицій: вносить полученные выводы въ жизнь разумнымъ путемъ—путемъ кропотливой методичной работы.

Въ 123 изслѣдованныхъ уѣздахъ насчитывается 2.606 волостей. Современная волость не представляетъ собою поземельной единицы, какъ это было въ древней Руси; нынѣ волость—величина чисто административная и, какъ таковая, состоитъ изъ различнаго числа селеній и занимаетъ различное по величинѣ пространство. Непосредственнаго хозяйственнаго значенія волость не имѣетъ, но косвенно это значеніе сказывается довольно ясно. Такъ наблюдается слѣдующее явленіе: тѣмъ волости по губерніямъ въ среднемъ больше, тѣмъ волостные сборы (графа 93) на содержаніе волостныхъ правленій и прочихъ волостныхъ потребностей бывають меньше. При средней волости въ 777 дворовъ въ с.-петербургской губерніи сходитъ со двора 2 р. 24 к. волостныхъ сборовъ и при 678 дворахъ въ смоленской губерніи—1 р. 53 к. Въ самарской же и рязанской губерніяхъ, гдѣ на волость приходится 1.134 и 1.016 дворовъ, съ двора сходитъ по 1 р. 17 и по 1 р. 19 к. Въ полтавской губерніи при средней волости въ 1.374 двора волостной сборъ едва достигаетъ 76 копѣекъ.

Если мы сопоставимъ эти данныя съ средними, рассчитанными на надѣльную десятину, то получимъ не столь строго послѣдовательное соотвѣтствіе, что объясняется, съ одной стороны, большей разницей въ размѣрахъ надѣленія, а съ другой, и это главнымъ образомъ, способомъ разверстки волостныхъ сборовъ: какъ извѣстно, лишь въ рѣдкихъ случаяхъ сборы эти раскладываются по землѣ, обычная же раскладка производится по ревизскимъ душамъ, что и отражается на помянутыхъ сопоставленіяхъ. Впрочемъ, и они подтверждаютъ вышеприведенный выводъ, допустимый уже а priori.

Далѣе, если мы присмотримся къ функціямъ современныхъ волостныхъ правленій, то несомнѣнно должны будемъ допустить ихъ вліяніе на другія стороны хозяйственной дѣятельности крестьянскаго населенія. Въ волости творится судъ и расправа; въ ней же сосредотчивается формальная сторона гражданского оборота; какъ въ нотаріатѣ, въ ней хранятся недомочные и продовольственные реестры, страховыя вѣдомости, владѣнныя записи, призывныя по воинской повинности списки и вѣдомости; въ ней же, наконецъ, можно получать паспорта и письма; около нея часто живутъ фельдшера, оспопрививатели, акушерки. Короче говоря, волостное правленіе можно считать въ нѣкоемъ родѣ центромъ деревенской жизни и потому для населенія не безразлично, гдѣ находится этотъ искусственный центръ. Въ вятской губерніи на одно волостное правленіе приходится 69 общинъ, а въ пермской—всего 6; въ смоленской 34, а въ нижегородской—13, въ курской 22, а въ воронежской (сосѣдней)—только 11. Въ этихъ скачкахъ ясно отражается тотъ элементъ случая и произвола, который легъ въ распредѣленіе нашихъ административныхъ единицъ. Въ общеземскомъ сборникѣ мы имѣемъ подробныя свѣдѣнія о распредѣленіи общинъ въ 2.467 волостяхъ. По этимъ свѣдѣніямъ 39 волостей состоятъ изъ единой общины—это крупныя селенія. Здѣсь волостныя функціи часто сливаются съ общинными. Такихъ волостей больше всего въ оренбургскомъ уѣздѣ пермской губерніи (8); затѣмъ въ воронежской губерніи 7 и по 6-ти въ тамбовской и саратовской; въ остальныхъ пяти губерніяхъ они встрѣчаются какъ рѣдкость.

Большинство волостей (62,4%) состоитъ отъ 2 до 20 общинъ, но не мало волостей, состоящихъ болѣе чѣмъ изъ 30 общинъ—такихъ около 21,5%.

Земская перепись коснулась не менѣе 42.834 селеній и 54.447 общинъ. Я говорю: „не менѣе“, ибо по первоисточникамъ не видно, сколько селеній переписано по нижегородской губерніи и сколько общинъ по херсонской. Чтобы судить о той массѣ труда, которая затрачена на производство этой переписи, достаточно указать на то,

что земскіе статистики должны были созвать 54.447 сходоѡ. Каждому изъ этихъ сходоѡ приходилось объяснять, что слѣдуетъ отвѣчать на задаваемые вопросы. Чѣмъ яснѣе статистикъ растолковывалъ смыслъ задаваемыхъ вопросовъ, тѣмъ быстрѣе и точнѣе шла перепись. Темный сходъ во время переписи подвергался словно строгому экзамену,—у отвѣчающаго напрягалась и память, и соображеніе, и способность умозаключать. Обыкновенно спрашиваемый обливался потомъ отъ напряженія, столь непривычнаго для нашего крестьянина. Для статистика особенно трудно было „наладить сходъ“, то-есть приучить первыхъ домохозяевъ къ правильнымъ отвѣтамъ. Смотра по общему уровню развитія схода, „налаживание“ происходило сравнительно очень быстро: пятый, шестой дворъ уже успѣвалъ привыкнуть къ тому, что за телѣтами его непременно спросить объ овцахъ, а потомъ о свиньяхъ и т. д. Такъ какъ у русскаго человека вообще память хорошая и сообразительности достаточно, то обыкновенно къ срединѣ схода изслѣдователь получалъ словно вызубренные отвѣты. И говорить нечего, что въ тѣхъ общинахъ, гдѣ школы дѣйствуютъ уже давно, такъ что на сходѣ преобладаютъ грамотные, перепись происходила замѣчательно быстро, и наоборотъ, она особенно затягивалась въ торговыхъ селахъ, куда проникла прасольско-трактирная цивилизація. Здѣсь часто лгали и изобличались во лжи, что такъ или иначе затягивало перепись и пагубно отражалось на ея доброкачественности.

Въ среднемъ на одно селеніе приходится 68 дворовъ и 412 душъ обоѡго пола. Крупнѣйшія селенія въ уѣздахъ выписаны въ общеземскомъ сборникѣ поименно съ цифровымъ опредѣленіемъ размѣровъ населенія. Сдѣлано это въ видахъ указанія крупнѣйшихъ естественныхъ центровъ. Изъ этихъ свѣденій, между прочимъ, видно, что многія села численностью далеко превосходятъ наши уѣздные города: такъ въ с. Балаковѣ самарской губерніи насчитывается 16.008 душъ, въ слободѣ Борисовкѣ курской губ. 15.167, въ слободѣ Калачѣ 16.030 и т. д.

Перейдемъ теперь къ размѣру общинъ. Мы уже видѣли, какъ онѣ распределяются по волостямъ; но ни по этому распределенію, ни по другимъ даннымъ общеземскаго сборника нельзя вывести правильнаго сужденія о густотѣ крестьянскаго населенія въ земской Россіи. Такихъ данныхъ первоисточники не даютъ и, очевидно, не могли дать. Вѣдь густотой населенія называется количество душъ, приходящееся на извѣстную квадратную единицу поверхности. Земское изслѣдованіе не производило подобныхъ измѣреній. Нѣкоторые бюро въ пополненіе этого пробѣла пользовались извѣстными данными полковника Стрѣльбицкаго, но такъ какъ это дѣлалось далеко

не всюду, то составитель сборника не было никакой возможности произвести эту работу. Мнѣ думается, что сопоставленія данныхъ общеземскаго сборника съ данными исчисленій полковника Стрѣльбицкаго дадутъ въ результатѣ массу интересныхъ выводовъ. Ставляя пока въ поковъ этотъ важный вопросъ, мы должны здѣсь освѣтить только тотъ матеріалъ, который имѣется въ сводномъ сборникѣ. Здѣсь, кромѣ средняго размѣра общинъ, равняющагося для 113 уѣздовъ 53 дворамъ и 322 душамъ об. п., мы имѣемъ распределеніе общинъ по ихъ величинѣ. Признакомъ, опредѣляющимъ эту величину, мы взяли дворъ, какъ хозяйственную единицу, на которой сосредоточены всѣ дѣйствія земско-статистической переписи. Изъ этого распределенія, коснувагося 52.059 общинъ, видно, что общинъ, состоящихъ всего лишь изъ одного двора, насчитывается 1.134 или 2,2%, состоящихъ отъ 2 до 50 дворовъ—74,2%; отъ 51 до 200—18,1% и, наконецъ, крупныхъ общинъ, имѣющихъ болѣе 200 дворовъ, всего 5,5% общаго числа. Уже эти проценты свидѣтельствуютъ о безполезности извѣстныхъ проектовъ о расселеніи, о хозяйствѣ на отдѣльныхъ хуторахъ, о вредѣ длиннополосности общинныхъ земель и проч. Крестьяне лучше насъ справляются со всѣми этими неудобствами, встать сказать, страшными лишь въ кабинетѣ, а не въ дѣйствительности. Болѣе трехъ четвертей общаго количества общинъ состоятъ изъ поразительно малаго количества дворовъ. Считая на такую общину въ среднемъ по 35 дворовъ, что близко къ дѣйствительности, мы простымъ арифметическимъ дѣйствіемъ можемъ высчитать, что добрая половина всего крестьянскаго населенія живетъ въ мелкихъ общинахъ. Но является еще крайне спорнымъ и сложнымъ вопросомъ опредѣленіе, какой половинойъ живется легче—въ крупныхъ общинахъ или въ мелкихъ. Есть доводы и за, и противъ. Съ помощью данныхъ того же общеземскаго сборника можно сопоставить вліяніе этого фактора на благосостояніе крестьянъ. По нашему мнѣнію, здѣсь недостаточно еще прослѣдить вліяніе обилія общинъ въ одинъ дворъ въ губерніяхъ полтавской, вятской и с.-петербургской, столь различныхъ по своимъ хозяйственнымъ условіямъ; недостаточно также остановиться на крупнообщинныхъ губерніяхъ, напр. самарской—здѣсь нужно весьма сложное сопоставленіе цѣлаго ряда экономическихъ факторовъ. Во всякомъ случаѣ этотъ вопросъ требуетъ спеціальнаго изслѣдованія, и мы весьма рады, что сводный сборникъ даетъ для этого, повидимому, всѣ нужныя данныя.

Переходимъ къ составу крестьянскаго населенія земскихъ губерній.

Въ 123 уѣздахъ земская перепись зарегистрировала семейный составъ 2.983.733 крестьянскихъ дворовъ. Цифра почтенная и спо-

собная дать точный выводъ. Въ этихъ дворахъ насчитывается 8.945.770 мужчинъ и 9.050.547 женщинъ, а всего 17.996.317 душъ обоого пола.

Такимъ образомъ въ среднемъ на крестьянскую семью приходится 6,03 человѣка, короче говоря, ровно шесть душъ. На самомъ дѣлѣ это среднее мало соотвѣтствуетъ дѣйствительности, ибо только въ семи изъ 22 губерній на семью приходится шесть душъ, въ остальныхъ же гораздо меньше; такъ, напр., въ пермской губ. 5,1, въ бессарабской—4,5. Наименьшая средняя семья наблюдается въ воронежской губ., гдѣ она достигаетъ почти семи душъ (6,9). Если мы выведемъ среднія и поставимъ ихъ въ географическомъ порядкѣ съ сѣвера на югъ, то замѣтимъ такую постепенность: сѣверная часть земской Россіи по московскую и нижегородскую губ. включительно состоятъ изъ среднихъ семей въ 5,6 души. Крайнія амплитуды здѣсь вмѣщаются между 5,1 для пермской губерніи и 5,9 для вятской. Такая крутая разница между сосѣдними губерніями легко объясняется составомъ населенія: въ пермской губерніи—а по ней изслѣдовать всего одинъ екатеринбургскій уѣздъ—преобладаютъ горно-заводскіе крестьяне, весь укладъ жизни которыхъ вродѣ - ли способствуетъ большесемейности; вятская же губернія, въ которой изслѣдование коснулось шести уѣздовъ, хотя и не представляетъ собой великороссійской губерніи, такъ какъ почти на половину населена инородцами—вотяками, черемисами, татарами и проч., но тѣмъ не менѣе характеръ этого населенія, такъ сказать, земледѣльческо-лѣсной, что прямо способствуетъ развитію большесемейности, ибо при ней удобнѣе эксплуатировать землю, а въ особенности лѣсъ съ его кустарными промыслами.

Далѣе, семь центральныхъ черноземныхъ губерній отличаются по своимъ среднимъ особенною большесемейностью: здѣсь амплитуда заключается между 5,7 и 6,9. Кстати надо напомнить, что это преимущественно великороссійскія губерніи. Восточная часть центрального чернозема, именно самарская и саратовская губерніи, имѣютъ наименьшія семьи.

Въ остальныхъ пяти черноземныхъ губерніяхъ на семью приходится болѣе шести человѣкъ, и какъ указано выше, достигаетъ почти семи въ воронежской губерніи. Здѣсь несомнѣнно играетъ роль великороссійскій элементъ, ибо сосѣднія губерніи Украины, населенныя малороссами, представляютъ рѣзкій контрастъ: средній размѣръ семьи сразу падаетъ здѣсь до 5,8 въ черниговской губерніи, 5,7 въ харьковской и до 5,5 въ полтавской.

Югъ Россіи представляетъ въ высшей степени пеструю картину: здѣсь въ екатеринославской губерніи мы наблюдаемъ довольно круп-

ныхъ размѣровъ среднюю семью, именно 6,2, а сбоку, въ бессарабской—всего 4,5. Последняя незначительная величина, быть можетъ, объясняется иностраннымъ происхожденіемъ „резешей“, но всякія предположенія въ этой области будутъ гадательны, ибо нѣтъ достаточныхъ данныхъ установить истинную причину явленія. Таврическая губернія даетъ въ среднемъ 6,1 на семью, что, можетъ быть, отчасти объясняется татарскимъ многоженствомъ, хотя прямой связи установить нѣтъ возможности.

Независимо отъ географическаго распредѣленія, на среднюю величину семей, очевидно, вліяютъ и другіе факторы. Такъ, напр., колонисты имѣютъ наивысшій средній размѣръ семьи въ 6,7 души; за тѣмъ слѣдуютъ бывшіе государственные крестьяне—6,3; бывшіе помещичьи—5,8; удѣльные—5,6; столько же и дарственные; наконецъ у казаковъ 5,5, у полныхъ собственниковъ 5,4, у безнадѣльныхъ 5,2, и у горнозаводскихъ всего 5,0 душъ. Такая послѣдовательность разрядовъ крестьянъ свидѣтельствуетъ о причинной связи между величиной крестьянскаго надѣла и размѣромъ крестьянской семьи. Чѣмъ больше надѣленіе, тѣмъ крупнѣе семьи. Исключеніе представляютъ только башкиры, но это не земледѣльцы, а только скотоводы.

Останавливаясь на составѣ семей, мы найдемъ, что каждая семья состоитъ изъ 2,9 работниковъ обоего пола, и изъ 3,1 лицъ не-работчаго возраста. На одного рабочаго мужчину приходится 3,2 не-работчихъ ѣдоковъ. Значитъ, кромѣ себя, каждый работникъ долженъ прокормить по меньшей мѣрѣ еще трехъ человѣкъ. Общеземскій сборникъ даетъ еще детали для распредѣленія мужской рабочей силы: именно, мы узнаемъ, что изъ 2.292.930 семей 164.418 или 7,2% не имѣютъ вовсе кормильца: это или осиротѣвшія семьи, или тѣ, работники коихъ старше 60 лѣтъ—„изъ годовъ вышелъ“. За тѣмъ 56,6% всѣхъ семей имѣютъ всего одного работника, и остальные 36,2% имѣютъ двухъ и болѣе работниковъ. Такимъ образомъ многорабочихъ семей не особенно много: ихъ больше всего опять въ центральномъ черноземѣ, съ тою только разницей противъ прежняго распредѣленія, что въ этой группѣ мы должны присоединить смоленскую губернію и вовсе исключить самарскую. Въ послѣдней чувствуется сильный недостатокъ въ многорабочихъ семьяхъ: ихъ тамъ едва набирается треть, тогда какъ въ рязанской губерніи ихъ больше половины 52,2%, въ курской и орловской по 42%, въ воронежской 45%; по тамбовской свѣдѣній не имѣемъ. Сѣверная часть земской Россіи имѣетъ не болѣе 32% многорабочихъ семей, но и не менѣе 27¹/₂%, тогда какъ югъ вмѣстѣ съ Украиной рѣдко набираетъ болѣе 30%, и падаетъ до 24,8% въ бессарабской, и даже до 22,6% въ херсонской. Здѣсь можно указать на неожиданное со-

впаденіе: тамъ, гдѣ господствуетъ подворное владѣніе, — многорабочихъ семей меньше, и наоборотъ. Подворная форма землевладѣнія, разбивая крупныя семьи на болѣе мелкія, тѣмъ самымъ ослабляетъ рабочую силу семей, а стало быть и всю хозяйственную дѣятельность крестьянина. Уже этой связи достаточно, чтобы стать на сторону общины. Всѣмъ извѣстно, какъ сильно нуждается нашъ югъ въ рабочихъ рукахъ, несмотря на то, что центральная Россія, имѣющая не менѣе 40% многорабочихъ семей, высылаетъ ежегодно на южныя заработки всѣ лишнія рабочія руки, которыя могутъ оказаться, конечно, только въ многорабочихъ семьяхъ. — Чего не пошелъ ты на югъ? — Не отъ кого! — вотъ обычный отвѣтъ, и въ немъ нѣтъ пустой отговорки: онъ прямо вытекаетъ изъ семейной обстановки крестьянина. По распространенному, крайне ретроградному, впрочемъ, мнѣнію, недостатокъ рабочихъ рукъ на Руси объясняютъ обезпеченностью крестьянъ надѣльной землею на общинномъ правѣ. Во всемъ виновата община; отъ нея и фабрики пустуютъ, и криворожскія кони не успѣваютъ выполнить заказовъ, и южныя хозяева не управляются убрать свою пшеницу, и на тучномъ черноземѣ помѣщики вынуждены принудить общину отработками, — иначе никто работать не пойдетъ. Все это, однако, основано на маломъ знакомствѣ съ народною жизнью. Вышеприведенныя цифры прямо свидѣтельствуютъ, что только благодаря общинному складу своей жизни крестьяне успѣваютъ сработать больше, чѣмъ можно требовать при всякой другой формѣ общежитія. Нашъ югъ будетъ нуждаться въ рабочихъ рукахъ до тѣхъ поръ, пока мѣстныя подворныя или близкія къ тому формѣ землевладѣнія не перейдутъ, путемъ самопроизвольнаго развитія, въ общинную форму. Какъ это только случится, вмѣсто 22% многорабочихъ семей станетъ и на югѣ 40%, то-есть около пятой части семей получить возможность выдвинуть лишнюю силу на всякую работу. Сопоставленія другого порядка подтверждаютъ эту мысль. Такъ у государственныхъ крестьянъ, этихъ по преимуществу общинниковъ, мы видимъ 38,5% многорабочихъ семей; мало чѣмъ меньше этотъ процентъ у бывшихъ крѣпостныхъ всякихъ видовъ (у собственниковъ 35,2, дарственниковъ 35,5 и удѣльныхъ 35,7%). Но какъ только мы коснемся остальныхъ разрядовъ крестьянъ, у коихъ господствуетъ подворщина, такъ тотчасъ же картина быстро измѣняется: у казаковъ мы находимъ 31%, у полныхъ собственниковъ 28,8 и, наконецъ, у безнадѣльныхъ 24,8%. Только нѣмецкіе колонисты являются какъ бы рѣзкимъ диссонансомъ, показывая означенный процентъ въ небывало-громадномъ размѣрѣ — именно 43½¹⁾). Но и

¹⁾ На наличную душу муж. пола у колонистовъ приходится 7,5 десятины, то-есть въ три раза больше, чѣмъ у бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ. Сводн. сборн., стр. 191.

здѣсь достойна вниманія одна особенность: столь высокій процентъ многорабочихъ семей получился благодаря самарской губерніи, въ коей нѣмцы владѣютъ землей на душевомъ русскомъ правѣ, съ періодическими передѣлами; нѣмцы же и болгары таврической губерніи, какъ подворные владѣльцы, даютъ всего 29%, чѣмъ еще разъ доказывается наше положеніе.

Заговоривъ о недостаткѣ рабочихъ рукъ на югѣ, я долженъ еще упомянуть о сочетаніи данныхъ объ отхожихъ промыслахъ съ данными о многорабочихъ семьяхъ. Къ сожалѣнію, мы не имѣли ни возможности, ни времени разработать свѣденія о промыслахъ въ сводномъ сборникѣ съ достаточной подробностью, почему въ данномъ случаѣ врядъ-ли удастся намъ придти къ какому-либо важному выводу. Несомнѣнно лишь одно заключеніе, вытекающее изъ этихъ сопоставленій: отхожіе промыслы преобладаютъ надъ мѣстными въ тѣхъ именно губерніяхъ, которыя имѣютъ многорабочихъ семей болѣе 40%; въ остальныхъ мѣстностяхъ, гдѣ этотъ процентъ ниже сорока, преобладаніе остается за мѣстными промыслами.

Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ земскіе статистики не ограничились обычнымъ дѣленіемъ населенія на рабочихъ и не-рабочихъ: по 43 уѣздамъ одиннадцати губерній земская перепись даетъ намъ детальныя данныя о возрастномъ распредѣленіи крестьянскаго населенія. Такія данныя коснулись 5.776.530 душъ обоюго пола¹⁾. Къ сожалѣнію, термины распредѣленія не отличаются единообразіемъ: въ одномъ случаѣ выдѣлены дѣти до года, въ другомъ не сдѣлано этого; въ одномъ случаѣ младшій возрастъ опредѣленъ до пяти лѣтъ, въ другомъ до шести и т. д. Только разбивъ на болѣе крупныя группы, мы можемъ объединить этотъ въ высшей степени интересный матеріалъ. Такъ мы узнаемъ, что дѣтей мужскаго пола въ возрастѣ до восьми лѣтъ насчитывается въ 43 уѣздахъ 22,3%, то-есть болѣе пятой всего мужскаго населенія. Дѣтей женскаго пола въ томъ же возрастѣ почти столько же—22,2%. Выводя этотъ процентъ безъ различія пола, мы получимъ 22,24%. Но вѣдь это относительныя величины, абсолютно же дѣвочекъ больше, чѣмъ мальчиковъ, также какъ и женскаго пола вообще больше мужскаго. Между тѣмъ, судя по даннымъ о количествѣ дѣтей, не достигшихъ еще одного года, можно заключить, что мальчиковъ родится больше, чѣмъ дѣвочекъ. Такъ въ двухъ уѣздахъ новгородской и шести уѣздахъ воронежской губ. на то же количество общаго населенія мальчиковъ родилось въ общей сложности на 857 человекъ болѣе, чѣмъ со-

¹⁾ Въ сводномъ сборникѣ на стр. 248 ошибочно сказано, что мы имѣемъ болѣе трехъ милліоновъ душъ, распредѣленныхъ по возрастамъ; правильнѣе было бы сказать: около шести милліоновъ.

ставитъ около $2\frac{1}{2}\%$ въ общему числу родившихся. Но по пяти уѣздамъ тверской губерніи за годъ родилось на 101 дѣвочку болѣе чѣмъ мальчиковъ, что даетъ $0,6\%$. По другимъ губерніямъ данныхъ этого рода не имѣется. Какъ бы въ объясненіе этого явленія мы находимъ по воронежской губерніи, хотя всего по двумъ уѣздамъ, данныя о смертности населенія. Изъ нихъ мы усматриваемъ, что за десятилѣтіе мальчиковъ въ возрастѣ до одного года вымерло въ каждомъ уѣздѣ на тысячу больше, чѣмъ дѣвочекъ; въ возрастѣ до шести лѣтъ вымерло даже больше тысячи на каждый уѣздъ. Такимъ образомъ, смерть успѣваетъ уравновѣсить и даже перевѣситъ противоположныя теченія жизни, и благодаря этому при подсчетѣ населенія въ возрастѣ до восьми лѣтъ мы уже получаемъ, хотя и малѣйшее, численное преобладаніе дѣвочекъ надъ мальчиками.

Далѣе, мальчиковъ въ возрастѣ отъ 8 до 14 лѣтъ насчитывается въ тѣхъ же 43 уѣздахъ $15\frac{1}{2}\%$ мужского населенія. Это такъ-называемый школьный возрастъ. По даннымъ, вошедшимъ въ общеземскій сборникъ, нельзя судить непосредственно, насколько обезпеченъ у насъ этотъ школьный возрастъ школами, но косвенныя сужденія возможны: достаточно перевернуть страницу и можно найти проценты учащихся. Эти проценты выведены для обоихъ половъ. Но такъ какъ учащіяся дѣвочки представляютъ всего одну шестую часть всѣхъ учащихся, то, устранивъ ее въ пользу мальчиковъ, мы по величинѣ процентовъ можемъ установить, что всего въ одной таврической губерніи учится половина мальчиковъ, находящихся въ школьномъ возрастѣ. Но въ виду допущенной натяжки, даже исключительная губернія не можетъ насъ радовать. Заглянемъ въ черниговскую губернію; тамъ учащихся $0,4\%$, т.-е. на тысячу всего четыре, или по принятому нами переводу на мужчинъ и на школьный возрастъ—въ черниговской губерніи учится только двадцатая часть дѣтей, состоящихъ въ школьномъ возрастѣ. Въ половинѣ изслѣдованныхъ губерній дѣло стоитъ немного лучше, чѣмъ въ черниговской; мы хвалимся, когда видимъ, что учится десятая часть дѣтей школьнаго возраста; только московская губернія да саратовская, благодаря колонистамъ, даютъ намъ четыре десятыхъ.

Послѣ этихъ выразительныхъ цифръ становится какъ-то странно говорить про школьный возрастъ; справедливѣе называть его возрастомъ „подпасковъ“. И дѣйствительно, въ этомъ возрастѣ крестьянскія дѣти только тѣмъ и занимаются: стерегутъ овецъ, телятъ, гусей, помогаютъ большимъ стеречь рогатый скотъ и водить лошадей на ночное; къ концу этого возраста приучаются водить борону и часто даже пахать. Зимой же только въ рѣдкихъ случаяхъ имъ поручаютъ привести корму или напоить скотину—вся зима проводится

въ катаньяхъ съ горъ или сидѣньѣ на печкѣ. Зимняя незанятость ребятишекъ пропадаетъ тотчасъ же, какъ только устроивается по близости школа. Но въ томъ и бѣда, что школы у насъ устроиваются туго. Изъ своднаго сборника между прочимъ видно, что въ трехъ уѣздахъ тверской губерніи имѣется 112 училищъ; по расчету школьнаго возраста приходится по 229 учащихся на школу! Стало быть, надо предположить для полной вмѣстимости размѣры школъ, напоминающіе размѣры гимназій, а этого, конечно, нѣтъ...

Какимъ важнымъ факторомъ является грамотность въ крестьянской средѣ, объ этомъ намъ придется еще говорить не разъ; здѣсь мы только отмѣчаемъ, какую трудность представляетъ для крестьянина приобрѣтеніе грамотности.

Возвращаясь снова къ возрастному распредѣленію крестьянскаго населенія, мы найдемъ, что такъ-называемые „полумработники“, состоящіе въ возрастѣ отъ 14 до 18 лѣтъ, даютъ 8,2% мужского населенія. Эта часть населенія уже участвуетъ въ производствѣ полевыхъ работъ и кустарныхъ промысловъ. Это подростки, въ иныхъ случаяхъ не замѣнимые нигѣмъ.

Для женской половины населенія мы, къ сожалѣнію, не имѣемъ строго разграниченныхъ данныхъ: можемъ указать только, что женщинъ въ возрастѣ отъ 8 до 16-ти лѣтъ насчитывается 20,2%. По сравненіи съ мужчинами, которые даютъ 23,7%, этотъ процентъ является уменьшеннымъ, что, конечно, объясняется тѣмъ, что мужской полъ считается до 18 лѣтъ, а женскій—до 16. Въ рабочемъ возрастѣ, опредѣляемомъ для мужчинъ съ 18 до 60 лѣтъ, а для женщинъ съ 16 до 55, считается въ 45 детализованныхъ уѣздахъ 48,3% мужчинъ къ мужскому населенію и 50,2% женщинъ къ женскому. Но данныя этого рода имѣются для всей изслѣдованной земской Россіи, то-есть для 123 уѣздовъ; здѣсь рабочихъ мужескаго пола, можно сказать, столько же—48,4%, но женскія работницы даютъ разницу: именно во всемъ изслѣдованномъ районѣ онѣ относятся къ женскому населенію точно такъ же, какъ мужскіе работники относятся къ мужскому, то-есть 48,4%. Что касается стариковъ и старухъ, то про нихъ нельзя сказать этого: въ 43 уѣздахъ стариковъ насчитано 5,4%, а старухъ—7,2%.

Итакъ, рабочее населеніе меньше не-рабочаго. Но по отдѣльнымъ губерніямъ этого не наблюдается. Въ семи губерніяхъ, именно въ петербургской, пермской, смоленской, московской, нижегородской и саратовской, и на югѣ въ бессарабской мужскіе работники превышаютъ не-рабочее мужское населеніе; затѣмъ въ разанской губерніи ихъ равное почти количество и въ остальныхъ 14 губерніяхъ рабочихъ меньше, чѣмъ не-рабочихъ. Женское населеніе въ 9 губерніяхъ

имѣть работницъ больше, чѣмъ не-работницъ, и въ пяти губерніяхъ почти поровну. Вообще сѣверъ поставленъ лучше центральнаго чернозема и тѣмъ паче юга.

Замѣчательно, что явленіе это тѣсно связано съ географическимъ распредѣленіемъ населенія; вѣроятно, оно зависитъ отъ климата. Убѣждаемся мы въ этомъ изъ того, что разряды крестьянъ даютъ намъ во всѣхъ случаяхъ, за исключеніемъ одного, преобладаніе не-рабочихъ мужчинъ надъ рабочими. Всѣ 12 разрядовъ даютъ то же самое; но тринадцатый, какъ сказано, отступаетъ. Этотъ разрядъ составляютъ 35.596 семей бывшихъ горнозаводскихъ крестьянъ, громадное большинство коихъ расположено въ екатеринбургскомъ уѣздѣ пермской губерніи, стало быть на сѣверѣ. Если другіе разряды не дали такихъ исключеній, то только потому, что въ составъ прочихъ разрядовъ входятъ на ряду съ сѣверными и центральныя и южныя губерніи, а послѣднія и понижаютъ средніе выводы. Женщины, по-видимому, меньше подвержены климатическимъ условіямъ: въ двухъ, правда, немногочисленныхъ, разрядахъ мы наблюдаемъ почти равенство между рабочей и не-рабочей частью, но въ трехъ разрядахъ работницы преобладаютъ надъ не-работницами: именно, у тѣхъ же горнозаводскихъ крестьянъ и у бывшихъ Шереметевскихъ, живущихъ въ предѣлахъ тверской губерніи, стало быть все-таки на сѣверѣ. Но третій разрядъ, сюда относящійся, буквально мѣшаетъ установить для женской половины населенія зависимость указаннаго явленія отъ климата: казачки черниговской и полтавской губерній даютъ значительное преобладаніе работницъ надъ не-работницами.

Теперь посмотримъ, что даетъ обще-земскій сборникъ по вопросу о распредѣленіи крестьянскаго населенія по полямъ. Главнѣйшій выводъ, основанный на данныхъ о 123 уѣздахъ, будетъ таковъ: на тысячу мужчинъ приходится 1.011 женщинъ; на тысячу взрослыхъ мужчинъ (отъ 18 до 60 л.) приходится 1.013 взрослыхъ женщинъ (отъ 16 до 55 л.).

Эти среднія, какъ и всякія среднія, заключаются между амплитудами: именно, на тысячу мужчинъ по отдѣльнымъ губерніямъ приходится отъ 943 до 1.083 женщинъ—отклоненіе, какъ видимъ, значительное. Въ высшей степени послѣдовательно относительная численность женской половины населенія идетъ съ юга на сѣверъ. Южная окраина, Крымъ и материковая часть таврической губерніи, даетъ наименьшее отношеніе, именно 943 женщины на тысячу мужчинъ; въ Бессарабіи женщинъ уже больше—949, въ екатеринославской—966, въ орловской—уже 1.007, въ смоленской—1.042 и т. д. до 1.083 въ вятской. Чѣмъ сѣвернѣе, тѣмъ женщинъ больше. Въ восьми южныхъ губерніяхъ на тысячу мужчинъ приходится менѣе тысячи женщинъ:

это районъ съ преобладаніемъ мужчинъ. Можно весьма опредѣлительно провести его границу; она идетъ по южной границѣ черниговской губерніи, затѣмъ по сѣверной границѣ курской и воронежской и, пройдя по южной границѣ саратовской, впирается въ берегъ Волги, спускаясь по правому ея берегу на югъ до г. Царицына.

Слѣдующій центральный районъ отличается уравниженностью между полами съ незначительнымъ преобладаніемъ женщинъ, именно отъ 1.006 до 1.024. Сюда относятся шесть губерній, которыя протягиваются узкой непрерывной полосой съ запада на востокъ: черниговская, орловская, тамбовская, рязанская, саратовская и самарская. На сѣверъ отъ этихъ губерній идетъ третій районъ съ значительнымъ преобладаніемъ женскаго населенія—это царство женщинъ. Здѣсь въ слабѣйшей губерніи на тысячу мужчинъ приходится 1.088 женщинъ, а максимумъ, какъ уже сказано, достигаетъ 1.083. Въ сѣверномъ районѣ насчитывается 8 губерній и всѣ онѣ, за исключеніемъ части смоленской губерніи, расположены сѣвернѣе 55°.

Мы не можемъ пускаться въ объясненіе причинъ этого явленія: оно наблюдается и въ западной Европѣ, но до сихъ поръ никому не удалось объяснить истинный смыслъ его. Вопросъ этотъ останется, быть можетъ, еще надолго открытымъ. Для насъ важно только установить, что земская перепись подтвердила общезвѣстное явленіе.

Теперь скажемъ нѣсколько словъ о приростѣ крестьянскаго населенія со времени послѣдней ревизіи. Къ сожалѣнію, земская перепись даетъ весьма мало данныхъ по этому вопросу. Составителю общеземскаго сборника пришлось ограничиться внесеніемъ въ таблицы всего лишь одной графы, именно числа мужскихъ ревизскихъ душъ. Но и для этой графы по многимъ отдѣльнымъ уѣздамъ приходилось заимствовать не собственно ревизскія, а такъ-называемыя окладныя души. Процентъ прироста мужскаго населенія выводился за всѣ года по годъ переписи, такъ что для сравнимости этихъ процентовъ, въ виду разновременности производства переписи, нужно привести ихъ къ одному знаменателю, что возможно достигнуть вычисленіемъ средняго процента на одинъ годъ. Способъ этотъ, конечно, не отличается точностью, но за неимѣніемъ болѣе точнаго приходится имъ пользоваться. Такимъ образомъ, вводя нѣкоторыя произвольныя среднія, мы можемъ высчитать, что въ одинъ годъ крестьянское мужское населеніе возрастаетъ на $122/100\%$. Крайне малый приростъ наблюдается по московской губерніи, крайне большой—по таврической. Сравнительно очень значительный приростъ мы видимъ также въ губерніяхъ новгородской и самарской.

По 51 уѣзду тринадцати губерній имѣются болѣе детальныя свѣдѣнія о ревизскомъ населеніи: показано число дворовъ и число жен-

скихъ душъ. Свѣденія эти относятся къ 8.271.608 душамъ наличнаго населенія. Изъ нихъ мы узнаемъ, что со времени ревизіи по годъ переписей крестьянское населеніе возросло на 30,6%; нѣкоторая неточность этого показателя можетъ быть смѣло игнорирована. Но, раздѣливъ эти губерніи на сѣверныя и центральныя, мы получимъ для 23 сѣверныхъ уѣздовъ, съ наличнымъ населеніемъ въ 2,3 миліона, приростъ въ 19,8%, и для центральныхъ 28 уѣздовъ, съ населеніемъ около шести милліоновъ, приростъ въ 35,3%. Значитъ, въ центральныхъ черноземныхъ губерніяхъ, и безъ того весьма густо населенныхъ, приростъ почти вдвое сильнѣе, чѣмъ на сѣверѣ, несмотря на то, что сѣверъ, какъ мы видѣли, наиболѣе всѣхъ обезпеченъ производительницами рода человѣческаго. Жаль, что подобныхъ данныхъ нѣтъ ни для одной южной губерніи. По процентамъ прибыли мужского населенія, впрочемъ, можно заключить, что на югѣ приростъ населенія происходитъ еще сильнѣе.

По разрядамъ крестьянъ, наибольшій приростъ оказывается у колонистовъ (48%). Затѣмъ разрядъ многочисленныхъ государственныхъ крестьянъ даетъ 47,7%, причемъ въ полтавской губерніи до 48,5, а въ черниговской даже до 53,8%, въ московской же губерніи падаетъ до 9,6%. Бывшее крѣпостное населеніе приросло гораздо меньше: бывшіе удѣльные дали 34,7%, собственники на выкупѣ—33%, дарственники же—22,7%. Чѣмъ хуже обезпеченъ разрядъ надѣльной землей, тѣмъ меньше приростъ населенія¹⁾: размѣръ надѣленія прямо пропорціонально отражается на размѣрѣ прироста.

Возвращаясь къ детальнымъ даннымъ о ревизскомъ населеніи, мы усматриваемъ, что за то же время, какъ населеніе увеличилось всего на 30,6%, число крестьянскихъ дворовъ возросло на 81,1%. Этотъ несоотвѣтственно быстрый ростъ обыкновенно принято объяснять учащеніемъ семейныхъ раздѣловъ. Но не одна эта причина дѣйствовала въ данномъ случаѣ. Одно изъ обстоятельствъ сильно повліяло на искусственное повышение выведеннаго процента. Разгадка лежитъ въ способѣ регистраціи, принятой при производствѣ X ревизіи. По высочайше утвержденнымъ правиламъ о производствѣ ревизіи 1858 г., дворамъ, хотя въ натурѣ и раздѣлившимся, но не получившимъ на то формальнаго разрѣшенія отъ начальства, приказано было писаться однимъ номеромъ въ ревизскія сказки. Это нужно

¹⁾ У горнозаводскихъ по сводному сборнику на стр. 139 выставленъ весьма низкій процентъ прироста—41,7. Но жирный шрифтъ указываетъ на неполноту первоисточника. И дѣйствительно, этотъ процентъ выведенъ по даннымъ всего о 2330 рев. душахъ вятской губ. Въ пермской же свѣденій о ревизскихъ душахъ не имѣется.

было для многихъ соображеній правительства, а для крестьянъ это было очень выгодно при тогдашнихъ рекрутскихъ законахъ. Это обстоятельство сильно повліяло на число дворовъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ: въ дѣйствительности, въ ревизскія сказки вошло дворовъ гораздо менѣе, чѣмъ было въ натурѣ (или вѣрнѣе въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимался крестьянскій дворъ при производствѣ земской переписи). Если допустимъ, что при ревизіи истинное число дворовъ было преуменьшено всего на одну пятую часть, то и тогда при вычисленіи процента прироста мы вмѣсто 80% получимъ всего 50%, но, по отзываютъ крестьянъ, рѣдкій номеръ ревизской сказки не состоялъ изъ двухъ дѣйствительныхъ, давно уже раздѣлившихся дворовъ.

Далѣе говорятъ, что крѣпостные крестьяне при помѣщикахъ не смѣли дѣлиться самовольно и жили большими семьями; получивъ же волю, стали усиленно дѣлиться, никѣмъ не обуздываемые. И въ этомъ объясненіи много праздной фантазіи. Достаточно указать на то, что при господствѣ тягловой системы помѣщику былъ прямой расчетъ изъ каждой новобрачной пары создавать отдѣльный дворъ, отдѣльное тягло. Помѣщики не обуздывали, а наоборотъ, только приучали крестьянъ къ „дѣльбѣ“; не крестьянину, а помѣщику это было выгодно.

Что касается вопроса о семейныхъ раздѣлахъ, то въ общеземскомъ сборникѣ мы находимъ въ высшей степени рѣдкія и интересныя данныя о раздѣлахъ въ шести уѣздахъ воронежской губерніи. О всѣхъ 158.410 крестьянскихъ дворахъ сдѣлана отмѣтка при переписи, когда именно дворъ образовался. Данныя эти сгруппированы такъ: въ первую категорію вошли дворы, раздѣлившіеся за послѣднія пять лѣтъ; во вторую—тѣ, которые раздѣлились назадъ тому отъ 5 до 10 лѣтъ; въ третью—отъ 10 до 20, и въ четвертую—свыше 20 лѣтъ; ясно, что пять лѣтъ назадъ первой группы не было еще; вмѣсто нея были тѣ дворы, которые раздѣлились за этотъ срокъ. Допустимъ, что всѣ дѣлившіеся дворы раздѣлились только на двое (вѣдь бываетъ дѣльба и „по третьемъ“, и „по четверомъ“). Тогда мы получимъ $158.110 - (28800 : 2) = 144.260$. Столько и было дворовъ, если не меньше. Изъ нихъ половина 28.300 участвовала въ раздѣлахъ; выводя процентъ, получимъ 9,8%, то-есть въ годъ около двухъ дворовъ изъ ста приступаютъ къ раздѣлу. Идемъ далѣе тѣмъ же путемъ, то-есть изъ опредѣленнаго числа дворовъ, бывшихъ 5 лѣтъ назадъ, отнимаемъ раздѣлившихся отъ 5 до 10 лѣтъ назадъ и въ результатъ получимъ 10,3%. Для третьей категоріи получимъ 15,5%; но такъ какъ эта категорія охватываетъ не пятилѣтіе, а 10 лѣтъ, то надо уменьшить вдвое,—получимъ 7,8% или 1,6 въ годъ на сто дворовъ. Наконецъ, дойдемъ

къ послѣдней категоріи, и если изъ опредѣленнаго по третьей категоріи числа дворовъ отнимемъ половину дворовъ четвертой категоріи, то получимъ число, которое будетъ на цѣлую четверть меньше числа дворовъ, опредѣленнаго при ревизіи. Такой абсурдъ получается, конечно, потому, что въ четвертой категоріи несомнѣнно есть дворы, которые дѣлились еще до ревизіи; есть даже такіе дворы, которые и не помнятъ, когда дѣлились не только ихъ отцы, но и дѣды. Кромѣ того, полученный абсурдъ объясняется и тѣмъ, что мы не приняли во вниманіе раздѣлы „по третьемъ“ и больше. Введя эту поправку, мы должны будемъ получить проценты раздѣлявшихся еще меньшими. Но вѣдь и тѣ проценты, явно преувеличенные, оказываются крайне незначительными. Можно ли въ самомъ дѣлѣ обвинять крестьянъ въ склонности къ безпричинной дѣльбѣ, на основаніи вышеприведенныхъ данныхъ? Очевидно, нѣтъ. А между тѣмъ мы это дѣлаемъ постоянно и только потому, что за мѣрку интенсивности крестьянскихъ раздѣловъ принимаемъ число дворовъ ревизскихъ сказокъ, по сравненію съ наличными дворами. Ясное дѣло, поражала своею громадностью цифра 80%, и потому издавались циркуляры, которые регулировали крестьянскіе семейные раздѣлы, т.-е. вмѣшивались въ семейную жизнь крестьянства, на что не имѣли никакого права и даже нравственнаго основанія: ибо примѣненіе полицейскихъ мѣръ къ семьѣ влечетъ за собой только ея распадѣніе. А между тѣмъ гдѣ было дѣйствительное зло—мы того зла не замѣтили. Я говорю здѣсь о тѣхъ семейныхъ раздѣлахъ, которые возникли по выдачѣ владѣнныхъ записей. Дѣло въ томъ, что однодворцы, по исконно-родовымъ обычаямъ, своихъ племянницъ, не имѣвшихъ братьевъ и стало быть наслѣдницъ къ землѣ своихъ отцовъ, обыкновенно выдавали замужъ въ другія деревни, давали имъ въ приданое худобу, скотъ и деньги, а землю оставляли за собою, какъ дошедшую къ брату отъ общаго отца. Этого порядка очень строго держались еще при гр. Киселевѣ, да и послѣ, причемъ и окружные начальники, и крестьяне формулировали это право такъ: „земля не можетъ идти замужъ въ чужую деревню, а дѣвка вольна хоть въ городъ“. Но когда выдали владѣнные записи, волостные юристы начали удовлетворять иски такихъ наслѣдницъ. Возникла масса дѣлъ, — отвѣтчику не было возможности сослаться даже на давность, ибо волостной судъ ея не принимаетъ, а руководствуется въ дѣлахъ наслѣдованія обычаями. „Разорили насъ наслѣдницы!“—вопіали однодворцы,—но защиты ни откуда не было. Курскій губернский непремѣнный членъ крестьянскаго присутствія, г. Янковичъ, входилъ неоднократно съ представленіями въ губернское присутствіе о томъ, что четвертины земли суть земли казенно-общественныя, что по дѣламъ наслѣдницъ нужна санкція схода и т. д.

Но все это разбивалось о большинство крестьянскаго присутствія, которое трактовало однодворцевъ какъ полныхъ собственниковъ. И дѣло кончилось тѣмъ, что всѣ мнимыя и дѣйствительныя наслѣдники разорили тѣхъ, кому лѣтъ 30—40 назадъ досталась ихъ земля въ силу дѣйствовавшихъ тогда узаконеній. Разыскивать наслѣдницъ было такъ же выгодно, какъ разыскивать рекрутскія евитанціи; но послѣднія не могли непосредственно разорать крестьянъ, первыя же вызывали принудительные семейные раздѣлы, противъ которыхъ издавались самыя рѣшительныя циркуляры: убивали послѣдствія, не желая устранить ни одной причины, даже такой вопіюще разорительной, какъ искъ „наслѣдницъ“. Вотъ къ чему можетъ привести поверхностное знакомство съ характеромъ статистическихъ данныхъ.

Теперь посмотримъ, какъ распредѣляется крестьянское населеніе земской Россіи по разрядамъ. Разрядъ опредѣляется юридическими отношеніями крестьянъ къ ихъ надѣльной землѣ; а такъ какъ отношенія эти слагались исторически, то разрядомъ до нѣкоторой степени уясняется исторія каждой отдѣльной группы крестьянъ. Въ сводномъ статистическомъ сборникѣ принято 13 такихъ разрядовъ, но нѣкоторые изъ нихъ, собственно говоря, и не составляютъ разряда въ обычномъ смыслѣ этого слова; такъ, напр., арендаторы казенныхъ земель, безнадѣльные и проч. Введены же они въ поразрядныя таблицы на томъ основаніи, что въ первоисточникахъ, то-есть мѣстныхъ поученныхъ сборникахъ, было уже сдѣлано такое выдѣленіе, а игнорировать его означало не получить тождества итоговъ поразрядной съ общими погубернскими свѣденіями.

Поразрядная сводная таблица охватываетъ не весь районъ, изслѣдованный земскими статистиками; въ нее входитъ лишь 20 губерній, состоящихъ изъ 107 уѣздовъ, съ населеніемъ въ 15.354.870 душъ обоого пола.

Разсматривая этотъ все-таки обильный матеріалъ, мы прежде всего наблюдаемъ неравномѣрность распредѣленія разрядовъ по изслѣдованной мѣстности. Главнѣйшіе, такъ сказать основные разряды, именно разрядъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ и разрядъ собственниковъ на выкупѣ изъ бывшихъ помѣщичьихъ, встрѣчаются буквально повсемѣстно, то-есть во всѣхъ 107 уѣздахъ, хотя, конечно, не въ равной мѣрѣ. Затѣмъ въ 76 уѣздахъ встрѣчаются полные собственники, образовавшіеся, какъ извѣстно, изъ бывшихъ вольныхъ хлѣбопашцевъ, изъ крестьянъ, выкупившихъ свои надѣлы, и наконецъ изъ крестьянъ, купившихъ себѣ землю у частныхъ лицъ. Хотя этотъ разрядъ и встрѣчается въ трехъ четвертяхъ всѣхъ изслѣдованныхъ уѣздовъ, но тѣмъ не менѣе распространенъ онъ отрывочно, мелкими общинами, и поэтому мало имѣетъ вліянія на складъ уѣздной жизни. О немногочисленности его въ другихъ разрядахъ нечего и говорить.

численности этого разряда можно судить между прочимъ изъ того, что въ среднемъ на уѣздъ ихъ приходится не болѣе 3.362 душъ обоого пола, тогда какъ бывшихъ помѣщичьихъ приходится 45.731 душа, а государственныхъ 66.172 д., и даже дарственниковъ въ среднемъ на уѣздъ насчитывается до 8.270 душъ. Дарственники встрѣчаются въ 64 уѣздахъ, т.-е. въ трехъ пятыхъ изслѣдованнаго района. Эти четыре разряда можно считать господствующими, тогда какъ остальные семь (вѣрнѣе—пять) можно назвать специальными по ихъ сравнительной изолированности и скученности лишь въ извѣстной мѣстности.

Такъ, напр., башкиры встрѣчаются лишь въ шести уѣздахъ трехъ губерній, казаки въ 15 уѣздахъ также трехъ губерній, колонисты въ 16 уѣздахъ шести губерній, горнозаводскіе на сѣверо-востокъ въ 3 уѣздахъ двухъ губерній, и бывшіе военные поселяне на юго-западъ двухъ уѣздовъ одной губерніи. Шире другихъ распространенъ разрядъ бывшихъ удѣльныхъ крестьянъ, именно въ 35 уѣздахъ 9 губерній, но и онъ сосредоточенъ преимущественно на сѣверѣ и въ двухъ восточныхъ уѣздахъ самарской и саратовской губерній, а изъ центральныхъ черноземныхъ встрѣчается лишь въ западномъ уѣздѣ орловской губерніи.

Въ мѣстахъ ихъ распространенія всѣ эти разряды нельзя считать господствующимъ населеніемъ; такъ, напр., удѣльныхъ на уѣздъ приходится всего 17.902 души, колонистовъ—28.890 душъ, башкировъ—11.595 душъ. Только казаки, но и то за исключеніемъ екатеринославской губерніи, значить въ предѣлахъ украинской Малороссіи, получаютъ небольшое преобладаніе надъ бывшими помѣщичьими крестьянами: послѣднихъ насчитывается тамъ 48.458 д. на уѣздъ, а казаковъ—57.771 д.

Покончивъ съ поуѣзднымъ распредѣленіемъ разрядовъ, мы остановимся на общей численности ихъ, и для упрощенія выкладокъ будемъ вести счетъ не по дворамъ, а по количеству душъ обоого пола. Всѣхъ ихъ, какъ указано выше, 15,3 милліона. Изъ этого числа государственныхъ крестьянъ, считая съ военными поселянами, которыхъ немного и которые ближе всего подходятъ къ разряду государственныхъ, насчитывается 47,2%. Абсолютныя числа мы опускаемъ, дабы не утомлять читателя. Это—господствующій разрядъ. Затѣмъ второе мѣсто по относительной численности занимаютъ собственники изъ помѣщичьихъ: ихъ 31,8%. Затѣмъ, считая удѣльныхъ съ Шереметевскими, въ чемъ не будетъ большой натяжки, получимъ всего 4,2%, казаковъ 5,3%, колонистовъ 3,0%, дарственниковъ 3,4%, и наконецъ полныхъ собственниковъ 1,6%. На остальные разряды, внесенные для правильности счета, приходится всего 3,5%. Такъ какъ колонисты и

казаки никогда крѣпостными не были, то, сосчитывая ихъ съ бывшими государственными крестьянами, мы найдемъ 55,5%, изъ чего можемъ вывести, что земская Россія населена въ среднемъ преимущественно искони вольнымъ населеніемъ, а не бывшими крѣпостными.

Если мы всю изслѣдованную Россію раздѣлимъ на три части, именно сѣверную часть съ московской и нижегородской губ., центральный черноземъ съ украинскими губерніями, и югъ, состоящій изъ четырехъ губерній, то съ тѣмъ вмѣстѣ населеніе раздѣлится на далеко не равномерныя части, такъ что на сѣверѣ будетъ считаться 3,3 милліона душъ, въ центрѣ—10 милліоновъ и на югѣ—1,7 милліона. Такого неравномѣрнаго дѣленія мы принуждены держаться, дабы прослѣдить связь между климатомъ и разрядами крестьянъ. Выведа нужные проценты, мы найдемъ, что государственныхъ крестьянъ абсолютно больше всего въ центрально-черноземной Россіи, затѣмъ на сѣверѣ и потомъ на югѣ. Но по отношенію къ другимъ разрядамъ, каждый районъ населяющихъ, государственныхъ крестьянъ больше всего на югѣ, именно 56,1%, затѣмъ въ центрѣ—48,6%, и меньше всего на сѣверѣ—44,5%. Какъ разъ обратное наблюдается на разрядѣ собственниковъ изъ помѣщичьихъ: на югѣ ихъ меньше всего—27%, немного больше въ центрѣ—29,7% и гораздо больше на сѣверѣ—43,7%. Даже присоединяя къ нимъ дарственниковъ, коихъ почти нѣтъ на сѣверѣ (0,5%), мы получимъ для юга 30,2% и для центра 34,2%. Удѣльныхъ также больше на сѣверѣ (5,3), чѣмъ въ центрѣ (4,6), на югѣ же вовсе нѣтъ. Колонисты распределяются въ обратномъ направленіи: на сѣверѣ есть только слѣды ихъ (въ петербургской губ.), въ центрѣ—3,0, и то только въ двухъ восточныхъ губерніяхъ, и на югѣ ихъ очень много—8,7%.

Такимъ образомъ суровый климатъ сѣвера не привлекалъ къ себѣ вольное населеніе, тянувшее къ югу; сѣверъ заселялся принудительнымъ порядкомъ, путемъ водворенія подневольныхъ крѣпостныхъ крестьянъ, и это отражается до сихъ поръ; присоединяя на сѣверѣ къ бывшимъ помѣщичьимъ крестьянамъ удѣльныхъ и горнозаводскихъ, мы получаемъ для нихъ 55,1%; стало быть, на сѣверѣ преобладаетъ крѣпостное населеніе, тогда какъ на югѣ оно составляетъ только $\frac{1}{10}$ всего населенія.

Въ заключеніе намъ слѣдуетъ сдѣлать одно весьма интересное исчисленіе. Спрашивается: сколько осталось теперь крестьянъ, которые помнятъ крѣпостное право, помнятъ не по однимъ рассказамъ, а на дѣлѣ? Съ помощью данныхъ общеземскаго сборника такое вычисленіе возможно съ большимъ приближеніемъ къ дѣйствительности.

Мы видѣли выше, что по даннымъ о 5,7 милліонахъ крестьянъ

скаго населенія насчитывалось 46% мужчинъ и 42,4% женщинъ въ молодомъ не-рабочемъ возрастѣ. Такъ какъ перепись производилась близко около двадцати-пятилѣтія освобожденія крестьянъ, то понятно, что вся эта молодежь родилась свободною. Мало того, семь лѣтъ для мужчинъ и девять для женщинъ заполнены въ рабочемъ возрастѣ также рожденными послѣ 19-го февраля 1861 года; да надо еще допустить, что всѣ, кому было пять лѣтъ отъ роду при освобожденіи, вовсе не помнятъ ничего о крѣпостномъ правѣ. Такимъ образомъ изъ рабочаго населенія надо исключить по крайней мѣрѣ 12 лѣтъ. Допустимъ, что рабочій составъ населенія по годамъ своего рожденія равно великъ, тогда найдемъ, что изъ 48,3% рабочихъ мужчинъ на младшія 12 лѣтъ приходится по разсчету все-таки не менѣе 13,2%, а у женщинъ—даже 15,6%. Проценты эти уменьшены, ибо двадцати-лѣтнихъ, конечно, больше, чѣмъ старыхъ въ 50—55 лѣтъ. Но какъ бы ни было, мы получимъ процентъ непомнящихъ крѣпостнаго права равнымъ для мужчинъ 59,2% и для женщинъ 57,6%, въ среднемъ—58%.

Теперь съ помощью этого процента займемся дальнѣйшимъ вычисленіемъ. Для этого раскрываемъ сводную поразрядную общеземскаго сборника и сосчитываемъ общее количество крестьянъ всѣхъ видовъ, когда-либо бывшихъ въ крѣпостной зависимости, а за-одно съ ними и безземельныхъ, внесенныхъ для счета. Всего насчитывается крѣпостныхъ 6.374.930 душъ обоего пола; 58% отъ этого числа составлять не больше 3.697.459 душъ.

Къ общему крестьянскому населенію эта цифра даетъ только 24%, то-есть меньше четверти населенія помнило во время переписи о своемъ положеніи въ молодости, когда его можно было продать, переселить, заставить раздѣлиться, отдать въ рекруты, сослать въ Сибирь, женить и выдать замужъ противъ воли. Нѣтъ сомнѣнія, что вышеприведенный процентъ успѣлъ теперь уменьшиться, такъ что къ началу новаго вѣка процентъ крѣпостныхъ, работавшихъ подъ условіями крѣпостнаго права, будетъ уже весьма незначителенъ...

Н. Влаговащенкоіѣ.



ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО „ГРАЖДАНИНУ“.

(Письмо въ Редакцію.)

Не такъ давно газета „Гражданинъ“, въ „Дневникѣ“ № 184, заявила, что, будто бы, „весьма любопытенъ порядокъ вещей въ нашемъ петербургскомъ городскомъ самоуправленіи“, и что въ этомъ отношеніи между Петербургомъ и Москвою усматривается газетою „существенное различіе“, несмотря на то, что и тутъ, и тамъ, порядокъ основанъ на одномъ и томъ же Городовомъ Положеніи, сначала 1870 года, а нынѣ 1892 г.; въ результатъ же того произошло, по словамъ „Гражданина“, то, что „въ Москвѣ городской голова есть хозяинъ (?) города, руководящій (?) всѣмъ ходомъ городского управленія и несущій за то отвѣтственность“; а „въ Петербургѣ оказывается, что, по его муниципальной конституціи (Городовое Положеніе 1892 г. ?), городской голова есть весьма ограниченной власти конституціонный монархъ (!), съ состоящими при немъ министрами, но *безотвѣтственными* ¹⁾... Это въ высшей степени курьезная путаница“... По прочтеніи „Дневника“, всякій долженъ придти къ убѣжденію, что путаница дѣйствительно существуетъ, но исключительно въ головѣ автора, какъ того, впрочемъ, и слѣдовало ожидать, ибо „порядки“, и московскіе, и петербургскіе, утверждаютъ не „Гражданиномъ“, а компетентною властью, которая, — выходитъ по словамъ газеты, — санкціонировала ту „путаницу“ въ Петербургѣ. О путаницѣ же въ головѣ автора „Дневника“ не стоило бы и говорить, какъ о явленіи довольно обыкновенномъ, еслибы на этотъ разъ статья не изобиловала такими искаженіями и грубыми ошибками, въ которыхъ, помимо обычнаго этой газетѣ незнанія, ясно проглядываетъ напѣренность и какая-то особая цѣль. Въ чемъ же, по мнѣнію „Гражданина“, состоитъ московскій городской порядокъ и петербургскій?

„Въ *Москвѣ*, — объясняетъ авторъ „Дневника“ своему неопытному читателю, — есть городской голова, есть городская управа и есть городская дума: въ этомъ заключается сущность (?) самоуправления. Городской голова ведетъ управу, онъ же предсѣдательствуетъ въ думѣ.

¹⁾ Курсивъ автора.

„Въ *Петербургѣ*, оказывается, главная сила заключается не въ думѣ, и не въ управѣ, и не въ городскомъ головѣ, а въ специальныхъ думскихъ комиссіяхъ: члены этихъ комиссій и председатели ихъ—гласные думы, и вотъ эти-то председатели и суть министры, ультраконституціонные, городского головы. Такимъ образомъ, есть министр финансовъ—председатель финансовой комиссіи; есть два (!) министра внутреннихъ дѣлъ—председатель больничной комиссіи и председатель санитарной комиссіи; есть министр народнаго просвѣщенія—председатель комиссіи по училищамъ и т. д.“ Съ другими комиссіями авторъ „Дневника“, повидимому, не могъ справиться и подыскивать соответственныхъ имъ министерствъ: пришлось бы, пожалуй, председателя водопроводной комиссіи назвать морскимъ министромъ (*d'eau douce*); а есть еще комиссіи—сиротская, оцѣночная, ревизіонная, освѣтительная и т. д.

Къ чему же всѣ эти комиссіи?—тревожно спрашиваетъ „Гражданинъ“; по его мнѣнію, это—„куштыки“, и вотъ въ чемъ онъ заключается.

„Городская управа,—говорится въ „Дневникѣ“,—по новому Положенію, какъ извѣстно, считается правительственнымъ (общественнымъ?) учрежденіемъ, члены ея состоятъ на государственной службѣ... Значить, по этой самой причинѣ нужно къ нимъ относиться съ особеннымъ пренебреженіемъ: зачѣмъ имъ давать широкую дѣятельность... И вотъ *явились* комиссіи въ видѣ демонстративныхъ контръ-учрежденій (предвидѣнныхъ, однако, и узаконенныхъ статьями 103 и 104 новаго Городоваго Положенія!!!?), въ пику правительственнымъ, гдѣ всѣ члены гласные и гдѣ председатель—избираемое лицо. Вотъ эта-то комиссія съ ея председателемъ дѣлаетъ, что хочетъ, но никого знать не хочетъ,—ни городского головы, ни управы, ни правительства (!?); даже болѣе того,—когда явилась мысль, для упорядоченія дѣла, председателя одной комиссіи сдѣлать и членомъ управы, онъ прямо объявилъ, что если это будетъ, онъ или броситъ свое званіе гласнаго, или подастъ жалобу въ думу, а потомъ въ сенатъ на *оскорбительное насиліе* ¹⁾ надъ его личностью“...

Во всей этой тирадѣ, какъ и во всей статьѣ „Дневника“, нѣтъ ни одного слова, сколько-нибудь похожаго на правду: столько же лжи, сколько словъ. Даже читатели „Гражданина“, и тѣ могли бы ему укоризненно напомнить, что не прошло и года съ того времени, какъ эта же газета утверждала, что въ Петербургѣ не имѣетъ никакого значенія ни дума, ни управа, ни городской голова, а все зависитъ отъ какихъ-то „санъ-галліотовъ“; о комиссіяхъ „Гражданинъ“, годъ

¹⁾ Курсивъ автора.

тому назадъ, и не упоминалъ. Правда, газета утверждаетъ, что онѣ „явились“ теперь въ видѣ демонстраціи; но это—неправда: комиссіи существовали и существуютъ съ самаго основанія нынѣшней думы, съ 1873 года. Не менѣе ложно утвержденіе „Гражданина“, что въ Москвѣ существуетъ только дума, управа и городской голова; въ Москвѣ точно также, какъ въ Петербургѣ, существуютъ многочисленныя комиссіи съ особыми предсѣдателями (въ справедливости этого легко убѣдиться, взявъ въ руки московскій Адресъ-Календарь); на примѣръ, училищнымъ хозяйствомъ завѣдуетъ въ Москвѣ членъ городской управы, но училищное дѣло вѣдаетъ специальная комиссія изъ 20 гласныхъ, подъ предсѣдательствомъ особо избраннаго лица думою, но не члена управы. Точно также ложно утвержденіе „Гражданина“, будто бы члены комиссіи и предсѣдатели ихъ въ Петербургѣ—гласные думы; такъ было прежде, но не теперь: въ училищной комиссіи, на примѣръ, изъ 30 членовъ (прежде было 26—и всѣ изъ гласныхъ) менѣе 20 состоятъ гласными думы, а остальные всѣ изъ городскихъ избирателей—не-гласныхъ, а слѣдовательно, не заседающихъ въ думѣ, и потому не имѣющихъ тамъ голоса. Да и вообще ни одна изъ комиссій не можетъ, какъ то утверждается въ „Гражданинѣ“, вносить дѣло въ думу; дѣло, рѣшенное въ комиссіи, должно идти не въ думу, а въ управу, и уже управа вносить дѣло въ думу съ своимъ заключеніемъ; кто же кому тутъ подчиненъ: управа ли комиссіямъ, или комиссіи управѣ?—Впрочемъ, самъ законъ ставить рѣшеніе этого вопроса внѣ всякаго сомнѣнія. Легенду о „мысли“ сдѣлать предсѣдателя одной комиссіи членомъ управы, и о томъ, будто бы такой предсѣдатель намѣревался „бросить“ званіе гласнаго и жаловаться въ сенатъ,—слѣдуетъ оставить на отвѣтственности автора „Дневника“, такъ какъ въ Городовомъ Положеніи вообще ничего не говорится о такомъ превращеніи предсѣдателя въ члена управы. Вопросъ: къ чему понадобилась „Гражданину“ цѣлая такая вереница лжи и всяческихъ искаженій?—оставляемъ открытымъ; нельзя, однако, оставить эту ложь безъ возраженій и надлежащихъ поправокъ.

Р.



ЗАМѢТКА.

По поводу засѣданія московскаго губернскаго земскаго собранія
10 іюня.

Засѣданіе чрезвычайнаго московскаго губернскаго земскаго собранія 10-го іюня останется навсегда въ высшей степени важнымъ въ исторіи нашего народнаго просвѣщенія. Газеты сообщали о немъ подробно.

При московской губернской управѣ существуетъ особая коммиссія, разрабатывающая вопросъ о болѣе точной и систематической постановкѣ народнаго образованія въ губерніи. Управа, въ виду циркуляра г. обер-прокурора святѣйшаго синода отъ 12-го сентября 1892 г. объ участіи земствъ (и пр.) въ содержаніи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты, учреждаемыхъ по закону 4-го мая 1891 г., рѣшила прежде всего обсудить и предложить на разсмотрѣніе земскаго собранія докладъ Ѳ. Д. Самарина „объ установленіи возможной связи между земскою начальною школою и церковно-приходскою и о содѣйствіи со стороны земства устройству школы грамоты“. Предварительное обсужденіе доклада управой совмѣстно съ коммиссіей происходило 7-го іюня, а въ земскомъ собраніи докладъ разсматривался 10-го числа. 7-го іюня были приглашены къ участію въ занятіяхъ представители разныхъ вѣдомствъ, заинтересованныхъ въ вопросѣ, въ томъ числѣ и Кирилло-Мееодіевскаго Братства, совѣтъ коего является въ то же время и московскимъ епархіальнымъ училищнымъ совѣтомъ. Но совѣтъ Братства отвѣтилъ, что, „ознакомившись съ докладомъ г. Самарина, онъ не призналъ удобнымъ принимать участіе въ засѣданіяхъ организуемаго при губернской управѣ совѣщанія по вопросамъ о народномъ образованіи съ одной стороны—въ виду явно отрицательнаго отношенія къ церковно-приходскимъ школамъ, выражаемаго въ докладѣ, а съ другой стороны и главнымъ образомъ потому, что не считаетъ себя въ правѣ разрѣшать и обсуждать то, что уже разрѣшено высшею духовною властью и выражено въ правилахъ о церковно-приходскихъ школахъ и школахъ грамоты, Высочайше утвержденныхъ“. Въ земскомъ собраніи губернской предводитель дворянства, какъ предсѣдатель совѣщанія 7-го іюня, заявилъ, съ просьбой занести его слова въ журналъ, отъ своего имени и отъ имени всѣхъ уѣздныхъ предводителей дворянства, что отрицатель-

наго отношенія къ церковно-приходскимъ школамъ въ докладѣ они не усматриваютъ, и что не сочли бы для себя возможнымъ участвовать въ совѣщаніи 7-го іюня, еслибы такое отношеніе въ немъ дѣйствительно проявлялось. Къ этому заявленію присоединились представители вѣдомства народнаго просвѣщенія и московскаго городского управленія. Затѣмъ, послѣ нѣкоторыхъ преній, выводы доклада были приняты большинствомъ противъ двухъ голосовъ въ слѣдующей редакціи:

„1) Церковно-приходская школа, по своей основной задачѣ, по духу и направленію преподаванія, не отличается существеннымъ образомъ отъ земской школы. 2) Съ приходомъ, въ смыслѣ церковно-общественнаго союза, нынѣшняя церковно-приходская школа имѣетъ не болѣе органической связи, чѣмъ нынѣшняя земская. 3) Въ отношеніи административномъ церковно-приходская школа кореннымъ образомъ отличается отъ земской. Последняя находится въ завѣдываніи общественныхъ учреждений, которыя распоряжаются въ школьномъ дѣлѣ, хотя и подъ контролемъ и руководствомъ правительственной власти, но до извѣстной степени самостоятельно: школы же церковно-приходскія, какъ въ учебномъ, такъ и въ хозяйственномъ отношеніяхъ, находятся въ полномъ и исключительномъ распоряженіи духовнаго вѣдомства, и отъ завѣдыванія ими совершенно устранены тѣ общественныя учреждения, которыя оказываютъ имъ пособіе. 4) Поэтому нынѣшнія церковно-приходскія школы не могутъ считаться ни церковными, ни приходскими въ точномъ значеніи этихъ словъ; это — школы духовнаго вѣдомства. 5) Московское земство не только въ силу закона, но и по собственному побужденію всегда стремилось въ доступной ему мѣрѣ къ осуществленію идеала школы — церковной по духу и органически связанной съ приходскою общиною. 6) При тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ находится наше духовенство и наша приходская община, нельзя ожидать, чтобы начальная школа въ рукахъ духовнаго вѣдомства скорѣе, чѣмъ въ рукахъ земства, приблизилась къ указанному выше идеалу; напротивъ, можно опасаться, что переданная духовному вѣдомству — она утратитъ свою связь съ обществомъ и тѣмъ самымъ получитъ односторонній, церковно-бюрократическій отпечатокъ. 7) Соображенія практическаго свойства также не могутъ побудить земство оказывать пособіе церковно-приходскимъ школамъ, ибо: а) содержаніе этихъ школъ, если только будутъ удовлетворены тѣ насущныя нужды ихъ, на которыя указываетъ само духовное вѣдомство, должно обходиться не дешевле, чѣмъ содержаніе земскихъ школъ; б) опытъ показалъ, что нельзя разсчитывать на мѣстныя средства, какъ на главный источникъ содержанія церковно-приходскихъ школъ, и потому земство не могло бы ограничиться небольшимъ по-

собіемъ въ придачу къ мѣстнымъ средствамъ, а должно бы было нести, подобно духовному вѣдомству, главную тяжесть расхода по содержанію школъ; в) при такихъ условіяхъ, передача части земскихъ средствъ въ распоряженіе духовнаго вѣдомства не можетъ повести къ увеличенію общаго числа начальныхъ училищъ. 8) Циркуляръ г. оберъ-прокурора св. синода, предлагая земству оказать пособіе школамъ грамоты, имѣетъ въ виду вовсе не обычныя крестьянскія домашнія школки; рѣчь идетъ въ настоящемъ случаѣ о новомъ типѣ начальныхъ школъ, между которыми и обычными церковно-приходскими школами, въ сущности, невозможно провести рѣзкую границу. 9) Единственное существенное отличіе школъ грамоты новаго типа отъ церковно-приходскихъ заключается въ томъ, что онѣ должны, какъ предполагаютъ, стоить дешевле, чѣмъ церковно-приходскія, а потому онѣ будутъ во всѣхъ отношеніяхъ хуже обставлены и будутъ давать худшіе результаты въ учебномъ отношеніи. 10) Въ виду этого къ означеннымъ школамъ грамоты примѣняются, и даже еще въ болѣе мѣрѣ, соображенія, приведенныя въ докладѣ комиссіи въ доказательство того, что земству нѣтъ надобности и что оно не можетъ расходовать свои средства на учрежденіе и поддержаніе церковно-приходскихъ школъ. Независимо отъ того представляется крайне сомнительнымъ, чтобы школы грамоты новаго типа могли принести дѣйствительную пользу дѣлу народнаго образованія. Существеннымъ препятствіемъ являются въ этомъ случаѣ два обстоятельства: а) преподаватели, не подготовленные или плохо подготовленные, не могутъ вести начальную школу самостоятельно; б) установить дѣйствительный надзоръ за школами грамоты при тѣхъ условіяхъ, въ которыя эти школы поставлены дѣйствующими законами, почти невозможно. 11) По всѣмъ этимъ соображеніямъ земство не можетъ расходовать свои средства на учрежденіе и поддержаніе школъ грамоты; оно должно изыскать другіе пути для того, чтобы по возможности скорѣе и въ возможно болѣе мѣрѣ удовлетворить народную потребность въ начальномъ образованіи.

Я не имѣю передъ собою текста доклада; но какъ выводы его, такъ и выше приведенное заявленіе лицъ, участвовавшихъ въ совѣщаніи 7-го іюня, убѣждаютъ, что „отрицательнаго отношенія къ церковно-приходскимъ школамъ“ онъ дѣйствительно не содержалъ. Докладъ отрицательно отвѣтилъ на вопросъ г. оберъ-прокурора. Но вѣдь вопросъ этотъ не былъ же такимъ, на который можно было дать лишь одинъ отвѣтъ; само собою разумѣется, что онъ допускалъ самыя разнообразныя рѣшенія. Притомъ въ этой части докладъ касался преимущественно школъ грамоты. Относительно же церковно-приходскихъ школъ онъ лишь высказалъ ту мысль, что эти школы

нѣтъ не отличаются по внутреннему своему содержанію отъ школъ земскихъ. Такимъ образомъ, его отношеніе къ церковно-приходскимъ школамъ можно было бы считать отрицательнымъ лишь въ томъ случаѣ, еслибы школы земскія были такой величины, приравненіе къ коей составляло бы порицаніе. Можно было бы, пожалуй, подумать, что въ этомъ отвѣтѣ Братства скорѣе сказывается его собственное „отрицательное отношеніе“ къ школамъ земскимъ. Но я не допускаю этого предположенія. Прошло то время, когда признавалось возможнымъ утверждать церковно-приходскую школу лишь на развалинахъ земской, когда нападки на земскую школу считались едва ли не первой, еще до открытія собственной, обязанностью дѣятелей школы церковно-приходской. Это время прошло, и я не могу допустить, чтобы его настроеніе вновь возродилось въ отвѣтѣ Кирилло-Мееодіевскаго Братства. Этому противорѣчитъ вся благожелательная дѣятельность Братства, какъ внѣшняя, такъ и внутренняя. Смѣю говорить о послѣдней съ увѣренностью, какъ о хорошо мнѣ извѣстной, ибо я имѣлъ высокую честь состоять членомъ этого досточтимаго собранія.

Ссылка на законъ о церковно-приходскихъ школахъ, какъ на .исключающій возможность всякаго обсужденія объ ихъ положеніи, такъ же мало убѣдительна, ибо на это обсужденіе управа была вызвана самимъ г. оберъ-прокуроромъ. Еслибы взглядъ Братства былъ вѣренъ, то прежде Братства и управы въ противорѣчій съ закономъ оказался бы самъ представитель духовнаго вѣдомства.

Нельзя не предположить поэтому, что отвѣтъ Братства должно понимать не въ прямомъ его смыслѣ: это было бы, къ тому же, почти неисполнимо. Но тѣмъ не менѣе нельзя не признать его, внутренне, весьма содержательнымъ.

Братство, думается мнѣ, просто-на-просто хотѣло уклониться отъ участія въ совѣщаніи и, не желая высказать явной причины, отвѣтило формулой не особенно удачной, но о точности которой оно, быть можетъ, и не заботилось, такъ какъ не въ ней была сила. Но почему же оно могло хотѣть отказать отъ приглашенія управы?

Ища отвѣта на этотъ вопросъ, мы, конечно, вступаемъ въ область догадокъ; однако онѣ, кажется, имѣютъ достаточную долю вѣроподобія.

Пунктами 1—5 своихъ выводовъ, несомнѣнно исполнѣ обоснованныхъ, ибо они были приняты земскимъ собраніемъ, докладъ высказываетъ, что вся разница между школами церковно-приходской и земской, тождественными по существу, заключается лишь въ порядкѣ управленія ими. Логическимъ выводомъ отсюда является то положеніе, что земство, неся значительные расходы на свои школы, не имѣетъ основанія употреблять средства на содержаніе подобныхъ же школъ,

ему не подчиненныхъ, а управляемыхъ другимъ учрежденіемъ. Между тѣмъ Братство сильно нуждается въ средствахъ. Но такъ какъ, для полученія ихъ отъ земства, ему стоило бы только доказать отличіе своей школы отъ земской, а оно не воспользовалось исключительно удобнымъ къ тому случаемъ, то ясно, что оно само не считало возможнымъ этого сдѣлать. Само собою разумѣется, что при этомъ условіи ему неловко было участвовать въ совѣщаніи 7-го іюня: ему пришлось бы до нѣкоторой степени отказаться отъ своей, такъ сказать особой личности и согласиться съ тѣмъ, что его дѣятельность, въ смыслѣ созданія новаго типа русской школы, ни къ чему не привела, такъ какъ этотъ типъ и безъ него существовалъ; оно вынуждено было бы согласиться, что ему принадлежала лишь честь—заимствованія. И вотъ оно предпочло, подъ тѣмъ или другимъ предлогомъ отказавшись отъ совѣщанія, такимъ молчаливымъ согласіемъ признать правильность того, что оно не считало удобнымъ признать открыто. Такъ оно и поступило,—и въ этомъ его великая заслуга. Значеніе этого факта увеличивается еще тѣмъ, что земское собраніе приняло пунктъ 5 выводовъ доклада, который гласитъ: „московское земство, не только въ силу закона, но и по собственному побужденію, всегда стремилось, въ доступной ему мѣрѣ, къ осуществленію идеала школы—церковной по духу и органически связанной съ приходской общиной“. Братство же, тѣмъ же молчаливымъ согласіемъ, признало и этотъ пунктъ.

И вотъ поэтому такъ и важно засѣданіе московскаго губернскаго земскаго собранія 10-го іюня. Оно показало, что между духовнымъ вѣдомствомъ и земствомъ не должно быть болѣе антагонизма въ дѣлѣ народнаго образованія; что они оба заботятся о школѣ одного и того же типа—„церковной по духу и органически связанной съ приходской общиной“. Относительно духовнаго вѣдомства это само собою подразумѣвается: что же касается земства, то оно само такъ опредѣлило свою задачу, и Братство съ нимъ согласилось. Недоразумѣнія, продолжающіяся 10 лѣтъ, окончены. Москва, въ лицѣ какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ представителей, громко высказала, что школа церковная, даже школа приходская, не то же, что школа духовнаго вѣдомства; что послѣдняя есть лишь внѣшняя форма (какъ и школа земская). Мѣсто недоразумѣній и пререканій должна заступить единодушная работа въ опредѣленно-отмежеванныхъ границахъ. Въ добрый часъ!

Н. Горбовъ.

Москва, 15 іюня.

ПО ПОВОДУ ПАСПОРТНАГО УСТАВА.

Мы дождались, наконецъ, новаго паспортнаго устава. Подготовлялся онъ десятки лѣтъ, по поводу проектовъ его высказывалась масса замѣчаній и все это подавало надежду на то, что при окончательномъ разрѣшеніи вопроса будетъ уважено возможно большее количество жизненныхъ нуждъ, которыя вообще требовали большого облегченія человѣческихъ передвиженій и устраненія часто возникавшихъ практическихъ недоразумѣній относительно правъ того или другого разряда лицъ на проживание тамъ или здѣсь. Надо было освободиться отъ того порядка, при которомъ каждый человѣческій шагъ осложнялся вопросомъ объ имѣніи при себѣ письменнаго документа; надо было свести задачу паспортнаго дѣла только къ удостовѣренію личности человѣка и его правъ состоянія, да и то—въ случаяхъ непремѣнной въ томъ надобности.

По содержанію новаго паспортнаго устава и по тѣмъ officialнымъ объясненіямъ, которыя сопровождали его появленіе, можно заключать, что составленіемъ его руководило именно сознаніе подобной задачи. Первая статья устава прямо высказываетъ, что „видъ на жительство служить *удостовереніемъ личности*, а равно права на отлучку изъ мѣста постоянного жительства въ *тѣхъ случаяхъ*, когда это право *должно быть удостовѣрено*“. Другихъ цѣлей, повидимому, не преслѣдовалось. Право передвиженія значительно расширено, а число случаевъ, когда человѣкъ обязанъ имѣть при себѣ паспортъ, подвергнуто сокращенію. Никто не обязывается имѣть паспортъ на мѣстѣ своего постоянного жительства и на близкомъ отъ него разстояніи. Лица привилегированныхъ сословій для случаевъ надобности получаютъ безсрочныя паспортныя книжки, а люди непривилегированные могутъ при отлучкахъ получать паспортъ до годового срока или пятилѣтнія паспортныя же книжки, причемъ годовые паспорта они могутъ получать даже независимо отъ того, числятся ли за ними недоимки, или нѣтъ.

Все это облегченія серьезныя. Положимъ, практическое значеніе пятилѣтнихъ книжекъ значительно ослабляется ограниченіями, напримеръ—допущеніемъ вытребованія отлучившагося обратно, по желанію хозяина двора, къ которому онъ принадлежитъ, или подѣ предложомъ выбора его въ совсѣмъ неинтересную должность волостного судьи или сборщика,—т.-е. подѣ предложомъ возложенія на него но-

вой тяготы,—но и при этомъ новое положеніе все-таки будетъ легче прежняго, такъ какъ одно уже облегченіе полученія годовыхъ паспортовъ значить много. Словомъ, цѣли новаго устава несомнѣнно облегчительныя. Нашлись бы, конечно, основанія желать и большаго, но мы въ данномъ случаѣ имѣемъ въ виду не опѣнку полноты означенныхъ цѣлей, не тѣ рамки, какихъ держались составители законопроекта, а степень практическаго обезпеченія тѣхъ удобствъ, предоставленіе которыхъ обывателямъ именно предполагаетъ вновь вышедшій уставъ.

Важно не только то, что уставъ желаетъ дать людямъ, но и то, чтобы намѣренія его достаточно осуществлялись, чтобы желаемое ими дѣйствительно доставлялось людямъ въ полной мѣрѣ и полученіе признанныхъ уже нужными льготъ не было затрудняемо на практикѣ неточностями или умолчаніемъ текста правилъ, открывающими просторъ всякаго рода недоразумѣніямъ, несприятностямъ и напрасной волокитѣ. Между тѣмъ отъ такихъ неточностей несвободнымъ оказывается и новый уставъ.

Большое значеніе въ этомъ уставѣ придается установленію для каждаго обывателя „мѣста постоянного жительства“. Объ этомъ „мѣстѣ“ говорится много, но опредѣленіе его все-таки выходитъ столь неясное или сбивчивое, что при немъ или связь человѣка съ означеннымъ мѣстомъ выйдетъ стѣснительною безъ нужды, или очень часто будутъ возникать сомнѣнія или различіе пониманія — какое именно мѣсто слѣдуетъ считать для того или другого человѣка мѣстомъ „постояннаго“ жительства.

Случаевъ, когда это мѣсто получаетъ серьезное значеніе, указано не мало. На этомъ „мѣстѣ“, въ уѣздѣ его нахожденія и на 50-верстномъ разстояніи отъ него всякій можетъ жить и передвигаться свободно, безъ документа, не опасаясь паспортныхъ требованій, но при удаленіи отъ него на большее разстояніе уже обязанъ запастись паспортомъ. Выдача видовъ на жительства производится лишь въ томъ же мѣстѣ, и ни въ какомъ другомъ. Если человѣкъ потерялъ свой „видъ“, то мѣстная полиція выдаетъ ему только полугодовое свидѣтельство съ удостовѣреніемъ о заявкѣ потери, а новый видъ все-таки долженъ быть исходатайствованъ имъ съ „мѣста постоянного жительства“. Подобныя же свидѣтельства выдаются и при обнаруженіи у человѣка отсутствія вида, если онъ даже вполне докажетъ свою личность другими способами, причемъ на него возлагается обязанность добыть себѣ видъ съ мѣста постоянного жительства въ упомянутый срокъ, подѣ опасеніемъ, въ противномъ случаѣ, принудительной высылки въ упомянутое „мѣсто“, хотя бы замедленіе въ выдачѣ вида

произошло не по винѣ просителя, а отъ другихъ причинъ, напримеръ отъ неаккуратности учрежденія, къ которому онъ обратился.

Вотъ сколько случаевъ, когда приходится вѣдаться съ мѣстомъ постоянного жительства или зависѣть отъ него. Приходится не только сноситься съ нимъ письменно или черезъ довѣренныхъ, но можно и прогуляться туда помимо своего желанія. Въ виду такихъ условій, слѣдовало бы предполагать, что означенное мѣсто есть нѣчто очень близкое человѣку, связанное съ нимъ какими-либо бытовыми отношеніями и, во всякомъ случаѣ, нѣчто вполне определенное, ясное, не возбуждающее никакихъ сомнѣній. Посмотримъ теперь, какъ определено это мѣсто уставомъ.

Постояннымъ мѣстомъ жительства считается для дворянъ, чиновниковъ, почетныхъ гражданъ, купцовъ и разночинцевъ—мѣсто, гдѣ кто по недвижимому имуществу, службѣ или занятіямъ имѣетъ „осѣдлость, либо домашнее обзаведеніе“. У мѣщанъ же, ремесленниковъ и крестьянъ мѣстомъ жительства признается мѣсто нахождения тѣхъ обществъ, къ которымъ они приписаны. Вотъ и все определеніе. Съ перваго взгляда оно кажется даже удобнымъ, такъ какъ въ немъ не видно исключительнаго для всѣхъ предпочтенія мѣстъ сословной „приписки“, которымъ прежде придавалось столь важное значеніе, и принимаются главнымъ образомъ бытовыя условія: занятія, владѣніе имуществомъ и т. п. Но стоитъ обратиться къ способамъ практическаго примѣненія, чтобы просторъ недоразумѣніямъ обнаружился широкій.

Определеніе мѣста жительства по нахожденію имущества вызываетъ то недоразумѣніе, что у многихъ имущества бываютъ въ разныхъ уѣздахъ или губерніяхъ, слѣдовательно является вопросъ—какая именно мѣстность считается для даннаго владѣльца постояннымъ и какая только случайнымъ мѣстомъ жительства, т.-е. гдѣ онъ можетъ жить безъ паспорта и гдѣ послѣдній будетъ требоваться непременно? Другое крупное недоумѣніе возникаетъ изъ того, что постоянныя мѣста жительства у людей часто мѣняются, а между тѣмъ уставъ совсѣмъ не предусматриваетъ такого обыденнаго жизненнаго явленія и не указываетъ—слѣдуетъ ли официально признавать подобныя перемѣны и какимъ порядкомъ ихъ формально констатировать. Послѣднее обстоятельство касается особенно людей, никакими недвижимостями не обладающихъ, въ отношеніи къ которымъ недоразумѣнія вообще обѣщаютъ быть чаще, существеннѣе и чувствительнѣе. Такіе люди, потерявъ работу въ одномъ мѣстѣ или найдя лучшее занятіе въ другомъ, нерѣдко переѣзжаютъ за тысячи верстъ и болѣе и собственно ни къ какому мѣсту крѣпко не привязываются.

Жизнь создала уже огромный контингентъ такихъ людей и число

ихъ постоянно возрастаетъ. Прошло уже то время, когда почти каждый былъ чуть не прикованъ къ своему мѣсту, когда помѣщикъ прочно сидѣлъ въ своемъ имѣніи, купецъ весь вѣкъ свой торговалъ въ одномъ городѣ, офицеръ и чиновникъ большую часть жизни служили, мѣщанинъ и крестьянинъ жили въ своихъ поселеніяхъ, отлучаясь только на короткое время, а другихъ профессій почти вовсе и не было. Теперь прежняя неподвижность исчезла и выросъ цѣлый классъ очень подвижныхъ людей. Случайная служба или заработокъ стали единственнымъ источникомъ средствъ существованія для массы людей. Въ такое положеніе попадаетъ и отставной чиновникъ, и служащій въ какомъ-нибудь банѣ или на желѣзной дорогѣ, и литераторъ, и художникъ, и управляющій имѣніемъ, и вольнопрактикующій врачъ или техникъ, и торговый агентъ, и т. д., и т. д. Какіе же у подобныхъ людей признаки „постоянной“ осѣлости? Уставъ указываетъ для нихъ: службу, промыслы и „домашнее обзаведеніе“. Но служба мѣняется, и для многихъ очень часто; промыслы—еще подвижнѣе; а что касается „обзаведенія“, то у большинства подобныхъ людей оно слишкомъ, такъ сказать, летучее. Состоитъ оно развѣ въ платьѣ, посудѣ, мебели, иногда экипажѣ, лошади и т. под., т.-е. въ такихъ предметахъ, которые и сбываются очень легко, и перевозимы могутъ быть безъ затрудненій, почему меньше всего способны опредѣлять—съ какимъ именно географическимъ пунктомъ связанъ данный человѣкъ. Это не то, что у мужика, напр., клочъ надѣльной земли или у мѣщанина ремесленное или иное заведеніе. Строго говоря, у перечисленныхъ разрядовъ людей въ сущности нѣтъ никакого постоянного мѣста жительства, а бываютъ только случайныя, временныя. Уставъ однако игнорируетъ подобное положеніе и исходитъ изъ общаго для всѣхъ признанія, что у каждого непременно есть одно, постоянное мѣсто жительства, изъ котораго онъ только временно „отлучается“. Такъ какъ уставъ вовсе не упоминаетъ о случаяхъ перемѣны такого мѣста, то, стоя на буквѣ устава, можно отказывать всѣмъ просящимъ, чтобы за ними, взамѣнъ прежняго, было зачислено новое мѣсто постоянного жительства. Каждое учрежденіе, разрѣшая практическій случай, прежде всего ищетъ указаній въ правилахъ: слѣдовательно, не найдя въ нихъ ничего подходящаго, оно неизбѣжно затруднится въ удовлетвореніи просьбъ.

На практикѣ это можетъ привести къ тому, что для большой массы людей мѣстомъ постоянного жительства официально будетъ признаваться мѣсто выдачи первой паспортной книжки, иначе сказать—мѣсто, гдѣ, волею судьбы, застигло человѣка первое примѣненіе новаго устава. Проживалъ человѣкъ, въ силу случайностей работы, гдѣ-нибудь въ Вологдѣ, на частной квартирѣ, гдѣ „обзаведеніемъ“

ему служили: кровать, два стула и столъ. По новому уставу понадобилась ему паспортная книжка—ее и выдали въ Вологдѣ. Какъ только это случилось—Вологда официально стала для него чѣмъ-то въ родѣ отечества. Жизненные обстоятельства затѣмъ побудили человека переѣхать въ Крымъ; нашелъ онъ тамъ себѣ постоянную работу, связывающую его съ Крымомъ никакъ не меньше, чѣмъ прежде былъ онъ связанъ съ Вологдою, но для Крыма онъ уже является вологжаниномъ, хотя въ официальное отечество свое онъ возвращаться не думаетъ и никогда туда не вернется, потому что—не къ чему возвращаться. Изъ Крыма онъ можетъ также перебраться въ Москву или на Донъ, но и тамъ все будетъ числиться вологжаниномъ. Если для прекращенія недоумѣнія попросить онъ зачислить его по новому, фактическому мѣсту жительства, то ему отвѣтятъ: „извините, въ уставѣ ничего не сказано о допущеніи и порядкѣ такихъ перечисленій, слѣдовательно—оставайтесь при старой книжкѣ; обмѣнъ старой книжки на новую допускается въ случаѣ ея ветхости или поврежденія, но ваша еще совсѣмъ не истрепалась“. Такъ и останется онъ номинально вологодскимъ обывателемъ на всю жизнь.

Конечно, зваться по тому или другому географическому пункту—не бѣда, но съ этимъ связаны извѣстныя практическія послѣдствія, не всегда удобныя. Напр., проживая лѣтъ двадцать гдѣ-нибудь въ Севастополѣ или Одессѣ, подобный человекъ захочетъ съѣздить въ Ялту или Овидіополь,—но безъ паспорта онъ туда двинуться не можетъ. Вотъ,—скажутъ ему,—въ вологодскомъ уѣздѣ или, пожалуй, въ сосѣднемъ съ нимъ кадниковскомъ, можете гулять безъ документа сколько угодно, въ предѣлахъ полугодоваго срока, такъ какъ при отлучкахъ до 50 верстъ изъ мѣстъ постоянного жительства видовъ не требуется, а здѣсь—пожалуйте видъ.—Да видъ я 20 лѣтъ живу въ Севастополѣ, чего еще постояннѣе?—А книжка-то что говорить?.. вы вологжанинъ, только отлучившійся въ Крымъ.—Спрашивается, нужна ли крымскому жителю свобода разѣздовъ по кадниковскому уѣзду? А осложненіе поѣздокъ въ сосѣдную Ялту для него едва-ли удобно.

Потерявъ этотъ человекъ свою паспортную книжку и заявляетъ о томъ крымской или донской полиціи: послѣдняя выдаетъ ему полугодовое свидѣтельство, но, получивъ послѣднее, все-таки надо выправить новую книжку въ Вологдѣ, стало быть, или ѣздить туда, или списываться, опасаясь промедленій въ совершенно незнакомомъ учрежденіи. Такія же сношенія будутъ необходимы, если во время какой-нибудь поѣздки человекъ окажется безъ вида. И какъ только не истребованъ изъ Вологды новый видъ въ теченіе полугода—отправляйся на новое жительство въ ту же Вологду, словно въ заправское отечество. И все это изъ-за того, что ему въ давнее время случайно

пришлось быть въ Вологдѣ и получить тамъ первый видъ. Человѣкъ выполнѣ доказалъ свою личность, а все-таки ступай въ неприятное и убыточное путешествіе туда, гдѣ у тебя ни кола, ни двора, ни связей, ни знакомствъ, словомъ—никакихъ отношеній. Не оказывается ли онъ привязаннымъ къ мѣсту произвольно, безъ нужды для чего-либо, но съ чувствительнымъ для себя неудобствомъ? Возможно даже, что упразднилось самое учрежденіе, изъ котораго выданъ былъ когда-то первый видъ на жительство, но какъ поступать въ подобныхъ случаяхъ—остается тоже вопросомъ.

Ничего бы этого не было, еслибы подобнымъ людямъ предоставлялось получать виды на жительство въ каждомъ учрежденіи, уполномоченномъ на выдачу видовъ. Если только личность доказана—что же еще нужно болѣе? Не все ли равно, будетъ ли выдано удостовѣреніе ея тамъ или здѣсь?

Скажутъ, пожалуй, что случаи необходимости вѣдаться съ дальнею и совершенно чужою страню будутъ относительно рѣдки, такъ что о нихъ не стоить особенно заботиться, а въ случаяхъ совершенно исключительныхъ надо и покоряться судьбѣ, и съѣздить, куда не хочешь. Однако, еслибы они и дѣйствительно были не часты—отчего ихъ не предотвратить? Нельзя упускать изъ виду цѣлей, ради которыхъ вводится новый уставъ. Если требуется облегчить передвиженіе и разъѣзды, то надобно, чтобы забота о томъ попадала въ цѣль и давала именно то, что пригодится на практикѣ, чтобы каждый получалъ дѣйствительно ему нужное, а не что-либо напоминающее казенниковскія льготы для одесскаго жителя.

Наконецъ, еще финансовое соображеніе. Проживая въ мѣстѣ постоянного жительства, человѣкъ въ паспортной книжкѣ не нуждается, а получивъ ее и предъявляя періодически для провѣрки правъ на отлучку, онъ долженъ ежегодно оплачивать ее рублевымъ сборомъ. Такимъ образомъ, крымскій уроженецъ, живущій на мѣстѣ, не платитъ ничего, а прибывшій въ Крымъ изъ Вологды и, слѣдовательно, могущій проживать тамъ только по книжкѣ, въ качествѣ безсрочно „отлучившагося“, оказывается обложеннымъ постояннымъ налогомъ, хотя бы онъ проживалъ на одномъ мѣстѣ уже тридцать лѣтъ. За что? Скажутъ, что такая оплата даетъ доходъ казнѣ, но вѣдь и налоги требуютъ правильнаго обоснованія и соображенія съ жизненными условіями; и они должны распредѣляться между людьми съ извѣстною уравнительностью, не падая на нихъ случайно, безотносительно къ получаемымъ людьми выгодамъ.

Очевидно, надо облегчить послѣдствія связыванія человѣка съ „мѣстомъ постоянного жительства“. Добиваться непременно такой крѣпкой связи значитъ преслѣдовать какую-то фиктивную цѣль, по-

тому что едва-ли кто-нибудь въ состояніи ясно указать—для чего именно нужна или полезна эта связь. По крайней мѣрѣ, слѣдовало бы признать фактъ необходимости для многихъ мѣнять мѣсто жительства и установить такъ, чтобы человекъ, оставляя одно мѣсто окончательно и переселяясь на другое, могъ считаться только съ этимъ послѣднимъ, а мѣсто выдачи прежней книжки теряло для него практическое значеніе. Духъ устава этому не противорѣчитъ, но надобно, чтобы правила прямо допускали констатированіе подобныхъ перемѣнъ, потому что, безъ точныхъ указаній въ этомъ смыслѣ, во всѣхъ подобныхъ просьбахъ могутъ отказывать, ссылаясь на непредусмотрѣнность такихъ случаевъ. Дополненіемъ ли закона или инструкціоннымъ порядкомъ можетъ быть удовлетворена объясненная потребность, но удовлетворить ее надо.

Ө. Ө.



ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го августа 1894 г.

Внутренняя политика во Франціи. — Правительственные проекты и парламентская оппозиція. — Недоразумѣнія по поводу новаго закона объ анархистахъ. — Замѣчанія и выводы „Московскихъ Вѣдомостей. — Болгарскія дѣла и русскіе корреспонденты.

Законодатели часто по необходимости слѣдуютъ примѣру тѣхъ врачей, которые прописываютъ рецепты больше для успокоенія больного, чѣмъ для его излеченія. Въ извѣстныхъ случаяхъ общество ждетъ цѣлебныхъ или спасительныхъ мѣръ, подобно тому, какъ больной, потерявшій свои силы въ излишествахъ неправильной жизни, рассчитываетъ на лекарство для поддержанія и возбужденія нормальной дѣятельности организма. Въ послѣдніе годы, повторявшіися одно за другимъ динамитныя покушенія такъ-называемыхъ анархистовъ свидѣтельствовали объ остромъ кризисѣ рабочаго движенія во Франціи. Низшіе слои пролетаріата, вмѣстѣ съ неудачниками и психопатами изъ другихъ классовъ населенія, выдѣляли изъ себя субъектовъ, готовыхъ жертвовать собою ради гибели случайныхъ представителей ненавистой имъ буржуазіи. Республиканское правительство пыталось удовлетворить взволнованное общественное мнѣніе обычными средствами: изданы были новые карательные законы о храненіи и приготовленіи взрывчатыхъ веществъ, о преступныхъ сообществахъ для пропаганды анархизма, о воззваніяхъ и подстрекательствахъ къ преступленіямъ. Виновники взрывовъ, какъ Рава-шоль, Эмиль Анри, Вальянъ, подвергались смерти на эшафотѣ. Болѣзнь, между тѣмъ, не измѣняла своего прежняго хода и не обнаруживала ни малѣйшаго поворота къ лучшему. Неожиданная катастрофа въ Ліонѣ опять побудила правительство предложить соответственный рецептъ, въ видѣ новаго закона объ анархистахъ. Хотя убійца Карно — итальянецъ, проникшійся анархистскими идеями вѣроятно независимо отъ французскихъ революціонныхъ газетъ, но кабинетъ Дюпюи рѣшилъ на этотъ разъ направить свои удары противъ печати, виновной въ поощреніи или одобреніи злодѣйскихъ посягательствъ. Подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ ліонскаго событія, французское общество нуждалось въ успокоительномъ лекарствѣ, и послѣднее было тотчасъ приготовлено правительствомъ. Что по-

вый законъ столь же мало способенъ уничтожить или ослабить анархизмъ, какъ и предшествующія законодательныя мѣры, — въ этомъ не сомнѣвались даже вѣрнѣйшіе сторонники министерства. Но надо было прописать какой-нибудь рецептъ, и эта несложная задача была добросовѣстно исполнена кабинетомъ Дюпюи.

Законопроектъ, выработанный правительствомъ, возбудилъ горячую полемику въ газетахъ еще до начала обсужденія его въ парламентѣ. Монархисты протестовали такъ же рѣшительно, какъ и радикалы и социалисты; органъ орлеанистской партіи, „Soleil“, доказывалъ, что монархія временъ реставраціи относилась будто бы либеральнѣе къ печати, чѣмъ нынѣшніе республиканскіе министры. Даже бонапартисты, съ свойственною имъ смѣлостью, утверждали, что при имперіи не было такихъ суровыхъ законовъ, какъ придуманный кабинетомъ Дюпюи. Радикалы и социалисты въ этомъ случаѣ сходились съ явными консерваторами и реакціонерами; они тоже находили, что правительство республики рѣшается устанавливать такія мѣры, которыхъ не осмѣливались принимать ни имперія, ни монархія. Очевидно, съ обѣихъ сторонъ допускались сознательныя преувеличенія, и споръ запутывался все болѣе и болѣе, удаляясь отъ реальной почвы. Эта спутанность отличала и продолжительныя парламентскія пренія, посвященныя новому закону. Разсмотрѣніе этого небольшого законопроекта, состоявшаго изъ шести статей, заняло у палаты депутатовъ десять засѣданій, съ 17-го (5-го) до 27-го (15-го) іюня; около полусотни поправокъ было предложено, и изъ нихъ приняты только нѣкоторыя, послѣ цѣлаго ряда шумныхъ пререканій. Давно уже не произносилось въ палатѣ столько длинныхъ рѣчей, то сбивчивыхъ, то блестящихъ; давно уже не было такихъ бурныхъ столкновеній, отчасти нестройныхъ, отчасти картинныхъ и эффектныхъ, какъ въ эти десять парламентскихъ дней. Въ началѣ превій имѣли наибольшее успѣха два старыхъ бойца, Бриссонъ и Гоблѣ, оба бывшіе когда-то главами правительства; а въ концѣ разыгрался настоящій фейерверкъ краснорѣчія, при участіи двухъ молодыхъ ораторовъ — Жореса и Дешанеля, и одного изъ даровитѣйшихъ старыхъ дѣятелей, Рувье. Въ промежуткахъ между этими пятью выдающимися рѣчами помѣстилось множество скучныхъ и мелкихъ споровъ, громкихъ и безсодержательныхъ фразъ, страстныхъ выходокъ, безцвѣтныхъ толкованій и разъясненій, которыя видимо утомляли публику. Журналистика внимательно слѣдила за всѣми этими эпизодами, но иногда теряла нить и высказывала нетерпѣніе или раздраженіе. Представители печати были непосредственно заинтересованы въ вопросѣ, обсуждавшемся въ парламентѣ, и, присутствуя въ засѣданіяхъ, они нерѣдко изъ своей трибуны журналистовъ поднимали свои про-

тестующіе голоса, такъ что президентъ палаты, Бурдо, хотя и самъ бывшій журналистъ, вынужденъ былъ разъ прибѣгнуть къ весьма крутой мѣрѣ относительно своихъ прежнихъ коллегъ: онъ распорядился удалить ихъ изъ залы, безъ всякихъ церемоній. Въ сущности новый законъ не имѣлъ приверженцевъ даже въ самой умѣренной части республиканской печати; такъ, „Temps“ и „Journal des Débats“ признавали значеніе законопроекта только въ видѣ временной исключительной мѣры, и настойчиво требовали ограниченія его дѣйствія извѣстнымъ срокомъ. Однако правительство, въ лицѣ главы кабинета, Дрюи, и министра юстиціи, Герена, не соглашалось на такую уступку, и на всѣ возраженія по существу оно имѣло готовый формальный отвѣтъ: „страна ждетъ закона, и надо скорѣе утвердить его“. Умѣренно-консервативное большинство было заранее на сторонѣ министерства, и принатіе закона было обезпечено; поэтому считалось даже излишнимъ вступать въ подробные споры съ оппозиціею, и министры перестали участвовать въ преніяхъ въ послѣдніе дни, заявивъ предварительно, что никакихъ дальнѣйшихъ поправокъ къ законопроекту они не примутъ. Оппозиціи оставалось только утѣшаться сознаніемъ, что она успѣла доказать предъ страню превосходство своихъ ораторскихъ талантовъ и дала одну дѣйствительно замѣчательную рѣчь, своего рода художественное произведеніе, — Жореса, тогда какъ защитники закона, официальные и добровольные, не выходили изъ уровня посредственности. Законъ былъ принятъ палатою довольно значительнымъ большинствомъ — 268 голосовъ противъ 163; затѣмъ онъ въ тотъ же день перешелъ въ сенатъ и утвержденъ 28-го (16-го) іюня 205 голосами противъ 34, послѣ чего парламентская сессія была немедленно закрыта. Задача была исполнена, и депутаты, и сенаторы могли спокойно разѣхаться по домамъ, для заслуженнаго лѣтняго отдыха. Общество должно считать себя удовлетвореннымъ на нѣкоторое время.

Содержаніе и смыслъ закона, добытаго отъ палаты депутатовъ съ такими необычайными усиліями, производятъ на первый взглядъ впечатлѣніе чего-то вполне понятнаго и разумнаго. Дѣло идетъ исключительно о противодѣйствіи печатнымъ и словеснымъ подстрекательствамъ къ убійству, поджогу, грабежу или динамитному взрыву, — такъ что свобода мнѣній и печати тутъ абсолютно не при чемъ. Вездѣ уголовные законы караютъ за подстрекательство къ общимъ преступленіямъ, и никому еще не приходило въ голову считать запрещеніе такихъ подстрекательствъ стѣснительнымъ для свободы слова, даже при полной неограниченности этой свободы. Во Франціи, также точно какъ и повсюду, можно было привлекать къ отвѣтственности прямыхъ зачинщиковъ, подстрекателей и интеллектуальныхъ

сообщниковъ анархистскихъ взрывовъ и убійствъ, на основаніи общихъ уголовныхъ законовъ, и если это не дѣлалось, или дѣлалось слишкомъ слабо, то никакъ не по отсутствію или недостаточности законодательныхъ постановленій. Проступки такого рода, совершаемые путемъ печати, подлежали суду присяжныхъ, а участіе послѣднихъ предполагаетъ уже длинную судебную процедуру, которая можетъ привести къ какому-нибудь результату послѣ того, какъ публика давно успѣла забыть газетную или журнальную статью, подавшую поводъ къ возбужденію дѣла. Быть можетъ, по этой именно причинѣ остался почти безъ примѣненія специальный законъ, изданный въ декабрѣ прошлаго года. Требовалось поэтому, въ интересахъ немедленнаго и дѣйствительнаго возмездія, передать дѣла объ анархистской пропагандѣ въ вѣдомство судовъ исправительной полиціи.

Въ этомъ состоитъ главное и первое нововведеніе въ законопроектъ Дюпюи. Второе нововведеніе—то, что преслѣдуется не только публичное и огульное, но и частное, сепаратное возбужденіе отдѣльных лицъ къ преступнымъ дѣйствіямъ, напр. въ письмахъ, семейныхъ собраніяхъ, частныхъ бесѣдахъ; къ этой же категоріи подстрекательства отнесены и призывы къ военнотруженикамъ, съ цѣлью отклоненія ихъ отъ обязанностей службы и повиновенія начальству. За эти проступки полагается заключеніе въ тюрьмѣ отъ трехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ, и денежный штрафъ отъ ста до двухъ тысячъ франковъ; но судъ не можетъ основывать обвинительный приговоръ на одномъ лишь заявленіи лица, бывшаго объектомъ подстрекательства, а долженъ имѣть въ виду „совокупность уликъ, подтверждающихъ виновность и подлежащихъ точному указанію въ судебномъ рѣшеніи“. Третье и весьма важное нововведеніе закона—назначеніе ссылки, въ видѣ прибавочной кары для виновныхъ въ перечисленныхъ выше проступкахъ и приговоренныхъ къ заключенію въ тюрьмѣ свыше одного года, а также для тѣхъ осужденныхъ, которые ранѣе, въ теченіе десятилѣтняго срока, подверглись уже тюремному заключенію свыше трехъ мѣсяцевъ за однородные проступки или судились за общія преступленія и отбыли наказаніе, въ размѣрѣ болѣе трехъ-мѣсячнаго заключенія. Эта прибавочная кара будетъ зависѣть отъ усмотрѣнія суда: судъ можетъ, но не обязанъ подвергать виновныхъ ссылкѣ, и эта возможность есть сильнѣйшая угроза для проповѣдниковъ воинствующаго анархизма, хотя на практикѣ она едва ли будетъ примѣняться часто, въ виду республиканскихъ нравовъ современной Франціи. Наконецъ, четвертая, и тоже не лишняя особеннѣе закона,—это предоставленіе суду права воспретить, въ части или въ цѣломъ, печатаніе отчетовъ о судебныхъ засѣданіяхъ при разбирательствѣ дѣлъ объ анархистахъ;

за нарушение этого запрещенія назначается арестъ отъ шести дней до одного мѣсяца и денежное взысканіе отъ тысячи до десяти тысячъ франковъ. Строгость наказаній, опредѣленныхъ этимъ закономъ, усиливается еще тѣмъ, что осужденные подвергаются одиночному заключенію на весь назначенный срокъ, безъ всякихъ сокращеній или послабленій; та же самая мѣра примѣняется ко всѣмъ признаннымъ виновными на основаніи законовъ 12-го декабря 1893 года о преступныхъ сообществахъ и о незаконномъ храненіи взрывчатыхъ снарядовъ.

Почему собственно этотъ законъ вызвалъ столь энергическіе протесты и возраженія со стороны людей, которыхъ никто не заподозрить въ сочувствіи динамитчикамъ и убійцамъ? Казалось бы, что сами анархисты ничего не могутъ сказать противъ того, что общество считаетъ нужнымъ защищаться отъ преступныхъ покушеній, подвергая возмездію не только непосредственныхъ исполнителей, въ родѣ Эмиля Анри и Казеріо, но и закулисныхъ подстрекателей и сообщниковъ ихъ. Ссылка, какъ дополнительная кара, можетъ даже считаться вполне подходящею и пріятною для проповѣдниковъ анархизма, такъ какъ она избавляетъ ихъ отъ ненавистнаго буржуазнаго общества и даетъ имъ возможность устроить новую жизнь согласно своимъ идеямъ, среди болѣе простыхъ и близкихъ къ природѣ условій существованія. Одинъ изъ признанныхъ вождей французскихъ социалистовъ, Жюль Гедъ, доказывалъ въ палатѣ,—и не безъ основанія,—что социалисты первые возстали противъ анархистскихъ теорій и вели съ ними непрестанную борьбу, систематически устраняя представителей ихъ изъ состава своихъ собраній и съѣздовъ. И въ самомъ дѣлѣ, между социализмомъ и анархизмомъ существуетъ принципиальная противоположность: первый предполагаетъ извѣстную общественную организацію, подчиняющую себѣ интересы и стремленія отдѣльныхъ лицъ, а идеаль анархистовъ—безвластіе, распаденіе всякаго общественнаго строя и полная автономія отдѣльной личности. Съ одной стороны, господство общества надъ личностью, а съ другой—отрицаніе общественныхъ связей во имя неограниченной свободы лица. Очевидно, социалисты не могутъ признаваться солидарными съ анархистами; ихъ соединяетъ только одинаковая вражда къ существующему буржуазному обществу, которое одни хотятъ преобразовать, а другіе—уничтожить. Между преобразованиемъ и уничтоженіемъ—громадная разница, и реформаторы, конечно, правы, когда протестуютъ противъ смѣшенія ихъ съ разрушителями. Тѣмъ не менѣе депутаты-социалисты, которыхъ насчитывается въ палатѣ больше полусотни, выступили, какъ одинъ человѣкъ, противъ законопроекта Дюпри. Точно также радикалы, имѣющіе мало общаго не только съ анархизмомъ,

но и съ социализмомъ, дѣйствовали на этотъ разъ за-одно съ крайними социалистическими группами. Въ лагерѣ оппозиціи очутились и нѣкоторые депутаты правой, приверженцы старыхъ консервативныхъ и реакціонныхъ началъ. Чѣмъ объяснить это явленіе? Ясно, что оппозиціонныя партіи не довѣряли прямому тексту закона и предвидѣли возможность примѣненія его не къ однимъ проповѣдникамъ убійствъ, а ко всѣмъ вообще противникамъ правительства или современнаго социальна-политическаго строя во Франціи. Такъ какъ судить проступки печати въ этихъ случаяхъ призваны лишь официальные судебные дѣатели, безъ участія присяжныхъ, то является опасность слишкомъ широкихъ и произвольныхъ толкованій закона, и не трудно представить себѣ такія условія, при которыхъ эти толкованія могутъ быть внушены правительственною властью, въ виду подчиненнаго и зависимаго положенія магистратуры. Образчики подобнаго распространительнаго толкованія представлены были самими защитниками закона во время парламентскихъ преній. Ораторъ центра, Поль Дешанель, привелъ нѣкоторыя рѣзкія и вызывающія фразы изъ одной старой брошюры Жюль Гедъ, въ подтвержденіе того, что нужны карательныя мѣры противъ такихъ преступныхъ воззваній, остававшихся до сихъ поръ безнаказанными; а между тѣмъ Жюль Гедъ—вовсе не анархистъ, и разсужденія его, направленные противъ буржуазіи, не имѣютъ прямой связи съ проповѣдью взрывовъ и убійствъ. Президентъ совѣта министровъ, Дюпюи, прочиталъ въ своей рѣчи отрывокъ изъ одной газетной статьи, и этотъ отрывокъ, возмущившій большинство слушателей, несомнѣнно могъ бы быть подведенъ подъ дѣйствіе новаго закона; но статья, изъ которой приведена была цитата, касалась вопроса о смертной казни и уличала буржуазію въ особенной привязанности къ гильотинѣ. Гобле цитировалъ одно краснорѣчивое мѣсто изъ статьи Поля Леруа-Болье въ „Revue des deux Mondes“ о рабочемъ движеніи въ Соединенныхъ Штатахъ, и слова авторитетнаго и умѣреннаго экономиста, по своему содержанію и характеру, легко подошли бы подъ понятіе о воззваніи къ бунту противъ владычества капитала.

На опасенія оппозиціи правительство отвѣчало, повидимому, весьма резонно: противникамъ нечего бояться злоупотребленій и намѣренно-ложныхъ толкованій, ибо во Франціи существуетъ республика, и правительство есть только органъ парламентскаго большинства, которое всегда можетъ свергнуть министровъ и отменить самый законъ, если онъ будетъ примѣняться неправильно и окажется на практикѣ вреднымъ или несостоятельнымъ. Этотъ доводъ, брошенный вскользь нѣкоторыми правительственными ораторами, не могъ быть убѣдителенъ для оппозиціи по той простой причинѣ, что и

при республикѣ и при парламентскомъ управленіи существуетъ меньшинство, которое не обезпечено отъ посягательствъ господствующаго большинства, а въ данномъ случаѣ коалиція всѣхъ консервативныхъ и умѣренно-либеральныхъ элементовъ палаты была бы вполне осуществима. Тѣсно сплоченное буржуазное большинство могло бы придать борьбѣ съ радикалами и социалистами болѣе рѣшительный и острый характеръ, причемъ новый законъ объ анархистахъ явился бы удобнымъ и цѣлесообразнымъ орудіемъ; только внутренній непримиримый разладъ между консерваторами правой, сторонниками монархіи, и консерваторами лѣвой и центра, республиканцами, спасаетъ радикально-социалистическія группы отъ серьезной наступательной политики большинства. Но еслибы окончательное присоединеніе правой къ консервативнымъ и умѣреннымъ республиканцамъ положило начало образованію внушительнаго однороднаго большинства и обрекло оппозицію на безсиліе, то не было бы надобности въ произвольномъ примѣненіи спеціальнаго закона объ анархистахъ: парламентъ установилъ бы тогда новые законы, какіе призналъ бы нужными для подавленія радикаловъ и социалистовъ, и слѣдовательно нынѣшняя предусмотрительная заботливость меньшинства оказывается все-таки безцѣльною. И однако напоминовеніе о республикѣ, позволяющей народному представительству передѣлывать законы и низвергать министерства, затронуло весьма существенную сторону современнаго положенія и настроенія французскихъ республиканцевъ.

Какъ это ни странно, но многіе изъ старыхъ бойцовъ республики продолжаютъ понынѣ повторять аргументы, заимствованные изъ арсенала прежней эпохи, когда приходилось отстаивать общественную свободу отъ произвола и насилій сподвижниковъ Наполеона III; они говорятъ о правительствѣ и судѣ въ такомъ тонѣ, какъ будто имѣютъ предъ собою враждебныя государственныя силы, господствующія надъ народомъ и не зависящія отъ публичнаго контроля. Они дѣйствительно забываютъ, что законы вносятся теперь не „вице-императоромъ“ Руэромъ, а вчерашнимъ и завтрашнимъ ихъ коллегой, скромнымъ демократомъ Дюпюи, и что судебныя учрежденія подвластны не министрамъ второй имперіи, а республиканскому правительству, имѣющему въ своей основѣ принципъ всеобщаго народнаго голосованія. Дюпюи въ самомъ дѣлѣ долженъ былъ напоминать противникамъ, что онъ только Шарль Дюпюи, временный глава республиканскаго кабинета, что смѣшно приписывать ему какіе-либо коварныя замыслы противъ общественныхъ правъ и вольностей, и что, наконецъ, онъ готовъ покинуть свой постъ при первомъ желаніи парламента. Эти добродушныя попытки возвратить оппозиціонныхъ ораторовъ на почву дѣйствительности не имѣли успѣха,—быть мо-

жетъ потому, что безвредность нынѣшняго правительства не служить гарантіей для будущаго. Если традиціи прошлаго непримѣнимы въ настоящему, то онѣ примѣнимы въ возможному будущему, и мысль о какой-нибудь диктатурѣ, въ родѣ буланжистской, не покидаетъ многихъ республиканцевъ. Эта внутренняя, тщательно скрываемая, но невольна проявляющаяся неувѣренность въ окончательной прочности демократическаго строя республики освѣтилась особенно ярко во время долгихъ и сбивчивыхъ преній о законѣ противъ анархистовъ. Рѣчи Бриссона и Гоблѣ вращались около отвлеченныхъ доводовъ въ пользу свободы слова и печати, въ пользу важности суда присяжныхъ, и эти рѣчи казались прямо перенесенными въ нашу эпоху изъ временъ ораторской дѣятельности знаменитыхъ „пяти“ въ законодательномъ корпусѣ второй имперіи. Бриссонъ и Гоблѣ имѣли въ виду прошлое или предполагаемое будущее, когда съ пагосомъ громили политику, враждебную свободѣ мнѣній, ограничивающую дѣйствіе суда присяжныхъ и восстанавливающую „гнусное наслѣдіе деспотизма“ — ссылку, какъ прибавочное наказаніе. Изъятіе нѣкоторыхъ категорій проступковъ печати изъ вѣденія суда присяжныхъ дало наибольше матеріала для горькихъ укоровъ по адресу правительства. Въ этомъ специальномъ пунктѣ яснѣе всего отразилась склонность французскихъ республиканцевъ держаться традиціонныхъ взглядовъ, безъ провѣрки ихъ источника и безъ примѣненія ихъ къ новымъ условіямъ политическаго быта. Въ былое время судъ присяжныхъ для проступковъ печати представлялъ вѣрнѣйшее обезпеченіе свободы мнѣній отъ посягательствъ всемогущей государственной власти, при прежнемъ антагонизмѣ между правительствомъ и обществомъ; поэтому требованіе суда присяжныхъ для дѣлъ этого рода было всегдашнимъ лозунгомъ либеральной оппозиціи. Какой же смыслъ имѣетъ и для чего вообще нужна эта гарантія теперь, при господствѣ республики во Франціи? Развѣ свобода слова и печати мало еще обезпечена республиканскими учрежденіями, и она нуждается теперь въ такихъ же гарантіяхъ, какъ при Бурбонахъ или Бонапартахъ? Общественное мнѣніе есть единственная основа власти при современномъ строѣ французскаго государства, а многіе французы, по старой памяти, беспокоятся за судьбу этой свободы мнѣній, если отпадутъ нѣкоторыя второстепенныя пристройки, воздвигнутыя когда-то для обороны отъ несуществующихъ нынѣ враговъ. Политическая жизнь полна такими бессознательными остатками прошлаго, и нерѣдко имъ продолжаютъ придавать важное значеніе послѣ того, какъ они давно уже утратили свой *raison d'être*.

Самымъ интереснымъ эпизодомъ парламентскихъ преній о законопроектѣ Дюпюи былъ ораторскій турниръ между радикаломъ-со-

ціалистомъ Жоресомъ, консервативнымъ республиканцемъ Полемъ Дешанелемъ и оппортунистомъ Рувье, въ засѣданіи 25 (13) іюля. Жоресъ предложилъ включить въ законъ новую статью, которая имѣетъ всѣ признаки злой ироніи: наказаніямъ за возбужденіе анархистской пропаганды должны, по его мнѣнію, подлежать всѣ политическіе дѣятели, министры, сенаторы, депутаты, которые торговали своими полномочіями, получали взятки или участвовали въ темныхъ финансовыхъ дѣлахъ, присутствуя въ правленіяхъ и совѣтахъ обществъ, признанныхъ въ послѣдствіи недобросовѣстными, или пропагандируя упомянутыя темныя дѣла путемъ печати или словесно передъ однимъ или нѣсколькими лицами. Это, повидимому, шутиливое предложеніе послужило темою для блестящей, въ высшей степени серьезной двухъ-часовой рѣчи, которая, даже по отзыву „Темпръ“, держала всю палату подъ обаяніемъ рѣдкаго ораторскаго таланта и искусства. Большинство съ лихорадочнымъ вниманіемъ и съ великимъ наслажденіемъ слушало человѣка, который выступилъ яркимъ противникомъ и обвинителемъ этого большинства; онъ облачалъ свои ядовитѣйшія стрѣлы въ такія изящныя художественныя формы, что вызывалъ удовольствіе и одобреніе даже среди тѣхъ, въ кого эти стрѣлы были направлены. Жоресъ объяснялъ очень красиво и картинно, что истинные виновники и подстрекатели анархизма суть тѣ политическіе и финансовые дѣльцы, которые своими нечестно нажитыми богатствами и своимъ презрѣніемъ къ трудящимся бѣднякамъ ожесточали рабочее населеніе противъ всего буржуазнаго общества. „Рабочіе посылались въ Панаму и умирали тамъ въ увѣренности, что они участвовали въ великомъ дѣлѣ—прорытіи панамскаго канала; но что они должны были бы подумать о жизни и смерти, еслибы поняли, что служили только отдаленнымъ предлогомъ для убійственной спекуляціи, что они были только смѣшными статистами въ пьесѣ, которая въ дѣйствительности разыгрывалась въ другомъ мѣстѣ, за кулисами парламента, печати и банковъ“. Презрѣніе къ власти, къ законамъ и къ человѣческой жизни характеризуетъ политическихъ и финансовыхъ дѣльцовъ въ такой же мѣрѣ, какъ и анархистовъ; поэтому, карая послѣднихъ, нельзя освобождать и первыхъ. „Вспомните,—говорилъ ораторъ,—образное выраженіе древняго поэта: пыль есть измѣнившаяся сестра грязи. Вся эта жгучая пыль анархистскаго фанатизма, ослѣпившая нѣкоторыхъ несчастныхъ, есть сестра той политиканской и капиталистической грязи, которую высушили ваши упущенія“. Вчерашніе заподозрѣнные сурово осуждаютъ теперь тѣхъ, которыхъ сами толкнули на путь отчаянія, и „страна видитъ передъ собою удивительный парадоксъ, дѣлающій изъ правосудія иронію,—предъ нами безпощадные панамисты“. Какъ на яркій примѣръ рас-

тѣвшаго вліянія, производимаго финансами на политику, Жоресъ указываетъ на способнѣйшаго и опытнѣйшаго изъ республиканскихъ финансистовъ, нынѣ председателя бюджетной коммиссіи, Рувье: онъ могъ бы быть лучшимъ реформаторомъ и устроителемъ государственныхъ финансовъ республики, но вступилъ въ сношенія съ банками и попалъ къ нимъ въ зависимость. Какъ нравственные сообщники анархистовъ, виновные политическіе дѣльцы должны нести на себѣ одинаковую съ ними отвѣтственность; и „когда одинъ и тотъ же корабль унесетъ къ нездоровымъ берегамъ ссылки уличеннаго дѣльца и анархиста-убійцу, между ними можетъ завязаться бесѣда, и они покажутся другъ другу, какъ двѣ дополняющія себя взаимно стороны одного и того же общественнаго порядка“.

Разумѣется само собою, что Жоресъ не рассчитывалъ на принатіе своего предложенія и не думалъ серьезно смѣшивать аферистовъ съ анархистами; ссылка тѣхъ и другихъ мало, впрочемъ, измѣнила бы положеніе дѣлъ, такъ какъ вопросъ о темномъ и бѣдствующемъ пролетаріатѣ, ослѣпленномъ фанатическою враждою къ буржуазіи, нисколько не разъясняется подобными параллелями и аллегоріями. Но близкое родство между нравственною грязью господствующаго промышленнаго класса и безумными формами протеста среди забытыхъ бѣдняковъ представляется вполне правдоподобнымъ, хотя спеціальная „грязь“, о которой говорилъ Жоресъ, едва ли имѣетъ прямое отношеніе къ анархизму. Представитель радикально-соціалистической группы въ парламентѣ значительно ослабилъ свою филиппику, придавъ ей чисто партійный характеръ; онъ хотѣлъ взвалить отвѣтственность за всѣ нравственные и общественные недуги послѣднихъ лѣтъ на однихъ оппортунистовъ, и такимъ образомъ, несмотря на эффектное краснорѣчіе, вопросъ былъ поставленъ на почву мелкихъ партійныхъ и личныхъ счетовъ. Поль Дешанель сталъ въ свою очередь обвинять во всемъ радикаловъ и ихъ бывшаго предводителя Клемансо, напоминая о денежныхъ сношеніяхъ послѣдняго съ Корнелиемъ Герцотомъ, объ извѣстной исторіи созданія и развитія буланжизма, и т. п.; и въ концѣ концовъ выяснилось, что ораторы радикальной партіи имѣютъ столь же мало правъ на роль проповѣдниковъ высокой нравственности, какъ и оппортунисты и консерваторы. Съ своей стороны, Рувье выступилъ на защиту своей личной чести и въ довольно трогательныхъ выраженіяхъ убѣждалъ палату въ безусловной чистотѣ и добросовѣстности своей долгой политической дѣятельности. Засѣданіе, полное краснорѣчія, осталось такимъ образомъ совершенно безплоднымъ; оно имѣло лишь одинъ побочный результатъ—дуэль между Дешанелемъ и Клемансо на другой день послѣ этихъ рѣчей. Надо замѣтить, что бывший вождь

радикаловъ является наименѣе симпатичнымъ изъ всѣхъ выдающихся людей современной Франціи. Необычайная ловкость, находчивость и остроуміе замѣняютъ собою недостающія у него нравственныя качества—и замѣняютъ съ успѣхомъ, какъ видно изъ приверженности къ нему значительной части прогрессистовъ и радикаловъ. Тогда какъ Рувье, задѣтый за живое Жоресомъ, пытался разъяснить и разсѣять остатки прежнихъ подозрѣній,—Клемансо разразился въ своей „Justice“ площадною бранью противъ Дешанеля, называя его трусомъ, лжецомъ, негодаемъ и т. п., безъ малѣйшаго даже намёка на опроверженіе фактовъ, указанныхъ Дешанелемъ. Вдобавокъ Дешанель получилъ еще ударъ шпагой въ лицо и долженъ былъ, по рутинѣ „законовъ чести“, признать себя удовлетвореннымъ своей раной за грубыя ругательства противника.

Оригинальнѣе всего то, что ироническое предложеніе Жореса, оставленное почти безъ вниманія ораторами различныхъ партій, едва не было принято палатою при голосованіи, по недоразумѣнію; предложеніе было отклонено 229 голосами противъ 224, большинствомъ всего пяти голосовъ. Ораторскія стычки далеко отвлекли мысли депутатовъ отъ правительственнаго законопроекта, и законъ объ анархистахъ могъ нечаянно превратиться въ законъ объ аферистахъ. Тотъ рабочій міръ, въ углахъ котораго зарождаются типы въ родѣ Казеріо, есть дѣйствительно совершенно чуждый міръ для общества, гдѣ Жоресъ нападаетъ на Рувье, а Дешанель вызываетъ на дуэль Клемансо; на поверхности политической жизни все происходитъ по старому, а на днѣ совершаются вѣроятно тѣ же темныя метаморфозы, до которыхъ не дойдетъ дѣйствіе новаго закона, ибо слишкомъ обширна пропасть между среднимъ образованнымъ кругомъ лицъ и растущимъ гдѣ-то во мракѣ возбужденіемъ, дающимъ почву для анархизма. Законъ можетъ ограничить внѣшнюю, открытую пропанду преступныхъ воззваній, и въ этомъ смыслѣ онъ принесетъ свою долю пользы; и ничего большаго не ждутъ отъ него и ближайшіе сторонники и единомышленники нынѣшняго французскаго министерства. А между тѣмъ принятіе закона послѣ долгихъ усилій—поддерживаетъ иллюзію, что сдѣлано нѣчто важное и существенное, и парламентъ и правительство отложили дальнѣйшія заботы до осени, не назначивъ никакой специальной комиссіи для изслѣдованія и изученія вопроса, котораго едва коснулись парламентскія пренія. Французскіе политическіе дѣятели не слѣдуютъ въ этомъ отношеніи поучительному примѣру англійской палаты общинъ, и оттого они несравненно чаще подвергаются разнымъ неожиданностямъ, чѣмъ англійскіе правители и законодатели. Изслѣдованія и отчеты англійскихъ парламентскихъ комиссій освѣщаютъ, напримѣръ, положеніе рабочаго

класса съ разныхъ сторонъ и даютъ массу подробныхъ свѣдѣній, чрезвычайно цѣнныхъ для практическаго государственнаго человѣка или филантропа; а во Франціи ничего подобнаго нѣтъ, и даже какъ будто не сознается настоящей пользы и необходимости такихъ официальныхъ изслѣдованій прежде составленія и изданія закона по данному предмету.

Французскій законъ объ анархистахъ очень понравился почему-то нѣкоторымъ нашимъ газетамъ, усматривающимъ въ немъ, по обыкновенію, то, чего въ немъ нѣтъ и быть не можетъ. „Московскія Вѣдомости“ находятъ, что новымъ закономъ „дѣла объ анархистахъ“ изъяты изъ вѣденія судовъ присяжныхъ, и почтенная газета даже предвидитъ, что нашъ журналъ „весьма этимъ опечалится“, такъ какъ означенное обстоятельство указываетъ на упадокъ довѣрія и уваженія въ институту присяжныхъ во Франціи. Къ сожалѣнію, выводы и предположенія газеты по меньшей мѣрѣ преждевременны, ибо дѣла объ анархистахъ вовсе не изъяты изъ вѣденія суда присяжныхъ, и, напримѣръ, процессъ Казеріо будетъ разбираться обычнымъ порядкомъ предъ судомъ присяжныхъ. Только специальная категорія проступковъ печати передается въ суды исправительной полиціи,—но, какъ извѣстно и „Московскимъ Вѣдомостямъ“, участіе присяжныхъ въ дѣлахъ по проступкамъ печати далеко не составляетъ общаго правила, и, какъ мы уже замѣтили выше, это участіе не имѣетъ теперь во Франціи того значенія, какое оно имѣло когда-то. Во всякомъ случаѣ забавно видѣть, что „Московскія Вѣдомости“ считаютъ признакомъ недовѣрія къ „суду улицы“ устраненіе присяжныхъ при разбирательствѣ такого рода дѣлъ, относительно которыхъ у насъ даже не возникало мысли объ участіи присяжныхъ засѣдателей; еще забавнѣе дѣлаемый отсюда выводъ почтенной газеты о томъ, что во Франціи не держатся уже такого высокаго мнѣнія объ этомъ институтѣ, какъ у насъ. „Московскія Вѣдомости“ выражаютъ также свое удовольствіе по поводу ограниченія судебной гласности новымъ французскимъ закономъ, т.-е. по поводу предоставленія суду права запрещать печатаніе отчетовъ о судебныхъ преніяхъ при разбирательствѣ дѣлъ объ анархистахъ. По увѣренію газеты, „это, можно сказать,—полное крушеніе одной изъ самыхъ невыблемыхъ основъ европейскаго либерализма и одной изъ пагубнѣйшихъ теорій западной цивилизаціи—свободы слова, и частнаго ея проявленія—неограниченной судебной гласности“. Какъ можетъ серьезная газета высказывать подобный—*sit venia verbo*—вадоръ? Неужели недопущеніе обнародованія и распространенія судебныхъ рѣчей и заявленій такихъ фанатиковъ-убійцъ, какъ Эмиль Анри или Казеріо, имѣетъ что-либо общее съ ограниченіемъ свободы слова? Судебная гласность остается въ пол-

ной силѣ, такъ какъ дѣла будутъ разбираться публично, и только подсудимые будутъ лишены возможности разсчитывать на распространіе своихъ несчастныхъ „идей“ въ массѣ рабочаго люда—идей о пользѣ и необходимости избіенія „жирныхъ буржуа“ для блага народа. Газета совершенно напрасно утверждаетъ, что запрещать проповѣдь убійствъ — значитъ ограничивать свободу мнѣній и ученій; смѣемъ увѣрить почтенную газету, что никто и никогда не считалъ дозволеннымъ воззваніе къ преступнымъ дѣйствіямъ противъ жизни и собственности, на основаніи принципа неограниченной свободы слова и печати.

„Московскія Вѣдомости“ полагаютъ, что такъ-называемые либеральные принципы — свобода личности, свобода совѣсти и мнѣній, начало терпимости, публичность и гласность суда — зависать отъ временной, преходящей моды, и теряютъ уже свое значеніе на западѣ, откуда мы ихъ будто бы заимствуемъ, въ качествѣ новѣйшихъ „незыблемыхъ доктринъ“ и „последнихъ словъ“ науки; но если перечисленные принципы либерализма, по мнѣнію газеты, начинаютъ выходить изъ моды, и люди перестаютъ на западѣ дорожить правами личной свободы и общественной самодѣятельности, то оставалось бы думать, что и старинныя предписанія христіанской морали, съ точки зрѣнія „Московскихъ Вѣдомостей“, давно уже вышли изъ моды и не должны, будто бы, признаваться обязательными для русскіихъ патриотовъ.

Послѣ паденія Стамбулова стали впервые появляться въ нашихъ газетахъ подробныя сообщенія русскихъ корреспондентовъ о болгарскихъ дѣлахъ и дѣятеляхъ; наша публика получила такимъ образомъ возможность составить себѣ хоть приблизительное понятіе о внутреннемъ состояніи Болгаріи, независимо отъ австрійскихъ источниковъ. Къ сожалѣнію, эти отчеты русскихъ корреспондентовъ о видѣнномъ и слышанномъ ими въ Софіи отличаются нѣкоторою односторонностью; въ нихъ слишкомъ мало фактическихъ свѣдѣній, и читатель узнаетъ больше о бесѣдахъ съ разными вліятельными лицами, чѣмъ о дѣйствительномъ положеніи дѣлъ въ княжествѣ. Изъ тѣхъ немногихъ данныхъ, которыя сообщены до сихъ поръ, можно сдѣлать пока только два вывода: во-первыхъ, что населеніе чрезвычайно довольно отставкою Стамбулова, который былъ настоящимъ „тираномъ“ для народа, и во-вторыхъ, что болгарскій народъ проникнутъ живѣйшимъ чувствомъ благодарности и симпатіи въ Россіи и что это чувство раздѣляется и принцемъ Фердинандомъ. Но нѣкоторые второстепенные факты, приводимые тѣми же корреспондентами, вызываютъ невольныя сомнѣнія въ точности сдѣланныхъ наблюденій.

Насколько намъ извѣстно, „Русская Жизнь“ первая послала своего сотрудника въ Болгарію, еще при господствѣ Стамбулова. Въ первомъ обстоятельномъ письмѣ, появившемся въ № 148 названной газеты, г. В. В.—зовъ весьма живо и интересно описываетъ радостное возбужденіе болгаръ подъ вліяніемъ неожиданной отставки „тирана“. Еще до этого событія, при владычествѣ грознаго министра, корреспондентъ успѣлъ побывать у Каравелова въ тюрьмѣ, „вопреки прямому запрещенію Стамбулова и министерскаго совѣта“. Каравеловъ сказалъ ему между прочимъ, что „нынѣшній (Стамбуловскій) режимъ продержится еще нѣсколько лѣтъ“ и что въ будущемъ году можно будетъ опять посѣтить его, Каравелова, „здѣсь, въ тюрьмѣ“. Черезъ недѣлю послѣ переворота корреспондентъ вторично былъ у Каравелова и засталъ у него въ тюрьмѣ даже „большое общество“ (1). Очевидно, никакой серьезной перемѣны въ судьбѣ Каравелова не произошло, и корреспондентъ ни однимъ словомъ не намекаетъ на тяжелое положеніе заключеннаго при Стамбуловѣ и на существенное облегченіе этого положенія при министрахъ, замѣнившихъ „тирана“.

Что касается симпатій болгаръ къ Россіи и русскимъ, то объ этомъ писалъ преимущественно корреспондентъ „Новаго Времени“, имѣвшій продолжительный разговоръ съ принцемъ Фердинандомъ. Несмотря на сильное, будто бы, желаніе примиренія съ Россіею, болгарскіе дѣятели, съ принцемъ Кобургскимъ во главѣ, отрицаютъ возможность какого-либо серьезнаго почина съ своей стороны для достиженія этой цѣли. Какъ „тиранство“ Стамбулова, такъ и восторженное, будто бы, влеченіе болгаръ къ Россіи остаются пока еще неясными и нуждаются въ дальнѣйшихъ разъясненіяхъ, которыхъ однако мы едва ли дождемся отъ корреспондентовъ нашихъ газетъ.



ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го августа 1894.

— И. А. Саловъ. Суета мірская. Очерки и рассказы. Москва, 1894.

Рассказы изъ народнаго быта стали, кажется, неперемѣнною составною частью нашей литературы, притомъ въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и направленіяхъ: и въ сентиментальной идеализаціи, какъ, напр., у г. Златовратскаго, и въ бѣглыхъ мѣткихъ очеркахъ, перемежающихся размышленіями о народной жизни и объ отношеніяхъ къ ней высшаго правящаго и образованнаго люда, какъ у Глѣба Успенскаго, и въ рѣзкихъ реальныхъ картинахъ, какъ у Л. Н. Толстого и его начинающейся школы, или въ его же полу-мистическихъ повѣствованіяхъ, и, наконецъ, еще въ другихъ оттѣнкахъ этихъ направлений. Рассказы г. Салова стоятъ особнякомъ; онъ не предается никакимъ фантазіямъ по поводу народа, не впадаетъ ни въ реальный, ни въ идеалистическія преувеличенія, и хочетъ быть только правдивымъ рассказчикомъ о томъ, что онъ знаетъ, что имѣлъ возможность близко наблюдать. Это одно качество очень цѣнно, когда въ другихъ случаяхъ читателю часто приходится встрѣчать слишкомъ субъективную окраску народной жизни. Различный тонъ повѣсти изъ народнаго быта, какою являлась она въ послѣднія десятилѣтія, былъ несомнѣнно связанъ съ различными настроеніями общественной жизни, а также и съ различными фазисами въ постановкѣ вопросовъ народнаго быта въ правящихъ сферахъ. Сентиментальная идеализація была понятна въ ожиданіи крестьянской реформы, какъ нетерпѣливое сочувствіе къ поработенному классу; и позднѣе, она повторилась въ кругу идеалистовъ, ожидавшихъ, что вступленіе народа въ общественную жизнь должно возбудить и оплодотворить ее лучшими сторонами народнаго содержанія. Рядомъ съ этимъ являлось, однако, и другое настроеніе: настоящая дѣйствительность народной жизни не могла не найти своего выраженія, и эта дѣйстви-

тельность бывала перѣдко такъ безотраднa, что, напр., рассказы Рѣшетникова являлись оборотной стороною медали. Новѣйшія черты народнаго быта, приниженность массы и систематическое развитіе кулачества были отмѣчены Салтыковымъ, который оставилъ также замѣчательную, художественно и исторически, картину до-реформенныхъ нравовъ. Мрачная сторона народнои жизни не однажды находила свое изображеніе въ поэзіи Некрасова, и т. д.

Въ послѣднее время вопросъ о народѣ становится все болѣе реальнымъ и нагляднымъ. Со времени освобожденія онъ долженъ былъ все болѣе уходить изъ области теоретическихъ мечтаній и становится предметомъ обширныхъ и настойчивыхъ изученій, правительственныхъ, общественныхъ и личныхъ: изучалась народная старина, преданіе и обычаи; изучались экономическія формы быта и экономическія средства народа; изучалось юридическое положеніе, состояніе религиозныхъ понятій, степень грамотности и степень потребности въ ней; народныя бѣдствія послѣдняго времени, голодъ и эпидемія, странствія десятковъ тысячъ переселенцевъ, встрѣченные лицомъ къ лицу самоотверженными друзьями народа, раскрыли и передъ массою общества многое, чего оно не подозрѣвало или о чемъ имѣло только смутное представленіе. Когда начались такого рода фактическія изученія, можно было ожидать, что это отразится и на беллетристическихъ изображеніяхъ народнаго быта.

Такими представляются намъ произведенія г. Салова. Прежде всего онъ очень близко знакомъ съ крестьянскою жизнью нравственною и матеріальною; поэтому нѣтъ у него ни мистическихъ ожиданій того, что эта жизнь должна преобразовать несчастную „интеллигенцію“, ни какого-нибудь покровительственнаго отношенія къ народной средѣ, вообще преувеличеній въ ту или другую сторону. Онъ смотритъ спокойно на явленія народнои жизни, на тѣ или другіе характеры; но онъ знаетъ, что эта жизнь поставлена въ свои особые условія земледѣльческаго быта, малаго достатка, скудной или никакой школы, малой обезпеченности, юридической и общественной; это — обыкновенные люди, среди которыхъ встрѣчаются и живыя дѣятельныя натуры, и сильные характеры, и загнанныя существованія и т. д., и авторъ, какъ спокойный наблюдатель, рисуетъ эту жизнь, безъ предвзвѣтой цѣли внушить читателю какой-нибудь теоретическій взглядъ или тенденціозное впечатлѣніе. Но въ ряду всѣхъ другихъ опытовъ именно этого послѣдняго свойства рассказы г. Салова получаютъ свой особый интересъ — безпристрастной и непритязательной картины, въ которой найдется, однако, не мало привлекательнаго. Онъ умѣетъ нарисовать деревенскій пейзажъ, какъ нѣкогда научалъ понимать его Тургеневъ; онъ умѣетъ войти сполна

въ народное міровоззрѣніе и нѣкоторые изъ его деревенскихъ героевъ могутъ считаться въ ряду лучшихъ народныхъ типовъ, какіе есть въ нашей литературѣ „изъ народнаго быта“. Таковъ Николай Суетной, таковъ старый рыбакъ Дроничъ, исторію которыхъ онъ рассказываетъ; таковы и нѣкоторые второстепенныя лица, которыми обставлены эти исторіи.

Приведемъ для образчика небольшой отрывокъ, изображеніе пейзажа изъ разсказа „Лѣсъ“.

„Песчанскіе лѣса, — такъ открывается этотъ разсказъ, — покрывавшіе собою тысячъ пять, шесть десятинъ земли и сливавшіеся затѣмъ съ удѣльными и казенными, считаются въ нашей мѣстности самыми привольными мѣстами для ружейной охоты. Въ старину въ лѣсахъ этихъ укрывались, говорятъ, разбойничьи шайки Бакуты и Зеленцова, водились медвѣди, но теперь, когда исправники и становые перестали взяточничать, а штуцера усовершенствованы до *per plus ultra*, о разбойникахъ и медвѣдяхъ остались только одни страшные разсказы. По самой срединѣ лѣса протекала большая рѣка Песчанка, весьма глубокая, водная и рыбная. Въ ней водились: судаки, задумчивые сазаны, лещи, окуни, щуки и даже „бирючки“, такъ рѣдко встрѣчающіеся въ другихъ рѣкахъ. Рѣка эта во время весеннихъ разливовъ потопляла большое пространство лѣса, образуя множество болотъ, озеръ и ериковъ, поросшихъ густымъ лознякомъ. Эти-то болота и были удобнѣйшими притонами всевозможной дичи. Весною и осенью лѣсъ наполнялся вальдшнепами, а лѣтомъ утками, гусями. Стоило только подойти въ болоту, гаркнуть хорошенько, и утки цѣлыми стаями поднимались изъ камышей и ериковъ оглашали лѣсъ. Здѣсь же водились тетерева, куропатки, а изъ звѣрей — лисы и волки... про зайцевъ я ужъ не говорю! Поэтому, не было въ году такого времени, когда бы охотникъ въ лѣсахъ этихъ не нашелъ себѣ добычи. Тутъ весной пѣлъ соловей, свистѣла иволга, замирала малиновка, куковала кукушка. Тутъ зрѣла малина, смородина, ежевика, и здѣсь же, въ зелено-изумрудной лѣсной травѣ, таились грибы всевозможныхъ породъ. Тутъ царила вѣчная прохлада, вѣчная тишина... Зайдешь, бывало, въ этотъ лѣсъ, оглянешься, да такъ и вскрикнешь: ахъ, благодать!

„Любилъ я этотъ лѣсъ, во-первыхъ, потому, что настрѣдаешься и памаешься какъ нельзя лучше, а во-вторыхъ, и потому, что въ немъ проживалъ рыбакъ Дроничъ, у котораго можно было отдохнуть отъ усталости.

„Чудное онъ выбралъ себѣ мѣстечко.

„Представьте себѣ небольшую площадку на самомъ берегу рѣки, окруженную съ трехъ сторонъ сплошною стѣною лѣса; маленькую

избушку изъ дикаго камня, тщательно выбѣленную мѣломъ, опрятную, чистенькую, два, три развѣсистыхъ могучихъ вяза, словно нарочно, для красоты посаженныхъ среди площадки; растянутые по колыямъ невода и сѣти; выкопанныя въ берегу ступеньки къ рѣкѣ; выжженное, вѣчно покрытое пепломъ и углями, круглое мѣстечко, на которомъ Дронычъ варилъ себѣ въ котелкѣ обѣдъ, и вы составите себѣ нѣкоторое понятіе объ уголкѣ. Гдѣ-то, на какой-то выставкѣ, мнѣ случилось встрѣтить ландшафтъ въ этомъ родѣ. Картинка была небольшая, масляная, висѣла она скромнѣхонько, не на видномъ мѣстѣ (всѣ видныя мѣста занимались большими картинами), а гдѣ-то въ уголочкѣ... Но передъ картинкой этой стояли всегда толпы зрителей, и каждый, смотря на нее, словно просвѣтлялся и добрѣлъ. Засмотрѣлся и я на нее. Точъ въ точъ Дронычева полянка. Тотъ же дубовый лѣсъ, тѣ же два-три куста клена на опушкѣ, красные, съ лапчатыми листьями, словно кровью обогрѣнные; тѣ же кудрявые вязы на площадкѣ, та же бѣлая избушка, крытая соломой. Недоставало только рѣки, крутого берега, да растянутыхъ сѣтей съ неводами. Лучъ солнца, мягкій, теплый, освѣщаетъ эту картинку какимъ-то зеленоватымъ свѣтомъ, и теплота освѣщенія такъ сообщалась зрителю, что ему самому становилось тепло, словно и его тоже припекало... Даже пахло какъ-то лѣсомъ“.

Въ этомъ лѣсномъ захолустѣ и проживалъ старый рыбакъ.

„Дронычъ былъ старикъ лѣтъ восьмидесяти, высокій, костлявый, съ длинной, пожелтѣвшей отъ старости бородой, густыми сѣдыми волосами, которымъ позавидовалъ бы любой протодьяконъ, и орлинымъ носомъ. Ни дать, ни взять Сатурнъ, какимъ изображаютъ его на картинахъ. Жилъ Дронычъ въ лѣсу одинъ-одиошеникъ (если не считать шустрой и вертлявой собачонки Жучки, ужасно боявшейся зайцевъ), снималъ въ аренду рыбныя ловли по рѣкѣ Песчанкѣ, имѣлъ небольшой пчельникъ, тутъ же неподалеку отъ избушки; а зимой нанимался въ полѣсовые и сторожилъ часть окружавшаго лѣса. Дронычъ самъ себѣ страпалъ, самъ воздѣлывалъ свой крохотный огородецъ, притаившійся вондѣ самой воды, подъ кручей (капуста у него всегда была—загляднѣе: бѣлая, большущая, съ туго завитыми вилками); самъ ухаживалъ за своимъ пчельникомъ, самъ вязалъ сѣти, и къ посторонней помощи прибѣгалъ только тогда, когда не было уже никакой возможности одному справиться съ дѣломъ. Жилъ онъ пустыннымъ и только раза два, три въ недѣлю прибѣгала къ нему изъ села Песчанки внучка Груня, то съ какимъ-нибудь серомнымъ гостинцемъ, а то и съ пустыми руками, но зато съ богатымъ запасомъ добрыхъ ласковыхъ словъ и веселыхъ пѣсень“.

Но старый рыбакъ не всегда жилъ такимъ отшельникомъ. Лѣтъ

шесть-семь назадъ онъ былъ первымъ человѣкомъ въ своемъ селѣ. У него была многочисленная семья изъ женатыхъ сыновей и замужнихъ дочерей; у него были внуки и даже правнуки. Семья жила въ нѣсколькихъ хорошихъ избахъ, но составляла одно цѣлое, которымъ онъ правилъ. Все хозяйство было въ его рукахъ: онъ распоряжался всѣми работами, работалъ и самъ на мельницѣ и на пчельникѣ. „Надо было удивляться энергіи и силѣ этого восьмидесятилѣтняго старца. Честности Дроничъ былъ патриархальной, — именно патриархальной, — и на возродившихся въ послѣднее время кулаковъ и мірофодовъ смотрѣлъ не только съ негодованіемъ, но даже съ какимъ-то ожесточеніемъ. Еслибы онъ имѣлъ власть, онъ проклялъ бы ихъ съ церковнаго амвона, забросалъ бы камнями, а дома предалъ бы сожженію. Старые порядки ступевались, деревня измѣнилась, а Дроничъ все жилъ по старому, жилъ патриархомъ и на все новое ворчалъ“.

Но время дѣлало свое: семья стала наконецъ таготиться этой властью; сыновья сначала робко, потомъ настойчиво стали просить раздѣла; старикъ отказывалъ, говоря имъ: „умру, все ваше будетъ“, но недовольство росло, приказанія его не исполнялись, сыновья стали заглядывать въ кабакъ. Наконецъ, раздоръ достигъ своего предѣла и однажды одинъ изъ сыновей, Климу, поднялъ на отца руку, накинута на него съ желѣзными вилами, сильно поранилъ ему голову, но подвернулась Груня, внучка старика, и, повиснувъ на рукѣ отца, спасла дѣда.

„Долго пролежалъ Дроничъ безъ памяти на гунѣ, наконецъ очнулся, всталъ, подошелъ къ рѣкѣ, обмылъ кровь съ головы и цѣлыхъ трое сутокъ, какъ раненый звѣрь, блуждалъ по лѣсу. Всѣ эти дни онъ не пилъ и не ѣлъ ничего. На четвертый день, съ повязанной головой, блѣдный, исхудалый, мрачный, вернулся домой, собралъ всю семью и отдалъ ей все, что имѣлъ. Затѣмъ онъ обулся въ лапти, надѣлъ на себя старую сермягу, изорванную шапку, отрѣзалъ ломоть хлѣба, помолился на образа и, молча поклонившись въ поясъ семьѣ, а Климу въ ноги, ушелъ вонъ изъ дома, не взявъ съ собой ни копейки. У воротъ онъ встрѣтилъ внучку Груню, погладилъ ее по головѣ, перекрестилъ и молча пошелъ. Говорятъ, это была страшная сцена! Старикъ съ тѣхъ поръ домой не возвращался.

„Долго тосковалъ Дроничъ. Именемъ Христовымъ обошелъ онъ всѣ русскія святины, побывалъ въ Кіевѣ, Москвѣ, лаврѣ Сергіевской, Воронежѣ, Задонскѣ, но родина тянула его и онъ возвратился, только не въ село Песчанку, не въ семью, а въ сосѣдній лѣсъ. Все это произошло лѣтъ семь тому назадъ. Дроничъ построилъ себѣ избушку, снялъ въ аренду рыбныя ловли, завелъ пчельникъ (онъ началъ съ

одного роя, который случайно былъ пойманъ въ лѣсу) и, промышляя рыбой, началъ свою жизнь снова, совершенно удалившись отъ людей. Онъ словно сталъ бояться людей, да и нечего ему было дѣлать съ ними, ибо люди точно переродились, точно и не были тѣми, какими видѣлъ онъ ихъ когда-то. И онъ былъ чужимъ для нихъ, и они для него“...

Раздѣлившаяся семья разстроилась и обѣднѣла.

Въ разсказахъ г. Салова есть эта простая деревенская идиллія, но содержаніе ихъ мрачно: оба главные разсказа этой книжки кончатся тяжелымъ финаломъ, причина котораго лежитъ въ тѣхъ или другихъ условіяхъ деревенской жизни. Третій небольшой разсказъ: „Ѣдетъ!“ (т.-е. Ѣдетъ архіерей, обозрѣвающій епархію)—передаетъ довольно извѣстную исторію встрѣчи архіерея деревенскимъ клиромъ; но и здѣсь изъ-за комическихъ подробностей выдается опять невеселая картина жизни деревенскаго духовенства. Наконецъ, авторъ прекрасно владѣетъ народнымъ языкомъ: въ немъ нѣтъ никакихъ вычуръ, къ какимъ нерѣдко прибѣгаютъ другіе; онъ совершенно простъ, но въ то же время носитъ весь колоритъ деревни.

— Македонско-славянскій сборникъ, съ приложеніемъ словаря. Составилъ П. Драгановъ. Выпускъ I. Спб. 1894.

Кто нѣсколько слѣдитъ за политическими событіями послѣдняго времени на Балканскомъ полуостровѣ, тому извѣстно, что Македонія—страна съ славянскимъ населеніемъ, оставшаяся неосвобожденною послѣ русско-турецкой войны и берлинскаго трактата—составляетъ предметъ самыхъ ревностныхъ политическихъ заботъ южно-славянскихъ патріотовъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, яблоко раздора между болгарами и сербами, а также, съ третьей стороны, и греками. Что сама Македонія мечтаетъ объ освобожденіи или автономіи, это совершенно понятно, когда получили свободу ближайшіе единомышленники, съ которыми она дѣлила свою исторію и свое рабство. Но, съ той самой поры, когда могъ возникнуть этотъ вопросъ, возникъ и другой: кому должна принадлежать Македонія по своему историческому прошедшему и по своему этнографическому составу—Болгаріи или Сербіи? Потому что и въ томъ и въ другомъ отношеніи имѣютъ свою долю въ Македоніи и болгары, и сербы. Два эти племена, по древнему и крѣпкому славянскому обычаю, весьма мало расположены другъ къ другу,—точнѣе, расположены другъ къ другу какъ кошка съ собакой; какъ извѣстно, едва освободившаяся Болгарія имѣла уже войну съ Сербією. Главный мотивъ, движущій обѣими сторонами, состоитъ въ же-

ланіи, присоединивъ Македонію, увеличить свою территорію и свою политическую силу. Для обѣихъ сторонъ исполненіе этого желанія обставлено большими трудностями: кромѣ того, что оба небольшія государства въ послѣднее время никакъ не могутъ справиться съ своими внутренними дѣлами и переживаютъ болѣзненные потрясенія и настоящіе перевороты, вопросъ о Македоніи не принадлежитъ къ ихъ политической компетенціи. Ея положеніе опредѣлено берлинскимъ трактатомъ; Македонія есть турецкая провинція; сама Болгарія есть вассальное княжество, зависимое отъ Турціи... Прямое рѣшеніе пока невозможно; остается готовить будущее, завязывая связи въ Македоніи, развивая вопросъ въ печати. Въ настоящее время составилась уже цѣлая литература о Македоніи — въ интересахъ болгарскихъ или сербскихъ: продиктованная всего болѣе политическими страстями, эта литература не отличается безпристрастіемъ, и, кажется, до сихъ поръ не привела ни къ какому ясному и общепризнаваемому выводу... Если когда-нибудь придетъ наконецъ разрѣшеніе македонскаго вопроса, всего справедливѣе оно могло бы быть достигнуто опросомъ населенія, произведеннымъ сколько возможно правильно и безпристрастно; произойдетъ ли это — неизвѣстно; въ самый періодъ освобожденія судьба Босніи и Герцеговины рѣшена была безъ всякаго ихъ вѣдома и безъ всякихъ справокъ объ ихъ желаніяхъ. По крайней мѣрѣ для выясненія дѣйствительнаго положенія вещей получаетъ чрезвычайную важность историческое и этнографическое изученіе страны, и въ этомъ отношеніи большой интересъ представляетъ названный трудъ г. Драганова.

Г. Драгановъ прожилъ въ восьмидесятихъ годахъ около трехъ лѣтъ въ Македоніи, въ качествѣ преподавателя въ болгарской гимназій въ Солуни, и тогда уже рѣшилъ „провѣрить на мѣстѣ степень основательности сербскихъ и болгарскихъ претензій на языкъ и народность тамошняго македонско-славянскаго населенія“. Съ этой цѣлью онъ обратился къ ученикамъ этой гимназій (преимущественно изъ низшихъ классовъ) съ предложеніемъ доставить ему послѣ рождественскихъ праздниковъ не менѣе двухъ образцовъ ихъ домашней поэзій и прозы. Условія для этого собранія матеріала были весьма благоприятны: ученики были исключительно македонцы изъ всѣхъ угловъ этой провинціи, притомъ довольно плохо усвоившіе болгарскій книжный языкъ. Ученики были еще такъ юны, что не занимались никакой политикой и между собой говорятъ не только на своемъ македонскомъ нарѣчій, преслѣдуемомъ учителями-болгарами, но даже на греческомъ языкѣ — къ еще большому ужасу этихъ учителей. Кромѣ этого матеріала, въ рукахъ г. Драганова собралось не мало другихъ произведеній народной поэзій и иныхъ этнографическихъ

матеріаловъ, собранныхъ другими лицами; наконецъ, многое собрано было самимъ г. Драгановымъ въ различныхъ пунктахъ Македоніи. Такимъ образомъ составилъ обширный сборникъ памятниковъ языка и народной поэзіи македонцевъ, сборникъ тѣмъ болѣе важный, что и сербы и болгары одинаково не желаютъ допустить литературной обработки македонскаго нарѣчія. Къ памятникамъ современнымъ г. Драгановъ присоединилъ и тѣ образцы македонскаго нарѣчія, какіе за послѣднія полтора столѣтія находятся въ старыхъ печатныхъ книгахъ и рукописяхъ, или въ новѣйшее время были записаны собирателями изъ болгаръ, сербовъ или мѣстныхъ патріотовъ, а также изъ совершенно безпристрастныхъ этнографовъ и филологовъ. Наконецъ, собиратель присоединилъ образцы народной словесности инородческихъ племенъ, проживающихъ въ Македоніи, а именно образцы: новогреческіе, вуцо-волошскіе или цыцарскіе, албанскіе или арнаутскіе, турецкіе и караманійскіе.

Населеніе Македоніи было издавна довольно пестрое, какъ и въ своей исторіи она различнымъ образомъ соприкасалась съ окрестными странами, о чемъ и сохранила память эпическая пѣсня македонцевъ. Г. Драгановъ въ своемъ введеніи отмѣчаетъ нѣкоторыя черты, особенно обращающія на себя вниманіе. „Прежде всего, — говоритъ онъ, — бросается въ глаза тотъ фактъ, что среди этихъ царей, королей, воеводъ, юнаковъ и пр. то-и-дѣло фигурируютъ самыя дорогія лица и достопамятныя событія средней, новой и даже новѣйшей сербской исторіи“. Пѣсни пересыпаны именами старыхъ сербскихъ царей и воеводъ; затѣмъ сами македоняне стараго времени, служившіе Византіи, Сербіи и новой Греціи — „короли“, воеводы, юнаки, гайдуки и разбойники; напротивъ, болгары являются только рѣдко и безъ особеннаго самостоятельнаго значенія. При обзорѣ географическихъ мѣстностей, упоминаемыхъ въ народной поэзіи македонцевъ, „выдается весьма рельефно то обстоятельство, что рядомъ съ вышеуказаннымъ култомъ всего сербскаго у македонцевъ, ихъ же поэзія относится весьма равнодушно и чуть ли не совершенно безучастно къ болгарщинѣ. Такъ на пространствѣ не одной настоящей книги, но и всего нашего сборника ни разу тамъ не упоминаются македонцами самыя дорогіе города болгарскаго княжества и восточной Румелии, напримѣръ политическіе центры вновь образованнаго государства, ни одна болгарская знаменитость... въ то самое время, когда далекіе Будимъ-градъ (Буда-Пештъ) или Сибинградъ (румынскій Сыбеу, нѣмецкій Германштадтъ), не говоря уже о Бѣлградѣ сербскомъ, у нихъ (македонцевъ) почти-что не сходятъ съ языка... То же самое нужно сказать и о рѣкахъ болгарскихъ, о которыхъ македонцы и слыхомъ не слышали, тогда какъ сербскія Сава и Мо-

рава встрѣчаются много разъ, не говоря уже о рѣкахъ и рѣчкахъ албанскихъ, косово-польскихъ. Сюда, конечно, не можетъ идти въ счетъ нейтральная рѣка Дунай, съ эпитетами: бѣлый, тихій, мутный“...

Изъ другихъ племенъ въ пѣсняхъ македонцевъ воспѣваются или упоминаются герои и дѣйствующія лица—албанцы, греки, венгерцы, румыны, турецкіе султаны и воеводы, наконецъ даже и русскіе. Пѣсни упоминаютъ кралицу московскую Елисавету (императрицу Елизавету Петровну), царя Александра II, Николау русскаго (великаго князя Николая Николаевича), генераловъ Гурко и Скобелева.

Далѣе, г. Драгановъ вкратцѣ указываетъ, что можетъ быть извлечено изъ его сборника по разнымъ вопросамъ бытовой этнографіи. „Особенно много матеріаловъ содержится для изученія культуры населенія, быта и степени общественной безопасности провинціи, называемой по сіе время археологическимъ терминомъ Македонія“. Таковы различныя легенды церковныя, народныя повѣрья, старыя обычаи, которыхъ отголоски существуютъ и понынѣ, и т. д. Относительно степени культуры г. Драгановъ предупреждаетъ, что на этотъ народный бытъ, особливо въ области Дебра въ сосѣдствѣ съ албанцами, надо перестать смотрѣть глазами романтиковъ, представляющихъ себѣ народный славянскій бытъ патріархальной идилліей; о Дебрѣ въ особенности онъ говоритъ, какъ о „царствѣ ужаса и смерти“.

Настоящая книга (XXIV и 238 страницъ) составляетъ только первый выпускъ сборника г. Драганова, заключающій пѣсни эпическія, историческія, юнацкія, политическія, разбойничьи и т. п., въ которыхъ составитель сборника прибавилъ во многихъ случаяхъ свои историческія объясненія. Для изучающихъ балканское славянство сборникъ г. Драганова, когда будетъ довершено его изданіе, доставитъ тѣмъ болѣе драгоценный матеріалъ, что Македонія издавна была одной изъ наименѣе извѣстныхъ областей южнаго славянства. Кромѣ научной пользы, трудъ г. Драганова можетъ содѣйствовать разъясненію и того политическаго вопроса, о которомъ мы выше упоминали. Быть можетъ, ни той, ни другой изъ спорящихъ сторонъ не удастся доказать непосредственную однородность македонскаго населенія съ сербами или болгарами. Г. Драгановъ признаетъ, повидимому, весьма значительную особность македонскаго нарѣчія, которому не хотятъ давать мѣсто въ книгѣ сербскіе и болгарскіе единоплеменники. Можно, однако, не присоединяясь ни къ той, ни къ другой сторонѣ, думать, что литературное развитіе этого нарѣчія едва ли возможно: что могла бы представить „македонская литература“, чѣмъ могла бы она существовать? При всемъ признаніи македонской племенной особенности, этотъ мѣстный языкъ могъ бы

послужить только для цѣлей историческаго и этнографическаго изученія; но орудіемъ школы и культуры по всей вѣроятности долженъ стать языкъ одного изъ болѣе сильныхъ сосѣднихъ и родственныхъ племенъ, которыя успѣли уже произвести нѣкоторую литературу и собрать на своемъ языкѣ извѣстный запасъ образовательнаго содержанія. Продолжать все это вновь на македонскомъ нарѣчій стало бы, можетъ быть, напрасною тратою силъ, какъ этому бывали уже примѣры въ новѣйшей исторіи славянства. Какъ именно сложатся эти культурныя отношенія въ будущемъ и, между прочимъ, судьба македонскаго нарѣчія, это будетъ зависѣть отъ степени политической и культурной энергіи сербскаго или болгарскаго сосѣдства, и самой Македоніи.

— Русская поэзія. Собраніе произведеній русскихъ поэтовъ, частью въ полномъ составѣ, частью въ извлеченіяхъ, съ критико-біографическими статьями, библиографическими примѣчаніями и портретами. Издается подъ редакціею С. А. Венгерова. Выпускъ IV. Спб. 1894.

Мы отмѣтили изданіе г. Венгерова при первомъ его выпускѣ, какъ весьма полезное предпріятіе, восполняющее несомнѣнный пробѣлъ въ нашей литературѣ. Дѣйствительно, для тѣхъ, кто хотѣлъ бы ближе познакомиться съ русской поэзіей новѣйшаго періода ближе, чѣмъ это возможно при имѣющихся исторіяхъ литературы и хрестоматіяхъ, предстоялъ бы не малый трудъ разыскивать старыя изданія — исключеніе составили бы только наиболѣе крупныя писатели; да и этотъ трудъ былъ бы возможенъ въ сущности только въ Москвѣ и въ Петербургѣ, потому что, вѣроятно, даже не всѣ бібліотеки провинціальныхъ университетовъ обладаютъ болѣе или менѣе полнымъ составомъ старой литературы. Г. Венгеровъ даетъ въ своемъ изданіи всѣ значительнѣйшія произведенія не только главнѣйшихъ писателей, но и писателей второстепенныхъ и третьестепенныхъ, и послѣдніе наименѣе извѣстны и наименѣе доступны. Въ настоящемъ выпускѣ законченъ первый отдѣлъ перваго тома — произведеніями Державина, и начать второй отдѣлъ, заключающій стихотворенія писателей, главные труды которыхъ относятся къ другимъ родамъ литературы: здѣсь нашли мѣсто Аблесимовъ, Барковъ (образцы его переводовъ изъ латинскихъ писателей), княгиня Дашкова, Елагинъ, Капнистъ, Княжнинъ, Козодавлевъ и Львовъ. Къ произведеніямъ каждаго писателя прибавлены біографическія и историко-литературныя статьи, частію заимствованныя у прежнихъ историковъ литературы — Бѣлинскаго, Грота, Лонгинова, Галахова, частію составленныя вновь, какъ

статьи гг. Евгенія Гаршина, Лященко, Саитова, Тупикова и самого г. Венгерова.

Первый томъ, обнимающій поэзію XVIII-го вѣка, издатель предполагаетъ закончить въ слѣдующемъ, пятомъ, выпускѣ.—Т.

— Русскіе Символисты. Выпускъ I. Валерій Брюсовъ и А. И. Мировольскій. М. 1894. (44 стр.)

Эта тетрадка имѣетъ несомнѣнные достоинства: она не отягощаетъ читателя своими размѣрами и отчасти увеселяетъ своимъ содержаніемъ. Удовольствіе начинается съ эпиграфа, взятаго г. Валеріемъ Брюсовымъ у французскаго декадента Стефана Маллармэ:

Une dentelle s'abolit
Dans le doute du jeu suprême ¹⁾.

А вотъ русскій „прологъ“ г. Брюсова:

Гаснутъ розовыя краски
Въ блѣдномъ отблескѣ луны;
Замерзають въ льдинахъ сказки
О страданіяхъ весны.
Отъ исхода до завязки
Завернулись въ трауръ сны,
И безмолвіемъ окраски
Ихъ гирлянды сплетены.
Подъ лучами юной грезы
Не цвѣтутъ созвучій розъ
На куртинахъ пустоты,
А сновъ окна сновъ безсвязныхъ
Не увидать звѣздъ алмазныхъ
Усыпленные мечты.

Въ словахъ: „созвучій розъ на куртинахъ пустоты“ и „окна сновъ безсвязныхъ“ можно видѣть хотя и символическое, но довольно вѣрное опредѣленіе этого рода поэзіи. Впрочемъ собственно русскій „символизмъ“ представленъ въ этомъ маленькомъ сборникѣ довольно слабо. Кромѣ стихотвореній, прямо обозначенныхъ какъ переводныя, и изъ остальныхъ добрая половина явно внушена другими поэтами и притомъ даже не символистами. Напримѣръ, то, которое начинается стихами:

¹⁾ Въ буквальному переводу это значитъ: „кружево упраздняется въ сомнѣніи высочайшей игры“.

Мы встрѣтились съ нею случайно
И робко мечталъ я о ней,

а кончается:

Вотъ старая сказка, которой
Быть юной всегда суждено—

несомнѣнно происходитъ отъ Гейнриха Гейне, хотя и пересаженного на „куртину пустоты“. Слѣдующее:

Невнятный сонъ вступаетъ на ступени,
Мгновенья дверь приотворяетъ онъ—

есть невольная пародія на Фета. Его же безглагольными стихотвореніями внушено

Звѣздное небо безстрастное,—

развѣ только неудачность подражанія принять за оригинальность.

Звѣзды тихонько шептались—

опять вольный переводъ изъ Гейне.

Склонися головою твоею—

—idem.

А вотъ стихотвореніе, которое я одинаково бы затруднился называть и оригинальнымъ, и подражательнымъ:

Слезамъ блестящія *лазки*
И *зубки*, что жалобно сжаты,
А *щечки* пылаютъ отъ ласки
И кудри запутанно-смяты и т. д.

Во всякомъ случаѣ, перечислять въ уменьшительной формѣ различныя части человѣческаго организма, и безъ того всѣмъ извѣстныя—развѣ это символизмъ?

Другого рода возраженіе имѣю я противъ слѣдующаго „заключенія“ г. Валерія Брюсова:

Золотистыя фен
Въ атласномъ саду!
Когда я найду
Лежанныя аллеи?
Влюбленныхъ найду
Серебристые всплѣски,
Гдѣ ревнивыя доски
Вамъ путь заградятъ.
Непонятны вазы
Огнемъ озаря,
Застыла заря

Надъ полетомъ фантазій.
За мракомъ завѣсъ
Погребальныя урны,
И не ждешь сводъ лазурный
Обманчивыхъ звѣздъ.

Несмотря на „ледяныя аллеи въ атласномъ саду“, сюжетъ этихъ стиховъ столько же ясенъ, сколько и предсудителенъ. Увлеченный „полетомъ фантазій“, авторъ засматривался на досчатныя купальни, гдѣ купались лица женскаго пола, которыхъ онъ называетъ „феями“ и „наядами“. Но можно ли пышными словами украсить поступки гнусныя? И вотъ къ чему съ замоченіемъ приводитъ символизмъ! Будемъ надѣяться по крайней мѣрѣ, что „ревнивыя доски“ оказались на высотѣ своего призванія. Въ противномъ случаѣ, „золотистымъ феямъ“ оставалось бы только окатить нескромнаго символиста изъ тѣхъ „непонятныхъ вазъ“, которыя въ просторѣчьи называются шайками и употребляются въ купальняхъ для омовенія ногъ.

Общаго сужденія о г. Валеріѣ Брюсовѣ нельзя произнести, не зная его возраста. Если ему не болѣе 14 лѣтъ, то изъ него можетъ выйти порядочный стихотворецъ, а можетъ и ничего не выйти. Если же это человѣкъ взрослый, то, конечно, всякія литературныя надежды относительно его были бы неумѣстны.—О г. Миропольскомъ мнѣ нечего сказать. Изъ 10 страничекъ, ему принадлежащихъ, 8 заняты прозаическими отрывками. Но читать декадентскую прозу есть задача, превышающая мои силы. „Куртины пустоты“ могутъ быть сносны лишь тогда, когда на нихъ растутъ „розы созвучій“.—Вл. С.

Въ іюлѣ поступили въ редакцію слѣдующія новыя книги и брошюры:

Андерсенъ.—Собраніе сочиненій въ 4-хъ томахъ. Переводъ съ датскаго подлиннаго А. и П. Ганзенъ. Томъ второй. Полное собраніе сказокъ, рассказовъ и повѣстей. Выпускъ VI. Спб. 1894. Стр. 129—272. Цѣна за 4 тома по подпискѣ 6 р., съ пересылкою 8 руб. По выходѣ всего изданія цѣна будетъ 8 р., съ пересылкою 10 р.

„Политика“ *Аристотеля.*—Съ греческаго перевела Надежда Платонова. Спб. 1894. XII и 204 стр. Ц. 1 руб.

Байронъ, лордъ.—Донъ-Жуанъ. Романъ въ шестнадцать пѣсней. Перевелъ Александръ Соколовскій (Дешевая Библіотека, № 306. Изданіе А. Суворина). 648 стр. Спб. Ц. 65 к., въ папкѣ 75 к.

Ветерова, С. А.—Русская поэзія. Собраніе произведеній русскихъ поэтовъ, частью въ полномъ составѣ, частью въ извлеченіяхъ съ критико-біографическими статьями, бібліографическими примѣчаніями и портретами. Выпускъ IV. Спб. 1894. Стр. 603—776. Ц. отдѣльнаго выпуска 1 р.

Высоцкій, Н. О., заслуженный профессор (подъ редакціей). — Памяти „Руссика“, броненосца русскаго флота, погибшаго въ сентябрѣ 1893 года. Сборникъ статей профессоровъ имп. казанскаго университета. Казань, 1894. 338 стр.

Гауптманъ, Гергартъ. — Ганнеле. Фантастическія сцены въ двухъ частяхъ. Переводъ съ нѣмецкаго А. Г. Съ предисловіемъ А. С. Суворина. (Дешевая Библиотека, № 307. Изданіе А. Суворина). VII и 79 стр. Спб. Ц. 10 к., въ папкѣ 20 коп.

Гилли, К., проф. бернскаго университета. — Счастье. Популярныя очерки по нравственной философіи. Переводъ съ 4-го нѣмецкаго изданія и предисловіе Александра Острогорскаго. 2-е исправленное изданіе. Спб. 1894. 140 стр. Ц. 50 к.

Гюю, Викторъ. — Рюи-Блязъ. Драма въ пяти дѣйствіяхъ. Переводъ А. М. Свѣчина. (Дешевая Библиотека, № 206. Изданіе А. Суворина). 172 стр. Спб. Ц. 20 к.

Данилевскій, Александръ, проф. фізіологической химіи въ импер. военно-медиц. академіи въ С.-Петербургѣ. — Основное вещество протоплазмы и его видоизмѣненія жизнью. Рѣчь, читанная въ общемъ собраніи XI международнаго медицинскаго конгресса въ Римѣ. Спб. 1894. 43 стр. Ц. 60 коп. (продается въ пользу кассы для вспоможенія студентамъ академіи).

Жасминовъ, графъ Алексій (В. Буренинъ). — Пипа и Пуся или горе отъ любви. Разказы и комедіи во вкусѣ fin de siècle. Спб. 1894, 480 стр. Ц. 2 р.

Золотавинъ, Н. А. — Учрежденіе межъ-уѣздныхъ участковъ при содѣйствіи губернскихъ земствъ, какъ способъ уравниенія удобствъ въ пользованіи медицинскою помощію. (Докладъ, читанный на V съѣздѣ русскихъ врачей). Спб. 1894. 21 стр. (изъ газеты „Врачъ“).

Кисимовъ, П. — Спомена отъ сегашната эпоха въ България. Издава П. К. Букурещъ, 1894. 104 стр. Цѣна 1 левъ экземпляра.

Никифоровъ, Н. К. — Въ пріятной компаніи. Шуточныя и юмористическія стихотворенія. Спб. 1894. 448 стр. Ц. 2 руб.

Оржешко, Эд. Дикарка. — Повѣсть. Переводъ съ польскаго Г. С. Глинскаго. (Изданіе „Посредника“ для интеллигентныхъ читателей. XXXIV.) Москва. 1894. 216 стр. Ц. 75 к.

Плутархъ. — Сравнительныя жизнеописанія. Съ греческаго перевелъ В. Алексѣевъ. Томъ восьмой. Выпускъ первый. Демосеенъ и Цицеронъ. (Дешевая Библиотека, № 178. Изданія А. Суворина.) 164 стр. Спб. Ц. 15 коп.

Русскіе символисты. — Выпускъ I. Валерій Брюсовъ и А. Л. Мировольскій. М. 1894. 44 стр.

Сю, Евгенийъ. — Вѣчный жидъ. Романъ. Первый, полный, безъ пропусковъ, переводъ съ французскаго Е. Ильиной. Спб. 1894. (Новая Библиотека Суворина. 60 коп. каждый томъ.) Пять томовъ.

Филипповъ, Сергѣй. — Подъ глѣбнымъ небомъ. Встрѣчи и впечатлѣнія. Изданіе О. А. Куманина. М. 1894. 264 стр. Ц. 1 р.

Яковлевъ, И. (И. Я. Павловскій). — Парижскіе очерки и этюды. Серія I. Изданіе А. Суворина. Спб. 1894. 466 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Croabbon, A., avocat. — La Science du Point d'honneur. Commentaire raisonné sur l'offense, le duel, ses usages et sa législation en Europe, la responsabilité civile, pénale, religieuse des adversaires et des témoins, avec pièces justificatives. Paris, 1894. IV и 593 стр.

— Ministère de la justice. Code d'organisation judiciaire de l'Empire de

Томъ IV. — Августъ, 1894.

57/28

Russie de 1864 (édition de 1883 avec le supplément de 1890), traduit et annoté par le comte Jean Kapnist, attaché à la section de codification près le conseil de l'Empire. Paris MDCCCXCIII (Collection des principaux codes étrangers). CXXIV и 528 стр.

— Доброе Дѣло. Сборникъ повѣстей и рассказовъ. К. Варанцевичъ — А. Барыкова. — Н. Гаринъ. — П. Засодимскій. — В. Короленко. — Н. Лѣсковъ. — Д. Маминъ-Сибирякъ. — Н. Минскій. — И. Потапенко. — Н. Рубанинъ. — А. Стернь. — С. Филипповъ. М. 1894. (Изданіе „Посредника“ для интеллигентныхъ читателей. XXVIII). 264 стр. Ц. 90 к.

— Записки западно-сибирскаго Отдѣла импер. русск. Географическаго Общества. Книжка XVI, выпускъ II и III. Омскъ, 1894 (нѣсколько пагинацій).

— Международная беллетристическая бібліотека на русскомъ языкѣ, издаваемая Карломъ Малькомесомъ. Собраніе романовъ, повѣстей и рассказовъ новѣйшихъ писателей всѣхъ странъ. I серія. Т. VI—VII. Цѣна за каждый томъ 2 марки, въ изящномъ переплетѣ 2½ марки. Фр. Шпильгагенъ. Безмолвіе неба. Переводъ съ нѣмецкаго. Единственное, разрѣшенное авторомъ изданіе. Стутгартъ, 1894. 12°. 134 и 146; 185 и 166 стр.

— Празднованіе императорскимъ казанскимъ университетомъ столѣтней годовщины дня рожденія Н. И. Лобачевского: 1793—1893. Казань, 1893. 4°, 210 стр.

— Сто великихъ людей. Книга I. Зороастръ, Будда, Конфуцій, Магометъ. (Дешевая Библіотека, № 261. Изданіе А. Суворина.) 148 стр. Слб. Ц. 20 к., въ папкѣ 28 к.

— Храмъ Христа Спасителя и часовня Нерукотвореннаго Спаса на мѣстѣ событія 17-го октября 1888 года. Харьковъ, 1894. (Съ двумя изображеніями.) 43 стр.



ЗАМѢТКА.

Былъ ли В. И. Григоровичъ въ Римѣ въ 1840—1841 г.?

(По поводу „Воспоминаній“ О. И. Успенскаго.)

Мы хотимъ остановиться на одномъ эпизодѣ біографіи профессора В. И. Григоровича, рассказанномъ въ брошюрѣ проф. О. И. Успенскаго: „Воспоминаніе о В. И. Григоровичѣ“¹⁾. Цѣль брошюры—дать общую характеристику научныхъ убѣжденій извѣстнаго профессора славянскихъ нарѣчій въ Казани и въ Одессѣ, представить „разгадку направленія его“ и указать „нравственный переломъ“ (?), происшедшій съ Григоровичемъ во время пребыванія его въ Римѣ въ 1840—1841 году. Риму, „глубокимъ и сильнымъ впечатлѣніямъ, вынесеннымъ изъ пребыванія“ въ вѣчномъ городѣ, говоритъ г. Успенскій (стр. 7), Григоровичъ „обязанъ былъ своими оригинальными построеніями по славянской исторіи“. Г. Успенскій дѣлаетъ затѣмъ довольно обширныя выписки изъ бумагъ Григоровича, находящихся въ московскомъ Румянцовскомъ музеѣ, но не говоритъ точно, писаны ли замѣтки о пребываніи Григоровича въ Римѣ *въ теченіе почти восьми мѣсяцевъ* (1840—1841 г.), послѣ пребыванія въ Ломбардіи и Венеціи, его собственною рукою, и если это такъ, то не задумывается надъ естественнымъ вопросомъ: не представляютъ ли эти замѣтки простую выписку изъ чьей-либо чужой статьи (печатной или рукописной—сказать трудно)? Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, откуда могла бы быть взята подобная выписка?

Въ 1840—1841 году въ Римѣ перебывало нѣсколько русскихъ писателей, налагавшихъ свои впечатлѣнія въ тогдашнихъ журналахъ, больше всего въ „Отечественныхъ Запискахъ“ Краевского, людей, близкихъ другъ къ другу, какъ Станкевичъ, П. В. Анненковъ, В. Боткинъ, И. Сатинъ; но ни одинъ изъ нихъ ничего подобнаго по содержанію приписываемымъ Григоровичу г. Успенскимъ страницамъ не высказываетъ. „Скоро минули три недѣли.... (говоритъ мнимый Григоровичъ въ брошюрѣ г. Успенскаго) и распались оковы гнѣздившагося во мнѣ дотолѣ односторонняго нѣмецкаго вліянія,

¹⁾ Одесса, 1890. Отсюда этотъ эпизодъ приведенъ былъ въ статьѣ г. Пипина о Григоровичѣ, въ „Вѣстн. Европы“, 1893, августъ, стр. 775—778.

сосредоточившія для меня все знаніе, весь опытъ въ стѣнахъ нѣмецкаго университета и что еще сильнѣе—все совершенство чело-вѣка въ формахъ нѣмецкой жизни. Совершилось освобожденіе... Я рѣшился не ѣхать эту зиму въ Берлинъ и остался въ Римѣ, и вмѣсто трехъ недѣль провелъ въ немъ почти восемь мѣсяцевъ. Это имѣло рѣшительное вліяніе на всѣ мои путешествія" (стр. 7)... Напрасно стали бы мы искать выраженія тѣхъ впечатлѣній, кото-рыя приведены въ брошюрѣ г. Успенскаго, въ письмахъ изъ Италіи упомянутыхъ нами писателей-друзей: ни одинъ изъ нихъ не задумы-вался надъ славянскимъ вопросомъ, хотя для всѣхъ Италія пред-ставлялась обѣтованною землею. „Съ первымъ дыханіемъ весны я буду въ Италіи“, пишетъ, напр., Анненковъ 10 января 1841 года. „Я счастливъ, друзья! Въ Берлинѣ Катковъ хотѣлъ-было посадить меня за книгу, да я вырвался и прямо побѣжалъ въ погребъ, гдѣ пьянствовалъ Гофманъ" ¹⁾. Но кто знакомъ съ сочиненіями Анненкова и зналъ его лично, тотъ, безъ сомнѣнія, согласится съ нами, что онъ не могъ написать ничего подобнаго тому, что приписываетъ г. Успенскій Григоровичу. Всего ближе Григоровичу было сдѣлать выписку изъ письма какаго-либо славянофила того времени, интересовавшагося судь-бою славянъ; но намъ положительно извѣстно, что до кратковременнаго перехода своего въ Москву на каѳедру славянскихъ нарѣчій, вмѣсто Бодянскаго, Григоровичъ совершенно не интересовался славянофиль-ствомъ, и на нашихъ глазахъ, весною 1849 г., въ Казани, имѣя въ виду свои будущія отношенія въ Москвѣ, онъ приобрѣлъ и сталъ читать въ первый разъ немногія книги, написанныя славянофилами, какъ диссертациі К. Аксакова о Ломоносовѣ, Ю. Самарина о Про-коповичѣ, Московскій Сборникъ и пр. Да и выписки, сдѣланныя—по г. Успенскому—Григоровичемъ, по содержанію своему таковы, что подъ ними не подписался бы ни одинъ тогдашній славянофилъ. Кстати замѣтимъ, что г. Успенскій ошибается и въ указаніи вре-мени перехода Григоровича въ Москву. Первую вступительную лек-цію свою Григоровичъ читалъ въ Москвѣ 16 августа 1849 г., а не 1848 года; пишущій эти строки былъ на этой лекціи, на которой не было ни одного славянофила (вѣроятно, они еще не возвратились изъ своихъ деревень). Въ январѣ 1850 года Григоровичъ уже пере-ѣхалъ въ Казань. Вопросъ о томъ, откуда Григоровичъ могъ сдѣ-лать для себя выписки, если только онъ собственноручны, какъ бы ни любопытно было это узнать, представляется, однако, едва ли под-дающимся рѣшенію. Еслибы въ началѣ выписки изъ бумагъ Гри-горовича не стояло фразы „объ оковахъ гнѣздившагося во мнѣ до

¹⁾ П. В. Анненковъ и его друзья. Спб. 1892. I, стр. 129.

толь односторонняго нѣмецкаго вліянія, сосредоточившаго для меня все знаніе, весь опытъ въ стѣнахъ нѣмецкаго университета и что еще сильнѣе—все совершенство человѣка въ формахъ нѣмецкой жизни",—можно было бы и по слогу, и по общему характеру впечатлѣній, такъ могущественно отразившихся на личности писавшаго, которому какъ бы пришло „отерovenіе“ и вслѣдъ затѣмъ „мольба, чтобы оно никогда не покидало его“, считать эту выписку однимъ изъ первыхъ писемъ Гоголя изъ Рима, случайно не попавшихъ въ собраніе ихъ въ изданіи Кулиша. Позволимъ себѣ сдѣлать предположеніе, очень можетъ быть, что и ошибочное: не составляетъ ли выписка Григоровича часть того письма, которое молодой профессоръ московскаго университета Влад. Печеринъ писалъ къ попечителю, графу Строганову, именно въ тѣ годы, которые значатся въ выпискѣ, увѣдомляя его о томъ, что онъ не воротится болѣе на родину. Какъ извѣстно, Печеринъ сдѣлался потомъ іезуитскимъ патеромъ, но онъ страстно любилъ свою родину и ея народъ, и тосковалъ по нимъ на чужбинѣ. Въ выпискѣ нельзя не замѣтить глубокаго уваженія къ католическому Риму, „воспитавшему и образовавшему европейскіе народы“, но вмѣстѣ съ тѣмъ неизвѣстный авторъ говоритъ съ сердечнымъ чувствомъ о томъ царствѣ на востокѣ Европы, „которое расширилось превыше древняго римскаго царства“. „Оно сотретъ, можетъ быть, его гордыню“... „но оно не вставало и не возстанетъ на Римъ... Никакое прошедшее не стоитъ между ними, и будутъ справедливы они другъ къ другу и признають себя взаимно“ (Успенскій, стр. 9).

Ни одинъ славянофилъ не могъ говорить такъ, какъ не могъ высказать этого и Шевыревъ. Письмо Печерина гр. Строгановъ показывалъ московскимъ профессорамъ, оно ходило по рукамъ, и очень можетъ быть, что Григоровичъ въ Москвѣ списалъ его въ 1843 году, по крайней мѣрѣ ту часть его, гдѣ говорится о Римѣ. Судьба Печерина занимала людей сороковыхъ годовъ, и высказанное имъ въ письмѣ весьма замѣчательно. Нельзя не пожалѣть, что г. Успенскій, какъ это видно изъ его брошюры, напечаталъ выписки Григоровича въ отрывкахъ, а не въ цѣломъ видѣ; повидимому, онъ выбиралъ тѣ мѣста, которыя болѣе подходили къ его объясненію своеобразно понимаемаго имъ Григоровича. На Печерина Римъ и его историческія судьбы должны были произвести глубокое впечатлѣніе. Римъ дѣйствительно рѣшилъ его судьбу. Во всякомъ случаѣ эти отрывки принадлежать замѣчательной въ умственномъ и литературномъ отношеніи личности начала сороковыхъ годовъ, но что это за личность—остается загадкою, едва ли разрѣшимую.

Очень также жаль, что М. П. Петровскій, ученикъ Григоровича

и занявшій потомъ его катедру, печатая свою чисто фактическую статью „Викторъ Ивановичъ Григоровичъ въ Казани“¹⁾, не сказалъ ни слова объ иллюзіи г. Успенскаго, и не разрушилъ образъ *фантастическаго* Григоровича, созданнаго г. Успенскимъ, и столь не похожаго на дѣйствительность. М. П. Петровскаго интересовали только положительные, точные факты ученой и профессорской дѣятельности его знаменитаго учителя; но изъ цѣлой серіи этихъ фактовъ легко заключить о невозможности Григоровичу ни быть въ 1840—1841 году въ Римѣ, ни высказывать тѣ убѣжденія, какія приписаны ему г. Успенскимъ. Не имѣя никакого основанія говорить объ ученыхъ убѣжденіяхъ Григоровича, вполне достаточно выясненныхъ въ статьяхъ о немъ гг. Петровскаго, Пыпина и Кочубинскаго, мы позволимъ себѣ только замѣтить, что Григоровичъ жилъ въ то старое для профессора и ученаго время, когда ученая командировка за границу не представлялась только болѣе или менѣе занимательною прогулкою въ Европу, а требовала строгой и частой отчетности. Нельзя и представить себѣ Григоровича, посланнаго (по г. Успенскому) учиться *нѣмецкой наукѣ* въ Берлинѣ, чтобы онъ бросилъ самовольно этотъ городъ, отправился странствовать по прекрасной Италіи и провелъ восемь мѣсяцевъ въ Римѣ. Самая обстановка жизни въ Римѣ, частыя поѣздки въ Фраскати „съ друзьями“—такъ не похожи на житейскую обстановку Григоровича, что знавшій Григоровича невольно улыбнется тому, что ему приписываютъ. Григоровичъ былъ человекъ, жившій только на скудное казенное содержаніе того времени, одинокій, замкнутый, глубоко преданный положительной сторонѣ своей науки; ему некогда было разгуливать по окрестностямъ вѣчнаго города, какъ бы ни были онѣ прекрасны. Точно также не было надобности отправлять Григоровича въ берлинскій университетъ въ 1840 году, гдѣ нельзя было изучать славянскихъ нарѣчій, къ преподаванію которыхъ въ казанскомъ онъ былъ предназначенъ.

Мы позволимъ себѣ остановиться въ самомъ краткомъ изложеніи на фактахъ его біографіи, отвергающихъ возможность его пребыванія въ Римѣ въ 1840—1841 году, утверждаемаго г. Успенскимъ.

В. И. Григоровичъ учился съ 1830 года въ харьковскомъ университетѣ. Въ 1833 году въ іюлѣ мѣсяцѣ онъ кончилъ курсъ съ званіемъ дѣйствительнаго студента. Съ января 1834 года по апрѣль 1839 года онъ посѣщалъ для своего усовершенствованія лекціи дерптскаго университета, гдѣ изучилъ основательно древніе классическіе языки и нѣмецкую философію. Онъ былъ болѣе глубокимъ гегельян-

¹⁾ Славянское Обозрѣніе, 1892, т. II, кн. 7 и 8, стр. 229 и 264.

цемъ, чѣмъ тѣ профессора, которые получали образованіе въ профессорскомъ институтѣ Дерпта. Въ началѣ 1839 года Григоровичъ, въ званіи дѣйствительнаго студента, былъ прикомандированъ на одинъ годъ къ казанскому университету, съ тѣмъ, чтобы онъ въ теченіе этого времени подвергнулся испытанію на степень кандидата, и по полученіи ея онъ долженъ былъ быть командированъ въ чужіе края для усовершенствованія на два года; путешествіе въ славянскія земли предполагалось по приобрѣтеніи степени магистра и доктора. Испытаніе на степень кандидата въ 1-мъ отдѣленіи философскаго факультета замедлилось вслѣдствіе несогласія между членами, за что отдѣленіе получило замѣчаніе попечителя, и кандидатомъ Григоровичъ былъ утвержденъ лишь въ концѣ іюня 1840 года; а дипломъ на степень кандидата былъ выданъ Григоровичу 9-го декабря 1840 года. Въ февралѣ 1841 года, согласно представленію попечителя Мусина-Пушкина министру народнаго просвѣщенія, Григоровичу, во избѣжаніе „безполезнаго траты времени“, не ожидая истеченія годичнаго срока послѣ полученія имъ степени кандидата, разрѣшено было подвергнуться испытанію на степень магистра, и попечитель предлагалъ поставить словесному отдѣленію въ непремѣнную обязанность приступить къ словесному и письменному испытанію съ 7-го апрѣля 1841 года. Испытаніе это, съ представленіемъ диссертациі „Опытъ изложенія литературы словенъ въ ея главнѣйшихъ эпохахъ“, было окончено 18-го сентября 1841 года, а публичное защищеніе диссертациі произошло 11-го октября того же года. Вслѣдъ за тѣмъ Григоровичу поручено было преподаваніе исторіи и литературы славянскихъ нарѣчій по программѣ, одобренной факультетомъ и утвержденной попечителемъ. Лекціи Григоровича начались въ ноябрѣ 1842 года, а на зимнюю вакацію 1842—1843 года, согласно прошенію Григоровича, онъ командированъ былъ въ Москву „для осмотра разныхъ замѣчательныхъ рукописей въ библіотекахъ синодальной и духовной академіи, а также дабы войти въ ученныя сношенія съ профессоромъ славянскихъ нарѣчій при тамошнемъ университетѣ Бодянскимъ и въ совѣщаніе о планѣ ученаго путешествія по землямъ славянскимъ“. Григоровичъ возвратился въ срокъ, къ 12-му января 1843 года. Утвержденіе въ степени магистра замедлилось со стороны министерства до марта 1843 года и дипломъ на степень былъ подписанъ только 6-го іюня того же года. Въ ученое путешествіе по славянскимъ землямъ Григоровичъ отправился съ 1-го іюня 1844 года и возвратился изъ него 19-го іюля 1847 года (ему дана была еще полугодовая отсрочка). Изъ печатнаго описанія этого путешествія и изъ отчетовъ Григоровича легко видѣть, что онъ не былъ въ Римѣ, а въ 1840—1841 году, къ которому г. Успен-

скій относить пребываніе его въ вѣчномъ городѣ въ теченіе восьми мѣсяцевъ, Григоровичъ жилъ въ Кавани, за исключеніемъ трехнедѣльной поѣздки въ 1842—1843 году въ Москву.

Григоровичъ,—это можемъ мы положительно утверждать,—никогда и не былъ въ Римѣ.

Н. Буличъ.

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I.

A. de Lamartine. Philosophie et Littérature. Paris, 1894. Стр. 365.

Ламартинъ принадлежитъ къ тѣмъ крайне субъективнымъ поэтамъ, творчество которыхъ представляетъ полную исторію ихъ личной жизни. Знаменитый „другъ Эльвиры“ такъ пристрастно воспѣлъ всѣ свои чувства, свои радости и страданія, обстоятельства, которыми они были вызваны, сибны энтузіазма и разочарованія и т. д., что біографамъ поэта оставалось только устанавливать границы его сердечнымъ исповѣдямъ, отдѣлять фактическія основы событій отъ лирическихъ преувеличеній поэта. Этому посвящены критическія работы нѣсколькихъ изслѣдователей, значительно обогатившихъ литературу о Ламартинѣ за послѣдніе годы. Мы указывали въ свое время на интересный трудъ Дешанеля, появившійся въ прошломъ году, и въ которомъ авторъ даетъ очень полный очеркъ жизни поэта, основываясь на критическомъ изученіи автобіографическаго матеріала.

Въ оставшихся послѣ смерти поэта произведеніяхъ заключаются, однако, не одни только указанія на событія, составляющія внѣшнюю исторію его жизни. Ламартинъ столь же пространно и искренно говоритъ въ разныхъ мѣстахъ своихъ сочиненій о своей идейной жизни, о своихъ философскихъ и этическихъ воззрѣніяхъ, о своихъ литературныхъ взглядахъ. Въ этомъ отношеніи его „Entretiens Littéraires“ представляютъ какъ бы „духовную автобіографію“ поэта; нѣкоторые этюды, входившіе въ число этихъ „Entretiens“, не были напечатаны отдѣльно послѣ ихъ появленія въ журналахъ въ 1856 и 1857 г. Напечатать ихъ теперь отдѣльной книжкой, издатель сочиненій Ламартина оказываетъ услугу литературѣ, спасая отъ забвенія очень ха-

ракетныя для склада мыслей Ламартина страницы, принадлежащія вмѣстѣ съ тѣмъ къ самымъ блестящимъ и прочувствованнымъ изъ его прозаическихъ произведеній.

Первый изъ этюдовъ, собранныхъ въ новомъ дополненіи къ сочиненіямъ Ламартина, носитъ заглавіе „Job lu dans le désert“, и представляетъ подробный, восторженный разборъ книги Іова. Въ наше время скептического отрицанія всякихъ положительныхъ доктринъ, импрессионизма, одинаково чуждаго какъ увлеченію, такъ и негодованію, странное впечатлѣніе производитъ горячій панегирикъ Ламартина, полный живого страданія и страстной вѣры. Мы, быть можетъ, слишкомъ привыкли къ преимущественному изображенію „оттѣнковъ“ (въ философскомъ мышленіи и настроеніяхъ души художника), чтобы сразу освоиться съ міромъ страстей, вызываемыхъ поэтомъ иной, болѣе непосредственной поры. Онъ переживаетъ кризисъ отчаянія вмѣстѣ съ своимъ библейскимъ героемъ, шлетъ проклятія міру, вызовы его Создателю, вмѣстѣ съ нимъ преклоняется предъ голосомъ, говорящимъ о великой тайнѣ безконечнаго, и смиряется, просвѣтленный глубокою вѣрой, идущей не отъ разума, а изъ глубины души. Его рѣзкіе переходы отъ проклятій къ вѣрѣ, догматичность его пониманія добра и зла и въ общемъ несложность его личнаго сredo, въ которомъ сказывается больше чувства, чѣмъ строгаго мышленія, мѣшаетъ философскому значенію его этюда. Какъ произведеніе поэта, однако, глубоко чувствующаго мучительность жизни съ ея неразрѣшимыми загадками, „Job lu dans le désert“ производитъ сильное впечатлѣніе своей искренностью, лирическими красотами и силой страсти. Въ произведеніи библейскаго поэта Ламартинъ видитъ грандіозную трагедію съ тремя дѣйствующими лицами: Богъ, человѣкъ и судьба. мѣсто дѣйствія — пустыня; ея безграничность представляетъ самый подходящий фонъ для роковой дуэли между ропщущимъ человѣкомъ и внутреннимъ голосомъ, убѣждающимъ его въ ничтожествѣ человѣка передъ вѣчностью и побѣждающимъ сомнѣнія разума вѣрой души, познавшей иную, болѣе высокую истину.

Говоря о Іовѣ, какъ о поэтѣ пустыни, Ламартинъ создаетъ теорію вліянія среды на чувство, очень близко напоминающую позднѣйшую разработку ея у Сентъ-Бѣва и Тэна. То, что у этихъ двухъ основателей современной критики было слѣдствіемъ научнаго метода, внесеннаго въ литературу, вылилось у поэта помимо всякой системы, подъ вліяніемъ проникновенія внутреннимъ настроеніемъ книги Іова. Онъ сравниваетъ ее съ другими произведеніями, созданными протестомъ противъ несправедливости страданій человѣчества; во всѣхъ этихъ одностороннихъ критикахъ существующаго и схемахъ лучшаго, идеальнаго будущаго (коммунизма, сентъ-симонизма, фурьеризма и т. п.)

Ламартинъ видитъ отпечатокъ среды, суживающій горизонтъ мысли. „Все это,—говоритъ онъ,—утопіи, родившіяся въ темницахъ, кельяхъ, мастерскихъ, бібліотекахъ, лабораторіяхъ, куда не проникаетъ свѣжій воздухъ. Странное явленіе! вездѣ, гдѣ горизонтъ ограниченъ, отсутствуетъ истина. Существуетъ таинственная аналогія между широтой идей и далью горизонта. Это странно, но въ то же время очень просто. Душа не можетъ быть независимой отъ внѣшнихъ чувствъ“.

Въ этомъ вскользь выраженномъ общемъ разсужденіи заключается почти всецѣло ученіе о взаимодействіи генія и условій его развитія. Въ примѣненіи къ книгѣ Іова Ламартинъ доказываетъ свою теорію величественнымъ, внушающимъ трепетъ характеромъ гениальной поэмы, которую можно читать передъ самымъ лицомъ Бога, въ моментъ перехода отъ временнаго къ вѣчному: „ее можно читать по обѣ стороны могилы, не переворачивая страницы“, картинно выражается онъ. И главная причина этого божественнаго характера книги въ томъ, что ея авторъ—не поэтъ морскихъ береговъ, какъ Гомеръ, не проникнутъ культомъ земли, какъ Вергилій и Теокритъ, не живетъ среди видѣній ночного мрака, подобно Данте, а вдохновленъ одинокой жизнью наединѣ съ мыслью о Богѣ, настроенъ пребываніемъ въ пустынѣ, которая въ своемъ безпредѣльномъ протяженіи является символомъ безконечности. „Пустыня,—говоритъ Ламартинъ, характеризуя книгу Іова,—опредѣляетъ содержаніе его книги, ея глубину, краски, образы, стиль. Безконечность, сосредоточенная въ глубинѣ человѣческой души, отраженная сознаніемъ,—вотъ чтó представляетъ собой книга Іова“.

Расходясь съ ученіемъ о безконечномъ и постоянномъ совершенствованіи человѣчества, Ламартинъ видитъ въ Іовѣ представителя высшей мудрости до-исторической поры, „Платона философіи эпохи, предшествовавшей потопу“. Поэтъ очень близокъ къ вѣрѣ въ откровеніе свыше, какъ въ источникъ человѣческаго познанія, и въ книгѣ Іова онъ находитъ отголоски этого откровенія, болѣе близкаго для библейскаго поэта, чѣмъ для всѣхъ позднѣйшихъ мудрецовъ. Ничто иное, по мнѣнію Ламартина, не можетъ объяснить сокровенную мудрость книги, написанной въ дѣтствѣ человѣчества и обличающей болѣе полное и непреложное пониманіе жизни и судебъ человѣчества, чѣмъ вся философія позднѣйшихъ вѣковъ. Конечно, въ этой оцѣнкѣ Іова видно, насколько поэтъ подавленъ страстностью и вдохновенной силой духа, отразившейся въ „этой эпопее души, драмѣ разума, въ которой элегическіе стоны, мудрость и грусть обличаютъ не пору дѣтства, а опытъ долгихъ вѣковъ“. Мощное изображеніе страданій человѣчества у Іова потрясаетъ Ламартина и кажется ему исходящимъ не отъ поэта, а отъ философа, объясняющаго истину отно-

шеній человѣка къ вѣчности; когда же отъ поэтической передачи внутренняго настроенія книги Ламартина переходить къ анализу содержанія, то становится очевиднымъ, что вся сила импровизаций библейскаго поэта—въ передачѣ его настроеній, а не въ примирительной философій, вытекающей изъ его душевнаго кризиса. Глубокое пониманіе безпредѣльности страданій человѣка, отчаяніе безсильнаго протеста и покорность инстинктивной вѣры—вотъ всѣ элементы грандіозной эпопеи, прославляемой Ламартиномъ. Не придавая ей того рѣшающаго значенія, которое она имѣетъ для міросозерцанія Ламартина, нельзя, однако, отрицать силы вызывающихъ жалобъ Іова на несправедливость судьбы; воспроизводя ихъ съ точки зрѣнія человѣка XIX в., французскій поэтъ влагаетъ въ нихъ свѣжесть искреннихъ, живыхъ страданій, вызванныхъ пережитыми сомнѣніями и разочарованіями, лихорадочной и суетной жизнью сердца. Въ этой пессимистически настроенной части этюда душевное настроеніе Ламартина сказалось съ лирической красотой и силой, не уступающей лучшимъ изъ его *Méditations*. Онъ говоритъ объ ужасѣ жизни, „питаемой смертью, и въ свою очередь питающей смерть“, о краткости жизни, „могущей внушить лишь смѣхъ вѣчнымъ существамъ или вызвать слезы жалости у скалъ“, о заботахъ и занятіяхъ людей, которые онъ характеризуетъ латинскимъ изреченіемъ „propter vitam vivendi perdere causas“, и объ ужасѣ момента смерти, еще болѣе страшнаго отъ неувѣстности его наступленія. Всѣ эти мотивы старинны какъ міръ, и отъ Іова до Ламартина сколько поэтовъ находили въ нихъ свои самыя высокія вдохновенія! Но все дѣло, конечно, въ индивидуальной окраскѣ общей „скорби за человѣчество“, и у Ламартина, воспроизводящаго по своему проклятія Іова, окраска эта вполне соответствуетъ эпохѣ, къ которой онъ принадлежалъ. Рововая тайна, тяготящая надъ жизнью и смертью, мучитъ его главнымъ образомъ сомнѣніями, которыя она вызываетъ въ душѣ относительно смысла человѣческаго существованія; но въ этихъ сомнѣніяхъ, въ этой „дуэли между человѣкомъ и Богомъ“, какъ онъ это называетъ, лежитъ для романтика и вся прелесть бытія, источникъ сильныхъ страстей, глубокаго отчаянія, столь же легко переходящаго въ экстазы вѣры, элементъ таинственности и грусти, составляющій основу эстетическаго идеала романтизма. Онъ полонъ отчаянія, говоря какъ о своихъ личныхъ страданіяхъ, такъ и о печальной судьбѣ человѣчества, олицетворенной для него Іовомъ; но страстный тонъ его обличеній и яркія краски, которыми онъ описываетъ муку жизни, даютъ понять, какъ дорога для него эта мука, сколько въ немъ душевной молодости, не сложенной страданіями жизни, а напротивъ, находящей въ нихъ источникъ жизненной энергіи. Очень характерно въ

этомъ отношеніи его опредѣленіе жизни, которое мы приводимъ дѣликомъ, какъ примѣръ того, что значить создающій пессимизмъ романтизма, основанный на эстетическихъ принципахъ, а не на философскомъ анализѣ жизни. Какъ ни безпощадны проклятія, которыя поэтъ шлетъ жизни, въ нихъ чувствуется больше любви къ этой жизни, больше эмергіи къ борьбѣ за человѣка противъ судьбы, чѣмъ во многихъ самыхъ спокойныхъ представленіяхъ о бытіи у позднѣйшихъ поэтовъ. „Человѣческая жизнь,—говоритъ онъ,—пытка, самымъ божественнымъ или самымъ адскимъ образомъ приспособленная къ тому, чтобы вызвать въ теченіе опредѣленнаго времени у мыслящаго существа наибольшее количество страданій физическихъ или нравственныхъ, стоновъ, отчаянія, вриковъ, проклятій, какіе только могутъ умѣститься въ тѣлѣ, созданномъ изъ плоти, и въ душѣ, созданной изъ... мы даже не знаемъ названія вещества, которымъ мы живемъ! Никогда человѣкъ, какимъ бы жестокимъ ни представить его себѣ, не могъ бы придумать столь адскую и великую пытку; для того, чтобы создать ее, нуженъ былъ Богъ!“

Отъ этой глубины отчаянія поэту стоитъ сдѣлать одинъ лишь шагъ, чтобы познать свое ничтожество и смириться предъ Высшимъ разумомъ. Мы должны сознаться, однако, что въ роли карателя судьбы Ламартинъ достигаетъ болѣе высокихъ вершинъ лиризма, чѣмъ въ порывѣ смиренія, смѣняющемъ негодование. Въ книгѣ Іова Богъ обращается къ грѣшнику чрезъ посредство внутреннего голоса совѣсти, и въ свою очередь шлетъ ему божественный вызовъ, доказывая невозможность для человѣка понять творенія божественной воли и сравниться съ ней. Этотъ гимнъ всемогущей воли самой себѣ и лирическое перечисленіе божественныхъ дѣяній, превышающихъ пониманіе человѣка, покоряетъ не только строптивый духъ Іова, но и отзывчивую вѣрующую душу поэта, отдѣленнаго вѣками отъ своего библейскаго предшественника. Подобно Іову, который „раскаивается и искушается“, потому что онъ „увидѣлъ Бога въ его дѣяніяхъ“, Ламартинъ переходитъ отъ презрѣнія къ человѣку и къ мірозданію — къ преклоненію предъ твореніемъ Божества и его тайнами; сарказмъ, отчаяніе и проклятіе смѣняются смиреніемъ и молитвой. Это настроеніе, примиряющее поэта съ жизнью, не составляетъ подходящаго фона для его лирическаго таланта, въ которомъ грусть и сомнѣнія составляютъ главные элементы, оттѣняя активность его темперамента; вслѣдствіе этого вторая часть очерка гораздо блѣднѣе первой, блестящей и сильной какъ по красотѣ языка и образовъ, такъ и по страстному отношенію къ жизни и къ людямъ.

Второй очеркъ, помѣщенный въ книгѣ, носитъ заглавіе: „De la pretendue décadence de la littérature en Europe et particulièrement

en France". Любопытно, что вопросъ о „désadence" былъ уже поднятъ такъ много времени тому назадъ, что Ламартинъ выступилъ въ 50-хъ годахъ защитникомъ французской литературы. Онъ даетъ довольно полный очеркъ французской литературы въ сжатомъ видѣ и высказываетъ свои взгляды на важнѣйшіе моменты идейной жизни своей страны. Онъ высказывается объ учрежденіи академіи, какъ объ унижительной попыткѣ внести корпоративный духъ въ область творческаго генія, но съ другой стороны признаетъ, что со времени основанія академіи литература приобрѣла во Франціи значеніе государственной силы. Интересны сужденія Ламартина о Вольтерѣ, „положившемъ конецъ среднимъ вѣкамъ", о Руссо, какъ объ основателѣ оригинальнаго направленія въ французской литературѣ, и т. д. Отмѣтимъ также слѣдующее любопытное для русскихъ читателей мѣсто отсюда, въ которомъ Ламартинъ говоритъ о состояніи литературы въ разныхъ европейскихъ странахъ: „Россія,—говоритъ онъ,—молодая раса, живущая на старинной землѣ, входитъ въ эру литературной жизни выступленіемъ историка и поэта (Карамзина и Пушкина); они сразу сдѣлались соперниками своихъ англійскихъ образцовъ, Юма и Байрона. Русскій языкъ, сложившійся изъ татарской энергіи, греческой мелодичности, славянской мягкости, германской мечтательности, французской ясности,—многозвучный инструментъ, подобный церковному органу,—особенно пригоденъ для лирической поэзіи, для выраженія меланхолическаго и религіознаго энтузіазма юга. Теченіе вѣковъ и смѣшеніе расъ постепенно подготовили въ Россіи сложную литературу, и мы присутствуемъ теперь лишь при первомъ ея лепетѣ. Разносторонній, живой, гибкій, сильный, пылкій геній народовъ, говорящихъ на этомъ языкѣ, общаются въ близкомъ будущемъ великія литературныя эпохи въ Россіи".

II.

Henry Beyle (Stendhal). Lucien Leuwen. Oeuvre posthume etc. Paris. 1894.
Стр. 503.

Количество дошедшихъ до читающей публики произведеній Стендаля все болѣе возрастаетъ за послѣдніе годы, благодаря неутомимымъ трудамъ нѣсколькихъ библіографовъ, занятыхъ разборомъ рукописей Стендаля въ гренобльской библіотекѣ. Одинъ изъ самыхъ ревностныхъ изслѣдователей и почитателей романиста, Казимиръ Стріенскій, издалъ за короткое время нѣсколько въ высшей степени интересныхъ книгъ, рисующихъ внутреннюю жизнь и философскіе

взгляды знаменитаго автора „Rouge et Noir“ („Journal de Stendhal“, „La Vie de Henry Brulard“, „Souvenirs d'Egotisme“ и др.). Возбужденный этими посмертными сочиненіями интересъ къ Стендалю пробудилъ энергію другихъ изслѣдователей, и результатомъ дальнѣйшихъ работъ въ гренобльскихъ архивахъ является появившійся нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ посмертный романъ Стендала „Lucien Leuwen“. Изданіе сдѣлано Жаномъ де-Митти и снабжено интереснымъ предисловіемъ, передающимъ исторію рукописи. По выпискамъ изъ завѣщанія оказывается, что Бейль былъ сильно озабоченъ судьбой своего романа; не будучи увѣренъ, что ему удастся закончить его и издать при жизни, онъ намѣтилъ въ своемъ завѣщаніи цѣлый рядъ лицъ, имѣющихъ полномочіе разработать то, что въ оригиналѣ осталось только намѣченнымъ, и затѣмъ издать романъ отдѣльной книгой. Предчувствіе Бейля, что „Lucien Leuwen“ останется незаконченнымъ, оправдалось; къ тому же, чрезвычайно осторожный въ своемъ поведеніи, авторъ никогда не рѣшился бы опубликовать при жизни романъ, освѣщающій закулисную сторону разныхъ *causes célèbres* того времени и заключающій прозрачныя намеки на политическихъ дѣятелей царствованія Луи-Филиппа. Наслѣдниковъ Стендала не останавливали, конечно, политическія соображенія, но почти вся рукопись оказалась написанной своеобразнымъ шрифтомъ, ключъ къ которому не былъ указанъ авторомъ. Послѣ безплодныхъ попытокъ разобратъ въ хаотической рукописи, Колонъ и Меримэ, которымъ Стендаль завѣщалъ окончаніе романа, должны были отказаться отъ непосильной задачи; первыя нѣсколько главъ, оказавшіяся переписанными болѣе или менѣе понятнымъ почеркомъ, изданы были подъ заглавіемъ „Le Chasseur Vert“ въ сборникѣ „Nouvelles inédites“ Стендала; остальная же рукопись отправлена была въ городскую бібліотеку, гдѣ и покоилась въ теченіе 50 лѣтъ (1842—1892). Только благодаря работамъ Е. Стріенскаго и Мориса Барреса пролить былъ свѣтъ на шрифтъ Стендала и сдѣлалось возможнымъ изданіе „Lucien Leuwen“, написаннаго въ промежуткѣ между „Rouge et Noir“ и „Chartreuse de Parme“, т.-е. между 1834 и 1836 г., когда Стендаль былъ консуломъ въ Чивита-Веккіа и переѣхалъ потомъ въ Римъ. Жанъ де-Митти исполнилъ свою задачу не такъ, какъ этого требовалъ авторъ романа; онъ не заполнилъ пробѣловъ въ развитіи фабулы, не прибавилъ недостающей части, не развилъ намѣченныхъ Стендалемъ положеній, а ограничился добросовѣстнымъ воспроизведеніемъ рукописи, отмѣчая встрѣчающіеся пробѣлы и недостающія страницы. Въ томъ незаконченномъ видѣ, въ которомъ появился теперь „Lucien Leuwen“, онъ представляетъ большой интересъ, характеризуя писательскую манеру романиста и передавая его мысли

съ искренностью и непосредственностью, исчезающими нерѣдко въ артистической законченности другихъ его романовъ.

Интересъ романа не сосредоточенъ всецѣло на самой фабулѣ и ея главномъ героѣ. Личность Люсьена Левена, банкирскаго сына, сдѣлавшаго блестящую карьеру сначала въ арміи, потомъ въ политическомъ мірѣ, не поглощаетъ вниманія читателя, и поэтому пробѣлы въ исторіи его личной жизни не ослабляютъ общаго интереса романа; вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, эта фигура молодого представителя финансовой силы очень характерна для творчества Стендаля: она указываетъ на внутреннюю связь между всѣми его романами, дающими въ своей совокупности полную картину французскаго общества 20-хъ и 30-хъ годовъ, или, вѣрнѣе, психологію общественной жизни того времени. Въ „Rouge et Noir“ Стендаль воплотилъ духъ индивидуализма, характеризующій эпоху іюльской монархіи: пошатнувшіяся традиціи открыли дорогу личной предприимчивости, не поддерживаемой рожденіемъ и фамилными связями; крестьянскій сынъ можетъ среди этихъ условій завоевать себѣ положеніе въ свѣтѣ и побороть кастовые предразсудки силой характера и умственнымъ превосходствомъ. Люсьенъ Левенъ—представитель другого элемента въ томъ же обществѣ; аристократическія традиціи ослабли въ буржуазной монархіи, на ихъ мѣсто вступила другая двигательная сила въ обществѣ—обаліе богатства. Люсьену не приходится прокладывать себѣ дорогу подобно Жюльену Сорелю, крестьянскому сыну; провинціальная знать и политическіе дѣятели столицы принимаютъ его съ открытыми объятіями, женщины наперерывъ любезничаютъ съ нимъ, и, окруженный всеобщимъ вниманіемъ, онъ съ упрямствомъ избалованнаго ребенка даетъ волю своему нраву и очень высокомерно держитъ себя съ министрами и военными властями; всѣмъ этимъ онъ обязанъ своему отцу, въ которомъ заискиваетъ весь Парижъ изъ-за его милліоновъ и его безпощадно насмѣшливаго ума. Люсьенъ является такимъ образомъ типичнымъ продуктомъ общественныхъ условій, ставящихъ богатство и все, что находится въ связи съ нимъ, на первомъ планѣ. Основная идея романа заключается въ томъ, чтобы показать, насколько эти общественныя условія вліяютъ на ходъ жизни, насколько среда опредѣляетъ развитіе индивидуальнаго характера. Люсьенъ Левенъ—по природѣ глубоко честная натура, инстинктивно презирающая всякую ложь. Онъ живетъ, однако, среди общества, въ которомъ честность и глупость считаются синонимами; выказывать щепетильность въ выборѣ средствъ, когда дѣло идетъ о карьерѣ,—значить заявить себя сенъ-симонистомъ, т.-е. сдѣлаться смѣшнымъ въ глазахъ общества; справляться о нравственномъ характерѣ порученія, возложеннаго вліятельнымъ лицомъ,—значить

навсегда утратить возможность играть какую-нибудь роль въ свѣтѣ; искать добродѣтелей въ свѣтскихъ женщинахъ—значить уронить себя безвозвратно въ ихъ глазахъ. Между тѣмъ Люсьенъ вынужденъ по неволѣ дѣлать карьеру, и ему ничуть не хочется разыгрывать смѣшную роль пуританина среди утопающаго въ порокахъ общества;—ему приходится такимъ образомъ принимать участіе въ томъ, что происходитъ вокругъ него и тщательно скрывать, насколько это ему противно. Люсьенъ глубоко презираетъ военную службу въ мирное время, съ ея дисциплиной, интригами и развлеченіями гарнизонной жизни, но ему тяжела роль празднаго папенькина сына, и онъ отправляется въ полкъ съ цѣлью составить себѣ самостоятельное положеніе. Жизнь его въ Наиси представляетъ яркую картину столкновеній неподготовленной молодой души съ фатализмомъ обстоятельствъ: онъ втягивается въ полковыя интриги, ведетъ строго обдуманную политику относительно начальства и только такимъ образомъ, благодаря своему расточительному образу жизни и умѣнію импонировать своимъ дерзкимъ поведеніемъ, онъ завоевываетъ себѣ блестящее положеніе; но этотъ успѣхъ не радуетъ Люсьена, его врожденная нравственная щепетильность страдаетъ отъ окружающей пошлости и мелочности, и, невольно участвуя самъ въ общественной комедіи, онъ искупаетъ свою вину жестокой скукой, которая преслѣдуетъ его среди исполненія военныхъ и свѣтскихъ обязанностей.

Опредѣляя такимъ образомъ общественный элементъ въ характерѣ своего героя, Стендаль освѣщаетъ его душевную жизнь романомъ съ молодой, красивой вдовой, м-мъ Шастелѣ. Эта сторона наименѣе оригинальна въ „Lucien Leuwen“. Авторъ проводитъ здѣсь, какъ и въ другихъ романахъ, свою излюбленную теорію „amour-razion“, противопоставленной „amour-vanité.“ Люсьенъ начинаетъ ухаживать за молодой красавицей по всѣмъ правиламъ Стендалевскаго катехизиса, обдумываетъ цѣлесообразность всякаго слова, всякаго движенія въ ея присутствіи; она съ своей стороны боится сдѣлаться жертвой безсердечнаго фата и удерживаетъ въ себѣ всякое естественное проявленіе непосредственнаго чувства; въ теченіе нѣкотораго времени этотъ ученый „флиртъ“ удовлетворяетъ ихъ обоюдному самолюбію, но когда ихъ захватываетъ настоящая „amour-razion“, всѣ военные хитрости уступаютъ мѣсто внушеніямъ минуты и влюбленные дѣлаются жертвами своего чувства. Несчастный исходъ любви Люсьена къ м-мъ Шастелѣ, которую непоправимо оклеветали въ его глазахъ и тѣмъ разбили святость его чувства, служитъ автору переходомъ ко второй части. Послѣ покоренія провинціальной знати, будущій наслѣдникъ банкирскихъ милліоновъ долженъ испытать

удовольствіе властвованія и первенства въ столичномъ обществѣ. Ради этого, разочарованный, тоскующій Люсьенъ бросаетъ надѣвшіи ему полкъ, возвращается къ отцу въ Парижъ и соглашается принять мѣсто секретаря у только-что назначеннаго министра. Отецъ беретъ съ него слово продержаться полтора года въ новой должности, не поддаваясь „благородному негодованію“ при видѣ неизбѣжныхъ въ политикѣ „tricheries“. Такъ какъ отецъ и сынъ сходятся на презрѣніи къ „смѣшному пуританизму“ (на словахъ главнымъ образомъ, такъ какъ въ душѣ оба они любятъ только чистое и безпорочное), то Люсьенъ соглашается и становится дѣятельнымъ членомъ министерства. Широкая арена политической жизни при Луи-Филиппѣ является обширнымъ полемъ дѣйствія для молодого сподвижника министра; выборы, стачки, общественные скандалы смѣняють другъ друга, наполняя душу Люсьена ужасомъ и отвращеніемъ. Среда его засасываетъ все больше и больше; во время избирательныхъ поѣздокъ въ качествѣ делегата правительства онъ терпитъ униженія и оскорбленія со стороны республиканцевъ; разныя порученія министра впутываютъ его въ темныя политическія дѣла, но нежеланіе огорчить отца и боязнь оказаться смѣшнымъ заставляютъ его продолжать свою блестящую карьеру, содѣйствовать министру, которому онъ говоритъ прямо въ лицо свое мнѣніе о немъ, притвораться влюбленнымъ въ салонныхъ львицъ и въ модныхъ актрисъ, хотя онъ весь еще поглощенъ своей „роковой страстью“, и т. д. Какъ кончается исторія съ м-мъ Шастелѣ, остается для насъ неизвѣстнымъ, такъ какъ въ рукописи пропущены главы, относящіяся къ вторичной поѣздкѣ Люсьена въ Нанси и новой встрѣчѣ съ молодой вдовой. Романъ заканчивается внезапной смертью отца Люсьена; сынъ возвращается въ Парижъ, отказывается объявить себя банкротомъ ради спасенія состоянія, расплачивается съ кредиторами и уѣзжаетъ сначала въ Италію, потомъ въ Мадридъ, куда онъ назначенъ секретаремъ посольства. Третья часть романа должна была по плану Стендала показать вліяніе новой, космополитической среды на характеръ Люсьена, но эта часть его замысла осталась неисполненною.

Въ двухъ написанныхъ частяхъ романа Стендала главный интересъ заключается въ характеристикѣ эпохи, къ которой отнесена фабула. Мало отраднаго представляютъ картины провинціальной и столичной жизни, развертывающіяся предъ глазами читателя. Въ провинціи сильны еще легитимистскія традиции, и мелкопомѣстная знать силится поддержать значеніе аристократіи своимъ чванствомъ и недоступностью своихъ салоновъ; всѣ эти де-Серпьеры, Коммерси, Пуанкарэ соперничаютъ другъ съ другомъ въ высокомеріи, громкихъ

фразѣхъ, внѣшнемъ блескѣ, въ то время какъ заботы объ улучшеніи матеріальнаго состоянія давно уже сломали ихъ семейныя традиціи, и мелкое существованіе, полное интригъ, давно опошляло все, что могло быть благороднаго въ феодальныхъ переживаніяхъ; но еще сильнѣе деморализація въ примыкающей къ аристократіи военной средѣ, дающей тонъ провинціальной жизни. Грубость инстинктовъ слегка лишь прикрывается лоскомъ манеръ у разныхъ командировъ поля, генераловъ и полковниковъ, выводимыхъ на сцену Стендалемъ; они пользуются своимъ положеніемъ самымъ циничнымъ образомъ; подъ предлогомъ заботъ о надлежащемъ „состояніи умовъ“ они организуютъ цѣлую систему шпіонства надъ офицерами и готовы на шантажъ, чтобы обезпечить себѣ крупную взятку; толкуя безъ конца о патріотизмѣ и чести, они готовы поступиться самымъ элементарнымъ человѣческимъ достоинствомъ ради карьеры или матеріальной выгоды. Въ этой средѣ единственное средство не быть раздавленнымъ заключается въ дерзости и умѣніи дать почувствовать свое общественное и умственное превосходство; и поэтому понятно, что Люсьенъ Левенъ, съ своей репутаціей несмѣтнаго богатства и властью своего обращенія, возбуждалъ не только зависть у товарищей, но и чувство уваженія у начальства, готового всячески протежировать ему.

Еще мрачнѣе становятся краски Стендала, когда отъ картинъ провинціальныхъ нравовъ онъ переходитъ къ политической средѣ въ Парижѣ; вмѣсто общихъ типовъ различныхъ элементовъ общества онъ сосредоточивается на мастерскомъ портретѣ министра „sans foi ni loi“, очевидно списаннаго съ живого оригинала, какъ это и видно изъ завѣщанія Стендала. Этотъ руководитель судебъ страны, сильный только своей готовностью на всякую низость, дѣлается игрушкой въ рукахъ банкира Левена, и перипетіи, являющіяся результатомъ этой зависимости, проливаютъ въ романѣ Стендала яркій свѣтъ на психологію тогдашняго общества. Особенно блестящія картины выборовъ въ Шеръ и стачекъ въ Лотарингіи.

Самой крупной личностью среди деморализованнаго общества, описываемаго Стендалемъ, является банкиръ Левенъ, отецъ Люсьена; въ немъ умъ чисто вольтеровскаго стиля соединяется съ внѣшнимъ цинизмомъ и внутреннимъ благородствомъ. Онъ чувствуетъ себя безконечно выше окружающаго его аристократическаго и буржуазнаго общества, даетъ чувствовать это превосходство, заставляетъ всѣхъ плясать по своей дудѣ, громко смѣясь надъ совѣстью, добродѣтелью и т. д., но въ сущности преисполненъ самъ непростительныхъ „пороковъ“, въ родѣ тайной любви къ своей женѣ и сыну

и т. д. Эта семья господствующаго въ падшемъ обществѣ финансиста —единственный болѣе или менѣе свѣтлый пунктъ въ картинѣ Стен-даля, и въ этомъ какъ бы заключается указаніе на возможность возрожденія, на существованіе зародышей новой нравственности, уродуемой лишь давленіемъ среды. — З. В.



ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1 августа 1894 г.

Дѣло сельскаго народнаго образованія 30 лѣтъ тому назадъ и сегодня.—Школы министерства государственныхъ имуществъ и церковно-приходскія того времени, ихъ численность и качество.—Примѣръ полтавской губерніи.—Школьная статистика московскаго земства; образцовое изслѣдованіе двухъ ея уѣздовъ, и практическіе его результаты.—Н. П. Колупановъ и Н. М. Астиревъ †.

У нашихъ сосѣдей, въ Германіи, въ августѣ мѣсяцѣ только еще начнутся школьныя вакаціи, а у насъ—онѣ уже кончаются; правда, въ городскихъ начальныхъ народныхъ училищахъ ученіе начнется собственно въ самомъ концѣ августа, а въ земскихъ—и позже того. Наступающій новый учебный 1894—95 годъ заключаетъ собою тридцатилѣтіе передачи дѣла начальнаго народнаго образованія въ руки земскихъ учрежденій—періодъ времени, вполне достаточный, чтобы оцѣнить замѣчательную дѣятельность земства въ этой важной области общественной жизни, и въ высшей степени плодотворную, если сравнить результаты истекающаго тридцатилѣтія съ тѣмъ положеніемъ народныхъ школъ, въ какомъ земство приняло ихъ въ свое вѣденіе отъ учрежденій, руководившихъ этимъ дѣломъ до земства. Интересно было бы подвести теперь общіе итоги по всей имперіи, чтобы увидѣть наглядно, какими быстрыми шагами мы начали въ этотъ послѣдній періодъ отходить отъ того, можно сказать безъ всякаго преувеличенія, мрака невѣжества, въ какой былъ погруженъ нашъ народъ еще на памяти живущихъ поколѣній. Въ тотъ не столь отдаленный отъ насъ періодъ времени, предъ передачею земству заботъ о народномъ образованіи, до половины 60-хъ годовъ, такія заботы лежали на министерствѣ государственныхъ имуществъ и департаментѣ уѣздовъ, но главнымъ образомъ—на духовенствѣ. Въ свою очередь и министерство государственныхъ имуществъ вѣдало тогда училищное дѣло не болѣе 25 лѣтъ, а именно, съ 1838 г., когда въ первый разъ была возложена на него обязанность открывать сельскія школы въ болѣе населенныхъ мѣстностяхъ государственныхъ крестьянъ. Для содержанія такихъ школъ былъ установленъ тогда особый сборъ съ крестьянъ этого вѣдомства въ размѣрѣ около 9 копѣекъ съ души, составившій училищный капиталъ, общій для всѣхъ губерній; впрочемъ ассигновки на школы министерства госуд. имуществъ были самыя ничтожныя: весь годовой бюджетъ училища 1-го разряда, гдѣ полагался помощникъ учителю, достигалъ не болѣе 265 рублей, а 2-го разряда

—190 рублей. Учительскій персоналъ въ этихъ школахъ состоялъ почти исключительно изъ лицъ духовнаго званія, включая сюда и причетниковъ. Какъ ни были мало удовлетворительны подобныя сельскія школы министерства государственныхъ имуществъ, но церковно-приходскія школы того времени находились въ несравненно худшемъ положеніи, хотя и могли поражать своею многочисленностью: дѣйствительно, по официальнымъ свѣденіямъ того времени, во всей Россіи, въ первой половинѣ 60-хъ годовъ, было всѣхъ народныхъ училищъ, принадлежащихъ различнымъ вѣдомствамъ, какъ-то: министерству государственныхъ имуществъ, народнаго просвѣщенія, военному, удѣльному вѣдомству и частнымъ лицамъ,—35.555, съ 955.000 учащихся, и изъ этого общаго итога училищъ числилось церковно-приходскихъ школъ болѣе половины, а именно 21.500; зато, въ среднемъ, церковно-приходская школа имѣла только 19 учащихся, между тѣмъ какъ училища другихъ вѣдомствъ содержали въ среднемъ около 40 учащихся. О крайне печальномъ положеніи церковно-приходскихъ школъ той эпохи, когда еще вовсе не было земскихъ школъ, лучше всего можно судить по официальнымъ документамъ, а именно, по отзывамъ о нихъ, полученнымъ отъ епархіальныхъ преосвященныхъ въ образованномъ тогда присутствіи по дѣламъ православнаго духовенства; сборникъ ихъ былъ изданъ особо въ 1865 г., какъ разъ въ моментъ выступленія земства на работу по народному образованію—подъ заглавіемъ: „Начальныя народныя училища и участіе въ нихъ православнаго духовенства“. Изъ всѣхъ епархій отзывы рисуютъ самую неприглядную картину церковно-приходскихъ школъ; такъ, напримеръ, изъ курской епархіи сообщалось, что „до послѣдняго времени и учителя, и школы (церковно-приходскія), оставались въ неизвѣстности; учить дѣлаютъ, его жена, ихъ родственница, но кого они учатъ и какъ они учатъ, начальство о томъ не освѣдомлялось“. Въ томъ же отзывѣ говорится: „въ большей части тѣхъ училищъ, гдѣ руководствуютъ причетники и учительницы, ходъ обученія ограничивается только внѣшнею дѣятельностью: учащіе понуждаютъ учениковъ къ прилежанію и постоянному занятію дѣломъ, а учащіеся ни шутъ безъ увѣренности, хорошо ли, и почему нехорошо, и громко читаютъ, заглушая другъ друга и не понимая себя“... „У причетниковъ и учительницъ составъ преподавательныхъ предметовъ не простирается далѣе часослова и псалтиря, съ присовокупленіемъ письма; немного обширнѣе курсъ преподаванія у наставниковъ-священнослужителей“...

Таково было въ общихъ чертахъ положеніе училищнаго дѣла — тридцать лѣтъ тому назадъ, когда земству пришлось унаслѣдовать народныя школы, содержимыя до того времени министерствомъ госу-

дарственныхъ имуществъ и духовенствомъ, безъ учительскаго персонала, сколько-нибудь подготовленнаго къ нелегкому дѣлу обученія въ массѣ, иногда даже безъ учебныхъ пособій, и ютившіяся нерѣдко въ помѣщеніяхъ, болѣе пригодныхъ для курятника, нежели для чело-вѣческаго жилья. Земству и городамъ приходилось начинать дѣло съ начала, какъ еслибы до нихъ и вовсе не было школъ.

Въ полтавской губерніи, напимѣръ, до приѣма земствомъ дѣла народнаго образованія въ свои руки, число училищъ, повидимому, было значительно: въ 1864 г., въ губерніи считалось 89 училищъ министерства государственныхъ имуществъ, 546 церковно-приходскихъ школъ и 11 открытыхъ помѣщиками, а всего 646, съ 14.000 учащихся; — но дѣло въ томъ, что въ 546 ц.-приходскихъ училищахъ училось не болѣе 9.000, тогда какъ въ 89 министерскихъ — около 5.000; такимъ образомъ, въ министерскихъ школахъ среднее число на школу было 55, а въ ц.-приходскихъ — не болѣе 16, т.-е. значительное число этихъ школъ было или номинальное, или во многихъ изъ нихъ не было и десятка учениковъ. Въ 1867 г., всѣ школы мин. госуд. имуществъ поступили въ вѣденіе земства, но съ прекращеніемъ прежняго сбора на ихъ содержаніе. Предсѣдатель прилукскаго уѣзднаго училища Скоропадскій, принимавшій эти училища, далъ о ихъ состояніи такой отзывъ: „немногія изъ училищъ бывшаго вѣдомства государственныхъ имуществъ и училище въ Богдановѣ удовлетво-ряли своему назначенію; всѣ же остальные представляли однѣ только цифры учащихся для отчета; главной причиной этого было неимѣніе хорошихъ учителей и, *вслѣдствіе дурного преподаванія*, нежеланіе родителей посылать дѣтей въ школы“. Во многихъ училищахъ обучали только чтенію, безъ письма; были и такія школы, въ которыхъ учили одному церковному чтенію. Церковно-приходскія школы того времени земству пришлось въ большинствѣ случаевъ просто закрыть или, правильнѣе, снять со счета, такъ какъ онѣ существовали только на бумагѣ, а потому вполне основательно докладывать въ то время членъ полтавскаго губернскаго училищнаго совѣта Заборинскій въ своемъ отчетѣ о состояніи народныхъ училищъ въ полтавской губерніи, въ ея 13 уѣздахъ, въ 1867 г., а именно, что „закрытіе ц.-приходскихъ школъ вовсе не было потерей для населенія, такъ какъ эти училища существовали лишь по имени, вслѣдствіе того, что наставники ихъ, обремененные собственными занятіями по исполненію требъ и по обезпеченію своего существованія, не могли посвятить свои труды завѣдыванію школами при всемъ своемъ желаніи; если же они и поручали веденіе школьнаго дѣла причетникамъ, то эти послѣдніе, будучи вполне неподготовленными къ дѣлу, вели обученіе неаккуратно и совершенно безучастно, такъ что мѣстные училищные совѣты, прини-

мая въ соображеніе курсъ наукъ въ народныхъ училищахъ, не считали себя въ правѣ отнести ихъ къ числу послѣднихъ". Неудивительно, такимъ образомъ, что, послѣ пріема земствомъ подобныхъ министерскихъ и церковныхъ училищъ на свое попеченіе, число школъ въ полтавской губерніи сильно уменьшилось, такъ что и теперь еще, въ началѣ 90-хъ годовъ, цифра училищъ тамъ стоитъ ниже цифры ихъ въ 60-хъ годахъ: въ 1867 г. въ полтавской губерніи было сельскихъ народныхъ училищъ всѣхъ вѣдомствъ 646, а въ 1892 году—только 597; но въ тѣхъ 646 училищахъ обучалось 14.000 дѣтей, а въ нынѣшнихъ 597 учил.—свыше 45.000, т.-е. въ среднемъ на каждое училище приходится по 75 учащихся, тогда какъ 30 лѣтъ тому назадъ приходилось въ среднемъ—22.

Лица, близко изучившія современное положеніе училищнаго дѣла въ той же полтавской губерніи, характеризуютъ его нынѣ такимъ образомъ: „хотя и школы послѣдняго времени въ полтавской губерніи оставляютъ еще желать очень и очень многого, все-же школьное дѣло представляется теперь уже учрежденіемъ организованнымъ; въ громадномъ большинствѣ училища имѣютъ собственныя помѣщенія, которыя съ каждымъ годомъ улучшаются, а въ полтавскомъ уѣздѣ, напр., школьные дома являются уже самыми лучшими зданіями не только въ селахъ, но иногда и въ мѣстечкахъ. Рядомъ съ внѣшними улучшеніями, даже гораздо больше ихъ, улучшилась и внутренняя жизнь школы, и самый ходъ обученія. Улучшеніе результатовъ обученія естественно повлекло за собою и измѣненіе отношенія населенія къ школѣ. Въ первыхъ отчетахъ уѣздныхъ земскихъ управъ и въ первыхъ журналахъ собраній, гдѣ только упоминается о положеніи народнаго образованія, почти всегда говорится о несочувствіи населенія къ школѣ, даже заходитъ рѣчь о необходимости въ этомъ случаѣ принудительныхъ мѣръ. Со времени активнаго участія земства въ постановкѣ училищнаго дѣла, по мѣрѣ улучшенія школъ, заявленій объ этомъ несочувствіи встрѣчается все меньше и меньше, а съ 1880-хъ годовъ ихъ уже и совсѣмъ не появляется“¹⁾.

Это весьма отрадное явленіе наблюдается нынѣ повсюду; вездѣ населеніе начинаетъ вполнѣ сочувственно относиться къ народнымъ школамъ послѣдняго періода, и конечно такое сочувственное отношеніе населенія къ училищному дѣлу было вызвано новою его организаціей, благодаря заботамъ земства и городовъ и матеріальнымъ

¹⁾ Всѣ эти сужденія заимствованы нами изъ весьма обстоятельнаго труда Ю. В. Ячевича, изданнаго полтавской губернской земской управой, подъ заглавіемъ: „Начальное народное образованіе въ полтавской губерніи“. Полт., 1894 г. Стр. 128, 4^о. Къ сожалѣнію, почтенный авторъ, по независѣвшимъ отъ него обстоятельствамъ, долженъ былъ въ своемъ интересномъ изслѣдованіи остановиться на 1887 годѣ.

пожертвованіямъ на цѣлесообразную постановку всего училищнаго дѣла. Такъ, въ той же полтавской губерніи, при началѣ дѣятельности земства, въ 1867 г., изъ общей смѣты расходовъ всѣхъ 13 уѣздовъ (330.000 руб.) собственно на начальное народное образованіе было ассигновано въ среднемъ 7%, а двадцать лѣтъ спустя, въ 1887 г., изъ общей смѣты расходовъ тѣхъ же 13 уѣздовъ (1.830.000 р.) на народное образованіе издержано въ среднемъ 15%; при этомъ въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ уѣздахъ, какъ кременчугскомъ и пирятинскомъ, расходы на одно начальное народное образованіе возросли до 19% бюджета всѣхъ расходовъ уѣздной смѣты¹⁾! И полтавская губернія въ этомъ отношеніи не представляетъ собою ничего особенно выдающагося; такое же финансовое напряженіе въ дѣлѣ народнаго образованія наблюдается во многихъ земствахъ. Конечно, скажутъ многіе, и не безъ основанія, что подобный высокій % расходовъ на народное образованіе изъ всего бюджета расходовъ на всѣ потребности населенія—ненормаленъ и безпримѣренъ, но точно также ненормально и безпримѣрно для такого государства, какъ Россія, измѣрять у себя исторію начальнаго народнаго образованія не вѣками, какъ на западѣ, а десятилѣтіями: намъ потому приходится не только вести дѣло народнаго образованія за текущій годъ, но и возмѣщать пропущенное время, когда расходы на начальное народное образованіе или вовсе не фигурировали въ росписяхъ, или занимали въ нихъ самое жалкое мѣсто.

При такихъ несомнѣнныхъ и для всякаго очевидныхъ заслугахъ со стороны земскихъ и городскихъ общественныхъ управленій на поприщѣ широкой и вмѣстѣ рачительной организаціи начальнаго народнаго образованія, „Московскія Вѣдомости“,—полемизируя съ „Русскими Вѣдомостями“ и защищая церковно-приходскія школы, на которыя, впрочемъ, никто не нападаетъ, тѣмъ не менѣе усиливались на дняхъ доказывать даже „вредъ“, причиненный земскими училищами дѣлу начальнаго образованія, которое будто бы утратило въ земскихъ школахъ свой чисто народный характеръ; по мнѣнію этой газеты, такой характеръ могутъ придать имъ только одѣй церковно-приходскія школы. Читатели найдутъ въ помѣщенной нами выше (стр. 854) замѣткѣ Н. М. Горбова, какъ взглянуло недавно московское губернское земское собраніе на тотъ же самый вопросъ о сравнительномъ значеніи земскихъ и церковно-приходскихъ школъ; послѣднія, по признанію собранія, ничѣмъ существеннымъ не отличаются отъ земской школы и потому сами „не могутъ считаться ни церковными, ни приходскими, въ точномъ значеніи этихъ словъ; это—школы духовнаго

¹⁾ Тамъ же, стр. 118 и 119.

вѣдомства "... Точно также губернское земское собраніе согласилось и съ тѣмъ, что „при тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ находится наше духовенство и наша приходская община, нельзя ожидать, чтобы начальная школа въ рукахъ духовнаго вѣдомства скорѣе, чѣмъ въ рукахъ земства, приблизилась къ своему идеалу (быть церковной по духу и *органически* связанной съ приходской общиной); напротивъ, можно опасаться, что, переданная духовному вѣдомству—она утратитъ свою связь съ обществомъ и тѣмъ самымъ получить односторонній, церковно-бюрократическій отпечатокъ"... Выше приведенныя нами черты изъ жизни прежнихъ церковно-приходскихъ школъ за 30 лѣтъ предъ симъ, когда вовсе не существовало земскихъ школъ, и когда успѣшному развитію первыхъ ничто не препятствовало, могутъ легко навести на мысль объ основательности высказанныхъ со стороны московскаго губернскаго земства опасеній за будущее начальнаго народнаго образованія, особенно если успѣхи церковно-приходской школы окажутся возможными не иначе, какъ на развалинахъ земскихъ школъ...

Московское губернское земство давно уже и весьма внимательно слѣдитъ у себя за ходомъ народнаго образованія, и потому предприняло недавно специальное изслѣдованіе о размѣрѣ дѣйствительной потребности населенія московской губерніи въ начальной школѣ. Еще въ 1882 г. московская губернская управа поручила статистическому отдѣленію произвести первую работу по вопросу о положеніи начальнаго образованія въ губерніи; и благодаря тому обстоятельству, что такая статистическая работа исполнялась по одному плану, теперь можно съ точностью указать ростъ народнаго образованія въ московской губерніи за послѣднее десятилѣтіе: въ 1883 г. въ ней было 429 школъ, съ 25.700 учащихся, а въ 1892 г.—511 школъ, съ 34.500 учащихся. Все это свидѣтельствуетъ, конечно, о быстромъ ростѣ народнаго образованія, но несравненно важнѣе для земства былъ другой вопросъ, а именно: насколько существующими уже школами удовлетворяется населеніе губерніи, и если школъ недостаетъ, то какъ великъ такой недостатокъ? Число неучащихся дѣтей могло бы дать средство къ рѣшенію этого вопроса, но только въ такомъ случаѣ, еслибы предварительно можно было отвѣтить на то, пользуется ли сельское населеніе вполнѣ тѣми школами, которыя уже существуютъ, а если не пользуется, то какія къ тому имѣются причины? Съ цѣлью собрать точныя данныя для разрѣшенія именно этихъ вопросовъ, московское земское статистическое отдѣленіе предприняло въ послѣднее время новую работу, результатомъ которой служить недавно появившіяся

въ печати весьма интересный и вѣстѣ образцовый трудъ, подъ заглавіемъ: „Грамотность среди дѣтей школьнаго возраста въ московскомъ и Можайскомъ уѣздахъ московской губерніи“ (по порученію Московской Губ. Земской Управы составлено И. П. Боголѣповымъ, М. 1894, стр. 174). Изъ 13 московскихъ уѣздовъ избраны пока два, московскій—(66 училищъ) и Можайскій—(12 училищъ), какъ представляющіе по постановкѣ въ нихъ школьнаго дѣла „два противоположныхъ полюса“: изъ общаго числа 50.000 всѣхъ обучающихся дѣтей въ московской губерніи какъ въ земскихъ, такъ и не въ земскихъ школахъ, 13% принадлежатъ московскому уѣзду и только 3%—Можайскому; въ московскомъ уѣздѣ съ 150.000 населенія обоего пола, при общей суммѣ расходовъ въ 1893 г. около 300.000 руб., было на народное образованіе ассигновано почти 96 тысячъ руб. ($32\frac{1}{2}\%$)!—а въ Можайскомъ, съ 75.000 населенія, изъ общей суммы расходовъ около 46.000 р., было ассигновано на народное образованіе до 7.600 р. ($16\frac{1}{2}\%$); въ московскомъ уѣздѣ 1 училище въ среднемъ стоить 1.430 руб., а въ Можайскомъ—540 рублей и т. д.

На основаніи личныхъ опросовъ жителей и записей, а не по бумажнымъ сношеніямъ, получилось въ московскомъ уѣздѣ всѣхъ дѣтей отъ 7 до 14 лѣтъ—около 17.000 об. пола, а въ Можайскомъ—до 8.700; изъ нихъ *неучащихся*: въ московскомъ у.—8.700 об. пола (51%), а въ Можайскомъ—5.400 (65%). Но, собственно, изъ этого числа рискуютъ остаться навсегда неграмотными только тѣ группы дѣтей, которыя въ настоящее время имѣютъ 12, 13 и 14 лѣтъ, такъ какъ они уже вышли изъ возраста начальной школы и въ школу больше не поступаютъ, а въ такомъ случаѣ *неграмотныхъ* среди дѣтей обоего пола въ московской губерніи состоитъ не болѣе 30%, а для Можайскаго—50%. „Такого размѣра грамотности,—замѣчаетъ изслѣдователь,—*взрослое* населеніе московской губерніи достигнетъ очень нескоро, не ранѣе какъ лѣтъ черезъ 60, когда нынѣшнія 12—14-лѣтнія дѣти успѣютъ сами состариться, доживъ до 72—74-лѣтняго возраста“.

Особенно интересна та часть изслѣдованія состоянія грамотности въ двухъ уѣздахъ московской губерніи, гдѣ приведены собственные отзывы крестьянъ на вопросъ: почему ихъ дѣти школьнаго возраста не пользуются существующими училищами и даже не обучаются въ школахъ грамотности? *Неучащихся* дѣтей об. пола въ обоихъ уѣздахъ, отъ 9 до 12 лѣтъ, насчитывалось въ 1893 г. до 8.000, и изъ нихъ свыше 1.000, по заявленію родителей, не могутъ пользоваться школою, хотя школа и есть, по крайней бѣдности: одѣтъ не во что, да и не на что купить учебныхъ пособій; почти такое же число, около 1.000 дѣтей не посылаются въ имѣющіяся школы по необходимости

пользоваться дѣтскимъ трудомъ дома; до 700 сослались на отдаленность школы; затѣмъ слѣдуютъ болѣзни дѣтей, физическіе недостатки и т. п.; отказовъ же въ приемѣ вслѣдствіе переполненія школы было въ обоихъ уѣздахъ 59, и по неизвѣстнымъ причинамъ — 86. Приведенная для ясности процентная таблица различныхъ категорій причинъ, по которымъ дѣти въ тѣхъ двухъ уѣздахъ не могутъ пользоваться школою, доказываетъ, что такіа причины не только разнообразны, но вмѣстѣ и характерны. Вотъ главнѣйшія категоріи такихъ причинъ:

Въ двухъ уѣздахъ московской губерніи, въ московскомъ и Можайскомъ, дѣтей въ возрастѣ отъ 9 до 14 лѣтъ, остающихся и оставшихся неграмотными:

I. По отдаленности школъ или дурному состоянію дорогъ зимою	12,4%
II. Вслѣдствіе отказа въ приемѣ за переполненіемъ школы или по другимъ причинамъ	3,9%
III. По винѣ родителей	12,4%
IV. По слабости здоровья или болѣзнямъ и физическимъ недостаткамъ	12,6
V. По бѣдности и семейнымъ обстоятельствамъ	54,8
VI. Разныя случайныя причины	3,9
	<hr/> 100%

Такъ какъ всѣ эти данныя добыты на мѣстѣ путемъ тщательнаго опроса по дворамъ, то предъ нами является въ высшей степени интересная и вполне вѣрно отражающая печальную дѣйствительность картина сельскаго быта и отношеніе его къ школѣ. Въ упомянутыхъ уѣздахъ не болѣе 4% всего числа остающихся или уже оставшихся неграмотными по недостатку школъ, и 12% — по отдаленности школы (далѣе 3 верстъ); но затѣмъ 84% остаются или останутся безграмотными не по недостатку школъ, а по другимъ причинамъ, изъ которыхъ подавляющее значеніе имѣетъ крайняя бѣдность или несчастно сложившіяся семейныя обстоятельства; второе мѣсто среди препятствій въ школьномъ обученіи занимаютъ болѣзненное состояніе дѣтей (12%), слѣпота, косоглазіе, глухота, косноязычіе, всякое убожество и т. п.

Такое тщательное и едва-ли не впервые сдѣланное изслѣдованіе о причинахъ, замедляющихъ успѣшный ходъ народнаго образованія въ двухъ уѣздахъ, надобно думать, повторяется повсюду болѣе или менѣе близко къ вышеприводимымъ цифрамъ, а потому авторъ изслѣдованія приходитъ къ весьма правильному выводу, имѣющему значеніе вообще для всѣхъ земствъ. Не одно открытіе новыхъ училищъ должно озабочивать тѣхъ, кто руководить дѣломъ народнаго

образованія: этимъ ослабится вредное вліяніе причинъ только двухъ первыхъ категорій—отдаленность школы или отсутствіе въ ней мѣста; но чтобы бороться съ другими категоріями причинъ, которыя притомъ составляютъ, вмѣстѣ взятыхъ, 84%, „необходимо,—говорится въ изслѣдованіи,—принятіе еще такихъ особыхъ мѣръ, которыя открывали бы и взрослому населенію возможность обучиться грамотѣ. Въ настоящее время дѣйствительнымъ средствомъ въ указанномъ отношеніи представляется устройство особыхъ классовъ для взрослыхъ изъ сельскихъ обывателей. Будутъ ли эти классы, въ зависимости отъ мѣстныхъ условій, устроены въ формѣ воскресныхъ школъ, или въ видѣ вечернихъ классовъ—во всякомъ случаѣ, предоставленіе возможности обучаться не только дѣтямъ школьнаго возраста, но и взрослымъ, должно предусматриваться, и необходимо должно имѣть мѣсто въ общей системѣ школьнаго дѣла cadaго уѣзда. Только при этомъ условіи грамотность въ населеніи можетъ быть всеобщей“.

Это и практикуется, какъ извѣстно, въ городахъ, гдѣ назначеніе воскресныхъ школъ состоитъ именно въ томъ, чтобы дать возможность вышедшимъ изъ школьнаго возраста и не имѣвшимъ случая воспользоваться въ свое время начальною школою—возмѣститъ пропущенное по различнымъ неблагопріятнымъ обстоятельствамъ въ дѣтствѣ.

Нынѣшнимъ дѣтомъ, почти одновременно съ Н. М. Ядринцевымъ, смерть унесла еще двухъ дѣятелей и также изъ области народоуѣденія: одинъ изъ нихъ—ветеранъ, публицистъ конца 50-хъ и 60-хъ годовъ, Н. П. Колюпановъ, другой—Н. М. Астыревъ, сравнительно молодая сила, но уже успѣвшая заявить себя и въ литературѣ, и въ научныхъ изслѣдованіяхъ по народной статистикѣ.

Н. П. Колюпановъ началъ свою публицистическую дѣятельность въ „Спб. Вѣдомостяхъ“, подъ редакцію В. О. Корша; во второй половинѣ 60-хъ годовъ онъ былъ весьма дѣятельнымъ сотрудникомъ также и нашего журнала, въ эпоху, когда земскія дѣла и вопросы народнаго образованія особенно интересовали русское общество. Затѣмъ, Н. П. посвятилъ всего себя общественной службѣ на родинѣ, въ костромской губерніи, и въ теченіе многихъ лѣтъ состоялъ предводителемъ дворянства въ своемъ ветлужскомъ уѣздѣ. Въ самое послѣднее время Н. П. Колюпановъ возвратился къ литературному труду, съ цѣлью составить подробную біографію А. П. Кошелева, игравшаго видную роль въ исторіи нашей общественности; но смерть не дала Н. П. окончить предпринятой имъ работы; онъ успѣлъ напечатать только

первые три тома біографіи, что едва-ли составляет и половину всего задуманнаго имъ труда.

Въ лицѣ Н. М. Астырева наша литература потеряла много обѣщавшую молодую силу; въ нашемъ журналѣ былъ помѣщенъ одинъ изъ первыхъ его трудовъ: „Въ волостныхъ писаряхъ“, представлявшій собою любопытную и правдивую картину крестьянскаго быта, а вмѣстѣ съ тѣмъ и характеристичную страницу изъ жизни самого автора. Нужно было имѣть много самоотверженія, чтобы занять тяжелую и неблагодарную должность волостного писаря, и много таланта, чтобы умѣло воспользоваться сдѣланными лично наблюденіями.

Кромѣ нѣсколькихъ разсказовъ изъ народной жизни, разсѣянныхъ по различнымъ періодическимъ изданіямъ, Н. М. Астыреву принадлежатъ еще статистическія работы по описанію Восточной Сибири, исполненныя имъ вмѣстѣ съ другими лицами, по порученію администраціи и по типу земскихъ изслѣдованій. По мнѣнію компетентныхъ судей, эти работы могутъ быть отнесены къ числу образцовыхъ. Въ свое время мы отмѣтили и его замѣчательную книгу, заключающую очерки сибирской жизни. При всемъ различіи формы трудовъ—въ области беллетристики и статистики—цѣль ихъ оставалась та же самая: изученіе народа, условій его быта и средствъ къ поднятію общаго народнаго благосостоянія.



ИЗВѢЩЕНІЯ.

Отъ Спв. Комитета Грамотности.

С.-Петербургскій Комитетъ Грамотности, состоящій при Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ, преслѣдуя цѣли распространенія грамотности и полезныхъ знаній въ средѣ сельскаго населенія, въ засѣданіи 14-го декабря 1893 года, выслушавъ заявленіе 55 своихъ членовъ, постановилъ открыть подписку на учрежденіе, при посредствѣ земствъ, 100 бесплатныхъ народныхъ читаленъ или библіотекъ, всего на сумму 25.000 рублей, возложивъ исполненіе этого постановленія на Совѣтъ Комитета. Для осуществленія этой задачи необходимо дѣятельное общественное сочувствіе. Исходя изъ глубокаго убѣжденія, что русское общество исполнѣ сознаетъ, что невѣжество есть главное препятствіе къ поднятію народнаго благосостоянія, Комитетъ Грамотности, на основаніи ст. 3 своего Устава, открываетъ приѣмъ пожертвованій и приглашаетъ всѣхъ, сочувствующихъ его начинанію, направлять свои взносы слѣдующимъ лицамъ:

Предсѣдателю Комитета А. Н. Страннолюбскому (Гороховая, 48); товарищамъ предсѣдателя: А. М. Тютрюмову (Коломенская, 1); Г. А. Фальборку (Гончарная, 11); секретарямъ: Э. Э. Анерту (Екатерининскій кан., 51); М. А. Лозинскому (Саперный, 20); Д. Д. Протопопову. (В. О., Большой пр., 27) и В. И. Чарнолускому (Гончарная, 11),— а также членамъ Комитета: К. К. Арсеньеву (Мойка, 13); Н. А. Варгунину (М. Итальянская, 38); В. П. Воленсу (Симеоновскій, 5); Я. Г. Гуревичу (Лиговская улица, 1); баронессѣ В. И. Искуль (Екатерининскій кан., 156); А. М. Калмыковой (Литейный, 60); Я. Т. Михайловскому (Невскій, 97); М. И. Соколову (Невскій, 21) и М. Н. Стоюниной (Воскресенскій, 17).

Всѣ означенныя лица имѣютъ особыя книги для выдачи квитанцій въ приѣмъ суммъ и подписные листы для сбора. О всѣхъ пожертвованіяхъ Комитетъ будетъ извѣщать въ газетахъ, а по окончаніи подписки будетъ опубликованъ подробный отчетъ объ израсходованіи суммъ.

Лица, внесшія не менѣе 250 рублей, могутъ указывать ту мѣстность, гдѣ должна быть открыта учреждаемая на ихъ средства читальня.

Издатель и редакторъ: М. Стасюлевичъ.

СОДЕРЖАНІЕ

ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.

ІЮЛЬ — АВГУСТЪ 1894.

Книга седьмая. — Іюль.

	стр.
ЭКОНОМИЧЕСКІЙ МАТЕРІАЛИЗМЪ ВЪ ИСТОРИИ.—I-V.—Н. И. КАРѢВА	5
ВЕСЕННІЯ ИЛЛЮЗИИ.—I-VI.—Повѣсть.—В. ДМИТРИЕВОЙ	36
ОТЪ НОВАГО МАРГЕЛАНА ДО ГРАНИЦЫ БУХАРЫ.—Путевныя замѣтки.—КН. АЛЕКСАНДРА ВОЛКОНСКАГО	98
ИЗЪ КОНОПНИЦКОЙ.—I-VII.—А. КОЛТОНОВСКАГО	189
Н. В. ГОГОЛЬ.—Пять лѣтъ жизни за границей, 1836—1841 г.—I-XII.—В. И. ШЕНРОКА	146
ВЪ ЧАДУ ЛЮБВИ.—Im Liebesgansch, von Heinz Tovote.—Съ нѣмецкаго.—А. Б.—Г.—	199
ЗА УРАЛЬСКИМЪ ВОЗРОМЪ.—Путешествіе въ страну вогуловъ.—Изъ дневника туриста.—П. ИНФАНТЬЕВА	253
КОНЕЦЪ СПОРА.—ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА.	286
ВОПРОСЫ ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ПЛОМЕННОСТИ.—П. МАКОМЪ ГРЕКЪ и князь КУРЬСКІЙ.—А. Н. ПЫПИНА	313
НАДѢЯСЯ, ВѢРУЙ И ЛЮБИ.—Стихотвореніе.—В. БУЛГАКОВА	368
ЭКОНОМИЧЕСКІЯ НЕДОРАЗУМІЯ.—Окончаніе.—Л. З. СЛОНИМСКАГО.	369
ХРОНИКА.—Внутреннее Овозрѣніе.—Отчетъ оберъ-прокурора св. синода за 1890 и 1891 г.—Ретроспективный взглядъ на проектъ реформы церковнаго суда.—Вліяніе закона 8-го мая 1883 г. на настроеніе раскольниковъ и положеніе раскола.—Причины устойчивости раскола.—Расколъ и школа.—Предполагаемыя мѣры противъ сектантства.—Борьба съ католической пропагандой.—Два отрадныхъ извѣстія.—Рѣчь министра юстиціи при открытіи комиссіи по пересмотру узаконеній о судебной части.—Возстановленіе инспекторской части гражданскаго вѣдомства.	388
Иностранное Овозрѣніе.—Убійство Карно.—Жизнь и дѣятельность покойнаго президента.—Президентскіе выборы въ Версали.—Казиміръ Перье.—Борьба съ анархистами и динамитчиками	411
Литературное Овозрѣніе.—Семеновъ, Крестьянскіе рассказы, Съ предисловіемъ Л. Н. Толстого.—„Историческое Обзорѣніе“.—Собраніе сочиненій М. С. Куторги, томъ первый.—Т.—Новыя книги и брошюры	423
Новости Иностранной Литературы.—I. Lagroumet, Nouvelles études de littérature et d'art.—II. Filon. Merimée et ses amis.—З. В.	433
НИКОЛОГЪ.—Николай Михайловичъ Ядринцевъ.—А. Н. ПЫПИНА	445
ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.—Новыя правила объ офицерскихъ дуэляхъ.—Существуетъ ли какое-либо различіе между этими дуэлями и всѣми другими?—Предѣлы вѣдомства офицерскаго суда.—Громкія уголовныя дѣла и отношеніе къ нимъ ежедневной печати.—По поводу письма г. Тихомирова редактору журнала.	449
БИБЛОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.—Промышленные кризисы въ современной Англіи, ихъ причины и вліяніе на народную жизнь. М. И. Туганъ-Барановскаго.—Указъ и законъ. Н. М. Коркунова.—Государственное хозяйство Швеціи. Эдуарда Берендса.	
Объявленія.—I-XVI стр.	

Книга восьмая. — Августъ.

	СТР.
СИНГАПУРЪ.—Очерки и воспоминанія кругосвѣтнаго плаванія. — ВЛАД. ТИХО-МІРОВА	461
ПРОТИВОРѢЧІЯ НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ. — КН. С. ТРУБЕЦКОГО.	508
ВѢЩАНІЯ ВЛДВІН.—Повѣсть.—VII-XIV.—В. ДМИТРИЕВОЙ	523
ЭКОНОМИЧЕСКІЙ МАТЕРІАЛИЗМЪ ВЪ ИСТОРИИ.—VI-VIII.—Н. И. КАРЬЕВА	583
СТИХОТВОРЕНІЯ.—МИХ. ГЕРБАНОВСКАГО	607
Н. В. ГОГОЛЬ.—Пять лѣтъ жизни за границей, 1836—1841 г.—XIII-XX.—В. И. ШЕНРОКА.	611
Въ чадѣ любви.—Im Liebesgansch, von Heinz Tovote.—Съ нѣмецкаго.—Окончаніе.—А. Б.—Г.—	648
Изъ командировки на эпидеміи въ 1892 году.—Личныя наблюденія и замѣтки.—И. Б.	698
ИТОГИ СТАРАГО МОСКОВСКАГО ЦАРСТВА.—А. Н. ПЫПИНА	760
ВАРИАЦИИ НА „CARNIVAL DE VENISE“.—Т. Готье.—О. МИХАЙЛОВОЙ	806
Поземельныя задачи.—Д. З. СЛОНИМСКАГО	810
ХРОНИКА.—Внутреннее Овозраженіе.—Крестьянское населеніе земской Рос-сии.—Н. БЛАГОВѢЩЕНСКАГО	828
ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНІЕ по „Гражданину“. — Письмо въ Редакцію.—Р.	851
Замѣтка.—По поводу засѣданія московскаго губернскаго земскаго собранія 10 іюня.—Н. ГОРБОВА	854
По поводу паспортнаго устава.—Ө. Ө.	859
Иностранное Овозраженіе.—Внутренняя политика во Франціи.—Правительствен-ные проекты и парламентская оппозиція.—Недоразумѣнія по поводу новаго закона объ анархистахъ.—Замѣчанія и выводы „Московскихъ Вѣдомостей“.—Болгарскія дѣла и русскіе корреспонденты	866
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОВОЗРАЖЕНІЕ.—И. А. Сахаръ. Суета мірская. Очерки и рассказы.—Македонско-славянскій сборникъ, съ прилож. словаря. Составилъ П. Драгановъ. Вып. I.—Русская поэзія. Издается п. р. С. А. Венгерова. Вып. IV.—Т.—Русскіе символисты. Вып. I. Валерій Брюсовъ и А. Л. Миропольскій.—Вл. С.—Новыя книги и брошюры.	880
Замѣтка.—Внѣ ли В. И. Григоровичъ въ Римѣ въ 1840—1841 г.?—Н. Н. БУЛИЧА.	895
Новости Иностранной Литературы.—I. A. de Lamartine. Philosophie et Lit-térature.—II. H. Beyle (Stendhal). Lucien Leuwen. Oeuvre posthume etc.—З. В.	900
Изъ Общественной Хроники.—Дѣло сельскаго народнаго образованія 30 лѣтъ тому назадъ и сегодня.—Школы министерства государственныхъ иму-ществъ и церковно-приходскія того времени, ихъ численность и каче-ство.—Примѣръ полтавской губерніи.—Школьная статистика московскаго земства; образцовое исследование двухъ ея уѣздовъ, и практическіе его результаты.—Н. П. Колупановъ и Н. М. Астиревъ †.	912
Извѣщенія.—Отъ Спб. Комитета Грамотности	922
Визвогграфическій Листокъ.—Стратегія въ эпоху Наполеона I и въ наше время. Капитана Мартинова.—Бар. М. Таубе. Исторія зарожденія современ-наго международнаго права. Средніе вѣка. Т. I.—Настольный энцикло-педическій словарь. Т. VI (Муромъ-Побѣдоносцевъ). Изданіе А. Гра-ната и К°, бывшіе—А. Гарбеля и К°.—Русское государственное право. Т. I. Проф. Н. О. Куневскаго.	
ОБЪЯВЛЕНІЯ.—I-XVI стр.	

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТОКЪ.

СТРАТЕГИЯ въ эпоху Наполеона I и въ наше время. Генеральнаго штаба капитана Мартынова. Спб., 1894. VIII и 303. Съ 8 картами (планами). Ц. 3 р.

Въ этой интересной книгѣ, написанной съ талантомъ и увлеченіемъ, проводится параллель между военными приёмами Наполеона I и новейшей стратегіей, преимущественно прусскою, лучшимъ представителемъ которой былъ Мольтке. Авторъ поставилъ себѣ задачей выяснитъ тѣ перемѣны, которыя произошли въ характерѣ военного искусства въ связи съ условіями культуры и техники. „Стратегическое искусство каждой эпохи, — говоритъ г. Мартыновъ, — есть только дитя своего времени, а слѣдовательно и продуктъ известной цивилизаціи; ея идеями оно вдохновляется; отъ нея получаетъ опредѣленное общее направленіе; отъ нея заимствуетъ и главные характеристическія свои черты“. Авторъ вполне справедливо настаиваетъ на важномъ значеніи этой зависимости военного дѣла отъ общаго состоянія культуры даннаго народа, — зависимости, которая обыкновенно забывается при обсужденіи военныхъ вопросовъ. Народное образованіе, распространеніе научныхъ и техническихъ свѣдѣній, привычки трудолюбія и честности, строгій общественный контроль, исключающій возможность скрытыхъ злоупотребленій, — все это играло большую роль въ военныхъ успѣхахъ Пруссіи и Германіи. Народныя и общественныя школы воспитали тѣ поколѣнія молодежи, изъ которыхъ составилась германская армія, и однимъ изъ главнѣйшихъ преимуществъ этой арміи предъ французскою былъ ея болѣе высокій образовательный уровень. Не даромъ говорилось, что Пруссія обязана своими успѣхами нѣмецкому народному учителю. Конечно, г. Мартыновъ не могъ останавливаться на этой сторонѣ вопроса, въ виду спеціальныхъ задачъ своего труда; но онъ указываетъ, напр., на необходимость „широкаго общаго образованія“ для начальниковъ отдѣльныхъ частей и приходитъ къ тому общему выводу, что „только на почвѣ широкаго и разносторонняго общаго образованія можемъ мы возвыситься до правильнаго пониманія военныхъ явленій“. Кромѣ небольшого введенія, книга заключаетъ въ себѣ четыре отдѣла, изъ которыхъ послѣдній резюмируетъ характеристическія черты современной стратегіи (т.-е. прусской) въ отличіе отъ Наполеоновской.

Бар. М. ТАУБЕ. Исторія зарожденія современнаго международнаго права. Средніе вѣка. Т. I. Спб., 1894. Стр. XII и 370. Ц. 2 р.

Обширный трудъ, задуманный барономъ Таубе, посвященъ изслѣдованію той поворотной эпохи въ жизни народовъ, когда они „перестаютъ быть вѣчными и непримиримыми врагами и вступаютъ на путь известнаго правового порядка во взаимныхъ отношеніяхъ“. Историческій моментъ зарожденія современнаго международнаго права, по справедливому замѣчанію автора, одинаково важенъ для историка и юриста; а между тѣмъ по этому предмету нѣтъ ни одного сочиненія „не только въ нашей, но и въ иностранной историко-юридической литературѣ“. Желаніе пополнить этотъ пробѣлъ заслуживаетъ, конечно, всякаго сочувствія; но трудъ такого рода

имѣлъ бы гораздо больше значенія, еслибы онъ былъ доступенъ и иностранной публикѣ, такъ какъ подобные спеціальныя трактаты находятъ у насъ слишкомъ мало читателей. Въ нашей научно-исторической литературѣ существуютъ еще столько элементарныхъ пробѣловъ, что обширная работа, предпринятая барономъ Таубе, можетъ оказаться даже роскошью, которую оцѣнять весьма немногіе.

Настольный энциклопедическій словарь. Томъ VI (Муромъ-Побѣдоносцевъ). Съ 72 рисунками, 50 портретами и многими приложениями. Изданіе А. Граната и К^о, бывшее — А. Гарбеля и К^о. Москва, 1894. Стр. 3311—3934.

Параллельно съ капитальнымъ изданіемъ гг. Брокгауза-Эфрона, доведеннымъ уже до буквы и, успѣшно подвигается впередъ и небольшое сравнительно предпріятіе г. Гарбеля, именъ г. Граната, въ Москвѣ. Съ переходомъ „Настольнаго энциклопедическаго словаря“ въ другія руки (съ 4-го тома) замѣчается значительное улучшеніе изданія, какъ по составу и характеру статей, такъ и по аккуратности въ типографскомъ отношеніи; болѣе важнымъ вопросамъ удѣляется гораздо больше мѣста, чѣмъ прежде; — такъ, напр., въ настоящемъ томѣ статья объ общинномъ землевладѣніи занимаетъ цѣлый листъ мелкаго шрифта; почти столь же значительны по объему статьи о народномъ образованіи, о наследственномъ правѣ и др.

Русское государственное право. Томъ I. Н. О. Кулевскаго, ординарнаго профессора имп. харьковскаго университета. Харьковъ, 1894. Стр. II и 357. Ц. 2 р. 50 к.

Курсъ проф. Кулевскаго свободенъ отъ излишняго научно-литературнаго балласта и даетъ лишь краткія положительныя свѣдѣнія по разнымъ вопросамъ русскаго государственнаго права въ систематическомъ порядкѣ, на основаніи дѣйствующихъ законовъ, въ связи съ нѣкоторыми историческими указаніями. Ясность изложенія составляетъ одно изъ серьезныхъ достоинствъ этого курса. Въ вышедшемъ первомъ томѣ, послѣ общихъ вступительныхъ замѣчаній и небольшого обзора литературы предмета, а также историческаго очерка территориальныхъ измѣненій Россіи, изложены и объяснены „основныя начала, характеризующія русское государственное устройство“; въ этомъ отдѣлѣ рассмотрѣны вопросы о законѣ, о верховной власти, о составѣ и правахъ населенія. Авторъ не претендуетъ на самостоятельность и оригинальность въ обсужденіи этихъ вопросовъ; онъ самъ заявляетъ въ предисловіи, что курсъ его „въ настоящемъ видѣ могъ появиться только благодаря изданнымъ раньше пособіямъ и курсамъ профессоровъ Андреевскаго, Градовскаго, Романовича-Славянскаго и Сергѣевича“. Особенно авторъ указываетъ на литографированный курсъ лекцій, читанныхъ проф. В. И. Сергѣевичемъ въ Москвѣ; „этого курса, — прибавляетъ онъ, — уже давно вѣтъ у меня подъ рукою, а потому я и не всегда могу сдѣлать на него надлежащую ссылку, но его слѣды можно найти и въ курсѣ русскаго государственнаго права, и въ предполагаемомъ къ изданію курсѣ общаго ученія о государствѣ“.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКѢ

въ 1894 г.

(Двадцать-девятый годъ)

„ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ“

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСТОРИИ, ПОЛИТИКИ И ЛИТЕРАТУРЫ

— выходитъ въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца, 12 книгъ въ годъ, отъ 28 до 30 листовъ обыкновеннаго журнальнаго формата.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.

	На годъ:	По полугодіямъ:		По четвертямъ года:			
		Январь	Іюль	Январь	Апрѣль	Іюль	Октябрь
Безъ доставки, въ Конторѣ журнала	15 р. 50 к.	7 р. 75 к.	7 р. 75 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 80 к.
Въ Петербургѣ, съ доставкой	16 „ — „	8 „ — „	8 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „
Въ Москвѣ и друг. городахъ, съ перес.	17 „ — „	9 „ — „	8 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	4 „ — „	4 „ — „
За границей, въ госуд. почтов. союза	10 „ — „	10 „ — „	9 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	4 „ — „

Стѣльная книга журнала, съ доставкой и пересылкою — 1 р. 50 к.

Примѣчаніе. — Вмѣсто разсрочки годовой подписки на журналъ, подписка по полугодіямъ: въ январь и іюль, и по четвертямъ года: въ январь, апрѣль, іюль и октябрь, принимается — безъ повышенія годовой цѣны подписки.

— Съ перваго іюля открыта подписка на третью четверть 1894 г. —

Книжные магазины, при годовой и полугодовой подпискѣ, пользуются обычнымъ уступкомъ.

ПОДПИСКА принимается — въ *Петербургѣ*: 1) въ Конторѣ журнала, на Вас. Остр., 5 лин., 28; и 2) въ ея Отдѣленіяхъ, при книжн. магаз. К. Риккера на Невск. просп., 14; А. Ф. Цинзерлинга, Невскій просп., 20, у Полицейскаго моста (бывшій Мелье и К°), и Н. Фену и К°, Невскій просп., 42; — въ *Москвѣ*: 1) въ книжн. магаз. Н. И. Мамонтова, на Кузнецкомъ Мосту; Н. П. Карбасникова, на Моховой, домъ Коха, и 2) въ Конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи. — *Иногородные* и *иностранцы* — обращаются: 1) по почтѣ, въ Редакцію журнала, Спб., Галерная, 20; и 2) лично — въ Контору журнала. — Тамъ же принимаются ИЗВѢЩЕНІЯ и ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Примѣчаніе. — 1) *Почтовый адресъ* долженъ заключать въ себѣ: имя, отчество, фамилію, съ точнымъ обозначеніемъ губерніи, уѣзда и мѣстожителства и съ названіемъ ближайшаго къ нему почтоваго учрежденія, гдѣ (NB) *допускается* выдача журналовъ, если нѣтъ такого учрежденія въ самомъ мѣстожителствѣ подписчика. — 2) *Переменная адреса* должна быть сообщена Конторѣ журнала своевременно, съ указаніемъ прежняго адреса, при чемъ городскіе подписчики, переходя въ иногородные, доплачиваютъ 1 руб. 50 коп., и иногородные, переходя въ городскіе — 40 коп. — 3) *Жалобы* на неисправность доставки доставляются исключительно въ Редакцію журнала, если подписка была сдѣлана въ вышепоименованныхъ мѣстахъ и, согласно объявленію отъ Почтоваго Департамента, не позже какъ по полученіи слѣдующей книги журнала. — 4) *Билеты* на получение журнала высылаются Конторою только тѣмъ изъ иногородныхъ или иностранныхъ подписчиковъ, которые приложить къ подписной суммѣ 14 коп. почтовыми марками.

Издатель и отвѣтственный редакторъ М. М. Стасюлевичъ.

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“:

Спб., Галерная, 20.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА:

Вас. Остр., 5 л., 28.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА:

Вас. Остр., Академ. пер., 7. Digitized by Google

Digitized by Google